



ЖЕРНОВА

1918 г.

XLIX г.
издания.

№ 21.

Выходит ежемесячно (52 № въ годъ), съ приложениемъ 52 книгъ „Сборника“, содержащихъ сочиненія А. И. ГЕРЦЕНА, М. ГОРЬКАГО, В. Г. КОРОЛЕНКО, П. БЕРАНЖЕ въ Н. И. КАРЬЕВА („Великая Французская Революція“).
Выданъ 25 мая (12 мая) 1918 г. Подписная цѣна съ дост. и перес. на годъ—36 р., на 1/2 г.—18 р., на 1/4 г.—9 р. Цѣна этого № (безъ прилож.)—40 к., съ перес. 50 к.

Главная Контора и Редакція: Петроградъ, улица Гоголя, № 22.

Перепечатка иллюстрации и текста воспрещается. (Законъ 20-го марта 1911 г.).



Некрасовъ на смертномъ одрѣ.

Н. Крамской.



Знаменательную годовщину своевременно. Но „лучше поздно, чѣмъ никогда“... а потому настоящій нумеръ журнала почти цѣликомъ посвященъ Некрасову.

Вспоминая сорокалѣтіе смерти Некрасова, умѣстно будетъ въ памяти картины послѣднихъ расчетовъ поэта съ жизнью. Умираль Некрасовъ, какъ извѣстно, въ невѣроятныхъ мученіяхъ. Покойная жена поэта разсказывала одному изъ изслѣдователей, что она и не предполагала, что на сѣѣтъ могутъ быть такія нечеловѣческія страданія, какъ тѣ, какія пришлось испытать ея несчастному мужу. Достаточно сказать, что Некрасовъ отъ нѣвносымыхъ болей „по цѣльмъ часамъ тянуль какую-то однообразную поту, напоминавшую бурдацкую поту на Волгѣ“ (изъ воспоминаній д-ра Бѣлоголоваго). Вѣсти о болѣзни поэта широко распространялись, черезъ посредство газетъ, по Россіи и возбудили сочувственные отклики среди многочисленныхъ поклонниковъ таланта и направлениія поэтической дѣятельности Некрасова. Некрасовъ сталъ получать чуть ли не каждый день изъ разныхъ мѣстъ и глухихъ закоулковъ русской земли массу писемъ и телеграммъ то колективныхъ, то единичныхъ, изъ которыхъ могъ заключить, какъ высоко цѣнитъ его родина. Въ книгѣ В. Евгеньева-Максимова о Некрасовѣ („Н. А. Некрасовъ“. М. 1914 г.) приведены образцы этихъ писемъ и телеграммъ, извлеченные изъ бумагъ Некрасова.

Среди привѣтствий коллективного характера останавливаются на себѣ вниманіе адреса четырехъ высшихъ учебныхъ заведеній: Петербургскаго университета, Медико-Хирургической академіи, Харьковскаго университета и Харьковскаго же Ветеринарнаго института.

Въ концѣ 1917 года, 27-го декабря, исполнилось сорок лѣтъ со дня кончины одного изъ крупнейшихъ русскихъ поэтовъ—Николая Алексѣевича Некрасова.

Переживаемыя Россіей исклю-
чительные события помѣшили
„Нивѣ“ откликнуться на эту

Изъ груды же благожеланий, исходившихъ отъ единичныхъ лицъ, особенно умилило и растрогало поэта письмо едва ли не самаго благороднаго и самоотверженаго изъ его друзей, Николая Гавриловича Чернышевскаго, томившагося въ то время въ заточеніи въ тундрахъ далекой Сибири.

„Если,—писалъ Чернышевскій Пынину,—когда ты получишь мое письмо, Некрасовъ еще будетъ продолжать дышать, скажи ему, что я горячо любилъ его, какъ человѣка, что я благодарю за его доброе отношеніе ко мнѣ, что я щѣлью его, что я убѣжденъ: его слава будетъ безсмертна, что вѣчна любовь Россіи къ нему. геніальнѣйшему и благороднѣйшему изъ русскихъ поэтовъ. Я рѣдаю о немъ. Онъ, дѣйствительно, былъ человѣкъ очень высокаго благородства души и человѣкъ великаго ума. И, какъ поэты, онъ, конечно, выше всѣхъ русскихъ поэтовъ.“

Слова Чернышевскаго успѣли дойти до Некрасова.

— Скажите Николаю Гавриловичу,—отвѣтилъ Некрасовъ едва слышимымъ голосомъ,—что я очень благодарю его; я теперь утешенъ; его слова дороже мнѣ, чѣмъ чьи-либо слова...

Цѣнка Некрасова, какъ поэта, содержащейся въ приведенномъ сужденіи Чернышевскаго, конечно, страдаетъ преувеличеніемъ. И тѣмъ не мене она представляется чрезвычайно интересной, такъ какъ, съ одной стороны, рисуетъ размѣры популярности Некрасова среди его современниковъ, съ другой стороны, отражаетъ мнѣніе о Некрасовѣ русской революціонной интеллигентіи, вошедшемъ и „пророкомъ“ которой былъ Чернышевскій.

Въ наши дни, дни великой русской революціи, дни побѣды демократического принципа, было бы вопіющей несправедливостью не откликнуться на годовщину смерти поэта, болѣе, чѣмъ кто-либо другой изъ русскихъ художниковъ слова, сдѣлавшаго для возбужденія въ обществѣ свободолюбивыхъ и народолюбивыхъ настроеній.





Н. А. Непрасовъ у умирающаго Виссариона Григорьевича Бълинского.

A. Neprakov.

Русская интеллигенция въ изображеніи Н. А. Некрасова.

Очеркъ В. Евгеньева-Максимова.

Однимъ изъ наиболѣе острѣхъ вопросовъ современности является вопросъ о положеніи русской интеллигенти. Положеніе это таково, что его съ полнымъ правомъ характеризуютъ словами: "трагедія русской интеллигенти". Проповѣдь безотвѣтственныхъ демагоговъ создала въ широкихъ мас-сахъ убѣжденіе, что интеллигенти — это та же буржуазія, что она „саботируетъ“ въ отношеніи благихъ завоеваній революціи, и т. д. и т. п. Не стонть, конечно, всерьезъ полемизировать съ подобными утвержденіями: слишкомъ безграмотными и наивными они являются. Но напоминать объ истинной роли интеллигенти въ лѣтописяхъ русского прогресса, объ ея многолѣтнемъ служеніи идеаламъ русского освободительного движения и можно и должно. Если народъ узнаетъ объ интеллигенти правду, одну только правду, нынѣшнее антиинтеллигентское настроеніе, искусственно ему привитое, исчезнетъ „яко воскъ отъ лица огня“, и тогда откроется возможность широкаго сотрудничества между людьми труда мускульного и людьми труда умственнаго. Виѣ такого сотрудничества я не мыслию спасенія для Россіи, выхода ея изъ того тупика, въ которомъ она нынѣ находится. Читатель не забылъ сказки о слѣпомъ и безногомъ. Безпомощные въ отдѣльности, они съ полнымъ успѣхомъ дѣйствовали сообща. Точно также и солидарны дѣйствія народа, этого мощнаго великанъ съ зѣбнѣемъ, притупленнымъ вѣкамъ рабства и темноты, въ которыхъ его намѣренно держали, и интеллигенти, безсильнаго физически пигмей, сумѣвшаго, однако, долговременной тренировкой выработать зоркость и остроту умственного взгляда, — явились бы надежной гарантіей преодолѣнія нашей несчастной родиной тѣхъ немовѣрныхъ трудностей, которыя современная политическая и соціально-экономическая коньюнктура нагромоздила на ея пути.

Вѣра въ возможность, болѣе того, въ необходимость солидарныхъ дѣйствій народныхъ массъ и интеллигентскаго меньшинства присуща очень многимъ представителямъ нашей художественной литературы. Однако, врядъ ли мы ошибемся, если скажемъ, что едва ли идея сотрудничества народа и интеллигенти имѣла когда-либо большаго фанатика, чѣмъ Н. А. Некрасовъ. Любимымъ образомъ великаго поэта-гражданина былъ образъ интеллигента, работающаго на нивѣ народной, окруженаго довѣріемъ иуваженіемъ народныхъ массъ, которыхъ сознали пользу просвѣщенія знаніемъ, согрѣтаго любовью къ „униженнымъ“ и обиженнымъ“ интеллекту.

Прежде чѣмъ иллюстрировать эту сторону общественно-политического credo Некрасова рядомъ примѣровъ, — въ чѣмъ и состоить главная цѣль этого очерка, — скажу нѣсколько словъ о томъ, какъ представлялъ себѣ поэтъ общественную роль и взаимоотношенія различныхъ классовъ современной ему Россіи. Классамъ правящимъ и эксплуатирующемъ народный трудъ онъ отдалъ всю свою ненависть. Русское вѣльможество имѣло въ немъ непримиримаго врага, не упускавшаго случая заклеймить его эгоизмъ и своекорыстіе. Весьма характерными въ этомъ отношеніи являются общепрѣстнныя строки стихотворенія „Размысленія у парраднаго подѣзда“ о „владѣльцахъ роскошныхъ палатъ“, считающимъ „жизнь завидную упоеніе лестью безстыдною, волокитство, обжорство, игру“, зовущемъ народное благо „щелкоперовъ забавою“ и, въ воздаяніе за свои заслуги, „втихомолку проклятомъ отчизною“. Свѣтскій кругъ, который порождаєтъ и воспи-

тываетъ „героевъ“, подобныхъ вышеописанному, характеризуется поэтомъ, какъ „тля... полумертвцы, развратомъ юности ослаблены души, невѣжды, если не глупцы“ (стих. „Медвѣжья охота“).

Вѣльможество, аристократія — это бельэтажъ того зданія, въ которомъ остальные этажи заняты дворянствомъ, чиновничествомъ и буржуазіей въ узкомъ смыслѣ этого слова.

Дворянство Некрасовъ изобразилъ въ незабываемыхъ стихахъ поэмы „Кому на Руси жить хорошо“, въ лицѣ Гаврилы Аѳанасьевича Оболта-Оболдуева. „Ни въ комъ противорѣчія: когда хочу — помилую, когда хочу — казню! Законъ — мое желаніе! Кулакъ — моя полиція! Ударъ искрошительный, ударъ зубодробительный, ударъ сколоворотъ!.. Трудись! Кому вы вздумали читать такую проповѣдь? Я не крестьянинъ — лапотникъ — я Божію милостью россійскій дворянинъ!“ — вотъ съ удивительно яркостью и экспрессіей выявленная сущность идеологии россійского благороднаго сословія. Неудивительно постѣ этого, что оно только и способно „носить ливрею царскую, сорить казну народную“ и ловить мужиковъ „въ крѣпостныхъ сѣти“.

Объ отношеніи Некрасова къ другому киту русской дореволюціонной государственности, чиновничеству, распространяясь нечего... Собрание его стихотвореній не случайно начинается знаменитой „Колыбельной пѣсни“, за которую такъ взъились на поэта николаевскіе жандармы. Даже о лучшихъ изъ „старыхъ“ россійскихъ бюрократовъ только и можно, по мнѣнію поэта, сказать: „добро ты портиль, зла не улучшаль“ („Медвѣжья охота“).

Еще мрачнѣе становятся тона некрасовской поэзіи, когда она обращается къ изображенію буржуа-плутократіи. Всю силу своего страстнаго негодованія противъ нихъ поэтъ излилъ въ мало оѣбненной еще поэмѣ „Современники“. Въ ней пестрой вереницей проходять денежные тузы различныхъ мастей и ранговъ, объединенные всепоглощающимъ стремлениемъ къ наживѣ. Ради наживы вѣсъ средства одинаковою прѣмлемы; граница между добромъ и зломъ стерта; „все дозволено“...

Горе! Горе! Хищникъ смѣлый
Ворвался въ толпу!
Гдѣ же Руси неумѣлой
Выдержать борьбу?
Охъ! Горыка твоя судьбина,
Русская земля!
У мужицкаго алтына
У дворянскаго рубля
Плутократъ, какъ караульный,
Станеть на часахъ,
И пойдеть грабежъ огульный,
И случится — крѣзахъ!

Въ бумагахъ Некрасова сохранилось любопытное стихотвореніе (въ собраніе его стихотвореній оно не могло войти по цензурнымъ условіямъ), въ которомъ какъ бы подводится итогъ совокупному воздействию на русскую жизнь привилегированныхъ сословій — чиновничества, дворянства и плутократіи. Вотъ оно:

Администрація — береть
И очень скоро выпускаеть,
Плутократія — дергетъ
И ничего не возвращаетъ.



3. Н. Некрасова, жена поэта
(въ семидесятыхъ годахъ).



3. Н. Некрасова, жена поэта
(въ послѣдніе годы ея жизни).

По приглашению властей
Дворяне ловят демаготовъ;
Крестьяне отъ земли, кормилицы своей,
Бѣгутъ подъ бременемъ налоговоъ,
И пропиваются въ конецъ по кабакамъ,
И пьяны по колѣю море...
Да будетъ стыдно намъ, да будетъ стыдно намъ
За ихъ невѣжество и горе!..

Это стихотворение проникнуто въ большей части великою ненавистью, жившою въ душѣ Некрасова, объектомъ которою, какъ мы видѣли, являлись тѣ общественные группы, которые зиждили свое благополучіе на угнетеніи и разореніи народныхъ массъ, но въ немъ проявилась также и вслѣдъ любовь поэта — любовь его къ родному народу. Тысячу разъ было правъ великій провидецъ Достоевскій, когда записалъ о немъ въ своемъ „Дневнике“ слѣдующій проникновенный слова: „У него была своя своеобразная сила въ душѣ, не оставлявшая его никогда, — это истинна, страстная, а главное, непосредственная любовь къ народу. Онъ болѣль о страданіяхъ его всей душой, но видѣть въ немъ не однѣ лишь униженный рабствомъ образъ, звѣрское подобіе, но смѣг силой любви своей постичь почти безсознательно и красоту народную, и силу его, и умъ его, и страдальческую кротость его и даже частью у说服ать въ будущее пред назначеніе его...“

Но любовь къ народу не была единственной любовью Некрасова. Говоря о ней, выдвигая ее, не слѣдуетъ забывать и о другой великой привязанности поэта, которая также красной нитью проходить черезъ все его творчество и жизнь. Быть-можетъ, съ не столь поглощающею страстью, но съ неменьшимъ постоянствомъ любить Некрасовъ русскую интеллигенцію. Въ его пониманіи ея атрибутомъ являлась не принадлежность къ какому-либо классу или словою, а неустойимое, на чисто-идеалистической почвѣ возникшее и возросшее стремленіе къ новымъ формамъ общественной жизни, къ новымъ соціально-политическимъ идеаламъ и, что особенно важно, къ активной борьбѣ за эти формы, къ активному осуществлению этихъ идеаловъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, отношение Некрасова къ интеллигенціи, равно какъ и отношение его къ народу, не было одностороннимъ, не было однобокимъ. Если, изображая народъ, Некрасовъ не закрывать глазъ на его темные стороны, каковыми въ иныхъ случаяхъ являются стихійная жестокость, склонность къ пьянству и разгулу, алчность и корыстолюбие, то и русской интеллигенції, при всей своей любви къ ней, поэты не задумывался иной разъ бросать въ лицо доста точно суровыя обвинения. Такъ не оставленъ былъ безъ вниманія Некрасовъ едва ли не самый главный изъ грѣховъ, тяготѣвшій на очень многихъ представителяхъ интеллигентской среды XIX вѣка, да откровенно говоря, и позднѣйшаго времени, — неумѣніе согласовать слово съ дѣломъ. Тиль Агарина („Саша“), сердцу которого „доступно и сродно“ все высокое, разумное, свободное, но который чуждъ дающей „силу и власть“ страсти, который „любить сильно, сильный ненавидитъ, а доведись комара не обидитъ!“ — созданъ творческою кистью Некрасова одновременно съ тургеневскимъ Рудиномъ. „Рыцарь на часъ“, „рыцарь добраго стремленія и бѣзпутного житія“, крылатыя словечки, такъ мѣтко характеризующія Ахиллесовъ путь многихъ представителей русского культурного общества, пущены въ обворотъ именно Некрасовымъ. И тѣмъ не менѣе поэзія Некрасова, въ значительной части своей, это восторженный диен-рамбъ, пропѣтый въ честь нашей интеллигенціи. Понимая, что упреку въ „рыцарствѣ на часъ“ подлажить далеко не всѣ интеллигенты, Некрасовъ возвѣгъ въ своихъ стихахъ вѣчный и нестѣнчивый памятникъ героическому порывамъ „образованнаго меньшинства“, тѣмъ порывамъ, которые заставляли его ставить все личное — и свободу и саму жизнь — на карту, когда этого требовали интересы общаго, прежде всего, интересы народа. Съ этой точки зрѣнія Некрасовъ подошелъ къ интеллигенціи и двадцатыхъ и сороковыхъ, и шестидесятыхъ, и сорокахъ годовъ.

Интеллигенція двадцатыхъ годовъ изображена въ его поэмахъ о декабристахъ („Русскія женщины“, „Дѣдушка“), при чёмъ какъ герой, такъ и геройни этихъ поэмъ окружены ореоломъ истинной святости, истинного подвижничества. „Зрѣлище бѣдствій народныхъ невыносимо, мой другъ, счастье умовъ благородныхъ — видѣть довольство вокругъ“, — вотъ въ чёмъ общественно психологическая причина 14-го декабря 1825 г. Рискнувъ

на неравную борьбу во имя этого „довольства вокругъ“, пріявъ въ этой борьбѣ вѣнецъ мученичества, декабристы пошли путемъ Христовыемъ, а потому поэты считали себя въ правѣ говорить о нихъ, осужденныхъ и сосланныхъ, въ такихъ выраженіяхъ:

Напрасно чернила его клевета.—
Онъ былъ безупречный, чѣмъ прежде,
И я полюбила его, какъ Христа...
Въ своей арестантской одеждѣ
Теперь онъ безземнѣо стоять предо мною,
Величіемъ кроткимъ сияя.
Терновый вѣнецъ надъ его головой,
Во взорахъ любовь неземная...

Холоднѣе отношеніе Некрасова къ людямъ сороковыхъ годовъ, такъ какъ имъ-то, главнымъ образомъ, и было присуще отмѣченное выше неумѣніе согласовать слово съ дѣломъ. Считая и себя виновными въ этомъ грѣхѣ, мучительно казни себя за него въ цѣломъ рядѣ стихотвореній, съ тѣмъ болѣшимъ умиленіемъ душевными останавливается поэтъ на тѣхъ дѣятеляхъ сороковыхъ годовъ, которымъ суждено было искупить прегрѣшній своихъ современниковъ, суждено было свою самоотверженію дѣятельностью во имя общественнаго блага, „вынести на плечахъ“ все поколѣніе („Медвѣжья охота“). Изъ числа этихъ дѣятелей особое вниманіе Некрасовъ уѣдлилъ Бѣлинскому и Грановскому. Первому, кроме особого стихотворенія „Памяти пріятеля“ и общественныхъ строфъ въ „Медвѣжьей охотѣ“ („Молясь твоей многострадальной тѣнѣ, учитель, передъ именемъ твоимъ позволь смиренno преклонить колѣни...“), онъ посвятилъ особую поэму, написанную въ 1855 г., которая почему-то упорно не включается въ такъ называемое „полное“ собраніе стихотвореній Некрасова. Въ этой поэмѣ есть очень яркие стихи, изображающие общественную роль Бѣлинского, этого благороднѣйшаго представителя русской интеллигентіи, напримѣръ:

Не пощадить онъ илъ лягушевъ,
Ни подлецовъ, ни идіотовъ,
Ни въ маскѣ жаркихъ патріотовъ
Благонамѣренныхъ воровъ.
Онъ всѣ преданія провѣрилъ,
Безъ ложнаго стыда измѣрилъ
Всю бездуру дикости и зла
Куда, заснувъ подъ говоръ лести,
Въ забвѣни истины и чести,
Отчизна бѣдная зашла.
Онъ расточалъ ей укоризны
За рабство — вѣковой недугъ

И прокричалъ врагомъ отчизны
Его — отчизны ложный другъ
Надъ нимъ ужъ тучи собирались,
Враги шумѣли, ополчались,
Но дикий волъ клеветника
Не помѣшилъ ему искать..
Въ немъ силы пуще разгорались...
И, между тѣмъ какъ передъ нимъ
Его соратники рѣдѣли,
Смирялись, пятясь, вѣмѣли,
Онъ шелъ одинъ неколебимъ..
О! Сколько есть душой свободныхъ
Сыновъ у родины моей
Великодушныхъ, благородныхъ
И неподкупно вѣрныхъ ей,
Кто въ человѣкѣ бражѣ видѣть,
Кто зло клеймить и ненавидить,
Чей свѣтель умъ и яснь взгляда,
Кому разсудокъ не тѣснить
Преданы ржавыя оковы,
Но всѣ ль они признать готовы
Его учителемъ своимъ?..

Съ неменьшей экспрессіей, чѣмъ Бѣлинскаго, Некрасовъ воспѣлъ великихъ шестидесятниковъ — Добролюбова и Чернышевскаго. Въ ихъ психикѣ поэта болѣе всего поражали способность къ полному самоотречению („сознательно мірожія наслажденія



А. С. Некрасовъ, отецъ поэта.

ты отвергать", — говорил поэт о Добролюбове, а в уста Чернышевского вкладывать признание "невозможности служить добру — не жертвой собой") и готовность все, даже саму жизнь, отдать на служение родине ("какъ женщину, ты родину любиль, свои труды, наяджды, помышлены ты отдать ей").

Личность М. Л. Михайлова, одного из первых избранных тернистый путь революционной борьбы за народное дело, в свою очередь, вызывала восторженное отношение со стороны Некрасова. Записав въ альбомъ близкой Михайлову Л. П. Шелгуновой общизвѣтныя слова изъ „Рыцаря на честь“: „суждены намъ благіе порыбы“, Некрасовъ закончилъ свой автографъ прозанческимъ добавленіемъ, обращеннымъ непосредственно къ Михайлову: „Рѣди тѣ, къ кому нельзя примѣнить этихъ словъ, чьи порыбы способны переходить въ дѣло. Честь и слава имъ, честь и слава тебѣ, братъ!“

О Писаревѣ, также яркомъ представителѣ шестидесятыхъ годовъ, поэть, подъ впечатлѣніемъ его смерти, писалъ М. А. Марковичъ: „Писаревъ перенесъ тюрьму, не дрогнувъ нравственно, и, вѣроятно, такъ же вступилъ въ могилу... но вѣдь это исключеніе—покуда жизнь представляла болѣе фактовъ противоположнаго свойства...”

Наступившіе вскорѣ семидесятые годы должны были убѣдить Некрасова въ томъ, что безбоязненность „передъ дверью тюремы и могилы“ перестала быть „исключениемъ“. Сотни и даже тысячи молодыхъ людей обоего пола поняли, выражаясь словами П. Л. Лаврова, что „всякое цивилизованное меньшинство... несетъ отвѣтственность за вѣсъ страданій современниковъ, которымъ оно могло устранить, если бы не ограничилось ролью представителя и хранителя цивилизациіи, а взяло на себя и роль ея двигателя“; понявъ же это, не могли не сознать своего долга передъ народомъ: вѣдь тяжелымъ до кровавого пота народнымъ трудомъ, и нѣчѣмъ инымъ, созданы были тѣ условия, при которыхъ они, т.-е. „цивилизованное меньшинство“, получили возможность пользоваться всѣми благами какъ вѣтшней, такъ и духовной культуры. Вотъ тѣ логическія предпосылки, которыя, оказывая могущественное влияніе на психику молодежи, всегда склонной ко всему возвышенному и благородному, заставили ее мучительно задуматься надъ вопросомъ: „какимъ путемъ она можетъ быть наиболѣе полезна народу?“ „И постепенно она приходила къ выводу, что существуетъ только одинъ путь: нужно ити въ народъ и жить его жизнью. Молодые люди отправлялись поэтому въ деревню, какъ врачи, фельдшера, народные учителя,

волостные писаря. Чтобы еще ближе соприкоснуться съ народомъ, многіе пошли въ чернорабочіе, кузнецы, дровосѣкі. Дѣвушки сдавали экзамень на народныхъ учительницъ, фельдшеріцъ, акушерокъ и сотнями шли въ деревню, гдѣ беззаконно посвящали себя служению бѣднѣйшей части народа. У всѣхъ ихъ не было никакой еще мысли о революціи, о насилии и ненависти переустройствѣ общества по опредѣленному плану. Они просто желали обучить народъ грамотѣ, просвѣтить его, помочь ему какимъ-нибудь образомъ выбраться изъ тьмы и нищеты и въ то же время узнать у самого народа, каковъ его идеалъ лучшей соціальной жизни" (Кропоткинъ).

Судьба лишила Некрасова возможности съяльней полнотой и блескомъ воспѣть народническое движение семидесятыхъ годовъ, съ одной стороны, по цензурной трудности касаться столь „сомнительной“ темы, съ другой, вслѣдствіе того, что 1876—1877 годы, т.-е. какъ разъ въ то время, въ которое могли опредѣлиться и выкристаллизироваться въ поэтическия формы впечатлѣнія поэта отъ дѣятельности народниковъ, были годами медленнаго и мучительного угасанія Некрасова. Тѣмъ не менѣе, въ поэзіи Николая Алексѣевича мы находимъ все же довольно значительное количество откликовъ на народническое движение. Попытка изобразить дѣятеля въ чисто-народническомъ духѣ была сѣблана Некрасовымъ въ поэмѣ „Кому на Руси жить хорошо“. Дѣячковскій сынъ Григорій Добросклоновъ, страстно убѣжденный въ томъ, что „доля народа, счастье его—свѣтъ и свобода, прежде всего“, мечтающій всю жизнь посвятить „для счастія убогаго и темнаго родного уголка“ — это уже въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ типичный народникъ-семидесятникъ.

Еще ярче черты этого послѣдняго должны были оказаться в задуманномъ, но не написанномъ стихотвореніи о земскомъ врачу Ершовѣ. Вотъ что мы знаемъ о предполагавшемся содержаніи его (цитирую малоизвѣстный отрывокъ изъ бумаг Некрасова):

„Ершовъ бытъ хорошій человѣкъ, полезный народу въ своемъ углу. Задѣль, по неосторожности, надѣвавъ шубу въ волостномъ правлениі, за висѣвшій въ присутствіи портреgъ, уронить его, враги донесли, и его куда-то заслали.

Рассказывает дыячок-зайка. Какъ начнеть, такъ и дуеть безъ передышки, а какъ заинкнется, такъ часъ не дождешся продолженія. Такой и размѣръ я старался подобрать:

Онъ попалъ въ нашу мѣстность
Прямо съ школьнай скамейки;
Воплощенная честность,
За душой ни колейки.
Да ему и не нужно!
Поселился онъ въ банѣ,
Жиль съ крестьянами дружно,
Ѣсть что бѣлъ крестьяне.

Пауза. Затѣмъ разскажь, какъ принималъ народъ, какъ лѣчить, на какой лошадкѣ и въ какой телѣгѣѣ бѣзилъ:

А лѣчиль какъ успѣшно!
Звали Ершика повсюду;
Ѣздилъ къ барамъ не спѣшно,
Къ мужику—ту жъ минуту
Ни почемъ темень почн.,
Ни почемъ испогода.
Богъ открылъ ему очи
На страданья наарода.

Дало имъ его земство, но онъ съ нимъ поругался:

Безъ мундира просторнѣй,
Безъ оклада честнѣе.
Человѣка задорнѣй,
Человѣка прямѣе
Не видѣлъ я.

Самъ Господь умудряеть
Человѣка инова
И уста раскрываетъ
На громовое слово...

Дальше ничего нѣть, заикнулся...“
Тѣмъ и кончается эта замѣтка о з

Не такъ давно авторомъ этихъ строкъ былъ найденъ отрывокъ, изображающій дѣятельность ветеринарного врача во время эпизоотіи. Въ уста врача поэтъ вкладываетъ слѣдующій потрясающій разсказъ, рисующій народолюбивое настроение рассказчика:

Умреть жена у пахаря—
Другую заведеть,
Умреть и та—онъ женился
На третьей... Не бѣда!

Н. А. Некрасовъ. Снимокъ съ рѣдкаго фотографического портрета поэта, относящагося къ 50-мъ годамъ.



II. А. Некрасовъ со своей любимой собакой.

Умреть ребенокъ—лишняя
Кроха живымъ останется;
Коровушка падеть—
Все не бѣда, а поль-бѣды.
Бѣда непоправимая,
Когда валиться лошади
У пахарей начнуть.
Зарывь свою коровушку,
„Не плачь жена! Поправимся!—
Мелентій говорить,—
Богъ милостивъ! Съ саврасушкой
Побольше поработаемъ.
Убытокъ наведемъ“.
Чѣмъ свѣтъ идетъ за лошадью,
Пришелъ и оробѣлъ:
Саврастъ его, какъ вкопанный,
Стоитъ, понуривъ голову,
И дышитъ тяжело.
Пощупалъ горло... Господи!
Точь-въ-точъ, какъ у буренушки.
Всю шею разнесло!..
Повель домой саврасушку;
Какъ пьяный, самъ шатается,
И лошадь, словно пьяная,
Шагаетъ вяло, медленно...
У кѣтки привязавъ
Кона, Мелентій вымолвиъ:
Глухими, негромкими голосомъ:
„Что дѣлать намъ теперь?“
Пришла жена съ ребятами,
Пришелъ столѣтній дѣдушка,
Взглазули на саврасушку—

И зарыдали всѣ...
Я тутъ какъ тутъ, по должности
Врача ветеринарного
Наѣхалъ... Вся семья,
Взмолившись, въ ноги бросилась:
„Не самъ ли Богъ послалъ тебѣ?“
Спаси!..“ Досталь я снадобье,
Чтобъ растирали опухоль;
Конь послокойный сталъ,
Да пленкоаго... Слuchaевъ
Выздоровленыя не было
Въ разгарѣ эпизоотіи...
Савраска захрипѣлъ,
Упалъ... Онъ долго корчился,
Отъ боли землю грызъ;
Потомъ заржалъ пронзительно
И вытанулся... „Кончился!—
Крестьянинъ прошепталъ...
На всю семью несчастную
Нашелъ столбнякъ; какое-то
Понтифицкое ужасное
Молчаніе; потомъ
Всеобщее рыданіе
Жены, сестеръ, хозяина,
Слѣпой стоятьней бабушки,
Да мальчика трехлѣтняго,
Котораго саврасушка
Еще вчерашнимъ вечеромъ
Деревней прокатилъ...
Потомъ возгласъ хозяина



Н. А. Некрасовъ на прогулкѣ.

Къ сосѣдямъ, празднымъ зрителямъ:
 „Эй! Братцы! Помоги
 Свести савраску за версту
 И въ сажень яму выкопать,—
 Начальство такъ велитъ
 Мне не на чёмъ свести его,
 Нѣть мочи яму выкопать,
 Ослабь я... помоги!“
 Отказъ. „Помочь мы рады бы,
 Да заразиться боязно,
 У насъ свою скотинушка...“
 — „И ладно! Эй, жена!
 Сестра! Ну, принимайтесь,
 У насъ ужъ падать некому
 И вирамъ!“ Савраску бѣднаго,
 Вооружась лопатою,
 Семья новолодка.

И Григорій Доброеклоновъ, и лѣкарь Ершовъ, и ветеринарный врачъ это народники начального периода движения, того периода, когда оно не успѣло еще, подъ вліяніемъ дикихъ правильственныхъ репрессий противъ его участниковъ, принять ясно выраженный революціонный характеръ. Однако, вступленіе народнической молодежи на путь революціонной борьбы не только не заставило потускнѣть симпатіи къ ней поэта, но скорѣе обострило ихъ. Вѣдь Некрасовъ явился однимъ изъ главныхъ возбудителей народническихъ настроеній семидесятыхъ годовъ, на что, кстати сказать, совершенно категорически указываетъ въ своихъ воспоминаніяхъ столь компетентный свидѣтель, какъ Н. А. Морозовъ. Могъ ли поэтъ при такихъ условіяхъ „молчать“, когда увидѣлъ, какое неимовѣрно тяжелое бремя взвалили на свои некрѣпкіи плечи молодые участники движения, его послѣдователи и ученики, болѣе того, его духовныя дѣти? Разумѣется, нѣтъ!—и вотъ Некрасовъ пишетъ стихотвореніе „Молодыя лошади“, въ которомъ содержитъ призывъ къ обществу посыпать на помощь молодежи, истощающей свои силы въ тщетныхъ попыткахъ сдвинуть сошедшій съ рельсовъ грузинъ вагонъ русской государственности. Этому стихотворенію, благодаря его аллегорической формѣ, удалось пройти черезъ цензурные фильтры. Зато нечего было и думать напечатать задушевный откликъ Некрасова на процессъ 50-ти (Бардиной, Любатовичъ, Фигнеръ, Петра Алексѣева)—стихотвореніе „Смолкли честные, доблестно павшіе“, потрясающими красками рисующее реакціонную оргію послѣднихъ лѣтъ царствованія Александра II.

Не увидѣло света и другое стихотвореніе Некрасова, написанное имъ подъ впечатлѣніемъ происходившаго въ январѣ 1877 г. процесса участниковъ казанской демонстраціи, во время которой на улицахъ Петрограда впервые зарѣло красное знамя „земли и воли“. Стихотвореніе это, переданное мнѣ виднымъ дѣятелью революціонного народничества С. И. Кривенко, я приведу полностью:

Есть и Руси чѣмъ гордиться,
 Съ нею не шуты!
 Только славнымъ поклониться
 Далеко итти.
 Вестминстерское аббатство
 Родины твоей—
 Миръ подземнаго богатства
 Снѣговыхъ стендовъ.

Оба указанныя стихотворенія проникнуты безотрадной тоской, что и вполнѣ естественно, такъ какъ въ нихъ поэтъ отзывался на факты, говорившіе объ утратахъ и жертвахъ, понесенныхъ борцами за народное дѣло. Но у Некрасова шевелилась мысль

о возможности побѣды, въ его творческомъ сознаніи слагался торжественный гимнъ въ честь побѣдоносной революціи. Увидѣть торжество дорогихъ его сердцу идеаловъ Некрасову не удалось, и отъ задуманнаго имъ гимна сохранился только черновой набросокъ:

Такъ запой, о, поэтъ! Чтобы всѣмъ материю^{*)})
 По Руси по святой, по глухимъ деревнямъ,
 Было слышно, что врагъ сокрушенъ, подонектъ,
 А твой сынъ невредимъ; и побѣда за нимъ;
 Не велить унывать, посыпаетъ поклонъ.

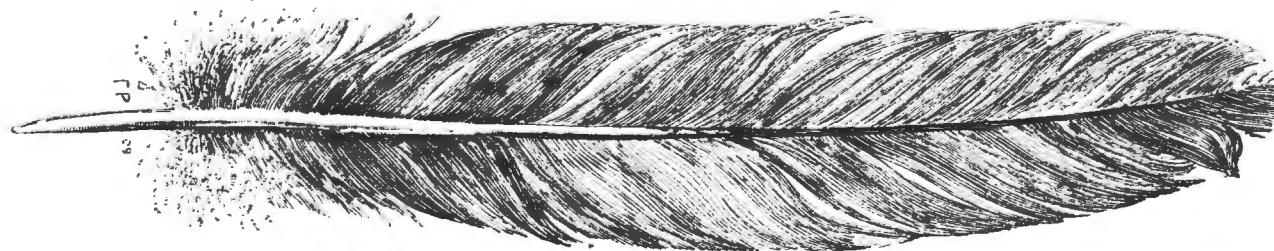
Едва ли не самымъ замѣчательнымъ стихотвореніемъ Некрасова съ содержаніемъ, навѣяннымъ народническимъ движениемъ, является „Отрывокъ“ 1877 г.:

Я сбросила мертвящія оковы
 Друзей, семьи, родного очага,
 Ушла туда, гдѣ чутъ пути Христовы,
 Гдѣ стерегутъ оплощенаго врага, и т. д.

Некрасовъ, несомнѣнно, имѣлъ въ виду крайнее лѣвое крыло народничества, а именно тѣхъ народниковъ, которые однимъ изъ законныхъ средствъ политической борьбы считали терроръ. Я думаю, что иначе объяснить выраженіе „стеречь оплощенаго врага“ невозможно. Отсюда видно, какимъ было бы отношеніе Некрасова къ народовольцамъ, до начала дѣятельности которыхъ ему не пришло дождѣть. Они-то именно и „стерегли оплощенаго врага“, но въ то же время „чили пути Христовы“. „Крещенье въ православіи, но православіе отрицаю, хотя ученіе Христа признаю“—отвѣчалъ глава народовольцевъ Желябовъ на предложенный ему вопросъ о вѣроисповѣданіи. „Богъ—это правда, любовь, и въ этомъ смыслѣ я съ чистою совѣстью говорю о Богѣ, въ котораго вѣрю“,—слова другого вождя народовольцевъ М. Л. Михайлова.

Приведенныхъ примѣровъ и ссылокъ съ избыткомъ достаточно, чтобы судить о восторженно-благоговѣйномъ отношеніи Некрасова къ поколѣнію семидесятыхъ годовъ. Некрасовъ не могъ не благоговѣть, не могъ не умиляться душой, созерцая общественные выступленія дѣятелей, которые благо народное ставили выше всего на свѣтѣ. И русская интеллигенція, выѣдлившая изъ своихъ рядовъ этихъ дѣятелей, представлялась ему тѣмъ именно общественнымъ классомъ, который поможетъ народу сбросить путы и политического, и экономического, и соціального рабства, который указаетъ народу дорогу къ лучшему будущему. Въ своихъ мечтахъ о томъ времени, когда наступитъ „воплощеніе счастія народнаго“, Некрасовъ отводилъ почетную роль интеллигенціи, чьи самоотверженныя усиія должны приблизить это время. Могъ ли предполагать поэтъ, что свѣтлые дни русской революціи, сдѣлавшіе столь близкимъ, столь возможнымъ это долго жданное и страстно желанное „воплощеніе счастія народнаго“, будутъ омрачены гоненіями на интеллигенцію, которая, изъ концѣ концовъ, поведѣтъ къ тому, что между нею и народомъ ляжетъ глубокая пропасть?.. Конечно, мысль объ этомъ не приходила ему въ голову, а если бы и пришла, онъ постарался бы отогнать ее, какъ ни съ чѣмъ несообразную. Но неожиданное и негаданное свершилось: наше время поставлено лицомъ къ лицу, какъ и указывалось выше, съ антиинтеллигентскими настроениями широкихъ масъ. Вотъ почему одной изъ наущнѣйшихъ задачъ данного момента является широкая популяризация Некрасова. Пусть демократический читатель, знакомясь съ Некрасовымъ, самъ народолюбивымъ изъ русскихъ поэтовъ, научится по его стихамъ любить и уважать русскую интеллигенцію, пусть онъ пойметъ, что, любя народъ, нельзя не любить той общественной группы, которая, въ лице своихъ лучшихъ представителей, видѣла свое главное назначеніе въ служеніи народу.

^{*)} Рѣчь идѣтъ о материахъ, чьи сыновья томятся въ Петропавловской крѣпости.



Неизданное письмо
Н. А. Некрасова
къ сестрѣ.

Здравствуй, милая Аненька, здравствуйте, Генрихъ Ст. Покуда пишу ламъ только, что я здоровъ, принялъ за свои дѣла, дѣла идутъ изрядно,—завтра или на-дняхъ буду съ однѣмъ морскимъ офицеромъ въ Кронштадтъ и послѣ вами напишу.

А теперь прощайтѣ — будьте оба здоровы и веселы и пишите ко мнѣ къ Владимирской въ Поварскую улицу въ домъ Тулубова, № кв. 7-й. Гдѣ вы теперь — въ го-родѣ, въ Путятинѣ-Грешневѣ, или идете въ походѣ?

Жалѣю, что не могу послать тебѣ, Аненька, извѣстную матерію. Теперь я просто безъ гроша. Затѣль предпріятіе въ десять тысячи, имѣя только четыре, и вся-кую копейку, какая есть, принужденъ отдавать на бумагу, на пе-чать, на картинки и на всякия другія принадлежности. Всё это изготавливается только къ генварю, и тогда только начнутся деньги, то есть законное вознагражденіе за трудъ и за рискъ. Впрочемъ, дѣло идетъ успѣшно, потому что я привлекъ къ себѣ въ долю по этому предпріятію г. Языкова, своего



А. А. Буткевичъ, сестра Н. А. Некрасова.

короткаго знакомаго, имѣющаго капиталъ, и чего недостаетъ де-негъ беру у него, разумѣется, въ ожиданіи будущихъ благъ, ко-торыя, впрочемъ, очень вѣрны. Прощайте, пишите ко мнѣ. Я васъ люблю.

Н. Некрасовъ.

19 октября 1845 г.

Если принять во вниманіе, что число разысканныхъ и напечатанныхъ писемъ Некрасова периода 1840—1845 гг. чрезвычайно не-велико (какихъ-нибудь 5—6 пи-семъ), то приведенный, не по-являвшійся доселѣ въ печати, авто-графъ письма поэта отъ 19-го октября 1845 г. нельзя не признать рѣдчайшей и драгоцѣнѣйшей находкой. Ею мы обязаны Анатолію Федоровичу Кони, которому и приносимъ нашу глубокую благо-дарность.

Письмо Некрасова обращено къ Аннѣ Алексѣевѣ Буткевичъ, сестрѣ поэта и едва ли не самому близкому ему человѣку (портретъ ея воспроизведенъ здѣсь на этой страницѣ), и ея мужу Генриху Станиславовичу Буткевичу. Греш-нево — родовое имѣніе Некрасо-выхъ. „Затѣя“, о которой говорить здѣсь Некрасовъ, — изданіе альманаха „Петербургскій Сборникъ“.

В. Евгеньевъ-Максимовъ.

Здравствуйте Аннѣ,
здравствуйте Генрихъ Ст.
Покуда пишу ламъ только
но, что въ городе, принес-
енъ за свою дѣла, дѣла идутъ
изрядно — завтра иши де-
шифрую съ этого мѣсяца
прибѣгъ въ Кронштадтъ
и послѣ вами напишу.
А теперь прощайтѣ — будьте
всѣ здоровы и веселы и пи-
шите ко мнѣ къ Влади-
мирской въ Поварской улицѣ,
въ домѣ Тулубова № кв.
10. Но все же не будьте
въ Кронштадтѣ, лучше
все же идите въ Петер-
бургъ, где и погодъ
и погоды лучше.

Давно, что пишу письма
тебѣ, Аннѣ, и вѣнчанъ на гербъ
теперь съ прошлой осени 3-го
предпріятіе въ 10 тысячъ идетъ
такъ какъ первое и всѣхъ кон-
ту хане съ оружіемъ 3-

девять и бывшему, то и
дѣло, то картинки и то
всюдѣ другіе привады
и то приговариваю
къ Петербургу, и тогда вѣдь до
конца года дѣло, то есть
законное вознагражденіе
за трудъ „зариски. Киро-
гово“, или „зариски,
помимо-то въ прошломъ
къ сей въ дѣло по землемѣ-
рюсприѣтствію? Годъ-то
здесь короткое и не-
зимногое вѣдь да, а зѣ-
мельщиковъ десетъ лѣтъ у
меня, разумѣется въ землемѣ-
рюсприѣтствіи, вѣдь
вѣдь земельщиковъ, зѣ-
мельщиковъ, земельщиковъ
и васъ идей.

Н. Некрасовъ

19 октября
1845

Н. А. Некрасовъ и цензура.

Очеркъ В. Евгеньева-Мансимова.

Одну изъ наиболѣе трагическихъ страницъ въ жизненной книжѣ Н. А. Некрасова составляетъ отношеніе къ нему отечественной цензуры. Цензурное вѣдомство съ удивительнымъ постоянствомъ въ теченіе цѣлаго сорока лѣтія искажало и уродовало своимъ безпощаднымъ прессыомъ свободолюбивыя вдохно-

венія „музы мести и печали“. Въ особой статьѣ (она составила послѣднюю главу въ моей книжѣ о Некрасовѣ) мнѣ уже приходилось останавливаться на тѣхъ, прямо-таки превосходящихъ всякое вѣроятіе преслѣдованіяхъ, которымъ подвергали россійскіе цензоры, эти истинные „палачи слова“, Некрасова. Особенно уси-



„Некрасовъ и цензура“. Запрещенная цензурой иллюстрація къ стих. Некрасова „Орина—мать солдатская“, изъ альбома рисунковъ А. Лебедева.



«Некрасовъ и цензура». Иллюстрація къ поэмѣ Некрасова „На Волгѣ”, изъ альбома рисунковъ А. Лебедева.

лились эти престѣдованія въ послѣдніе два года жизни Некрасова. Въ концѣ 1876 года цензура вырѣзала изъ „Отечественныхъ Записокъ“ одну изъ лучшихъ главъ поэмы „Кому на Руси жить хоронио“ — „Пиръ на весы міръ“; въ мартѣ 1877 г. сестрѣ поэта пришлось усиленно хлопотать обѣ ускореній выпуска въ свѣтъ „Послѣднихъ пѣсенъ“ и успокаивать путемъ личныхъ объясненій разыгравшуюся мвительность аргусовъ Цензурного Комитета. Однако сдава ли не самой характерной для отношенія къ Некрасову цензурныхъ инстанцій является впервые извле-

каемая мною изъ архивной пыли исторія съ изданиемъ рисунковъ художника Лебедева на темы некрасовскихъ стихотвореній: ужъ слишкомъ цинично-откровенны тѣ мотивы, которыми руководствовался въ данномъ случаѣ Цензурный Комитетъ въ своихъ запрещеніяхъ.

Альбомъ Лебедева подъ заглавіемъ: „Кое-что изъ Некрасова“, кроме рисунка на обложкѣ, изображавшаго „музу мести и печали“ въ образѣ женщины съ лирой, на берегу бушующаго моря, и портрета самого поэта, которымъ открывался альбомъ, заключ-

чаль въ себѣ въ своемъ первоначальномъ видѣ одиннадцать рисунковъ-иллюстрацій: „Власть“ (№ 1), „Тройка“ (№ 2), „Крестьянскія дѣти“ (№ 3), „Морозъ красный носъ“ (№ 4), „Дешевая покупка“ (№ 5), „На Волгѣ“ (№ 6), „Похороны“ (№ 7), „Филантропъ“ (№ 8), „Огородникъ“ (№ 9), „Свадьба“ (№ 10) и „Орина—мать солдатская“ (№ 11). Содержаніе каждого рисунка пояснялось соотвѣтствующими стихотворными отрывками, напечатанными на особыхъ листахъ тонкой бумаги, предшествовавшихъ рисункамъ.

Цензурный Комитетъ, разсмотрѣвъ рисунки, наложилъ запретъ на цѣлыхъ четыре изъ нихъ, а именно на рисунки къ стихотвореніямъ „Огородникъ“, „Орина мать солдатская“, „Свадьба“ и „Филантропъ“*). Лебедевъ не пожелалъ помириться съ этимъ рѣшеніемъ и обжаловалъ его въ Главное Управление по дѣламъ печати. Главное Управление затребовало у Комитета объясненій (въ отношеніи отъ 22-го декабря 1877 г., за № 6107; см. „Дѣло С.-Петербургскаго Цензурного Комитета 1877 г. по рисункамъ художника Лебедева къ сочиненіямъ Некрасова: началось 24-го декабря 1877 г.: окончилось 24-го марта 1878 г.“). Комитетъ отвѣтилъ подробнѣмъ донесеніемъ (отъ 13-го января 1878 г. за № 62), въ которому мысли которыхъ представляютъ собою настоящіе перлы, достойные если не гоголевской, то, во всякомъ случаѣ, щедринской кисти. Приведемъ его полностью:

„Всѣдѣствіе предложенія Г. У. по д. п. отъ 22-го декабря за № 6107 Комитетъ имѣть честь представить слѣдующія объясненія на жалобу художника Лебедева.

Изъ числа рисунковъ къ стихотвореніямъ Некрасова Комитетъ признаны неудобными:

1) Огородникъ. Извѣстный разсказ Некрасова о любовной связи мужика-огородника съ дочерью помѣщика, — связи, кончившейся для крестьянина позорной ссылкой, — самъ по себѣ тенденціозъ. Въ рисункѣ Лебедева еще рельефѣ выступаетъ глубокая рознь и враждебность сословій, ровно какъ и вопіющая несправедливость приговора, постигшаго крестьянина.

2) Орина—мать солдатская. Послѣ восемнадцатиразлуки солдатъ возвращается домой на побывку, но не на радость матери: его мучитъ смертельный недугъ. Умирая въ бреду, онъ обращается съ какой-то невысказанной мольбой къ своему командиру. Комитетъ находитъ крайне неудобнымъ, въ особенности теперь, при патріотическомъ настроеніи всего общества, такъ рельефно выставлять гибельный послѣдствіе военной службы.

3) Подпись къ рисунку, изображающему „Бурлаковъ“ — потому, что въ ней одинъ изъ рабочихъ высказываетъ, что ему хотѣлось бы лучше умереть къ утру, чѣмъ томиться въ этой работе. Такое желаніе указываетъ на тяжкія невыносимыя условія, въ которыхъ будто бы поставлено наше рабочее сословіе.

4) Рисунокъ къ стихотворенію „Свадьба“ представляетъ совершаемый въ церкви брачный обрядъ лицами, которыхъ связала случайная безнравственная связь, и которымъ поэтъ въ приведенныхъ стихахъ сужитъ самую безотрадную семейную жизнь. Въ такомъ сопоставленіи будущаго семинарного горя и непоправимости зла, всѣдѣствіе посредничества церкви, слышится упрекъ установленному церковью брачному союзу.

5) Рисунокъ къ стихотворенію „Филантропъ“ — всѣдѣствіе того, что художникъ придалъ изображенію филантропа служебную обстановку государственного сановника.

При извѣстномъ направленіи поэзіи Некрасова къ порицанію существующихъ условій быта про-

стого народа и сопоставленію его съ высшими сословіями, Комитетъ считалъ своею обязанностью отнести съ особою осторожностью къ иллюстраціямъ, усиливающимъ впечатлѣніе стихотвореній“. (Подпись предсѣдателя Комитета А. Петрова и секретаря Н. Пантелеева).

Эта смѣхотворная мотивировка столь рѣшительной мѣры, какъ запрещеніе четырехъ рисунковъ, даже Главному Управлению показалась малoubѣдительной, и оно рѣшило нѣсколько умѣрить пыль своего подначального органа.

„Совѣтъ Главного Управления по дѣламъ печати,—читаемъ мы въ отношеніи Гл. Упр. отъ 20-го февраля за № 1073,—разсмотрѣвъ представленіе С.-Петербургскаго Цензурного Комитета за № 62, по поводу дозвolenій имъ къ печати препровождаемыхъ при семъ рисункахъ художника Лебедева къ стихотвореніямъ Некрасова, находилъ вполнѣ правильнымъ запрещеніе рисунка къ стихотворенію „Орина—мать солдатская“, остальные же полагалъ дозволить со слѣдующими ограниченіями:

Въ рисункѣ къ стихотворенію „Огородникъ“ нижнюю виньетку, изображающую преступниковъ, отправляемыхъ по этапу въ Сибирь, уничтожить, а низъ рисунка закончить одною средней картиной, измѣнивъ при этомъ и текстъ къ рисунку.

Въ рисункѣ къ стихотворенію „Филантропъ“, для устраниенія офиціальной обстановки, которую придалъ изображенію художникъ, уничтожить у филантрона свѣтлую пуговицы и у выводящихъ бѣднаго чиновника—погоны, канты на рукавѣ и свѣтлые пуговицы.

Рисунокъ къ стихотворенію „Свадьба“, для устраниенія всякихъ нежелательныхъ толковъ о значеніи брака, разрѣшить безъ текста.



„Некрасовъ и цензура“. Иллюстрація къ стих. Некрасова „Огородникъ“, изъ альбома рисунковъ А. Лебедева, запрещенная цензурой и „исправленная“ художникомъ.

Что же касается текста, приложенного к рисунку „На Волгѣ“, то, по мнѣнию Совѣта, онъ безвреденъ, и обыкновенному выраженію „лучше умереть“ едва ли можно придавать то тенденціозное значение, которое усматриваетъ Комитетъ. (Подпись за начальника Главнаго Управления ѡ. Веселаго).

Такимъ образомъ, какъ видить читатель, въ данномъ случаѣ рѣчь можетъ ити только о нѣкоторомъ „умѣреніи пыла“, ибо и позиція Главнаго Управления является въ достаточной степени твердокаменной по части „охраненія основъ“, какъ понимали это охраненіе люди въ мундирахъ Цензурного вѣдомства. Само собой разумѣется, „основы“ никакъ не страдали отъ рисунковъ Лебедева, но рисунки эти популяризировали Некрасова, Некрасовъ же былъ патентованый „потрясатель“, а потому интересы охраненія требовали, елико возможно, притѣснить Лебедева.

Небезынтересно замѣтить, что въ вопросѣ о пояснительной надписи къ рисунку „На Волгѣ“ на практикѣ восторжествовала все-таки точка зрѣнія Комитета, а не Главнаго Управления, такъ какъ надпись была измѣнена, и испугавшія Комитетъ слова бурлака „лучше умереть“ были изъ нея выброшены.

Мнѣ думается, что разсказанный эпизодъ имѣетъ значеніе и безотносительно къ Некрасову, необычайно ярко свидѣтельствуя, до какихъ геркулесовыхъ столповъ нелѣпости можетъ доходить власть, призванная „вязать и разрѣшать“ произведенія живого человѣческаго творчества, въ области ли художественнаго слова, въ области ли художественной иллюстраціи, безразлично.

Эти геркулесовы столпы нелѣпости являются обыкновенно слѣдствиемъ не столько персональной злонамѣренности, сколько слѣдствиемъ ложности и несостоятельности принципа, положенного въ основу дѣятельности всякой цензуры, какую бы форму она ни принимала, какими бы лозунгами ни прикрывалась.



„Некрасовъ и цензура“. Иллюстрація къ стихотворенію Некрасова „Свадьба“, изъ альбома рисунковъ А. Лебедева.

Чудо

Разсказъ Н. Тихонова.

I.

Семенъ Ивановичъ Клокачевъ былъ однокимъ человѣкомъ и, какъ всѣ однокіе, эгоистомъ. Но эгоизмъ его имѣлъ нѣкоторую долю благородства. Такъ на него находили минуты тонкой грусти и любви, и тогда онъ звалъ всѣхъ людей—братьями, оплакивая съ ними свои и ихъ горести, готовъ быть итти и бороться со всѣми врагами человѣчества, готовъ быть отдать первому встрѣчному свой кошелекъ и „послѣднюю“ рубаху... Но такъ какъ такія минуты находили на него обыкновенно тогда, когда онъ отдыхалъ на диванѣ послѣ обѣда, или ночью, во время безсонницы, то поэтому кошелекъ и „послѣдняя“ рубаха оставались тамъ, где лежали.

У Семена Ивановича было много знакомыхъ, которые относились къ нему съ уваженіемъ и, встрѣчаясь на улицѣ, всегда спрашивали:

— Ну, какъ ваше здоровье, какъ ваши дѣла?— добавляя неизмѣнно:— а погода-то сегодня—ничего...

— Погода-то ничего,— отвѣчалъ онъ,— здоровье хорошее, а начинать дѣла—такъ мы, знаете, зондируемъ почву...

„Зондировать почву“ — было его любимымъ выражениемъ. И когда онъ говорилъ какому-нибудь просителю: „вы подождите, батенька, я вотъ въ слѣдующую субботу пойду по вашему дѣлу... зондировать почву, такъ сказать“,—то проситель сразу

проникался къ нему уваженіемъ и жаль руку особенно крѣпко и благодарно...

И потому Клокачевъ вѣрилъ въ чудо... Точно сказать, что онъ подразумѣвалъ подъ этимъ словомъ, онъ не могъ, такъ какъ сущность этого чуда, по его мнѣнию, нельзя было передать словами. Но это чудо должно было прійти и измѣнить его жизнь по-новому, сдѣлать изъ него другого человѣка, ничего общаго не имѣющаго съ прежнимъ Семеномъ Ивановичемъ и его знакомыми...

II.

И онъ самъ пробовалъ итти навстрѣчу этому чуду. Зондировать почву для этого чуда стало цѣлью его жизни. Сначала онъ попробовалъ влюбиться и долго ухаживалъ за одной дѣвицей, которая была красива, мило смѣялась, пѣла цыганскіе романсы и даже читала Метерлинка... Но разъ она сказала какую-то сочную глупость, и Семенъ Ивановичъ покраснѣлъ, не зная самъ почему, всталъ, сухо попрощался и ушелъ. И дома онъ легъ на диванъ, началъ думать о своей любви и понялъ, что ему не нужна ни эта дѣвица ни ея цыганскіе романсы...

Тогда онъ обратился къ книгамъ. Онъ рѣшилъ, что въ книгахъ можно отлично зондировать почву для этого неуловимаго чуда, которое, какъ нѣкого Мифистофеля, вдругъ удастся ему вызвать изъ мрака небытія заклятыми философскими формулъ.

И онъ писалъ длинные, скучные списки нужныхъ ему сочинений, въ каталогахъ и указателяхъ спрашивался и выбиралъ самыя мудрыя названия, и потомъ долго ходилъ по магазинамъ, принося домой цѣлые кипы томовъ, связанныхъ тонкими бечевками, завернутыхъ въ желтую плотную бумагу, пахнувшую типографской краской и сыростью.

И когда эти связки наполнили его комнату и лежали на комодѣ, на столѣ, подъ кроватью,—онъ на-шель, что теперь можно приступить и къ дѣлу.

Садясь пить чай или обѣдать, онъ бралъ наугадъ первый изъ попавшихъ подъ руку томъ, прочитывалъ не спѣша такое далекое для него и торжественное заглавие, въ родѣ: „Антисемитизмъ и кол-лективизмъ, и ихъ влияние на экономическое и общественное развитіе Италийского королевства во второй половинѣ XIX вѣка“—не спѣша разрѣзая первыя десять страницъ, прочитывалъ аккуратно каждую первую верхнюю строку на каждой страницѣ—и бросалъ книгу на кровать, а самъ бралъ вечернюю газету.

Но прислуга, убиравшая комнату, вѣро, считала Семена Ивановича ученымъ человѣкомъ, болѣе ученымъ, чѣмъ глупый докторъ изъ двадцати восьмого номера, который всегда навеселѣ, приводить ночью женщины, писать рецепты на спиртъ за деньги и анаеемски ругаетъ прислугу, постоянно упрекая ее въ кражѣ чего-нибудь.

Разъ въ газетѣ Семенъ Ивановичъ прочелъ, что образовалось общество искателей новой вѣры, членъ котораго прочтеть въ слѣдующее воскресеніе лекцію объ этомъ необыкновенномъ обществѣ и объ открытомъ имъ необыкновенномъ Богѣ.

Семенъ Ивановичъ послѣ двухъ часовъ дня нарочно сѣѣздила на далекую улицу, где находился домъ, въ которомъ должна была читаться лекція, взялъ себѣ билетъ въ двадцать пятомъ ряду и пришелъ на лекцію за полчаса до начала. Тамъ онъ сѣѣ на свое мѣсто, всѣмъ существомъ готовый воспринимать то, что началь говорить низкимъ, визгливымъ голосомъ человѣкъ въ сюртукѣ, съ узкими, постымыми лицомъ и не мигавшими глазами... Сначала онъ старательно вникалъ въ темную, переполненную специальными выраженіями, рѣчь лектора, два раза вынималъ платокъ и сморкался, одинъ разъ вытеръ выступившій потъ на лбу, а потомъ съ нимъ случилось что-то такое смѣшное и глупое, что, когда онъ вспоминалъ обѣ эти позы, ему всегда становилось холодно, хотя бы это и было лѣтнимъ полднемъ.

Онъ погрузился въ какую-то сладкую нирвану, где ему было приятно и легко, и где слышалось журчаніе какихъ-то невѣдомыхъ рѣкъ и жужженіе невидимыхъ пчелъ, и онъ уже думалъ, что его существо вступило въ сферу долгожданного чуда, какъ вдругъ какіе-то непрѣятные толчки коснулись его боковъ, и чей-то голосъ произносилъ упорно и насыщено:

— Господинъ! Господинъ! Проснитесь. Все уже... Конецъ... Господинъ! Господинъ!

И Семенъ Ивановичъ проснулся. Его поразилъ опустѣвшій залъ, будто смѣявшийся пустыми мѣстами и полупогашеннымъ свѣтломъ, и сторожъ, маленький, курносый, въ затасканной ту-журкѣ съ оборванными пуговицами и желтыми, провалившимися щеками. И ему было неловко и стыдно, когда онъ вышелъ на улицу, и ему казалось, что всѣ на него показываютъ пальцами и дразнятъ высунутыми языками. Придя домой, онъ сердитымъ ударомъ ноги отбросилъ книги поглубже подъ кровать и, посмотрѣвъ въ зеркало, сказалъ:

— Врутъ газеты... Вѣтъ что значитъ зондировать почву.—По-шель, и что же? Пустяки, болтовня... даромъ деньги берутъ.

Такъ онъ и говорилъ своимъ знакомымъ, когда его спрашивали о необыкновенномъ обществѣ и о необыкновенномъ Богѣ...



„Некрасовъ и цензура“. Иллюстрація къ стихотворенію Некрасова „Филантропъ“, изъ альбома рисунковъ А. Лебедева, запрещенная цензурой и „исправленная“ художникомъ.

III.

Вагонъ трамвая прыгалъ и визжалъ, какъ собака, которую заставили тащить тяжело нагруженную телѣжку. Семенъ Ивановичъ стоялъ посрединѣ вагона, етиснутый обычной трамвайной публикой и разматривалъ своего соѣда, шуплого и нервнаго господина, все время кусавшаго губы и моргавшаго рѣсницами, будто собиравшагося съ минуты на минуту заплакать. И когда къ нему простищася кондукторша и сказала деревяннымъ голосомъ: „пожалуйте вашъ билетъ“,—господинъ засуетился, заерзъя на мѣстѣ, полѣзъ въ одинъ карманъ, потомъ въ другой, почему-то пристально уставился на Семена Ивановича острыми, злыми глазами и сказъя упавшимъ голосомъ:

— Кошелекъ вытащили, ей-Богу, вытащили...

— Бываетъ ихъ мало!—сказалъ смуглый господинъ съ черной, будто углемъ нарисованной эспаньолкой.

— Какъ вы сказали?

— Бываетъ ихъ мало, воровъ-то—на мѣстѣ надо было бы класть. Тогда разучились бы...

— И не говорите, — вторила ему тощая дама съ огромной муфтой и черной мѣховой шляпой, — у моей матери недавно боя отрѣзали, и тутъ же воръ и оказался въ вагонѣ, не успѣлъ уйти...

— Да, а что вы думаете... Онъ и сейчасъ не ушелъ. Обыскать бы надо кое-кого,—отвѣтилъ смуглый господинъ и тоже пристально посмотрѣлъ на Семена Ивановича.

„Неужели я такъ похожъ на вора,—подумалъ онъ,—что они всѣ на меня такъ смотрятъ?“—и вдругъ къ своему ужасу онъ почувствовалъ, какъ чья-то рука осторожно кладетъ въ его карманъ какую-то вещь... Произошло движеніе... Кто-то кого-то толкнулъ, рука вернулась обратно въ толпу, а въ карманѣ у себя

онъ нацупалъ чужой, украденный кошелекъ. И ему стало страшно и стыдно, будто онъ самъ укралъ. И, не отдавая себѣ отчета въ томъ, что дѣлаетъ, не замѣчая подозрительныхъ взглядовъ окружающихъ, смотрѣвшихъ на его внезапно измѣнившееся лицо, онъ рѣзко повернулся и стала протискиваться къ выходу, наступая на ноги, толкая пассажировъ, упираясь руками въ чьи-то плечи и животы, такъ что раздѣлились протестующе возгласы. А онъ усилилъ работу локтями и говорилъ взволнованно и быстро:

— Пропустите, ахъ, да пропустите же...

И чувствовалъ, что сейчасъ случится что-то нелѣпое, грубое, неожиданное... И вдругъ за его спиной раздался рѣзкий, визгливый голосъ обокрашенного господина: "держи, держи, держи!" И ему вторилъ другой—женскій, пискливыи, съ перерывами, дрожавшій на одной нотѣ вскрики: "воръ, воръ, воръ"...

И весь вагонъ поднялся на ноги, застучалъ, заволновался, наполнился негодящими отрывками фразъ, и у самого порога на плечи Семена Ивановича легла чья-то крѣпкая рука, вѣпчившаяся въ него, и хриплый голосъ сказалъ:

— Нечай тутъ разговаривать!

Трамвай остановился...

IV.

... Сначала шло немного... Одинъ солдатъ съ немолодымъ, густо заросшимъ волосами лицомъ держалъ Семена Ивановича подъ руку и старался шагать съ нимъ въ ногу, другой провожатый, человѣкъ въ драповомъ пальто, шелъ мелкими спѣшающими шагами, теребя пуговицу, вѣсившую на двухъ ниткахъ, и все повторялъ слѣдовавшій за ними человѣкъ двадцати:

— Ну, что надо? Ну, что надо? Вора не видали?

Семенъ Ивановичъ потерялъ всякую возможность соображать. Ему казалось, что ничего не случилось, что онъ продолжаетъѣхать въ трамваѣ, скоро выйдетъ черезъ двѣ остановки, войдетъ къ себѣ въ подъѣздъ, поднимется на третій этажъ и будетъ завтракать. И вичего ужаснаго не могло съ нимъ случиться, потому что улицы, по которымъ его вели, были ему съ дѣтства знакомы, люди, которые шли за нимъ, были обыкновенными людьми, какихъ много на всѣхъ углахъ и у всѣхъ магазиновъ. И ему совсѣмъ не было понятно, что—онъ, и только онъ, является героямъ этой процесіи, къ которой присоединились новые и новые любопытные, шумѣвшіе торопливыми голосами и шедшіе спотыкающимися, нетвердыми, чего-то боящимися ногами.

И ему даже не хотѣлось говорить... Не хотѣлось поворачивать голову, а ити, итти впередъ, чувствовать, какъ промокъ сапогъ на правой ногѣ, потому что калоша осталась тамъ у трамвая, и смотрѣть ясными свѣтлыми глазами на такое знакомое небо, солнце и дома...

На набережной, у бѣлага горбатого моста, отъ фонаря отдѣлился высокій широкоплечій матроcъ съ рыжимъ шрамомъ у праваго уха, съ колючей щетиной небритыхъ волосъ, и сказалъ громко и властно: "стой!.."

V.

Торговались недолго... Толпа шумѣла, топталась на снѣгу, кричала, перебивая голоса гамомъ, и когда, наконецъ, немолодой солдатъ и матроcъ повели Семена Ивановича къ пустой красной стѣнѣ, между двухъ домовъ,—онъ понялъ, что ему нужно что-то сказать.

Въ это время до него донеслись слова изъ толпы, густо обступившей набережную. Кто-то сказалъ:

— Разъ кошелекъ нашили, чего ужъ тутъ... Что съ ними церемониться...

— Такъ имъ и надо, извергамъ-то, — поддержалъ его бабій голосъ,—а то срамъ, до чего дошли. Среди бѣла дня грабить.

Тишина.

Дай мнѣ платокъ, идемъ скорѣй:
Окованъ дремой тихій садъ,
Таится кто-то межъ вѣтвей,
Струять жасмины ароматъ.

Идемъ скорѣй! Тамъ надъ рѣкой
Насъ ждеть забытая скамья,
Тамъ вѣтеръ шутить съ осокой,
Кручинится, клоняясь, верба.

Тамъ золотымъ мечомъ луна
Разсѣкла дрожь рѣки живую,
Тамъ сладкой жутью тишина
Шепнетъ намъ сказку огневую...

Семенъ Ивановичъ остановился. И все стало ему ясно съ такой безпощадной очевидностью, что онъ нашелъ въ себѣ силы оттолкнуть матроса и, тяжело дыша, зачѣмъ-то снять шапку. Толпа зашумѣла снова. Матроcъ ждалъ, что онъ намѣренъ дѣлать...

— Братцы,—началъ Семенъ Ивановичъ тихо,—товарищи...—но въ горлѣ что-то першило, что-то мѣшало, что-то задерживало дыханіе, и слова были какими-то неполными, будто въ нихъ чего-то не доставало.—Товарищи... такъ вѣдь нельзя... нельзя, я... нужно вѣдь...

Дальше на языке было: "Зондировать почву, зондировать почву", но этого нельзя было сказать, а больше ничего кромѣ этого сказать онъ не могъ. И онъ стоялъ, разинувъ безмолвный ротъ, жадно глотая пересыхающую слону и морозный воздухъ, какъ рыба, выброшенная на лѣдъ.

Матроcъ воспользовался перерывомъ въ его рѣчи и сказалъ грубо, толкая въ спину:

— Ладно... знаемъ уже... Идемъ!

Толпа тудѣла. И Семенъ Ивановичъ понялъ, что онъ больше не скажетъ ни слова, что все кончено... И онъ погрузился въ себѣ. И мысли заверглись, какъ будто его бросили въ длинную и узкую трубу, и лента различныхъ видовъ и словъ обертывалась со страшной быстротой. И ему вспомнились почему-то могилки его отца и матери на Волковомъ кладбищѣ, смуглый господинъ съ эспаньолкой, и все это смѣнялось навязчивымъ и упорнымъ: "зондировать почву, зондировать почву..."

Его приставили къ стѣнѣ, и, когда онъ протянулъ одну руку назадъ, ища опоры, онъ встрѣтилъ холодную, мокрую плоскость камня и инстинктивно ее отдернулся.

"Да какъ же такъ? Да почему же?"—подумалъ онъ, взглянувъ на окружающихъ его и не вѣрь тому, что должно произойти сейчасъ, черезъ минуту... И снова спокойствіе столбняка охватило его. И ему совсѣмъ перестало быть страшно, когда матроcъ вынималъ со строгой осторожностью изъ кармана черное, полированное тѣло револьвера. И, посмотрѣвъ еще разъ на толпу, Семенъ Ивановичъ почему-то вспомнилъ балаганы, о которыхъ въ дѣствѣ рассказывала ему его нянѣка, подслѣповатая, хромая старуха Агаѳѣя, и потому какой-то вульгарный, хватавшій съ сердце тоскливыи мотивы уличной пѣсенки ворвался въ его сознаніе и забаранилъ всѣми звуками: "Кого любила, съ тѣмъ помру... Кого любила, съ тѣмъ помру..."

Сонъ длился. Матроcъ поднялъ черное дуло, и оно было зловѣщее и хищное, какъ глазъ смертоносной птицы. И вдругъ, самъ не зная почему, Семенъ Ивановичъ шагнулъ впередъ, широко перекрестился два раза, второй разъ поспѣшилъ первого, и вытянулся по сторонамъ руки, какъ будто ловилъ невидимую стѣну...

И потомъ что-то хрюстнуло въ морозномъ воздухѣ, точно быстро переломили тукуту палку изъ ольхового дерева—и мостъ сразу сѣдѣлъ скакочкомъ въ воздухѣ, сѣдѣлъ еще больше горбатымъ, сломался и повисъ надъ головой. И потомъ стало темно...

Семенъ Ивановичъ закрылъ глаза и какъ-то не сразу грузно качнулся и сѣмъ у стѣны на мокрый снѣгъ, и разноголосый гулъ толпы превратился постепенно въ торжественную, ровную, властную пѣснью, какъ будто большое, громкое море ласкало его тѣло, заливая его волнами прибоя на песчаныхъ низкихъ отмеляхъ... И шумъ этотъ становился все тише и тише, все прѣятнѣй, все ласковѣй.

И когда онъ въ послѣдній разъ ужаснѣмъ напряженіемъ раскрылъ глаза, онъ не увидѣлъ уже ни моста, ни толпы, ни матроса съ револьверомъ,—ничего, кроме неровнаго куска бѣлага неба... и на этомъ клочкѣ неба онъ увидѣлъ чудо, то чудо, какого онъ не видѣлъ всю жизнь: солнце сѣялось; широкимъ и громкимъ смѣхомъ сѣялось холодное, круглое солнце...

И его вѣки безсильно, но благодарно опустились...

Осенніяя гамма.

Сегодня лѣсь шумитъ грозой осенней...
И сердце сладкою тоской сжимаетъ

Шумъ листвы,
Дрожь травы.

Сегодня лѣсь дрожитъ красой янтарной...
И сердце огненной тоской сжимаетъ

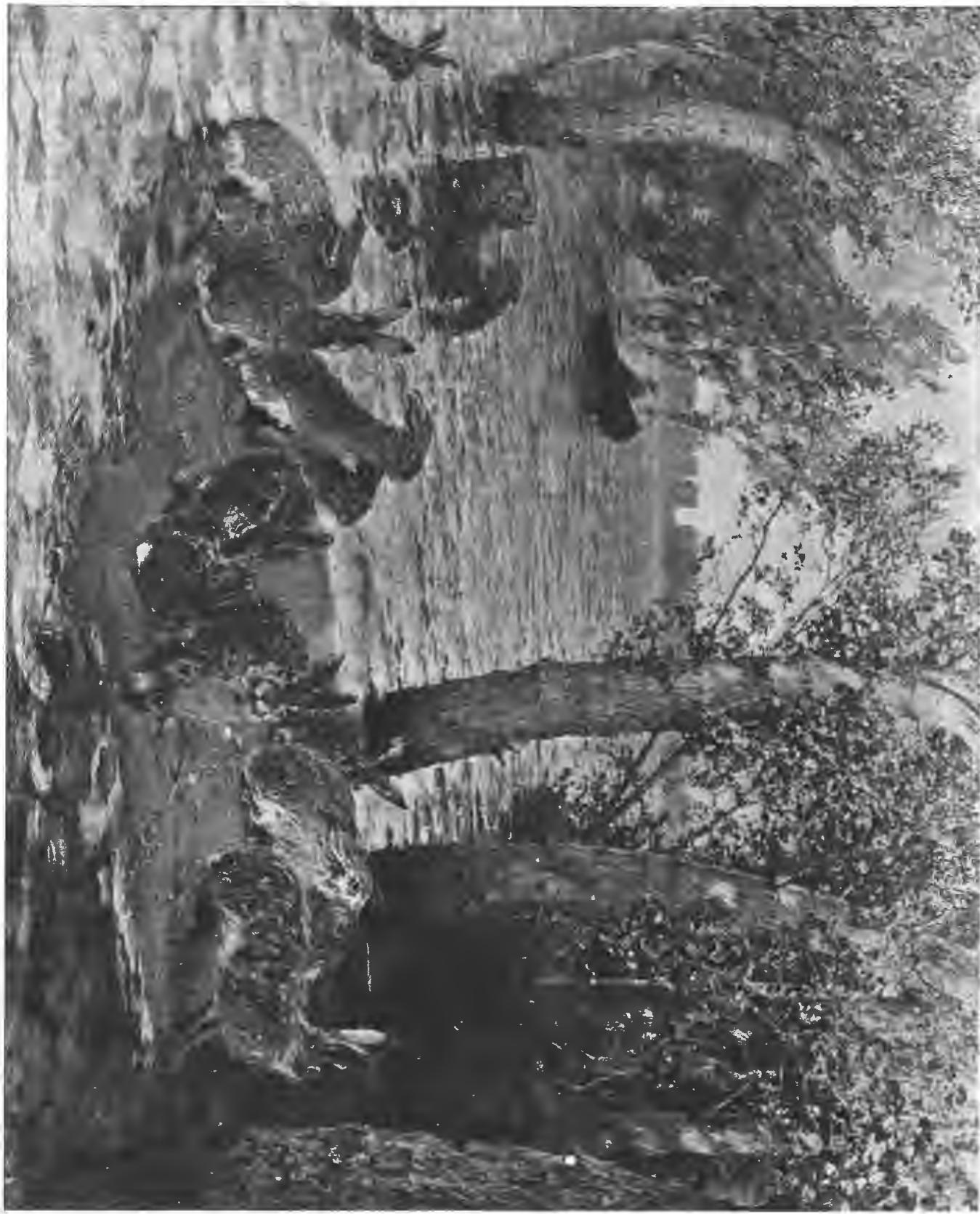
Мѣдь листвы,
Грусть травы.

Сегодня лѣсь поетъ канонъ печальный...
И сердце смертною тоской сжимаетъ

Стонъ листвы,
Смерть травы.

С. Мезерницкая.

Иллюстрація къ стих. И. А. Некрасова „Дядя Мазай и зайцы“.



Я. Веберъ.

Содержание. ТЕКСТЪ: Сорокалѣтіе кончины И. А. Некрасова.—Русская интеллигентія въ изображеніи И. А. Некрасова.—Чоркъ В. Евгеньева-Максимова.—Ненайданное письмо И. А. Некрасова къ сестрѣ.—И. А. Некрасовъ и цензура. Очеркъ В. Евгеньева-Максимова.—Чудо. Рассказъ И. Тихонова.—Тишина. Осенняя гамма. Стихотворенія С. Кезеровскій.

РИСУВКИ: Некрасовъ на смертномъ одрѣ. Н. Крамской.—И. А. Некрасовъ у умирающаго Виссариона Григорьевича Бѣлинского. А. Наумовъ.—З. И. Некрасовъ,

жена поэта (2 портр.).—А. С. Некрасовъ, отецъ поэта.—И. А. Некрасовъ (3 портр.).—А. А. Бутковичъ, сестра И. А. Некрасова.—„Некрасовъ и цензура“. Иллюстраціи изъ альбома рисунковъ А. Лебедева къ произведениямъ И. А. Некрасова: „Орина—мать солдатская“, „Бурлаки“, „Огородники“, „Свадьба“, „Филантропъ“. — Иллюстрація къ стих. И. А. Некрасова „Дядя Мазай и зайцы“. Я. Веберъ.
Къ этому № прилагается „Полного собрания сочинений М. Горькаго“ книга 18.

Издатель Т-ва А. Ф. МАРКСЪ.

Редакторъ И. М. Желѣзновъ.

Артистическое заведение Т-ва А. Ф. МАРКСЪ, Петроградъ, Измайловский проспектъ, д. № 29.

Библиотека "Руниверс"



1918 г.

№ 22.

Выходит еженедельно (52 № въ годъ), съ приложениемъ 52 книгъ „Сборника”, содержащихъ сочиненія А. И. ГЕРЦЕНА, М. ГОРЬКАГО, В. Г. КОРОЛЕНКО, П. БЕРАНЖЕ и Н. И. КАРЂЕВА („Великая Французская Революція”).

Выданъ 1 июня (19 мая) 1918 г. Подписная цѣна съ дост. и перес. на годъ—36 р., на 1/2 г.—18 р., на 1/4 г.—9 р. Цѣна этого № (безъ прилож.)—40 к., съ перес. 50 к.

Главная Контора и Редакція: Петроградъ, улица Гоголя. № 22.

Перепечатка иллюстрацій и текста воспрещается. (Законъ 20-го марта 1911 г.).

Открыта подписка на „НИВУ“ 1918 г.

Съ приложениемъ 52 книгъ „СБОРНИКА НИВЫ“, въ которыхъ войдетъ:

А. И. ГЕРЦЕНЪ (первая серія книгъ)

М. ГОРЬКІЙ (вторая серія книгъ)

В. КОРОЛЕНКО (запрещенный военною цензурою сочиненія)

П. БЕРАНЖЕ (полное собрание ПѢСЕНЪ)

Проф. Н. КАРЂЕВЪ. (Исторія Французской Революціи съ иллюстраціями).



Дузль.

Весенняя выставка въ Академіи Художествъ 1918 г.

Г. Савицкий.

Житейскія встрѣчи и воспоминанія.

А. О. Кони.

I.

„Нѣтъ интереснѣе и глубже драмы—какъ жизнь человѣческая, а величайшій художникъ и драматургъ—самъ Господь Богъ!“
(А. А. Фетъ въ письмѣ къ В. С. Соловьеву).

Лѣтомъ 1908 года, отбывъ, вслѣдствіе обострившихся страданій сердца, трехнедѣльное пребываніе въ одной изъ берлинскихъ клиникъ (Klinik des Westen), я поселился въ пансіонѣ Hundekehle въ очаровательномъ предмѣстьѣ города—Груневальдѣ. Вѣковой, отлично содергимый лѣтъ, прорѣзанный улицами съ изящными виллами, удобное и быстрое сообщеніе съ Берлиномъ, живописные озера и здоровый крѣпительный воздухъ составляютъ несомнѣнныя достоинства этой мѣстности, еще недавно бывшей заброшенной и безлюдной. Маленький пансіонѣ Hundekehle былъ содергимъ хмурымъ нѣмцемъ, весь день до вечера проводившимъ время въ городѣ за своими дѣлами, которыя шли, по видимому, очень неудачно. Онъ возвращался къ рannему ужину, всегда тревожный и часто подавленный какой-то тяжелой заботой. Къ обѣду собиралось все немногочисленное населеніе пансіона. За столомъ велась оживленная бесѣда съ тѣми взаимной предупредительностью и вниманіемъ друга къ другу, которыми отличаются обыкновенно небольшая собранія людей, вынужденныхъ временно жить вмѣстѣ и не связанныхъ ни дѣловыми ни семейными отношеніями. Тутъ обыкновенно господствуютъ миръ и „въ человѣчѣхъ благоволеніе“, которыхъ совершиенно не знаютъ ни обостренная борьба за существованіе ни—очень часто—семейный очагъ, гдѣ синій огонекъ ненависти и отвращенія то и дѣло прорывается наружу между углами принудительнаго сожительства. „Но въ разговорѣ веселый не вступая“ и отвѣчая лишь на обращаемые къ ней вопросы со скромнымъ спокойствіемъ, сидѣла за столомъ въ полномъ смыслѣ слова очаровательная молодая американка. Ея каштановые волосы красивыми складками обрамляли чистый нѣжный лобъ, собираясь сзади въ великолѣпную густую свернутую косу, изъ-подъ которой темными выющиеся змѣйками вырывались на лебедину шею. Изящное очертаніе рта, нѣжный румянецъ и немного сдвинутыя, какъ бы отъ строгой думы, брови дополнялись чудесными темно-голубыми глазами, подъ длинными, загнутыми кверху рѣсицами. Во взглядѣ этихъ глазъ, чуждомъ какого-либо кокетства и смотрѣвшемъ на собесѣдника всегда прямо и сосредоточено, было постоянно оттѣнокъ грустной задумчивости, такъ соотвѣтствовавшій всей ея повадкѣ, исполненной скромнаго достоинства, и даже ея костюму, ревниво скрывающему стройность и красоту ея молодого тѣла. До обѣда она не выходила въ небольшой садикъ при пансіонѣ, а послѣ этого сидѣла обыкновенно гдѣ-нибудь въ его уголкѣ или у окна, внимательно читая книгу. Иногда это была Библія, судя по тисченому золотому кресту на переплетѣ. Къ ужину она появлялась рѣдко, по большей части уходя изъ дома. Тѣмъ она занималась—никто не зналъ, тѣмъ больше, что и хозяева пансіона, озабоченные своими дѣлами, не отличались обычно въ этомъ отношеніи любознательностью. Но впечатлѣніе, производимое ею на всѣхъ наст., было одинаково спѣшное и возвышенное. Отъ нея вѣяло цѣломудріемъ и чистотой. Казалось, что ея присутствіе безусловно устраиваетъ возможность какой-либо двусмыслиности или игривой щутки: ея взглядъ невольно долженъ быть сковывать буйно-веселыя и легкомысленныя уста. Глядя на нее, подчасъ думалось, что она проводитъ у себя время въ какомъ-нибудь тихомъ и вмѣстѣ плодотворномъ труде, проникнутая чувствомъ таинственного смысла жизни, которое доступно и понятно лишь чистымъ сердцамъ, и что въ городѣ она отдаетъ себя какимъ-нибудь добрымъ дѣламъ, не вѣдомымъ толѣ, но осознательнымъ для тѣхъ несчастливцевъ, на которыхъ льтеть своей свѣтѣ ея великодушное и стыдливое сердце. Голосъ послѣдняго сказывался и въ ея нѣжной заботѣ о товарищѣ ея одинакаго существованія—небольшой собакѣ изъ породы такъ, которая безъ словъ понимала всякое ея движение и каждое выраженіе ея лица. А существованіе это было, дѣйствительно, одинакимъ: никогда не приходилось видѣть приходить къ ней кого-либо и получение ею писемъ, или слышать обѣяѣтъ. Что-то загадочное окружало ее: быть-можетъ, какое-либо, глубоко внѣдрившееся въ ея душу, горе, скорбь о безвозвратной потерѣ или слишкомъ раннее дѣйствительное знакомство съ мнимыми радостями и достовѣрными скорбями жизни. Несмотря на всю своюдержанность, наша американка не могла не чувствовать того невольногоуваженія къ себѣ, которое она внушала всѣмъ присутствующимъ. Это сказывалось въ томъ, чувствѣ молчаливой признательности, которое сквозило въ ея глазахъ, когда она вступала въ нашъ тѣсный разноплеменный кружокъ или его оставляла...

И вдругъ она тихо и почти незамѣтно покинула пансіонѣ Hundekehle, не оставивъ сама своего адреса хозяину, забывшему въ

своей постоянной озабоченности его у нея спросить. Для черезъ два послѣ этого одинъ изъ моихъ знакомыхъ, котораго я посыпалъ въ Central-Hotelѣ, уговорилъ меня провести съ нимъ часть вечера въ одномъ изъ многочисленныхъ caf -concert Берлина, членъ рекламированномъ мѣстною ежедневною мелкою прессою. Мы не хотѣлись отказывать ему, хотя я по давнему опыту зналъ всю непривлекательную сторону этого рода развлечений, съ безголосыми исполнителями циническихъ пѣсенокъ и тяжеловѣсныхъ куплетовъ на злобу дня, со спрѣтымъ воздухомъ отъ сигарного дыма и пивныхъ испареній, съ обычной публикой, превращающей изъ иностранцевъ, смотрящихъ на эстраду съ плотояднымъ интересомъ. Такъ было и въ томъ caf -concert, куда мы зашли въ одной изъ боковыхъ узкихъ улицъ, пересѣкающихъ наиболѣе оживленную часть Friedrichstrasse вблизи Bahnhofа. Моя ожиданія не были обмануты. И тутъ какой-то толстый господинъ во фракѣ кривлялся и напѣвалъ спипльный голосомъ въ quasi-комическомъ видѣ про свои неудачи при поѣзденіи Байрейта: и тутъ два клоуна, вымазанные „подъ негра“, играли на гармоникахъ необыкновенного размѣра, колотя ими другъ друга по головамъ и спинѣ и скала зубы своего ярко-натращенаго рта; и тутъ, наконецъ, дѣвочка лѣтъ десяти, одѣтая горничной, въ чепчикѣ и передникѣ, съ корзинкой и метелкой въ рукахъ, пѣла дѣтскимъ голосомъ скабрезные куплеты о томъ, какъ за нею ухаживаѣтъ, и представляла въ лицахъ своихъ череззуръ предпримчивыхъ поклонниковъ. А господа „прѣзжающіе“ одобрительно хлопали и смотрѣли на несчастнаго ребенка, по выраженію Гонкура, d'un oeil paternellement infâme. Я уже собирался распуститься съ моимъ спутникомъ и поспѣшить на трамвай, идущій въ Груневальдъ, какъ музыка исполнила ритурнель, и на эстраду выбѣжалъ, начиная на ходу англійскую пѣсенку, шансонетная пѣвница въ туго обтянутомъ трико тѣлеснаго цвета на ногахъ и какомъ-то подобіи очень короткой и очень открытой одежды. Улыбающееся напускною веселостью и обращенное съ вызывающею привѣтливостью къ публикѣ лицо и въ особенности глаза, такие знакомые, поразили меня. Что-то вчужбѣ болѣю заныло въ сердцѣ. „Боже мой!—сказалъ я себѣ,—неужели это она? Не можетъ быть!“ Не довѣряя своимъ глазамъ, я быстро перешелъ на очищающею мѣсто у столика передъ самой эстрадой. „Да! это ея глаза, ея чудесные волосы, ея стройный станъ, нынѣ такъ откровенно обнаженный, и, наконецъ, это ея голосъ...“ Пропѣвъ первый куплетъ, она легкой походкой, въ тактъ музыки, развязно прошла по сценѣ и начала второй. Ея взглядъ, съ безразличной ласковостью бродившій по залѣ, остановился на мнѣ. Мнѣ показалось, что ея голосъ слегка дрогнулъ, и что она взглянула на меня страдальчески—и укоризненно. Но тотчасъ же ея пѣсенка полилась съ еще болѣшимъ оживленіемъ въ звукахъ и мимики... „Такъ вотъ она, наша дѣственная богиня... такъ вотъ откуда ждетъ ее вѣрный песъ, насторожившись у дверей, поздно вечеромъ“,—говорилъ я себѣ, и печальная картина только-что видѣнаго мною съ жестокою реальностью разбивала недавнее гармоническое воспоминаніе.

II.

Хотя сравненіе судьбы съ кошкой, которая играетъ съ человѣкомъ, какъ съ мышкой, и избито, тѣмъ не менѣе оно невольно приходитъ въ голову, когда припоминаешь случаи, къ сожалѣнію, нерѣдкіе, когда несчастія упорно скапливаются надъ человѣкомъ, оставляя лишь маленькия паузы просвѣтленія и надеждъ, разрушение которыхъ можетъ пережить одна лишь все выносящая человѣческую природу.

Ко мнѣ, какъ предѣдателю благотворительного общества судебнаго вѣдомства, пришла однажды вдова судебнаго слѣдователя одного изъ Окружныхъ Судовъ съ просьбою содѣствовать получению ею какого-либо пособія въ виду ея совершенно безвыходнаго положенія, которое по провѣркѣ оказалось дѣйствительно исключительнымъ по той ironіи судьбы, о которой я сейчасъ говорилъ.

Дѣвушкѣ 17 лѣтъ вышла она замужъ за молодого юриста, только-что назначенаго судебнѣмъ слѣдователемъ въ одинъ изъ уѣздныхъ участковъ. Дѣятельная жизнь мужа, хозяйственное умѣніе жены и взаимная искренность любви создали для нихъ счастливую и полную надеждъ на будущее жизнь. Но черезъ три года, простудившись при переправѣ во время ледохода черезъ рѣку, слѣдователь умеръ, оставилъ вдову съ двумя дѣтьми безъ всякой казеннѣй и земеритальной пенсії. Молодая женщина рѣшила бороться за существованіе свое и своихъ птенцовъ, давала грошевые уроки, переписывала бумаги, обшивала дѣтей и съ величайшимъ трудомъ, прежде всего постарѣвъ и согнувшись, провела ихъ обоихъ чрезъ гимназію. Ко времени окончанія ими съ большимъ успѣхомъ курса судьба ей впервые улыбнулась: она получила мѣсто въ Москвѣ въ одномъ изъ стражевыхъ обществъ. Старшій сынъ поступилъ въ университетъ, а младшій вступилъ въ военную службу вольноопредѣляющимся въ одинъ изъ „дешевыхъ“ армейскихъ полковъ, стоявшихъ



Зимний день въ Петроградѣ.

Весенняя выставка въ Академіи Художествъ 1918 г.

И. Грабовскій.

на Сѣверномъ Кавказѣ. Но улыбка судьбы была мимолетна. Молодой студентъ сталъ подозрительно кашлять и черезъ полгода ушелъ изъ жизни навсегда. Вся любовь и упованія глубоко раненаго материнскаго сердца сосредоточились на младшемъ сыну. Къ этому присоединилась искренняя дружба съ юной сослуживицей по страховому обществу, круглой сиротой, умѣвшей осуществить относительно бѣдной женщины слова Шиллера о „исцѣляющей всѣ раны, любимой и нѣжной руки дружбы“.

Когда съ далекаго Кавказа пріѣхала въ кратковременную побывку сынъ, онъ опѣнилъ душевныя качества той, которая умѣла понять и раздѣлить горе его матери, и горячо полюбить ее. Она отвѣчала ему тѣмъ же, и было рѣшено, что, выдержавъ экзаменъ на офицера, онъ выйдетъ въ отставку и, получивъ обѣщанное ему мѣсто въ томъ же страховомъ обществѣ, женится, при чёмъ они заживутъ одной семьей, связанной общностью чувства и служебныхъ занятій. На этотъ разъ, казалось, судьба развертываетъ предъ бѣдной вдовой-труженицей радугу неприхотливаго счастья. Вскорѣ пришло и извѣстіе о томъ, что сынъ произведенъ въ офицеры, но не можетъ тотчасъ уйти изъ полка и пріѣхать къ матери и невѣстѣ, такъ какъ полковой казначей вслѣдствіе тяжелаго нездоровья долженъ уѣхать въ двухмѣсячный отпускъ за границу, и, по просьбѣ сослуживицѣ, ихъ новый товарищъ вынужденъ на краткій срокъ принять на себя исполненіе его скучныхъ обязанностей.

А черезъ три мѣсяца сынъ писалъ матери, что онъ погибъ, такъ какъ по неопытности и крайнему довѣрію онъ принялъ полковую кассу „на слово“, не обезпечивъ себя никакимъ прѣмѣннымъ актомъ. Минимо-больной казначай оказался бѣжалвшимъ за границу, прихвативъ съ собою, конечно на путевые издергжи, четырнадцать тысячи рублей. Воинскій уставъ въ этомъ отношеніи очень категориченъ и не допускаетъ тѣхъ подраздѣленій виновности по отношенію къ казенному имуществу, которыя знаетъ наше Уложеніе о наказаніяхъ. Объективная виновность была налицо въ видѣ недостатка суммы, а объясненія обвиняемаго не могли устранить примѣненія къ нему суровой кары закона. Судебный приговоръ разбивалъ его служебную карьеру и ложился на него тяжелымъ материальнымъ взысканіемъ, пополнить которое не было ни силъ ни возможности. Будущее представилось несчастнѣемъ въ отъль мрачныхъ краскахъ, что, приди изъ судебнаго засѣданія домой, онъ выстрѣлилъ себѣ въ сердце. Но онъ не зналъ хорошенъко, где именно въ груди помѣщается этотъ мячикъ, которымъ жизнь столь часто играетъ со злобной и безпощадной рѣзвостью. Какъ многіе, онъ полагалъ, что сердце находится въ томъ мѣстѣ, къ которому такъ эффектно приклад-

ываютъ руку оперные теноры и провинциальные трагики. Пуля прошла мимо навылетъ, пробивъ окружающіе покровы и причинивъ тяжкую, грозящую смертью рану. Удрученная горемъ и страхомъ мать, вмѣстѣ съ невѣстой, полетѣла на Кавказъ, получивъ не безъ труда шестинедѣльный отпускъ. На другой день пріѣзда къ одру умирающаго сына она почувствовала себѣ дурно: у нея появились сильнѣйшая головная боль и бредъ, а на другой день обнаружились всѣ признаки сыпного тифа. Цѣлый мѣсяцъ провела ошеломленная новымъ горемъ дѣвушка между двумя дорогими существами, стоявшими на краю могилы, проводя ночи безъ сна, борясь съ надвигавшемся на нихъ смертью всѣми силами своего слабаго организма и горячаго сердца—и, наконецъ, одержала победу. Судьба снова обернула къ нимъ свой благосклонный ликъ: по представлению высшаго начальства, принялаго во вниманіе житейскую сторону дѣла и извинительную по бытовымъ условіямъ и обычаямъ довѣрчивость осужденаго, онъ былъ помилованъ. Между тѣмъ срокъ отпуска истекъ, и нужно было торопиться въ Москву. Но оправившійся настолько, что уже могъ сидѣть, сынъ настойчиво желалъ, чтобы изстрадавшаяся за его жизнь дѣвушка была съ нимъ немедленно обѣтичана. Назначенъ быть день свадьбы, произведено оглашеніе, и невѣста отправилась къ исповѣди послѣ вечерни, наканунѣ предстоявшаго причастія. Почти одновременно съ ея возвращеніемъ домой пришелъ въ ихъ квартиру исповѣдовавшій ее священникъ и, отведя въ сторону еду оправившуюся отъ своей болѣзни мать офицера, сообщилъ ей, что не можетъ совершить обряда вѣнчанія, такъ какъ невѣста во время исповѣди держала себѣ въ высшей степени странно, не отвѣчала на предлагаемые вопросы или говорила явныхъ несообразности, убѣдившій его, что она „не въ своемъ умѣ“. „Мѣгъ тутъ нечего дѣлать,—сказали онъ въ заключеніе,—здѣсь мѣсто доктору“. Пораженные этимъ заявлениемъ женихъ и его мать только тутъ, какъ это часто бываетъ, отдали себѣ ясный отчетъ въ томъ, что уже нѣсколько дней, какъ невѣста уклоняется отъ всякой бесѣды, по цѣлымъ часамъ сидитъ задумавшись и какъ-то безразлично относится ко всему, что совершается вокругъ, что, по ихъ мнѣнію, объяснялось чрезвычайнымъ утомлениемъ и естественною сосредоточенностью передъ такимъ рѣшительнымъ и безповоротнымъ шагомъ, какъ вступление въ бракъ. На другой день былъ приглашенъ врачъ, который нашелъ, что „дѣло не ладно, и пахнетъ душевною болѣзнью“, но такъ ли это, онъ, не будучи специалистомъ, решить не можетъ, а совѣтуетъ безотлагательно обратиться къ опытнымъ психиатрамъ въ Москвѣ или Петербургѣ. Собравшись изъ послѣднихъ средствъ въ

Петербургъ вмѣстѣ съ больною, все болѣе и болѣе начинавшею походить на автомата, жертва новой ироніи судьбы поклялась сыну, по его настоячивому требованиею, написать всю правду о томъ, что скажутъ столичные психіатры. Два заслуженныхъ врача по душевнымъ болѣзнямъ, подвергнувъ привезенную дѣвушку щадительному изслѣдованию и наблюдению, рѣшили, что, вслѣдствіе перевосходящаго ея силы нравственного и физического переутомленія и душевныхъ потрясений, она заболѣла помѣшательствомъ и впала въ неизлѣчимое состояніе, которое будетъ быстро прогрессировать и черезъ нѣсколько мѣсяцевъ обратится въ полнѣшее слабоуміе, безсознательное даже по отношенію къ нормальнымъ проявленіямъ животной природы человѣка. Можно себѣ представить, что пережила несчастная мать, сопоставляя эту научный приговоръ съ данными сыну клятвеннымъ обѣщаніемъ. Но дѣлать было нечего, и горькая истина была написана сыну слезами и кровью измученного сердца. Казалось бы, что испытания, ниспосланія судьбою, дошли до своего предѣла. Но это было не такъ... Въ отвѣтъ на письмо съ Кавказа пришла телеграмма товарища сына, въ которой извѣщалось, что на этотъ разъ послѣдний вѣрно опредѣлилъ мѣсто, где находится сердце. Переполненная душевно-больными казенными больницами не принимаютъ хрониковъ, а содержаніе таковыхъ въ частныхъ лѣчебницахъ не по силамъ людямъ съ ограниченными средствами. Въ чужомъ и незнакомомъ, холодномъ и бездушномъ городѣ, на заднемъ дворѣ многоэтажного дома, похожемъ на глубокій колодецъ, почти бѣзъ воздуха и свѣта ютилась несчастная женщина, у которой все что могло бы доставить радость жизни, было въ невозвратномъ и жестокомъ прошломъ, а въ настоящемъ была нищета вслѣдствіе увольненія изъ страхового общества изъ-за просочки отпуска, да на рукахъ безпріютная круглая сирота, замѣнявшая членораздѣльные звуки безмыслиемъ мыканіемъ и потерявшая способность управлять своими физическими отправленіями.

Судьба завершила свою игру кошки съ мышкой...

III.

Во время пребыванія моего въ Груневальдѣ въ 1908 году въ одномъ изъ его обширныхъ лѣсовъ случилось трагическое по своей обстановкѣ происшествіе. Бѣдная дѣвушка-учительница, жившая частными уроками, собралась въ воскресный день in's Grune. Ей было трудно и очень утомительно ходить, потому что, вслѣдствіе какого-то несчастія, постигшаго ее въ ранней моло-

дости, у нея были ампутированы ноги до колѣнъ и замѣнены искусственными. Опираясь на палку, она передвигалась хотя и медленно, но довольно свободно; однако все-таки это была не обыкновенная ходьба, а работа, вызывавшая скорую усталость. Утомленная, она, незамѣтно для себя, проспала крѣпкій сонъ подъ деревомъ до быстро наступавшихъ сумерекъ (было было въ концѣ августа). Ее разбудили два типичныхъ берлинскихъ хулигана, потребовавшихъ отдать имъ всѣ деньги и вещи.

Сопротивляться было невозможно, взывать о помощи было безплодно и опасно. Она отдала имъ часы съ цѣпочкой,—желанный плодъ долгихъ сбереженій,—и всѣ бывшія при ней деньги. Но негодія показалось этого мало: они пожелали снять съ нея верхнее платье и обувь, при чемъ, разував ее, узнали, что у нея искусственные, со сложнымъ механизмомъ, ноги. Съ наглымъ смѣхомъ отвязали и забрали они ихъ, безцеремонно переворачивая свою жертву, и удалились въ надвигавшемся мракѣ, въ которомъ яркій заревомъ отражались безчисленные огни Берлина и раздавался шумъ частыхъ поѣздовъ мѣстнаго трамвая.

Несчастная дѣвушка, испуганная и обезсиленная, отъ ужаса не могла ни двинуться ни кричать. Да это было бы и бесполезно, такъ какъ входы, ведущіе въ лѣсъ, огражденный проволочкой изгородью, запирались съ закатомъ солнца, и въ лѣсу наступало таинственное и жуткое молчаніе ночи. Отъ страха она утратила представленіе о томъ направлѣніи, въ которомъ она пришла къ мѣсту грабежа, и куда можно было бы ползти въ темнотѣ—она не знала, да и каждая попытка въ этомъ смыслѣ причиняла ей тяжкія страданія, еще болѣе подкашивавшія ея силы. Такъ прошла ночь.

Утромъ раздались свистки фабрикъ и заводовъ, отдѣленный грохотъ пригородныхъ поѣздовъ и круговой желѣзной дороги, и снова застучалъ трамвай по Груневальду. Попытки кричать и звать на помощь не приводили ни къ чему. Мѣсто, где она была ограблена, оказалось довольно глухимъ и рѣдко посещаемымъ. Такъ прошелъ цѣлый день, и снова наступила ночь. Мучимая голою и терзаемая своей безпомощностью, несчастная дѣвушка окончательно обезсиленѣла и была найдена лишь утромъ четверга днѣ лежащею въ состояніи, близкомъ къ умопомѣшательству. Она успѣла, однако, разсказать свою исторію и по дорогѣ въ больницу скончалась.

Печальная судьба этой дѣвушки приводитъ мнѣ на память трагическую судьбу нѣсколькихъ молодыхъ людей, погибавшихъ въ виду и близкомъ разстояніи отъ Петербурга, въ апрѣль 1866 года.

Нева прошла тогда довольно поздно, и четыре молодыхъ человѣка—ровесники и добрые друзья, изъ которыхъ одинъ былъ впослѣдствіи членомъ обновленаго Государственнаго Совета по выборамъ отъ земства—рѣшили покататься по взморью на большой парусной лодкѣ.

Это было во вторникъ на Страстной недѣльѣ. Закусивъ съ утра и намѣреваясь вернуться къ обѣду, они при легкомъ по-путномъ вѣтерѣ отѣхали довольно далеко, но затѣмъ вѣтеръ, перемѣнивъ направлѣніе, задулъ съ большой силой. Лодка летѣла обратно, какъ на крыльяхъ, но передъ самыми Петербургомъ, вблизи такъ называемой Гавани, съ чрезвычайной стремительностью врѣзилась въ одну изъ мелей, которыми въ этомъ мѣстѣ болаго устье Невы. О дальнѣйшемъ движениѣ подъ парусомъ нечего было и думать, тѣмъ болѣе, что налетѣвшій шквалъ грозилъ сломать мачту, такъ что парусъ пришлося поспѣшно убрать. Подъ влияніемъ сильныхъ порывовъ вѣтра лодка врѣзилась въ песчаное и иллюстое дно еще глубже. Молодые люди пробовали сниматься съ мели, отпихиваясь багромъ и дѣйствуя веслами, но всѣ ихъ усилия оказались тщетными: одно весло сломалось, а багоръ переломился. Между тѣмъ смеркалось, и вскорѣ наступила ночь, которую очень проголодаившіеся мореплаватели провели въ тревожномъ снѣ, прижавшись на днѣ лодки другъ къ другу и укрывшись парусомъ.

Къ утру вѣтеръ стихъ, и они снова приились за безплодныя усилившія сташить лодку съ мели. Около полуночи, нѣдалекъ отъ нихъ, прошелъ первый пассажирскій пароходъ въ Кронштадтъ. Молодые люди кричали ему о помощи и махали платками. Вновь поднявшійся очень холодный вѣтеръ уже со стороны Невы заглушалъ и относилъ въ сторону ихъ крики, а на маханье платками, соткенное за привѣтствіе съ открытымъ навигаціемъ, нѣкоторые изъ пассажировъ парохода отвѣчали имъ тѣмъ же.



Мать.

Весенняя выставка въ Академіи Художествъ 1918 г.

Ф. Нестеровъ.

Голодъ и холодъ заставили неудачныхъ мореплавателей рѣшиться на крайнее средство. Разувшись и раздѣвши снизу по поясъ, они вошли въ воду и, облегчивъ тѣмъ лодку, пробовали ее сдвинуть съ мели руками. Но это имъ не удалось, несмотря на всѣ усилия. Изнеможенные они вернулись въ лодку и, немногимъ отдохнувъ, подъ вечеръ рѣшились снова испытать этотъ способъ спасенія себя изъ неожиданной тяжкой неволи, а если это опять окажется неисполнимымъ, то попробовать двинуться пѣшкомъ вдоль мели, чтобы, приблизившиесь къ берегу, добиться какои-нибудь помощи. Но и это имъ не удалось. Гонимый вѣтромъ изъ Невы, пошелъ ладожскій ледъ. Тонкія льдины,—такъ называемое сало,—не-щадно рѣзали имъ окоченѣвшія ноги, и съ однимъ изъ нихъ отъ сильного истощенія стало дѣлаться дурно, и пришлое вернуться назадъ. А между тѣмъ изъ близкаго Петербурга вѣтеръ доносилъ не только звонъ ко всенощной, но и дребезжаніе дрожекъ, тогда еще не знавшихъ резиновыхъ шинъ.

Такъ наступилъ третій день. Ледъ продолжалъ ити сплошной массой, загромождая все видимое пространство. Наиболѣе слабый изъ четырехъ лежалъ въ лодкѣ неподвижно, и жизнь его угасала. Къ вечеру, когда изъ города доносился колокольный призывъ къ слушанію 12-ти Евангелій, она угасла совсѣмъ.

Троє оставшихся въ живыхъ, полузамерзшіе, истощенные голодомъ и подавленные смертью товарища, лежа въ лодкѣ рядомъ съ его трупомъ, провели третью ночь. Постепенно они впали въ полную апатію, перешедшую почти въ безсознательное состояніе, и лежали рядомъ съ покойнымъ товарищемъ подъ парусомъ, который грозилъ обратиться для нихъ въ смертный саванъ. Къ утру ледоходъ прекратился, и засияло весеннее солнце.

Два типичныхъ гаванскихъ чиновника, быть-можеть, въ халатахъ, подпоясаныхъ носовыми платками,—какъ это описывалъ когда-то Генслеръ въ своихъ даровитыхъ очеркахъ,—вступили, гуляя по берегу, въ споръ о томъ—блѣтается ли въ лодкѣ, неподвижно стоявшей въ двухстахъ саженяхъ отъ берега, прошлогодній, не успѣвшій еще растаять, снѣгъ, или это свернутый парусъ. Споръ окончили рѣшеніемъ отправиться, лавируя по очищившемуся водному пространству, къ таинственной лодкѣ. Они нашли въ ней трупъ и трехъ молодыхъ людей въ медленной предсмертной агоніи.

А между тѣмъ, въ виду ихъ исчезновенія, родители одного изъ нихъ подняли большую тревогу и наяли пароходъ, который долженъ былъ искать пропавшаго сына, и уже два дня какъ полиція принимала всевозможныя мѣры, чтобы напасть на сѣдѣ ихъ таинственного исчезновенія. Никому не могло прійти на умъ, что, такъ сказать, въ двухъ шагахъ отъ столицы, видя и слыша ее близкое сосѣдство, одинъ изъ нихъ уже погибъ, а остальные погибаютъ отъ холода, голода и истощенія.

IV.

Въ бытность мою студентомъ въ Москвѣ я получилъ урокъ въ домѣ одного зажиточнаго московскаго обстановки, которая впослѣдствіи, подъ влияніемъ "дворянскаго оскудѣнія", стала встрѣчаться все рѣже и рѣже. Глава семейства — человѣкъ лѣтъ тридцати, проводившій время въ гигієническихъ прогулкахъ, чтеній книгъ по естественнымъ наукамъ и благодушныхъ бесѣдахъ, "о предметахъ, вызывающихъ на размышленіе", — повидимому, быть твердо увѣренъ въ своемъ экономическомъ положеніи и имѣ менѣе всего интересовался. Его жена, одинаковыхъ съ нимъ лѣтъ или на нѣсколько лѣтъ моложе, вела такую же беспечную жизнь, посѣщала типическіе кружки просвѣщеныхъ людей, которыми въ началѣ 60-хъ годовъ еще была богата Москва, и очень увлекалась легкой французской беллетристикой, не исключая и некоторыхъ мемуаровъ довольно откровенного свойства.

Моими учениками были — прелестная, тонкая и хрупкая, съ чудесными темно-серыми выразительными и какими-то радостными глазами, 12-лѣтняя Лиза и два ея меньшихъ бойкихъ и живыхъ брата.

Я съ удовольствіемъ занимался съ ними, замѣчая въ нихъ недюжинные способности, и проводилъ послѣ урока нѣкоторое время въ quasi - научной бесѣдѣ съ ихъ отцомъ, иногда въ присутствіи матери, задумчиво и мечтательно глядѣвшей на находящейся передъ окнами бульваръ. Къ сожалѣнію, мое преподаваніе продолжалось не долго: черезъ полгода, послѣ урока, меня пригласила къ себѣ вдругъ очень осунувшаяся хозяйка дома и съ растеряннымъ видомъ объявила мнѣ, что они должны прекратить домашнее обученіе дѣтей и рѣшили хлопотать о приемѣ дочери въ институтъ. Въ отвѣтъ на мой вопросительный взглядъ ея губы задрожали, и со слезами въ голосѣ она мнѣ



Портретъ Е. В. Успенской.

H. Сергеевъ

Весенняя выставка въ Академіи Художествъ 1918 г.

сказала, что они разорены вслѣдствіе полной безхозяйственности мужа. И, дѣйствительно, вскорѣ они какъ-то стушевались и сошли со сцены московской жизни.

Прошло 22 года. Однажды раннимъ утромъ мой слуга сказалъ мнѣ, что приходила какая-то дама съ сопровождавшимъ ее офицеромъ, настойчиво хотѣла меня видѣть и на заявленіе его, что я еще не всталь, сказала, что будетъ ходить противъ моего дома и просить выйти ей сказать, какъ только я буду въ состояніи ее принять. Приглашенная черезъ $\frac{1}{4}$ часа ко мнѣ, дама оказалась высокой, стройной блондинкой съ красивыми чертами лица, на которомъ виднѣлась большая тревога и даже испугъ. "Вы меня не узнаете?" — "Нѣть" — "Я — Лиза, ваша московская ученица". — "Вотъ неожиданная встрѣча! Но что съ вами? Ваши руки дрожать, и вы едва стоите на ногахъ". — "Я очень устала, а кромѣ того у меня ужасное несчастье, и вы одинъ можете мнѣ помочь". И она разсказала мнѣ, что ея отецъ поступилъ на службу, быть назначеннъ на юго-западъ Россіи, пѣуже много лѣтъ о немъ ни слуху, ни духу. Одинъ изъ братьевъ умеръ, другой лишилъ себя жизни. Мать нашла себѣ пріютъ у родственниковъ, а она уже лѣтъ десять какъ вышла замужъ за артиллерійскаго офицера, служащаго въ одномъ изъ техническихъ учрежденій военного министерства въ окрестностяхъ Петербурга. "Мы, — говорила она, — получаемъ очень небольшое содержаніе и едва сводимъ концы съ концами, да и то потому, что у насъ нѣть дѣтей. Недѣли двѣ тому назадъ внезапно къ намъ пріѣхала погостить моя мать, съ которой мы не видались уже нѣсколько лѣтъ, и которой вовсе не ожидали. Она нѣсколько удивила насъ критическимъ отношениемъ къ нашей скромной обстановкѣ, своими костюмами и повадкой, въ которыхъ сказывалось сильное желаніе молодиться, несмотря на ея возрастъ, въѣхъ извѣстный. Проживъ у насъ недѣлю и постоянно жалуясь

на то, что у насъ скучно, она внезапно уѣхала въ Петербургъ и заняла номеръ въ доротой и роскошной гостиницѣ. Третьяго дня къ намъ, въ нашу трущобу, прѣѣхала посланный отъ хозяина гостиницы съ требованіемъ, чтобы мы взяли мою мать обратно, потому что она, въ теченіе не сколько дній пребыванія въ отелѣ, накупила духорѣ и разныхъ косметиковъ болѣе, чѣмъ на двѣстѣ рублей, приказавъ доставить это на домъ и поручивъ конторѣ уплатить за эти покупки, внеси ихъ стоимость въ изготавляемый ей счетъ,—заказывала себѣ ежедневно дорогие обѣды съ шампанскимъ и ликерами и стала себя такъ держать съ мужской прислугой, что та стала ее избѣгать и жаловаться па ея приставанія. Мы побѣхали немедленно съ мужемъ къ ней и нашли ее въ очень возбужденномъ состояніи, говоряще разныя циническія двусмыслиности и заявляюще, что она выходит замужъ и на дніяхъ вѣнчается съ разными официальными лицами, знакомыми ей по Москвѣ. Мы пригласили доктора, который написалъ...— говорящая запнулась, ея блѣдное лицо густо покраснѣло,—особаго вида сумасшествіе, при которомъ женщина теряетъ всякой стыдъ въ своемъ отношеніи къ мужчинѣ. Для этого есть специальное название, котораго я не запомнила. Онъ сказалъ, что это состояніе можетъ пройти, но что въ настоящее время оно чрезвычайно обострилось и можетъ грозить опасностью ей и окружающимъ, такъ какъ иногда сопровождается припадками бѣшенства, почему ее необходимо немедленно помѣстить въ домъ умалишеннѣхъ. Мы обѣздили всѣ больницы этого рода въ Петербургѣ, но ни въ одной казенной не оказалось свободной вакансіи, и намъ вѣздъ отказали въ пріемѣ моей бѣдной матери. Въ частныхъ же лѣчебницахъ требуютъ такую сумму въ мѣсяцъ, которая для насъ совершенно немыслима. Тутъ мы вспомнили о васъ и подумали, что, по вашему служебному положенію, вы, быть-можетъ, окажете намъ помощь въ этихъ трудныхъ и безвыходныхъ для насъ обстоятельствахъ".

Участствуя въ теченіе шестнадцати лѣтъ въ качествѣ прокурора, предѣдателя суда и почетного мирового судьи въ освидѣтельствованіи душевно-больныхъ въ особомъ Присутствіи губернскаго правленія, я былъ знакомъ со старшими врачами полиції (которые прежде назывались штадт-физиками) и въ особенности въ послѣдніе годы съ А. Г. Баталіномъ. Я предложилъ моей посѣтительницѣ немедленно побѣхать со мной къ послѣднему, и гоголевскій разсказъ о городничемъ, для котораго въ церкви мѣсто нашлось, осуществился только подъ другимъ напменованіемъ. Мѣсто нашлось, и несчастная нимфоманка была въ тотъ же день подъ какимъ-то вымышленнымъ предлогомъ водворена въ лѣчебницу.

Дня черезъ три „бѣдная Лиза“ снова пришла ко мнѣ и, по-прежнему, въ разстроенному видѣ. Оказалось, что хозяинъ гостиницы прислаѣ настойчивое требование обѣ уплатѣ ему всего слѣдующего съ ея матери за помѣщеніе и содержаніе, а также уплаченнаго по счетамъ въ парфюмерные магазины. Его претензіи доходили до 500 рублей. Между тѣмъ, собравъ все, что было возможно, бѣдная чета не могла ему уплатить болѣе 200 р., и онъ угрожалъ скандаломъ, обращеніемъ къ начальству мужа и всякими непрѣятностями, къ числу которыхъ, конечно, относила и огласка всего происходившаго съ разными пикантными и постыдными подробностями, съ указаніемъ на то, что дочь и зять обѣзвили развратную женщину сумасшедшей, чтобы не платить по счету. Опять потребовалась моя на этотъ разъ уже денежная помощь. Къ счастью, у меня оказалась свободною получиницей за нѣкоторыя литературные работы недостающая до 500 рублей сумма. Моя бывшая ученица, принявъ ее съ горячей благодарностью, заявила мнѣ, что ни она ни ее мужъ ни въ какомъ случаѣ не желаютъ получать ее безвозвратно, а при первой возможности, вѣроятно, не близкой, возвратятъ мнѣ ее, зная, что она трудовая.

Прошло еще двѣнадцать лѣтъ. Однажды, когда я шелъ, задумавшись, послѣ тяжелаго сенатскаго заѣданія, мнѣ наперѣбрѣзъ съ другой стороны тротуара пошла высокая полная дама далеко за 40 лѣтъ, такъ называемая belle-époque, въ дорогой бархатной ротондѣ, подбитой какимъ-то пущистымъ бѣльемъ мѣхомъ. Подойдя ко мнѣ вилютную, она сказала: „Опять не узнаете?.. Вѣдь, я—Лиза“. Между этой Лизой и тѣми—милой, задумчивой дѣвчошкой временъ моего студенчества и испуганной свалившимся несчастіемъ молодой, изстрадавшейся женщины—была поразительная разница. Даже внимательно взглядываясь въ остановившую меня даму, я съ трудомъ улавливала въ ней слабый сѣдѣ пропаѣхъ образовъ. Передо мною стояла упитанная, зажиточная женщина, видимо довольная жизнью. „Ахъ, я такъ иердь вами виновата. Вѣдь за мной еще старый долгъ, и я часто думаю о томъ, что какъ стыдно его вамъ до сихъ поръ не возвратить. Но то, да се, да разныя мелкія хлопоты все мышали“. Но вотъ, слава Богу, я вѣсъ встрѣтила. Скажите, гдѣ вы живете, и я завтра привезу“. На мой отвѣтъ, что я давно забылъ обѣ этихъ деньгахъ и прошу ее не беспокоиться, она воскликнула: „Ахъ, что вы! Вы думаете, можетъ-быть, что я и теперь нуждаюсь? Нисколько. Я, вѣдь, овдовѣла года два назадъ, и, представьте себѣ, мой мужъ за мѣсяцъ до смерти получиль наслѣдство отъ своего дальн资料 родственника и завѣщалъ все это мнѣ. У меня тысяча пятьдесятъ годового дохода, и я совсѣмъ одна. Нѣтъ, нѣтъ, не огорчайте меня—позвольте завтра привезти“, и, высвободивъ изъ ротонды красную полную руку съ

пальцами, унизанными драгоцѣнными кольцами, она крѣпко по-жала мою. На другой день она была у мечя, и, по си настойчивому желанію, я черезъ нѣсколько дній посѣтилъ ее въ прекрасной квартирѣ въ бельэтажѣ, убранной съ большой, но бѣзуксной роскошью, съ тюю массою несѫжныхъ фарфоровыхъ и бронзовыхъ вещей и стѣнныхъ украшений, которая свойственна помѣщеніямъ людей, не привыкшихъ къ богатству и не умѣющихъ имъ разумно распорядиться. Мы вспомнили старину, и я узналъ, что бѣдная жертва печальной болѣзни совершенно выздоровѣла черезъ полгода, вернулась къ роднымъ, стала очень набожною и нѣсколько лѣтъ назадъ тихо скончалась.

Недѣли черезъ двѣ я получила отъ моей новой знакомой—называю ее новой, потому что она ничѣмъ не напоминала себя самую при прежнихъ нашихъ встрѣчахъ—записку, въ которой она самыи настойчивыи образомъ просила меня назначить день, когда я могу къ ней прійти въ четыре часа, прибавляя, что ей крайне необходимо меня видѣть, и что отъ mosto поѣзданія зависитъ решеніе очень важнаго въ ея жизни вопроса. Когда я нѣсколько замедлилъ отвѣтъ, будучи очень занятъ, послѣдовало второе письмо съ еще болѣе горячей мольбой. Придя въ назначенный мною день, я была нѣсколько удивлена встрѣтившей меня обстановкой. Въ комнатѣ было накурено какими-то духами, въ столовѣ дѣлались приготовленія къ большому обѣденному столу. Едва я усѣялся въ ярко освѣщенной гостинои близъ хозяйки, роскошно одѣтой и обутой, какъ явился лакей во фракѣ, чулкахъ и башмакахъ съ пряжками, очевидно, взятый ad hoc, и привнес на маленькомъ столицѣ чайный сервизъ. Когда онъ ушелъ, хозяйка быстрымъ движеніемъ закрыла за нимъ дверь и сказала мнѣ слѣдующее: „Мнѣ такъ нужно вѣсть видѣть! Вы единственный человѣкъ, оставшийся мнѣ отъ далекаго прошлаго. Я на васъ смотрю, какъ на родного, и вамъ могу сказать все откровенно. Видите ли, я такъ привыкла быть вѣмѣть съ мужемъ и въ особенности не оставаться ночью въ одиночествѣ, что, вотъ уже два года, мучусь тѣмъ, что я одна. Днемъ я бываю у знакомыхъ, въ магазинахъ, вечеромъ въ театрахъ, концертахъ и на вечерахъ въ гостяхъ. Но когда наступаетъ ночь и я остаюсь одна, мною овладѣваетъ страхъ, и я боюсь, сама не знаю, чего. Я разыскала здѣсь свою старую гувернантку и привела класть старушку къ своей спальни на ночь, но и это не помогло. Просто—не знаю, что дѣлать“—Она на минуту остановилась, замялась, взглянула на меня довѣрчивымъ взглядомъ и, ласково положивъ свою руку на мою, сказала: „Мнѣ нужень... ну, вы понимаете, мнѣ нужень мужъ. И вотъ я рѣшилась обратиться къ вамъ“. —„То-есть—какъ ко мнѣ!—невольно воскликнула я, опшеломленный такимъ заявленіемъ, — если вы имѣте въ виду меня, то я, къ сожалѣнію, не могу себя предоставить въ ваше распоряженіе. Я уже въ томъ возрастѣ, когда не думаютъ болѣе о бракѣ“. —„Ахъ, нѣтъ!—сказала она съ протестующимъ видомъ, — вы думаете, что я... что вы... ахъ, нѣтъ. Я бы не рѣшилась никогда обѣ этомъ и помышлять. Какая я вѣмъ жена. Да вы бы меня и не полюбили: я слишкомъ стала дурочкой въ послѣдніе времена. Но, вѣдь, вы ко мнѣ относитесь дружески, не правда ли? И мнѣ нужна одна ваша услуга. У меня — какъ бы это сказать—три жениха! И я не знаю, на комъ остановиться. Я ихъ пригласила вѣхъ сегодня обѣдать, — отъ этого у меня такъ и парадно, — и очень вѣсть прошу: посмотрите и послушайте ихъ и скажите, кого мнѣ выбрать. Какъ скажете, такъ я и поступлю“.

Мнѣ стоило большого труда убѣдить ее не настаивать на такой оригинальной просьбѣ, исполненіе которой поставило бы меня въ особенности щекотливое и смѣшное въ собственныхъ глазахъ положеніе. „Боже мой, но что же я буду дѣлать одна?!.. Ну, не хотите помочь вашей старой маленькой Лизѣ и посмотреть, такъ посовѣтуйтесь, по крайней мѣрѣ, вообще, кто изъ нихъ болѣе подходящий. Одинъ—морякъ, контр-адмираль, вдовецъ. Я была съ его покойной женой другой по институту. У нея остались двѣ дочери—тоже институтки, вскорѣ оканчивающія курсъ Умірая, она меня просила выйти за ея мужа и замѣнить ее дочеряи въ особенности, когда онъ окончатель курсъ. Онъ очень хороший человѣкъ и ко мнѣ вѣсома расположенъ. Второй,—служащий по интенданству, статскій соѣдѣникъ, но на линіи генерала. Онъ человѣкъ богатый, имѣетъ большое имѣніе внутри Россіи и взрослаго сына. Было бы пріятно быть за нимъ замужемъ. Но только я боюсь этого самого сына, который уже теперь изъ какихъ-то расчетовъ относится ко мнѣ недоброжелательно. А третій—докторъ, молодой, изъ Западнаго края, недавно со мной познакомившійся, который очень мнѣ нравится и говоритъ, что любить меня безумно, только онъ на десять лѣтъ моложе менѣ. Ну, скажите же, будьте добрый, на комъ остановиться? Войдите въ мое положеніе. Вѣдь каждый поджидаетъ отвѣта. За кого вы бы вышли замужъ на моемъ мѣстѣ?“

Мнѣ было и смѣшно, и жалко бѣдную женщину. Я не рѣшился сыграть въ нѣкоторомъ родѣ роль нового Улисса, отвергнуть всѣхъ претендентовъ, но сказалъ: „Я бы ни за кого не вышла замужъ, будучи далеко не первой молодости и имѣя матеріальное обезпечение и полную независимость. Но ужъ если рѣшеніе должно быть неотложно принято, то я, теоретически говоря, остановилась бы на морякѣ. Не говоря уже о томъ, что морскіе офицеры въ огромномъ большинствѣ прямые и благородные люди, такой исходъ бытъ бы исполненiemъ трогательного

материнского завѣта вашей подруги. Вы сдѣлали бы доброѣ дѣло, руководя первыми шагами вашихъ падчерицъ въ общественной жизни и заботясь о нихъ во всѣхъ случаяхъ, когда отцу это невозможно или затруднительно. Интенданта слѣдовало бы оставить за флагомъ, такъ какъ сомнительно, чтобы тѣ удобства брачной жизни, которыхъ онъ можетъ вамъ доставить, могли совершенно искупить тѣ непріятности, съ которыми можетъ быть сопряжена ваша жизнь подъ однімъ кровомъ съ взрослымъ пасынкомъ, который уже теперь, по вашимъ словамъ, точитъ на васъ зубы, какъ на опасную соперницу по части наслѣдства. О страстно влюбленномъ докторѣ нечего и говорить. Десять лѣтъ разницы очень опасная вещь, особенно въ виду того, что женщины въ физическомъ отношеніи старѣютъ гораздо скорѣе мужчинъ. И, кромѣ того, убѣждены ли вы, что вы лично, а не ваша обстановка и ея источникъ — причина быстрой влюбленности этого врача, заставляющая его захмучивать глаза на свою значительную сравнительно съ вами молодость? — „Ахъ, — сказала она, — какъ вы это хорошо и ясно разобрали. Я послѣднюю вашему совѣту. Но, все-таки, останьтесь обѣдать“.

Я категорически отказался, а черезъ недѣлю получилъ

записку, въ которой значилось: „Я выхожу замужъ за интенданта. Будьте добры, не откажите быть моимъ посаженнымъ отцомъ“.

Не будучи любителемъ церемоніальной роли шаферовъ и посаженныхъ отцовъ, я уклонился отъ этого предложения. Боязнь оставаться одной — de dormir les bras vides, какъ сказалъ бы Мопассанъ — была, очевидно, очень сильна въ моей оригинальной знакомой, и свадьба была сыграна скромнѣтельно, тѣль что уже черезъ десять дней я имѣлъ удовольствіе принимать у себя новобрачныхъ и созерцать крашеные волосы и усы „молодого“.

Прошло снова нѣсколько лѣтъ, и я неожиданно получила слѣдующую записку: „Ужасное несчастіе! Опять у меня умеръ мужъ. Придите раздѣлить мое горе и посовѣтовать, что мнѣ дѣлать“...

Занятія и нездоровье помѣшали мнѣ исполнить это желаніе, и я долженъ былъ ограничиться письменнымъ выраженіемъ соболѣзванія и предложеніемъ написать мнѣ, какого рода соѣтъ отъ меня требуется, обѣщаю дать его по силѣ моего разумѣнія. Отвѣтъ я не получилъ, и что сталося съ злополучной Пенелопой — не знаю. Надѣюсь, что она если не requiescit in pace, то, во всякомъ случаѣ, ея тревоги прошли, и она dormit in pace.

(Окончаніе слѣдуетъ).

Закать.

Былъ мирный часъ, давно воспѣтый словомъ,
Прославленный на полотнѣ картины:
Горѣлъ закатъ на облакѣ лиловомъ,
И замеръ звукъ межъ лиственныхъ вершинъ.
Поникло солнце. Плавно золотилась
Въ заливѣ свѣтломъ теплая вода...
Вдругъ близъ меня чуть внятно огласилось:
„Знакомый видъ, а нравится всегда!“...

1887.

То вслухъ мечталъ мой спутникъ мимолетный
Въ лучахъ зари, съ улыбкой беззаботной
Покоя взоръ на огненной каймѣ.
Его въ живыхъ ужъ не было къ зимѣ.
И каждый разъ при заревѣ заката,
Когда блеститъ вечерняя вода,
Мнѣ все звучитъ, какъ тихій голосъ брата—
„Знакомый видъ, а нравится всегда!“...

С. Андреевскій.





Книга „Исходъ“, глава XIV.

Весенняя выставка въ Академіи Художествъ 1918 г.

„И погналась за сынами Израилевыми Египетяне, и весь кони съ колесницами фараона, и всадники, и все войско его...“ (стр. 9).

Барельефъ М. Манизера.

Вѣчный Странникъ.

Католическая легенда.

Александра Амфитеатрова.

— Я иду, но — навстрѣчу успокоенію. Ты же иди — иди, не зная отъиха, впредь до Моего второго пришествія, когда узрішь Меня одесную Отца Моего, пришедшаго судить осудившихъ Меня.

Такими словами Христосъ осудилъ человѣка, который не позволилъ Ему, въ крестомъ пути, отдохнуть на скамьѣ своего дома.

Какъ звали этого человѣка? Одни говорятъ: Агасееръ, — и это самое частое имя. Другие зовутъ его Лакедемомъ, третыи — Картофиласомъ.

Христосъ сказалъ, и Лакедемъ, Агасееръ или Картофиласъ тотчасъ же пошелъ — пошелъ безъ остановки. Выходя изъ воротъ Іерусалима, онъ встрѣтилъ ангела гиѣва. И ангель сказалъ ему:

— Ты отказалъ въ отъихѣ Сыну человѣческому, — тебѣ отказано въ отъихѣ до Его возвращенія. Иди! Простись съ Іерусалимомъ, ты его больше не увидишь. Простись съ долиной Іосафата, ты соединишься съ отцами своими лишь въ день Послѣдняго Суда.

Сказавъ это, ангель отмѣтилъ чело Лакедема знакомъ, отгоняющій смерть. И исчезъ.

А Лакедемъ, идя и идя, съ изумленіемъ видѣлъ, что онъ ступаетъ непрѣрывно по двумъ крестикамъ, прокладывающимъ дорогу, въ какую бы сторону онъ ни направился. Одинъ крестикъ изъ пяти монетъ, другой изъ пяти цѣѣвъ. Напрасно старался онъ ступать мимо: крестики притягивали ноги его, подобно магнитамъ, появляясь все новые и новые — съ каждымъ шагомъ. Но оглянулся Лакедемъ назадъ: не увидѣлъ ни одного! Нагнулся, чтобы снять ихъ съ дороги, — рука ничего не схватила, а видѣть ихъ онъ продолжалъ ясно. Такъ они влекли его впередъ и впередъ, не давая ему останавливаться. И когда онъ пробовалъ остановиться, земля начинала горѣть подъ его ногами, какъ раскаленное жѣлѣзо. Лишь ночью имѣлъ онъ покой, днемъ шелъ безпрѣрывно. Считая Христа магомъ, а себя жертвою злыхъ чартъ, онъ обращался къ гадателямъ и волшебникамъ, прося ихъ снять колдовство, но они были бессильны.

Когда Лакедемъ узналъ о паденіи Іерусалима, о которомъ было ему сказано, что онъ своего родного города никогда уже больше не увидитъ, онъ подумалъ было, что наказаніе его близится къ концу. Но годы все шли, а ничего не мѣнялось: онъ шелъ и шелъ, ступая по своимъ крестикамъ изъ монетъ и цѣѣвъ, и земля покрежнему раскалялась подъ его ногами, какъ скоро онъ пристанавливается для передышки. Его одежда и обувь не изнашивались, онъ не болѣлъ и не старадся, хотя съ его ухода изъ Іерусалима прошло уже сто лѣтъ. Кругомъ родились, умирали, болѣли, измѣнялись, — онъ шелъ все тѣть же, какъ въ первый день странствія, не мѣняясь. Только худѣлъ да костенѣлъ, да обрастилъ бороду.

Вначалѣ его странствіе имѣло пріятныя стороны. Онъ былъ доволенъ сознаніемъ своего бессмертія, въ немъ горѣло любопытство къ громадности міра, котораго величія и разнообразія онъ, невѣжественный ремесленникъ, раньше и не подозрѣвалъ.

Но вскорѣ его начало тяготить одиночество. У него не осталось никого близкаго. У него не было никакого имущество, кромѣ ничтожной суммы, нужной для ежедневнаго пропитанія. Когда, черезъ сто лѣтъ, все кругомъ измѣнилось, и уже не осталось у Лакедема на землѣ ни одного ровесника, и весь родъ потомковъ его и потомковъ родни и друзей его вымеръ, онъ впаль въ отчаяніе и началъ призывать смерть. Она не хотѣла прійти. Лакедемъ думалъ обмануть своего Судію, наложивъ на себя руки. Пытался уморить себя голодомъ. Не было цѣлый мѣсяцъ. Но, въ замѣнь, ночной сонъ его въ это время сдѣлался такимъ глубокимъ и живительнымъ, что онъ рѣшительно не чувствовалъ голода и слабости. Онъ попробовалъ отказаться и отъ сна, но эта борьба оказалась ему не по силамъ.

Отчаявшись уморить себя, Лакедемъ надѣялся, что мѣсяцъ голодовки принесетъ ему, по крайней мѣрѣ, ту пользу, что изъ монетъ, которыхъ ежедневно появлялись въ его поясъ на пропитаніе, скопилась за это время порядочная сумма. И теперь онъ, съ ея помощью, будетъ въ состояніи нѣсколько измѣнить свою убѣдительно однообразную жизнь. Горькое разочарованіе! Ощущавъ поясъ, Лакедемъ нашелъ лишь все тѣ же пять монетъ, что находилъ всякий утромъ.

Съ каждой новой луной на него наплывало отчаяніе. Онъ бросался въ рѣки и озера, но вода не принимала его, со дна пропастей онъ вставалъ невредимымъ. Такъ же напрасно искалъ онъ погибѣли въ сѣчахъ на развалинахъ приступомъ взятыхъ городовъ. Участвуя въ бояхъ, онъ никогда не былъ даже раненъ. При взятіи Константина опровергъ Лакедемъ драли поочередно на обѣихъ сторонахъ, равнодушный къ обѣимъ, но ни мечи христіанъ ни мусульманскія сабли не причинили ему ни малѣйшаго вреда.

Въ Доміціаново гоненіе Лакедемъ явился въ Римъ, объявилъ себѣ христіаномъ и быть присужденъ къ смерти. Но топоръ палача иступился обѣ его шею. Его топталь слонъ, желѣзный молотъ и свинцовая палица обрушивались на его голову, яды и раскаленные угли глоталъ онъ, — все напрасно: оставался нѣуязвимъ.

Бросился въ кратеръ вулкана и тотчасъ же вылетѣлъ оттуда вмѣстѣ съ лавою и камнями. Кровью плача, яростно призываю смерть, онъ видѣлъ, какъ она, величавая, равнодушная, проходила мимо, не удостоивъ его даже взглядомъ.

Въ Персії Лакедемъ опрокинулъ идола бога солнца. За это его зарыли въ землю до ушей, — земля извергла его. Его хотѣли посадить на коль, — желѣзный коль сломался. Тогда его присудили къ висѣлицѣ. Но едва петля коснулась его костистой шеи, подъ ногами Лакедема вновь показались манящіе крестики, и онъ попытъ, попытъ, увлекая за собою и самую висѣлицу. Отъ нея вскорѣ не осталось и кусковъ, а онъ былъ и шелъ все тѣть же, — страшный, невредимый, неизмѣнныи.

Безсмертіе, котораго онъ не понималъ, привело его къ гордости. Замѣтивъ, что всѣ, съ кѣмъ онъ входилъ въ общеніе, вскорѣ



Книга „Исходъ“, гл. XIV.

Весенняя выставка въ Академіи Художествъ 1918 г.

„И простирая руку свою на море“... (стр. 27).

Барельефъ М. Манизера.

умирали, онъ началъ считать себя высшимъ существомъ—посланникомъ Божиимъ, воплощеннымъ ангеломъ смерти. Съ этого времени сердце его разгорѣлось ревнивою злобою противъ Христа.

Онъ возсталъ противъ Христова учения. Онъ посѣщалъ и наущалъ гонителей, которые принимали его за сверхъестественное существо. Онъ былъ другомъ Симона-волхва и злочестиваго Ария.

Онъ способствовалъ всѣмъ ересямъ, помогалъ расколамъ, и, когда падало одно злоученіе, спѣшилъ изобрѣсти другое. Такъ творилъ онъ и разрушалъ, разрушалъ и творилъ.

Иногда ему начинало казаться, что онъ-то самъ и есть бессмертный Мессія. Но только, заколдованный вражескою злобою, онъ забылъ про свое собственное могущество. А между тѣмъ достаточно было одного его мановенія, чтобы сбросить колдовство. Тогда бросался въ еврейскія общины Голуса и начинавъ въ нихъ свою проповѣдь. Мноточисленныя лже-Мессіи, собиравшіе евреевъ подъ стягъ объединенія то въ Іеменѣ, то въ Сициліи, то въ Испаніи, то въ Салоникахъ, и губившіе ихъ своимъ обманомъ въ отчаяніи глубокихъ разочарованій, были не иные кто, какъ все тотъ же Вѣчный Жидъ, Агасѳеръ-Лакедемъ-Каргофиласъ.

Евреи отвергли и прокляли его,—и онъ, отвѣтно, возненавидѣлъ евреевъ и принялъ мстить имъ. Это онъ явился къ сицилійскимъ евреямъ подъ именемъ и видомъ Моисея и убѣдилъ ихъ плыть въ Палестину во срѣтеніе близко грядущаго Мессія, а выйдя въ открытое море, утопилъ всѣхъ за нимъ послѣдовавшихъ. Это онъ наглумился надъ багдадскими евреями, послушивъ имъ священную „ночь перелета“ въ Ерусалимъ, когда они, напрасно ожидавшіе на кровляхъ своихъ домовъ, скоро ли начнется великое чудо, были безжалостно ограблены до послѣдней пички въ покинутыхъ жилищахъ своихъ. Это Лакедемъ уговарилъ и погубилъ іеменского пророка, іудея Абдуллаха, внушивъ ему требовать отъ халифа Маавіи, чтобы тотъ отрубилъ ему голову, а онъ, Абдуллахъ, зная въ себѣ Мессію, черезъ три дня воскresнетъ... И—самое зло: это онъ изобрѣлъ и пустилъ клевету обѣ употребленіи евреями христіанской крови. И легенды Инсбрука гласятъ, будто, чтобы придать клеветѣ вѣроятіе, Лакедемъ въ 1462 году самъ переодѣлся раввиномъ и совершилъ свирѣпое убийство, распявшисъ на деревѣ трехлѣтніе дитя. А въ 1475 году повторили таѣтъ же зѣвѣство въ Тренто. Такъ мстить онъ сразу и христіанамъ и евреямъ, возжигая между ними подозрѣнія и ненависть, тѣшѧщія и до нашихъ дней. Но почти всегда ковы его рушатся безславно—ложь ниспровѣргается, истина торжествуетъ. Изъ христіанскихъ вѣроисповѣданій Лакедему особенно ненавистно римско-католическое. Въ XIII и XIV вѣкахъ онъ усердно поработалъ для ересей, спасая отъ преслѣдований враговъ папскаго престола.

Въ 1252 году Лакедемъ пришелъ изъ Страсбурга въ Гамбургъ. Когда тамъ не хотѣли вѣрить его древности, онъ попросилъ справиться въ городской регистраціи 1052 года. Тогда выяснилось, что онъ уже проходилъ 200 лѣтъ тому назадъ. Онъ проходитъ между людьми чаще, чѣмъ думаютъ, но его трудно узнать потому, что онъ прекрасно владѣетъ языкомъ всякой страны, въ которую является.

Такъ, мало-по-малу, выѣхалъ изъ Лакедема всѣ человѣческія чувства. И сѣдалъ онъ недоступенъ никакому иному голосу и зову, кромеъ эгоизма. Онъ не прочно будитъ состраданіе въ людяхъ, жалуясь на одночество, но сердце его такъ же костяло, какъ его шея, такое же каменное, какъ его грудь, о которую

удары притупляются, будто о гранитную скалу. Однако и у него есть слабое мѣсто.

Четыреста лѣтъ онъ не плакалъ и не молился, не зналъ смѣха, и если пытался улыбнуться, то губы его кривила столь ужасная гримаса, что онъ дѣжался похожъ на дьявола и распугивалъ однѣмъ видомъ своимъ всѣхъ встрѣчныхъ на своемъ пути. Въ началѣ пятаго столѣтія корабль, на которомъ плылъ Лакедемъ, потерпѣлъ крушеніе у береговъ Египта. Изъ всѣхъ плывшихъ Лакедемъ одинъ спасся и зашелъ къ благочестивому пустыннику, обитавшему въ прибрежной пещерѣ. Отшельникъ неизвѣстно какъ узналъ Лакедема, сталь за него молиться и его приглашать къ зому же, но безуспешно. Тогда отшельникъ сказалъ Лакедему:

— Неси покорно свое наказаніе. Ты страшный образецъ отрицанія любви Христовой. Но настанетъ день, когда и ты опомнишься. А до того времени знай, что Тотъ, Кто простила палачамъ своимъ, простила отреченіе св. Петру и простила бы предательство самому Іудѣ, если бы тотъ раскаялся, простить и тебѣ, когда ты смиришься, Сердце твое высохло. Лишь слезы могутъ размягчить его. Ты прольешь ихъ трижды. Въ первый разъ это будутъ слезы ярости, во второй разъ—слезы гордости, а въ третій—слезы состраданія. Тогда растопится сталь твоего сердца, ты познаешь любовь и получишь возможность умереть.

Католики думаютъ, что слезы ярости и слезы гордости Лакедемомъ уже пролиты. Отъ ярости онъ плакалъ въ Провансѣ, когда крестоносцы, благословленные напою Иннокентіемъ III, вырѣзывали еретиковъ-альбигойцевъ. Отъ гордости — въ Парижѣ, когда великая французская революція осквернила свою побѣду сентябрьскими убийствами и залила столицу просвѣщенія кровью неповинною...

Въ шестнадцатомъ столѣтіи Лакедемъ показывался особенно часто. Онъ внимательно слѣдилъ за реформаціей и былъ недоволенъ, когда замѣчалъ умѣренность въ ея ходѣ и достиженіяхъ.

Пятнадцать вѣковъ наложили на Лакедема печать свою. Въ этомъ возрастѣ онъ былъ старцемъ гигантскаго роста, блѣла борода обивала станъ его пятнадцать разъ, ротъ открывалъ лошадиные зубы, способные пережевывать даже стѣно, на рукахъ ногти—какъ желѣзные когти, все тѣло—какъ сталь, а ноги... На Маттельбергскому ледникѣ остался отпечатокъ его ступни — въ полтора локтя. На безсмертномъ вѣку своемъ онъ поѣтилъ Маттельбергъ трижды. Въ первый разъ еще засталъ тамъ большой городъ.

— Когда я вернусь въ эти мѣста,—сказалъ Лакедемъ,—вмѣсто улицъ и домовъ здѣсь будетъ дикій лѣсъ, а въ сѣдѣющей мой приходъ не останется ничего, кроме снѣговъ и льда.

Безсмертный самъ, Лакедемъ подслуживается смерти, доставляя ей новыя жертвы, потому что онъ яростный убийца и истязатель. Началъ онъ палачествовать истребленіемъ всѣхъ прикоснувшихъ къ смертной казни Иисуса. Этимъ онъ воображалъ купить милосердіе Христа, котораго онъ ненавидѣтъ, но считаетъ великимъ волшебникомъ и судить о Немъ по своимъ собственнымъ страстиамъ. Лакедемъ затинуть петлю на горѣ самоубийцы Гуды и задушить Каїфу, когда узналъ, что Вителій лишь отрѣшилъ его отъ должности.

Однажды, въ заіорданской пустынѣ, разбойникъ, подстерегавшій путниковъ, зазрѣлъ идущаго Лакедема и метнулъ въ него камень.

Лакедемъ даже не взглянулъ въ ту сторону.

Разбойникъ пустилъ стрѣлу. Она пролетѣла мимо.

Разбойникъ разбѣжался, догнать прохожаго и съ размахомъ уда-
рилъ кинжаломъ въ спину. Тогда только повернулся Лакедемъ.

— Варавва! — воскликнулъ онъ.

— Лакедемъ?! — въ ужасѣ призналъ его разбойникъ.

И въ тотъ же мигъ костлявая рука Лакедема сдавила ему горло. Короткая борьба, — и Лакедемъ опять, мѣрнымъ огромнымъ шагомъ гиганта, замелькалъ по пустынѣ, оставляя за собою бездыханный трупъ Вараввы, — злодѣя, жизнь котораго, на судѣ Пилатовомъ, предпочтена была жителями Иерусалима жизни Иисуса Христа!

Лакедемъ выслѣдилъ Иродіаду у береговъ Мертваго моря и утопилъ ее въ асфальтъ. Ея тѣнь поднимается изъ моря каждою 29-го августа: день усѣченія главы Иоанна Предтечи.

Однажды, переходя по льду замерзшій Дунай, Лакедемъ погналъ юную еврейку, такую же бродягу, какъ и онъ самъ. При видѣ его она побѣдѣла и затрепетала, а онъ долго шелъ рядомъ съ нею, злорадно наблюдалъ, какъ она бѣднѣеть и дрожитъ изъ страха передъ нимъ... Потомъ сказала:

— Здравствуй, Саломея! Не протанцуешь ли ты мнѣ туть танецъ, за который царь Иродъ подарилъ твоей матери Иродіадѣ голову Иоанна Крестителя?

Всѧ дрожа, Саломея отвѣчала:

— Царь Иродъ умеръ ссыльными въ Ліонѣ, а мать моя пропала безъ вѣсти. Оставимъ въ покой ихъ память.

Лакедемъ возразилъ:

— Танцуй, Саломея. Если протанцуешь, я укажу тебѣ дорогу къ твоей матери.

Устрашенная, очарованная его пристальнymъ взглядомъ, Саломея начала танецъ... Когда она забылась, увлеклась, разошлася, Лакедемъ топнулъ по льду... Подъ его могучей пятой ледь раздался, и устремившіяся на утопающую Саломею льдины отрѣзали ей голову... Туловоице пошло ко дну, а голова покатилась по рѣкѣ, все еще скакава и прыгая, будто продолжая проклятый танецъ... И эту страшную танцующую голову ежегодно видитъ кто-нибудь въ приудайскихъ мѣстахъ, все въ ту же кровавую годовщину 29-го августа.



С. Лѣтнемъ саду (20-е годы).

Весенняя выставка въ Академии Художествъ 1918 г.

Г. Сагицкий.

Наказанный Тиберіемъ, лишенный должности, изгнанный, Пилатъ тоже долго блуждалъ по землѣ, какъ бродяга: искалъ покоя и не могъ найти. Его всюду узнавали. Въ отдаленнѣйшихъ городахъ и въ самыхъ глухихъ деревушкахъ, куда онъ никогда прежде не заглядывалъ, о существовании которыхъ не подозрѣвалъ, въ мѣстахъ, где, казалось, не могли слышать даже имени его, — всюду, чутъ только онъ появлялся, дѣти показывали на него пальцами и восклицали:

— Вотъ онъ — Пилатъ-судія!

Сперва его это удивляло, затѣмъ начало смущать, наконецъ привело въ ужасъ. Его жена, родомъ изъ Галліи, владѣла таинственнымъ знаніемъ друидессы. Она предсказывала мужу эту кару, когда просила его не выдавать Христа ярості священниковъ и черні. Пилатъ, вѣдь, и не прочь былъ спасти Его, но уступилъ возмущенію толпы, потому что, во-первыхъ, имѣть при себѣ слишкомъ мало солдатъ, во-вторыхъ, опасался доноса на себя кесаря. Однако, совершенно для Пилата неожиданно, тутъ-то кесарь и опалился на него.

Жена повезла Пилата въ Галлію, но чудо, преслѣдовавшее ихъ всюду, запугало, наконецъ, и се. Она покинула супруга и укрылась у друидессы на островѣ рѣки Сены.

Одинокій и несчастный Пилатъ добрался до Вьенны — близъ Ліона, где умеръ Иродъ. Тамъ дѣти встрѣтили бывшаго іудейскаго прокуратора все тѣми же криками:

— Вотъ онъ — Пилатъ-судія!

Онъ поселился у одного римлянина, съ которымъ былъ въ тѣной дружбы въ свои счастливые дни. Скорѣ онъ убѣдился, что и тутъ вѣдь знаютъ обоего несчастій, и всѣмъ онъ въ тягость. Онъ дошелъ до такого отчаянія, что пробовалъ утонуть въ одномъ лѣсномъ озерѣ близъ Вьенны, но вода не захотѣла принять его. Нокинулъ Вьенну и отправился искать могилы въ Гельвеції.

Онъ слышалъ когда-то отъ кого-то, что есть близъ Люцерна таинственное озеро, которое поглощаетъ свою добычу безвозвратно. Большого труда стоило ему взобраться на гору, господствующую надъ озеромъ. Печально стоялъ онъ на утесѣ надъ бездною, окруженней унылою горною осенью, которая, повѣгавъ птицъ и оторвавъ деревья отъ лиственного шума, водворила на горныхъ высотахъ мертвѣнную тишину... Но вдругъ и здесь Пилатъ услышалъ отчетливый голосъ:

— Вотъ онъ — Пилатъ-судія!

Сперва Пилатъ подумалъ, что слыхъ обманулъ его крикомъ какой-нибудь хищной птицы. Но, отглянувшись кругомъ, увидѣлъ человѣка, быстро направлявшагося къ нему. Іудейская одежда пришельца напомнила Пилату его прошлый грѣхъ, и, въ стыдѣ и ужасѣ, римлянинъ низвергся съ горы въ озеро...

Но и это озеро упорствовало принять его. Онъ только окунулся, а не могъ погрузиться. Какъ вдругъ, баражаясь въ водѣ, Пилатъ почувствовалъ на плечахъ своихъ тяжесть: это сѣль на него человѣкъ въ іудейской одеждѣ, котораго онъ только-что видѣлъ. То былъ Вѣчный Странникъ — Лакедемъ. Подъ его тяжестью Пилатъ перевернулся семь разъ, и тогда, наконецъ, воды озера съ ревомъ сомкнулись надъ его головою.

Но умеръ ли онъ, — кто знаетъ? Гора съ тѣхъ поръ зовется горою Пилата, а озеро подверглось заклятию. Ужающая бури волнуютъ его по ночамъ, адскія тѣни пляшутъ на немъ. Развѣ вѣдь появляется на берегу и Пилатъ, въ одѣяніи судіи. И кто его увидѣть, умретъ.

Если кто изъ прохожихъ бросить что-нибудь въ озеро, оно вздымаѣтъ свои черныя волны, заливаетъ окрестности, производить страшныя разрушенія. Въ XV вѣкѣ посѣщать берега Пилатова озера можно было не иначе, какъ съ формальнымъ разрѣшеніемъ лютерскаго магистрата, и, подъ страхомъ наказанія, воспрещалось бросать въ воду что бы то ни было.

Когда на Констанцскомъ соборѣ судили Яна Гуса, одинъ епископъ, произнося въ церкви проповѣдь, обратилъ внимание на странного слушателя, сидѣвшаго шагахъ въ десяти отъ него. То былъ старецъ преклонныхъ лѣтъ съ большой, совершенной бѣлой бородой. Каждый разъ, какъ упоминалось имя Христа, онъ склонялъ голову, но скорѣе съ робкою приниженностю, чѣмъ благоговѣйно. А когда проповѣдь касалася евангельскихъ событий, старикъ поднималъ глаза кверху, какъ бы припоминалъ прошедшее.. При этомъ онъ то стоналъ, то билъ себѣ въ грудь...

„Этотъ старецъ, — подумалъ епископъ, — или великий страдальцъ, или великий грѣшникъ“.

Онъ приказалъ служкѣ, по окончаніи проповѣди, привести старика къ трапезѣ.

Послѣ разспросовъ оказалось, что это не кто иной, какъ Лакедемъ. Онъ рассказалъ епископу всю свою исторію и поспѣшилъ откланяться, извиняясь, что больше не въ силахъ оставаться на одномъ мѣстѣ, ноги его горятъ, какъ на раскаленныхъ угольяхъ.

Всѣ участники этой трапезы вскорѣ умерли.

Въ 1466 году Лакедемъ появился въ Брюсселѣ и былъ приглашеннъ къ столу Филиппа Доброго. Пажи замѣтили, что гость ничего неѣлъ и все, что подавалось, бросалъ

подъ столъ. На немъ была восточная одежда. Повязка на лбу скрывала таинственный ангельский знакъ отверженія отъ смерти. Въ разговорѣ гость часто подтверждалъ свою сверхъестественную древность, рассказывая события, случившіяся много вѣковъ тому назадъ, съ подробностями, которыя могли быть известны лишь очевидцу. Онъ описывалъ дворецъ Карла Великаго въ Ахенѣ, палатку св. Людовика въ Тунисѣ, нравы Генриха-Птицелова въ старости. Филиппъ видѣлъ его дважды на разстояніи одного года и умеръ послѣ второго виданія. Сынъ его также встрѣтилъ Лакедема однажды, — передъ тѣмъ, какъ погибнуть при осадѣ Нансі.

Во время осады Мюнстера Вѣчный Странникъ явился снова, предшествуемый моловою, подъ именемъ еврея Исаака. Онъ принималъ живѣйшее участіе въ избраниі короля, онъ внушилъ Іоанну Лейденскому мысль объ его высокомъ назначеніи, о томъ, что онъ будетъ новымъ Соломономъ, — мало того, Мессіей. Онъ установилъ въ Новомъ Сіонѣ многоженство, назначивъ самому королю шестнадцать королевъ. Онъ же покушался на жизнь Франца Бальдека, при помощи молодой еврейки Сары, новой Юдии, какъ ее называли.

Когда его схватили и хотѣли пытать, всѣ старанія связать его или сковать остались безуспѣшны. Онъ рвалъ веревки, растягивалъ и разбивалъ оковы. Тиски разлетѣлись въ куски. Попробовали пытать его водою. Когда влито было ему въ ротъ черезъ воронку уже два ведра воды, онъ надулся, дунувъ и выплюнулъ всю воду высокимъ фонтаномъ. Наконецъ было рѣшено Сару повѣсить, а Исаака растерзать, привязавъ къ хвостамъ четырехъ дикихъ лошадей. Казни должны были совершиться единовременно. Но въ ту минуту, когда палачъ уже готовился стянуть на шеѣ Сары смертную петлю, одинъ за другимъ лопнули два ремня, прикрѣплявшіе Лакедема къ конямъ. Дѣвъ осталыя лошади поволокли его прямо къ висѣльцѣ. Палачъ и всѣ присутствовавшіе въ страхѣ разѣжались. Вѣчный Странникъ ухватился за столбъ, остановилъ коней, обѣзжалъ ремни ножомъ палача, имъ же обратилъ лошадей, схватилъ Сару, самъ сѣлъ на одного коня, ее посадилъ на другого — и были таковы! — ускакали въ Мюнстеръ.

За три дня до взятія Мюнстера Исаакъ исчезъ, и вскорѣ погибли всѣ видѣвшіе его.

Затѣмъ зловѣщая тѣнь Вѣчнаго Странника мелькаетъ то въ той, то въ другой мистической сектѣ XVII и XVIII вѣка... у масоновъ, розенкрѣцеровъ, иллюминаторовъ... Въ послѣдній разъ Лакедема видѣли на улицахъ Парижа въ тѣ грозные сентябрьскіе дни, когда старымъ глазамъ его суждено было испустить вторуюя предсказанныя ему слезы — слезы гордой радости... Его узнаютъ въ томъ неизѣдомомъ страшномъ старикѣ, который, въ сентябрьскихъ убийствахъ, шелъ во главѣ пиконосной толпы изъбившимъ знати и клира. Вооруженный громадною дубиною, онъ безжалостно глушилъ ею щѣйцарцевъ, королевскихъ гвардейцевъ, аристократовъ и, въ особенности, поповъ... Биль на смерть — и при каждомъ ударѣ напоминалъ историческія преступленія католицизма:

- Это — за альбигойскія войны!
- Это — за костеръ тампліеровъ!
- Это — за Вароломеевскую ночь!
- Это — за драгонады Людовика XIV'..

Говорить, именно этотъ самый загадочный старикъ-санкюлотъ, неистовствуя въ тюрьмѣ L'Abbaye, предложилъ мадемуазель де-Сомбрейль, когда она умоляла пощадить ея отца, выпить искитительный тостъ на погибель аристократовъ — и подалъ ей, вместо вина, стаканъ свѣжей человѣческой крови...

Зловѣщее влияніе Вѣчнаго Странника — предсказывать скорую смерть каждому, кто его видѣлъ — никогда еще не оправдывало себя такъ выразительно, какъ въ террорѣ французской революціи. Гильотина покончила со всѣми его очевидцами — и съ тѣми,



Въ Лѣтнемъ саду (20-е годы).

Г. Савицкій.

Весенняя выставка въ Академіи Художествъ 1918 г.

кого онъ призывалъ убивать, и съ тѣми, кто были его сочувственниками и товарищами въ убийствахъ...

Когда горячка гильотины начала слабѣть и ножи убийствъ притупились, неизѣдомый старикъ неизѣдомъ и исчезъ.

Гдѣ блуждаетъ онъ сейчасъ — страшный и жалкій — Вѣчный Странникъ, не прощаемый и не прощающій Лакедемъ?

Если вѣрить писателямъ и поэтамъ романтическаго прошлаго вѣка, то въ XIX столѣтіи онъ измѣнилъ своему характеру и сдѣлался изъ человѣконенавистника филантропомъ... Такимъ явился онъ Эженію Сю, чтобы отразиться въ его знаменитомъ романѣ «Вѣчный Жиль»...

Несомнѣнно, это новое направленіе приближаетъ Лакедема къ ожидаемому третьему моменту его слезъ — слезъ состраданія... Гдѣ-то застанетъ Вѣчнаго Странника это благодѣтельное, прекрасное мгновеніе?

Правду говоря, если Лакедемъ, дѣйствительно, жаждетъ и ищетъ повода пролить слезы состраданія, то странно будетъ, если мы не увидимъ его въ наши дни въ нашемъ злополучномъ отечествѣ. Потому что болѣе удобного и вызывающаго къ тому случая ужъ, конечно, не имѣть. Вѣчный Странникъ за всю свою почти двадцативѣковую жизнь...

* * *

Я танцовщица изъ Севильи,
И мною самъ король плѣненъ.
Старинныхъ кружевъ для мантильи
Съ своимъ пажомъ прислалъ мнѣ онъ.
Рѣсицы юноши — какъ стрѣлы,
Глаза темнѣе, чѣмъ агатъ.

Движенія быстры и несмѣлы,
Но гордъ и смѣль открытый взглядъ.
Другъ къ другу юность насы толкнула,
А страсть сказала всѣ слова.
Его цѣлуя, я швырнула
Ему подъ ноги кружева...

Наталия Грушко.

Старатели.

Повесть недавнихъ дней.

Н. Тихонова.

I.

„Когда артистъ играетъ Мефистофеля, онъ долженъ имѣть черный плащъ, рога и дьявольский хохоль, когда священникъ служитъ обѣдю, онъ долженъ имѣть ризу и важную сосредоточенность въ жестахъ и выраженіи лица, но когда предсѣдателю полкового комитета, да еще кавалерійскаго полка, нужно Ѹхать на важное засѣданіе, онъ трижды обязанъ имѣть френчъ, хотя бы и съ чужого плеча...“

Такъ совершенно искренно думалъ товарищъ Зейманъ, ходившій короткими, сильными шагами по своей маленькой, но чистой комнатѣ въ курортѣ И. Комната выходила въ садъ, гдѣ запущенные клумбы, разбитыя оранжереи и сломанныя или срублѣнныя деревья говорили о тщѣтѣ былого величія, а вороньи, сумрачныи и тоже чѣмъ-то удрученныи, клевали какія-то черничиніи ягоды, находили ихъ невкусными и улетали съ визгливо-жалобнымъ и встревоженнымъ крикомъ. Въ комнатѣ стояли кровать, столъ, два стула и плетеный диванъ. На кровати лежала шашка и револьверъ съ разсыпанной обоймой, на столѣ—альбомъ для стиховъ, гдѣ чередовались стихотворенія модныхъ авторовъ съ разудальными кавалерійскими пѣсенками, старыми чахоточными романсами и стихами на мѣстномъ языке. Стулья были свободны,



Голландочка.

Весенняя выставка въ Академіи Художествъ 1918 г.

М. Диллон.

и Зейманъ шагалъ отъ окна къ двери такъ осторожно, что не задѣвалъ ихъ ни длинными блестящими шпорами ни длинными загорѣлыми руками, которыми имѣлъ привычку жестикулировать, когда говорилъ самъ съ собой. При людяхъ же онъ всегда былъдержанъ, уходилъ въ себя и обыкновенно принималъ какую-нибудь одну позу. Положимъ, въ выборѣ позъ онъ не былъ разнообразенъ.

Пройдя разъ двадцать отъ стола къ двери и обратно, онъ круто повернулся послѣдний разъ, звякнулъ шпорами, вышелъ изъ комнаты, постоялъ на порогѣ балкона, сохранивъ невозумѣмыми сѣрые, большие глаза и круглое, загорѣлое лицо, потомъ рѣзко стала подыматься по лѣстницѣ во второй этажъ такимъ твердымъ шагомъ, что каждая ступенька болѣзненно стонала и скрипѣла. Поднявшись во второй этажъ, Зейманъ постучалъ въ одну изъ дверей.

— Это ты, Зейманъ?—послышился изъ-за дверей сонный, негромкій голосъ.—Входи, только дверь притвори, а то у меня окно открыто. Сквозняку нагонишь!

— А ты все спиши!—сказала Зейманъ, вступая торжественно въ комнату.—Да они все спятъ еще,—добавилъ онъ,бросая взглядъ на вторую кровать, гдѣ лежалъ секретарь комитета, Ивановъ, закутанный съ головой въ одѣяло,—ну, и лѣтитъ! А я къ вамъ по дѣлу. Вставай, Мирцевъ, я подожду. Вѣдь скоро одиннадцать...

— Развѣ можно спать, когда ты явишся!—воскликнулъ секретарь, высывая изъ-подъ подушки взлохмаченную голову.—Идеть, какъ каменная глыба... Ты знаешь, когда ты поднимашься къ намъ сюда, наверхъ, нѣмцы у Икскоула начиваютъ ураганную стрѣльбу. Они думаютъ, что это тяжелую артиллерию подвозятъ...

— Брось острить—все равно глупье не будешь...

— Я съ тебя, дорогой, примѣръ беру... Ты же говоришь: они все спятъ. А кто это „всѣ“? Я, кажется, всегда здѣсь сплю одинъ: никого не привожу...

— Ну, къ чорту, оставь,—прервалъ его Мирцевъ,—такъ ты хочешь что-то сказать... Ахъ, да, чего это ты самъ поднялся такую рань? И вымылся, и вычистился и чуть-что не въ походѣ. Ну, говори, а я буду одѣваться...

— Дѣло въ томъ, что сегодня,—медленно и твердо началъ Зейманъ,—у меня будетъ очень важное совѣщеніе о дѣлѣ, которое касается и нашего полка. Совѣщеніе это—безусловная тайна, и если я о немъ все же вѣстъ ставлю въ извѣстность, то потому, что считаю это необходимымъ. Положимъ, о немъ узнаете еще завтра или сегодня ночью... А къ тебѣ я зашелъ вѣтъ почемъ: мнѣ нуженъ твой френчъ. А то, знаешь ли, неудобно: тамъ будутъ и нашъ „Ишакъ“, и корпусный, и искосолыцы, такъ что... да ты самъ понимаешь...

— Бери, мнѣ не жалко,—сказалъ Мирцевъ, натягивая сапоги,—но ты съмъ-то знаешь что-нибудь определенное или нѣтъ? Вѣдь если это—тайна, то тебѣ не стоять больше и разспрашивать, потому что не нужно. Разъ тайна—да еще вылупившаяся изъ своего яйца съ утра,—то, значитъ, послѣ обѣда, даже во время обѣда мы ее узнаемъ: у насъ вѣдь все новости и военные тайны разносятся съ каѣшъ...

— И да и нѣтъ. Пока ничего не могу сказать. Такъ я беру френчъ... Я тороплюсь на поѣздъ въ 11—50, а то со слѣдующимъ поздно. У меня, кромѣ совѣщанія, еще дѣла въ городѣ...

— Не давай ему, Валька, френча,—замѣтилъ Ивановъ, зѣвая и протянувъ руку за папиросами,—онъ вѣдь жениться собирается и тебя надуваетъ. И экстренность иочная того же сорта. Ей-Богу. Я тоже хорошо освѣдомленъ...

— Ну, и дуракъ же ты,—обратился къ нему уже на порогѣ уходившій Зейманъ,—колossalный дуракъ. А все-таки и съ тобой мнѣ придется переговорить серьезно...

— О, ради Бога! Когда я не выпасался, я всегда серьезенъ.

— Не смѣйся! Я называю тебя лѣтнемъ и не беру слова назадъ. Ты вѣдь посмотри, какъ ты все запустилъ: журналовъ не ведешь, протоколовъ за дѣлѣ нѣтъ, газетъ не разсылаешь. Только и сдѣлай, что весь нашъ табакъ выкурилъ да весь шоколадъ въ лавѣ сѣлъ. Теперь за консервы принялся. Это развѣ порядокъ? Чертъ побери такого секретаря!

— Да что же я могу подѣлать, разъ я—анархистъ. Благородство анархиста не можетъ терпѣть рутину. А это рутину: всѣ эти протоколы, бумаги, чернила. И ты не злись напрасно. Попчитай лучше Штирнера...

— Въ самомъ дѣлѣ, вставай,—сказалъ Мирцевъ, когда Зейманъ ушелъ,—я уже готовъ, вмѣстѣ умываться пойдемъ, ведро подержиши...

Черезъ часъ они сидѣли на балкоѣ своей дачи и пили чай. Солнечное яркое лѣтнисе утро звонко заглядывало въ широко раскрытыя окна, въ здоровыя, загрубѣвшія лица, въ стаканы съ крѣпкими, настоившимися чаемъ.

Мирцевъ читалъ передовую статью въ столичной газетѣ, а Ивановъ нумеровалъ полученнія изъ канцелярии бумаги. По

улицѣ къ морю проѣхали голые всадники на лошадяхъ безъ сбѣдль, пробѣжала рыжая, шмурягая собака, громко и беспорядочно обляявъ лошадей, прошли три солдата съ парусиновыми ведрами, и потомъ долго кружилась тонкая, острия, горячая, дымная пыль, заволакивая низкіе заборы и сломанные кусты.

Зейманъ шелъ изъ станціи длиннымъ и узкимъ перелѣскомъ, по-росшимъ брунникой и заваленнымъ кучами конскаго навоза. Когда-то это была улица моднаго курорта. Теперь виллы съ ободранными стѣнами, разбитыми крышами, инвалидами-трубами и проломленными полами, на которыхъ лежали грязные обрывки портьяночкъ, бумагъ, матерій, картона являли картину мерзостнаго запустѣнія. Отель въ 75 комнатъ стоялъ, какъ высокий, длинный, пустой сарай, и только вѣтеръ ночью порывисто хлопалъ непрітворенными дверьми, и кое-гдѣ падало разбитое еле державшееся стекло, съ маленьkimъ, дробнымъ звономъ.

А зато справа доносился большой, мощный гулъ моря, гулъ верхушекъ сосенъ, высокихъ, красныхъ сосенъ, смотрѣвшихъ съ безмолвной снисходительностью на покой оскорблѣнаго человѣческаго жилья. Какое дѣло было желтымъ широкимъ отмелямъ, деревьямъ и морю до того, что на берегу не стало больше грехота оркестровъ, купаленъ, нарядныхъ боннъ, еще болѣе нарядныхъ господъ, безопасно разряженныхъ ледокъ, всего того гомона, который приноситъ человѣкъ во всякое мѣсто, где онъ ставить свой домъ, сажаетъ свой садъ и заводить граммофонъ жалкаго, но громкаго существованія. Облаца равнодушныы сами по себѣ, море величественно безъ тушъ и скелетовъ, затянутыхъ въ трико, и увеселительныхъ яхтъ, а сосны прекрасны даже тогда, когда подъ ними нѣтъ парочки въ бѣлыхъ костюмахъ, съ цветками въ рукахъ...

Даже маленький веселый вокзалъ былъ наказанъ строго и больно за свою веселость и безпечность прежней жизни. Бомба съ аэроплана разрушила его въ нѣсколькихъ мѣстахъ, и сквозь бреши заглядывало внутрь то голубое, ликующее, лѣтнее небо, какое смѣялось и сверкало на крыльяхъ двухъ самолетовъ, лѣтѣвшихъ куда-то быстрыми и упругими движеніями.

II.

Командиръ Н. корпуса, генераль-лейтенантъ Сѣдлецкій и начальникъ дивизии генераль-майоръ Растигинъ были школьнными товарищами, бѣгали вмѣстѣ по коридорамъ громаднаго кадетскаго корпуса, оба вышли въ одинъ годъ въ офицеры, и одинъ остался въ Петроградѣ, а другой уѣхалъ на Кавказъ лѣчить свое немного разстроенное здоровье и жениться. Передъ самой войной, жена у Растигина умерла,—сынъ умеръ еще раньше,—и поэтому генералъ съ радостью принялъ командование стрѣлковой бригадой... Человѣкъ суровый, прямой, называвший вещи своими именами, не боявшійся смерти, строгій до ужаса къ подчиненнымъ,—натура, переносившая легко и морозы и жары, три раза контузіи и рану въ плечо отъ шрапнельной пули, онъ втянулся и стала тѣмъ боевымъ генераломъ, который всегда ѳдетъ быстро-быстро на замыгтанномъ, низкомъ, всклоченномъ жеребчикѣ въ сопровожденіи высокаго адъютанта, обязательно высокаго, въ противоположность генеральской маленькой фигуркѣ, доѣзжаетъ до второй линіи окоповъ, слѣзаетъ съ лошади, крахти и отплевываясь, и идетъ въ окопъ, по колѣю въ грязи, по дорогѣ здороваясь со своимъ „внучатами“, „ребятками“, „орлами“, какъ онъ зоветъ стрѣлковъ, и скучающіе лица темнѣютъ благодарной ретивостью, и сквозь здоровые бѣлые зубы сибирскихъ молодцовъ звучитъ какъ-то нагло и громко, громче, чѣмъ требуетъ приличие: „здравія желаемъ“... Къ осени 1916 года дивизію перебросили на Двину, ко взморью, и она здѣсь выдержала крѣпкие лѣвінны, зимніе бои, показала геройство и пустила кровь герману, хотя и у самой осталась „рожа въ пуху“, какъ смѣялся генералъ, говоря съ „земляками“ на отвоеванныхъ у непріятеля окопахъ...

Но съ того времени, когда случилось „это“, непредвидѣнное, неосмыслившее имъ, онъ сталъ по возможности уединяться, притворяться больнымъ, именно притворяться, потому что онъ отъ природы обладалъ здоровьемъ благодатнымъ, не хворалъ почти никогда и былъ крѣпокъ, какъ „мороженый дубъ“, какъ говорилъ онъ вся кому, кто ранѣе спрашивалъ о его здоровье.



Февральские дни 1917 г.

Весенняя выставка въ Академіи Художествъ 1918 г.

И. Гинцбургъ

И долго, долго, цѣлыми ночами лежалъ онъ и думалъ; отсыпалъ адъютанта спать, гасилъ свѣтъ, раздѣвался, ложился въ постель и думалъ: о себѣ, о своемъ старческомъ пути (было ему уже 54 года), о столицѣ, въ которой находились его родственники, о своей покойной женѣ, обѣ единственныхъ сынѣ, который умеръ пять лѣтъ отъ рода, простудившись въ одинъ морозный, трескучій вечеръ, о своихъ „землякахъ“, находящихся сейчасъ на отдыхѣ около города, вспоминаль ихъ темныя, скучающія, точно изъ старого забѣтеннаго дерева, лица, ихъ широкія, добродушныя улыбки, ихъ мужицкія, сочныя, грубыя, колкія, увѣсистыя, какъ камни, рѣчи, дробный, тяжелый, темный, какъ ихъ глаза, смѣхъ, и мысль его неизмѣнно возвращалась къ себѣ и къ тому, что случилось со страной въ этотъ баснословно короткій промежутокъ времени. О себѣ онъ думалъ: „Боже, какъ я уже старъ, мнѣ 54 года, да, только 54 года; другие въ эти годы еще стараются молодѣть, и имъ удается; какая-нибудь развалины и тѣ подмазываются подъ жизнь и красятся, и румянятся, и бодрятся, и бросаютъ kostыли, чтобы ходить самимъ и держаться незамѣтно за стѣны...“

А онъ свѣжъ съ виду, закаленъ, неутомимъ, и ему даже говорятъ, что сѣдина идетъ къ нему восхитительно, восхитительно,—да, такъ точно сказала ему одна знакомая полковница, но можетъ быть, она только сказала комплиментъ, въ которомъ не было ничего отъ сердца.

А онъ самъ знаетъ, что на душѣ у него темно и страшно, и отъ этого темнаго и страшнаго онъ не можетъ спать. И онъ знаетъ, насколько онъ старъ. Когда онъ ходитъ по окопамъ, смотрѣть въ глаза пулеметныхъ гнѣздъ, отбрасываетъ ногой спутанную, колючую проволоку, шутить подъ грохотъ упавшаго „чомодана“—ему тогда 25 лѣтъ, да, да, не больше... И тогда онъ можетъ закричать „ура“ и, какъ мальчишка, бѣжать до усталости и хрипоты, выталынвая тяжелыми ногами мокрый, проваливающійся снѣгъ,—но когда онъ возвращается на отдыхѣ, ложится въ постель и гасить свѣтъ, и его сѣдая голова уходить въ мягкую грудь подушкѣ, о, тогда невидимая и ужасная тяжесть опускается на его маленькое, сморщенное тѣло, и чѣ-то голосъ — точно голосъ покойной жены — шепчетъ ему нѣжно и кротко, какъ это было когда-то: „ну, спи, спи, мой хороший—ты очень усталъ и тебѣ нужно отдохнуть“, —или это чѣ-то незнакомый, гулкій, зычный голосъ, который кричитъ на всю комнату, не боясь тишины: „спи, стариkъ, спи, — тебѣ сегодня 120 лѣтъ, 120 лѣтъ, и ты живешь уже вторую жизнь... вторую, чужую жизнь... Ты захватилъ эту вторую жизнь и не по праву живешь. Усни же, усни, иначе эти 120 лѣтъ еще увеличиваются вдвое, втрое, вчетверо...“

Что это такое? Онъ приподнимается, облокачивается на подушки, потому тихо освобождается одну ногу изъ-подъ одѣяла,

потомъ другую, и идеть къ окну, которое освѣщено луной. И, проходя мимо зеркала, взглядываеть быстро и какъ-то кого въ стекло, и ему видна сгорбатившаяся, визенская, тусклая фигурука въ бѣломъ, надъ которой дрожитъ какъ подъ отчаянной тяжестью что-то исполински большое и темное. И онъ садится у окна за спиной, пахнущей пылью и старыми духами, шторой,—и, закрывъ лицо руками, думаетъ...

Все стало по-другому. И солнце стало другое, и небо, и люди, и его адъютантъ, и письма, которыя приходять къ нему изъ города, и его „земляки“, взрослые, бородатыя дѣти. И напрасно адъютантъ притворяется, называя его „ваши превосходительство“, и напрасно солдаты отвѣчаютъ, какъ всегда, свое гортанное привѣтствіе, — въ этомъ притворствѣ есть какое-то безпокойство и насмѣшка у адъютанта, а солдаты таять что-то въ себѣ такое, чего онъ раньше не замѣчалъ...

И зачѣмъ еще встрѣтилъ онъ своего школьнаго товарища, этого эгоиста, тоже привыкшаго како-то глупый, новый, непонятный тонъ, генераль-лейтенанта Сѣдлецкаго, у котораго сегодня должно состояться тяжелое и чрезвычайное собраніе по вопросу, который измучилъ Растигина за два послѣднихъ днія; можетъ-быть, отъ этого постарѣлъ онъ еще больше...

III.

Генераль-лейтенантъ Сѣдлецкій былъ человѣкомъ той неопредѣленной въ обычное время группы людей, которая всегда отличается острой, почти болѣзней опредѣленностью возврѣній лишь въ окончательныхъ фазахъ господствующаго порядка. Генераль-лейтенантъ Сѣдлецкій вѣдѣтъ красную розу въ петлицу; эту розу ему бросили въ офицерскомъ собраніи, гдѣ онъ скажетъ свою первую революціонную рѣчь, — прикажетъ называть себя просто генераломъ, раньше приказа по военному вѣдомству; скажетъ три или четыре захватывающія, по новизнѣ и красотѣ, рѣчи, которыя, какъ говорили потому, были составлены его племянникомъ, студентомъ-юристомъ, прaporщикомъ изъ вольноопредѣляющихся, — выписать для своей дивизіи (онъ тогда еще командовалъ дивизіей) на 1000 рублей революціонной литературы изъ Петрограда, и стать ждать...

Ждать ему пришлось не долго. Прежній командиръ Н. корпуса былъ господиномъ правилъ „временемъ“ Очаковскихъ и покореніемъ Крыма“, постолку, поскольку они касались его службы, да къ тому же былъ изъ русскихъ нѣмцевъ со звучнымъ именемъ, и его заставили очень скоро ретироваться.

Генераль-лейтенантъ Сѣдлецкій былъ приглашенъ занять его мѣсто. Искосыль напечаталъ лестную статью съ похвалами храброму генералу. Потомъ появилось дополнительное постановленіе комитета той дивизіи, которой онъ раньше командовалъ, и въ этомъ постановленіи говорилось о прямыхъ и великихъ качествахъ его благородной души, о его дѣяніяхъ по службѣ, геройствѣ и братскому обращенію съ подчиненными, — и слава его была упрочена.

Самъ же онъ ничего не имѣлъ противъ печатныхъ єюміамовъ, сладкихъ резолюцій и своего новаго поста. Онъ мѣтилъ еще выше, и его умная голова была бы безусловно вполнѣ на мѣстѣ и за столомъ Главкосѣва.

Когда онъ встрѣтился съ Растигинымъ, онъ увидѣлъ сразу задумчивую злобу упрямаго старика противъ всего нового, попробовать въ долой и горячей бесѣдѣ обсѣгдовать всѣ дальние углы души бывшаго однокашника, и когда уѣдился, что эту тѣлту нельзя поставить изъ канавы на дорогу, потому что у нея всѣ колеса разбиты, — онъ махнулъ рукой и сказалъ:

— Знаешь что я тебѣ предложу, только чурь — не пеняй на меня и не лайся; дѣло твоє старое, собирай свои кости и уѣзжай, потому что иначе худо будетъ. И даже, можетъ, очень худо... Такъ вотъ: я, конечно, по-товарищески, безъ зла, а потому что чувствую...

Растигинъ поглядѣлъ на него бокомъ и, ничего не сказавъ, поднялся и ушелъ.

— Вотъ сумасшедшій, — бросилъ Сѣдлецкій, — вотъ сумасшедшій. Этакъ вѣдѣ онъ можетъ и мнѣ игру испортить. Придется за nimъ посматривать.

Но пока Растигинъ держался своей загадочной молчаливой позиціи, его дивизія отыхала отъ окопной работы, и все но-сило характеръ мирнаго бытія.

И вдругъ прилетѣла нелѣпая исторія, первая ласточка, какъ язвительно называлъ Сѣдлецкій это извѣстіе: первая ласточка изъ той стаи неизбѣжныхъ непрѣятностей, которыхъ не понималъ этотъ старый упрямецъ Растигинъ. По слухамъ этой исторіи и было назначено срочное собраніе у корпуснаго сегодня вечеромъ...

IV.

Засѣданіе было назначено на половину девятаго вечера, но всѣ запоздали, такъ что около десяти часовъ у Сѣдлецкаго сидѣли лишь Растигинъ, комиссарь его дивизіи, поручикъ Камба, и начальникъ штаба корпуснаго, подполковникъ Заюницкій.

„Безъ исконочца начать нельзѧ, — подумалъ Сѣдлецкій, сидя за письменномъ столомъ, — да и кавалеристовъ нельзѧ“.

Онъ вышелъ въ приемную и здѣсь увидѣлъ молодого человѣка среднаго роста, державшагося браво и прямо, и, казалось, еще

больше желавшаго быть бравымъ и молодцеватымъ. При видѣ его, генераль нѣсколько растерялся, такъ какъ молодой человѣкъ безшумно, но грузно шагнулъ къ нему, щелкнувъ шпорами и отрекомендовался:

— Зейманъ, предсѣдатель полкового комитета драгунскаго полка, честь имѣю явиться...

— А... да, — сказалъ Сѣдлецкій, снова осматривая драгуна съ головы до ногъ, нѣсколько пріятно удивленный его машинной грацией, — слыхалъ, доблестный полкъ, прошу...

И онъ провелъ Зеймана въ свой кабинетъ, куда черезъ пять минутъ явился и начальникъ кавалерийской дивизіи, генераль майоръ Исаковъ, человѣкъ, имѣвшій темное лицо. всегда готовые анекдоты, истинный смыслъ которыхъ тоже былъ темнымъ для окружающихъ, что не мѣшало однако имѣ улыбаться на его остроты въ знакъ почтительногоуваженія къ золотымъ зигзагамъ генеральскихъ погонъ. За свои анекдоты да за глупыя приказы по дивизіи его давно уже прозвали „Ишакомъ“. Правда, была еще одна группа поклонниковъ его недостатковъ, именовавшая его Исавомъ, но привилось какъ-то первое; и когда спрашивали: „ну, какъ здоровье нашего „Ишака“?“, или: „а слышали, что еще выдумали нашъ „Ишакъ“?“, — то это было равно понятно и офицерамъ и гусарамъ и кашеварамъ и телефонистамъ всей дивизіи.

Знать про свое прозвище и самъ Исаковъ, но отмалчивался, и когда свирѣпѣлъ, то его темное лицо становилось совсѣмъ чернымъ, щеки какъ-то раздувались, губы толстѣли непомѣрно, а маленькие, свиньи глаза были колики и тонки, какъ концы его густо нафабриченыхъ усовъ. Кроме всего этого онъ былъ еще человѣкомъ желчнымъ, а тутъ къ тому же попасть въ дурацкое положеніе: нѣсколько дней назадъ во время утренниго завтрака, который онъ всегда раздѣлялъ съ адъютантомъ, послѣдній рассказалъ ему, по обыкновенію, свѣжій политический анекдотъ (любыи самъ анекдоты, генераль требовалъ такой же любви и отъ своихъ подчиненныхъ, не ниже, конечно, поручика; съ корнетами они разговаривали рѣдко, а на прапорщиковыхъ только смотрѣль строго и внушительно.) Адъютантъ кончилъ анекдотъ, генераль засмѣялся и сказалъ:

— Ну, а что же дальше? Что еще?

— Что еще, ваше превосходительство, — ахъ, да — совсѣмъ забылъ: вчера въ городѣ я встрѣтилъ одну только что пріѣхавшую сестру милосердія (сестры милосердія — это была вторая и предпослѣдняя слабость „Ишака“; послѣдней его слабостью былъ спиртъ, который онъ истреблялъ въ неограниченномъ количествѣ, добывая его по милости старшаго медицинскаго врача дивизіи Гнусавина). — Такъ вотъ, — продолжалъ офицерь, — эта сестричка, это такой деликатесъ, что, ей-Богу, я ухаживалъ за ней цѣлый вечеръ. И она скоро пріѣдетъ сюда... Достала пропускъ и знаете, — тутъ главное: она хочетъ васъ видѣть!

— Шутишь, братецъ?

— Смѣю ли, ваше превосходительство, — да, наконецъ... — засуетился адъютантъ, — къ обѣду она будетъ обязательно здѣсь. Разбрѣши взять ее подъ охрану вашего превосходительства... Миромъ соорудимъ обѣдъ. Можно и не въ собраніи. У меня на дачѣ отличный поваръ...

Генераль крякнулъ, крѣпко затянулся старой, душистой сигарой, нафабрили усы такъ жирно, что они должны были у незнающаго человѣка вызвать недоумѣній вопросъ: что это такое жирное ъѣль генераль, что весь жиръ остался на усахъ? — два раза поглядѣлъ въ зеркало и еще разъ крякнулъ, вспомнилъ свои юнкерскія похождѣнія и почувствовалъ себя совсѣмъ хорошо. — Значить, еще повоюемъ, чортъ возьми, разъ женщины еще нравлюсь... Да еще заочно!.. Но дѣло приняло совсѣмъ плохой оборотъ. Сестра милосердія пріѣхала къ обѣду, не опоздала ни на минуту, но она оказалась дочерью генерала. Правда, онъ не могъ думать про нее то, что она пріѣдетъ, потому что она работала на пунктахъ Краснаго Креста на Солнечной Горѣ, и теперь пріѣхала, не предупредивъ его... Она разсказала, какъ познакомилась съ его адъютантомъ на вокзалѣ, какъ немногій, совсѣмъ немногій мистифицировала его, а пріѣхала она всего на неѣлю, взяла отпускъ, потому что боевъ нѣть, а не имѣла времени предупредить, потому чтоѣхала съ подругой, эвакуированной въ Псковъ.

Исаковъ слушалъ ее холодно, и съ каждымъ словомъ лицо его темнѣло и темнѣло, и языки тяжелѣли, и непрѣятная холодная ломота появлялась въ плечахъ и подъ колѣнками. Какъ будто кто-то долго и упорно гонялъ его на кордѣ въ пыльномъ и душномъ манежѣ, и пыль набрасывалась ему въ глаза, въ ротъ, въ носъ и мѣшала дышать. Въ такомъ гнетущемъ состояніи пріѣхала онъ на совѣщеніе.

Слѣдомъ за nimъ явился командиръ артиллерійской дивизіона, подполковникъ Фугастовъ, человѣкъ всегда веселый, здоровый, опредѣленно и коротко говорившій о своихъ политическихъ убѣждѣніяхъ:

— Вотъ что хотите, то и дѣлайте, а я уѣждениій монахистъ! Вотъ ставьте къ первому забору и разстрѣливайте, а передѣлывать мою шкуру нельзѧ, въ такой родился...

Солдаты любили его за его откровенную грубость, за то, что онъ пилъ съ ними, называя ихъ свиньями, и никогда не трусилъ.

(Продолженіе слѣдуетъ.)

Цвѣтокъ самоубійцъ.

Какъ надъ прахомъ казненныхъ растеть мандрагора,—
На могилахъ людей, испытующихъ рокъ,
Вырастаетъ блестящій, опасный для взора
Одинокій и жуткій цвѣтокъ.
Только крикнетъ сова, старыхъ склеповъ колдунья,
На зеленый огонь, на могилу, приди—
И сорви тотъ цвѣтокъ въ первый часъ новолуния
И храни у себя на груди...

И мудрѣй Соломона, пышнѣй Аладина
Жизнь пройдешь ты, повѣривъ мечтѣ,—
Лишь во снѣ будетъ сниться ночная долина
И огонь на могильной плитѣ...
Но страшись: если зло овладеетъ тобою,
Жгучій ядъ смертоносной тоски—
Ты умрешь одинокимъ, забытымъ судьбою,
Отъ своей же руки!

Н. Т.

Изъ прошлого европейской международной политики.

I. Вестфальский миръ.

Война и революція заставили самые широкіе круги русского общества заинтересоваться многими такими вопросами, которые еще недавно считались удѣломъ однихъ специалистовъ. Русскому человѣку приходится чуть не ежедневно опредѣлять свое отношеніе къ сложѣйшимъ проблемамъ государственного права, политической экономіи и международной политики. Даже оставаясь въ роли просто любознательного наблюдателя историческихъ событий, пестрой чередой развертывающихся передъ нимъ, онъ долженъ обладать извѣстнымъ запасомъ фактическихъ свѣдѣній и научныхъ познаній, которыми не всегда снабжаетъ его школа и которыхъ не легко извлечь изъ популярныхъ книжекъ и справочниковъ. Въ особенности это справедливо въ примѣненіи къ международной политикѣ. До войны область международной политики была для огромного большинства русскихъ гражданъ, въ полномъ смыслѣ слова, "книгой за семью печатями". Старый режимъ ревниво оберегалъ ее отъ "простыхъ смертныхъ", и въ общемъ мы, безъ особыхъ протестовъ, мирились съ такимъ положеніемъ вещей. Но теперь, когда виѣшняя политика Россіи дѣлается именемъ русского народа, всякий русскій обязанъ умѣть сознательно судить о ней и стремиться оказывать на нее посильное влияніе. Ничто такъ не поможетъ ему въ этомъ, какъ историческое освѣщеніе нѣкоторыхъ основныхъ началъ современного международного порядка.

Мы представляемъ себѣ всѣ современные культурные государства объединенными въ одно "международное общеніе", въ одну великую "семью государствъ". Всѣ члены этой "семьи", независимо отъ ихъ размѣровъ, богатства и политической мощи, признаются равными передъ лицомъ международного права, подобно тому, какъ внутри современного государства всѣмъ ого гражданамъ, богатымъ и бѣднымъ, красивымъ и некрасивымъ, талантливымъ и бездарнымъ, приписывается равенство передъ закономъ. Правовое равенство государствъ является незыблѣмой основой международного порядка. Только съ момента общаго признания этого начала становятся возможными правильныя сношенія между государствами и закладывается фундаментъ международного общенія.

Поэтому возникновеніе международного общенія и дѣйствующаго въ его предѣлахъ международного права относится къ сравнительно поздней исторической эпохѣ. Господствующее въ науцѣ учченіе начинается біографіей современного международного порядка отъ Вестфальского мира, подписанного въ 1648 году. Древность не знала подлинного международного права. Древнему Востоку присуща была идея избраннаго Богомъ народа, который всякаго чужестранца почиталъ "невѣрнымъ" и уже по одному этому не могъ поддерживать съ другими народами сношеній, покоящихся на равноправіи сторонъ. Древній Римъ ставилъ себѣ цѣлью не международное общеніе, а міровое господство, такъ же несовмѣстимое съ международнымъ правомъ. Жизнь средневѣковой феодальной Европы была отмѣчена безконечными и дробленіемъ народовъ и территорій на множество мелкихъ "вотчинныхъ" государствъ и господствомъ "кулачнаго права".



Могила самоубійцы.

В. Котарбинскій.

И только на переломѣ отъ среднихъ вѣковъ къ новому времени, когда понемногу сложились въ своихъ главныхъ очертаніяхъ современные европейскія государства и рядомъ съ Германской имперіей образовались сильныя, способныя отстаивать свою независимость монархіи, Англія, Франція, Испанія, Швеція, создалась почва для зарожденія международного права. Въ XVI и XVII столѣтіяхъ возникла и сдѣала замѣтные успѣхи наука международного права. А въ серединѣ XVII вѣка Европа была поражена невиданными дотолѣ зрѣллицемъ международного конгресса, на который съѣхались представители едва ли не всѣхъ европейскихъ государствъ, за исключеніемъ Россіи, Англіи и Польши, для подписанія мирнаго договора. Такъ и на этотъ разъ война содѣйствовала сближенію народовъ и оживленію сношеній

между ними. Тридцатилетняя война подвергла Европу чудовищному опустошению. Но она имела один положительный результат огромной важности: она дала жизнь современному международному строю.

В XVI веке вся Европа была потрясена реформационным движением, которое, будучи религиозным по существу, имело и крупные политические последствия. Борьба между католичеством и протестантизмом вылилась в целый ряд вооруженных столкновений в испанских Нидерландах и во Франции. В начале XVII столетия вспыхнула тридцатилетняя война в Германии. Император Фердинанд II, в качестве защитника католической церкви, поднял в Чехии гонение на протестантов. Чехи возмутились, и в мае 1618 года в Праге была произведена торжественная "экспенестрация", изъ окон ратуши, согласно "доброму старочешскому обычью", выкинули ратманов и их писцов. Это послужило сигналом к восстанию. Чехи вооружились, объявили Фердинанда низложенным с чешского королевского престола и выбрали королем курфюрста пфальцского, Фридриха V, зятя английского короля Якова I. Началась тридцатилетняя война.

По мере того как расширялась территория военных действий и в войну вовлекались все новые и новые государства, она понемногу утрачивала свой религиозный характер. Отдельные государственные деятели вмешивались в войну и примыкали к той или другой стороне по чисто-политическим соображениям. Так в 1630 году в Померании высадился "святого король" Густав-Адольф шведской. Он выступил на защиту протестантов и был, может быть, одним из наиболее идейных участников войны. Но это не помешало тому, что к Густаву-Адольфу примкнула Франция, с которой он заключил в 1631 году соглашение о финансовой субсидии. Франция была правоверной католической страной, ее король почтился "перворожденным сыном римско-католической церкви", и политикой ее руководил князь церкви, кардинал Ришелье. Но Ришелье считал выгодным для интересов Франции ослабление Австрии и потому поддерживал вождя протестантов.

Ликвидация тридцатилетней войны затянулась на очень продолжительный срок. Первая попытка завязать мирные перего-

воры относится еще к 1634 году, с 1640 года переговоры фактически велись, и в 1645 году предварительные условия мира были установлены, но еще три года ушло на подготовительные совещания, на пререкания о церемониях конгресса, о том, кому первому въехать в город и войти в зал, как разместиться за столом, как титуловать друг друга участникам конгресса. Только совершенное истощение воюющих стран побудило бросить последнюю колебание и приступить к подписанию мира. Окончательные переговоры велись параллельно в Оsnabрюке и в Мюнстер-Вестфальском, в виду невозможности соединить в одном собрании уполномоченных протестантской Швеции и римского папы. 6-го августа 1648 года в Оsnabрюке был подписан мир между императором, с одной стороны, и Швецией и протестантскими государствами Германии с другой. 17-го сентября в Мюнстер-Вестфальском, при участии прочих католических государств. Наконец 24-го октября 1648 года оба договора были соединены в один акт Вестфальского мира, подписанный в Мюнстер-Вестфальском всеми государствами, представленными на конгрессе.

Главнейшая постановлена Вестфальского мирного трактата сводились к следующему. Было провозглашено принципиальное равноправие обоих венценосных династий, католического и протестантского. Все государства Германии, число которых дошло до 35, были признаны независимыми. Швейцария и Нидерланды, уже до того отстоявшая свою государственную самостоятельность, получили формальное признание Франции и Швеции, им, как победителями, были присуждены территориальная приращение, — Швеции досталась Померания, Франции — Эльзас. Но особое значение Вестфальского мира историю видеть в самом факте создания первого общеверховского конгресса, на котором были сообща обсуждены и решены основные вопросы текущей международной политики. С тѣх пор такая периодическая собрания международного характера стали привычным явлением европейской жизни, и идея великой "семьи народов" получила свое реальное воплощение.

Проф. К. Соколовъ.

Я помню. Это было. За границей. Лѣтомъ...
Мы познакомились. И цѣлый день вдвоемъ,
Бывало, ссорились на пляжѣ. За крокетомъ...
А вечерами Грига шли мы слушать въ домъ...
Быть въ нѣжныхъ бликахъ фонъ далекаго чертога.
На подоконникѣ грустилъ цвѣтокъ луны...
И повѣряли мы, бывало, долго, много
Другъ другу юношескихъ думъ святые сны...
Но вотъ, прочтя вчера въ газетѣ съ жутью строки

* * *

О томъ, что ты убитъ — мой дальний, давній другъ,
Воспоминаній сны вдругъ стали такъ глубоки!
И былъ покой сплошнымъ зіянемъ мукъ...
Приди ко мнѣ, какъ встарь, съ своимъ простымъ
отвѣтомъ
И разомкни кольцо жестокихъ, скорбныхъ дрѣмъ...
Какъ, помнишь? Въ Иль-де-Франсѣ. За границей.
Лѣтомъ...
Гдѣ вечерами Грига шли мы слушать въ домъ...

Павелъ Орѣшниковъ.

ЗАЯВЛЕНИЕ.

По условіямъ разсрочки подписной платы за "Ниву" сего 1918 г., къ 1 июня слѣдуетъ внести **не менѣе 26 руб.** Гг. подписчики, уплатившіе менѣе указанной суммы, благоволять поэтому озаботиться **немедленно** присыпкою слѣдующаго взноса, **во избѣженіе остановки въ высылкѣ журнала съ 7-го іюля — съ 27-го числа.** Гг. иногородные подписчики при высылкѣ денегъ благоволять **обозначать на видномъ мѣстѣ копію печатнаго адреса** съ бандероли или **прилагать самый адресъ и непремѣнно указать**, что деньги высыпаются **въ доплату за получаемый уже журналъ**

При перемѣнѣ адреса слѣдуетъ прилагать **1 рубль и печатный адресъ**.

Содержаніе. ТЕКСТЪ: Житейскія встрѣчи и воспоминанія. А. Ф. Кони.—Закатъ. Стихотвореніе С. Андреевскаго.—Вѣчный Странникъ. Католическая легенда. Александра Амфитеатрова.—Стихотвореніе Натали Грушко.—Старатели. Новѣсть недавнихъ дней. Н. Тихонова.—Цвѣтокъ самоубийцы. Стихотвореніе Н. Т.—Изъ прошлого европейской международной политики. Проф. К. Соколова. I. Вестфальский миръ.—Стихотвореніе Павла Орѣшникова.—Заявленіе.

РИСУНКИ: Весенняя выставка въ Академіи Художествъ 1918 г. Работы Г. Савицкаго, И. Грабовскаго, Ф. Нестерова, Н. Сергеева, Е. Малешевской, М. Манизера, М. Дилюнъ, И. Гинцбурга.—Могила самоубийцы. В. Котарбинскій.

Къ этому № прилагается "Полнаго собранія сочиненій А. И. Герцена" книга 9.

Издатель Т-ва А. Ф. МАРКСЪ.

Редакторъ И. М. Желѣзновъ.

Артистическое заведеніе Т-ва А. Ф. МАРКСЪ, Петроградъ, Измайловский проспектъ, д. № 29.

Библиотека "Руниверс"

НИВА

1918 г.

XLIX г.
издания.

№ 23.

Выходит еженедельно (52 № въ годъ), съ приложениемъ 52 книгъ „Сборника”, содержащихъ сочиненія А. И. ГЕРЦЕНА, М. ГОРЬКАГО,

В. Г. КОРОЛЕНКО, П. БЕРАНЖЕ и Н. И. КАРЬЕВА („Великая Французская Революція”),

Выданъ 8 липн. (26 мая) 1918 г. Подписная цѣна съ дост. и перес. на годъ—36 р., на 1/2 г.—18 р., на 1/4 г.—9 р. Цѣна этого № (безъ прилож.)—40 к. съ перес. 50 к.

Главная Контора и Редакція: Петроградъ, улица Гоголя, № 22.

Перепечатка иллюстрацій и текста воспрещается. (Законъ 20-го марта 1911 г.).

Открыта подписка на „НИВУ“ 1918 г.

Съ приложениемъ 52 книгъ „СБОРНИКА НИВЫ“, въ которыхъ войдетъ:

А. И. ГЕРЦЕНЪ (первая серія книгъ)

В. КОРОЛЕНКО (запрещенный военною цензурою сочиненія)

М. ГОРЬКІЙ (вторая серія книгъ)

П. БЕРАНЖЕ (полное собрание ПѢСЕНЪ)

Проф. Н. КАРЬЕВЪ. (Исторія Французской Революціи съ иллюстраціями).



Пастушка.

Жан-Франсуа Милле.

Пѣвецъ тихаго труда.

(Жань-Франсуа Милле).

Картини великаго французскаго художника Милле въ значительной части посвящены изображенію крестьянской жизни. Въ письмахъ къ своему другу Сенсье онъ говорить, что въ живописи его главнымъ образомъ интересуетъ человѣческая ея сторона; какъ и вѣкъ романтики, онъ не могъ себѣ представить пейзажъ безъ человѣка. И на его картинахъ люди придаютъ пейзажу настроение, дополняютъ его и срастаются съ нимъ. Объ этомъ также Милле упоминаетъ въ одномъ изъ своихъ писемъ: „Люди должны срастись съ пейзажемъ такъ, чтобы одно безъ другого было немыслимо“, и гармонія эта поражаетъ на его картинахъ.

Какъ же рисуетъ онъ людей?

Ничего индивидуального какъ въ лицѣ, такъ и въ фигурѣ. Не одно определенное лицо ставилъ онъ своимъ объектомъ, а человѣка вообще, человѣка, какъ типъ, и только штрихами отмѣчая онъ этотъ типъ, за которымъ видимъ мы тысячи и миллионы людей.

Величавы, спокойны, почти всегда за работой люди въ его изображеніи. Онъ видѣлъ людей только трудящимися, только грязными, я сказалъ бы, типами, не говорящими, а безъ суеты дѣлающими нѣчто важное. Веселья не найти на картинахъ Милле; онъ отмѣчаетъ эту сторону своей живописи, говоря, что радость только въ тишинѣ, въ спокойствіи.

Счастливъ трудящійся, когда онт отдыхаетъ, когда хоть на время прекращается его непосильный трудъ.

Съ раннаго дѣтства наблюдалъ художникъ крестьянскую жизнь со всѣми ея невзгодами, такъ какъ самъ былъ сыномъ крестьянина изъ маленькой нормандской деревушки Груши. Но не только этимъ объясняется направление его живописи. И до Милле въ разные періоды было много художниковъ крестьянского происхожденія. Получая художественное образованіе въ городахъ, эти художники совершенно отрывались отъ своей родины и писали въ томъ стилѣ, какой господствовалъ тогда въ большихъ художественныхъ центрахъ.

Милле сравнительно поздно сталъ систематически обучаться живописи и разстался съ деревней почти взрослымъ человѣкомъ.

Но и онъ не сразу нашелъ себѣ. Только въ 1848 году появился на Парижской выставкѣ его „Святѣль“, и съ тѣхъ поръ онъ придерживался онъ постоянно



„Пѣвецъ тихаго труда“—
Жань-Франсуа Милле.

историческомъ стилѣ, бывшемъ тогда академическимъ, и сценки въ стилѣ рококо. Трудно сказать, почему такъ поздно сталъ онъ тѣмъ Милле, какимъ досталась онъ исторіи искусствъ. Академія награждала и выдѣляла исключительно представителей исторического направления.

Борьба за существование заставляла считаться съ вкусами публики (покупателей).

Вся же натура Милле, всѣ его помыслы и стремленія были проникнуты крестьянскимъ міровоззрѣніемъ, и онъ, съ трудомъ пробивая себѣ путь къ безбѣдной жизни, добился въ концѣ концовъ, того, чтобы его признали такимъ, какимъ онъ былъ, и чтобы не требовали отъ него подчиненія, господствовавшимъ тогда течениемъ въ живописи.

Въ изображеніе крестьянской жизни внесъ онъ новое освѣщеніе, значительно разнѣющееся отъ манеры изображенія ея его предшественниками.

Христіанская живопись изрѣдка допускала изображеніе крестьянъ. Они играли дополнительную роль.—въ преклоненныхъ позахъ, молитвенно сложивъ руки, стояли они предъ святыней.

О чѣмъ-то характерно крестьянскомъ здѣсь говорить не приходится.

Голландцы XVI и XVII вѣковъ писали не крестьянъ, а мужиковъ. Мы, конечно, въ данномъ случаѣ не касаемся эстетической цѣнности картинъ старыхъ голландцевъ.

Художники, какъ Брейгель и т. п., воспринимали чисто-коми-

ческую сторону крестьянской жизни. Грубость, цинизмъ, необузданность мужиковъ — вотъ основной тонъ этихъ картинъ. Ярмарочные, свадебные и другіе сцены, гдѣ мужики пляшутъ, напиваются, обжираются и т. д. Въ XVII и XVIII столѣтіи наблюдался переломъ въ оценкѣ крестьянской жизни какъ со стороны художниковъ, такъ и общества. Пресытившаяся придворная знать ищетъ обновленія своихъ рафинированныхъ чувствъ въ пастушескихъ идиліяхъ. Художники пишутъ такія идеалистическія сценки изъ крестьянской жизни, но это не настоящіе крестьяне, а преодѣльные дамы и кавалеры.

Подъ вліяніемъ идей Вольтера и Руссо въ крестьянской жизни видѣли золотой вѣкъ человѣчества. Добротельные пейзажи и пейзажи должны были служить примѣръ развращенному дворянству. Такими идеями были проникнуты и художники.

И Милле первый нашелъ правильный, естественный подходъ къ изображенію крестьянской жизни, несмотря на одностороннее освѣщеніе ея художниками какъ предшествовавшихъ эпохъ, такъ и современной. Милле тѣмъ самымъ положилъ начало новому направлению въ искусствѣ. Наиболѣе яркимъ его послѣдователемъ является Израель. И въ этомъ историческомъ значеніе Милле въ искусствѣ.

„Въ потѣ лица твоего будешьъ Ѣсть хлѣбъ“, — царственно звучитъ во всѣхъ картинахъ Милле. Но не наказаніе Божіе видѣть онъ въ трудѣ, а сущность человѣчества и его поэзію. Спокойны, величавы и серьезны въ гармоніи съ величиемъ природы люди на его картинахъ. Ритмичны ихъ движенія и выражаютъ настроение такъ непосредственно, что дали Мурту право сравнивать Милле съ Джотто.

Онъ заставляетъ прочувствовать красоту природы и, какъ импрессионистъ, умѣеть сказать все только нѣкоторыми намеками.

Расположеніе фигуръ на его картинахъ поражаетъ своей естественностью; ничего лишняго, что могло бы отвлечь зрителя отъ самого главнаго. Чтобы въ этомъ убѣдиться, достаточно взглянуть на такія картины, какъ „Angelus“, „Святѣль“, „Пастушка“, воспроизводимыя здѣсь, на стр. 353—360.

До 1863 года критика единогласно признавала талантъ Милле, и не было ни одного случая, когда бы она осталась имъ недовольна.

Когда же Милле выставилъ своего „Человѣка съ заступомъ“ и „Отдыхающаго виноградаря“, онъ впервые столкнулся съ неизвѣданнымъ критики. Эти картины вызвали взрывъ негодования въ художественной средѣ. Обвиняли Милле въ томъ, что онъ намѣренъ изобразить отталкивающее безобразіе, что человѣкъ у него сталъ походить на животное. Но у Милле не было ничего предмѣтного въ этихъ картинахъ; онъ постоянно наблюдалъ крестьянъ за работой и, какъ натуралистъ, вѣрно изобразилъ то, что особенно поразило его чуткое сердце.

Въ 1867 году на всемирной выставкѣ въ Парижѣ онъ получилъ золотую медаль.

Послѣдніе годы жизни посвятилъ онъ почти исключительно пейзажу. Этому способствовало на первый взглядъ обстоятельство чисто-случайного характера. Во время франко-пруссской войны Милле, не чувствуя себя въ безопасности въ Барбizonѣ, со своей семьей перебѣжалъ на родину, въ Груши. И тутъ-то сказалась его натура истаго пейзажиста. Воспоминанія дѣтства нахлынули на его душу, и каждый уголокъ родной деревни и берега моря хотѣлъ онъ воспѣть въ своихъ произведеніяхъ.

Въ одномъ изъ писемъ его читаемъ мы: „О, вы, безконечныя дали, которыхъ такъ часто давали пищу моей дѣтской фантазии, удастся ли мнѣ когда-нибудь хотя бы намекнуть на всю вашу красоту?“

Картизы Милле близки и дороги намъ, потому что онѣ поютъ о трудахъ и трудящихся, которыхъ принадлежитъ будущее.



Святель.

Жан-Франсуа Милле

На 354-й страницѣ воспроизведенъ автопортретъ художника, этого „лѣсного человѣка“, какъ окрестили его товарищи, когда онъ учился въ Парижѣ.

Жан-Франсуа Милле родился 4-го октября 1814 г. въ Груши. Рисовать онъ сталъ рано, но только на 18 году жизни отецъ нашелъ нужнымъ отправить его учиться. Началь онъ систематически учился живописи въ ателье художника Мушена въ Шербургѣ. Мушенъ сразу оцѣнилъ генialность своего ученика и послѣ двухмѣсячного обучения его посовѣтовалъ писать безъ руководства, а главнымъ образомъ изучать старыхъ голландцевъ и фланандцевъ въ Шербургскомъ музѣ. Усердно копировалъ онъ картины въ музѣ; но смерть отца на нѣкоторое время выбила его изъ колеи, онъ покинулъ Шербургъ, проборъ на родинѣ до тѣхъ портъ, пока бабушка не настояла на его возвращеніи въ Шербургъ, где онъ на этотъ разъ стала работать у художника Лантуа. Все времена, проведенное въ Шербургѣ, онъ использовалъ для пополненія своего развитія. Читать Гомера, Шекспира, Гёте („Фауст“), Байрона, Вальтера Скотта, Купера, изъ французовъ особенно любилъ онъ Юго и Шатобриана. Поэты воодушевляли его, но рисовать онъ продолжалъ такъ, какъ онъ самъ понималъ, и никогда не измѣнялъ онъ своей манерѣ.

Лантуа настолько хорошо оцѣнилъ своего талантливаго ученика, что счѣлъ нужнымъ выхлопотать ему стипендию въ городскомъ управлѣніи Шербурга. Въ прошеніи онъ указалъ на славную будущность Милле.

Въ январскій вечеръ очутился Милле въ Парижѣ. Удивительно непосредственно передаетъ онъ въ своихъ воспоминаніяхъ впечатлѣніе, произведенное на него шумнымъ, блестящимъ, холоднымъ городомъ. Съ тѣской вспоминалъ онъ въ тѣ минуты свой родной домъ и близкихъ своихъ, оставшихся на родинѣ.

Много непрѣятностей пришлось ему, неопытному, почти юношѣ, перенести первое время въ Парижѣ, но восторги, пережитые имъ въ Луврѣ, заставляли его забывать обо всѣхъ жизненныхъ мелочахъ. Изъ всѣхъ сокровищъ Лувра особенно много говорили его душѣ итальянскіе примитивы и Микеланджело.

Послѣ долгихъ сомнѣній отправился онъ къ славившемуся тогда художнику Полю Делярошу. Быть принять, усердно работалъ у него и постепенно свыкся со всѣми, укладомъ парижской жизни. Въ 1838 году онъ оставилъ ателье Деляроша навсегда, въполномъ убѣжденіи, что у Деляроша ему ничего не удалось пріобрѣсти.

Съ этого года Милле сталъ совершенно самостоятельно заниматься живописью. До 1841 года вѣль онъ въ Парижѣ настоящую жизнь художника со всѣми ея радостями и невзгодами.

Жиль онъ вмѣстѣ съ товарищемъ-художникомъ Луи Марблль, сыномъ состоятельныхъ родителей, работали они вмѣстѣ, вмѣстѣ читали и спорили, и несходство ихъ характеровъ, разница въ воспитаніи все увеличивали ихъ дружбу.

Стипендиа шербургская была отнята, и Милле самъ долженъ былъ думать о средствахъ къ существованію. Въ это время ему приходилось писать картины въ стилѣ Буше и Ватто и продаѣвать ихъ по 20—30 франковъ.

Въ 1841 году Милле вернулся на родину; въ Шербургѣ онъ женился, но спустя три года жена его умерла. Въ слѣдующемъ году Милле женился снова. Его вторая жена была интеллигентна и чутка, и вѣдь 30 лѣтъ ихъ совмѣстной жизни была истиннымъ товарищемъ и другомъ своего мужа.

Сначала они жили въ Парижѣ; слава Милле тогда только зарождалась; въ 1849 году они покинули Парижѣ и навсегда переселились въ Барбizonъ. Здѣсь Милле сразу попалъ въ кругъ жившихъ тамъ уже ранѣе художниковъ.

Въ Барбizonѣ художникъ со своей многочисленной семьей жилъ въ самой примитивной, почти крестьянской обстановкѣ.

Продуктивно работалъ Милле въ Барбizonѣ, благодаря цѣлому ряду удачно сложившихся обстоятельствъ. Роскошная природа, окружающая этотъ городъ; по одну сторону дивный лѣсъ, куда Милле часто отправлялся и отдыхалъ тамъ душой, по другую — поле, где художникъ нерѣдко часами наблюдалъ крестьянъ за ихъ работой, тѣсный кругъ художниковъ, обосновавшихся въ Барбizonѣ, среди которыхъ находился и близкий впослѣдствіи другъ его Руссо, дружная его семья — все вмѣстѣ создавало ту атмосферу, которая прекрасно вліяла на творчество Милле.

Въ 1866—1868 годахъѣздилъ онъ въ Виши вмѣстѣ со своей больной женой. Въ 1868 году путешествовалъ по Эльзасу и Швейцаріи въ сопровожденіи своего друга и биографа Сенсье. Всѣ эти поездки, а также поездка на родину въ 1870 году, сильно повлияли на Милле; онъ сталъ больше посвящать свои работы пейзажу.

Въ 1868 году Милле получилъ за художественные заслуги орденъ Почетнаго Легіона; радость его была велика еще и потому, что общество единодушно признало справедливость такой награды.

Послѣдніе годы жизни художника прошли радостно; онъ пользовался материальными благополучиемъ; кроме того, государствомъ поручена была ему роспись церкви святой Женевьевы, что дало ему огромное нравственное удовлетвореніе.

Но лишенія, перенесенные Милле въ началь его художественной дѣятельности, сказались на старости лѣтъ. Начиная съ 1870 года, онъ часто хворалъ и цѣлыми недѣлями не былъ въ состояніи работать. 20-го января 1875 года Милле не стало.

Наслѣдство, оставленное имъ миру, огромно. Новое поколѣніе, родившееся уже за почти полвѣка, протекшіе съ его кончиной, высоко оцѣнило его великое художественное значеніе. Его картины украшаютъ крупнѣшіе музеи и картинные галлерѣи Европы и Америки; за честь обладанія его картинами спорятъ правительства, расцѣнивая ихъ въ миллионы франковъ. И такимъ великимъ и недосягаемымъ перейдетъ Милле и въ грядущія поколѣнія, какъ истинный сынъ народа, воспѣвшій въ яркихъ, нетѣнныхъ образахъ красоту и трудъ.

О. Г. Евгеньевъ.



Отдыхъ.

Жан-Франсуа Милле.

Житейскія встрѣчи и воспоминанія

А. О. Кони.

(Окончаніе).

V.

Лѣтомъ 1865 года я приѣхалъ въ Петербургъ, полный самыхъ свѣтлыхъ надеждъ и упованій. Курсъ въ Московскому университету только-что былъ оконченъ. Мое кандидатское сочиненіе „о правѣ необходимой обороны“ вызвало оставленіе меня при университѣтѣ по каѳедрѣ уголовнаго права. Мнѣ предстояла побѣзда за границу для приготовленія къ занятію каѳедры, и будущее развертывалось передо мною, какъ рядъ годовъ, исполненныхъ любимаго труда и служеній наукѣ. Къ этому присоединялась *la joie de vivre*, которая нерѣдко свойственна началу третьаго десятилѣтія въ жизни человѣка. Я поселился въ меблированныхъ комнатахъ на второмъ дворѣ дома на Литейной, недалеко отъ Невскаго, и первыя днѣи пребыванія въ Петербургѣ, куда приѣхали и нѣкоторые изъ моихъ ближайшихъ друзей по университету, были для настѣнно сплошными праздникомъ, не въ смыслѣ кутежа конечно, но въ томъ, что трудно передаваемомъ чувствѣ молодости, энергии и душевнаго расцвѣта, которое заставляло настѣнко всему окружающему относиться съ какою-то тайною и многозначительной радостью. Мы бѣдили по окрестностямъ, посѣщали родныхъ другъ друга, изучали Петербургъ въ подробностяхъ и катались по Невѣ. Въ душѣ у каждого изъ настѣнко жила горячая любовь къ родинѣ и готовность отдать ей всѣ силы на тѣхъ поприщахъ, которыхъ открывались величими реформами Александра II. Мысли о какои-либо „карьерѣ“ были намъ въ это время совершенно чужды. Хотѣлось лишь работать и быть полезнымъ въ какой бы то ни было роли, хотя бы самой скромной. Мы были всѣ немножко славянофилами, и любовь къ Москвѣ и ея старинѣ переплеталась въ настѣнѣ сердца съ восторгами предъ Судебными Уставами, со свѣтлой вѣрой въ будущее русскаго народа и съ растроганнымъ чувствомъ, наивѣннымъ двумя послѣдними историческими событиями: трагическою смертью президента Линкольна и трогательной кончиной въ Ницѣ юнаго наслѣдника престола, надѣй головой котораго вились лучшія надежды.

Счастливое, невозвратное время! Какъ быстро оборвала жизнь лепестки цвѣтовъ, распустившихся въ нашей душѣ! И гдѣ они теперь, друзья юныхъ лѣтъ: Ключевской, Куликовъ, Кирничинъ

ковъ, Бормотовъ, Гизетти и другіе! *Vadite ad superos — transite ad inferos — ubi jam fueri...*

Однажды вечеромъ, приїдя домой съ какой-то прогулки, я почувствовалъ себя дурно, а къ утру уже лежалъ безъ сознанія и въ бреду. У меня оказался сильнейший возвратный тифъ. Когда черезъ нѣсколько дней я пришелъ въ себѣ, то увидѣлъ сидящаго у моей постели изящно одѣтаго молодого человѣка съ добрымъ лицомъ, мягкой улыбкой и привѣтливымъ взглядомъ пѣсть подъ черепаховыхъ очковъ. Это былъ М. И. Л—чъ, тоже воспитанникъ Московскаго университета, молодой докторъ медицины, приведенный ко мнѣ товарищемъ моимъ, заставившимъ меня въ бреду, въ уныломъ одиночествѣ меблированныхъ комнатъ.

Убѣдившись въ опасномъ состояніи товарища по университету, Л—чъ по нѣсколько разъ въ день приѣзжалъ ко мнѣ на вѣдѣваться, просиживалъ у моей постели цѣлые часы и въ буквальномъ смыслѣ слова спасъ меня. Конечно, ни о какомъ вознагражденіи я не рѣшался съ нимъ и заговорившаго, понимая, что его уходъ за мнѣ былъ товарищеской услугой подъ влияниемъ доброго порыва. Я былъ очень доволенъ моимъ возвращеніемъ къ жизни и выздоровленіемъ, которое при разумномъ уходѣ моего врача наступило очень быстро. Но потому, въ теченіе многихъ лѣтъ и не разъ, я искренно укорялъ его за эту услугу. Умереть тогда, когда на нѣсколько мгновеній жизнь занграла предо мною всѣми цвѣтами радуги, какое это было бы счастье, и отъ сколькохъ горькихъ разочарованій и угнетающихъ душу сомнѣній я бы избавился!

Съ этихъ поръ я былъ связанъ съ Л—чомъ узами искренней дружбы. Это былъ человѣкъ большой душевной деликатности, добрый безъ сентиментальности, услужливый безъ назойливости, всѣмъ интересовавшійся и привязывавшійся къ своимъ пациентамъ, какъ къ роднымъ. Мнѣ два раза приходилось покидать Петербургъ до 1871 года, и каждый разъ, возвращаясь, я находилъ у него неизмѣнно радушный пріемъ и самую искреннюю о себѣ заботу. Я рѣдко встречалъ людей, которые такъ умѣли бы радоваться чужою радостью и скорбѣть чужою скорбью. Какъ врачу, и притомъ специалисту по женскимъ болѣзнямъ, ему были открыты многія язвы и тайны раны спокойной и счастливой, повидимому, жизни его пациентокъ, и онъ являлся для многихъ изъ нихъ не только врачомъ, но утѣшителемъ, совсѣмъ и помощникомъ. Какъ юристу и притомъ прокурору, мнѣ не разъ приходилось давать ему разъясненія на вопросы, приподымающіе кусокъ завѣсы съ чьей-нибудь семейной драмы. Соприкоснувшись съ этой стороной жизни не стѣжало его, однако, пессимистомъ. Напротивъ, чѣмъ чаще встречались случаи, когда была нужна его не только врачебная, но и моральная помощь, тѣмъ оживленіе и хлопотливѣ онъ становился, радуясь возможности быть полезнымъ. Въ медицинскомъ мірѣ онъ пользовался заслуженнымъ уваженіемъ; среди пациентовъ — искреннею любовью.

Мнѣ пришло быть у него пациентомъ еще разъ въ жизни. Въ 1879 году въ январѣ скончался мой отецъ послѣ почти двухмѣсячной агоніи. Я простудился на его похоронахъ, и у меня сдѣлался тифъ, осложненный двумя обстоятельствами. Первое изъ нихъ было довольно комического свойства. Въ послѣдніе два мѣсяца жизни отца при немъ была сестра милосердія сестра Краснаго Креста С—ва, феноменально глупая женщина, несмотря на то, что происходила изъ старинной фамиліи, давшей нѣсколькохъ выдающихся по уму людей, и воспитывалась въ институтѣ. Когда я заболѣлъ, послали за ней, и докторъ Шершевскій, рѣшившійся дѣйствовать посредствомъ, такъ называемаго обрывающаго лѣченія, прописалъ мнѣ, будучи поклонникомъ энергическихъ средствъ, холодную ванну и большое количество каломелы въ три приема. Когда привнесли порошки, моя сестра милосердія раскрыла мнѣ ротъ и всыпала въ него все сразу, заливъ все двумя глотками сельтерской воды изъ чашки съ краснымъ крестомъ и традиціоннымъ носикомъ. Я ничего не сознавалъ и дѣйствовалъ автоматически. Черезъ нѣсколько дней я пришелъ въ себѣ и снова увидѣлъ у своей постели Л—ча, какъ шестнадцать лѣтъ назадъ. Онъ заботливо давалъ мнѣ глотать маленькие кусочки льду. Когда я заговорилъ здраво, онъ обрадовался и сказалъ: „ну, слава Богу, сознаніе вернулось, а то ты все бредилъ и говорилъ по-итальянски. Я у тебя уже съ двухъ часовъ. Теперь сѣмь. Я ѓду обѣдать и вернусь часа черезъ два“. Онъ крѣпко цѣжалъ мнѣ руку, попѣловалъ меня въ лобъ и уже въ дверяхъ, обернувшись, сказалъ мнѣ: „а ты знаешь, какая у тебя температура вѣтъ уже цѣлыхъ сутки? 41, 5“.—„А это много?“ — спросилъ я. Онъ молча вынулъ изъ кармана термометръ (минимальный) и поднесъ къ моимъ глазамъ. Термометръ кончался цифрой сорокъ два. Тогда я припомнилъ, что взялъ съ него когда-то слово предупредить меня, если я буду умирать, — и все понялъ. Сознаніе близкой смерти не искугало меня. Я даже испыталъ при мысли объ этомъ какое-то щемящее-сладкое чувство, и вся жизнь моя прошла передо мной, какъ въ калейдоскопѣ. Но я былъ представитель Окружнаго Суда, и у меня находились разныя дѣ-



Кормленіе куръ.

Жанъ-Франсуа Милле.

ловия бумаги и производства. Кроме того, надо было распорядиться исполнением некоторых предсмертных желаний моего отца и, наконец, сдѣлать кое-какія личные распоряженія, ибо я, какъ и большинство русскихъ людей, жилъ вопреки мнѣнію Спасовича, который говоривъ: „я понимаю, что можно умереть безъ завѣщанія, но не понимаю, какъ можно жить безъ завѣщанія“. Поэтому сознаніе близкой возможности смерти придало мнѣ необходимую энергию. Я нашелъ въ себѣ силу встать съ постели и съ помощью слуги и сестры милосердія добраться до кабинета и почти два часа просидѣть за письменнымъ столомъ. Затѣмъ мнѣ стало дѣлаться дурно, и я былъ отведенъ на свой одръ. Этотъ внезапный подъемъ силь совпалъ съ кризисомъ или, быть-можетъ, даже вызвалъ его. Къ утру температура значительно упала, и я оказался auf dem Wege der Genesung, какъ любятъ говорить немецкіе врачи. Но дня черезъ два утромъ я почувствовалъ у себя вместо языка большой кусокъ войлока, поворачивавшаго съ трудомъ и торчавшаго изо рта. Оказалось, что у меня сильно болѣла стоматитъ, вызванный не только огромнымъ прѣемомъ сразу каломеля, но и тѣмъ, что послѣ него не было промыть и выполоскать ротъ, вслѣдствіе неопытности или небрежности сестры милосердія. Съ этимъ отратительнымъ недугомъ пришлось простоять несколько дней. Затѣмъ выздоровленіе пошло дальше, но внезапно было прервано извѣстіемъ о тяжкомъ несчастіи и болѣзни моего брата, сведенной его затѣмъ въ могилу. Ослабленный организмъ не перенесъ этого нового испытанія, и со мною сдѣлалось иѣтъ въ родѣ нервнаго удара, парализующаго лѣвую руку и отнявшаго у меня языкъ. Надо было видѣть въ это время Л—чу! Онъ не отходилъ отъ меня; отложивъ въ сторону всякое самолюбіе, привозилъ ко мнѣ различныхъ врачей и подчинился всѣмъ ихъ указаніямъ, какъ дѣлать бы это простой студентъ-ассистентъ, а не врачъ, имѣющій самъ обширную практику. Когда мой натура взяла свое, и слѣды нервнаго удара исчезли, мнѣ пришло пережить много тяжкихъ минутъ. Л—чъ это зналъ и съ чуткостью любящей женщины сторожилъ и угадывалъ горестное состояніе моей души, внезапно вырастая передо мною то съ какой-нибудь новой книгой, то съ разсказомъ о послѣднихъ открытияхъ въ области медицины, то съ фруктами и цѣѣтками, то съ требованіемъ побѣхать съ нимъ проглатиться. Въ послѣдніемъ случаѣ онъ вѣзъ меня въ своеѣмъ экипажѣ (это было въ началѣ марта) въ Ботаническій садъ и тамъ, поддерживая меня (я еще слабо стоялъ на ногахъ), водилъ меня по этому естественному резервуару кислорода или сидѣлъ со мною тамъ продолжительное время. Впослѣдствіи я узналъ, что онъ на эти часы совершенно устранилъ свои многочисленные визиты, относя ихъ на утро или на вечеръ. Его письма ко мнѣ за это время, его инструкціи моему слугѣ носили на себѣ явный отпечатокъ глубокой и нѣжной заботливости. Все это еще болѣе закрѣпило нашу дружбу. Но у него была семейная рана, касающейся которой можно было лишь очень осторожно, до того она была болезненна. Georges Sand говорить: „l'honneur est comme une flotte flottante; une fois parti d'elle, on n'y revient jamais“. Вполнѣ согласный съ этимъ афоризмомъ, я не разъ имѣлъ случай убѣдиться въ жизни, что такое же значеніе, какъ честь, имѣть и цѣльность въ человѣкѣ, и судьба жестоко наказываетъ въ общемъ прекрасныхъ людей за то, что они въ томъ или другомъ случаѣ жизни изнасиловали свое чувство и принесли его въ жертву соображеніямъ удобства, выгоды или полезности. То же случилось и съ бѣднымъ Л—чомъ. Его прекрасная практика развивалась постепенно,—но считаемыя почему-то необходимыми принадлежности практикующаго врача: лошади, экипажъ, дорогая квартира и роскошная домашняя обстановка могли прійти, конечно, не вдругъ и не сразу. Онъ жилъ съ достаткомъ, но скромно, и былъ въ близкихъ отношеніяхъ съ одной француженкой—женщиной трудящейся, безкорыстной и очень къ нему привязанной. Однако растѣвающаяся условія и требования среды подѣствовали и на него... Въ 1871 году, перейдя въ Петербургъ изъ Казани, я нашелъ его только что женевшимся на дочери одного купца, слышавшей очень богатой невѣстой. У него, дѣйствительно, была прекрасная квартира на Фонтанкѣ, лошади и богатая, но безвкусная обстановка. Будучи очень занятъ первое время, я видѣлъ его жену лишь мелькомъ, но весною 1872 года въ Карлсбадѣ познакомился съ нею во всей ея прелести. Маленькаго роста, дурно сложенная и, кажется, немногимъ кривобокая, съ лицомъ, напоминавшимъ глупую и злую птицу, съ крикливымъ голосомъ, она производила непрѣятное впечатлѣніе, которое еще усугублялось тѣмъ, что она красилась самыемъ грубымъ образомъ и имѣла какую-то смѣшную, прыгающую походку. Глубокая необразованность и невѣжество



Раннее утро въ полѣ.

Жанъ-Франсуа Милле.

въ самыхъ элементарныхъ свѣдѣніяхъ дополнялись въ ней чрезвычайно самонадѣянностью и полнымъ отсутствиемъ такта. Мужа любила она страстью, но безтолково, заставляя ежечасно страдать его самолюбіе; она при всѣхъ лѣзла къ нему цѣловаться и называла его даже при малознакомыхъ людяхъ „мой голубь“ и „Гудя“. Эта любовь была связана съ безумной ревностью, которая заставляла ее выходить изъ всѣхъ границъ приличія. Стоило мужу упомянуть въ ея присутствіи имя какой-либо молодой женщины, какъ она, будь то въ гостиной или за званымъ обѣдомъ, разражалась по поводу этой женщины самыми непристойными прозвищами, выходками и характеристиками. Можно себѣ представить положеніе акушера и врача по женскимъ болѣзнямъ при наличии такой спутницы жизни! Бѣдный Л—чъ разсказывалъ мнѣ, что она подсматривала въ щелкѣ дверей, когда у него бывалъ амбулаторный прѣемъ больныхъ, а въ случаѣхъ побѣзки его съ визитомъ къ какой-нибудь изъ пациентокъ, возбуждавшихъ ея ревность, нерѣдко входила за его экипажемъ на извозчикѣ, сторожила у дверей, и, когда ей казалось, что визитъ продолжается слишкомъ долго, безцеремонно звонила и вызывала его подъ какимъ-нибудь вымышленнымъ предлогомъ. И этотъ домашній адъ продолжался десять лѣтъ, при чмъ наказаніе за привнесеніе своей свободы въ жертву суевѣніямъ удобствамъ жизни становилось съ каждымъ днемъ сильнѣе, ибо глупая, животная любовь одной и затаенный гнѣвъ и отчаяніе другого сталкивались и обострялись на вопросахъ воспитанія единственной дочери. На этомъ ребенкѣ, на маленькой Ольѣ, онъ сосредоточилъ всю ту силу любви, которая при нормальныхъ отношеніяхъ должна была быть раздѣлена между женой и дочерью.

Бѣлокурая, почти съ пепельными волосами, Оля чрезвычайно напоминала отца лицомъ и манерами, и они оба другъ въ другѣ души не чаяли. Съ начала 80-хъ годовъ супруга Л—ча сдѣлалась окончательно несносной, такъ что, отпустивъ вечеромъ Олю спать, отецъ стремился уйти изъ дома ко мнѣ или въ одну дружескую ему семью или даже въ клубъ, лишь бы только не оставаться со своей дражайшей половиной. Онъ почти никогда не говорилъ о ней, но мы всѣ по его подачѣ раздраженному и вмѣстѣ угнетенному виду и явному желанію забыться въ бесѣдѣ понимали смыслъ этихъ Lieder ohne Worte. Только разъ, весною 1880 года, онъ послѣ долгаго молчанія сказалъ мнѣ: „какъ страшно ловить себя на мысли о желательности смерти близкаго человѣка, который сдѣлался несчастіемъ цѣлой жизни и грозить быть такимъ же и для другого существа“.—„Надо гнать такую мысль!—сказалъ я ему,—и нести свой крестъ“.—„Да я и несу и гоню!“—воскликнула онъ. „Несу и гоню“,—прибавилъ онъ упавшимъ голосомъ, и губы его запрыгали отъ сдержаннаго рыданія. Въ это же время онъ пристрастился къ рыбной ловлѣ и стала нарочно для этогоѣздить при первой возможности на Иматру, где лѣтомъ обыкновенно жила его семья. Лѣтніе мѣсяцы 1881 года я проводилъ въ Гельсингфорсѣ, нанявъ тамъ въ Брунспаркѣ дачу вмѣстѣ съ семьею нашихъ общихъ друзей Н—ыхъ и довольно частоѣздилъ въ Петербургъ въ засѣданія Барановской комиссіи по выработкѣ общаго желѣзодорожнаго устава. Въ началѣ іюля я пріѣхалъ въ Петербургъ и утромъ зашелъ къ Л—чу. У него былъ прѣемъ, но онъ не хотѣлъ менѣя отпускать и даже собирался отло-

жити пріємъ, на что я, конечно, не согласился, пообѣщавъ ему прійти вечеромъ послѣ засѣданія ужинать въ сельскохозяйственныи клубъ. Послѣ ужина, за которымъ онъ былъ очень оживленъ, онъ пошелъ меня провожать на мою квартиру въ домѣ Елисѣева на Воскресенскомъ проспектѣ, вспоминая дорогой годы нашей молодости и студенческое житиѣ въ Москвѣ. Подойдя къ дому, онъ просилъ меня еще не входить, и мы довольно долго, несмотря на очень позднее время, бродили подъ навѣсомъ, шедшими вдоль всего дома, выходившаго на три улицы, и продолжали задушевную бесѣду о пережитомъ. Я нѣсколько разъ собирался разстаться съ нимъ, шутливо указывая на то, что настъ, въ виду недавнаго события 1-го марта, могутъ заподозрѣть въ какой-нибудь конспираціи. Но Л—чъ умолялъ меня побыть „еще немножечко“ съ нимъ. „Богъ знаетъ,—сказалъ онъ мнѣ,—когда мы опять такъ увидимся?“—„Развѣ ты собираешься меня скоро похоронить? Это послѣ того, какъ ты дважды мнѣ спасъ жизнь, о чѣмъ я тебя, однако, вовсе не просилъ?—отвѣчалъ я, смеясь. Но онъ даже не улыбнулся и сказалъ задумчиво: „нѣтъ! зачѣмъ же тебѣ?“ Но, знаешь, у меня какое-то предчувствіе, что тебѣ я больше не увижу... Ну, прощай!... Это было, дѣйствительно, наше послѣднєе свиданіе.

10-го іюля онъ собрался на нѣсколько дней на Иматру къ именинамъ своей дочери, запасвшись игрушками, конфетами и рыболовными принадлежностями. Предь отѣзломъ онъ зашелъ къ старушкѣ Н—ой, вѣже соеуг Западно-Сибирскаго генераль-губернатора, которую лѣчила уже много лѣтъ. Не заставь ее дома, онъ оставилъ ей письмо съ указаніемъ, что надо дѣлать въ

его кратковременное отсутствие въ случаѣ наступленія обычныхъ у нея припадковъ. Письмо кончалось слѣдующими словами: „вы не погѣрите, какъ я счастливъ, что могу на нѣсколько дней вырваться изъ противного и душного Петербурга! Будьте здоровы! Искренно преданный вамъ, утопающій въ волнахъ Иматры, Л—чъ“. Заставь завтрашнюю именинницу спящую, онъ поучилъ женѣ положить къ утру у ея кровати игрушки и конфеты, а самъ, поужинавъ, отправился въ небольшой лодкѣ со слугою гостиницы Меньшиковымъ—опытнымъ рыболовомъ—на рыбную ловлю. Эта ловля производилась въ четверти версты выше водопада, невдалекѣ отъ берега, при чѣмъ лодка прикрѣплялась къ мѣстѣ небольшимъ якоремъ. Сильное теченіе въ этомъ мѣстѣ, стремившееся къ водоскату, обусловливала обильный ходъ крупной рыбы, называемой на мѣстѣ „лохъ“. Начинало свѣтать, но сѣверная ночь была очень свѣжая и росиста, такъ что Л—чъ надѣлъ теплое пальто и калоши. Ловля была чрезвычайно удачна. Попадались все крупные экземпляры. Когда вокругъ уже стала пробуждаться жизнь, Л—чъ сказалъ Меньшикову: „ну, довольно! Бдѣмъ на берегѣ. Впрочемъ, нѣтъ! Я зажину еще разъ удочку на счастье Оли“. На этотъ разъ попалась громадная рыба. Меньшиковъ рассказалъ впослѣдствіи, что онъ ни разу въ своей рыболовной практикѣ не видѣлъ ничего подобнаго. Огромный лохъ упирался изо всѣхъ силъ, а Л—чъ сталъ горѣть нетерпѣніемъ поскорѣе усрѣдъ свою добычу и не сталъ утомлять рыбу, притягивая и отпуская лесу, а началъ безостановочно наматывать послѣднюю, такъ что наконецъ изъ воды показалась голова громаднаго лосося, который употреблялъ послѣднія усилия, чтобы освободиться, чѣмъ способствовало его почти горизонтальное положеніе, въ которомъ онъ находилъ точки опоры для сопротивленія. Тогда, по словамъ Меньшикова, нетерпѣливый Л—чъ рѣшился тянуть рыбу не вдоль, а прямо кверху, и для этого всталъ въ лодкѣ. Уже тѣло рыбы было наполовину надѣль водою, когда она сдѣала послѣднѣе отчаянное усиленіе, ударила хвостомъ въ бортъ лодки и такъ рванулась, что оборвала лесу и ушла. Л—чъ потерялъ равновѣсіе, пошатнулся и, падая въ воду, опрокинулъ лодку. Онъ не потерпѣлъ, однако, присутствія духа, окликнулъ Меньшикова, и нѣсколько секундъ они плыли невдалекѣ другъ отъ друга къ берегу въ надвигавшемся густомъ утреннемъ туманѣ. Меньшиковъ явственно слышалъ, какъ Л—чъ тяжело дышалъ и охалъ. До берега было очень близко, но туманъ совершилъ раздѣлъ обоихъ пловцовъ, и, уцѣпившись за береговые кустарники, Меньшиковъ услышалъ вздохи уже въ направлѣніи, удалявшемся отъ берега. Онъ хотѣлъ крикнуть: „сюда! сюда!“, но, обезсиленный, лишился на нѣсколько минутъ чувствъ, а когда пришелъ въ себя, никого на берегу не было. Поднявъ безилодный крикъ, онъ бросился въ гостиницу, до которой, благодаря необходимости разныхъ обходовъ, пришлось добираться чѣмъ цѣлый часъ. Поднялась тревога, и собравшись на берегу увидѣли ужасное зрѣлище: уцѣпившись руками за острый камень, выдавшійся надѣль самимъ мѣстомъ перелома Вуоксы, где она изъ озероподобной быстрой рѣки переходила въ крутой и узкой водоскатъ, боролся съ брызгами и пѣною несчастный Л—чъ, и боролся уже по расчету времени цѣлый часъ! Добраться до камня, хотя бы на лодкѣ, и подать какую-либо помощь не было никакой возможности... Такъ продержался онъ еще цѣлый часъ. Наконецъ, очевидно, силы его оставили; онъ взмахнулъ руками и исчезъ въ пучинѣ.

Его тѣло было найдено лишь чрезрѣзъ 8 дней въ тридцати verstахъ ниже водопада, распухшее, обезображенное, со слѣдами глубокихъ ушибовъ, совершенно обнаженное, кроме одной ноги, на которой уцѣплья сапогъ. За нѣсколько лѣтъ предъ тѣмъ я подарилъ ему часы—подношеніе мнѣ одного изъ моихъ



Вязальщица.

Жанъ-Франсуа Милле.

учениковъ по окончаніи слушанія имъ моихъ лекцій по законовѣдѣнію. Вокругъ шеи моего несчастнаго друга висѣла перекрученная нѣсколько разъ толстая золотая цѣпочка и на ней—эти часы.

Жена погибшаго сначала совершенно потерялась и въ отчаяніи телеграфировала мнѣ въ Гельсингфорсъ о немедленномъ пріѣздѣ по случаю страшнаго несчастія съ мужемъ и о привозѣ доктора. Я съ трудомъ отыскалъ бездушнаго мѣстнаго врача, который послѣ долгихъ ломаний и условій наконецъ соизволилъ мнѣ назначить прійти черезъ нѣсколько часовъ въ кафе на бульварѣ, чтобы выслушать его окончательное рѣшеніе о томъ, пойдетъ онъ или нѣтъ, несмотря на предложенное ему „какое угодно“ вознагражденіе. Въ три часа была, однако, получена вторая телеграмма, въ которой говорилось, что докторъ не нуженъ, и что Л—чъ погибъ безслѣдно. Я съ особымъ удовольствіемъ послалъ разумчивому врачу въ его кафе три рубля мелкими деньгами, написавъ, что считаю нужнымъ его вознаградить за утраченное время на размышиленіе о томъ, стѣдуетъ ли ему поѣхать помочь товарищу по профессіи. Господинъ докторъ принялъ мою мелочь и, сосчитавъ, приказалъ меня поблагодарить.

Въ 6 часовъ вечера я выѣхалъ въ Выборгъ, куда прибылъ часа въ 4 ночи и немедленно, подъ проливнымъ дождемъ, отправился на лошадяхъ на Иматру. Меня встрѣтилъ несмолкаемый шумъ и рокотъ водопада и угромъ молчаливыхъ лица обитателей гостиницы. Несчастная жена погибшаго вела себя замѣчательнодержанно и только, оставаясь со мною наединѣ, предавалась отчаянію. Маленьку Олю, которой было 9 лѣтъ, перевели въ другія комнаты, на другомъ концѣ зданія, объявивъ ей, что отецъ привезъ ей игрушки, а самъ долженъ быть уѣхать за границу по вызову заболѣвшій „великой княгини“. Бѣдную дѣвочку необходимо было щадить, такъ какъ она зимою перенесла менингитъ, и сильное огорченіе могло на ней отразиться гибельно. Всльѣ за мною пріѣхалъ хороший знакомый Л—чъ нотаріусъ С—овъ съ женой. Съ подавленными слезами и въ какомъ-то болѣзnenномъ полуспѣ мы провели два дня, дожидались, по просьбѣ вдовы, не найдется ли тѣло мужа. Погода была все время пасмурная и холодная, и, сидя на берегу водопада, я невольно уносился мыслями въ прошлое... наше общее прошлое съ безвременно погибшимъ другомъ. Иногда мнѣ казалось, что все происшедшее лишь какой-то тяжелый сонъ. Хотѣлось думать, что то, что я вижу передъ собой, есть лишь продолженіе совершенной весною этого же года поездки на Иматру съ моими маленькими родственниками, которыхъ забавляли своими рассказами и анекдотами бодрый и румянный молодой человѣкъ—будущій стать секретарь, министръ финансовъ и предсѣдатель совѣта министровъ. То вспоминалось мнѣ величественное горное ущелье въ Рагадѣ, въ Швейцаріи, въ которомъ шумитъ и бурлитъ Тамина, а надъ нею наклонена скала, плачущая вѣчно падающими каплями, по преданию въ томъ мѣстѣ, где съ дороги сорвались въ бурную рѣку съ экипажемъ и погибли три молодыя англичанки, и я невольно вспоминалъ конецъ чѣхъ-то слышанныхъ мною по этому поводу стиховъ:

Надъ мѣстомъ гибели печальнѣмъ
Скала, склоняся, слезы льетъ,
И мрачнымъ хоромъ погребальнымъ
Тамина грозамъ реветь.

Но—увы!—все это былъ не сонъ. Вмѣсто Тамины ревѣла Иматра, и гдѣ-нибудь въ ея глубинѣ вертѣлся въ водоворотѣ и бился о камни трупъ дорогого мнѣ человѣка. На третій день мы уговорили вдову пойти съ нами до Выборга, и такъ какъ она была не въ силахъ вернуться въ свою городскую квартиру, то я предложилъ ей поселиться въ моей части дачи въ Брунспаркѣ, на мѣровалась сама перѣхать окончательно въ Петербургъ.

Мы выѣхали въ дилижансѣ и въ виду присутствія Оли старались держать себя бодро и даже шутить. Но впечатлительный и даже наблюдательный ребенокъ чуялъ что-то неадѣдное. Она пытливо смотрѣла намъ по очереди въ глаза и нетерпѣливо спрашивала: „почему вы что-то скрываете? Зачѣмъ мы уѣхали съ Иматры? Вѣдь папа сказалъ, что мы останемся тамъ до августа, онъ хотѣлъ прїѣхать на цѣлую недѣлю и взять меня съ собою уѣхать рыбѣ. Зачѣмъ же онъ уѣхалъ, не простясь со мною и не поцѣловавъ меня, какъ всегда это дѣлалъ? Ахъ, зачѣмъ вы меня обманываете? Мнѣ такъ страшно! Я такъ боюсь сойти съ ума“. Мы молча переглядывались и взапуски лгали передъ нею. На одной изъ станцій я стала доказывать вдовѣ, что нельзя держать болѣзnenного ребенка въ состояніи подобнаго нравственнаго напряженія, что скрыть отъ неї истину невозможно, и что не нынче—завтра она ее все-таки узнаетъ, и что лучше ее подготовить и сказать ей все. Въ слезахъ, въ присоединеніи къ общему горю и въ ласковомъ участіи къ себѣ всѣхъ она найдетъ нѣкоторое уѣщеніе, не терзаясь внутренно сомнѣніями и пред-



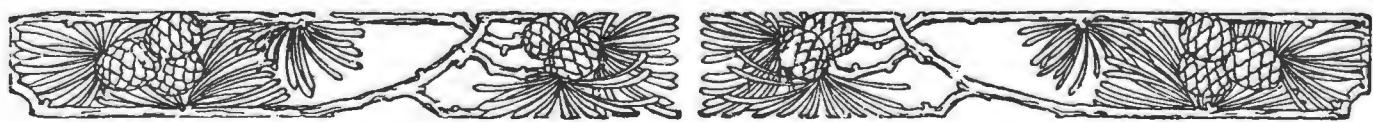
Церковь въ Кревиллѣ.

Жан-Франсуа Милле

положеніями. Со мною согласились всѣ и лишь просили меня принять на себя тяжелую обязанность открытия Олѣ жестокой правды. Было решено, что на большой станціи Риттиярви, въ ожиданіи отплытия парохода, пойду съ Олей гулять. Такъ и было сдѣлано. Я предложилъ ей ити собирать грибы, и когда она развеселилась, найдя нѣсколько такихъ, я сказала ей: „ну, теперь пора возвращаться,—и взялъ ее за руку.—Знаешь, Оля, а вѣдь мы получили отъ папы нехорошія вѣсти“. Ея ручонка вздрогнула въ моей. „Телеграфируютъ, что онъ серьезно заболѣлъ за границей, куда его вызвали“. Она уставилась на меня испуганными глазами. „Быть-можетъ, папа долго къ намъ не вернется. Отъ его болѣзни трудно излѣчиваются. Быть-можетъ, Богъ позоветъ его къ себѣ. Но если это случится, тебѣ не слѣдуетъ убиваться и горько плакать. Папа, вѣдь, не исчезнетъ. Онъ только станетъ для насъ невидимъ, но самъ будетъ видѣть все. Если ты будешь добрая, прилежная и хорошая дѣвочка, онъ будетъ радоваться и молить Бога дать тебѣ счастье, а если онъ увидитъ, что ты разстраиваешь свое здоровье, плача о немъ, то ему будетъ больно, и онъ будетъ страдать“. Она крѣпко скжала мою руку своими похолодѣвшими пальчиками и долго молчала, а потомъ голосомъ, звука которого я не могу забыть, спросила: „дядя, вѣдь папа не умеръ?“ Мнѣ оставалось сказать: „да, умеръ“, и задача, возложенная на меня, была бы исполнена. Но тутъ я почувствовалъ все значеніе выраженія „приились языкъ къ гортани“... Утвердительный отвѣтъ былъ уже на моихъ устахъ. Нѣсколько разъ, раскрывая ихъ, я былъ увѣренъ, что произнесу его, и каждый разъ смыкалъ ихъ въ молчаніи. И, наконецъ, отвернувшись свое лицо отъ бѣднаго ребенка и глотая слезы, я вновь солгала ему, сказавъ фальшиво-ободрительнымъ тономъ: „о, нѣтъ, не умеръ“. Когда мы вернулись, всѣ смотрѣли на насъ вопросительно. „Расскажите сами, я не могу“,—сказала я матери, отведя ее въ уголъ. Бѣдная дѣвочка узнала истину на другой день по прибытии въ Гельсингфорсъ.

Вдова была жалка своими слезами о мужѣ, порывами неподѣльного отчаянія и суетной заботой о модныхъ траурныхъ туалетахъ. По просьбѣ и согласно однажды высказанному мнѣ не разъ желанію покойнаго, я сдѣлалась опекуномъ Оли. Когда пришлое приводить въ извѣстность имущество, оказалось, что свои личные средства, весьма небольшія, а также 60 тысячъ, взятыхъ въ приданое за женой, онъ внесъ на храненіе въ Государственный банкъ подъ одну общую расписку, выданную съ указаниемъ, что имъ внесенъ принадлежащий ему капиталъ. Такимъ образомъ, наследницей этого приданаго, въ суммѣ 45 тысячъ, явилась Оля, а на долю ея матери приходилось всего 15 тысячъ. Узнавъ объ этомъ, убитая горемъ вдова прилетѣла ко мнѣ и сдѣлалась совершенно неузнаваема. Куда дѣвались всѣ вопли и слезы о „бѣдномъ Гулѣ“!—„Онъ меня ограбилъ, —въ ногодований говорила она,—онъ меня нищей сдѣлать. Нѣтъ! Каково! Мои деньги записала на свое имя. Вотъ плата за мою любовь“ и т. д.

Я ее старался успокоить, доказывая, что это было сдѣлано, конечно, лишь для удобства, чтобы не брать отъ нея каждый разъ довѣрѣнности на получение % по купонамъ, но она волновалась, кипѣла и говорила, что не оставить этого дѣла такъ и будетъ защищать свои права судомъ. Тогда я заявилъ ей, что хотя мнѣ лично и извѣстно, что ея мужемъ было получено за нею 60 тысячъ приданаго, при чёмъ онъ ни копейки изъ этого

*„Angelus“.**Жан-Франсуа Милле.*

не истратилъ, а довольствовался для ихъ общихъ расходовъ лишь 1%, но я, какъ опекунъ, обязанъ ограждать интересы малолѣтней и буду настаивать объ утверждении. Оли въ правахъ наследства на всю слѣдующую ей по закону сумму. Неутѣшная вдова пришла въ отчаяніе и стала меня умолять ее не губить и не спорить противъ ея иска, который въ ея представлениіи, подъ вліяніемъ чьихъ-то совѣтовъ, сложился въ совершенно определенныи очертанія. Мне было на нее досадно и непріятно смотрѣть, особенно когда она на мой совѣтъ воспитать дочь такъ, чтобы та сама пожелала раздѣлиться съ ней по справедливости, когда достигнуть совершенномътѣ, — со слѣдующимъ паѳосомъ начала кричать, что она не желаетъ жить изъ милости у дочери, что дѣти всегда бывають неблагодарны, и что дочь, которой было всего девять лѣтъ, можетъ ее пустить просить милостыню. „Если я судомъ ничего не добьюсь, — прибавила она, — то у меня есть знатные знакомые, и я черезъ нихъ буду просить Государя заступиться за несчастную ограбленную женщину“. Положеніе вещей было пренепріятное. Съ одной стороны было очевидно, что она не угонитъся, „знобима стяжанія лихорадкой“, и что ея отношенія къ дочери будуть этимъ навсегда отравлены. Съ другой стороны я зналъ, что фактически она права, а юридически я долженъ быть оградить имущественные интересы подопечной въ томъ видѣ, въ какомъ ихъ застала смерть отца. Дня черезъ два я вызвалъ къ себѣ злополучную вдову и предложилъ ей слѣдующую комбинацію: пусть она предъявить свой иска къ опекуну, т.-е. ко мнѣ, и укажетъ двухъ, извѣстныхъ намъ свидѣтелей, которые подтвердятъ, что знаютъ о принадлежности ей сорока пяти тысячъ, а я признаю этотъ иска, и деньги будутъ ей присуждены; но я сдѣлаю это лишь при томъ условіи, что утромъ въ день засѣданія получу отъ нея дарственную запись на имя ея дочери въ суммѣ именно этихъ денегъ, при чемъ дочь будетъ обязана выдавать ей пожизненно 1/2 процента съ этой суммы, такъ что до самой своей смерти она будетъ получать равный съ дочерью доходъ, не считая оставшихъся въ ея собственность 15 тысячъ. — „Я этого требую отъ васъ потому, — сказалъ я ей, — что въ виду вашего отношенія къ памяти мужа, отношения, столь чуждаго въ настоящее время любви и уваженія, я могу опасаться, что вы выйдете замужъ за какого-нибудь восточного человѣка, служащаго въ конвоѣ, и онъ пустить въ трубу и вѣсъ, и ваше состояніе“. Повидимому, образъ восточного человѣка подействовалъ на нее отрезвляющимъ образомъ, и она согласилась исполнить то, что я ей предлагалъ. Такъ и было сдѣлано.

Затѣмъ прошло нѣсколько лѣтъ мирнаго житѣя матери съ дочерью, которая выросла въ изящную, стройную и хрупкую блондинку. Когда ей минуло 17 лѣтъ, она сдѣлалась невѣстой гвардейскаго офицера. Въ день объявленія ея невѣстой, на дачѣ въ Павловскѣ, молодежь вздумала танцевать послѣ обѣда. Невѣста была, по разказамъ, очаровательна своимъ оживленіемъ и красотою счастливой юности. Она вальсировала съ женихомъ съ увлечениемъ, но вдругъ послѣ нѣсколькихъ турокъ остановилась и зашаталась съ исказившимся лицомъ и поникшей головой. Женихъ поспѣшилъ посадить ее на диванъ, всѣ втревоженію окружили ее, но она уже была мертваго вслѣдствіе разрыва сердца. Это случилось въ день ея именинъ 11-го юля, ровно черезъ восемь лѣтъ послѣ трагической смерти отца. На несчастную осиротѣлую мать было тяжело смотрѣть. Она опустилась, забросила свои наряды и лицевую живопись и стала, какъ говорятъ, искать забвенія въ неумѣренномъ употреблѣніи пива. Ея старое желаніе вернуть себѣ приданое, когда-то тѣль исказившее дни ея жгучей скорби по мужу, исполнилось: она сдѣлалась наслѣдницей своей дочери. Исполнилось и мое предсказаніе объ окончательной судьбѣ этого приданаго: года черезъ три послѣ смерти Оли она имѣла несчастье познакомиться съ болѣшимъ прожекторомъ и аферистомъ, и онъ уговарилъ ее отдать почти все свое состояніе на предпринятою имъ разработку какихъ-то копей, которая и поглотила безслѣдно почти все, что она имѣла. Стѣбдностью пришли недуги, и она угласла какъ-то незамѣтно для всѣхъ, когда-то знавшихъ ее и любившихъ ея мужа. Черное крыло смерти смело и бѣднаго Л-ча и его жалкую и, въ сущности, несчастную жену, и нѣжный, едва распустившійся цвѣтокъ — Олю, но память о немъ не умерла въ сердцахъ тѣхъ, кто его зналъ. Они собрали между собой сумму для постановки памятника на его могилѣ, гдѣ подъ бѣлымъ мраморнымъ крестомъ внутри красной мраморной решетки выѣчено:

Волной похищенный твой пракъ
Намъ отдала пучина зла,
Сюда придетъ къ тебѣ въ слезахъ
Душа душѣ твоей родной.

Говоря о Л-че, я невольно рисую себѣ образъ его близкаго друга Дмитрия Михайловича Н-ва и упомянутой выше сестры миссисердія С-ой, и „воспоминаніе передо мной свой длинный развивалось свитокъ“.

Дмитрий Михайловичъ не получилъ высшаго образования и не имѣлъ определенной профессіи. Обладая недурными средствами, живымъ и предпримчивымъ умомъ и большой энергией, онъ переходилъ отъ одного занятія къ другому, — любилъ сельское хо-

зяйство, архитектуру. Жаждя практической дѣятельности сливалась въ немъ съ крайнимъ идеализмомъ и съ вѣрою въ людей, несмотря на частыя и горестныя въ нихъ разочарования. Высокий, стройный, съ открытымъ выраженіемъ доброго лица, онъ постоянно увлекался какимъ-нибудь дѣломъ и клалъ въ него всѣ свои силы. Это былъ человѣкъ, многаго достигшій путемъ самообразованія, тонкій цѣнитель искусства и литературы, и очень приятный собствѣнникъ. Послѣднимъ большинстѣ его предпріятіемъ была постройка или, вѣрнѣе, перестройка прекраснаго дома одного придворнаго на Дворцовой набережной. Онъ разсчитывалъ получить отъ этого довольно крупнаго заработка, весьма не лицинѣ при подрашившихъ дѣтяхъ, и вѣлъ всю перестройку на свой счетъ, не обезпечивъ себя настоящими безспорными документами. Ко времени окончанія перестройки собственникъ дома оказался весь въ долгахъ и не могъ вернуть Н-ву даже собственнаго затраченаго имъ капитала. Это ставило послѣднаго тѣмъ болѣе въ тяжелое положеніе, что онъ вмѣстѣ съ тѣмъ арендовалъ въ одной изъ линій Васильевскаго острова домъ, принадлежавшій двумъ наслѣдникамъ.

Трагическая смерть Л-ча, разочарованіе въ расчетѣ на заботы, проигрышъ предъявленнаго противъ собственника дома въ Окружномъ Судѣ иска — все это подействовало удручающимъ образомъ на Н-ва. Онъ сталъ замыкаться въ себѣ и загрустилъ, тщательно однако стараясь скрыть отъ нѣжно любимой жены печальное положеніе своихъ дѣлъ. Я былъ почти увѣренъ, что Судебная Палата рѣшила дѣло въ его пользу, но очень его обнадеживалъ по весьма понятнымъображеніямъ не рѣшался. Мало-по-малу имѣлъ овладѣть мысль, что онъ окончательно разоренъ, и что его дѣти будутъ нищими. Въ то же время произошли два мелочнѣхъ обстоятельства, которыхъ въ его жизни сыграли роковую роль. Онъ просилъ отсрочки предстоящей арендной платы за домъ и встрѣтилъ полное согласіе наслѣдника, но сестра послѣднаго, очень въ свое время превознесенная за свой либерализмъ, гуманность и честность, была неумолима и не хотѣла ничего слышать, несмотря на горячія просьбы Н-ва. Послѣдній былъ человѣкъ очень самолюбивый, и напрасная униженія въ роли просителя истерзали его гордое сердце. Онъ какъ-то весь потемнѣлъ и осунулся. Какъ разъ въ это же время въ номерѣ банкѣ, помѣщавшихся во флигелѣ арендованаго дома, студентъ вскрылъ себѣ жили въ теплой ваннѣ, и Н-ву пришлось присутствовать при первыхъ дѣйствіяхъ полиціи по этому дѣлу: при вынутіи трупа изъ ванны, медицинскомъ осмотрѣ и т. д. Видѣнія имѣ картина произвѣла на него какое-то гипнотизирующее впечатлѣніе. Онъ все говорилъ о ней и постоянно возвращался къ запискѣ студента, въ которой стояло лишь два слова: „тяжело жить!“

Въ хороший февральскій день я получилъ отъ него утромъ телеграмму: „Необходимо васъ видѣть, будьте дома въ 10 час. вечера“. Я ожидалъ его съ тревогой и встрѣтилъ упрекомъ за загадочность такой телеграммы. Но онъ, весело смеясь, сказалъ мнѣ: „а загадочность въ томъ, что вы какъ-то говорили, что никогда не катались на Петербургской тройкѣ, и я увѣренъ, что если бы вамъ это прямо предложили, вы бы непремѣнно откаزالись. Вотъ мы и рѣшили взять васъ обманомъ. Теперь ужъ дѣлать нечего: тройка у подъѣзда, и въ ней ждеть настѣнка (жена)“.

Поеzdka по островамъ, среди опущенныхъ и неимѣ деревьевъ, была очень пріятна, тѣмъ болѣе, что Н-въ былъ въ отличномъ расположениіи духа, острѣлъ и шутилъ. Онъ настоялъ на томъ, чтобы забѣхать ужинать въ какой-то загородный ресторанъ, и за ужиномъ потребовалъ бутылку шампанскаго. Чокаясь со мной и съ женой, онъ сказалъ каждому изъ настѣнки шутливо-нѣжную рѣчь. Затѣмъ супруги доставили меня домой. На другой день въ засѣданіе Судебной Палаты мнѣ принесли телеграмму Е. А. Н-вой: „мужъ скончался, ради Бога пріѣзжайте“. Я засталъ покойнаго уже на столѣ, съ тѣмъ жесткимъ выраженіемъ сдвинутыхъ бровей и сжатыхъ губъ, которое, какъ я замѣтилъ, такъ свойственно самоубийцамъ. Да онъ и былъ самоубийцей... Послѣ завтра я ушелъ въ кабинетъ и въ то время, когда рядомъ въ комнатѣ шумѣли и рѣзвились дѣти, а жена вышла зачѣмъ-то по его порученію въ спальню, онъ выстрѣлилъ себѣ прямо въ сердце изъ большого револьвера... Въ карманѣ его сюртука оказалось письмо на имя жены, написанное три дня назадъ, въ которому онъ, глядя крайне мрачно на будущее, упрекалъ себя въ разореніи дѣтей и, прося у нея прощеніе, поручалъ передать мнѣ свой привѣтъ и просьбу быть ей помощникомъ и руководителемъ въ дѣлахъ и любить его дѣтей. Письмо было съ нимъ неразлучно вѣсъ три дня, и съ этимъ смертнымъ приговоромъ въ карманѣ онъ заѣжалъ ко мнѣ, катался на тройкѣ и творилъ грузну по самому себѣ...

Черезъ дѣвъ недѣли Судебная Палата (не подъ моимъ предѣдѣтельствомъ) рѣшила дѣло въ его пользу.

Я уже говорилъ о томъ, что Вѣра Андреевна С-ва не отличалась особымъ умственнымъ развитіемъ. Все въ ея фигурѣ, начиная съ вѣчно растрепанныхъ волосъ и кончая смѣшнымъ ротикомъ „сердечкомъ“ и желтыми глазами, носило на себѣ какой-то отпечатокъ глупости. Легковѣръ и довѣрчивости ея не было границъ. Она совершенно не понимала шутокъ и рѣшительно все принимала за чистую монету. Во время моей болѣзни я въ

шутку сочинял про нее невероятная по своей неправдоподобности историю и рассказывать их при ней тогдашним друзьям — монит Андреевским. Она срывалась с места, падала перед Андреевской на колени и, трагически воздев руки к небу, обращаясь к ней, восклицала: „Клянусь вам всеми святыми, я так никогда не говорила (или не дышала)!“ Она была очень услужлива и усердна, имела способность просыпаться при каждом шорохе. Иногда я ее просила пойти пройтись и подышать воздухом, и тогда она надевала перед зеркалом шляпу и, собрав свое „сердечко“ в маленький комочек, показывая на шляпу, говорила с наивнейшим видом и восторженным голосом: „Шареан!“ Это слово, да еще „ма cousine“ остались у нее, кажется, единственным наследием из институтского французского багажа. Растеряла она была чрезвычайна и ухитрилась потерять из кармана в Гостиный двор гонорар за двухмесячный уход за отцом, данный мною ей в двойном размере вместе с запонками с изображением красного креста. Читать она не любила, но на мои предположения, что ей скучно сидеть без дела, когда большой дремлет или спит, она у меня попросила дать ей романовъ — такихъ, — прибавила она стыдливо, — где было бы много препятствий для любви, и действовали непременно короли.

Пред самой смертью мой отец пришел в себя. Увидевъ сестру милосердія, онъ сказалъ ей: „Какое отрадное явление! Пойдите сюда, дайте вашу руку“, и, положив щеку ей на ладонь, вздохнулъ въ послѣдний разъ. Это обстоятельство начало эксплуатировать Вѣра Андреевна по моему выздоровлению. Я стала довольно часто получать от нея письма, написанные мелкимъ красивымъ почеркомъ, въ которыхъ предъявлялась просьба о денежной помощи, и въ концѣ всегда прибавлялись стереотипные фразы: „вспомните, что вашъ отецъ умеръ у меня на рукахъ“ и „даю вамъ честное слово дворянки, что прошу въ послѣдний разъ и возвращу на дниахъ“. Дворянское званіе, которымъ она очень кичилась, не удержало ее, однако, от постепенного нравственного паденія. Вѣроятно, въ ея практикѣ было нѣсколько приключений въ родѣ случая съ моимъ каломелемъ, и таковая все суживалась. Что заставило ее разстаться съ мужемъ, я не знаю, но только разъ, совершенно неожиданно, ко мнѣ явилась какая-то захудалая девочка въ обтрепанномъ ситцевомъ платьѣ и старыхъ стоптанныхъ калошахъ, надѣтыхъ прямо на чулки, и принесла письмо, въ которомъ Вѣра Андреевна, сообщая мнѣ, что отецъ мой умеръ у нея на рукахъ, объясняла, что подательница письма — ея дочь, выписанная ею изъ имѣнія, и снова давала „честное слово дворянки“. Я попросилъ девочку написать мнѣ свой адресъ, и оказалось, что она неграмотная, а было ей лѣтъ 14.

Всѣдѣ затѣмъ въ просьбахъ о пособіяхъ слова „я нуждаюсь“ замѣнились „мы нуждаемся“. Однажды я встрѣтилъ ее на улицѣ. Неряшливый нарядъ, мутные глаза и винное дыханіе поразили меня, такъ что, когда черезъ нѣсколько дней я снова получилъ письмо „дворянки“, то послалъ свой оброкъ (къ которому за 12 лѣтъ привыкъ, какъ къ чему-то неизбѣжному) съ курьеромъ, поручивъ ему приглядѣться къ обстановкѣ, въ которой живетъ Вѣра Андреевна. Вернувшись, онъ положилъ конвертъ нараспечатаннымъ на столъ. „Что это значитъ? Вы не отдали?“ — „Помилуйте, да, вѣдь, никакъ невозможнѣ. Онѣ сидятъ за столомъ, — извините, — въ нехорошемъ видѣсь, и съ ними молодой юнкеръ нараспашку-съ, а предъ ними бутылка водки и селедка. Я какъ увидѣлъ это безобразіе, такъ пакета съ деньгами и не отдалъ“. — „А дочка тамъ была?“ — „Никакъ нѣть-съ. Ея и видимости нѣть“. Я все-таки послалъ деньги, написавъ, что это въ послѣдний разъ. Тогда просьбы о деньгахъ смѣнились просьбами о присыпкѣ калоши, резиновой накидки — такъ какъ иначе не въ чёмъ выйти — сахару, чаю, варенья и т. д., такъ что я уже самъ былъ вынужденъ переложить эту натурульную повинность въ денежную. Послѣднее, какъ казалось, письмо я получила въ январѣ 1892 г. Въ немъ „сестрица“ извѣщала меня, что лежитъ очень больная „чехоткой“ въ больницѣ, не имѣя ни чая ни сахара, и т. д. Я вручилъ подательницѣ этого письма — какой-то странной набѣленной женщинѣ съ подвязанной щекой и съ сильнымъ запахомъ эѳира — небольшую сумму денегъ, а черезъ нѣсколько дней утромъ она пришла снова. „Какъ, опять?“ — невольно сказаѣлъ я, выйдя къ ней въ гостиную. — „На этотъ разъ въ послѣдний!“ — вѣздахъ, сказала мнѣ подвязанная щека. — Вѣра Андреевна приказала вамъ долго жить. — „Когда?“ — „Вчера днемъ, завтра надо хоронить, а нечѣмъ“ — „А где?“ — „Еще сами не рѣшили...“

Сердце мое невольно сжалось. Вотъ онѣ, конецъ одного изъ многочисленныхъ случаевъ дворянского морального оскудѣнія! И бѣдная Вѣра Андреевна предстала предо мной не назойливой попрошайкой, а несчастной институткой, невооруженной для борьбы съ жизнью ничтѣмъ, кроме болѣе чѣмъ сомнительного „честного слова“. Теперь она отстрадала, быть-можетъ, за грѣхи предковъ. „А где девочка?“ — „А девочку давно вернули въ деревню“. — „То-есть, къ кому же именно?“ — „А право не знаю“. Выразивъ сожалѣніе, что по слуху сенатского засѣданія я не могу пріѣхать отдать послѣдний долгъ усопшей, тѣмъ болѣе, что мѣсто погребенія еще неизвѣстно, я вручилъ печальной вѣстницѣ посильную сумму на приличные похороны.

Прошло мѣсяцемъ восемь. Я только-что перѣѣхалъ на новую квартиру, и первое письмо, мною полученое на ней, поразило

меня: конвертъ былъ надписанъ знакомымъ мнѣ почеркомъ С—ой, а внутри находилось обычное письмо съ просьбою о пособіи и съ утѣшительнымъ увѣреніемъ дворянки. Я вложилъ письмо въ другой конвертъ съ записочкой, въ которой написалъ, что такъ какъ она умерла почти годъ назадъ, была мною оплакана и погребена при содѣйствіи ея посланной, то я, боясь вступать въ сношеніе съ загробными міромъ, не могу исполнить ея просьбу. Пославъ письмо съ посыльнымъ, я надѣялся, что получу отвѣтъ, разъясняющій мое недоразумѣніе, указывающій, напримѣръ, на то, что незнакомка сама сочинила исторію о смерти и воспользовалась данными мною деньгами; но — увы! — такого отвѣта я не получила. У несчастной женщины не хватило ума, чтобы придумать какое-нибудь объясненіе, и она молчаливо сознавалась въ своемъ наивномъ вымогательствѣ. Потомъ нѣсколько разъ она вспоминалась мнѣ, и мнѣ хотѣлось узнать, что съ нею, но адресный столъ всегда отвѣчалъ: на жительствѣ не значится.

Быть-можетъ, она оставила Петербургъ и уѣхала въ полуразрушенное, грязное и нищенское „дворянское гнѣздо“ въ какомъ-нибудь медвѣдѣмъ углу, или — еще вѣроятнѣе — скончалась „засамдѣль“, какъ говорятъ дѣти.

VI.

„Въ природѣ, другъ Горацио, есть много вещей, которыхъ и не сились нашимъ мудрецамъ“. Въ моей жизни не разъ бывали случаи, когда можно было убѣдиться, на основаніи личного опыта или вполнѣ достовѣрныхъ рассказовъ, въ справедливости словъ Гамлете. Вотъ нѣкоторые изъ нихъ.

Въ Петербургѣ много лѣтъ жилъ и практиковалъ специалистъ по мужскимъ болѣзнямъ старческаго возраста, умный и душевнотеплый докторъ Иванъ Эдуардовичъ А — тѣ, бесѣда съ которымъ всегда доставляла мнѣ особое удовольствіе, изобличая въ немъ глубоко и разносторонне образованнаго человѣка. Мы познакомились у умирающаго К. К. Гроха и нерѣдко видались. Въ 1900 или 1901 году онъ неожиданно зашелъ ко мнѣ и сообщилъ почти невѣроятный, съ точки зрѣнія обыденной врачебной этики, фактъ. Находя, что при чрезвычайно развившейся и богатой практикѣ онъ не имѣстъ времени и возможности слѣдить за развитіемъ науки и боится обратить свое знаніе въ ремесло, А — тѣ рѣшился оставить практику и Петербургъ и поселиться въ тихомъ уголкѣ Финляндіи — Саксоніи около Борго. Сказано — сдѣлано, и съ тѣхъ поръ мнѣ приходилось видѣть этого почтеннаго человѣка лишь въ рѣдкіе и краткіе прїѣзы его въ Петербургъ, когда онъ неизмѣнно заходилъ ко мнѣ. Въ послѣдний разъ онъ былъ у меня поздно весною 1906 года. На мой вопросъ о здоровье жены его, очень нервной и впечатлительной — онъ — искренний позитивистъ — рассказалъ мнѣ слѣдующее: „Жена слаба и нервна по-прежнему, и съ нею происходить трудно объяснимыя вещи. Прошло лѣто и осень мы провели въ Пиринеяхъ, въ Bagneres de Bigorre, гдѣ познакомились и дружески сошлились съ молодымъ и очень симпатичнымъ португальцемъ изъ Коимбры. Мы полюбили его, какъ сына, счищали на память группой и первое время по возвращенію получали отъ него нѣжныя письма. Но затѣмъ переписка съ его стороны внезапно прервалась, и мы съ грустью стали думать, что и по отношенію къ нему осудилъ искаженіе и умирающій любымъ намъ португалецъ. Онъ нѣсколько разъ взглѣдывалъ на вѣсѣвшую на стѣнѣ нашу группу, затѣмъ потянулся, затрепеталъ, закатилъ глаза, тяжело вздохнулъ и скончался. Съ нимъ произошло что-нибудь ужасное!“ — говорила мнѣ взволнованная жена. Я ее успокаивалъ, какъ могъ, а затѣмъ по дѣламъ уѣхалъ въ Гельсингфорсъ. Когда я поздно вечеромъ вернулся, она мнѣ показала нарисованнымъ ею то, что она видѣла во снѣ, утверждая, что ей начинаетъ казаться, что это было не сонъ, но что она действительно присутствовала при смерти португальца, до такой степени были реальны всѣ подробности видѣнія ею и глубоко врѣзавшагося въ ея память. Чрезъ двѣ недѣли мы получили письмо отъ неизвѣстнаго намъ друга нашего португальца. Онъ извѣщалъ насъ, что молодой человѣкъ, заболѣвшій скоротечной чахоткой, быстро разрушившей его организмъ, скончался въ Оporto, куда былъ перевезенъ, и, умирая въ полной памяти, вспоминалъ съ любовью о насъ, просилъ простить его невольное молчаніе и долго не сводилъ съ нашей группы глазъ, пока ихъ не смигнула смерть — въ утре того самого дня, когда моя жена видѣла свой вѣнчій сонъ. Зная, что мы любили покойнаго, авторъ письма прилагалъ къ послѣднему фотографическому снимку съ усопшаго, сдѣланнаго черезъ полчаса послѣ его смерти. На этомъ снимкѣ было изображенено точь въ точь все, что нарисовала моя жена за двѣ недѣли передъ тѣмъ...“

Мой старый сослуживецъ, Евгений Федоровичъ Д. Р., человѣкъ правдивый и серьезный, рассказалъ мнѣ удивительный случай изъ своей жизни, подтвержденный затѣмъ во всѣхъ подробностяхъ и его женой. Когда они были въ 1873 году объявлены женихомъ и невѣстой, то по чьему-то совѣту, съ шутливою недовѣр



Надь Донцомъ.

живостью поехали къ старухѣ-гадалкѣ на кофейной гущѣ, жившей гдѣ-то на краю города и не бравшей лично денегъ, а проиниціей класть ихъ въ церковную кружку. Старуха сказала имъ, что первое время жизни ихъ будетъ счастливо, но что затѣмъ, лѣтъ черезъ семь, она со страхомъ видѣть ихъ въ огнѣ и водѣ. Вода заливаетъ ихъ со всѣхъ сторонъ, а огонь проходить между ними, и они становятся какъ бы мертвыми, и все кругомъ горитъ, хотя въ концѣ концовъ все обойдется благополучно. Прошло около семи лѣтъ. Д. Р. въ началѣ восемидесятихъ годовъ былъ въ Петербургѣ товарищемъ оберъ-прокурора кассационного сезата и нанялъ себѣ дачу въ Финляндіи за Выборгомъ, расположенную на мысѣ, выдающемся въ море и образовавшемъ нѣчто въ родѣ полуострова, соединенного съ материкомъ короткимъ и неширокимъ перешейкомъ. Въ одинъ душный лѣтній вечеръ небо заволокли свинцовые тучи, поднялась гроза, море загволновалось и стало яростно бить въ берега, загрохотать почти ежеминутно громъ, и засверкала молния. Дѣтей уложили спать. Д. Р., сидѣвшій съ женою въ главной комнатѣ дачи, не могъ довѣрять прислузы, поспѣль въ кухню и людскую и тамъ нашелъ всѣхъ служащихъ столпившимися въ ужасѣ и чуть не въ сжиданіи свѣтопреставленія. Успокоивъ ихъ, какъ умѣй, онъ вернулся назадъ къ встревоженной женѣ и едва успѣлъ войти въ комнату, какъ она бросилась къ нему, протягивая руки. Въ ту же минуту ослѣпительно блеснула молния, надѣй головами съ яростнымъ трескомъ зазвучалъ громъ, и въ открытую порывомъ вѣтра дверь балкона довольно вкатился большой сѣтящийся флютовый шаръ. Онъ покатился въ разстояніи полутора аршина отъ пола вдоль стѣны, затѣмъ отѣбился отъ нея и прямо направился на стоявшихъ посреди комнаты супруговъ и прошелъ между ними. Когда Д. Р. пришелъ въ себя, онъ лежалъ на землѣ безъ силъ и весь разбитый. Невдалекѣ лежала въ такомъ же положеніи жена. Вокругъ суетилась съ охами и ахами прислуза, плакали въ ужасѣ дѣти, а море, заливъ совершенно перешеекъ, образовало островъ, на которомъ ярко пылала обѣгая пламенемъ дача. Когда она загорѣлась, обоихъ, вынесенныхъ затѣмъ, супруговъ напали на полу, отброшенными на далекое разстояніе другъ отъ друга и не подававшими первое время признаковъ жизни.

Я. Броварь.

Ссылка на доктора А—та вызываетъ меня на воспоминаніе о разсказѣ извѣстнаго англійскаго писателя и выдающагося газетнаго корреспондента Макензи Уоллеса, съ которымъ я встрѣчался въ концѣ 70-хъ годовъ у баронессы Э. Ф. Раденъ. Обыкновенно разговоры о привидѣніяхъ и другихъ страшныхъ исторіяхъ возникаютъ въ особыхъ условіяхъ и соотвѣтствующемъ настроеніи. Темный осенний или зимний вечеръ, вѣтъ, стучащий въ окна дождь, тѣлѣющіе въ каминѣ угли—вотъ обычные атрибуты благодарной обстановки для подобныхъ разсказовъ. Но ничего подобнаго не было, когда я слушалъ повѣстованіе Макензи Уоллеса въ уютномъ и ярко освѣщенномъ кабинѣтѣ баронессы Раденъ, въ присутствії умной хозяйки, извѣстнаго профессора доктора Эйхальда и моего профессора и впослѣдствії друга Бориса Николаевича Чичерина. Англичанинъ спокойно и подробно рассказывалъ намъ отомъ, какъ собираются осенью въ Англіи и Шотландіи, по приглашенню владѣльцевъ старыхъ замковъ, ихъ хорошие знакомые для охоты на лисицъ, и какимъ комфортомъ и удобствами бываетъ обставлено это пользованіе тонкимъ и разумнымъ гостепріимствомъ англійской знати. Описавъ свое послѣднее пребываніе въ замкѣ одного изъ шотландскихъ паровъ, имя котораго я забылъ, Макензи Уоллесъ задумался и, помолчавъ, сказалъ: «со мною тамъ было удивительное происшествіе, котораго я себѣ рѣшительно не могу объяснить. Жена хозяина замка, гдѣ я гостила,—очень нервная женщина и вслѣдствіе этого большая ненавистница табачного дыма и запаха. Поэтому, несмотря на массу всякаго рода удобствъ и любезную предустмотрительность хозяевъ, каждому гостю приходится курить только въ отведенной ему комнатѣ. Не скрою, что я ожидалъ возможности удастся въ эту комнату вечеромъ не безъ нѣтерпѣнія и, оставшись одинъ, надѣвъ домашній костюмъ, усаживался въ кресло и съ наслажденіемъ закуривалъ сигару, просиживая такъ иногда болѣе часу и уносясь мыслями вслѣдъ за облачками дыма въ далекое прошлое или неясное будущее. Во второй вечеръ, когда я усѣлся курить въ довольно позднее время,—вслѣдъ за боемъ часовъ, возвѣшившихъ полночь, я услышалъ, что дверь въ сѣдьюю съ моей комнатой шумно растворилась, и кто-то вошелъ въ, вѣрнѣ, вѣжъ въ нее и сталъ быстро ходить, судя по звукамъ, въ одномъ направлѣніи. Затѣмъ пришедший сѣлъ быстрымъ движениемъ на постель, которая сильно заскрипѣла, и

стало разделяться. Вслушиваясь, я убедился, что это была женщина, ибо до меня явственно долетали шуршание юбок, треск распускаемой шнуровки и звуки брошенных в уголь комнаты башмаковъ. Когда сосѣдка улеглась въ постель, немного на ней новорочавши, раздались сначала ея вздохи, а потом плач, скоро перешедший въ рыданія, которая она, повидимому, старалась заглушить подушкой, но которыхъ, несмотря на это, по временамъ вырывались съ собой силой. Такъ продолжалось целый часъ. Наконецъ все утихло. На утро я позабылъ о сосѣдкѣ, но вечеромъ опять повторилось то же самое. На мой вопросъ о сосѣдкѣ — слуга смыкался, а потому рѣшился сказать мнѣ, что никакой сосѣдки у меня нѣтъ, ибо комната эта совсѣмъ необитаема и служитъ лишь складомъ для разныхъ вещей. И, дѣйствительно, въ чѣромъ, простиравшись съ хозяевами, такъ какъ я уѣзжалъ съ разсѣвѣтомъ, я замѣтилъ, подойдя къ дверямъ сосѣдней комнаты, что онѣ не только заперты на ключъ, но что въ солидныхъ желѣзныхъ скобахъ, прибѣганныхъ снаружи, прѣдѣть не менѣе солидный замокъ. Но каково же было мое удивленіе, когда обычнай исторія плача и рыданій повторилась въ третій разъ и притомъ съ особенной силой. Сосѣдка нѣсколько разъ вставала и, отыскавъ свои башмаки, начинала метаться по комнатѣ, стучи каблуками, всплескивая, повидимому, въ отчалинѣ руками и бормоча безсвязныя слова, похожія то на мольбы, то на ругательства.

„Все это происходило осенью. Зиму я провелъ въ дѣловыхъ путешествіяхъ по Европѣ, а весною очутился въ Италии, где встрѣтился во Флоренціи съ однимъ изъ общихъ знакомыхъ моихъ и лицъ, у которыхъ я гостилъ. Разспрашивавша меня о моемъ пребываніи въ замкѣ, онѣ поинтересовался знать,

въ какой комнатѣ я помѣщался, и, когда я описалъ ему мѣсто ея расположения въ замкѣ, то онѣ замѣтили, что, вѣроятно, наливъ гостей вызывалъ необходимость дать мнѣ комнату рядомъ съ la chambre hantée. Тутъ только припомнилъ я о своей сосѣдкѣ, но, не подавая никакого вида, просилъ разъяснить мнѣ, что это за chambre hantée. И собесѣдникъ мой рассказалъ, что въ замкѣ есть комната, въ которой много лѣтъ назадъ лишила себя жизни обольщенная сыномъ одного изъ прежнихъ владельцевъ замка горничная, и что съ тѣхъ поръ, по временамъ, она невидимо приходитъ на мѣсто своихъ послѣднихъ слез, страданій и смерти и наводить ужасъ на окружающихъ своимъ несъязвимымъ пребываніемъ, стонами, слезами и рыданіями. Это происходитъ всегда въ определенный часъ, соотвѣтствующий времени ее смерти. Комната заперта навсегда, но нѣсколько разъ въ году въ ней происходитъ какъ разъ то, что я слышалъ. Это продолжается нѣсколько дней, и затѣмъ наступаетъ временный перерывъ, очень непродолжительный“. — Конечно, — прибавилъ, кончая свой разсказъ Макензи Уоллесъ, — можно было бы совсѣмъ уничтожить комнату, съ которой связаны печальные воспоминанія и тревожная, полная таинственного ужаса, дѣйствительность. Но вы знаете, какъ мы цѣнимъ и хранимъ все, что забытое намъ прошлымъ... Да и въ чёмъ ручательство, что и послѣ необходимой перестройки не будуть въ той или иной формѣ продолжаться посѣщенія несчастной самоубийцы?..“

Черезъ 30 слишкомъ лѣтъ я снова встрѣтился съ Макензи Уоллесомъ у покойного А. Д. Свербеева, и мы стали вспоминать давно прошедшее. Я напомнилъ ему разсказъ его о загробныхъ посѣщеніяхъ замка — и онѣ повторилъ мнѣ свое старое повѣстование, уполномочивъ меня, если я его запишу, назвать его имя.

Старатели.

Повѣсть недавнихъ дней.

Н. Тихонова.

(Продолженіе).

„Икосолецъ запоздалъ, — думалъ между тѣмъ Сѣдлецкій, — можно было бы начинать собраніе, а его нѣтъ. Ужъ эти молодые изъ ранніхъ. Да, кстати, кто это долженъ изъ нихъ прйті? Лучше бы Магаловъ, этого знаю вдоль и поперекъ — натура легкая, а то пришлютъ молодчика съ амбиціей, такъ еще скандалъ будетъ. Вонъ моя пава разнѹнилась... И надо же, чтобы это въ его дивизіи произошло“, — и онь зорко осматривалъ Растигина.

Старику было дѣйствительно не по себѣ. Онъ то потиралъ блѣдныя, худыя руки, то однозначно перекидывался со своимъ комиссаромъ, поручикомъ Камба, то смотрѣлъ въ окно и совсѣмъ уже неприлично, черезъ каждыя двѣ минуты, вытаскивалъ большій бѣлый платокъ и то прогибалъ ими очки, то вытиралъ мелкій потъ на маленькомъ блѣмъ лбу...

Вдругъ дверь распахнулась и пропустила въ комнату молодого человѣка въ поношенной гимнастеркѣ, съ волосами, стоявшими ежомъ на головѣ, съ нѣсколько длиннымъ носомъ и неторопливыми, несвойственными его юному возрасту, движениями. Онъ обошелъ всѣхъ, почти не представляясь, такъ какъ его хорошо уже знали въ арміи. Это былъ икосолецъ Кургановъ, талантливый молодой пропагандистъ, храбрый юноша, дважды раненый, пострадавший „при старомъ режимѣ“... Словомъ, у него было все то, что дало ему право выдвинуться на одно изъ первыхъ мѣстъ въ Икосолѣ. Растигинъ посмотрѣлъ на него внимательно и сурово, и немного вѣло пожаль молодую, мягкую руку Курганова.

— А мы вѣсъ только и ждемъ, — сказалъ Сѣдлецкій. — Можно приступить, не правда ли? — обратился онъ къ Курганову.

— Конечно, — отвѣтилъ послѣдній, — это собраніе чисто-дѣловое, и, обладая собранными материалами, намъ необходимо лишь прйті и къ скорѣшему решенію, такъ какъ уже извѣстно всѣмъ, что дѣло не терпѣтъ отлагательствъ...

— Дѣлать, такъ дѣлать, — бросилъ Фугастовъ, — черта съ два, не люблю разговоровъ. Я съ нѣмцемъ разговариваю только по прямому проводу: баахъ и тамъ...

— Я предлагаю, — снова сказалъ Сѣдлецкій, — просить вѣсъ все-таки сначала огласить всѣ свѣдѣнія. Никто противъ не будетъ?

— Я согласенъ, — буркнулъ, темнѣя, Исаковъ.

— Послушаемъ! — сказалъ Фугастовъ.

— Итакъ... — Кургановъ нѣсколько подвинулъся въ креслѣ, подвигнувъ къ себѣ портфель, вынулъ оттуда два блокнота, тетрадь и книгу исписанныхъ бумагъ и обвелъ собраніе задумчивымъ взглядомъ. Кургановъ носилъ очки и имѣлъ манеру взглядыватьсь въ окружающихъ передъ тѣмъ, какъ начать говорить. Глаза у него были маленькие, умные, и говорилъ онъ быстро-быстро, такъ что нужно было привыкнуть, чтобы понимать все до послѣдняго слова.

— Итакъ, — началъ онъ уже не останавливаясь, голосомъ ровнымъ и значительнымъ, — обнѣявъ всѣ свѣдѣнія, говорящія о происшедшемъ въ Н. дивизіи случаѣ, мы должны констатировать, что передъ нами въ высшей степени нежелательный инцидентъ, который необходимость требуетъ разрѣшить самимъ быстрымъ и, можетъ, даже не безболезненнымъ способомъ; дѣло въ слѣ-

дующемъ: Н. пѣхотная дивизія — я коснусь только фактovъ, играю щихъ главную роль, — находилась на отдыхѣ за городомъ Р. Что происходило тамъ, на отдыхѣ, какъ они жили, и какая преступная пропаганда, — я считаю ее преступной, —оказала свое растѣвающее влияніе на ихъ умы, но въ тотъ моментъ, когда имъ быть объявленъ приказъ о выступлении на позиціи, въ секторѣ С., они отказались выступать... Увѣщанія собственнаго комиссара, его убѣдительныхъ и образныхъ рѣчи не возымѣли дѣйствія, какъ равно и всѣ усилия команднаго состава, которыхъ натолкнулись на слѣпое непониманіе и темное сознаніе некультурныхъ, дезорганизованныхъ массъ. Тогда Икосоль, вынужденный обратить вниманіе на этотъ случай, послалъ двухъ агитаторовъ, товарищъ Кузьмина и Пено, въ дивизію. Но толпа солдатъ, заставившая уйти своихъ офицеровъ, не стала слушать и агитаторовъ, ихъ забрасывали грязью и камнями, и они подъ крики: „Долой Икосоль! Долой войну!“ принуждены были вернуться... Тогда, когда средства словеснаго уговора уже не могли дѣйствовать на умы, пришлось прибегнуть къ силѣ... До сихъ поръ въ дивизіи приказъ исполнили только три полка, четвертый упорствовалъ въ своемъ заблужденіи и наотрѣзъ отказался выступить...

Кургановъ на минуту умолкъ. Тогда раздался тихій голосъ Растигина:

— Разрѣшите мнѣ... разрѣшите мнѣ добавить, господинъ... — говорилъ онъ, сбившись на послѣдніе слова, такъ какъ на него устремилось общее вниманіе, — господинъ...

„Ну, пропалъ старикъ! — мелькнуло у Сѣдлецкаго. — Сейчасъ брякнеть: господинъ соціалистъ или что-нибудь почище. — Да и боленъ, кажется, къ тому же...“

Дѣйствительно, Растигинъ какъ-то ослабъ, сгорбился и, скимая ручку кресла, тѣмъ же голосомъ, какимъ началъ, докончилъ:

— Господинъ комиссарь, разрѣшите мнѣ два слова.

— Пожалуйста, — обратился въ его сторону Кургановъ. — Вы по мотивамъ отказа полка выступить? Пожалуйста...

— Я былъ у нихъ, — продолжалъ Растигинъ, — я былъ и говорилъ съ ними, и они, — голосъ его сдѣлался еще тише, — и они согласны... Они пошли на позиціи... Я самъ, я самъ видѣлъ, вотъ, господинъ комиссарь!

— Да, да, — послѣдилъ возобновить свою рѣчь Кургановъ, — вы совершенно правы... И я позволю себѣ продолжать дальше. Итакъ, когда мѣры увѣщанія и кротости, такъ сказать, были исчерпаны, Икосоль послалъ въ полкъ ультиматумъ: или немедленно исполнить приказаніе или вынести на себѣ всю тяжесть его неисполненія. Полкъ пошумѣлъ, погадѣлъ, и рѣшилъ подчиниться. Намъ сообщили, что полкъ, какъ только-что сказалъ господинъ генераль, выступилъ на позиціи. Выступило всего три батальона, четвертый долженъ былъ остаться въ резервѣ. Путь полка до позиціи ознаменованъ цѣльымъ рядомъ происшествій, о которыхъ у насъ скопилась солидная литература, — онѣ насыщенно указывали на портфель, — проходя черезъ городъ, они били стекла, стрѣляли въ воздухъ, пугали угрозами мирныхъ жителей, крали сѣбѣстные припасы, отнимали разныя вещи, ограбили нѣсколько торговокъ

яблоками, папиросами и табакомъ, выйдя за городъ, они проходили по направлению къ позиціямъ, какъ банда, не повинуясь приказаніямъ и просыбамъ, и всѣ усидя комиссара и членовъ полкового комитета не привели ни къ чему; къ утру слѣдующаго дня погромные успѣхи продолжались. Сожжены два дома, похищены свиньи, утки, гуси, куры, медь, ограбленъ какой-то ювелирный магазинъ, и около 3—фа найдены три трупа, исколотые штыками и избитые прикладами; эти три человѣка убиты, должно-быть, въ дракѣ, за которой послѣдовали убийство и грабежъ. Ознакомившись со всѣми подвигами, Искосоль послалъ экстренно донять полкъ т. Кузмина и меня, но мы только могли своими глазами прослѣдить путь славнаго похода, а самыи полкъ, какъ намъ сообщили позже, вечеромъ того же дня благополучно занялъ назначенный участокъ позицій въ секторѣ С., распредѣливъ два батальона въ окопахъ, а третій съ обозомъ оставилъ во второй линіи окоповъ. Но здѣсь выяснились новыя подробности. Мы не успѣли вздохнуть свободно, какъ исторія вступила въ новый фазисъ. Еще лежали передъ нами факты возмутительного поведенія полка, какъ налицо оказались факты еще болѣе вопиющіе. Но теперь уже вся честь скандала принадлежала третьему батальону, стоявшему въ резервѣ. Третьяго-дня вечеромъ стало извѣстно, что этотъ третій батальонъ арестовалъ обозныхъ, захвативъ провіантъ и кухни, и отказался дать хлѣба и пропустить кухни въ передовую линію. Солдатамъ, занимавшимъ окопы, пришлось ити просить хлѣба въ сосѣднюю дивизію, которая дала въ долгъ нѣкоторое количество хлѣба, но люди остались безъ обѣда и безъ ужина... Третій батальонъ заявилъ, что онъ силой не дастъ ни куска хлѣба, ни ложки щей, ни щепотки чаю своимъ товарищамъ. «Мы не хотимъ воевать,—пускай на насъ уведутъ отсюда...» Кромѣ того, всѣ запасные патроны и пулеметы и ленты къ нимъ въ его рукахъ, и онъ угрожаетъ вооруженнымъ сопротивлениемъ всякому, кто попытается прійти разговаривать съ нимъ. Въ такомъ положеніи это дѣло находится сейчасъ, но дальше находиться не можетъ. Мы должны принять всѣ мѣры, пусть даже жестокія, но устранить это возмутительное явленіе, пока оно не грозитъ настоящимъ бѣствіемъ. Я пока очищилъ и прошу высказываться...

— Дѣло ясно, — густо и громко произнесъ Фугастовъ, — тутъ и задерживать обсужденіемъ нечего!

— Я со своей стороны могу только добавить, — заговорилъ торопливо и не совсѣмъ ясно поручикъ Камба, — я только-что пріѣхалъ въ дивизію и не могъ еще разобраться въ настроеніи, а главное въ причинахъ, вызвавшихъ это безобразіе. Но я говорилъ съ ними, какъ и господинъ генералъ, съ ихъ депутатами, которые частью очень толковые, но въ массѣ это очень не продуктивные работники, и они не могли ничего подѣлать. Дѣло ясно, какъ замѣтилъ сейчасъ господинъ полковникъ, и, къ сожалѣнію, приходится принять неотвратимое, хотя и жестокое рѣшеніе...

— Именно жестокое, — подхватилъ, раздувая щеки, Исааковъ, — нужно пресѣчь, это — дезорганизація, и я совсѣмъ не хочу, чтобы и мои славные кавалеристы были захвачены этимъ пораженческимъ духомъ. Это измѣна, я считаю это измѣной, и это должно караться, какъ измѣна...

— Позвольте слова, — сказалъ, вставая съ твердой и надменной физиономіей Зейманъ, обращаясь къ собранию. — Являясь представителемъ кавалерійской дивизіи, я могу заявить, что дивизія до послѣдняго драгуна стоитъ и стояла на стражѣ интересовъ родины и революціи...

И онъ сѣлъ, забронированный собственнымъ величиемъ, и его сѣрые глаза сдѣлались еще сѣрѣе...

— Браво, — сказалъ вразумительно Исааковъ, — я очень радъ, — и, официально обернувшись, онъ покачалъ руку Зейману, — очень радъ и прошу: благодарите драгуна отъ моего имени, а я потому... приказомъ...

— Извиняюсь, — продолжалъ съ быстрой Кургановъ, — теперь, когда ясны всѣ предшествующія события, намъ нужно въ экстренномъ порядке принять мѣры. Я скажу, что Искосоль уже имѣть рѣшеніе. Искосоль предлагаетъ сейчасъ же издать приказъ о расформировании третьаго батальона, а не всего полка. Это будетъ хорошоимъ устрашеніемъ, но, чтобы мы не опоздали, надо действовать быстро. мнѣ кажется, что голосовъ противъ не будетъ...

— Расформировать, — Фугастовъ ударилъ рукой по столу, — разъ, два и готово, нечего церемониться... мы, артиллеристы, всегда беремъ вѣрный прицѣль съ трехъ разъ...

— Больше ничего не остается, — пробормоталъ по своей привычкѣ говорить неясно Камба, — я согласенъ... больше нечего ждать: расформировать...

— Первый случай въ арміи, — рявкнулъ Исааковъ, — гм... не- приятно... тяжело, но отѣчь гнилой членъ необходимо. Армія должна быть здорова, какъ лошади первого эскадрона... э-э, не права ли? — обратился онъ къ Зейману.

— Драгуны всегда къ услугамъ господина генерала, и потому у насъ не было ничего подобнаго...

— Одну минуту, — проговорилъ своимъ сладкимъ голосомъ Заинецкий (онъ пѣлъ очень и очень хорошо романсы и Марсельезу специально разучилъ на случай), — я ужъ приготовилъ приказъ о расформировании, но тамъ пустое мѣсто, потому что намъ остается найти части для этой экспедиціи...

Онъ пріостановился, сладко вздохнулъ и смолкъ, игра золотымъ карандашомъ отъ записной книжки.

Кургановъ снялъ очки и прищуренными глазами обводилъ всѣхъ присутствующихъ, какъ быща отвѣта на этотъ вопросъ



На Украинѣ.

Н. Пимоненко.

— Я дамъ батарею, — отвѣтилъ Фугастовъ, — для такого дѣла дамъ. Грязное, правда, да нужное... Ничего не пропишешь!

— Я съ удовольствіемъ, съ удовольствіемъ! — басилъ, сѣрѣя отъ какой-то затаенной радости Исааковъ, — но мнѣ хотѣлось бы знать мнѣніе, ваше мнѣніе... Да, — снова повернулся онъ къ Зейману, — какъ вы думаете: надѣюсь?

Зейманъ всталъ снова. Онъ не могъ говорить сидя. Ему всегда нужна была поза. На этотъ разъ онъ проговорилъ, напирая на каждый слогъ:

— Какъ предсѣдатель полкового комитета драгунскаго полка, я счастливъ сказать, что полкъ выступитъ куда угодно, когда служба революціи потребуетъ отъ него засвидѣтельствовать вѣрность проповѣденіемъ принципамъ! Драгуны приложатъ всѣ усилия къ тому, чтобы показать, что они достойны возлагаемой на нихъ задачи...

Онъ кончилъ, опустился на мѣсто, положивъ руку на колѣни, какъ автомагъ, выбросившій очередную открытку или плитку шоколада.

«Онъ мнѣ положительно нравится, — подумалъ Сѣдлецкій, — это въ старомъ духѣ. И неужели онъ — революціонеръ? Но какъ онъ говорилъ! Машин! Рубить, а не говорить...»

— Хорошо, — снова запѣлъ Заіоницкій, — значить батарея и полкъ драгунъ... теперь добавимъ... вы разрѣшите, господинъ генераль?

— Да, да, конечно! — торопясь, уронилъ Сѣдлецкій, — я думаю: добавьте три броневыхъ автомобиля и... кого же еще? — пѣхоты не стѣнть... Она устанетъ, да и не къ чему, — хотя, нѣтъ, пишите, все-таки пригодится: роту, больше не надо, часть потомъ обозначимъ, только сегодня же нужно разослать приказъ...

— Знаю, я уже собственно готовъ, — Заіоницкій, стоя, заносилъ въ свою книжку записи, — все въ порядкѣ: артиллерія, кавалерія, пѣхота... всѣхъ родовъ оружія.

— Пишите: аэропланы, — забурлилъ Фугастовъ, — пусть полетаютъ... имъ это полезно. Всѣ, что ли? Отпустите душу на покаяніе. А приказъ пришлите... Да и заранѣе все приготовлю...

— Э... нѣтъ, виновать, виновать, — громко крикнулъ Заіоницкій, — нельзя уходить — я и забылъ: тамъ такая мѣстность, позиція подъ угломъ, подъ нѣмѣнскимъ обетрѣбомъ, нужно разобрать диспозиціи подробно... Прощу оставаться.

— Да, ужъ до конца, чтобы безъ лишнихъ туманиостей, — сказалъ Сѣдлецкій. — А, что ты хочешь, дорогой? — обратился онъ къ вставшему ему навстрѣчу Растворину. Въ первую минуту онъ испугался за него. Растворинъ былъ блѣденъ, поть струпился по его лицу, глаза лихорадочно блестѣли.

— Иванъ Николаевичъ, я пойду... извини... Вы тутъ разбираетесь одни, я а поснажу тамъ. Я пойду, что-то, что-то, знаешь — голова того, — и онъ хотѣлъ улыбнуться, но жалко сгрызасничалъ.

— Конечно, конечно, — не зная, почему, сказалъ Сѣдлецкій, — я сейчасъ распоряжуся. Тутъ такъ, душно въ самомъ дѣлѣ. Лучше выйти. Тамъ въ столовой отдыхніе, дружинце, и потому — мы тутъ обойдемся. Ты прилягъ даже... а то лучше... сейчасъ, — онъ оправилъ дверь въ столовую, пропустилъ впередъ Растворина и закричалъ: — Ивановичъ! Ивановичъ! Дай-ка генералу чаю съ коньякомъ, знаешь, тамъ въ буфетѣ, на второй полкѣ. Только начать... Славный коньякъ, — добавилъ онъ, — у тебя лихорадка, какъ разъ согрѣвшись.

И, оставивъ Растворина въ столовой, онъ вернулся въ кабинетъ, где голосъ Фугасова гремѣлъ, какъ пѣльный взводъ трубачей въ день эскадронного праздника.

— Знаю, знаю это чортово логово, ловушка, сдохнешь тамъ за три копѣки. Бѣть безъ прицѣла съ трехъ сторонъ; гладко, какъ собачья шкура. Чуть єдребезги меня не разнесло. Ну, ладно, валайте...

И голосъ Заіоницкаго нѣль ласково и внушительно.

— Все, все мы примемъ во вниманіе... и прошу васъ сюда, взгляните вотъ: отсюда до...

И его блѣлые пальцы ловко бѣгали по картѣ, испещренной синими и красными помѣтками.

А Сѣдлецкій, склоняясь черезъ плечо Курганова, говорилъ, своимъ авторитетнымъ генеральскимъ тономъ:

— Нужно простить старика... потрясеніе. Волновался... а тутъ еще такое, да въ его дивизіи. Это больно, это его и сломило. Вѣдь онъ, знаете, туда єздилъ... онъ тамъ передъ ними на колѣнѣахъ стоялъ, Христомъ Богомъ просилъ, заклинай... И пошли они туда, на позиціи, потому... Тяжело ему — да, да, конечно, — спохватывался онъ, — и всѣмъ сейчасъ нелегко!..

— Да, — говорилъ черезъ минуту Сѣдлецкій, — вы все-таки сегодня же, сейчасъ же оповѣстите всѣхъ, Заіоницкій... Телефонограмму, и подробнѣю... и, пожалуйста: секретно! И знаю: вы постараитесь!

V.

Растворинъ выпилъ залпомъ полстакана коньяку и тутъ уже явственно почувствовалъ, что онъ боленъ. Онъ сѣлъ у стола, оперся на руку и оперся такъ безпомощно, точно все его тѣло сразу лишилось всякой силы, кровь ушла изъ него, и живой осталась только рука, маленькая, сухая рука, похожая скорѣе на руку какого-нибудь схимника, чѣмъ на руку генерала. И Растворинъ она показалась такой. А тяжесть, та тяжесть, которая давила его каждую ночь, увеличилась, и голова болѣла странно: то въ ней пробѣгалъ жгучій, острый пламень, кровь горячей

струей била въ уши и въ глаза, то ледяные пальцы схватывали мозгъ, на лбу выступать потъ, и по спинѣ сбѣгала внизъ ходная, ледяная змѣйка, и комната начинала качаться, какъ палуба парохода...

И хотя за стѣной говорили, и говорили громко, ему казалось, что онъ сидитъ одинъ въ громадной, брошенной квартирѣ, изъ которой всѣ ушли, и съ которой что-то должно случиться, и съ нимъ — тоже... Потолокъ обвалится на него, стѣны ли подойдутъ и сокрутъ, или пожаръ сокрѣтъ и его и это зданіе, — но что-то должно случиться... «Поскорѣе, поскорѣе», — просилъ онъ невѣдомое, и никто не отвѣчалъ ему, и только муха, обыкновенная муха, безшумно, не смѣя жужжать, носилась по комнатѣ. Пустая комната дышала какимъ-то короткимъ и страшнымъ дыханіемъ. И онъ вслушался въ это дыханіе и понялъ, что это дышитъ не комната, а часы, большие настольные часы, на которые оперся бронзовыи рыцарь, уставившись въ походѣ. Онъ положилъ щитъ къ ногамъ, снялъ шлемъ и смотрѣтъ на генерала и говоритъ: «такъ тебѣ, такъ тебѣ!..» И вдругъ рыцарь поднялся на ящикахъ, прошелся по циферблату и что-то сѣдѣлъ со стрѣлками, и стрѣлки побѣжали быстро-быстро, и большая нагоняла маленькую и не могла нагнать, и было похоже, точно большая змѣя гонялась за ящерицей, и хвосты ихъ защемили рыцарь концомъ своего цита, и смѣется, и подмигиваетъ маятнику, который выстукиваетъ: «такъ тебѣ, такъ тебѣ!..» и никогда стрѣлки не дотронутъ одна другую, и никогда маятникъ не остановится выстукивать свое: «такъ тебѣ!..» И хочетъ встать генераль и прятануть руку къ часамъ и остановить ихъ, сорвать эти досадныи бѣгунія стрѣлки, сломать нелѣпаго рыцаря... и просыпается...

Снова сонъ... Ахъ, какъ тяжело. Рука его, которая поддерживала голову, лежитъ на колѣнѣахъ, шея затекла, голова опустилась на холодную клеенку, которую покрыть столь. Онъ поднимается, смотрѣтъ на окно, и снова ему кажется, что кто-то большой и темный подбѣгає къ окну, приложится большими, плоскими, сверкающими лицомъ къ стеклу, засмѣется чему-то, и снова отпрыгнетъ въ туму, и снова появится, и снова исчезнетъ. И всякий разъ у него разныи лица: то это смѣется его жена, и онъ узнаетъ ея голубые глаза, мягкий овалъ подбородка и даже знакомую прядь волосъ на лѣвомъ висѣ, то это его сынъ, смѣющийся, радостныи, но какой-то неподвижныи — такимъ онъ ложась въ гробу, — то это Фугастовъ, ѓдкій, съ желтымъ шрамомъ на лбу, со сломанной папирою въ дырявыхъ зубахъ, хохочущій хрюпко, будто не хохочеть, а откашливается... И снова все... Пустая, холодная, непривѣтливая комната... Да где же люди? За что его оставили здѣсь? Почему онъ ушелъ оттуда? Ему что-то надо сѣдѣть, — а онъ забылъ, что! Онъ выпиваетъ еще полстакана горячаго чаю съ коньякомъ, понемногу чувствуя себя лучше... Голоса за стѣной движутся къ двери, потомъ дверь раскрывается, входитъ первымъ Сѣдлецкій и говоритъ уже обыкновеннымъ, чуть усталымъ, голосомъ:

— А теперь поѣлъ трудовъ нравственныхъ... по стаканчику чаю, на дорогу... идиши, — и онъ жестомъ доложилъ приглашеніе.

— Ну, какъ, другъ? Коньякъ-то ничего? А я думалъ, надули. Ужъ очень задешево купилъ, по случаю. А здоровье-то у тебѣ неважное... Я же говорилъ...

И Растворинъ слушаетъ его, и чай-то голосъ, непріятный и тихъ, точно во снѣ, говоритъ ему на ухо: «поскорѣе, поскорѣе! — и отъ этого становится холодно, и комната, какъ палуба парохода, начинаетъ колыхаться...

VI.

Фугастовъ сразу же отказался отъ чая и ушелъ. За нимъ послѣдовалъ Исааковъ, торопившійся съ послѣднимъ поѣздомъ вернуться въ Б., гдѣ квартировалъ. Зейманъ, получивъ вужину свѣдѣнія, тоже послѣшилъ откланяться: Заіоницкій остался сидѣть въ кабинетѣ, сѣрѣя еще разъ, замѣтки и приводя въ порядокъ разбросанные карты.

By столовой нѣсколько минутъ всѣ пили чай молча. Кургановъ выпилъ второй стаканъ, повернулся на стулѣ и уже готовъ былъ прервать молчаніе, какъ вдругъ Растворинъ, долго и не мигая смотрѣвшій на него свинцовыми, мутными глазами, кивнулъ какъ-то не то утвердительно, не то просто смѣшилъ головой въ его сторону и спросилъ твердымъ голосомъ, какимъ говорять всѣ болѣные, которыхъ одолѣваетъ лихорадка; голосъ твердъ, а въ немъ чувствуется, треплется изломъ, болѣзнииний и тяжелый:

— Ну, а какъ же тамъ ваше «коллекціонное» министерство?

При этихъ словахъ Камба бросилъ разматривать себя въ са-моварѣ, подавился слюной и взглянулъ на генерала... Сѣдлецкій переглянулся съ Кургановымъ, и послѣдній понялъ это взглядъ. Поэтому, пропустивъ мимо ушей явно странное выраженіе «коллекціонное», онъ принялъ вызовъ, поправилъ очки и началъ быстрымъ темпомъ свою импровизацію:

— Господинъ генераль! И съ удовольствіемъ смогу удовлетворить ваше любопытство. Достоинъ свободы тотъ, кто умѣетъ ее отстоять! Мы до сей поры были достойны ея. Правда, висѣлицы, тюрьмы и сибирская тундра — не важный фонъ для нашихъ прошлыхъ триумфовъ, но все же это были триумфы. Соціализмъ, какъ ученикъ, въ жизненности которого сомнѣваться не приходится, по крайней мѣрѣ, въ настоящій моментъ, долженъ охраняться и распространяться не отъ верховъ къ низамъ, а отъ низовъ къ верхамъ, потому что, при выборности всѣхъ служи-

телеи власти, низы будуть ставить и поддерживать своихъ людей. Такой властью является настояще коалиционное правительство... Правда, народъ нашъ, нужно сознаться, недостаточно подготовленъ не только къ воспріятію высшихъ истина свободы, но даже и самыхъ простыхъ формъ культуры. Это понятно: забыты, загнаны, темны, какъ земля, по которой ходить, косматы, какъ лѣса, где гроба себѣ рубить, и не умыны во многомъ; это необходимо сказать прямо: во многомъ не умыны. Сдержанности нѣть, и сознаніе отсутствуетъ, чуть что — и пугачевщина! Пропасть тамъ глубокая, пропасть здесь еще глубже, а посрединѣ узкая тропочка: этой тропочкой провести Госсю — задача этого, какъ мы сказали, "коллекціоннаго" правительства и есть. И мы правильно сказали, по-народному, и народъ такъ назоветъ "коллекціоннаго", потому что мы действительно коллекцію теперь собираемъ, коллекцію честныхъ и умныхъ людей. А честный человѣкъ въ Россїи — итука рѣдкая! Что же касается разности этой переломной, такъ только такъ и можно матушку-Русь на путь истиннаго вывести. А если раскачивать ее — такъ еще тысячу лѣтъ жди — не дождешься, потому что за это время столько еще угодниковъ откроются, да кабаковъ поставятъ, да перевѣшуютъ и въ Нарымскихъ нескахъ сгноятъ. А что разность, такъ и Петръ понялъ, что только уздой жѣзнѣй да на дыбахъ — и можно что-нибудь сдѣлать. Вотъ вѣдь жить когда-то Египетъ, славная страна, ужъ такъ мудрая, что не даромъ эта мудрость "ъльмою египетской" называется, такая прекрасная, что тамъ даже двѣ вѣры было: одна для народа, а другая — для правителей его: потому что, видите ли, кто погибнетъ — тому и вѣра погибнѣе, а кто умретъ — тотъ съ дураками якшаться не будетъ. И многимъ жилось тамъ хорошо, сладко и пріятно: положимъ, они еще больше, чѣмъ о земномъ, о загробномъ заботились, а народъ, чтобы изъ новиновенія не выходилъ, съ голоду сдыхалъ да камни таскалъ, въ потѣ лица трудился, — здоровенійши такія глыбы, десятками лѣтъ, чтобы царами гробницы покрасивѣе да получше поставить, чтобы всѣ будущіе народы смотрѣли и дивились: вотъ, моль, это — посланіе, вотъ, моль, это любовь къ царю, вотъ это смиреніе: поискать такого. И нѣть теперь ни этого народа, ни костей его, ни духу его, а пирамиды стоять и удивление, удивление вызываютъ, а у иныхъ чувствительныхъ людей — такъ и умилительныя слезы. Такъ и у насъ этакій русскій Египетъ жилъ, и не будь революціи, долго еще поживалъ бы да пирамиды строились — только русскія, не изъ камней да гранита сіенскаго, съ иероглифами, а изъ тѣлъ своихъ опозоренныхъ, загубленныхъ безсмыслино, а скрѣплять не цементомъ, а стонами, слезами да собственной кровью. И потому этотъ народъ-богоносецъ Бога-то носилъ, вѣро, на спинѣ своей, а на его Богъ сидѣли еще любители, и оттого Богъ сталъ такимъ тяжелымъ и немилостивымъ, и потому два пути и были у этого великаго народа: или хамство, бунтарское, огненное, великое, низкое, лакейское, слезливое, собачье хамство, или юродство, тихое, темненькое, смиренное, пророческое, ханжеское юродство. Вотъ таковы и вѣдь его лучшіе представители... Что подѣлать: мы живемъ не утончеными, а тѣмъ, что есть... Да, мы — юроды и хамы были и будемъ, если не захотимъ быть людьми... Вотъ это-то задача и есть наша, порядокъ, такъ сказать, перваго и послѣдняго засѣданія о землѣ русской, о народѣ-богоносцѣ, о послѣдователяхъ его, иванушкахъ-дуракахъ... Вотъ и все, господинъ генералъ!

Онъ замечталъ, увлекшись, заалѣвшись, первно скимая блудечко гибкими, молодыми пальцами.

— Гм... — сказалъ Сѣдлецкій. — я почти съ вами согласенъ. Правда, во многомъ не то, но основное — да, это почти вѣро...

Онъ сказалъ это просто потому, чтобы загладить иѣсколько сильное впечатлѣніе, произведенное рѣчью Курганова.

Растягинъ, слушавший очень внимательно, даже похолодѣвши, даже поздоровѣвши сразу отъ нахлынувшихъ мыслей, отодвинувъ пустой стаканъ, какъ будто онъ загораживалъ отъ него говорившаго, и выпалилъ:

— Хорошо, молодой человѣкъ, отлично! Только, только, скажите мѣ, какъ же это вы съ такими дураками да на такое дѣло поднялись... Вѣдь горбатого одна могила исправить... Вѣдь определенные дураки-то, такъ какъ же? Могила имъ, значитъ? Не понимаю... Не ясно... Погрунтуйте объяснять...

VII.

Курганевъ произнѣлъ генерала длиннымъ, упорнымъ взглядомъ, хрустнулъ пальцами и продолжалъ, какъ будто не сказать нечего этимъ все, а объявилъ перерывъ на пять минутъ:

Изъ прошлаго европейской международной политики.

II. Начало "политического равновѣсія".

Господство права во внутренней жизни государства ноконцѣ не на одномъ только признаніи гражданами обязательности его величій. Могущественнымъ его оплотомъ является государственная власть. Принимая на себя разрешеніе въ судебнѣмъ порядке всѣхъ спорныхъ правовыхъ вопросовъ и, въ случаѣ нужды, принудительное осуществление права, государство становится верховнымъ стражемъ правового порядка. Въ первобытныхъ обществахъ дѣло обстояло иначе. Тамъ, за отсутствіемъ суда, каждый

— Объясняться? Извольте, господинъ генераль, объяснюсь... Вотъ, напримѣръ, англичане... Многому у нихъ намъ поучиться слѣдуетъ, а былъ у нихъ единъ великий человѣкъ, Карлъ, вѣроятно, слыхали: такъ онъ сказалъ: "въ Англіи двадцать восемь миллионовъ жителей, но большей части дураковъ". А между тѣмъ, многіе и многіе съ этимъ не согласны, да хотя бы и первый... Это я къ тому, что всѣ мнѣнія вообще субъективны, что же касается моихъ высказанныхъ, то я отъ словъ не отказываюсь: были русскіе Иванами-дураками, а нужно имъ стать Иванами-умниками. Нужно перевоспитать сознаніе, нужно пройти эту узкую троицу между безднами, между православіемъ и язычествомъ, и попаденіе въ царство разума... Вотъ куда! Я не собирался бросать, на томъ, что дураки — дураками останутся, нѣть, нужно обучать, нужно свѣту пустить, нужно бросить лучину да за электричество взяться. Вотъ хотя бы война... Изъ-подъ палки дрались, изъ-подъ пулевета, или другимъ обманомъ, что тамъ говорить, вамъ это извѣстно такъ же хорошо, ишь и мѣ... А мы добьемся, что за идею будуть драиться, за иницію — съ чистой душой, и не ночью, а днемъ. Труднѣе этоТЬ ишть, но другого нѣть. Противорѣчій много, и не можетъ ихъ не быть, потому что слишкомъ долго стукались лбами да спотыкались о собственныя ноги... Сейчасъ они звѣрями ишутъ, а нойдутъ людьми — на чистоту, а если среди нихъ окажутся такие, какъ вотъ тѣ, о которыхъ мы сегодня говорили, то это только къ лучшему: худую траву изъ поля воинъ. Вотъ если всѣ они не смогутъ, ну, скажемъ, въ силу своей исторической привычки, что ли, на чистоту ити, — и всѣ будутъ такими, какъ тѣ, — тогда конецъ... Мертвая точка! Штиль, и итиль на 1000 лѣтъ, до нового пожара, а можетъ-быть, его и не будетъ: что разъ горѣло, то во второй разъ поджечь трудно... а отъ этого сегодняшняго и угольковъ не уцѣлѣтъ. Сами затопчутъ, чтобы не обжечься... Вотъ что я могу вамъ раззяснить, господинъ генералъ. А за дураковъ и убѣренъ. Они на попятный не пойдутъ, потому что сообразятъ, что такое умъ и свобода... Неужели царей защищали, а себѣ защищать откажутся? Нѣть, кажется, этого не будетъ. А теперь... Вы что-то хотите сказать?

— И? Нѣть, ничего, — сказалъ Сѣдлецкій. — Пожалуйста.

— Простите, — волнуясь, заговорилъ Растягинъ, прежнее болѣзньшнное ощущеніе снова завладѣвало имъ, — по-стариковски... я ужъ таѣ, попросту...

— Да? — остановился вопросительно Кургановъ, глядя на Камбу, не спускавшаго съ него глазъ.

— Сколько вамъ лѣтъ? — спросилъ Растягинъ, немилосердно краснѣя.

— Двадцать три! — быстро отвѣтилъ громко и отчетливо Кургановъ, точно отвѣчалъ по перепискѣ. — двадцать три съ хвостикомъ. Хвостику три мѣсяца... Но я долженъ проститься, искъ сожалѣнію. Я еще бы поговорилъ съ вами, господинъ генераль, вы, я вижу, подробно интересуетесь вопросомъ, но — онъ взглянула на часы, — я обязался сегодня еще успѣть забѣжать во францію. Мы, знаете, цѣлый партійный отѣль разработали. На городскихъ выборахъ бороться будемъ. Имѣю честь откланяться...

„Уфф... — вздохнулъ про себя Сѣдлецкій, когда онъ ушелъ, — наконецъ-то сдалъ этого бегемота... Двадцать три года! Въ Наполеоны мѣтить. Ну, что жъ, а мы будемъ, какъ у нихъ тамъ, Лафайетами, что ли...“

Камба тоже поднялся уходить. Онъ попрощался съ Растягиномъ, сказавъ, что завтра побѣдетъ съ нимъ вмѣстѣ на позиціи, въ автомобилѣ. Когда онъ шелъ въ эту ночь по темнымъ улицамъ, онъ закуривалъ папиросу за папиросой, заглядывая подъ шляпы интересныхъ блондинокъ (блондинками кинѣть городъ) и говорилъ самъ съ собой: „сегодня ты слышалъ хороший урокъ, Камба, урокъ, какъ нужно обращаться съ человѣкомъ, который хочетъ горячаго объясненія. А такъ какъ ты, Камба, учинашь не зря и всему, то это тебѣ пригодится!“

И онъ не шелъ, а лѣтѣлъ по пустынѣ переулкамъ, паркомъ, переполненнѣмъ гуляющими нарами, съ быстрой фокусника выкуривали папиросы и чувствовали себя такъ, точно до отказа наѣлъся такою вкуснаго, такого сладкаго блюда, отъ которого онъ не будетъ снать сегодня...

Счастливый Камба! Черезъ шесть мѣсяцевъ послѣ этой ночи онъ былъ разстрѣленъ въ своемъ родномъ Воронцовскомъ переулкѣ, въ прекрасномъ городѣ Одессѣ, какъ контр-революціонеръ! Миръ ираху твоему, бѣдный Камба!..

(Окончаніе слѣдуетъ).

самъ своими средствами отстаивалъ или возстановлялъ свое право, и право было правомъ сильного. Съ правовой точки зрѣнія, прогрессъ и заключается въ томъ, что съ развитіемъ государства все надеждѣе обеспечивается право всѣхъ и каждого, и внутренняя жизнь человѣческихъ обществъ постепенно упорядочивается и замиряется.

Международное общеніе до сихъ поръ не знаетъ стоящей надъ отдѣльными государствами власти, которая обеспечивала бы господство международнаго права. Въ нормальныхъ условіяхъ международное право исполняется просто потому, что люди, на-

правляющиє діяльність государства, признають его величіїю обов'язковими і підчищаються имъ. Но въ случаѣ возникновенія спора о правѣ между государствами, ить такого учрежденія, которое могло бы принять этотъ споръ къ своему разсмотрѣнію, и такой власти, которая могла бы принудительно осуществить вынесенное рѣшеніе. Правда, въ новѣйшее время между различными государствами часто заключаются соглашенія о передачѣ тѣхъ или іншихъ спорныхъ дѣлъ на рѣшеніе третейского суда. Но обов'язковость самыxъ этихъ соглашеній ничтожна не обеспечена, да и приведеніе въ исполненіе третейского рѣшенія всецѣло зависитъ, въ конечномъ счетѣ, отъ доброй воли государствъ. Человѣчество издавна стремится къ „организації“ международного общенія, идеаломъ которого было бы создание обов'язкового суда и принудительной власти. Но идеаль этотъ все еще дѣло далекаго будущаго, а пока общество государствъ остается обществомъ неорганизованнымъ и „анархическимъ“, въ которомъ сохраняется въ неприкосновенности право насилия и войны.

Естественно однако, что, за отсутствиемъ твердой организованной защиты международного права, человѣческая мысль неустанно ищетъ какого-либо руководящаго начала въ международныхъ отношеніяхъ, которое до извѣстной степени возмѣщало бы этотъ недостатокъ существующаго строя. Со временемъ Вестфальскаго мира въ качествѣ такого начала было выдвинуто начало „политического равновѣсія“. Идея „политического равновѣсія“ по существу очень проста и понятна. Всякому ясно, что величайшая опасность для международного права заключается въ непомѣрномъ усиленіи одного какого-либо государства за счетъ другихъ. Если бы всѣ входящія въ составъ международного общенія государства были приблизительно одинаковой величины и силы, они, взаимно другъ друга „уравновѣшивая“, уважали бы обоюдныя права и избѣгали бы нарушать миръ. На противъ, наличность среди нихъ одного государства подавляющей силы угрожала бы разрушить самое основаніе международного общенія и вернуть человѣчество къ порядкамъ „мировыхъ имперій“ древности. Идея „политического равновѣсія“ и сводится къ тому, что всякому государству приписывается право или даже обязанность, на свой страхъ и рискъ, или въ союзѣ съ другими государствами сопротивляться всѣми способами вплоть до войны непомѣрному расширенію какого-нибудь одного государства.

Установленное Вестфальскимъ миромъ „равновѣсіе“ очень скоро нарушилось. Германія была совершенно истощена бѣдствіями тридцатилѣтней войны и не могла сопротивляться возраставшему могуществу Франції. Франція искусно использовала это положеніе вещей и, особенно въ царствование Людовика XIV, путемъ цѣлаго ряда кровопролитныхъ и побѣдоносныхъ войнъ закрѣпила свое преобладаніе въ Европѣ. Въ 1667—1668 гг. Людовикъ воевалъ съ Испаніей за „белгійское наслѣдство“. Съ 1672 по 1678 годъ тянулась война между Людовикомъ, действовавшимъ въ союзѣ съ Англіей и Швеціей, и Голландіей, которую поддерживали Германія, Дания, Испанія и Бранденбургъ. Обѣ эти войны окончились успѣшно для Франції, благодаря побѣдамъ французскихъ полководцевъ и ловкости французской дипломатіи, умѣвшій съять смуту и вражду въ рядахъ противниковъ. Съ 1689 г. Франція опять въ войнѣ съ Германіей, на сторонѣ которой образовалась могущественная коалиція изъ Англії, Голландії, Бранденбурга, Швеції, Дании, Испаніи и Саксоніи. Душою этой коалиціи былъ король англійскій Вильгельмъ. Еще въ бытность свою правителемъ Голландіи Вильгельмъ Оранскій правильно оцѣнилъ угрозу европейскому порядку, таиншуюсь въ

гегемонії Франції, и поставилъ себѣ задачей борьбу за восстановленіе нарушенного „равновѣсія“. Опытъ первой коалиціи оказался еще неудачнымъ. Людовикъ и на этотъ разъ разъединилъ своихъ враговъ и заключилъ съ ними въ 1697 году въ Рисвікѣ выгодный миръ, послѣ чего даже Вильгельмъ отошелъ отъ коалиціи и вступилъ съ Франціей въ сепаратное соглашеніе. Но въ 1700 году опять вскинула обще-европейская война за „испанское наслѣдство“. Дѣло въ томъ, что по смерти бездѣтнаго короля Карла II, согласно его завѣщанію, испанскій престолъ долженъ быть перейти къ внуку Людовика XIV, Филиппу Анжуйскому. Людовикъ XIV, стремясь къ соединенію коронъ Испаніи и Франціи, поддержалъ своего внука, но противъ него составилась новая коалиція изъ Германіи, Англіи, Голландіи, Пруссіи, Португаліи и Савойи, и несчастная для Франціи война затянулась на цѣлыхъ 13 лѣтъ. Она закончилась рядомъ мирныхъ договоровъ, последовательно подписанныхъ въ Уtrechtѣ (1713 г.) и въ Раштатѣ и Баденѣ (1714 г.). По Уtrechtскому миру за Филиппомъ Анжуйскимъ была сохранена испанская корона. Но во имя справедливаго равновѣсія силою было установлено, что Испанія и Франція никогда не могутъ быть соединены подъ властью одного монарха. Такъ начало „политического равновѣсія“ получило свое официальное международное признаніе.

Пораженіе въ войнѣ за „испанское наслѣдство“, а затѣмъ и кончина въ 1715 году короля Людовика XIV положили предѣлы расширению Франціи, и нѣкоторое „равновѣсіе“ дѣйствительно вновь установилось въ Европѣ.

Въ наши дни начало „политического равновѣсія“ подвергается суровой критикѣ. Указываютъ, что оно лишило всякой опредѣленности, допускаетъ различныя толкованія и часто служитъ лишь предлогомъ для оправданія наступательныхъ и захватническихъ войнъ. Во всемъ этомъ есть многое справедливаго. Дѣйствительно, начало „политического равновѣсія“ очень растяжимо, и каждое государство можетъ злоупотреблять имъ, вкладывая въ него выгодное для себя содержаніе. Съ расширениемъ рамокъ международного общенія за предѣлы Европы и развитіемъ колоніальной политики такія злоупотребленія стали особенно часты. Во имя „политического равновѣсія“ уничтожаются цѣлые государства, по принципу „компенсації“ захватываются обширныя колоніальные территоріи и устанавливаются „сферы вліянія“. Но въ то же время нужно имѣть въ виду, что до сихъ поръ международное право не замѣнило начало „политического равновѣсія“ никакимъ другимъ болѣе опредѣленнымъ и отчетливымъ руководящимъ принципомъ, и что такое замѣнѣніе предполагаетъ предварительное установление международной организаціи съ обов'язковымъ судомъ и принудительнымъ исполненіемъ судебныхъ рѣшеній. Конечно, когда такой судъ будетъ налицо, когда въ немъ самое слабое государство будетъ находить управу на самое сильное, международное общеніе изъ анархического состоянія перейдетъ въ состояніе организованное, и о „политическомъ равновѣсіи“ просто забудутъ. Но пока оно еще сохраняетъ свою цѣнность въ глазахъ человѣчества.

Въ историческихъ дѣйствіяхъ, совершившихся подъ знаменемъ борьбы за „политическое равновѣсіе“, отъ времени до времени все же находилъ себѣ исходъ естественный и законный бунты народовъ противъ притязаній на мировое господство. Такой бунтъ представлялъ собой въ началь XIX вѣка борьба Европы съ Наполеономъ I. Такимъ бунтомъ является, по существу, и настоящая мировая война, отъ исхода которой зависитъ судьба германской мировой гегемоніи.

Проф. К. Соколовъ.

ЗАЯВЛЕНИЕ.

По условіямъ разсрочки подписанной платы за „Ниву“ сего 1918 г., къ 1 юня слѣдуетъ внести не менѣе 26 руб. Гг. подписчики, уплатившіе менѣе указанной суммы, благоволять поэтому озаботиться немедленно присыпкою слѣдующаго взноса, во избѣженіе остановки въ высылкѣ журнала съ 7-го юля—съ 27-го числа. Гг. иногородные подписчики при высылкѣ денегъ благоволять обозначать на видномъ мѣстѣ копію печатнаго адреса съ бандероли или прилагать самый адресъ и непремѣнно указать, что деньги высылаются въ доплату за получаемый уже журналъ.

При перемѣнѣ адреса слѣдуетъ прилагать 1 рубль и печатный адресъ.

Содержаніе. ТЕКСТЪ: Пѣвецъ тихаго труда. (Жанъ-Франсуа Милле).
О. Г. Евгеньева.—Житейская встреча и воспоминанія. А. Ф. Коцк. (Окончаніе).—Старатели. Повѣсть недавнихъ дней. И. Тихонова. (Продолженіе).—Изъ прошлого европейской международной политики. Проф. К. Соколова. II. Начало „политического равновѣсія“.—Заявление.

РИСУНКИ: Жанъ-Франсуа Милле. Автопортретъ и семь картинъ.—Над Донцомъ. Я. Броварь.—На Украинѣ. Н. Пимоненко.

Къ этому № прилагается „Полнаго собрания сочиненій А. И. Герцена книга 10.

Издатель Т-ва А. Ф. МАРКСЪ.

Редакторъ И. М. Желѣзновъ.

Артистическое заведеніе Т-ва А. Ф. МАРКСЪ, Петроградъ, Измайлівский проспектъ, д. № 29.

Библиотека "Руниверс"

ИСКУССТВО

1918 г.

XLIX г.
издания.

№ 24. Выходит ежемесячно (52 № въ годъ), съ приложениемъ 52 книгъ „Сборника“, содержащихъ сочиненія А. И. ГЕРЦЕНА, М. ГОРЬКАГО, В. Г. КОРОЛЕНКО, П. БЕРАНЖЕ въ Н. И. КАРѢЕВА („Великая Французская Революція“).

Выданъ 15 июня (2 июня) 1918 г. Подписная цѣна съ дост. и перес. на годъ—36 р., на $\frac{1}{2}$ г.—18 р., на $\frac{1}{4}$ г.—9 р. Цѣна этого № (безъ прилож.)—40 к. съ перес. 50 к.

Главная Контора и Редакція: Петроградъ, улица Гоголя, № 22.

Перепечатка иллюстраций и текста воспрещается. (Законъ 20-го марта 1911 г.).

Женщины и женскій вопросъ временъ французской революціи.

Очеркъ проф. Н. И. Карѣева.

(Съ 10 портр. и 3 рис.).

I. Свѣтскіе салоны во Франціи XVIII вѣка.

Въ темѣ настоящаго очерка нужно различать двѣ стороны. Одно является участіе женщинъ въ революціи, уже давно обращавшее на себя вниманіе ея историковъ, другою—вопросъ о томъ, что сдѣлала или, по крайней мѣрѣ, намѣревалась сдѣлать революція для осуществленія равноправія, бывшаго однимъ изъ наиболѣе популярныхъ лозунговъ революціи. Далѣе, говоря объ участіи женщинъ въ революціи, можно имѣть въ виду и массовыя народныя выступленія, въ которыхъ видную роль часто играли женщины низшихъ классовъ общества, и тѣ исключительныя женскія индивидуальности, которые оставили послѣ себя особые слѣды въ исторіи движения. Относительно фактовъ первого рода мы ограничимся здѣсь только напоминаніемъ, что въ

нѣкоторыхъ массовыхъ выступленіяхъ народная толпа заключала въ себѣ особенно много женщинъ, и что это бывало большею частью тогда, когда движеніе вызывалось голодомъ, какъ то было 5—6 октября 1789 года или 20 мая 1795 года („возстаніе 1 преріяля III года“). То были чисто-стихійные вспышки, и для насы довольно безразлично, къ какому полу принадлежали возставшія толпы. Правда, кромѣ того, среди женщинъ были нѣкоторыя какъ бы особенно революціонно настроенные, въ родѣ знаменитыхъ „рыночныхъ дамъ“ или не менѣе знаменитыхъ „трикотѣзъ“, наполнявшихъ собою галлереи разныхъ собраний, принимавшихъ участіе во всякихъ демонстраціяхъ, присутствовавшихъ при казняхъ и т. п., но и это все были простыя статистки революціи. Исключеніе стоять сдѣлать только для тѣхъ массовыхъ выступленій женщинъ, когда они явились на



Г-жа Рекамье.

(Лувръ).

Давидъ.

сцену, какъ защитницы правъ и интересовъ своего пола, когда, другими словами, онѣ для настъ являются участницами спѣциально женскаго движенія.

Когда историки говорять о женщинахъ французской революціи, какъ это мы видимъ еще у историковъ средины XIX вѣка — француза Мишле или нѣмца Шлоссера, они имѣютъ въ виду именно отдельныя личности, въ родѣ г-жи Роланъ или Шарлотты Корда, имена которыхъ попали даже въ учебники исторіи. Въ событіяхъ эпохи прославилось нѣсколько болѣе или менѣе выдающихся женщинъ, но это было возможно лишь благодаря тому, что во Франціи уже давно вообще и въ частности въ XVIII вѣкѣ женщины привыкли играть очень видную роль въ общественной жизни и даже въ политикѣ.

Въ то время, какъ тогдашняя нѣмка была почти исключительно привязана къ своимъ тремъ K (Kinder, Kirche und Kiche, т.-е. дѣти, церкви и кухнѣ), француженка царила въ свѣтскихъ собраніяхъ и участвовала въ культурной жизни своего времени. Началось это съ королевскаго двора еще первой половины XVI вѣка, и исторія знаетъ цѣлый рядъ женщинъ, пользовавшихся фаворомъ монарховъ и оказывавшихъ вліяніе на политику. Въ XVI столѣтіи особымъ женолюбіемъ прославились Францись I и Генрихъ IV. Для послѣдующаго времени слишкомъ извѣстны имена госпожъ Лавальєръ, Монтестанъ и Ментенонъ, фаворитокъ Людовика XIV, и г-жъ Помпадуръ и Дю-Барри, обладавшихъ сердцемъ Людовика XV. Дамы считались въ XVI—XVIII вѣкахъ лучшимъ украшеніемъ королевскаго двора, а королевскій дворъ былъ, особенно при Людовикѣ XIV, средоточіемъ утонченной художественной и умственной культуры.

Тѣмъ, чѣмъ въ XVII вѣкѣ былъ версальский дворъ „короля-солнца“, въ слѣдующемъ столѣтіи сдѣлялись свѣтская гостиныя, „салоны“ аристократическихъ дамъ, жившихъ въ своихъ роскошныхъ особнякахъ, „отеляхъ“. Въ этихъ салонахъ у радушныхъ хозяекъ собиралось избранное общество, въ которомъ появлялись видные писатели, ученые, художники, равно какъ и государственные люди. Здѣсь велись разговоры на философскія, литературные и политическія темы, обсуждались новыя произведения поэтическаго содержанія и театральные пьесы, произносились приговоры надъ событиями политической жизни, и вообще вырабатывалось общественное мнѣніе по разнымъ вопросамъ, занимавшимъ тогдашнюю Францію. Салоны продолжали существовать и послѣ того, какъ началиась революція, сдѣлавшись своего рода маленькими клубами.

Нѣкоторые парижскіе салоны сыграли свою историческую роль. Однимъ изъ первыхъ, еще въ XVII вѣкѣ, былъ салонъ маркизы Рамбулье, въ отелѣ которой собирались такие писатели, какъ Корнель, Сюдери, Малербъ и др. Въ XVIII вѣкѣ мѣстами вѣтрѣ философіи были салоны жены маркиза Бово, герцогини д'Эгильонъ, г-жъ Людесфранъ, Леспинааса и др., часто упоминаемые въ курсахъ исторіи литературы или въ біографіяхъ тогдашнихъ писателей. Въ то же время французскія женщины довольно часто и не безъ успѣха выступали на литературное поприще и вообще отличались образованностью и начитанностью, позволявшими имъ принимать участіе въ серьезныхъ разговорахъ, которые въ другихъ странахъ считались исключительнымъ достояніемъ мужскаго общества. Немудрено поэтому, что дѣятели начавшейся въ 1789 году революціи охотно посѣщали дружескіе кружки такихъ дамъ, какъ жена министра Неккера, жена математика и философа Кондорса, знаменитой г-жи Роланъ, тоже бывшей женою министра, и нѣкоторыхъ другихъ менѣе извѣстныхъ дамъ того времени, въ родѣ г-жи Жанлисъ, Гельвеціусъ, Тальма, Панкуть и т. д. Быть въ тѣ времена довольно хорошо посѣщавшія салонъ и у г-жи Богарнѣ, будущей императрицы Жозефины, при чёмъ и у нея, какъ и въ другихъ салонахъ, много говорили о свободѣ и о равенствѣ. Нѣкоторые изъ этихъ салоновъ существовали еще до начала революціи.

Хозяйки этихъ салоновъ и сами были иногда писательницами, какъ, напр., г-жа Роланъ, дочь г-жи Неккера, извѣстная по фамилии своего мужа, какъ г-жа Сталь, тоже имѣвшая свой салонъ, или г-жа Жанлисъ. Нѣкоторыя изъ названныхъ нами дамъ находились въ дружескихъ отношеніяхъ съ такими дѣятелями революціи, какъ Сѣесть, Байль, Демуленъ, Бриссо, Кондорсъ, Верньо и др. Но особенно важное политическое значеніе получила, какъ извѣстно, салонъ г-жи Роланъ, по имени которой въ шутку называли жирондистское министерство, существовавшее весной 1792 года, министерствомъ г-жи Роланъ. Это былъ какъ бы главный штабъ всей партии жирондистовъ.

Во время террора свѣтская жизнь въ Парижѣ должна была

прекратиться. Г-жа Неккеръ перестала собирать у себя по вторникамъ своихъ привычныхъ гостей, а ея дочь, г-жа Сталь, открыла свой вліятельный политический салонъ только уже послѣ 9 термидора, начавъ собирать у себя многихъ выдающихся дѣятелей эпохи. Революціонный терроръ 1792—1794 годовъ не дѣлалъ никакого различія между мужчинами и женщинами, когда одинаково предавались смерти какъ тѣ, такъ и другіе. Падали головы не только представительниц старого режима, начиная съ принцессы де-Ламбаль, погибшей во время сентябрьской рѣзни 1792 года, когда ея голову на пикѣ выставили передъ окнами королевской тюрьмы (Тампля), не только самой королевы п сестры Людовика XVI Елизаветы, но и головы женщинъ революціонного лагеря. Достаточно вспомнить о казни г-жи Роланъ, второй жены Демуленна (Люсиль) и т. п. Возобновить свою дѣятельность свѣтскіе салоны могли лишь въ эпоху Директоріи, когда, однако, начиналась общая реакція, отразившаяся и на характерѣ салоновъ у гостепримныхъ свѣтскихъ дамъ, въ родѣ г-жи Талльенъ *). Только салонъ г-жи Сталь сохранилъ идейный характеръ, сдѣлавшись въ консультство Наполеона Бонапарта центромъ либеральной оппозиції противъ его политики, пока сама хозяйка салона не вынуждена была покинуть Парижъ.

Даже государственный переворотъ 18 брюмера, совершилъ генераломъ Бонапартомъ, не обошелся безъ содѣствія салона г-жи Тальмѣ, жены знаменитаго трагического актера эпохи: отсюда будущий владыка Франціи направлялъ свой переворотъ.

Таковы главные факты, касающіеся участія французскихъ женщинъ эпохи въ политической жизни. Склонный къ морализаціи и нѣсколько ворчливый нѣмецкій историкъ Шлоссеръ въ своей небольшой работе о женщинахъ французской революціи высказалъ неодобрительно обѣ этой роли женщинъ въ политицѣ. „Достаточно,—пишетъ онъ,—самаго поверхностнаго знакомства съ французской исторіей, чтобы знать, что во Франціи женщины всегда вмѣшивались въ государственные дѣла, и притомъ совершенно открыто, а не втихомолку, какъ въ другихъ странахъ. Вліяніе это придало характеру націи и ея исторіи такую форму, что даже революція не могла это уничтожить... Не подлежитъ сомнѣнію, что отъ женскаго вліянія жизнь французской націи потеряла серьезный характеръ, и французы пріучились относиться ко всему какъ-то легко и поверхностно. Въ обществѣ распространялись воззрѣнія и убѣжденія, которыя не дѣствовали бы такъ вредно, если бы

публика не принимала, какъ оракульскія изречения, приговоры салоновъ, произносившіе слишкомъ поспѣшно и необдуманно. Господство высшаго свѣта не прекратилось даже съ наступлениемъ революціи, несмотря на серьезность тогдашняго настроенія и направленія умовъ*. Въ этихъ строкахъ историкъ-стародумъ немножко смѣшииваетъ вліяніе женщинъ и господство высшаго свѣта и недостаточно различаетъ между такими женщинами, какъ королевскій фаворитъ, въ родѣ г-жи де-Помпадуръ, или хозяйки салоновъ при Директоріи, въ родѣ г-жи Талльенъ, съ одной стороны, и такими идеяными женщинами, какими были г-жи Роланъ и Сталь. Революція выдвинула рядъ женщинъ-гражданокъ, тогда какъ раньше рѣчь можетъ ити только о женщинахъ-кутизанкахъ. Г-жи Роланъ и Сталь были именно женщинами нового типа, которыхъ сознавали, что открытая политическая дѣятельность не можетъ быть только монополіей мужскаго пола. Восемнадцатый вѣкъ выдвинулъ въ роли политическихъ дѣятельницъ, прекрасно справлявшихся со своими задачами, такихъ государынь, какъ Марія-Терезія въ Австріи и Екатерина II въ Россіи. Если въ салонахъ Роланъ и Сталь охотно собирались политические люди эпохи и даже подчинялись вліянію этихъ женщинъ, то потому, что цѣнили ихъ умъ, ихъ таланты, ихъ энергию.

Знакомство съ такими женщинами и могло, напримѣръ, внушить Кондорса ту мысль, что, получай женщина такое же образованіе, какъ и мужчина, ей доступны были бы и тѣ роды дѣятельности, которые были въ исключительномъ обладаніи мужчинъ, въ томъ числѣ и дѣятельность общественная. Г-жи Роланъ и Сталь имѣли обѣ солидное образованіе и сами были недюжинными писательницами. Въ то же время обѣ онѣ проявили достаточную твердость характера. Первую изъ нихъ въ шутку даже прямо называли единственнымъ мужчиной въ своей партии. Ея мужъ и бывшій въ числѣ ея друзей Кондорсъ сами покончили съ собою, чтобы избѣжать казни, но г-жа Роланъ мужественно взошла на эшафотъ, хотя ей была доставлена возможность кончить самоубійствомъ.

* См. мой трудъ: „Великая французская революція“ (Приложение къ „Нивѣ“ с. г.), стр. 331.



Г-жа Неккеръ.

II. Участіе женщинъ въ политическихъ клубахъ революції.

Въ годы великой революції женщины участвовали не только въ массовыхъ народныхъ выступленияхъ и въ жизни свѣтскихъ салоновъ, но и въ дѣятельности многочисленныхъ политическихъ клубовъ, образовавшихъ въ первые же годы революціи и игравшихъ такую роль въ событияхъ эпохи. Подобно тому, какъ мужчины организовались въ общества политическихъ единомышленниковъ, дѣлали это и женщины.

Когда Кондорез поднялъ вопросъ о политическихъ правахъ женщинъ, — о чмъ у насъ еще будетъ рѣчь впереди, — вопросъ этотъ сдѣлался предметомъ обсужденія въ печати, въ салонахъ и въ клубахъ. Изъ постѣднихъ такъ называемый Серкль-Сосяль („Общественный кружокъ“), собирая на свои засѣданія сотни слушателей и имѣвши свой печатный органъ, началъ даже устраивать особые женскіе кружки подъ названиемъ „общество друзей истины“ (собственно, подругъ—*amies*). Этотъ же клубъ постановилъ напечатать и распространить рѣчъ нѣкоей госпожи Альдерсъ, родомъ голландки, которая особенно усердно агитировала въ этомъ направлении и даже мечтала о томъ, чтобы объединить въ общенаціональный союзъ всѣ патріотическія общества гражданокъ. Лѣтомъ 1791 года та же госпожа Альдерсъ напечатала брошюру „Призывъ къ француженкамъ объ улучшеннѣ правъ и о необходимости вліянія женщинъ въ свободномъ правлѣніи“, откуда мы узнаемъ, что такія общества основались въ Бордо и въ другихъ городахъ.

Чисто-женскіе клубы основывались и позднѣе. Напримѣръ, лѣтомъ 1793 года возникло Общество революціонныхъ гражданокъ-республиканокъ города Парижа подъ предсѣдательствомъ сначала гражданки Рузо, потомъ гражданки Шампіонъ. Это общество навлекло на себя, однако, неудовольствие Конвента и якобинцевъ. Одна изъ парижскихъ секцій донесла Комитету общей безопасности, что нѣкоторыя женщины, входившія въ эту организацію, появлялись на улицахъ одѣтыми въ мужской костюмъ и оскорбляли другихъ женщинъ, требуя, чтобы и онѣ одѣвались такъ же; изъ-за этого происходило нарушение уличного порядка. Членъ названного Комитета Амаръ сдѣлалъ Конвенту докладъ, въ которомъ защищалъ политическія права исключительно одинъ мужчинъ и предложилъ запретить какія бы то ни было женскія сообщества. Амару возражалъ членъ Конвента Шарлье, находившій, что и женщинамъ надо предоставить право мирно собираться, разъ женщины тоже принадлежатъ къ человѣческому роду, и разъ мысляція существа имѣютъ право входить между собою въ общеніе. Съ другой стороны, извѣстный Базиръ поддерживалъ предложеніе Амара, находя, что женскія сообщества опасны, какъ очаги контрь-революціи. Конвентъ согласился съ этимъ и вотировалъ декрѣтъ, уничтожавшій женскіе клубы. Женскія собранія были предметомъ и враждебныхъ карикатуръ.

Случай, когда женщины мѣняли своего пола на мужской, были вообще довольно часты. Въ 1792 и 1793 годахъ было не мало такихъ, которые отдавались по-мужски и поступали добровольцами въ армію. Изъ временъ революціи дошло много изображеній такого рода. Въ свое время особенно прославились двѣ молоденькия сестры Фернінь, участвовавшія въ сраженіяхъ при Вальми, Жеммапѣ и Неервинденѣ. Существовали во времена революціи (еще въ 1790 году) и отряды амазонокъ.

Исключительно женскія организаціи во Франціи, впрочемъ, не получили большого развитія. Гораздо больше было случаевъ, имѣвшихъ притомъ и болѣе важное значеніе, когда женщины не отдавались отъ мужчинъ и дѣйствовали съ ними вмѣстѣ. Въ 1790 году возникли такъ называемыя „братскія общества обоихъ половъ“. Центромъ, ихъ объединившимъ, былъ клубъ кордельеровъ, а однимъ изъ ихъ лозунговъ было требование отмѣны принятаго Учредительнымъ Собраниемъ раздѣленія гражданъ на активныхъ

участвовавшихъ въ политическихъ выборахъ, и пассивныхъ, которые были лишены этого права. Въ этихъ братскіхъ обществахъ, буржуа рабочіе со своими женами, дочерьми и сестрами собирались для взаимного просвѣщенія относительно правъ человека и гражданина, конституції и т. п. Французскій историкъ Оларь приписываетъ этимъ собраниямъ большое значеніе въ дѣлѣ пропаганды идеи всеобщаго избирательного права, которое и было установлено постѣ наденія королевской власти въ 1792 году^{*)}. Одно такое общество собиралось въ томъ же зданіи, где засѣдали и якобинцы. Въ его собрaniи, происходившемъ въ началѣ февраля 1791 года, бывшія на немъ женщины принесли присягу, что ни одна изъ нихъ никогда не будетъ женой „аристократа“. Въ числѣ членовъ были госпожа Роберь, о которой рѣчь будетъ дальше, и госпожа Роланъ, хотя и не сразу рѣшившаяся примкнуть къ чисто-народному обществу.

Общества обоихъ половъ мало-по-малу начали и дѣйствовать, выступая съ петиціями и адресами, наблюдая за дѣятельностью органовъ

власти и доводя до свѣдѣнія, кого слѣдовало, обо всѣхъ непорядкахъ и т. п. Въ кружкѣ госпожи Роберь, принимавшей особенно дѣятельное участіе въ этой организаціи, родилась, а по томъ, въ маѣ 1792 года, и осуществилась мысль объ учрежденіи центральнаго комитета братскіхъ обществъ. Предсѣдателемъ этого комитета сдѣлался мужъ госпожи Роберь. Между прочимъ, въ слѣдующемъ же мѣсяцѣ при помощи этихъ обществъ велась агитация въ парижскихъ секціяхъ о необходимости отмѣны раздѣленія гражданъ на активныхъ и пассивныхъ. Они же участвовали въ знаменитой петиціи о низложеніи Людовика XVI, которая подписывалась на Марсовомъ полѣ 17 июля 1791 года. На праздникѣ въ память убитыхъ 10 августа 1792 года процессія изъ женщинъ несла эту петицію въ особомъ ковчегѣ.

Эти братскія общества обоихъ половъ существовали, повидимому, почти во всѣхъ парижскихъ секціяхъ и въ другихъ городахъ. Къ сожалѣнію, протоколы засѣданій этихъ обществъ не сохранились, если только они велись. Изъ газетъ того времени мы узнаемъ, что женщины играли въ нихъ большую роль. „Честь самой интересной части человѣческаго рода, — писали въ одной газетѣ, — до сихъ поръ она принимала мало участія въ революціи; до сихъ поръ насчитывалось мало женщинъ-патріотокъ, но вотъ теперь прекрасный полъ на ея сторонѣ, и, конечно, дѣло пойдетъ (саiga).“ При всей своей демократичности и при большомъ участіи въ этихъ обществахъ лицъ женскаго пола ни одно, однако, не требовало распространенія избирательного права и на женщинъ, хотя требование всеобщаго избирательного права и было однѣмъ изъ ихъ лозунговъ. Находясь въ тѣсной связи съ клубомъ кордельеровъ, братскія общества на первыхъ порахъ не пользовались сочувствіемъ якобинцевъ, когда самъ Робеспьеръ былъ еще монархистомъ. Когда упомянутый центральный комитетъ, находившійся подъ предсѣдательствомъ Робера, предложилъ якобинскому клубу прислатъ своего делегата, тотъ на это не пошелъ.

Если то, что можно назвать феминизмомъ французской революціи, т.-е. чисто-женское движение и въ исключительныхъ интересахъ женщинъ было очень слабо, то, наоборотъ, совмѣстная работа обоихъ половъ была очень интенсивна, притомъ одинаково и въ салонахъ и въ клубахъ. Правда, наиболѣе извѣстные клубы, т.-е. якобинскій, кордельерскій и т. п., были учрежденіями чисто-мужскими, но вотъ эти самые братскія общества гражданъ обоего пола и были политической ареной для выступлений женщинъ. Не нужно притомъ думать, чтобы тѣ женщины, которыхъ мы могли бы называть настоящими феминистками революціонной эпохи,шли очень далеко въ защитѣ женскаго равноправія. Если братскія общества, раньше якобинского клуба ставшія на республиканскую точку зреінія и проявившія большой демократизмъ, не требовали уравненія

^{*)} A. Aulard. Le feminism pendant la rеволюціи французской. Revue politique et littéraire, 1898, N 12.



Г-жа Сталь,
дочь г-жи Неккеръ.



Графиня Жаннисъ.

политическихъ правъ обоихъ половъ, то такія феминистки, какъ извѣстная намъ госпожа Альдерсъ, тоже довольствовались очень немногимъ. Въ марта 1791 года она, напримѣръ, предложила организаціи, въ составъ которой входила, выразить Национальному Собранию благодарность за то, что оно даровало женщинаамъ „гражданское существованіе“.

Участіе женщинъ вмѣстъ съ мужчинами въ братскихъ клубахъ особенно поощрялось тѣми дѣятелями революціи, которые хотѣли изъ француженокъ сдѣлать гражданокъ-патріотокъ. Вотъ почему женщинаамъ были широко открыты двери въ тѣ „народныя общества“ отдельныхъ секцій, которая замѣняли въ извѣстные дни недѣли ихъ дѣловыя собранія. Вотъ почему женщинаамъ отводились и особыя роли въ разныхъ республиканскихъ праздникахъ, въ родѣ, напримѣръ, торжества въ честь Верховнаго Существа, на которомъ фигурировали процесіи и хоры матерей, молодыхъ дѣвушекъ и т. п. *)). Упомянутое выше нерасположеніе Конвента къ исключительно женскимъ обществамъ объясняется опасеніемъ, какъ бы ими не воспользовалось духовенство въ цѣляхъ контрѣ-революціи при томъ вліяніи, какимъ оно пользовалось особенно въ женской средѣ. Когда крайніе революціонеры стали совершать прямымъ насилия надъ католической церковью, вскорѣ вызвавши религіозную реакцію, во многихъ мѣстахъ въ первыхъ ея рядахъ действительно шли женщины. Но до наступленія этого момента женская половина населенія городовъ была настроена революціонно, хотя, конечно, далеко не всѣ наклонялись въ такія крайности, какъ пресловутыя трикотезы или посѣтительницы столь часто происходившихъ казней.

III. Нѣсколько женскихъ фигуръ революціонной эпохи.

Можно составить цѣлый альбомъ портретовъ женщинъ, игравшихъ ту или другую индивидуальную роль въ исторіи французской революціи. Въ ихъ ряду было не мало и жертвъ революціи не только среди представительницъ старого порядка, какъ Марія-Антуанета, сестра Людовика XVI и-ме Elisabeth, принцесса Ламбаль, но и среди тѣхъ, которыхъ, какъ госпожа Роланъ или Шарлотта Кордэ, всею душою стояли на сторонѣ преобразованія Франціи на началахъ свободы, равенства и братства. Нашлось бы, конечно, въ этомъ альбомѣ и мѣсто для женщинъ, пережившихъ революцію, и опять-таки двухъ категорій: въ то время, какъ однѣ, — очень немногія, впрочемъ, — оставались вѣрными принципамъ 1789 года, другіе сдѣлали карьеру своимъ переходомъ на сторону сокрушителя революціи — Наполеона I. Къ первой категоріи принадлежала, какъ извѣстно, дочь Неккера госпожа Сталь, преслѣдовавшаяся Наполеономъ, а послѣ его паденія написавшая книгу въ защиту революціи; во главѣ женщины второй категоріи мы видимъ госпожу Богарнѣ, которая, благодаря своему браку съ генераломъ Бонапартомъ, сдѣлалась вѣстѣніемъ императрицы Жозефиной и сохранила свое мѣсто около нового владыки Франціи до его брака съ австрійскою принцессою, приходившеюся близкою родственницею казненной Маріи-Антуанеты.

Ни одна, хотя бы и самая краткая исторія французской революціи не можетъ обойтись безъ упоминанія имени госпожи Роланъ и Шарлотты Кордэ *).

Первая извѣстна, какъ „нимфа Эгерія“, вдохновительница тѣснаго кружка жирондистовъ, именемъ которой обозначали первое министерство ея мужа. Ея салонъ былъ, какъ выражались, бюро общественнаго мнѣнія, и ея перу принадлежало письмо жирондистскаго министерства королю, вызвавшее его отставку. Извѣстна и ея печальная судьба, извѣстны и предсмертныя ея слова: „Какія преступленія совершаются во имя свободы!“ Она глубоко вѣрила въ обновленіе Франціи революціей и, между прочимъ, еще будучи дѣвушкой, пыталась получить премію за сочиненіе на заданную Безансонской академіей тему: „Какимъ образомъ воспитаніе женщинъ можетъ способствовать улучшенію человѣчества?“ Статья вышла не особенно удачно, но интересно, что этой вопросъ занималъ госпожу Роланъ еще въ очень молодые годы.

Шарлотта Кордэ получила большую извѣстность за убіеніе Марата, какъ „тирана“. Воспитавшись на античныхъ классикахъ, она особенно преклонялась передъ Брутомъ, освободившимъ отечество свое отъ человѣка, который покусился на его республиканскую свободу. Кромѣ уваженія къ республиканскому идеалу античнаго міра, стъ г-жею Роланъ она раздѣляла горячее сочувствіе къ жирондистамъ. Она также проявила передъ смертью твердость духа, между прочимъ, написавъ возвзваніе къ французскому народу, въ которомъ объяснила мотивы своего поступка. Ея героическая личность и трагическая судьба вдохновили, какъ извѣстно, не одного писателя и художника, что еще болѣе способствовало извѣстности ея имени не въ одной притомъ Франціи.

Очень популярно и имя г-жи Сталь, больше, впрочемъ, какъ писательницы. Дочь Неккера, начавшая еще дѣвочкою на двѣнадцатомъ году слушать разговоры посѣтителей салона своей матери, она уже въ возрастѣ 15 лѣтъ писала замѣчанія на отчетъ

*) Вспомнимъ еще госпожу Майльяръ, изображавшую богиню Разума, о чёмъ упоминается въ моей „Великой французской революціи“ (Приложение къ „Нивѣ“), стр. 283, см. тамъ же о празднѣ Венюоннаго Существа (стр. 365).

**) Въ моей „Великой французской революціи“ стр. 224, 226 — 227, 279 — 280 и 281.

своего отца о французскихъ финансахъ, бывшій причиной его отставки, и дѣлала выдержки изъ „Духа Законовъ“ Монтескіѣ, снабжая ихъ своими собственными разсужденіями. Когда вспыхнула революція, ей, только не задолго передъ тѣмъ перемѣнившейся, по случаю выхода замужъ за шведскаго посланника при французскомъ дворѣ, свою дѣвичью фамилію Неккеръ на новую — Сталь-Гольштейнъ, было всего двадцать три года, но уже тогда ея собственный салонъ приобрѣлъ большую извѣстность, какъ одинъ изъ наиболѣе блестящихъ. Постѣ сентябрьскихъ убийствъ она покинулѣ Парижъ и Францію и жила сначала въ Англіи, потомъ въ Швейцаріи. Въ это время она издала анонимную брошюру „Размышленіе женщины о процессѣ королевы“, где стремилась вызвать жалость къ судѣ злосчастной Маріи-Антуанеты. Въ 1796 году, уже въ годы реакціи, г-жа Сталь получила возможность вернуться въ Парижъ и снова открыть свой салонъ, который посѣщалася нѣкоторыми видными политическими дѣятелями, какъ Сийесъ, Талейранъ, Гардъ, а изъ болѣе молодыхъ Бенжаменъ Констаномъ. Такъ какъ дочь Неккера, оставшаяся вѣрною идеѣ свободы, сдѣлала изъ своего салона какъ бы центръ оппозиціи противъ политики первого консула, она была выслана изъ Франціи (1802). При Наполеонѣ она вообще подвергалася постояннымъ преслѣдованіямъ, а послѣ его паденія написала „Разсужденіе о главныхъ событияхъ французской революціи“ (1818), первоначально цѣлью которыхъ было оправдать политику Неккера, но сочиненіе потомъ превратилось въ настоящую апологію французской революціи, давшей Франціи свободу и благосостояніе. Этюю свою книгою г-жа Сталь въ сильной степени содѣйствовала перемѣнѣ во взглядахъ французского общества особенно на первый періодъ революціи, когда во Франціи сдѣлана была попытка установленія конституціонной монархіи.

Другой женшиной-писательницей эпохи была графиня Жанлисъ. Она была очень близка къ родственнику королевскаго дома, герцогу Филиппу Орлеанскому, который во время революціи отрекся отъ своего фамильного имени и сталъ называться „гражданиномъ Эгалитѣ“ (т.-е. Равенство). Она даже сдѣлала ее воспитательницей своихъ дѣтей, изъ которыхъ одинъ царствовалъ потомъ (1830—1848) во Франціи подъ именемъ Людовика-Филиппа. Она писала педагогическія сочиненія и дѣтскія книжки, романы и историческія повѣстівкія и оставила большие мемуары, где изложила свои воспоминанія и наблюденія о французской революціи. Въ первые годы революціи она бывала въ якобинскомъ клубѣ и вела знакомство съ нѣкоторыми дѣятелями того времени; въ числѣ ея друзей были мэръ Парижа Петіонъ, генералъ Дюмуурье и др.

Г-жа Жанлисъ съ г-жой Роланъ не были единственными женщиными, написавшими свои воспоминанія о французской революціи.

Выше уже называлось имя г-жи Роберь, жены адвоката и члена Конвента, одного изъ самыхъ ранихъ республиканцевъ во Франціи, участвовавшаго въ кордѣльерскомъ клубѣ и бывшаго секретаремъ Дантона, когда тотъ былъ министромъ. Урожденная Керадіо, г-жа Роберь имѣла свой салонъ, где возникъ первый республиканский кружокъ, и играла видную роль въ „братскихъ обществахъ обоихъ половъ“. Дочь ученаго публициста и писательницы, г-жа Роберь сама писала романы и историческія сочиненія. Большая демократка, она добивалась того, чтобы члены братскихъ обществъ говорили другъ другу „ты“ и величали другъ друга „брать“ и „сестра“, вмѣсто обычныхъ „господинъ“ и „госпожа“, еще раньше, чѣмъ вошло въ употребленіе обращеніе со словами „гражданинъ“ и „гражданка“. Къ ея республиканской пропагандѣ въ другихъ кругахъ относились сначала неодобрительно: ея политическую роль въ исторіи революціи выяснили сравнительно лишь недавно (Оларъ).

Такой же демократкой была Олимпія де-Гужь. Это была ея дѣвичья фамилія, которую она вернула себѣ по смерти своего мужа (нѣкого Обри). Сама писательница, между прочимъ, защищавшая революцію и въ сочиненіяхъ своихъ и въ рѣчахъ, она играла особенно замѣтную роль въ организаціи чисто-женскихъ обществъ, но предложеніе своихъ услугъ для защиты Людовика XVI передъ судомъ Конвента погубило ее самое: она погибла на эшафотѣ. Она пыталась-было спасти себя отъ казни указаниемъ на свою беременность, но послѣдняя оказалась ея выдумкою. Быть-можетъ, и этотъ эпизодъ повредилъ женскимъ клубамъ во мнѣніи о нихъ Конвента.

Очень яркую женскую революціонную фигуру представляла собою Анна Теруань-де-Мерикуръ. Собственно, она называлась Теруань и была родомъ изъ деревни Маркуръ, откуда и возникло ея звучное имя. Отецъ ея былъ зажиточный земледѣльецъ, помѣстившій ее въ одномъ монастырѣ, где она получила нѣкоторое образованіе, но, едва достигнувъ 17 лѣтъ отъ роду, она бѣжала изъ дома своихъ родителей стъ молодымъ дворяниномъ, прельстившимся ея красотой. Такъ началась ея жизненная карьера. Въ началѣ революціи, когда ей было 27 лѣтъ, она уже имѣла въ Парижѣ свой салонъ, и ее знали такія лица, какъ Мирабо, Петіонъ, Дантонъ. Послѣдующая ея жизнь была полна приключеній. Она участвовала въ событияхъ 1789 года. 5-го октября она мчалась верхомъ на лошади впереди толпы, шедшей въ Версаль, а на другой день сопровождала перѣѣздъ королевской семьи въ Парижъ, стараясь на сей разъ запечатать ее отъ оскорблений. Въ слѣдующемъ году это ей припомнили, но, вѣ-время предупрежденная, что ее собираются арестовать, она бѣжала за границу, попала въ Германію и тамъ была арестована по сообщенію парижскихъ роялистовъ, какъ „кровожадная предводительница



«Свободная парижанка».

вала, что лишило ее значительной доли ее прежней популярности. 31-го мая 1793 года, когда произошло народное движение на Конвенте против жирондистов, она рѣшилась говорить толпѣ въ защиту этой партии, но это вызвало противъ нея бурю негодования. Такъ называемая «трикотэзъ Робеспьера» даже напали на нее и жестоко ее отхлестали. На несчастную женщину эта расправа подействовала такъ мучительно, что она помѣщалась и окончила потому свою исполненную приключений жизнь въ сумасшедшемъ дѣмъ.

Во второмъ періодѣ революціи, когда при общей реакціи на первый планъ выдвинулись погоня за деньгами и жажда увеселеній, начали господствовать легкость нравовъ и мелочная интриги, и на общественной сценѣ стали играть роль женщины другого, нежели прежде, типа, которая болѣе или менѣе всѣ были куртизанки. Это было время, когда царила въ своемъ салонѣ знаменитая Тереза Кабаррюсъ, по мужу г-жа Талмѣнть, сумѣвшая превратить своего мужа, бывшаго членомъ Конвента и Совѣта пятисотъ, въ одного изъ родоначальниковъ термидорианской реакціи. Ей очень покровительствовалъ директоръ Республики Баррасъ, а сама она думала только о нарядахъ, о балахъ и другихъ увеселеніяхъ *). Съ нею была дружка вдова генерала, родомъ креолка, Жозефина Богарнѣ, ставшая потомъ императрицей. Такие салоны, какъ салонъ г-жи Сталь, сдѣлались совсѣмъ не по времени, когда супругъ г-жи Богарнѣ при помощи военной силы захватилъ власть надъ Францией.

Новому направлению общественной жизни соотвѣтствовали и новые дамскія моды: о тогдашнихъ костюмахъ можно говорить, какъ о чѣмъ-то, въ чѣмъ женщины являлись болѣе раздѣтыми или, по крайней мѣрѣ, полураздѣтыми, нежели одѣтыми. Была въ ходу по этому поводу злая шутка: если раньше господствовали люди sans culottes — „безъ кюлоттъ“ (санкюлоты), не носившіе короткихъ штановъ, доходившихъ только до колѣнъ), то теперь наступило царство ходящихъ „безъ рубашекъ“. Въ этомъ, впрочемъ, видѣли чуть ли не возстановленіе простоты республиканскихъ нравовъ.

Въ годы Директоріи большую извѣстность въ свѣтскомъ обществѣ пріобрѣла еще г-жа Рекамье. Совсѣмъ молоденькая, красавица, умна, богата, она примкнула къ кружку г-жи Сталь. У нея также было салонъ, посѣщающейся выдающимися людьми того времени, но на нее не дѣйствовали тогдашніе соблазны: она не только отвергла всѣ исkanія Люсиенла Бонапарта, брата будущаго владыки Франціи, но и его самого, когда онъ былъ уже императоромъ. За это Наполеонъ тогда выслалъ ее изъ Франціи. Впослѣдствіи она также отказалась прусскому принцу Августу, предложившему ей вступить съ нимъ въ законный бракъ. Извѣстно, что въ нее былъ влюбленъ также знаменитый скульпторъ Канова, сдѣлавшій потихоньку

отъ нея ся бюстъ, который онъ превратилъ потомъ въ изображеніе Дантовой Беатриче. Отъ г-жи Рекамье тоже остались воспоминанія объ ея эпохѣ.

IV. Политическая права женщинъ во время революціи.

Мы видѣли, какое участіе принимали французскія женщины въ революціи 1789 года, и всѣмъ извѣстно, что на ея знамени были начертаны лозунги свободы и равноправія. Примѣнены ли были эти лозунги къ самимъ женщинамъ? Вотъ разсмотрѣніемъ этого вопроса мы и займемся, при чёмъ коснемся сначала политическихъ правъ женщинъ, а потомъ перейдемъ къ гражданскимъ законамъ, относящимся къ семейственнымъ и имущественнымъ правамъ женщинъ.

Вопросъ о правахъ первого рода въ эпоху великой революціи былъ едва только поставленъ. Просвѣтительная литература XVIII вѣка, изъ которой революція почерпнула свои принципы, обѣ этомъ молчала. Только наканунѣ революціи, въ 1788 году, Кондорсѣ въ своемъ политическомъ планѣ заговорилъ о необходимости дать женщинамъ право участвовать въ выборахъ представителей. «Благодаря этому», — писалъ онъ, — «женщины не были бы лишены политическихъ правъ (droit de cité), отсутствіе которыхъ противно справедливости, хотя и освящено почти всеобщей практикой. Основанія, позволяющія ихъ устраниТЬ отъ занятія общественныхъ должностей, но очень легко опровергаемыя, не могутъ оправдывать отніятія у нихъ права, пользованіе которымъ столь просто, и которое мужчины получаютъ не отъ принадлежности къ своему полу, а въ качествѣ мыслящихъ и существующихъ существъ, каковое у нихъ является общимъ съ женщинами». Кондорсѣ называетъ исключение женщинъ изъ пользованія избирательнымъ правомъ только *почти* всеобщимъ, потому что во Франціи дворянки, владѣвшія феодальными помѣстьями («фѣфами»), имѣли все-таки право участвовать, хотя бы черезъ доѣрнныхъ лицъ мужского пола, въ выборахъ въ провинціальныя собранія и въ муниципальныхъ, а королевскій регламентъ 24-го января 1789 года о выборахъ въ Генеральныя Штаты давалъ право вдовамъ, несовершеннолѣтнимъ замужнимъ и дѣвицамъ, обладавшимъ фѣфами, передавать свои голоса замѣстителямъ изъ дворянскаго сословія, и такимъ же правомъ должны были пользоваться женскіе монастыри и религіозныя общины при выборѣ депутатовъ отъ духовенства.

Голосъ Кондорсѣ былъ тою первою ласточкою, которая, по пословицѣ, еще не дѣлаетъ весны. Передъ созывомъ Генеральныx Штатовъ, превратившихся въ Учредительное Собрание, не было недостатка въ брошюрахъ и петиціяхъ въ защиту женщинъ, но въ нихъ не было ни слова о политическихъ правахъ: просили только объ облегченіи положенія женщины въ семье, о лучшемъ женскомъ образованіи и т. п. Наказы 1789 года, составлявшіе исключительно мужчинами, тоже не заскачивали о чѣмъ-либо, подобномъ дарованію женщинамъ избирательныхъ правъ.

Кондорсѣ возобновилъ обсужденіе вопроса, напечатавъ въ 1790 году статью подъ заглавиемъ „О допущеніи женщины къ участію въ правѣ гражданина“ (*Sur l'admission de la femme au droit de la cité*). Въ ней Кондорсѣ ссылался на уже обнародованную тогда „Декларацию правъ человѣка и гражданина“ и говорилъ, что, „спокойно“ исключая женщинъ, Национальное Собрание совершило „актъ тираніи“. Для того, чтобы это оправдать, — писалъ онъ, — нужно было бы или доказать, что естественные права женщинъ не являются безусловно такими же, какъ и права мужчинъ, или показать, что женщины не способны имъ пользоваться. Однако, — продолжалъ онъ, — права мужчинъ выте-



Изъ Парижа въ Версаль, 5-го октября 1789 г.

Карикатура

* См. о ней на стр. 323 и 384 моей „Великой французской революціи“.

кают единственно изъ того, что они представляютъ собою существа, одаренные чувствованіями и способны приобрѣть нравственный понятія и о нихъ разсуждать, а такъ какъ женщины обладаютъ тѣми же качествами, то у нихъ должны быть и равные права. Или ни одно человѣческое существо не имѣть никакихъ настоящихъ правъ, или все имѣть одни и тѣ же права, и тотъ, кто подаетъ голосъ противъ права кого-либо, каковы бы ни были его религія, цвѣтъ кожи и полъ, тѣмъ самымъ отрекается отъ собственныхъ правъ".

Тѣмъ, которые ссылались на физическую природу женщинъ, Кондорсѣ возражалъ такъ: почему бы въ такомъ случаѣ не лишать избирательного права мужчинъ, подверженныхъ, положимъ, подагрѣ каждую зиму? А если ссылаются,—говорить дальше Кондорсѣ,—на умственное превосходство мужчинъ, то „за исключеніемъ очень небольшого класса весьма просвѣщенныхъ мужчинъ, существуетъ полное равенство между женщинами и всѣми остальными мужчинами: если постать этотъ классъ особо, большая или меньшая одаренность распредѣляется равномѣрно между обѣими полами. Однако, такъ какъ было бы совершенной несправедливостью дать только одному лишь классу очень просвѣщенныхъ людей право быть настоящими гражданами и признавать лишь за ними способность для занятія общественныхъ должностей, то ради чего исключать женщинъ, а скорѣе не тѣхъ мужчинъ, которые въ умственномъ отношеніи ниже большого числа женщинъ?“ Кондорсѣ ссыпался при этомъ на нѣкоторыхъ женщинъ, которая въ общественныхъ дѣлахъ стояли бы значительно выше приставленныхъ къ этимъ дѣламъ мужчинъ. Въ отношеніи къ „нѣжнымъ и домашнимъ добродѣтельямъ“ онъ ставилъ женщинъ даже выше мужчинъ.

Кондорсѣ устраивалъ еще одно возраженіе. Говорять, что хотя



Тереза Кабаррюсъ, по мужу—Талліенъ.



„Богиня Разума“—артистка г-жа Майльяръ, на празднествѣ въ честь Верховнаго Существа.

женщины и любятъ „разсуждать“, но не руководятся въ своихъ дѣйствіяхъ „разсудкомъ“. „Это наблюдение невѣрно, — говорить онъ, — правда, онѣ не руководствуются мужскимъ умомъ, но у нихъ есть зато свой женскій умъ. Такъ какъ, вслѣдствіе дурныхъ законовъ, ихъ интересы иные, чѣмъ у насъ, и многія вещи для нихъ имѣютъ другое, нежели для насъ, значеніе, онѣ могутъ, отнюдь не нарушая разумности, опредѣлять себя другими принципами и стремиться къ другимъ цѣлямъ. Для женщины столь же разумно заниматься своею наружностью, какъ было разумно для Демосѳена заботиться обѣ усовершенствованіи своего произношенія и своихъ жестовъ“.

Опровержгать Кондорсѣ и тотъ аргументъ, что у женщинъ слабо чувство справедливости. Съ вѣрностью этого наблюдения онъ соглашался, но видѣлъ причину разницы „не въ природѣ, а въ воспитаніи, въ общественныхъ условіяхъ“. Ни первое ни второе не пручали женщинъ къ пониманію того, что справедливо, а только того, что честно. Отстраненныя отъ дѣлъ, отъ всего, что рѣшается на основаніи строгой справедливости и положительныхъ законовъ, женщины занимаются какъ разъ вещами и дѣйствуютъ по отношенію какъ разъ къ вопросамъ, рѣшаемымъ врожденно честностью и чувствомъ. Поэтому несправедливо, для отказа женщинамъ въ пользованіи ими своими естественными правами, приводить мотивы, имѣющіе видъ реальности лишь потому, что женщины не пользуются этими правами“: вѣдь если принимать въ расчетъ такие резоны, то скоро, пожалуй, нужно будетъ признавать гражданами только ученыхъ юристовъ. Изъ ссылки на то, что у женщинъ много времени уходить на хозяйство и на дѣтей, допустимо дѣлать лишь тотъ выводъ, что предпочтительнѣе ихъ не выбирать, но отнюдь не тѣть, чтобы ихъ лишать права быть выбирамыми.

Въ заключительной части своего разсужденія Кондорсѣ предлагалъ „опровергнуть его не шутками и возгласами“, а по существу, т.-е. доказательствомъ въ пользу существования такой естественной разницы между мужчиной и женщиной, которая законнымъ образомъ обусловливала бы исключение одного пола. „Равенство правъ, устанавливаемое между мужчинами въ нашей новой конститу-



Шарлотта Кордэ.

то же случится и по отношению къ равноправию обиходъ половъ".

Этотъ вызовъ Кондорсе не породилъ большого количества отвѣтовъ. Только въ началѣ 1791 года въ одной газетѣ („Les Rевolutions de Paris“ Приюдома) появилась статья, озаглавленная „О вліяніи революціи на женщины“, авторъ которой указалъ, что получить отъ женщинъ массу писемъ съ требованіемъ равноправія, но что самъ онъ съ этимъ несогласенъ, убѣжденный въ дурномъ всегда вліяніи женщинъ въ политическомъ отношеніи. Въ доказательство своего тезиса онъ ограничился ссылками на одну изъ фаворитокъ Людовика XV (Дю-Барри) и на Марію-Антуанету, да на парижскихъ дамъ, которыхъ падали въ обморокъ, нервно заболѣвали и преждевременно разрѣшались отъ бремени при видѣ отрубленныхъ и надѣтыхъ на пики головъ въ іюль и въ октябрь 1789 года. Политика не дѣло „второго пола“, но авторъ тѣмъ не менѣе приглашалъ женщинъ изъ народа, умѣвшихъ быть гражданками въ „национальной драмѣ“, принять участіе въ отраженіи выѣшняго врага „храбростью и хитростью, желѣзомъ и ядомъ“.

Если прессы почти совсѣмъ, какъ говорится, „замолчала“ статью Кондорса, то о ней много говорили въ салонахъ и въ клубахъ, но часто только для того, чтобы выражать несогласіе съ требованіемъ женскаго равноправія. Тройкъ женщины, — говорили, напримѣръ, одинъ ораторъ въ Серкль-Соссель, — находится въ ея семье. Ея слава въ дѣтяхъ, воспитанныхъ ею для государства. Корнелия не была ни сенаторомъ, ни консуломъ, ни военачальникомъ, а только матерью Гракховъ“. Когда въ томъ же клубѣ въ защиту женскаго равноправія заговорилъ какой-то ораторъ съ громкой фамилией Руссо, ему не позволили продолжать, несмотря на то, что какая-то иностранка взвыла къ французской галантности и нашла сочувствіе со стороны бывшихъ въ собраніи женщинъ. Оларъ предполагаетъ, что эта иностранка была уже упоминавшаяся Альдерсъ (по мужу Этта Пальть). Однако, и сама она, какъ мы видѣли, не очень-то далеко заходила въ своеемъ феминизѣ. Въ апрѣль 1792 года она явилась въ Законодательное Собрание съ женской депутатіей, просившей для женщинъ одинакового образования съ мужчинами, одинаково-го срока гражданского совершеннолѣтія въ 21 годъ и равноправія дочерей съ сыновьями, а также разрѣшенія разводовъ. О дарованіи политическихъ правъ женщинамъ не заходило и рѣчи.

Вопросъ объ одинаковомъ образованіи для мужчинъ и женщинъ тоже былъ поставленъ на очередь Кондорса, который много работалъ надъ организацией во Франціи школьнаго дѣла. Вообще это былъ одинъ изъ первыхъ, поднявшихъ новый соціальный вопросъ, который въ XIX вѣкѣ получилъ специальное наименование женскаго. Его политическая и философская идеи раздѣляла и его жена Софія, урожденная де-Груші. Эта женщина, какъ мы видѣли, имѣла свой салонъ и дружила, кроме того, съ г-жей Роланъ, посѣщающей и ея салонъ. Слѣдуетъ еще прибавить, что ею было сдѣлано переводъ на французскій языкъ „Теоріи нравственныхъ чувствъ“ Адама Смита, и что она написала „Восемь

пії вызвало рядъ краснорѣчивыхъ декламацій и не- скончаемыхъ на- смышишъ, — при- бавляетъ Кондо- дорсъ, — никто до сихъ поръ не могъ возразить противъ него по существу и, ко- нечно, не всѣд- ствие недостатка въ талантѣ и въ рвени. Осмѣли- вались думать, что

писемъ о симпатіи“, адресованныхъ ею известному Кабанису, приходившему ей зятемъ.

Въ эпоху революціи вообще уже было нѣсколько женщинъ, проявлявшихъ способность къ умственному труду, и потому неудивительно, что могла возникнуть мысль о предоставлении женщинамъ такой же возможности приобрѣтать научныя знанія, какая была доступна мужчинамъ. Эпоха реакціи, послѣдовавшей во второй половинѣ девятидесятыхъ годовъ, оказалась очень неблагопріятной для женскаго образования, но то же самое, какъ мы сейчасъ увидимъ, случилось и съ положеніемъ женщины въ семье.

V. Женщина въ гражданскомъ правѣ 1789—1804 годовъ.

Переходимъ къ области гражданского права, къ семейному и имущественному положенію французской женщины въ эпоху революціи.

При старомъ порядкѣ во Франціи не было общихъ для всей страны гражданскихъ законовъ. Въ данномъ отношеніи королевство раздѣлялось на двѣ большия области: югъ былъ областью „писанаго (римскаго) права“, съѣверъ — областью „права обычнаго“, хотя и послѣднее тоже было писаннымъ и содержалось въ цѣломъ рядѣ сборниковъ этого права, въ такъ называемыхъ „кутюмахъ“, вслѣдствіе чего его лучше называть кутюмнымъ. Это были законы средневѣкового, феодальнаго происхожденія, притомъ не во всемъ сходные между собою въ отдѣльныхъ мѣстностяхъ Франціи. Однимъ изъ пунктовъ различія между писаннымъ и кутюмнымъ правомъ было положеніе женщины.

Въ области писанаго права положеніе женщины было хуже, чѣмъ тамъ, где дѣйствовало право кутюмное. Въ первой сохранился строго римскій принципъ отцовской и мужней власти: мужчина былъ неограниченнымъ домовладыкой, подъ вѣчною опекою котораго находились и дѣти, хотя бы совершеннолѣтія, и сама мать семейства, тогда какъ въ провинціяхъ второй категоріи право ставило во главѣ семьи одинаково и



Г-жа Роланъ.



Г-жа Теруанъ-де-Мерикуръ.

отца и мать. Далее, писанное право признавало раздельность имущества обоих супругов, т.е. и принесенного женщиной в семью приданого, но владелица его не могла иметь распоряжаться без согласия мужа, по кутюному же праву устанавливалась общность имущества супругов с момента их вступления в брак, при чем управление общим имуществом должно было происходить по обоюдному согласию обоих. Однако, и здесь жена не могла брать на себя никаких обязательств без разрешения мужа.

Общим правилом для обеих частей Франции было все-таки большее или меньшее неравенство мужчины и женщины. Въ той или другой форме над женой тяготила власть мужа, а въ наследственном праве установлены были неравные доли сыновей и дочерей. Существовали и некоторые ограничения въ другихъ правахъ. Например, женщина не имѣла права выступать свидѣтельницей во всѣхъ дѣлахъ, касающихся гражданского состоянія (быть свидѣтельницей чьего-либо бракосочетанія и т.п.).

Однимъ изъ желаній, заключавшихся въ наказахъ депутатамъ 1789 г., было объединеніе Франціи въ правовомъ отношеніи: во всѣмъ государствѣ должны были быть одни и тѣ же гражданские законы. Во время революціи французъ не удалось достичнуть этой цѣли; общій гражданскій кодексъ они получили только черезъ пятнадцать лѣтъ, уже въ консульство Наполеона Бонапарта, именно въ 1804 году. Однако, и въ теченіе этого времени законодательный учрежденія издавали отдѣльные законы, которые должны были какъ объединить всю націю, однѣмъ общимъ правомъ, такъ и преобразовать отдѣльные правовые нормы на новыхъ началахъ.

Извѣстно, что основные принципы нового права были изложены въ знаменитой „Декларации правъ человека и гражданина“, первый же параграфъ которой гласилъ: „люди рождаются и остаются свободными и равными въ правахъ“. Провозглашая свободу человѣческой личности и ея равноправіе, законодательная власть не могла не примѣнить этого принципа къ юридическимъ нормамъ, касающимся гражданъ обоего пола. Старая отцовская власть римского права

революціей была отмѣнена къ сыновьямъ и дочерьмъ, достигшимъ совершеннолѣтія, за каковое было принять возрастъ въ 21 годъ. Въ правахъ на наслѣдство сыновья и дочери въ силу требованія равноправія тоже уравнивались. Изъ двухъ противоположныхъ принциповъ исключительного главенства въ семье отца и равноправія обоихъ супруговъ революционное законодательство стало на сторону второго. И въ другихъ отношеніяхъ это законодательство благопріятствовало гражданскому равноправію женщины и ея освобожденію отъ семейного деспотизма.

Особое значеніе въ данномъ отношеніи имѣли законы о гражданскомъ бракѣ и о разводѣ.

Революционное законодательство въ вопросѣ о бракѣ стало на точку зреій различія въ бракѣ двухъ сторонъ: религиозной, поскольку по ученію церкви бракъ есть таинство, и гражданской, поскольку онъ является договоромъ, создающимъ извѣстныя правовые отношения. Первая сторона касается церкви, для государства же и его законовъ важна только вторая сторона. Брачущіеся могутъ давать религиозное освященіе своему союзу по законамъ своей вѣры (католической, протестантской, іудейской), но государство видѣть въ нихъ только гражданъ, заключающихъ

между собою договоръ по общему для гражданъ одного и того же государства закону.

Собственно говоря, обязательность церковнаго брака была установлена для католиковъ только Тридентскимъ соборомъ (1545—1563), но тогда же и въ слѣдующемъ столѣтіи стала вводиться и форма гражданскаго брака въ нѣкоторыхъ протестантскихъ странахъ (въ Голландіи, въ Шотландіи, временно въ Англіи). Во Франціи обязательность церковнаго брака была подтверждена королевскимъ закономъ 1579 года, а послѣ отмѣны Нантского эдикта 1598 года о вѣротерпимости (что произошло въ 1685 году) даже протестанты должны были вѣнчаться католическими священниками. Только при возстановленіи вѣротерпимости за два года до революціи протестантамъ было разрешено регистрировать свои браки у гражданскихъ чиновниковъ.

Учрежденіе Собрание провозгласило бракъ простымъ гражданскимъ договоромъ, а Законодательное декретомъ 20 сентября 1792 г. опредѣлило и главный шія условія заключенія гражданскихъ браковъ.

Главное отличие гражданскаго брака отъ церковнаго въ юридическомъ отношеніи заключалось въ его расторжимости, т.е. въ допущеніи разводовъ. Законодательство католической церкви на этотъ счетъ необычайно строго. Она признаетъ, что самимъ Христомъ установлена нерасторжимость брачного союза, и по ея ученію даже прямая супружеская невѣрность можетъ быть основаніемъ только для тѣлеснаго разлученія (*séparation de corps*) или разлученія отъ стола и ложа, при чемъ брачный союзъ все-таки остается въ силѣ. Разъ, однако, въ Франціи бракъ былъ объявленъ прежде всего гражданскимъ договоромъ, прежняя нерасторжимость его отпадала, что и было признано упомянутымъ декретомъ 20-го сентября 1792 года.

Допущеніе разводовъ требовали во Франціи нѣкоторыя брошюры, изданные въ начаѣ революціи. Если въ наказахъ 1789 года это требование встрѣчается сравнительно рѣдко, то потомъ въ Учрежденіе Собрание стали поступать объ этомъ петиціи. Въ числѣ мотивовъ признанія законности разводовъ, кромѣ ссылокъ на то, что они, не противорѣча Евангелію, вытекаютъ изъ принципа свободы договоровъ



Жозефина Богарнэ въ Мальмезонѣ. (Лувръ).

Прудонъ.

и т.п., былъ и специальный доводъ: освобожденіе женщины отъ мужскаго деспотизма. Законъ 20-го сентября 1792 года различалъ разводы по определеннымъ поводамъ, по взаимному согласию, по требованію одного изъ супруговъ и по несходству характеровъ (*incompatibilité d'âme ou d'âmes*). Противъ принятія этого третьего пункта возражали съ той точки зреія, что онъ только создастъ благовидный предлогъ для мужчинъ, которые пожелали бы отрываться отъ состарившихся женъ. Законодательное Собрание не убѣдилось этимъ аргументомъ противъ указанного пункта, и онъ былъ принятъ. Противъ легкомысленныхъ разводовъ по второму и третьему пунктамъ законъ принялъ нѣкоторыя мѣры въ видѣ родственныхъ увѣдѣній въ теченіе определенныхъ для каждого случая сроковъ. Конвентъ въ 1793 году пошелъ еще дальше, устранивъ всю первую категорію разводовъ и до-нельзя упростивъ процедуру разводовъ по несходству характеровъ. Разлученіе супруговъ безъ развода, за ненадобность этого института при существованіи развода, было уничтожено.

Въ эпоху Директорій, когда во Франціи замѣчалось общее падение нравовъ, число разводовъ въ городахъ по самымъ ничтожнымъ нерѣдко поводамъ выросло до невѣроятныхъ цифръ. Въ VI году республики (1797—1798) въ Парижѣ состоялось

больше разводовъ, чѣмъ было заключено браковъ. И нѣсколько позднѣе, въ X году республики (1801—1802) на три тысячи браковъ приходилось девятьсотъ разводовъ. Гражданскій кодексъ 1804 года возстановилъ категорію разводовъ по опредѣленнымъ поводамъ и отмѣтилъ разводы по несходству характеровъ, послѣ чего число разводовъ стало быстро падать (до одного на 1270 браковъ во всей Франціи и 75 на то же число въ Парижѣ за періодъ 1806—1815 гг.).

Въ настоящее время во Франціи дѣйствуетъ законъ о разводѣ 1884 года, послѣ періода почти въ семидесять лѣтъ, когда закономъ 1816 года разводъ былъ отмѣненъ. Статья гражданскаго кодекса о разводѣ по взаимному согласію, впрочемъ, тогда не была возстановлена. Жестокое обращеніе или тяжкое оскорблѣніе принято было и въ 1804 и въ 1884 году въ число поводовъ для развода.

Возможность развода вытекала изъ самаго характера гражданскаго брака, какъ договора между двумя свободными сторонами: это было средствомъ самозащиты для женщины, какъ стороны слабѣйшей. Что касается до дѣтей, то законъ 1792 года отдавалъ сыновей отцу, дочерей матери въ случаяхъ развода по взаимному согласію и по несходству характеровъ, а въ остальныхъ случаяхъ судьбу дѣтей решалъ совѣтъ родственниковъ.

Что касается до имущественныхъ отношеній супруговъ, то брачное право революціи признало принципъ не писанаго, а кутумнаго права, т. е. общность имущества, но съ ограниченіемъ правъ жены на ея приданое, объявивъ, что никто изъ супруговъ не является исключительнымъ распорядителемъ собственности семьи. Въ своемъ законодательствѣ по этому вопросу Конвентъ хотѣлъ стоять на той точкѣ зрѣнія, что женщина такъ же дѣлеспособна, какъ и мужчина, что въ свободной странѣ держать ее дальше въ порабощеніи недопустимо, что мужчина властѣ есть создание деспотическихъ правительствъ, и что возстановленіе женщинъ въ ихъ естественныхъ правахъ только создастъ новыхъ защитницъ революціи и республики. Всего этого требовала „философія“, но юристы были противъ единобразного и принудительнаго закона, предпочитая, чтобы имущественные отношенія супруговъ регулировались ихъ брачными договорами съ сохраненіемъ, во всякомъ случаѣ, первенства мужа, но и съ гарантіями

въ пользу жены. Окончательного решения Конвентъ такъ и не принялъ, оставивъ его своимъ преемникамъ.

Если первыя три представительныя собранія (Учредительное, Законодательное и Конвентъ) находились въ вопросахъ права подъ влияніемъ философіи, то въ эпоху общей реакціи при Директоріи было сильное стремленіе къ возстановленію принциповъ стараго права. Завершеніе возвратъ къ старому праву нашелъ въ гражданскомъ кодексѣ, долго носявшемъ название Наполеона.

Больше всего во время этой реакціи пострадало положеніе женщины. У нея были отняты право быть членомъ родственного совѣта и быть опекуніей (если только она не мать или не бабушка опекаемыхъ), право являться свидѣтельницей нѣкоторыхъ правовыхъ актовъ и т. п. Равноправіе половъ въ брачномъ союзѣ было отвергнуто еще въ проектѣ кодекса, составленномъ въ 1796 году. Юристы въ это время уже стояли на той точкѣ зрѣнія, что главенство мужа въ интересахъ семьи соотвѣтствуетъ естественному порядку: природа создала мужчину и женщину такими, что, физически и духовно болѣе слабая, женщина нуждается въ покровительствѣ и руководительствѣ мужчины, а это требуетъ съ ея стороны повиновенія мужу, какъ это и было прямо сказано въ кодексѣ. Жена была не только подчинена мужу этимъ кодексомъ, но и объявлена недѣлеспособной, такъ какъ всѣ ея правовыя дѣйствія стали требовать согласія мужа. Обязывая обоихъ супруговъ быть вѣрными другъ другу, кодексъ дѣлалъ, однако, различіе между невѣрностью жены и невѣрностью мужа. Первая была признана безусловнымъ поводомъ для требованій мужемъ развода, тогда какъ женѣ было предоставлено право требовать развода только въ томъ случаѣ, если невѣрный супругъ держитъ свою возлюбленную въ одномъ домѣ съ женою. Точно также законъ признавалъ извинительнымъ убийство мужемъ жены на мѣстѣ преступленія, но не мужа женою. Наконецъ, мужъ получиль право засадить невѣрную жену въ тюрьму, тогда какъ мужъ, державшій наложницу въ своемъ домѣ, отдѣльвался только штрафомъ. Однимъ словомъ, въ кодексѣ Наполеона женское гражданское равноправіе пошло на смарку, что, впрочемъ, вполнѣ соотвѣтствовало и въ политической жизни замѣнѣ принципа свободы принципомъ неограниченной власти.



Я—ничья, я—своя и свободна, какъ степь,
И въ душѣ такъ же пусто, какъ въ ней...
Спали съ рукъ кандалы—эта ржавая цѣль
Пережитой ошибки моей...
Мнѣ такъ холодно жить, опостылѣлъ мнѣ свѣтъ,
Я не знаю, что дѣлать съ собой...

Оборвался мой путь, потерялся мой слѣдъ,
И возврата нѣтъ въ край голубой...
Пусто, холодно... будетъ еще холоднѣй—
Темнота настаетъ, и кругомъ тишина...
Нѣту на небѣ звѣздъ, на землѣ нѣть огней—
Я—ничья, я—своя, я—одна!..

О. Ушакова.

Старатели.

Повѣсть недавнихъ дней.

Н. Тихонова.

(Окончаніе).

VIII.

По длинному, узкому, скучному, построенному на сваяхъ черезъ безконечное болото-озеро, мосту раннимъ утромъ двигалась колонна конницы. Это шель походнымъ порядкомъ драгунскій полкъ, вызванный на расформированіе.

Полкъ подняли рано, люди еще не раскачались послѣ короткаго сна, и вскорѣ вымытые лица пахли свѣжестью и легкимъ утреннимъ вѣтромъ, сѣномъ и тѣмъ особымъ запахомъ, какой приобрѣтаютъ люди, лошади и веци, находящіеся уже нѣсколько часовъ въ дорогѣ. Молчаніе прерывалось тихимъ звономъ стремянъ, ударявшихъ о стремена соѣда, и шашекъ, колотившихъ о неподобраннѣе какъ слѣдуетъ противогазы. Но скоро послышались съ разныхъ сторонъ голоса съ самыми разными вопросами и заявленіями, бѣжавшіе по колоннѣ. Кто просилъ закурить, кто спрашивалъ, который часть, сколько версты прошли...

Потомъ послышалась голосъ задиры, тонкий и лукавый, съ усмѣшкой спрашивающей кого-то:

— Да ты изъ запасливыхъ, товарищъ,—самогонку съ собой прешь, это чтобъ веселѣ?

— Держи карманъ узенькимъ кверху: самогонка? Этой самогонкѣ 25 цѣлковыхъ цѣна... Спиртикомъ называется!

Но задира не унимался:

— Слушай, а ты знаешь, куда мы дѣмъ?

— Митаву братъ!—отвѣтилъ ему другой голосъ, здоровый и сиплый.—Развѣ не знаешь? „Ишакъ“ въ приказѣ написалъ, чтобы взяли...

— Митаву, не Митаву, а вотъ какъ уѣдемъ далеко — прощай твоя нѣмка!

— Какая нѣмка?

— А что на недѣль прѣѣзжала: пиши, пропало.

— Куда ей дѣться! Останется цѣла, шкура, подождетъ.

— Станетъ она ждать такого перца. Гусары перехватятъ. Хахаха! Плакали тогда твои денежки. Поди, впередъ дѣлай?

— Я вотъ тебѣ дамъ впередъ, чтобы не дразнился. Опять „Ласточка“ хромаетъ. Смотри, доведешь лошадь, что сдохнетъ. Лѣнъ тебѣ лишний разъ на проѣздку сѣѣздить. Учили васъ мало... Попался бы мнѣ подъ руку, я бы тебѣ Москву показалъ...

— Не шали, дядя. Не замахивайся попусту, споемъ лучше, брось эти свои тренди-брэнди, заживемъ скоро хорошо, а не заживемъ—помирать будемъ—еще лучше... Ну, затягивай...

— Убирайся къ дьяволу! Что, лошадь держать не можешь?.. Куда лѣзешь: что ряды путаешь? Вотъ пройду случайно нагайкой, такъ узнаешь!.. Эй, вы тамъ, мертвые, заснули... Имъ кричать: рѣсью, а они, не бѣ сегодня, не слышать. Пошевеливайтесь!

И колонна переходила въ рѣсу...

Мирцевъ Ѳаль позади всѣхъ, вмѣстѣ съ командой связи, оглядывался кругомъ и пока оставался доволенъ. Картина, окружающая его, была по-своему хороша. На огромномъ пространствѣ раскинулось озеро-болото, съ широкими коридорами свѣтлой воды между зеленыхъ, плотныхъ камышей, сверкая желтыми кувшинками и какими-то незнакомыми ему фиолетовыми цѣлками на длинныхъ, вьюющихся стебляхъ. Небо было большое, бѣлое, спокойное, а далеко впереди темнѣли стѣны лѣса, обступая желтые, гладкіе бугры, на которыхъ бѣгали высокія, черные птицы, взлетали со слабымъ крикомъ и снова садились, заѣбвая камыши плоскими крыльями. Направо виднѣлись недобѣланные окопы съ блиндажами, вскорѣ забросанными еловыми вѣтвями ходами сообщеній, у которыхъ стѣнки обвалились, съ амбразурами, въ отверстіе которыхъ улыбалось бѣлое, чистое, свѣжее, только-что спиленное дерево... А колючая проволока, неразвитая, кругами лежала на скатахъ, выложенныхъ неаккуратно сырьемъ, зеленѣющимъ дерномъ. А нальво, въ сторонѣ стояла одионокий крестъ, сдѣланный изъ двухъ палокъ, перевязанныхъ кресть-на-крестъ бечевкою... Ни надписи, ни вѣнца, ни фуражки... Что это за одинокая могила? Но Мирцевъ чувствовалъ себя сегодня пре-

восходно. Довольство переполняло все его существо такъ, что онъ съ удовольствиемъ смотрѣлъ по сторонамъ, улыбался грубымъ и колкимъ словамъ, самъ просилъ закурить у сосѣдей, суровыхъ, длинноусыхъ драгунъ, перекидывался короткими замѣчаніями съ вахмистрами и офицерами, обгонявшими его, съ наслаждениемъ приподыпался и опускался въ сѣдлѣ, трепалъ мохнатыя уши своего жеребца, заставляя его рысить на шагу, и безъ всякаго раздраженія думалъ объ Ивановѣ, съ которымъ имѣлъ утромъ короткую стычку...

Когда начались сборы въ экспедицію и Мирцевъ побѣжалъ брату оружіе, запасаться хлѣбомъ, сахаромъ и чаемъ, на всякий случай, и собирать выюкъ, Ивановъ поймалъ его на балконѣ и сказалъ:

— Такъ вы, значитъ, съ Зейманомъ пойдете! И довольно. Я останусь здѣсь...

— Какъ? Почему?

— Да у меня нѣтъ никакой охоты по болотамъ таскаться. Я не новичокъ, слава Богу, знаю эти прелести... Я останусь, да у меня и дѣла. Вы вернетесь не раньше вечера, а къ вечеру я буду дома...

— Какъ же ты говоришь, что ты останешься, а самъ собираешься улизнуть... Вѣдь у тебя столько дѣлъ. Ей-Богу, заворчать скоро на комитетъ. А все изъ-за тебя.

— Брось дурака валить. Что я, ничего не дѣлаю, что ли? Вонъ вчера пришли трое изъ эскадрона въ отпускъ. Миомъ настроилъ тутъ же при нихъ бумаги, снесъ къ адъютанту, и все сдѣлалъ. Вѣдь довольны будутъ. Что, меня не знаютъ, что ли? Главное—быстро, что зря сидѣть, тинуть бѣса за хвостъ. Дѣлай все при нихъ и скоро, и поймутъ, въ чёмъ комитетъ заключается. Я эту премудрость сразу постигъ!

— Ну, а куда же ты отправишься? На станцію шататься?

— Что мнѣ тамъ дѣлать! Эльза уѣхала...

— Такъ ты заберешься куда-нибудь, а кто здѣсь останется?

— Никто! Запрѣмъ дачу...

— Запрѣмъ, а кто отвѣтствуетъ за имущество?

— Ну, — имущество! Пусть моего Штирнера крадутъ, нового куплю, а у тебя что? Френчъ твой у Зеймана, а новые штаны на себя надѣнь, вотъ и все... Хозяйство, подумаешь... А бумаги? Кому онѣ нужны? Да вѣдь мы запрѣмъ все, и ключъ съ собой возьмите. О чёмъ зря говорить-то... Вы сами не знаете, когда вернетесь. Я дѣлъ... Ничего не будетъ. Я при старомъ режимѣ три раза въ „полетахъ“ былъ, а тутъ буду церемониться... Заворчать, пусть ворчать... Они сами ничего не дѣлаютъ. Даже япчикъ денежный лѣнъ караулъ, а на посты бѣдятъ, такъ и я быль на этихъ постахъ. Цѣлый день въ морѣ баражатъ, а на вышкахъ безъ штановъ, въ одиныхъ шинеляхъ стоять. Тоже трудъ.

Кончили на томъ, что дачу заперли, ключъ оставилъ хозяинъ дачи, латышъ, жившій рядомъ. Мирцевъ Ѳаль съ полкомъ, а черезъ три часа послѣ этого Ивановъ Ѳаль въ поѣздѣ въ Р. и вмѣстѣ съ остальной публикой спорилъ съ большевистскимъ солдатомъ, съ лицомъ, испорченнымъ осью и шрамами, горячо защищавшимъ „Окончнью Правду“ всей силой упорного, тяжелаго сознанія... Отъ солдата пахло черноземомъ, полемъ и сѣномъ, и онъ былъ больше похожъ на мужика, чѣмъ на солдата еще и потому, что на его гимнастеркѣ не было погонъ...

IX.

— А, здравствуйте, съ добрымъ утромъ!—раздался возгласъ, и высокій всадникъ съ пушистыми рыжими усами поѣхалъ рядомъ съ Мирцевымъ.

— Товарищъ Шестовъ—и вѣсъ съ тѣмъ же!—улыбнулся Мирцевъ.—Что это вы отстали?

— По дѣлу, по дѣлу—все дѣла да случаи,—вотъ справлялся какъ же быть съ кухнями... Съ собой не взяли, вернуться къ обѣду невозможно—ѣздилъ узнавать... Чтобы людей безъ дѣды не оставлять. Съ утра вѣдь поднялись и поѣхать не успѣли. А кон-



Пов'яло прохладой.

И. Горюшкинъ-Сорокопудовъ

сервовъ и въ поминѣ нѣть... Потому: интендантская доставка Когда въ городѣ стоимъ—пожалуйте по банкѣ, а какъ въ походъ — грызли сухари... Люди!

— Ну, а что же, узнали?

— Узналъ. Кухни нагонять насть и будуть ждать на полдорогъ. Тамъ на обратномъ пути и приваль сдѣлаютъ. А гдѣ же ваши товарищи, Комитетъ нашъ прославленный?

— Зейманъ впереди, за Янычаровымъ єдетъ, гордъ и прямъ, какъ и подобаетъ предсѣдателю. Доволенъ мерзавецъ...

— Видѣль, видѣль. А Ивановъ?

— Ивановъ?—зажмурилъ глаза Мирцевъ,—за почтой отправился... въ Искосоль тоже надо... Пришлось оставить. А вы вѣдь тоже депутатъ. Ну, а ваши депутатскіе успѣхи?

— Успѣхи? Это у меня то? Избавьте, никогда у публики успѣхомъ не пользовался. Сызмалоѣства не знаю, что это слово значитъ. И знаете: не люблю я, скажу вамъ, этихъ... извините за выраженіе,—онъ кинулъ на бѣхавшихъ впереди солдатъ,—а вѣбѣсть съ тѣмъ нате ихъ защитникъ, полковой депутатъ, какъ же! А знаете, какъ я опредѣляю эту личность?

— То-есть?—не понялъ Мирцевъ,—какую личность?

— Да вотъ полкового депутата-то: это эскадронное чучело для укуловъ пикою... Мышокъ соломенный, ничего своего. Все за нихъ... и стараися, и распинайся, и хлопчи, и клянчи,—а тутъ сзади тебѣ въ спину, въ бокъ, въ голову—только труха лягти...

— Да что вы? Вы преувеличиваете, — засмѣялся Мирцевъ, — ей-Богу, не нахожу сходства...

— Не находите? А помните исторійку-то съ коврами, съ сукнами?

— Ну, помню...

— Ну, такъ вотъ вамъ. Послали нашихъ голубчиковъ складъ изъ пожарѣ охранять, они и сохранили его... А какъ вернулись—у каждого по ковру да по одѣялу. Узнали наши доброжелатели и попросили изъ цугундеръ... «Охранители порядка? Складъ отъ грабежа караулите, пользу родинѣ приносите... А съ собой что принесли? А что это тамъ у васъ подъ нарами да подъ сѣдлами припрятано? Потники новые, да? А не желаете ли вы съ этими потниками да среди бѣла дня въ Искосоль прогуляться?..» Оправдали репутацію, законники, блюстители... Позоры! позоры! Кто распинаться пошелъ, кто водопады цѣлые изливали тамъ, кто шпиль, а у самого кошки внутри скребли, вотъ такія огромныя... Моя милюсь ночью въ Искосоль способы изыскивала...

— Да, да, да,—слыхалъ эту исторію.

— И сегодняшняя исторія мнѣ не нравится...

— Вещь прискорбная, но необходима, къ сожалѣнію... А потому, я скажу, небезполезная... Имя полка подымется. Это хорошо.

— Мало хорошаго. Ничего, когда драгуны какую-нибудь тамъ пѣхотишку расформировываютъ, а вотъ когда пѣхота будетъ у драгунъ порядокъ наводить, вотъ тогда...

— Ну, этого-то никогда не будетъ...

— Не будетъ? Что они изъ другого тѣста сдѣланы? Одна глина. И тѣ ярославскіе, и тѣ—пошечонскіе: землики. Только одинъ пѣщникомъ дереть, а другой на лощади. А шкура-то у нихъ одна и мысли однѣ... Близко ихъ знало, всѣхъ до единаго... Спали вѣбѣсть по окопамъ да халупамъ не даромъ, въ развѣдкахъ терлись да въ бою, въ цѣли вылѣживали... До послѣдніго перва нихъ знало...

— И что же? Вы боитесь за нихъ?

— Признаюсь: неувѣренъ!

— Но сейчасъ это первыя по дисциплинѣ части въ арміи. И посмотрите: комитеты ведутъ здоровую политику, и солдаты здраво смотрятъ на вещи...

— До поры до времени! Знаете, приходилось мнѣ сталкиваться съ преступнымъ міромъ, потому что причастенъ къ нему до нѣкоторой степени, бывшій земскій врачъ, такъ вотъ я скажу вамъ одну вещь: если воръ, выжига необыкновенная, судившійся безъ конца и знающій тюрьмы, какъ свою мамашу, да захочетъ что-нибудь такое ужасное со злобы сдѣлать: пойдетъ и воробья убить; ей-Богу, и попадется сразу и за воробью на категору пойдеть,—вотъ и вся его злоба, а если человѣкъ добродѣтельный, да съ изюминкой совѣсти, съ чувствомъ личности да сознаніемъ, уважаемый и почтенный, на грѣхъ пойдетъ—бѣгите лучше,—такого натворить, что вы ротъ разинете и въ соляной столбъ обратитесь. Вотъ и наши ребята, святые подлецы эти, они тоже у васъ всѣхъ, и въ Искосоль, и у пѣхоты, и у артиллеріи, и у жителей добродѣтельными считаются... А добродѣтель то ихъ показная, ложная, гроша мѣднаго не стѣтитъ... Принципы ихъ: грабежъ, настоящій грабежъ, тѣтъ, слушайкою вы наблюдали, вѣрно, неоднократно, да какой грабежъ? Нѣмцу пѣхѣному свой послѣдній кусокъ хлѣба отдаешь, а со своего все сдергать, и рубашку вѣбѣсть съ кожей,—не замѣтить...

— Я слушаю,—сказалъ Мирцевъ, разбирая поводья и чувствуя, какъ онъ весь полонъ здоровьемъ, силой, и вспоминая, что сегодня придуть письма изъ дому, и когда онъ вернется, его ждётъ цѣлый рядъ удовольствій: обѣдъ, сонъ, письма, газета... и поэтому онъ охотно слушалъ Шестова, ухмылявшагося въ усы и вытягивавшаго насмѣшило подбородокъ.—Вы очень наблюдалы и прозорливы, если хотите, хотя нѣть пророка въ своемъ огечествѣ...

— Въ томъ и бѣда! Ну, да этого не поправишь... А ихъ фразеология: внизъ по матушкѣ по Волгѣ... Прислушайтесь... И страшно

вамъ стать за Маркса, Каутского, Бебеля, или просто за нашего брата-идеалиста, какъ услышите этотъ прогнозъ, этотъ референт разумѣистый: внизъ по матушкѣ по Волгѣ. И талантливо это у нихъ выходить... Ругаться мастера, школа чувствуется. Восторгъ и трепетаніе... Душа радуется... Да что тамъ, и самъ грѣшень—въ другой разъ пропущу...

— Да, но вѣдь наша и ихъ идеология?..

— Ихъ идеология? Драгунская, съ желтымъ кантомъ, со ширинами. И гласить всѣми буквами: воруй, да не попадайся... Какъ на щитѣ у рыцарей: Богъ и мое право!—Воруй, да не попадайся...

— Это хорошо,—захохоталъ Мирцевъ,—серезно, вы большой наблюдатель. Любой народникъ позавидуетъ: вамъ бы писать надо... Но какъ же тогда вы живете съ ними?

— Живу? Сроднился—зубами рвите, не оторвete. И помирать вѣбѣсть будемъ. Уже что-что, а это пополамъ. Что же я безъ нихъ дѣлать буду?.. Скоты, негодяи—а мыль дѣтей собственныхъ. Въ этомъ и все. Въ этомъ и смыслъ моей жизни, тоже поганой, и тоскливой, и мутной, заключается...

— А вы женаты?

— Сынъ въ Петроградѣ въ гимназію бѣгаєтъ. Тоже—революціонеръ будущій...

Въ этотъ моментъ отъ головы колонны раздался крикъ, повторенный всѣми: «стой! слѣзай!» Всадники остановились и начали спрыгивать на землю. Съ этого мѣста дальше пошли въ пѣшемъ строю...

X.

Когда человѣкъ бываетъ поглощенъ какой-нибудь одной идеей, да еще такой, на которой онъ строить собственное существованіе, то взглянуть его на окружающее становится очень одностороннимъ. Все, что онъ дѣлаетъ худого или хорошаго, все связано неразрывно съ наполняющей его идеей, все понятно и близко только въ связи съ ней, и, наоборотъ, то, что не приближается къ ней или несогласно, то становится ему враждебнымъ прямо или косвенно, безъ малѣйшей возможности оправданія.

Такъ строгий къ себѣ Кургановъ былъ строгъ ко всѣмъ людямъ безъ различія. И когда онъ всталъ между разбросанными блиндажами и шалашами, въ лѣсу, среди солдатъ третьего батальона, онъ не задумался надъ тѣмъ, съ чего начать и чѣмъ кончить.

— Искосольцы прѣѣхали!—закричалъ при видѣ автомобиля приземистый, худой солдатъ и началъ звать, какъ бы радуясь неожиданному развлечению.—Эй, ребята, сѣѣгай сюда, Липатовъ, зови взводы-то, искосольцы прѣѣхали... Митинга будетъ. Кличь людей-то...

На безмолвной до сихъ порь площадкѣ началась возня; изъ низкихъ дверей, изъ-за кустовъ, изъ-подъ телѣгъ, палатокъ, кучъ сѣна выползали бурыя, желтая, солнця фигуры, отряхивавшіяся и оглядывавшіяся по сторонамъ съ недовѣріемъ... Положимъ, большинство сохранило философское спокойствіе и невозмутимую флегматичность.

— На митингу, эй, вы, на митингу идите!—звалъ первый солдатъ, которому видимо просто нравилось слушать свой голосъ.—Выходи, до единаго!

Нагонецъ за кучками взводовъ, собравшимися вокругъ автомобиля, показалось и начальство: пять или шесть прaporovъ, безъ усыхъ, загорѣлыхъ, съ лѣнивыми движеніями разбуженныхъ не вѣ-время людей. Одинъ изъ нихъ подошелъ къ Курганову и сталъ ему что-то шопотомъ говорить.

— Да, да, не задержу,—быстро отвѣтилъ ему тотъ.—Вѣдь ли пришли? Я буду съ ними говорить... Вѣдь ли здѣсь?—повторилъ онъ громко.

— Вѣдь, кажись,—нерѣшительно отвѣчали передніе; изъ-за спины ихъ уже раздались другие, темные голоса, притворявшіяся злыми:—Чего тутъ разговаривать-то... Не вѣ-время прѣѣхали... Пускай оглобли поворачиваются... Не нужно намъ ихъ... Лучше бы убрали по-добру, по-здравому...

Но Кургановъ не слышалъ, или не хотѣлъ слышать эти слова... Онъ всталъ на сидѣніе автомобиля и, покрывая ропотъ и отдѣльные голоса, заговорилъ. И говорилъ онъ такъ рѣшительно и рѣзко, что невольно отодвинулись передніе и смолкли крикуны...

— Товарищи! Худой миръ лучше доброй ссоры. Это говорили вамъ тѣ, кто хотѣлъ сдѣлать и кому было выгодно сдѣлать васъ обезличенными животными. Съ тѣми вы боялись ссоры и предполагали всегда худой миръ. Теперь мы пришли къ вамъ, выбирая отъ васъ же, призванные защищать вашу свободу, вашу честь, вашу жизнь! И мы сказали вамъ: что у васъ на душѣ? Откройте... И если у васъ радость—мы раздѣлимъ съ вами радость, и если страданіе—попытаемся исцѣлить это страданіе. Если васъ обидѣли—кто вашъ обидчикъ, укажите—и мы его на-кажемъ вашимъ же именемъ, именемъ народу; если васъ оскорбили, оскорбители понесутъ кару, жестокую и справедливую. Вотъ о чёмъ мы хотѣли съ вами говорить, вотъ какъ мы хотѣли слить наши пути въ общемъ устремлѣніи къ великому дѣлу, но что, скажите, вѣбѣсто этого мы нашли? Наше дѣло требуетъ равнаго отношенія къ себѣ отъ каждого сознательного, требуетъ жертвы, требуетъ отреченія отъ страха за собственную шкуру... и если вы, товарищи, назвали себя воинами революціи—честь вамъ и слава, но если вы, называетъ себя такъ, думаете и дѣствуете иначе, и я скажу прямо: думаете и дѣствуете подло, то

и разговоръ тогда будетъ другой. Свобода знаетъ, какъ любить своихъ героевъ и какъ наказывать измѣнниковъ. И вы...

— Слыхали ужо, довольно! Заткни ротъ-то... Измѣнники—тоже. А самъ-то кто? Кто тебя знаетъ. Зеленъ еще другъ-то облавлять... Хорошо поешь... Толпа заволновалась, зашумѣла, какъ звѣрь, оскаливающій зубы и недовольный...

— Вздуть его! — раздался чей-то вскрикъ, и въ ту сторону обратился Кургановъ, поднимаясь на носкахъ и желая разсмотреть кричавшаго.

Офицеры равнодушно смотрѣли на происходившее. Они были заранѣе предупреждены и потому ожидали со скучой, когда же наконецъ вырвутъ ихъ изъ этого проклятаго тусклаго логова, изъ среды этихъ чужихъ имъ расходившихся, выброшенныхъ изъ дисциплины людей, не понимающихъ самыхъ простыхъ и ясныхъ вещей. Спутники Курганова невольно взялись за револьверы, чтобы по первому знаку защитить товарища, на котораго напала толпа...

— Товарищи, все, что вы сдѣлали, недостойно солдата русской революціонной арміи, а потому я буду кратокъ! Искосомъ въ согласіи съ команднымъ составомъ рѣшилъ вѣстъ расформировать. Поэтому я — онъ возвысилъ голосъ — совсѣмъ не думать о безполезномъ сопротивленіи, а построиться по взводамъ и выступить въ походномъ порядкѣ въ городъ Р., где подстрекатели и провокаторы будуть преданы суду, а остальныхъ отправлены по другимъ полкамъ...

Въ отвѣтъ на это солдаты бурно зашевелились, раскололись на группы, и нѣкоторыя изъ этихъ группъ съ угрожающими криками и жестами остались около автомашинъ, а другія устремились въ блиндачи за оружіемъ.

— Не дадимся, не дадимся! Врешь! — кричали они, на ходу разстегивая подсумки. — Посмотримъ, кто кого... Дратъся будемъ!

Но когда они добѣжали до блиндачей, тамъ ихъ ждала неожиданная картина... Всѣ винтовки и пудельеты были собраны въ кучи, и у этихъ кучъ стояли спѣшные драгуны съ винтовками на изготовку. Пѣхотинцы остановились. Болѣе задорные и горячіе изъ нихъ попытались приблизиться къ оружию, но высокій, краснощекій вахмистръ второго эскадрона кричалъ имъ насыплющіе:

— Огнестай, отлетай въ сторону! Гулай до лису, бисовы хлопцы! Да не спрячетесь все равно, дурачины, — добавлялъ онъ, — и тамъ найдемъ!

Драгуны улыбались его хохлацкому неправильному языку, его нарочито смѣшнымъ ругательствамъ и самоувѣренному тону, и отошли пѣхотинцевъ прикладами и нагайками.

Зейманъ на красивой черной лошади подъѣхалъ къ Курганову и спросилъ:

— Я думаю, можно строить? Эскадроны подтянулись, и дѣла здѣсь по эту сторону, а тѣ спѣшились за болотомъ, потому что у нѣмцевъ поднялся привязной шаръ. Могутъ увидѣть. Полковникъ Янычаровъ тамъ съ генераломъ Растигинъмъ обсуждаютъ, какъ провести „этихъ“...

— Да, съ ними кончено! Мы побѣдимъ прямо къ мосту, знаете, гдѣ штабъ, и тамъ подождемъ... А вы поспѣшайте...

— Одну минуту: ихъ можно отправить пѣшкомъ подъ конвоемъ драгунъ?

— Да, до штаба!

— А дальше?

— А дальше... Не хотите ли вы сказать, что мы ихъ будемъ гнать, какъ скотъ, пѣшкомъ въ городъ? Я вызвалъ грузовики, и тамъ, у штаба, мы ихъ посадимъ. А теперь командуйте... Да оружіе захватите, ничего не оставляйте... И людей по спискамъ проверьте. Офицеры, конечно, свободны!..

XI.

Черезъ полчаса все было приведено въ порядокъ. Насколько раньше рѣзки и вспышчивы и склонны къ дракѣ были многіе изъ солдатъ третьего батальона, настолько теперь они тихо и



На Черномъ морѣ.

А. Шильдеръ.

спокойно шли въ свои блиндажи и землянки, собирали нехитрые пожитки, сломанные бѣлые чайники, недогрызанные сухари, какую-то пеструю и грязную рвань, плевали на земляной полъ, глухо сморкались въ клѣтчатые, сѣрые, затасканные платки и строились, смотря въ землю хмурыми, бѣгающими глазами. И становились они похожи одинъ на другого, и стѣживались быстро, и спины ихъ выгибались, какъ горбы, и руки ихъ падали покорно по бокамъ, и походка пріобрѣтала безразличіе и лѣнъ.

— Куда это, земляки, собирались? — гаркнулъ весело молодой драгунъ, гардунъ на сѣромъ упрамомъ жеребѣ по дорогѣ на вѣтрѣ взвѣдомъ. — Никакъ на деревню съ дѣвками пѣсни пѣть?

— Навоевались, съ насть будя! — отвѣтили ему вразъ нѣсколько человѣкъ, и отвѣтили почти весело.

— А гдѣ бы здѣсь воды испить? — спросилъ драгунъ, продолжая гарцевать.

— А вонь тамъ, за будкой, направо колодецъ — только, слышь, не хороша вода-то...

— Ничего, не помремъ, — драгунъ побѣжалъ рысью между березами.

Наконецъ взвѣды построились, пересчитались, и въ эту минуту къ мѣсту происшествія подошли еще два эскадрона. Зейманъ послѣдовалъ съ командиромъ полка, полковникомъ Янычаровымъ, и они рѣшили сначала миновать дорогу, находившуюся въ линіи обстрѣла нѣмецкой батареи, рысью съ первымъ и вторымъ эскадронами, а третіему и четвертому конвоировать пѣхоту до штаба дивизіи.

Первые два эскадрона благополучно миновали крупной рысью опасное мѣсто и скрылись въ лѣсу. Зейманъ ѿхалъ вторымъ, за командиромъ полка, и держался на лошади, какъ на заѣздціяхъ:

надменно и прямо. Правда, это не удавалось ему съ такою отчелюстью, какъ на стулѣ, но френчъ и новое сѣдло, а также отсутствіе винтовки и пики подчеркивали привилегированное положеніе всадника. Когда къ нему обращались командиръ полка или адъютантъ, онъ отвѣчалъ имъ, заставляя лошадь на мѣстѣ переступать ногами, слегка согнувшись голову и вытянувшись губы, что придавало еще болѣе соцредоточенное и отвѣтственное выраженіе его лицу.

Зейманъ принадлежалъ къ тѣмъ людямъ, которые задаются цѣлью останавливать на себѣ вниманіе общества. Ничто такъ не лѣститъ имъ, какъ похвала общественнаго мнѣнія. Если они глупы, то къ концу жизни заболѣваютъ манией величія, если умны—могутъ стать министрами.

Сегодня Зейманъ былъ очень доволенъ. И тѣмъ, что онъ на виду у цѣлаго отряда, у цѣлой тысячи людей, и тѣмъ, что у него независимый и гордый видъ, и тѣмъ, что онъѣздить и распоражается, какъ помощникъ начальника экспедиціи (экспедиція была поручена Янычарову), и тѣмъ, что ему можно приказывать и смотрѣть свысока на эту жалкую пѣхоту и спрашививать блестящихъ корнетовъ о разныхъ вещахъ, со снисходительной улыбкой...

Это была обыкновенная военная дорога, простая и суровая въ простотѣ своей. Пролегала она по болоту, ровному и открытыму непріятелю, и часто слышала она короткіе и злые грохоты батареи, и рѣже—крики погибшихъ нечаянно и страшно. Бѣхали и шли по ней люди, торопились и волновались, или тащились, перегруженные амуниціей и забоями, каждый съ собственной своей горестью, своей вѣрой и любовью, вдругъ разбѣгались, падали, и потомъ уносили маленькие, черные, такие жалкие, не стоящіе вниманія, трупы куда-то въ лѣсъ, и только вѣтъ любопытно и нагло наклонялся надъ лужами крови и, заглянувшись въ нихъ, надувалъ свои пухлые, холодныя щеки и сердито толкалъ сухія, маленькие деревца, елки, поставленныя плотными рядами по ту сторону дороги, которая была обращена къ нѣмцамъ, чтобы имъ не было видно войскъ, идущихъ къ окопамъ.

По этой дорогѣ ишли третій и четвертый эскадроны въ пѣшемъ строю, наклонивъ пики, чтобы ихъ блескъ не выдалъ присутствія кавалеріи; драгуны шли, ведя за собой усталыхъ, изморенныхъ лошадей, протягивавшихъ морды къ узкимъ, пыльнымъ елкамъ. Дорога была избита и изѣбѣжена и исхожена, а потому ноги тонули въ мягкой глине, въ мелкихъ колдобинахъ и ямахъ; пѣхотинцы-пѣхѣники двигались посрединѣ, и всѣ ряды сильно растянулись; не спѣшили, шли нога за ногу. Поть обливала виски и щеки, и лобъ, пить хотѣлось такъ, что Мирцевъ нѣсколько разъ въ раздумье останавливался у канавы, где на днѣ, желтомъ и покрытомъ какими-то гнилыми листьями и камешками, тускло блестѣла зеленоватая вода. Но всякий разъ отвращеніе побѣжало, и онъ снова принимался отмѣривать шаги, таща спотыкающуюся лошадь, тоже смотрѣвшую съ вождѣніемъ на мутныя лужи въ канавѣ.

Такъ итти приходилось больше версты. Вдругъ гдѣ-то за спиной раздался одинокій, случайный выстрѣлъ и потомъ гулкое шипѣніе приближавшагося снаряда... Люди замедлили шаги, головы поднялись вверхъ... Шипѣніе приближалось.

«Убить,—подумалъ Мирцевъ,—уидѣли... Если правильно прицѣль возвѣтъ—никто цѣльмы не уйдетъ!»

Что-то большое и горячее ударило въ болото шагахъ въ 70-ти отъ идущихъ. Снарядъ захлебнулся въ грязи и со странными зукомъ: чвашши... утонулъ въ болотѣ... Второй и третій упали далеко впередъ... Потомъ наступило молчаніе. Головы опустились. Но въ движеніяхъ шедшихъ уже замѣтна была нервность. Многие подтянули ближе лошадей, укоротили поводья, вѣсли мундштуки, надѣли на себя винтовки, которыя несли въ рукахъ, и зло поглядывали на пѣхоту...

Мирцевъ инстинктивно отошелъ къ елкамъ, какъ будто это могло спасти или скрыть его отъ снаряда. Пѣхота осталась совершенно спокойной. Только одинъ, съ козлиной, рваной бороденкой, солдатъ, черный, какъ уголь, отъ пыли, копоти и загара, явственно пропустилъ:

— Эхъ, хорошо бы... Попадь бы нѣмецъ... Насъ бы побили, да и жандармамъ атамъ досталось бы... Эхъ, хорошо бы... Все одно!

И больше онъ ничего не прибавилъ и заковылялъ дальше, такой же черный и усталый.

Мирцевъ посмотрѣлъ на него, и ему стало неловко. Такъ было хорошо до сихъ порь, такъ ладно все шло; довольство оставалось, несмотря на зной, усталость, голодъ, жажду... Пускай онъ и голоденъ, и охота пить, и погамъ болѣе отъ непривычки ходить такъ много по такой дорогѣ, и отъ долгойѣзы, — полдень уже миновалъ, — но все это хорошо само по себѣ, потому что такъ нужно... Кому? Въ этомъ онъ задумался бы дать отвѣтъ... Но сейчасъ, когда онъ приглядѣлся къ этимъ шагавшимъ съ нимъ вмѣстѣ людямъ, въ его умѣ шевельнулась тяжелая, нудная и некрасивая мысль, отъ которой вдругъ стало неловко.

«Боже мой,—думалъ онъ,—неужели это люди? Вѣдь вѣтъ драгуны—любо посмотретьъ: молодецъ къ молодцу, гордые, ловкие,—что бы тамъ ни говорилъ Шестовъ, самоувѣренные, даже наглые—во и малость эта подкупаетъ и располагаетъ въ ихъ пользу,—а это что? Стадо сѣрыхъ звѣрей, ни у кого нѣтъ ничего

яркаго, выдающагося, даже просто человѣческаго, точно поднялась и идеть по дорогѣ цѣлая поляна пней,—пней, заросшихъ мхомъ, покрытыхъ вѣковой пылью, дремой дремучаго лѣса, пескомъ и глиной многихъ бурь, прахомъ сваленныхъ и стинившихъ старыхъ дубовъ и сосенъ. Идуть эти пни и молчать и что-то несуть подъ сѣрыми, ужасными одеждами—что? неужели такое же, какъ у него, молодое, полное сердце?.. И клонятся внизъ страшныя молчаливые головы, и кажется, что не мысли въ черепахъ, а какіе-то тяжелые камни, которые давятъ книзу, и оттого глаза такъ бездушны и тусклы, и оттого ноги спотыкаются, какъ палка въ рукахъ слѣпца... И какъ они молчатъ... Но еще стало страшнѣй и неожиданнѣй, когда одинъ изъ нихъ заговорилъ съ Мирцевымъ: было это уже въ лѣсу, когда миновали дорогу, и драгуны сѣли на лошадей, а „пѣхѣники“ шли, окруженные ими... Близайшій къ Мирцеву пѣхотинецъ замедли шагъ и спросилъ:

— А что, товарищъ, вѣсъ-то развѣ не утѣшаютъ? — и Мирцевъ, поймавъ эти слова, такъ дернувшись поводья, что лошадь задрала кверху голову и остановилась.

Онъ не отвѣтилъ и отвернулся. Онъ думалъ о другомъ, называемомъ, гнетущемъ чувствѣ, которое вплюзало въ его душу вмѣсто прежняго здоровоаго довольства.

Точно въ празднично убранную залу съ роскошно сверкающимъ столомъ, коврами, картинами, вазами и занавѣсками вползло темное, косматое чудовище, липкими и грязными лапами испачкало серебро и порвала ткани, заслонило перепончатыми, черными крыльями свѣтъ въ окнахъ, вымочило лучшіе фрукты и сладости въ зеленой отвратительной иѣнѣ и слонѣ и очаровало всѣхъ нарядныхъ, красныхъ гостей холоднымя, бездоннымя взглядомъ. И, можетъ-быть, эта призракъ, идущій вровень съ его лошадью, ничего не сказалъ. Ему почудилось? Но приблизилось на близкое мгновеніе лицо того, и запомнилъ на всю жизнь Мирцевъ простыя и величавыя, точно глубоко задумавшіяся, черты его, человѣческія, ясныя черты подъ черной, грубой, шелудивой корой завѣтренаго дерева... И такъ это было неожиданно, точно овца, отѣлившаяся отъ стада, заговорила съ паствуемъ человѣческимъ голосомъ. И жажда, и голодъ, и усталость сразу упали на Мирцева, и онъ задрожалъ отъ горячаго и постыднаго упрека, который бросилъ ему кто-то въ самое святое-святыя его существа...

Угрызеніе не угрызеніе, тоска не тоска, но что-то большое и суровое укололо его сердце, и этотъ уколъ будетъ мучить его и днѣ, и ночь, и завтра, и долго потомъ, пока не захочеть онъ узнать всю правду объ этихъ людяхъ, показавшихъ ему пиями и животными...

XII.

Растягинъ проснулся только на разсвѣтѣ, спать крѣпко; на ночь онъ выпилъ малины, накрылся двумя одѣялами и пинелью, и утромъ, выйдя на улицу, надѣлъ шинель въ рукава, несмотря на то, что день предвидѣть быть жаркимъ. Вѣтъ съ нимъ въ автомобиль сѣлъ Камба, склонный много говорить о дѣловыхъ мелочахъ сегодняшняго дня, но когда онъ увидѣлъ, что генераль еще чувствовалъ недомоганіе, то сразу ушелъ въ себя и стала все высматривать и запоминать по своей всегдашней привычкѣ.

Автомобиль быстро и солидно катился съ моста на мостъ, съ горки на горку, рѣзаль воздухъ голосистой сиреной, подпрыгивая на обочинахъ, шурша подъ извозокъ, а генераль молчалъ и думалъ; онъ вспомнилъ вчерашнее свое состояніе, бесѣду съ Кургановымъ и разсердился, даже покраснѣлъ...

„Вѣтъ вѣдь нагналъ мальчишка какого тумана. Сидѣлъ и лиль, какъ медь, а я слушалъ“. И столько у него нашлось сей-часъ возраженій, острыхъ и мучительныхъ, и вѣскихъ, именно такихъ, какими нужно было осадить этого исконосильца... Ворона, ворона, поддался, и ничего сказать не смогъ... еще объяснить подобнѣе попросилъ...

Меньше всего старался онъ думать о томъ, зачѣмъ и кудаѣдетъ. И когда мимо него прошли броневые автомобили, грузовики и кавалеристы, онъ осмотрѣть ихъ безъ всякаго вниманія, любезно поздоровался съ Янычаровымъ, что-то сказалъ Фугастову, куда-то торопившемуся, и только когда увидалъ Курганова, оглянувшись его съ ногъ до головы, точно сфотографировалъ, и сразу успокоился... И совсѣмъ не хотѣлось больше вспоминать вчерашнее...

„Вѣтъ, если бы мой Боря былъ живъ теперь, тоже былъ бы такихъ лѣтъ, какъ Кургановъ, и тоже на войнѣ со мною, и офицеромъ, какъ Камба... фу, какая мерзость,—и неужели, неужели онъ говорилъ бы такъ, какъ этотъ Кургановъ — такъ пламенно, съ такой вѣрой, его тихій, послушный, любимый Боря... И какъ бы кончилъ? Какъ всѣ они, особенные, кончаютъ. Не такъ, какъ обыкновенно, какъ вѣтъ онъ, генералъ Растягинъ...“

Автомобиль остановился, и тутъ онъ увидѣлъ солдатъ третьаго батальона. Они пробѣгали и строились, и не обращали на него вниманія; между ними и генеральскимъ автомобилемъ стояли тѣсными рядами драгуны. Растягинъ сталъ глядѣть на солдата, съ томительными и болѣзнями мыслями, которыя опять вернулись къ нему, и опять начала расти лихорадка, и пальцы задрожали въ карманахъ, заложили холодной дрожью, несмотря на то, что кругомъ дышать жгучей, душной полдень... И когда

тroe или четверо изъ стрѣлковъ посмотрѣли въ его сторону, ему вдругъ стало стыдно, такъ стыдно, что захотѣлось выскочить изъ автомобиля и бѣжать въ кусты, засунуть голову въ зеленую, густую чащу, и смотрѣть туда въ зелену и тихий мракъ лѣса, забывая все: себя, окружающихъ, „тѣхъ“, что строятся на дорогѣ...

Онъ закрылъ глаза и началъ опять застегивать разстегнувшуюся верхнюю пуговицу шинели... Камба, куда-то ушелъ. Шоферъ разговаривалъ съ драгунскимъ вахмистромъ, и бѣлые зубы его сверкали, какъ перламутръ, и отъ нихъ все его смуглое лицо было красиво и мягко.

Растягинъ опустилъ голову на грудь; странная, далекія картины проносились опять въ его воспаленномъ мозгу.. „Опять бредъ“, — подумалъ онъ: ему казалось, что онъ идетъ въ толпѣ сѣрыхъ, безликихъ шинелей куда-то далеко-далеко, и онъ знаетъ ихъ всѣхъ, всѣхъ, и знаетъ, что они думаютъ и куда идутъ, и отъ этого радостно и спокойно на его сердцѣ. И сквозь какой-то дымъ и громъ они бѣгутъ впередъ, и онъ съ ними, и они чумъ-то рады, и пляшутъ и полоть зажигательно и звонко, и онъ видитъ село, богатое, красивое село, и украшенный цветами и лентами дѣвушки танцуютъ какой-то милый давно знакомый танецъ... И онъ идетъ по селу, между солдатъ, и тутъ пьетъ сладкую воду, густой медъ, холодный квасъ, тамъ пробуетъ пиши, жирные щи со свининой, которая всегда такъ хороши на походѣ, потомъ хохочеть съ какимъ-то высокимъ парнемъ и сваиваетъ ему невѣсту—и вдругъ кто-то тянетъ его за плечи и начинаетъ вторить его хохоту, и село проваливается куда-то внизъ, какъ на сценѣ, и солдаты бросаются танцы, пѣсни и котелки, и бѣгутъ испуганный толпой строиться...

Онъ открываетъ глаза... Шоферъ хохочеть непринужденно, смахивая еловой вѣткой пыль со своихъ новыхъ желтыхъ ботинокъ, Камба идетъ къ автомобилю въ сопровожденіи Янычарова и какого-то драгуна и двухъ офицеровъ, — а стрѣлки уже построились, и пристраниваются торопливо и серьезно только за-поздавшіе...

Что-то коротко и неясно, холодно и строго докладываютъ ему Янычаровъ и Камба, онъ качаетъ головой и молчаливо соглашается. Потомъ Камба садится опять съ нимъ рядомъ, и автомобиль трогается. Бѣгутъ по фронту третьего батальона.

И тутъ генераль движениемъ человѣка, забывшаго спросить о чѣмъ-то главномъ, привстаетъ въ автомобиль и смотрѣть, смотрѣть прямо въ землистыя сѣрыя лица и хочетъ, кажется, разрѣшить какую-то загадку, неумолимую и грозную, и потому со вдохомъ опускается на сидѣніе и снова молчитъ и думаетъ...

И опять летятъ мости за мостами, перелѣскъ за полями, повороты шоссе, и генераль смотрѣть по сторонамъ и видитъ: лѣса не тѣ, что были, стоять углубленные, тихіе, привѣтливые, такие, какими они были въ его далекомъ дѣствѣ; поля—тоже простыя, спокойныя, дышащи расцвѣтомъ и тепломъ, сельскія, мирныя, а не тѣ, что видѣлъ онъ въ эти ужасные годы безжалостной и страшной жизни; облака величавы и неподвижны, какъ будто не на небѣ они, а нарисованы въ соборномъ куполѣ, вокругъ фигуры Бога-Саваофа,—дорога, старая, деревенская, лѣтняя дорога, на которой вѣтъ покажется ницій въ драномъ зипунѣ, съ обожженными солнцемъ лицомъ, съ жидкими космами постѣбленіи отъ старости волосъ, и попросить милостынку, или тельга съ горшками, съ мужикомъ, ющимъ на близкію ярмарку, съ бабой, подгоняющей мочалынъ жгутомъ корову, пеструю, съ большими лиловыми глазами и крутыми бедрами, корову — и странно, когда изъ-за угла выскакиваетъ и пропадаетъ въ пыли фигура согнувшагося къ рулю мотоциклиста, въ кожаной, бѣлой отъ пыли, курткѣ...

И хорошо думается на просторѣ: все было и снова будетъ... И нѣтъ границъ миру, какъ нѣтъ конца власти Господина міра, и сладко погрузиться въ прошедшее, и не страшно будущее... Вѣтъ эти поля, лѣса, облака, дороги, они вернулись къ нему... И многое еще вернется—такъ всегда бываетъ передъ концомъ... Онъ не чувствовалъ, какъ сегодня, долгіе-долгіе годы, а теперь почувствовалъ близко и беззлобно, точно бѣдѣть онъ домой, на хорошій, дружный праздникъ, и ничего не можетъ съ нимъ случиться худого, потому что кто-то, Мудрый и Чувствующій и Вѣзвѣщающій все, простила ему прежнюю грѣшную, тяжелую и горькую жизнь, и оттого такимъ легкимъ стало тѣло, и такъ горячо сердце, точно молодая кровь брызнула въ него, и не нужно глядѣть по сторонамъ и пугаться, и думать,—а закрыть глаза, успокоиться, и ждать, ждать, ждать... и сквозь закрытые вѣкіи чувствовать, какъ летятъ поля, лѣса, мости, повороты...

А Камба смотрѣть на генерала, углубившагося въ себя, и говорилъ себѣ мысленно: „запомни все, запиши въ своемъ умѣ, Камба, будешь дѣтимъ разсказывать, какъ ты генералъ разѣльвалъ, за собой возилъ, и творилъ исторію, Камба... Исторію! Сильно сказано... Это бываетъ не каждый годъ и не со всяkimъ... Ничего не упусти, Камба... Большихъ денегъ это все потому будетъ стоять... Запомни же все, мудрый, умный Камба... Ты будешь историческимъ человѣкомъ... Дѣлъ былъ веревочникомъ, и цель сѣти для рыбаковъ и лѣстницы на корабляхъ, отецъ —чиновникъ—плететъ мелкія и гнусныя клязы въ своихъ бумагахъ въ судѣ, а ты, Камба, ты плетешь нити исторіи, ты берешь уловившыя жилы жизни и въ нихъ вплетаешь тонкія, алые ленты красной фантазіи, которую ты несешь въ жизнѣ!“

XIII.

Когда драгуны поздно вечеромъ этого дня возврачались въ свою стоянку, въ курортѣ Г., и проѣзжали станцію, имъ пришлося остановиться у будки, чтобы пропустить поѣздъ.

— Ба, Зейманъ!—закричалъ плотный, бравый пограничникъ, подходя къ предѣдателю комитета, — а я къ тебѣ собирался сегодня вечеромъ... Ну, какъ, удачно?

— Все исполнено въ точности... А на засѣданіе культурно-просвѣтительной комиссіи я смогу прїѣхать только послѣ завтра. Можетъ-быть, найдете возможнымъ перенести его на другой день...

— Плюнь, вонъ онъ о чѣмъ. Отложимъ—да и все. Все равно половина народу не собирается, а вотъ что я тебѣ скажу: слѣзай съ лошади, садись въ поѣздъ и ёдемъ къ намъ въ М.?

— Это зачѣмъ?

— Да у насъ вечеръ, такой шикарный, увидишь: водевильчикъ, клоуны, куплеты, конфетти,—и, приблизившись, пограничникъ сказалъ, подмигивая: — летучая почта, и барышни, такія, братъ, тамъ—заглядѣнья, специально выписали...

— Что ты говоришь: для вечера? И ты хочешь, чтобы я поѣхалъ?

— Ну, конечно, поддержи компанію. И пѣна билету три цѣлковыхъ.

— Да я усталъ, какъ собака... Такую даль...

— Да вѣдь не верхомъ, въ поѣздѣ. Такъ и быть: съ одной познакомлю, благодарить будешь...

— Ну, ладно,—сейчасъ, только освобожусь отъ лошади... Господинъ вахмистръ Господинъ вахмистръ!

— Я!—отозвался, подѣзжая, съ иголочки одѣтый блондинъ тотъ, что шутилъ по-холлацки на позиціяхъ.—Что вы хотите?

— Возьмите, пожалуйста, лошадь. Я долженъ по дѣлу сейчасъ ёхать въ М...

— Хорошо! Захаровъ, эй, Захаровъ—возьми лошадь, поведешь въ поводу... Она нашего эскадрона? Ахъ это „Змѣйка“?..

— Да!

— Ну, такъ хорошо... Счастливо!

Зейманъ и пограничникъ бросились бѣгомъ на станцію къ остановившемуся поѣзду. Полкъ длинной, извивающейся змѣй впопль въ улицу курорта...

XIV.

Когда Растягинъ вошелъ въ свою квартиру, за нимъ послѣдовала и Камба.

— Господинъ генералъ!—заторопился онъ,—мнѣ нужно срочно передать вамъ нѣкоторыя бумаги; тутъ немного вопросовъ: о производствѣ въ унтер-офицерскій чинъ „вице“ прибывшихъ пополнений, о награжденіи Георгиевскими крестами, о выдаче кормовыхъ денегъ и командировочныхъ...

— Хорошо!—глухо отвѣтилъ Растягинъ,—вы подождите, пожалуйста, въ столовой. Я велю вамъ дать чаю, а я позавтракаю. И потомъ мнѣ сильно нездоровится.

Да, опять онъ едва стоялъ на ногахъ, держась за спинку стула. Камба взглянулъ на него и чуть-чуть испугался. И въ самомъ дѣлѣ помрѣть старикъ—возьметъ да и помрѣть. И онъ даже отвѣтился къ двери, будто генераль уже падаль на него мертвой, безжизненной массой...

Камѣ въ столовую принесли хлѣба, масла и стаканъ чаю. Онъ съ аппетитомъ пойѣлъ, чмокая губами, поднялся и сталь ходить по комнатѣ. Въ кабинѣ у генерала было тихо. Наконецъ Камѣ послышалось, что Растягинъ его зоветъ. Онъ прислушался. Ему снова послышалась голосъ. Онъ взялся за ручку двери, секунду постоялъ въ нерѣшимости и потомъ сразу, прямо и быстро вошелъ и остановился, притворивъ за собою дверь.

Генераль стоялъ у стола, блѣдный, изможденный, сразу постарѣвшій и сгорбившійся, и смотрѣть въ окно упорнымъ, страдальческимъ взглядомъ. Камѣ подошелъ неслышно къ нему и посмотрѣть въ окно на зѣльице, къ которому привокалось вниманіе генерала.

На площади передъ домомъ слѣзали съ грузовиковъ темныя, знакомыя фигуры „расформированныхъ“ стрѣлковъ. Ихъ окружали новые конвоиры: казаки. Вдали держались любошытные, собравшись кучками... Можено было предположить, какъ эстрошили ихъ языки, и какія извѣтныя шутки переходили изъ уста въ уста, съ гаденькимъ, тихимъ смѣшкомъ... Юморъ обывателей—какъ колесная мазь—дешева, густа и съ запахомъ...

— Что, что...—началь-былъ Камба, но въ эту минуту Растягинъ повернулся къ нему, схватилъ его за рукавъ, притянулъ къ окну, и гибко и строго, голосомъ громкимъ и рѣзкимъ, какимъ онъ всегда произносилъ выговоры, голосомъ, испугавшимъ Камбу, сказалъ первыя слова:

— Что вы съ ними сдѣлали, а?—Онъ захлебнулся, и слѣдующія слова вырвались почти со стономъ:—Вѣдь я не могу на нихъ смотрѣть. Вѣдь я плачу... душой плачу. Вѣдь любилъ я ихъ, чертей косматыхъ, грязь эту сѣрую, непромѣшанную... А теперь? Что имъ сказали про меня? Зачѣмъ настѣ разѣдинили, зачѣмъ никто правды не скажетъ... О томъ, что у меня погоны съ зигзагами — это запомнили, что я лампасы красные ношу — тоже запомнили, а что я душу имѣю—забыли? Кричать, что ихъ дѣло—свобода, гордость, чистота, а что это: тоже гордость, тоже чистота? Какой ложью вы

оправдастесь, какими словами очиститесь? Какъ изворачиваться будете?.. Воевать не хотят! Измѣнники! Врете, все врете,—закричал онъ,—они дрались, какъ львы, какъ герои, какъ мученики, кому хотите скажу, Богу въ глаза скажу, меня отъ смерти спасали, гибли—ахъ, какъ они гибли! А подъ Шавлями, подъ Августовомъ, подъ Праснышомъ, что они дѣлали... какъ они были велики! Я жизни съ ними не пожалѣю... И все... все съ ними.. А теперь? Обманомъ, предательствомъ ихъ покрыли, а вѣдь на нихъ пыль только, потъ и кровь ихъ... да какъ же шыли не быть—столько вереть они проходили въ недѣлю, сколько другой во всю жизнь свою не сдѣлаетъ, да какъ же не вспотѣть отъ труда—третій годъ, третій годъ,—и каждый такъ годъ стоять двадцати-тридцати лѣтъ—работаютъ безъ отдыха, а кровь—кровь всегда дорога, а ихъ кровь безцѣнна, какъ жертва, понимаете ли, какъ жертва—ихъ кровью другое спасутся... Да, да... Не смѣйтесь, вы...

Камба не смеялся. Онъ поблѣдѣлъ самъ, нервно дергалъ плечомъ и искалъ словъ, которыми нужно отвѣтить этому старику. Онъ самъ поразился, самъ понялъ чутъемъ, что передъ нимъ происходит. И онъ сказалъ, и слова его были не похожи на обыкновенные слова—и не часто такъ говорилъ Камба и такимъ тономъ:

— Генераль, генераль! Я всегда уважаю чужое горе, я понимаю, тяжело... ахъ, да развѣ вы не видите... но... генераль, я не могу... но я долженъ...

Растягинъ печально растянулся губы и взглянулъ на Камбу тяжелымъ взглядомъ:

— Я... Уходите... слышите, уходите. И не беспокойтесь... Я завтра же подамъ рапортъ о болѣзни...

И онъ снова отвернулся и сталъ дрожащими руками собирать разсыпанные по столу бумаги. „Конецъ,—сказалъ онъ себѣ,—да, это необходимо!“ Точно подымался онъ, таща тяжелыя сани къ вершинѣ горы, и добрался и теперь летить оттуда внизъ съ такой быстротой, что нельзя даже соображать и больно думать, и знать, что вдребезги разбьется онъ и мертвымъ ляжетъ внизу, тамъ, въ неизвѣстной ему и страшной и сладостной странѣ.

XV.

Мирцевъ поужиналъ въ командѣ связи, прошелся на пляже, полежалъ на пескѣ и пришелъ домой, когда было уже совсѣмъ темно. Взявъ ключъ отъ хозяйствки, онъ поднялся на верхній этажъ, зажегъ свѣчу и стала раздѣваться. Наверху было три комнаты: одна изъ нихъ—маленькая, съ однимъ окномъ, была темна и непривѣтлива. Въ ней стояла кровать съ продраннымъ матрацомъ и желтый бѣльевой шкаль, въ которомъ валялись сломанные корзины, бутылки изъ-подъ красного вина и всякий хламъ.. Мирцевъ сегодня нуждался въ одиночествѣ. Поэтому онъ легъ спать въ этой комнатѣ, предварительно заперевъ дверь на крючокъ, а такъ какъ крючокъ запиралъ неплотно, то загородилъ дверь еще двумя стульями и табуреткой. Потомъ накрылся съ головой одѣломъ и заснулся.

Черезъ три часа послѣ того, какъ Мирцевъ легъ, пришелъ Ивановъ. Убѣдившись, что двери въ маленькую комнату заперта, онъ нашелъ это обыкновеннымъ, зажегъ у себя зеленую, крипьюю лампу, съ разбитой подставкой, державшейся, какъ онъ говорилъ, на честномъ словѣ, вынула изъ кармана коробку сардинъ, притащилъ съ балкона квадратный жестяной чайникъ съ холоднымъ чаемъ, отыскалъ на окнѣ горбушку хлѣба и раздѣлъся... Раздѣвшись, досталъ изъ шкапчика книжку и углубился въ чтеніе, сидя на кровати болтая ногами, прихлебывая чай и жуя хлѣбъ съ сардинами.

На лѣстницѣ послышались чы-то ровные, медленные шаги. Въ комнату вошелъ Шестовъ.

— Одинъ!—сказалъ онъ, садясь у стола,—я тоже сидѣлъ, сидѣлъ на своемъ чердакѣ, дай, думаю—спать неохота—пойду, газеты почитаю сегодняшнія... Получены?

— Вонъ тамъ, за ротаторомъ...

Шестовъ отыскалъ газеты, снова сѣлъ и увидѣлъ сардины.

— Я одну украду?—спросилъ онъ.—А это что?—онъ взялъ книжку,—а, старый знакомый. Когда-то, давно, изъ-подъ половы читалъ...

— Да? „Рѣчи бунтовщика“... Кропоткинъ. Мое любимое,—отвѣчалъ Ивановъ.—Берите сардинки. Сейчасъ я хлѣба дамъ. Кружку для чаю возьмите на столъ, бумагами гдѣ-то завалена, а сахаръ, навѣрно, съ собой есть...

— Спасибо!

Шестовъ сѣлъ сардинку, выпилъ кружку чаю... Нѣсколько времени сидѣлъ, не разговаривая. Оба читали: одинъ книжку, другой—газеты... Едругъ лѣстница снова задрожала. Кто-то ишелъ, увѣренно и крѣпко ступая. Ивановъ засмѣялся:

— Вотъ нашъ колесъ Мемнона прется. Сейчасъ его разыграемъ. Дѣйствительно, это былъ Зейманъ.

— Что ты глядишь: поздно пришелъ?—спросилъ онъ, смотря на секретаря.—А гдѣ Мирцевъ?

— Я ничего,—отвѣчалъ Ивановъ,—ты знаешь, что у меня чаю не существуетъ. Анархисты по своему времениисчислению живутъ. Мирцевъ храпитъ уже: затащали молодчика по болотамъ.

— Ну, прочиталъ газеты, гнусно все,—сказалъ Шестовъ, подымаясь.—Пойду спать — можетъ, приснится что-либо лучше.

— Посидите, поговоримъ,—остановилъ его Зейманъ.—Я вамъ разскажу кое-что интересное...

— Политическое?—заинтересовался Ивановъ.

— Ну, конечно...

— Тогда проваливай къ себѣ въ комнату объясняться. Мнеѣмѣшать будешь спать...

— Вотъ дуракъ... Идемте, товарищъ Шестовъ.

— Покойной ночи—эвакуируйся...

Секретарь полкового комитета сладко зѣвиулъ два раза, прошелся босыми ногами по комнатѣ, закрылъ окно, затушилъ лампу, легъ подъ одѣломъ и, засыпая, долго сосалъ крѣпкій, большой кусокъ сахара. Снизу доносились тихіе голоса Шестова и Зеймана... Далѣко было слышенъ глухой, однообразный шумъ моря. Стекла чуть-чуть дрожали испуганно и тихо... И если вслушиваться, то можно было бы уловить другой дальний и минутами почти непрерывный гулъ: это шла артиллерійская подготовка. Нѣмцы готовились наступать... И вѣтъ уже спали, когда надъ курортомъ проплыло темное сигарообразное тѣло цеппелина, лѣтѣвшаго на європо-востокъ... Отъ одного особенно рѣзкаго залпа, когда дрогнуло все окно, Ивановъ проснулся, поднялся на постели, сказалъ: „вотъ черти, спать не даютъ!“—и повернулся на другой бокъ...

XVI.

Черезъ три дня, въ газетѣ „Рѣчи“ въ хроникѣ была помѣщена краткая замѣтка о томъ, что „въ ночь на 30-е іюля выстрѣломъ въ голову покончилъ съ собой генераль-маіоръ Растигинъ. Смерть наступила мгновенно. Покойный не оставилъ никакой записки. Причина самоубийства не установлена“.—Другихъ поясненій не было.

Въ томъ же нумерѣ газеты былъ опубликованъ приказъ о томъ, что командование особой арміей поручается генераль-лейтенанту Сѣдлецкому.

■ ЗАЯВЛЕНИЕ. ■

По условіямъ разсрочки подписной платы за „Ниву“ сего 1918 г., къ 1 юна слѣдуетъ внести **не менѣе 26 руб.** Гг. подписчики, уплатившіе менѣе указанной суммы, благоволять поэтому озабочиться **немедленно присылкою** слѣдующаго взноса, **во избѣженіе остановки въ высылкѣ журнала съ 7-го іюля—съ 27-го нумера.** Гг. иногородные подписчики при высылкѣ денегъ благоволять **обозначать на видномъ мѣстѣ копію печатнаго адреса** съ бандероли или **прилагать самый адресъ и непремѣнно указать, что деньги высылаются въ доплату за получаемый уже журналъ.**

При перемѣнѣ адреса слѣдуетъ прилагать **1 рубль и печатный адресъ.**

Содержаніе. ТЕКСТЪ: Женщины и женский вопросъ временъ французской революціи. Очеркъ проф. И. И. Карцева.—Стихотвореніе О. Ушаковой.—Старатели. Повѣсть недавнихъ дней. И. Тихонова. (Оконченіе).—Заявление.

РИСУНКИ: Десять портретовъ и три рисунка къ очерку проф. И. И. Ка-

рцева „Женщины и женский вопросъ временъ французской революціи“.—Повѣдѣло проходной. И. Горюшкинъ-Сорокиновъ.—На Черномъ морѣ. А. Шильдеръ.

Къ этому № прилагается „Великая Французская Революція“ профессора И. И. Карцева, книга 4.

Издатель Т-во А. Ф. МАРКСЪ.

Редакторъ И. М. Желѣзновъ.

Артистическое заведеніе Т-ва А. Ф. МАРКСЪ, Петроградъ, Измайловскій проспектъ, д. № 29.

Библиотека "Руниверс"

ЖИВАЯ

1918 г.

XLIX г.
изданія.

№ 25.

Выходитъ ежемѣсячно (52 № въ годъ), съ приложениемъ 52 книгъ „Сборника”, содержащихъ сочиненія А. И. ГЕРЦЕНА, М. ГОРЬКАГО, В. Г. КОРОЛЕНКО, П. БЕРАНЖЕ и Н. И. КАРЬЕВА („Великая Французская Революція”).

Выданъ 22 июня (9 июня) 1918 г. Подписанная цена съ дост. и перес. на годъ—36 р., на 1/4 г.—18 р., на 1/4 г.—9 р. Цена этого № (безъ прилож.)—40 к., съ перес. 50 к.

Главная Контора и Редакція: Петроградъ, улица Гоголя, № 22.

Перепечатка иллюстраций и текста воспрещается. (Законъ 20-го марта 1911 г.).

Открыта подписка на „НИВУ“ 1918 г.

съ приложениемъ 52 книгъ „СБОРНИКА НИВЫ“, въ которыхъ войдетъ:

А. И. ГЕРЦЕНЪ (первая серія книгъ)

М. ГОРЬКІЙ (вторая серія книгъ)

В. КОРОЛЕНКО (запрещены воинской цензурой сочиненія)

П. БЕРАНЖЕ (полное собрание ПѢСЕНЪ)

Проф. Н. КАРЬЕВЪ. (Исторія Французской Революціи съ иллюстраціями).



Новый рассказ Глеба Ив. Успенского.

Всё сочинения Г. И. Успенского по декрету о государственном издательстве объявлены государственной монополией по 31-го декабря 1922 года.
Настоящий рассказ опубликовывается в «Ниве» с разрешения комиссариата Народного Просвещения.

Правительственный Комиссаръ лит.-изд. отдѣла И. И. Лебедевъ-Полянскій.

Нечтаемый ниже рассказ Г. И. Успенского „Очень маленький человѣкъ“, являясь непосредственнымъ продолжениемъ помѣщеннаго въ № 2 „Отечественныхъ Записокъ“ 1874 г. рассказа того же имени *), имѣть совершенно самоостоятельное значеніе. Читающей публикѣ онъ до сихъ поръ не былъ извѣстенъ, такъ какъ майская книжка „Отечественныхъ Записокъ“ того же 1874 г. въ которой онъ долженъ былъ впервые увидѣть свѣтъ, была сожжена по постановлению Комитета Министровъ. Изъ недоступнаго ранѣе изслѣдователямъ дѣла Канцелярий Главнаго управления по дѣламъ печати по изданію журнала „Отечественные Записки“ (№ 53; началось 9-го сентября 1865 г.) видно, что поводъ къ столу суро-вой репрессии былъ данъ нижеиздѣющими статьями майской нумера: „Очень маленький человѣкъ“ (страницы изъ однѣхъ записокъ) Г. Успенского, „Рекрутскій наборъ“ (замѣтки провин-ціального адвоката) В. Кроткова и „Литературныя и журнальныя замѣтки“ И. К. Михайлова. „Криминальность“ рассказа Успенскаго устанавливалась въ отзываѣ наблюдавшаго за „Отечест-венными Записками“ цензора Лебедева въ такихъ выраженіяхъ:

„Этотъ небольшой отрывокъ, составляющій продолженіе описанія путешествія на волжскомъ пароходѣ, отличается крайнею тенден-ціозностью. Въ немъ авторъ, по поводу встрѣчи на пароходѣ, съ бывшимъ ученикомъ своимъ въ школѣ, выставляетъ одною изъ тормозящихъ общественное развитіе пружинъ всякаго рода регла-ментаций, не дающей человѣку развиться согласно своему при-званию и наклонностямъ.“

Говоря о простомъ народѣ, авторъ указываетъ на его безвы-ходное положеніе и инсенируетъ на тунеядство и бесполезность людей обезпеченнѣхъ. Такъ, касаясь устройства народныхъ школъ и системы преподаванія въ ihnenъ, авторъ съ сарказмомъ замѣ-чаетъ (стр. 47), что знатоки этого дѣла съ часами въ рукахъ высчитали, минута въ минуту, всѣ малѣйшія крупинки времени, остающіяся у народа отъ ежегодной и ежедневной работы для собственного пропитанія, для оплаты благочинія, благотѣпія, и что такого свободного времени съ часами въ рукахъ насчитали они около полутора года во всю мужицкую жизнь, а количествомъ времени, назначаемое для образованія мужика, то же, что полтора аршина для прогулки или полтора глотка воздуха для легкихъ. Это порція науки на полчаса свободного времени, оставшагося у бѣднаго брата между рубкой лѣса и ожиданіемъ сокѣтаго, который черезъ полчаса придется братъ родителю этого самаго брата въ темную, за эту самую порубку (стр. 48). Федя, бывший ученикъ автора, нравственно возрожденный послѣ тяжелыхъ уроковъ жизни, задается намѣреніемъ „дѣлать пользу“. Онъ раздѣляеть людей на полезныхъ и вредныхъ. Противополагая одинъ другимъ, онъ говоритъ: „Бѣдный работаетъ, но богатый только получаетъ, почему? Это невозможно! Развѣ бѣдный тоже не человѣкъ? Скажите пожалуйста! Кто вамъ это сказалъ? Нѣтъ, бѣдный тоже человѣкъ, я вамъ могу это вполнѣ доказать“, — и приходить къ заключенію, что всѣхъ безполезныхъ людей стѣдуетъ искоренять, потому что отъ нихъ вредъ (стр. 50). Со всѣми этими сужденіями авторъ вполнѣ согласенъ и не только не опровергаетъ, но называетъ ихъ азбучными истинами*.

Уже одинъ этотъ отзывъ даетъ достаточное основаніе предпо-лагать, что рассказъ Успенскаго „Очень маленький человѣкъ“ предста-вляетъ незаурядный интересъ.

Рассказъ „Очень маленький человѣкъ“ имѣть крупное автобиографическое и общественное значеніе. Автобиографическое значеніе его обусловливается содержаніемъ первыхъ страницъ раз-сказа, где Глебъ Ивановичъ говорить о посѣщающихъ его по временамъ „моментахъ ясности въ сознаніи“ и о судорожныхъ заботахъ въ эти моменты о семье (ср. съ отзывомъ И. К. Михайлова во второмъ томѣ „Послѣднихъ сочиненій“: „въ этомъ безбрежномъ житейскомъ морѣ была маленькая горсточка людей, которая требовала особенного его вниманія, передъ которою онъ болѣзненно чувствовалъ свою ответственность: семья. Его категорической императивъ — „надо“, такъ часто, къ его великому горю, разрѣшившійся „ахинеей“ и „чопухой“, но никогда въ немъ не замолкашій, въ значительной степени обусловливавшій его отно-шеніемъ къ женѣ и дѣтьмъ. Случаи, когда категорической импе-ративъ, вытекая изъ другихъ источниковъ, враждебно сталкивался съ тѣмъ, что „надо“ ради семьи, доставляли ему величайшій мученіе“).

*) Въ сочиненіяхъ Г. И. Успенскаго эта первая, такъ сказать, часть рассказа „Очень маленький человѣкъ“ перепечатывается по тексту № 2-го „Отеч. Зап.“ безъ всякихъ перемѣнъ (если не считать опущенныхъ въ одномъ месте искажающихъ строкъ), подъ заглавиемъ „Изъ записокъ малень-каго человѣка“ (въ изданіи „Нивы“, т. III), распадающемся на три главы: „Читатель“, „Воспоминаніе“ и „На пароходѣ“.

Автобиографичны также отрывки, въ которыхъ въ очень про-тическомъ тонѣ упоминается о попыткахъ автора сдѣлать „что-нибудь“ для „отечества“, въ частности, объ его педагогическихъ занятіяхъ съ крестьянскими дѣтьми. Здесь чувствуется уже осу-жденіе того, что впослѣдствіи повелось называть „малыми дѣтьми“.

Изъ воспоминаний А. И. Иванчина-Писарева (см. „Былое“ 1907, № 10) мы знаемъ, что болѣзненно чуткій, болѣзненно совѣтли-вый писатель готовъ былъ иной разъ осуждать и свою литерату-рную дѣятельность за то, что она казалась ему далекой отъ настоящаго дѣла, каковыемъ онъ считалъ дѣло борца-револю-ціонера. Вотъ какія рѣчи приходилось отъ него слушать Иванчину: „— Ну, что я? — Пиши ради лавочки! Иной разъ и хочется раз-махнуться, да вспомнишь прачку, мясника, шляпку съ перомъ для Алексея Вас., и начнешь строчить: „Солнце склонялось къ западу... Но небу катилось облако... точно бревно — къ плотамъ на Ветлугѣ...“ Вотъ Бакунинъ или Лавровъ пишутъ, не считаясь съ тѣмъ, будутъ ли лѣгите къ завтра“...

Еще рѣшительѣе высказывается Успенскій въ одномъ не от-правленномъ письмѣ къ В. М. Соболевскому, редактору „Рус-скихъ Вѣдомостей“, подъ впечатлѣніемъ встрѣчъ съ болгарскими революціонерами:

„Да! надоѣло дѣйствовать и дѣйствовать прямо! Ты — писатель (думаютъ они), сочувствуешь и тому-то и тому-то? Ну, такъ доказки. Бѣда тебѣ будетъ? Плохо? До этого намъ нѣтъ дѣла. Мы вѣдь не боимся разстрѣливать поддѣцовъ, и не боятся ваши, которые ненавидятъ поддѣцовъ, — умирать. Ты долженъ быть не зайдешь, бояющимся всего этого. Если вы, писатели, пишете то-то и то-то, — то на дѣлѣ пожалуйте!.. Это все вѣрно, правда сущая. Но я уже напуганъ. Вздохну, обдумаю, немного укрѣплюсь и, повѣрьте, сѣдуя такъ! Если я не сдѣлаю такъ, то все — чепуха, вся жизнь — вздоръ, сочиненіе, пустякъ, прерѣбные пустяки... Боже мой, какъ мнѣ опротивѣть, здѣсь Толстой. Какой смрадъ!..“

Отзвѣки того же настроения даютъ себя знать и въ разсказѣ „Очень маленький человѣкъ“, въ особенности въ томъ мѣстѣ его, где авторъ, взволнованный словами бѣди о необходимости „искоренять“ людей, приносящихъ не пользу, а вредъ, потому что допу-сКАТЬ „этого нельзѧ“, разражается стѣдующей тирадой: „По-стѣд-ная фраза была сказана съ такимъ убѣжденіемъ, что я не посмѣть засмѣяться, хотя и дѣйствительно было чему. Господи, — подумалъ я, — такія ли вещи я могу еще понимать и говорить о пользѣ!.. Сколько я знаю относительно существующаго „вреда“ и какъ отлично и убѣдительно могу я изложить безчисленныя мысли мои по этому поводу, — а между тѣмъ я чувствовалъ и зналъ, что мое „этого нельзѧ“ ровно ничего не значитъ, тогда какъ Федино слово вполнѣ живое, нераздѣльное съ нимъ и поэтому непре-мѣнно что-нибудь значитъ, а для него, для его развитія значитъ очень много“.

Отсюда видно, какъ въ „Очень маленькомъ человѣкѣ“ автобиографический мотивъ сливаются съ мотивомъ общественно-публи-цистическимъ. Гражданскій смыслъ этого разсказа заключается, мнѣ думается, съ одной стороны, въ отмѣченномъ уже противо-поставленіи дряблымъ либераламъ интеллигентскаго лагеря наро-жающагося типа революціонера-искоренителя*, вышедшаго изъ народной среды, цѣлнаго въ своихъ стремленіяхъ и умѣющаго ити до конца, а съ другой въ указаніи на то, что народная жизнь сложилась такъ, что разсчитывать на благотворность одинъ только культурныхъ звѣйствъ на народъ, какова, напримѣръ, педагогическая дѣятельность въ сельской школѣ, не приходится: школьная учеба для задавленаго нуждой, влашащаго свои дни въ атмосфѣрѣ непрерывнаго катаржнаго труда мужика не при-носитъ тѣхъ результатовъ, какіе она могла бы приносить при другихъ условіяхъ; для данного времени „потребенъ“ не сельскій учитель, а агитаторъ-пропагандистъ, въ рѣдѣ обратившаго Федю на путь истиннаго фабричнаго механика Семена Сергеевича. Семенъ Сергеевичъ сдѣлалъ изъ бѣди не только „искоренителя“, т.-е. революціонера, но и соціалиста, такъ какъ привилъ ему сознаніе иенормальности того общественнаго порядка, при которомъ „бѣдный работаетъ, но богатый только получаетъ“, при которомъ „первые фабриканты“ являются и „первыми кровопѣцами“. Особое значеніе указанная революціонная и соціалистическая тен-денція разсказа приобрѣтаетъ въ силу того, что „Очень малень-кій человѣкъ“ долженъ быть появившимся въ печати какъ разъ въ то время, когда революціонное движение приняло форму мас-совоаго „хожденія въ народъ“ съ агитационными и пропагандист-скими цѣлями. Къ ранней веснѣ 1874 г., примѣрно, къ марта мѣсяцу, относятся первыя попытки въ этомъ направлѣніи. Въ нашемъ распоряженіи нѣтъ конкретныхъ данныхъ, которыя позволяли бы категорически утверждать, что Г. И. Успенскій зналъ о частию уже начавшемся, частью подготовлявшимся выступленіемъ



Троицкий день.

народниковъ, но, принимая во вниманіе жгучій интерес писателя къ современнымъ ему общественнымъ теченіямъ, а также широту и разносторонность круга его знакомствъ, надо думать, что онъ былъ въ курсѣ разыгрывающихся событий. Если это такъ, то „Очень маленькій человѣкъ“ является непосредственнымъ откликомъ на эти события,—откликомъ, цѣлью которого было выразить народникамъ сочувствіе, а тому пути, который они избрали, полное одобрение...

Крамольный духъ, вѣявшій со страницъ „Очень маленькаго человѣка“, обратилъ на себя, какъ мы видѣли, вниманіе цензуры, которая чуть ли не съ начала литературной дѣятельности Успенскаго привыкла смотрѣть на него, какъ на писателя въ высокой степени „неблагонадежнаго“. Одинъ изъ первыхъ сборниковъ разсказовъ Успенскаго, изданный еще въ 1871 г., навлекъ на него, по докладу того же цензора Лебедева, обвиненіе „въ желаніи выставить несчастное и беспомощное положеніе простого народа, изнывающаго подъ гнетомъ высшаго обеспеченаго класса и администраціи, которая богатѣеть на счетъ народа. Этимъ путемъ возбуждается въ народныхъ массахъ ненависть противъ имущественнаго класса, вражда одного сословія противъ другого, что составляетъ нарушеніе законовъ о печати, предусмотрѣнное статьею 1036 Улож. о наказаніяхъ“ (изъ дѣла Главн. Упр. 1871 г. за № 133). Противъ Успенскаго тогда же было возбуждено судебнное престѣданіе, впрочемъ, не достичшее своей

цѣли, такъ какъ его пришлося прекратить по силѣ Высочайшаго повелѣнія 7-го іюня 1872 г. Тѣмъ не менѣе зуѣть противъ Успенскаго у гг. цензоровъ, очевидно, остался, и они сквитались съ нимъ на „Очень маленькому человѣку“.

Въ заключеніе считаю нужнымъ отмѣтить, что напечатанный въ томъ же 1874 году разсказъ Успенскаго „Хорошая встрѣча“ представляетъ собою попытку вернуться къ темѣ „Очень маленькаго человѣка“. Въ „Хорошей встрѣчи“, правда, рѣчь идетъ о бывшемъ ученикѣ автора Федѣ, близко напоминающемъ Федю изъ „Очень маленькаго человѣка“, при чёмъ Федя, подобно Федѣ, встрѣчается и разговариваетъ съ авторомъ на пароходѣ, но по-священный Федѣ эпизодъ „Хорошей встрѣчи“ (см. „Русская Вѣдомость“ 1874 г., отъ 31-го декабря), во-первыхъ, болѣе чѣмъ въ два раза короче разсказа, вырѣзанного цензурой изъ майской книжки „Отеч. Записокъ“ и, во-вторыхъ, лишенъ того „канупера“ („кануперомъ“), по словамъ Некрасова, цензора называемыи „вредными мысли“, открываемыи въ литературныхъ произведенияхъ, за который надѣялся „Очень маленькимъ человѣкомъ“ и разразилась цензурная гроза. Вслѣдствіе этого „Хорошая встрѣча“ (въ особенности первая половина разсказа—„Русск. Вѣд.“ 29-го декабря 1874 г.) должна быть разсматриваема скорѣе, какъ особый разсказъ, хотя и съ родственной „Очень маленькому человѣку“ фабулой.

В. Евгеньевъ-Максимовъ.

Очень маленькій человѣкъ.

(Страницы изъ однѣхъ записокъ).

IV *).

Разсказъ старика о „Промыслѣ“ произвелъ на публику довольно сильное впечатлѣніе; по окончаніи его, нѣсколько голосовъ изъ разныхъ угловъ, хавшій толпы подтвердило сразу, что все это правильно, вѣрно, и торопилось пояснить тѣтѣ или другой памятный фактъ своей жизни наблюденіями, не уступавшими иной разъ въ точности и отчетливости наблюденіямъ старика... Въ каждомъ углу, подъ каждымъ полуушубкомъ и шугаемъ, обнаруживались жизненные теоріи, если не всегда достаточно справедливыя, то наѣрное пережитыя и крѣпко обдуманныя.

Послѣднее обстоятельство именно и было мнѣ дорого.

Съ большимъ аппетитомъ вслушивался я въ живую искренность излагаемой моими спутниками чепухи, когда неожиданно услыхалъ мое имя, произнесенное кѣмъ-то въ толпѣ.

Я оглянулся.

Передо мной стоялъ молодой мальчикъ лѣтъ шестнадцати, одѣтый такъ, какъ одѣть всякий крестьянскій мальчикъ, пріучающейся жить въ городѣ: на головѣ, обстриженной подъ гребенку, была какая-то пуховая конусообразная шляпа, принадлежавшая, очевидно, другой, болѣе обширной головѣ, ибо только растопыренныя уши да носъ мальчика удерживали ее въ стремлѣніи упасть прямо ему на плечи; красная рубашка съ косымъ воротомъ, подпоясанная тоненькимъ ремнемъ, и сюртукъ, по размѣрамъ родной братъ шляпѣ,—вотъ какой былъ костюмъ мальчика.

— Неужто не узнали?—произнесъ онъ и, сознавая, что шляпа, сидящая на носу, не можетъ помочь мнѣ взглядѣться въ его лицо, онъ приподнялъ ее и улыбающимся глазами глядѣлъ на меня.

— Федя!—воскликнулъ я, припомнивая иѣчто знакомое въ чертахъ его лица.—Неужели Федя?

— Я—съ...

Всмѣрѣвшись пристальнѣе, я дѣйствительно узналъ въ немъ Федю, одного изъ лучшихъ учениковъ кратковременно существовавшій подъ моимъ руководствомъ школы.

Мысль объ этой школѣ явилась у меня четыре года тому назадъ, въ одинъ изъ тѣхъ моментовъ ясности въ сознаніи дѣйстви-

*) Какъ указано во вступительномъ очеркѣ критика В. Евгеньев-Максимова (на стр. 386 внизу), этотъ впервые появляющейся въ печати изъ-подъ запрета цензуры разсказъ Глѣба Успенскаго представляетъ вполнѣ самостоятельное произведение. Но въ виду того, что онъ въ то же время является продолженіемъ уже напечатанного разсказа Глѣба Ив. Успенскаго „Изъ записокъ маленькаго человѣка“, состоящаго изъ трехъ главъ, мы обозначаемъ начало этого нового для русскаго читателя разсказа главою IV.

тельности, которые по временамъ посѣщали меня. Въ такія минуты я замѣчалъ, и не только замѣчалъ, но видѣлъ весьма ясно, что я отецъ семейства, что вотъ эту щепку или кирпичъ пустилъ мнѣ въ голову мой собственный сынъ; что другой ребенокъ, кѣтый, очевидно, сидѣть у меня на шеѣ, ибо ноги его свѣшивались мнѣ на грудь, и который, судя по частымъ ударамъ въ мой затылокъ, ударамъ, сопровождаемымъ крикомъ—и-и-о!—очевидно, куда-тоѣдетъ,—что это тоже мой ребенокъ, равно какъ и третій, который безпомощно волеетъ подъ диваномъ, высунувъ оттуда свое маленькое, сплошь измазанное ягодами лицо... Увидавъ это и убѣдившись, что я отецъ, я не могъ не видѣть, что мнѣ дѣйствительно надо объ нихъ позаботиться, ибо такъ ли, сякъ ли, а вѣдь это будущіе люди... Въ такія минуты я замѣчалъ и потолки, которые грозятъ паденіемъ, замѣчалъ и сараи раскрытые, словомъ, начиналъ видѣть все, что бы мнѣ слѣдовало видѣть, и чего я не замѣчалъ, будучи постоянно заслоненъ отъ этой дѣйствительности либо книгой, либо большущей газетой. Иногда въ такія минуты на меня находилъ даже какой-то испугъ, трепетъ: я ясно видѣлъ, что дѣла запущены ужасно, что надо хлопотать и поправлять ихъ сю минути, и на часъ не откладывать дѣла... Съ быстротою молнии заявивши деньги, я посыпалъ за плотниками—подпирать потолки, за кормомъ собакамъ и лошадямъ, за чулками, башмаками дѣтскимъ и т. д. и т. д.; но вдругъ случится что-нибудь за границей, какъ говорила моя теща, и глядишь,—я опять не замѣчу, что творится подъ носомъ, не слышу,—хотя плотники своими топорами потрясаютъ все до основания,—не вижу, что вымытые и пріодѣтые ребята давно ужъ толкуются вокругъ меня съ новыми азбуками и просятъ учить, что кто-то изъ нихъ, не добившись толку и выдавъ изъ азбуки всѣ картишки, предпочелъ снова щѣтать на моей шеѣ, щѣтать куда-то очень далеко и очень скоро, ибо прутъ сѣдока хлесталъ не только по затылку, но и по газетному листу, который у меня передъ носомъ.

Не одни, впрочемъ, домашнія семейныя дѣла и необходимости озадачивали меня въ такія рѣдкія минуты полной ясности сознанія; очень часто сознаніе это распространялось и вообще на отечество, которое для меня, какъ для деревенскаго жителя, являлось въ видѣ этихъ босыхъ женщинъ, плѣпающихъ по грязи подъ проливнымъ дождемъ, съ промокшими ребятами у груди, въ видѣ лачугъ, съ вылѣзающимъ на улицу зипуномъ вмѣсто окна, скотины, напоминающей по худобѣ самыхъ породистыхъ борзыхъ собакъ, лишенной однако прити постѣднѣхъ, словомъ, въ видѣ бѣдности и невѣжества, искать которыхъ никогда далеко не приходится... Подъ вліяніемъ испуга, я соображалъ все ужасно быстро, и поэтому естественно, что едва мнѣ приходили въ голову вышеупомянутые признаки отечства, какъ я съ ужасомъ чувствовалъ,

Ф. Сычков



Троицкынъ день въ деревнѣ.

что нужно дѣлать сейчас же... Съ тою же быстротою, вслѣдъ за тѣмъ, я не могъ не сообразить, что дѣлать всего, что именно нужно — невозможно, потому-то, потому-то и потому-то сто тысяч разъ. Оставалось хотѣть „что-нибудь“ — надежное прибѣжище и тихое пристанище такихъ пугливыхъ душъ, какъ моя. Изъ довольно значительного числа разныхъ „что-нибудь“, переполняющихъ всѣ учрежденія, заботящіяся о бѣдномъ братѣ, ничто, разумѣется, не разработано съ такою тщательностью, какъ народная школа и наука. „Что-нибудь“ въ этой сфере доведено до размѣровъ почти „ничего“, а съ виду кажется почти серьезнымъ дѣломъ. Знатоки этого дѣла, съ часами въ рукахъ, о чёмъ они не безъ гордости упоминаютъ сами, вычитали, минута въ минуту, всѣ малѣйшія крупинки времени, остающіяся у народа для самого себя отъ ежегодной и ежедневной работы для собственного пропитанія, для оплаты благочинія, благолѣпія ими... Такого свободнаго времени съ часами въ рукахъ насчитано, кажется, около полутора года, и того меньше, во всю музыкальную жизнь; ни капельки не задумываясь обѣ этакой ужасной тѣснотѣ, ибо полтора года на науку во всю жизнь то же, что полтора аршина для прогулки или полтора глотка воздуха для легкихъ — поборники „чего-нибудь“ сумѣли изобрѣсти такую экономную науку, которая за ничтожную цѣну пополняетъ это полуторааршинное пространство биткомъ, сверху донизу; но такъ какъ эти поборники ужасно озабочены, чтобы бѣдный народъ зналъ все, и зналъ бы таѣшь, чтобы знанія эти умѣстились въ полуторааршинномъ пространствѣ, не повредивъ ничего изъ того, что народъ обязанъ исполнять въ пользу благочинія, благолѣпія и т. д., то всѣ знанія приготовлены такъ, какъ готовятся консервы. Вотъ что-то величиной съ булавочную головку: это порція науки на полчаса свободнаго времени, оставшися у бѣднаго брата между рубкой лѣса на продажу для уплаты недоимокъ и ожиданіемъ сотскаго, который черезъ полчаса придется братъ родителя этого самаго брата, за эту самую порубку. Невелико зернышко, но чего только неѣть въ немъ; во-первыхъ, естественная наука: что-то о крокодилѣ. Рассказано дѣло въ трехъ строкахъ, чтобы не терять времени, которое, какъ знаетъ уже читатель, очень дорого: того и гляди придется сотскій сажать. Крокодиль, въ Египѣ пирамиды, фараоны. Вотъ, примѣрно, все дѣло — здѣсь выпущены только предлоги и кой-какіе глаголы. Но въ этой крупинкѣ съ булавочную головку не однѣ естественная науки, здѣсь есть еще и грамматика, тоже очень-очень крошечная. Подлежащее — крокодиль, а сказуемое для краткости опущено; здѣсь есть и исторія, — фараонъ (фараоны были цари, и одинъ изъ нихъ утонулъ); здѣсь есть и ариѳметика (пересчитайте всѣ собственные имена. Сколько? — Два! — А если я прибавлю три ноля? — Пять тысяч! — А четыре? — А пять?); здѣсь есть и Законъ Божій и священная исторія и много-много другого рода знаній, часто удовлетворяющихъ прямо неѣжеству, частью имѣющихъ въ виду пѣсли просвѣтительныя, и все это въ одной крупинкѣ, и все это точно на почтовыхъ.

Громоздкій грузъ науки такимъ образомъ приспособленъ, приведенъ къ возможности пройти сквозь иглее ухо. Второпяхъ, разумѣется, и я ухватился за этого рода науку. Народные бѣды были такъ велики, а времени такъ мало, что я принялъ гнать, какъ говорится, по всѣмъ по тремъ. Показавъ, напримѣръ, букву А на доскѣ, я, чтобы не терять времени и пользуясь свободной минутой, чтобы тронуть и воображеніе учащихся, которому среди недоимокъ и прочихъ заботъ, разумѣется, ходу неѣть, я спрашивала почти тотчасъ же, на что она похожа. Если мнѣ не отвѣчали (что въ самомъ дѣлѣ довольно трудно, ибо, на что же она похожа, какъ не на А?), я старался придумать что-нибудь самъ, напримѣръ: дуга похожа на А, отъ дуги переходи къ упряжи, отъ упряжи къ кожѣ, отъ кожи къ кожевенному мастерству, такъ что иной разъ, когда на слѣдующій день я выставляла ту же букву и спрашивала, что это такое, то отвѣты были самые разнообразные: одинъ говорилъ „кожа“, другой „мастерство“, третій начиналъ что-то въ родѣ „кисло... кисло...“, стараясь припомнить, по всей вѣроятности, кислородъ, о которомъ тоже шла рѣчь вчера.

Федя, котораго я встрѣтила теперь на пароходѣ, одинъ только прежде всѣхъ привыкъ опоминаться среди этой бѣшеной скачки въ пользу бѣдныхъ братій. Онъ почти одинъ изъ всѣхъ моихъ учениковъ могъ отвѣтить мнѣ, что на доскѣ написано А,

когда оно было написано, и не путался во мракѣ обилия свѣдѣній, которыхъ я приплѣтала, желая въ самое короткое время сдѣлать какъ можно больше „чего-нибудь“. Это была умная, внимательная и понятливая крестьянская головка, успѣхи которой могли бы пробудить въ душѣ самаго невѣрующаго соотечественника вѣру въ существованіе вокругъ него самыхъ живыхъ душъ. Внимательный, серьезный взглядъ его умнѣній глазъ, ясно выражавшій жажду знать, однѣнъ только, сколько помню, поддерживалъ меня среди толпы другихъ моихъ учениковъ, большую частью совершенно не переваривающихъ обилия и разнообразія духовной пищи, мною имъ преподносимой. Федя являлся въ школу раньше всѣхъ, уходилъ всѣхъ позже; у меня родилась мысль заняться исключительно имъ однѣнъ, чтобы сдѣлать „что-нибудь“ (разумѣется, „что-нибудь хорошее“) для одного, но, къ моему удивленію, онъ безжалостно разрушилъ мои планы насчетъ его будущности, вдругъ какъ-то осовѣль, раскисъ, утратилъ напряженность внимательности къ моимъ урокамъ и скоро исчезъ изъ школы совсѣмъ. Это меня несказанно удивило и огорчило. Мнѣ стало скучно въ школѣ безъ такого цѣнителя, какого я ощущалъ во время своихъ лекцій въ Федѣ, и этого было достаточно, чтобы это предпріятіе на пользу общества приняло тотъ оборотъ, который принимали всѣ мои предпріятія на пользу собственного дома.

Скоро школа закрылась.

Встрѣтившись теперь съ Федей, я замѣтила, что юношеское лицо его носило тотъ же оттѣнокъ задумчивой сосредоточенности, какой бывалъ у него когда-то въ школѣ.

— Гдѣ ты теперь? — спросилъ я его послѣ того, какъ, поздравившись, мы отошли къ сторонѣ и сѣли.

— У Семенъ Сергеевича теперь... Тутъ — недалеко на Волгѣ село будетъ. Немудрово — знаетъ?.. Семенъ Сергеевичъ тамъ на фабрикѣ механикъ... Я при немъ...

— Что же ты дѣлаешь?

— Покуда еще только начинаемъ... и вотъ къ материѣ ёздилъ, билетъ бралъ, — думаю, тутъ у Семена Сергеевича останусь...

— Что же это ты Семенъ Сергеевичъ хороший человѣкъ?

— Страсть! — съ увлечениемъ сказалъ Федя. — Что онъ для меня дѣлаетъ, такъ это только подивиться... Какимъ я къ нему пришелъ, и что я стала? Теперь же по крайности я могу со временемъ дѣлать людямъ пользу.

— Что жъ, это хорошо! — пробормоталъ мой языкъ, привыкшій въ томъ обществѣ, изъ котораго я ушелъ, болтать ничего не значащія слова.

— Потому что, — продолжалъ Федя, съ прежнимъ одушевленіемъ и увѣренностью, — я такъ думаю, что надо жить на пользу другимъ... Вы не повѣрите, сколько есть несчастнаго народа на свѣтѣ... То ему надо помочь...

— Какъ же ты поможешь?

— Буду дѣлать пользу!

Нельзя было не улыбнуться при видѣ несомнѣнности, съ которой была произнесена эта фраза.

— А тѣ, — продолжалъ Федя, — которые есть не полезные люди, тѣхъ надо искоренять, потому что отъ нихъ вредъ... Ежели бы я прежде обѣ этомъ зналъ, то другое бы было, а то сколько лѣтъ прошло за напрасно, теперь только стать входить въ смыслъ...

Лицо Феди сдѣлалось совершенно серьезнымъ.

— Я бы ужъ давно, — продолжалъ онъ, — могъ бы что-нибудь искоренять, а теперь, можетъ-быть, еще года три надо дожидаться... А три года, — это вѣдь сколько времени-то! Къ тому времени страсть сколько народа можетъ погибнуть за напрасно, потому что я, сколько ни гляжу, не вижу старанія на пользу ни откуда, но болѣе есть народу, который поступаетъ не на пользу. Этого нельзя!

Послѣдняя фраза была сказана съ такимъ убѣжденіемъ, что я не посмѣлъ засмѣяться, хотя и дѣйствительно было чему. Господи, подумалъ я, такія ли еще вещи могутъ я понимать и говорить о пользѣ. Сколько знаю я относительно существующаго „вреда“ и какъ отлично и убѣдительно могу я изложитъ безчисленными мыслями моими по этому поводу, — а между тѣмъ я чувствовалъ и зналъ, что мое „этого нельзя“ — ровно ничего не значить, тогда какъ Федино — слово виолѣ живое, нераздѣльное съ нимъ

и поэтому непременно что-нибудь значить, а для него, для его развития значить очень много. Этого нельзя было не видеть и не слышать, глядя и слушая, как он говорит. Я не смеялся поэтому, когда Федя в дальнейшем разговоре приводил излагать более подробные взгляды свои на существующий вред, высказывая их в форме той же азбучных, так сказать, изречений: „Бедный работает, но богатый только получает, почему? Этого невозможно. Разве бедный тоже не человек? Скажите пожалуйста! Кто это вам сказал? Ну, бедный тоже человек, это я вам могу вполне доказать, да“,— и т. д. и т. д.

Слушая, слушал я эти азбучные, во вполне искренние слова, и образ деревенского Феди, того, который с босыми ногами сидел у меня в школе, размыты его тогдашнего понимания, и Федя теперешний, с теперешними потребностями мысли, — совсем оказывались непохожими друг на друга. Как случилась такая перемена?

— Отчего ты бросил школу? — прервала я его.

Федя остановился не сразу: он еще несколько секунд продолжал договаривать свои азбучные фразы, не имев возможности остановиться, так как высказал то, что владело всей его душой, ему было необходимо. Договаривая, он смотрел на меня как-то странно, как на человека, который тоже „неполезный“, должно быть. Но окончив и успокоившись, он произнес:

— Отчего я тогда перестал в школу-то ходить?..

— Да. Всё ты отлично учился...

— Скучно стало! — сказал он, улыбаясь мне прямо в глаза.

Мне даже стало неловко: — „скучно“, вот результат всех моих хлопот на пользу отечества. Это не много.

— Скучно? — зачмь-то переспросил я. — Отчего же?

— Не по мне было... Я уж так уродился: что мне не надо, мне сейчас скучно. Всё я почему в школу к вам пришел? Мне битву с кабардинцами хотелось прочитать самому... К нам в избу хаживал Андрюшка, — знаете, вор из известной были в наших местах; он хаживал к нам по осени, либо зимой, когда вору плохо, и что же? За лёто он всех обворует, цёлое лёто за него гоняются с дубинами, сторожат, — и попадись, — убили бы, — а зимой придется, и ничего, потому что он отлично сказки рассказывал... В избе темно-темно, скучно, а Андрюшка как начнет свою канитель, всё так и притается... Глядишь, оттуда пришла за чмь-нибудь баба, а стала слушать Андрюшку, да так и сидит с горшком на коленях часа два... Целую зиму его и прокормят. Кто весеню мужики начинают подумывать, как бы его связать да представить в тюрьму, но он всегда уйдет так, что не успеют опомниться... Вот этот-то Андрюшка и корень всему дёлу... Страсть как любил его сказки... В избе у нас уж какая жизнь? Там ох, тут о-о-ох, скуча! А как придет Андрюшка да начнет рассказывать, так башка и загорится вся... Какой-нибудь великань ёдет... срубил у змиев двенадцать голов, искоренил, я очень радъ; хват, а наместо двенадцати пятьдесят выросли, тут насъ все ровно обдаст, что тут дёлать? Чистая беда. И когда тот спрявится — так уж как хороши то!.. Тут Андрюшкъ — что хочешь! Словно бы он сам от всего этого отбился... Ну, вот от этого мне и вошло в ум учиться, думаю, сам примусь обо всем читать — больше узнаю; вот я и пошел в школу... Мне хотелось выучиться читать... Как я выучился азбукъ, так мне и стало скучно у вас...



Лётомъ.

Геза Ферраро.

— Однако, — проговорил я, чувствуя себя слегка заданнымъ за живое, — ведь и кроме азбуки в то время говорилъ уже то, чему вотъ ты теперь только начинаешь учиться...

— То-то не такъ я былъ в то время налаженъ... Не шло мнѣ тогда ваше в душу... Мечта действовала... Конечно, что всякий человекъ долженъ поступать по разсудку и не дозволять себѣ потакать в разныхъ тамъ пустякахъ... Отъ этого можетъ быть другимъ не польза, но вредъ (Федя произнес нѣсколько фразъ такого рода и доказалъ справедливость своихъ мнѣній), но в то время у меня орудовала мечта. Чтобы жгло бы внутри, вотъ... Я ужъ ждалъ не дождался, когда выучился читать, — а выучился и бросилъ школу... Потому мнѣ стало скучно... У меня в головѣ одно, а вы, извините, какъ начнете пахать туда...

— Знаю, знаю! — сдавался я безъ боя. „Пахать! — неизгладимо мелькнуло у меня въ головѣ.

— Особливо помню подъ Свѣтлый день... (всё я ушелъ отъ васъ подъ Свѣтлый день, на шестой недѣль)... Мы все мальчики этотъ день любимъ, — сами судите, сколько тутъ чудес случилось. Такъ, бывало, сердце и изнываетъ, какъ начнешь думать об этомъ... Я думалъ, вы расскажете все, все подробно, а вы какъ начали пахать...

— Знаю! Помню! — второй разъ сдался я и не безъ краски въ лицѣ представилъ себѣ этотъ урокъ, приготовленный заботливыми педагогами ко дню такого большого праздника.

Я представилъ себѣ, какъ ко мнѣ собралась толпа детей, ждущихъ, что я расскажу имъ объ этомъ праздникѣ не такъ, какъ дома, въ избе, рассказываетъ имъ старуха, а со всеми

подробностями, со всеми чудесами, такъ весело гармонирующими съ пробуждающею весной.

И что же дѣлалъ я для удовлетворенія желаній, съ которыми пришли ко мнѣ эти люди? По всей вѣроятности я, дорожа временемъ, рассказалъ всю исторію въ трехъ строкахъ и, не удовлетворивъ сотовой доли любопытства моихъ слушателей, перешелъ къ извлечению изъ этихъ трехъ строкъ того обилия знаній и свѣдѣній, которыми никто не интересовался... А между тѣмъ мнѣ надо бы было тогда знать, что дѣлается въ душѣ моихъ слушателей, я долженъ бы быть отвѣтить на вопросъ этихъ душъ, а не „ухать“, какъ говорить Федя... Впрочемъ, припомнилось мнѣ, вѣдь съ часами въ рукахъ вычислено, что у этихъ мальчишекъ, будущихъ мужиковъ, рѣшительно нѣть времени не разглагольствованія...

Послѣднее соображеніе не убавило однако конфуз, который я испытывалъ подъ вліяніемъ рѣчей Феди. Кое-какъ замявшись воспоминанія его относительно урока, послѣ которого онъ окончательно оставилъ школу, я поспѣшилъ спросить его:

— Куда же ты дѣлъся, когда оставилъ школу?..

— Мнѣ даже удивительно это сказать вамъ теперь, куда я дѣлъся... Какъ я выучился читать, то принялся за чтеніе. Отецъ меня, разумѣется, колотилъ, я озлился... Дѣло было лѣтомъ... Однажды я порѣшилъ, что больше дома жить не буду. Нельзя... И попадись мнѣ въ это время Андрюшка-воръ... Что жъ вы думаете? Смирился вѣдь! Мнѣ было тринадцать лѣтъ, какъ я пошелъ съ нимъ. Пошелъ я потому, что былъ сердитъ, а Андрюшка, ежели воровалъ, то тоже не просто, а потому, говорить, что тоже „сердитъ“ былъ. „Сегодня,—говорить,—вотъ куда пойдемъ, къ Илюшкѣ-кабашнику въ Старые Хохлы,—я на него еще съ прошлого года сердитъ“. Въ ту пору мнѣ представлялось, будто всѣ его дѣла справедливы, вотъ я и присталъ къ нему и приказанія его исполнялъ. Потому вѣрно выходило...

Такая школа, замѣнившая собою ту, которую Федя только-что бросилъ, признаюсь, нисколько не разъяснила возможности появленія въ немъ тѣхъ идей, какія онъ высказывалъ теперь на пароходѣ.

— Какъ же потому?

— Ну, а потому очень натурально попались въ кражѣ, попали въ острогъ.

Я не удивился этому

— Тутъ, я вамъ скажу, мнѣ было вполнѣ превосходно.

Этому я не могъ не удивиться.

— Въ острогѣ,—превосходно!—воскликнула я.

Рѣдкостная была жизнь! Я говорю вѣдь правду, мнѣ отъ вѣса скрывать нечего, я вамъ за азбуку вѣкъ благодаренъ... Но вѣрно говорю, отлично!..

— Да почему же? Что жъ тамъ кормятъ, держать хорошо?

— Вотъ,—кормъ! Нашли что! Я говорю—весело. Это было мнѣ въ ту пору по душѣ. Какъ самъ я шлялся съ Андрюшкой, то я шлющій народъ зналъ, я ихъ такъ понималъ, какъ себя... Отъ этого они меня приняли хорошо. Конечно, я все перенесъ съ первого началу, меня и били и на лицо мнѣ садились, но я не сержусь, со всѣми то же бываетъ... Это какъ экзаменъ... И главное, что мнѣ было весело, это я вамъ скажу, фальшивая монета! Ей-ей. Весьма было интересно! Въ первый разъ я тутъ занялся прилежно... Дома по хозяйствству, признаться, меня не тянуло; ну, что за интерес цѣлый день, напримѣръ, вколачивать гдѣ-нибудь колъ?—окромя, что измучась, ничего нѣть. Или въ лѣсъѣхать,—вырубишь на гривенникъ, а проѣдешь туда да назадъ—сутки... Не по характеру мнѣ это, потому пользы нѣть, хоть цѣлый годъ изо дня въ деньѣ ѳѣди въ лѣсъ да колы вколачивай—все бѣдность... Ее лучинкой не подопрешь, не понравишь... Это я еще тогда чуялъ, отъ этого мнѣ и скучно было... А тутъ, когда я при фальшивой монетѣ состоялъ совсѣмъ другое; тутъ я за свою братію стоялъ,—первое, а второе, что надѣляемъ пятиалтынныхъ, всего накупимъ... Я такъ тогда полнилъ, что не грѣхъ обманывать лавочниковъ, они богатые, и много народу, что въ острогѣ сидѣли, были на нихъ сердиты и меня подстроивали. А я въ то время былъ согласенъ съ ними... И они меня страсть какъ любили... Когда я вышелъ изъ острога...

Я подумалъ, что вотъ, паконецъ, гдѣ должна быть разгадка.

— ...Такъ заскучалъ, такъ зарыдалъ...

— Но какъ же ты,—не вытерпѣль я,—сдѣлался такимъ, каковъ ты теперь?

— Да все же черезъ фальшивую монету! Ежели бы не она, я бы, кажется, прямо въ родительскій домъ ушелъ, быль бы простымъ работникомъ, возилъ бы воду, не имѣль понятія. Но черезъ фальшивую монету я получила большую пользу.

— Это очень любопытно. Расскажи, пожалуйста.

— Это я вамъ сейчасъ скажу. Видите, когда мы подѣльвали мелочь, мы ее, надо говорить прямо, подѣльвали искусно. Это ужъ говорить нечего. Быль одинъ изъянъ въ нашей работѣ,—звонъ; звуку не было. Ежели такъ ее взять въ руку, настоящая вполнѣ, а ежели обѣ стойку брякнуть, въ ней тону нѣть. Видите. Когда я вышелъ изъ острога, мнѣ и пришла въ голову мысль: думаю: „дай я получусь тонъ подпускать, да опять какъ-нибудь попаду назадъ,—то-то, думаю, мнѣ обрадуются...“ А еще въ острогѣ слышалъ я, что очень хорошее средство—стекло пускать въ свинецъ; мы пробовали пускать, только нѣть, не выходило... Вотъ я и принялся искать человѣка знающаго. Долго ли, коротко ли, говоря мнѣ, „сходи вотъ къ такому-то, онъ можетъ“... Вотъ и пошелъ я. „Скажите, ваше благородие, сдѣлайте молодость,—говорю я,—не знаете ли, какимъ манеромъ звонъ въ свинецѣ дѣлать и сколько на какую часть свинцу класть?“—„А зачѣмъ это тебѣ, другъ любезный?“—„А, говорю, въ монету фальшивую...“ Тотъ и обомѣлъ. „Какъ въ фальшивую монету?“ И глаза вытарашилъ. А я, признаться, не совсѣмъ аккуратно понималъ, что такое фальшивая, что не фальшивая... Мнѣ хотѣлось нашей братіи острожной угодить. „Какъ, каналъ эта какая, говорить, въ фальшивую монету? Да кто ты? Да что ты такое?“—„Я, говорю, изъ острога“... и все рассказалъ барину, а баринъ этотъ и есть Семенъ Сергеевичъ... Какъ рассказалъ я ему, онъ даже словечка не промолвилъ и не обругалъ... Вотъ онъ-то и перевернуль у меня все въ умѣ... „А что, ежели за твой пятиалтынны посадить, а то и въ Сибирь соплютъ певиннаго человѣка? Что жъ ты пользу этимъ ему сдѣлаешь?“ Съ этой точки онъ меня и пробралъ... Я два дня, кажется, слезъ не осушалъ, какъ съ мыслями сообразился да пополовому и деревенскую и острожную жизнь разобралъ...

Федя замолкъ, молчалъ и я.

— Вотъ моя жизнь, Андрей Иванычъ! — прибавилъ Федя. — Конечно, я дурное дѣлалъ, но я не понималъ; какъ у меня душа говорила, такъ я и дѣлалъ... А теперь всей моей душой не вредъ, но пользу хочу оказать, а зло искоренить... И искорено! — закончилъ онъ, сверкнувъ полными слезъ глазами.

V *).

Второй день моего путешествія и пребыванія на пароходѣ подходилъ къ концу. Остановились на гладкой поверхности возлѣ плата и барки и стоимъ неподвижно; только широкій и высокій пароходной волны, незамѣтно подбѣжалъ подъ неподвижно стоящей плоть, коробилъ его съ одного угла на другой, вмѣстѣ съ десяткомъ человѣкъ народу, усѣвшагося безъ шапокъ вокругъ чашки съ вечерней ёдой. Вылетавшіе изъ пароходной трубы клубы дыма подолгу висѣли во влажномъ и начинавшемъ холодаѣ воздухѣ. На мачтахъ остановившихся на ночь баржъ засвѣтились огоньки... Хорошъ былъ этотъ вечеръ, потому особенно, что на душѣ у меня было тоже хорошо и покойно, чemu особенно много способствовалъ разсказъ Феди, разъяснившій мнѣ и въ моемъ прошломъ и въ томъ, на что я теперь, въ теченіе этого дня смотрѣлъ и что слушалъ, — очень многое.

Я не намѣренъ передавать здѣсь въ подробности все, что я переслушалъ, находясь съ ранняго утра до теперешняго тихаго вечера въ толпѣ. Я могу сказать положительно, что весь разсказы и разговоры, слышанные мною въ толпѣ, если не касались барышей, „дѣлъ“ и т. д., блистали самою неподѣльною дикостью и мракобѣсіемъ; чего только я не наслушался здѣсь! Если бы записать всю эту дикость и мракобѣсіе, отѣлить тщательно отъ разсужденій о практическихъ дѣлахъ, то читатель бы подумалъ, что я представлю ему домъ сумасшедшыхъ, а не обыкновенный пароходъ, наполненный обычновенными пассажирами. Я знаю

*) Эту главу слѣдуетъ рассматривать, какъ подводящую итогъ предшествующимъ главамъ, т. е. первой, второй и третьей главамъ разсказа „Изъ записокъ маленькаго человѣка“ и здѣсь напечатанной четвертой главѣ.



На празднике.

многихъ изъ очень развитыхъ соотечественниковъ, которые, проехавъ верстъ три-четыре тысячи по русской землѣ, чувствовали сѣбя словно въ дремучемъ лѣсу, не находили человѣка, съ которымъ бы можно было сказать слово, хотя сотни тысячъ народу прошло и проѣхало мимо нихъ, и рады были раздѣльщики, когда, наконецъ, гдѣ-нибудь въ пустынѣ отыскивали номеръ „Сына Отечества“, явившійся при такихъ обстоятельствахъ истиннымъ благодѣтелемъ, потому что, въ самомъ дѣлѣ, трудно себѣ представить, о чёмъ только и какъ разговариваютъ эти сотни тысячъ чукъ, армяковъ, лисьихъ шубъ и т. д., не говоря уже о дикости понятій, въ которыхъ къ тому же и разобрать еще съ непривычки ровно ничего невозможно, самыи языки, которымъ говорять эти народы, преграждаютъ всякий путь и надежду на какое-либо пониманіе ихъ сумасшедшей чепухи.

Вотъ, напримѣръ, кто-то изъ этихъ людей произнесъ слово „прокламація“, а другой сказалъ „съ прокламаціями“ и захочатъ. Тотъ, кто захотѣлъ бы принять это слово въ томъ смыслѣ, какой оно должно имѣть, — очень скоро долженъ бы быть почувствовать себя не совсѣмъ ловко: „Гдѣ прокламації?“ Отвѣ чаютъ: — „Въ буфетѣ! Въ буфетѣ сидѣть два купца, играютъ въ шашки, одинъ человѣкъ спитъ, одинъ умывается, — а прокламації нѣтъ какъ нѣтъ. „Гдѣ же онѣ?“ — „А вотъ, — говоритъ съ затаеннымъ смѣхомъ буфетчикъ, указывая на того, кто умывается, — онъ съ самаго утра такъ-то полощется; ужъ чего-чего не было: вынуль этакіе щипцы не щипцы, ножи не ножи какіе-то, эво сколько, — какъ привыкъ выдѣлывать эти самыи прокламації, — Боже милосердый!.. и въ посы къ себѣ лѣзеть и за ногтемъ роется... Купецъ тутъ рядомъ съ нимъ спаль, такъ весь даже въ мылѣ проснулся“.

Вотъ какими языками разговариваютъ эти люди, — но, несмотря на то, что языки этой верхъ безобразія, что идеи переполнены дикости и мракобѣсія, — вѣра въ нихъ и настойчивость, съ которою они проводятся этими армяками, лисьими шубами и потушубками въ жизнь, достойны полнаго удивленія и доказываютъ, что между этими армяками, лисьими шубами и полушиубками существуютъ массы сильныхъ натуръ, могучихъ характеровъ. Какъ, напримѣръ, послѣдовательно осуществляеть въ жизни свои странныя идеи старикъ, разсказывавшій о неопалимой купинѣ. Съ какой искренностью всыпнули стыдомъ щеки дѣвушки, послѣ того, какъ ея взгляды на казанскаго мѣщанина бѣли разбиты вдребезги сѣдѣлькимъ старичкомъ. Глядя на эту искренность, можно было сказать съ полной увѣренностью, что послѣ афрона, нанесенного дѣвушкѣ старикомъ, взгляды ея ужъ будуть не тѣ, что были, а несравненно лучше... Точно также бы, если въ жизни старика, такъ иерархично сплоченной съ указаніями неопалимой купины, произошло что-нибудь разбивающее стройность и цѣлостность его теоріи, онъ не сталъ бы придумывать пустяковъ и софизмовъ, а, можетъ-быть, либо умеръ, зачахъ, не видя болѣе почвы подъ своими ногами, либо взялся за что-нибудь другое, что точно такъ же уяснило бы ему все, какъ прежде уяснила неопалимая купина. „Дай попробую, узнаю, — говорилъ онъ въ своеемъ разсказѣ, — сама она или не сама хочетъ ко мнѣ? Какъ цѣна?“ — „Два съ полтиной“. — „Рубль, хочешь бери!“ Съ него взяли рубль, — стало-быть, сама! И, дѣйствительно, все пошло какъ по маслу... Ну, а если преображенскій батюшка запросилъ не рубль, а, напримѣръ, рубль шесть гривенъ. Оказалось бы, что „не сама“, что во всей этой исторіѣ есть какая-то фальшь, что-то недадно; оказалось бы, что и „въ напутствіе“ и „въ срѣтеніе“, въ сущности, ровно ничего не значатъ, что подрядъ удачный попался не по Божьему волѣ, а, можетъ-быть, по наущенію дьявола и т. д. и т. д. Я живо представляю себѣ состояніе духа несчастнаго купчина, послѣ этого огоращающаго рубля шести гривенъ; все семейство его ходить на цыпочкахъ, потому что онъ сердитъ; все ему „не такъ“, потому что это „не такъ“ сидѣть въ немъ; всѣ домашніе и служащіе оказываются обманщиками и ворами потому, что онъ обмануть самъ и вполнѣ падутъ дьяволомъ... Наконецъ — запой и появленіе уже настоящихъ бѣсовъ.

„Но, — приходило мнѣ въ голову, — всѣ эти удивительные характеры, всѣ эти люди съ необыкновенно прочными вѣрованіями, вѣруютъ все-таки же въ самую подлинную чепуху и, кроме не-проходимаго невѣжества, ничѣмъ, въ сущности, не могутъ пора-

доватъ внимательный взглядъ наблюдателя. Что же тутъ хоро-шаго? При такомъ характерѣ да при такомъ невѣжествѣ какой чепухи не сумѣть сдѣлать такой человѣкъ со своимъ ближнимъ?“ Такія соображенія, несмотря на очевидную основательность, не особенно тревожили меня въ настоящую минуту. Припомненная похожденія Феди, я убеждался, что сфера невѣжества и дикости вовсе необязательна для хорошо сформированнаго характера. Мальчикъ, который ушелъ изъ школы воровать, воръ, сидящій въ острогѣ, фальшивый монетчикъ, ужъ это ли не потерянное существо, ужъ это ли не человѣкъ, который больше другихъ способенъ наброситься на васъ и схватить за горло? А на дѣлѣ выходитъ совсѣмъ другое. Строго повинуясь указаніямъ своей мысли, онъ вышелъ самъ собой на настоящую дорогу, прямо къ свѣту... Эта путь къ свѣту не заказанъ никому изъ массы чукъ, армяковъ, лисьихъ шубъ; этотъ путь даже неизбѣженъ для всѣхъ ихъ, и если области невѣжества и умственнаго вздора остаются для нихъ обязательными, то причину необходиимо искать не въ нихъ...

Разсказъ Феди, хотя и отчасти, указываетъ на эту причину. Выраженія „мнѣ“ стало скучно, я хотѣлъ, мнѣ не шло въ душу“, выраженія, которыми бѣль переполненъ его разсказъ, невольно пришли мнѣ въ голову... Повинуясь этому настойчивому „я“, онъ бросаетъ школу, — учрежденіе, несомнѣнно, полезное, особенно въ сравненіи съ поддѣлкой фальшивыхъ пятнадцатынхъ, и идетъ воровать. Какъ это могло случиться? Стойти только припомнить намѣренія, съ которыми Федяшелъ въ школу, и сравнить съ тѣми, которая со своей стороны имѣла школа, чтобы понять, что общаго между тѣми и другими не было ничего, что Федя долженъ быть непремѣнно бросить школу, если хотѣлъ сохранить свою самостоятельность, если не хотѣлъ пустить въ душу того, что не шло туда само себой. Слѣдовательно, путь къ свѣту, предлагаемый школой, угрожалъ Федѣ потерю нравственной самостоятельности и заставилъ его уйти, быть воромъ, шататься по чужимъ амбарамъ, по острогамъ.

Что дѣлать! Должно-быть, только въ этой темнотѣ, въ этихъ темныхъ углахъ, гдѣ не видно ни капли свѣту, и возможна эта нравственная самостоятельность! Развѣ старикъ со своей купиной не напоминаетъ филина на церковной колокольнѣ, забившагося отъ людей въ такую высъ и такую трещину, куда до него не дѣватъ ни одинъ камень? Быть-можеть, и эта трещина сохраниетъ его нравственный міръ такимъ, какимъ онъ самъ считаетъ его лучше и удобнѣе для себя. Иначе вообще, почему же эти характеры прячутся по мурьямъ, по острогамъ, гнѣздятся гдѣ-нибудь въ темномъ углу, какъ совы, которая видятъ только въ темнотѣ? Ихъ тутъ не трогаютъ и не мѣшаютъ имъ быть самими собою...

И опять образованные люди купріяновской свалки пришли мнѣ на память. Всѣ они, безспорно, исповѣдывали лучшія идеи, чѣмъ эти чуки, лисьи шубы, армяки; всѣ они шли въ своеемъ развитіи по болѣе торнымъ путямъ, — и что же? есть ли въ нихъ хоть тѣнь той силы въ своихъ убѣжденіяхъ, которою обладаютъ невѣжественные лисьи шубы. Вспомните процессъ, и вы убѣдитесь, что онъ служитъ самымъ прочнымъ доказательствомъ отсутствія вѣры въ эти убѣжденія. Неужели же въ развитіи ихъ не было тѣхъ благопріятныхъ условій, какія Федя нашелъ въ своей странной жизни, или купецъ - филинъ, воспитывающій себя въ глухой трещинѣ подъ колокольней? Я припомнилъ ходъ своего развитія, развитія моихъ знакомыхъ и товарищей, и убѣдился, что на торныхъ путяхъ къ свѣту нѣтъ въ нашей сторонѣ возможности сохранить свой характеръ и личность.

Федя ушелъ, какъ только ему „не пошло въ душу“... Кто изъ насъ, изъ всѣхъ этихъ „купріяновцевъ“, уходилъ когда бы то ни было отъ этого „не идѣть въ душу“. На торныхъ путяхъ нѣтъ никакихъ средствъ уберечь эту бѣдную душу на собственную свою пользу. Едва она попала сюда, какъ тотчасъ же начинаются надѣи на эксперименты, не ставящіе ее въ грошъ и имѣющіе въ виду цѣли, ей вовсе постороннія. Находясь еще въ школѣ, она пріучается то думать объ известныхъ вещахъ, то не думать, потому что это кому-то нужно. И затѣмъ, эти акции и реакціи мысли, независящія отъ васъ, начинаютъ дѣйствовать безъ остановки во всю послѣдующую жизнь. Поставленный въ необходимость разъ двадцать въ жизни перемѣнить направление мысли, человѣкъ теряетъ къ ней всякий аппетитъ и можетъ завѣщать своему

сыну только то, что все эти мысли, въ сущности, вздоръ, потому что завтра могут быть другія. И прочныи и неизмѣнныи остается только то, что дѣлаетъ человѣка очень, очень маленьkimъ.

Мнѣ пришло въ голову и припомнилось множество населяющихъ русскую землю людей, жертвъ этихъ внезапныхъ акций и реакцій мысли, отъ самихъ людей независящихъ, и я бы непремѣнно теперь же представилъ ихъ читателю, если бы не произошло слѣдующее.

Пароходъ, описывая полукругъ и жалобно гудя въ ночной тишинѣ, сталь подходить къ пристани.

На склонѣ горы темнѣли барки и бѣлѣли церкви. Нѣсколько огоньковъ свѣтилось на пристани.

— Село Немудрово! — сказалъ капитанъ.

— Немудрово! — раздавалось по каютаамъ, гдѣ лакеи будили заспавшійся народъ, которому нужно было здѣсь выѣзжать.

Я не спалъ.

— Прощайте, Андрей Иванычъ! — сказалъ, появляясь съ узелкомъ подъ мышкой, Федя.

— Куда ты?

— Я здѣсь вылѣзаю...

— Развѣ здѣсь твой Семенъ Сергеичъ?

— Какъ же, здѣсь... У того купца онъ на фабрикѣ... у сѣлого, что вы давеча слушали... Первый фабриканть и первый кровопиецъ... А вы кудаѣдете?

Этотъ вопросъ заставилъ меня подумать, куда собственно яѣду. Оказалось, что, садясь на пароходъ, я не взялъ даже билета.

Удаленіе Феди и скуча одинокой єзды на пароходѣ, притомъ еще неизвѣстно куда, навели меня на мысль сойти въ Немудровъ...

Я такъ и сдѣлалъ.

И хотя это обстоятельство прервало на нѣкоторое время нить моихъ мыслей, зато, ознакомившись съ жизнью большого фабричного села, я могу теперь разсказать не только о старыхъ моихъ знакомыхъ, но и о положеніи цѣлой деревни, испытывавшей на своемъ вѣку тѣ же самыя, хоть и не нужные ей, но настойчиво приводимыя въ исполненіе посторонняя вліянія.

Глѣбъ Успенскій.

Когда-то.

(Изъ дневника старого идеалиста).

Со мною ты у камелька сидѣла,
У тихо догоравшаго огня,
И все вокругъ мерцало и алѣло,
И былъ такъ сладостно настроенъ я.
Въ тебя я вѣрилъ, я тебя любилъ,
Свободную любовь я свято чтилъ

Когда-то.

Но года не прошло, какъ виновато
Мнѣ улыбнулась ты. Свершился рокъ:
Любовь растоптана была и смята,
Какъ брошенный на улицѣ цвѣтокъ...
Свободную потомъ я полюбилъ
Науку, и ее я свято чтилъ

Когда-то.

И въ храмъ ея торжественный вступиль я,
Но торжищемъ тотъ оказался храмъ.
Въ немъ старую лишь истину открылъ я:
Наука рабская нухна рабамъ...

Тутъ я избралъ себѣ иной удѣлъ,—
Писателемъ свободнымъ быть хотѣлъ

Когда-то.

Удары злые сверху, сбоку, снизу
Мнѣ наносили врагъ, и братъ, и шутъ,
Священную пришлось мнѣ сбросить ризу,
Какъ ветоши изодранный лоскутъ...
Тогда народъ свободный полюбилъ,
Ему я пламенной душой служилъ

Когда-то.

Но осквернилъ онъ все, что было свято:
Науку, слово, самого себя,—
Все, все теперь растоптано и смято.
И вотъ живу на склонѣ лѣтъ, скорбя,
Съ вопросомъ горькимъ на нѣмыхъ устахъ:
Когда жъ мы вспомнимъ о былыхъ богахъ?..

Когда-то?

Р. И. Сементковскій.

Волжскій богатырь.

Очеркъ А. С. Панкратова.

I.

Богъ его знаетъ, откуда онъ пришелъ на Волгу. Ходила молва, что Велуга — родина Игната Столбова. Лицо у него было простое, крестьянское. По виду онъ смолокуръ изъ Керженскихъ лѣсовъ или плотовщикъ изъ того же глухого мѣста. Самъ онъ не любилъ говорить о своемъ прошломъ. И всѣмъ казалось, что не было у него этого прошлаго. Всѣ знали Игната Столбова, какимъ онъ сложился уже на Волгѣ. Лиши Ипатъ, баканщикъ съ Кривой Косы, когда выпивалъ лишие, то болталъ:

— Помню я Игошку-то!.. Какъ же! Разухабистый быть малый. Пришелъ изъ деревни босой, можно сказать — ницій. Лишь гармошка-ливенка была за плечами. Поступить сторожемъ на конторку въ Чебоксары. Потомъ, глядѣмъ, лавочку открыль. И пошелъ, и пошелъ въ гору... А я тогда только-что изъ яица Господи благослови — выпулся, малычонъ на баканъ попалъ. Хаживали мы съ покойнымъ — царство небесное! — Прохоромъ къ Игошкѣ въ лавку за сѣмечками. Сидѣтъ онъ, бывало, на табуреткѣ, въ гармошку играеть, сѣмечки грызетъ, а около него пѣлый содомъ дѣвочки. Веселый быть, любопытный... Но играть онъ играеть, а свой интересъ соблюдаетъ...

Старикъ долго могъ болтать. Это была его любимая тема. Но слушали его мало. А вѣрили еще меньше. Всѣмъ казалось страннымъ, что Игнать Столбовъ — самъ Игнать Столбовъ! — въ лавочкѣ сѣмечками торговалъ. Не вѣрили и другому слуху, что будто былъ онъ когда-то простымъ крючникомъ. А слухъ шелъ оттого, что десять пудовъ поднималъ онъ, какъ перышко. Схватить кого, бывало, въ гнѣвѣ — гнѣвный всегда былъ, упаси Боже! — такъ

лучше бы того человѣка мать не родила. Изуродуетъ или въ Волгу бросить. Широкая спина Столбова и его могучій кулакъ, силу которого знала вся Волга, — действительно какъ будто наимекали на его крючничество. Но былъ ли онъ когда крючникомъ — Богъ его знаетъ. И лучше, бывало, не заводить разговора объ его прошломъ. Насупится Игнать, немилостиво посмотритъ на любопытнаго или ударить широкой пятерней по столу такъ, что посуда задребезжитъ въ шкалу, или — что бывало не разъ — опустить кулакъ на спину вопрошателя и сразу молча прекратить разговоръ. У него долго не поговоришь!

Но по всему было видно, что онъ сынъ деревни. Надоѣло ему, видимо, смолу курить или плоты гонять по Керженцу, захотѣлось подышать волжскимъ просторомъ. Натура сизмальства богатая: въ плечахъ косая сажень, ударить, мокро останется, въ душѣ родникъ живыхъ, не использованныхъ силъ. Куда ихъ дѣвать? Душно бываетъ такимъ людямъ въ деревнѣ. Тѣсно, какъ въ гробу. Крылья обиваются и слабнутъ, какъ у соловья въ клѣткѣ. Въ деревнѣ нищета, старость обижаетъ, мужикъ-міроѣдъолосу запахиваетъ. Нѣтъ ни выхода ни просвѣта. Весь мѣръ въ одной полосѣ земли. Всѣ надежды и упованія въ ней. А земля вездѣ «не родючая». Маesta, а не жизнь. Бился, можетъ-быть, и Игнать. Да вѣ-время понялъ, что свѣтъ не клиномъ сошелся. Бросилъолосу, простился съ родными угломъ, поплакалъ въ сердцѣ свое, — и пришелъ на Волгу. Тутъ ширь, просторъ. Дѣла хотѣть отбавляй.

Но куда пойти Игнату Столбову? Простора на Волгѣ много, но кроме промышленности и наживы денегъ — нѣтъ другой дороги. Русскому богатырю всегда были „всѣ пути заказаны“.

Пошелъ и Игнать по натоптанной дорожкѣ. Не пошелъ, а бросился, съ головой ушель въ кипучую волжскую дѣятельность. Жизнь сразу же поняла, что передъ ней не дюжинная натура и отдалась ему безъ сопротивленія. Игнать шелъ, какъ завоеватель. Гдѣ бралъ умомъ, смекалкой, гдѣ счастьемъ, удачей—всегдашними спутниками богатой натуры. Игнать шелъ, не оглядываясь. Отъ лавочки къ магазину, отъ магазина къ оптовой хлѣбной торговѣ. Шли годы, имя Столбова расплывалось по Волгѣ. Загудѣли столбовскіе пароходы. Столбовъ сталъ своимъ человѣкомъ на биржѣ. Ветлужскій мужикъ сдѣлался королемъ кормилицы-рѣки...

II.

Лѣтъ двадцать тому назадъ Игнать Столбовъ былъ въ большой славѣ. Его имя было нарицательнымъ. Въ Поволжѣ говорили: „богатъ, какъ Столбовъ“, „спокойный, какъ Столбовъ“. Всѣдѣ и всюду были его лабазы, пристани, лавки, конторы. Отъ Твери до Астрахани и на Каспій до Персіи. Громадные караваны его мокшины и бѣлья тянулись по Волгѣ, Камѣ и Бѣлої. Свистали и дымили буксируные пароходы. И на всемъ, что принадлежало Столбову, была его печать—огромная, сдѣланныя по одному образцу вывески. На каждой стояли только два слова: „Игнать Столбовъ“. Эти вывески были изданы видны, поражали своей рельефностью и запоминались навсегда.

Столбовскія суда волжане угадывали за много верстъ. Чуть-чуть на зеленомъ фонѣ луговъ или лѣса обрисуется труба, они уже говорили:

— Это столбовской!

— Почему?

— По всему видно. Такихъ трубъ нѣть ни у кого.

Все у Столбова было широкое, крѣпкое, сильное. Какъ самъ онъ. Не любилъ онъ ничего маленькаго. И никогда не былъ доволенъ ничѣмъ.

— Крупнѣе надо! Чтобы вся Волга сбѣжалась смотрѣть!—говорилъ онъ.

Сидѣлъ онъ однажды въ трактире надъ Волгою и смотрѣть, какъ тихо шелъ его караванъ баржъ съ хлѣбомъ. Былъ мраченъ съ перепоемъ.

— Мразъ какая-то,—стукнулъ онъ вдругъ кулачищемъ по столу,—не видать въ нихъ Игната Столбова!

Призвала мастера и сказала:

— Можешь ли построить баржу на 200 тысячъ пудовъ?

Обыкновенно самая сильная волжская баржа можетъ принять только 40 тысячъ пудовъ.

— Могу, Игнать Потапычъ,—отвѣтилъ мастеръ,—только Волга не выдержитъ.

— Выдержитъ, строй въ мою голову!

Построили необыкновенную баржу, широкую, вѣмистую. Столбовъ радовался:

— Это моя!..

Стали вести ее внизъ. Вели долго съ большими препятствіями. Сколько денегъ это стоило! Сколько взято! Столбовъ передавалъ, проводя несуразную посудину черезъ заставы и кордоны. Но онъ ни передъ чѣмъ не останавливался. Бѣхъ за баржей и радовался: „Моя, столбовская!“ Наконецъ кое-какъ довели баржу Голаева до Каспія. Случилось, что море было тихое, и баржа проскочила до Баку. Но изъ Баку ее не выпустило портовое начальство: „опасно“. Столбовъ ходатайствовалъ, но успеха не имѣлъ. Поругался и плонулъ. А скоро и забылъ о своей затѣ. Такихъ странныхъ, несуразныхъ затѣ у него было много.

Столбовы, должно-быть, въ свое время вылили Царь-пушку и Царь-колоколь...

Пароходы Столбова были огромные, сильные. И называли онъ даваль имъ подхоящиа: „Геркулесъ“, „Самсонъ“, „Двухтрубный“ и т. п.

Когда шелъ караванъ столбовскихъ баржъ по Волгѣ,—движение простиранывалось: „ни прохода, ни проѣзда“.

— Почему не пропускаютъ?—спрашивали плотовщики гдѣ-нибудь подъ Чернымъ Яромъ.

— Игнать Столбовъ идетъ сверху,—отвѣчали имъ.

Этимъ сказано все. Если Игнать Столбовъ идетъ, значитъ другимъ пройти уже нельзя. Волги не хватить. Плоты жались къ берегу и выжидали, когда пройдетъ столбовская „туча“. А она шла тихо и долго. Какъ будто не хлѣбъ везли на баржахъ, а войско несмѣтное переправляли во вражескую землю. Съ баржъ неслись пѣсни.

Самъ Столбовъ сопровождалъ караванъ на своемъ пароходѣ. Остановить пароходъ. Пойдѣть на капитанскій мостикъ и радуется: „Это по-моему, по-столбовски!“ Увидѣть, что дальняя баржа отстаетъ, начнетъ кричать. Голосъ густой, бархатный, рупора не надо. Далеко Столбовъ слышелъ по рѣкѣ:

— О-го-го-го! Не отставай! Подтянись! Ооооооо!..

И слушаетъ съ радостью, какъ эхо прибрежнаго лѣса передаетъ его команду. Но особенно гулко разносилось по Волгѣ его бранное слово. Красный отъ гибва и натуги Столбовъ неистово махалъ руками и гудѣлъ такія слова, что все кругомъ пряталось. Въ такихъ минуты страшно было взглянуть на Столбова.

Похожъ онъ былъ на свои баржи и пароходы. Самсонъ. Пятерня—пудовикъ, ударить—въ землю вроетъ. А ударить ему въ минуты гибва ничего не стойть. Все на свѣтѣ забываетъ. Сколько

людй на Волгѣ было близко знакомо съ его рукой! Попадеть къ нему подъ горячую руку какой-нибудь волжской „мерзавецъ“ и свѣтъ не взвидѣть. Столбовъ насунется, покраснѣеть, кольнетъ ему въ сердце иголка совѣсти. Если избитый дѣйствительно мерзавецъ, Столбовъ вынетъ бумажникъ, бросить ему „катеньку“ и скажетъ:

— Брысь! Знай впередъ Игната Столбова!

А если обидигъ хорошаго человѣка, тяжело чувствуетъ свой поступокъ. Мрачнѣеть, глядитъ въ сторону, потомъ соберется съ духомъ и прогодитъ:

— Прости! Себя не помню... Дьяволъ я, а не человѣкъ.

И слеза повиснетъ на его сѣдѣющихъ усахъ...

III.

Семи у Игната Столбова не было. Была одна жена, которой онъ не любилъ. У глупой, эгоистической Натальи, прятавшей деньги въ чулокъ, не было ничего общаго со Столбовыми. Она сошлась съ ней „подъ пьянную руку“ и заплатилъ за позоръ. Но женщина положила деньги въ карманъ и все-таки пришла къ нему и осталась жить. У Столбова не хватило мужества сразу разорвать связь. Прошли мѣсяцы и годы, и Наталья фактически стала хозяйкой въ его домѣ. Онъ не протестовалъ. Никогда ни одного слова любви не слышала она отъ своего „хозяина“. Но отъ этого нисколько не страдала. Любовь ей было не надо. Вся жизнь ея состояла въ томъ, чтобы утавивать отъ Столбова копейки и копить. Ночью она залѣзала къ нему, пьяномъ, въ бумажникъ и крали деньги. Онъ замѣчать, но молчать и лишь въ пьянинѣ гибѣвъ, когда билъ ее и гналъ изъ дома, говорилъ: „Стерва ты! Дура! Воровка! Куда деньги колиши? Кому отдашь? Въ могилу съ собой возьмешь?“ Она нарочно попадалась ему на глаза, когда онъ былъ пьянъ. Пусть ударитъ, во зато утромъ, когда хмель вылетѣтъ и Столбовъ станетъ человѣкомъ, она придетъ къ нему и начнетъ плакать... Столбовъ не выносилъ женскихъ слезъ... Чтобы прекратить ихъ, суньетъ ей въ руку сто рублей... Та брала и сразу же „входила въ роль“. Мстила ему за вчерашнее. Начинала ругать, иногда даже била его. Знала она хорошо, что Столбовъ съ похмелья слабый человѣкъ и лишь беззвучно смѣется, когда она маленькими кулачками удараляетъ, какъ въ стогъ сѣна, въ его широкую спину. Если брань ему надоѣдала, онъ начиналъ хмуриться. Тогда Наталья мгновенно испарялась.

Такъ прожили они, чужие, всю жизнь. Въ глубинѣ своей души Столбовъ мечталъ о любви умной, чуткой женщины, которая могла бы пересоздать его, направить на одно хорошее, отвлечь отъ самодурства. Такую женщину онъ искалъ всю жизнь. Но его всегда окружала армія жадныхъ, заглядывающихъ въ его толстый карманъ и подставляющихъ свою спину подъ его кулакъ, людей. Лишь однажды въ его жизни блеснула звѣздочка. Но ее не удалось удержать Столбову.

Бѣхъ онъ въ Пермь и случайно познакомился съ молодой, маленькой, худенькой женщиной. Кто она—Столбовъ не зналъ. Въ ея ровныхъ, спокойныхъ словахъ и движеніяхъ, въ открытыхъ дѣтскихъ глазахъ онъ увидѣлъ ровную силу, которая можетъ остановить его гибѣвную рѣчъ и пьянину руку. Они долго говорили, и женщина раскрыла ему новый міръ простыхъ, братскихъ отношеній и искренней любви. Она щѣхала къ любимому человѣку въ Ишимъ. Онъ былъ сосланъ туда. Рассказывала о лишеніяхъ ссыльныхъ.

— И вы будете голодать?—спросилъ Столбовъ.

— И я,—просто отвѣтила она.

— Зачѣмъ же вы єдете?

— Какъ зачѣмъ? Я его люблю...

Столбовъ почувствовалъ тогда, что его богатство и слава легли на него тяжелымъ камнемъ, гнули его къ землѣ и мѣшили жить. Жизнь одного накопленія представилась маленькой, ничтожной жизнью, которой не стойть жить. Худенькая знакомая довѣрчиво глядѣла ему въ глаза, спокойно говорила о своемъ ребенкѣ и каждымъ правдивымъ словомъ властно манила его къ себѣ... Они подѣбѣжали уже къ Перми, какъ просвѣтлѣвшій Столбовъ вдругъ сказалъ:

— Хорошій вы человѣкъ.

Она смущенно улыбнулась:

— Всѣ такіе...

— Останьтесь со мной,—говорилъ Столбовъ.—На всю жизнь. Я очень богатъ, но одинокъ. Душу мою согрѣть некому... Жить оттого тяжело, невыносимо. Полюбите меня!

Онъ быть готовъ умолять ее, стать на колѣни, цѣловать ея ноги, плакать. Но маленькая женщина взяла его руку и пожала ее крѣпко. Потомъ притянула, какъ ребенка, къ себѣ и поцѣловала въ лобъ.

— Прощайте,—сказала она со слезами въ голосѣ,—въ вѣсъ Божья искра есть. Господь пошлетъ вамъ женщину лучше меня!

И смыкалась съ толпой.

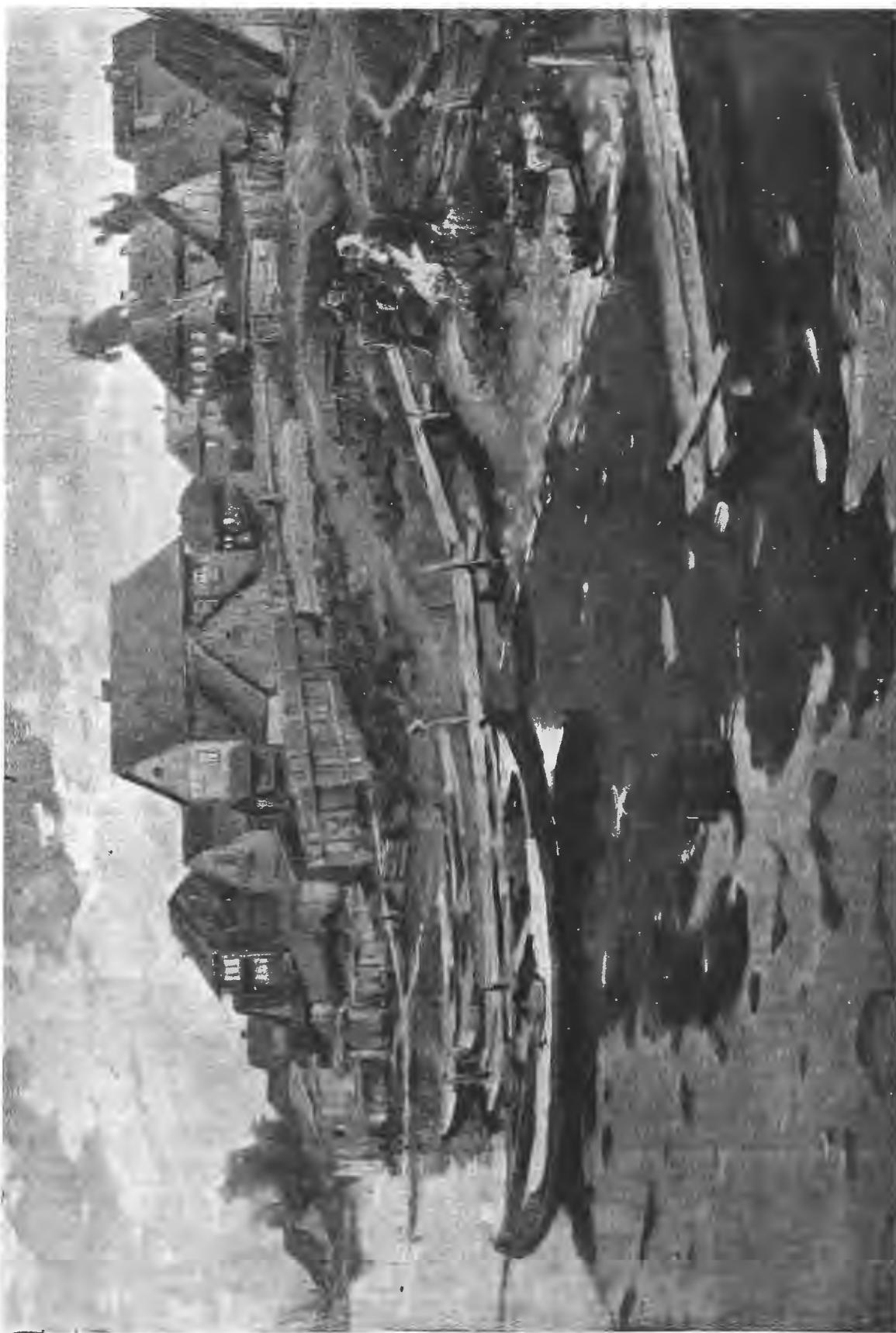
Столбовъ заперся въ каютѣ и плакаль, какъ ребенокъ...

Въ другой разъ онъ со своей пестрой шумной компаніей пьянистовалъ на плотахъ. Прибѣглъ къ нимъ женщина. Откуда она пришла, никто не зналъ. По виду какъ будто „ночная бабочка“. Щѣла она пѣсни, хохотала, много пила шампанского.

Столбовъ,—который былъ въ томъ періодѣ, когда вино лилось въ него, какъ вода, не опьяння, —замѣтилъ, что сквозь смѣхъ у нея сквозило отчаяніе и слезы. Въ концѣ безумной ночи, когда

К. Венцл. 1886.

Начало ночи.



все кругомъ было пьяно и хохотало, женщина, уткнувшись въ свои колѣни, рыдала. Столбовъ вдругъ почувствовалъ, что около него рвалась на части ногубленная душа. Ему хотѣлось протянуть руку помощи, подобнѣть эту женщину, сдѣлать изъ нея человека, но... что-то остановило его отъ этого шага: безобразный ли видъ пьяной компаніи, свой ли мѣтъ душевная или еще что, но Столбовъ глухо молчалъ. Въ душѣ его копались черныя, грязныя муки сомнѣй...

Когда женщина уѣзжала, Столбовъ было-вскинуть руками, хотѣть остановить, позвать, но... не сдѣлалъ этого.

— Можетъ-быть, тамъ было мое счастье? Почемъ знать? — говорилъ онъ много разъ постѣ.

Мечталъ и о ребенкѣ.

— Я смотрѣлся бы въ него, какъ въ зеркало, и то, что осталось во мнѣ хорошаго, отдать бы ему...

Но судьба отняла отъ него всякую надежду на потомство и оставила его вдвоемъ съ Натальей.

Рано поэтому постыла Столбова тоска. И какая тоска! Въ этомъ богатырѣ все было въ превосходной степени: и разгуль, и дѣловитость, и печаль... Когда послѣ кипучей работы наступали дни сомнѣй и сознанія своего одиночества,—Столбовъ становился неузнаваемъ. Сѣрый, мрачный, онъ скрывался изъ дома и изъ города, гдѣ жилъ. Бхалъ куда-нибудь въ степь, въ монастырь, па Каспий. Какъ будто кто гналъ его... Тамъ безудержно пилъ и безобразничалъ до тѣхъ поръ, пока не наступало время отдохнуть его измученному тѣлу...

IV.

Съ годами Столбову жить становилось тѣснѣе и тѣснѣе. Волга была мала для него. Росли богатство и слава, но жизнь сузжалась. Какъ будто росъ и ширился только онъ, а окружающая жизнь старѣла, мельчала. Онъ, какъ безумный, метался по Волгѣ, ища выхода своимъ бурными силами. И баржи, и пароходы, и амбары „такие, какъ ни у кого“. А дальше что? Во что перелить себя, вложить свою силу, свободу, ширь? Опѣ завизжалъ торговлю съ Персіей и Бухарой. А дальше Персіи и Бухары для Игната Столбова былъ конецъ свѣта. Ити некуда. Узокъ и ничтоженъ міръ...

Столбовъ, какъ раненый звѣрь, въ бѣшенствѣ ломалъ кѣлѣтку. У него были товарищъ, астраханскій купецъ Ивановъ—тоже Геркулесъ, съ бурными порывами и изломанной душой. Оба друга нереживали одинаковую тяготу ограниченной жизни и молотомъ били въ крышику ея.

— Не жизнь, а гробъ,—говорилъ Столбовъ Иванову.—Скучно, Леонтій, охъ, какъ скучно! Хотѣлось бы мнѣ со скучи вылитъ Волгу на головы проклятыхъ скадровъ, строящихъ, какъ мы съ тобой, лавки, лабазы, пароходы...

— Да, Игнатъ... А вѣдь намъ завидуютъ. Говорятъ,—богачи. А мы хуже нищихъ. Ей-Богу, хуже!

Это была ихъ обычайная тема, когда оставались они одни. При другихъ оба друга молчали. Много презрѣнія скрывали они въ себѣ къ окружающимъ ихъ ничтожнымъ людникамъ.—„Не стойте дущу раскрывать! Не поймутъ! Скажутъ, съ жири бѣсятся!“

— Господи!—жаловался Ивановъ.

Онъ много говорилъ и часто вздыхалъ. Былъ онъ сентименталенъ, слезливъ, но душу имѣлъ живую, искренно страдающую.

— Идеть купецъ... Вижу я его и думаю: знаю я тебя, голубчикъ, на душѣ твоей камень, хоть и выглядишь ты весело... Какой ты богачъ? Иной всю жизнь людей обманываетъ, грѣха на душу наберетъ столько, что больше некуда. А для чего? Новый домъ построить.— Ну, построилъ; кажись, можно бы и успокониться. Нѣтъ, продолжаетъ обманывать—нужно другой домъ строить. Ни радости, ни ласки, ни покоя мы не видимъ. Цѣлый вѣкъ мечемся, а для чего—сами не знаемъ. Родятся, растутъ дѣти, — мы не видимъ... Ангелокъ радость свою показываетъ, улыбается свѣту, а намъ никогда посмотретьъ, нужноѣ ъхать по дѣлу. Проживемъ въ такой бѣлой горячкѣ жизни, и какъ станемъ подводить балансы, аинъ и не знаемъ—зачѣмъ жизни? Неужели затѣмъ, чтобы дома строить? Да пропади они пропадомъ... Хочется мнѣ крикнуть всей торговой Руси-матушкѣ: „остановись! Христомъ Богомъ молю, остановись, пока не поздно. Брось наложну, посмотри въ душу, чѣмъ живетъ она?..“

Подолгу они бесѣдовали такъ. И все чаще и чаще имѣ приходила въ голову мысль—бросить все богатство и уйти куда-нибудь.

Столкнулись они однажды со старикомъ-странникомъ. Брѣль тоже изъ Соловокъ на Донъ и остановился отдохнуть у сельского трактира. А Столбовъ и Ивановъ кутузи зѣбѣ съ тоски. Переишли все село. Съ утра до вечера около чайной лавки плясъ и „труны“ упившихся.

Увидавъ Столбовъ старика и говорилъ:

— Иди сюда, пьянь будешь!

Но старикъ посмотрѣлъ на него строго и молча прошелъ въ чайную.

Столбовъ за нихъ:

— Выпѣмъ, что ли, старина?

Опять странникъ не сказалъ ему ничего, лишь посторонился, дали пройти Столбову. Тотъ захочоталъ и стала тащить его за руки. Старикъ побѣдѣлъ вдругъ и тихо проговорилъ:

— Спасибо, дорогой братъ, не пью я!

Столбовъ удивился этой вдругъ вспыхнувшей блѣдности на лицѣ обворваннаго старика и его словамъ, которыхъ показались ему странными, необычными. Онъ не привыкъ къ нимъ. Стыдно стало ему своего смѣха. Оставилъ они руки старика и молча стала смотрѣть на странника. А старикъ вдругъ ласково засмѣялся и тоже стала глядѣть на Столбова своими добрыми глазами. И показалось тогда Столбову, что онъ глядѣть къ нему въ душу и видѣть насквозь всю его грязь. Стали они говорить. Подсѣль Ивановъ.

— Что, други мои, отъ себя самихъ уйти хотите?—спросилъ ихъ странникъ и опять ласково-ласково улыбнулся.— Нельзя уйти никакъ...—продолжалъ онъ.— Вотъ въ чёмъ наше горе-то человѣческое. За собой мы тащимъ всю нашу обузу-то... Грѣхи, соблазны, развраты и роскошь... И если отъ сердца своего ты не оторвешь ихъ, то хоть взлети на небо, или спустись на дно морское, а все ты будешь тотъ же — со страстиами, съ печалью и тоской...

Купцы слушали молча.

— Что же надо, старикъ?

— Что надо? Ты не сдѣлаешь того, что надо.

— Можетъ, сдѣлаю?..

— Тогда хорошо будетъ. Верни къ себѣ радость простой Божьей жизни. Не гонись за деньгами и славой людской... Наизнанку выверни всю свою жизнь! Все, чѣмъ жилъ,—брось! Когда опростинись, скажешь: какъ легко, хорошо!..

— А ты, старикъ, бросиль?

Странникъ не сразу отвѣтилъ на этотъ вопросъ. Сталь рѣться въ комокъ и тихо, серьезно, со скрытымъ надрывомъ проронилъ:

— Можетъ, и я что-нибудь бросилъ...

Поздно разошлись они. Столбовъ и Ивановъ уѣхали сть первымъ пароходомъ. Столбову казалось, что онъ нашелъ какой-то якорь. Осталось только бросить его, и—онъ спасенъ. Но онъ долго не бросалъ этого якоря.

V.

Долго еще видѣли Столбова въ его обычной волжской обстановкѣ. То онъ думаетъ и работаетъ надъ какимъ-нибудь новымъ крупнымъ торговымъ дѣломъ: строить большую гостиницу въ приволжскомъ городѣ, скупаетъ всѣ рыбные промыслы въ Дербентѣ, беретъ громадную поставку хлѣба. То—надѣйтъ ему работа—гдѣ-нибудь въ устьѣ Каспія на плоту пить шампанское въ обществѣ своей пестрой, всегда случайной компаніи. Ревутъ они, пьяные, зѣбринъ ревомъ, пугаютъ рыбу, птицъ и сторожей. А когда угаръ доходитъ до послѣднихъ предѣловъ, Столбовъ плачетъ пьяными слезами.

А завтра другая картина. Вдвоемъ съ Ивановымъ ѿдѣть они въ маленькой плетенкѣ по пыльной дорогѣ куда-то въ сторону отъ Волги. Куда? Лица у нихъ совсѣмъ другія, съ другими настроениемъ. Уже трезвыми глазами они смотрѣть на міръ Божій.

— Куда же вѣстъ доставить, купцы?—спрашивала ямщица, — къ игумену или въ гостиницу?

Они въ монастырѣ.

— Схимника отца Панція можно видѣть? — спрашиваютъ они у привратника.

О Панціи они слышали на Волгѣ отъ какого-то странника. Постѣ пьянства прїѣхали послушать святых рѣчи праведнаго человѣка. Принялъ ихъ Панцій, долго бесѣдоваль съ ними въ своей кельи-гробу. Купцы исповѣдались и причастились въ монастырскомъ храмѣ.

Черезъ недѣлю они уже у „Макарія“. Сидѣть пьяные, отуманинны въ отдѣльномъ кабинѣ какого-нибудь „Фоли-Бержера“, и хочется опять имъ сдѣлать что-нибудь необычное, о чёмъ бы заговорили на биржѣ и по всей Волгѣ. Слышишь гитара, и хоры цыганъ поютъ имъ свои за душу хватавшія пѣсни. Кругомъ разсѣлась темная компанія людей, которымъ за четвертную можно мазать лицо горчицей или „тоинть“ имъ въ Волгѣ. Какъ всегда, грустно на душѣ у купцовъ.

— Искупаемъ, Игнатъ?—спрашивается Ивановъ.

— Валій!

— Тащи ванну!—кричитъ Ивановъ.

Всѣ уже знаютъ, въ чёмъ дѣло. Начинается хохотъ. Льется шампанское въ ванну. Ивановъ выбираетъ красивую цыганку.

— Ну!—приказываетъ ей.

Она въ платьѣ съ визгомъ бросается въ ванну, ложится и поетъ оттуда свои пѣсни.

А Столбовъ наклоняется къ Иванову:

— Скучно, Леонтій, жить на свѣтѣ!

— Скучно, Игнатъ!..

Однажды въ одномъ монастырѣ около Царицына случился пожаръ. Туда помчались царицынскіе пожарные. Но на дорогѣ передъ ними внезапно выросъ громадный человѣкъ. Пьяный, распранній, съ блуждающими глазами.

— Стой! Ни съ мѣста!—остановилъ онъ, схвативъ подъ узды коренника.

— Кто ты такой?

Взглядѣлъ—Ивановъ.

— Это мы подожгли монастырь! Чуё, славно горитъ?



Праздничные игры.

M. Babut'.

Подъехал Столбовъ, такой же дикий, пьяный.
Прятели пили, и безумная мысль залетѣла къ нимъ въ голову—поджечь монастырь.

— Въ этомъ монастырѣ не Богу молятся, а чорту служатъ,— говорили они,— хорошее дѣло сдѣляемъ, если сожжемъ.

Подожги.

Дѣло замяли—купцы откупились деньгами.

Однѣ разъ столбовская баржа сѣла на мель противъ большого машиностроительного завода. Столбовъ поѣхалъ снимать баржу. Былъ онъ въ это время въ полоѣ разгула. Какъ прѣѣхалъ, — позвалъ рабочихъ завода снимать баржу. Назначилъ хорошую плату. Тѣ знали Столбова и пошли къ нему, а заводъ бросили. Столбовъ выставилъ имъ водку:

— Пей, сколько хочешь!

Споилъ рабочихъ окончательно. Круглые сутки на баржѣ сидѣли и пили. Заводъ пересталъ работать. Администрація завода бросилась къ полиціи. Но полиція знала щѣдрость Столбова и ничего не хотѣла предпринимать. Тогда администрація отправила къ Столбову посольство:

— Сдѣлай милость, Игнатъ Потапычъ, уѣзжай, заводъ сталь! Убытки!

Кое-какъ Столбова увезли.

Такъ шла жизнь безпокойного волжского миллионера. Безъ пути, безъ дороги, „черезъ пень—колоду“. Уже старѣть онъ началь, а между тѣмъ все еще не могъ рѣшиться „бросить якорь“. Но въ его опустошенную душу, — чѣмъ больше сѣдѣла его голова, тѣмъ чаще, — стали залетать властные зовы. Онъ зналъ, что ничего сильнаго, огромнаго, широкаго сдѣлать было уже нельзѧ, — все сдѣлано имъ. Тогда невольно онъ заглянула въ глубь души и поняла, что тамъ у него непочатый край, дѣвственная цѣлина. Тамъ большой просторъ. Тамъ надо начать стройку.

Въ концѣ концовъ ему стали противны и работа и разгуль. Все надѣло до омерзенія. Копилъ зачѣмъ-то деньги. Всю жизнь не переставая, безъ отдыха, спѣша, строилъ. Но для чего? Нанималъ сторожей, чтобы охранять постройки. Самъ беспокоился и ходилъ по ночамъ провѣрять на мѣстахъ ли сторожа. Зачѣмъ все это? Какъ это мелко, гадко, ничтожно... Недостойно человека. Столбовъ ходилъ сѣрый, молчаливый и твердилъ про себя:

— Пора! Давно пора!

VI.

Всю ночь шепталась съ кѣмъ-то Волга. Изъ бурной впадины реки доносился шорохъ. Тамъ несмѣтная вражеская армія тихо готовилась къ нападенію: передвигала полки, укрѣпляла позиціи. Когда дуль вѣтеръ, онъ въ сонный городъ доносилъ то звуки тихихъ, прощальныхъ пѣсенъ, то заглушенный мотивъ похоронной молитвы...

Съ разсвѣтомъ планы обнаружились. И внизъ по рѣкѣ въ ужасѣ побѣжали безпорядочныя толпы лѣдинъ. Въ узкихъ мѣстахъ онѣ грызли другъ друга, подымались на ноги, что-то зловѣщее шептали другъ другу на ухо, цѣловались передъ смертью и, обезсиленные, падали въ сѣрую могилу рѣки.

А солнце жестоко сѣяло и произжало острыми лучами несчастныхъ бѣглецовъ. Оно уже съ утра послало своихъ гонцовъ будить землю и людскую совѣсть, тревожить застоявшіяся тѣни, плавить черствую корку зимы. И лучи напоили воздухъ хмелемъ тепла и горстями бросали на землю свои жаркіе поцѣлы.

Столбовъ проснулся, прислушался и понялъ, что замороженную землю кто-то властный наполнилъ безпокойнымъ гомономъ. Вотъ откуда-то прилетѣла пѣсня. Такая широкая, вольная. Звуки то дрожатъ въ тоскѣ по чѣмъ-то родномъ, давно потерянномъ, то крѣпнутъ гордые, могучіе, полные власти и силы. Кто-то огромный тихо жаловался на судьбу. Прощался и горько плакалъ. Откуда-то ворвались далекіе удары паденія и громкій, радостный крикъ побѣды.

Заныло въ груди у Столбова. Старыя, растревоженные раны, знакомыя муки... Острое чувство напряженности, придавленности. Внутри его кто-то говорилъ: „Ты мой навѣки. Не выйдешь изъ этого дома. Поздно! Умрешь миллионеромъ съ пустой душой“. — „Нѣть,—спорилъ съ нимъ кто-то другой,— оторвусь отъ этой проклятой жизни, уйду!“

Молнией освѣтился весь его жизненный путь. Что сдѣлано? Строилъ лабазы, пароходы, лавки... А любилъ ли? Никого въ жизни. Никого не приласкаль, никогда не пролилъ чистой слезы. Вѣчно раскаивался, но продолжалъ жить такъ же.

Вдругъ, какъ огнемъ, кто-то выжегъ въ его памяти далекую картину. Онъ, молодой, здоровый, полный жизни и надеждъ, у плетенія родного дома. Свѣтлѣе яснай, простая, какъ счастье молодости, луна. На его груди плакать Дуняша. Милая, дорогая дѣвушка! Гдѣ теперь она? Жметсѧ къ нему, краснѣ отъ стыда, счастливая лаской, и шепчетъ: „Любили ли, золотой?“ Онъ цѣ-

луетъ ее десятый, сотый, тысячный разъ, обнимаетъ за спань, хоронить свои руки въ длинныхъ рукавахъ ся писовой кацавейки и шенчеть, шепчеть... Ветла наклонилась надъ ими, и вѣтеръ тихо шелестилъ ея листьями.

Какъ хорошо было въ эту послѣднюю ночь! И какъ безконечно далеко все это! Точно чужой сонъ, хорошо разсказанный. А дальше? Дальше пошло длинное кладбище. Жизни онъ не запомнилъ. Была просто клокота. Къ Дуняшѣ съ Волги не вернулся...

Ушла жизнь, какъ летучая мышь, пролетѣла... И вотъ онъ, старый и одинокій, солнце зоветъ людей къ ласкѣ и любви. А онъ забылъ, какъ ласкаютъ, не знаеть, какъ любить...

— Пора,—сказалъ онъ и выпрямился.

Въ глазахъ сияла рѣшиимость. Онъ одѣлся, помолился передъ иконой и тихо вышелъ изъ дома, не посмотрѣвъ даже,—какъ онъ всегда дѣлалъ,—заперть ли денежный ящикъ. Вополь въ контору, созвалъ всѣхъ служащихъ и сказалъ имъ:

— Прощайте, ребята! Не поминайте лихомъ!

— Куда вы?

Онъ молча машинально рукой въ пространство.

— Тамъ свидимся!

Указалъ на небо.

Затѣмъ такъ же тихо, торжественно, съ лицомъ причастника, спустился къ Волгѣ. Поклонился ей, овѣей матери, низко, поцѣловавъ родную землю и пошелъ изъ города.

Больше его не видали.

Въ толь же день весь городъ узналъ:

— Столбовъ исчезъ.

— Что это значитъ?

Объяснили просто:

— Неплатильщикъ! Банкротъ!

— Мы думали, онъ на миллионахъ сидитъ! Вотъ и вѣрь послѣ этого людямъ!

Биржа волновалась. Всѣ разводили руками. Могъ ли кто предполагать крахъ?

Кредиторы бросились къ имуществу. Объявили конкурсъ. Какъ пявки, начали они сосать миллионы Столбова. Сосали, сосали и,

когда насосались, то подвели итогъ: осталось нѣсколько сотъ тысячъ чистыхъ денегъ. Наташа запрятала эти деньги въ чулокъ.

— Что же это значитъ? — изумились купцы.—Никакого краха не было. Почему же Столбовъ бросилъ дѣло?

VII.

Въ это время бѣдно одѣтый, запыленный, сѣдой странникъ шелъ пѣшкомъ, направляясь на Старый Аѳонъ. Никто бы не узналъ въ немъ миллиона Столбова. Онъ уже привыкъ къ ившему хожденю и лишениямъ. Лицо его и весь обликъ сталь простымъ, крестьянскимъ. На Аѳонъ шелъ не Столбовъ, а простой смолокуръ изъ Керженескихъ лѣсовъ. И взглядъ его сталъ другимъ — взглядомъ ранней молодости: ласковымъ, веселымъ, открытымъ. Милліоны и торговая слава были веригами Столбова. Сбросилъ онъ съ себя эти вериги, и легко, радостно сѣдало ему.

Денегъ съ собой онъ не взялъ. Дорогой питался Христовымъ именемъ. Нѣсколько разъ наимался работникомъ къ крестьянамъ. Такъ медленно двигался онъ. Наконецъ достигъ Старого Аѳона и поступилъ въ послушники. Но не выдержала искуса бурная душа Столбова. Когда онъ ближе познакомился съ жизнью „тихой обители“, то увидѣлъ, какіе ничтожные людишки одѣты въ черныя иноческія рѣзы. Вмѣсто праведности онъ нашелъ въ монастырѣ такой грѣхъ, о которомъ не знаютъ даже въ міру. Не стерпѣлъ Столбовъ. Однажды, разгорячившись, въ кровь избилъ нѣсколькихъ монаховъ, переломавъ много мебели, кинулъ монастырь въ глаза крѣпкое волжское укоризненное слово и ушелъ съ Аѳона.

Но на Волгу не вернулся. А пошелъ опять пѣшкомъ по Россіи. Прошелъ ее снизу доверху и затворился въ Соловкахъ.

Говорить, тамъ въ Соловкахъ онъ и умеръ. Но на Волгѣ не вѣрять его смерти. Много рассказней ходить о немъ.

— Ушелъ Столбовъ жизни свою грѣшную замаливать передъ престоломъ Господа... Но, думаютъ волжане, придется онъ предъ смертью къ матери-рѣкѣ, чтобы проститься съ ней... и около нея умереть. Любить волжане свою Волгу.

Такъ жила и окончила дни свою одна богатая русская натура.

Троицынъ день.

Вся въ цвѣту голубая сирень,

Вся въ цвѣту.

Славословить сіяющій день

Красоту.

День великъ, въ храмахъ служба идетъ,

День великъ.

Тріединый предъ нами встаетъ

Божій ликъ.

Въ честь Его—всюду вѣтки березъ,

Въ честь Его,—

Лѣтній праздникъ народу принесъ

Торжество.

Такъ легко на душѣ, такъ свѣтло,

Словно въ ней

Разлетѣлось, разсѣялось зло

Съ тьмой страстей.

Вся въ цвѣту голубая сирень,

Вся въ цвѣту.

Славословить сіяющій день

Красоту.

И возносить цвѣтовъ голубыхъ

Фиміамъ,—

Чистый свѣтъ упований земныхъ

Къ небесамъ!

Леонидъ Афанасьевъ.

ЗАЯВЛЕНИЕ.

По условіямъ разсрочки подписной платы за „Ниву“ сего 1918 г., къ 1 июня слѣдуетъ внести **не менѣе 26 руб.** Гг. подписчики, уплатившіе менѣе указанной суммы, благоволять поэтому озаботиться **немедленно** присыпанію слѣдующаго взноса, во избѣженіе остановки въ высылкѣ журнала съ 6-го іюля—**съ 27-го нумера.** Гг. иногородные подписчики при высылкѣ денегъ благоволять **обозначать на видномъ мѣстѣ копію печатнаго адреса** съ бандероли или **прилагать самый адресъ и непремѣнно указать, что деньги высылаются въ доплату за получаемый уже журналъ.**

При перемѣнѣ адреса слѣдуетъ прилагать **1 рубль и печатный адресъ.**

Содержаніе. ТЕКСТЪ: Новый разсказъ Гѣтба Ив. Успенского. Очеркъ В. Евгеньева-Максимова.—Очень маленький человѣкъ. (Страницы изъ однѣхъ записокъ). Рассказъ Гѣтба Успенского,—Когда-то. Стихотвореніе Р. И. Сементковскаго.—Волжскій богатырь. Очеркъ А. С. Банкротова.—Троицынъ день. Стихотвореніе Леонида Афанасьева.—Заявление.

РИСУНКИ: Лѣто. Луиза Абемма.—Троицынъ день. С. Милорадовичъ.—Троицынъ день въ деревнѣ. Ф. Сычковъ.—Лѣтомъ. Геза Ферраро.—Въ праздникъ А. Чепцовъ.—Начало ночи. К. Вениловъ.—Праздничныя игры. М. Бабутъ.

Къ этому № прилагается „Великая Французская Революція“ профессора Н. И. Карьеева, книга 5.

Издатель Т-ва А. Ф. МАРКСЪ.

Редакторъ И. М. Желѣзновъ.

Артистическое заведеніе Т-ва А. Ф. МАРКСЪ, Петроградъ, Измайліовский проспектъ, д. № 29.

Библиотека "Руниверс"

НИВА

1918 г.

XLIX г.

издания.

№ 26.

Выходит еженедельно (52 № въ годъ), съ приложениемъ 52 книгъ „Сборника“, содержащихъ сочиненія А. И. ГЕРЦЕНА, М. ГОРЬКАГО,

В. Г. КОРОЛЕНКО, П. БЕРАНЖЕ и Н. И. КАРЂЕВА („Великая Французская Революція“).

Выданъ 29 июня (16 июня) 1918 г. Подписная цѣна съ дост. и перес. на годъ—36 р., на 1/2 г.—18 р., на 1/4 г.—9 р. Цѣна этого № (безъ прилож.)—40 к., съ перес. 50 к.

Главная Контора и Редакція: Петроградъ, улица Гоголя, № 22.

Перепечатка иллюстраціи и текста воспрещается. (Законъ 20-го марта 1911 г.).

Открыта подписка на „НИВУ“ 1918 г.

Съ приложениемъ 52 книгъ „СБОРНИКА НИВЫ“, въ которыхъ войдетъ:

А. И. ГЕРЦЕНЪ (первая серія книгъ)

В. КОРОЛЕНКО (запрещенный военною цензурою сочиненія)

М. ГОРЬКІЙ (вторая серія книгъ)

П. БЕРАНЖЕ (полное собрание ПѢСЕНЪ)

Проф. Н. КАРЂЕВЪ. (Исторія Французской Революціи съ иллюстраціями).



Въ тихой заводи.

Н. Игнатьевъ.

„Посаженые дѣти“.

Шутка въ 1 дѣйствіи.

И. Н. Потапенко.

Дѣйствующія лица:

Ирина Михайловна Вандовская, 34 л.

Сергѣй, ся сынъ, 17 л.

Максимъ Петровичъ Лужанинъ, подъ 40 л.

Наталья, его дочь, 16 л.

Горничная.

Дѣйствіе происходитъ на дачѣ близъ Петербурга въ началѣ августа. Фасадъ двухъэтажной деревянной дачи выступаетъ террасой съ лѣвой стороны. Передъ террасой цветочная клумба, дальше деревья и кусты. Съ правой стороны, ближе къ авансценѣ, гамакъ, садовая скамейка, плетеное кресло. На террасѣ дачная плетеная мебель и столъ.

I.

Вандовская на террасѣ, надъ столомъ, кроитъ матерію. Наталья лежитъ въ гамакѣ. Сергѣй сидѣтъ около гамака въ креслѣ, съ книгой въ рукахъ. При открытии занавѣса онъ громко чихаетъ.

Сергѣй (читаетъ). „Но потомъ, когда она осталась одна въ своей комнатѣ, съ нервнымъ волненіемъ шагая изъ угла въ уголъ, она говорила себѣ: „нѣть, нѣть, я больше не могу. Опять никогда не будешь моимъ. Я должна уйти...“ (Останавливается).

А Наташа, кажется, изволилъ почивать?

Наталья (приподнявъ голову). Я? Ничего подобнаго. Пожалуйста, не выдумывай и продолжай. Но, можетъ - быть, мы мѣшаемъ Иринѣ Михайловнѣ?

Сергѣй. Мама, мы тебѣ мѣшаемъ? Ты тамъ дѣлаешь что-нибудь глубокомысленное?

Вандовская. О, да... Ужасно. Крою кофточку для Наташи.

Наталья. Для меня? Боже мой! Я не знаю, куда дѣваться отъ благодарности. Зачѣмъ вы беспокойтесь, милая Ирина Михайловна?

Вандовская. Да вѣдь у тебя никому это сдѣлать. Максимъ Петровичъ кофточекъ кроить не умѣеть. А ты, Сережа, читай дальше. Я вѣдь тоже слушаю. И непремѣнно хочу знать, что стало съ героями и геройней.

Наталья. Они, навѣрно, женятся. Иначе они не были бы героями.

Сергѣй. По-твоему, жениться — это геройство?

Наталья. Ну, ты начнешь придираться. Почемъ я знаю? Я никогда не женилась... Читай, пожалуйста.

Сергѣй (читаетъ). „Видѣть его всегда, говорить съ пимъ, работать вмѣстѣ, и никогда не прикасаться къ нему, никогда не слышать трепетное біеніе его сердца, сознавая, что это сердце бѣется для меня. Это невыносимо. О, я готова была нести самыи тяжкій трудъ, я могла бы...“

Вандовская (смотрѣтъ вдаль, направо). Кажется, кто-то подъѣхалъ...

Наталья. Это навѣрно папа. Его часть.

Вандовская. Да, это Максимъ Петровичъ. (Оставляетъ рабо-ту). Ахъ ему не сладить съ пакетами. (Спускается по ступенькамъ террасы). Мы всегда наизыньываемъ ему миллионъ покупокъ... (Входитъ справа, въ глубину, Лужанинъ, неся въ обѣихъ рукахъ множество свертковъ, а подъ мышкой портфель). Вотъ я теперь вижу, какъ это было съ моей стороны безсовѣтно. Давайте сюда, Максимъ Петровичъ! (Отбираетъ у него части свертковъ).

II.

Лужанинъ. Нѣть, не беспокойтесь. Это совсѣмъ не тяжело, уѣхѣю вѣсль.

Сергѣй (подбѣгає къ пимъ, отбираетъ всѣ свертки у обоихъ). Давайте сюда. У меня вѣдь двѣнадцать рукъ. (Уноситъ свертки на террасу).

Лужанинъ. Фу-у! Вотъ теперь чувствую, что дѣйствительно была тяжесть... Добрый день, Ирина Михайловна! (Цѣлуясь ся руку). Я сегодня уѣхѣю, когда вы еще спали, и, право, соскучился, будто недѣлю не видались.

Вандовская. Вы приобрѣли дурную привычку, Максимъ Петровичъ.

Лужанинъ. Конечно, привычка, но только не дурная. А гдѣ же моя дочь?

Наталья. Я здѣсь, мой отецъ! О, прости свою преступную дочь! Такъ удобно лежать, и лѣнъ поднѣться...

Лужанинъ (подходитъ къ ней и цѣлуясь ес). Ну, лежи, разумѣется, прощай.

Вандовская (заболтываю). Вы, должно-быть, устали. Максимъ Петровичъ и голодны... А обѣдъ только черезъ часъ.

Лужанинъ. Нѣтъ, не голоденъ. Но усталъ дѣйствительно. Сегодня на службѣ было какъ-то особенно утомительно и душно.

Вандовская. Ахъ, Боже мой... Такъ пойдемте на террасу. Посидимте. Тамъ прохладно.

Лужанинъ. Представьте, не могу. Должентъ сейчасъ отнести пакетъ на дачу нашего вице-директора. Онъ нездоровъ, и меня нопросили.

Вандовская. Но это безбожно! Право, вы свалитесь съ ногъ... Ну, такъ знаете что? Въ такомъ случаѣ и я пройду съ вами.

Лужанинъ. Вотъ прекрасно! Это такъ мило, что, право... мнѣ кажется, я на ходу отдохну. Погодите-ка... (Достаетъ изъ портфеля пакетъ). Вотъ этотъ пакетъ. А портфель поручено тебѣ, Сережа. (Сергѣй беретъ портфель и относитъ его на террасу). Вы позволите предложить вамъ руку? (Предлагаетъ руку).

Вандовская. Ну, конечно. (Беретъ руку). Дѣти, позаботьтесь, чтобы Шура накрыла на столъ. (Вандовская и Лужанинъ уходятъ направо вглубь и скрываются).

III.

Сергѣй. Ну, вотъ. Ты понимаешь, Наташа?

Наталья. Не совсѣмъ. Но я обѣщаю понять, когда ты мѣшкайешь.

Сергѣй. Ну, какая же ты! Вѣдь мы уже говорили объ этомъ.

Наталья. Да мы съ тобой только и дѣлаемъ, что говоримъ. И кажется, уже обо всемъ переговорили.

Сергѣй. Нѣть, ты посмотри: моя мама весь день ждала его, и лицо у нея было такое скучное. А когда онъ явился, она вся оживилась и даже вотъ не вытерпѣла и пошла провожать его.

Наталья. А мой родитель вѣсль расцвѣлъ, когда Ирина Михайловна захотѣла проводить его.

Сергѣй. А ты замѣтила, какъ онъ обрадовался, когда она дала ему руку?

Наталья. Еще бы, онъ даже чуточку подпрыгнулъ отъ радости.

Сергѣй. Ну, и что же, по-твоему, изъ этого слѣдуетъ?

Наталья. Изъ этого слѣдуетъ, что наши милые родители влюблены другъ въ друга.

Сергѣй. Дальше?

Наталья. А дальше: что наша священная обязанность поженить ихъ. И вотъ я буду у моего отца посаженой матерью, а ты у своей мамы посаженнымъ отцомъ.

Сергѣй. Слушай, Наташа, ты вотъ все балаганишь, а вѣдь это серьезно, и мы должны обсудить это какъ слѣдуетъ.

Наталья. А что жъ, я готова.

Сергѣй. Но только ты, пожалуйста, выди изъ гамака.

Наталья. А развѣ нельзя мыслить серьезно, лежа въ гамакѣ?

Сергѣй. Совершенно невозможно. Мнѣ по крайней мѣрѣ въ гамакѣ сейчасъ же хочется спать.

Наталья. Вотъ и неправда: великий Ньютонъ лежащий подъ деревомъ, когда упало на землю яблоко, и онъ въ ту же минуту открылъ... Вотъ не знаю... биномъ Ньютона, что ли...

Сергѣй. Во-первыхъ, не биномъ, а законъ гравитации, а во-вторыхъ, и не Ньютона... И намъ нельзѧ терять время, потому что они каждую минуту могутъ вернуться. Вставай!

Наталья (неохотно поднимается и спускается ноги). О, Господи, какъ это трудно женить и выдавать замужъ своихъ отцовъ и матерей. (Входитъ изъ гамака). Ну, говори...

Сергѣй. Да вѣдь совершенно же ясно. Твой папа овдовѣлъ двѣнадцать лѣтъ тому назадъ, и, въ сущности, тебя воспитала моя мама. И мы съ тобой всегда были, какъ братъ и сестра...

Наталья. Это ужасно трогательно, то, что ты говоришь. Я готова заплакать...

Сергѣй. Ну, не перебивай, пожалуйста. Я говорю, что мы — братъ и сестра, слѣдовательно, никогда не влюбимся другъ въ друга.

Наталья. О, это навѣрно. За это я ручаюсь.

Сергѣй. А, значитъ, бракъ нашихъ родителей ни въ чёмъ не задѣваетъ нашихъ интересовъ.

Наталья. Удивительно, какъ это у тебя все одно изъ другого вытекаетъ. Я давно бы уже сбилась.

Сергѣй. Это потому, что мужскому уму свойственна логика, а женщина живетъ интуиціей...

Наталья. А что это за птица такая — интуиція?

Сергѣй. А это значитъ — такъ вотъ, ни съ того ни съ егo... Какъ пробка изъ бутылки: хлопъ и выпалила!

Наталья. Ну, это ужъ ты оставь. Женщина въ наше время завоевала всѣ передовыя позиціи... Э-э... Гм... А вотъ чего, не знаю

Сергей. То-то вотъ... Завоевала, а не знаешь. Эхъ, ты, завоевательница!

Наталья. Постой, постой. А супфражистки?

Сергей. Оставимъ ихъ въ покой. Я продолжаю. Моя мама овдовѣла лѣтъ восемь назадъ и съ тѣхъ порь одинока. И вотъ эти двое людей — милыхъ, добрыхъ, умныхъ, съ прекрасными характерами, встрѣчаясь каждый день, влюбленно смотрятъ другъ другу въ глаза и сами себѣ не рѣшаются признаться, что любятъ другъ друга. Вѣдь это же нелѣпость. Они страдаютъ и чувствуютъ себя одинокими и въ то же время не могутъ днія прожить другъ безъ друга. Вѣдь не случайно же это, что въ городѣ наши квартиры въ одномъ домѣ — мы во второмъ, а вы въ третьемъ этажѣ, и дачу мы всегда снимаемъ двухъэтажную, для двухъ нашихъ семействъ. Эти люди просто созданы другъ для друга, и это нашъ священный долгъ — убѣдить ихъ или даже просто заставить обѣничаться.

Наталья. Нѣть, ты постой. Ты забылъ самое главное. Наши родители вѣдь люди небогаты. Мой папа служить, получаетъ что-то около двухсотъ рублей и изъ нихъ еще долженъ откладывать. Онъ каждый мѣсяцъ откладываетъ мнѣ на приданое по пятнадцати рублей; а твоя мама проценты получасть — тоже что-то около этого. И ты подумай: мы съ папой платимъ за квартиру шестьдесятъ рублей и вы столько же, а тогда можно жить въ одной квартире за семьдесятъ пять рублей. То же и дача. Зачѣмъ намъ два этажа? Мы прекрасно можемъ помѣститься въ одномъ. Нѣть, ты только подумай, какая экономія! Тогда и на приданое мнѣ можно откладывать вдвое, втрое больше.

Сергей. Однакоже, я направленіе у тебя, нечего сказать... Вотъ такъ эѳирное созданіе!

Наталья. А что жъ такое? Ты самъ сказалъ: интуїція. Вотъ тебѣ и интуїція.

Сергей. Хороша, чортъ возьми, интуїція. Насчетъ увеличенія приданаго. А впрочемъ, дѣйствительно это доводъ. Ну, да, конечно, и экономія. Ну, однимъ словомъ, мы должны во что бы то ни стало женить ихъ.

Наталья. И тогда ужъ мы будемъ не „какъ братъ и сестра“, а настоящіе братъ и сестра. Это будетъ еще трогательнѣе.

Сергей. Да, да, должны. Но только какъ это сдѣлать?

Наталья. Ага! А ну-ка, умъ мужчины, которому свойственна логика, придумай-ка.

Сергей. Ничего не могу придумать.

Наталья. Выступасть на сцену интуїція. Пробка изъ бутылки, — хлопъ и выпалила. Ха-ха-ха...

Сергей. Ну, что же, что же?

Наталья. Да вѣдь ясно же. Они любятъ другъ друга, они только никакъ не могутъ заговорить объ этомъ. Такія натуры. Ну, понимаешь: твой папа былъ другомъ дѣтства моего покойнаго папы, а моя покойная мама товарка по гимназии твоей мамы. И имъ кажется невозможнѣе — заговорить о любви. Двадцать лѣтъ были друзья, и вдругъ — любовь. Это какъ бываетъ во всѣхъ біографіяхъ знаменитыхъ людей: родители заставляли его итти по инженерной части, и онъ былъ плохимъ инженеромъ, но счастливый случай открылъ въ немъ геніальнѣя способности художника. Вотъ мы съ тобой и должны быть для нихъ этимъ счастливымъ слушаемъ.

Сергей. Но какъ, какъ?

Наталья. А вотъ какъ: ты убѣди свою маму въ томъ, что мой папа влюблѣнъ въ нес. Ужъ на это-то у тебя хватитъ свойственной мужскому уму логики. Что онъ страдаетъ, не спить изъ-за этого по ночамъ, у него можетъ отъ этого сдѣлаться чахотка. А и своему папѣ, какъ дважды — два четырѣ, докажу, что твоя мама просто безъ памяти влюблена въ него. Ужъ я-то сумѣю сдѣлать это при помощи свойственной женскому уму интуїціи. Ну, а потомъ ужъ они сами заговорятъ объ этомъ и до чѣго-нибудь договорятся.

Сергей. Ты думашь, заговорять?

Наталья. Непремѣнно. Изъ жалости... Вѣдь и въ романахъ всегда начинается съ жалости. Какъ жс: она узнаетъ, что ему грозить чахотка. Не можетъ же она, его истинный другъ, оставаться къ этому равнодушна. Ну, вотъ мы съ тобой друзья, и, положимъ, ты узналъ бы, что у меня чахотка, — вѣдь ты началь бы приставать ко мнѣ, какъ надоѣдная муха: — „ахъ, отойди, тутъ сквозной вѣтеръ! Ахъ, прикрой ноги пледомъ, здѣсь сырьо...“ (За сценой голосъ Лужанина: „о, нѣть, ни малѣйшей усталости... я отдохнуль впомни...“) Вотъ видишь, онъ уже отдохнуль!.. Ну, хорошо, я его ушлю переодѣться, а ты поговори со своей мамой, а потомъ... (Входятъ подъ руку Лужанинъ и Вандовская).

IV.

Лужанинъ. Ну, вотъ мы и прошли... Отлично! Какой чудный воздухъ сегодня!

Вандовская (смотрѣть на террасу). Какъ? До сихъ порь не пакрыть столъ? Ну, ужъ придется мнѣ самой позаботиться.

Сергей. Но, мама, еще рано, и это успѣхъ...

Наталья (подходитъ къ Лужанину и осматриваетъ его). Ай, папа... Ты весь въ пыли... И пятна какія-то... Одно, другое, третье... Ай, ай, гдѣ это ты такъ? Да это просто неприлично. Тебѣ нужно сейчашъ же переодѣться.

Лужанинъ (смущенно осматриваетъ себѣ). Неужели? Въ самомъ дѣлѣ... Кажется... Я сейчасъ схожу на верхъ и переодѣнусь... Извините, Ирина Михайловна. (Подымается на террасу).

Вандовская. Поскорѣе возвращайтесь и будемъ обѣдать.

Лужанинъ. Да, черезъ десять минутъ буду готовъ. (Уходитъ въ дачу и подымается на верхъ).

Наталья. А я погуляю въ садикѣ. У меня, знаете, иногда бываетъ потребность въ одиночествѣ! (Уходитъ за дачу).

V.

Вандовская. Ну, надо похлопотать обѣ обѣдѣ. (Направляется къ террасѣ).

Сергей. Это успѣхъ. Минѣ надо поговорить съ тобой, мама.

Вандовская. Можетъ-быть, потомъ, Сережа? Я обѣщала Максиму Петровичу обѣдѣ.

Сергей. Это не долго. Притомъ же разговоръ будеть какъ разъ о Максимѣ Петровичѣ, и это очень, очень серьезно...

Вандовская (обезпокоившись). Чѣмъ-нибудь обидѣть? Хотя я не могу себѣ представить... Ахъ, это было бы для меня очень горько.

Сергей. О, что ты, мама! Ты знаешь, что я отношусь къ Максиму Петровичу, какъ къ родному. Нѣть, совсѣмъ другое. (Береть ее за талию и ведетъ къ креслу). Ты успокойся и садись вотъ тутъ. (Усаживается въ кресло).

Вандовская. Ты меня пугаешь, Сережа.

Сергей. Пугаться не зачѣмъ, а все-таки это серьезно, и надо обратить вниманіе.

Вандовская. Да что же? Что? Не мучь меня..

Сергей. Видишь ли... Ты знаешь, что съ Наталией мы друзья, и она ничего отъ меня не скрываетъ.

Вандовская. Ну, ну?

Сергей. И оказывается, что Максимъ Петровичъ боленъ. И ему даже грозить чахотка.

Вандовская (съ сильнымъ волненіемъ). Да что ты? Можетъ ли это быть? Да вѣдь это же ужасно. Но откуда? Онъ раньше былъ здоровъ.

Сергей. Видишь ли, мама, мнѣ не особенно удобно говорить. По всей вѣроятности, это его тайна. Но, разъ я узналъ, я не могу скрыть отъ тебя. Онъ уже нѣсколько лѣтъ страдаетъ... Онъ не спитъ по ночамъ и постоянно думаетъ обѣ одномъ и томъ же и даже, случается, бредить... Ну, однимъ словомъ, онъ влюблѣнъ...

Вандовская (ясно задышавшая). Вотъ какъ! Въ кого же?

Сергей. Но это же ясно: въ тебя.

Вандовская. Ахъ, что ты, что, ты Сережа! Мы съ нимъ старые друзья... Онъ другъ дѣтства твоего покойнаго отца... Я не могу даже подумать...

Сергей. Ну, а я такъ ясно вижу это. Онъ постоянно ищетъ твоего общества, нѣжно смотритъ тебѣ въ глаза...

Вандовская. Сережа...

Сергей. Это мои наблюденія, мама. Но это же тебя ни къ чему не обязываетъ. Конечно, ты могла бы выйти за него замужъ, и онъ навѣрно былъ бы прекраснымъ мужемъ и обо мнѣ заботился бы, какъ отецъ. И изъ двухъ семействъ образовалось бы одно, такое дружное, какихъ навѣрно еще никогда и не бывало. Но я совсѣмъ не къ тому. Я только хочу, чтобы ты обратила вниманіе на его состояніе. Ты подумай: человѣкъ близокъ къ чахотке, а у него дочь, Наташа, которая еще даже не кончила гимназіи. Вѣдь можетъ случиться катастрофа.

Вандовская (вскакивая). Боже мой... Я просто не знаю, что дѣлать. Какъ ты разстроилъ меня! Я готова расплакаться. (Слышишь шаги спускающейся по лестницѣ Лужанина).

Сергей. Успокойся, мама. Максимъ Петровичъ идетъ сюда. Ты не должна разстраивать его своимъ волненіемъ.

Вандовская. Да, да, я буду спокойна. Я лучше уйду. (Входитъ Лужанинъ).

VI.

Лужанинъ. Ну, вотъ я и готовъ... Развѣ не скоро?

Вандовская. Ахъ, а у насъ еще не готовъ обѣдѣ... Я сейчасъ похлопочу. (Быстро идетъ на террасу).

Лужанинъ. Но зачѣмъ вамъ беспокоиться, Ирина Михайловна?

Ну, право, я предпочелъ бы...

Вандовская. Нѣть, нѣть... Пора уже... Я сейчасъ. (Уходитъ).

VII.

Лужанинъ. Сережа, милый... Что это съ твоей мамой? Она такъ взволнована. Мнѣ показалось, что у нея голосъ дрожалъ... И глаза...

Сергей. Нѣть, это такъ... Ничего особеннаго. (Изъ сада входитъ Наталия).

Лужанинъ. А я замѣтилъ... И меня это страшно огорчаетъ.

Наталья. Что тебя огорчаетъ, папа?

Лужанинъ. Да вотъ... Сейчасъ здѣсь была Ирина Михайловна. Я вошелъ. И она какъ-то быстро удалилась и такая взволнованная, огорченная.

Сергей. Ахъ, я совсѣмъ забылъ... Мнѣ нужно до обѣда написать письмо товарищу. (Идетъ къ террасѣ).

Бѣда страслась.



И. Гороков.



Наталия (*тихо ему*). Я все слышала. Ты был генераленъ. (*Громко*)
Кланяется отъ меня твоему товарищу.

Сергѣй. Но онъ тебя не знаетъ.

Наталия. Ну, какъ-нибудь тамъ... отъ очаровательной незнакомки, что ли.

Сергѣй. Какая скромность!.. (*Уходитъ въ домъ*).

VIII.

Лужанинъ (*съ волнениемъ ходитъ по сценѣ*). Я не понимаю, что такъ могло разстроить Ирину Михайловну. Я очень беспокоюсь.

Наталия. Какой ты странный, папа. Впрочемъ, говорять, что всѣ мужчины такіе...

Лужанинъ. Что ты болтаешь? Какие же мужчины?

Наталия. А вотъ такие: они заняты своими дѣлами, ну, тамъ на службѣ, или торговлей, — и не видятъ того, что происходитъ, можетъ-быть, уже нѣсколько лѣтъ подъ самымъ ихъ носомъ. А вдругъ случайно замѣтятъ и страшно удивлены...

Лужанинъ. О чёмъ ты говоришь? Что такое дѣлается подъ носомъ? Нѣсколько лѣтъ?

Наталия. Ну, конечно. Вотъ ты только-что замѣтилъ, что Ирина Михайловна разстроена, а не видѣлъ, что она уже давно сама не своя. И походила, и щеки ея поблѣдѣли, и глаза часто выываютъ заплаканы.

Лужанинъ. Гм... Развѣ? Да, пожалуй... Въ самомъ дѣлѣ...

Наталия. Вотъ то-то и есть. А ты только-что замѣтилъ; и еще называешь себя другомъ. Какая же это дружба? Вотъ мы друзья съ Сережей, такъ ужъ я знаю всѣ его даже тайныхъ помышленій, а онъ мои. А ты... Женщина можетъ страдать годы, а ты ничего не замѣчашь.

Лужанинъ. Да нѣтъ, постой, ты объясни толкомъ. Почему она страдаетъ?

Наталия. Ахъ, такъ ты и этого не замѣтилъ? Ну, ужъ не понимаю, гдѣ были твои глаза. Ты не видишь, что Ирина Михайловна вотъ уже сколько лѣтъ безумно влюблена?

Лужанинъ (*съ тревогой*). Чѣмъ? Ты думаешь, она влюблена? Но въ кого же? Кто этотъ счастливецъ?.. Э-э... ну, да... я говорю: въ кого?

Наталия. Ха-ха-ха-ха... Въ кого? Въ тебя, мой дорогой родитель! Этотъ счастливецъ — ты. Но онъ, какъ всѣ счастливцы, эгоистъ и ничего не хочетъ замѣтить.

Лужанинъ. Ахъ, что ты? Ты съ ума сошла, Наташа. Ничего подобного нѣтъ и быть не можетъ.

Наталия. Ну, да, конечно: вы съ ея мужемъ были друзьями дѣства, моя мать была подругой Ирины Михайловны по гимназии, а вы съ нею старые друзья, и такъ далѣе... Все это я прекрасно знаю. Но вѣрно также и то, что она тебя давно уже любить, ужасно страдаетъ, не спить по ночамъ, плачетъ, худѣеть, ея нервы въ конецъ разстроены, она близка къ помѣшательству. Она даже иногда бредить и въ бреду произноситъ твое имя. Да, да. Это не разъ слышала Сережа и все это рассказалъ мнѣ... И подумай, папа, женщина со дня на день съ замираніемъ сердца ждетъ, что ты это, наконецъ, замѣтишь... и... ну, я не знаю... вызовешь ее на объясненіе, что ли... Не можетъ же она первая объясняться въ любви.

Лужанинъ (*растерянно*). Какъ это странно! Поразительно! Я не смѣль даже думать.

Наталия (*обнимаетъ его за талию*). Ахъ, папа, милый, дорогой, я думаю, что, если бы вы поженились...

Лужанинъ. Ты окончательно съ ума сошла, Наташа. Неужели же ты не понимаешь...

Наталия. Ничего и не хочу понимать. Ты только подумай: у насъ была бы одна семья. Ирина Михайловна стала бы моей второй матерью... О, я свято чту память моей мамы, но ея уже нѣтъ, а мнѣ такъ иногда хочется материнской ласки... И о тебѣ она будетъ заботиться. И жить мы станемъ въ одной квартирѣ, а лѣтомъ въ маленькой дачѣ. Ты подумай, какая экономія будетъ! Вѣдь у насъ у всѣхъ тогда денегъ станетъ вдвое больше, и мы будемъ богачами. А главное, главное, — что Ирина Михайловна перестанетъ страдать, и, значитъ, женившись на ней, ты поступишь, какъ истинный другъ!

Лужанинъ. Ну, ты окончательно заговорила меня... Я просто не знаю, какъ и быть. (*На террасу входятъ Вандовская и горничная съ посудой*).

IX.

Вандовская. Поставьте здѣсь. Я сама накрою. А вы поскорѣе приготовьте закуску. Да не забудьте про клюквенный квасъ. Максимъ Петровичъ любить его.

Горничная. Слушаю-сь, барыня. (*Ставитъ на столъ посуду и уходитъ*).

Сергѣй (*за сценой*). На-та-ша-а!

Наталия. Ау!

Сергѣй (*за сценой*). Приди ко мнѣ на минутку!

Наталия. Иду! (*Убѣжаетъ на террасу и въ домъ*).

X.

(*Вандовская возится на террасѣ около стола, волненіе ея проявляется въ звонѣ посуды. Лужанинъ въ нервншительности ходитъ по сценѣ*).

Лужанинъ (*подходитъ къ террасѣ, нервншительно*). Ирина Михайловна... Я могу васъ... обезпокоить?.. На два слова...

Вандовская (*прекращаетъ звонъ съ посудой*). Максимъ Петровичъ... Я тоже хотѣла вамъ... два слова. (*Сходитъ съ террасы*).

Лужанинъ. Вы хотѣли?.. Такъ я... я къ вашимъ услугамъ...

Вандовская. Нѣтъ, ужъ лучше вы говорите то, что хотѣли.

Лужанинъ. Позвольте мнѣ уступить вамъ первенство...

Вандовская. Но право... Я ужъ и не знаю... (*Идетъ къ скамейке*).

Сядемте. (*Садится на скамейку. Лужанинъ садится въ кресло*). Ну, такъ вотъ... Да... Видите ли... Я узнала... То-есть мнѣ показалось, что вы... страдаете и... какъ это сказать?.. что причиной этого страданія... То-есть, конечно, не навѣрно... и даже, я думаю, что этого нѣтъ... Но будто причиной являемся я...

Лужанинъ. А развѣ вы, Ирина Михайловна, могли сомнѣваться въ томъ, что всякое ваше огорченіе глубоко трогаетъ меня и — да, конечно, доставляетъ искреннее страданіе...

Вандовская. Позвольте... Вы говорите: огорченіе?

Лужанинъ. Да, да, для меня нѣтъ большаго горя, какъ быть причиной хотя бы даже малѣшаго огорченія... И если я былъ недостаточно внимательенъ и тѣль долго не замѣчалъ, то это просто потому, что я не смѣль допустить даже мысли...

Вандовская. Вы не смѣли допустить мысли? Но я именно хочу сказать, что мнѣ тоже подобная мысль не приходила въ голову...

Лужанинъ. Простите, я что-то не понимаю... Мнѣ кажется, что мы запутались и говоримъ о разномъ. Вы что собственно имѣете въ виду?

Вандовская. А вы?

Лужанинъ. Нѣтъ, первенство все-таки принадлежитъ вамъ, Ирина Михайловна...

Вандовская. О, это не такъ легко высказать, Максимъ Петровичъ.

Лужанинъ. Полноте, между такими друзьями, какъ мы...

Вандовская. Можно быть самыми искренними другомъ и высказать такую догадку, которая помимо вашего желанія оскорбить другого.

Лужанинъ. Ваша догадка оскорбить меня? Нѣтъ, этого я не могу себѣ представить.

Вандовская. И чтобы этого не случилось, пускай рѣчь идетъ не о васъ, а, положимъ, обо мнѣ. Ну, вотъ, положимъ, вы какимъ-нибудь образомъ узнали, что я много уже лѣтъ страдаю, ни сплю ночей, болѣю, близка къ чахоткѣ...

Лужанинъ (*схватываетъ ея руку*). Дорогая Ирина Михайловна! Что вы говорите? Меня даже отъ словъ этихъ бросаетъ въ холода...

Вандовская. Нѣтъ, постойте. Это вѣдь только предположеніе. Да, такъ не сплю ночей, болѣю, близка къ чахоткѣ, и причина всего этого — тайная, невысказанная любовь къ вамъ... Если бы вы узнали это, какъ вы поступили бы?

Лужанинъ. Я? Да Боже мой... Я бросился бы къ вашимъ ногамъ, цѣловалъ бы ваши колѣни и умолялъ бы васъ стать моей женой.

Вандовская. Да? Въ самомъ дѣлѣ? Такъ, значитъ, вы...

Лужанинъ. Ну, а если бы вы узнали, что, допустимъ, — это, конечно, предположеніе, — я изнервничался, изстрадался, близокъ къ сумасшествію, и все это по причинѣ многолѣтней, тщательно скрываемой любви къ вамъ... Какъ поступили бы вы?

Вандовская. Я ни на минуту не задумалась бы стать вашей женой.

Лужанинъ. Ирина Михайловна, такъ вѣдь это же выходить... Изъ этого съ очевидностью слѣдуетъ, что мы... Я не смѣю этого высказать...

Вандовская. Смѣло высказывайте, Максимъ Петровичъ.

Лужанинъ. Что мы любимъ другъ друга...

Вандовская (*встаетъ*). Да, такъ выходить... (*Въ это время Сергѣй и Наталия тихонько входятъ на террасу и на цыпочкахъ спускаются въ садъ*).

XI.

Лужанинъ. И если изъ этого сдѣлать выводъ?

Вандовская. Дѣлайте выводъ, Максимъ Петровичъ!

Лужанинъ. То мнѣ остается только предложить вамъ быть моей женой.

Вандовская. И я, конечно, согласна! (*Протягиваетъ ей руку, онъ беретъ и цѣлуетъ*).

Наталия. Дорогіе родители, мы васъ благословляемъ! (*Общая обѣйтія и поцѣлую*)

ЗАНЯВЪСЬ.



Загробное мщенье.

Баллада.

Какъ-то трое изловили
На дорогъ одного
И жестоко колотили,
Беззащитнаго, его.

Съ переломанной грудью
И съ разбитой головой
Онъ сказалъ имъ: „люди, люди,
Что вы сдѣлали со мной?“

„Не страшны ни Богъ ни черти,
Но клянусь въ мой смертный часъ.
Притаясь за дверью смерти,
Сторожить я буду васъ.

„Что я сдѣлаю—о, Боже—
Съ тѣмъ, кто въ эту дверь вошелъ!..“
И закинулся прохожій,
Захрипѣлъ и отошелъ.
Черезъ годъ одинъ разбойникъ
Умеръ, и дивился попъ,
Почему это покойникъ
Все никакъ не входитъ въ гробъ.

Весь изогнувшись, весь скрюченъ,
На лицѣ тоска и страхъ,
Оловянный взоръ измученъ,
Капли пота на вискахъ.

Два другихъ блѣднѣе стали
Стираннаго полотна,
Видно, много есть печали
Въ царствѣ неземного сна.

Протекло четыре года,
Умеръ наконецъ второй.
Ахъ, не видѣла природа
Дикой мерзости такой!
Мертвый глухо выль и хрюпко,
Ползалъ по полу, дрожа,
На лицо его налипла
Мутной сукровицѣ ржа.
Ужъ и кости обнажались,
Смрадъ стоялъ—не подступить,
Все онъ выль, и не рѣшались
Гробъ его заколотить.

Третій, чувствуя тревогу
Нестерпимую, дрожитъ
И идеть молиться Богу
Въ отдаленный тихій скитъ.
Онъ года хранитъ молчанье
И не єсть по сорокъ дней,
Исполняя обѣщанье,
Спитъ на ложѣ изъ камней.
Такъ онъ умеръ, нетревожимъ;
Но никто не смѣлъ сказать,
Что предъ этимъ чистымъ ложемъ
Довелось ему видать.
Всѣ блѣднѣли и крестились,
Повторяли: „горе намъ!“
И въ испугѣ расходились
По трущобамъ и горамъ.
И вокругъ скита пустого
Терпъ поднялся и волчцы...
Не творите дѣла злого,—
Мстятъ жестоко мертвѣцы.

Н. Гумилевъ.

Рукотворный рай.

Турецкая легенда *).

А. В. Амфитеатрова.

Четверо было на землѣ, пытавшихся низвергнуть Божество, четверо гордыхъ, величавшихся быть богами.

Первый—Ниродъ, проклятие Всешишнаго да будетъ надъ нимъ!

Второй—Навуходоносоръ, проклятие ему!

Третій—Фараонъ, проклятие ему!

Четвертый—Шаддадъ, сынъ Аада, трижды проклятие ему, ибо изъ всѣхъ четырехъ онъ самый дерзновенный.

Жилъ-быть царь Аадъ, и было у него два сына: Шаддидъ и Шаддадъ. Когда Аадъ умеръ, сыновья, по взаимному согласию, заняли его престолъ и сдѣлались царями. Были они жестоки, жадны, воинственные. Все насилиство, которое оставилъ имъ отецъ, обратили въ деньги, а на деньги собрали несмѣтное войско и объявили войну всѣмъ царствамъ и народамъ земли отъ востока до запада. Удача неизмѣнно сопутствовала имъ оружію. Копыта ихъ коней прозвучали во всѣхъ столицахъ міра. Сколькохъ царей и владыкъ влачили они, побѣдители, рабами, въ цѣляхъ, за свои ими колесницами!. Скорѣ, очень скоро Шаддидъ и Шаддадъ сдѣлались царями всего земного круга и дали ему свои законы.

Но вотъ однажды Шаддидъ заболѣлъ: услышалъ зовущій голосъ Того, Кто Единъ не умираетъ.

Тогда собралъ онъ тысячи тысячъ воиновъ, конныхъ и пѣшихъ, въ щитинѣ копій и блистани мечей. А также всѣхъ царей, платившихъ ему дани, и своихъ сатраповъ-намѣстниковъ, и богатырей-военачальниковъ, покорившихъ ему міръ.

И повелѣлъ онъ вынести предъ очи ихъ всѣ свои богатства и сокровища, опустошивъ кладовыя казны своей даже до послѣдняго сундука.

И сказалъ:

— Все, что вы видите, вѣтъ эти горы золота и серебра, все мое богатство — богатство міра — отдамъ я тому изъ васъ, кто продлитъ земную жизнь мою хотя бы на одинъ лишь день.

Но никто не подалъ голоса, никто не поднялъ глазъ, и всѣ стояли въ молчаніи. Молчали тысячи тысячъ воиновъ, молчали покоренные данники-цари, молчали сатрапы-намѣстники, молчали богатыри-военачальники, покорившіе всѣ земной міръ.

И умеръ Шаддидъ-ибнъ-Аадъ, котораго люди звали Великимъ, и дворецъ его сдѣлался обителью смерти. И тогда, съ кончиною брата, остался одинъ царь, одинъ владыка на землѣ — Шаддадъ, сынъ Аада.

На конюшняхъ его стояло десять тысячъ коней, рожденныхъ кровными кобылицами отъ вѣтровъ пустыни, и конюхами къ нимъ приставлены были плѣнныя цари.

* Преданіе о рукотворномъ рай изложено въ двадцать пятой главѣ турецкаго богословскаго сочиненія „Кыркъ Сюаль“ („Сорокъ вопросовъ“), заключающаго въ себѣ отвѣты Мухаммеда на космогонические вопросы, которые задавали ему представители юдейскихъ общинъ Мекки и Лемена. Народность и широкая распространенность легенды утверждаютъ тѣмъ обстоятельствомъ, что она, частично, перѣдѣлана въ позѣи мусульманскихъ народовъ. Ея вѣтъ въ сказкахъ „Тысячи и одной ночи“, но имъ ея героя и созданнаго имъ фантастического города упоминается часто. Наимѣнѣе, см. вочки 321, 772, 807, 812, 993.

Въ его трапезной залѣ былъ столь сандалового дерева, за который ежедневно садились двѣ тысячи царей: тысяча кривыхъ на лѣвый глазъ и тысяча кривыхъ на правый, ибо другого глаза они были лишены за ослушаніе Шаддаду. Нынѣ всѣ они одинаково слѣпы въ своихъ могилахъ!

Въ его гаремѣ было двѣ тысячи девственницъ царской крови, красота которыхъ затмевала полную луну и заставляла ее блѣдѣть отъ зависти.

Его жены родили ему несмѣтное потомство: тысячи принцевъ, мужествомъ равнявшихся львамъ.

Что же считать сокровища Шаддада, если подъ властью его склонили головы всѣ цари и народы, отъ мѣста рожденія зари восточной до мѣста угасанія зари западной?

И забыть Шаддадъ, какъ умиралъ такою же могущественнымъ братъ его Шаддидъ. И казалось ему, что могущество его вѣчно, и жизни его не будетъ конца.

Тогда-то возгордился Шаддадъ, сынъ Аада, тогда-то возомнилъ онъ о себѣ, будто онъ — божество. Истинно, истинно слово Корана: „Не должно человѣку полагаться лишь на свой разсудокъ, но да молится онъ о вразумленіи Господу своему!“

Собралъ Шаддадъ на совѣтъ пророковъ, мудрецовъ, ученыхъ и книжниковъ того вѣка и объявилъ имъ, что намѣренъ прозгласить себя богомъ.

Тогда изъ среды пророковъ выступилъ Елисей,—миръ ему, и да будетъ надъ нимъ благословеніе Аллаха!—и сказалъ:

— Сынъ Аада! Развѣ ты не знаешь, что въ мірѣ есть Богъ, міръ сотворившій и міроправящій, который мертвыхъ оживляетъ и живыхъ умерщвляетъ, безконечно всемогущій во всѣхъ дѣлахъ и вѣщахъ? Ибо сказано есть въ Коранѣ: „Благословенъ Тотъ, въ чьихъ рукахъ всемогущество, Кто творецъ и владыка всѣхъ вещей, Нправитель жизни и смерти, ибо вамъ не дано знать, которая изъ нихъ лучше исполняетъ цѣль бытія!“

Шаддадъ, проклятие ему, отвѣтилъ:

— Тотъ, о комъ ты говоришь, Богъ на небѣ, а я Богъ на землѣ. И здѣсь моя божественность такъ же властвуетъ надъ жизнью и смертью.

Елисей, благословеніе надъ нимъ, возразилъ:

— О, сынъ Аада! Или невѣдомо тебѣ, что будетъ день воскресенія? Тогда всѣ благочестивые, соблюдавшіе вѣру, поклоненіе и страхъ Божій, войдутъ въ рай Всешишнаго, гдѣ уготованы имъ вѣчныя наслажденія и богатства, каждая крупишка которыхъ дороже всѣхъ вмѣстѣ взятыхъ сокровищъ земли. И, какъ сказано въ Коранѣ: „Не отѣльно, не каждый въ одиночку и самъ по себѣ, но всѣ вмѣстѣ будуть жить въ общей радости и пребудутъ въ ней вѣчно“. Для нечестивыхъ же и подобныхъ тебѣ, о, Шаддадъ, Всешишнъ наполнилъ огнемъ геенну. О, царь! вспомни слово Корана и „бойся того огня, которому растопкой будуть люди и камни!“

За эту рѣчь Шаддадъ приказалъ умертвить Елисея. Но пророкъ, миръ ему, скрылся отъ палачей своихъ. Такъ Богъ явилъ

Шаддаду, что онъ не властенъ надъ жизнью и смертью человѣка. Но Шаддадъ, проклятие ему, никако тѣмъ не вразумился, а сказалъ пророкамъ и ученымъ, стоявшимъ предъ престоломъ его:

— Судь Божій на небѣ, а на землѣ мой. Рай Божій когда-то будетъ, а я для послушныхъ мнѣ устрою рай, не медля.

И рѣшилъ Шаддадъ:

— Да будетъ сооруженъ на землѣ точно такой же рай, какъ обещаю Аллахомъ въ Коранѣ—на небѣ.

Собралъ Шаддадъ со всего лица земли семьдесятъ тысячъ самыхъ искусственныхъ мастеровъ. Выбралъ изъ ихъ числа десять тысячъ самыхъ лучшихъ, способныхъ и опытныхъ строителей и послалъ ихъ во все концы земли искать мѣстность, где климатъ быль бы всего мягче, вода всего сладче, трава и деревья зеленѣе, птицы пѣвчѣе, цветы благоуханиѣ.

— Тамъ да будетъ заложена моя новая столица—Рай!

Долго искали и совѣщались мастера и, наконецъ, пришли къ соглашенію, что лучшая мѣстность въ мірѣ—та часть Сиріи, где нынѣ находится городъ Дамаскъ. Ибо воздухъ въ ней чистый, стремящійся съ горъ водопады рождать быстрыя рѣки, вода въ мѣру прохладная и сладкая. Шаддадъ одобрилъ выборъ мастеровъ и отдалъ въ ихъ распоряженіе семьсотъ тысячъ рабочихъ.

— А теперь,—сказали они мастерамъ,—говорите, какіе материалы потребны вамъ для создания рая?

Мастера сдѣлали смету и отвѣтили:

— Намъ нужно сто тысячъ разъ сто верблюжихъ выюковъ золота^{*}). Столько же серебра. Столько же драгоценныхъ камней: алмазовъ, сапфировъ, перловъ, бирюзы, коралловъ, изумрудовъ, топазовъ и другихъ. Столько же алоя, сандала, мускуса и тому подобныхъ пріянностей и благовоній. Столько же розового масла, лілейного масла, масла изъ гвоздики, нарцисса, ромашки, кундука, іудейского краснаго дерева ергвана, а также всѣхъ душистыхъ маселъ, которыхъ добываются въ Индіи. И, наконецъ, для того, чтобы мѣстить жидкости, соединяющія твердое къ твердому, намъ нужны чаны изъ такихъ-то и такихъ-то сортовъ мрамора, сосуды изъ такихъ-то драгоценныхъ камней. А чтобы разъединять твердое отъ твердаго, намъ нужны строительные инструменты изъ золота, платины, серебра и закаленной бронзы.

Проклятый Шаддадъ сказалъ:

— Мнѣ принадлежитъ весь міръ. Власть моя всюду и надъ всѣми. Поэтому даю вамъ полномочіе: собирайте нужные вамъ средства со всѣхъ странъ и народовъ міра, какимъ вамъ угодно способомъ.

Исполняя волю Шаддада, нечестивые мастера его, да изгладятъ Аллахъ имена ихъ, принялись повсюду захватывать сокровища и свозить ихъ въ назначеннное мѣсто.

Сначала они обобрали всѣ цѣнности въ своей странѣ.

Затѣмъ отправили людей въ Римъ и Европу—вывезти оттуда все серебро и прочие металлы.

Опустили водолазовъ на дно морское и извлекли великое множество перловъ изъ раковинъ, Аравійское море дало имъ кораллы, Китай и Кохинхина—драгоценные камни.

Перестрѣляли сернѣ на горахъ, чтобы изъ-подъ шеи ихъ добывать мускусъ.

Собрали со всего міра мраморы, алоево дерево, благовонія, сандаль, гвоздику, шафранъ,—все, что дорого стоило и, по расчету, требовалось для постройки.

А прежде чѣмъ приступить къ ней, проложили въ горахъ галереи, чрезъ которыхъ мѣстность сдѣлалась доступною десяти полезнымъ вѣтрамъ изъ странъ Іемена и Сиріи. И можно было, по произволу, наслаждаться ихъ дуновеніемъ и прекращать его, когда оно дѣлалось излишнимъ. Вырыли десять каналовъ, широкихъ, какъ рѣки, и течениемъ ихъ образовали внутреннее море. Собрали со всего міра чертежниковъ и живописцевъ. Использовали всѣ ихъ таланты и всю ихъ фантазію для плановъ и орнаментовъ. И только тогда начали строительство рая.

Прежде всего выстроили дворецъ, съ безчисленными множествомъ залъ, павильоновъ, комнатъ, сверкающихъ окнами, соединенными золотыми и серебряными лѣстницами. Въ каждомъ залѣ—троны, рубленные изъ цѣльныхъ драгоценныхъ камней. Въ каждомъ кіоскѣ—тахты, усыпанные алмазами, вперемежку съ сапфирами, изумрудами и перлами. Дворецъ окружили рощею изъ алоевыхъ деревьевъ, вѣстылицами для мускуса и ямами, наполненными опуомомъ,—такъ, чтобы каждое движение воздуха окуривало дворецъ благоуханіемъ. Справа отъ дворца проведены были золотые каналы, которые днемъ должны были принимать солнечный свѣтъ, а ночью освѣщать дворецъ отраженными лучами. Сады наполнились золотыми и серебряными деревьями, съ листвой изъ топазовъ и изумрудовъ, съ плодами изъ всевозможныхъ алмазовъ, перловъ, рубиновъ и яхонтовъ. Разсыпались по садамъ также изъ золота и драгоценныхъ камней сдѣланные фіалки, нарциссы, гіацинты, гвоздика, тюльпаны, жасмины, базилики, ергваны. На деревья посажены искусственные птицы, опять-таки изъ драгоценныхъ камней. Но внутренность ихъ оставлена была пустою, чтобы вѣтеръ, дуй, извлекать изъ нихъ звуки, какъ изъ духовыхъ инструментовъ,—и тогда садъ наполнялся хоромъ голосовъ, слагавшимъ гармонію седьмого неба, отъ которой внемлющіе приходили въ веселіе и восторгъ. Между дворцомъ и садомъ устроено было конское ристалище, съ мѣстами, подобными престоламъ. Всюду проведены

были рѣки и каналы, обставленные прекраснѣйшими вазами... Да, словомъ, на описание чудесъ сада Ирема *)—ибо такъ называли строители сооружаемую столицу—напрасно тратить время и трудъ, потому что кратко изобразить жизнь и красоту рая человѣку не дано возможности. Но... сказано есть въ Коранѣ:

— Развѣ ты не былъ свидѣтелемъ того, какъ поступилъ Господь Богъ твой съ аадіями, обитателями Ирема, города великолѣпныхъ зданій, подобныхъ которымъ не зиждилъ люди въ странахъ земли?

Сто лѣтъ строили мастера столицу для Шаддада и, когда постройка приблизилась къ концу, спросили царя:

— Не будетъ ли отъ тебя еще какихъ приказаний?

Шаддадъ, проклятие ему, сказалъ:

— Да будетъ построенное вами раемъ для моихъ подданныхъ. Для себя же я желаю рая въ раю. Посреди сада Ирема выстройте мірѣ крѣпость, посреди крѣпости расширьте дворъ, посреди двора возвысьте дворецъ, посреди двора поднимите надъ кровлю круглый шатеръ, посреди шатра поставьте для меня престоль. Да будетъ онъ изъ красныхъ рубиновъ и зеленыхъ изумрудовъ, а по сторонамъ его да встанутъ литья изъ золота и камнями осыпанные павлины, голуби и черные орлы. Окружите престоль благоуханіями—такъ, чтобы каждый вѣтерокъ окуривалъ его сладчайшимъ єюмамомъ. Вокругъ моего шатра постройте еще тысячу подобныхъ же шатровъ, поставьте въ нихъ слоновъ и прочихъ домашнихъ животныхъ. Пристройте къ нимъ тысячу кухонь, въ которыхъ рабы мои будутъ готовить кушанья для обитателей рая. Соберите со всего міра красивѣйшихъ, мальчиковъ и девочекъ: да будутъ они прислужниками и гуриями въ моемъ раю.

Еще сто лѣтъ строили мастера, и, наконецъ, все было выполнено, какъ того желалъ Шаддадъ.

Тогда Шаддадъ, да будетъ онъ проклятъ, разославъ во все концы земли глашатаевъ, и они оповѣстили всѣ народы всѣхъ странъ:

— Царь Шаддадъ повѣдѣвать вамъ явиться въ садъ Иремъ со всѣми вашими божествами для великаго празднества.

Когда народъ собрался, Шаддадъ назначилъ день своего переселенія въ устроенный имъ земной рай.

Затрещали барабаны, загремѣли трубы,—съ первого дня бытія своего міра не смыкаль столько воинственного шума.

Пожадны носилки Шаддада возвышались на спинахъ двухъ въ ногу ступавшихъ слоновъ. Вокругъ Шаддада шла его отборная дружина, въ нескользко сотъ тысячъ воиновъ, за которыми следили тьмы темъ гурій, работъ и неисчислимый обозъ вьючныхъ животныхъ. Завечерѣло,—и походъ остановился на ночевку всего въ пяти verstахъ отъ Ирема, потому что Шаддадъ желалъ вступить въ рай утромъ.

Но въ эту самую ночь Всевышній послалъ на Шаддада своего ангела. Только одинъ крикъ испустилъ ангель,—и стала бура.

Только одинъ порывъ вѣтра дохнула она,—и всѣ погибли.

Вотъ что значитъ стихъ Корана:

— Лишь однажды быть гластъ,—и погасли!

Но садъ Иремъ, слишкомъ прекрасный, чтобы быть разрушеннымъ, Господь охранилъ отъ гибели. Онъ лишь скрылъ его отъ глазъ человѣческихъ, такъ что никто изъ проходящихъ не сталъ видѣть его.

Такую премудрость открылъ славный пророкъ Мухаммедъ, да будетъ надъ нимъ миръ и благословеніе Господне, другу своему Абдуллаху-ибнъ-Саламу, іудѣю. А послѣ этихъ словъ пророка Абдуллахъ-ибнъ-Саламъ спросилъ его:

— О, благословенный! Съ того времени, какъ скрыть Иремъ, удавалось ли кому видѣть его?

Славный пророкъ, миръ и благословеніе надъ нимъ, отвѣтилъ:

— Для всѣхъ людей Всевышній откроетъ Иремъ только въ послѣдній день міра. Но одному изъ моихъ послѣдователей, по имени, какъ ты, Абдуллаху, выпало однажды счастье не только видѣть Иремъ, но и привезти оттуда на свое мѣсто верблюдовъ цѣлый вьючъ драгоценныхъ камней.

Вотъ какъ это случилось.

Въ дни великаго халифа Магавія, этотъ арабъ Абдуллахъ потерялъ своего верблюда и выѣхалъ на поиски его въ пустыню. Блуждая туда и сюда, внезапно набрѣль онъ на стѣну такой необычайной длины, что, въ какую сторону онъ ни смотрѣль, не видно было конца ея. Бѣдучи вдоль стѣны, Абдуллахъ достигъ воротъ, оказавшихся открытыми. Вѣхъаль, и предъ глазами его развернулось зѣблице чудесной зеленой равнинѣ, которая тянулась вдаль—до горизонта, замкнутаго какъ бы синею завѣсой. Но когда Абдуллахъ вглядѣлся въ завѣсу, онъ увидѣль, что это преграждаетъ ему зѣблице, подъемляясь отъ земли до неба, стѣна изъ голубого хрустала. Равнинѣ же, покрытая блѣущими ручьями, казалась счастливѣйше изъ долинъ, какія когда-либо востѣвались поэзами, потому что въ пространствѣ ея купы розъ, базилики, нарциссы и жасмины чередовались съ апельсинными рощами, а на деревьяхъ гнѣздились, воркуя, стонущія горлицы, и соловьи рокотали трелами въ нескончаемыхъ пѣсняхъ любви...

И по мѣрѣ того, какъ Абдуллахъ вѣзѣжалъ въ равнину, открывалась ему въ глубинѣ ея столица, невиданная въ мірѣ, въ ослѣпительномъ сверканіи золота и драгоценныхъ камней. А когда Абдуллахъ взглянулъ себѣ подъ ноги, то увидѣль, что земля здесь—золотой песокъ, а камешки—изумруды и рубины. И когда онъ оглянулся на ворота, въ которыхъ вошелъ, то уви-

^{*}) Верблюжий вьюкъ—15 пудовъ.

*, Такъ у турокъ. Въ „Тысячѣ и одной ночи“:—„Арамъ изъ колоннѣ“.

дѣль, что они сдѣланы изъ агата. А всѣхъ воротъ въ стѣнѣ было семь, какъ въ раю, и всѣ они были изъ разнаго драгоцѣнного материала: агатовыя, яшмовыя, коралловыя, рубиновыя, изумрудныя, серебряныя, золотыя. И стѣны, которыя они прорѣзали, также были сложены изъ золотыхъ и серебряныхъ кирпичей.

Такъ, войдя въ городъ чрезъ агатовыя ворота, продвигался Абдуллахъ понемногу впередь да впередь, призывая имя Аллаха, и дивился улицамъ, окаймленнымъ алебастроными портиками дворцовъ и садами, изъ которыхъ дышалъ воздухъ, сладкій, какъ молоко, вытекали ручьи, напитанные ароматами. Но одинъ дворецъ даже и здѣсь, въ этомъ царствѣ неутомимо соперничающей красоты, выдѣлялся великолѣпіемъ и изяществомъ, безмолвно прославлявшими искусство и вкусъ гениальнѣйшаго изъ строителей: кому, кроме Аллаха, вѣдомо его имя? Террасы, обведенныя перилами изъ разноцѣннаго хрустала, опирались на тысячи золотыхъ колоннъ и примикивали къ стѣнамъ, высокеннымъ мозаикой изумрудовъ и сапфировъ. Беѣдки, шатры, кiosки, скамьи,— все, до послѣдняго ничтожнѣйшаго предмета, слитое изъ золота, сверкающее драгоцѣнными камнями!... Ни въ сказкѣ сказать ни первомъ описать нельзя красоты, представившейся глазамъ Абдуллаха!..

А внутри дворца Абдуллахъ нашелъ еще малый садъ съ почвою, благовониою, какъ мускусъ, и орошенюю тремя ручьями: одинъ текъ чистымъ виномъ, другой медомъ, третій розовою водою. И если большия сады, которые опоясывали дворецъ цвѣтами и листьями всѣхъ древесныхъ и злачныхъ породъ, можно было определить, согласно ихъ великолѣпію, безумѣемъ растительности, то малый садъ слѣдовало назвать прелестью мудрости. Здѣсь было только четыре вида цвѣтовъ, но зато подобными имъ глазъ человѣческій уже не ласкалъ послѣ первыхъ дней творенія.

Первымъ цвѣтомъ была роза. Но цвѣли тамъ не обычныя розы садовыхъ кустовъ, а священные красавицы-розы, потомицы и сестры той, что цвѣли въ небесномъ раю до несчастной минуты, когда грозный ангель изгналъ Адама и Еву на небо Дунья. Роза—пламя радости, роза—утренняя заря, роза—жизнь, роза—алость, роза—бархатъ, свѣжая, какъ безпорочная девственница, обольстительная, какъ прекраснѣйшая изъ гурдъ. Въ ея вѣнчикѣ дремалъ пурпуръ, предъ которыми блѣдны и тусклы мантіи королей. Ароматъ ея заставлялъ трепетать сердце, какъ вѣтеръ, ибо шепталъ душѣ: упейся мною!—и окрыдалъ тѣло, ибо ободрялъ его: забудь все, оторвись отъ земли!

Второй цвѣтокъ былъ тюльпанъ. Но намъ кажутся прекрасными и тюльпаны какого-либо сultанскаго цвѣтника, а тамъ гордо поднимали свои прямые стебли настоящіе старинные тюльпаны, возросшіе изъ крови дракона. И краски ихъ спорили съ кубкомъ вина и пылающимъ очагомъ. Говорили вину:

— Мы сильнѣе тебя: опьяняемъ смертнаго черезъ взглядъ одинъ, не касаясь губъ!

Говорили огню:

— Мы сильнѣе тебя: ты горишь и горишь, а мы горимъ, не сгорая.

Третій цвѣтокъ былъ гіацинтъ. Не гіацинтъ нашихъ скромныхъ садовъ, а тотъ, которому лилія—дочь, а лебедь—соперникъ. Но когда бѣлый лебедь выходилъ изъ воды, нѣжный, благоуханный, хрупкій гіацинтъ говорить ему:

— Не спорь. Я бѣле.

И четвертый цвѣтокъ была гвоздика. Не та, о, вовсе не та гвоздика высокихъ террасъ и плоскихъ крыши, которую молодыя девушки поливаютъ изъ леекъ, но гвоздика, подобная пылающему шару восходящаго солнца, вся раскаленная его лучомъ и жаромъ,—огненный кубокъ аромата, вмѣстившій летучую душу перца. Та гвоздика, древнюю сестру которой пожертвовалъ царь джинновъ Сулейману-бену-Доуду, чтобы онъ украсилъ волосы царицы Балкисъ. Та гвоздика, изъ которой Сулейманъ извлекалъ эликсиръ долголѣтія, бальзамъ мудрости, воду жизни и противоядіе противъ всѣхъ отравъ.

Таковъ былъ малый садъ. А посреди его возвышалась круглая сѣнь, высеченная изъ цѣльнаго изумруда, и подъ сводомъ ея стоялъ тронъ изъ червоннаго золота, украшенный рубинами и жемчугомъ... Но никто никогда не сидѣлъ на томъ тронѣ—и не сидѣть вовѣкъ! Аллахъ акбаръ!

При зрѣлищѣ всѣхъ этихъ чудес Абдуллахъ пришелъ въ такое изумленіе, что сталъ сомнѣваться въ собственномъ существованіи:

— Живъ ли я или умеръ? Вѣдь подобного города не можетъ быть на лицѣ земли. А между тѣмъ это не можетъ быть и раемъ, такъ какъ въ рай не пускаютъ живыхъ, а я не чувствую себя умершимъ. Быть-можеть, все это не болѣе, какъ мой сонный бредъ?

Не зналъ онъ или во снѣ, Абдуллахъ снялъ со своего верблюда всѣ сумы и бурдюки, наполнилъ ихъ драгоцѣнностями, сколько животное могло поднѣсть и увезти, и выѣхалъ изъ города. Отѣхавъ немнога, онъ оглянулся, но ничего уже не увидалъ: стѣна исчезла, предъ глазами Абдуллаха разстилалась голая степь. Онъ смущился, не разсыпался ли призракомъ также и драгоцѣнности, которыхъ онъ набралъ въ свои сумы, но, осмотрѣвъ ихъ, убѣдился, что нѣтъ, все цѣло. Тогда Абдуллахъ возблагодарилъ Всевышнаго и сказалъ:

— О, счастье! Мой верблюдъ теперь стоять ста тыщицъ верблудовъ!

Когда Абдуллахъ прибылъ домой, въ лемень, онъ явился къ шейху своего народа и рассказалъ подробно все, что съ нимъ произошло въ пустынѣ. Шейхъ счѣлъ нужнымъ донести дѣло халифа Магавія. Пожаливъ шейха за сообщеніе, халифъ поже-



Въ раю. Вѣсти съ земли.

Карикатура Синуса.

лаль видѣть Абдуллаха. Шейхъ отправилъ Абдуллаха со всѣми его сокровищами къ Магавію. Халифъ принялъ араба хорошо, но не скрылъ недовѣрія къ его приключенію въ пустынѣ.

— Сынъ Адама,—возвращай онъ,—не въ состояній осуществить средствами здѣшнаго міра тѣ чудеса, о которыхъ ты повѣствуешь. Единственный, кто былъ бы способенъ на то,—парь Сулейманъ-бенъ-Доудъ, да сохранитъ онъ благоволеніе Аллаха вовѣкъ! Ибо онъ имѣлъ власть надъ міромъ какъ людей, такъ и духовъ.

Но Абдуллахъ настаивалъ на истинѣ своего разсказа и сказалъ:

— Однако, халифъ, я могу показать тебѣ перстень съ тѣмъ самыми гербомъ, который красуется на видѣніяхъ моихъ дворцахъ.

— Да,—сказалъ Магавія,—я посмотрю.

Абдуллахъ подалъ халифу перстень съ огромной жемчужиной. Магавія бросилъ перстень на полъ и раскололъ его. Тогда по всему дворцу разлился ароматъ удивительной пріятности: такихъ духовъ халифъ никогда еще не обонялъ и даже не воображалъ, чтобы могли быть подобные. Онъ началъ вѣрить Абдуллаху и удивлялся то до блѣдности, то до румянца, когда тотъ описывалъ ему чертоги, видѣнія въ таинственномъ градѣ пустыни. Однако, чтобы провѣрить правду Абдуллаха до конца, халифъ спросилъ своихъ придворныхъ:

— Не найдется ли человѣка, который могъ бы подтвердить существованіе города, о которомъ разсказываетъ намъ этотъ арабъ?

— О, халифъ,—отвѣчали придворные,—если есть такой человѣкъ, то, конечно, это прорицатель Каабы.

Когда прорицатель Каабы приведенъ былъ предъ лицо халифа и выслушалъ предложенные ему вопросы, онъ отвѣтилъ:

— Конечно, все, сообщенное Абдуллахомъ, есть истина. Мѣсто, имъ видѣнное и посѣщенное, есть рай Шаддада-ибнъ-Аада и носитъ название „Садъ Ирема“.

Магавія, да будетъ надъ нимъ милость Аллаха, услыхавъ, что сказалъ прорицатель, исполнился благоговѣнія. Возблагодаривъ Бога за творимыи Имъ въ мірѣ чудеса Его, халифъ приказалъ украсить Абдуллаха и прорицателя Каабы великолѣпными одеждами. Абдуллахъ же, сверхъ того, онъ разрѣшилъ владѣть всѣми драгоцѣнностями, которыхъ онъ добылъ въ пустынѣ. А въ знакъ высокаго почета иуваженія, далъ ему отнынѣ полную самостоятельность во всѣхъ дѣлахъ, освободивъ его изъ-подъ руки какихъ бы то ни было властей. Такъ что съ того времени арабъ зажилъ счастливо, не зная ничего вмѣшательства въ свою жизнь.

Аллахъ акбаръ! Нѣть въ мірѣ величія, которое въ глазахъ Его не было бы пылинкою изъ праха.

Великъ Господь! И нѣть въ мірѣ пылинки, которую воля Его не могла бы вознести изъ праха на предѣлы высшаго величія!

Вотъ все, что мы знаемъ о рукотворномъ раѣ Шаддада-ибнъ-Аада. Но всевѣдущій Аллахъ знаетъ больше насть.

Голосъ изъ глубины Россіи.

Разсказъ Б. Никонова.

I.

Владимиръ Сергеевичъ Сайгатскій, поэтъ и журналистъ, прииде въ обычный часъ въ редакцію, опять нашель на своемъ столѣ изящный голубой конвертъ.

Это становилось, наконецъ, занимательнымъ. Голубые конверты все болѣе и болѣе дразнили его воображеніе. Они приносили съ собою частичку какой-то ясности, свѣжести и граціи, словно занесенные вѣтромъ нѣжные лепестки георгины.

Получивъ такой лепестокъ въ первый разъ, Сайгатскій распечаталъ его довольно равнодушно. Онъ привыкъ къ всевозможнымъ посланіямъ и, въ частности, къ дамскимъ. Ему, какъ извѣстному поэту, писали многіе и отовсюду. Одни изъ его корреспондентовъ и корреспондентокъ, просто, заявляли о своемъ существованіи и писали, повидимому, только ради горделиваго сознанія, что вотъ, моль, мы переписываемся съ извѣстнымъ литераторомъ. Другіе (и такихъ было болѣе всего) просили и требовали денегъ, упрекая его въ богатствѣ и скверноти. („И куда вы дѣваете вашъ гонораръ?—писалъ одинъ, совершенно неизвѣстный ему раздраженный господинъ.—Вѣдь вы должны зарабатывать адски много!“) Третіи (этихъ было тоже не мало) расточали хвалы и комплименты и въ заключеніе, какъ будто между прочимъ, предлагали „высказать авторитетное мнѣніе“ о прилагаемыхъ пробахъ пера, при чёмъ такія пробы представляли

собою иной разъ цѣлые тетрадищи. Наконецъ попадались и откровенныхъ амурныхъ посланій.

Голубое письмо Сайгатскій причислилъ-было къ этой последней категоріи и вскрылъ его съ чувствомъ легкаго презрѣнія. Однако вѣнчаность и содержаніе письма (равно какъ и послѣдующихъ писемъ) были не совсѣмъ заурядны и заставили обратить на себя особое вниманіе.

Конверты и бумага были нѣжно-голубого цвѣта и очень изящны. Отъ нихъ вѣяло ароматомъ тонкихъ духовъ—и въ воображеніи Владимира Сергеевича, благодаря имъ, какъ-то сразу создался образъ красивой молодой женщины въ голубомъ платьѣ. Имя его корреспондентки тоже было оригинально и красиво: ее звали Маріанна Владимировна Шуйская. Но главнымъ образомъ незаурядны были содержаніе, тонъ и стиль ея писемъ.

Они изобличали въ ней нѣчто большее, чѣмъ простую интеллигентность.

„Вѣроятно, вы считаете неприличнымъ и страннымъ такой способъ заводить знакомство,—читалъ сейчасъ Сайгатскій.—Но знакомство ли это? Я никогда не видала да, вѣроятно, никогда и не увижу васъ... И для васъ я, просто, лишь голосъ изъ глубины Россіи—и только. Я—одна изъ очень многихъ, разбросанныхъ по Россіи невѣдомыхъ вамъ душъ—и всѣ вмѣстѣ мы составляемъ тотъ общий голосъ, который призналь васъ выдающимся поэтомъ и невольно обращается къ вамъ, какъ къ самой чистой и лучшей красотѣ и радости жизни. Если бы я была менѣе религіозна, я сказала бы, что это—молитвенное обращеніе...

„Я для васъ—блѣдный и незначительный мазокъ въ той пестрой картинѣ, которую представляеть собою „читающая публика“. Даже менѣе того: я, просто, голубой конвертикъ... Но какъ бы незначительна и невѣдома для васъ я ни была, все-таки нѣчто сближаетъ насъ, и это нѣчто— ваши сочиненія. Вы ихъ пишете, а я читаю и люблю ихъ. И вотъ теперь я все-таки пишу вамъ, какъ своему знакомому...

„И вы не можете представить, какое наслажденіе и счастье для меня— писать вамъ, бесѣдовать съ вами. Хотя вы не отвѣтите и не отвѣтите мнѣ, но мнѣ довольно и того, что вы, быть-можетъ, читаете мои письма...“

— Очень мило!—промолвилъ Сайгатскій,—и очень литературно...

„Вы для меня яркій сѣтильникъ!—читалъ онъ далѣе.— Не думайте, что это— шаблонная фраза... Нѣть, это „истинная правда“, какъ говорятъ дѣти. И къ этому сѣтильнику невольно тянетсѧ мои душа, какъ душа всякаго живого, страдающаго и почти всегда одиночаго въ своемъ страданіи человѣка. И это тѣмъ легче для меня и тѣмъ безобразнѣе для васъ, что мы абсолютно не знаемъ и не видимъ другъ друга. Я пишу свои нескромныя строчки въ какое-то ясное и сѣѣтное пространство изъ далекой-далекой, темной ямы. Я выскажу вамъ все, что у меня на душѣ, и мнѣ это не будетъ ни тяжко ни стыдно, а васъ ни къ чему не обязываетъ... Вы пройдете мимо моего существованія, никогда меня не увидите и не узнаете, и „голосъ изъ глубины Россіи“ такъ и останется голосомъ. Но этотъ голосъ все-таки обращался къ вамъ... Вы, быть-можетъ, его замѣтили, и въ этомъ для него огромное удовлетвореніе и утѣшеніе...“

— Очень мило!—повторилъ Сайгатскій, отрываясь отъ письма, и задумался.

Его серьезно заинтересовала эта корреспонденція.. Первые письма г-жи Шуйской были тоже интересны, но болѣе обыденны. Въ нихъ она говорила обѣ его произведе-



Прошлое и будущее

Н. Харитоновъ.

нињъ, тонко разоирала ихъ и пере давала свой впечатлѣнія по поводу его творчества. И только. Но въ этомъ послѣднемъ письмѣ она какъ бы прюткывала уголокъ своего сердца по отношению къ нему лично... Начинало походить на приготовленія къ признанію, на тонкую работу привлечения его вниманія сотнями незримыхъ, но крѣпкихъ паутинокъ, сплетенныхъ ловкою женской рукою въ изящное и легкое „голубое“ кружево. Въ поэзѣ заговорилъ „слабый человѣкъ“, склонный къ изящной и безвредной для своего общественного положенія авантюре. Но въ немъ заговорилъ также и художникъ: ему пріятно было видѣть это кружево, которое къ тому же могло послужить материаломъ для его собственныхъ художественныхъ произведеній.

Но кто была она?

„Навѣрно, у нея грубый мужъ, — думалъ Сайгатскій, — какой-нибудь провинциальный толстосумъ—тупой и пошлый человѣкъ, взившій ее въ жены за красоту и заточившій ее въ глухой могиль безцѣбнаго и пошлого существованія... Или, быть-можетъ, она молодая дѣвушка, дочь разорившагося богача, получившая прекрасное воспитаніе и попавшая теперь въ гувернанти, въ тупую и грубую семью... Надо написать ей что-нибудь... потеплѣе! — рѣшилъ онъ.— Надо одобрить ее и побудить къ дальнѣйшему...“

Онъ, дѣйствительно, написалъ ей небольшое, но прочувствованное посланіе, изложенное въ стилѣ такъ называемой сердечной простоты (я, моль, вовсе не великій человѣкъ и не знаменитость, а, просто, славный малый, слегка утомленный и избалованный жизнью... Но это ничего).

Результатъ однако оказался нѣсколько неожиданный: голубые конверты не только не принесли ему ожидаемаго *déclaration d'amour* и соответствующихъ нѣжностей, но—гораздо хуже—совсѣмъ перестали появляться...

Сайгатскій ждалъ отвѣта каждый день, — и съ каждымъ днемъ все нетерпѣлиwie. Когда онъ думалъ о таинственной голубой дамѣ и обѣя послѣднемъ кружевномъ посланіи, въ его воображеніи ярко вставала красивая фигура молодой женщины. Онъ самъ не замѣтилъ, какъ прочно укоренился въ его мозгу этотъ образъ, озаренный имъ же самимъ придуманнымъ ореоломъ...

— Что же она ничего не отвѣчаетъ?— беспокоился онъ.— Не могла же она обидѣться!..

Онъ послалъ ей второе письмо—еще болѣе прочувствованное и, какъ ему казалось, искреннее.

Спустя нѣсколько дней, приїдя въ редакцію, онъ невольно вздрогнулъ: на столѣ опять синѣль лепестокъ, оторвавшійся отъ далекой георгины.

„Зачѣмъ вы писали мнѣ?— съ изумленіемъ прочелъ онъ.— Ваше письмо больно укололо меня. Я не ждала и не просила снисходительной улыбки мимоходомъ, а вы послали мнѣ, именно, такую ненужную, натянутую улыбку... Вамъ, вѣроятно, подумалось: надо поблагодарить эту наивную провинциалочку за ея вниманіе!— И вы рѣшили покормить меня ласковымъ письмомъ, подобно тому, какъ кормить лакомствомъ маленькихъ дѣтей, когда они хорошо ведутъ себѣ... Вы человѣкъ вѣжливый и деликатный, но вы все-таки сдѣлали мнѣ больно. Вамъ слѣдовало понять, что безмолвно пройти мимо меня—было бы гораздо лучше и милѣе для меня, потому что безмолвие въ такихъ случаяхъ болѣе сердечно (ибо оно искренно), чѣмъ натянутая, колющая и,—простите меня, но это правда,—неискренняя вѣжливость по моему адресу... Будьте невѣжливы и не вносите диссонанса въ мою почти безмолвную, „глухую“ исповѣдь... Если вы хотите отвѣтить мнѣ, то лучше отвѣтѣ какою-нибудь хорошею повѣстю или стихотвореніемъ... И отвѣтѣ ими не мнѣ лично, а всѣмъ намъ—голосами изъ глубины Россіи“...

„Вотъ странно!—изумился Сайгатскій.—Какъ однако она чутка



Карикатура Тзади.

и щепетильна! Во всякомъ случаѣ, очевидно, что она—человѣкъ не совсѣмъ обыкновенный... Но что же она, наконецъ, такое? Расчетливая, хитрая кокетка, или, дѣйствительно, прямое, не выносящее ни малѣйшей фальши, искреннее существо? И почему она запрещаетъ мнѣ писать? Развѣ ужъ я такъ былъ неискрененъ?“

Владимиръ Сергеевичъ почувствовалъ, что въ немъ возникаетъ какое-то импульсивное, противорѣчивое настроеніе.

„А, вотъ, и напишу еще и еще разъ! А не то, возьму, да еще и самъ къ ней пріѣду!..“

II.

Эта бѣглая, неожиданно возникшая мысль столь же неожиданно укоренилась въ головѣ Сайгатскаго. Ему серьезно пришло на умъ: почему бы не увидѣть таинственной голубой дамы, Маріанну Владимировну, въ живомъ образѣ?

И чѣмъ больше онъ думалъ обѣ этомъ, тѣмъ большую трогательность и значительность принимала въ его глазахъ эта мысль.

Въ самомъ дѣлѣ, если между писателемъ и читателемъ существуетъ серьезная духовная связь, если связь эта уже признала определенную форму, то, казалось бы, было бы такъ естественно, умно и красиво—осуществить ее въ реальномъ общеніи.

„Надо быть ближе къ читателю!“—думалъ Сайгатскій, чувствуя какую-то поэтически-возвышенную нѣжность при этой мысли.

Но въ то же время его навѣщаила и другая лукавая мысль о томъ, что таинственная Маріанна Владимировна, вѣроятно, молода, красива, и что не грѣхъ поддержать и культивировать всю эту писательско-читательскую идею и въ нѣсколько иномъ, болѣе фривольномъ смыслѣ.



Въ деревнѣ. За тканьемъ.

Поэты и „слабый человѣкъ“ боролись въ этихъ двухъ направленияхъ, и второе — игривое направление въ концѣ концовъ даже возобладало. Богатая фантазія талантливаго поэта чрезвычайно живо представляла тѣнистый паркъ, голубую лунную ночь, голубое (впрочемъ, можно и не голубое!) платье и стройную женскую фигуру... Правда, съ одной стороны, было какъ будто немножко невѣроятно, чтобы сразу такъ ужъ все и возникло — и лунная ночь и стройная фигура... Но, съ другой стороны, Сайгатскому приходилъ въ голову извѣстный разсказъ Мопассана о нѣкоторомъ проворномъ литераторѣ, который въ теченіе 24 часовъ успѣлъ благополучно завершить серьезнѣйший романъ съ одною дотолѣ совершенно ему неизвѣстной интеллигентной и благовоспитанной двѣйцей...

„Въ самомъ дѣлѣ, отчего не прокатиться? — думалъ онъ. — Теперь же, кстати, и погода хорошая!“

Погода, дѣйствительно, установилась хорошая. Наступили теплые майскіе дни и лунные ночи. Неизвѣстно тянуло на просторъ и мечталось о веселой суматицѣ желѣзодорожнойѣзды, о поэтическойѣздѣ въ дребезжащемъ тарантасѣ по цветущей проселочной дорогѣ, о новыхъ пейзажахъ, о новыхъ людяхъ...

И вотъ однажды послѣ обѣда Сайгатскій какъ-то внезапно собрался, уложилъ небольшой чемоданъ, надѣлъ изящный дорожный вестонъ и отправился въ городъ Орѣховъ.

Тѣда предстояла довольно серьезная: нужно былоѣхать цѣлую ночь по желѣзной дорогѣ, а затѣмъ четыре версты на лошадяхъ. И избалованному поэту пришлось на первыхъ порахъ испытать нѣкоторыя разочарования.

Съ измятой физіономіей, съ шумомъ и болью въ головѣ поспѣвъ бессонной ночи Сайгатскій вышелъ на другой день утромъ на маленькой, захудалой станціи.



Въ деревнѣ. На пашнѣ.

М. Грековъ.

Сіяющее весеннее утро, зеленые луга, начинавшиеся уже у самой станціи, звонъ колокола, доносишійся откуда-то ясными, успокаивающими волнами — вся эта идиллическая картина мирнаго захолустья настроила-было Сайгатскаго снова на хорошій ладъ, но подвернулись новыя непріятности.

Судя по прежнимъ стомичнымъ похожденіямъ, онъ полагалъ, что четыре версты отъ станціи до города — сущие пустяки, о которыхъ и говорить нечего. Что стоило, напримѣръ, проѣхать четыре версты отъ Стрѣльны или Петергофа? Бойкія лошади, гладкое, какъ полотно, шоссе, масса извозчиковъ на станціи.

Но здѣсь было совсѣмъ не то.

Прежде всего, на станціи не оказалось извозчиковъ. У станціонарного подъѣзда стояла лишь „собственная“ сътая лошадка, запряженная въ солидную сѣбѣ-лакированную бричку. Въ бричку вскорѣ сѣлъ такой же сътый и солидный батюшка и, собственоручно права лошадкой, уѣхалъ. А затѣмъ, какъ усердно ни осматривался Сайгатскій, онъ не видѣлъ ни на станціи ни далѣе ни одной лошади...

„Однако, чортъ возьми, не пѣшкомъ же идти! — подумалъ онъ. — Надо навести справки.“

Онъ подошелъ къ запыленному

начальнику станціи, жарившемуся на солнцепекѣ, и изложилъ ему свое желаніе.

— Трудно теперь лошадей найти! — вздохнулъ начальникъ станціи, разсматривая свои запыленные сапоги. — Мужики теперь все на поль...

— Какъ же пассажиры у васъ? Вѣдьѣздить же на чѣмъ-нибудь?

— Пассажиры у насъ, извините, все больше на собственныхъѣздятъ. Вонъ давеча батюшка поѣхалъ. Что не сказались? Подвѣзъ бы васъ съ удовольствиемъ.

— Почемъ же я знать?

— Да вѣдь онъ въ одномъ поѣздѣ съ вами прїѣхалъ!

Сайгатский замолчалъ, соображая, какъ ему быть.

— Да, вонъ, Микеша никакъ околачивается!—вдругъ ожи-
вился начальникъ станціи.—Онъ самый и есть! Вотъ онъ, пожа-
луй, вѣсъ и отвезетъ!

Онъ окликнулъ и поманилъ нѣкоего человѣка. Тотъ проворно
подѣжалъ, и Сайгатскій узналъ въ немъ взлохмаченнаго и обдер-
ганныаго парня, который какъ разъ предъ тѣмъ ходилъ за нимъ
по станціи по пятамъ и подѣдалъ его глазами. Владимира Сер-
гѣевичъ подумалъ тогда, что парень собирается устроить ему
какую-нибудь непріятность, и старательно уклонялся отъ него.
Но парень явно преслѣдовалъ Сайгатскаго и даже повергъ
его въ беспокойство. И только когда Сайгатскій подошелъ
къ начальнику, подозрительный парень исчезъ. Владимира Сер-
гѣевичъ объяснилъ это исчезновеніе страхомъ парня предъ
представителемъ власти и былъ очень доволенъ... И вотъ

— Ну, ладно! Слыхали!—равнодушно прервалъ начальникъ.
Не давайте ему больше пяти рублей — за глаза довольно. Все
равно побѣдѣтъ Зря вѣдь болтается.

Микешка, очевидно, лишь для поддержанія собственного до-
стоинства продолжалъ торговаться. Сайгатскому надоѣло это.
Онъ посыпалъ лишній цѣлковый — и споры прекратились. Микешка
снялъ шапку и сталъ совать ее въ руки Сайгатскому.

— Зачѣмъ? На что мѣ? — удивился послѣдній.

— Бери скорѣй! Держи! А я побѣгу запрягать!

— Послушай! Зачѣмъ же мнѣ твоя шапка? — кричалъ Сайгат-
скій, виѣ себя отъ изумленія.

— Это въ родѣ какъ бы залогъ! — пояснилъ начальникъ, усѣвшись
съ прежнимъ скучающимъ видомъ на солнцепекѣ.—Ничего, возь-
мите! Это значитъ, чтобы вы спокойны теперь были, что онъ не
убѣжитъ никуда...

ТАБАКЪ



Въ городѣ за работой. Коммерціи совѣтники и совѣтницы.

Карикатура Пэма.

сейчасъ этотъ самый субъектъ и долженъ былъ его везти въ
городѣ...

— Можешь, Микеша, господина въ городѣ свезти? — спросилъ
начальникъ.

— Можемъ! — отвѣтствовалъ Микеша и, улыбнувшись, при-
бавилъ: — А вѣдь я давно за вами, баринъ, хожу! Вижу, баринъ
посторонний... Бѣхать охотится... Спросить хотѣль, да оробѣль я...

Сайгатскій сконфузился.

— Сколько возьмешь? — спросилъ онъ.

Парень мигнулъ, словно испугавшись, всѣмъ лицомъ и храбро
промовилъ:

— Десять цѣлковыхъ!

— Эхъ, хватиль! Десять цѣлковыхъ!.. — изумился начальникъ.—
Да ты и не видывалъ еще такихъ денегъ!

— Какъ это не видывалъ? Слава Тебѣ, Господи! — обидѣлся
Микеша.— Не лыкомъ, небось, шиты!

— Ухнуль бы ужъ прямо четвертную... Все единю вратъ-то!

— Вратъ мы не желаемъ! — возразилъ парень.— Я цѣну пони-
маю, какъ она быть должна... Лишняго не требаю...

— Нечего форсить-то! Скинь, бери любую половину, да бѣги—
запрягай!

— Изъ какихъ же это средствіевъ скидывать-то? Теперь время
какое? Мужики на полѣ... Поди-ка, достань лошадей въ дру-
гомъ-то мѣстѣ!

Въ этихъ разговорахъ и событияхъ прошло болѣе часа. Солнце
поднялось уже высоко и стало припекать совсѣмъ по-лѣтнему.
Съ лошадью Микешка возился тоже около часа... А когда, на-
конецъ, онъ подѣжалъ къ станціи, то пришлось еще возиться
съ укладкой и усаживаніемъ. Экипажъ оказался простой пле-
тенкой, безъ сидѣнья и даже безъ подстилки, такъ что необхо-
димо было еще сѣѣздить за соломкой и дерюгой, чтобы устроить
хоть сколько-нибудь пристойное для извѣстнаго поэта сѣдалище.

— Хорошъ я буду сегодня къ вечеру! — со злобою подумалъ
Сайгатскій, когда наконецъ побѣхали. Солнце палило такъ сильно,
что онъ чувствовалъ, какъ у него уже загораетъ кожа на носу.
Какъ на грѣхъ, онъ забылъ свой зонтикъ.— Съ какой физіономіей
я представлюсь предъ ней?.. — думалъ онъ, пытаясь устроить
нѣкоторую защиту изъ носового платка. Но платокъ сѣѣжалъ,
и носъ, а за нимъ и лобъ и щеки загорали неумолимо и без-
надежно.

Экипажъ подbrasывало по избитой, неровной дорогѣ съ глубокими
выдавленными колеями засохшей грязи. Сѣдалище изъ
наскоро взбитой соломы сползло Сайгатскому подъ колѣни, а
спина его, то и дѣло, больно стукалась о края плетенки. Къ дово-
ренію бѣды, откуда-то взялись какія-то очень скромныя по
вишѣности, но очень зла кусающіяся муhi. Онѣ съ туپымъ упор-
ствомъ припали къ рукамъ и затылку и тяжело шлепались на
темную матерію пальто. Сайгатскій сначала ожесточенно истре-



Деревенская нянька.

бляль ихъ, но мухи, повидимому, снова воскресали, нисколько не уменьшаясь въ количествѣ,—и онъ наконецъ махнулъ на все рукой и мрачно предоставилъ себя на растерзаніе судьбы.

— Сколько верстъ до города?—спросилъ онъ, стараясь оттолкнуть нахально лѣзшій къ нему на колѣни чемоданчикъ.—Четыре, что ли?

— Эвона! Какія жъ четыре?—удивился Микеша, поверачиваясь Сайгатскому свое широко улыбающееся лицо.—Всѣ двѣнадцать будуть!

— Какъ такъ!.. Что ты пустяки городишь?—воскликнулъ Владимиръ Сергеевичъ.

— Нѣть, не пустяки! Въ другую пору, дѣйствительно, четыре версты, а теперь всѣ двѣнадцать.

— Почему?

— Мы лѣтомъ, вонъ, по той дорогѣѣдимъ, такъ оттуда четыре версты будуть. А теперь, видишь, рѣчка Орѣховка разлилась,—прѣѣзду и нѣту!

— Гдѣ же она, разлилась? Разливъ-то вѣдь уже кончился?

— Разливъ-то, оно, пожалуй, и кончился,—согласился возница.—Да вотъ, вишь ты, мостъ еще не наложенъ... А въ бродъ не прѣѣдешь: вода еще не смирина.

— А дорога все время такая плохая будетъ?—съ тоскою спросилъ Сайгатский.

— Лучше этой не бываетъ!

Добравшись до окольцы вѣтринной деревеньки, Микеша остановилъ лошадь и, слѣзши съ козелья, остановился въ задумчивости.

— Ты чего?—спросилъ Сайгатский.

— Да вотъ, вишь ты, мостъ-отъ, можетъ, уже наложенъ... Не повернешь ли назадъ? Что зря двѣнадцать-то верстъ тащиться?

— Что же ты раньше-то думалъ?

— Гдѣ все-то сообразить? Да ничего! Крюка самаго махонькаго дали—и двухъ верстъ не будетъ!

Онъ взобрался на козлы и нерѣшительно поворотилъ назадъ.

— Ты узналъ бы у кого-нибудь насчетъ моста,—посовѣтовалъ Владимиръ Сергеевичъ.—Что зря созаться?

— Какъ не узнать? Узнаемъ! Зря не сунемся! Не беспокойся!

Онъ, въ самомъ дѣлѣ, остановилъ на пути бабу и сталъ допрашивать ее:

— Тетка! Мостъ въ Кривошековѣ наложенъ; что ли, али нѣть?

— Надо-быть, наложенъ! Ребята третьеводни ходили—сказывали, рубить...

— Мостъ-отъ наложенъ! — радостно доложилъ парень Сайгатскому, хотя тотъ и самъ слышалъ отвѣтъ бабы.

— А ты, милый, до Кривошекова лугами поѣзжай!—посовѣтовала баба вдогонку.—Косогоромъ, слышь, не прѣѣдешь!

Парень крикнулъ:

— Почему не прѣѣдешь? — Но отвѣта уже нельзя было разслышать, да и баба куда-то пропала.

— Ну, лугами, такъ лугами... Грязно тамъ, не дай Богъ, ну да ничего, прѣѣдемъ.

Поѣхали лугами.

Плетеника, колыхаясь, спустилась съ косогора и погрузилась въ цѣлое море невысокой, но уже густой травы. Впереди свѣтлая серебряная, тонкая, словно лезвіе ножа, рѣчка, а за нею сверкали церковные кресты, и маячили въ туманѣ испареній бѣлые дома и красныя крыши города Орѣхова. Солнце жарило певыносимо, и Сайгатскийчувствовалъ, что иносъ и щеки у него уже сгорѣли, и теперь начинаетъ сгорать шея. Лошадь пошла шагомъ, такъ какъ дороги не было. Вместо нея всюду была трава,

А. Рябушкинъ.

а подъ травой липкая, густая грязь, которая очень скоро обѣнила колеса и превратила ихъ въ черные распухшіе комья, съ трудомъ баражавшіеся въ травѣ.

— Ну, братъ, мы такъ недалеко уѣдемъ! — произнесъ Сайгатскій, тщетно стараясь поудобнѣе усѣсться въ колыхавшейся плетеникѣ.

— Ничего! Дѣдемъ какъ-нибудь!— успокаивалъ возница.— Все легче, чѣмъ двѣнадцать верстъ тащиться! Вонъ онъ—Орѣховъ-то! Рукой подать! А вонъ и Кривошековская замѣка! — показалъ онъ вѣтво, где чернѣли у рѣчки невысокіе амбары. — Вѣдь и взаимѣнно построили мостъ-отъ! Гляди-ка!—вдругъ обрадовался онъ.— Ну, дай Богъ здоровья бабы! Но омманула!

Но когда добрались до замѣка и рѣчки, чрезъ которую, дѣйствительно, бѣлѣла свѣже-настланный мостъ, на берегу около моста вдругъ выросъ дѣтина съ дубиной и, подойдя къ плетеникѣ, грозно крикнулъ:

— Вороти назадъ!

— Какъ такъ? Почему?—запротестовалъ Микеша и Сайгатскій.

— Нѣту вамъ тутъ ходу!— еще грознѣе закричалъ дѣтина.—Вы, черти, наши луга помяли! Бить васъ надо за это!

— Какіе-такіе ваши луга? — закричалъ въ свою очередь Микеша.—Луга крестьянские, общественные, а не ваши!

— Господина Постѣлова луга, а не общественные!

— Ишь, чортъ!— понизилъ тонъ, промолвилъ парень.— Постѣловъ, стало-быть, ужъ купилъ! И мостъ-отъ, видно, евоный сталь!

— Поѣзжай назадъ!— оралъ дѣтина, потрясая палкой. — Убирайтесь, пока цѣлы, а не то морды набью!

— Почемъ же мы знали? — возражалъ Микеша. — Насъ баба сюда послала...

— Послушай, милый другъ!— миролюбиво обратился къ свѣрѣному стражу Сайгатскому.—Пропусти насъ проѣхать! Я поблагодарю тебя...

— Поѣзжай назадъ!— твердилъ тонъ, словно ошалѣлый.

— Послушай! — разсердился Владимиръ Сергеевичъ. — Вѣдь ежели мы поѣдемъ назадъ, то еще больше помнемъ траву! Вамъ же лишний убытокъ!

На сторожа эта аргументъ, повидимому, подѣйствовалъ.

— Поди, спросись у хозяина!—заявилъ онъ, отходя отъ плетеникѣ.— Вонъ онъ въ амбарушкѣ сидитъ. Коли пустить, побѣжай! Минъ наплевать!

— Сходи ты!— предложилъ Сайгатскій.—Куда же мнѣ тащиться туда? Скажи, что я уплачую, коли нужно...

— А мнѣ что за охота тащиться? — возразилъ сторожъ. — Не мнѣѣхать, а вамъ... Поди самъ и хлопочи!

Чувствуя, что хладнокровіе окончательно покидаетъ его, Сайгатскій попытался было послать Микешу, но тотъ тоже заупрямился.

— Нѣть, баринъ, ужъ лучше подите вы! Минъ онъ только шею накостыляетъ и не пропустить ни за что! А вѣсъ побоится...

И какъ ни уламывалъ его Сайгатскій — ничего подѣлать съ нимъ не могъ и, взбѣшенный и измореный и жарою и этимъ нелѣпымъ приключеніемъ, отправился за полверсты къ указанной амбарушкѣ, на поклонъ къ Постѣлову.

Спустя полчаса, послѣ долгихъ переговоровъ и пререканій, выслушавъ отъ Постѣлова выговоръ за помятые луга, Владимиръ Сергеевичъ получилъ наконецъ разрѣшеніе на проѣздъ, и Рубиконъ былъ перейденъ.

— И свинья же этотъ Постѣловъ! — отводилъ душу Микеша, стегая съ досады лошадь,—то есть такая свинья, что мочи нѣть!

И когда онъ спроворилъ луга эти самыѣ? Понять нельзя!—Чисто чортъ, а не человѣкъ!

— Ну, ужъ и ты тоже хороши!—сердился Сайгатскій.—Зря—говорить—не сунемся! А самъ зра полѣзъ, ничего не зналъ!..

— Я, баринъ, не виноватъ!—оправдывался парень.—Это все баба сѣльшишила... Этаокое омманство, прости Господи!.. Ну, ужъ попадется она мнѣ, я ее почуя!.. Ужъ я взыщу съ нею!

„И понесло же меня!“—мысленно каялся бѣдный поэтъ, испытавшій столько огорченій отъ своей погони за фантастическимъ видѣніемъ „голубой дамы“.

Но дѣлать ужъ было нечего. Плетенка уже гремѣла по улицамъ города Орѣхова, и Сайгатскому теперь оставалось одно: мужественно нести всѣ послѣдствія затѣянной авантюры.

III.

— Это что такое. Гостиница? — мрачно спросилъ онъ возницу, когда тутъ остановился у воротъ убогаго одноэтажнаго зданія, обнесеннаго по карнизу для какой-то надобности затѣйливой рѣзной оборкой, почертившей и обсыпавшейся отъ ветхости.

— Такъ точно! Гостиница „Полтава“.

— Другой нѣть?

— И другая есть. Да только похуже!

— Ну, чортъ съ вами! Неси чемоданы!

Сайгатскій разговаривалъ теперь съ окружающими гораздо болѣе простымъ тономъ: какъ Чичиковъ съ Коробочкой. Къ такой перемѣнѣ тона его побуждала простота обстановки и лицъ, а главное, закипавшій въ немъ гибѣвъ на всѣхъ и на все, изъ-за испытанныхъ имъ дорожныхъ непрѣятностей.

„Номеръ, куда привела его, конечно, оказался подъ стать общему виду гостиницы. Поэтъ брезгливо косился, не зная, куда сѣсть, куда положить шляпу. Его настроение еще болѣе ухудшилось, когда онъ поглядѣлъ на себя въ зеркало.

Солицѣ такти разукрасило его физіономію, что онъ не узналъ себя. Верхняя половина его лба была ярко-блѣзъ, а понижѣ, словно територія враждебнаго государства, за рѣзкою демаркаціонною линіею начиналось красное пространство, принимавшее на скулахъ и на носу багровый, воспаленный цвѣтъ. Кожа на носу сильно саднила и какъ будто даже трескалась... Глаза были мутны и красны, и весь *habitus* былъ таковъ, словно Сайгатскаго только-что извлекли изъ „мертвецкой“ послѣ товарищескаго обѣда... И все существо его было насквозь пропитано Ѣдкой пылью, которая преслѣдовала его отъ пошибловскихъ влагѣній вплоть до „Полтавы“...

„Не особенно изящный pendant къ голубой дамѣ!“ — поморщившись, подумалъ онъ и началъ съ осторженіемъ мыться и чиститься.

Однако послѣ того, какъ онъ умылся и напился чаю со сливками и недурно пообѣдалъ, онъ немного отошелъ. И снова стала съ нѣкоторымъ трепетомъ думать о предстоящей встрѣчѣ съ г-жей Шуйской.

Теперь надо было навести справки, какъ отыскать ее. Сайгатскому было извѣстно покуда только то, что она живетъ въ какомъ-то „Копаевѣ“—должно-быть, помѣстьѣ.

— Далеко отсюда „Копаевѣ“?—спросилъ онъ полового, подававшаго ему умыться.

— У самого города. Извозчикъ живо домчитъ.

Сайгатскій хотѣлъ было спросить, что, собственно, за штука такая „Копаево“, но рѣшилъ, что гораздо интереснѣе узнать это на мѣстѣ.

Послѣ долгихъ приготовленій, одѣвшись въ свѣжій костюмъ и надушившись, онъ послалъ за извозчикомъ и опять побѣжалъ по улицамъ Орѣхова.

— Куда жь ты везешь меня?—спросилъ онъ, когда извозчикъ, выѣхавъ за городъ, повернулся къ какимъ-то унылымъ, казарменного вида зданіямъ съ длинной фабричной трубой.—Это что тамъ такое?

— А вотъ, это самое „Копаево“ и есть... Спичечная фабрика, стало-быть!

— Вотъ тебѣ на!—невольно вырвалось у Сайгатскаго.—Не особенно поэтическая рамка для голубой дамы!..

И съ новымъ разочарованіемъ онъ мрачно побрѣлъ по широкому и пустынному фабричному двору, отпустивъ извозчика.

„Вотъ тебѣ и паркъ!—думалъ онъ.—Вотъ тебѣ и залитая луннымъ свѣтомъ аллея! Фантазія-то, повидимому, не оправдывается... Но какъ отыскать ее? Кого бы спросить?“

Какъ на грѣхъ, на дворѣ не видѣлось ни одной живой души. Кругомъ было идиллически-тихо, и только гдѣ-то щелкалъ мѣрными, шипящими ударами локомобиль. Сайгатскій прошелъ по всему двору и вышелъ на какой-то другой дворъ, заваленный ящиками и бочкиами.

Настроеніе, расхоложенное обстановкой, опять стало у него падать... Однако надо же было довести начатое до конца.

— Послушай!—подманилъ онъ появившееся, наконецъ, живое лицо—взлохмаченнаго и чумазаго мальчишку лѣтъ десяти-двѣнадцати.—Гдѣ у васъ тутъ живеть г-жа Шуйская?

Мальчуганъ съ удивленіемъ огляделъ невѣдомаго, шикарно одѣтаго господина и ничего не отвѣтилъ.

— Гдѣ живеть г-жа Шуйская?—сердито повторилъ Владимира Сергеевича.

— Нигдѣ не живеть!—промолвилъ наконецъ мальчикъ.

— Что за вздоры! Я навѣрно знаю, что она живетъ здѣсь! Маріанна Владимировна Шуйская?

— Такой на фабрикѣ нѣту!—заявилъ мальчикъ и побѣжалъ дальше.

— Это какая-то мистификація!—разгневался Сайгатскій.—Или эта болванъ врѣть, или она ввела меня въ заблужденіе... Но съ какой цѣлью? Почему?

Онъ повернулся, чтобы уйти обратно. Потомъ рѣшилъ зайти спрятаться въ кабинку. Но вдругъ мальчишка, уже отѣжавшій на другую сторону двора, остановился и крикнулъ:

— Вамъ не учительшу ли надо?

— Кого?—крикнулъ Сайгатскій.

— Учительшу!!

— Да иди сюда, дуралей, ближе!—Ничего не слышу!

— У насъ учительшу Марьяной зовутъ, — объяснилъ мальчуганъ.—Она робить учить. Такъ она живеть не здѣсь. Вы не туда попали. Надо дальше пройти въ усадьбу. Вонъ за садомъ, у рѣчки. Подите туды; только собаки какъ бы не порвали. У нихъ собаки злюція!..

Мальчуганъ вывелъ Сайгатскаго за ворота и показалъ, куда ити.

Взволнованный упоминаніемъ о собакахъ. Владимира Сергеевичъ шелъ не торопясь. Но мало-по-малу сомнѣнія опять разсыпались, настроеніе возвысилось, и снова начала разыгрываться фантазія.

„Стало-быть, такъ все это, дѣйствительно, и есть: садъ, роскошная усадьба богатаго фабриканта... А она—обѣднѣвшая барышня изъ интеллигентной семьи, принужденная жить въ гувернанткахъ... Или же она жена директора и скучи ради учить здѣшнихъ ребятишекъ?..“

И воображеніе снова стало рисовать ему волшебную картину: луна, серебристый туманъ весеннаго вечера, жгучіе глаза и стройная фигура, робко склоненная предъ нежданнѣмъ гостемъ, прилетѣвшимъ къ ней, какъ Демонъ къ Тамарѣ.

И, увлеченный этимъ видѣніемъ, презирая опасныхъ собакъ, Владимира Сергеевичъ прибавилъ шагу. Спустя минуту предъ нимъ открылся великолѣпный барскій домъ, окруженній тѣнистымъ садомъ, чугунная кованая рѣшетка, ворота со львами. Домъ стоялъ на горѣ; внизу подъ горою серебрилась рѣчка, а за ней свѣтлая широкая водная гладь не то озеро, но то пруда.



Задумалась.

А. Маковскій.

„Вотъ онъ гдѣ, мой „голосъ изъ глубины Россіи!“ — подумалъ размѣгченный и растроганный поэтъ.—Вотъ въ какой поэтической оправѣ звучить онъ, этотъ милый, такъ странно позывавшій меня голосъ! И какъ хорошо, что онъ звучалъ и звалъ меня не напрасно!.. Сквозь преграды, по трудному тернистому пути, я прихожу сюда на его зовъ...“

Межу деревьями мелькнула стройная женская фигура въ свѣтломъ платьѣ. Солнце на мгновеніе освѣтило ее, а затѣмъ она снова ушла въ сумракъ аллеи. За нею пробѣжалъ, играя съ собачкой, мальчикъ лѣтъ 5—6, съ длинными волосами, въ англійскомъ костюмѣ, съ голыми руками и колѣнками.

— Дора! Не шали съ Лулу! Дора!—прозвучалъ ясный, мелодичный женскій голосъ.

„Она!“ — пронеслось въ головѣ у Сайгатского, и сердце его забилось... Вѣдь это звучалъ „голосъ изъ глубины Россіи!“..

Съ бьющимся сердцемъ позвонилъ онъ у массивной дубовой двери.

— Вамъ кого?—спросила, отворяя ему, невысокая, чисто одѣтая пожилая женщина, повидимому, экономка, съ сѣдѣющими локонами и приятнымъ благообразнымъ лицомъ.

— Маріанну Владимировну Шуйскую!

— Вы по школьному дѣлу, что ли?—спросила она.—Пожалуйста, пройдите въ школу. Я сейчасъ приду туда. Тамъ и побесѣдуемъ. Здѣсь неудобно!

— Какъ туда? Почему вы туда придетѣ?—спросилъ, недоумѣвая Сайгатский.—Минѣ, собственно, нужно самое Маріанну Владимировну!

— Это я!

— Вы?..

— Ну, да! Я!

— Маріанна Владимировна?! Шуйская?..

Почтенная женщина изумленно взглянула на Владимира Сергеевича и даже слегка отодвинулась: такое недоумѣніе, растерянность и даже испугъ выражались на лицѣ незнакомаго, такого пріличнаго и изящнаго господина. Она, повидимому, не прочь была даже подумать, что предъ нею сумасшедший...

— Что же вы такъ удивляетесь, милостивый государь?—съ достоинствомъ произнесла она.—Ну да! Я—Маріанна Владимировна Шуйская, учительница здѣшней фабричной школы... По дѣламъ я принимаю въ школѣ. Пожалуйте туда, если вамъ угодно...

Въ головѣ у Сайгатского верглись вихрь мысли: „Не можетъ быть! Это не она! Это ошибка, обманъ, мистификація...“

— Хорошо! Я приду!—промолвилъ онъ, не отдавая хорошенъко отчета въ томъ, что онъ говорить, и, какъ ошпаренный, вылетѣлъ за ворота...

— Это не она! Это другая!—повторялъ онъ, все еще не вѣря, что его голубая дама какимъ-то волшебствомъ превратилась въ старуху.—Надо узнать въ точности!..

Но узнавать было нечего... Все было ясно и понятно...

„И почему я вообразилъ, что она молода и красива, когда ни слова о возрастѣ не было сказано?—думалъ Сайгатский, уходя крупными шагами отъ коварной усадьбы, отъ обманувшаго его поэтическаго видѣнія.—Съ чего мнѣ взбрело это въ голову? И какъ угораздило меня такъ влопаться?“

— Фу, какъ глупо!—отдувался онъ, чувствуя, что все лицо его горитъ, и что онъ весь покрылся испариной отъ стыда и досады.—Боже мой, до чего глупо!.. Ф-фу, ты, Боже мой!

Онъ со всѣхъ ногъ шагалъ по старой дорогѣ, обратно въ городъ. Гдѣ-то лаяли и выли собаки, но онъ уже не думалъ о нихъ. Вѣдь и фабрика, казарменныя зданія, ворота...

— И она ждѣтъ меня сейчасъ въ школѣ!.. Фу, какъ глупо!—бороталъ, скимая кулаки и тяжело дыша, Владимиръ Сергеевичъ. Ему нѣ хватало воздуха; что-то тяжелое, нудное, глупое сидѣло внутри его и распирало его.

Фабрика осталась позади. Извозчиковъ нигдѣ не было видно. На зеленыхъ, цвѣтущихъ окрестностяхъ маленькаго городка опускался ароматный, проникнутый кроткою ласкою уходящаго солнца вечеръ...

— Нѣть, вѣдь какъ глупо-то!—вдругъ пробормоталъ Сайгатский, снова до такой степени пораженный неизѣпостью своего приключенія, что даже пришлось на мгновеніе остановиться.—Вхать, чортъ знать куда, при, чортъ знаетъ, какихъ скверныхъ условіяхъ, перенести всякия непріятности—и такой сюрпризъ... Уфъ!.. Ф-фу-у-у!..

— А все она!—вдругъ разсердился онъ на голубую даму.—Пишетъ всякие турусы на колесахъ, людей смущаетъ... Въ монастырь тебѣ ити, а не голубыя письма писать!..

И, словно изѣбвясь надъ его галантными похожденіями, за его спину, тамъ, гдѣ виднѣлись зданія „Копаева“, вдругъ комически-жалостно взвылъ фабричный гудокъ.

Сайгатский не выдержалъ и погрозилъ ему кулакомъ.

Спустя два часа онъ уже снова трясся въ какомъ-то чрезвычайно сомнительномъ экипажѣ на станцію и, гнѣвно перекоряясь съ ямщикомъ, торопилъ его, чтобы не опоздать къ поѣзду.

Далеко впереди, въ тьмѣ и туманѣ сырой майской ночи проносились какій-то тонкій и жалостный звукъ. Сайгатский испуганно встрепенулся.

— Что это такое?—тревожно спросилъ онъ ямщика.

— Никакъ машина!—сконфуженно отвѣтилъ тотъ и принялъ съ какимъ-то безнадежнымъ видомъ усиленно потогонять лошадей.

ПОКОСЪ.

Шелковыми, лукавыми
Лучами зелена,
Проходитъ солнце травами
До самаго плетня.
Окошечки растворены,
Что, шустрыя, глядяты,
И песнь ворчить изморенно
Подъ шутками ребяты.
И въ травахъ, то стихающихъ,
То буйныхъ, какъ прибой,
Собралися, играючи

Работники гурьбой.
Играючи, взвиваются
Змѣистая кося,
Какъ будто подрѣзаются
Невѣсты волоса...
И ликъ земли укращеннай
И плачетъ и поеть,
Лъ въ небѣ кремль стобашенный
И бѣлыи хороводъ.
Мелькаютъ руки ржавыя
И спины, какъ одна,

Работушка исправая--
Отъ вѣка ты вольна!
Въ работѣ стыдно скромничать
И грѣхъ озорничать...
Но близко, близко полдничать:
Вздохнуть и полежать...
А даль, какъ безконечная:
Лѣса, луга, стада...
Великая, извѣчна
Крестьянская страда!

Н. Хитоновъ.

ЗАЯВЛЕНИЕ.

По условіямъ разсрочки подписной платы за „Ниву“ сего 1918 г., къ 1 юня слѣдуетъ внести **не менѣе 26 руб.** Гг. подписчики, уплатившіе менѣше указанной суммы, благоволять поэтому озаботиться **немедленно** присыплюю слѣдующаго взноса, во избѣженіе остановки въ высылкѣ журнала съ 6-го юля—съ 27-го номера. Гг. иногородные подписчики при высылкѣ денегъ благоволять **обозначать на видномъ мѣстѣ копію печатнаго адреса** съ бандероли или **прилагать самый адресъ и непремѣнно указать, что деньги высылаются въ доплату за получаемый уже журналъ.**

При перемѣнѣ адреса слѣдуетъ прилагать **1 рубль и печатный адресъ.**

Содержаніе. ТЕКСТЪ: „Послание дѣти“. Шутка въ 1 дѣйствіи. И. Н. Петренко.—Загробное мѣщеніе. Стихотвореніе И. Гумилева.—Рукотворный рай. Турецкая легенда. А. В. Амфитеатров.—Голосъ изъ глубины Россіи. Рассказъ Б. Никонова.—Покосъ. Стихотвореніе И. Хитонова.—Заявление.

РИСУНКИ: Въ тихой заводи. И. Игнатьевъ.—Бѣда стряслась. И. Горюховъ.—На Українѣ. Въ страду. Ф. Козачинскій.—Въ раю. Вѣсти съ земли. Карикатура

Синуса.—Прощающее будущее. И. Харитоновъ.—Настоящее. Война, анархія и голодъ. Карикатура Тэлда.—Въ деревнѣ. За тканемъ. И. Харитоновъ.—Въ деревнѣ. На пашнѣ. М. Грековъ.—Въ городѣ за работой. Коммерція совсѣмъ и совсѣмъ. Карикатура Поза. Деревенская наивна. А. Ребушкинъ.—Задумалась. А. Маковскій. Къ этому № прилагается „Полнаго собранія сочиненій М. Горькаго“ книга 19.

Издатель Т-ва А. Ф. МАРКСЪ.

Редакторъ И. М. Желѣзновъ.

ЖУРНАЛ

1918 г.

XLIX г.

издания.

№ 27.

Выходит еженедельно (52 № в годь), съ приложениемъ 52 книгъ „Сборника”, содержащихъ сочиненія А. И. ГЕРЦЕНА, М. ГОРЬКАГО, В. Г. КОРОЛЕНКО, П. БЕРАНЖЕ и Н. И. КАРЬЕВА („Великая Французская Революція”).

Выданъ 6 июля 1918 г.

Подписанная цѣна съ дост. и перес. на годъ—36 р., на 1/2 г.—18 р., на 1/4 г.—9 р.

Цѣна этого № (безъ прилож.).—40 к., съ перес. 50 к.

Главная Контора и Редакція: Петроградъ, улица Гоголя, № 22

Перепечатка иллюстрацій и текста воспрещается. (Законъ 20-го марта 1911 г.).

Дмитрій Ивановичъ Писаревъ.

(Къ пятидесятилетію его кончины).

Пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ, 4-го іюля 1868 г., внезапно оборвалась жизнь одного изъ крупнѣйшихъ представителей русской публицистической критики—Дмитрія Ивановича Писарева.

Писаревъ погибъ совсѣмъ еще молодымъ человѣкомъ, 27 лѣтъ отъ роду. И въ 27 лѣтъ онъ сумѣлъ пріобрѣсти широкую популярность среди своихъ современниковъ, сдѣльаться, поистинѣ, „властителемъ думъ“ второй половины шестидесятыхъ годовъ. Крайности философскаго credo, тенденціозность нѣкоторыхъ литературныхъ мнѣній Писарева, конечно, несомнѣмы. Однако, они съ избыткомъ искупаются огромнымъ, брызжущимъ талантомъ его. Писаревъ никогда не оставляетъ равнодушными: ни тогда, когда мы съ нимъ соглашаемся, ни тогда, когда мы всѣми силами души протестуемъ противъ его взглядовъ. Въ отточенномъ, увлекающемъ слогѣ Писарева, въ самой манерѣ его излагать свои мысли есть что-то волнующее, будирующее. Точно какой-то смерчъ живыхъ, яркихъ образовъ, остроумныхъ, пусть нерѣдко парадоксальныхъ мыслей налетаетъ на васъ—вотъ первое впечатлѣніе отъ статей Писарева. Не даромъ Писаревъ былъ и остается любимцемъ молодежи. Молодежь пѣнитъ Писарева за тѣ духи жизни, который вѣтъ съ каждой страницы его писаній. Глубоко ошибаются тѣ, черезъ чуръ строгіе, на нашъ взглядъ, „цѣнители и суды“, которые считаютъ чтеніе Писарева „вреднымъ“ чтеніемъ. Крайности, парадоксы у Писарева, конечно, не занимать стать, но вѣдь въ крайности и парадоксы не впадаетъ лишь тотъ, кто не холоденъ и не горячъ, кто, иначе говоря, ко всему глубоко безразличенъ и равнодушенъ. Отъ крайностей и парадоксовъ освободиться очень легко—достаточно пріобрѣсти извѣстную умственную зрѣлость; отъ безразличія и равнодушия несравненно труднѣе избавиться. Послѣдователемъ Писарева въ наше время, конечно, немыслимо сдѣлаться человѣку съ установленіемъ міросозерцаніемъ; но пройти черезъ полосу „писаревщины“, хотя бы видоизмѣненной, почти неизбѣжно для каждого, чья мысль работаетъ пытливо и не удовлетворяется готовыми трафаретами.

Присмотримся, однако, поближе къ основнымъ чертамъ литературной фізіономіи безвременно угасшаго критика.

Писаревъ постоянно называлъ себя и своихъ единомышленниковъ „мыслящими реалистами“. Какое содержаніе онъ вкладывалъ въ этотъ терминъ—разясняетъ его статья „Реалисты“. Основное различие между реалистами и всѣми не-реалистами, эстетиками, напримѣръ, заключается, по мнѣнию Писарева, въ существованіи у реалистовъ одной высшей руководящей идеи и въ отсутствіи ея у не-реалистовъ. Это—идея общей пользы или обще-человѣческой солидарности, являющаяся однимъ изъ основныхъ законовъ человѣческой природы, частыя нарушенія которой порождаютъ почти всѣ страданія человѣчества. Идея общей пользы сводится къ положенію, что „сознательный и глубоко разсчитливый эгоизмъ зрѣлого человѣка“ предписываетъ ему работать на общую пользу, такъ какъ, во-первыхъ, „человѣку для его собственного благо-состоянія необходимо общество другихъ людей“, и такъ какъ, во-вторыхъ, „чѣмъ успѣшнѣе развивается



Дало разрушения дѣлано; дало ожиданія будуть
переди и заимоть сюбо не одно поколѣніе

Д. Писаревъ

соблюдать такую вкюномію, надо, прежде всего, уяснить себѣ до полной ясности, что полезно обществу и что бесполезно. Изъ всѣхъ возможныхъ сферъ дѣятельности занятія естествовѣдѣніемъ представляются Писареву наиболѣе продуктивными, такъ какъ, "только одни естествоиспытатели, развивающіе предѣлы науки новыми открытиями, работаютъ для человѣчества вообще, безъ отношенія къ отдельнымъ национальностямъ и къ различнымъ условіямъ мѣста и времени". Если естествознаніе надежнѣйшій другъ каждого послѣдовательного реалиста, то естетика является его злѣйшимъ врагомъ. "Естетика и реализмъ", — говорить Писаревъ, — находятся въ непримиримой враждѣ между собой... реализмъ долженъ радикально истребить естетику, которая въ настоящее время отравляетъ и обезмысливаетъ всѣ отрасли нашей научной дѣятельности... естетика есть самый прочный элементъ умственного застоя".... "Естетика, безотчетность, рутинна, привычка, это все совершенно равносильная понятія. Реализмъ, сознательность, анализъ, критика и умственный прогресс — это также равносильные понятія, діаметрально-противоположны первымъ".

Стремленіе "истребить естетику" и руководило Писаревымъ, когда онъ писалъ своихъ "Реалистовъ". Безпощадно расправившись съ искусствами пластическими, тоническими и мимическими, онъ соглашается, однако, съѣтъ нѣкоторое исключеніе для поэзіи. Поэты, по его мнѣнію, имѣютъ право на общественное вниманіе, но для этого они должны стремиться къ тому, чтобы, подобно другимъ "мыслящимъ реалистамъ", приносить "обществу и человѣчеству дѣятельную и несомнѣнную пользу". Этого они достигнутъ, если окажутся способны удовлетворить слѣдующимъ условіямъ: "Истинный, полезный поэтъ, — говоритъ Писаревъ, — долженъ знать и понимать все, что интересуетъ самыхъ лучшихъ, самыхъ умныхъ и самыхъ просвѣщенныхъ представителей его вѣка и его народа. Понимая вполнѣ глубокій смыслъ каждой пульсаціи (біенія) общественной жизни, поэтъ, какъ человѣкъ страстный и впечатлительный, непремѣнно долженъ во всѣми силами своего существа любить то, что кажется ему добрымъ, истиннымъ, прекраснымъ, и ненавидѣть святой и великой ненавистью ту огромную массу мелкихъ и дрянныхъ глупостей, которая мѣшаетъ идеямъ истины, добра и красоты облечься въ плоть и кровь и превратиться въ живую дѣятельность. Эта любовь, неразрывно связанныя съ той ненавистью, составляетъ и непремѣнно должна составлять для каждого поэта душу его души, единственный и священный смыслъ его существованія и всей его дѣятельности. Я пишу не чернилами, какъ другіе, — говоритъ Берне, — я пишу кровью моего сердца и сокомъ моихъ нервовъ". Такъ и только такъ долженъ писать каждый писатель. Кто пишетъ иначе, тому слѣдуетъ шить сапоги и печь кулебяки".

Предъявляя такія требования къ истиннымъ поэтамъ, Писаревъ заявляетъ, что въ Россіи "ихъ нѣтъ, никогда не было, никогда не могло быть — и, по всей вѣроятности, долго еще не будетъ". Исторія русской литературы представляется Писареву своего рода аравийской пустыней, такъ какъ въ прошломъ "у насъ были или зародыши поэзовъ, или пародіи на поэта" "Зародыши поэзовъ" считается Лермонтова, Гоголя, Полежаева, Крылова и Грибоѣдова; къ числу же пародій относить Пушкина и Жуковскаго. Зародыши, по словамъ Писарева, заслуживають нашего уваженія уже потому, что не могли развернуться вслѣдствіе вѣнчанихъ причинъ ("силы-то у нихъ были, но не было ни впечатлѣній ни простора"); пародіи же на поэта никакого синхронізма не вызываютъ. "Такъ какъ эти господа, — заявляется критикъ, — уже теперь ничѣмъ не связаны съ совершенными развитіемъ нашей умственной жизни, то мы можемъ надѣяться, что ихъ прославленія имена скоро забудутся, или, по крайней мѣрѣ, превратятся для русскихъ людей въ такие же пустые звуки, въ какихъ ужъ давно превратились имена Ломоносова, Сумарокова, Державина и всякихъ другихъ бардовъ прошлаго столѣтія". Свой легкомысленный и несправедливый приговоръ Писаревъ обѣщается подтвердить особой статьей о Пушкинѣ, даже историческое значеніе котораго онъ отрицааетъ, находя, что создателемъ новой литературы является не Пушкинъ, а Гоголь.

Своё обѣщаніе Писаревъ постарался выполнить. Въ статьѣ "Пушкинъ и Бѣлинский" онъ задался неблагодарной цѣлью раз-

вѣнчать величайшаго русскаго поэта, доказывая попутно неосновательность тѣхъ похвалъ, которыя аосточались по его адресу величайшій русскій критикъ. Главная ошибка Писарева заключалась въ томъ, что онъ примѣнилъ публицистический методъ къ литературному материалу, который требовалъ совершенно иныхъ критическихъ пріемовъ. Выхватывая отдельные произведения, стараясь показать ихъ несостыдствіе съ міросозерцаніемъ мыслящихъ реалистовъ, Писаревъ употреблялъ всѣ усилия, чтобы выставить Пушкина смѣшнымъ и ничтожнымъ кропотелемъ пустыхъ стишковъ. Въ свою полемическую увлеченію Писаревъ могъ серьезно доказывать, что Онѣгінъ — двойникъ Пушкина, а это давало ему основаніе съ торжествомъ утверждать, что умственный и нравственный уровень "москвича въ Гарольдовомъ плаще" и поэта тождественны. Гораздо снисходительнѣе Писаревъ отнесся къ Бѣлинскому, котораго онъ выставляетъ жертвой столъ ненавистнаго ему естетического взгляда на явленія литературы и жизни. "Читатель долженъ помнить, — говоритъ Писаревъ въ оправданіе Бѣлинскаго, — что онъ стоитъ на рубежѣ двухъ противоположныхъ міросозерцаній, и въ его могучей личности совершаются мучительный переходъ къ тому строю понятій, съ которымъ даже до настоящей минуты не успѣли еще освоиться и помириться солидные люди нашей литературы. Во время такого перехода, колебанія, ошибки и внутрення пріорѣтія оказываются неизбѣжными даже и для самыхъ сильныхъ и здоровыхъ умовъ".

Основываясь на изложенномъ совершенно ошибочномъ отзывѣ о Пушкинѣ, было бы все-таки большимъ заблужденіемъ полагать, что Писаревъ совсѣмъ былъ лишенъ критического чутья. Онъ, безусловно, обладалъ имъ, но нерѣдко насилиственно заглушалъ его, побуждаемый тенденціознымъ желаніемъ "быть самыми послѣдовательными русскими писателемъ", т.-е. ни въ чёмъ не отступать отъ основъ своего міросозерцанія. Наличность критического чутья Писаревъ доказалъ отдельными очень мѣткими и здравыми суждѣніями своихъ статей о Гончаровѣ, Тургеневѣ и Писемскомъ ("Базаровъ", "Писемскій, Тургеневъ и Гончаровъ", "Женскіе типы въ романахъ и повѣстяхъ Писемскаго, Тургенева и Гончарова"). Въ особенности удались Писареву характеристики Базарова и нѣкоторыхъ тургеневскихъ героянъ, напримѣръ, Аси, Натальи. Тѣмъ не менѣе, и на этихъ статьяхъ лежитъ отпечатокъ присущей Писареву тенденціозности. Весьма произвольна, напримѣръ, его оѣвка произведеній Гончарова. Обрушившись на автора "Обломова" за его уравновѣшенніе и спокойную объективность, Писаревъ заявляетъ, что въ романахъ Гончарова онъ замѣчаетъ "только тщательное копирование мелкихъ подробностей и микроскопически тонкій анализъ", и не видитъ въ нихъ "ни глубокой мысли, ни искренняго чувства, ни прямодушныхъ отношеній къ дѣятельности". Голословно также утвержденіе Писарева, что изъ современныхъ ему лириковъ заслуживаютъ вниманія только Некрасовъ и Майковъ.

Классическимъ примѣромъ тѣхъ мнѣній, которыхъ подъ вліяніемъ увлеченія высказывала иногда талантливый юноша-критикъ, наряду съ "развѣчаніемъ" Пушкина, является отзывъ Салтыковѣ-Щедринѣ ("Цвѣты невиннаго юмора"). Полная глубокаго общественного смысла произведенія наиболѣе серьезного изъ нашихъ сатириковъ, по мнѣнію Писарева, полезны только въ гигієническомъ отношеніи, такъ какъ, безпредметный и безцѣльный смѣхъ Щедрина", убаюкивая и располагая ко сну, способствуетъ пищеваренію. Статья заканчивается совѣтомъ-пожеланіемъ, чтобы Щедринъ занялся компиляціями по естественнымъ наукамъ.

Какъ ни малоосновательны многія изъ критическихъ оѣвокъ Писарева, все-таки его литературная дѣятельность принесла пользу русскому обществу. Помимо отмѣченного уже свойства его писаний будить мысль, проповѣдую имъ тѣоріи общественной солидарности настойчиво указывала, какъ мы видѣли, на необходимость работы на пользу общую. Культъ естествознанія, этой основы міросозерцанія мыслящихъ реалистовъ, являлся полезнымъ противовѣсомъ тому блужданію въ дебряхъ метафизики, которое заполняло время людей сороковыхъ годовъ, отрывая ихъ отъ жизни, дѣлая ихъ лишними въ буквальномъ смыслѣ этого слова.

В. Евгеньевъ-Максимовъ.

Писаревъ въ тюрьмѣ.

Біографъ Писарева совершенно справедливо замѣчаетъ, что именно во время заключенія его въ крѣпости "развернулись всѣ лучшія стороны писаревской души и таланта. Какъ это ни изумительно, однако, таковъ фактъ, что лучшія статьи написаны имъ здѣсь, что здѣсь ни на минуту не прекращалась работа его мощнаго духа".

Въ виду этого, тюремный, такъ сказать, періодъ жизни Писарева приобрѣтаетъ особое значеніе.

Что же привело Писарева въ тюрьму? Не что иное, какъ "вольнолюбивыя мечты", которые чуть ли не со временія Радищева становятся неизбѣжнымъ атрибутомъ общественного міровоззрѣнія лучшихъ русскихъ писателей. Писательство, поскольку оно является не ремесломъ, а проявленіемъ творческаго дара, — едва ли не высшаго изъ доступныхъ человѣку даровъ, — требуетъ

внутренней свободы, свободы духа. Эта внутренняя свобода не находится, конечно, въ непосредственной зависимости отъ условій окружающей общественности. Но разъ отличительной чертой этой послѣдней становится угнетеніе однихъ другими, т.-е. правящими "верхами" управляемыхъ "низовъ", то въ душѣ писателя, наблюдателя и изобразителя окружающей общественности, въ силу органически присущаго ей свободолюбія, не можетъ не возникнуть рѣзко протестующаго настроенія. Тысячу разъ правъ былъ Полонскій, когда сказалъ:

Писатель, если только онъ
Есть нервъ великаго народа,
Не можетъ быть не пораженъ,
Когда поражена свобода.

Въ этомъ и заключается общественно-психологическое объясненіе „вольномыслия“ большинства представителей нашей литературы.

„Вольномыслие“ Писарева, усвоившаго себѣ съ первыхъ шаговъ своей литературной дѣятельности рѣзко радикальный образъ мыслей въ области и философскихъ, и политическихъ, и соціальныхъ вопросовъ, нигдѣ не сказалось съ такою ясностью, какъ въ его статьѣ противъ казенного писателя Шедо-Ферроти, полемизировавшаго, по заказу русскаго правительства, съ Герценомъ. За эту статью, автографъ которой былъ найденъ въ бумагахъ уличеннаго въ печатаніи противоправительственныхъ листковъ и воззваний студента Баллода, Писаревъ былъ арестованъ, привлечень къ суду и приговоренъ сенатомъ къ тюремному заключенію на срокъ въ 2 года и 8 мѣсяцевъ. Если сюда присоединить два съ лишишимъ года, проведенные имъ въ предварительномъ заключеніи, то нельзя не подивиться ни съ чѣмъ несообразной суровости постигшей его кары. Вѣдь „крамольная“ статья не была еще и напечатана, такъ что „преступленіе“ только подготовлялось, но еще не было совершено. И этого оказалось достаточно, чтобы талантливый молодой писатель на пять лѣтъ быть ввергнутъ въ мрачное узилище—легендарный Алексѣевскій равелинъ Петропавловской крѣпости! О томъ, какъ жилось заключеннымъ въ равелинѣ въ періодъ съ 1862 г. по 1865 г., подробно разсказываетъ помощникъ смотрителя этого учрежденія г. Борисовъ (см. его статью въ „Русской Старинѣ“ 1901 г., № 12):

„Въ каждой двери каземата, выходившей во внутренний коридоръ, было небольшое, въ одно звено, окошко, прикрытое со стороны коридора зеленою шерстяною занавѣскою. Приподнявъ ея уголь, часовой могъ бдительно наблюдать за арестованнымъ. Двое часовыхъ съ обнаженными саблями ходили по вѣтвямъ коридорамъ: толстый, мягкий половикъ совершенно скрадывалъ ихъ шаги. Казематы отапливались небольшими голландками изъ коридора, тепловыя же отдушины были въ казематахъ. Обстановка послѣднихъ состояла: изъ деревянной зеленої кровати съ двумя туфляками изъ оленьей шерсти и двумя первовыми подушками, съ двумя простынями и байковымъ одѣяломъ, изъ деревянного столика съ выдвижнымъ ящикомъ и стула. Одѣвали заключен-

ныхъ во все казенное: холщевое бѣлье, носки, туфли и байковый халатъ; послѣдній безъ обычныхъ шнуровъ, замѣненныхъ короткими байковыми же завязками. Вообще всѣ крючки и пуговицы въ бѣлье и одеждахъ были изъяты; вмѣсто нихъ везде были матерчатыя завязки. На голову надѣвалась мягкая русская фуражка; у кого головной уборъ былъ свой, могли носить его, если только это не былъ цилиндръ. Собственное платье и бѣлье выдавалось только для выходовъ на свиданіе со родственниками и на допросы. Вся обѣденная и чайная посуда была изъ литого олова; ножей и вилокъ не полагалось, все подавалось уже нарезаннымъ и лишеннымъ костей. Обѣдъ и чай подавались солдатами равелинной команды подъ наблюденіемъ караульного начальника изъ унтер-офицеровъ. Эти же солдаты по утрамъ убирали казематы“...

Режимъ не столько жестокій въ своихъ внѣшнихъ проявленіяхъ, сколько нудный своею строгою пунктуальностью и мертвящей казенницой. Но долговременное заточеніе въ равелинѣ оказалось не въ состояніи сломить нравственаго мужества двадцативѣкальнаго писателя.

Вотъ любопытѣйший отрывокъ изъ неизданнаго, недавно попавшаго ко мнѣ въ руки письма матери Писарева къ одному изъ ее знакомыхъ: „Сынъ мой былъ взятъ и посаженъ въ крѣпость 2-го июля 1862 г.; до апрѣля мѣсяца 1863 года ему не позволялось ни съ кѣмъ видѣться, въ апрѣль же сенаторы ему сказали, что онъ можетъ видѣться съ матерью; я находилась въ это время въ деревнѣ, гдѣ имѣла нѣсколькоихъ дѣвочекъ, которыхъ учила вмѣстѣ со старшою дочерью, которая мнѣ помогала. Получивъ извѣстіе отъ сына, что разрѣшено свиданіе, я на послѣднія деньги отправилась въ Петербургъ, и тутъ-то мнѣ Господь помогъ выхлопотать у свѣтѣйшаго графа Суворова разрѣшеніе сыну моему писать въ крѣпости и отдавать статьи въ журналъ. Тутъ только, когда началъ зарабатывать мой сынъ, онъ позволилъ себѣ сдѣлать нѣкоторыя улучшенія въ свою бытъ. До мая 1863 г., т.-е. 11 мѣсяцевъ, сынъ мой былъ на крѣпостномъ содержаніи, онъ ни отъ кого не хотѣлъ помощи, кроме своей работы; ему предлагали тогда черезъ меня адресоваться въ комитетъ (повидимому, комитетъ Литературнаго Фонда), но онъ этого

Письмо Д. И. Писарева къ Некрасову.

Содержаніе воспроизведенаго здѣсь автографа письма Писарева къ Некрасову нуждается въ нѣкоторыхъ комментаріяхъ.

По выходѣ изъ тюрмы Писаревъ не долго оставался безъ работы, несмотря на то, что „Русское Слово“—журналъ, въ которомъ онъ постоянно сотрудничалъ—было закрыто еще до его освобожденія; онъ примкнулъ къ новому радикальному органу, основанному тѣмъ же Благосѣтловымъ—„Дѣлу“. Условія дѣятель-

ности здѣсь однако не удовлетворяли его, и онъ рѣшился искать себѣ другого приѣзжаго. Этимъ приѣзжимъ оказался лучшій журналъ того времени—„Отечественный Записки“, подававший съ 1863 г. знамя незадолго передъ тѣмъ запрещеннаго правительствомъ радикального и соціалистического „Современника“. Въ „Отечественный Записки“ Писарева прігласилъ Некрасовъ, завѣзшій съ нимъ сношенія еще въ срединѣ 1867 г. Эти сношенія выразились первоначально въ приглашеніи дать статью для затѣявшагося Некрасовскимъ литературнаго сборника. Одна изъ статей должна была быть посвящена только-что появившемуся въ сѣть роману Тургенева „Дымъ“. Когда Некрасовъ ознакомился съ содержаніемъ „Дыма“ и увидѣлъ, что въ критической статьѣ о немъ придется, по всей вѣроятности, не ограничиться художественнымъ анализомъ, но коснуться и политическихъ вопросовъ, затрагиваемыхъ содержаніемъ романа, то на него нашли нѣкоторыя сомнѣнія, которымъ онъ и высказалъ съ полной откровенностью въ письмѣ къ Писареву отъ 6-го июля 1867 г. изъ Карабихи. „Тронутые въ ней (въ повѣсти Тургенева) вопросы, — писалъ Некрасовъ, — такъ важны для русскаго человѣка и тронуты они такъ рѣшительно, что обязаны быть напечатаны въ книгѣ, гдѣ будетъ много моихъ статей и о которой все-таки непрѣбѣжно придется въ публикѣ слухъ, что я былъ ея составителемъ,—представляется для меня дѣйломъ рискованнымъ. Итакъ, если будете писать статью объ этой повѣсти, то не имѣйте въ виду помѣщеніе ея въ сборникѣ“.

Отвѣтъ на это письмо Некрасова и является приводимое здѣсь въ автографѣ письмо Писарева, которое любезно передалъ В. Евгеньеву-Максимову для использванія Анатолій Федоровичъ Кони.

Михаилъ Государъ

Николай Некрасовъ!

Я получилъ недавно Ваше письмо о „Дѣле“ и до сихъ поръ еще не приминая за эту работу, и теперь, конечно, не привыкъ за нее до книга свидѣнія съ Вами. Тогда мы переговорили о какихъ обстоятельствахъ, чудесахъ, радостяхъ ли какъ либо чудесахъ, и замѣтилъ я постулатъ сопряженія съ результатомъ нашихъ съюзниковъ. И пока я буду заниматься съ Гоголемъ о Лео и о Дидро. Вашему предложению я далъ язвительный откликъ въ адресъ Писарева въ формѣ завѣдшей раньше, что онъ будитъ у меня сонъ р. 15-го года. И если я не ошибаюсь, упомянутый сонъ обѣтъ моего рабочего состоянія, для насъ это не будетъ единичнымъ никакой разницы. Въ предложеніи я упомянулъ съюзниковъ съ Вами въ первомъ письме отъ 15-го года.

Согласно тѣмъ условиямъ Вашему

Д. Писаревъ,

1867
20. July

Автографъ письма Д. И. Писарева къ Н. А. Некрасову.

не пожелалъ. Такъ какъ заработка ему было еще мало для содержания цѣлаго семейства, то я снова отправилась въ деревню, и онъ остался изнывать одинъ; но бодро переносилъ онъ свое заключеніе, оживленный мыслью о работе. Въ юлѣ 1864 г., когда онъ уже довольно заработалъ, онъ просилъ меня снова пріѣхать, что я и сдѣлала немедленно, старшая же моя dochь, чтобы не обременять брата, осталась въ губернанткахъ и только тогда присоединилась къ намъ, когда ее удостовѣрили, что она можетъ имѣть самостоятельную работу и тѣмъ содержать себя, что и было дѣйствительно. Дѣло моего сына рѣшилось только въ ноябрѣ 1864 г., значить, онъ до рѣшенія дѣла просидѣлъ въ крѣпости два года и четыре мѣсяца. Рѣшено было тѣмъ, что онъ долженъ просидѣть еще въ крѣпости до юля 1867 г., а выпущенъ онъ былъ (по случаю милостиваго манифеста на бракосочетаніе Его Высочества Наслѣдника) 18-го ноября 1866 г.; семи мѣсяцамъ было ему прощено. Во все время заключенія до известной исторіи Каракозова, когда сыну моему снова было запрещено писать, онъ содержалъ себя и семейство своими заработанными деньгами...

Нѣть надобности распространяться, въ какомъ высокомъ нравственномъ ореолѣ рисуетъ этотъ отрывокъ Писарева. „Проповѣдникъ чувственности и эгоизма“, „свирѣпый нигилистъ, не признающій-де никакихъ моральныхъ устоевъ“—и вдругъ не только не хочетъ пользоваться чѣй бы то ни было материальной поддержкой въ наиболѣе трудный моментъ своей жизни, но, находясь въ тюрьмѣ, т.-е. въ самомъ беспомощномъ состояніи, которое возможно только вообразить, помогаетъ своимъ близкимъ...

Познакомившись съ нравственнымъ обликомъ Писарева, мы не заподозримъ въ преувеличеніяхъ Некрасова, отозвавшагося на смерть Писарева сѣдѣющимъ трогательнымъ стихотвореніемъ, посланнымъ имъ близкой Писареву М. А. Марковичъ (Марковчокъ):

Не рѣдай такъ безумно надъ нимъ,
Хорошо умереть молодымъ!
Безпощадная пошлость ни тѣни
Шоложить не успѣла на немъ,
Становись передъ нимъ на колѣни,
Украшай его кудри вѣнкомъ!
Передъ нимъ и преклониться не стыди;

Вспомни, сколькие пали въ борьбѣ,
Сколько разъ уже было тебѣ
За великое имя обидно!
А теперь его слава прочна:
Подъ холодною крышкою гроба
На псе не наложатъ пятна
Ни ошибка, ни спла, ни злоба...
Не хочу я сказать, что твой братъ
Не былъ гордою волей богать,
Но, ты знаешь, кто ближнаго любить
Больше собственной славы своей,
Тотъ и славу сознательно губить,
Если жертва спасаетъ людей.
Но у жизни есть мрачныя силы—
У кого не слабѣли шаги
Передъ дверью тюрьмы и могилы?
Долговѣчность и слава—прага
Русскій гений издавна вѣнчаетъ
Тѣль, которые мало живутъ,
О которыхъ народъ замѣчаетъ:
„У счастливаго недруги мрутъ,
У несчастнаго другъ умираетъ...“

Подъ стихотвореніемъ Некрасовъ сдѣлалъ знаменательную приписку, свидѣтельствующую о степени его любви и уваженія къ личности Писарева: „Писаревъ перенесъ тюрьму, не дрогнувъ (нравственно), и, вѣроятно, такъ же бы вступилъ въ эту могилу, которая здѣсь разумѣется, но вѣдь это исключеніе—покуда жизнь представляла болѣе фактъ противоположнаго свойства, и потому-то мысль приняла такое направление“.

Писаревъ, безспорно, заслуживаетъ такого къ себѣ отношенія, а потому въ дни пятидесятилѣтія его смерти русское общество должно почтить его память, какъ память не только выдающегося представителя современной литературы, но и какъ память чистаго и благороднаго человѣка.

В. Евгеньевъ-Максимовъ.



Сонный прудъ.

Весенняя выставка въ Академіи Художествъ 1918 г.

А. Кайгородовъ.

Итальянское Каприччо.

Рассказ Н. Черешнева *).

I.

Плетневъ смотрѣлъ въ настѣжь раскрытое окно и не видѣлъ ни танувшейся къ окну цвѣтущей буйно-разросшейся спреи ни угасавшаго за озеромъ солнца, что бронзовово-краснымъ румянцемъ теплилось еще на бѣломъ подоконникѣ, послѣдней лаской прильнуло къ пышнымъ лиловымъ шапкамъ сирени.

Въ душѣ было то изнѣженно-лѣнивое, полумечтательное оѣбенѣніе, когда такъ не хочется ни о чѣмъ думать ни двигаться, и безъ конца хочется сидѣть вотъ такъ, заложивъ ногу на ногу, локоть руки положить на ручку покойного кресла, подпереть щеку ладонью, смотрѣть въ окно и ничего не видѣть.

Господь его знаетъ, —тихій ли румянный вечеръ навѣвалъ это оѣбенѣніе, или было это то оѣбенѣніе, въ которомъ лѣниво дремлетъ передъ грозой раскаленная зноемъ необъятная степь, когда — минута-двѣ, и стелются уже земнымъ поклономъ серебряные ковыли.

Была въ этомъ оѣбенѣніи какая-то безотчетная, не дошедшая еще до сознанія, растерянность и такое же безотчетное желаніе, чтобы дольше продолжалось это оѣбенѣніе, и въ этомъ желаніи какъ будто слышался уже неотвратимый отвѣтъ, какъ слышатся вдали глухие и неясные еще въ своей тревогѣ раскаты приближающа-гося грома.

Порой доносилось изъ сада теплое грудное контрапурто, напѣвшее одну и ту же фразу изъ Итальянского Каприччо Чайковскаго, — и всякий разъ сегодня звуки этого голоса были для Плетнева призывно-волющими, какъ ранее венчее утро, алой кровью брызнувшее на клѣйкую зелень тополей, на старыя ступени террасы.

Плетневу было уже за сорокъ, были уже сѣ-ды виски, были серебряныя пряди въ порѣдѣвшихъ черныхъ волосахъ, расчесанныхъ прямымъ проборомъ, и серебряный иней надвигавшейся старости какъ-то странно-привлекательно гармонировалъ съ моложаво-бритымъ лицомъ, съ юношески-темными и блестящими еще глазами.

Недѣли двѣ, какъ онъ пріѣхалъ въ имѣніе къ брату, отказалвшись на лѣто отъ всякихъ концертовъ. Хотѣлось отдохнуть отъ вѣчныхъ перебѣдовъ изъ города въ городъ, отъ пыльныхъ вагоновъ и станционныхъ буфетовъ, провести лѣто въ старомъ родномъ гнѣздѣ, половить карасей въ старомъ тинистомъ пруду.

Въ этой комнатѣ онъ родился, провелъ беззаботное дѣтство, жилъ здѣсь, когда пріѣзжалъ на лѣто изъ гимназіи, а потомъ и изъ консерваторіи. Здѣсь отдохналъ потому и отъ шумныхъ утомительныхъ концертовъ, когда уже стала извѣстностью, и эта комната всегда манила его къ себѣ тихимъ неувѣдающимъ уютомъ далекаго дѣтства.

И теперь Плетневъ снова въ своей комнатѣ, передъ знакомыми кустами спреи, и необычайной и желанной новью кажется ему здѣсь, въ тихомъ уютѣ его старого гнѣзда, и это изнѣженно-лѣнивое полумечтательное оѣбенѣніе, съ которымъ такъ не хочется разставаться, и эта смутная, сладко волнующая растерянность.

Чуть слышно скрипнула старая бѣлая дверь, бредетъ въ комнату древняя Петровна, нянка всѣхъ Плетневыхъ, ветхая старуха съ набожно-строгимъ изжелта-восковымъ лицомъ, съ той неуловимой добротой на немъ, какая бываетъ написана на лицахъ лишь у старыхъ, мирно доживающихъ свой вѣкъ, нянекъ.

Плетневъ уже знаетъ, зачѣмъ пришла нянка: заправить и застѣчь на ночь лампадку, какъ зажигается она ее теперь каждый вечеръ, — такъ любить Плетневъ, любить призрачно-блѣдный свѣтъ зеленаго стекла, напоминающій о далекомъ, невозвратномъ дѣтствѣ.

— Иди-ка, батюшка, чай кушать, — говорить Петровна, старческими жилистыми руками осторожно перепуская черный шнурокъ лампадки, и ея голосъ, кажется Плетневу, звучитъ такимъ же роднымъ, какимъ звучала ему и тамъ, въ безмятежно-миломъ дѣтствѣ.

Но не хочется ни подниматься ни ити на террасу, где сейчасъ собирались за вечернимъ самоваромъ и родные и сѣѣзжа-

вшіеся уже лѣтніе гости старого дома, не хочется ни говорить ни отвѣтывать на возможные вопросы, никого видѣть, и онъ просить:



Портрет художника Ив. Колесникова.

В. Звѣревъ.

Весенняя выставка въ Академіи Художествъ 1918 г.

— Нянка, ты принеси мнѣ чай сюда, — и, стыдясь передъ ней своего бездѣля, береть со стола первую попавшуюся на глаза книгу, — томикъ Чехова, — перелистываетъ нѣсколько страницъ „Чайки“ и дѣлаетъ видъ, что погружается въ чтеніе.

— Сейчасъ, батюшка... — береть старуха стаканчикъ лампадки и мелкими шаркающими шагами уходить изъ комнаты, и Чеховъ забыть, а за окномъ, на террасѣ, — это Лола явилась къ чаю, — снова беззаботно звенѣть знакомая мелодія Итальянского Каприччо.

Невольно блеснули-улыбнулись глаза милому голосу, какъ будто вспомнили Плетневъ какую-то давно позабытую прелестную сказку своей юности, еще мигъ — и на лицѣ свѣтится уже какая-то ласка, робкая и застѣчивая, какъ пробивающейся сквозь сѣрыя облака несмѣлый лучъ осеннаго солнца.

II.

Часа два назадъ, когда на террасѣ всѣ нѣжились въ послѣ-обѣденной лѣни, а Плетневъ курилъ въ гамакѣ сигару, къ нему подошла Лола, подруга младшей сестренки, и съ обычной на ея лицѣ, какъ будто чему-то изумленной сияющей улыбкой поопросила:

— Леонидъ Петровичъ, сыграйте, пожалуйста, Итальянское Каприччо Чайковскаго.

— Хорошо, Лола, только вечеромъ, когда спрячется солнце, когда придутъ въ садъ ночные тѣни и заволокутъ просвѣты

^{*)} Въ №№ 18 и 19 „Нивы“ с. г. помѣщены портретъ и биографія автора и посмертный его рассказъ „Папъ“. Помѣщаемъ здѣсь второй рассказъ покойного писателя, отдѣлавшаго свою молодую жизнь за родину въ бою на французскомъ фронѣ.

между деревьями...—говорилъ Плетневъ какъ будто молча соглашающейся съ нимъ синеглазой Лолѣ.—Будутъ весенняя сумерки...

— А я хочу сейчас...—смѣются синие лучистые глаза.

— А если я не стану играть?—улыбается Плетневъ.

— Тогда я на вѣс разсержусь, или нѣтъ, постойте...—задумалась Лола, улыбнулась застѣнчиво-теплой улыбкой.—Я васъ поцѣлую, вы и согласитесь...

— Развѣ что такъ!—соглашается Плетневъ.—Только поймите же, что играть сейчас Капричю вовсе не годится.

— Значитъ, вы хотите, чтобы я васъ поцѣловала?—опустила Лола длинныя черныя рѣсицы.

— Похожа уста...—шутитъ Плетневъ, а дѣвичи загорѣлия руки уже обняли его шею, красныя, какъ епѣлая смородина, губы тянутся къ его щекѣ,—съ террасы кто-то заглядываетъ въ тѣнь тополей, и на террасѣ слышится веселый хохотъ, а Лола и Плетневъ взглянули другъ на друга и смутились, и сами не знаютъ, почему смутились.

— Ну, что же я съ нимъ подѣлаю, если онъ не хочетъ играть?—покраснѣла и смѣется, оправдывается передъ кѣмъ-то Лола.—И почему это я не могу его поцѣловать? Я его очень люблю и съ удовольствиемъ поцѣлую еще,—съ дѣтскимъ задоромъ говоритъ она.

— Продолжайте, синьора, продолжайтѣ,—кричитъ съ террасы племянникъ Плетнева, толстый и румяный кадетъ Волька.

— Да, и поцѣлую,—и снова обхватила руками шею, еще два раза звонко попѣловала Плетнева въ щеку, попѣловала какъ-то дѣтски-беззаботно и холодно, и при новомъ взрывѣ хохота уѣжала черезъ террасу въ гостиную.

— Ну, что жь, надо теперь ити играть,—поднимается на террасу, смущенно разводить руками Плетневъ.

— Играйте, Леонидъ Петровичъ, играйте,—встрѣчаетъ Плетнева, покровительственно похлопывая его по плечу румяный Волька.

Опять скрипнула дверь. Плетневъ перелистываетъ страницу Чехова и, не обрашиваясь, говоритъ:

— Поставь, няня, сюда...

— Вы на меня разсердились, Леонидъ Петровичъ, что я заставила васъ играть послѣ обѣда?—подходитъ къ нему застѣнчивая Лола, остановилась передъ нимъ, какъ-то дѣтски-виновато и умоляюще смотритъ ему въ глаза синими лучистыми звѣздами.

— Лола, кто это вамъ сказалъ?—спрашиваетъ Плетневъ и самъ радостно смотритъ ей въ глаза, какъ будто давно уже ждалъ Лолу, и вотъ она пришла, розовощая красавица съ золотымъ хмельнымъ волосомъ, со спѣлой смородиной дѣвичихъ губъ.

— Мнѣ? Викторъ Петровичъ...—смотретьъ Лола какъ-то недоумѣвающе на Плетнева, какъ будто спрашивая, кто же еще другой могъ это сказать.

— Ахъ, браты?

Ну, да. Онъ говоритъ, что вы потому и чай пить не идете, что не въ духѣ, и что въ этомъ виновата я, заставила васъ играть противъ воли. Да, да,—увѣряетъ Лола.—Только вы тогда и вида не подали, что разсердились.

— Какая вы наивная. Онъ поспѣшилъ, Лола. Да вѣдь вы и сами, должно-быть, чувствуете, что я не сержусь.

— Серьзно?—сіяетъ Лола.—Ей-Богу, вы такой милый, что мнѣ хочется обращаться съ вами, какъ съ братомъ. Я своего брата очень люблю,—сказала и почему-то смутилась, опять опустила черныя рѣсицы.—Ну, хорошо, пойдемте чай пить.

— Пойдемте чай пить,—улыбается Плетневъ, поднимается съ кресла.—Съ вами я на край свѣта...—дружески обнимаетъ Лолу за талию, и они идутъ на террасу.

III.

Вечеромъ, когда давно уже закатилось солнце и на блѣдно-зеленомъ весеннемъ небѣ пламенно-алой широкой лентой горѣла еще вечерняя заря, Лола и Плетневъшли подъ руку къ озеру, темными силуэтами четко вырисовываясь на аломъ фонѣ зари.

Шли и молчали, и на лицахъ ихъ, казалось, лежало то же вечернее благословенное молчаніе, что было розлито и во всей природѣ,—въ алому пожарѣ зари, въ вечерне-полномъ ароматѣ сирени, въ крѣпкомъ запахѣ тополей, даже въ робкомъ посвистѣ начинавшихъ свою вечернюю перекличку соловьевъ.

Шли безъ думъ, безъ заботъ, не зная, куда и зачѣмъ шли. Шли, потому что хорошо было итти. Шли, потому что какая-то странно-ласковая, иеясная близость, рождавшаяся между ними въ эту вечерній часъ, какъ будто влекла ихъ куда-то все дальше и дальше.

Безмѣтожно-чистымъ, испередаваемымъ спокойствіемъ вѣяла на Плетнева близость этой

семнадцатилѣтней дѣвушки, и онъ какъ будто нѣжился къ этому спокойствію, какъ будто боялся нарушить словами всю молчливую прелесть теплого майскаго вечера.

Шли и молчали, и молчаніе, странно, казалось неудобнымъ. Почему? Лола сбоку взглянула на Плетнева, улыбнулась, спросила:

— Леонидъ Петровичъ, почему вы не хотѣли играть Итальянское Капричю послѣ обѣда?

— Днемъ?—радъ Плетневъ нарушеному молчанію.—Мнѣ кажется, Лола, что Итальянское Капричю, это—венецианская ночь. Вотъ ея знайная синяя темнота, огни, полуосвѣщенныя гондолы. Гдѣ-то слышатся пѣсни мандолинъ. И кажется, что въ этой ночи ключомъ быть какая-то цѣльная, кипучая жизнь, гдѣ любить, поять, томиться и изнемогаютъ въ любви, и эта пѣвучая темнота, кажется, такъ и дышитъ страстными глубокими вздохами, маинть въ свой знойный водоворотъ. И когда играешь это Капричю вечеромъ, когда въ окна смотрятъ ночная темнота, воображѣніо работаетъ какъ-то интенсивнѣе, какъ-то легче переносишься къ этой ночи и самъ, забывъ все на свѣтѣ, томишись жаждой вотъ такой же полной, яркой жизни, весь отдавшись обаянію этого смуглого юга. Понимаете?—спрашивала онъ молча слушавшую Лолу.—Днемъ же какъ-то разсѣиваешься и чувствуешь, что получается уже не то... Я очень люблю это Капричю.

Минута молчанія, и Лола дѣтеки-просто говоритъ:

— Я тоже его люблю, только раньше я его не понимала. Вы не сердитесь, что заставила васъ играть днемъ.

— Господь съ вами,—такъ же просто говоритъ Плетневъ.

Они идутъ по широкой проѣзжей дорогѣ по берегу озера. И озеро недвижно, замерло въ вечернемъ молчаніи. Пламенно-алая зара отражается въ спокойной поверхности воды, и озеро кажется темно-румянѣмъ. Какъ толпа темныхъ сказочныхъ великановъ, склонились надъ озеромъ старыя, темныя въ сумеркахъ, ивы.

Идуть и молчать, и Плетневъ невольно-ласково думаетъ:

“Милая дѣвушка, какъ хорошо ити съ тобой рядомъ, и какимъ чудеснымъ спокойствіемъ вѣсть твоя близость. Такимъ же спокойствіемъ вѣнуть, должно-быть, на вѣроятнаго человѣка бѣлыхъ монастырскія стѣны. Такимъ же спокойствіемъ дышить и ранняя весна, когда бодрымъ апрѣльскимъ утромъ выйдешь въ прозрачно-зеленый садъ...”

— А вы любите русскую весну?—прерываетъ, какъ будто читаетъ Лола мысли Плетнева.

— А развѣ можно ее не любить?—спрашиваетъ онъ и, не



Коробейникъ.

Весенняя выставка въ Академіи Художествъ 1918 г.

II. Субботинъ.

Библиотека "Руниверс"

получая отвѣта, снова молчит, думаетъ про себя: „И ты такая же милая ранняя весна. Въ тебѣ, какъ въ сказочной Снѣгуркѣ, не проснулось еще Ярилино тепло, тебя не томятъ еще неясныя, неспокойныя желанья, и вся ты дышишь этимъ славнымъ бодрымъ утренникомъ“.

— Пойдемте домой, становится прохладно,— предлагаетъ Лола.— Теперь можно играть Капричю?

Тянется съ озера просыпающейся влажной свѣжестью. Вспыхиваютъ въ блѣдо-зеленомъ ясномъ небѣ робкия звезды. Тихій сумракъ майской ночи глубоко дышитъ томными вздохами сирени, крѣпкимъ и густымъ запахомъ вечернихъ тополей.

Въ гостиной старого барскаго дома темно, огней еще не зажигали, и въ окна смотрять темнѣющія весенния сумерки. Плетневъ открывается рояль, а Лола садится на подоконникъ, прислонилась къ косяку, вечерне-притихшая и молчаливая. Въ сумеркахъ они едва различаютъ другъ друга.

IV.

Вотъ она, знайная изсиня-темная ночь съ блестяще-черной, какъ чернила, водой каналовъ, съ огнями домовъ, съ пѣснями мандолинъ и тѣмъ разжигающимъ кровь сладковолнующимъ трепетомъ ночного юга, что будить изнѣженно-тайныя грезы о любовной нѣмѣ.

И снова Плетневъ слышитъ въ крови жгучий и властный голосъ юга, видитъ проплыvашія куда-то гондолы, снова сознаетъ въ себѣ эту неудержимую жажду жизни, что бродить еще въ немъ своимъ бунтующимъ хмелемъ, жажду любить и умирать въ любви, и снова воскресать и трепетать ея горячимъ, ликующимъ трепетомъ.

Плетневъ, дѣйствительно, любилъ Итальянское Капричю и игралъ его съ какимъ-то сдержанно-богатымъ и тонкимъ темпераментомъ,— самъ порывъ, онъ какъ будто сдерживалъ въ себѣ эту порывъ и, играя此刻 для присмирѣвшей на подоконникѣ Лолы, стремился къ ней какой-то новой, странно-чистой и несознаваемой еще мыслью.

Кончиль играть, далъ стихнути послѣднимъ аккордамъ и поднялся, идетъ къ Лолѣ.

— Какъ вы хорошо играете,—простодушно-искренно говорить она.—Благодарю вѣст.

— Вотъ теперь вы меня можете поцѣловать,—шутитъ Плетневъ.

— Могу,—звонко смеется Лола и цѣлуется его, а онъ невольно вздрагиваетъ въ неожиданномъ поцѣлуѣ, и кажется ему, что чѣмъ-то и чистымъ и нѣжнымъ касается его этотъ бѣглый поцѣлуй, и отъ сознанія этой чистоты на душѣ у него дѣлается легко и сѣтло.

— Какой вы еще ребенокъ, Лола,—искренно говоритъ онъ, положивъ руки ей на плечи.

— А что?—настороживается Лола, осторожно береть Плетнева за пуговицу пиджака.—Развѣ я сѣдала что-нибудь дурное?

— Нѣть, вовсе нѣть,—серъезно говоритъ Плетневъ.—Вы ничего дурного не сѣдали, а все-таки вы ребенокъ, большой, чистый ребенокъ, и мнѣ какъ-то легко быть съ вами. Пойдемте бродить по саду,—предлагаетъ ей руку, и они спускаются по старымъ скрипучимъ ступенямъ террасы въ садъ.

Догорѣла заря. Сильный стужаются тѣни, прѣдуть свое вечернее покрывало, заволокли просвѣты между деревьями, затянули сумракомъ старыя разросшіяся аллеи,—а надъ садомъ свѣтло. Безоблачно блѣдо-зеленое небо, и рѣдкія звезды свѣтятъ въ немъ робко и ясно, какъ кроткія глаза молодой монахини.

Тихо бредутъ по саду и липы изрѣдка перекидываются незнанчими фразами. Тихій вечеръ заворожилъ ихъ своимъ свѣтлымъ очарованіемъ, когда такъ не хочется ни говорить ни думать, и думы приходить сами-собой, лѣнивыя и невозмутимыя въ своей лѣни.

— О чѣмъ вы думаете?—спрашиваетъ Лола Плетнева.

— О чѣмъ?—какъ всегда, переспрашиваетъ Плетневъ, подумавъ немного.—Я думаю о томъ, что мнѣ хорошо съ вами. Все въ васъ дышитъ чистотой и ясностью, и вы какъ будто заражаете этимъ и менѣ,—говорить онъ теплымъ искреннимъ баскомъ.—И я чувствую, что какъ-то благодаренъ вамъ и за это ваше спокойствіе и за эти даже ваши поцѣлуй, вѣдь и они полны того же спокойствія. Впрочемъ, не будемъ лучше обѣ этомъ говорить.

— Почему?—поднимаетъ глаза, смотрить Лола на Плетнева.

— Почему? Потому что это чувство интимное, а всякая интимность только тѣмъ и прекрасна, что она проходитъ въ нашей



На выставку. (40-е годы).

Весенняя выставка въ Академіи Художествъ 1918 г.

E. Малешевская.

жизни тихо, неслышно, пожалуй, даже робко, какъ тихая застѣничная красавица. Она не любить ни свѣта, ни словъ, ни признаній.

— Я понимаю вѣст,—говорить Лола, и они снова, какъ братъ съ сестрой, молча бредутъ по саду, иѣжатся въ свѣтломъ очарованіи теплого вечера. Громче свищутъ въ темномъ саду соловьевъ, не смолкая и звена, льется ихъ весенняя пѣсня.

V.

Раннимъ утромъ Плетневъ проснулся съ какой-то беззаботно-юной легкостью, съ неясно-свѣтлой радостью въ душѣ. Распахнулъ окно въ садъ,—стелется по свѣтлому озеру легкій туманъ,—и снова легъ въ кровать, долго иѣжился въ тишинѣ старой усадьбы.

Взошло уже солнце, и на всемъ лежать его румяно-золотые тона, они ласкаютъ взглѣдъ и наполняютъ душу ощущеніемъ, похожимъ на расцвѣтшее счастье. Призамолкъ старый садъ, какъ будто замеръ, старикъ, въ своей утренней молитвѣ, стоять и не шелохнется.

Смотрѣть въ комнату свѣркающе-розовосъ утро, голубѣть беззабочно-раскрывшееся небо, довѣрчиво дышать лиловая грозди серени, тянуть въ окно бодрящимъ холодкомъ,—все, какъ вчера, и все въ какомъ-то новомъ сіяніи, какъ будто Господь улыбнулся сегодня весеннему утру, благословилъ его, и утро занграло Господней улыбкой.

Тихій трепетъ неуловимой, неожиданной радости волнуетъ Плетнева, и ему кажется, что никогда еще въ его жизни не было такого божественного утра, и никогда еще не чувствовалъ онъ себя такимъ легкимъ и беззаботно-жизнерадостнымъ.

Вспоминается вчера-вечеръ, эта неясно-прекрасная вечерняя интимность, поцѣлуи Лолы, при мысли о которыхъ Плетневъ какъ будто чувствуетъ на своей щекѣ легкій щекотуній холодокъ, это бѣглое прикосновеніе алыхъ дѣвичьихъ губъ.

„Милая Снѣгурка,—съ какой-то цѣломудрено-благоговѣйной чистотой думаетъ онъ.—Ты прекрасна и безгрѣшна, какъ это

майское утро. Въ тебѣ его свѣжесть и чистота, въ тебѣ его благодатная тишина. И въ глазахъ твоихъ его чистое и безоблачное, какъ твоя душа, небо. Господь съ тобой...“

Нѣть, помнить Плетневъ и еще одно такое же утро, но оно было такъ давно, что въ сутолокѣ жизни, въ вѣчныхъ переѣздахъ изъ города въ городъстерлось изъ памяти, потускѣло и теперь, такъ странно, улыбнулось вдругъ изъ дали прошлаго.

Сынъ былъ гимназистомъ, и первая любовь посѣтила его въ этой же комнатѣ. Было такое же благословенное утро, когда онъ однажды проснулся, счастливый и влюбленный, такъ же распахнуло окно въ старый садъ, не одѣваясь, бросился на подоконникъ и долго лежалъ на немъ, кудластый, загорѣлый юноша, искалъ счастье въ лепесткахъ сирени.

Да, да, это было, было уже такое утро въ жизни Плетнева. Было утро первой юношеской любви. Теперь онъ припоминаетъ его, какъ живое, встаетъ оно въ его памяти, цвѣтъ своимъ воспоминаніемъ, дышитъ благоухающимъ очарованіемъ первой любви.

Тогда впервые посѣтила Плетнева любовь. Это она привлекла для него весеннее утро, заставила раскрыться небеса. Что же случилось теперь, что такъ же лучезаренъ садъ, такъ же довѣрчиво дышать сирени, и такъ же тепло и ясно смотрѣть въ комнату утро, искрится и переливается румяно-золотыми тонами?

Просьба сыграть Итальянское Каприччо и поѣзду Лолы, когда онъ отказывался его играть,—и только. Вечеръ въ саду, навѣянное вечеромъ молчаніе и снова Каприччо въ темной гостиной старого дома, и новый неожиданный поѣзду, и эта неясная дружеская интимность, когда какъ-то безсознательно влечетъ къ человѣку...

„Тогда была любовь, а теперь... — и опять легкимъ раздражениемъ чувствуется эта странная, несознаваемая еще растерянность.—Неужели и теперь Господь постыдилъ меня любовью?—спрашиваетъ самъ себя и не можетъ и не смѣеть повѣрить свѣтлой возможности, гонить отъ себя эти мысли, не想要 даже думать обѣ этомъ.

Хочется лежать и думать о дѣвушкѣ съ алыми губами, радостно думать о томъ, что эта дѣвушка заглянула ему въ душу синими лучистыми звѣздами глазъ, заглянула и какъ будто заворожила его нечаянной радостью, стала вдругъ такъ странно дорога ему.

Дорога, какъ проснувшееся воспоминаніе о далекомъ и невозвратномъ утре, какъ старая и полузабывшаяся, какимъ-то чудомъ сохранившая свой ароматъ прелестная сказка юности,—дорога, какъ плѣнившая его дѣвичья чистота, блескѣющая и сверкающая, какъ крыло чайки въ солнечно-водномъ утреннемъ просторѣ.

VI.

За утреннимъ чаемъ Плетневъ встрѣтился съ Лолой, дружески ей улыбнулся и протянулъ руку, и она улыбнулась ему милой, слегка виноватой улыбкой, какъ бы за что-то извиняясь, и эта улыбка опять напомнила ему далекое утро и счастье въ лепесткахъ сирени.

А послѣ чаю онъ верхомъ на Соколѣ поѣхалъ за почтой на станцію. Дорога шла лѣсомъ, тѣмъ весеннимъ лѣсомъ, где невольно сдерживаешь лошадь, опускаешь поводья и ёдешь шагомъ, такъ же невольно отдаваясь обаянію свѣжаго солнечнаго утра.

И въ лѣсу были все тѣ же думы, съ которыми Плетневъ и проснулся, думы о чистой и милой дѣвушкѣ, которая стала ему вдругъ такъ близка и дорога, что одно ея имя, одна мысль о ней наполняютъ его душу свѣтлымъ и ласковымъ трепетомъ.

Съ почты онъ привезъ Волькѣ письмо съ адресомъ, нацарапаннымъ дѣтски-круглымъ, неустановившимся еще почеркомъ. Товарищъ Вольки, Сережа Морозовъ, извѣщаѣтъ его, что наконецъ-то онъ ёдетъ къ нему въ гости и проситъ встрѣтить его утромъ на станціи.

— Ура-а, нашего полку прибыло!—заоралъ румяный Волька и пустилъ козла, и тутъ же, повернувшись къ Лолѣ, съ серьезной физиономіей говорить ей:—Да, Лола, а вы знаете, завтра утромъ ко мнѣ въ гости приѣзжаетъ Сережа Морозовъ?

— Ахъ, да... — полуувопросительно, полуудивленно отклинулась Лола и покраснѣла, опустила глаза, разматриваетъ шелковый красный галстукъ своей бѣлой матроски.

— Да, да, — какъ ни въ чёмъ не бывало, увѣряетъ ее Волька.—Вотъ и письмо отъ него. Между прочимъ, онъ проситъ передать вашъ его привѣтъ, что я и исполню.

— Ну, оставь, Волька...—какимъ-то убитымъ голосомъ взмолилась Лола и совсѣмъ переконфузилась, мнѣть въ рукахъ свой красный галстукъ,—а за столомъ со всѣхъ сторонъ смотрѣть на нее смѣющіеся ласковые взглѣды, какъ будто всѣ уже знаютъ какую-то тайны Лолы и сочувствуютъ этой тайнѣ.

Но у Плетнева отъ этой сцены остался въ душѣ затаенно-безпокойный осадокъ. Въ это ясное майское утро Лола какъ будто вошла въ его жизнь, стала неотдѣлимой, неотъемлемой частью его души,—и теперь ея лицо, алымъ макомъ вспыхнувшее при имени Сережи Морозова, поразило его какой-то странной, тупой болью.

Дни были солнечный и теплый, съ пробуждавшимся уже ликующе-молодымъ зноемъ, и весь день Плетневъ не могъ забыться отъ этой тупой боли, беспокойный осадокъ въ душѣ отъ утренней сцены съ письмомъ давалъ себѣ чувствовать при каждомъ появлѣніи Лолы, при каждой мысли о ней.

Какъ утромъ, хотѣясь отиться этой весенней сказкѣ съ ея дѣвичьей чистотой и безмятежностью,—и желанная сказка, казалась, то приближалась къ нему, то удалялась, какъ будто дразнила его, что вотъ она рѣбѣтъ надъ нимъ своими сверкающими крыльями, а онъ не силахъ отиться ея сладкой власти.

А вечеромъ, когда погасло солнце и надѣ усадьбы прозрачной, еле уловимой розово-синей дымкой повисли свѣтлые сумерки, а съ полей тянуло теплымъ вѣтромъ, куда-то безпокойно-манящимъ и сладко-волнующимъ вѣтромъ, къ Плетневу вошла Лола, какъ-то застѣнчиво потупилась, позвала:

— Леонидъ Петровичъ, пойдемте гулять.

— Куда?—улыбнулся и просвѣтѣлъ Плетневъ, самъ не зная, зачѣмъ задалъ этотъ вопросъ, и чувствуя, что онъ всюду пойдетъ за Лолой, стоять ей только позвать его съ собой.

— Куда хотите,—какъ-то вяло, безразлично отвѣтила Лола и нетерпѣливо, дѣтски-капризно протянула:—Ну, въ садъ, въ поля...

— Пойдемте, пойдемте,—и снова бредутъ они по саду, какъ вчера, тихіе и молчаливые. Какъ вчера, колдуютъ надъ ними весеніе сумерки, и ласково и сладко дышать сирени, и тянетъ съ озера просыпающейся влажной свѣжестью.

Вышли изъ сада, перешли по ветхому бревенчатому мостику черезъ тихую рѣчушку, что впадаетъ въ озеро, поднимаются на



Тетя.

E. Шенциковская.
Весенняя выставка въ Академіи Художествъ 1918 г.

зеленый косогоръ, гдѣ начинаются поля, разстилаются необозримыя весенния дали. Сильнѣе опахнуль теплый вѣтеръ, какъ будто поцѣловаль, затронулы въ душѣ своей лаской старыя забытыя струны.

Идуть подь руку и молчать, и, какъ вчера, Пора спрашивается:

— О чмъ вы думаете?

VII.

— Я?—переспрашиваетъ Плетневъ.—Я думаю о томъ, что встречаются въ жизни такіе люди, съ которыми чувствуешь себя какъ-то необыкновенно легко. Какимъ-то невыразимымъ, умиротворяющимъ спокойствиемъ они дышат на васъ, какъ будто влекутъ къ себѣ какой-то неуловимой, молчаливо-прекрасной лаской. И мнѣ такъ кажется почему-то и такъ хочется этому вѣрить, что такимъ именно человѣкомъ для меня являетесь вы.

Молчить Лола.

А теплый безпокойный вѣтеръ, а свѣтлыя сумерки, а ласкающая близость этой молчаливой сегодня дѣвушки волнуютъ и нѣжать Плетнева, тихо вздрагиваютъ въ душѣ старыя забытыя струны, звенеть какой-то отжиной, все забывающей, нѣжностью.

— Я не знаю, что за чувство я испытываю къ вамъ. Я думалъ объ этомъ утромъ и ни до чего не додумался, и думать бросилъ, весь отдался его тихой ласкѣ. Послѣ вчерашиаго вечера вы стали мнѣ удивительно близки, какъ-то невыразимо дороги, какъ будто вы заглянули въ мою душу, пахнули на нес такимъ сказочнымъ очарованіемъ, такой благоухающей чистотой... Простите, вѣсъ не стѣсняетъ этотъ разговоръ? — спрашиваетъ онъ, боится, что его слова спугнуть ту неуловимую интимность, что сблизила его вчера съ Лолой.

— Нѣть, нѣть, пожалуйста...—тихо откликается Лола.

— Я чувствую, что меня влечетъ къ вамъ, повлю себя на мысли, что я полонъ вами въ этой чистотѣ, которой вы такъ меня заражаете,—говорить Плетневъ вчерашинымъ теплымъ голосомъ.—Я не знаю, что это за чувство. Любовь? Дружба? Нѣть, мнѣ кажется, не любовь и не дружба, нѣть. Здѣсь что-то другое, чему у меня нѣть имени, нѣть словъ, но что наполняетъ меня какимъ-то прекраснымъ порывомъ къ вамъ, какимъ-то, какъ сказалъ одинъ поэтъ, свѣтомъ первоблаженнаго стыда. Любовь — самое эгоистическое чувство, а здѣсь... Я не знаю, я готовъ, кажется, для вѣса на все, что хотите, чтобы вы улыбнулись счастливо и нѣжно, чтобы передъ вами настежь распахнулись двери какого-то неиздомаго рая, и вся ваша молодая жизнь расцвѣла бы, заблагоухала рѣдкимъ ароматнымъ прѣткомъ. Мнѣ кажется, что, если бы вы даже спросили у меня мою жизнь, я благословилъ бы ваше желаніе и, не задумываясь, не спрашивая, зачѣмъ она вамъ нужна, радостно, съ готовностью отдалъ бы вамъ и свою жизнь.

Молчить Лола, ни слова не сказала въ отвѣтъ.

— Любовь — чувство эгоистическое, требовательное,—говорить Плетневъ послѣ нѣкотораго и сладко и тревожно волнующаго молчания.—Любовь дарить, но и береть, а между тѣмъ я ничего отъ вѣса не хочу, ничего не жду и если хочу чего, такъ это только вашей близости, вотъ такихъ вечеровъ съ вами. Но странно, вотъ сегодня, когда на террасѣ заговорили о Сережѣ Морозовѣ, когда,—вы простите меня за откровенность и не сердитесь,—вы смущились и покраснѣли при этомъ имени, мнѣ... можетъ быть, я и ошибаюсь, но мнѣ показалось, что...

Молчить Лола, только ниже опустила золотистую головку.

— Нѣть, не будемъ обѣ этомъ говорить...—какъ будто спохвалился, испугался чего-то Плетневъ.—Разскажите мнѣ лучше что-нибудь о Сережѣ Морозовѣ. Какой онъ, что онъ изъ себя представляеть? Вы простите мнѣ это любопытство... — и не успѣлъ онъ договорить, какъ Лола его перебила:

— Нѣть, нѣть, не спрашивайте меня. Не надо... — освободила руку, повернула назадъ, быстро пошла къ дому.

— Лола... Лола, постойте... Куда же вы?—недоумѣваетъ, спрашиваетъ ее Плетневъ, смотрѣть вслѣдъ удаляющейся дѣвушкѣ, смутно блѣдѣющей въ сумракѣ своей матроской кричить ей: — Лола, ну, извините меня...

Не откликается Лола или не слышитъ, уходить все дальше и дальше, вѣтъ скрылся подъ косогоромъ, а Плетневъ все еще стоитъ на одномъ мѣстѣ. Теплый вѣтеръ тихо обвѣаетъ его, цѣлуетъ обжигаетъ своимъ порывистымъ дыханіемъ нахмутившееся лицо.



Морской пляжъ.

N. Сергеевъ.

Весенняя выставка въ Академіи Художествъ 1918 г.

VIII.

„Ну, зачѣмъ только я заговорилъ о Морозовѣ? Какое мнѣ дѣло? И какъ это глупо вышло...“—раздраженно думаетъ Плетневъ.

Глаза смотрѣть устало и нехотя, и опять тревожить эта тупая, неясная растерянность, — такое чувство, какъ будто свершилось что-то досадно-непоправимое, что непроходимой пропастью легло теперь между нимъ и Лолой.

Медленно спускается онъ съ косогора, возвращается домой, усталый и изнѣженный теплымъ вѣтромъ. Сгущаются сумерки, — какъ вчера, затягиваютъ своимъ мглистымъ покрываломъ просвѣты между деревьями сада, такъ же свѣтло и ясно небо надъ усадьбой, но уже нѣть вчерашиаго чувства свѣтлой интимности, и сегодняшнее утро кажется такимъ далекимъ и странно-чуждымъ.

На террасѣ накрыто къ ужину. Разливая вокругъ мягкий послѣдний теплымъ вѣтромъ, горитъ на столѣ лампа подъ молочно-блѣдымъ абажуромъ, но ни за столомъ ни на террасѣ никого нѣть. Въ гамакѣ, подъ темными тополями, напѣваетъ Волька кому-то дѣтскую пѣсенку:

Шли, шли, шли,
Да широгъ пашли,
Сѣли да польли,
Да опять пошли.

У террасы, когда Плетнеръ поднимается на нее, его окликаетъ знакомый голосъ:

— Леонидъ Петровичъ, вы не сердитесь на меня, что я ушла отъ васъ?—говорить Лола, и при свѣтѣ лампы Плетневъ видитъ, какъ она улыбается, и легкая застѣнчивость дрожитъ и алѣтъ въ этой улыбкѣ

— Господь съ вами... — несмѣло-радостный, съ смутной, внезапно вспыхнувшей новой надеждой на близость къ Лолѣ, говорить Плетневъ, съ улыбкой всматривается въ милое дѣвичье лицо съ сияюще-потемнѣвшими сейчасъ звѣздами. — Я и не думалъ сердиться.

— Серьезно? У меня такое чувство, какъ будто я васъ чѣмъ-то оскорбила, а я, ей-Богу, и не думала... Такъ дико вышло... — покраснѣла Лола, наклонила головку, замялась и вдругъ весело разсмѣялась, просто и дружески протянула Плетневу руку: — Знаете, что: не будемте, пожалуйста, обѣ этомъ говорить. Ну, чѣмъ же я виновата, что мнѣ нравится Сережа Морозовъ?

— Да Богъ съ вами... — смеѣтся и Плетневъ, пожимая маленькую теплую руку Лолы. — Желаю вамъ всего хорошаго.

— Такъ вы не сердитесь на меня. Хорошо? — спрашиваетъ она, спускаясь съ террасы и, не дожидаясь отѣта, уходить по главной аллее къ озеру. Одна. Зачѣмъ? Одиночества ли ей хочется, или манитъ ее куда-то это весеннеѣ беспокойство, что алої краской покрываетъ сегодня ея лицо, — Господь ей судья.

Плетнева стоять на террасѣ и смотрѣть вслѣдъ удаляющейся Лолѣ, смутно маячить въ темнотѣ бѣлая матроска, — и опять у него на душѣ и свѣтло и просторно, — значитъ, есть, есть что-то между нимъ и ею, что заставляетъ ее ити къ нему и рассказывать свою весеннюю тайну.

„Весна моя“ — думаетъ Плетневъ, и маняще вспыхиваетъ въ памяти сегодняшнее утро, но мигъ — и тихая грусть, какъ сожалѣніе о чѣмъ-то невозвратно-утраченномъ, легкой тѣнью ложится на лицо. Уходить въ свою комнату, ищетъ одиночества и томится въ немъ, грустный и усталый, съ неспокойной тяжестью въ душѣ.

Кротко мерцаеть передъ старыми, потемнѣвшими отъ времени, образами лампадка, наполняетъ комнату зеленовато-призрачнымъ свѣтомъ, уютомъ далекаго дѣтства, и тѣни прошлаго, какъ призраки, какъ будто дрожатъ и рѣбутъ въ призрачномъ свѣтѣ.

Какъ будто въ прошломъ прошелъ Плетневъ мимо какихъ-то горячихъ сказочныхъ ключей, что были чистой струей живой воды, не извѣдалъ ихъ сказочной силы и теперь, когда далеко уже ушелъ отъ волшебныхъ ключей молодости, вспомнилъ о нихъ, и сожалѣніе о невозвратно-утраченномъ прошломъ ноющею болью отзыается въ душѣ.

Передъ глазами стоитъ и не отходитъ притихшая и смущенная дѣвушка, такая близкая и такая далекая Плетневу, и кажется ему, что въ ней одной кроется для него разгадка этой неизбыточно-тревожной тайны, что такъ волнуетъ его своей неразгаданностью, заражаетъ мучительно-сладостной жаждой жизни.

IX.

Позднимъ вечеромъ Плетневъ, по обыкновенію, долго игралъ на рояль. Въ гостиной было темно, и двѣ сѣчи на шлюпітѣ рояля горѣли въ ней пугливо и одиноко. Лола, какъ вчера, сидѣла на подоконникѣ. Окно сегодня было открыто, и въ гостиную, и на минуту не смолкая, несся соловий поэвистъ.

Плетневъ игралъ и беспокойно не зналъ, о чѣмъ думала Лола, и казалось ему, что недалеко отъ него томится въ весеннемъ колдовствѣ дѣвичья душа, просыпается въ ней весеннеѣ тепло, и навстрѣчу этому теплу, какъ весенняя музыка, какъ лиющаяся пѣсня весны, несся сегодня звенящій соловий поэвистъ.

— Какъ бы я хотѣла такъ играть... — подходитъ къ роялю и блестя изъ темноты глазами, говорить Лола, когда Плетневъ закрылъ клавиатуру. — Уже поздно, пора спать, — прибавила тутъ же, занятая уже какой-то другой мыслью.

— Ну, пойдемте, побродимъ немножко передъ сномъ по саду, — говорить Плетневъ.

— Пойдемте, — какъ-то вяло и нехотя соглашается Лола. — Только не долго, — и Плетневъ снова чувствуетъ какой-то уколъ въ сердце, какъ будто Лола хочетъ остаться одна съ своей весенней тайной, тяготится имъ и если все-таки идѣть съ нимъ, то исключительно изъ простой вѣжливости.

„Нужно отказаться отъ этой прогулки“, — оскорбительно чувствуетъ онъ свою навязчивость и, какъ ядовитымъ ароматомъ, дышитъ близостью къ Лолѣ, уже обезсиленный и отравленный этой близостью, рабски привязанный къ этой дѣвушкѣ.

Идуть и молча думаютъ свои думы. Какъ-то болѣзньно работаетъ воображеніе, и Плетневъ пытается представить себѣ, каковъ изъ

себя Сережа Морозовъ, и ему кажется, что это милый бѣлокурый юноша, гибкій и стройный, что у него такие же синіе глаза, что онъ, какъ мальчикъ, влюбленъ въ Лолу, можетъ быть, первой любовью.

А Лола? И Лола любить его, — такая она сегодня неузнаваемая и неспокойная, какъ будто сегодняшнее письмо смущило ее безмятежность, поманило за собой, какъ этотъ теплый, безпричинно и тревожно волнующій вѣтеръ, и вотъ она томится теперь, обвѣянная колдовскими чарами весенней тревоги.

Темно въ саду, только небо, какъ вчера, виситъ надъ усадьбой блѣдно-зеленое и безоблачное. Робко мерцаютъ въ вышинѣ рѣдкія серебряные звѣзды. Тишина въ саду, только буйный, ликующій посистомъ гремяще словы.

— Ахъ, да, я и забылъ... — говорить Плетневъ. — Мне нужно написать еще два большихъ письма, — лжетъ онъ, чтобы найти какой-нибудь предлогъ и оставить Лолу. — Пойдемте теперь домой.

— Вы идите, пожалуйста, а я еще поборожу немнога. Доброй ночи, — тихо говорить Лола и идѣть дальше.

— Доброй ночи...

Странная слабость и тѣнѣ разливаются по тѣлу, чувство какой-то тяжести давить Плетнева, какъ будто опять страшно усталъ, изнемогъ подъ этой тяжестью, хочеть покоя, хочеть забыться и уснуть въ этомъ покое, — и нѣтъ ни покоя ни сна.

Мысль о Лолѣ ни на минуту не отпускаетъ отъ себя, острѣе чувствуется непрятный осадокъ письма, и яснѣе видитъ Плетневъ дѣвический весенний мятежъ, слышитъ его чистоту и тревожный, мучительно-знакомый трепетъ расцвѣтающихъ грезъ.

Усталость и тоска охватываютъ Плетнева, онъ садится на первую попавшуюся скамейку и въ этой тоскѣ, съ внезапнымъ ужасомъ, вдругъ познаетъ, что онъ любить Лолу.

Да, да, это такъ, такъ. Любить Лолу, какъ не любилъ еще никогда и никого въ мірѣ что Лола — сказочное маево, кото-



Въ храмѣ. Весенняя выставка въ Академіи Художествъ 1918 г. П. Михайловъ.

рое долго еще будет стоять перед нимъ во всемъ своемъ обманчиво-манящемъ блескѣ, и онъ будеть рваться къ нему, и марево будеть оставаться маревомъ, призрачнымъ и неумолимымъ.

Лола — это постыдная яркая грэза его жизни, за которой больше не будеть ничего сильного и захватывающаго, Лола — соломинка, за которую хватается утопающій, какимъ чувствовала себѣ сейчасъ Плетневъ, и безъ Лолы для него нѣтъ больше ни жизни ни спокойствія.

X.

Шорохъ легкихъ шаговъ по песку аллеи заставляетъ Плетнева вздрогнуть и поднять голову, — въ нѣсколькихъ шагахъ отъ него проходить Лола, идетъ къ дому, идетъ тихо, съ низко опущенной головой,—и онъ боится пошевельнуться, малѣйшимъ шорохомъ выдать свое присутствіе, боится спугнуть очарованіе тайной встречи.

Прошла — и глубокій вздохъ вырывается изъ груди, какъ будто душно Плетневу въ ночной свѣжести, какъ будто эта тоска давить и душить его, а сердце въ такомъ страхѣ тянется къ Лолѣ, какъ къ избавительницѣ отъ этого страха, какъ въ сказкѣ, где бъ умерла, растаяла бы эта тоска.

Любовь, какъ несознаваемая прежде разстерянность, какъ безсознательно-радостный порывъ, незнакомая и робкая прежде гостья, не называвшая своего имени, вдругъ скинула передъ нимъ свое таинственное покрывало, и Плетневъ увидаль странное и прекрасное лицо бога любви, и упаль духомъ.

Что жъ дѣлать теперь, когда онъ чувствуетъ, что никогда ему не встрѣтить въ Лолѣ того чувства, какимъ сейчасъ полонъ онъ, и никогда Лола не будетъ ждать его такъ беспокойно и тревожно, какъ ждетъ она сейчасъ Сережу Морозова?

Долго сидѣть въ саду, искаль выхода нахлынувшей тоскѣ и не находить выхода, видѣть лишь одно, что тянеть его къ Лолѣ, хочется ее видѣть,—какъ воды усталому изнемогающему отъ жары путнику, хочется ея робкіхъ и бѣглыхъ подѣлуевъ.

Ночью, когда старый домъ давно уже спалъ, Плетневъ долго сидѣть въ своей комнатѣ, погруженный въ раздумье, обезсиленный, казалось, пронесшимся надъ нимъ весоннимъ вихремъ, думалъ о своей любви и старался не думать.

Въ комнатѣ было душно и жарко, лампа подъ зеленымъ абажуромъ сильно нагрѣвала воздухъ, не давали прохлады настѣнѣ открыты окна, — и Плетневъ опять ушелъ въ садъ, до разсвѣта бродилъ въ его тишинѣ, растерянный и подавленный этой ночью.

Онъ думалъ о молодой разбуженной любви, и думы были полны чистаго благоговѣнія передъ молодымъ чувствомъ, уже ясно видѣть онъ теперь это чувство въ Лолѣ.

Не смолкая, тепло и свято, казалось, горѣла въ немъ такъ неожиданно вспыхнувшая любовь къ Лолѣ, грѣла своимъ тепломъ, нѣжила давно позабытымъ тонкимъ ароматомъ, вся обвѣянная тоской своей нераздѣленности, угасающими красками заката его жизни.

Альмъ золотомъ вспыхнула заря, поблѣдѣло ночное небо, растаяли въ вышинѣ кроткія звѣзды, когда Плетневъ ушелъ изъ сада. Было уже свѣтло въ комнатѣ, и свѣтъ лампадки казался такимъ желтымъ и раздражающе неуютнымъ. Легъ спать, утомленный бесонной ночью, озябшій въ начинавшемся утренникѣ.

Взошло солнце. На конюшнѣ нетерпѣливо взрагивали колокольчики запрягемыхъ лошадей. Хмурый и заспанный Волька, наскоро умывшись и поеживаясь на утреннемъ холодаѣ, накинувъ на плечи кадетскую шинель, шелъ къ конюшнѣ, чтобыѣхать на станцію.

Звонъ кококольчиковъ сквозь сонъ донесся до Плетнева, не разбудилъ его тревожного сна, прозвучалъ въ немъ, далекій и замирающій. Рѣзко дрожали въ чистомъ воздухѣ пѣтушиные крики. Розово-золотой пылью струилось въ старый садъ солнце, бросало длиннія изъ красна-чернага тѣни.

XI.

Пріѣхалъ Сережа Морозовъ, стройный смуглый юноша, съ мальчишески-бойкими темно-карими глазами, съ чуть затѣмнѣвшимся пушкомъ усовъ, съ открытымъ и неутратившимъ еще щѣткіхъ очертаній лицомъ и неисчезнувшими еще дѣтскими ямочками на кругломъ подбородкѣ и щекахъ, дрожавшихъ при смѣхѣ.

Встрѣтились съ Лолой на террасѣ за утреннимъ чаемъ, оба густо покраснѣли, а потомъ весело размѣялись и сами не знали, надѣть чѣмъ, и этотъ безпричинный, жизнерадостный смѣхъ долѣтель въ комнату Плетнева, отогналъ отъ него тяжелый сонъ.

Сережа Морозовъ пріѣхалъ, и въ этомъ для Плетнева было какое-то какъ будто совершившееся непоправимое несчастье, слѣды котораго исчезаютъ лишь съ годами, какъ медленно застрашающая рана, шрамъ отъ которой остается все же на всю жизнь.

Плетневъ не выходилъ изъ своей комнаты и весь день проводилъ въ постели,—послѣ бесонной ночи въ саду, въ ночной свѣжести, сегодня у него было лихорадочное состояніе и какало-то отвратительно-тгучал общая слабость. Нервничалъ, когда къ нему приходили спрашивать объ его здоровьѣ,—и его оставили одного.



Улица въ Эрзерумѣ.

П. Смурович.

Весенняя выставка въ Академіи Художествъ 1918 г.

Лола чувствовала, что ей нужно сходить къ Плетневу, что ему пріятно будетъ видѣть ее, но какая-то нерѣшительность охвачивала ее, какъ будто она чувствовала себѣ въ чемъ-то виноватой передъ нимъ и не могла побороть въ себѣ этой виноватости.

Плетневъ былъ доволенъ, что его никто не беспокоитъ, и весь отдался одиночеству, закрывать глаза и притворялся спящимъ, даже когда приходила прислуживавшая ему Петровна, и, увидавъ, что онъ спитъ, уходила снова,—и онъ снова оставался со своими думами.

Думы были все тѣ же, безпорядочны и бьющіяся, какъ накрытая сѣтью птицы. Яснѣе, чѣмъ вчера, чувствовала Плетневъ, что полюбиль Лолу сильно и безповоротно, и еще яснѣе видѣть, что никогда больше не зацѣвѣть ужъ для него давно отпрѣвѣвшая сказка юности,

Два дня пролежалъ онъ въ постели и лишь на третій вышелъ на террасу къ завтраку и весь завтракъ просидѣть молчаливый и вѣтлый, съ поблѣдѣвшимъ и осунувшимся лицомъ, съ темными полукругами подъ лихорадочно блестѣвшими глазами.

Въ темныхъ глазахъ стояла эта большая и беззапокойная тоска. Цѣлкомъ заполнившая человѣка, и всѣ эточувствовали, и при видѣ Лолы, просидѣвшей весь завтракъ смущенной и виноватой, всѣ какъ-то безъ словъ поняли причину этой тоски.

И дни пошли за днями, теплые и солнечно-яркие. Гостей было полонъ домъ, въ саду слышались смѣхъ и оживленные голоса, мелькали среди зелени цѣтнія птицы дѣтворы и звенѣль ихъ несмолкаемый гомонъ, но старый домъ какъ-то сумрачно и тяжело смотрѣть на эту беззаботно рѣзвившуюся дѣтвору.

Въ старомъ домѣ была тишина, какъ будто тамъ лежалъ и умиралъ какой-то всѣмъ близкій, тяжелый больной,—не слышно было ни громкихъ голосовъ ни смѣха, какъ будто всѣ молча говорились беречь покой больного, а онъ искалъ и не находилъ этого покоя.

Плетневъ чувствовалъ этотъ безмолвный уговоръ и тяготился имъ, тяготился окружавшими его людьми, и самыми утомительными часами для него были завтракъ и обѣдъ, когда неудобно было молчать и обращать на себя вниманіе и такъ же неудобно, мучительно было чувствовать общую къ себѣ предупредительность.

Часами просиживалъ онъ въ своей комнатѣ или надолго уходилъ изъ дома въ поля, и всюду шла за нимъ его тоска, неотступная и беззапокойная, какъ ночной человѣческій тѣнѣ на пожарѣ,—преслѣдовали все тѣ же мысли, звенѣли ему серебрянѣ смѣхомъ юности, манили поцѣлуйами дѣвственны альхъ губъ.



И. Г. Чертетелли.
Барельеф А. Улина
Весенняя выставка в Академии Художеств 1918 г.

Лола уже не подходила к нему, какъ прежде, не звала его гулять и какъ будто даже избѣгала его,—не слыхалъ онъ и ея теплаго смѣха, она цѣлыми часами бродила съ Сережей Морозовымъ по саду, и Плетневъ встрѣчалъ ихъ обоихъ только за столомъ.

Однажды, выходя въ садъ, онъ встрѣтилъ Лолу на террасѣ, она связывала надъ столомъ большой букетъ блѣлой сирени и не замѣтила, какъ выщель Плетневъ, а онъ стоялъ и смотрѣлъ на нее и въ первый разъ видѣлъ въ ней что-то неуловимо-новое, что сквозило въ каждомъ ея движениѣ, въ блескѣ ея сіавшихъ синихъ глазъ.

— Это новое было въ ней такъ прекрасно и юно, что Плетневъ стоялъ, какъ зачарованный, но Лола почувствовала на себѣ его взглядъ, испуганно взглянули ея глаза и закрылись дрогнувшими рѣсицами, вся она какъ-то съжилась и потухла, а онъ хотѣлъ что-то сказать, но нахмурилъ брови и ушелъ въ садъ.

XII.

Лола стояла передъ нимъ въ новомъ, безумно-влекущемъ къ себѣ свѣтѣ, какъ будто весна наградила ее своимъ ласковымъ тепломъ, и она, какъ цвѣтокъ, пышно расцвѣла въ этой ласкѣ,—и на Плетнева съ новой силой повѣяла своимъ ароматомъ безпощадная любовь.

Усталый, обезсиленный, возвращался онъ въ этотъ день домой, и дома его встрѣтила та же тишина, тотъ же плѣнъ его нераздѣленной любви, и этотъ плѣнъ становился все тягостнѣй и невыносимѣй.

Жажда покоя и жажда сказки волновали его, неизбѣжно-глубокой тоской смотрѣли изъ глазъ, и ночью, бессонной лунной ночью, когда эта тоска была какъ-то особенно тяжела, онъ рѣшилъ бѣжать изъ старого дома съ его назойливой тишиной.

Въ эту ночь онъ снова бродилъ по саду, стараясь утомить себя и долгой ходьбой вызвать сонъ, и неожиданно услыхалъ недалеко отъ себя, должно-быть, на скамейкѣ подъ блѣлыми кустами сирени, звонкій и невольно выдавшій себѣ поцѣлуй,—вздрогнули и замѣръ, невольно затаиль дыханіе.

— Милая Лола...—слышится изъ темноты тихій и ясный въ тишинѣ, какъ будто изнѣженный голосъ.—Я люблю тебя.

— Тише, тише... Здѣсь кто-то ходить,—встревоженно говоритъ Лола, и уже не слыхать ихъ голосовъ.

Бѣется сердце, колотится въ груди, и Плетневъ осторожными воровски крадущимися шагами пробирается вдоль зеленой стѣны аллеи подальше отъ бѣлыхъ кустовъ, сворачиваетъ въ новую аллею, торопливо уходить домой.

Далеко за полночь сидѣть онъ за письменнымъ столомъ, влюбленный и одинокий, грезитъ невольно-подслушаннымъ поцѣлуемъ и изнемогаетъ отъ влюбленной тоски. Длинная, бессонная тянется ночь. Такъ же побѣдно и буйно, какъ и наканунѣ прїѣзда Сережи Морозова, звенятъ соловьи.

— Теперь я понимаю, что значить безысходная тоска, — думаетъ Плетневъ.—Нужно бѣжать отъхода, иначе сойдешь съ ума!—

и рѣшаетъ бѣжать на югъ, къ морю, чтобы какъ-нибудь разсѣяться отъ этой тоски, не видѣть Лолы, никогда не встрѣчаться съ нею, постараться забыть звѣздное сіанье ея раскрывшихся къ любви глазъ.

Рѣшеніе принято, и Плетневъ нѣсколько успокоился, но что-то говорить ему, что долго онъ не забудеть еще Лолы, что и тамъ, вдали отъ нея, где бы ни былъ онъ, долго еще будетъ онъ тоисковать и рваться къ ней, и издали благословлять ее, какъ послѣднюю благоухающую сказку своей одинокой скитальческой жизни.

На другой день, когда онъ объявилъ о своемъ отѣзду, никто не уговоривалъ его оставаться, никто не удивился его внезапному отѣзду, какъ будто и быть не могло.

Съ вечернимъ поѣздомъ Плетневъ уѣхалъ на Кавказъ, и въ сердечности его проводовъ была какая-то досадная неловкость и та же предупредительность, какъ къ больному человѣку. Густо покраснѣла при прощаніи и не смѣя поднять глазъ Лола.

А новой ночью, стоя на площадкѣ вагона первого класса, Плетневъ какъ будто прощался съ роднымъ небомъ, и звѣзды родного неба, далекія весення звѣзды, свѣтили ему грустно и ласково. Луна заливалась своимъ серебряно-мглистымъ сіанемъ бѣжавшій навстрѣчу побѣзу поля, и они казались странно-неживыми и пустынными.

Воскресли въ памяти съ болезнью рѣзкостью и недавнѣе дни въ старой усадьбѣ и недавнѣе поцѣлуи Лолы, чистые и робкіе цвѣты дѣвическихъ нетронутой еще душъ, —веснушку въ душѣ Итальянское Каприччіо, зазвѣнѣло-запѣло въ стукѣ вагонныхъ колесъ.

Море звуковъ, изнѣженно-страстное море звуковъ охватывало Плетнева своей южной, знойной и неумолимой нѣгой, и его душа билась и трепетала въ этомъ морѣ, какъ подстрѣленная птица, — вся тоска, вся мучительный и проклятый вопль передъ страшнымъ и прекраснымъ лицомъ бога любви.



Гераклъ.

Весенняя выставка въ Академии Художествъ 1918 г.

Плѣнныи.

Тамъ, дома, на окнахъ—спокойныя шторы
И въ грустной истомѣ застывшій рояль...
Любимыя книги. Мечты. Разговоры...
И осени бурной Святая Печаль...
А въ нѣжномъ уютѣ изящной гостиной—
Нарциссы, въ холодномъ объятіи вазъ...
Знакомая мебель, портреты, картины
И... нѣга любовью взволнованыхъ
глазъ...
Но — я промѣнялъ тиши мечтаний и
комнатъ
На холода озябшихъ отъ вѣтра ночныхъ...
И вѣрю, что любить, и вѣрю, что помнить
Меня полуудрема глубокихъ очей...
Подъ знакомъ тревоги, въ лихой по-
единокъ
Врубился... и ярость сковала меня...
Какъ противъ татарина — сказочный
инокъ,
Сражался я въ жарѣ слѣпого огня...
Свистѣли шрапнели и лязгали сабли,
Но, слѣдя зову—впередъ и впередъ—
Я пламенно бился, и силы ослабли,
Разсудокъ сковало безсилье, и—вотъ:
Я—рабъ у врага, я—заложникъ, я—
плѣнныи...
Тоскую отъ боли, волнующей тьмы...
Слезами и кровью кроплю только стѣны
Меня оковавшей (надолго ль?) тюрьмы...
Здѣсь ночью мерещатся дикіе взоры
Причудливо странныхъ, какъ тѣни,
химеръ...
А дома, на окнахъ—спокойныя шторы...
А родину кутаетъ траурный флеръ...



Павелъ Орѣшниковъ.

Въ старину. Весенняя выставка въ Академіи Художествъ 1918 г. Е. Малгушевская.

Темная вода.

Калмыцкая легенда.

Антона Амнуэля.

I.

Въ то знайное бѣлое лѣто много скитался я по пескамъ и зеленымъ Калмыцкой степи, перебирался верхомъ черезъ зыбучіе барханы, въ тяжеломъ дощаникѣ переплывалъ тихую туть Волгу,—и, помню, сладко дремалось мнѣ тогда подъ мѣрный стукъ его уключинъ чудесной, грезовой, полуденной дремой, и слышалось, сквозь серебристое сіянье ея, журчанье и пѣвучій клекотъ воды подъ носомъ и глухія, однообразныя пѣсни калмыковъ, бронзовыя благодушныя великаны въ синихъ бешметахъ съ громадными круглыми рукавами, похожими на абажуры.

Подолгу гостила я въ „хуруль“¹⁾, гдѣ былъ у меня большой пріятель — „гелюнгъ“²⁾ Чимидъ Санджіевъ, человѣкъ со скулѣстымъ и морщинистымъ лицомъ старой обезьяны, цвѣтомъ подобнымъ потертому пятаку, съ подстриженными сѣдыми усами и синими бритыми черепомъ. Былъ онъ малоподвиженъ, строгъ, загадоченъ въ восточномъ молчаніи своемъ, и древностью, Азіей, Тибетомъ вѣяло на меня отъ его долгонолаго „лапшика“³⁾ и желтоверхой „джатакѣ“⁴⁾. Непрестанно сосредоточено курилъ онъ трубку; отъ нея тянулся синій дымъ, и все казалось мнѣ, что это—сіимъ передъ безстрастнымъ лицомъ того тихаго, уводящаго отъ міра, божества, которому молится гелюнгъ въ прохладномъ сумракѣ между колоннъ „цацы“⁵⁾.

Почти все духовенство хурула кочевало лѣто за Волгой—въ зеленыхъ степяхъ. А въ хуруль сущились на солнцѣ, какъ осенія дыни на бацхахъ, только старики, да корчилъ лодырей работники. Теперь Чимидъ былъ тутъ старшимъ, но даже не

измѣнило его. Дальше ужъ некуда было ити въ строгой важности, въ многозначительной неподвижности. Да и что могло нарушить душевный устой этого старика, давно ушедшаго отъ міра, убившаго въ себѣ зовы его?

Но порой по вечерамъ, когда въ лиловомъ сумракѣ тонула Волга, а на далекихъ степныхъ ерикахъ сладостно и полусонно посвистывали какія-то невидимыя птички, когда хрустальные звѣзды дремотно мигали въ черномъ бархатѣ неба, а росистая степь дышала горьковатымъ ароматомъ ночной прохлады,—старый Чимидъ, краснѣя огонькомъ трубки, передавалъ мнѣ ученія древнихъ „хобуши-номъ“⁶⁾, ихъ тибетскія сказанія, или неторопливо рассказывалъ мнѣ старыя степные легенды.

Такъ разсказали онъ мнѣ и о „темной водѣ“, которая наливалась сердѣмъ людскому, скрытая въ тайномъ углу его, и порой заливала самые свѣтлые, самые жаркіе огни.

II.

Спала я на сѣнѣ, на чаканѣ, подъ навѣсомъ, возлѣ расписанного дома Чимида,—и поздно проснулся въ тотъ день. Наканунѣ съ работникамиѣздили на дальний „хощъ“⁷⁾, и долго пропутались мы потомъ по степнымъ дорогамъ. Солнце уже горячимъ лучомъ было въ глаза, и чувствовалось—мухи ползаютъ по губамъ. Онѣ всегда знаютъ, кто крѣпко спитъ.

По утреннему блестящая голубая парча безгранично вскидалась надо мнѣ. Орлы крестами вкрапливались въ нее и плавали медленно, кругами. Коротки были тѣни отъ цапъ, а сами онѣ дико и пестро блестѣли рѣзными крышами, золотымъ переплетомъ карнизовъ, точеными столбами у входовъ. За ними въ просторѣ степномъ уже дрожало знайное марево серебристой вуали, а степь шуршала, стрекотала, звенѣла тысячами голо-

¹⁾ Хуруль—такъ въ Астраханской губ., гдѣ происходитъ дѣйствіе разсказа, зовутъ калмыцкіе ламаистскіе монастыри.

²⁾ Гелюнгъ—калмыцкій монахъ.

³⁾ Лапшикъ—одежда духовенства, широкій халатъ съ длинными рукавами, ярко-краснаго цвѣта.

⁴⁾ Джатакѣ—легкая лѣтняя шапка духовнаго лица изъ темной матеріи съ краснымъ или оранжевымъ верхомъ.

⁵⁾ Цаца—кумиръ, молельня въ монастыре.

⁶⁾ Хобуши-номъ—тибетская священная книга; въ нее записаны правила религіи, поученія, заповѣди, религіозные мифы и т. д.

⁷⁾ Хощъ—овчье пастбище съ загономъ.

совь, дышала сухимъ го-
рячимъ дыханьемъ полу-
денного часа.

Еще сквозь сонъ, въ по-
следнія сладкія минуты
его, слышалъ я около себя
тихіе горланные голоса,
будто голуби ворковали.
А проснувшись, увидаль
картины.

Недалеко отъ меня, на
чаканѣ, постланной прямо
на земль, на самомъ солн-
цепекѣ сидѣли, поджавъ
ноги, одинъ противъ другого,
Чимидѣ и другой кал-
мыкъ, свѣтскій, еще моло-
дой, съ широкимъ, без-
усымъ и неподвижнымъ
лицомъ, сильно вспотѣшій
и мокрый, но не снимав-
шій своего „хони-арсунъ-
девиля“ ⁸⁾). И напряженно
застыгшая фигура его,
и какъ будто нѣсколько
испуганное лицо, и даже
этотъ тяжелый мѣховой
тулупъ, который такъ не-
у克莱жъ топорщился у него
на спинѣ, выражали только
громадную благовѣйную
почтительность. Между ни-
ми замѣчательно сильно и
угарно дымилъ самоваръ,
стояли чашки, а на сите-
вомъ новомъ платѣ ле-
жало угощенье: красная,
линикія конфетки „малин-
ки“, сухая вобла и твердо-
каменные баранки. И по тому, что калмыки пили чай по-ру-
сски, я понялъ, что тутъ Происходить нѣчто важное и торже-
ственное, скорѣе всего—родственное свиданіе. Такъ оно и ока-
залось.

— Долго спиши, Антонка, — сказалъ мнѣ гелюнгъ съ суровой
ласковостью, едва улыбаясь и не выпуская изъ рта трубки. —
Вставай. Солнце давно гуляетъ.

Я всталъ, изъ глинняного рукомойника умылся холодной водой,
пахнувшей иломъ, и подошелъ къ калмыкамъ.

Молодой еще издали застѣнчиво и привѣтливо улыбался мнѣ,
и по этой улыбкѣ и по выраженію его лица я понялъ, что онъ
ни звука не говоритъ по-русски. И когда я, подойдя, сказалъ
ему „менде“, онъ отвѣтилъ мнѣ такъ, точно необыкновенно
обрадовался моему знанію единственного калмыцкаго слова:

— Менде, менде... Ирхай танъ эрджи бяна би... (Здравствуй.
Милости просимъ).

Пока я пилъ чай съ бараками, Чимидѣ рассказалъ мнѣ, что
это—его братъ Бубейка; прѣѣхалъ онъ изъ дальн资料 Эркетенев-
скаго улуса—повидаться, привезъ угощенье. Прѣѣхалъ онъ не
одинъ, а съ матерью. Но женщинамъ нельзѧ ходить за святую
ограду монастыря,—она тамъ... Онъ сурово и неопредѣленно
кинулся головой куда-то въ степь, и мнѣ почувствовалось, что
не очень доволенъ онъ моими вопросами... Да и вообще гелюнгу
не подобаетъ помнить родныхъ и близкихъ,—онъ уже отдалъ
себя другой жизни... И только такъ, слабость наша... Да и они
лѣзутъ.

— Будешь еще чай пить?—внезапно перебилъ онъ себя,
замѣтивъ, что я кончилъ.

Я поблагодарилъ и отказался. Тогда онъ съ тѣмъ же непри-
ступно суровымъ и недовольнымъ видомъ сталъ собирать
угощенье, завертывать его въ платокъ. А Бубейка, точно скон-
фузившись своего долгаго визита, торопливо поднялся, стала
вытирать руками мокрое лицо, одергивать тулупъ. Чимидѣ отнесъ
приношенія домой и вернулся.

Тогда Бубейка вдругъ сорвалъ съ головы шапку, лицо его
потемнѣло,—это значило, что онъ покраснѣлъ,—и съ рѣшитель-
ніемъ видомъ заговорилъ, дѣлая, видимо, громадные усилия для
того, чтобы перебороть свою мучительную робость.

— Нѣть,—рѣзко и сурово отвѣтилъ гелюнгъ, отвертываясь.

Бубейка, убѣждая, прижималъ шапку къ груди и продолжалъ
говорить торопливо, захлебываясь.

— Нѣть,—коротко бросалъ гелюнгъ.

Въ воркующемъ, голубиномъ голосѣ Бубейки появились умо-
ляющія, звонкія нотки отчаянія, онъ почти рыдалъ.

— Чего онъ хочетъ?—спросилъ я.

— Э, чего хочетъ...—Чимидѣ недовольно и пренебрежительно
махнулъ рукой.—Мать хочетъ, чтобы я пришелъ, показался.

— Такъ ступай,—посовѣтовалъ я, забывъ о строгомъ законѣ.

⁸⁾ Хони-арсунъ-девиль — мужской тулупъ изъ барабанной шкуры, прямого
покрова, чаще всего бѣлый съ цветными сафьяновыми укращеніями.



Перелетъ.

Весенняя выставка въ Академіи Художествъ 1918 г.

В. Эмме.

За это, видно было, онъ разсердился и на меня тоже. Не
знаю, что понялъ тутъ Бубейка, но онъ обратился ко мнѣ и
сталъ говорить что-то быстро, жалобно и моляще. И Чимидѣ на-
конецъ согласился.

Запахнувшись широкій красный лапшикъ, низко надвинувъ на
глаза шапку и все не выпуская изъ зубовъ трубки, медлитель-
нѣмъ и важнымъ шагомъ журавля пошелъ онъ къ валу, окру-
жающему хуруль. Вотъ именно за этотъ валъ, за эту границу
святаго монастыря и не могла переступить простая „бабага“
грѣшнаго міра. Я смотрѣлъ издали, а Бубей бѣгомъ обогналъ
брата и закричалъ, вызывая матерь.

Чимидѣ остановился далеко отъ вала и всталъ неподвижно съ
тѣмъ же суровымъ, равнодушнымъ и пренебрежительнымъ ли-
цомъ, похожій на красное изваяніе, такое дикое въ горячемъ,
радостномъ серебрѣ солнечнаго блеска. Ослѣпителенъ былъ этотъ
дрожащий блескъ, подъ нимъ свѣтло и пріятно зеленѣла степная
трава, за ней знойно желѣзли пески, какъ матовая мѣдь...

А изъ-за вала, изъ-за груды утрамбованной земли поднялась
старуха — точно тоже кусокъ этой темной земли, живая куча
тускло-пестрыхъ тряпокъ. Издали видѣлъ я ея коричневое, гли-
нистое лицо, сѣть глубокихъ морщинъ, узоровъ старости, выжжен-
ныхъ суровымъ бытомъ и безпощадными лучами солнца, выто-
ченныхъ знойными или морозно-жгучими вѣтрами, а среди нихъ
едва замѣтные, тоскливы и покорные глаза животнаго. Она посмотрѣла на сына—такого недостижимаго, далекаго, такъ близко
подошедшаго къ прекрасному и таинственному Буддѣ,—и опусти-
лась на колѣни.

Было зноно и тихо, кузнечики свиристѣли въ просторѣ степи,
и отъ нихъ только глубже и мягче казалась горячая тишина. И внезапно, какъ будто мягко лопнула жильная струна, старуха
заплакала, заголосила.

Гелюнгъ стоялъ все такъ же статуино-неподвижно, смотрѣлъ
куда-то за валъ, въ степь, а старуха тянула длинную, жалобную
волчью ноту и, всхлипывая, быстро бормотала какія-то выстра-
данные слова...

Но Чимидѣ сѣдалъ рукой знакъ отпущенія, повернулся и по-
шелъ. Бубейка, путаясь въ своеѣ длинномъ тулупѣ, догналъ
брата со счастливымъ и довольнымъ лицомъ и, наклонившись,
на ходу такъ быстро и крѣпко подѣловалъ его черную руку, что
щелкнуло, какъ изъ ружья.

III.

Вечеромъ, по непремѣнному обычью своему, сидѣли мы на крыль-
чикѣ дома, пахнувшемъ свѣжимъ тесомъ, курили зловонный та-
бачишко и мирно бесѣдовали по-степному: очень неторопливо и
съ большими перерывами. Но по нѣкоторымъ признакамъ видѣлъ
я, что не совсѣмъ спокоенъ святой пріятель мой.

Безъ всякой попытки съ моей стороны узнать что-либо, вне-
запно рассказалъ онъ мнѣ о себѣ. Родомъ онъ изъ Эркетенев-
скаго улуса—далеко отсюда. Пятеро было ихъ — дѣтей. Хорошо
было въ дѣтствѣ бродить по степи, кочевать по разнымъ

„аймакамъ“⁹), колыхаясь, будто въ люлькѣ, на горбу верблюда. Тогда все другое было: жарче лѣтомъ, холоднѣй—зимой. И травы были зеленѣе. И время шло быстрѣй. А семи лѣтъ отдали его сюда въ хуруль „манджикомъ“, поступникомъ...

Онъ опять помолчалъ, попыхивая трубкой, вспоминая, илидумаючи то свое, и совсѣмъ внезапно и будто даже сердито сказалъ:

— А бабу нельзя звать. Не понимаешь? Сестра, мать—все равно.

Я знала, что это запрещаетъ „Дасасила“, и все же спросила:

— Почему?

— А такъ. Баба темную воду поднимаетъ.

— Какую темную воду?

— А такую.

Все-таки я не поняла ничего, но промолчала. А онъ, оживившись, какъ только могъ оживиться этотъ потусторонній человѣкъ, спросилъ, уже ласкалъ меня привѣтливыми нотами голоса и обѣщаніемъ новой легенды:

— Хочешь, разскажу про темную воду?

— Что жь, я всегда хочу знать, что сочиняютъ люди, своюодные отъ литературы и равнодушные къ искушенію, придуманному Гуттенбергомъ.

И онъ сталъ рассказывать, непередаваемо коверкая русскій языкъ:

— Темная вода налита въ душу человѣка, но скрыта на днѣ я, невидима ни ему ни близкимъ его. Дальнѣмъ не видно тоже. Но придетъ день, она поднимется и зальетъ все. Это—большая бѣда, но правда. Знаешь, какъ ручей... Звенить ручей. Если онъ совсѣмъ чистый, значитъ, вся грязь и мутъ обильная на днѣ его, не совсѣмъ,—значитъ, еще держится. Чѣмъ чище, тѣмъ больше темной воды. Понимаешь? Помѣшай палкой въ мутной водѣ и не сразу поймешь, что стала она еще мутнѣй, ибо малое поднялось со дна. Помѣшай въ чистомъ, какъ слеза,—станетъ онъ темнѣмъ, такимъ мутнѣмъ, что даже страшно сдѣлается. Такъ и съ человѣкомъ. Понимаешь? Чѣмъ бѣлѣ лицо его, чѣмъ чище душа, тѣмъ глубже, значитъ, темная вода въ немъ, и больше, и страшнѣй, когда она хлынетъ. Это понять надо. Ты подумай и пойми.

IV.

— А теперь я тебѣ скажу о ханѣ Аюкѣ¹⁰). Быть такой ханъ въ нашей степи, не такъ давно—только двѣ сотни лѣтъ прошло. Самъ великий лама, что живеть въ Лхассѣ, въ джоконгѣ¹¹), при-
слалъ ему печать и грамоту: называй ханомъ.

Быть тогда у русскихъ замѣтательный царь Петръ, большой человѣкъ. И онъ тоже уважалъ хана: когда оставилъ свою страну и побѣхъ учиться, какъ хороший бакша¹²), въ Тибетъ, послалъ къ Аюкѣ слугъ: шибко просилъ охранять границы.

Никого и ничего не боялся ханъ Аюка. Быть бунтъ въ Астрахани, и ходилъ ханъ помогать русскому воеводѣ, а потомъ передумалъ, самъ разрушилъ слободы астраханскія—Ямурчевъ, Царевъ,—и много привезъ тогда Аюка сладкихъ армянскихъ ягодъ, персидскихъ ковровъ и персидянокъ привезъ онъ тоже. Были у нихъ глаза черные, а лица блѣдны и золотисты, какъ песокъ рѣчной, промытый водой и высушенный солнцемъ.

Быть Аюка свѣтлымъ ручьемъ въ степи Калмыцкой, и журчаль онъ по всему простору ея, по всѣмъ улусамъ—Эркетеневу, Богодохурову, Манычамъ, по всѣмъ племенамъ—по зюграмъ, дербетамъ, хойтамъ—и доходила слава его до Кумы и на сѣверъ—до Сибири, где живутъ братья наши. Свѣтло было лицо его. Свѣтло было на душѣ. И жилъ онъ широко и вольно—въ трудахъ, войнахъ и охотахъ, когда недѣлями не сходили съ его руки остроглазые соколы. И самъ быть онъ, какъ соколь, безъ почтенья и страха жиль вольный ханъ вольного народа—и были кругомъ него веселье и радость.

Все темное прогоняло онъ изъ дней жизни своей; только пряталось оно въ душѣ его, самому непримѣтное, и думалось людямъ: нѣтъ ласковѣе, нѣтъ добрѣ и сердечнѣе свѣтлого хана Аюки.

И ни въ чемъ не отказывалъ себѣ ханъ, ни въ какой радости, и печаль и неудовлетворенное желаніе темнить золото сердца человѣческаго и хрусталь души его.

Лучшіе кони играли въ табунахъ хана, лучшіе бараны наѣдали хвосты въ хошахъ—съ Черныхъ земель, отъ Кумы пригоняли ихъ, лучшіе верблюды бурились на лугахъ, персидскими коврами устилали онъ „ишкэ-геръ“¹³ свою, а горцы серебромъ покрывали сабли и пищали его. А когда молился ханъ Аюка, то гелюнги играли передъ нимъ въ „зюлгѣ“¹⁴) серебрянныя, и падалъ онъ ницъ передъ „бурханами“¹⁵ и „дарциками“¹⁶), сдѣланными въ Тибетѣ въ святой обители Громовой Свины—Ваджра Варааха.

⁹⁾ Аймакъ—территорія степи, принадлежащая определенной группѣ родовъ, на которые дѣлятся калмыки.

¹⁰⁾ Ханъ Аюка (1672—1734 гг.)—очень популярный въ степи ханъ, въ свое время пользовался громаднымъ влияніемъ. Тогда Петербургъ считался съ нимъ, Петръ Великий вѣль дружественную политику, Китай и Тибетъ посыпали къ нему посланства. Лѣтомъ 1723 года, отправляясь въ Дербентский походъ, Петръ Великий быть у него въ гостяхъ.

¹¹⁾ Джоконг—дворецъ въ Лхассѣ, где живетъ тибетскій дацай-лама.

¹²⁾ Бакша—начальникъ хурула, ученичъ монахъ.

¹³⁾ Ишкэ-геръ—кошемага калмыцкаго кибитка.

¹⁴⁾ Зюлгѣ—длинная труба,потребляемая гелюнгами при богослуженіи.

¹⁵⁾ Бурханъ—простонародное название божества, идолъ.

¹⁶⁾ Дарцикъ—икона, картина изображение божества, тибетскаго письма въ зеркальныхъ краскахъ и безъ перспективы.

И женщины любили ханъ Аюка, и онъ приносили радость ему. Были въ кибиткахъ его и персиянки и женщины изъ-за моря и съ горъ Армени—съ темными глазами и пушистой кожей, очень робкія и стыдливыя, были и наши калмычки, были и дикия марджа „кара-гашъ“, были и русскія полонянки—блѣдныя и большія, тихія и молчаливныя.

А когда встрѣтилась она простую рыбачку—блѣдную дѣвушку Эльзетѣ¹⁷⁾, то и ее взяла въ кибитку свою и любилъ равно со всѣми. И дальше больше, ибо всегда больше любимъ мы тѣхъ, кто приноситъ намъ печаль.

А случилось это такъ—совсѣмъ просто.

V.

— Гулять на охотѣ ханъ Аюка. Быть съ нимъ цорентъ-Дондукъ, сынъ его, долго прожившій на землѣ, и Досангъ, внукъ, наследникъ ханства, по обычаю старому, и другой внукъ Дондукъ-Омбъ, нѣжный, какъ дѣвушка, любимецъ его и воспитанникъ, найонъ¹⁸⁾, зансангъ¹⁹⁾ и воинъ.

Изъ ильменя возлѣ Ахтубы выгоняли они лебедей, и соколы въ небѣ были ихъ; надъ степью звенѣли крики лебедей и колокольчики соколовъ. А сверху легкій пухъ и перья падали, точно отъ облаковъ отрывались. Но одного лебедя не могъ взять ханскій соколь—сильныя крылья понесли блѣдную птицу—хана птицъ—надъ озеромъ, надъ камышами, дальние, за барханы, къ Ахтубѣ. Снизу слыхалъ ханъ, какъ гѣтвно кричать его соколь, и пустилъ за нимъ аргамака. И вогъ одинъ остался онъ среди стени, будто закодировалъ его блѣдый хань-итица, его и сокола, и вель за собой. Но видѣлъ ханъ Аюка: приближался берегъ Ахтубы,—а за Ахтубу улетѣли лебедь и соколь,—и встала на берегу. Горѣло сердце его. Хотѣлось догнать—увидать, какъ упадутъ на зеленую траву лебедь и соколь, въ крови и перьяхъ, въ смертномъ бою. Готовъ былъ вмѣстѣ съ конемъ броситься въ воду.

И вотъ тутъ-то увидала онъ Эльзета. Подъ берегомъ сидѣла дѣвушка въ лодкѣ, чинила сѣть, пѣсенку пѣла. Крикнула ханъ Аюка, вѣль перевезти себя. Испугалась она, бросила сѣть, подала лодку,—видно, узнала хана. Бросилась коня ханъ, вскочилъ въ лодку, самъ сталъ широко махать вѣслами, и быстрой рыбой метнулась лодка къ серединѣ рѣки. Но чѣмъ ближе подходила она къ тому берегу, тѣмъ тише двигалась: все смотрѣла ханъ въ лицо Эльзетѣ и забывалъ лебедя, и сокола, и охоту, и всѣхъ женщинъ своихъ, жившихъ въ богатыхъ кибиткахъ его.

Хороша, какъ свѣтлая луна, была Эльзета. Широко, спокойно было лицо ея и радовало глазъ, какъ степь весной, щеки розовѣли смуглѣ, какъ тыквы на бахчахъ, а въ нихъ пряталася носикъ, совсѣмъ будто птенчикъ въ гнѣздѣ. А такъ черны, такъ малы были глазки дѣвушки, будто у жаворонка, что смотрѣлъ и радовался Аюка и не могъ оторваться—и совсѣмъ опустились вѣсла въ рукахъ его.

Спросилъ ханъ, какъ зовутъ ее, гдѣ живеть, съ кѣмъ, кто есть въ семьѣ ея. И тихимъ голосомъ пугливо рассказалъ она все: живеть со старымъ отцомъ, мать умерла, быть у нея братъ, но еще давно взялъ его русскій начальникъ, отправилъ куда-то, сказалъ, будто къ самому царю. Все внимательно слушалъ Аюка, качала головой, и опять была радость въ нестарѣющемъ сердцѣ его и нѣжность къ дѣвушкѣ этой, точно къ мышке полевой.

И скоро, скоро послѣ этого дня надѣла Эльзета одѣжды, какія носятъ только женщины: шелковый „цегдыкъ“²⁰⁾ и „терликъ“²¹⁾, и щелкѣ для нихъ привезенъ быть изъ страны, гдѣ „множество одѣтыхъ въ блѣде“—Джая гаръ, съ золотыми петлями, „белъ“²²⁾, съ золотой парчей и вышивкой изъ серебра—„зекъ“²³⁾ на терликѣ, и красные „госонъ“²⁴⁾, и мѣшкѣ для кости—„шеверликъ“²⁵⁾, черные и золотые „тококъ“²⁶⁾ къ концамъ ихъ привѣсила. И жила она въ радости и покой.

И не зналъ онъ: въ ту минуту, когда до небесной ясности очистилъ онъ ручей души своей, подниматься сталъ черный иль со дна его, ибо ничто не пребываетъ въ неизмѣнности. Просила выхода темная вода изъ тайниковъ сердца его. Ибо забытое свѣтлый ханъ, что завѣщано не отдавать души и сердца своихъ въ руки женщины и не смотрѣть долго въ глаза ея. Ибо темной водой заливаются глаза, и уже другимъ, нѣвиданнымъ становится мѣръ. Такъ было. Слушай, слушай, братъ.

Занятный русскій царь тогда войной пошелъ—въ Дербентскій походъ—и въ гостяхъ былъ у хана Аюки. Можетъ, кичился передъ ханомъ. Но богатъ, богатъ быть русскій царь. Много цило съ нимъ коней и всадниковъ, хороши батыри, а другіе пѣши, кони и рушиницы были у нихъ дальнобойныхъ: привез онъ,

¹⁷⁾ Эльзета—собственное имя, очень рѣдкое, въ переводѣ значить „свѣтлая“.

¹⁸⁾ Найонъ—глава рода.

¹⁹⁾ Зансангъ—дворянинъ.

²⁰⁾ Цегдыкъ—длинная безрукавка, съ низко вырѣзаннымъ воротникомъ, во съ петлями, который на груди не застегиваются, а служить только какъ украшеніе и для вѣзванія платка.

²¹⁾ Терликъ—нижний кафтанъ, съ носимъ подъ цегдыкомъ, уже какого-нибудь отличного отъ цегдыка, цвета.

²²⁾ Бѣлъ—petlik для платковъ.

²³⁾ Зекъ—вышивка золотомъ, серебромъ или шелкомъ, нашиваемая на терликъ.

²⁴⁾ Госонъ—желѣзные сапоги на высокихъ каблукахъ изъ красной козлиной кожи.

²⁵⁾ Шеверликъ—калмычки прачутъ косы въ длинные шелковые мѣшкы, которые и называются шеверликъ. Терликъ и цегдыкъ носятъ только замужнія женщины.

²⁶⁾ Тококъ—металлическія украшенія, подавляемыя къ концамъ шеверликъ.

царь, пушки съ собой, и много было национовъ и зайсанговъ съ ними и все въ одеждахъ пестро-богатыхъ и въ золотъ и съ дорогимъ оружиемъ, и много другихъ людей, и дѣльныхъ и бездѣльныхъ, ученыхъ и воиновъ, иныхъ земель. И былъ даже калмычинъ среди нихъ, простой калмыкъ, какъ мы, только лицомъ чистый и нарядно одѣтый: стенные черные волосы свои скрывалъ онъ, носить чужие, бѣлые, будто много лѣтъ уже прожилъ на земль. А звали его Шоббургъ.

Ай, настали тутъ въ ханскомъ становищѣ веселые дни. Все-таки лестно было хану, что сидитъ у него высокий гость. И занятный русский царь на все смотрѣлъ глазами зоркими — радовался. Оба они были большие, грузные, совсѣмъ верблюды, оба — сильные и смѣлые, оба — могучи и далеко славные. То-то занятно было имъ поѣхать на крѣпкихъ коняхъ по зеленой степи, попить теплой аркы, посмѣяться! Хо! Занятно было.

VI.

— Въ тѣ дни шли въ веселомъ становищѣ хана только большія охоты, шумные ширы, красивые праздники. И про все, про всѣ дѣла свои забыть ханъ въ тѣ дни.

Такая душа была у него. Всю отдавалъ онъ ее тому, чему отдавалъ, ибо только тогда всѣмъ свѣтомъ горѣла она, иначе не омрачена. И сильной рукой отводилъ отъ головы своей мудрый ханъ то, что его отъ дѣла отвести можетъ.

На войнѣ гнали онъ робость, на охотѣ — жалость, въ неудачѣ — уныніе, въ горѣ — память о немъ. О тѣхъ, кто обидѣлъ его, забывалъ онъ скоро. Но и о тѣхъ, кого любилъ, забывалъ тоже. Ибо память такая омрачаетъ жизнь и отводить отъ радостного дѣла дня. И даже тѣхъ полонянокъ, съ которыми дѣлилъ онъ радость дней своихъ, не любилъ горячо ханъ сердцемъ своимъ, хотя и весель и милостивъ съ ними быть, чтобы не было печали, когда придетъ смерть ихъ и ядъ охлажденія.

Но объ одномъ забыть ханъ: если вошла уже въ сердце любовь къ женщинѣ, то вошли съ ней и темная ненависть, и жадный страхъ, и ядовитая ревность.

И въ тѣ дни даже обѣ Эльзетэ забыть ясный, сильный и справедливый ханъ.

И только ночью вспомнилъ. Тихо всталъ съ ковра своего, вышелъ изъ кибитки и пошелъ одинъ среди покоя и сна. Уже совсѣмъ ночь была, спала степь, спали птицы на ильменяхъ, спали верблюды въ степи и овцы на хощахъ, и въ кибиткахъ ханскихъ спали всѣ воины и слуги, наиона и зайсанги, монахи и гости, и видѣли хороши сны. Не спала только луна, свѣтила ясная — бѣлое молоко лилось надъ степью.

И преисполнилось сердце старого хана тишиной и любовью, и стала думать онъ, что новый парчевый цегдѣкъ подарить онъ утромъ Эльзетэ и „бючлячи“²⁷⁾ черной лисы. Тихо подошелъ онъ къ кибиткѣ Эльзетэ. И всталъ неподвижно. И такъ тяжело и больно стало ему, будто свинецъ упалъ на сердце. Потемнѣло отъ гибва лицо хана. И пересталъ видѣть онъ все: и степь, и луну, и становище свое, ибо темная вода хлынула изъ сердца и засыпала глаза его соколиные, и видѣть онъ только то, что видѣлъ.

На самомъ свѣту, возлѣ кибитки своей, на богатомъ коврѣ, на подушкахъ сидѣла Эльзетэ, а съ ней — русскій калмычинъ — бѣлоголовый Шоббургъ. Близко сидѣли они и говорили любовно, гладили ея руки онъ, она ему свои на плечи клала, и, какъ звѣзды, сияли радостью глаза ея.

Раненымъ лебедемъ закричалъ великий ханъ, волкомъ бросился на нихъ. Махнулъ большимъ ножомъ и, ничего не видя, ударила имъ Эльзетэ. И упала она прямо на нарядный кафтанъ Шоббура, безъ словъ и безъ стона, будто голубь, раненый стрѣлой.

Хотѣлъ ханъ и Шоббура ударить, но сердце не выдержало. Темно стало въ глазахъ его, шумно въ головѣ, пропали силы, и самъ упалъ онъ, будто трава слабая, будто ребенокъ, что долго плачетъ на рукахъ матери своей. А какой крѣпкій былъ ханъ!

Пришли люди, отнесли въ кибитку хана, и всю ночь и день проводилъ онъ тамъ, совсѣмъ одинъ — никто не смѣлъ войти къ нему. Только вечеромъ ужъ пріѣхалъ къ нему самъ лама — самъ великий старый лама народа Калмыцкаго — и вошелъ и долго пробылъ и сказалъ горькую правду ему, мудрому и неразумному, забывшему законъ отдаленія отъ женщины.

А правда въ томъ была, что вѣдь роднѣй братомъ Эльзетэ приходился Шоббургъ. Это его, Шоббура, въ дни дѣства взялъ русскій начальникъ и отоспалъ къ парю. А теперь нашла Эльзетэ брата своего и пребывала съ нимъ въ чистой радости. Вотъ какъ случилось.

Но тихъ, печаленъ сталъ съ тѣхъ поръ великій ханъ Аюка. Одиннадцать лѣтъ прожилъ онъ потому, но развѣ могла быть такъ же свѣтла и радостна жизнь его, если хоть разъ поднялась въ сердцѣ темная вода?

Вотъ что было. И это — правда. Какъ же хочешь ты, чтобы радостью исполнился человѣкъ, да еще гелонгъ, при видѣ женщины и бѣжалъ къ ней? Вѣдь это она отводить настъ отъ вѣчной тишины и темной водой благостный свѣтъ духа нашего заливаетъ

²⁷⁾ Бючлячи — женская лисья шапка.

Всадникъ.

Въ гранитномъ городѣ, гдѣ новы
Преображенія мечты,
Есть всадникъ темный и суровый.
Видѣніе дикой красоты.
Въ огнѣ предсмертныхъ вдохновеній
Простеръ онъ руку на закатъ,
Гдѣ крики страха и смятеній
Сливались съ пѣсней баррикадъ...
Онъ видѣлъ все и слушалъ жадно.
Кто могъ сказать, что било въ немъ?
На что рѣшился безпощадный
Титанъ съ разъяреннымъ конемъ?..
Но онъ молчалъ и терпѣливо
Смотрѣлъ на синюю Неву —
Сто лѣтъ проспалъ — не снилось диво,
Проснулся — диво наяву!
... И только полночь раздѣлила
Часы, летѣвшіе во снѣ,
Нашелъ онъ дерзостную силу
И засмѣялся на конѣ...
То былъ ли смѣхъ ночного страха,
Зловѣщій, темный и болѣй?
Грозилъ ли онъ огнемъ и плахой?
Дѣлилъ ли вызовъ со страной?

Отъ смѣха дрогнулъ конь уснувшій.
Сердито голову поднялъ,
Какъ будто сонъ давно минувшій
Въ пустую вѣчность провожалъ.
Лишь разъ смѣялся призракъ скальный,
Лишь разъ смотрѣлъ онъ черезъ сны
Туда, гдѣ силуетъ печальный
Туманной крѣпостной стѣны,
На мигъ грознѣе, выше, строже,
Какъ будто вспоминалъ года,
И вновь застылъ, теперь, быть-можеть,
Уже умершій навсегда!
Пустынна площадь... Камень много,
Такъ много знаетъ, но молчитъ,
Нева съ проснувшейся тревогой
Стучится въ неживой гранитъ,
И вѣтеръ, зыбля на каналахъ
Лучи ночнаго багреца,
Играетъ флагомъ темно-алымъ
На крышѣ плѣннаго дворца;
И подъ луною — жутко-бѣлый,
Въ узорѣ остраго вѣнца,
Молчить гигантъ заледенѣлый,
Съ надменнымъ лицомъ мертвѣца!

Н. Багрянцевъ.

Содержание. ТЕКСТЪ: Дмитрий Иванович Писаревъ. (Къ пятнадцатилѣтію его кончины). В. Евгеньева-Максимова. — Писаревъ въ тюрьмѣ. В. Евгеньева-Максимова. — Итальянское Каприччио. Рассказъ Н. Черешнева. — Пѣсни. Стихотвореніе Павла Орѣшникова. — Темная вода. Калмыцкая легенда. Антова Амнузя. — Всадникъ. Стихотвореніе Н. Багрянцева.

Рисунки: Портретъ Д. И. Писарева. — Автографъ письма Д. И. Писарева къ Н. А. Некрасову. — Весенняя выставка въ Академіи Художествъ 1918 г. Работы А. Кайгородова, В. Зѣтсева, П. Субботина, Е. Малешинской, Е. Шенданзинской, Н. Серѣбрева, П. Михайлова, П. Смуровича, А. Улья, Г. Машизера, В. Эмса. Къ этому № прилагается „Полного собранія сочиненій М. Горькаго“ книга 20.

ЖУРНАЛ

1918 г.

XLIX г.
издания.

№ 28.

Выходит ежемесячно (52 № въ годъ), съ приложениемъ 52 книгъ „Сборника“, содержащихъ сочиненія А. И. ГЕРЦЕНА, М. ГОРЬКАГО, В. Г. КОРОЛЕНКО, П. БЕРАНЖЕ и Н. И. НАРЬЕВА („Великая Французская Революція“).

Выданъ 13 июля 1918 г.

Подписанная цѣна съ дост. и перес. на годъ—36 р., на $\frac{1}{2}$ г.—18 р., на $\frac{1}{4}$ г.—9 р. Цена этого № (безъ прилож.)—40 к., съ перес. 50 к.

Главная Контора и Редакція: Петроградъ, улица Гоголя, № 22.

Перепечатка иллюстраціи и текста воспрещается. (Законъ 20-го марта 1911 г.).

Китаевъ монастырь.

Между бѣлыми песками,
Будто въ грудахъ серебра,
Тихо плещутъ подъ горами
Волны синія Днѣпра.

А съ горы, двумя горбами
Заслонивъ лазурь небесъ,
Надъ текучими водами
Наклонился темный лѣсъ.

Въ томъ лѣсу, огнемъ пылая,
Какъ вечерняя заря,
Рдѣютъ, въ зелени мелькая,
Десять главъ монастыря.

И въ святой его оградѣ,
Подъ охраной темныхъ плитъ,
Въ чуждой смертному отрадѣ,
Много схимниковъ лежитъ.

Вотъ одинъ—гласитъ могила—
„Спалъ въ гробу пятнадцать лѣтъ“.
Что за вѣра! Что за сила!
И тебѣ лѣ награды нѣтъ?..

Но пускай неумолима
Безотвѣтная судьба:
Все же подвигъ—ваша схима,
Ваша долгая борьба!

Чтѣ предъ вами Днѣпры и горы,
Голубыя небеса,
Густолистственные боры
И кудрявые лѣса!—

Мимолетныя картины,
Шутка легкая Творца,—
Вы же—духа исполнены—
Дѣти вѣчнаго Отца!

18 июля 1878 г.

С. Андреевскій.



Крестный ходъ.

Передвижная выставка 1918 года.

В. Маковскій.

Законъ.

Рассказъ Ивана Островного.

I

Яблоки, яблоки... Ихъ обожали въ нашемъ семействѣ. Это было, должно быть, въ крови.

Нашъ огромный садъ былъ полонъ яблонь. Плодовъ собирали цѣлью горы и чего только съ ними не дѣлали! Сушили, вялили на солнцѣ, мариновали, квасили вмѣсть съ капустой, варили варенье, компоты, сохраняли ихъ въ сухомъ помѣщѣніи свѣжими.

И въ домѣ постоянно пахло яблоками, и это запахъ былъ для всѣхъ настолько же необходимъ, какъ воздухъ, который былъ имъ пропитанъ.

А когда они цвѣтили въ началѣ мая, тогда казалось, что въ саду день и ночь происходитъ какой-то таинственный праздникъ. Кривыя, корявыя вѣтви, сице недавно казавшіяся такими неуклюжими, сплошь одѣвались въ нарядныя бѣлыя одежды. Листья еще не появились, и потому всюду одна только чистая близость.

Сладкий ароматъ пронизываетъ воздухъ и опьяняетъ недавно прилетѣвшихъ съ зимовья птицы, и—птицы—онъ носятся надъ садомъ и заливаются на всѣ голоса.

А внизу изъ едва оттаившей влажной земли тянется къ бѣлымъ цвѣтамъ нѣжно-зеленая травка.

Запахъ яблокъ не прекращался въ нашемъ домѣ всю зиму, но, съ приближеніемъ весны, въ немъ замѣчался какъ бы какой-то переломъ, какъ будто изъ него исчезала душа. Пахло компотомъ, вареньемъ, слышался кисловатый запахъ сушеныхъ яблокъ, но нечувствовался уже живой ароматъ „антоновки“, которая дольше не могла выдержать. То, что осталось еще, попортилось и было отдано свиньямъ.

А когда приходила весна и яблони въ саду вдругъ начинали походить на невѣсту, нарядившуюся къ вѣнцу, наступало запретное время. Какимъ-то страннымъ образомъ въ царство яблокъ внѣдрялось понятіе грѣха.

Да, вотъ послѣ многодневнаго праздника желѣзли брачныя одежды яблонь, и увидѣши лепестки падали на землю, а на мѣстѣ ихъ появлялась нѣжная завязь плодовъ. За пею тщательно ухаживалъ садовникъ Прохоръ.

Съ утра до вечера, изъ глубокаго колодца, при посредствѣ безконечной цѣнѣ, составленной изъ сплюснутыхъ ведеръ, да при помощи пары тощихъ, ни на что другое уже негодныхъ, старыхъ лошадей, выкачивалась вода.

Изъ ведеръ она выливалась въ широкій бассейнъ, а оттуда, по множеству развѣтвлявшихся по всему саду канавокъ, тихо журча, струилась по легкому скату, орошая по пути корни деревьевъ.

Хорошо взрытая земля жадно поглощала влагу, отъ которой наливались юные плоды, распухали, крѣпли, позамѣтно превращаясь въ молодыя яблоки.

И не успѣешь опомниться, какъ они уже превратились въ настоящія яблоки, палились сокомъ, окрасились румянцемъ, окружились въ формахъ.

Сколько сортовъ, и не перечесть. Продолговатыя, круглыя, сплюснутыя, ярко-красныя и блѣдно-желтыя, кислые и сладкія, упорныя, не желающія поспѣвать раньше осени, и легкія скоропрѣлѣ, почти готовыя уже въ юль.

Прохоръ зналъ всѣ ихъ мудреныя названія и любилъ проявлять свои познанія. Но въ моихъ глазахъ это пустые звуки. Всѣ яблоки хороши, всѣ обладаютъ одинаковой способностью доставлять мнѣ наслажденіе, и всѣ ихъ я готовъ истреблять съ однокашковымъ аппетитомъ.

Но въ томъ-то и дѣло, что это было нельзѧ, это было запрещено, это былъ грѣхъ. Почему это были грѣхи, я не зналъ, но всѣ, рѣшительно всѣ подтверждали это.

Мой отецъ слишкомъ рѣдко бывалъ дома, чтобы я могъ осыпомиться обѣ его мнѣній на этотъ счетъ. Да къ тому же и вообще онъ представлялся мнѣ существомъ почти недоступнымъ.

Онъ былъ всегда поглощенъ своими сложными дѣлами. Онъ арендовалъ землю у трехъ помѣщиковъ и все въ разныхъ мѣстахъ.

Мы жили при большомъ селѣ Балканы. Да, такъ оно почему-то называлось, хотя лежало совсѣмъ не на Балканскомъ полуостровѣ, а въ южной части Харьковской губерніи. А отецъ всегда былъ въ разѣздахъ. Онъ сбывалъ и пожиналъ и тамъ и здѣсь, и лю-

биль за всѣмъ присматривать самолично. У него были стада овецъ, и это тоже требовало отъ него заботъ.

И все лѣто я видѣлъ его только по воскресеніямъ, когда онъ



Базарь.

Миниатюра (въ натуральную величину) И. Колесникова.
Передвижная выставка 1918 года.

прѣѣзжалъ раннимъ утромъ и оставался уже цѣлый день и ночь, а въ понедѣльникъ печезалъ раныше восхода солнца.

Зимой же у него были разѣзы другого рода,—то въ Харьковъ, то въ Полтаву, то въ Одессу, то въ Екатеринославъ. Хлѣбъ, подсолнухи, овечья шерсть и множество другихъ предметовъ, все это нужно было пристроить, да вѣ-время, да ио наилучшимъ цѣнамъ.

Казалось, что человѣкъ этотъ не жилъ, а только хлопоталъ. Съ нимъ ни о чёмъ и говорить нельзѧ было, какъ только о косаряхъ и жницахъ, о пастикахъ и овцахъ, обѣ урожай.

Потомъ я узналъ, что въ этомъ и была его жизнь. Что его кипучая натура въ этихъ разнообразныхъ дѣлахъ находила свое го рода творческое вдохновеніе, и что, словомъ, онъ отъ такой жизни не только не страдалъ, а наслаждался ею.

Но моя мать и въ особенности бабушка, которая ужъ навѣрное знала все, что можно и чего нельзя,—такая у нея была голова—всѧ бѣлая, а лицо все въ морщинахъ,—рѣшительно утверждала, что есть яблоки до Спаса, то-есть до 6-го августа, грѣхъ.

Я привыкъ безусловно вѣрить всѣмъ правиламъ, какія преподавали мнѣ эти двѣ почтенные женщины, къ тому же я былъ привязанъ къ нимъ и не могъ даже представить себѣ, чтобы онъ могли ошибаться.

Наконецъ, это подтверждалъ рѣшительно всѣ,—и косари, и жницы, и машинистъ Рыжинъ, возившій съ паровой молотилкой,—всѣдѣствіе чего лицо и руки у него всегда были черныя отъ сажи, а бѣлки глазъ, благодаря этому, пріобрѣтали демоническій характеръ,—и даже самъ садовникъ Прохоръ, человѣкъ несомнѣнной ученоosti, знавшій множество самыхъ мудреныхъ словъ, которыми онъ называлъ деревья, плоды, цветы и травы. Грѣхъ и только. До Спаса яблоки есть грѣхъ. Этотъ законъ вѣсть наѣть моей головой и, скажу прямо, причинялъ мнѣ великія страданія.

Можеть-быть, ни въ комъ изъ нашей семьи такъ ярко не была выражена страсть къ яблокамъ, какъ именно во мнѣ. Однѣ запахъ ихъ приводилъ меня въ сладостный трепѣсть. И мнѣ было предоставлено, даже рекомендовалось цѣлые дни проводить въ саду, гдѣ были широкія аллеи и можно было бѣгать, сколько угодно, и гдѣ на развѣтвленыхъ вѣтвяхъ яблонь висѣло неисчислимое множество плодовъ.

Своей солидной тяжестью они тянули книзу вѣтви, часто касаясь моей головы и плечъ, а иные прямо лѣзли въ ротъ.

Но грѣхъ, грѣхъ... Ради грѣха я долженъ быть отворачиваться отъ нихъ.

Часто они не выдерживали собственной тяжести, отрывались отъ вѣтви и съ гулкимъ звукомъ падали на землю.

Когда же случалось, что по саду пронесется вихрь, сперва въ одну сторону, потомъ въ другую, потомъ начинать круить и

вертеть во все стороны, и вздрагивают и раскачиваются старые яблони, и стволы их трещат, как мачты на корабль во время бури,—тогда тяжелые яблоки десятками, сотнями громыхаются на землю. Сперва отрываются от ветвей спелые, а вслед за ними летят и такие, которым по-настоящему еще надо висеть да висеть, да наливаться сладким соком.

Они тут, у меня под ногами, целыми кучами лежат,—вкусных, манящих, соблазняющих, но есть их все-таки нельзя, грех.

После бури выбегают из дома работницы, разстилают ряды и забираются в них нападавшие яблоки. О, я видел, как они прятали их себе за пазуху и как затыкали, отвернувшись, где-нибудь в уголок, подносили их ко рту, и их белые острые зубы вонзались в свежее, сочное, ароматное мясо плода.

В такие минуты я чувствовал оскомину и зависть, но я твердо знал, что легкомысленные работницы, очевидно, не знают истинных правил и грызть, просто грызть и за это будут наказаны в свое время. Я же твердо держалася правила, преподанных мне матерью и мудрой бабушкой. Страдаль, но держался.

Но зато в день Спаса, 6-го августа, я с лихвой бывал награждаешься терпением. В этот день было самое трудное испытание, так как нужно было еще целиком выстоять в церкви обедню.

Еще спасибо местному батюшке,—он любил обедню начинать рано, а служил ее ускоренным темпом. Но церковь в этот день представляла для меня последний, но зато и самый мучительный соблазн.

Быть обычай, что бабы-прихожанки приносили с собой узелки—просто обыкновенные платочки, в которых содержались яблоки. Их приносили для свечения, но значительную часть вынимали и складывали посреди церкви, — это был дар церковному причту. И там лежала огромная куча самых разнообразных яблок, спелых, сочных и ароматных.

Запах от них наполнял церковь. Напрасно с ними пытались соперничать ладаны от кадильницы, в виде облака распространявшийся по церкви. Он был бесполезен побороть этот живой аромат, дружно испускаемый разом несколькими сотнями только что спелых и сорванных с дерева плодов.

И я не выдерживал. Когда мне надоедало стоять в церкви, я выходил в ограду, где весело проводили время деревенские парни и девчата. Бездонные карманы шаровар у парней были полны яблоками, и ими они одаривали девчата.

Потом они начинали перебрасываться яблоками, как мячами, завязывалась игра, раздавалась смех и визг.

Меня, конечно, затащила вся деревня, и когда я появлялся в своей коротенькой куртке и коротких штанах, с большими накрахмаленными воротником, с благообразно причесанными волосами на голове, то сейчас же все спешно засвидетельствовали мое свое расположение, и со всех сторон ко мне протягивались руки, предлагавшие каждая по яблоку.

И мои карманы вдруг распухали, иходить становилось тяжело. Я старался уменьшить эту тяжесть, жадно истребляя яблоко за яблоко. Всё теперь уже не было в этом греха.

Идя домой из церкви, я жевал яблоки. Дома я забирался в сад и целый день предавался этой яблочной оргии. Теперь уж наше моей головой не висел дамоклов меч греха, меня только предостерегали, чтобы я не слишком набрасывался на яблоки и не испортил себе желудка.

Но это уже было не закон, а только софта, который можно было и не исполнить. К вечеру у меня повышалась температура, щеки мои бледнели, я терял аппетит, и начиналось формальное разстройство желудка, которое подымало на ноги весь дом и всё мышало спать ночью.

И это повторялось ежегодно в праздник Спаса, 6-го августа.

II.

Мне было десять лет, когда созрела мысль о том, чтобы меня отдать в город, в гимназию.

Но до сих пор как-то никто не думал

о посвящении меня в таинства науки. Я рос на воле. Всё заботились о моем здоровье и усердно внушали мне разные, необходимые всякому человеку, правила жизни.

Правда, я умел читать и даже писать, хотя последнее было в высшей степени условно, так как представлялось головной задачей разбирать мои письма. Я умел кой-как обращаться с цифрами, но очень слабо. И всему этому я научился почти случайно.

Но, в сущности, в голове моей стоял ничем ненаправляемый мрак. И когда созрела мысль об отдаче меня в гимназию, естественным было приглашение в деревенского мудреца, который приготовил бы мою голову к восприятию школьной науки.

И такой мудрец нашелся. Он приехал и поселился у нас среди зимы, и на обязанности его лежало к концу августа обработать мою головупримитивно к программе первого класса гимназии.

До приезда его я порядочно-таки побаивался этого нового элемента в моей жизни. То, что я до сих пор слышал от окружавших меня людей о науке, не внушало мне ни малейшей симпатии к этой почтенной особе. Сухая, строгая, требовательная, неумолимая и серьезная-пресерьезная.

Мне казалось, что и этот человек, который должен на днях приехать, такой же точно, как она. Он представлялся мне длинным, тонким, с желтым вытянутым лицом, на котором ни разу в жизни не играла улыбка, с толстыми, скрипучими голосом.

И вот он приехал. Не знаю, как это называть: разочарование в смысле ожиданий, но вместило в себя изумление и прямо-таки очарование тем, что оказалось. Ничего похожего на мое представление.



Супруги.

Передвижная выставка 1918 года.

V. Makovskiy.

Ивань Степанович Костенко, киевский студентъ, лѣтъ двадцати двухъ, среднаго роста, тонкій, но какой-то неуклюжій, хотя очень подвижной, даже вергливый. Лицо некрасивое—въ веснушкахъ, но милое, сразу мнѣ понравилось. Маленькие свѣтлые усики, голубые глаза, прямые блесковатые волосы, длинные, сами, безъ прически, стремившіеся назадъ.

Онъ былъ не въ формѣ, а въ коричневомъ пиджакѣ, въ общемъ благородномъ, но, какъ видно, первомъ попавшемся, купленномъ въ магазинѣ готовыхъ вещей.

Прежде всего изумило меня то обстоятельство, что въ немъ отсутствовала даже тѣла какой бы то ни было строгости и серьезности. Онъ какъ-то сразу завеселилъ меня. Какъ только увидѣлъ, сказали:

— Ахъ, вотъ этотъ самый мальчикъ? Вася?

Взялъ меня обѣими руками подъ мышки и приподнялъ на воздухъ. Онъ былъ очень крѣпкій и сильный. Черезъ полчаса мы съ нимъ уже бѣгали по садовой дорогѣ и играли въ сбѣжки и въ первый же день отлично познакомились.

Вечеромъ я долго-долго не могъ заснуть. Я быль весь какъ-то приятно возбужденъ. Всѣ мои представлѣнія, по крайней мѣрѣ въ этой области, перевернулись.

Прежде всего, гдѣ же наука? Ничего, хотя сколько-нибудь похожаго на нее, то-есть на мое представлѣніе о ней, я не видѣлъ въ Иванѣ Степановичѣ. Ни малѣйшей сухости, ничего назойливо-повелительного, милый, премилый товарищъ, отлично играетъ въ сбѣжки. Знаетъ множество смѣшныхъ штукъ, ловко прыгаетъ, и съ нимъ такъ весело и смѣшино. Я цѣлый день заливался смѣхомъ.

Обѣ ученіи не было сказано ни слова. Но это понятно—первый день, нельзя же такъ сразу огоропить человѣка.

И вотъ, когда я доходилъ въ своихъ мысляхъ до этого момента, то мнѣ становилось немного страшно. Вотъ,—думалъ я,— завтра появится на сцену наука, и мой Ивань Степановичъ сразу перемѣнится, станетъ скучнымъ, серьезнымъ и суровымъ. Мнѣ уже было жаль лишиться сегодняшняго Ивана Степановича.

Но я и не лишился его. На слѣдующій день мы занимались наукой, но въ этихъ занятіяхъ тоже не было ничего похожаго на моножданія. Ивань Степановичъ и это умѣлъ сдѣлать веселое и мило.

Даже на что ужъ ариѳметика—скучная, важная наука, а онъ и съ нею обращался какъ-то по-своему. Задачи выдумывалъ смѣшныя; эти купцы, продающіе апельсины, зайцы, про которыхъ почему-то известно съ точностью, сколько они вѣрстъ и саженей пробѣжалъ туда, а сколько обратно, и разные другие ариѳметические персонажи, вѣрѣ были такие же веселые, какъ онъ, и дѣлали свои дѣла съ прибаутками и со смѣхомъ.

И наука, благодаря этому, входила въ мою голову какъ-то незамѣтно. Я почти не улавливалъ, когда кончался урокъ и начиналась игра. Онъ незамѣтно переводилъ одно въ другое, и одно было похоже на другое.

Великолѣпного репетитора послала мнѣ судьба. Но кроме всего другого, Ивань Степановичъ совершенно незамѣтно передѣльвалъ мои твердо установленія понятія. Долженъ сказать, что въ этомъ отношеніи я былъ точной копіей даже не матери, а главнымъ образомъ моей бабушки.

Помни, когда зима подходила къ концу, какъ-то передъ вечеромъ мы стояли за воротами, я и Ивань Степановичъ. Онъ поднялъ голову и сказалъ:

— Ба, новорожденный мѣсяцъ!

Я взглянулъ и увидѣлъ тоненький серпъ луны и вдругъ стремительно бросился въ калитку и въ домъ. Черезъ минуту я уже вернулся, а Ивань Степановичъ съ удивленіемъ смотрѣлъ на меня.

— Куда это вы бѣгали? Я думалъ, что у васъ разстроился желудокъ, но для этого вы слишкомъ скоро вернулись.

Я разсмѣялся.

— О, нѣтъ, это совсѣмъ не то. Но я же увидѣлъ новый мѣсяцъ, а когда увидѣши новый мѣсяцъ, то надо сейчасъ же подержаться за что-нибудь золотое. Вотъ я и сѣѣгъ. У папы въ кабинетѣ, на стойѣ, есть разрѣзальный ножикъ и на немъ золотыя буквы папинаго имени...

— Ахъ вы, бабушка Дарья Матвѣевна!—промолвилъ Ивань Степановичъ и покачалъ головой.

Дарье Матвѣевной звали мою бабушку, и мнѣ показалось, что онъ какъ бы неодобрительно произнесъ это имя.

— Отчего я бабушка?—спросилъ я.

— Оттого, что думаете, какъ бабушка.

— А развѣ это нехорошо думать, какъ бабушка? Развѣ бабушка думаетъ нехорошо?

— Нѣтъ, бабушка думаетъ хорошо—для бабушки. Ей семидесять лѣтъ, значитъ, она шестьдесятъ лѣтъ тому назадъ составляла свои понятія. Тогда многіе еще серьезно думали, что надо держаться за золото, когда видишь новую луну. А теперь, когда вы начинаете жить, Вася, уже такъ нельзѧ думать. Намъ съ вами это уже не годится.

— Почему не годится?

— Нѣтъ, вы лучше объясните мнѣ, почему это годится!

— Я не умѣю объяснить.

— Я вамъ помогу. Вотъ вы побѣжали и подержались за золото. Почему именно за золото?



Товарищъ. (Въ Крыму).

В. Маковскій.

Передвижная выставка 1918 года.

— Потому что тогда у меня всегда будетъ много золота. Такъ говорить бабушка.

— А прошлый мѣсяцъ, когда была новая луна, вы тоже держались за золото?

— Прошлый мѣсяцъ, нѣтъ. А вотъ два мѣсяца назадъ—да, я былъ съ папой и когда увидѣлъ новую луну, подержался за цѣпочку его часовъ—она золотая.

— Ну, и что же? Много у васъ было послѣ этого золота?

— Какого золота?

— Все равно, какого. Денегъ или такъ, въ другомъ видѣ.

— Не было никакого.

— Значить, это ни къ чему не повесло, что вы поддержались за цѣпочку?

Я впала въ задумчивость. Приходилось сдѣлать выводъ: ни къ чему.

— А вы очень жаждете, чтобы у васъ было много золота?—спросилъ Ивань Степановичъ.

— А зачѣмъ? Мнѣ не нужно золота, я и не люблю золотыхъ вещей. По-моему, сталь краснѣѣ—она такая темная и блеститъ.

— Такъ зачѣмъ же въ такомъ случаѣ вамъ держаться за золото?

— Такъ это же бабушка...

— Ну, бабушка, должно-быть, любить золото, ей это и подходитъ, а вамъ, милый мой Вася, ни къ чему...

Я бытъ разбѣгъ, это было ясно. Въ другой разъ—это было уже весной—въ саду рабочие окапывали деревья. Ивань Степановичъ раньше меня ушелъ въ садъ, я зачѣмъ-то задержался въ домѣ.

Когда я пришелъ въ садъ, то сразу даже не разглядѣлъ его. Потомъ увидѣлъ, что онъ рядомъ съ рабочими, съ лопатой въ рукахъ, преусердно вскальваетъ землю.

— Что вы дѣлаете, Ивань Степановичъ?—воскликнулъ я почти съ ужасомъ.

— Оканываю дерево, Вася.

— А развѣ это можно?

— Но вѣдъ вы же видите, что я это дѣлаю, значить, можно. Я пожаль плечами и молча глядѣлъ на его работу. Поработавъ съ четверть часа, онъ прислонилъ лопату къ дереву, снялъ фуражку и вытеръ свой вспотѣвшій лобъ.

— Великолѣпно чувствуя себя. Это лучше всякой гимнастики,—сказалъ онъ.—Вотъ бы вамъ, Вася, поработать такимъ образомъ. Вы стали бы тогда живѣѣ. Только вамъ надо лопатку полегче.

— Мнѣ нельзѧ, Ивань Степановичъ,—убѣжденно сказалъ я.

— А почему же?

— Такъ. Потому что я не работникъ. Мнѣ это не годится.

— А—а.. Ну, на этот разъ вы ужъ не бабушка, а Прохоръ, садовникъ Прохоръ...

— Почему я Прохоръ?

— Ну, да. Это же обѣ думаетъ, что „панычу не годится работать, какъ всякому работнику“.

— Да, онъ такъ говорилъ.

— А почему же, собственно, не годится?

— А так... Не годится.

— Гм... Значить, вы просто повѣрили Прохору. Но вамъ навѣрно страшно хочется покопать землю лопатой?

— Хочется. Еще какъ!

— И, кромѣ того, это полезно для здоровья.

— Да, полезно.

— А какой вредъ отъ этого ожидается?

— Я не знаю... Можетъ-быть, мозоли...»

— Ну, это вредъ маленький, и его можно не допустить. Надо только умѣючи держать лопату. Вотъ у меня мозолей нѣть. И такъ: польза большая, удовольствіе огромное, а вредъ маленький, и даже совсѣмъ можно безъ вреда. Что жъ остается отъ Прохора?

— А почему же Прохоръ такъ говоритъ?

— Потому? Обѣ этомъ надо подумать. Я думаю, вотъ почему...

И онъ прочиталъ мнѣ маленькую лекцію. Прохору было за пятьдесятъ лѣтъ. Онъ былъ мальчикомъ, когда было еще крѣпостное право. Тогда баринъ и барсکія дѣти считали себя какими-то божествами, и крѣпостные люди, надъ которыми они были властны, тоже такъ считали ихъ. И тогда думали, что барину, какъ нѣкому божеству, не годится работать наравнѣ съ крѣпостными мужиками, человѣкомъ низшей породы, рабомъ. Теперь давно уже нѣть рабовъ, и работу всѣ перестали считать рабскими дѣлами. Теперь всѣ работаютъ и за работу не презираютъ, а уважаютъ. Но Прохоръ смотритъ на все такъ, какъ научился смотрѣть тогда, въ дѣствѣ, въ крѣпостные времена, иначе не можетъ и г. д.

И подобныхъ вещи случались на каждомъ шагу. Сперва мнѣ было не легко разставаться со своими понятіями, я немного упирался, хотя въ концѣ концовъ Иванъ Степановичъ побѣжалъ. А потомъ это стало дѣлаться легко, и, послѣ полугодовой жизни вмѣстѣ, Иванъ Степановичъ порядочно-таки передѣлалъ мою голову, не говоря уже о томъ, что онъ, почти незамѣтно для меня, начинилъ ее тѣми по-знатіями, которыхъ были необходимы для моего поступленія въ гимназію.

III.

Однакожъ, изъ всѣхъ моихъ убѣжденийъ самое твердое было то, которое касалось яблокъ. Можетъ-быть, это происходило отъ того, что убѣженіе это принесло мнѣ уже не мало мученій, такъ какъ, каждый годъ въ теченіе лѣта я мучилъ себя воздержаніемъ отъ яблокъ, находясь среди яблокъ и постоянно искушеніемъ ими.

Совершенно такъ же было и теперь. Когда я опытными глазомъ замѣтилъ, что нѣкоторыя отдельныя яблоки начинаютъ поспѣвать, мнѣ страшно захотѣлось сорвать одно изъ нихъ и съѣсть. Но я, разумѣется, воздержался, и это была жертва, это было сердзное лишеніе.

Уже въ саду около яблонь носился своеобразный упомянутый запахъ посѣщающихъ плодовъ, щекотавшій обоняніе. Но мнѣ просто не приходила въ голову мысль, что можно нарушить „законъ“, такъ крѣпко заѣвшій въ моемъ мозгу. И вотъ однажды, придя въ садъ, я увидѣлъ Ивана Степановича, сидѣвшаго на камнѣ и въ засосѣ уплетавшаго яблоко. Я подошелъ, остановился и отъ изумленія ничего не могъ сказать. Помилуйте, мой учитель—и вдругъ такое явственное нарушеніе „закона“.

А онъ поднялъ голову и весело взглянулъ на мене.

— А, Вася! Представьте, какъ мнѣ повезло! Я открыть цѣлое дерево скоростѣлокъ, на немъ почти уже всѣ яблоки поспѣли, и какія вкусныя! Хотите?

И онъ, вынувъ изъ кармана яблоко, соваль мнѣ его подъ самый носъ. Но я не поднялъ руки и не взялъ предложеніе яблоко. Я сказалъ:

— Иванъ Степановичъ, какъ же это? Вѣдь это нельзя...

— Что это? Развѣ у васъ такая строгость? Всѣ яблоки на счету? Ну, этого не можетъ быть. Ихъ тутъ такая масса.

— Нѣть, не на счету, а... Это нельзя же. Раньше Спаса это грѣхъ.

Иванъ Степановичъ отвелъ руку съ недѣйденіемъ яблокомъ отъ рта, наклонилъ голову и сказалъ:

— Мое вамъ почтеніе, бабушка Дарья Матвѣевна. Я на этотъ разъ обидѣлся.

— Нѣть, это не только бабушка, но и мама и всѣ...

— Такъ что обѣ этомъ ужъ нельзя и говорить?

Я на это не отвѣтилъ. Я просто не зналъ, какъ мнѣ быть. Убѣженіе въ недозволенности есть яблоки такъ рано (это было около двадцатаго іюля) сидѣло во мнѣ такъ крѣпко, что я просто началъ сомнѣваться въ самомъ даже Иванѣ Степановичѣ, и казавшійся до сихъ поръ незыблѣмымъ его авторитетъ въ моихъ глазахъ какъ будто начиналъ блекнуть. Я просто отошелъ отъ него и сѣѣ на другомъ камнѣ.

— Слушайте, Вася, вы не сердитесь? — сказалъ Иванъ Степановичъ.

— За что? — спросилъ я.

— Да вотъ за то, что яѣмъ яблоки.

Я пожалъ плечами. Я не сердился, а скорѣй негодовалъ.

— А вы напрасно сѣѣ на камнѣ, Вася, это вредно.

— А вы же сидите тоже на камнѣ.

— Это разница. Я человѣкъ взрослый, крѣпкій, кожа у меня толстая, нервы воловы, и я не избалованъ. А вы еще ребенокъ, — нѣжный и не особенно крѣпкій. Вы можете простудиться. Встаньте, голубчикъ, и пересядьте на скамью, вотъ же она, за деревомъ.

Это было вѣро, то, что онъ говорилъ, и я всталъ и пересѣль на скамью.

— Вотъ видите, Вася, — заговорилъ опять Иванъ Степановичъ, я сказалъ вамъ, что вредно сидѣть на камнѣ и сейчасъ же доказать вамъ это, и вы поняли, согласились со мной и пересѣли. А вы заявляете, что яблоки до Спаса нельзя есть и не хотите доказать этого. Это съ вашей стороны нехорошо. Можетъ-быть, и въ самомъ дѣлѣ нельзя, а я вотъ дѣлаю. А если вы мнѣ докажете, то я перестану есть.



Портретъ дочери—артистки М. Н. Кузнецовой.

Н. Кузнецовъ.

Передвижная выставка 1918 года.

— Какъ я могу доказать? Это — грѣхъ!
 — Что? Доказывать — грѣхъ?
 — Нѣть, яблоки ѿстъ до Спаса.
 — Вы не можете доказать?
 — Нѣть.
 — А сами вы понимаете, почему нельзя?
 — Что же понимать? Нельзя. Я понимаю, что нельзя.
 — То-есть вы не понимаете, а вѣрите, что нельзя.
 — А какъ же я могу не вѣрить, когда всѣ вѣрятъ?
 — Позвольте, Вася, я не вѣро, значить, уже не всѣ
 — Ну, можетъ-быть, вы одинъ...
 — Все равно, если даже одинъ, то, значитъ, не всѣ. И я говорю, что яблоки ѿстъ можно во всякое время, и никакого грѣха нѣть, если они спѣлые и не испорченныя. Ну, сами разсудите, Вася: на Спаса яблоки можно ѿстъ, да? И тоже, конечно, только спѣлые и не испорченныя? Но вѣдь это яблоко, вѣтъ которое я вѣдь предложилъ, — въ день Спаса будеть такое же, оно не перемѣнится, значитъ...
 — А почему же бабушка, и мама, и всѣ...
 — А вы знаете, Вася, что евреи не ѿдѣть свинину?
 — Да, я знаю. Такъ это же свинина, совсѣмъ другое.
 — Конечно, другое, а почему они не ѿдѣть?
 — Потому что имъ запрещено закономъ.
 — А почему же запрещено закономъ? Они живутъ такъ же, какъ и мы, и у нихъ такіе же желудки, какъ у насъ. Могли бы отлично справиться со свининой, а вѣтъ имъ запрещено, а намъ нѣть.
 — Я не знаю.
 — Я вамъ разскажу. Свинина — такое мясо, что скоро портится, особенно въ жаркомъ климатѣ. Притомъ въ немъ бывають трихины, финны и разныя другія болѣзни. А древніе евреи жили въ жаркой странѣ и, кроме того, отличались нечистоплотностью, они ѿсти, не разбирали, и отъ свинины, которая быстро портилась, заболѣвали. Вотъ Моисей, который былъ умный человѣкъ, взялъ да и запретилъ имъ вовсе ѿстъ свинину. Но для тѣхъ евреевъ, которые живутъ въ нашей странѣ, это запрещеніе уже потеряло смыслъ. Страна у насъ не жаркая, мясо, прежде чѣмъ пустить въ продажу, въ городахъ осматриваются, и, если оно испорченное или больное, не позволяютъ продавать. Но евреи держатся старыхъ законовъ, которые не измѣнились со временемъ Моисея, и потому выходить такая пелѣность: то, что для насъ питательно и полезно, для нихъ считается вреднымъ.
 — Такъ что же изъ этого? — спросилъ я, не улавливая связи между яблоками и евреями. — Гдѣ же тутъ яблоки?
 — Яблока тутъ, очевидно, нѣть, — отвѣтилъ Иванъ Степановичъ. — Но это похоже; съ яблоками произошло то же самое.

Крестьяне, и вообще люди необразованные и неосторожные, обыкновенно не разбираютъ и объѣдаются яблоками, когда они еще не зрѣлы, и разстрѣиваютъ себѣ пищевареніе. И ничѣмъ ихъ удержать нельзя. Такъ вотъ умные люди и придумали, что это грѣхъ, а грѣхъ, это — необразованный человѣкъ понимаетъ. Вотъ и вошло въ сознаніе, что грѣхъ, и всѣ стараются воздержаться, потому что за грѣхъ бываетъ наказаніе. Но если человѣкъ хорошо отличаетъ спѣлое яблоко отъ незрѣлаго и не объѣдается, то это никакъ не можетъ быть грѣхомъ. А есть еще и другая причина — для крестьянъ. Въ давнія крѣпостныя времена ребятишки и парни ночью забирались въ помѣщичій садъ и воровали яблоки. За это ихъ потомъ жестоко сѣкли. А если виновные не отыскивались, то случалось, что всю деревню сѣкли поголовно. А послѣ Спаса, когда уже всѣ яблоки созрѣли, ихъ хозяинъ срывалъ и пряталъ. Вотъ и явилось убѣжденіе, что воровать яблоки опасно, потому что за это бывать. Ну, а потомъ стали называть грѣхомъ.

— Почемъ вы это знаете? — спросилъ я, въ глубинѣ души находя его объясненіе правдоподобнымъ.

— Я не знаю. Но такъ думаю. А вы знаете что сдѣлайте, Вася? Вы пойдите къ вашей мамѣ, — къ бабушкѣ, пожалуй, не ходите, она очень ужъ стара и не сообразитъ, — а къ мамѣ, и скажите ей, что Иванъ Степановичъ ѿстъ спѣлые яблоки и утверждаетъ, что ѿстъ до Спаса яблоки, которыхъ вполнѣ поспѣли, не опасно и не вредно, и не грѣхъ. А если мама скажетъ вамъ, что грѣхъ, вы спросите: почему, и гдѣ это написано, что грѣхъ?

Мнѣ не очень-то хотѣлось ити къ моей матери. Я зналъ, что она не любить отвѣтчать на вопросъ: почему?

Но съ другой стороны Иванъ Степановичъ, который такъ вкусно ѿѣлъ на моихъ глазахъ яблоко, раздразнилъ меня, и у меня явилась смутная надежда, что, можетъ-быть, изъ всего этого въ концѣ концовъ получится и для меня разрѣшеніе сѣсть яблоко.

И я пошелъ и рассказалъ матери, что Иванъ Степановичъ ѿстъ яблоки скороспѣлые, которая совсѣмъ созрѣли и очень вкусны.

— Ну, милый, — сказала мнѣ мать, — Иванъ Степановичъ взрослый человѣкъ, это его дѣло. Мы не можемъ запретить ему ѿстъ яблоки.

— А мнѣ нельзя? — спросилъ я и прибавилъ: — Они совсѣмъ, совсѣмъ поспѣли.

Должно-быть, на лицѣ моемъ выражалась мучительная жажда поѣсти яблока, потому что мать какъ-то снисходительно улыбнулась и спросила:

— А тебѣ очень хочется?



— Очень, — отвѣтилъ я. — Они такія вкусы на видъ, и Иванъ Степановичъ бѣть ихъ; и онъ говорить, что грѣшино, когда незрѣлыя, чтобы не разстроить желудокъ... А эти же зрѣлыя...

— Ну, что съ тобой подѣлаешь! — казала мать. — Сѣѣшь, пожалуй. Не велика бѣда. Только, ради Бога, не обѣдайся. Сколько Иванъ Степановичъ позволить, не больше. Хорошо?

— Хорошо, — отвѣтилъ я, чувствуя и радость отъ предстоящаго удовольствія и въ то же время что-то похожее на грусть, какъ будто въ сердцѣ моемъ разрушилось что-то, казавшееся крѣпкимъ и прочнымъ.

— Только вотъ что, — сказала миѣ мать, когда я уже повернулся, чтобы бѣжать обратно въ садъ, — лучше, чтобы этого никто не видѣлъ, особенно работницы. Онѣ увидятъ и сей-часъ же начнутъ вѣѣ обѣдаться... И не говори бабушкѣ...

Я побѣжалъ въ садъ и нашелъ Ивана Степановича на томъ же камнѣ. Онъ, должно-быть по лицу моему догадался, что я принесъ благоприятный результатъ.

— Ну, что? — спросилъ онъ. — Кажется, разрѣшили?

— Можно, — отвѣтилъ я.

— А! Ну, вотъ вамъ яблоко.

Я взялъ яблоко и сей-часъ же принялъ грызть его съ упоеніемъ.

— Мама сказала, сколько вы позволите, Иванъ Степановичъ. Она боится, чтобы я не обѣделъ.

— Резонъ. Три штуки, однако, можно.

— Только три? — сразу разохотившись, про молвилъ я.

— На первый разъ довольно, — сказалъ Иванъ Степановичъ.

— И еще мама сказала, что надо такъ бѣсть, чтобы никто не видѣлъ, а особенно работницы, потому что онѣ сей-часъ же, если увидѣть, начнутъ обѣдаться... И бабушкѣ не говорить.

— Вотъ, вотъ! Ну, такъ значитъ — это уже не законъ?

Я сидѣлъ на скамейкѣ, бѣль яблоко и отъ удовольствія быстро болтать ногами, которыи не доставали до земли, и, признаюсь, испытывая такое наслажденіе, что въ эту минуту мнѣ было все равно, какъ разрѣшится этотъ вопросъ. Однако, все-таки было ясно, что правда на сторонѣ Ивана Степановича.

А на Спаса я былъ въ церкви, и когда выпѣль въ ограду и парни начали дарить мнѣ яблока, я принималъ, чтобы не обидѣть ихъ, но ужъ отнесся къ этому довольно равнодушно.



Лакей.

Передвижная выставка 1918 года.

В. Маковскій.

Латюдъ — узникъ Бастилии.

Разсказъ Е. Фортунато.

I.

Стѣны были грязныя, съ масляными пятнами, окна съ засижеными мухами стеклами; къ нимъ скатывался косой потолокъ, какъ всегда въ мансардахъ; два-три стула, убогій столъ, кровати за ситцевыми занавѣсками неопредѣленного цвѣта, присѣдающей на одну сторону комодъ съ чернѣющими оголенными замочными скважинами и спрѣтый, душный воздухъ грязныхъ помѣщений. И это называлось комнатой „меблированного дома Шармеле“, въ дѣйствительности не комната, а каморка, жалкій притонъ.

— Сорвалось! — худощавый брюнетъ со злобой бросилъ на полъ письмо.

— Отказываетъ? — спросилъ его товарищъ, приготовливавшій какую-то смѣсь въ аптекарской ступкѣ.

— Пинкетъ, что сама безъ денегъ, еле-еле пробивается шитьеть, и работы мало.

И, глядя на подпись матери, брюнетъ, гримасничая, думать:

„Отчего она всегда подписывается „Жанна д’Обреспі“, когда я знаю, что она никогда не была замужемъ?“

— Данри, Бенгъ, завелись у васъ деньги? Идемте кутнуть! — кричали дѣвичи голоса изъ коридора.

— Ни гроша! — отозвались друзья, и Данри, брюнетъ, полу-члившій отъ матери письмо, сквозь стиснутые зубы прощѣдилъ:

— Проваливайте! Не мало мы съ вами денегъ потратили.

Голоса умолкли. Постепенно замирали легкіе дѣвичи шаги въ коридорѣ. Упорхнули „веселыя созданія“ кутить съ кѣмъ-то другимъ.

Данри подошелъ къ зеркалу и внимательно осмотрѣлъ себя.

Двадцать три года, но на видъ ему можно дать больше. Нужда не краситъ. Длинные сѣрые штаны обтягиваютъ ноги, такой же жилетъ плотно охватываетъ талю. Онъ хорошо сложенъ, хотя и небольшого роста. Красная куртка съ полами оживляетъ блѣдное лицо.

Онъ самодовольно усмѣхается, энергично встряхиваетъ длинными темными волосами.

Право, онъ очень недуренъ, и желѣзная воля чувствуется въ чертахъ его лица. Осинина противныя подпортили, — сильная осна у него была, кожа изѣѣдена ею. Но женщины любятъ его и съ оцинкай на лицѣ. Въ этомъ успѣхѣ у женщинъ, можетъ-быть, его несчастье? Изъ-за женщинъ, изъ-за кутежей онъ сей-часъ сидитъ безъ гроша и изъ нижняго этажа перебрался въ эту мансарду...

— Какая несправедливость! — хлопнула Данри кулакомъ по столу. — Я долженъ жить въ такой грязи...

— Чего ты чванишься? — засмѣялся Бенгъ. — Отчего это такъ тебѣ не подходитъ, а мнѣ подходитъ? Ты фельдшерь, я помощникъ фармацевта, мы на одной ступени...

— Нѣтъ, большая разница, — продолжалъ горячиться Данри,

всемъ известно, что ты Бенгэ, что твои родители простолюдины, ихъ еще многие помнятъ. А я...

— А ты что же? Неизвестный маркиз?

Данри занесчиво взглянула на него:

— Можетъ-быть, и маркизъ... Про свое прошлое знаю только я, — многозначительно добавилъ онъ.— Во всякомъ случаѣ мать моя изъ дворянской семьи, всѣ ея родные — офицеры...

Бенгэ, хихикая, снова склонился надъ стуломъ.

Наступило довольно долгое молчаніе.

— И какая подлость, что онъ отказался уплатить мнѣ шестьсотъ семьдесятъ восемь ливровъ! — остановился передъ своимъ артиллериемъ Данри, широко размахивая руками.

— Кто? — оторвался отъ работы Бенгэ.

— Главный интенданть нашей арміи во Фландріи. Моро де Сешель... Вѣдь солдаты обворовали меня при осадѣ Бергъ-опъ-Зоома... Да, да, все до нитки, только рубаху оставили, и деньги взяли 678 ливровъ. Нашъ военный комиссар Гинньяръ дѣла-Гардъ любому подтвердишь это, а вотъ интенданть отказался уплатить...

Бенгэ смотрѣть на Данри съ какимъ то суевѣрнымъ страхомъ. Думаетъ: «Вѣдь все это мы съ нимъ вмѣстѣ придумали, вмѣстѣ сочинили письмо къ интенданту, и дѣло лопнуло только потому, что этотъ самыи Гинньяръ отказался поставить свою подпись подъ заявлениемъ Данри... Вмѣстѣ все выдумали, а онъ теперь вѣрить, какъ будто это такъ было на самомъ дѣлѣ, и меня же увѣряетъ, что это такъ... Фантазеръ!»

Данри продолжаетъ громить начальство.

— Я считалась образцовымъ фельдшеромъ, я могъ сдѣлаться знаменитымъ хирургомъ, я четыре года была въ арміи маршала Ноайля, и у меня великолѣпная аттестація отъ военного комиссара...

— Это правда, — киваетъ головой Бенгэ, — атtestать я самъ видѣла.

Онять легкіе женскіе шаги по коридору. Распахнулась дверь. Въ мансарду ворвалась ватага «веселыхъ созданий».

— Идемте съ нами въ кафе, мы платимъ за васъ... Ночью на бульварахъ заработкаемъ... Вотъ наша новая подруга! Намъ безъ васъ скучно, идемте!

— Если принять во вниманіе, что мы изъ-за васъ сейчасъ сидимъ безъ гроша... — подумалъ ведущий Бенгэ, вставая, — идемте, я готовъ...

Но онъ остановился, съ удивленіемъ разглядывая новую обитательницу меблированного дома Шармелѣ.

— Сапристи, какакъ пышная! И знаете, господа, на кого она похожа? Ты не находишь, Данри?

— Какъ я могу тебѣ отвѣтить, когда не знаю, что ты хочешь сказать?

— Она похожа на маркизу... На всесильную маркизу Помпадуръ... Данри смотрѣть, прищурившись.

— Пожалуй, ты правъ... Чго-то общее, судя по портретамъ.

— Одно лицо, увѣряю тебя... Только наша красотка моложе... Вотъ бы ту маркизу прикончить, а эту на ся мѣсто?.. Мы съ тобой пошли бы въ гору... — Бенгэ хохочетъ.

— Вы ловкие, устройте заговоръ на ея жизнь, — совѣтуетъ одна изъ дѣвушекъ. — Наша Лизетта вѣсъ своими милостями не оставитъ.

— Ты думаешьъ, это такъ легко, дурочка? У насъ въ антѣкѣ разсказывали, какъ маркиза осторожна... При ней неотлучно находится ея личный врачъ, онъ пробуетъ всѣ кушанья, которыя ей подаютъ, онъѣздитъ съ ней въ театръ и тамъ приготавливаетъ ей лимонадъ, такъ она боится отравы... Чувствуетъ, что многие хотятъ ея смерти.

„Симулировать заговоръ па ся жизнь и самому же раскрыть передъ ней этотъ заговоръ, спасти ее отъ смерти... Какими щедротами она за это осыплетъ!“ — думаетъ Данри.

— Вотъ помоги Лизеттѣ сѣсть на мѣсто Помпадуръ, она тебя своимъ хирургомъ сдѣлаетъ, — продолжаетъ смияться Бенгэ. — Ты такъ хвастаешься своими познаніями... Будешь лейбъ-хирургомъ фаворитки короля.

— Идемте, идемте, милые мои, — торопятъ дѣвушки, — мы все это дорѣгой обсудимъ...

Но одна изъ нихъ быстро нагибается, увидѣвъ брошенное на полъ письмо. Кричать съ ревнивыми потками въ голосѣ:

— Женскій почеркъ!

— Оставь, — вырывается у нея Данри письме изъ рукъ, — это отъ моей матери...

Но она успѣваетъ прочесть подпись:

— «Жанна д'Обреспі»... Отчего же тебя зовутъ Данри?

— Онъ самъ себя такъ называетъ, — хихикаетъ Бенгэ, — его имена Жанъ-Анри... Вышла Данри, и звучать красиво...

Но Данри уже сердится:

— Идите безъ меня, мнѣ зааиматься издо, никуда я не пойду...

Протесты, восклицанія, но иумная компанія увлекаетъ за собой Бенгэ, и комната пустѣтъ.

Данри, широко размахивая руками, ходить взадъ и впередъ изъ угла въ уголъ.

Деньги, деньги...

Развѣ онъ рожденъ для нищеты? Отецъ его, козачко, посить одно изъ знатныхъ имѣнь Франціи... Сколько разъ донытьвали онъ у матери, кто ее соблазнилъ, чей онъ незаконный сынъ, — не захотѣла сказать. Много плаката при немъ, и молодой онъ елъ не помнить, видно, это былъ запоздалый романъ...

«И все-таки ума-разума не набралась, — злобно думаетъ Данри, — не сумѣла заставить его жениться...» — и онъ рветъ письмо матери въ клочки.

Всѣ родные отъ нея отвернулись... Сама виновата. Испортила и себѣ и ему жизни.

— Но я въ нищетѣ не погрязну! — встряхиваетъ онъ головой, и опять фантазія его работаетъ.

Если бы узнать навѣрное какую-нибудь придворную интригу, раскрыть заговоръ противъ всесильной маркизы. Она умѣеть мстить, но умѣеть и награждать: отъ одного ея милостиваго слова обезпечена карьера на всю жизнь.

Данри разсматриваетъ себя въ зеркало. Онъ такъ нравится женщинымъ, до сихъ поръ онъ „услѣдвалъ“ въ жизни все черезъ женщинъ.

Морепа, изгнанный министръ... Вотъ кто ненавидитъ маркизу, вотъ кто способенъ на все...

Но вѣдь если заговора нѣть, можно его придумать, можно подстроить все такъ ловко, что она несомнѣнно повѣрить, но даромъ она такъ боится покушенія на свою жизнь, не разстается съ докторомъ, держитъ всегда при себѣ вѣроятної.

Она пошлетъ ей отравленные конфеты и одновременно съ этимъ предупредить себѣ угрожающей ей опасности.

Нѣть, не конфеты... Цѣфты... А еще лучше маленькую алѣкскую машину, чтобы непремѣнно быть взрывъ...

И, когда онъ спасетъ ее отъ смерти, его имя прогремитъ по всему Парижу... Пусть чернь ненавидитъ его за спасеніе фаворитки, онъ будетъ близокъ къ всесильной маркизѣ, близокъ къ самому королю, и тогда, тамъ на родинѣ, въ Монтаньякѣ, отецъ навѣрное признается его и, можетъ-быть, даже женится на матери.

Довольно нищеты! Съ семнадцати лѣтъ онъ бѣтея съ жизнью, когда, можетъ-быть, имѣть всѣ права на роскошь. Еще нѣсколько дней, недѣль, и прошай этотъ грязный приютъ полупочтенного Шармелѣ.

Данри садится къ столу и, обхвативъ голову обѣими руками, задумывается, какъ лучше выполнить свой планъ.



Овцы.

Передвижная выставка 1918 года.

Г. Савицкий.

II.

„Si ce n'était la place la plus forte, du moins la plus redoutable de l'Europe“ *).
(Essais sur Paris — Sainte Fauve (Bastille)).

Посылка готова. Четыре колбочки тончайшаго стекла наполнены взрывчатым составом. Составъ они мастерили съ Бенгэ вдвоемъ и пропрѣтили его силу. Колбочки шейки связаны вмѣстѣ и все прикреплены къ крышки коробки. Когда станутъ ее открывать, отъ сотрясения будеть неминуемый взрывъ. Вреда онъ большого не сдѣлаеть, но сильно напугаетъ.

Коробку со своей адской машиной Данри тщательно запишилъ въ холстъ. Написалъ на немъ:

„Прошу вскрыть пакетъ безъ свидѣтелей“.

Потомъ вторая покрышка, тоже тщательно зафланцевана, и на ней адресъ:

„Маркизъ Помпадуръ, въ Версаль, во дворецъ“.

Солнце врывается въ мансарду. Весело разбогаютъ по полу его лучи. Весна въ полномъ разгарѣ. Конецъ апрѣля.

Данри одѣлся очень тщательно, долго разматривалъ себѣ въ зеркало. Рѣшается его судьба.

— Идешь? — не безъ страха спрашиваетъ его Бенгэ.

— Да, сначала въ главный почтамтъ, а оттуда прямо махну въ Версаль предупредить обь опасности. Теперь въ модѣ тайны доносы... Обезпечена моя карьера, обезпечена, дружище!

Выходять они вмѣстѣ. Бенгэ идетъ на работу въ аптеку.

— Помни, никому ни слова, — напутствуетъ его Данри.

Бенгэ киваѣтъ головой. Своихъ совѣтовъ не даетъ, знаетъ, что Данри все равно никого не послушаетъ.

И въ аптекѣ за работой все время думаетъ о немъ. Завидуетъ стю энергии, предпримчивости. Сердится на себя, что не принялъ активнаго участія во всемъ этомъ дѣлѣ. И, вернувшись домой, ждѣтъ Данри съ громаднымъ нетерпѣніемъ.

По переулку громыхаютъ колеса фіакра. Останавливаются у невзрачного подъѣзда меблированного дома Шармеле.

Бенгэ высунулся изъ окна. Смотритъ и не вѣритъ. Изъ фіакра выходитъ Данри съ гордо поднятой головой. Какъ раскунтился! Значить, деньги завелись? Кричитъ сверху:

— Удачно?

Данри не смотритъ на него, торопится въ подъѣздѣ.

И съ мансардѣ, плотно затворивъ двери, разсказываетъ:

— Все разыгралъ какъ по нотамъ. Посылку отославъ. Черезъ какой-нибудь часъ былъ во дворцѣ и съ соответствующимъ слу- чаю перепуганнымъ лицомъ рассказалъ о подслушанномъ въ почтамтѣ заговорѣ на жизнь маркизы и о какой то адской машинѣ.

— Самъ маркизъ? — привскочилъ Бенгэ.

— Положимъ, не маркизъ, но это все равно... Одному изъ я приближенныхъ. Его называли Бурбильономъ.

— Повѣрили?

— Точно ты не знаешь, какъ я умѣю рассказывать. Повѣрили и благодарили. Э, дружище, карьера моя обезпечена! — Данри, какъ малчишка, бѣгаѣтъ и прыгаетъ по комнатѣ, хлопая въ ладоши.

Засыпаютъ пріятелі въ самыхъ радужныхъ мечтахъ.

На слѣдующій день Данри опять вызываютъ въ Версаль во дворецъ.

— Я тамъ свой человѣкъ теперь, — говоритъ онъ, уходя, и самодовольно улыбается.

Вечеромъ кинуть еще большие, полонъ впечатлѣній. Одна мысль у него выталкиваетъ другую, недосказанную до конца, самъ себя перебываетъ.

— Посылку вскрывалъ лейбъ-медикъ Кенъ... Со всѣми предосторожностями, конечно. Миѣ говорили, что взрывъ былъ все-таки порядочный... На дворѣ слышали... Я радъ, что былъ взрывъ... Я теперь вѣдѣтъ тамъ, знаю... По крайней мѣрѣ по виду... Тридцать разъ меня самымъ любезнымъ образомъ разспрашивали, и въ концѣ концовъ я далъ пространное письменное показаніе, какъ, гдѣ и что слышалъ... Надо было хорошоенько припомнить, что я имъ разказывалъ, чтобы не перепутать...

*). „Если это не была самая сильная крѣпость, то во всякомъ случаѣ самая страшная крѣпость во всей Европѣ“.



Передвижная выставка 1918 года.

А. Лаховский.

Оба, какъ школьники, хохочутъ.

— А ошибокъ не надѣлалъ въ своеѣ показанії? — спрашиваетъ Бенгэ. — Ты въ грамматикѣ не очень-то силенъ...

— Литературными слогомъ написать...

Подъ утро стукъ въ дверь.

— Отворите! По приказу короля вы арестованы.

Вскакиваютъ лохматые, перепуганные; боятся другъ на друга взглянуть; боятся спросить. Полицейскій офицеръ приказываетъ Данри одѣваться. Тутъ же обыскиваютъ комнату.

Бенгэ, красный, какъ кумачъ, старается спрятать ступку съ остатками взрывчатаго состава, которымъ они начиняли колбы. Бормочетъ какая-то извиненія. Его никто не слушаетъ. Данри уводятъ подъ конвоемъ.

Карета со спущенными шторками. Въ ней полумракъ. Лишь въ маленькую щелочку съ края заглядываютъ едва родившіеся розовые солнечные лучи. Такой же яркій ликующій весенний день суялъ они.

— Куда меня везутъ? — спрашиваетъ Данри, и никто ему не отвѣтчикъ.

Въ этомъ вѣчномъ молчаніи, которымъ окружаютъ плѣнника, особенная утонченная пытка.

Молчаніе невыносимо для впечатлительнаго, экспансивнаго человѣка, и Данри чувствуетъ, что у него каждый нервъ дрожитъ.

Онъ дуетъ на шторку, чтобы сдѣлать просвѣтъ по шире и что-нибудь видѣть.

Онъ узнаетъ предмѣстье Сент-Антуанъ. И что это тамъ впереди?.. Высокія мрачныя башни... Неужели? Да, Бастилія. Онъ узналъ.

— Не можетъ быть! Это, вѣрно, только допросъ, и меня отпустятъ? — кричитъ онъ своимъ спутникамъ.

Бездрастныя молчаливныя лица смотрятъ на него.

На мгновеніе останавливается экипажъ. Слышишо, какъ раскрываются тяжелыя желѣзныя ворота.

— По приказу короля! — кричитъ полицейскій офицеръ.

И съ лязгомъ цѣпей, съ оглушительнымъ трескомъ падаетъ подъемный мостъ, обычно всегда поднятый. По нему вѣзжаютъ на первый дворъ.

Потомъ опять мостъ черезъ дворъ, гдѣ пропускаютъ подъ строжайшимъ контролемъ. Мостъ спускаются только послѣ условнаго крика: „Везу!“ И второй дворъ.

Данри вышелъ изъ экипажа. Башни Бастиліи теперь совсѣмъ близко. Со всѣхъ сторонъ обступили онѣ его, мрачныя, поросшія мхомъ, изѣдѣнныя временемъ. Зловѣщіе призраки быдого, вышедши изъ туманной воды ровно. На высокой зубчатой стѣнѣ, соединяющей башни, фигуры часовыхъ.

Раскаленный засохший воздухъ опалалъ горло. Ни одной свѣжей струи не проникало въ этотъ сжатый высочайшими стѣнами дворъ.

Данри съ ужасомъ осматривается, по его торопитъ, ведутъ въ залу Совѣта.

„Это только допросъ,—мысленно утѣшаетъ онъ себя,—сейчасъ выпустятъ“.

Но никто не допрашиваетъ, никто вообще не разговариваетъ съ нимъ, кратко приказываютъ вынуть все изъ кармановъ, ловкіе пытливые пальцы скользятъ по его тѣлу, обыскиваютъ, пѣть ли оружія, ножа, вообще чего-нибудь недозволенного. Одежда его сложена при немъ же въ пакетъ, перевязана шнуромъ, запечатана.

Онъ съ любопытствомъ разглядываетъ печать: три цветка лиліи подъ королевской короной, внизу на ленточкѣ надпись: „Королевский замокъ Бастилии“.

На немъ новая казенная одежда. Тюремщикъ ведетъ его въ камеру.

— Башня Свободы, № 47,— говоритъ кто-то.

И вздрагиваетъ сердце Данри,—башня Свободы, значитъ, его освободятъ!

— Когда, когда меня освободятъ?—пристаетъ онъ къ тюремщику,—вѣдь это башня Свободы.

— Такъ называется, потому что заключеннымъ въ ней позволяютъ иногда на свободѣ гулять по двору,—равнодушно поясняетъ отъ, и дверь камеры захлопывается.

Двѣ двери, и какія толстыя, съ задвижками, окованы желѣзомъ. Подъ ударомъ его кулака даже не прогнули. Поль кирпичный. Крошечное окно съ желѣзной решеткой. Снаружи оно большое, но постепенно суживается, проходя черезъ толстую стѣну, и въ камеру выходить въ видѣ щели (*meurtri re*).

И все-таки въ эту щель видно голубое небо, виденъ тоже куничекъ предмѣстья Сентъ-Антуанъ и главные ворота при вѣзѣ въ Бастилию, на нихъ массивные часы.

Что это, случайность, насыпка или утонченная пытка? Данри горько смеется. На часахъ двѣ закованныя въ кандалы фигуры, по циферблату бѣгутъ ихъ цѣпи вмѣстѣ со стрѣлками и спаиваются неразрывнымъ узломъ.

Узники ни на мгновеніе не должны забывать своей участіи.

Холодъ пробѣгаѣтъ по спинѣ Данри, несмотря на страшную жару.

Но онъ встряхиваетъ головой. Обычная самоувѣренность не покинула его.

Пусть на часахъ вѣчные узники. Его это не касается. Онъ здѣсь, конечно, только на два, на три дня.

И съ любопытствомъ осматриваетъ кровать за зеленою драпировкой, нѣсколько стульевъ, кувшинъ съ водой, оловянный подсвѣчникъ, стаканъ.

На стѣнѣ углемъ нарисована женская головка. Въ углу нервнымъ почеркомъ написано: „Бастилия создана не для того, чтобы

наказывать, а для того, чтобы мучить“ (*La Bastille n'est pas faite pour punir, elle est faite pour torturer*“).

Смѣется. И чужимъ, колкимъ, непрѣятнѣмъ кажется ему его собственный смѣхъ, отскакивающій отъ стѣнъ.

Весь день Данри бѣгаѣтъ по камерѣ, чего-то ожидая. Поданный ему обѣдъ показался ему вкуснымъ и обильнымъ, но изъ самолюбія Данри еда прокасается къ иску.

— Надо пораньше лечь спать они не дали мнѣ сегодня выспаться...

Ложится, засыпаетъ и почти тотчасъ же вскакиваетъ. Каждую четверть часа на дворѣ бѣть въ колоколь. Это тоже утонченная пытка.

Данри, блѣдный, босой, лежитъ на подоконникѣ своего узень-каго оконечка-щели.

Свободы, свободы!.. Онъ задыхается, ему страшно. Величайшее благо въ жизни—свобода.

И опять бѣть въ колоколь, не давая даже во снѣ забыться.

И содрогаются плечи Данри въ рѣданіяхъ. Обезсиленный, жалкий, онъ бѣется головой о подоконникъ.

Безконечной и мучительной тянется эта первая ночь въ тюрьмѣ.

III.

Это уже не жизнерадостный, предпримчивый фантазеръ Данри, самоувѣренный, ловкій, наглый, и не плачущій юноша, почти ребенокъ, какимъ онъ былъ въ первую ночь по заключенію въ тюрьму.

Это зѣбрекъ, перепутанный, озлобленный зѣбрекъ, потерявшійся въ лабиринтѣ ловушекъ и совершиенно сбитый съ толка.

Четыре раза его водили на допросъ и вѣс четыре раза говорили, что выпустятъ, но потомъ снова заключали въ тюрьму. Онъ лгалъ сначала, запицался съ жаромъ, повторяя все прежде придуманное. Ему не вѣрили. Тогда на допросъ 15-го июня онъ рѣпился разскажать всю правду.

Задыхаясь отъ волненія, разрывая на себѣ рубаху, онъ говорилъ о борѣѣ съ нуждою, о стремлѣніи во что бы то ни стало выбѣтиться въ ліди и о роковомъ замыслѣ, который въ минуту отчаянія пришелъ ему въ голову, какъ единственный способъ пробить себѣ дорогу.

Онъ колотилъ себя въ грудь и плакать, прося спасенія.

Его выслушали, не прерывая, и не повѣрили.

Тогда съ перепуганными бѣгальцами глазами, съ поджатыми губами онъ замкнулся въ безусловномъ молчаніи, и ни одного слова отъ него добиться уже не могли.

Двадцать первого июня ночью при фантастической свѣтѣ факеловъ его вывели изъ камеры на дворѣ, посадили въ карету и куда-то повезли.

Опять онъ слышалъ оклики стражи и лязгъ цѣпей спускаемаго моста, но ничего уже не спрашивали, сидѣлъ, забившись въ уголъ, перепуганнымъ озлобленнымъ зѣбрькомъ и не вѣриль въ возможность освобожденія.

Венсенская тюрьма. Тоже когда-то королевский замокъ, прекрасное зданіе въ чисто-готическомъ стилѣ. И такая же камера, и такое же крошечное окно щелью, и такія же окованныя желѣзомъ тяжелыя несокрушимыя двери.

— Нельзя придавать такого громадного значенія чисто-мальтийскому выходку,—говорилъ судьямъ лейбъ-медикъ Кенз, вскрывавший посыпку Данри и много разъ поѣтывшій его въ заключеніи.—Все это сдѣлано было такъ наивно, такъ ребячески, и онъ попался такъ глупо, даже не додумался до того, чтобы измѣнить почеркъ. Тѣмъ же круглыми дѣтскими буквами писалъ адресъ на обложкѣ посылки и свое дознаніе въ дворцѣ. Ему двадцать три года, господа, это еще ребенокъ, пощадите его!

Но суды думали иначе. Черныи кабинетъ во главѣ съ всемогущей маркизой искали нити заговора и были въ немъ увѣрены.

— Пусть назоветъ своихъ сообщниковъ, пусть предастъ того, кто направлялъ его руку, и мы вернемъ ему свободу. Онъ несомнѣнно агентъ ихъ заговора, правда, наивный и неумѣлый, но за нимъ скрываются другіе, и намъ надо знать, кто... Заставьте его говорить!

Данри молчалъ.

Въ Венсенскую тюрьму, какъ и въ Бастилию, заключали лишь избранныхъ, знатныхъ преступниковъ, простолюдины не допускались туда.

Въ обѣихъ этихъ тюрьмахъ годами томились люди, свершившіе особо важное преступленіе, выходящее изъ рамокъ обыденнаго, и вѣдь тѣ, кто по своему рожденію или по своему общественному положенію не могъ быть заключенъ въ обыкновенную тюрьму наравнѣ съ ворами и негодяями.

Мэрии города Парижа также выражалась въ своемъ письмѣ къ д'Аркансону про Бастилию:

„Этотъ субъектъ весьма сомнительного происхождения не заслуживаетъ чести быть заключеннымъ въ Бастилию“ (*Cet individu de mediocre condition ne m rite pas assez de consid ration pour  tre mis   la Bastille*“).

Мерсье тоже говорилъ въ такомъ же родѣ про Бастилию: „Народъ боится тюрьмы Шателе больше, чѣмъ Бастилии. Бастилия ему не страшна, потому что она для него чужая, она вѣтъ его компетенціи“ (*Le peuple craint plus le ch telet que la Bastille. Il ne redoute pas cette derni re, parce qu'elle lui est comme  trang re*“).



Нѣвчіе. Передвижная выставка 1918 года. В. Маковскій.

Въ Бастилию и въ Венсенскую тюрьму вельможи приезжали со своими лакеями, некоторые имели разрешение завести там свою мебель и пользовались полным комфортом. Тѣ, у кого не было своихъ личныхъ средствъ къ жизни, считались пенсионерами короля и стоили казнь не мало. Такъ, на содержание обыкновенного пѣщника полагалось три ливра въ день. На буржуевъ съ известными именами — пять ливровъ въ день. Писателямъ, адвокатамъ и лицамъ другихъ свободныхъ профессий полагалось десять ливровъ въ день. Членамъ парламента — пятнадцать ливровъ въ день. Придворнымъ — тридцать шесть ливровъ въ день. А содержание заключенного въ Бастилию кардинала де-Рогана обходилось въ 120 франковъ въ день.

Данри былъ только пенсионеромъ короля и по распоряженію начальника полиціи Беррье-ра использовался въ Венсенской тюрьмѣ нѣкоторыми льготами. Ему даны были перья, чернила, бумага, онъ сѣдалъ себѣ дудки и игралъ на нихъ; ему разбрасывали подъ часы ежедневно гулять на дворѣ.

Начальникъ тюрьмы, маркизъ де-Шаселе, вначалѣ очень удивился, что къ нему прислали "какого-то неизвѣстнаго Данри", но потомъ, послѣ разговоровъ съ лейбъ-медикомъ Кенэ, принялъ въ заключенномъ участіе и старался облегчить ему жизнь. Пять изысканно приготовленныхъ блюдъ за обѣдомъ, три блюда за завтракомъ, десертъ, вино. Но величайшаго блага въ жизни — свободы онъ быть лишенъ и, какъ ему казалось, лишенъ по людской несправедливости. Льготы, которыми онъ пользовался, и исключительное положеніе пенсионера короля развивали въ немъ все большее и большее самомнѣніе; фантазія работала неустанно, кружилась голова. Дерзкимъ и требовательнымъ сталъ онъ со сторожами, но лишь молчаниемъ отвѣчали они ему.

"Я считаю Данри исключительно иерархическимъ субъектомъ и не поручаюсь, что онъ не сдѣлаетъ съ ума!" — писалъ лейбъ-медикъ Кенэ начальнику полиціи Беррье-ра и всюду, где могъ, говорилъ, что жестоко наказывать за мальчишескую выходку долгими мѣсяцами тюрьмы.

Но судьи обоихъ парламентовъ того времени не шутили въ цинкатахъ "ложного доноса о заговорахъ". Такие случаи карались смертной казнью.

И лейбъ-медику Кенэ отвѣчали, что Данри своимъ доносомъставилъ на карту жизнь министра Морепа.

"Мы всѣми силами стараемся не озлоблять его. Надѣемся, что доброе и снисходительное отношение разомкнетъ наконецъ его уста, и онъ признается во всемъ. Прошу васъ, побывайте у него опять, можетъ быть, онъ вамъ скажетъ всю правду, которую до сихъ поръ скрываетъ отъ меня", — такъ писалъ Беррье-ра тому же Кенэ.

И въ зимний испнастный вечеръ, когда въ трубахъ тюрьмы зловѣщѣ завывалъ вѣтеръ, когда особенно грозными и неприступными казались высокія башни съ зубчатыми стѣнами, когда тревожно и назойливо звенѣлъ во дворѣ колоколь, не давая затѣться, — Данри рѣдалъ на плечѣ Кенэ, повторяя:

— Что же мнѣ дѣлать, когда у меня нѣть и не было сообщника. Вы сами мнѣ сказали, что моего товарища Бенга отпустили еще въ юнѣ за неимѣніемъ уликъ. Никакого заговора нѣть, клянусь вами честью, вѣдь мнѣ бы легче было свалить вину на другого, этой цѣнѣ я могъ бы купить себѣ свободу... Свободу! Боже мой! — онъ рѣдалъ на себѣ волосы, — выйти въ широкое поле, нѣть, кричать, бѣгать, говорить съ кѣмъ хочешь и знать, что тебя не послушаютъ... Что же мнѣ дѣлать, что же мнѣ дѣлать...?

И вдругъ, отстранившись отъ доктора, оборвавъ въ груди рѣданіе, онъ какъ-то испуганно сталъ всматриваться въ уголъ. Съ виноватой улыбкой признался:

— Почудилось, что она тутъ... Да, маркиза. Знаете, докторъ, мнѣ иногда кажется, что она колдунья, что я опутанъ ею... Злая волшебница, положившая свой даръ въ мою колыбель и сгубившая мнѣ жизнь...

И опять дрожали его плечи отъ рѣданій. Только съ лейбъ-медику Кенэ онъ говорилъ такъ откровенно.

По совету Кенэ онъ приблизительно то же самое написалъ начальнику полиціи Беррье-ра, — что у него нѣть и не было сообщника, и что онъ говорить истинную правду, такъ какъ ему легче было бы свалить вину на другого и тѣмъ освободить себѣ.



Пасмурный день.

Передвижная выставка 1918 года.

А. Шильдеръ.

Беррье-ра въ свою очередь посовѣтовалъ ему написать маркизу Компадуръ и взялся передать ей письмо.

Позднею ночью, со вспухшими отъ слезъ глазами, кончалъ Данри свое посланіе къ маркизѣ.

Авантюристъ по натурѣ, во всемъ преслѣдующій свои личныя выгоды, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ былъ исключительнымъ фантазеромъ и искренно вѣрилъ своимъ выдумкамъ.

Данри писалъ, и самъ безъ слезъ не могъ читать своего письма:

"Маркиза!

"Если голодъ и нищета толкнули меня на скверный поступокъ противъ васъ, вѣрюте, я не хотѣть вамъ зла, Богъ мнѣ въ томъ свидѣтель. О, если бы Его божественная доброта раскрыла пе-редъ вами мою душу! Вы бы увидѣли тогда, какъ я раскаиваюсь въ случившемся. Вы бы увидѣли, сколько слезъ я пролилъ за эти 188 днѣй, глядя на желѣзныя решетки тюрьмы, и вы бы сжались надо мной. Именемъ Господа Бога умоляю васъ, маркиза, да смягчится ваша гнѣвъ при видѣ моего раскаянія, моихъ страданій и слезъ. Господь вознаградитъ васъ за такое ваше че-ловѣческое любопытство.

"Вы всесильны. Все въ вашей власти. Въ вашей власти вѣлять на величайшаго изъ коронованныхъ лицъ всего земного шара, на Божьаго помазанника и любимаго нашего короля. Я вѣрю, что онъ великодушнѣй, а не жестокъ. Отъ истиннаго христіанинъ.

"Если Господь мнѣ поможетъ добиться отъ васъ великодушнаго рѣшенія вернуть мнѣ свободу, я лучше умру съ голоду, чѣмъ вторично пойду по ложному пути.

"Вѣдь мои надежды возложены на доброту вашей христіанской души. Не оставьте моей просьбы, не отталкивайте меня, не бросайте меня во власть моей горькой судьбы.

"Я вѣрю въ васъ, маркиза, и знаю, что Господь снизойдетъ до милости исполнить мою горячую мольбу о томъ, чтобы сбылись всѣ ваши сокровенные желанія. Отъ всего сердца буду молиться обѣ эти每一天.

"Съ глубокимъ раскаяніемъ, достойнымъ пощады, имѣю честь быть маркиза, вашимъ покорѣйшимъ и смиреннымъ слугой

"Данри" *).

Письмо докончено. Близится разсвѣтъ. Всматриваясь въ розоватую полоску неба на востокѣ, Данри опять улетѣть на крыльяхъ своей богатой фантазіи.

Маркиза сжалится и проститъ. Король приблизить его къ себѣ, тронутый его страданіями. Безвинно осужденныхъ пѣщниковъ вознаграждаютъ пожизненной рентой, и ему, конечно, назначать таковую. Онъ предъявлять къ правительству исѣть за всѣ понесенные имъ въ тюрьмѣ убытки и будетъ богатъ.

Начальникъ полиціи Беррье-ра лично передать письмо заключенному Данри маркизу Компадуръ, но письмо это осталось безъ отвѣта.

* Францъ Функъ Брентано. "Архивы Бастилии".

IV.

Казематы Бастилии были на 19 футов ниже уровня земли и только на пять футов выше дна окружающего Бастилию русла. Крошечное окошечко выходило в этот ров, где кроме мутной воды ничего не было видно. Печки в казематах не было. Сырость падесенью покрывала стены. Камень, съ набросанной на него соломой, — в видѣ ложа Кусокъ хлѣба и кувшинъ съ водой на обѣдь и ужинъ.

Въ казематы заключали только за особо тяжкую вину. И въ такомъ казематѣ томился долгіе мѣсяцы закованный въ цѣпи Жанъ Данри.

Его вина? Онъ бѣжалъ изъ Венсенской тюрьмы.

Во время обычной прогулки по двору увидѣлъ чернаго пуделя, который мордой толкнулъ калитку, и она неожиданно для Данри оказалась раскрытымъ. Искушение было слишкомъ велико, онъ бросился бѣжать, благополучно миновавъ стражу, бѣжалъ, пока хватило силъ, и въ изнеможеніи упалъ уже около Сен-Дени.

Свобода, величайшее благо въ жизни! И рядомъ съ нею мрачный призракъ голода. Жить было не на что. Никто не хотѣлъ держать его у себя, Бенгэ онъ въ Парижѣ не нашелъ, ютился по два, по три дня въ гостиницахъ или ночевалъ въ притонахъ. И когда отъ голода тошило, онъ вспоминалъ великолѣпные обѣды Бастилии и говорилъ своимъ случайнымъ слушательницамъ, дѣтскимъ улицы:

— Я былъ пенсионеромъ короля.

Однѣнъ только мѣсяцъ свободы и борьбы съ нуждой, а потомъ опять тюрьма. Но онъ не винилъ доктора Кенэ, которому рѣшился написать, прося о денежнѣй поддержкѣ послѣ мучительной голодовки. Послѣ этого письма его арестовали, но не Кенэ предалъ его, письма доктору не доставили, — агенты тайной полиціи перехватили его.

Казематъ и кандалы, какъ наказаніе за тяжкую вину — побѣгъ изъ тюрьмы. И рядомъ съ Данри въ такихъ же казематахъ были заключены сторожа Венсенской тюрьмы, которыхъ обвинили въ недосмотрѣ, когда онъ бѣжалъ.

Кенэ и здѣсь принималъ въ немъ участіе. По заключеніи въ тюрьму Данри очень недолго оставался въ казематѣ; Кенэ выхлопоталъ, чтобы его перевели въ комнату, и ему опять дали бумаги и чернилъ.

Безчисленное множество писемъ написалъ Данри въ эти пе-ріоды: то были посланія къ матери и безконечныя просьбы къ королю и къ маркизу Помпадуръ. И все это оставалось безъ отвѣта. Какая-то нервная жажда дѣятельности овладѣла имъ. Начальникъ полиціи Беррье тоже очень снисходительно къ нему относился, разрѣшилъ ему прогулки, и за это Данри послалъ ему имъ самимъ приготовленное лѣкарство отъ подагры.

Но чѣмъ внимательнѣе относилось къ нему начальство, тѣмъ упорнѣе вставала въ его головѣ мысль, что, значитъ, онъ выдающіеся лицо, значитъ, есть причины такъ иянчиться съ нимъ, а изъ этого вытекало, что онъ имѣть право требовать, — давала себѣ знать душа авантюриста. Онъ комбинировалъ всѣ выгоды и невыгоды своего положенія, день ото дня держа себѣ развязнѣе, былъ заносчивъ со служащими и негодовалъ, что маркиза Помпадуръ ничего не отвѣчаетъ на его просьбы и письма.

Ему давали книги. И вотъ однажды въ приладкѣ раздраженія онъ написалъ на поляхъ одной изъ книгъ:

Sans esprit et sans agréments,
Sans être ni belle, ni neuve
En France on peut avoir le premier des amants,—
La Roquade en est la preuve.

(Безъ ума и безъ очарованія, безъ красоты и безъ молодости можно стать фавориткой короля. Примѣръ — Помпадуръ) *).

На обязанности сторожей было подслушивать всѣ разговоры заключенныхъ, подслушивать даже ихъ бредъ во снѣ и доносить начальству. Всѣ венцы, которыхъ побывали у узниковъ въ рукахъ, тщательно осматривались, и, конечно, сторожа, ненавидѣвшіе Данри за то, что изъ-за него томились въ казематахъ ихъ товарищи, тотчасъ же замѣтили четверостишіе на поляхъ книги и доложили обѣ этомъ смотрителю тюрьмы Жану Лебелю.

Лебель, самолюбивый, обидчивый, не терпѣлъ посторонняго вмѣшательства въ свои порядки и въ душѣ негодовалъ на то, что по протекціи Беррье и лейбъ-медику Кенэ Данри такъ скоро



Раешникъ-потѣшникъ.

Передвижная выставка 1918 года.

П. Субботинъ.

перевели изъ каземата въ камеру, когда бывали случаи, что за побѣгъ изъ тюрьмы карали смертной казнью и непремѣнно ужъ долгими мѣсяцами въ казематѣ.

Онъ обрадовался дерзкому четверостишію и поспѣшилъ передать его самой маркизы Помпадуръ. И тогда уже поспѣдовала строгая кара безъ всякихъ послабленій. Кандалы на рукахъ и на ногахъ. Полутемный казематъ, пропитанный сыростью, нестерпимо душный лѣтомъ, невыносимо холодный зимой.

У меня такая потребность кого-нибудь любить, и я такъ взамъ благодаренъ за ваше участіе. Вѣро, что вы сдѣляете все возможное, чтобы облегчить мою участь, — писалъ Данри лейбъ-медику Кенэ, когда ему разрѣшили наконецъ перо и чернила.

Восемнадцать мѣсяцевъ въ казематѣ! Онъ самъ себѣ удивлялся, что выноситъ ихъ сравнительно легко, и воображеніемъ распалилъ свои страданія.

„Умирать и не оставить своимъ близкимъ, — невыносимо, — писалъ Данри опять тому же Кенэ. — Я на грани смерти, и, думаю, вы не сомнѣваетесь, какъ я васъ люблю. Но вѣдь я ницій, у меня ничего нѣтъ, они сдѣляли меня ниціемъ. Что могу я вамъ оставить? За все сдѣланное мнѣ добро я завѣщаю вамъ свой трупъ для скелета, а сейчасъ прилагаю при семъ письмѣ кусочекъ моей рубахи. Одежда мучениковъ испоконъ вѣковъ исѣяла всякаго рода недуги. Моя одежда теперь, конечно, тоже будетъ обладать такой чудодѣйственной силой. Носите этотъ кусочекъ полотна всегда на себѣ, и я увѣренъ, что вы больше не будете хворать“.

Расторганный этимъ письмомъ съ явными слѣдами слезъ, Кенэ вскорѣ послѣ этого добился, чтобы Данри опять перевели въ камеру, и его помѣстили въ камеру № 1751. Въ то время Беррье доложилъ королю, что, если заключенному не дадутъ слуги или товарища, вообще не предоставятъ возможности съ кѣмъ-нибудь разговаривать, — онъ несомнѣнно сойдетъ съ ума, и тогда ужъ заговоръ, котораго онъ по неопытности испугался и тѣмъ выдалъ себѣ, останется нераскрытымъ.

И вотъ, по приказу короля, къ Данри былъ приставленъ слуга, блѣдный, золотушный, безмолвный субъектъ, согласившійся раздѣлить участь заключенного, чтобы не голодать при разработкѣ.

Сторожа рѣдко когда слышали его голосъ, онъ почти всегда молчалъ, но зато у Данри теперь было передъ кѣмъ говорить и онъ часами ораторствовалъ. Излюбленными темами онъ избралъ звание своего рожденія, несомнѣнное колдовство маркизы Помпадуръ и свое значеніе при дворѣ.

— Вѣдь они тамъ меня боятся, — говорилъ онъ, уставившись въ неподвижное лицо своего слуги. — Я могу сдѣлать такія разоблаченія про маркизу и про министровъ, что вся Европа содрогнется. Оттого они держать меня въ тюрьмѣ... Или не вѣрите?

Онъ трясъ слугу за плечо.

Тотъ ничего не слышалъ, а если слышалъ, то не понималъ. При встрѣцѣ однако бормоталъ:

— Вѣро, вѣро... Какъ же не вѣрить... — и опять смотрѣлъ тупо и безъ смысленія.

Но хорошее питаніе не попло впрокъ слугѣ. Отъ недостатка воздуха или отъ какихъ-то причинъ онъ замѣтилъ хирѣть съ каждымъ днемъ.

Данри замѣчалъ его нездоровую блѣдность, вялость, алатію.

* „Rêve de deux Mondes“, Octobre 1886—Laude.

— Лежите и спите, мнѣ ничего не надо! — говорил онъ.
Но именно спать слугѣ не давалъ Данри, неумолчно рассказывая, захлебываясь въ своихъ словахъ. У него развились такая потребность говорить, что онъ даже ночью иногда вставалъ, подхопилъ къ постели слуги, будиль его и начинать ораторствовать.

Такъ однажды ночью ему приснился страшный сонъ: злая колдунья Помпладур проинка въ ихъ камеру черезъ печку, склонилась надъ кувшиномъ съ водой и что-то подсыпала туда.

— Какъ вы думаете, это можетъ быть или нѣтъ? — трясъ Данри слугу за плечо. — Я уже проснулся и все еще видѣлъ ея обликъ и не могу сейчасъ разобрать, гдѣ кончался сонъ, гдѣ началась явь.

Слуга слабо стоналъ,

— Да говорите вы, чортъ возьми! — вышелъ изъ терпѣнія Данри, — вопросъ, полагаю, достаточно серьезный... Это можетъ быть, что она приходила къ намъ сюда?

Больной окончательно проснулся. Понялъ или отвѣтилъ наобумъ:

— Нѣтъ, никто не приходилъ...

— Ахъ, если никто не приходилъ, значитъ, и въ воду ничего не подсыпано? Ну-ка выпейте стаканчикъ!

— Но мнѣ не хочется...

— Пейте, пейте... — и, насильно запрокинувъ голову больного, Данри вливъ въ его запекшіяся уста полстакана воды.

— Вы, можетъ-быть, не вѣрите, что она колдунья? — широкій жестъ рукой.

Слуга молчалъ.

— Я росъ богатымъ и счастливымъ ребенкомъ, единственный сынъ у родителей. Все было великолѣпно въ нашемъ родовомъ замкѣ, меня баловали, каждое мое желаніе исполняли. На бѣду отцу пришло въ голову сгезти меня въ Версаль. Говорить, я тамъ заснулъ, и маркиза Помпладур долго смотрѣла на меня спящаго. Вотъ тогда она впервые околдовала меня... Я бросилъ ученіе. Отецъ сердился, мать плакала. Забылъ себѣ въ голову непремѣнно ити санитаромъ въ экспедицію на Рейнъ... Я, конечно, былъ бы знаменитымъ хирургомъ, если бы учился какъ слѣдуетъ, а такъ недоучкой... И все-таки мнѣ въ госпиталѣ платили пятьдесятъ ливровъ въ мѣсяцъ; отъ женщинъ отбоя не было; первыя красавицы, аристократки дѣлали мнѣ авансы... И кто знать, можетъ-быть, сама маркиза совсѣмъ иначе отнеслась бы ко мнѣ, если бы... Ну, вы понимаете... Но я всей душой преданъ королю и, когда бывалъ во дворцѣ... Да, все по поводу этого злосчастнаго заговора... Когда бывалъ во дворцѣ, не обращалъ на нее вниманія, какъ на женщину, вотъ она и мстила сейчасть... Всѣ онѣ одинаковы въ этихъ вопросахъ! Не вѣрите? Ахъ, да говорите вы, чортъ возьми!

И, приподнявъ лежащаго за плечи, онъ повернуль его лицо къ себѣ

Болталась голова на тонкой, какъ ниточка, шѣй, оловянные, застывшіе глаза, но мигая, смотрѣли на что-то страшное, расширенные ужасомъ.

Слуга былъ мертвъ.

(Окончаніе слѣдуетъ)

Новина.

Разсказъ Конст. Лоптина.

I.

Пришелъ и канунъ первого Спаса послѣ юля жаркаго, страднаго. Сельскій батюшка въ саду поливаетъ яблони. Расчудесно это у него устроено,—сколько ужъ разъ похвалился передъ гостями и паствой,—изъ колодца выливаетъ бадью въ жалобъ деревянный, собственно ручно сколоченный; и вода чистѣйшая, ходниѣйшая струилась въ его огородъ, журчала, сверкала и текла въ бочку, поставленную на торецъ. Наполняла бочку онъ утромъ, а подъ вечеръ, какъ вогъ и сейчасъ, поливалъ согрѣвшіеся водой яблони.

Стояла обычная въ страдную пору сухмень, и яблоньки отца Евгения страдали—валились, замѣтно даже для глазъ, листва.

Ну, а хочешь отъ плодовъ земныхъ вкусить, такъ и потрудись. И отецъ Евгений трудился,—ведерь двадцать уже вылилъ подъ яблоньки. Усталъ и стоитъ, отирая платкомъ лицо раскраснѣвшееся, потное. Хотя уже предвечеріе полное, но солнце осѣываетъ все ослѣпительно: и живые, колюче топорщающееся на полѣ недальнемъ съ неубранными еще кой-гдѣ крестцами изъ ржаныхъ сноповъ, и сложенные изъ сноповъ же у гуменъ пузатыя, сытая одонъя, и крышу свѣже покрытую у того гумна съ раскрытыми воротами, гдѣ копошится сельчанинъ Степанъ Сатовъ. Солома вездѣ—соломенное это царство.

Правильный мужикъ: всегда озабоченъ и въ дѣлахъ своихъ твердъ. И хотя нужда его не обходить, — вогъ и теперь плавитъ рожь, чтобы новини добыть: старого, значитъ, хлѣба не хватило, — а все же у него все въ порядкѣ,—опѣниваетъ батюшка Сатова.

Видно отсюда его съ заявленіемъ платкомъ писей, чтобы усомъ ржанымъ не кололо. Падасть на козла вскинутый высоко надъ головою снопъ, и отъ него дождемъ сыплются зерна ржаныхъ по земляному чистому току. Этого-то уже не видно отсюда, но батюшка знаетъ по опыту собственному — случалось плавить рожь и ему.

А завтра вогъ эти самыя зерна Степанъ собираетъ въ кувшинчикъ глиняный, и въ церковь понесеть освящать, какъ всѣ пахари дѣлаютъ это въ праздникъ первого Спаса.

Да, правильный трудъ, святой, угодный Богу: чистый и непогрѣшимый трудъ — отъ земли и солнца человѣкъ корчится плодами рукъ своихъ.

Обрадовался отецъ Евгений пришедшей въ голову мысли, принялъ ее, какъ наитіе свыше, рѣшилъ: завтра обѣ этомъ онъ скажетъ труженикамъ во время служенія церковнаго.

И тутъ же осѣнила отца Евгения радость чистѣйшая творчества.

Захотѣлось пойти и положить на бумагу слова простыя, родившіяся неудержимо не въ головѣ, а въ самыхъ нѣдрахъ, казалось, существа отца Евгения.

А и уходить изъ огорода въ домъ не хотѣлось. Хорошо тутъ, въ тѣни отъ кудрявой, тихо шелестящей листвы яблони, смотрѣть на синее, синее небо.

А какимъ густымъ запахомъ спѣлой ржи тянетъ отъ копенъ и отъ живицъ—благодать.

На огородѣ осѣнена въ упоръ капуста: темною зеленою со свѣтыми жилками просвѣчиваются листья, и сизыми пятнами смотрѣть они же тамъ, гдѣ свѣтъ падаетъ сверху. Мотыльки порхаютъ надъ ними.

„Однако, что жъ я бездѣйствую?“ — и батюшка пошелъ на задворку, громыхнувъ ведеркомъ, сунутымъ въ уголъ, и стала подниматься на крыльцо. Въ эту минуту густой звукъ вечернаго



Хвости.

Передвижная выставка 1918 года.

V. Маковскій

колокола доплыть за восемь верстъ изъ Ковшова.

Отецъ Евгений снялъ пляшу, умириенно перекрестился:

„Вечерній звонъ,—хорошо“.

Ковшово—село торговое, большое; тамъ собирались служить всеночную. Отецъ Евгений ограничивался утреней,—село его маленько и занято страдными заботами.

И пока шагалъ черезъ кухню въ свою зальцу, протекали въ головѣ слова святыхъ, хорошихъ, вечернимъ же звономъ навѣянныя.

— Боже, ущедри ны, благослови ны, просвѣти лице Твое!

Мать-попады чегото ворочается на кухнѣ.

— Смотри, отецъ,—какой малины въ лѣсу мы набрали.

Отецъ Евгений заглядываетъ въ посудину—въ бѣломъ фаянсѣ сочная, душистая, восхищаетъ взоръ малина.

— Божій даръ,—батюшка кладетъ щенотку въ ротъ, улыбается.

Въ палисадникѣ переднемъ листва сирени просвѣчена солнцемъ; подъ нею мелькаетъ розовый бантъ Клавдіи, дочери.

„Ну, пусть ихъ, ужъ я пойду, потружусь“. И онъ повѣсила свою пляшу и стала умываться водой холодной, освѣжающей.

А потому пошелъ въ зальцу, сѣлъ къ столу, досталъ бумаги и стала накидывать свое „обращеніе къ наставѣ въ день первого Спаса“.

Напряженіе мысли не утруждало сейчасъ отца Евгения, какъ это случалось въ другой разъ. Мысли приходили легко, волновали радостно—только. За открытымъ окномъ въ палисадникѣ слышалась дѣвичій говоръ и смѣхъ. И онъ теперь ласкалъ только слухъ, такъ же, какъ и визгъ рѣвущихъ въ поднебесье стрижей, подчасъ проносившихся стайкой подъ самыми окнами.

Дѣло хорошо подвигалось.

Въ прикрытую дверь комнаты шлепалась съ той стороны дѣтская ручка, и голосъ внука капризно и настойчиво пищалъ:

— Дида, кой,—и опять:—дида, кой,—открой, значитъ.

Батюшка уже собирался открыть, но тутъ неожиданно явилась удачная мысль, и хотѣлось ее скрѣбѣ на бумагу.

А за дверью внукъ уже плакалъ—видимо, кто-то оттаскивалъ его за ручку отъ двери. Отецъ Евгений не стерпѣлъ, поднялся.

— Ну что, малышъ, къ дѣлу захотѣлъ? Ну, иди, иди.

У малыша заплаканная рожица основательно вѣзмазана ма-линой.

Увидя „дида“, онъ просіялъ, запросился на руки.

Матушка, замѣтивъ исписанную на столѣ бумагу, запротестовала:

— Такъ вѣдь онъ же тебѣ помѣшаетъ.

— Не помѣшастъ, вотъ посаджу себѣ на колѣни, онъ и послѣдитъ; пусть хоть бородой моей займется, онъ любить дѣдина бороду трепать.

— Ну, какъ же такъ, вонъ и эти сороки тоже въ палисадникѣ трещать безъ умопокъ—надо имъ сказать.

— Не надо, мать, очень тебѣ прошу—никто мнѣ не мѣшаетъ. Просто Богъ послалъ мнѣ удачныхъ мысли, и я ужъ справляюсь съ вѣтвимъ дѣломъ безъ всякихъ помѣхъ.

— А какъ же, помнишь, на Вербное воскресеніе ты такъ же писалъ, такъ раздражался тогда на настъ.

— Да, было, было,—припоминала батюшка,—вѣро, это отъ постного вкушенія, или такъ что-нибудь не по наитію я тогда писала. А когда по наитію, то ничего не помѣха.

И отецъ Евгений написалъ свободно, легко все, что хотѣлъ.

Но когда перечелъ, сдѣлалъ много поправокъ, и все-таки, казалось ему, выходило это какъ-то не то, что такъ ярко представлялось въ умѣ въ тотъ моментъ, когда стоялъ онъ подъ яблоней. И внукъ тормощилъ къ тому же. Да и жарко было держать его. Какъ будто показалась онъ ему тяжелымъ теперъ.

И съ облегченіемъ услыналъ звонъ чайной посуды за дверью.

„Это вѣтъ во благовременіе“.

Съ болѣшимъ облегченіемъ всталъ отъ стола, когда позвали пить чай. „Ну, это потому...“

За столомъ штутилъ съ дочерью и подругой ся, епархіалкой же, дочерью дѣячка. Гостья застѣнчиво улыбалась, розовѣла. „Молодое растѣть“,—любовался невольно на нихъ отецъ Евгений. У нихъ какой-то между собою секретъ: взглянуть другъ на другу и разсмѣются. Отецъ Евгений снисходительно улыбается, а мать „одергиваетъ“ дочку:

— Ну, что еще за смѣхъ?..

— Семинары-то вѣсть и не узнаютъ, комплименты будутъ вамъ говорить,—подшучиваетъ отецъ Евгений.

— Мы ихъ и не увидимъ,—возражаетъ, улыбаясь, Клавдія.

— Ну, какъ это чтобы не увидѣться, поди, уже есть какіе-нибудь тамъ съ усиками на примѣтѣ. Ну, вѣтъ хотя бы Глоріозъ.



Петръ—строитель Петербурга.

Передвижная выставка 1918 года.

В. Кучумовъ.

— Глоріозовъ, папа, остался на второй годъ.

— Вотъ это плохо. Можетъ-быть, по вашей винѣ? Епархіалки смеются.

— Если все по нашей винѣ, такъ намъ пропадать,—запи-щается дочь.

Штутилъ, а мысль о неудавшемся какъ будто словъ тревожила отца Евгения. И оттого не казалась уже душистой малина. И бараки, поданные къ чаю, казались черствы. Да и самыи чай показался дешевкой. И въ то же время въ беспокойствѣ этомъ было что-то такое, чего не промѣнялъ бы ни на что. И мысль эта утѣшала.

„Ладно, осилимъ“...—вздыхалъ отецъ Евгений.

И послѣ чаю онъ работалъ надъ словомъ, какъ никогда. Работалъ до тѣхъ поръ, пока почуялъ, что надо оторваться. Вѣдь сегодня нужно творить обычную въ канунъ литургіи молитву.

Когда онъ поднялъ голову и взглянулъ въ окно,—увидѣлъ позолоченный закатныи свѣтъ кресть церкви и золотисто-зеленое, свѣтлое надъ горизонтомъ, прирѣчными кустами прикрытымъ, небо и вскинувшееся какъ-то кверху необычной формы испельно-сизое облако, сквозь которое мутно голубѣло просвѣтами нѣжное вечернее небо.

II.

Первый Спась—праздникъ мужицкій. Если многіе другіе праздники характеръ несутъ всенародный—какъ Троица, Пасха, то первый Спась—чисто-крестьянскій. И въ обиходѣ крестьянской жизни онъ — нѣчто такое же перушимое, какъ крещеніе и вѣнчаніе человѣка. Мужицъ въ этотъ день извѣка освящаетъ рожь-новину, идти въ церковь съ такимъ же дѣловитымъ видомъ, какъ на базаръ или въ волость. Зато и праздникъ этотъ ярко-картинаенъ. Со всего прихода стекаются въ церковь старь и младь съ бурачками, кувшинчиками, плошками, чашками съ насыпанной въ нихъ рожью-новиной, обмoloченной на гумнѣ между дѣла изъ первыхъ сноповъ. И въ церкви эта посудинка съ рожью и свѣтчкой въ нее воткнутой даетъ свой колоритъ этому празднику. Передъ службою, когда собирается въ церкви достаточно народу, идти тамъ шопотъ, ровный, дѣловой. И народъ послѣ жаркой страды, неимовѣрныхъ трудовъ, кажется вышедшимъ изъ великой биты какой-то, которая соглаша имъ кожу, подсушила ихъ, намозолила, исцрапала руки. Но зато теперь, послѣ понесенныхъ трудовъ, они внутренно, душой стали мягче, добрѣе и особенно тутъ въ церкви въ торжественный день освященія новини.

Но вотъ батюшка, въ короткій промежутокъ между утреней и обѣдней побывавшей дома, спѣшно приходитъ и начинаетъ служить. Обѣдня идетъ своимъ чредомъ.

Передъ концомъ сторожъ выносить на амвонъ аналой. Батюшка выходитъ изъ алтаря съ листочками въ рукахъ. Дѣловито надѣваетъ очки. Предстоящее слово его немножко волнуетъ—онъ такъ и не нашелъ вчера, казалось, то нужное, что явилось ему такъ просто въ мысляхъ, переживаяхъ подъ яблоней. А тутъ сице батюшка, кося глазъ на лѣбій клиросъ, где помѣшилась хоръ, видѣть тамъ „дачниковъ“, какъ называютъ мужики горожанъ, прѣѣзжихъ на лѣто. Какъ-то еще эти примутъ его слово? „Но съ Богомъ“...

— Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Братіе, празднуемъ мы сегодня день первого Спаса. Возлюбилъ Спаса папаго и Матерь Его Пречистую русскій народъ. И всегда въ дѣлахъ рука своихъ призываетъ Его на помощь. Такъ и сегодня. Собралъ сѣятель жатву и хочетъ сѣять снова зерно. И вѣтъ, чтобы преуспѣть труду его, воззываютъ молитву къ Спасу своему о помощи. И будемъ надѣяться, братіе, молитва наша будетъ услышана, ибо видитъ Спасъ нашъ трудъ народа. Своего, въ погѣ лица добывающаго хлѣбъ свой по завѣту, издревле Богомъ данному. Трудъ

крестьянина—труд угодный Ему, и потому пренебрегать имъ мы не должны. Въ послѣднее время многие изъ крестьянства бросаютъ ниву свою трудовую, чтобы искать примѣненіе силамъ своимъ въ городахъ. Прѣзжая селеніями, теперь часто видишь заколоченные досками окна домовъ и покривившіяся безпризорно избушки. И невольно сжимается сердце, какъ подумаешь, что обитатели ихъ гдѣ-то теперь далеко живутъ съ семьями своими въ тѣснотѣ городской, лишенныя солнца, привыкшей родного, труда привычнаго лишенныя. Не бросаются привычной рукой въ землю-кормилицу зерна, а дѣлаютъ что-то другое, чужое, что велять имъ наемники. Не въ осужденіе имъ говорю это (батюшка покосился на лѣвый клиросъ), а въ напоминаніе, что не должны они думать, что труд ихъ лучше, нужнѣе труда крестьянскаго. Многогранна жизнь государственная и многи отрасли труда этимъ самымъ вызываетъ. И притокъ туда силь новыхъ требуетъ постоянно—часть ихъ даетъ и крестьянство. Но только, братіе, помните, что и вашъ трудъ почтенный и не хуже всякихъ другого вида труда—а посему безъ нужды мнить его на какой-либо другой не слѣдуетъ...

Батюшка говорилъ хорошо, проникновенно, просто. И произвелъ впечатлѣніе не только на простое мужицкое сердце, но и на тѣхъ, отбившихся отъ крестьянскаго дѣла, по не поравшихъ съ нимъ связи, что были на лѣвомъ клиросѣ и частью разсѣяны между молящимися въ церкви. Слово его всѣмъ безъ исключеній понравилось и, главное, пошло къ сердцу и разуму многихъ. Батюшка это не то что замѣтилъ, но какъ-то почувствовалъ. И это его удовлетворило, успокоило.

Послѣ обѣдни съ лицами улыбающимися, радостными, искудалыми и опалеными солнцемъ въ только-что пережитой страдѣ, сняли со стѣнъ предназначенный для крестнаго хода иконы, хоругви, крестъ. Къ хоругвямъ пристроились франтоватые здоровяки, а иконы брали дѣвушки, попарно держа ихъ за обочины. Ребятамъ достались крестъ и иконы потяжелѣ.

Подъ пестрый радостный звонъ колокольный съ пѣніемъ тронулись изъ церкви по берегу. Пройдя вдоль села немножко, спустились по отлогому мѣсту на рѣку. У берега плотъ, на плоту стоялъ, покрытый парчевымъ стареньkimъ покровомъ, на столѣ чаша съ рѣчномъ водой и на ней кропило. Пѣвчіе съ дѣвушкой размѣщаются на берегу подъ кустомъ. Подальше на берегу стоятъ хоругви, иконы. За ними толпа молящихся. Ихъ много и вверху, надъ спускомъ къ рѣкѣ. Оттуда видны поля за рѣкой. Они

ждутъ. Завтра пахарь ихъ вскроетъ плугомъ желѣзнымъ, засѣть рожью. Батюшка на плоту возглашаетъ, читаетъ Евангеліе. Пѣвчіе поютъ. Муха назойливо пристаетъ къ дѣвушке, садясь ей на голову; она сердится, отгоняя ее, а пѣвчіе исподтица улыбаются.

Батюшка снялъ свою скуфейку, и здѣсь на солнцѣ видно, что на маковкѣ у него волосы темны, и концы ихъ выцевѣли, выцевѣли и бородка. И ность обожженъ солнцемъ. Возлѣ священника съ одного бока стоять сторожъ церковный, а съ другого мальчуганъ лѣтъ девяти со славными детскими глазами, большими, голубыми, застѣнчиво улыбающейся. Онъ въ большихъ сапогахъ, въ мѣшковато сидящемъ на немъ пиджакѣ, уши его оттопырены, отъ фуражки, должно-быть, но въ лицѣ его милое что-то, чистое, детски-застѣнчивое.

Когда батюшка началъ читать Евангеліе, кто-то съ берега подоспѣлъ къ нему другого мальчонку, тотъ что-то ему пошепталъ, и мальчикъ взялся рукой за подсѣбчикъ такъ же, какъ это сдѣлалъ уже раннѣе его съ другого бока сторожъ—должно-быть, этого требовалъ обычай.

Освятивъ воду въ чашѣ троекратнымъ погружениемъ въ несъ креста, батюшка кропить ею рѣку. Чистые, свѣтлые брызги возвращаются въ тихое спокойное лоно рѣки. Нѣкоторые попадаютъ мальчугану въ лицо, и онъ, мило улыбаясь, морщится.

Изъ-за рѣки съ поля стайкой перебираются въ прибрежные кусты воробы. На поверхности рѣки расплываются круги отъ играющихъ въ водѣ рыбокъ. Тихо шелестятъ тростинки. За рѣкой надъ кручей отъ набѣжавшаго вѣтра покачиваются розовые стрѣлы иван-чая и желтые гроздья дикой рябинки.

Послѣ молебствія поднимаются въ гору, по дорогѣ пѣвчіе поютъ заглушаемое звономъ колокольнымъ „Спаси, Господи, люди Твои“. Въ церкви происходитъ маленькая суетня, получается какое-то общее обрядовое дѣйствіе. Косматыя головы наклоняются не спѣша надъ своимъ зерномъ, отходить, даютъ мѣсто другимъ. Потомъ держать въ рукахъ загорѣлыхъ съ искривленными отъ работы пальцами посудинки съ новиной и воткнутой въ нее загженою свѣчкой.

Священникъ читаетъ молитву, просить Бога: „отверзи сокровища нѣдѣль Твоихъ земныхъ и небесныхъ“. Потомъ окроплять новину. Такъ въ неизмѣнномъ своемъ тихомъ и прекрасномъ круговоротѣ творится жизнь въ этомъ маленькому уголку великой нашей мужицкой страны.

Вѣчные холостяки.

Въ началѣ прошлаго столѣтія въ Парижѣ возникъ кружокъ, немало интриговавшій парижское общество. Ничего не было извѣстія ни о цѣляхъ этого кружка ни о мѣстѣ, где они собирались. Название членовъ: „неуязвимые“—оставляло обширное поле для предположений. Но прежде всего бросалось въ глаза, что всѣ члены принадлежали къ лучшимъ фамиліямъ, и въ средѣ ихъ вовсе не было женатыхъ. Постепенно однако загадка разыяснилась. Сначала всѣ были введены въ заблужденіе относительно истинныхъ цѣлей кружка тѣмъ усердіемъ, съ которымъ члены его на балахъ и въ обществѣ ухаживали за дамами; но вслѣдствіи было замѣчено, что ни одно изъ этихъ ухаживаний не завершалось свадьбой. Тайна кружка открылась: онъ состоялъ изъ холостяковъ, рѣшившихъ во что бы ни стало оставаться холостыми.

Кружокъ состоялъ изъ убѣжденныхъ холостяковъ, поставившихъ себѣ цѣлью охранять своихъ близкихъ отъ узъ Гименея и убѣждать ихъ въ прелестяхъ холостой жизни. При этомъ кружокъ раздѣлялся на двѣ партии: одни были отъявленные Донъ-Жуаны, ставившіе себѣ въ обязанность ухаживать за каждой хорошенькой женщиной; другие, напротивъ того, съ высокомѣріемъ преъздили визирями на всю прекрасную половину рода человѣческаго. Въ одномъ только пункѣ обѣ партии шли рука обь руку: бракъ абсолютно не допускался, и всѣ члены кружка считали себя неуязвимо забронированными отъ прелестей брачной жизни.

Чтобы не обидѣть ни той ни другой партии, президентомъ общества быть избрали поклонникъ, а вице-президентомъ — ненавистникъ женщинъ. Первый, Эмиль Молларъ, несмотря на всю свою приверженность идеѣ

кружка, не могъ противостоять противъ обаятельности женской красоты. Онъ готовъ былъ клясться въ вѣчной любви всѣмъ женщинамъ на свѣтѣ, но жениться не согласился бы ни на одной. Напротивъ того, вице-президентъ, лейтенантъ флота и закадычный другъ Моллара, Лашезъ былъ отъявленный ненавистникъ женщинъ. Для него было просто непонятно, какимъ образомъ такой нелупный человѣкъ, какъ его другъ Молларь, могъ находить удо-



Тверская „коса“. Эскизъ.

Передвижная выставка 1918 года.

П. Слободкинъ.

вольство въ обществѣ женщинъ. Но такъ какъ крайности сходятся, то и обоихъ главныхъ членовъ кружка „неуязвимыхъ“ связывала нѣжнѣйшая дружба; не даромъ же они сходились въ главномъ вопросѣ, составлявшемъ основную идею кружка, а именно въ отрицаніи брака.

Кружокъ въ началѣ проѣтѣль. Хорошенькия женщины, возмущенные оскорбительнымъ къ нимъ отношеніемъ „неуязвимыхъ“, вскорѣ поняли, что съ ненавистниками женщинъ лучше всего бороться хитростью, и стали относиться къ нимъ съ особенной любезностью. Хитрость удалась. Нельзя играть безнаказанно съ огнемъ. За короткое время большинство вѣтреныхъ мотыльковъ уже обожгло себѣ крыльшки о пламя огненныхъ цвѣтковъ, вокругъ которыхъ они кружились. Все больше и больше рѣдѣлъ кружокъ „неуязвимыхъ“, и Молларъ съ Лашезомъ съ трепетомъ ожидали дня, когда они останутся единственными представителями союза.

И действительно, въ одинъ прекрасный день Молларъ и Лашезъ остались въ кружкѣ одни. Но еще съ болѣшимъ жаромъ исповѣдывали они свою идею. Когда дамы, подразнивая, спрашивали Моллара, сколько у него осталось приверженцевъ, онъ ударялъ себя въ грудь и гордо отвѣчалъ: „Только одни: но зато оба мы вѣрны нашей идеѣ!“ Оба друга не допускали и мысли о распаденіи кружка и всѣми силами старались поддержать его честь, одинъ — напропалую ухаживая за всѣми женщинами, другой — выражая къ нимъ вполнѣшее пренебреженіе. Когда вскорѣ послѣ того Лашезу пришло уйти въ море и на долгое время покинуть Парижъ, друзья возобновили взаимную клятву. Каково же было отчаяніе бѣднаго моряка, когда, вернувшись черезъ нѣсколько лѣтъ, онъ узналъ, что самъ президентъ измѣнилъ своей клятвѣ и... женился.

Долго боролся съ собой Лашезъ, — повидаться или нѣть съ клятвонпреступникомъ. Наконецъ желаніе узнать, какія причины могли навлечь на друга „песчастіе“, взяло верхъ.

Моряка ввели въ изящно убранныю комнату. Старый другъ его сидѣлъ въ иконостасѣ кресль и курилъ сигаретку. Лашезъ, еле сдерживая въ себѣ тяготы къ другу, холодно пожалъ ему руку и спокойно спросилъ:

— Ты женатъ?
— Да!.. Уже два года.

— И ты очень несчастливъ, конечно? — продолжалъ морякъ убѣжденнымъ тономъ.

— Напротивъ: очень счастливъ.

— Не можетъ быть. Совершенно невозможно!.. Ты не хочешь сказать мнѣ правды

— Напротивъ, говорю тебѣ истинную правду. Вотъ видишь ли. Какъ только ты уѣхалъ, счастье повернуло мнѣ спину, какъ будто вмѣстѣ съ тобой исчезла моя счастливая звѣзда. Когда я въ одинъ прекрасный день подсчиталъ свои долги, они оказались настолько велики, что я не могъ выпутаться безъ помощи отца. Отецъ, конечно, не совсѣмъ милостиво принялъ моя признанія и обьявилъ, что впередѣ не будетъ платить за меня ни копейки. Мало того, онъ значительно сократилъ ту сумму, которую раньше давалъ въ мое распоряженіе. Я не зналъ, что дѣлать. Кредиторы прямо грозили засадить меня

— И ты настолько унизился, что ради презрѣнія металла...

— Подожди, другъ мой!.. Не будь несправедливъ ко мнѣ, — перебилъ Молларъ пріятеля. — Въ одно прекрасное утро отецъ позвалъ меня къ себѣ. „Другъ мой, — сказалъ онъ мнѣ, — я согласенъ еще разъ заплатить твои долги, но съ тѣмъ условіемъ, чтобы ты женился“. Поставь себѣ въ мое положеніе!. Ты знаешь, что золатая свобода для меня дороже всего, и вдругъ мои кредиторы хотѣли лишить меня этой свободы. Поэтому, скрѣпив сердце, я далъ свое согласіе, но съ твердымъ намѣреніемъ оставаться такъ или иначе вѣрнымъ клятвѣ. Я хотѣлъ только воспользоваться данной мнѣ передышкой, чтобы какъ-нибудь выскободиться изъ петли. Но отецъ, очевидно, все подготовилъ заранѣе. Чрезъ недѣлю я былъ уже представленъ мадемузель Маріаннѣ де-Саси. Въ душѣ я рѣшилъ сдѣлать все отъ меня зависящее, чтобы она отказалась мнѣ. Но, что ты хочешь? Когда я увидѣлъ это нѣжное созданіе, которое такъ довѣрчиво, такими полудѣскими глазками смотрѣло на меня, мнѣ стало жаль ее. И не рѣшился поступить съ нею жестоко. И чѣмъ больше я смотрѣлъ на нее, тѣмъ больше она мнѣ нравилась. Темные глаза; хорошеній ротикъ; гордо вырисованные брови; свѣжій, цвѣтующій цвѣтъ лица; изящная фигура; однимъ словомъ, я нашелъ ее прелестной.

Морякъ издалъ какое-то мычаніе, мало выражавшее сочувствіе. Но Молларъ сдѣлалъ видъ, что ничего не замѣчаетъ.

— Я стаѣ ухаживать за ней. Но, по своему легкомыслію, все еще надѣялся, что какой-нибудь добрый гений выведетъ меня изъ отчаяніаго положенія. Наконецъ откладывать свадьбу стало дольше невозможнно, такъ какъ отецъ объявилъ, что только послѣ свадьбы заплатить мои долги, а кредиторы могли съ минуты на минуту потерять терпѣніе и засадить меня въ тюрьму. Наконецъ тягостный день насталъ; я съ ужасомъ готовился подставить шею подъ супружеское ярмо. На лѣстницѣ, ведущей въ мерию, собрались нѣкоторые старые пріятели, которыхъ я въ былое время упрекалъ въ измѣнѣ. Они саркастически пожимали мнѣ руку. Мерь сказалъ небольшую рѣчу и прочѣль стала закономъ. Потомъ спросилъ торжественно:

— Согласны ли вы взять здѣсь присутствующую Маріанну де-Саси себѣ въ жены?

— Въ залѣ царила такая тишина, что было слышно полетъ мухи.

— Нѣть!.. — отвѣчалъ я громко.

— Ты не можешь себѣ представить наступившаго волненія. Невѣста и другія дамы попадали въ обморокъ; отецъ мой и отецъ невѣсты яростно бросились на меня. Но я быстро прѣѣхалъ сквозь пораженную толпу и дѣлъ тягу.

— Молодецъ!.. — проговорилъ морякъ.

— Не хвали, я не заслуживаю этого, — возразилъ Молларъ. — Рѣшимость сказать „нѣть“ явилась у меня только вслѣдствіе полученнаго на лѣстницѣ извѣстія, что...

— Ну?

— ...что отецъ утромъ заплатилъ мои долги. Чтобы избѣжать первого взрыва негодованія, я счелъ необходимымъ укрыться на нѣкоторое время въ деревню. Наконецъ я рѣшился явиться къ отцу, который хотя и сердился на меня, но въ душѣ, кажется, восхищался твердостью моего характера. Такимъ образомъ я снова повѣль прежнюю жизнь, но на нѣсколько болѣе скромную ногу, какъ вдругъ, въ одинъ прекрасный день, мнѣ доложили, что меня желаетъ видѣть одинъ офицеръ.

— Я являюсь отъ имени моей кузинѣ Маріаннѣ де-Саси, — началъ краснѣый офицеръ. — Вы нанесли ей глубокое оскорблѣніе. Изъ вашего поступка въ мерию можно заключить, что вы считали мою кузину недостойной носить ваше имя.

— И не думай! — отвѣчалъ я и подробно рассказалъ молодому человѣку, какія причины вызвали мой образъ дѣйствій.

— Теперь я понимаю ваше поведеніе, — отвѣчалъ кузенъ моей бывшей невѣсты, — но тѣмъ не менѣе долженъ сказать, что вы поступили не по-рыцарски. Если бы кузина и согласилась простишь въсѧ, то оскорблѣніе во всякомъ случаѣ надо бы на всю нашу семью. А потому семьи имѣть право требовать отъ васъ удовлетворенія.

— Я къ вашимъ услугамъ, — возразилъ я.

— Завтра вы должны еще разъ просить у дяди руки моей кузинѣ. Она не сомнѣвается, что родители ея снова дадутъ согласіе; но на этотъ разъ она скажетъ „нѣть“ на обычный вопросъ мера. Такимъ образомъ оскорблѣніе будетъ взаимно.

„Я боялся, что мнѣ предстоитъ поединокъ съ воинственнымъ кузеномъ Маріаннѣ или съ кѣмъ-либо другимъ изъ ея родственниковъ, и эта перспектива вовсе не улыбалась мнѣ. Поэтому предложеніе имъ простѣйшее рѣшеніе вопроса чрезвычайно понравилось мнѣ. На слѣдующій же день, съ необходимыми извиненіями, я возобновилъ свое предложеніе родителямъ Маріаннѣ; оно было принято, и мѣсяцъ спустя мы снова стояли въ мери.

„На обращенный ко мнѣ вопросъ, я громко отвѣтилъ „да“, хотя мыслъ о готовящемся скандалѣ не мало смущала меня.

„Мерь обратился съ злополучнымъ вопросомъ къ моей нареченной невѣстѣ. Она, прежде чѣмъ отвѣтить, твердо взглянула на меня своими кроткими глазами. О!.. Она смотрѣла насторожимъ ангеломъ въ свое подѣяніе нарядѣ, и я горько сожалѣлъ, что этотъ ангелъ не будетъ моимъ — и я почувствовалъ, что слезы подступаютъ къ моимъ глазамъ. Вдругъ она произнесла громко:

— Да!

„Сознаюсь, я чути-чути...“

— Не свалился съ ногъ? — перебилъ морякъ.

— Нѣть, чути-чути не вскрикнулъ отъ радости.

— Да, — проговорилъ Лашезъ послѣ краткаго молчанія, и тяжелый вздохъ вырвался изъ его груди. — Нѣть силь бороться съ женской слабостью...

Вскрѣ „рѣшилъ проблему пола“ и Лашезъ: одинъ въ полѣ не воинъ.

Содержаніе. ТЕКСТЪ: Китаевъ монастырь. Стихотвореніе С. Андреевъ. Сказка. — Законъ. Рассказъ Ивана Островского. — Лягушка. — Бастілія. Рассказъ Е. Фортунато. — Шовинъ. Рассказъ Конст. Лоптина. — Бѣчные холостяки.

РИСУНКИ: Передвижная выставка 1918 г. Работы В. Маковскаго, И. Колес-

никова, Н. Кузнецова, И. Владимирова, Г. Савицкаго, А. Лаховскаго, А. Шильдера, П. Субботина, В. Кучумова.

Къ этому № прилагается „Полнаго обображенія сочиненій А. И. Герценъ“ книга 11.

ИЛЬЯ

1918 г.

XLIX г.

издания.

№ 29

Выходитъ еженедѣльно (52 № въ годъ), съ приложениемъ 52 книгъ „Сборника“, содержащихъ сочиненія А. И. ГЕРЦЕНА, М. ГОРЬКАГО, В. Г. КОРОЛЕНКО, П. БЕРАНЖЕ и Н. И. КАРЬЕВА („Великая Французская Революція“).

Выданъ 20 июля 1918 г.

Подписная цѣна съ дост. и перес. на годъ—36 р., на 1/4 г.—18 р., на 1/4 г.—9 р.

Цѣна этого № (безъ прилож.)—40 к., съ перес. 50 к.

Главная Контора и Редакція: Петроградъ, улица Гоголя, № 22.

Перепечатка иллюстратій и текста воспрещается. (Законъ 20-го марта 1911 г.).

Осенняя луна.

Луна осенняя надъ желтыми листами
Уже готовящихъ свой зимній сонъ деревъ
Похожа на ночной чуть слышимый напѣвъ,
Въ которомъ прошлыхъ дней мы прежніе, мы сами
Мы были цѣльными, мы стали голосами,
Расцвѣтами цвѣли, и стали ждущій сѣвъ,
Госквемъ о любви, къ землѣ отяготѣвъ,

Поющую луну мы слушаемъ глазами.
Среброчеканная безмолвствуетъ рѣка,
Восторги лѣтнихъ дней какъ будто истощили
Теченіе этихъ водъ въ играны влажной пыли.
И стынетъ, присмирѣвъ, безгласная тоска.
Себя не утоливъ отъ бывшихъ изобилій,
Слѣдимъ мы, какъ скользятъ мгновенія въ вѣка.

К. Бальмонтъ.



Голодъ.

Пеъедвижная выставка 1918 г.

Г. Савицкій.

Латюдъ—узникъ Бастилии.

Разсказъ Е. Фортунато.

(Окончаніе).

V.

Конецъ февраля 1756 года. Въ одной изъ камеръ Бастилии, находящейся въ башнѣ Сокровищъ (tour du Tresor), двое почти догола раздѣтыхъ узниковъ склонились надъ работой. Въ камерѣ очень холодно, но они не чувствуютъ этого, оба взволнованы, оба жестикулируютъ.

Это Данри и его товарищъ по заключенію Антуанъ д' Аллегръ, инженеръ.

Д' Аллегръ уже шесть лѣтъ томится въ тюрьмѣ за письмо къ Помпадуръ съ какимъ-то самимъ невиннымъ совѣтомъ. Говорятъ тоже про другое анонимное письмо, написанное главному камердинеру всесильной маркизы, въ которомъ камердинеру сузили 100.000 экю, если онъ отравитъ свою госпожу.

Д' Аллегръ очень уменъ, образованъ и до крайности нервънъ. Онъ клямилъ маркизу Помпадуръ уже въ тюрьмѣ своими ядовитыми сарказмами. Она не можетъ этого ему простить, и, говорята, онъ заключенъ пожизненно.

Д' Аллегръ неспокойный узникъ. Умъ его все время неустанно работает; онъ пишетъ сочиненія о гидравлическихъ работахъ, проекты, онъ требуетъ картона и инструментовъ для своихъ чертежей, говорить о своихъ знаменитыхъ открытияхъ. Онъ вспыльчивъ и жестокъ. Служебный персоналъ измученъ имъ и считаетъ его во многомъ ненормальнымъ. За малѣйшее неисполненіе своей просьбы онъ грозитъ самоубийствомъ, поднимаетъ такой скандалъ, что по всей тюрьмѣ разносятся его волны, и такъ настойчивъ, что всегда добивается своего. Въ припадкѣ раздраженія онъ однажды убилъ нагрубившаго ему сторожа, но это дѣло замяли. Д' Аллегра считаютъ опаснымъ и еще надѣются получить отъ него многихъ важныхъ разоблаченій, поэтому ублажаютъ его и дали ему въ товарищи Данри, чтобы имъ обоимъ не такъ было скучно.

Они удивительно подошли другъ къ другу, и служебный персоналъ Бастилии вздохнуль нѣсколько спокойнѣе, когда соединились два самые требовательные и раздражительные узника.

Всѣ знаютъ ихъ. Офицеры гарнизона Бастилии часто и подолгу съ ними разговариваютъ. Д' Аллегръ въ совершенствѣ знаетъ высшую математику, изучилъ механику, умъ его всесторонній и изворотливый, онъ все схватываетъ на лету.

— Его пріятно слушать, это такой блестящій фейерверкъ,— говорятъ офицеры.

— А что представляетъ собою Данри?

— Данри,—это второй томъ д' Аллегра.

И вотъ теперь оба тома соединились вмѣстѣ.

Данри подъ сильнымъ вліяніемъ своего новаго друга. Познакомившись, они начали еще больше беспокоянія служебный персоналъ разными сообща придуманными выходками. Потомъ совершенно измѣнили обхожденіе, стали изумительно вѣжливы и какъ-то затихли. И они не забывали, они большие никому не мѣшили.

— Черезъ два-три дня,—говорить д' Аллегръ.

Данри торжественно киваетъ головой.

Черезъ два-три дня они будутъ свободны. Восемнадцать мѣсяцевъ упорного, неустанного труда. Восемнадцать мѣсяцевъ они все подготавливаютъ къ бѣгству, и теперь уже близокъ этотъ желанный день.

Оба ходятъ голые не потому, чтобы имъ нечего было надѣть. Какъ пенсионеры короля, они требуютъ постоянно новыхъ комплектовъ бѣлля. Недавно еще писали просьбы министру, чтобы имъ прислали рубашекъ и какъ можно больше платковъ, и просьбы ихъ были удовлетворены. Они ходятъ голые, чтобы бѣлье не изнашивалось, каждый кусочекъ полотна нуженъ имъ. Между двойными поломъ хранятся въ люкѣ ихъ сокровища,—всѣ необходимые инструменты, которыми они подготавливали путь къ спасенію, 1.400 футовъ веревочной лѣстницы, веревки скручены изъ бѣлля, разрѣзанного на полоски, и деревянная складная верстакъ въ двѣстѣ ступеней, сдѣланная изъ дровъ, которыхъ имъ полагались на отопленіе. Оттого въ камерѣ такъ холодно.

Восемнадцать мѣсяцевъ они работали ночи напролетъ и свои инструменты называли условными именами, на случай, если ихъ подслушаютъ. Брядъ ли хватило бы такой настойчивости у Данри, если бы не твердость воли д' Аллегра.

Въ побѣгѣ онъ видѣтъ единственный способъ спасенія и страшно жаждетъ свободы. Изобрѣтательности его нѣть границъ, это онъ все придумалъ, вычислилъ и разсчиталъ. Они выберутся на вершину башни Сокровищъ черезъ дымовую трубу. Въ ней двѣстѣ футовъ высоты, и вся она была перегорожена жѣлѣзными рѣшетками. Теперь эти препятствія для нихъ не существуютъ. Но какой адскій трудъ! Пруты рѣшетокъ были вѣданы въ кирпичныя стѣны, и всѣ замазаны цементомъ. Когда не хватало воды, приходилось этотъ цементъ размачивать слюнами и потомъ выковыривать особаго рода долотомъ. Приходилось работать въ темнотѣ, скрюченными, ползкомъ, придерживаясь одной рукой, чтобы не упасть. За долгую ненастную ночь, когда въ трубѣ

зловѣще завывала вѣтеръ, удавалось разрушить пространство цемента въ какой-нибудь палецъ толщины. Ложились спать уже на разсвѣтъ, измученные, нахолодавшіеся, но съ вѣрой въ близкую свободу.

Вначалѣ были долгіе споры, при чѣмъ убѣждаль всегда д' Аллегръ. Теперь все обдумано до мельчайшихъ подробностей. Рѣшетки всѣ вынимаются изъ трубы и вставленаы теперь только для вида, на случай внезапной ревизіи. Путь свободенъ. Они поднимутся по трубѣ на вершину башни, д' Аллегръ уже былъ тамъ нѣсколько разъ. Поднимутся, захвативъ съ собою складную верстакъ и по ней спустятся въ ровъ, тамъ вплывавъ до другого берега, и тогда останется одно препятствіе,—наружная стѣна, окружающая ровъ.

— Камень въ основаніи этой стѣны у воды долженъ быть рыхлымъ,—рѣшаетъ д' Аллегръ.—Она построена еще при Карлѣ V, когда Бастилия, какъ крѣпость, была защитой при вѣзѣ въ городъ отъ вторженія англичанъ. Камень известковый, вода за эти сотни лѣтъ разрыхлила его, мы легко въ немъ продѣляемъ брешь и такимъ образомъ проберемся черезъ стѣну.

— Можно было бы опять подняться по лѣстницѣ на стѣну и потомъ спуститься,—закинулъ Данри.

— Да, если будетъ темно... Но все таки это опасно... Вѣдь тамъ на бастіонахъ стоятъ часовые, насы легко замѣтятъ, а внизу во рву у стѣны никто не увидитъ...

И рѣшено сдѣлать брешь въ стѣнѣ. Развѣ только при исключительно благопріятной для побѣга погодѣ можно попробовать по лѣстницѣ вскарабкаться на стѣну и потомъ спуститься.

Д' Аллегръ все предвидѣлъ. Зааранѣ приготовлены непромокаемый мѣшокъ изъ клеенокъ, вытребованныхъ у доктора для компрессовъ, въ него они возьмутъ по смыѣ бѣлля и сухую одежду,—придется перебираться вплывавъ черезъ рвы.

— Вода во рвахъ иногда пересыхаетъ...

— Но иногда, наоборотъ, наполняетъ рвы до краевъ, я все это дававшімъ-давно изучилъ...

И Данри соглашался.

Съ какимъ трудомъ сдѣлали они необходимые инструменты изъ жѣлѣзныхъ скобокъ складного стола, изъ перекладинъ кровати. Въ одну изъ разрѣзанныхъ прогулокъ по бастіонамъ они случайно нашли оставленыя землекопами лопаты и застулы и потомъ ночью, выбравшись черезъ трубу, съ опасностью жизни унесли ихъ къ себѣ.

Орудія эти были передѣланы и приспособлены къ ихъ нуждамъ. Такъ завелась у нихъ пила, стамески, совочки, ножи—сокровища, которыя они съ любовью прятали на разсвѣтѣ между двойными поломъ, вынувъ изъ своего пола нѣсколько кирпичей.

Восемнадцать долгихъ мѣсяцевъ! Смѣнились времена года, и все тотъ же упорный трудъ.

Работая на сквознякѣ въ трубѣ, Данри нажилъ себѣ ревматизмъ и очень страдалъ.

— Что значитъ физическая боль, когда душа гордеиво стремится ввысъ!—утѣшалъ его д' Аллегръ,—а главное: мы никому не обязывались, вся наша сила вотъ!—онъ стучалъ себѣ по лбу.

Бѣлье высыпывали по ниткамъ и изъ нихъ скручивали веревки. Все не хватало, поневолѣ приходилось ходить голыми. Носильное бѣлье они считали своей собственностью. Изъ казенного постельного бѣлля и полотенецъ никогда цѣликомъ ничего не брали.

— Мы не унізимся до кражи!—заявлялъ д' Аллегръ.

Но если бы сторожа были внимательнѣе, они замѣтили бы, что за эти полтора года каждый разъ, что плѣнники сдавали простыни и полотенца въ стирку, эти „казенные“ предметы становились короче.

И теперь все готово.

— Это будетъ 25-го февраля, черезъ три дня,—рѣшаетъ д' Аллегръ.

И, въ благоговѣніи молчаніи кивающей головой, Данри соглашается съ нимъ.

Имъ на умъ не приходитъ, что на свободѣ ждутъ ихъ лишенія, нищета. Кажется, что послѣ ихъ нечеловѣческаго труда не можетъ быть уже такихъ мизерныхъ препятствій въ жизни, какъ деньги. Весь свѣтъ будетъ изумленъ ихъ изобрѣтательностью, искусствомъ ихъ побѣга.

— Какъ нужно было страдать, чтобы на все это вѣшиться!—хватается за голову д' Аллегръ.

И рыданія не даютъ Данри говорить.

Они отвыкли спать за эти неустанные ночи работы. Сейчасъ имъ нечего дѣлать, но вѣдь сидѣть, не ложатся.

Д' Аллегръ то и дѣло вскачиваетъ, его всего дергаетъ, такъ онъ нервънъ.

— Но они не смѣютъ считать насъ ворами и мерзавцами!—вскрикиваетъ онъ.—я имъ напишу письмо.

— Офицерамъ?—догадывается Данри.

— Офицерамъ, смотрителю тюрьмы, сторожамъ. вѣдьмъ, кѣо здѣсь останется и будетъ пораженъ нашимъ побѣгомъ.



Латюдъ—узникъ Бастилии.

(Музей Карнавалэ).

Вестье.

И, взявшись большой лист бумаги, д'Аллегръ тщательно выводить прощальный привѣтъ:

„Мы уходимъ, но ничего не уносимъ съ собой, можете въ этомъ убѣдиться. Намъ не надо вашего добра. Мебель въ цѣлости. Бѣлье тоже. Мы изорвали только старья, никакуа негодныя простыни, а новыхъ въ сохранности, просимъ провѣрить. Если не хватитъ полотенецъ, можете найти ихъ за рюмъ на томъ берегу. Мы уносимъ нѣсколько штукъ, чтобы обтереть свое тѣло.

„Non nobis, Domine, non nobis, sed по-
mine Tuo da gloriam.

„Scito cor nostrum et cognosce semitas
nostras“.

(„Не памъ слава, Создатель, не памъ, а
имени Твоему. Взгляни въ наши сердца
и узиши пути наши“ *).

— Вотъ! — радостно поднимаетъ д'Ал-
легръ озаренное улыбкой счастья лицо.

Данри кидается въ его объятія и рыдаетъ.

VI.

„Jugez de mes peines par mes plai-
sirs“.—Duchesse du Maine **).

Опять казематъ Бастилии и крошечное
окопечко-щель, выходящее на мутную
воду рва. Сейчасъ, лѣтомъ, вода эта за-
гнила. Отвратительнымъ удушливымъ воз-
духомъ наполненъ казематъ.

И все-таки Данри полулежитъ на под-
оконникѣ, вглядываясь въ мутную воду
невидящими глазами. Руки въ кандалахъ
на этомъ каменномъ подоконникеъ хоть
немного отдохнутъ, и не такъ нестерпимо
ноютъ ноги. Онъ смотритъ въ окно и
машинально высчитываетъ его ширину.
Тамъ, у наружной стѣны, оно начинается
гораздо болѣе широкимъ отверстіемъ и
замѣтно суживается, превращаясь въ щель.

Но умъ работаетъ только нѣсколько
мгновеній, потомъ опять полная апатія.
Въ такомъ состояніи Данри томится день и
ночь съ тѣхъ поръ, какъ послѣ удачнаго
 побѣга и трехъ мѣсяцевъ свободы его
арестованы въ Амстердамѣ.

Полтора года приготовленій къ бѣгству!
Въ какомъ нервномъ напряженіи они
жили, какъ блестательно выполнили свой
планъ! И для чего? — Для того, чтобы
опять-таки попасть въ тюрьму изъ-за
борьбы съ нищетой.

Онъ считалъ себя въ безопасности въ
чужой странѣ, но побѣгъ его вызвалъ сен-
сацію, о немъ говорила вся Европа, власти
вошли въ соглашеніе съ правительствами другихъ странъ. Когда
онъ явился въ банкъ получить двѣсти ливровъ, высланныхъ ему
матерью, его арестовали.

Д'Аллегръ былъ арестованъ почти тотчасъ же послѣ бѣгства.
Но, говорятъ, онъ опять написалъ дерзкое письмо маркизу
Помпадурѣ.

Сейчасъ у Данри нѣть защитниковъ, съ нимъ поступаютъ
очень строго. Многое измѣнено въ режимѣ заключенныхъ послѣ
ихъ побѣга, посажены въ казематы сторожа. Большая перемѣна
въ служебномъ персоналѣ.

„И ни одному живому существу на свѣтѣ нѣть до меня дѣла“, —
думаетъ Данри.

Эта мысль его особенно угнетаетъ, не даетъ покоя, липшаетъ
сна. Впрочемъ, онъ предпочитаетъ не спать. Снится всегда самое
ужасное изъ недавнихъ переживаний: когда его арестовали тамъ,
въ банкѣ въ Амстердамѣ, и окружили со всѣхъ сторонъ, онъ
пробовалъ сопротивляться, его возмущило, что французскія власти
распоряжаются въ чужой странѣ, что даже на нейтральной
 почѣ ненавистная ему маркиза Помпадуръ можетъ быть всесиль-
ной. Онъ вырывался отъ нихъ, и они били его палками и
этими ударами подгоняли, когда вели по улицѣ.

Били его, аристократа по рожденію, человѣка исключительно
способного, какимъ онъ привыкъ себѣ считать, и какимъ нахо-
дилъ его д'Аллегръ... И вотъ отъ одного особенно сильного удара
по затылку онъ потерялъ сознаніе. Этаударъ до сихъ поръ
чувствуетъ онъ и наяву и во снѣ.

Снится тоже возбужденная бушующая толпа на улицѣ. Зако-
ванного въ кандалы его ведутъ среди озѣрѣвшихъ людей.
Такъ было на самомъ дѣлѣ. И ни одного слова участія, отовсюду
брани, оскорблений. Какъ легко всѣ повѣрили заявленію, что
такого негодяя, какъ онъ, ни одна страна не имѣеть права прятить.



Портретъ брата художника.

Передвижная выставка 1918 г.

И Репинъ.

— И ни одному живому существу нѣть дѣла до меня! — съ
воплемъ вырывается изъ груди Данри.

Онъ закрываетъ глаза. Минуты, часы? Время такъ нестер-
пимо тянется. Онъ все забылъ, не можетъ сосчитать, сколько
недель, мѣсяцевъ томится онъ въ этомъ вонючемъ казематѣ.
И вздрагиваетъ отъ сознанія, что кто-то пристально на него
смотритъ. Раскрываетъ глаза и въ глубинѣ окна у наружной
стѣны видѣтъ большую, пушистую, коричневатую крысу.

Живое существо. Тогда, когда онъ чувствовалъ себя такимъ
нестерпимо одинокимъ!

Измученное лицо Данри широко, по-дѣтски улыбается. Крыса
не изъ пугливыхъ, не убѣгаетъ, когда онъ превельнулся и за-
звѣпѣли кандалы. Судьба сжалась надъ нимъ и посылаетъ
ему друга.

Данри идетъ за своей недобѣденной порціей хлѣба и, хотя крыса
убѣжала, увѣренъ, что она вернется опять.

Въ эту ночь Данри послѣ долгихъ мѣсяцевъ спитъ наконецъ
крепко, спокойно и безъ грязи.

Крыса вывела его изъ апатіи. Опять въ немъ проснулась
энергія, предпримчивость, зароились мысли въ головѣ, опять
онъ сталъ требовательнымъ и неспокойнымъ, считая, что всѣ
виноваты передъ нимъ.

Крысу онъ очень скоро приручилъ, она есть хлѣбъ изъ его
рукъ, вскаиваетъ на его ложе, онъ почесываетъ ей спинку,
она привела къ нему свою самку, онъ изучаетъ ихъ нравы,
смѣется, когда они дерутся и играютъ.

Объ этой новой странной дружбѣ стало извѣстно всей Бастилии.
Крысу приходить смотрѣть офицеры гарнизона Бастилии, смотри-
тель тюрьмы, о ней рассказываютъ даже вновь назначенному начальнику полиціи Сартину.

Но забавы съ крысой уже не удовлетворяютъ Данри. Просну-
вшаяся энергія требуетъ исхода.

Онъ, какъ д'Аллегръ, будетъ писать научныя сочиненія, проекты,
стѣлится знаменитымъ. Онъ найдетъ способъ познакомить со

* Мемуары Латюда.

** „Судите о моихъ страданіяхъ по моимъ развлечениямъ“.

своими трудами народъ. Его сочиненія отпечатаютъ въ Англіи, и они сдѣлаютъ его бессмертнымъ.

Данри требуетъ бумаги и черниль, но ему отказываютъ. Онъ не останавливается передъ этимъ: изъ пражки штановъ дѣлаетъ себѣ что-то въ родѣ ножа, изъ рыбьей кости—перо. Изъ хлѣба-макиша лѣпить дощечки, смачивая ихъ слюной, и на нихъ пишетъ... кровью.

Всѣ пальцы его искошоты придуманными имъ ножомъ, онъ выпускаетъ изъ нихъ кровь, они воспалены и нестерпимо болятъ. Но кровь замѣняетъ чернила, а черниль надо такъ много!

Данри копить кровь въ стаканѣ и разбавляетъ ее водой. Пишетъ сначала писма, жалобы и просбы всѣмъ, кому только можно, потому на такихъ же дощечкахъ пишетъ свои научные труды.

Сартину докладываютъ объ этихъ кровью исписанныхъ дощечкахъ, и онъ разрѣшаетъ ему дать бумагу, чернила и перо.

Онъ приказываетъ также перевести Данри въ другой казематъ, когда вода при разливѣ начинаетъ заливать его поль.

Данри продолжаетъ кормить цѣлую семью крысъ, приучилъ тоже голубей, зоветъ ихъ по именамъ. Они охотно къ нему притягиваются, подъ его игру на дудкѣ что-то выплясываютъ на полу. Одновременно съ этимъ онъ пишетъ свои мемуары и два научныхъ труда: о томъ, какъ выстроить въ Парижѣ хранилища для зерна и хлѣба, чтобы этими запасами спасти населеніе въ случаѣ надвинувшагося голода, и о томъ, какъ преобразовать армію и по-новому вооружить ее.

Вновь назначенный начальникъ Бастилии графъ де-Жюмильякъ заинтересовался небычайнымъ узникомъ и добился разрѣшенія перевести его изъ каземата въ камеру.

Всѣ облегченія своей участіи Данри принимаетъ, какъ должное. Къ нему внимательны, — потому что его боятся. О, онъ можетъ теперь сдѣлать такія разоблаченія про жизнь въ Бастилии, что имъ всѣмъ не поздоровится! И когда проходять порывы озлобленія, онъ требуетъ къ себѣ духовника.

Является іезуитъ Гриффе, осторожный, ловкій, умный. На его обязанности выпытывать тайны заключенныхъ и потомъ доносить о нихъ агентамъ черного кабітета.

Въ Данри онъ видитъ человѣка исключительного иувѣренъ, что главныя нити заговора Данри до сихъ поръ скрываются. Но ему ничего не удается отъ него выпытать, и онъ проповѣдуетъ смиреніе, смиреніе прежде всего.

Подъ вліяніемъ проповѣдей духовника Данри опять думаетъ о своемъ злѣшемъ врагѣ—маркизѣ Помпадурѣ уже безъ злобы. Онъ по-дѣтски радуется, что къ нему въ окно прилетѣли два бѣлыхъ голубка рѣдкой красоты, и съ громадной настойчивостью и терпѣніемъ начинаетъ приручать ихъ, — это будетъ его подарокъ маркизу.

Голуби прелестны. Не мало труда онъ положилъ на нихъ. Черезъ тюремное начальство онъ добивается возможности послать ихъ маркизу Помпадурѣ.

Пишетъ при этомъ письмо, полное достоинства, очень сдержанное. Ни упрековъ ни жалобъ, и лишь въ концѣ многозначительно подписывается:

„Данри, заключенъ въ Бастилии одиннадцать лѣтъ за мальчишескую выходку“.

Начальникъ полиціи Сартинъ все чаще и чаще прѣѣзжаетъ въ Бастилию и навѣщає Данри. Онъ очень уменъ, можетъ быть очаровательнымъ и держитъ себя съ заключеннымъ такъ просто, что Данри даетъ ему совѣты и разсуждаетъ, сколько король уплатить ему за его проектъ о новомъ вооруженіи арміи.

Кормить его по прежнему очень хорошо, но онъ требуетъ большихъ припасовъ, потому что у него очень много звѣрей. Семейство крысъ увеличилось на 28 штукъ, цѣлыми стаи голубей разгуливаютъ у него по полу, ёдуть хлѣбъ, пьютъ изъ блюдечекъ, пакачаютъ.

Служители злятся на это. Надоѣль Данри тоже офицерамъ своимъ безконечными требованиями. Всѣ ворчатъ на него, что нѣтъ отъ него покоя.

— Да перебейте вы всѣхъ этихъ голубей, вѣдь у насъ же не птичникъ! — приказали дежурный офицеръ сторожу.

Данри сидитъ за столомъ съ перомъ въ рукахъ. Вокругъ него прыгаютъ и воркуютъ его любимицы. Окна раскрыты; холодно; но для голубей онъ не закрываетъ ихъ, и въ эту морозную ночь такъ красиво свѣтитъ луна.

Данри растроганъ. Всѣмъ несчастнымъ хотѣль бы онъ облегчить ихъ участіе. Онъ думаетъ о вдовахъ и сиротахъ убитыхъ на войнѣ воиновъ. Если бы обеспечить ихъ пожизненной пенсіей? Государство могло бы это сдѣлать. Мало ли какія новые статьи дохода можно придумать! Напримѣръ, если увеличить оплату почтовыхъ знаковъ хотя бы на три деньги, это совершиенно ни для кого не обременительно, а отъ этого образуется громадный капиталъ, на который можно учредить великое дѣло, и убитые героя будутъ спокойны за своихъ близкихъ въ своей загробной жизни.

Скрипятъ тяжелыя двери. Входить два сторожа. Шумно и спѣшино закрываютъ окна. Начинаютъ ловить голубей.

— Что вы? Зачѣмъ? — отрывается отъ бумагъ Данри. — Оставьте!

Сначала не отвѣчаютъ, потомъ бормочутъ:

— Приказано всѣхъ перебить... Не птичникъ у насъ...

И кровью наливаются глаза Данри, когда онъ видитъ, какъ птицы бьются въ рукахъ сторожей.

— Самъ, самы! — изстѣщено кричитъ онъ и душить своихъ любимцевъ скрюченными пальцами, какъ звѣрь, кидается на нихъ съ безумными глазами, потомъ, съ пѣной у рта, падаетъ на полъ, потерявъ сознаніе.

Перепуганные служители докладываютъ начальству, что заключенный Данри сошелъ съ ума.

VII.

Тюремный режимъ смягченъ для узника Данри, хотя онъ опять въ казематѣ. По настоянию Сартина ему разрѣшены ежедневные прогулки по бастионамъ. Онъ не гуляетъ, а бѣгааетъ, громко поетъ, первый до крайности.

„Я не бродячий песь и не проходимецъ, я такой же человѣкъ, какъ вы, — пишетъ онъ Сартину, — распорядитесь, чтобы меня перевели изъ каземата въ камеру“.

Сартинъ не сердится на эту дерзость, улыбается и, когда Данри переводятъ въ камеру, приходитъ его навѣстить.

— Все работаете? — съ любопытствомъ бѣгаютъ глаза ministra по грудамъ бумагъ.

— Да, сейчасъ я пишу большой научный трудъ объ истинной причинѣ прилива и отлива океана.

— А мемуары свои уже написали?

Данри удивливаетъ нѣкоторую тревогу въ голосѣ Сартина.

— Написалъ. Хотѣли бы прочесть? Или, можетъ-быть, желаete откупиться, чтобы попрежнему никто ничего не зналъ о жизни въ Бастилии? Я дешево не отдамъ, мнѣ надо быть богатымъ...

— Ну, поговоримъ въ другой разъ, — смеется Сартинъ и уходитъ.

Вкрадчивый и мягкий, онъ со всѣми умѣеть ладить, пропускаетъ дерзости Данри мимо ушей и попрежнему къ нему благоволитъ.

А Данри опять бунтуетъ. Что ни день, то новыя требованія. Онъ всѣхъ утомилъ. Его имя мелькаетъ чуть не во всѣхъ рапортахъ дежурныхъ офицеровъ.

Маюръ Шевалье докладываетъ начальству, что заключенный Данри становится буйнымъ, поднялъ невообразимый скандалъ изъ-за того, что въ постыдный день ему къ ужину подали яйца, артишоки и шпинатъ, требовалъ, чтобы немедленно вечеромъ послали на рынокъ за рыбой.

„Онъ пересыпаетъ свою рѣчь такими ругательствами, какихъ не слышали стѣны Бастилии, — заканчиваетъ Шевалье свой рапортъ, — полагаю, что ему мѣсто не въ Бастилии, а въ Бисетрѣ, рядомъ съ простолюдинами“.

И черезъ нѣсколько дней послѣ этого тотъ же Шевалье пишетъ:

„Сегодня Данри швырнулъ блюдо съ дичью сторожу въ лицо, за то, что дичь была не птицеголованной“.

Было что-то неукротимое въ характерѣ узника, и ни долгіе годы тюремы, ни болѣзни, ни страданія не могли сломить его. Наоборотъ, самомнѣніе его все развивалось, и онъ становился все требовательнѣе.

Комиссаръ Рошебрюкъ въ рапортѣ своемъ докладываетъ начальнику тюремы:

„Заключенный Данри требуетъ темно-синій халатъ съ красными полосками. Искали такую матерію въ 12 магазинахъ и нигдѣ не можемъ ее найти. Думаю, что пора сократить причуды этого узника“.

Но у начальника полиціи были свои планы, и онъ причуды Данри не сокращалъ, а поощрялъ, надѣясь, что умѣй тактикой лучше своихъ предшественниковъ сумѣть выпытать тайну Данри. Пусть съ тѣхъ поръ прошли долгіе годы, но король скучаетъ, и короля надо развлекать сенсаціонными дѣлами. Рошебрюкъ пытался отыскать искры заговора подъ пепломъ былого.

— Вы считаете мою вину передъ королемъ очень большой? — пытливо всматривается Данри въ лицо начальника полиціи.

— Какъ я могу о ней судить, когда вы мнѣ ничего не рассказываете?

— Но въ дѣйствительности вѣдь вину нѣть никакой; они передо мной виноваты... Пришлите мнѣ адвоката и писца, я долженъ приготовиться къ суду.

И эти причуды исполнены. Но въ самомъ скромѣ времени писецъ просить уволить его отъ работы при заключенномъ Данри.

„Данри желаетъ, — пишетъ онъ, — чтобы я три недѣли жилъ при немъ и не только днемъ, но и ночью записывалъ все, что онъ будетъ мнѣ говорить, при чёмъ заявилъ, что ему надо будетъ подробно описать 180 случаевъ, когда его околоводили. Кромѣ того онъ показалъ мнѣ груду бумагъ, исписанныхъ такимъ почеркомъ, котораго невозможно разобрать, и говорить, что эти бумаги надо переписать для него въ ближайшіе дни. Я считаю долгомъ заявить, что не могу взять на себя всей этой работы“.

Адвокатъ быть у Данри только одинъ разъ и, выйдя изъ его камеры, заявилъ начальнику тюремы, что заключенному мѣсто не въ Бастилии, а въ домѣ для умалишенныхъ въ Шарантонѣ.

— Когда онъ меня спросилъ, вѣро ли я въ колдовство, и настойчиво утверждалъ, что нѣть никакого сомнѣнія въ томъ, что

маркиза Помпадур и ея братъ де-Марини колдунъ и колдунья, — я, конечно, размѣялся, а онъ злобно накинулъ на меня и съ щѣной у рта занылъ мѣтъ, что, вѣроятно, демонъ уже вошелъ въ меня, оттого я такъ къ нему отношуся.

Въ сентябрѣ 1764 года, перебирая бумаги по дѣлу узника Данри, Сартинъ нашелъ трогательное письмо матери Данри, Жанны д'Обресли, написанное еще въ 1759 году.

Она умоляла освободить ея несчастнаго сына или чѣмъ-либо смягчить его участъ.

Сартинъ съ этимъ письмомъ приѣхалъ въ Бастилию.

Данри въ этотъ день съ утра былъ занятъ.

Онъ обдумывалъ посланіе къ Помпадуръ, на этотъ разъ не униженное и смиренное, а настойчивое и требовательное.

Довольно онъ терпѣть изъ-за этой женщины! Если даже здѣсь въ тюрьмѣ онъ на особомъ счету, чѣмъ могла бы быть его жизнь на волѣ! Онъ былъ бы знаменитъ своими научными трудаами, богатъ, знатенъ...

— Вотъ трогательное письмо отъ вашей матери съ мольбой о вашемъ освобожденіи, трудно читать его безъ слезъ.

— Да, мать меня очень любить, но отецъ еще больше любить, — гордо поднялъ голову Данри.

И пока начальники полиціи сидѣль у него и что-то говорилъ, онъ все время думалъ объ этомъ неизвѣстномъ, мучительно желанномъ для него отцѣ.

Ушелъ Сартинъ. Опять одиночество. Пора ити на прогулку. Письмо къ Помпадуръ лежитъ не подписанное.

Ахъ, если бы онъ зналъ имъ своего отца, если бы могъ имъ гордиться, смѣло называть его передъ всѣми...

Кажется, никогда еще такъ страшно не хотѣлось ему знать тайны своего рожденія, какъ въ эти минуты.

Съ такими мыслями вышелъ Данри на бастіонъ.

Его сопровождали обычно сторожа, но они въ этотъ вечеръ отстали. Было тихо и прохладно. Городъ засыпалъ, молчала тюрьма. Опершись на ружье, часовой поднялъ лицо къ загородѣ.



Портные.

Передвижная выставка 1918 г.

А. Лаховскій.

И, обмакнувъ перо въ чернила, онъ однимъ смѣлымъ росчеркомъ написалъ:

„Всему есть предѣль. Я двѣнадцать лѣтъ томлюсь въ тюрьмѣ за оказанную вамъ услугу, не забывайте, что я вѣдь васъ же спасъ тогда. Я требую освобожденія и уплаты мнѣ 60.000 ливровъ за всѣ понесенные мною убытки. Прошу сдѣлать распоряженіе безъ промедленія. Всему есть предѣль.

Въ заключеніе скажу вамъ: берегитесь! Когда закованные изъ-за васъ въ кандалы люди наконецъ будутъ свободны и выйдутъ изъ тюремъ, они побѣгаютъ о вашихъ жестокостяхъ всему свѣту, и вы станете ненавистны всей вселенной, будете прокляты не только на землѣ, но и на небѣ“.

Онъ не успѣлъ подписаться, когда дверь растворилась, и вошелъ Сартинъ.

Какъ всегда, изысканно вѣжливый и мягкий, Сартинъ въ обѣ руки взялъ руку заключеннаго.

— Какъ настроение, какъ здоровье?

— Какое же можетъ быть здоровье въ тюрьмѣ! — рѣзко отвѣтилъ Данри.

— И, если подумать, что свобода зависитъ отъ васъ. Не понимаю вашего упорства. Отдайте намъ ваши бумаги, раскройте всѣ нити заговора...

— Я сказалъ, что этого не сдѣлаю, и не сдѣлаю... — стукнулъ Данри кулакомъ по столу.

рающемсяу звѣздами небу и показался Данри какимъ-то особенно симпатичнымъ.

— Скажите, откуда вы родомъ? — спросилъ онъ.

Часовой взглянулъ на него большими, наивными, дѣтскими глазами.

— Я изъ Монтаньяка, сударь... — и не было презрѣнія въ его голосѣ, съ которымъ такъ часто говорили всѣ въ Бастилии съ заключенными.

— Изъ Монтаньяка! Мы съ вами земляки. — Данри протянулъ ему руку. — На звѣзды любуетесь?

— Смотрю... Быть у меня любимый начальникъ, скончался онъ въ Седанѣ, года три тому назадъ... Тоже нашъ съ вами землякъ изъ Монтаньяка, драгунскимъ полковникомъ былъ герцога Орлеанскаго полка, какъ и я. Очень звѣзды любилъ, бывало, и въ трубу смотрѣть и такъ... Шутилъ, что въ каждой звѣздочкѣ живетъ душа умершаго, и близкому она подмигнетъ, когда онъ про него вспомнитъ... Вотъ я и смотрю. Я часто о немъ вспоминаю... Хорошій былъ человѣкъ!

— Какъ его имя, фамилия? — взволнованно спросилъ Данри.

— Полковникъ Ари Виссектъ де-Латюдъ, кавалеръ ордена Св. Людовика.

И, когда часовой отошелъ, Данри бросилъ въ стущающуюся черноту ночи:

— Это мой отецъ.

И точно камень у него съ души свалился. Все сразу стало ясно и легко.

Онъ сократил свою прогулку, почти бѣгомъ вернулся къ себѣ въ камеру, плакаль, смѣялся, глядя на себя въ зеркало.

Виссекъ? Нѣтъ, Мозерь звучнѣе и красивѣе. Мозерь—это название помѣстя, принадлежащаго барону де-Фонтэ, родственнику Ари де-Виссека. Вѣдь Данри съ дѣтства знаетъ это имя. И что же удивительного! Всѣ въ его роду тоже офицеры, отсюда знакомство матери съ маркизомъ де-Латюдь. Часовой, кажется, не называлъ его маркизомъ? Но онъ долженъ быть маркизомъ, такъ красивѣе звучить...

Данри взялъ перо и подписался подъ письмомъ Помпадуръ:

„Анри Мозерь д'Обреспі“.

Потомъ легъ спать. Но тотчасъ же вскочилъ и переправилъ: „Анри де-Мозерь д'Обреспі“.

Теперь они другимъ языккомъ заговорятъ съ нимъ!

И сонъ его былъ спокойный и радостный.

На утро онъ былъ совершенно увѣренъ во всемъ имъ выдуманнымъ. Письмо къ Помпадуръ переписалъ, поставилъ вмѣсто 60.000 ливровъ уплаты за причиненные ему убытки 150.000 ливровъ и подписался:

„Виконтъ Анри де-Мозерь де-Латюдь“.

И съ этого дня онъ никому не позволялъ себя называть иначе, какъ Латюдь, и дѣйствовалъ съ такой изумительной настойчивостью, что, ко гда вынужденный настроениемъ общества, король Людовикъ XVI по настоянию министра Бретейля 24-го марта 1784 года подписалъ указъ объ освобожденіи изъ тюрьмы Латюдь съ назначеніемъ ему 400 ливровъ пенсіи въ годъ, онъ въ указѣ этомъ назвалъ его „виконтъ Анри Мозерь де-Латюдь“.

VIII.

„Бастілія не была взята, она отдалась“ („La Bastille ne fut pas prise, elle se livra“)—такъ говорить про знаменательное со-

битіе 14-го іюля 1789 года историкъ Мишлэ, а Маратъ въ своихъ запискахъ такъ характеризуетъ взятие Бастіліи: „Бастілія, плохо защищеннна, была взята нѣсколькими солдатами и толпой какихъ-то проходимцевъ, среди которыхъ было много напахъ дезертировъ, нѣмцевъ и никому неизѣстныхъ личностей, съѣхавшихъ изъ провинціи. А истинные парижане, въ качествѣ любопытныхъ, смотрѣли на это зрѣлице“.

Ясны лѣтній день. Рѣдкіе выстрѣлы. Гарнизонъ Бастіліи—82 инвалида и 32 солдата швейцарскихъ войскъ—почти не защищался. Начальникъ тюрьмы маркизъ де-Лонгъ самъ раскрылъ ворота тюрьмы осаждающимъ, которые, по всей вѣроятности, никогда не рѣшились бы выломать ихъ. Толпа была сильно разочарована, найдя въ тюрьмѣ только семь заключенныхъ, изъ коихъ было два безумца Вайтъ и Тавернѣ, одинъ садистъ графъ де-Солажъ, отъ которого отреклись даже близкайшие его родные, и четыре самыхъ обидченыхъ преступника, отбывавшихъ наказаніе за подлоги. Правда, что Тавернѣ толпа вынесла изъ каземата, куда онъ спряталась отъ выстрѣловъ, на рукахъ и съ торжествомъ долго носила его по бушующимъ улицамъ Парижа, но въ тотъ же день главаріи убѣдились въ его ненормальности и поторопились запрятать его въ домъ для умалишенныхъ въ Шарантонѣ.

Толпѣ нужны были легенды о мученикахъ, орудія пытокъ, слѣды страданій, доказательства тираніи властелиновъ.

Въ Бастіліи 1789 года она ничего этого не напала. Тюрьма сама по себѣ доживала свои послѣдніе дни и, конечно, была бы упразднена, какъ была уже упразднена Венсенская тюрьма, если бы неожиданно не всыпнула революція.

Изъ архивовъ видно, что при взятии Бастіліи было убито только 98 человѣкъ, изъ коихъ нѣкоторые были убиты своими же при беспорядочности дѣйствій. Въ числѣ этихъ 98 лишь 18 были же нѣотцовъ семействъ, всѣ остальные—бездомные бродяги.

Но Бастілія, это было нарывъ, который долженъ былъ вскрыться, онъ лопнулъ, и вслѣдъ за гноемъ полилась яркая свѣжая кровь, обновившая наболѣвшіе язвы старого тѣла Франціи и возродившая ее.

Вотъ почему былъ громадный энтузіазмъ въ народѣ, вотъ почему, уже послѣ взятія крѣпости, опьяняенная первой пролившейся кровью толпа въ теченіе двухъ дней громила архивы Бастіліи, и съ зубчатыхъ вершинъ когда-то грозныхъ вѣковыхъ башенъ, какъ стаи растерзанныхъ птицъ, летѣли во рвы ворохи разорванныхъ въ клочки бумагъ и документовъ громадной исторической цѣнности.

Вѣдь въ одной изъ залъ Замка хранилась вся история Бастіліи съ 1659 года, и очень немногія изъ этихъ бумагъ удалось счастли.

И въ эти дни радости, граничащей съ безумiemъ, когда вскинувшаяся на дѣбы чернь не хотѣла видѣть дѣйствительности, а жила легендами, къ грудамъ полуразрушенной тюрьмы, къ этимъ взорваннымъ мостамъ, къ этимъ засыпанымъ изорванными въ ключа бумагами рвамъ, пріѣхала Латюдь.

Латюдь при первомъ извѣстіи о взятіи Бастіліи поторопился сбросить съ себѣ пурпурный парикъ и распилитъ мундиръ виконта, которымъ онъ такъ гордился, и представить передъ толпой, какъ страдальецъ за благо народное, какъ одна изъ жертвъ произвела фаворитку короля, его министровъ и всей камарильи.

Онъ быстро учель въ умѣ выгоды своего положенія и не захотѣлъ упустить этого блестящаго по своимъ переживаніямъ, дня.

Латюдь, тридцать пять лѣтъ томившійся въ парижскихъ тюрьмахъ! Можно себѣ представить, какими овациями встрѣтила его толпа.

Латюдь уже пять лѣтъ былъ на свободѣ и жилъ у супруговъ Легро. Мадамъ Легро неустанными просыпами и визитами ко всѣмъ властямъ добилась его освобожденія. На его сторонѣ добрая половина общества, недовольная королемъ, онъ со дня своего освобожденія герой дня, любимецъ парижанъ.

Въ пріемной недавно скромныхъ мѣщанъ Легро толпится чутъ не вся аристократія Франціи, чтобы познакомиться съ знаменитымъ Латюдомъ, пожаловать ему руку, высказать ему свое участіе.

Кромѣ казенной пенсіи, пожалованной ему королемъ, онъ получаетъ пенсію въ 600 ливровъ отъ герцогини Калоннѣ, такую же пенсію въ 600 ливровъ отъ герцогини Кингстонъ, 500 ливровъ отъ президента Дюпари, 300 ливровъ отъ герцога Айенъ. Народная подпись въ его пользу покрыта всѣми извѣстными именами не только Франціи, но и Европы... Наконецъ сбылись его мечты,—онъ богатъ и знаменитъ.



За лошадьми.

Передвижная выставка 1918 г.

И. Тюконосниковъ.

онъ столько страдалъ, въихъ мрачныхъ, поросшихъ мхомъ камней, какъ бы впитавшихъ въ себя тысячи затаенныхыхъ вздоховъ, безсвязныя слова молитвъ, проклятия, стоны и слезы, слезы безъ конца.—Латюдъ искренно взволнованъ. Онъ плачетъ, когда ему торжественно вручаютъ хранившуюся въ тюрьмѣ знаменитую веревочную лѣстницу, которую онъ долгіе мѣсяцы сооружалъ вмѣстѣ съ Антуаномъ д'Аллегромъ, подготовливъ свое невѣроятное бѣство.

Передаютъ ему еще другіе документы, свидѣтели его долгихъ страданій.

Вотъ письмо окулиста Дежана къ начальнику тюрьмы.

64-лѣтній Латюдъ дрожащими руками раскрываетъ пожелтѣвшіе листы.

Онъ громко читаетъ письмо толпѣ и плачетъ. И многие рыданіями отзываются на его слова:

— „Милостивый государь, по вашему приказу я не сколько разъ посыпалъ указанного вами узника въ Бастилии, выслушалъ внимательно его рассказъ, хорошенько все обсудилъ и, освидѣтельствовалъ его глаза, пришелъ къ заключенію, что нѣть ничего удивительного, что онъ почти потерялъ зрѣніе, — онъ уже сорокъ мѣсяцевъ томится въ казематѣ безъ воздуха и солнца, закованный по рукамъ и по ногамъ. При такихъ исключительныхъ страданіяхъ нельзѧ воздержаться отъ слезъ, и слезы погубили его зрѣніе“.

На площади передъ Бастилией много любопытныхъ. Дамы прѣѣзжаютъ въ своихъ экипажахъ взглянуть на разрушенную тюрьму. Много знати, переодѣтой простолюдинами. Всѣмъ имъ известна исторія Латюда, для нѣкоторыхъ тоже ясна его личность авантюриста, и такие говорятъ:

— Рапортъ окулиста Дежана придуманъ имъ самимъ, Дежанъ никогда не подавалъ этого рапорта, всѣмъ близко стоящимъ къ дѣлу это доподлинно известно.

На скептиковъ машутъ руками, шикаютъ:

— Этотъ старикъ тридцать пять лѣтъ томился въ парижскихъ тюрьмахъ! Снова въ нихъ всю свою молодость, всю свою жизнь. Одной этой цифры 35 лѣтъ достаточно, чтобы даже камни взывали къ небу о возмездіи.

А Латюдъ продолжаетъ, захлебываясь отъ рыданій, и въ эти мгновенія самъ искренно вѣрить, что именно Дежанъ все это писалъ:

— „Зима 1756—1757 года была исключительно суровая, Сена замерзла, и именно въ эти сильнѣшие холода вышеизнанній заключенный находился въ крошечномъ подземномъ казематѣ съ двумя окопечками (meingriffes) безъ стеколь, даже безъ ставней, чтобы можно было ихъ закрыть. Закованый въ ручные и ножные кандалы, онъ круглые сутки, день и ночь томился на каменномъ ложѣ, едва прикрытомъ соломой. День и ночь въ лицо ему дуль леденящій вѣтеръ, а вы сами знаете, какъ нагубно дѣйствуетъ на зрѣніе такой холодный вѣтеръ, особенно когда человѣкъ спитъ“.

Вздыхъ негодованія прервала слова Латюда. Какой-то дикий ревъ, угрозы и проклятия.

Но постепенно стихаетъ, устаетъ ненавидѣть отходчивое сердце черни, и снова безмолвная, благоговѣйно слушаетъ толпа дальнѣйшее чтеніе Латюда:

— „Заключенный не въ силахъ быть дольше выносить такія страданія и искалъ смерти, лишь въ ней одной вида избавленіе отъ своихъ муки. Онъ сто тридцать три часа буквально ничего не проглотилъ, тогда ему насильно инструментами раскрыли стиснутыя имъ челюсти и заставили принять пищу. Такъ вопросъ его желанію его вернули къ жизни. Но, истомленный страданіями, онъ не хотѣлъ отказаться отъ рѣшенія умереть, взялъ кусочекъ стекла и перерѣзъ имъ артерію, всю ночь онъ истекалъ кровью и, вѣроятно, такъ бы кончилъ свое существованіе, если бы утромъ не пришли сторожа и ему не была бы оказана медицинская помощь. Но громадная потеря крови истощила всѣ его силы, въ немъ больше нѣть жизненной теплоты, и полнота его обманчивая, это опухлость, а не полнота“ *).

Слѣдуютъ тѣхническія названія, цѣлый перечень болѣзней, но толпа ждѣть только этихъ понятныхъ ей криковъ страданій, радуется имъ и рыдаетъ вмѣстѣ съ тѣмъ.

Латюдъ кончилъ чтеніе. Какъ святыню, цѣлуетъ пожелтѣвшіе



Въ семьѣ чужая. Передвижная выставка 1918 г. И. Гвоздниковъ.

листки. И къ нему тянутся руки: всѣ хотятъ приложитьсь къ этимъ словамъ стороннаго свидѣтеля его страданій.

Но довольно слезъ! Теперь дни торжества, побѣды надъ тираніей, дни яркие, буйные.

Латюдъ опять владѣеть собой и входить въ новую роль.

Ему за шестьдесятъ лѣтъ, но онъ очень бодръ, у него крѣпкій организмъ, нельзя подумать, что онъ столько перенесъ. Съ чисто-юношеской легкостью, двумя-третя прыжками взбирается онъ на груду навалившихся другъ на друга камней, чтобы быть надъ толпой у всѣхъ на виду.

И громовыемъ голосомъ безъ дрожи и слезъ, голосомъ вождя и диктатора, кричить онъ толпѣ:

— Французы! Я, кажется, заслужилъ право сказать вамъ истинную правду въ лицо, и если вы дорожите завоеванной вами свободой, вамъ пріятно будетъ слышать эту правду. 35 долгихъ лѣтъ размышилятъ я въ мрачныхъ казематахъ надъ произволомъ деспотизма и наглостью тирановъ. Отъ всего сердца громкими криками взызываю я о мщениі. И вотъ вся Франція, возмущившись, съ неподдающимися описанію великолѣпнымъ порывомъ, восстала, будучи не въ силахъ дольше терпѣть, опрокинула этотъ деспотизмъ и раздавила его. Чтобы нація освободилась отъ ига, надо только, чтобы она пожелала этой свободы... Вы это доказали. Но чтобы сохранить завоеванную свободу, надо быть достойными ея. И въ этомъ теперь ваша задача“.

Оглушительные аплодисменты и крики покрыли его рѣчь. Женщины кидали ему свои украшения, цвѣты. Толпа подняла его на руки и съ торжествомъ понесла по шумнымъ улицамъ Парижа, где, какъ громадная рѣка, гѣнилась и клюкотала прорвавшая всѣ преграды, выливавшаяся наружу народная мощь.

И, яркое, прекрасное, смотрѣло съ лазореваго неба солнце, одинаково лаская своими живительными лучами и деспотизмъ монархіи, и ідейную красоту зачатковъ революціи, и кровавый ужасъ террора.

* Письмо Дежана.—Мемуары Ария Мозеръ де-Латюда съ предисловиемъ Георгія Бертена.





Плехановъ.

Очеркъ

Леонида Добронравова.

I.

Въ первый разъ я увидѣлъ его на Финляндскомъ вокзалѣ, ночью, когда вышелъ онъ изъ вагона, возвратясь на родину послѣ сорокалѣтнаго изгнанія.

При звукахъ Марсельезы, которую игралъ военный оркестръ, при громкихъ крикахъ „ура“—онъ стоялъ съ букетомъ красныхъ розъ, поднесенныхъ ему, глядя куда-то поверхъ головы окружившей его толпы.

Мнѣ показалось, что смотрѣть онъ въ свое прошлое, отдаленное отъ этого дня сорока годами.

Онъ былъ растроганъ. Его сухое, сдержанное лицо свѣтилось внутреннимъ какимъ-то сияніемъ.

Онъ, казалось, ничего не видѣлъ, не слышалъ.

Его со всѣхъ сторонъ привѣтствовали; кто-то поцѣловалъ ему руку.

Съ большими трудомъ можно было проводить его въ тѣсной толпѣ и усадить въ автомобиль.

Онъ шелъ, держа прямо свой станъ, нимало не похожій на старика. Дорожная усталость, затѣнившая его глаза, не могла подѣбить его бодрости. Движенія его были легки, повороты головы энергичны и молоды.

Въ немъ не было ничего русскаго. Онъ похожъ былъ на иностранца, точнѣе, на europейца, прѣѣхавшаго въ Россію.

Первые дни и первыя недѣли его пребыванія на родинѣ прошли въ приемахъ депутатовъ, министровъ и частныхъ лицъ, явившихся привѣтствовать его, прѣѣхавшаго „черезъ смерть“.

Затѣмъ онъ перѣѣхалъ на дачу въ Царское Село, почувствовавъ недомоганіе и отъ петербургской сути и отъ петербургскаго климата.

Но, живя въ Царскомъ, онъ руководилъ газетой „Единство“, будучи главнымъ ея редакторомъ.

Каждый день, обсудивъ содержаніе слѣдующаго номера, мы, члены редакціи, отправляли въ Царское къ Плеханову секретаря редакціи или кого-нибудь, болѣе свободного изъ нашихъ товарищъ, или кто вызывался сѣѣздить—съ материалами для номера.

И каждый день аккуратно Плехановъ присыпалъ свою очередную статью.

Плехановъ сожалѣлъ, что нездоровье мѣшаетъ ему жить въ Петербургѣ, и что онъ вынужденъ редактировать газету, не выѣзжая изъ Царскаго Села.

Часто была въ редакціи жена его, Р. М. Плеханова, передававшая его желанія относительно той или иной стороны редакціоннаго дѣла.

Однажды, послѣ засѣданія, когда я прощался съ нею, она сказала:

— Почему вы не прѣѣзжаете къ намъ, товарищъ Добронравовъ? Прѣѣзжайте въ это воскресенье, Жоржѣ будетъ радъ вѣсить.

Я поблагодарила, попросила кланяться Георгию Валентиновичу, но въ воскресенье не побѣхъ, боясь стѣснить ихъ и не желая нарушить ихъ воскреснаго отдыха: я зналъ, что Плехановъ работаетъ всю недѣлю, устаетъ отъ поѣтителей, и что единственный день отдыха для него воскресенье.

Но въ то же воскресенье вечеромъ ко мнѣ заѣхалъ мой близкий другъ, вернувшись изъ Царскаго отъ Плеханова.

— Почему вы сегодня не были въ Царскомъ? Вѣсль тамъ ждали. Георгий Валентиновичъ...

Онъ передалъ отзывъ Плеханова обо мнѣ, слишкомъ незаслуженный мною и для меня радостный.

Мы условились побѣхать въ Царское вдвоемъ.

II.

Однажды, въ концѣ мая, прида въ редакцію на засѣданіе, я услыхалъ отъ швейцара:

— Георгий Валентиновичъ прѣѣхали.

Засѣданіе уже началось.

Въ огромной комнатѣ съ венеціанскимъ окномъ, наполненной солнечными свѣтомъ, засѣдала редакція.

За столомъ, посерединѣ, сидѣлъ Плехановъ, сложивъ на листъ лежавшій предъ нимъ бумаги сухія свои руки.

Я сѣѣлъ рядомъ, на свободный стулъ.

Въ комнатѣ было солнечно-весело, въ воздухѣ играли золотыя пылинки. Слышенъ былъ городской полуденный шумъ, глухо долетавшій сквозь закрытыя окна.

Разговоръ шелъ о покупкѣ въ Америкѣ типографскихъ машинъ для газетъ.

Плехановъ внимательно слушалъ докладчика, наклонивъ голову съ гладко зачесанными волосами, съ четкимъ породистымъ профилемъ.

Густыя, черные брови его, нависавшія надъ глазами, придавали его лицу немного суровый оттенокъ. На лбу выступали надбровные бугры—шишки мыслителя.

Онъ спросилъ, какъ скоро могутъ доставить машины.

Голосъ его ясный, звучный,—голосъ оратора, съ твердыми, четкими интонациями; произношеніе безукоризненно; ничего въ этомъ голосѣ, я бы сказалъ, обывательскаго, обиходнаго, но какая-то собранность чувствовалась въ немъ.

Одѣть онъ былъ съ изысканной простотой; блестящій воротникъ, повязанный старомоднымъ галстукомъ, блестящій маечеты.

Въ его движеніяхъ, во всемъ его облике сквозила породистость. По вѣйности это былъ выдержаній, строгій аристократъ.

Поэтому странно прозвучало обращеніе къ нему предсѣдателя собранія:

— Товарищъ Плехановъ, слово принадлежитъ вамъ.

Онъ сталъ говорить о машинахъ съ холоднымъ спокойствіемъ человѣка, вынужденнаго говорить о мало для него интересныхъ предметахъ, но о которыхъ говорить необходимо.

Кто-то изъ сидѣвшихъ перебилъ его.

Онъ замолчалъ и, не глядя въ ту сторону, откуда раздался голосъ, отчего-то сказалъ:

— Виновать, я еще не кончилъ.

Сказавъ то, что онъ хотѣлъ сказать, онъ сталъ чертить карандашомъ по бумагѣ. При одномъ изъ нажимовъ карандашъ сломался. Плехановъ неторопливо досталъ изъ кармана сѣрый, замшевый, продолговатый чехольчикъ, вынулъ изъ него ножикъ, очинилъ карандашъ и, вытеревъ ножъ, спряталъ его въ карманъ.

Такова аккуратность европѣйца, вошедшей у него въ привычку.

Вопросъ о машинахъ былъ исчерпанъ; предсѣдатель объявилъ перерывъ.

Плехановъ повернулся ко мнѣ.

— Здравствуйте, товарищъ Добронравовъ!

Я поклонилась ему тонкую, сухую, крѣпкую руку.

— Скажите, вы просматриваете провинциальныя газеты? Въ нихъ должно быть много интереснаго материала.

Я отвѣтила, что, действительно, материала тамъ очень много, но воспользоваться имъ для газеты невозможно, такъ какъ размеры ея не позволяютъ освѣщать провинциальную жизнь такъ, какъ слѣдовало бы это дѣлать.

— Да, конечно, это очень жаль, но я имѣю въ виду другое... У васъ нѣтъ желанія написать статью на основаніи этого газетнаго материала? Я самъ подумывалъ это сдѣлать, но у меня сейчасъ нѣтъ свободнаго времени.

Я поблагодарила его, но у меня тогда тоже не было времени, и я сослалась на небольшіе размѣры газеты, говоря, что статья, судя по материаламъ, можетъ быть велика.

— Это ничего не значитъ,—вразумилъ Плехановъ,—ее можно будеть печатать фельетономъ, въ нѣсколькохъ нумерахъ подъ рядъ. Но, можетъ-быть, у васъ есть другая тема?

Я сказала, что меня, по правдѣ, прельщаетъ иная тема: наша революція и рѣчь Достоевскаго на пушкинскомъ празднике.

— Не совсѣмъ вѣдь заниматься сейчасъ Достоевскимъ, въ особенности Достоевскимъ „Дневника писателя“. Много туманной мистики. Мы должны исходить не изъ мистическихъ предпосылокъ, но изъ реальныхъ фактовъ, опредѣляющихъ соціальное бытіе.

— Достоевскій и „Дневника писателя“—для меня реальный фактъ.

— Разумѣется, я этого не оспариваю. Но я говорю примѣнительно къ политическимъ обстоятельствамъ текущаго времени. На насъ надвигается контрапреволюція. Давайте же освѣщать ея причины. Это имѣть широкій общественный интересъ. Итакъ, подумайте о статьѣ. Мнѣ хотелось бы, чтобы вы ее написали. А о Достоевскомъ поговоримъ. Прѣѣзжайте въ Царское.

Напѣть разговоръ прервали: надо было продолжать засѣданіе.

III.

Какъ-то въ воскресенье я побѣхала въ Царское.

Денъ стоялъ свѣтлый, горячій, юнѣскій. Въ вагонахъ духота и тѣснота; людиѣхали красные, распаренные жарою.

Дача, где жилъ Плехановъ, стояла въ боковой тѣнистой аллѣ.

что тянулась длиннымъ глубокимъ коридоромъ отъ самаго вокзала.

Ворота дачи были открыты.

Поднялся я на деревянное крыльце, читаю на мѣдной, солнцемъ зажженной дощечкѣ—не то „Вахрамѣевъ“ не то „Варсонофьевъ“.

Въ открытое окно въ первомъ этажѣ выглянула горничная:

— Вамъ кого?

— Миѣ къ Плеханову.

— Во второмъ этажѣ.

Я поднялся по лѣстницѣ.

У парадной двери, на стѣнѣ, прибитая висѣла карта театра военныхъ дѣйствій. Линія нашего фронта обозначена была чернымъ шнуркомъ, прикрепленнымъ къ картѣ булавками.

Въ кабинетѣ Плеханова было не жарко, тѣнисто отъ деревьевъ, закрывавшихъ окна. Вдоль одной стѣны, во всю ширину ея,

Я отвѣтилъ, что, мнѣ кажется, это происходитъ вслѣдствіе малаго интереса среди широкой публики. Публика ищетъ вѣнчайшей занимательности, вѣнчайшей интересности. Ибсенъ же слишкомъ глубокъ и высокъ, воспринимать его надо активно.

— Вамъ приходилось по этому поводу разговаривать съ артистами?

— Да, я говорилъ съ Качаловымъ. Онъ находить, что Ибсенъ брался за разрѣшеніе неразрѣшемыхъ проблемъ, и это считается его недостаткомъ.

Плехановъ улыбнулся:

— Представьте, люди до сихъ порь не дойдутъ до мысли, что у Ибсена многому можно да и надо поучиться. Помимо того, что онъ превосходно освѣщаетъ психологію различныхъ классовъ, онъ обладаетъ высшимъ свойствомъ активности духа и активности дѣйствія, то-есть именно тѣмъ, чего намъ, русскимъ, недостаетъ.



Георгій Валентиновичъ Плехановъ. (+30 мая 1918 г.).

стояла высокая полка съ книгами, завѣшенная синими коленкоромъ. Перпендикулярно къ междуоконному пространству стоялъ большой рѣзной письменный столъ. На столѣ въ величайшемъ порядкѣ разложены были книги,—Софоклъ, Еврипидъ, Мольеръ.

Плехановъ свои досуги посвящалъ большой работѣ о театрѣ. На стѣнахъ висѣли въ старинныхъ рамкахъ фотографіи.

Поджидая Плеханова, я взялъ со стола книгу; это былъ Мольеръ. Но не перевернулъ я двухъ страницекъ, какъ въ кабинетѣ вошелъ Георгій Валентиновичъ.

Онъ казался бодрымъ и оживленнымъ.

— Читаете Мольера?—спросилъ онъ, кивая на книгу, которую я держалъ въ рукахъ,—хорошій авторъ. Очень показательный, выразительный для своей эпохи.

Георгій Валентиновичъ сѣлъ въ кресло къ столу.

— Жаль, что теперь некогда, некогда, совершенно некогда заниматься театромъ. Очень интересна: область! Исторія театра открываетъ много нового и тонкаго, на первый взглядъ даже незамѣтного, въ исторіи соціальныхъ отношеній. Вы кого изъ драматурговъ ставите выше? Я разумѣю современныхъ драматурговъ.

— Ибсена,—отвѣтилъ я.

— Ибсенъ... Ибсенъ...—проговорилъ Плехановъ про себя, какъ бы вспоминая что-то.—Ибсенъ... Да, это очень сильный, очень выразительный писатель... Въ Россіи его, кажется, мало даютъ на сценѣ. Чѣмъ вы это объясняете?

Драмы его построены съ большимъ мастерствомъ. Къ сожалѣнію, у насъ нѣть ни одного драматурга, равнаго по силѣ Ибсену.

— У насъ, вообще, нѣть драматургіи. Есть пьесы.

— Да, да,—оживленно сказалъ Плехановъ,—это любопытная и многозначительная черта. Я думаю, она объясняется разностью общественныхъ условий, различными соціальными строемъ. Но это сказывается не только на развитіи драматургіи, какъ таковой, но и на игрѣ актеровъ. Возьмите, напримѣръ, Францію. Тамъ даже искусство актера отличается ненатуральностью, ходульностью. Отъ этого недостатка,—недостатка, разумѣется, на нашъ взглядъ,—не свободны даже больши французские артисты, въ родѣ Сарры Бернаръ. Сначала смотрѣть на нихъ просто неприятно. Надо привыкнуть. А эта напыщенность объясняется аристократическимъ происхожденіемъ французской трагедіи, наложившей сильный отпечатокъ на всю театральную технику послѣдующихъ поколѣній.

IV.

Къ нему кто-то приѣхалъ по дѣлу. Онъ попросилъ меня пойти въ гостиную, рядомъ. Здѣсь было свѣтлѣе, нежели въ кабинетѣ. Въ бѣлыхъ чехлахъ стояла мебель. У стѣны—старомодный рояль на тонкихъ ножкахъ. На кругломъ столикѣ предъ диваномъ лежала книга „50-лѣтие И. Д. Сытина“.

Въ открытую дверь видна была веранда, исполосованная жаркими солнечными лучами. На стойкѣ лежали ворохъ газетъ.

Во всей обстановке дачи не было того, что называется на обиходномъ языке уютомъ, когда чувствуется, что между вещами и хозяевами квартиры существует какая-то таинственная связь. Впрочемъ, здѣсь этого не могло быть просто потому, что дача была напята съ мебелью.

Пожалуй, такая отвлеченная, безличная обстановка именно въ стилѣ Плеханова, который—весь устремленіе поверхъ головы сегодняшняго дня къ будущему, въ даль.

Его нельзя представить соединеннымъ съ опредѣленными бытами, съ отстоявшимся, замершимъ укладомъ. Онъ—безбытъ, въ предметахъ, въ всего осознательного, связывающаго. Отъ него не вѣтъничтъ интимныхъ житейскихъ. Въ немъ нѣть ни капельки „домашнаго“.

Быть-можеть, это врожденное свойство его; быть-можеть, это слѣды его работы, его житейского и жизненного опыта. Кто много видѣлъ, много испыталъ и многое знаетъ, толь всегда немного холоденъ и спокойствіемъ мудрости; въ такихъ людяхъ есть немного отъ Эклезіаста. Все отстоялось въ душѣ, уравновѣшено, ясно, сведенно къ твердымъ заключеніямъ, отлито въ незыблемую уже форму.

Такое же точно впечатлѣніе выносилъ я отъ встречи съ другими людьми, устремленными къ единой, немногомъ отвлеченной, по времени достиженія, цѣли,—учеными и аскетами. Въ нихъ чувствуется ясно ихъ лишенная внѣшней оболочки сущность, чуждая нашему дню, съ его горемъ, радостью, пѣснями, звуками, цветами, запахами, со всѣмъ тѣмъ, изъ чего слагается наша такая прекрасная и такая ужасная жизнь.

Но ими стоить и держится жизнь.

Проводивъ своего гостя, Плехановъ пришелъ ко мнѣ. Лицо его показалось мнѣ утомленнымъ, я хотѣлъ попрощаться, но онъ удержалъ меня:

— Посидите, потолкуемъ.

Онъ спросилъ, что я пишу теперь. Почему не печатаю беллетристики?

Разговоръ перешелъ на литературу вообще.

— Я не поклонникъ нынѣшнаго „красиваго“ направлениа,— Плехановъ улыбнулся, но тотчас же стала серьезенъ,— теперь очень стараются о вѣшности произведений. Это, разумѣется, нужно, противъ этого я не возражаю, но плохо, когда все внимание писателя устремлено на вѣшность, въ ущербъ содержанию. Содержание опредѣляетъ форму, а не наоборотъ, и это въ какой угодно области. Русская литература имѣть свои особые пути развитія, и въ этомъ развитіи содержаніе играть огромную роль. Имѣя опредѣляется традиція. Въ традиціи нѣть искусства, какъ прекраснаго, животворящаго начала. Есть забота, развлеченіе...

— Грациозная ненужность,—напомнилъ я слова Толстого.

— Именно! Грациозная ненужность! Толстой былъ совершенно правъ! Развѣ можно „Иліаду“ читать для развлечения? Или „Войну и миръ“? Или „Преступление и наказаніе“? Читая нашихъ классиковъ, мы выносимъ что-то для себя драгоценное, духовный опытъ. Конечно, благодаря формѣ произведения, конечно! Но, говоря о Толстомъ, напримѣръ, смѣшино говорить только о формѣ, не касаясь тѣхъ вопросовъ, какіе выведены имъ... Вът интересная и глубокая тема: прослѣдить эволюцію нашей литературы со стороны содержанія. Кто изъ нынѣшніхъ писателей можетъ пройти черезъ такую „пробирную палатку“, не потерявъ своего лица? Двое, трое. Остальные сливаются... Послѣдніе годы я присматривался къ новымъ писателямъ. Или воспроизведеніе быта, не согрѣтое мыслию и чувствомъ, провинциального быта, сдѣланное съ ужимками, со словечками, съ жеманствомъ, или подражаніе французскимъ новеллистамъ, но безъ ихъ тонкости и грации. Одинъ подражаетъ Франсу, другой Мопассану. Третій, въ родѣ Арцыбашева, помышляетъ на юмористическихъ приключеніяхъ. Но у насъ нѣть своего Мопассана, своего Франса.

— И слава Богу, что нѣть,—сказалъ я.

— Совершенно вѣрно! Превосходно, что нѣть! Пока еще мы можемъ—мы должны быть самостоятельными. Когда у насъ изложитъ свое творчество—появятся писатели, которымъ въ заслугу будутъ ставить: „помилуйте, онъ пишетъ, какъ Франсъ“. Франсъ превосходенъ, я этого не отрицаю, у него можно поучиться техники, но черпать вдохновеніе надо только въ родной жизни.

Плехановъ помолчалъ, закрѣвъ глаза.

Лицо его поблѣдѣло, осунулось. Подъ глазами стутились тѣни. Замѣтно было, что онъ утомленъ.

Я хотѣлъ встать и попрощаться, но онъ снова заговорилъ. Кончились участія въ газетахъ и журналахъ вмѣстѣ съ иначе мыслившими.

— У насъ очень узко смотрѣть на это, я знаю. Я привыкъ въ Европѣ къ болѣе широкому и терпимому отношенію. Разумѣется, съ „пораженцами“ совмѣстное сотрудничество невозможнo. Вчера мнѣ передавали, что нѣкоторые мои старые товарищи, проѣхавшие черезъ Германію, хотѣтъ повидаться со мной. Я просилъ имъ сообщить, что видѣть ихъ мнѣ тяжело, а потому не надо этого свиданія. Я даже написалъ письмо объ этомъ въ редакцію „Единства“. Сегодня же отошли его.

При прощаніи Плехановъ спросилъ:

— А какъ статья о контръ-революціи? Пишется?

— Не пишется,—сказалъ я.—Времени нѣть.

— Надо написать. Вообще, надо писать. Не хотите беллетристики печатать до поры до времени—не печатайте. Дѣйствительно, времена для беллетристики неподходящее, но статьи должны писать. Непремѣнно должны писать!

— Я не политикъ.

— Ничего не значить. Однако, обѣ упраздненіи Государственной Думы написали и въ нѣсколькихъ органахъ статью цитировали. Я слѣдилъ. Итакъ, о контръ-революціи—за вами.

VI.

Съ каждымъ днемъ выяснялось, что Плехановъ въ революціонной Россіи „пришелся не ко двору“.

Каждый день бывшіе его ученики рѣзво гарцевали на страницахъ газетъ, обзываю своего старого учителя вскакими нехорошими словами.

Пріѣхавшій на родину съ жаждой работы, Плехановъ обрѣченъ быть на бездѣлѣ. Его государственный умъ, зорко прovidѣвшій и точно опредѣлившій слѣдствія всѣхъ событий, происходившихъ въ тѣ дни, не понадобился ни Временному Правительству ни Совету.

Противъ Плеханова тѣсно соединилось „сплоченное большинство“, это понятно: критика его была разрушительна и Ѣдка.

И онъ очутился въ одиночествѣ.

Ему приписывали слова, какихъ онъ не произносилъ, мысли—никогда не бывшіе его мыслями. Впрочемъ, это было не ново; такъ съ нимъ поступали всегда, выступалъ ли онъ, какъ литературный критикъ, въ качествѣ ли соціолога или главы политической группы.

Сложная и стройная его теорія экономического материализма превращалась, при содѣйствіи опытныхъ въ этихъ дѣлахъ лицъ, въ служеніе капиталу.

Призывающій къ совмѣстной работе съ буржуазіей для отпора вѣшнему врагу и для созиданія новой Россіи, Плехановъ былъ объявленъ продавшимъ „капиталистамъ и помѣщикамъ“.

Не стану перечислять всѣхъ нехѣностей, какія распространяли о немъ, затѣмнія истинный его обликъ въ сознаніи широкихъ массъ.

Заключенный своей болѣзнью въ Царскомъ, онъ не могъ принимать непосредственного участія въ политической борьбѣ; онъ ограничился лишь писаніемъ передовыхъ статей въ газету „Единство“, вскрывая много несуразныхъ противорѣчий въ тогдашней политической жизни и освѣщающая послѣдствія событий даже тѣмъ, кто творилъ эти события, не понимая ихъ значенія и смысла.

Мнѣ случалось видѣть въ редакціи „Единства“ разныхъ лицъ, различного положенія, возраста, происхожденія. Они приходили поговорить съ Плехановымъ, отъ него услышать отвѣтъ на тѣ проклятые вопросы общественной жизни, какіе выдвигала дѣятельность.

— Можно видѣть Георгія Валентиновича?

— Принимаетъ ли Георгій Валентиновичъ?

— Попросите Георгія Валентиновича принять меня.

Имъ говорили, что Георгій Валентиновичъ боленъ, живетъ въ Царскомъ, а здѣсь никого не принимаетъ.

Нѣкоторые не вѣрили, медлили уходить, подходили то къ одному, то къ другому члену редакціи и, понизивъ голосъ, таинственно спрашивали:

— А, можетъ-быть, Георгій Валентиновичъ меня приметъ? А? Попросите его.

Запомнился мнѣ пожилой полковникъ, его красное лицо, растерянная рѣчъ:

— Какъ же такъ? Мнѣ завтра надоѣдать на фронтъ. А мнѣ надо поговорить съ Плехановымъ.

Онъ съ особеннымъ ударениемъ произносилъ „надо“.

Бывали въ редакціи и очень подозрительны лица. Они спрашивались, ежедневно ли бываетъ здѣсь Плехановъ, въ которомъ часу прїѣзжаетъ, когда уѣзжаетъ. Они не высказывали желанія видѣть его, собирая лишь свѣдѣнія для кого-то нужныхъ.

Плехановъ бывалъ въ редакціи, но на короткое время и очень рѣдко.

VI.

Въ тѣтъ день, когда получили мы извѣстіе о наступленіи полковъ „18 июня“, Плехановъ прїѣхалъ въ Петербургъ.

Онъ словно посвѣжѣль, окрѣпъ, помолодѣль.

Я видѣлъ его въ редакціи, гдѣ взволнованно говорилъ онъ о томъ, что необходимо устраивать митинги, разъяснять смыслъ наступленія, поддерживать общій подъемъ, укрѣплять надежду на возрожденіе и воскресеніе Россіи.

Говоря пламенные слова, онъ оставался прежнимъ Плехановымъ, сдержаннѣмъ и скучнымъ въ жестахъ; но эта манера еще сильнѣе подчеркивала смыслъ его воодушевленныхъ словъ, со средоточивала вниманіе на нихъ.

Только вариаціи четкаго, яснаго голоса и блескъ его глазъ говорили обѣ его волненіи. Нѣсколько часовъ спустя, онъ говорилъ у Казанскаго собора, какъ и сорокъ лѣтъ назадъ.

— Если я спрошу васъ, какой сегодня день, вы отвѣтите, что сегодня понедѣльникъ. Но это неправда. Сегодня воскресенье, потому что сегодня воскресла Россія!

Онъ говорилъ, стоя среди знаменъ, плакатовъ и флаговъ, го-

ворилъ о любимой Россіи, говорилъ, какъ любящій ее сынъ и какъ гражданинъ.

Этотъ день былъ днемъ надежды, днемъ порыва. Въ вечернемъ засѣданіи редакціи онъ сидѣлъ молча, утомлено облокотясь на спинку стула. Казалось, день отнялъ всѣ его силы; всю свою энергию вложилъ онъ въ свою рѣчь у собора. Мертвенные тѣни легли на его осунувшемся лицѣ.

Можно было подумать, что онъ не слышитъ того, что говорятъ его товарищи, столько сосредоточенного единенія было въ нахмуренныхъ его бровяхъ и въ выпуклостяхъ лба.

Но рѣдкіе взгляды изъ-подъ нависшихъ бровей говорили объ вниманіи.

Всѣ слѣдующіе дни мы жили въ какомъ-то повышенномъ настроеніи, въ ожиданіи воистину чуда—воскресенія Россіи.

Читали только телеграммы изъ Ставки, говорили только о военныхъ дѣйствіяхъ, слѣдили по картѣ за продвиженіемъ нашихъ войскъ.

Но постепенно, съ каждымъ днемъ стали раздаваться иные голоса, и какъ-то незамѣтно подошло второе юля—начало юльского восстания.

Съ утра до вечера раздавались выстрѣлы, по улицамъ мчались грузовые моторы, переполненные вооруженными людьми. Пробѣжали кареты Краснаго Креста, развозя по больницамъ раненыхъ.

Городъ былъ полонъ зловѣщихъ слуховъ.

Въ день восстания я отправился въ редакцію, слыша по пути безпрерывныя выстрѣлы. Кое-гдѣ падали раненые и убитые.

Въ редакціи было многолюдно и тревожно.

Когда я вошелъ въ кабинетъ секретаря, секретарь въ телефонъ говорилъ Плеханову о томъ, что происходит въ городѣ, и просилъ его не выѣзжать изъ Царскаго, чтобы не подвергаться опасности.

Копчакъ разговаривалъ, секретарь пожалъ плечами.

— Развѣ онъ слушаетъ! Онъ сегодня прѣдѣтъ на засѣданіе. Надо всѣхъ собрать.

Ветеромъ прѣѣхалъ Плехановъ.

Онъ былъ спокойнъ, какъ всегда; ни тѣни волненія на лицѣ, въ голосѣ, въ движеніяхъ.

Онъ вошелъ и молча поздоровался со всѣми. И въ этомъ спокойствіи таилось высшее краснорѣчіе: онъ прѣѣхалъ, чтобы въ минуту опасности быть вмѣстѣ со всѣми, и это такъ понятно и обыкновено, что обѣ этомъ не стоять говорить.

Началось засѣданіе.

Очевидцы кровавыхъ столкновеній разсказывали о томъ, что видѣли на улицахъ, сообщали о настроеніи массъ.

Всѣ, кроме Плеханова, были взволнованы.

Онъ слушалъ, наклонивъ голову, слушалъ спокойно, со спокойствіемъ человѣка, знающаго напередъ все, что ему расскажутъ, знающаго, что все, что произошло, произошло именно такъ, какъ должно произойти.

Когда всѣ выѣзжали, началъ говорить онъ.

Онъ говорилъ, что бываютъ минуты, когда трудно сохранять спокойствіе, но что спокойствіе необходимо; оно проясняетъ наши мысли и предохраняетъ насъ отъ ошибокъ. Это спокойствіе можетъ дать намъ только полное и глубокое сознаніе цѣлей нашей работы. Цѣль далека, трудно достичь, но тѣмъ большее спокойствіе необходимо, чтобы не сбиться съ пути и не сдѣлать ошибокъ, въ которыхъ придется потомъ раскаиваться. Одинъ ложный шагъ часто губить съ трудомъ добытые плоды многолѣтнихъ завоеваній. Какъ бы ни сложились въ будущемъ обстоятельства—наша позиція остается неизмѣнной: полное объединеніе всѣхъ силъ страны вокругъ одной общей цѣли — спасенія отечества и сохраненія свободы, которой угрожаетъ смертельная опасность отъ всевозможныхъ политическихъ авантюристовъ.

Старые революціонеры знаютъ, что значить методъ въ борьбѣ, и какихъ результатовъ онъ достигаетъ. Никогда не надо идти впередъ, не закрѣпивъ завоеванныхъ позицій. Пусть насъ упрекаютъ въ томъ, что мы идемъ медленно, но мы идемъ вѣрою. Это — единственный путь, по которому мы придемъ туда, куда надо.

Въ тѣ минуты, когда Плехановъ говорилъ это, въ минуты крайней взволнованности, рѣчь его показалась мнѣ сухой, отвлеченной. И только спустя много дней выяснилось все ея значеніе, весь ея смыслъ, продиктованный долгимъ опытомъ и наблюдениемъ, дающимъ мудрость.

— Не надо увлекаться, — сказалъ мнѣ Плехановъ, когда мы разговорились во время перерыва. — Путь соціальной реформы, соціального переустройства исчисляется столѣтіями. Предо нами опять Европы. Будьте осторожны съ внезапными революціонерами. Они всегда ужасно неизримиримы. Никогда не забывайте Теофиля Готье. Онъ ненавидѣлъ буржуазію, какъ никто, но между тѣмъ онъ же съ неистовыемъ восторгомъ привѣтствовалъ побѣду буржуазіи надъ пролетаріатомъ въ 1871 году. Что бы ни говорили, наша русская революція—революція буржуазная. Мы находимся въ той стадіи общественнаго развитія, когда, безъ помощи буржуазіи, свобода обречена на гибель. Нѣкоторые же склонны думать иначе и думаютъ, что соціальное переустройство совершился такъ легко и просто, какъ у Гоголя—помните?—вареники сами прыгали сначала въ сметану, а потомъ въ ротъ Пасюка.

VII.

Мнѣ кажется, во время пребыванія Плеханова въ Россіи у него было два, только два пріятныхъ дня.

Первый — когда ступилъ онъ на родную землю.

И второй — когда въ Петербургѣ состоялась всероссійская конференція группы „Единство“.

Со всѣхъ концовъ Россіи сѣхались представители провинціальныхъ племяновскихъ ячеекъ, чтобы увидѣть и услышать учителя своего и руководителя.

Сначала засѣданія происходили въ Петербургѣ; члены конференціи знакомились другъ съ другомъ, обсуждали свое отношеніе къ текущимъ вопросамъ — о войнѣ, о Временномъ Правительствѣ, объ интернационализмѣ и т. д.

Разнаго общественного положенія, разнаго возраста, — они всѣ были одинаково серьезны, всѣ придавали большое значение своему сѣздѣ, вслушивались въ рѣчи ораторовъ съ напряженнымъ вниманіемъ.

Послѣднее собраніе конференціи было назначено въ Царскомъ, на дачѣ Плеханова.

Я опоздалъ на утренній поѣздъ, съ которымъ уѣхали члены конференціи. Удалось мнѣ выѣхать въ Царское въ два часа.

Когда я поднялся по знакомой лѣстницѣ, на площадкѣ, возлѣ карты, стояли и курили нѣсколько членовъ конференціи.

Двери въ квартиру Плеханова были открыты: входили и выходили.

Я попалъ въ перерыву.

Что-то школьное, студенческое напомнили мнѣ курившіе на площадкѣ люди. Такъ когда-то, въ перерывѣ двухчасовой лекціи знаменитаго профессора, мы курили въ университетскомъ коридорѣ, вступая въ горячіе споры.

И тутъ точно такъ же спорили о марксизмѣ, о соціализмѣ, о политикѣ, ссылаясь на слова Плеханова, только что ими слышанные.

Ко мнѣ подошелъ одинъ изъ членовъ конференціи, земскій дѣятель изъ глубокой провинціи, пожилой человѣкъ, съ темными, болѣзненными лицомъ.

— Какъ я вамъ завидую! — сказалъ онъ взволнованно.

Я спросилъ, почему.

— Еще бы! Вы часто можете слышать Георгія Валентиновича. Вы знаете, я сижу и слушаю его — и такъ мнѣ все ясно становится, понятно, определено. Слушаешь и... и какъ-то самъ вырасташь. Видишь то, чего не видѣлъ. Понимаешь то, что было до сихъ поръ запутанно, туманно. Теперь меня не сбѣшь никакимъ... Если бы не семья, перѣѣхалъ бы сюда, чтобы поближе къ нему быть. Честное слово! Сколько онъ знаетъ! Ай-ай-ай, сколько знаетъ! И видишь, какъ мало мы знаемъ... Даѣтъ бы Богъ здоровья Георгію Валентиновичу — прѣѣхалъ бы онъ къ намъ, чтобы наши всѣ увиѣли его и послушали!

Плехановъ захватилъ всѣхъ членовъ конференціи.

Я пришелъ въ гостиницу. Стулья тамъ были составлены полу-кругомъ; посерединѣ стояла столь.

У оконъ, на верандѣ, въ кабинѣ стояли и сидѣли, разговаривая негромко, участники конференціи.

Понемногу гостиная стала наполняться народомъ; перерывъ подходилъ къ концу.

И снова вспомнилась мнѣ студенческая аудиторія, съ ея разговоромъ и шумомъ въ ожиданіи прихода профессора.

Черезъ нѣсколько минутъ изъ соѣднѣй комнаты вышелъ Плехановъ.

Я не видѣлъ его недѣліи дѣй, и перемѣна въ его лицѣ поразила меня. Глаза ввалились, на вискахъ темнѣли впадины. Но съ заострился; надѣя втянутыми щеками выступили склады.

Оттого ли, что на дворѣ было пасмурно и сырой день уныло смотрѣлъ въ окна, какъ безнадежный болѣй, землистый отѣнокъ.

Болѣзнь и тревога дѣлали свое дѣло.

Но голосъ его попрежнему былъ звученъ, ровенъ и твердъ. Плехановъ говорилъ о тактикѣ политической борьбы, приводилъ примѣры изъ западной жизни; онъ одушевился, блеснула двумя-тремя тонкими остротами, а я, слушая его, впервые произнесъ про себя то слово, какое такъ не подходило ко всему его облику: „старикъ“.

Да, теперь я видѣлъ старика, который упадкомъ силъ и ухудшениемъ здороыи черезъ полчаса, черезъ часъ заплатить за свою одушевленную рѣчью.

Да, это былъ старый, одинокій боецъ, умѣвшій однако показать свое фехтовальное искусство. Онъ, видимо, воодушевлялся тѣмъ вниманіемъ, какое отражалось на лицахъ его учениковъ, и слова его накалялись внутреннимъ огнемъ.

Не рѣчь произносилъ онъ: это былъ призывъ вождя, звавшаго всѣхъ сплотиться тѣснѣе, потому что только единеніе при достижении цѣли и борьбѣ рождаетъ побѣду.

Плехановъ далъ блестящій тѣ практическіе выводы, какіе изъ нихъ слѣдуютъ.

Послѣ рѣчи его благодарилъ отъ лица всѣхъ собравшихся одинъ изъ участниковъ конференціи. Слова его были нестройны, растерянны, но крѣпкое чувство звучало въ нихъ.

— Георгій Валентиновичъ, мы этого никогда не забудемъ! Спасибо вамъ! Глубокое спасибо!

VIII.

Какой закалъ надо имѣть и какое страстное желаніе внушилъ свою идею, чтобы не охладѣть, не остить, не махнуть рукой, но болѣному, проводить цѣлый день въ засѣданіи и говорить въ теченіе нѣсколькихъ часовъ!

Миѣ было грустно уѣзжать изъ Царскаго. Что-то подсказывало мнѣ, что я въ постѣдній разъ вижу Илеханова.

Да, *такою* Илеханова я видѣлъ послѣдній разъ. Мы еще встрѣчались послѣ этого, но *такою* Илеханова я больше не видѣлъ.

Вскорѣ случилось одно обстоятельство, о которомъ говорить счастъ еще не время, но которое навлекло на меня сильное неудовольствіе Илеханова.

Въ одинъ изъ послѣдніхъ юльскихъ дней мнѣ дали знать, что я немедленно побѣхалъ въ Царское Село.

Съ первымъ же удобнымъ побѣздомъ я отправился.

Нашъ разговоръ иродолжался около двухъ часовъ.

Илехановъ волновался, говорилъ долго, красиво, убѣдительно. Говорилъ по поводу того обстоятельства, какою вызвало мой прѣѣздъ, и по поводу газеты съ уходомъ изъ редакціи Н. И. Борданскаго — Илехановъ считалъ его талантливѣйшимъ журналистомъ — редакціонное дѣло иллюстрировало кос-какъ, беспорядочно, случайно.

Илехановъ, жившій постѣдніе время беззыѣздно въ Царскомъ, не имѣлъ полнаго представленія о томъ, что происходило въ газетѣ, или же имѣлъ представленіе, не соотвѣтствовавшее настоящему положенію вещей.

Въ этотъ разъ было очень трудно говорить съ нимъ. Его нельзя было вспоминать, поэтому о нѣкоторыхъ обстоятельствахъ приходилось умалчивать и не возражать на нѣкоторыя его утвержденія, которыя онъ измѣнилъ бы, если бы ему можно было разсказать все.

Въ томъ же вопросѣ, какой волновалъ его больше всего, отъ меня требовалось только подчиненіе волѣ большинства, т.-е. его волѣ, ибо его воля была волей большинства.

Подчиниться же я по совѣсти не могъ, такъ какъ въ этомъ вопросѣ большинство было не право.

— Подчиненіе дисциплинѣ — это долгъ! — говорилъ Илехановъ съ глубокимъ убѣждениемъ.

Я знаю, что для Илеханова эти слова значили очень много. Я былъ свидѣтелемъ, какъ самъ онъ подчинялся волѣ большинства въ тѣхъ вопросахъ, где правъ быть опѣ.

Этого подчиненія я не выразилъ.

Я помню его удивленный, суровѣющій взглядъ; помню его насупленныя брови. Въ такомъ суровомъ настроении ни до этого ни послѣ я его не видѣлъ. Но такъ, какъ было, такъ должно было быть.

Во второй разъ, когда по этому же самому вопросу надо было мнѣ снова быть въ Царскомъ, я не побѣхалъ, чтобы не нарушать въ своей душѣ того образа Илеханова, какой жилъ въ ней.

Мой другъ передалъ мнѣ его слова обо мнѣ:

— Доброправовъ, вѣроятно, поладилъ бы съ анархистами.

Я не знаю, поладилъ бы я съ анархистами или нѣтъ, но отзывъ Илеханова для меня интересенъ потому, что онъ гармонируетъ со всѣмъ его складомъ. Онь — въ стилѣ Илеханова. Для него, какъ для строго дисциплинированного человека, неподчиненіе дисциплинѣ — даже чисто-теоретическое, какъ было въ данномъ случаѣ — равнялось проявленію анархизма.

IX.

Настали октябрьскіе дни.

Илехановъ былъ опасно болѣнъ. Но въ болѣзни, во въ жару не забывалъ онъ ни на минуту, что его могутъ арестовать, и вѣчно проводилъ готовый къ внезапному обыску и аресту.

Его обыскивали нѣсколько разъ, несмотря на то, что обыскившимъ говорили объ его тяжелой болѣзни, обыскивали грубо, безжалѣально.

Зачѣмъ? Почему? Кому это было нужно?

Здоровье его ухудшалось съ каждымъ днемъ.

Его перевезли въ Петербургъ, въ больницу.

Онь угасалъ медленно, незамѣтно, забытый даже тѣми, кто при имени Илеханова дѣлалъ глубокомысленное лицо:

— На него налая надежда!

Но чѣмъ ближе подходилъ онъ къ своему гробу, тѣмъ величавѣ становился его образъ въ глазахъ людей, ушедшихъ съ путей, начертанныхъ его вѣщую рукою.

Его умирание съ твердымъ и яснымъ сознаніемъ долга напоминало мнѣ гибель капитана, тонущаго во время катастрофы на своемъ кораблѣ, не желая покинуть его.

Въ немъ было что-то напоминающее мучениковъ, погибающихъ за вѣру, считая ее одну правой и святой.

Его религіей было счастье пролетаріата, которому отдалъ онъ всю свою жизнь, всю силу, паѳость, умъ, энергию, всеего себя.

Быть-можеть, живя на чужбинѣ, вдалѣ отъ воленій, оскорблений, непониманія, онъ жилъ бы еще многіе годы, ибо въ немъ жила сила всепобѣжающаго духа.

Но онъ не выдержалъ при вѣсти о свободѣ и прѣѣхалъ „черезъ смерть“, чтобы найти смерть на родной землѣ, где должна была начаться для него новая жизнь.

Для него, которому нужны были просторы огромной работы, судьба приготовила сначала четыре стѣны царскосельскаго уединенія, а затѣмъ темную могилу на Литераторскихъ мосткахъ Волкова кладбища.

Прѣѣхавъ въ Россію, онъ очутился въ положеніи того человѣка, который, приду на балѣ танцовывать, встрѣтилъ тамъ однихъ безногихъ и хромыхъ.

Илехановъ свою судбою подтвердилъ правило, ставшее, къ сожалѣнію, закономъ, о пророкѣ, не имѣющемъ славы въ своемъ отечествѣ.

X.

Нѣсколько лѣтъ назадъ Илехановъ писалъ:

„Страшнѣе гибели можетъ быть одно: *неудача того дѣла, которому отдался всѣмъ своимъ сердцемъ и всѣмъ своимъ помилованіемъ* (курсивъ Илеханова). И даже не полная неудача, но окончательное крушеніе надеждъ, связанныхъ съ этимъ дѣломъ, а хотя бы простое сознаніе того, что торжество дѣла, казавшееся близкимъ, уходить въ неизрѣдѣленное будущее. При извѣстномъ настросномъ подобное сознаніе несомнѣнно спровоцируетъ смерть. И когда оно навязывается человѣку жизнью, — т.-е. когда жизнь разбиваетъ слишкомъ оптимистической представлѣніи о близости победы, — тогда оно способно внести отчаяніе даже и въ очень сильную душу. Вотъ почему участники освободительного движения пролетаріата не должны обольщать себя слишкомъ розовыми надеждами; они должны избѣгать излишнаго оптимизма!..“

Эти слова и эти мысли могутъ освѣтить память то душевное состояніе, какое пережилъ Илехановъ. Онъ испыталъ нѣчто болѣе страшнаго, чѣмъ гибель; но у него это страшное предшествовало гибели.

Ему суждено было до дна испить чашу горя.

Только послѣ смерти его люди вдругъ вспомнили, что есть, вѣрѣ, былъ Илехановъ, и что онъ быть ихъ учителемъ.

И тѣ, кто травилъ его при жизни, къ нему мертвому понесли свое сочувствіе и свою запоздалую любовь.

Наше это, русское? Или же общечеловѣческое?

Не знаю. Одно знаю, что нехорошее.

Горкій вложилъ въ уста одного изъ своихъ героевъ:

„— Всѣхъ мы убиваемъ! Которыхъ пулями, которыхъ словами; всѣхъ мы убиваемъ дѣлами нашими. Гонимъ людей со свѣту въ землю и не видимъ этого и не чувствуемъ... а вотъ, когда бросимъ человѣка смерти, тогда и поймѣмъ нашу вину передъ нимъ. Станетъ жалко умершаго, стыдно передъ нимъ и страшно въ душѣ... вѣдь и настѣ такъ же гонять, и мы въ могилу приготовлены!..“

Умеръ Илехановъ — и потянулись депутатіи, понесли вереницы вѣнцовъ, ораторы стали произносить пламенные рѣчи, какъ бы желая посмертными почестями загладить свое прежнее равнодушіе.

Трудно предсказывать будущее, но, быть-можеть, смерть Илеханова напомнятъ людямъ его завѣты, быть-можеть, черезъ его могилу враждующіе протянутъ другъ другу руки и соединятъ ихъ въ братскому пожатію.

Петербургъ пышно встрѣтилъ Илеханова триадцать мѣсяціевъ назадъ и пышно проводилъ его къ мѣсту вѣчнаго упокоенія.

Я не видѣлъ Илеханова въ гробу, и потому въ моей памяти живеть онъ такимъ же, какимъ увидѣлъ я его впервые, когда ступилъ онъ на родную землю послѣ сорокаѣтнаго изгнанія: при звукахъ Марсельезы, которую игралъ оркестръ, при громкихъ крикахъ „ура“ — стоять онъ съ букетомъ красныхъ розъ, поднесенныхъ ему, глядя блестящими глазами куда-то поверхъ головъ окружившей его толпы, словно смотрѣть онъ въ свое далекое прошлое, отдѣленное отъ этого дня сорока годами изгнанія



Человѣкъ, который никого не убилъ.

Легенда С. Аничковой.

I.

Это было въ очень давнія времена, въ дни гибели Содома и Гоморры. Поверженные гибелью Господнимъ, эти мѣста грѣха дымились во прахѣ.

Изъ пылающихъ развалинъ селенья, расположенного недалекъ отъ погибшихъ городовъ, въ обгорѣлой одеждѣ, съ обожженными лицомъ и бородой, вышелъ человѣкъ. На рукахъ его лежало завернутое въ покрывало новорожденное дитя.

Испуганная огненной стихіей, кинувшася вслѣдъ за мужемъ отъ преслѣдовавшаго ихъ облака удущливаго горячаго пепла, женщина упала и умерла, не успѣвъ взглянуть на рожденаго ею сына, и Асомъ, поспѣшило обернувшись младенца материнскимъ покрываломъ, бѣжалъ отъ проклятыхъ Богомъ городовъ.

Онъ не зналъ, куда приведеть его судьба, но осиротѣвшій ребенокъ былъ голоденъ и своимъ жалобнымъ крикомъ заставлять отца учащать шаги.

Когда багровое отъ огненной пыли солнце опустилось за горы, Асомъ вошелъ въ лежацій у ихъ подножія небольшой городокъ. Тамъ обрѣль онъ пріютъ и заботу о новорожденномъ и навсегда остался у гостепріимныхъ жителей.

II.

Асомъ, какъ и обитатели сожженніхъ городовъ, былъ обрѣмененъ грѣхами. Жестокій и безпощадный, онъ не зналъ жалости ни къ людямъ ни къ животнымъ: истязалъ и убивалъ рабовъ, загоняя непосильной работой беззащитныхъ моловъ. Но лишь теперь, когда постигъ гибель Божій Содомъ и Гоморру, онъ впервые понялъ весь ужасъ своей грѣховной жизни.

Въ его воспоминаніяхъ прошли безумныя оргіи, прославившія его имя далеко за предѣлами, зодного города, предъ нимъ представлана, бѣжавшая за нимъ, цѣплявшаяся за его одежды жена... Онъ оттолкнулъ ее, и она упала, засыпаемая пепломъ. Тамъ осталась погребеной вся его жизнь. Долгіе безсонные ночи проводилъ онъ въ мучительномъ раскаяніи. Искупителемъ совершенныхъ имъ грѣховъ Асомъ рѣшился сдѣлать своего сына: сдѣлать изъ него праведника — такого, какого еще не вѣдалъ міръ.

Асомъ сталъ воспитывать душу маленькаго Авелаха, чтобы сердце его не знало жестокости, чтобы никогда онъ никому не причинилъ зла ни сознательно ни невольно.

Покуда мальчикъ былъ въ колыбели, это не требовало особыхъ усилий, но когда дитя подросло, забота о томъ, чтобы нога его даже случайно не раздавила ползущее по землѣ насѣкомое, или, чтобы, играя, по свойственной дѣтямъ жестокости, ребенокъ не вздумалъ ловить и мучить животныхъ, становилась все сложнѣе и труднѣе.

Но желаніе искупить свои грѣхи было у Асома такъ велико, что онъ успѣшно преодолѣвалъ всѣ трудности, и Авелахъ рѣсь, не зная вкуса животной пищи, не испытавъ наслажденія побѣ-



Иллюстрація къ легенде „Человѣкъ, который никого не убилъ“. (Гл. I).

Г. Манизеръ.

гать по шелковистой душистой травѣ. Смуглыя ножки ребенка никогда не касались земли, а худенькия ручки не погружались, въ игрѣ, въ золотистый песокъ...

Авелахъ рѣсь узникомъ, но, повидимому, не страдалъ отъ этого, такъ какъ съ первыхъ сознательныхъ мгновеній своей жизни привыкъ къвшаемой ему отцомъ мысли, что призванъ искупить грѣхи человѣчества.

— Сынъ мой, — говорилъ Асомъ, — міръ погибаетъ отъ того, что наполненъ убийцами. Какъ одинъ праведникъ могъ спасти отъ Божія гибели Содомъ и Гоморру, такъ одинъ человѣкъ, никогда не лишившій жизни другого существа, можетъ спасти міръ. Въ душѣ каждого изъ насъ живетъ безознательная, перелившаяся въ наши жилы вмѣстъ съ кровью предковъ, жестокость и жажда уничтоженія, но никто не пытался побѣдить ихъ. Ты будешь первымъ, и имя твое будетъ благословлено въѣхахъ.

И, съ каждымъ годомъ, дѣляясь сознаніемъ, Авелахъ все съ болѣшимъ вниманіемъ прислушивался къ словамъ отца и, съ возрастающей вѣрой въ слышанное, уже строго слѣдилъ за собой, чтобы не совершилъ „убийства“. Правда, въ дѣствѣ „крови предковъ“ сказывалася въ немъ желаніемъ помочь пойманное насѣкомое, правда, временами и нынѣ въ душѣ его вспыхивала какая-то темная, неопредѣленная жажда разрушенія, росло какое-то мятежное, буйное чувство, но онъ умѣлъ подавлять его молитвою и постомъ.

Дни и годы устремлялись въ вѣчность. Изъ задумчиваго, блѣднаго юноши Авелахъ превратился въ мудраго, зрѣлаго мужа, ставшаго единственной отрадой одряхлѣвшаго Асома, радовавшагося, что сынъ его уже почти осуществилъ задуманное имъ искупленіе.

Но случилось нежданное. Однажды Авелахъ хотѣлъ подойти приведенную отцомъ ослицу, та заупрямилась, и, какъ ни приступала онъ къ ней, животное отталкивало его, не давая ему возможности взяться за переполненные молокомъ сосцы.

Отъ длительныхъ усилий кровь бросилась въ голову Авелаха, и вдругъ... онъ по-



Иллюстрація къ легенде „Человѣкъ, который никого не убилъ“. (Гл. II).

Г. Манизеръ.

Библиотека "Руниверс"

чувствовать, какъ знакомая, темная сила овладѣваетъ его душой.

Неиспытанный доселѣ яростъ охватила его съ такой силой, что онъ задохнулся и, схвативъ острый посохъ отца, уже занесъ его надъ головой непокорной ослины.

Но это длилось лишь мгновение: разудокъ побѣдилъ, и измученный страшнымъ усилемъ воли, блѣдный отъ волненія, Авелахъ отпрянулъ отъ ослины и въ изнеможеніи упалъ замертью на свое жесткое ложе.

Подъ утро, задремавшій чуткимъ старческимъ сномъ Асомъ очнулся отъ какихъ-то странныхъ, несшихся отъ ложа Авелаха, стоновъ. Въ недоумѣніи направился онъ къ сыну и увидѣлъ его... съ вонзеннымъ въ сердце остриемъ посоха.

— Отецъ! — успѣлъ прошептать умирающій наклонившемуся къ нему въ ужасѣ Асому.— Огецъ, ты заповѣдалъ мнѣ не убивать ни одного живого существа, но ты перелилъ въ мои жилы кровь убийца. Я не могъ побороть живущей въ моемъ сердцѣ жестокости и, чтобы не убить другого, убиль себѣ.



И. Н. П-о.

Я иду по верандѣ пустынной,
Чуть касаясь до каменныхъ плитъ;
День ненужный, и скучный и длинный,
Словно ужъ межъ камнями, скользитъ.
Я иду и не чувствую тѣла,
Полный кубокъ свободы мнѣ данъ;

Вся душа у меня опустѣла,
Словно послѣ грозы океанъ.
Онъ вздымаетъ валовъ своихъ гравы,
Безучастный къ стенаньямъ земли,
А на днѣ его спать молчаливо
Погребенные имъ корабли.

Наталія Грушко.

Мудрая природа.

Разсказъ А. Волковичъ-Вель.

Ее звали Розой, и въ молодости, действительно, она была красавицей—розой.

Ужасно сказать „была“... „Да... была красавицей... была!“—часто, вздыхая, думала она, внимательно разглядывая въ зеркаль свое утомленное лицо... всѣ его печальные минуты и нежеланные плюсы.

Минуты эти начали сказываться съ ея нѣкогда роскошной, рѣдкостной, а теперь—увы!—только рѣденькой шевелюры, но и все слѣдующее за этой шевелюрой шло въ унисонъ съ ней: бѣлосѣжный лобъ получиль тоже очень непріятный минуту: онъ потерялъ именно эту бѣлосѣжность и сталъ желтѣть, а какъ плюсъ—получиль глубокія, продольныя морщины; съ бровями тоже было неладно: онъ порѣдѣлъ, это какъ минута, а какъ плюсъ—волосъ ихъ стала длиннѣе, что было очень некрасиво. Переики-щечки потеряли, какъ минута, пухъ персика, а пріобрѣли, какъ плюсъ—совѣбѣмъ нежеланныя впадины посередѣкъ; но всѣго чувствительнѣе такія перемѣны отразились въ глазахъ, въ ея карихъ искрометныхъ глазахъ—теперь глаза эти потускѣли: минута ихъ сказалася въ потерѣ огня, а плюсомъ была утолщенность вѣкъ, отчего глаза стали менѣе. Красивый прежде носикъ потерялъ свое классическое очертаніе, но въ плюсъ онъ вытянулся и казался великъ; что же касается пухленькаго пунцоваго рта, то о немъ даже и вчужѣ грустно вспомнить.

Къ тому же злое время, добравшись наконецъ до, вѣро, давно уже намѣченной имъ жертвы, съ ожесточениемъ, исцарапала это нѣкогда прекрасное лицо, и царапины эти—иначе морщины—не заживали, а съ каждымъ годомъ тѣлѣлись все глубже и глубже.

Экс-красавица не могла смириться передъ этой неизбѣжностью разрушенія и чувствовала себя глубоко несчастной.

Однажды въ прекрасный августовскій вечеръ, особенно прекрасный на прекрасной Ривьерѣ, подъ ея темно-синимъ небомъ, точно спустившимся на землю, Розѣ было какъ-то особено тяжело.

Въ отель она занимала комнату, изъ оконъ которой былъ видъ садъ и роскошная вилла, гдѣ проживали въ то лѣто какіе-то русскіе бары. Тамъ былъ вѣчный праздникъ, а въ тотъ вечеръ, когда ей было таѣло на душѣ, садъ виллы горѣлъ тысячами огней, гремѣла музыка, и видно было, какъ въ большой залѣ весело мелькали пары, какъ вальсъ смѣялся мазуркой, мазурка котильономъ, а въ антрактахъ случалось, что подходили кто-нибудь къ роялю, и Роза ясно слышала изъ своей комнаты каждое слово романсовъ и арій, которые тамъ пѣли: „Осѣдаю коня, коня быстрого... я помчусь, донюю свою молодость“.

Роза пугливо поднялась съ постели и, схватясь за грудь, подошла къ окну...

— Довольно, довольно,—шептала она; и точно въ отвѣтъ на ея мольбу пѣвецъ уступилъ свое мѣсто другому.

„А изъ рощи, рощи темной, пѣсни любви несется“,—начать ласково и вкрадчиво бархатный теноръ.

Роза бросилась на постель и заплакала безотрадными, жгучими слезами...

А кругомъ все наслаждалось, все ликовало... Счастливыя пачочки понеслись опять подъ звуки вальса, и въ саду тоже замелькали пары, и Роза, снова подойдя къ окну, видѣла, какъ онѣ сливались иной разъ въ долгомъ блаженномъ поцѣлуѣ. „Да... они молоды—значить, они правы,—вздыхала она.— Ахъ, жизнь... жизнь... Пиръ жизни!..“

Она сѣла на постель и, раскачиваясь и скрестивъ руки на груди, тихо и жалобно стонала. Старость безсильная... безобразная старость!.. Ужасно!..

Ей припомнились слова ея хорошаго знакомаго, который часто повторялъ: „Повѣрьте: природа, это—сама мудрость, и всѣмъ ся законамъ возможно подчиниться—она сама дастъ лѣкарство отъ горя... сама“.

— А вотъ я не могу подчиниться... я страдаю... для меня нѣтъ исхода... Можетъ-быть, для другихъ онъ и есть, а для меня его нѣтъ... нѣтъ... — шептала она теперь, и настоящее ей казалось невыносимымъ.

Отчасти она была права. Утѣшенье старости—ласки семьи. Но семьи у нея никогда не было—она была разводка и безъ дѣтей... Что же тогда у нея есть?.. Что?.. Главное, можетъ-быть, ей было тяжко то, что она была только старѣющая красавица, но еще не старуха... Въ этомъ возрастѣ она знала людей, которые увлекались общественной дѣятельностью и жили сильно духовной полной жизнью... А чѣмъ она будетъ увлекаться?.. Чему она отдастъ длинные, скучные дни, безконечные досуги?.. Духовная жизнь ея никогда не занимала. Она всегда была отъ нея въ сторонѣ. Ахъ... Если бы она была бѣдна, ей было бы тогда еще много легче.

И она вспомнила знакомыхъ служащихъ женщинъ: гувернантокъ, учительницъ—у всѣхъ у нихъ былъ такой озабоченный видъ, что о „скучѣ“ тутъ не могло быть и рѣчи. Но чѣмъ ей наполнить свою жизнь? Чѣмъ?

И ей казалось, что она, все еще блестящая и прекрасная, точно сошла съ разубранныхъ подмостокъ и очутилась на краю бездны.

Она стояла надъ ней не столько испуганная, сколько озадаченная и, недоумѣвая, озиралася кругомъ. Какъ она можетъ быть здѣсь, а не тамъ, на пиру жизни?.. Ужасно... ужасно... и это томленіе—вѣдь оно будетъ вѣчно, развѣ можно помириться, что ты отѣбла, какъ цвѣтокъ, да... да... какъ прѣтокъ! Слѣдѣли всѣ лепестки, исчезъ ароматъ, и черный стебель внушаетъ только отвращеніе... Ахъ!

Она повалилась на подушку и заплакала:

— Никогда я съ этимъ не помирюсь... никогда!—шептала она.— Мудрая природа! Гдѣ твои лѣкарства?..

И вдругъ ей показалось, что кто-то приблизился къ ея двери.

Она насторожилась и широко раскрыла глаза. Въ комнатѣ былъ ангель.

— Природа разрушаетъ тебя,—сказать онъ ей мягкимъ, ласковымъ голосомъ.— природа тебя и успокоить. Я къ тебѣ приведу твою сестру, она дастъ тебѣ успокоеніе.

— У меня нѣть сестры,—удивилась Роза.

— Нѣть, а будешь,—улыбнулся ангель.— Только знай, она очень жалка, твоя сестра, не пугайся ея, а прими съ благодарностью, какъ посланицу милости Божіей..

— Милость Божія!—вскрикнула Роза.— Здоровье... сила... красота...

Ангель покачалъ головой:

— Отецъ нашъ Небесный знаетъ лучше насть, что намъ надо,—молвилъ онъ и скрылся, а на его мѣстѣ появилась какая-то странная фигура.

Она скорѣй вползала въ комнату, чѣмъ шла, и, направляясь къ Розѣ, хваталася, чтобы не упасть, за всѣ предметы, которые были на ея пути.

Роза испуганно отодвинулась отъ края кровати и прижалася къ стѣнѣ.

Жалкая, закутанная фигура, тяжело дыша, еле добралася до этой кровати и тутъ вдругъ, жалобно взглянувъ на Розу, издала какой-то протяжный звукъ и заключила ее въ свои объятья.

— Кто ты?.. Кто ты?..—испуганно спрашивала Роза.

— Я—Слабость... Слабость...—шептала въ отвѣтъ та странная фигура и нѣжно цѣловала Розу и въ губы и въ глаза...

— Слабость...—повторяла за ней Роза и, равнодушно взглянувъ на ярко освѣщенную въ саду виллу и мелькающія въ ней пары, она вытянулась на постели и, предвкушая блаженство сладкаго сна, улыбаясь, прошептала:—Да, да, понимаю. Ангель привелъ сестру старости... слабость... Ахъ!.. хорошо!.. Никому не завидую!.. Хорошо!..

И послѣ того она прожила еще нѣсколько лѣтъ, и ей дѣйствительно жилось очень хорошо. Слабость дала ей полный отдыхъ отъ всѣхъ мучившихъ ее волнений.

— Мне извѣстны даже острая насажденія,—улыбаясь, говорила иной разъ Роза.—Это предвкушеніе покоя... Жажда его и, наконецъ, самъ покой, если почему-нибудь мнѣ пришлось усѣсть.

Роза такъ сжилась со своей старостью, сестра которой, слабость, совершиенно атрофировала всѣ ея прежнія несбыточныя желанія и стремленія, что она теперь хотѣла только долго жить, и страхъ смерти все чаще и чаще стала посыпать ее.

— Я давно не завидую молодости,—говорила она,—ей свое, а мнѣ—свое...—но вотъ смерть... ожиданіе ея... Ахъ!.. Ужасно!

И съ каждымъ днемъ этотъ „ужасъ“ все больше и больше овладѣвалъ ею. Она ужъ плохо спала по ночамъ, а днемъ пла-кала и жаловалась на этотъ страхъ. Напрасно близкіе утѣшали ее, говоря, что неизвѣстно, кто раньше и кто позже. Роза горько улыбалась.

— Толкуйте себѣ, — отвѣтала она, — для молодыхъ это сюрпризъ, а для меня—законъ. Я вотъ лежу и все представляю себѣ: какъ я начну холода... какъ посинѣютъ мои ногти... Ужасъ!.. Ужасъ!.. И фантазія моя разыгрывается такъ всю ночь... И томлюсь безсонницей, я себѣ представляю, какъ въ мою комнату вошелъ гробовщикъ... какъ я лежу въ гробу, а иной разъ даже и то мнѣ въ голову идетъ... вотъ... вотъ... —непремѣнно меня склонятъ живой...— и Роза плакала и говорила:—Ахъ, Господи!.. И иѣтъ вѣдь лѣкарства отъ этихъ думъ. Ужъ если смерть необходима, надо бы тоже, чтобы она была и желанна. Говорятъ: мудрая природа, а какая жъ это „мудрость“, если человѣкъ не можетъ покориться ея законамъ...

Роза повторяла это очень часто всѣмъ, кто только снисходилъ къ ея тоскѣ и соглашался ее слушать; днемъ это были ея исключительные разговоры... почюю ея единственная дума, и вдругъ такъ же ночью, однажды, какъ и нѣсколько лѣтъ тому назадъ, дверь ся спальни открылась, и на порогѣ показался свѣтлый ангель.

— Ты смерть?.. Смерть?..—въ испугѣ вскрикнула Роза.

— Нѣть, я твой ангель,—услышала она въ отвѣтъ,—я вижу твоё малодушіе... вижу, что ты близка къ отчаянію, и я здѣсь, чтобы счастія тебѣ.

Роза бросилась передъ нимъ на колѣни.

— Выльчи меня отъ моего страха, — умоляла она,—отъ страха смерти—я ужасно страдаю... Ахъ, кажется, этотъ страхъ страшнѣе самой смерти.

— Ты права,—улыбнулся ангель.—Смерть не страшна—страшно только ея ожиданье, а я вотъ тебѣ облегчу это ожиданье—больше того, въ этомъ ожиданіи ты найдешь и покой свой и радость.

Роза испугалась.

— Нѣть, нѣть... только не ожиданье смерти!—вскрикнула она.—Только не ожиданье.

— Успокойся,—тихо сказала ангель.—Ты теперь не будешь ждать ее въ одиночествѣ, я пошлю къ тебѣ твою старшую сестру—младшая облегчила тебѣ жизнь, старшая облегчитъ смерть.

Ангель скрылся, а въ открытую дверь спальни Розы съ ужасными стонами и раздирающимъ душу крикомъ вошла, шатаясь, какая-то темная фигура. Роза хотѣла спрятаться въ постель, но та, которую ангель называла сестрой ея—„сестрой старости“—подошла къ ея постели, повалилась на подушки рядомъ съ ней и, простонавъ, обняла ее.

И въ ту же минуту Роза почувствовала себя больной, но страхъ смерти совсѣмъ исчезъ.

— Господи!..—часто шептала она потомъ.—Возьми меня скорѣй къ Себѣ... Господи!.. Скорѣй!.. Скорѣй!..

Съ этими возгласами она просыпалась и засыпала и, наконецъ, въ одну ночь—заснула навѣкъ.

Лицо ея приняло выраженіе величаваго спокойствія, блаженства, что Господь услышалъ ея молитву... пресѣкъ ея дни, послать желанную смерть.

Возвращеніе.

Наклонитесь къ этимъ безконечнымъ,
Въ ноги небу брошеннымъ полямъ,—
И, подъ вѣтромъ ласковымъ и встрѣчнымъ,
Вы себя обнимете безпечнымъ,
Улыбнетесь брошеннымъ годамъ!

Зашумятъ, поклонятся знакомо
Заволнуютъ дали безъ межей,
И рѣка подъ досками парома.

Лѣсь въ цвѣту, и тихій голосъ грома,—
Юныхъ пѣсенъ мягче и свѣжѣй!

Какъ отрадно радостнымъ казаться,
Слышать вѣсть зеленаго Гонца,
И съ душой божественной сливаться,
Слыша гимнъ природы вѣчныхъ святцевъ:—
Блудный сынъ вернулся въ домъ Отца!

Н. Тихоновъ.

ЗАЯВЛЕНИЕ.

По условіямъ разсрочки, подписная плата за „Ниву“ 1918 года должна быть внесена **полностью къ 1-му августу сего года**. Контора журнала „Нива“ покорнейше просить поэтому гг. подписчиковъ, не внесшихъ сполна подписныхъ денегъ, озаботиться **немедленно присылкою** осталной причитающейся съ нихъ суммы. **во изѣжаніе остановки въ высылкѣ журнала.** Гг. иногородные подписчики при высылкѣ денегъ благоволять **обозначать на видномъ мѣстѣ копію печатнаго адреса съ бандероли или прилагать самый адресъ и непремѣнно уазывать, что деньги высылаются въ доплату за получаемый уже журналъ.**

При перемѣнѣ адреса слѣдуетъ прилагать **1 рубль и печатный адресъ.**

Содержаніе. ТЕКСТЪ: Осенняя луна. Стихотвореніе К. Бальмонта.—Латюль—узникъ Бастилии. (Музей Карнавалэ). Весты.—Георгій Валентиновичъ Плехановъ. († 30 мая 1918 г.).—Иллюстраціи Г. Манзера къ легендѣ С. Аничковой „Человѣкъ, который никого не убѣжалъ“. РИСУНКИ: Передвижная выставка 1918 г. Картины Г. Савицкаго, И. Рѣпина,

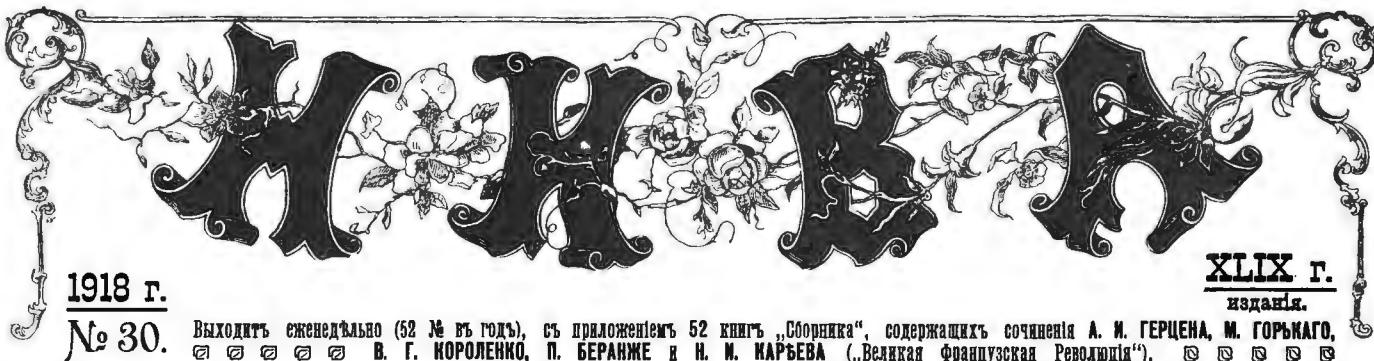
А. Лаховскаго, И. Творожникова.—Латюль—узникъ Бастилии. (Музей Карнавалэ). Весты.—Георгій Валентиновичъ Плехановъ. († 30 мая 1918 г.).—Иллюстраціи Г. Манзера къ легендѣ С. Аничковой „Человѣкъ, который никого не убѣжалъ“. Къ этому № прилагается „Полное собраніе сочиненій А. И. Герцена“ книга 12.

Издатель Т-ва А. Ф. МАРКСЪ.

Редакторъ И. М. Желѣзновъ.

Артистическое заведеніе Т-ва А. Ф. МАРКСЪ, Петроградъ, Измайловский проспектъ, д. № 29.

Библиотека "Руниверс"



Главная Контора и Редакція: Петроградъ, улица Гоголя, № 22.

Перепечатка иллюстрацій и текста воспрещается. (Законъ 20-го марта 1911 г.).

Литературное наследіе Апухтина.

(Юмористическая стихотворения, впервые появляющиеся въ печати).

Очеркъ П. В. Быкова.

Нѣсколько завсегдатаевъ ресторана „Братья Пивато“ на Морской, въ Петербургѣ, собрались „en petit comit e“ вечеркомъ и тайкомъ другъ отъ друга зѣвали. Ужинъ еще не былъ поданъ, но пріятели прошлись уже раза два по маленькой, и тѣмъ не менѣе фінъ-шампань не наладилъ бесѣды; разговоръ какъ-то не клеился. И вдругъ стулья сразу задвигались, пріятели повскакали съ мѣстъ,—и совершилось превращеніе. Вошелъ небольшого роста гость необычайной толщины и внесъ кислородъ остроумія, котораго здѣсь такъ недоставало.

— Что такъ поздно?—упрекнули его.

— Да, вотъ, заслушался музыки—и застрялъ у Мендельсонечки!

Это онъ такъ называлъ одну свою знакомую виртуозку, которую звали Софіей, обожавшую творенія Мендельсона. И добавилъ:

— Тамъ была и очаровательная Адвокатенька.

А такое имя онъ далъ Екатеринѣ,—особѣ, вышедшей замужъ за присяжнаго повѣренаго.

Вошедшій былъ въ бодрому, хорошемъ настроеніи, что называется, въ ударѣ—и одинъ изъ его друзей, всегда усердно записывавшій его экспромты и beaux-mots, едва успѣвалъ это дѣлать. Остроумецъ, душа общества быть не кто иной, какъ поэтъ Апухтина. Когда все заняли мѣста за столомъ, онъ сказалъ меланхолично:

Сидимъ мы тѣсною семьей,
Еще тѣснѣй стоять бутылки...
Не порѣбѣеть ли нашъ строй,
Когда къ полу прильнутъ затылки?



Остроуміе рѣдко покидало поэта. Юмористические экспромпты лились у него неудержимо, въ видѣ безобидной салонной критики, сравнений, каламбуровъ, и въ дружескомъ кружкѣ и въ чопорномъ обществѣ, и когда онъ входилъ куда-нибудь, все ждали, чтѣ онъ скажетъ, чтѣ онъ броситъ мимоходомъ, словно невзначай. Въ домѣ, хозяинъ котораго, очень любившій поэта и имѣвшій отношеніе къ Линею—въ интимной бесѣдѣ съ поэтомъ высказывалъ свое равнодушіе къ предпраздничнымъ наградамъ, Апухтина сказала:

Что слава намъ?—любовь артиста,
Иль орденъ Бѣлого Орла,
Или поклоны лицеиста
Чуть не изъ каждого угла?

Юмористическая жилая сказалаась въ Апухтина довольно рано. Когда онъ учился въ Училищѣ Правовѣдѣнія, тамъ онъ слышалъ толки и споры о славянофилахъ, повторявшихся и въ домѣ Хвостовой, собирающей его стихи, и въ сѧ завѣтную тетрадь пятидцатилѣтней поэты экспромптомъ написалъ на мотивъ лермонтовскаго „Отворите мнѣ темницу“—„Желаніе славянинъ“:

Дайте мнѣ нарядъ суроый,
Дайте мурмолку мою,
Неуклюжій столъ дубовый
И дубовую скамью.
Дайте съ лукомъ буженины,
Псоя ужасныхъ на цѣпяхъ
Да лубочная картины
На искрашеныхъ стѣнахъ.
Дайте мнѣ большую полку
Всевозможныхъ древнихъ книгъ,
Голубую одноколку,
Чеядинцевъ верховыхъ.
Пусть увижу въ домѣ новомъ
Золотую старицу,
Да въ кокошникѣ парчевомъ
Бѣлобрысую жену.
Чтобы подруга дорогая
Все сидѣла бы одна,
Полотенца вышивая
У закрытаго окна.
А на пирѣ съ лицомъ смѣреннымъ
Выходила бы она
И огромный кубокъ съ „цѣнными“
Вышивала бы до дна...

Гогда же начали появляться въ нашихъ журналахъ въ изобилии переводы изъ Гейне, и преподаватель словесности предложилъ Апухтину—не переведеть ли онъ что-нибудь изъ этого поэта такое, что характеризовало бы капризную его музу. Къ концу класса Апухтина, улыбаясь, подалъ преподавателю такую пародію.

Вечеръ длится, тихъ и ясентъ,
Козокольчикъ дребезжитъ,
А баронъ Рожеръ фонъ-Классенъ
Въ замокъ Мозельбургъ спѣшить.
Люди сиять; востокъ прекрасенъ,
Солнце входитъ за горой,
А баронъ Рожеръ фонъ-Классенъ
Возвращается домой.

Въ другой разъ товарищу своему, писавшему стихи и пропавшему Апухтина сказать по его адресу экспромптъ, поэтъ продекламировалъ:

Чудный гений! Въ тьму пучинъ
Бросилъ стихъ свой исполнить...
Шею вывернувъ пегасу,
Музу вздѣвши на арканъ,
Въ троны лбомъ, спиной къ Парнасу
Мощный скакать великанъ.

И тому же товарищу въ альбомъ онъ написалъ въ классѣ экспромпты:

Не пиши въ водѣ черниломъ,
Мухъ безменомъ не лови.
Не толки предъ другомъ мыльмъ
Въ стуки рѣчи о любви.
Въ воду только грязь забьется,
Муха дальше отлетить;
Другъ, какъ муха, отвернется,
Какъ чернило, загрязнитъ.

У Хвостовой читали чѣ-то переводъ поэмы Байрона „Паризина“. Апухтина спросили, какъ ему нравится этотъ переводъ. Семнадцатилѣтній поэтъ моментально отвѣтилъ:

О, что бѣ сказалъ творецъ бессмертный „Паризина“,
Увидѣвъ образъ свой у этой образины?

Тамъ же онъ сочинилъ экспромптомъ эпитафию одному изъ живыхъ товарищъ по Училищу, недалекому малому, косоглазому, недоброжелательному:

Се, Снарскій погребень: земля не имать срама—
Глядѣть онъ косо въ мѣръ, а въ дураціи—прямо.

Поэтъ усердно посыпалъ балы, рауты, вечера и вносилъ своимъ присутствіемъ много оживленія. Попадъ онъ случайно въ одинъ домъ, куда, главнымъ образомъ, вводились знаменитости. Тогда онъ только-что окончилъ курсъ и помѣстилъ нѣсколько стихотвореній въ „Современникѣ“ и другихъ изданіяхъ. Хозяйка дома, которой его представили, заподозрившая и въ немъ какую-либо знаменитость, скороговоркой спрашивала его: „Vous jouez? Vous chantez?“ („Вы играете? Вы поете?“). Апухтина съ токо же скоростью и комической серьезностью отвѣчалъ: „Non, madame, je page!“ („Нѣть, сударыня, я плаваю!“).

Знай, гдѣ будешь Апухтина, многія барышни и барыни брали съ собою альбомы. Поэты съ готовностью и безъ устали вписывались въ нихъ свои стихи. Одной родственницѣ онъ написалъ:

Вчера на чудномъ, свѣтломъ балѣ,
Отъ вальса быстрого уставъ,
Вы, невзначай и задрожавъ,
Свою перчатку разорвали.
И я подумалъ: о, мой Богъ!
(А на душѣ такъ было сладко)
Я быль бы счастливъ, если бъ могъ
Быть той разорванной перчаткой!

Поэтъ нашелъ это стихотвореніе достойнымъ тетради своего друга Г. П. Карцова и продиктовалъ ему этотъ стишокъ вмѣстѣ съ другимъ, посланнымъ въ Москву извѣстной въ свое время поэтессѣ Каролинѣ Карловнѣ Павловой, послѣ прочтенія ея поэмы „Кадриль“, напечатанной въ „Русскомъ Вѣстникѣ“ Каткова:

Я прочиталъ, я прочиталь
Я перечитывалъ три раза
И наизусть припоминаль
Страницы вашего разсказа.
Какія риены, что за стиль!
Восторга слезъ я лялъ не мало.
И сердце страстино танцовало
Подъ вальсъ пѣнительный „Кадриль“.
Теперь въ душѣ одно желанье:
О, если бъ гдѣ-нибудь, въ собраныи,
Или на балѣ, встрѣтить васъ
Всю окруженнуу цвѣтами,
И провести въ бесѣдѣ съ вами
Хотя одинъ ничтожный часъ;
О ходѣ русскаго прогресса
Тираду длинную сказать,
О Пушкинѣ потолковать...
И посадѣ... съ вами, поэтесса,
Одну кадриль протанцоватъ!

Въ концѣ шестидесятыхъ годовъ по рукамъ долго ходило сатирическое стихотвореніе Апухтина „Плачъ Юстиніана“, написанное поэтомъ подъ живымъ впечатлѣніемъ посѣщенія суда присяжныхъ. Заемствуемъ его изъ той же тетради Г. П. Карцова, съ поправками автора:

Ночью вчера, задремавъ очень рано,
Въ грезахъ увидѣлъ я Юстиніана.
Въ мантѣ даниной, обшитъ соболями,
Такъ говорилъ онъ, сверкая очами:
„Русь дорогая, тебя ли и вижу?
Что съ тобой? Ты не уступишь Парижу.
Есть учрежденья въ тебѣ мировыи,
Реальсы на Невскомъ, суды окружные:
Чтобъ не отстать отъ рутины заморской,
Есть въ тебѣ даже надзоръ прокурорскій,
То, что въ другихъ образованныхъ странахъ.
Есть и присяжные... въ длинныхъ кафтанахъ.
Въ суды ученыхъ тебѣ и не надо,
Судьямъ въ лантихъ ты, родимая, рада.
Имъ ужъ не мѣсто въ конторѣ птичной --
Судять и ридѣть весь міръ на Литейной.
Вѣчно во всемъ виноваты дворяне,
Это присяжные знаютъ заранѣ.
Свистнуть начальника въ рожу полезно,
Это крестьянскому сердцу любезно.
„Вотъ молодень!—говорить они хоромъ.—
„Стойти ли думать надъ этакимъ вздоромъ?“
Если жъ нельзѣ похвалить его гласно,
„Онъ сумасшедшій!—рѣшать всѣ согласно.—
„Но не надоago ума онъ апшился,
Треснуль—и тотчасъ опять исѣбѣлся!“
Публика хлоپаетъ, и въ наказанье
Шлють ее воинъ,—подъ конецъ засѣданья.
Злы у васъ суды, но злѣй адвокаты;
Рѣдко кто чешется: всѣ демократы!
Какъ я любуюсь на всѣ эти секты,
Я, написавшій когда-то пандекты.
Какъ бы министры мои удивлялись,
Знавшіе весь „согрисis juris civilis“.
Если бъ изъ дальнѣй родной Византіи
Вѣтеръ занесъ ихъ на сѣверъ Россіи.
Тачь, въ Византіи, сравненный съ Минервой,



Древний Псковъ.

Передвижная выставка 1918 г.

К. Горбатовъ.

Законодатель считался я первый;
Здесь же оставаться мнѣ первымъ ужъ трудно:
Здѣсь сочиняется законы Зарудный!“
Смокъ императоръ при имени этомъ,
Словно ужаленный острымъ ланцетомъ,
И, въ подтверждение великой печали,
Слезы изъ глазъ его вдругъ побѣжали.
Чтобъ усыпить его силой пѣлѣбной,
Даль я прочесть ему „Вѣстникъ Судебный“,
Самъ же прочель обѣ урусовскомъ дѣлѣ,—
И, къ удивленью, проснулся въ постели.
Видно, не даромъ все это видѣніе!
Было ужасно мое пробужденіе:
Солнце въ глаза ужъ смыкалось мнѣ рѣзко,
Отъ мѣрового лежала повѣстка,
И осторожно, какъ пѣкіе воры,
Въ спальню входили ко мнѣ кредиторы.

Къ этому же времени относится нѣсколько экспромитовъ Апухтина, каковы, напримѣръ: „Сенатору Кастроу Лебедеву“, причастному къ литературѣ, автору „Записокъ“, полезному общественному дѣятелю:

Ты весь свой вѣкъ служилъ, отечество любя,
Но если и теперь любовь та не погасла,
Дозволь Россіи выжать изъ тебя
Хоть рюмочку кастрораго масла.

Или „по случаю паденія князя Суворова съ лошади въ Ниццѣ“. Тамъ особенно много говорилъ Апухтінъ экспромитовъ и писалъ стихотвореній на случай, и русскихъ и французскихъ:

Какъ сражены мы этимъ слухомъ,
Нашъ Италийский генералъ:
Тамъ, гдѣ твой дѣдъ не падалъ духомъ,
Ты даже съ лошади упалъ...

Гораздо менѣе добродушна надпись Апухтина „Къ портрету А. Н. Сѣрова“, знаменитаго композитора и музыкального критика котораго поэтъ недолюбливалъ:

О музыкѣ судя лѣть сорокъ вкось и вкрай,
Надъ Ростиславомъ онъ отпразновалъ победу.
Сначала выпустилъ Юдию,
Потомъ Рогиѣду.
Изъ музыканта онъ вдругъ педагогомъ сталъ.
Но въ педагоги покрылся вѣчнымъ срамомъ:

Ихое воспитанье даль
Онъ этимъ дамамъ.
Одна Владимира хотѣла уморить,
Другая пьяного прельстила Олоферна,—
И обѣ такъ привыкли вѣтъ,—
Что даже скверно.

Упоминаемый здѣсь Ростиславъ—псевдонимъ писателя Феофила Матвеевича Толстого, автора романа „Болѣзни воли“, нашумѣвшаго въ свое время и вызвавшаго отзывъ критика Николая Ф. М. Толстой долго былъ музыкальнымъ рецензентомъ, извѣстенъ и какъ композиторъ.

Недолюбливалъ поэты и священники одной изъ нашихъ заграниценныхъ посольскихъ церквей, протоіерея Константина Лукича Кустодіева за его фразерство. Послѣ рѣчи Кустодіева по поводу двухсотлѣтнаго юбилея Петра I, поэтъ сказалъ экспромптизъ, записанный у Г. П. Карцова подъ заглавиемъ „Злопамятность духовенства“:

Петръ I не любилъ поповъ. Построивъ Питеръ,
Онъ патріарха сократилъ...
Чрезъ двѣстѣ лѣтъ ему Кустодіевъ пресвитеръ
Свою рѣчью все отмѣтилъ.

Эта двухсотая годовщина рождения Петра вызвала у Апухтина нѣсколько стихотвореній исключительно юмористического характера. Вотъ одно изъ нихъ, наиболѣе яркое:

Двѣстѣ лѣтъ тому назадъ
Соизволилъ царь родиться...
Разъ, пріѣхавши въ Карлебадъ,
Вздумалъ шпруделя напиться.
Двадцать восемь кружекъ въ рядъ
Въ глотку царственную вспились...
Вотъ какъ русскіе лѣчились
Двѣстѣ лѣтъ тому назадъ.
Много натворивъ чудесъ,
Онъ процарствовалъ счастливо...
Борода не „ciggetmäss“ —
Разрѣшилъ за кружкой пива:
Съ трескомъ бороды летять...
Пытки, казни.. Всѣ въ смиренѣ...
Такъ вводилось просвѣщеніе
Двѣстѣ лѣтъ тому назадъ!
А сегодня въ храмъ святой
Незлопамятны, смиренны,
Валитъ русскіе толпой

И, колѣнопреклоненны,
Всѣ въ слезахъ, благодарить
Вседержителя благого,
Что послалъ царя такого
Двѣсти лѣтъ тому назадъ...

Это написано въ Карлсбадѣ, гдѣ Апухтинъ лѣчился въ началѣ семидесятыхъ годовъ. Здѣсь ходило по рукамъ и его шуточное стихотворение „Споръ“—какъ прощальный привѣтъ князю А. Ф. Голицыну, пародія на лермонтовское стихотвореніе подъ тѣмъ же заглавіемъ:

Какъ-то разъ предъ сонномъ важнымъ
Вѣхъ богемскихъ горъ
Былъ со шруделемъ отважнымъ
У Мюльбринна споръ:
„Не пройдѣть, смотри, и вѣка,—
Говорить Мюльбриннъ,—
Какъ памъ всѣмъ отъ человѣка
Будетъ карачунъ.
Богатѣй годъ отъ году
Нашимъ же добромъ,
Нѣмецъ вылижетъ всю воду
По поламъ съ жидомъ.

Бродить вѣчнымъ привидѣньемъ
Прежніе князьки;
Остальпы боязливо
Спать, никой цѣни...
Нѣтъ, не пѣму съ кружкой пива
Покорить меня!“
„Не хвались еще заранѣ,—
Возразилъ Мюльбриннъ,—
Тамъ, на сѣверѣ, въ туманѣ...
Посмотря, хвастунъ!“
Тайно вѣстю печальной
Шрудель былъ смущенъ
И, плачнувъ, на сѣверъ далній
Взоры кинулъ онъ.
И туда въ недоумѣніи
Смотрѣть, полный думъ,
Видѣть странное движенье,
Слышать звонъ и шумъ:
Отъ Саратова отъ града,
По чугунѣ въ рядѣ,
Вилюти до самаго Карлсбада
Потѣза летѣть.
Устрияя всѣ преоны,



Провинція 30-хъ годовъ.

Передвижная выставка 1918 г.

В. Кучумовъ.

Ужъ и такъ къ намъ страху мало
Чувствуетъ народъ:
Гдѣ орелъ паритъ, бывало,
Нынче динстманъ претъ!
Гдѣ кипѣлъ ты, такъ прекрасенъ
Сидѣть скекунингъ,
Берегися: охъ, опасенъ
Этотъ фатерландъ!“
— „Ну, бояться я не буду. —
Шрудель отвѣчалъ.—
Посмотрѣ, какъ разомъ всюду
Нѣмецъ измѣльчалъ.
Изъ билетовъ лотерейныхъ
Сшилъ себѣ колпакъ,
Въ прѣеканіяхъ семейныхъ
Дремлетъ австріакъ.
Юль мѣтами, сердцемъ старецъ,
Важенъ и блудливъ,
Сномъ глубокимъ спитъ баварецъ,
Вагнера забылъ.
Есть одно у нѣмцевъ имъ
Имя то—Берлинъ;
Надо всѣми онъ надѣть ими
Полный господинъ;
Но и тамъ въ чаду канкана
Бранный кличъ затихъ...
Лавры Вѣрта и Седана
Усыплюютъ ихъ.
Пруссаку, хоть онъ всесиленъ,
Дальше не пойти:
Можетъ вѣдь durch Gottes Willen
Все произойти...
А кругомъ, пылая мщенѣмъ
И казной легки,

Быстро, какъ стрѣла,
Стройно катятся вагоны,
Коимъ идѣть числа.
Въ каждомъ по два адъютанта,
Флаги и шатры,
Для служанокъ „Элефантъ“
Цѣнныя дары.
Маркитантки, офицеры
Сѣли по чинамъ.
Разныхъ націй кавалеры,
Губернаторъ самъ:
И, зубри уставъ военный,
Зазубривъ мечи,
Изъ Зубрилочки почтенной
Дѣдуть усачи...
И, испытанный трудами
Жизни кочевой,
Ихъ ведеть, грозя очами,
Генераль сѣдой..
И, томимъ злобѣщей думой,
Полный черныхъ словъ,
Шрудель сталъ считать угрюмо —
И не счѣтъ враговъ.
„Можетъ-быть, свершится чудо.
Стану высихать... —
Прошепталъ онъ.—А покуда
Дамъ себя я знать!“
И, кипя въ налитой кружкѣ,
Грозенъ и велись,
Онъ ганноверской старушкѣ
Обварилъ языкъ.

Тамъ же, въ Карлсбадѣ, онъ написалъ каламбурный экспромпти по поводу назначения Михаила Николаевича Лонгинова началь-



На рекѣ.

Передвижная выставка 1918 г.

Н. Бажинъ.

никомъ Главнаго Управления по дѣламъ печати. Лонгиновъ — известный библиографъ, порнографъ и ярый врагъ свободы слова.

Испосланъ нѣкій вождь на чиншущую братью,
Былъ губернаторомъ немногого лѣтъ въ Орѣ...

какъ Беранже, въ минуты облегченія... „Шутить, весь вѣкъ шутить, какъ вѣсъ на это станетъ?“ — повторялъ ему стихъ Грибоѣдова одинъ изъ приятелей. — „Думаю, что остановлюсь... когда меня будутъ хоронить!“ — отвѣчалъ, не моргнувъ глазомъ, Апухтинъ.

Подъ чужимъ знаменемъ.

Разсказъ А. Хирьякова.

Я получиль въ дѣствѣ очень деликатное воспитаніе и, несмотря на это, долженъ быль служить въ конторѣ.

Да, я служилъ въ конторѣ и отъ 9 до 5 часовъ щелкалъ на счетахъ и вписываль различные цифры въ огромныя, толстыя книги, однимъ своимъ видомъ внушавшія уваженіе посѣтителямъ. Очень недалеко отъ меня сидѣла хорошенъкая барышня и стучала на машинкѣ.

Во время перерыва, который полагался для завтрака, мы иногда бесѣдовали о послѣднихъ театральныхъ новинкахъ, судебныхъ процессахъ, о политическихъ событияхъ, о новыхъ стихотвореніяхъ, которые надо было чувствовать, но не всегда можно было понять, однимъ словомъ, о всѣхъ тѣхъ вопросахъ, о которыхъ могутъ разговаривать молодые люди, слѣдящіе за теченiemъ событий. Ее звали Полина Мартыновна. Настоящее ея имя было Палагея или Пелагея, но почему-то это считается неблагозвучнымъ и замѣняется Полиной. Кромѣ Полины Мартыновны и мени въ конторѣ были и другіе служащи. Но, по молчаливому соглашенію, какъ-то установилось, что оказывать преимущественное вниманіе — избѣгаю пошлого слова: ухаживать, которое и звучитъ неѣло и устарѣло — можно было своимъ ближайшимъ сосѣдкамъ, не внося такимъ образомъ лишней суеты и путаницы въ спокойное теченіе конторскихъ дѣлъ.

У Полины Мартыновны, кромѣ меня, быль лишь одинъ сосѣдъ, а именно помощникъ главнаго бухгалтера. Кась — высокий блондинъ съ блѣдно-голубыми глазами, какъ у заснувшего судака, и съ удивительно сонными выраженіемъ лица. За глаза его обыкновенно называли „нашъ нѣмецъ“, или Квасъ, или Указъ, однимъ словомъ, пріимѣняли къ его фамилии свойственное русскому человѣку остроуміе, кто сколько могъ. Въ глаза же его называли по имени и отчеству и имѣли съ нимъ только служебные разговоры, такъ какъ нѣмецъ держалъ себя нѣсколько сухо, давая понять, что при всемъ своемъ доброжелательствѣ онъ все-таки помощникъ главнаго бухгалтера.

Встрѣчаясь съ Полиной Мартыновной, онъ улыбался ей болѣе любезной улыбкой, чѣмъ другимъ, т.-е. на болѣе долгій срокъ подтягивалъ кверху верхнюю губу, обнажая длинные желтые рѣзы, и называлъ ее Полинъ Мартыновна или „баришина“. Со мной онъ быть, пожалуй, тоже бо-

лѣ разговорчивъ, чѣмъ съ другими, быть-можеть, потому, что я сидѣлъ ближе, и намъ приходилось обмѣниваться справками.

У Полины Мартыновны была знакомая артистка частнаго дра-



На желѣзнодорожномъ пути. Передвижная выставка 1918 г. И. Твороговниковъ.

матического театра, черезъ которую она иногда доставала даровые билеты, этими билетами Полина Мартыновна надѣяла и меня и Каса, такъ что никто не могъ упрекнуть ее, что она отдаетъ кому-либо предпочтеніе. Хотя долженъ сказать безъ ложной скромности, что она чувствовала ко мнѣ большую симпатію, такъ какъ въ отсутствіе Каса называла его не только вѣмцемъ, но и колбасой, что едва ли можетъ свидѣтельствовать объ особенно нѣжныхъ чувствахъ къ надѣляемому такимъ прозвищемъ человѣку.

Мнѣ иногда удавалось доставать даровые билеты въ циркъ, гдѣ у меня былъ знакомый служащий, и, конечно, дѣлился этими билетами съ Полиной Мартыновной, и какъ-то неудобно было не брать съ собою и Каса.

Сонный Кась обыкновенно въ такихъ случаяхъ „дѣлалъ улыбку“, показывая желтые зубы, и иногда прибавлялъ:

— Я тоже когда-нибудь достану какое-нибудь билеты.

— Отъ конки? — спрашивала Полина Мартыновна.

— Нѣтъ, — съ удивленіемъ протягивалъ Кась и потому, уловивъ насмѣшку, опять улыбался и добавлялъ: — Какая вы насмѣшница, Полинъ Мартыновна. Нѣтъ, я буду доставать такихъ билетовъ, чтобы можно было повеселить себя.

Мы напрасно ждали этихъ билетовъ. Да, признаешься, мы мало вѣрили въ то, что Кась можетъ достать билеты въ какой-нибудь театръ или подобное учрежденіе, такъ какъ онъ былъ слишкомъ солиденъ для этого.

Но вотъ однажды, — это было въ концѣ Великаго поста, — является Кась и съ торжествующимъ видомъ заявляетъ, что онъ досталъ такие билеты, о которыхъ мы никакъ не догадаемся, но которые могутъ доставить довольно порядочное удовольствіе.

— Я догадывалась, — заявила тѣчка Полина Мартыновна. — Это билеты въ балаганы на Марсовомъ полѣ. Что жь, я демократка, хотя и вѣтъ партій, и люблю раздѣлить съ народомъ его удовольствія.

— Фу, Полинъ Мартыновна, — возмутился Кась, — балаганы, фу, это же кабакъ для чернаго народа. Тамъ не артисты, а фиглярство, а вместо декорацій Богъ знаетъ какая мальба.

— Можетъ-быть, это билеты на пасхальную заутреню? — высказалъ я предположеніе.

Лицо Каса сдѣлалось внушительно серьезнымъ, и онъ напомнилъ, что, во-первыхъ, онъ лютеранинъ, а во-вторыхъ... Онъ долго не могъ придумать, что можно сказать во-вторыхъ, и наконецъ точно выжалъ изъ себя:

— А во-вторыхъ, это совсѣмъ не это.

— Ну, Адольфъ Михайловичъ, скажите, — пристала Полина Мартыновна. — Вы же сами говорите, что мы не догадаемся. Скажите!

— Сказать? — Кась таращилъ свои рыбы глаза и дѣлалъ видъ, что веселится.

— Скажите, ну будьте панинка. Скажите.

— Ну хорошо, хорошо. Это билеты, это билеты на небольшой прогулкѣ на пароходѣ въ Стокгольмъ и обратно. О!..

— Адольфъ Михайловичъ... Адольфъ Михайловичъ, да вы съ ума сошли.

— Почему?

— Да вѣдь сколько это будетъ стоить?

— Ничего не будетъ стоить, билетъ даровой туда и обратно тоже даровой. Кушать? Ну, это надо платить. Но вы вѣдь и здѣсь кушаете.

— А паспорта? Вѣдь это по 15 рублей.

— Паспорта? — Лицо Каса сдѣлалось длиннѣе обыкновеннаго, и онъ, несмотря на чистокровное иѣмецкое происхожденіе, сдѣлалъ истинно русскій жестъ — стягать у себя въ затылкѣ. — Паспорта. Я совсѣмъ забылъ о паспортахъ. Ай-ай-ай.

— Полина Мартыновна, — сказалъ я, — вы когда-нибудь бывали за границей?

— Никогда. — При этомъ она вздохнула.

— И я никогда. — Изъ сочувствія къ Полинѣ Мартыновнѣ я тоже вздохнула. За компанию вздохнула и Кась и еще разъ почесалъ затылокъ.

— А случай какой! — сказала Полина Мартыновна, вздыхая. — Вѣдь вся Святая въ нашемъ распоряженіи и часть Страстной недѣли можно прихватить.

— Въ воскресенье мы могли бы уже быть въ Стокгольмѣ, — добавилъ я, не будучи въ состояніи удержаться отъ вздоха.

— Разумѣется, въ воскресенье мы бы уже гуляли тамъ, — подтвердилъ Кась не безъ вздоха, — или сидѣли бы гдѣ-нибудь въ саду и лишили настоящій шведскій пуншъ, такъ сказать, на мѣстѣ, на мѣстѣ преступленія. Нѣтъ, я не то хотѣлъ сказать. На преступномъ мѣстѣ. Ну, вы понимаете, на мѣстѣ, гдѣ онъ, гдѣ онъ дешевый.

— Адольфъ Михайловичъ, — рѣшительнымъ голосомъ произнесла Полина Мартыновна, — вы себѣ лѣтній костюмъ заказали?

— Нѣтъ, я обыкновенно покупаю готовый и думаю дѣлать это послѣ Пасхи. Время еще есть.

— А вы? — обратилась ко мнѣ Полина Мартыновна.

— Нѣтъ, я еще собираюсь.

— И я себѣ ничего не дѣлала къ лѣту. Итакъ, мы можемъ пріобрѣсти себѣ костюмы за границей, а тамъ они гораздо дешевле и лучше. И вотъ вѣмъ, господа, паспорта и окупятся.

— Окупятся ли? — недовѣрчиво замѣтилъ я.

— Полинъ Мартыновна, — сказалъ Кась, — вы геніальная женщина. — И онъ посмотрѣлъ на нее съ большими уваженіемъ.

Черезъ нѣсколько дней мы втроемъ уже имѣли удовольствіе видѣть, какъ за нами медленно исчезали на горизонте форты кронштадтской крѣпости.

Море было гладкое, какъ зеркало. Пароходъ былъ чистенъ, какъ игрушка. Мы уже чувствовали себя за границей и, сидя послѣ обѣда на палубѣ, прихлебывали маленькими глотками, вмѣстѣ съ кофе, и ароматный шведскій пуншъ, о которомъ мечталъ Кась. Настроеніе было приподнятое. Мы чувствовали себя, какъ дѣти, вырвавшіяся на свободу, и, приближаясь къ свободной странѣ, мы невольно разговаривали болѣе свободными языками, чѣмъ мы себѣ никогда бы не позволили въ Петербургѣ. Отчасти этому способствовалъ и национальный напитокъ свободной страны.

— Я — вѣтъ партії, — повторяла Полина Мартыновна, — потому что я не хочу подчинять свою индивидуальность какимъ бы то ни было партійнымъ соображеніямъ. Но я очень лѣвая, я крайняя лѣвая, гораздо лѣвѣе кадетовъ.

— И я тоже лѣвый, — задумчиво произнесъ Кась, — я очень и чрезвычайно лѣвый. Я долженъ вамъ прямо говорить, что я изъ этихъ...

— Изъ кого изъ этихъ? — переспросила Полина Мартыновна.

— Ну, вы знаете... изъ тѣхъ...

— Изъ революціонеровъ? — подсказалъ я.

— Нѣтъ, — отмахнулся Кась, — нѣтъ.

— Изъ кадетъ?

— Да нѣтъ, что вы! Изъ этихъ... ну вотъ, вѣсть на языкѣ вертится... такая двойная фамилья...

— Соціаль-демократы?

— Ну вотъ, вотъ я изъ нихъ, — сказалъ съ достоинствомъ Кась и налилъ себѣ по этому случаю еще пуншу.

Мы стало досадно, что Кась такъ важничаетъ. Пуншъ и на меня оказывалъ свое героическое дѣйствіе, и я, для чего-то поднявъ свою пляжу и вставъ со стула, тряхнула головой и решительно произнесъ:

— А я, если говорить правду, я максималистъ.

Въ этотъ моментъ мимо насы проходилъ господинъ среднихъ лѣтъ, типичный образчикъ финляндскаго гражданина. Плотный, загорѣлый, точно вырубленный топоромъ изъ дубового корня, съ маленькими голубыми глазками, отъ которыхъ лучилась сѣть добродушныхъ морщинокъ. Борода его грязно-бураго цвѣта, чуть-чуть начавшая сѣдѣть, росла, конечно, не тамъ, где она растетъ у другихъ людей, а вылезала изъ шеи, отѣня, точно вѣромъ, крѣпкія челюсти.

Этотъ господинъ давно уже поглядывалъ на насъ, гуляя изъ конца въ конецъ по палубѣ. Теперь же, находясь такъ близко, онъ принялъ мой жестъ со шляпой за привѣтствіе и потому, точно въ отвѣтъ на мое заявленіе, что я максималистъ, онъ пріятно улыбнулся и, подойдя вплотную и приподнимая свою шапочку, произнесъ нараспѣвъ:

— А я Тиканенъ, Петъ Тиканенъ. Торгую раской и распильную фабрику имѣю. Тиканенъ, — онъ всѣмъ намъ протягивалъ свою вытянутую дощечкѣ ладонь.

— Что за Тиканенъ? — спросилъ, насупившись, Кась, не понимая ничего. — Что за Тиканенъ? — Въ этомъ словѣ ему почувствовалось что-то обидное.

— Тиканенъ, — добродушно улыбаясь, отвѣчалъ финляндецъ, — это моя семья. Моего отца звали тоже Тиканенъ. А самое лово Тиканенъ, это лово носить такая тичка, маленькая тичка.

— Ничего не понимаю, — бормоталъ Кась.

— Да что тутъ понимать? — вмѣшалась Полина Мартыновна, которой финляндецъ сразу ужасно понравился. — Господинъ Тиканенъ — фабрикантъ красокъ, а самое слово Тиканенъ значить маленькая тичка. Не хотите ли присѣсть къ намъ, господинъ Тиканенъ? Можно вамъ предложить кофе?

Отъ кофе Тиканенъ отказался и спросилъ себѣ обычный финляндскій напитокъ тоди — смѣсь коньяку съ кипяткомъ, и мы продолжали мирно бесѣдоватъ, подвигаясь съ каждымъ поворотомъ пароходного винта все дальше и дальше на западъ.

Знакомство съ маленькой „тичкой“ Тиканенъ намъ оказалось весьма полезнымъ. Никто изъ насъ ни слова не зналъ по-шведски, и Тиканенъ вѣзъ за насъ всѣ объясненія, указывалъ намъ недорогую и хорошую гостиницу, когда мы прибыли въ Стокгольмъ, даже выбралъ намъ комнаты и, обѣвшись навѣстить насъ на другой день и показать городъ, распросился.

На другой день, — это было по нашему стилю пасхальное воскресенье, — я еще въ постели привѣтствовалъ Каса.

— Адольфъ Михайловичъ, Крестовскій островъ!

— Какъ такъ Крестовскій островъ? Почему Крестовскій островъ? — недоумѣвалъ Кась.

— Да развѣ вы не знаете, что одинъ иностраннаго путешественника, побывавшаго въ Петербургѣ во время Пасхи, потомъ рассказывалъ, что у русскихъ существуетъ очень странній пасхальный обычай: когда двое встрѣчаются, то одинъ говоритъ: „Крестовскій островъ“, а другой отвѣчаетъ: „Васильевскій островъ“, и послѣ этого они три раза цѣлуются.

— А почему Васильевскій островъ? — спросилъ, ничего не понимая, Кась.

Пришлось объяснить ему, что иностранецъ принялъ слова „Христосъ воскресъ и воистину воскресъ“ за название Крестовскаго острова и Васильевскаго острова.

Кась наконецъ понялъ и даже засмѣялся.

— Какъ глупо, — сказалъ онъ, — зачѣмъ же ему не объяснили какъ слѣдуетъ? Знаете, — добавилъ онъ, заморшивъ лобъ, — я немнога полежу. Я, кажется, совсѣмъ нездоровъ. Такъ плохо, точно я лежу на умирающей орѣ.

— На смертномъ одрѣ, вы хотите сказать?

— Ну да, не все ли равно? Вы скажите Полинѣ Мартыновнѣ, что я встану позже, это все шведскій пуншъ. Кажется, я вчера слишкомъ наливалъ себѣ. Передайте, пожалуйста, отъ меня Полинѣ Мартыновнѣ: Васильевскій островъ. Нѣть, не Васильевскій, Крестовскій островъ. Какъ глупо, Боже мой, какъ глупо!

Кась обернулъ себѣ голову полотенцемъ и повернулся къ стѣнѣ.

Я умылся, привелья себя въ должный видъ и вышелъ изъ номера, и, подойдя къ двери Полины Мартыновны, слегка постучала.

Дверь сейчасъ же отворилась, и на порогѣ показалась сама Полина Мартыновна, совсѣмъ готовая, въ шляпѣ и перчаткахъ.

— Ну, что же вы? — набросилась она на меня, — я уже сколько времени вѣсль жду. А Кась гдѣ?

Совѣтъ всѣя Руси.

— Кась не совсѣмъ хорошо себя чувствуетъ. Онъ потомъ придетъ.

— Потомъ? Мы не можемъ его ждать. Мы должны какъ слѣдуетъ использовать наше время. Въ конѣки разъ попали въ культурную страну... Идемте въ городъ. Осматривать.

— Да вы что-нибудьѣли?

— Нѣть, да это успѣхъ. Мы гдѣ-нибудьѣли.

— Зачѣмъ же гдѣ-нибудьѣли, когда это можно сдѣлать сейчасъ же здѣсь. А тѣмъ временемъ, можетъ-быть, и птичка Тиканенъ подойдетъ. Онъ намъ можетъ быть очень полезенъ. А можетъ-быть, и Адольфъ Михайловичъ...

— Противный, — бросила Полина Мартыновна, — это у него, вѣрно, отъ пунша. Обрадовался.

Чувство товарищества и деликатное воспитаніе, полученное мною въ дѣтствѣ, не позволяло мнѣ подтвердить подозрѣнія Полины Мартыновны, но я долженъ признаться, что ея негодование привело меня почему-то въ хорошее настроеніе.

Мы подкрепились своимъ силами, а Тиканенъ не появлялсяся. Полина Мартыновна волновалась.

— Не для того мы прїѣхали сюда, чтобы торчать въ гостилицѣ, — сказала она, — пойдемте хоть на часокъ. Взглянемъ, какой народъ здѣсь живетъ. Увидимъ хоть физиономію.

Мы пошли. Что вамъ сказать про городъ? Говоря откровенно, я ожидалъ большаго. Въ сущности, ничего особенного. Городъ, какъ городъ. Чистый, это отнять нельзѧ отъ него, но чтобы какая-нибудь удивительная зданія, замѣтные памятники, ничего подобного. Фонтанъ одинъ дѣйствительно хороши, да и то куда же ему съ нашими Петергофскими сравняться. Если бы я не получилъ въ дѣтствѣ очень деликатнаго воспитанія, то сказала бы, какъ любить выражаться одинъ изъ нашихъ служащихъ: «кишка тонка».

Гуляли это мы съ Полиной Мартыновной; она всѣмъ восхищается. Ну, а когда барышня, къ которой вы чувствуете нѣкоторую склонность, чѣмъ-нибудьѣли восхищается, то вы волей-неволей должны восхищаться, чтобы не показаться безчувственнымъ. Потому что, если вы покажетесь бозчестивеннымъ, то ваше дѣло конченное, вамъ крышка. И скажу болѣе, вы должны показать Монбланы восхищенія, побить рекордъ восторженности, чтобы такимъ образомъ оказалась впереди ея восхищенія, чтобы вышло такъ, что она какъ будто за вами слѣдуетъ въ своихъ восторгахъ. Да, господа, когда чувствуешь такое-этакое влеченіе, приходится быть очень тонкимъ дипломатомъ. Вѣдь вотъ, напримѣръ, я на пароходѣ заявилъ, что я максималистъ. Ну, какъ я максималистъ на самомъ дѣлѣ? Если говорить правду, такъ я даже и не знаю, что это такое максималистъ. Знаю только, что это ужъ лѣтвѣ лѣтваго, у самой, значитъ стѣнки. А сказала я это, чтобы Касу носъ утереть. Онъ заявилъ, что онъ соціал-демократъ, хотя я отлично знаю, что онъ въ коммерческомъ училищѣ только до пятаго класса дошелъ и никакой внутренней политикой не интересовался. Ну, а разъ онъ такія слова говорить, такъ я же ему! Пусть Полина Мартыновна видѣть, какая между нами разница.



Передвижная выставка 1918 г.

А. Максимовъ

Такъ вотъ гуляли мы, хотимъ ужъ домой возвращаться, посмотретьъ, не пришелъ ли Тиканенъ. Какъ вдругъ въ одной изъ улицъ большая толпа народа, какое-то знамя колышется, всѣ бѣгутъ, и слышна музыка и пѣніе, и долженъ вами сказать, что такой захватывающій мотивъ, столько въ немъ силы и бодрости, что сами ноги наше понесли въ ту сторону, откуда раздавались эти звуки.

Переглянулись мы съ Полиной Мартыновной и сразу поняли, въ чёмъ дѣло. Хватаетъ она меня за руку, глядѣть въ глаза и шепчетъ:

— Это народное волненіе?

— Да, — говорю.

— Такъ идемъ впередъ, примкнемъ.

— Конечно, идемъ, — говорю, — что бы тамъ ни было. Впередъ.

— Мы должны, — говорить Полина Мартыновна, — стать на сторону народа, итти съ нимъ вмѣстѣ подъ однимъ знаменемъ. Какъ премнѣтъ этотъ гимнъ!

— Удивительно, — говорю я, — какая сила. Впередъ!

— Да, впередъ, впередъ. Я надѣюсь, что стрѣлять не будутъ. Какъ вы думаете?

— Разумѣется, но будутъ, — отвѣчала я ей, а самъ думаю: «хорошо, если не будутъ, а кто же знаетъ, какіе у нихъ здѣсь порядки на этотъ счетъ». Бѣжимъ мы это впередъ, а меня чѣмъ дальше, тѣмъ все больше сомнѣніе разбираетъ: того и гляди, попадемся, влѣземъ въ грязную исторію.

— Знаете что, Полина Мартыновна, — говорю я, — надо принять мѣры предосторожности.

— Какая? Зачѣмъ?

— Можетъ-быть, и будутъ стрѣлять, такъ будемъ итти около стѣнъ, а не посреди улицы.

— Развѣ такъ безопаснѣе? — спрашиваетъ Полина Мартыновна, а сама блѣднѣетъ.

— Разумѣется. Вы видите, толпа идеть посрединѣ улицы. Если будуть стрѣлять, то въ нес. Около домовъ всегда безопаснѣе.

Все-таки идемъ. Ужъ довольно близко нагоняютъ толпу. Вдругъ: бацъ, бацъ!

— Выстрѣлы! — вскрикнула Полина Мартыновна, поблѣднѣла и запотѣла. Едва я успѣлъ ее подхватить.

— Что съ вами? Вы ранены?

— Нѣть, ничего, такъ...

— Вы испугались?

— Что за вздоръ! — Отшатнулась отъ меня и такъ посмотрѣла, что не дай Богъ никому. — Всѣ не испугались, а просто у меня сдѣлалось сердцеѣніе. Мы слишкомъ скоро шли.

— Можетъ-быть вернемся?

— Вы сами, значитъ, боитесь? А на меня хотите свернуть. Идемъ впередъ.

— Я боюсь! Полина Мартыновна, мнѣ не привыкать, — сказала я и запнулся немного. Къ чему, собственно говоря, не привыкать? Къ народнымъ волненіямъ, или къ баррикадамъ, или къ выстрѣламъ? Никогда ничего такого не испытывалъ. — Я, —

говорю, — Полина Мартыновна, могу только за вать бояться, а за себя я никогда и ничего не боюсь. Впередь, такъ впередь.

И снова мы понеслись впередь. И намъ было и жутко и въ то же время пріятно отъ сознанія своей храбрости, хотя мы ишли около стѣнь, и сквозь эти сложные ощущенія какъ будто слабо проникало сознаніе, что въ бѣжавшей впереди и около массѣ народа совсѣмъ не было замѣтно никакого беспокойства.

Вдругъ опять раздалось нѣсколько выстрѣловъ, и мы невольно остановились. Въ этотъ самый моментъ я вдругъ замѣчаю, что навстрѣчу намъ движется неуклюжая знакомая фигура.

— Тиканенъ! Полина Мартыновна, смотрите, Тиканенъ!

Въ это время Тиканенъ нась замѣтилъ и подошелъ къ намъ.

— Господинъ Тиканенъ, — бросилась къ нему Полина Мартыновна, — скажите, что это такое?

— Растворите, бариня, растворите, — привѣтствовалъ нась Тиканенъ, спокойный и улыбающейся.

— Что это такое? — спрашивала взволнованымъ голосомъ Полина Мартыновна, указывая на толпу. — Какіе-то выстрѣлы. Въ кого это стрѣляли?

— Это не рѣяли, это мальчишки лопуски росали, онъ лопали, то сно рѣяли.

— Мальчишки бросали хлопушки? Ну, а этотъ народъ и знамя, что это такое?

— Это рубасинский расникъ.

— Что такое?...

— Рубасинский расникъ. Это сякій котъ рубасисты раснують.

— Праздникъ трубочистовъ, — мрачно перевожу я Полинѣ Мартыновнѣ, и мы, не глядя другъ на друга, точно говорившись, поворачиваемъ въ сторону нашей гостиницы, где нась ожидаетъ за обѣденнымъ столомъ оживленій и повеселѣвшій Касъ.

Благодаря любезности Тиканена, намъ удалось посмотретьъ почти всѣ достопримѣчательности шведской столицы. Такъ какъ я получила въ дѣтствѣ очень деликатное воспитаніе, то я и старалася показать Тиканену, что воинище рѣшительно всѣмъ, что онъ намъ показывать, хотя онъ, въ сущности, вовсе не шведъ, а финляндецъ. Полина Мартыновна какъ-то заяла и, осматривая всѣ диковинки, точно исполняла обязанность. Касъ ходилъ гордо, какъ победитель на все смотрѣла свысока и, почему-то проникшись русскимъ патріотизмомъ, неизмѣнно повторялъ:

— У нась лучше. У нась, въ Петербургѣ лучше.

Только передъ шведскими пуншемъ признавалъ себя побѣденнымъ и говорилъ, что такого и въ Петербургѣ, пожалуй, не

достанеть, а если и достанешь, то придется очень дорого заплатить.

На обратномъ пути на пароходѣ онъ старался влить въ себя какъ можно больше этого напитка, такъ что иногда это отражалось на его походкѣ болѣе чѣмъ замѣтно. Но такъ какъ погода измѣнилась къ худшему и нась качало, то онъ приписывалъ все погодѣ — легкое головокруженіе и измѣненіе въ походкѣ, и даже самъ, послѣ возвращенія, рассказывалъ у нась въ конторѣ, что была такая качка, что онъ не сохранилъ равновѣсія и упалъ на весь четверикъ.

Изъ чувства справедливости я долженъ замѣтить, что качка была самая маленькая, а что Касъ просто, какъ онъ выражался, наизнѣцѣ пуншемъ.

Бодряющій вѣтеръ, пѣнистые волны привели меня въ приподнятое настроеніе, и я стала говорить Полинѣ Мартыновнѣ о томъ неизгладимомъ чувствѣ, которое охватываетъ человѣка, когда онъ бодро встрѣчаетъ опасность рядомъ съ любимымъ существомъ. Я говорить, что, переживъ разъ такое настроеніе, хочется всегда, всю жизнь итти рука объ руку. Но тутъ она, которая все время сочувственно кивала мнѣ головой съ растрепавшимися отъ вѣтра прядями волосъ, неожиданно перебила меня вопросомъ:

— Какъ вы думаете, — спросила Полина Мартыновна, — пойдетъ ли та коричневая лента, которую я купила, къ моей лѣтней шляпѣ, или ее лучше оставить для кофточки, а шляпу отдать передѣлать? Знаете, немного южнаго поля и перемѣнить отѣлку. Вѣдь соломка еще очень хорошая. Какъ вы думаете?

Я не помню, что я ей отвѣчала. Но у меня было такое чувство, точно изъ Ледовитаго океана внезапно приплыла ледяная гора и стала между нами... Ахъ, да что говорить. Послѣ вѣхъ ласковыхъ словъ и взглядовъ, которыми мы обмѣнивались, послѣ всѣхъ разговоровъ о сходствѣ вкусовъ и родствѣ душъ, послѣ всего этого она все-таки вышла замужъ за Каса, — за того самого Каса, которого называла и нѣмцемъ и колбасой и даже безъязыкой.

И все-таки она вышла за него, а не за меня. У нихъ хорошая квартира. Касъ принимаетъ дѣятельное участіе въ какихъ-то подрядахъ и, вѣроятно, хорошо зарабатываетъ.

Полина Мартыновна давно оставила службу въ нашей конторѣ. Я встрѣчала ее иногда въ театрахъ. Она всегда шикарно одѣта и милостиво киваетъ мнѣ головой. Она теперь уже не говорить о томъ, что она лѣвая, но считаетъ себя просто индивидуалисткой.

Если бы я не получила въ дѣтствѣ очень деликатного воспитанія, я сказала бы, что она просто свинья.



Въ финскихъ шхерахъ.

И. Владимировъ.



Константинополь.

Церковь Ая Софии.

Константинополь постигло страшное несчастье: городъ сдѣлился жертвою огня на протяжениі 21-х миллиновъ квадр. метровъ; сгорѣло 8.000 домовъ въ старой части города—Первъ, стариннѣйшихъ построекъ, свидетелей былой славы и величия Блистательной Порты. Въ кровавомъ заревѣ мировой войны это тяжкое бѣдствіе не произвело такого потрясающаго впечатлѣнія, какое должно было быть, но мы сочли все же интереснымъ ознакомить читателей съ картинами Константинополя и его живописными окрестностями.

Бѣлая рука.

Турецкая сказка.

Великий визирь Мустафа-паша былъ уже старикъ, когда его младшій сынъ Ахмедъ-бей достигъ восемнадцатнаго возраста. Отдавшій всего себѣ ревностному служенію падишау и странѣ, великий визирь оставался почти чужимъ своему подрастающему сыну, и Ахмедъ привыкъ во всѣхъ вопросахъ обращаться къ матери, иѣжно его любившай. Рѣшивъ, что настало пора жениться, Ахмедъ сталъ просить матеръ найти ему жену.

— Я поговорю обѣ этомъ съ пашой,—сказала матеръ.

— Не дѣлай этого, — возразилъ Ахмедъ.—Пашъ никогда думатъ о своемъ сыне; онъ укажетъ мнѣ первую попавшуюся дѣвушку изъ богатой, знатной семьи, вотъ и все; а я могу быть счастливъ только съ такой женой, какая мнѣ понравится.

— А какая тебѣ нравится? — спросила матеръ.

— Моя жена должна быть высокаго роста, съ бѣлымъ цвѣтомъ лица, съ голубыми глазами, розовыми губами, съ зубами, какъ жемчужины, и пышными бѣлокурыми волосами.

Мать улыбнулась и сказала:

— Въ красивыхъ дѣвушкахъ нѣть недостатка, и среди нихъ, есть многія, которыхъ я охотно выбирала бы въ невѣстки; но всѣ онъ маленькаго роста, съ красивыми черными глазами и темными волосами; такую же, какъ ты желаешь, можно найти только у торговца невольницами.

— Я не желаю невольницы и не желаю блѣдной турчанки. Я хочу имѣть жену съ бѣлымъ лицомъ, свѣтлыми глазами и свѣтлыми волосами, которую родители добровольно выдаутъ за меня. Другой жены я и знать не хочу. Найди мнѣ такую по сердцу!

Сердце матери не знаетъ отказа. Она разослала опытныхъ, преданныхъ ей, служанокъ въ поиски за невѣсту по мысли и по сердцу своего сына, но всѣ старанія ея долгое время оставались тщетными. Наконецъ къ ней явилась одна старуха,

знаявшая всѣхъ дѣвушекъ въ Стамбуль, и сказала, что ей посчастливилось найти невѣсту для Ахмеда-бэя. Прекрасную Эминѣ никто не знаетъ, она живетъ со своимъ отцомъ-вдовцомъ, ведеть хозяйство и никуда не показывается. Ей пятнадцать лѣтъ. Отецъ ея — бѣдный плотникъ.

— Если то, что ты говоришь, правда,—сказала жена великаго визиря старухъ,—ты получишь богатое вознагражденіе.

— Пойдемъ со мной,—отвѣчала сваха,—и суди сама.

И жена великаго визиря отправилась со старухой; та повела ее въ одинъ изъ сѣверныхъ кварталовъ Стамбула, въ Айванъ-сарай. Онѣ вошли въ небольшую хижину, окруженную садомъ, где ихъ вѣжливо привѣтствовала прекрасная Эминѣ. Она не только обладала всѣми достоинствами, о которыхъ говорила сваха,—была высока ростомъ, съ голубыми глазами и золотистыми волосами,—но и была благовоспитана и привѣтлива. Жена великаго визиря объяснила ей причину своего визита. Эминѣ вѣжливо отвѣтила, что счастлива сдѣлаться женой знатнаго человѣка, что она никогда не думала, что судьба готовитъ ей такое счастье. Чтобы закрыть ихъ говорь, жена великаго визиря надѣла на пальчикъ Эминѣ дорогое кольцо и сказала:

— Этимъ я выбираю тебя въ жены моего младшаго сына, Ахмеда-бэя. Онъ добра, ласковъ и навѣрное полюбитъ тебя.

Ахмедъ-бей былъ очень обрадованъ, когда матеръ сказала, что налицо ему невѣсту по душѣ, и просилъ какъ можно скорѣе назначить обрученіе; но черезъ нѣсколько дней онъ явился къ матери съ новыми мыслями, съ другими наѣреніями. Очень смущенный, онъ откровенно сознался матери, что послѣ бесѣды съ товарищами, которые вмѣстѣ съ нимъ занимались въ Высокой Портѣ, пріучаясь къ обязанностямъ высшихъ чиновниковъ, онъ рѣшилъ отказаться отъ выбранной ему невѣсты. И онъ рассказалъ, что заставило его изменить свое рѣшеніе.

Родственникъ Ахмеда, Омеръ-бей, сынъ богатаго паша, считающийся среди товарищъ самыемъ умнымъ и разсудительнымъ, сказалъ, что молодой человѣкъ, желающій пойти далеко по службѣ, не долженъ брать себѣ въ жены дочь простыхъ, незнанныхъ родителей. Омеръ привезъ иѣсколько историческихъ примѣровъ, какъ люди совершенно незначительные достигали высокихъ должностей и почестей благодаря именитой родинѣ жены. Товарищи удивлялись учености и начитанности Омера и принимали все, что онъ говорилъ, за неоспоримую истину.

Ахмѣдъ-бей вспомнилъ о дочери плотника, съ которой долженъ быть обручиться, и дерзнуль робко возразить своему родственнику, что красоту и добродѣтель надо цѣнить въ женѣ больше, чѣмъ богатство и знатность. Слова его были встрѣчены смѣхомъ, и мяткій Ахмѣдъ, придававшій большое значение тому, что скажутъ или подумають другіе, оробѣлъ и рѣшилъ, что обрученіе его съ Эминѣ большая глупость. Пока онъ шелъ изъ Высокой Порты въ свое жилище, эта мысль все глубже укоренялась въ немъ, и, приѣдя домой, онъ тотчасъ же отправился въ гаремъ, къ матери, и тутъ же объявилъ, что онт всесторонне обдумалъ ея планъ женитьбы на Эминѣ и пришелъ къ твердому убѣждѣнію, что бракъ съ дочерью ремесленника для него невозможенъ, что онъ поступилъ необдуманно и просить матерь разстроить этотъ бракъ.

Слова Ахмеда потрясли душу матери. Эминѣ успѣла сискать ея расположеніе, и ей хотѣлось видѣть Эминѣ женой Ахмеда. Но тщетно восхваляла она блокурую красоту Эминѣ, пренебрежительно отзываясь о чопорныхъ чернокудрыхъ дочеряхъ пашей и другихъ именитыхъ турокъ, — Ахмѣдъ стоялъ на своемъ: онъ и слышать уже не хотѣлъ о женитьбѣ на дочери плотника. Матери пришлось уступить, но у нея не хватило мужества самой объявить о нарушеніи слова молодой девушки, которая такъ довѣрчиво отнеслась къ ней, и съ которой она простилась почти какъ съ дочерью. Она позвала старуху-сваху и дала ей много денегъ, чтобы вознаградить Эминѣ.

— Скажи ей, что Ахмѣдъ не можетъ жениться; ему надо еще долго ждать, пусть отецъ Эминѣ ищетъ себѣ другого зятя. Теперь это будетъ ему не трудно, — у его дочери будетъ богатое приданое.

Сваха добросовѣстно выполнила данное ей порученіе. Эминѣ горяко плакала, и отецъ ея, возвратясь вечеромъ съ работы,

нашелъ ее въ слезахъ. Онъ былъ благочестивый, но вспыльчивый человѣкъ и, узнавъ о причинѣ огорченія дочери, пришелъ въ такую ярость, что поклялся именемъ Аллаха смыть незаслуженный позоръ и немедленно выдать Эминѣ за первого человѣка, котораго онъ встрѣтилъ на молитвѣ угромъ въ мечети. Иѣсколько часовъ спустя, когда гнѣвъ его улегся, онъ раскался въ данной клятвѣ, но было поздно: онъ поклялся именемъ Аллаха, возврата не было. Эминѣ была такъ потрясена и подавлена своимъ горемъ, что отнеслась совершенно равнодушно къ своей дальнѣйшей судьбѣ.

На слѣдующий день, на разсвѣтѣ, плотникъ отправился въ мечеть. У входа онъ встрѣтилъ высокаго статнаго человѣка, закутанаго въ темный плащъ. Лица его нельзя было хорошо разсмотреть въ полутимѣ храма. Отецъ Эминѣ замѣтилъ лишь, что у незнакомца была черная борода, блѣдное лицо и большие, спокойные, черные глаза.

— Подари мнѣ иѣсколько минутъ вниманія! — попросилъ его плотникъ, отвесивъ вѣжливый поклонъ и прижимая руки къ груди.

Незнакомецъ молча кивнулъ головой. Отойдя въ отдаленный, темный уголъ мечети, онъ остановился и сказалъ тихимъ голосомъ:

— Говори!

Плотникъ безъ утайки рассказалъ все, что случилось въ его домѣ за послѣдніе два дня, и опять гнѣвъ овладѣлъ всѣмъ его существомъ, и онъ тутъ же въ мечети повторилъ данную клятву и тутъ же спохватился.

— Аллахъ хочетъ наказать меня и посыпаетъ мнѣ навстрѣчу такого знатнаго человѣка, что самому мнѣ кажется смѣльчомъ и дерзкимъ предложить ему въ жены дочь мою.

Незнакомецъ взялся лѣвой рукой за подбородокъ и нѣкоторое время задумчиво молчалъ. Въ темнотѣ плотникъ замѣтилъ, что рука у незнакомца узкая, блѣдая, тонкая; особенно выдѣлялась она своей близиной на черной бородѣ его.

— Твоя дочь непорочна и прекрасна? — спросилъ онъ наконецъ.

— Въ этомъ не сомнѣвайся, когда самъ отецъ говоритъ тебѣ это, — отвѣчалъ плотникъ.

— Жена великаго визиря согласна была взять твою дочь въ жены своему сыну?

— Да.



Константинополь.

Ворота во дворецъ султана (Долма-Бахче) на Босфорѣ.



Константинополь.

Церковь Айя София
(съ западной стороны).

— Но почему же она раздумала?

— Не знаю; но, вѣроятно, она сама жалѣла пастъ, потому что прислала мнѣ со свахой деньги на приданое Эмина.

Незнакомецъ снова долго молчалъ, потомъ сказалъ:

— Клятва твоя священна. Аллахъ поможетъ тебѣ исполнить ее. Будь завтра утромъ въ этоѣ же часъ на этомъ мѣстѣ. Я буду ожидать тебя и скажу тебѣ свое рѣшеніе. Возьми вотъ это, — и онъ подалъ плотнику маленький, тяжелый, шелковый кошелекъ, — на эти деньги убери комнату твоей дочери, чтобы принять меня, ея будущаго супруга.

Съ этими словами незнакомецъ удалился. Плотникъ остался еще нѣкоторое время въ мечети, сотворилъ благодарственную молитву и съ радостной душой вернулся домой. Ничего не скрылъ онъ отъ дочери своей. Эмина выслушала отца съ молчаливой покорностью.



Константинополь.

Ипподромъ, обелискъ и Айя София.

Настало утро, и на томъ же мѣстѣ въ мечети засталъ отца Эмина незнакомецъ.

— Привѣтствуешь тебя, моего будущаго тестя. Сегодня вечеромъ позови имама, въ присутствіи духовнаго лица мой свидѣтель дасть отъ моего имени необходимыхъ обѣщаній. Ты сдѣлаешь то же отъ имени своей дочери, но знай и помни: никто изъ присутствующихъ на свадебномъ празднествѣ нашемъ не увидитъ моего лица; и сама Эмина увидитъ его только тогда, когда я самъ назначу; я буду приходить къ ней въ полночи и покидать ее до восхода солнца; но если она будетъ ласкова и терпѣлива, она въ свое время узнаетъ, кто былъ тотъ неизѣбѣтный, за кого ты выдалъ ее. Обо всемъ для нея необходимо будешь заботиться ты, а давать это необходимо буду я. Самъ ты долженъ отказаться отъ своей обычай работы, долженъ оставаться дома съ дочерью, охранять и оберегать ее для меня. Да благословитъ Аллахъ союзъ, котораго Онъ самъ желалъ, пославъ меня вчера на твоемъ пути, во исполненіе клятвы твоей.

Все было сдѣлано такъ, какъ приказалъ незнакомецъ. Эмина и отецъ ея покорно согласились на всѣ условия и считали себѣ вполнѣ счастливыми, потому что вмѣстѣ съ таинственнымъ супругомъ въ ихъ хижину вошло благосостояніе. Когда знатный незнакомецъ приходилъ ночью, поступавъ три раза въ дверь, всюду гасили свѣтъ, и онъ впопыхахъ шелъ на женскую половину, где его ждала Эмина. Въ ея молодомъ сердцѣ, конечно,



Константинополь.

Византійськія стѣни.

жило страстное желаніе увидѣть лицо своего повелителя, но когда Эмина однажды, въ минуту счастливаго свиданія, рѣшилась выскажать его, мужъ мягко, но рѣшительно отвѣтилъ, чтобы она не жертвовала своимъ счастьемъ изъ-за пустого женскаго любопытства, а ждала бы того часа, который онъ ей назначить.

— Вѣдь ты счастлива? — спросилъ онъ.

— Блѣдны слова для выраженія моего счастья, — отвѣчала Эмина.

— Ну, такъ будь довольна.

— Я довольна. Прости мнѣ мою глупость.

Онъ ласково погладилъ Эмину, а она взяла его руку въ объ свои и почтительно и нѣжно поцѣловала ее.

— Какая у тебя маленькая и нѣжная рука, — сказала она. — Я не знала, что у большого, сильнаго мужчины могутъ быть такія тонкія, блѣдныя руки.

Однажды Эмина узнала отъ своей служанки, что Ахмедъ-бей, сынъ великаго визиря, обручился съ дочерью богатаго паши, и скоро будетъ ихъ свадьба. Эмина въ первое же свиданіе попросила у своего супруга позволенія поздравить невѣсту. Ей очень хотѣлось увидѣть ту, которую Ахмедъ-бей, бывшій нѣсколько днія ея женихомъ, выбралъ себѣ въ жены. Мужъ Эмина охотно разрѣшилъ, и молодая женщина отправилась въ домъ невѣсты въ тотъ день, когда, по старому турецкому обычаю, онъ открылъ для всѣхъ желающихъ принести поздравленія. Тамъ она встрѣтила жену великаго визиря. Мать Ахмедъ-бяя была смущена этой встрѣчей, но молодая женщина сумѣла придать разговору такое мягкое, сердечное направленіе, что жена визиря, очарованная ею, пригласила Эмину на слѣдующій день на свадебный пиръ.

— Приди, — отвѣчала Эмина, — если только мой супругъ и повелитель разрѣшилъ мнѣ это.

— Онъ сдѣляетъ все, что ты пожелаешь, — отвѣтила мать. — Какой мужъ могъ бы отказать тебѣ въ просьбѣ!

Потомъ она спросила у молодой женщины имя ся супруга, но Эминэ отвѣтала уклончиво:

— Имя ничего не скажетъ тебѣ. Ты все равно не знаешь его.

Жена великаго визиря не могла оторвать взора отъ красоты Эминэ. Некрасивой и незамѣтной казалась въ сравненіи съ нею смуглолицая Рефіз, новая избранница ея сына Ахмѣдѣ-бѣя.

Вечеромъ Эминэ разсказала супругу о своемъ посыпленіи невѣсты Ахмѣда. Не скрыла она и того, что позвана на свадебное торжество.

— Любопытство мое удовлетворено, съ твоего милостиваго позволенія,—сказала Эминэ,—теперь, когда я видѣла Рефіз-ханумъ, у меня нѣтъ особеннаго желанія присутствовать на завтрашнемъ торжествѣ. Поэтому прошу тебя рѣшить, принять ли мнѣ приглашеніе матери Ахмѣдѣ-бѣя или нѣтъ.

— Прими приглашеніе, — услыхала она ласковый отвѣтъ супруга.—Я хочу, чтобы на этомъ празднествѣ ты была одѣта не хуже другихъ. Завтра утромъ я пришлю тебѣ праздничныя одежды и драгоцѣнности; ихъ привезетъ тебѣ служанка, которая поможетъ тебѣ одѣться.

Ихты и драгоцѣнности, присланыя на другой день, были такъ богаты и красивы, что, когда ихъ разложили въ ея маленькой комнаткѣ, Эминэ не вѣрила своимъ глазамъ. Она стала нерѣшительно спра-



Константинополь.

Видъ на Босфоръ и крѣпость Румели-Гиссаръ.



Константинополь.

Леоръ Голубиной мечети.

шивать прибывшую съ ними прислужницу-негритянку, всѣ ли дорогія шелковыя одежды, всѣ ли золотыя кольца и браслеты съ самоцвѣтными камнами предназначены ей, Эминэ, дочери простого плотника. Прислужница казалась пѣмой и только утвердительно кивала головой. Затѣмъ она искусно помогла молодой женщинѣ убрать волосы, надѣть платье и драгоцѣнности, и Эминэ преобразилась: всѣмѣсто скромной дочери плотника была прекраснѣшая изъ сultанши. Когда она появилась въ гаремѣ великаго визиря, все смолкли. Всѣхъ затмила Эминэ своею красотою. Когда всѣ гости уѣхали по мѣстамъ, мать Ахмѣда не могла скрыть волненія. Она пошла въ маленькую потайную комнатку, откуда, изъ-за занавѣск, можно было видѣть всѣхъ сидѣвшихъ, и позвала къ себѣ сына. Елѣдная и дрожащая, она сказала Ахмѣду:

— Посмотри, чего ты лишился. Смотри, вонъ она сидитъ, напротивъ окна. О, Ахмѣдь, какъ ты былъ глуп!

Женихъ бросилъ долгій взглядъ на Эминэ, и красота ея очаровала его. Блѣдный, какъ смерть, подошелъ онъ къ матери и проговорилъ едва слышно:

— Я женюсь на Эминѣ. Не желаю смуглолицей дочери папы! Эминэ не возвратила тебѣ кольца, которое ты дала ей. Имъ ты обручила меня съ нею, значитъ, она осталась моей невѣстой. Я потребую ее себѣ въ жены. Отецъ мой, великий визирь, устроить мнѣ это. Я буду молить объ этомъ самого сultана.

Мать старалась успокоить его. Онъ, какъ безумный, повторялъ одно и то же:

— Прогони Рефіз. Не могу ее видѣть. Эминэ — невѣста моя.

Пришлось позвать великаго визиря. Отецъ спокойно и хладнокровно сказалъ:

— Будь по-твоему. Если ты не хочешь жениться на Рефіз-ханумъ, я постараюсь уговорить пашу, ея отца, освободить тебя отъ слова, данныхаго Рефіз-ханумъ. А можешь ли ты отнять Эминэ у мужа, объ этомъ мы спросимъ судью. Теперь ступай къ себѣ и не выходи никуда до завтрашняго вечера. Тогда я дамъ тебѣ отѣчь.

Послѣ обильнаго угощенія всѣмъ гостямъ пришлось объявить, что изъ-за внезапной болѣзни невѣсты пиръ оконченъ.

Бѣдную Рефіз, тринадцатилѣтнюю дѣвочку, которая едва ли понимала, что съ нею будетъ, отвели обратно въ гаремъ матери. Великий визирь переговорилъ съ пашою, паша уступилъ его доводамъ и принялъ всѣ условия, не желая ссориться съ могущественнымъ сановникомъ.

Переговоривъ съ пашою, великий визирь приказалъ позвать къ себѣ кади (судью) и рассказалъ ему все.

Кади сразу стало ясно, что у Ахмѣда нѣтъ правъ на Эминэ:



Константинополь.

Ворота, ведущія во дворъ сultанского дворца.

кольцо, которому Ахмедъ вздумалъ придавать такое большое значение, даже не было вытребовано обратно отъ Эминэ, и она съ полнымъ правомъ могла считать его своею собственностью, наравнѣ съ деньгами, подаренными ея отцу; бракъ Ахмеда съ Эминэ не состоялся; Эминэ вышла замужъ, и Ахмедъ и не думалъ протестовать противъ этого. Но, какъ человѣкъ хитрый и осторожный, кади не желалъ навлекать на себя гнѣвъ великаго визиря. Хитро улыбалась, онъ сказала:

— Дѣло твоего сына, папа, не подлежитъ сужденію простого кади. Его можетъ рѣшить только высшій судья—шайхъ-уль-исламъ.

Великій визирь понялъ хитрость кади и почесть свое неправое дѣло на судь шайхъ-уль-ислама. Но и тотъ не желалъ нажинть себѣ опаснаго врага.

— Случай, который наша повержаетъ на мой судь,—сказалъ онъ,—можетъ быть рѣшенъ однимъ только падишахомъ.

Огорченный великий визирь пошелъ къ султану.

Когда визирь все изложилъ, султанъ сказалъ:

— Я самъ буду судьей между Ахмедомъ и Эминэ. Но для того, чтобы вынести правильное рѣшеніе, я хочу выслушать обѣ стороны. Пусть Ахмедъ-бей и Эминэ-ханумъ предстанутъ предо мной завтра утромъ. Всѣ мои высшіе сановники и высшіе придворные чины пусть присутствуютъ при этомъ.



Константинополь. Сераскеріатская башня (военное министерство) съ Галатскаго моста.



Константинополь.

Главная улица въ Галатѣ на пути къ дворцу султана.

На слѣдующее утро, въ назначенный часъ, сто высшихъ придворныхъ сановниковъ собрались подъ открытымъ небомъ, на площади передъ сералемъ. Они стояли полуокругомъ передъ трономъ, надъ которымъ былъ высокій балдахинъ изъ тяжелыхъ темныхъ тканей. Завѣсы надъ трономъ были кругомъ спущены, и только стоявшіе у трона могли разглядѣть священную особу калифа. Царила глубокая тишина. И вдругъ, какъ будто изъ-подъ земли, появились два великаны и стали одинъ по правую, другой по лѣвую сторону трона. Оба были въ блестящихъ мундирахъ сultанской гвардіи, съ большими ятаганами. Они стояли лицомъ къ присутствующимъ, неподвижны, какъ два изваянія. Изъ-за балдахина вышелъ дворцовый маршалъ султана. Среди глубокой тишины раздался его спокойный голосъ:

— Судь открыть. Пусть истецъ явится и объявить свою жалобу!

Ахмедъ-бей, дрожа отъ страха и смущенія, приблизился къ балдахину и остановился передъ дворцовыми маршалами.

— Можешь говорить,—сказалъ маршалъ.

Ахмедъ всю ночь готовился къ этому моменту; но все, что онъ сказала теперь, не говорило въ его пользу. Когда онъ кончилъ, дворцовый маршалъ молча повернулся и съ почтительнейшимъ поклономъ подошелъ къ трону султана. Вернувшись къ Ахмеду, маршалъ сказалъ:

— Отвѣтай теперь на вопросы, которые я буду задавать тебѣ, коротко и точно. Понялъ?

— Да.

— Требовалъ ты обратно кольцо, которое мать твоя дала Эминэ-ханумъ?

— Нѣть.

— Поручалъ ты своей матери расторгнуть обрученіе твое съ Эминэ-ханумъ?

— Да... но...

— Довольно.

Когда Ахмедъ, понявший, что ему не удалось убѣдить султана, сконфуженно удалился, наступила снова тишина, и

среди нея опять раздался спокойный голосъ придворнаго маршала:

— Пусть явится обвиняемая!..

Изъ-за ширмы, стоявшей рядомъ съ балдахиномъ, появилась закрытая покрываломъ Эминэ-ханумъ. Опустивъ глаза въ землю, подошла она къ тому мѣсту, где ждалъ ее дворцовый маршалъ. Она стала отвѣщать на задаваемые ей вопросы тихимъ, но яснымъ голосомъ. Допросъ длился не долго, потому что уже раньше изъ отвѣтовъ Ахмеда стало ясно, что Эминэ не заслуживаетъ ни малѣйшаго упрека за свое замужество, и что притязанія Ахмеда на ея руку совершенно неосновательны. Когда все это было еще разъ доказано, маршалъ спросилъ:

— Какъ зовутъ твоего супруга, Эминэ-ханумъ, и кто онъ такой?

— Я не знаю его имени и не знаю, кто онъ. Знаю только, что онъ добръ, и что я съ нимъ счастлива.

И она откровенно рассказала, на какихъ условіяхъ состоялся ихъ бракъ, и какъ сложилась дальнѣйшая ея супружеская жизнь.

— Итакъ, ты никогда не видала въ лицо своего супруга?

— Никогда. Но я и не стремлюсь больше къ этому. Доброта моего супруга такъ велика, что никакой человѣческій обликъ не можетъ быть ея достоинъ.

— Значить, ты не узнала бы его, если бъ встрѣтилась съ нимъ?

— Голосъ его тихъ и изъженъ. Можетъ-быть, я узнала бы его по голосу.



Константинополь.

Видъ на Золотой Рогъ съ Галатской башни



Константинополь.

Крѣпость на европейскомъ берегу Босфора, въ самой узкой части его.

— А нѣть ли другихъ признаковъ, по которымъ ты могла бы узнать его?

Эминѣ покраснѣла до корней волосъ; потомъ отвѣтила тихимъ голосомъ:

— По рукамъ я навѣрное узнала бы его. Онъ такія бѣлые, нѣжныя и тонкія, какихъ не можетъ быть ни у кого другого.

Маршаль снова подошелъ къ султану и черезъ мгновеніе опять вернулся къ Эминѣ.

— Изъ всего, что ты сказала, а также судя по богатому наряду, въ которомъ ты присутствовала на пиру въ гаремѣ жены великаго визиря, надо заключить, что супругъ твой знатень и богать. Можетъ-быть, онъ находится здѣсь среди присутствующихъ? Осмотри руки всѣхъ, чтобы убѣдиться.

Эминѣ немедленно подошла къ первому изъ стоявшихъ, взглянула мелькомъ на его руку и тотчасъ пошла дальше

отъ одного къ другому. Глаза ея были такъ низко опущены, что никто не могъ даже видѣть цвета ихъ. Мимо всѣхъ большихъ и грубыхъ рука она проходила, не останавливаясь, когда же ей протягивали маленькую руку, она осторожно брала ее, но тотчасъ же опускала, какъ будто прикосновеніе было ей непріятно. Быстро обошла она весь полукругъ и вернулась къ дворцовому маршалу.

— Моего супруга нѣть между присутствующими,—проговорила она спокойно.

— А всѣ ли руки ты осмотрѣла?—спросилъ маршаль.

Эминѣ бросила короткій взглядъ на руку говорившаго, державшую маршалскій жезль. То была сильная мужская рука, но совсѣмъ не та, которую она искала. Эминѣ невольно улыбнулась и повторила:

— Моего супруга нѣть между присутствующими.

— Такъ посмотри и эту руку,—сказалъ маршаль, отступая въ сторону.

Завѣсы балдахина слегка раздвинулись, и всѣ присутствующіе увидѣли при осѣптельномъ свѣтѣ солнца блѣснувшую, узкую, маленькую руку. Эминѣ съ минуту стояла пораженная, потомъ нерѣшительно прикоснулась къ рукѣ и тотчасъ же опустилась на колѣни, запечатлѣвъ на руку тихій



Константинополь.

Мраморная мечеть на берегу Мраморного моря.

поцѣлуй. И, среди мертвой тишины, раздался ея дрожащій голосъ:

— Это рука моего господина и повелителя.

Тогда султанъ вышелъ изъ-подъ темнаго балдахина подъ открытое небо, оставивъ свою правую руку въ рукахъ Эминѣ. Онъ тихо привлекъ молодую женщину къ себѣ и гордымъ, счастливымъ взглядомъ окунула присутствующихъ.

— Сегодня счастливый день, — сказалъ онъ, — потому что я нашелъ искренно любящую меня душу. Поэтому я буду милостивъ. Тебя, Мустафа-паша, я прощаю за то, что ты поддерживалъ неправое дѣло своего сына. Я не могу тебя только оставить своимъ великимъ визиремъ, потому что ты доказалъ, что взглядъ твой пересталъ быть зорокъ, и ты не смогъ различить истину. Но я разстаемся съ тобой не въ гнѣвѣ, потому что, благодаря твоей слѣпотѣ, я позналъ красоту Эминѣ. Ты же, Ахмедъ, сынъ Мустафы, самъ безвозвратно лишилъ себя большого счастія. Пусть это будетъ тебѣ наказаніемъ за то, что ты не сумѣлъ оцѣнить его, когда оно было въ твоихъ рукахъ...



Константинополь.

Галлипольскій маякъ.



Первая въ Россіи женщина-докторъ всеобщей исторіи.

(Съ портр. и рис. на стр. 479 и 480).

21 (8) апрѣля въ Петроградскомъ университѣтѣ происходилъ первый въ Россіи публичный диспутъ женщины для пріобрѣтенія ученой степени доктора всеобщей исторіи. Если не счи-тать дарованія почетнаго докторства (по русской исторіи) Харьковскимъ университетомъ, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, А. Я. Ефименко, то подобного события еще не было въ жизни рус-скихъ университетовъ.

Защищила въ этотъ день диссертацию Ольга Антоновна Добіашъ-Рождественская, три года тому назадъ за другую свою ученую работу получившую степень ма-гистра всеобщей исторіи и уже давно преподающая эту пред-метъ на Высшихъ Женскихъ Курсахъ (съ 1907 года), а за по-слѣдніе годы и въ университѣтѣ (въ званіи приват-доцента).

На диспутѣ, происходившій въ одномъ изъ самыхъ простор-ныхъ университетскихъ помѣ-щений, собралась многочислен-ная публика, очень замѣтную часть которой составляла жен-ская учащаяся молодежь.

По окончаніи диспута, послѣ объявленія докторантки достой-ной искомой степени, г-жѣ Добіашъ-Рождественской были принесены привѣтствія деканомъ историко-филологического факультета, директоромъ Выс-шихъ Женскихъ Курсовъ, предѣдателемъ Историческаго Общества при университѣтѣ и делегатомъ Общества для до-ставленія средствъ Высшимъ Женскимъ Курсамъ и прочи-танъ былъ адресъ отъ ея ученикъ, поднесшихъ ей букетъ розъ. Публика привѣтствовала диссидентку горячими рукоплес-сканіями.

Новый докторъ всеобщей исторіи — дочь бывшаго про-фессора Нѣжинскаго института Добіаша, родомъ чеха, а фами-лію Рождественскую носить по мужу, профессору физики въ университѣтѣ. Родилась она въ 1875 году и высшее образова-ніе получила въ 1895—1899 год-ахъ на петербургскихъ Выс-шихъ Женскихъ Курсахъ, где специализировалась въ области средневѣковой исторіи Запада подъ руководствомъ проф. И. М. Грѣвса, но кромѣ того она довольно долгое время (около двухъ лѣтъ) прожила въ Па-рижѣ, где работала подъ руководствомъ двухъ тамошнихъ про-фессоровъ-мѣдіевистовъ (специалистовъ средневѣковой исторіи) Лангула и Лота. Тамъ же она пріобрѣла степень доктора, но это, какъ извѣстно, приравнивается у насъ лишь къ простому окончанію курса въ высшемъ заведеніи, такъ что по возвращеніи на родину г-жа Добіашъ-Рождественская должна была еще держать магистерскій экзаменъ и представить двѣ диссертации.

Первую изъ нихъ (на степень магистра) она защитила въ 1915 году, темой же ея былъ средневѣковой церковный приходъ во Франціи. Уже въ этой работе г-жа Добіашъ-Рождественская обнаружила и специальную ученость, и умѣніе разбираться въ первоисточникахъ, и способность къ историческимъ построеніямъ. Для докторской своей диссертациіи она темою взяла „Культура архангела Михаила въ латинскомъ средневѣковѣ“, при чемъ вслѣдствіе дорогоизны печатанія книгъ въ наши дни выпустила свой трудъ въ литографированномъ видѣ, собственно наречено „п-рестувакъ“ его на пишущей машинкѣ. Въ этой новой диссер-тациіи она еще въ большей степени проявила и свою эрудицію, и умѣніе обращаться съ источниками, и широту размаха.

Архангель Михаилъ былъ однѣмъ изъ наиболѣе читымъ свя-тынь на Западѣ, и г-жа Добіашъ-Рождественская слѣдить за по-читаніемъ его на протяженіи восьми столѣтій (V—VIII), за по-строеніемъ въ его честь храмовъ, за хожденіемъ на богомолье къ иѣкоторымъ его святынямъ, за появленіемъ о немъ легендъ, и все это дѣлается ею въ связи съ главными течениями исторіи Запада отъ эпохи переселенія народовъ до эпохи крестовыхъ

походовъ. Между прочимъ, она опровергаетъ мнѣніе иѣкоторыхъ германскихъ ученыхъ, по которому культура архангела Михаила непосредственно смѣнила культуру языческаго бога Меркурия, находя, что для такого утвержденія нѣть достаточныхъ основаній: культура Меркурия прекратился задолго до распространенія почитанія архангела Михаила на Западѣ. Другое дѣло — дѣйствительное скрещеніе образовъ языческаго бога и еврейскаго ангела на Востокѣ, где вообще происходило въ первые вѣка нашей эры такъ называемый религиозный синкротизмъ. На Востокѣ, т.-е. въ Египтѣ и въ Передней Азіи, на сдѣлавшаго христіан-скимъ архангела Михаила перенесены были иѣкоторыя черты греческаго Гермеса, которому на Западѣ соотвѣтствовалъ Меркурий. Г-жа Добіашъ-Рождественская остановилась также и на превращеніи, въ сознаніи христіанъ, Михаила изъ ангела еврейскаго народа въ заступника и вождя христіанъ, даже въ специального покровителя средневѣковой имперіи на Западѣ, хотя послѣднее и кажется недостаточно обоснованнымъ.

Въ своемъ странствованіи отъ Палестины и вообще Востока до береговъ Ламанша на крайнемъ Западѣ и въ теченіе пѣ-лыхъ вѣковъ образъ архангела Михаила не могъ не измѣниться и не осложниться новыми чертами. Г-жа Добіашъ-Рождественская слѣдить за этою земною біографіею архангела, останавливаясь и на благочестивыхъ сказаніяхъ о немъ въ латинской ли легендахъ или въ національной поэзіи. Одна изъ этихъ легендъ, возникшихъ на Востокѣ и перенесенныхъ на Западѣ, была усвоена и русскою древнею письменностью подъ названіемъ „Чуда Михаила Архистратига въ Хонѣхъ“; ее можно найти въ Четыре Минеяхъ подъ 6 сентябрь. Но на Западѣ возникли и самостоятельный сказанія о чудесахъ архангела Михаила, пріуроченные къ двумъ главнымъ его западнымъ святыни-шамъ, бывшимъ мѣстами паломничества: къ Монте Гаргано въ южной Италии и Монѣ Сен-Мишель у нормандскаго берега Франціи (рис. на стр. 480).

Кромѣ большой начитанности въ источникахъ и пособіяхъ, О. А. Добіашъ-Рождественская проявила еще особый, интимный интересъ къ своему сюжету и, можно сказать, сама перечувствовала настроения, съ какими создавалась интересующій ее образъ. Книга написана легкимъ, красивымъ и образнымъ стилемъ.

Все это было отмѣчено на диспутѣ и выступавшими на немъ официальными оппонентами,—бывшимъ учителемъ докторантки, проф. И. М. Грѣвсомъ, разыгрывшимъ диссертацию со стороны ея западно-европейского содержанія, и проф. А. А. Васильевымъ, который подошелъ къ ней преимущественно со стороны соприкосновенія ея съ исторіей Византіи.

Кромѣ двухъ русскихъ диссертаций, изъ коихъ первая была переработкою французской, О. А. Добіашъ-Рождественская написала иѣсколько небольшихъ ученыхъ работъ и статей въ „Новомъ Энциклопедическомъ словарѣ“, а до вступленія преподавательницей въ высшую школу не мало потрудилась и въ средней школѣ (въ женскихъ гимназіяхъ Таганцевой и Стоюниной) и принимала длительное участіе въ учительскомъ союзномъ движеніи.

Наука и высшее преподаваніе могутъ еще ожидать отъ нового доктора и плодотворныхъ ученыхъ трудовъ и участія въ образованіи кадровъ молодыхъ научныхъ силъ. Между прочимъ, г-жа Добіашъ-Рождественская принадлежитъ къ числу рѣдкихъ у настъ специалистовъ по техническимъ дисциплинамъ, необходимымъ при изученіи средневѣковыхъ латинскихъ рукописей.

Н. К.



Первая въ Россіи женщина-докторъ исторіи
Ольга Антоновна Добіашъ-Рождественская.
Портрет работы художника Г. Верейского.



Мон Сенъ-Мишель (Гора св. Михаила), средневѣковый монастырь на островѣ въ Ламаншѣ, около берега Нормандіи, съ главными зданіями XIII—XV вѣковъ. Во время отлива вода между островомъ и берегомъ уходитъ, и сообщеніе между ними дѣлается возможнымъ безъ лодокъ. Къ очерку „Первая женщина-докторъ всеобщей истории“ на стр. 479.

* * *

Храмъ Твой, Господи, въ небесахъ,
Но земля тоже Твой пріютъ,
Расцвѣтаютъ липы въ лѣсахъ,
И на ликахъ птицы поютъ.
Точно благовѣсть Твой, весна
По веселымъ идетъ полямъ,
А весною на крыльяхъ сна
Прилетаютъ ангелы къ намъ.
Если, Господи, это такъ,
Если праведно я пою,

Дай мнѣ, Господи, дай мнѣ знакъ,
Что я волю понялъ Твою.
Передъ той, что сейчасъ грустна,
Появясь, какъ Незримый Свѣтъ,
И на все, что спросить она,
Ослѣпительный дай отвѣтъ.
Вѣдь отраднѣй пѣнія птицъ,
Благодатнѣй ангельскихъ трубъ
Намъ дрожанье милыхъ рѣсницъ
И улыбка любимыхъ губъ.

Н. Гумилевъ.

ЗАЯВЛЕНИЕ.

По условіямъ разсрочки, подписаная плата за „Ниву“ 1918 года должна быть внесена **ПОЛНОСТЬЮ КЪ 1-му августа сего года**. Контора журнала „Нива“ покорнѣйше просить поэтому гг. подписанчиковъ, не внесшихъ сполна подписаныхъ денегъ, озабочиться **немедленною присылкою** осталной причитающейся съ нихъ суммы, **во избѣженіе остановки въ высыпкѣ журнала**. Гг. иногородные подписчики при высылкѣ денегъ благоволятъ **обозначать на видномъ мѣстѣ копію печатнаго адреса** съ бандероли или **прилагать самый адресъ и непремѣнно указывать**, что деньги высылаются **въ доплату за получаемый уже журналъ**.

При перемѣнѣ адреса слѣдуетъ прилагать **1 рубль и печатный адресъ**.

Содержаніе. ТЕКСТЫ: Литературное наслѣдие Ахматова. (Хоростычевъ, стихотворенія, впервые появляющиеся въ печати). Очеркъ П. В. Быкова.—Подъ чучинъ знаменемъ. Рассказъ А. Харлкова.—Бѣлая рука. Турецкая сказка.—Первая въ Россіи женщина-докторъ всеобщей истории. Очеркъ И. К.—Стихотвореніе И. Гумилевъ.—Заявление.

РИСУНКИ: Передвижная выставка 1918 г. Картины К. Гербатова, В. Кучумова, И. Твероникова, А. Максимова.—Въ флискѣ играть. И. Владимировъ.—

Константинополь (14 рис.).—Первая въ Россіи женщина-докторъ истории О. А. Добашь-Ромдественская. Портрѣт работы художника Г. Верейского.—Мон Сенъ-Мишель (Гора св. Михаила), средневѣковый монастырь на островѣ въ Ламаншѣ около берега Нормандіи. (Къ очерку „Первая въ Россіи женщина-докторъ всеобщей истории“).

Къ этому № прилагается „Полнаго собранія сочиненій М. Горькаго“ книга 21.

Издатель Т-ва А. Ф. МАРКСЪ.

Редакторъ И. М. Желѣзновъ.

Артистическое заведеніе Т-ва А. Ф. МАРКСЪ Петроградъ, Измайловский проспектъ, д. № 29.

Библиотека "Руниверс"



Главная Контора и Редакція: Петроградъ, улица Гоголя, № 22.

Перепечатка иллюстрацій и текста воспрещается. (Законъ 20-го марта 1911 г.).

Квартира № 66.

Разсказъ Г. Яблочкива.

I.

Недавно кончившій академію инженеръ Терентьевъ, предполагаяѣхать въ Америку, сдѣлалъ объявление, что онъ желалъ бы познакомиться съ образованнымъ американцемъ или англичаниномъ. Въ сбѣніи на уроки русскаго языка онъ желалъ практиковаться съ-англійски. Между прочими лістами онъ получилъ также слѣдующую, написанную очень неровнымъ почеркомъ, открытку:

„Милостивый Государь! Быть бы счастливъ, если бы вы оказали мнѣ честь посѣтить меня, тѣмъ болѣе, что разстояніе невелико: мы съ вами обитатели одного и того же дома. Я живу въ квартирѣ № 66. Дома цѣлый день. Итакъ, въ надеждѣ на личное свиданіе остаюсь съ почтеніемъ З. Перфильевъ“.

Приблизительно черезъ недѣлю, выйдя нѣсколько раньше обыкновенного на улицу, Терентьевъ вспомнилъ объ этомъ письмѣ и рѣшилъ разыскать квартиру № 66. Она оказалась во второмъ дворѣ, въ углу. Поднявшись по узкой и грязной лѣстницѣ на пятый этажъ, онъ очутился передъ kleenчатой дверью, къ которой прибита была карточка: „Зиновій Никаноровичъ Перфильевъ“. Ниже карточки былъ кусокъ бумаги съ надписью: „Открывайте дверь. Она незаперта“.

Послѣдовавъ этому приглашенію, Терентьевъ вошелъ въ комнату, представлявшую собою, повидимому, кухню, такъ какъ въ ней имѣлась плита и по полкамъ была разставлена посуда.

Въ комнатѣ не было никого, кроме двухъ кошекъ, сворнувшихся на стульяхъ, и нѣсколькихъ котятъ, кувыркающихся на полу. Широкая дверь, въ видѣ арки, вела въ слѣдующее помѣщеніе, откуда и раздался немедленно вопросъ:

— Кто тамъ?

Терентьевъ назвалъ себя.

— А-а-а! — съ выражениемъ пріятнаго изумленія пропѣль голосъ. — Очень радъ! А я уже думалъ, что вы не приедете. Входите, пожалуйста, сюда, господинъ Терентьевъ, и извините меня, что я лежу. Это, такъ сказать, мое постоянное занятіе.

Вторая комната была довольно велика, бѣдо обставлена и не имѣла другихъ дверей. У противоположной стѣны стояла большая кровать съ приставленнымъ къ изголовью столомъ, и на кровати лежалъ человѣкъ. Онъ лежалъ на спинѣ и былъ покрытъ одѣяломъ, образовывавшимъ большую выпуклость на мѣстѣ его живота. Къ этой выпуклости было пристроено нѣчто въ родѣ люпитра, на которомъ помѣщалась газета.

Когда Терентьевъ подошелъ, лежавшій медленно и, повидимому, съ большимъ трудомъ повернуль голову, сильно скосивъ глаза, а затѣмъ осторожно приподняль положенную поверхъ одѣяла руку. Когда Терентьевъ пожалъ ее, онъ, сморщивъ лицо, крикнулъ: „Ай!“ — и въ тотъ же моментъ лежавшій подъ одѣяломъ котенокъ стрѣлой ринулся съ кровати, опрокинулъ



Неожиданная препрода. Въ горахъ Кавказа.

Выставка польскихъ художниковъ въ Петроградѣ 1918 г.

Ю. Коссакъ (отецъ).

плюнить съ газетой и умчался въ уголъ, волоча за собой длинный шнурокъ.

— Каналъ! Негодяй! — злобно крикнулъ лежащій и, морщасть боли, тянувшись шнурокъ, привязанный, какъ оказалось, къ его правой руки.

Котенокъ отчаянно мяукалъ и упирался. Лежащій, которому движенія причиняли, очевидно, сильную боль, также выкрикивалъ на разные голоса: „Ай! Ай!..“ Это заставило сконфуженного Терентьеву вмѣшаться и сказать:

— Позвольте, я помогу...

Онъ поднялъ юніоръ съ газетой и снова приставилъ его къ выпуклому животу. Залѣзъ подъ кровать, разыскавъ сиротливаго въ самомъ темномъ углу бѣглца и подворилъ его на кровать. Котенокъ былъ шершавый, худой, со вздутымъ, какъ пузырь, животомъ, съ нелѣно торчащими ушами и растрепянной мордой.

— Ахъ, благодарю васъ!.. — съ чувствомъ произнесъ лежащій, прижалъ преступника лѣвымъ локтемъ, принялъ съ наслажденіемъ бить его по мордочкѣ правой рукой, при чемъ избиваемый издавалъ безнадежное мяуканье, а избивавшій, самъ мучась отъ боли, яростно выкрикивалъ:

— Ай! Ай! Ай!..

Нагазавъ, какъ слѣдуетъ, котенка, лежавшій илачевнымъ голосомъ произнесъ:

— Вы не можете себѣ представить, господинъ... господинъ... простите, позабылъ вашу фамилію! — какъ мучить меня это отвратительное животное. Матійшее движеніе причиняетъ мнѣ адскую боль. Прошу васъ, садитесь на стулъ. Такъ мнѣ удобнѣе будеъ васъ видѣть.

Терентьевъ усѣлся на стулъ, стоявшій въ ногахъ кровати, такъ что, дѣйствительно, его собесѣднику можно было глядѣть, не поворачивая головы, и вѣкоторое время они мечта разматривали другъ друга.

Чередь Терентьевымъ лежала мужчина неопредѣленного возраста, большой, грузный и съ широкимъ, скуластымъ, безъ всякой почти растительности, лицомъ, съ которого зорко смотрѣли маленькие, хитрые глазки. Онъ былъ покрытъ старымъ и грязнымъ одѣяломъ и даже, повидимому, не однимъ, а двумя или тремя. Подъ нимъ видна была пожелтѣвшая простыня, и отъ него распространялся застарѣвшій запахъ втираний и мазей.

— Вы и есть господинъ Перфильевъ? — спросилъ, переходя къ цѣли своего визита, Терентьевъ.

— Къ сожалѣнію!.. — отвѣтилъ лежащій. — Хотя чрезвычайно желаю бы перестать имъ быть. Тотъ самый Перфильевъ, который написалъ вамъ письмо.

— Вы хорошо говорите по-англійски?

— Какъ вамъ сказать? — блеснувъ лукавыми глазками, отвѣтилъ лежащій. — Конечно, при моихъ способностяхъ, я говорилъ бы хорошо, если бы согласился учить эти языки въ дѣтствѣ. Но я ненавидѣлъ его отъ всей души и каждый разъ, когда покойная матушка покупала англійский учебникъ, крали его и закапывали въ огородъ. Теперь я очень сожалѣю объ этомъ. Но зато я знаю французскій языкъ, межеваніе и бухгалтерію. Знаю также съ мыловареніемъ и сухой перегонкой дерева. Это вѣсъ не устраиваетъ?

Терентьевъ невольно засмѣялся.

— Вы спросите, конечно, — словоохотливо продолжалъ Перфильевъ, — зачѣмъ же я пригласилъ васъ къ себѣ? Я вамъ это сейчасъ объясню. Уважаемый Николай Петровичъ! Вы видите, что я такое? Несчастный калѣка, лишенный руки, ногъ, шеи, лежащій на постели, какъ гнилая колода, и притомъ, какъ вы видите, лежащій совершенно одинъ. Нужно же мнѣ какъ-нибудь жить? Ну-съ, вотъ я и пишу письма по всѣмъ обѣявленіямъ, когда кто-нибудь ищетъ что-нибудь, хотя бы немногого подходящего для меня. Согласитесь сами, — чѣмъ теряю я? Письмо стоятъ нѣсколько копеекъ, но часто оно приноситъ мнѣ пособіеніе новаго человѣка, а иногда даже настоящее знакомство. И чѣмъ теряютъ тотъ, кто приходитъ ко мнѣ? Онъ здоровый человѣкъ и можетъ сейчасъ же уйти. Я же, во всякомъ случаѣ, даю ему возможность сдѣлать доброе дѣло. Вѣдь это чѣмъ-нибудь да сдѣлать? И наконецъ, со своей стороны, я готовъ на все; дѣлайте со мной, что хотите. Конечно, танцевать я не могу!.. Скажите, правъ я или нѣтъ?

— Вы совершенно правы, господинъ Перфильевъ, — отвѣтилъ заинтересованный Терентьевъ. — И конечно, никто не станетъ васъ осуждать. Но скажите, чѣмъ же вы болѣны?

— Собственно говоря, — устремивъ глаза въ потолокъ, самодовольно отвѣтилъ Перфильевъ, — я могу даже гордиться: у меня чрезвычайно рѣдкая болѣзнь. Медицина называетъ ее Arthritis deformans, что означаетъ: обезобразивающій ревматизмъ. При этой болѣзни суставы сначала воспаляются, а затѣмъ превращаются въ нѣчто, подобное камню, что имъ не мѣшаѣтъ, однако, чрезвычайно сильно болѣть. Другая чѣть: болѣзнь эта медленно, но вѣрно захватываетъ всѣ суставы тѣла, постепенно они твердѣютъ, камѣтѣются: ихъ можно только сломать, но не согнуть. Причины болѣзни неизвѣстны. По-моему, первыи потрясенія и бурная жизнь... Это было всесмъ тѣтъ тому назадъ, уважаемый Николай Петровичъ! — вздохнувъ, продолжалъ онъ. — Сначала у меня заболѣло лѣвое колѣно, потомъ лѣвая ступня, потомъ правое колѣно и правая ступня, — и какъ видите, постепенно дошло до рукъ,

до спиннаго хребта и до шеи. Теперь я не могу ишевельнуть ни одною частью тѣла безъ того, чтобы не заревѣть отъ боли. Къ счастью, процессъ остановился и даже идетъ назадъ: я чувствую, что рукамъ дѣлается лучше. Но ноги — мои бѣдны ноги ужасны! Хотите посмотретьъ? Поднимите одѣяло. Это любопытно.

Терентьевъ приподнялъ одѣяло и увидѣлъ двѣ тонкія, какъ палки, ноги, согнутыя въ колѣньяхъ и лежащія на подложеныхъ грязныхъ подушкахъ. Что это были за жалкія и ужасныя ноги! Колѣни представляли собою два багровыхъ, глянцевитыхъ шара, а искриренные ступни были похожи на поджатые когти хищнаго итицы. Правая нога, лежащая у стѣны, была обвязана какими-то шкурками, обрамленными мякотью внутрь.

— Не правда ли, ужасный видъ? — освѣдомился Перфильевъ и просящимъ тономъ прибавилъ: — Уважаемый Николай Петровичъ! Мнѣ стыдно просить васъ, но что же мнѣ дѣлать? Почекните мнѣ лѣвый бокъ! Вотъ здѣсь лежить кусочекъ сукна.

Добродушный Терентьевъ съ готовностью схватился за суконку, а Перфильевъ закатывалъ глаза, вздыхалъ, кряхталъ и стональ отъ наслажденія, повторяя: „Выше! Правѣ! Еще чуть-чуть выше. Вотъ такъ!..“

— Благодарю васъ! — съ чувствомъ произнесъ онъ. — Это было огромное наслажденіе. Да!.. Въ москѣ положеніи научаешься терпѣть. Это мѣсто часилось у меня уже часа три.

— Но скажите, пожалуйста, господинъ Перфильевъ, — спросилъ изумленный Терентьевъ, — неужели вы живете совершенно одинъ?

— Конечно, нѣтъ! — воскликнулъ онъ. — Я бы черезъ недѣлю умеръ тогда отъ голода или отъ другихъ причинъ. Вѣдь вы же видите, что я беспомощенъ, какъ новорожденный младенецъ! Нѣтъ, уважаемый Николай Петровичъ, я потерпѣлъ вѣроу почти во все, но я убѣждѣнъ, что добрые люди есть. За мной ухаживаетъ одна дѣвушка, моя дальняя родственница. Мои родные давно забыли обо мнѣ, и вотъ уже пять лѣтъ она одна самоотверженно заботится обо мнѣ.

— Она живеть съ вами же? — спросилъ Терентьевъ.

— Да, она живеть здѣсь. Но мы бѣдны. У насъ не хватаетъ средствъ, и она вынуждена служить. Въ этомъ-то и бѣда!.. У меня есть ужасная часть дня, отъ восьми утра и до семи вечера, когда я остаюсь совсѣмъ одинъ. Тутъ-то вотъ и должна помогать моя переписка.

— Ну и что же? Помогаетъ?

— О, да! Въ Петербургѣ есть много нез занятыхъ людей и среди нихъ не мало имѣющихъ доброе сердце. А есть и такие, которыхъ я могу быть прямо полезенъ. Напримеръ, сегодня въ четыре часа ко мнѣ придется молодой французъ, и мы будемъ съ нимъ практиковаться по-руссски. Часамъ къ шести зайдетъ одна бона, которой я написалъ, что больной ребенокъ нуждается въ уходѣ. Этимъ больнымъ ребенкомъ оказался, разумѣется, я, но добрая барышня простила мнѣ ложь и навѣщаѣтъ меня раза два въ недѣлю. Вечеромъ придется химикъ, котораго я выудилъ такимъ же образомъ, а завтра придется ученица драматическихъ курсовъ и будетъ учить со мной свою роль. Есть люди! Конечно, нужно бы больше. Но мы не теряемъ времени и пишемъ. А вотъ и Настасья Семеновна! Я слышу ся шаги. Она приходитъ всегда въ это время, чтобы накормить меня.

II.

Въ комнату вошла женщина лѣтъ двадцати пяти, бѣдно одѣтая, съ обыкновеннымъ рыхлымъ лицомъ, на которомъ затаено блестѣли маленькие, каріе глазки. Она положила въ кухнѣ принесенные свѣртки, молча поздоровалась съ Терентьевымъ и принялась хлопотать: зажгла машинку, поставила на огонь кастрюлю и застучала посудой, что немедленно привело въ сильнѣйшее волненіе всѣхъ кошечъ и котятъ.

— Письма опустила? — нараспѣвъ спросилъ Перфильевъ, склонивъ по направлению къ ней глаза.

— Да, да... — коротко отвѣтила она.

— Шкурки принесла?

— Не готовы еще. Будутъ только завтра вечеромъ.

— Пафнютія нѣтъ?

— Не видала. У дверей его не было.

— Посмотри еще. Онъ, навѣрное, уже ждѣтъ.

Женщина нетерпѣливо подошла къ двери, открыла ее и начала звать: „Кс!.. Кс!.. Кс!..“ Откуда-то издалека послышалось радостное мяуканье, топотъ четырехъ лапъ, и въ комнату галопомъ влетѣлъ громадный котъ, совершенно черный, безъ малѣйшей отмѣтины, со страшными зелеными глазами.

Задравъ кверху хвостъ, онъ съ мурлыканьемъ потерся о платье женщины, за что получилъ отъ нея злобный пинокъ, продѣлать то же самое съ ножками кровати и сапогами Терентьевы, прошелся, выгнувшись дугой, вдоль стѣны, затѣмъ хлонулся на полъ около кровати, вытянувшись и улегся на боку, всей своей позой выражая полное наслажденіе жизнью.

— Пафнютія!.. Пафнютія!.. — нѣжно позвалъ его Перфильевъ, и котъ, поднявъ голову, вѣжливо отвѣтилъ ему: „Курль! Курль!..“ послѣ чего съ большимъ видомъ довольства перевалился на другой бокъ.

— Какъ поживаешь, Пафнютія? — тоненьkimъ голосомъ говорилъ Перфильевъ, страшно сканивая глаза, и странный котъ, снова поблагодаривъ его на своемъ языке, поднялся на лапы,

дѣловито направился къ стоящему у стѣны вѣнскому стулу, изогнулся въ видѣ вопросительного знака и, зацѣпивъ спиной за нижній обручъ, съ шумомъ поволокъ стуль къ себѣ. Продѣлавъ это упражненіе нѣсколько разъ, онъ вернулся на ста-роѣ мѣсто и съ довольнымъ видомъ принялъ ка-татся на спинѣ. Терентьевъ съ невольнымъ инте-ресомъ смотрѣлъ на него.

— Да! — съ гордостью говорилъ Перфильевъ, — Пафнугій — замѣчательный котъ. Настасья Семе-новна познакомилась съ нимъ на другомъ концѣ Петербурга, онъ пришелъ за ней сюда, поднялся до нашей квартиры, принялъ предложенное уго-щеніе и остался ночевать. Но на слѣдующее же утро ушелъ, устроился на чердакѣ и живетъ само-стоятельно, приходя къ намъ только столовариться два раза въ день. Онъ утонченно вѣжливъ, воспитанъ, отвѣчаетъ на всѣ вопросы, любить атлетиче-скія упражненія и пользуется колоссальнымъ успѣхомъ у кошекъ, вѣброятно, за то, что относится къ нимъ чрезвычайно внимательно и деликатно. Такъ, онъ замѣтилъ, напримѣръ, что мы съ Настасьей Семеновной чувствуемъ нѣкоторую слабость къ этимъ животнымъ, и приводить къ намъ лучшихъ изъ своихъ женъ. Вы вѣдь замѣтили двухъ кошекъ, а также котятъ? Это все его семья. Однако изви-ните, уважаемый Николай Петровичъ. Я попрошу васъ на минуту выйти. Мы съ Настасьей Семено-вой зайдемъ моимъ туалетомъ.

Поджавъ тубы, Настасья Семеновна стояла уже съ затаеннымъ видомъ около постели. Дверная арка задернулась завѣсой, и, сидя въ кухнѣ, Терентьевъ слышалъ вдохъ, тяжелые вздохи, какъ при усилияхъ поднять что-то грузное, и раздраженные вскрики: — Ай! А-я-я-я..!.. Боже мой, что это за руки!..

Черезъ десять минутъ Настасья Семеновна, выйдя изъ комнаты, коротко сказала: „Теперь можно опять туда..“ и снова, при громкомъ мяуканіи кошекъ и котятъ, принялась жарить и варить. А еще черезъ четверть часа Терентьевъ присутствовалъ при завтракѣ своего новаго знакомаго.

Настасья Семеновна принесла сначала большую сковородку съ яичницей, завѣсила подбородокъ и грудь Перфильева салфеткой и ложку за ложкой принялась вкладывать въ него пищу. Перфильевъ широко раскрывалъ ротъ, жадно жевалъ и поспѣшно глоталъ, покрываясь крупными каплями пота. Онъ забылъ все окружающее, все его существо выразило необычайное, ни съ чѣмъ не сравнимое на-слажденіе, и Терентьеву казалось, что онъ даже видитъ, какъ жирные куски, скользнувъ черезъ горло, пласти за пластомъ ложатся въ его желудкѣ, отчего, колыхаясь при каждомъ глоткѣ, постепенно вздувался его выпуклый животъ.

За яичницей послѣдовали бутерброды съ сыромъ и ветчиной, и въ заключеніе Настасья Семеновна приставила къ губамъ Перфильева чайникъ съ какао, содержимое котораго такъ же быстро перелилось въ обширный желудокъ больного.

— Охъ! — замирающе-томно вздохнулъ онъ затѣмъ, послѣ того, какъ быль вытереть потъ, облившій все его лицо. — Вы видите, уважаемый Николай Петровичъ, что каждое удовлетвореніе потребностей сопряжено въ моемъ положеніи со страданіями...

Эти страданія вызывали въ немъ, очевидно, наклонность ко сну, потому что, багровый и сѣтый, какъ удавъ, онъ началъ все чаще и чаще смѣжать совсѣмъ глаза...

— До свиданья, уважаемый Николай Петровичъ!.. — еле слышно простонала онъ, когда Терентьевъ поднялся, чтобы уходить. — Наѣюсь, мы видимъ васъ не въ послѣдній разъ. Не правда ли?..

Настасья Семеновна, окруженнная мяукающей кошачьей стаей, молча дѣдала въ кухнѣ остатки пира своего больного.

III.

Дѣйствительно, пріятно дѣлать добро. Дней черезъ шесть послѣ первого визита Терентьевъ перешель черезъ дворъ, поднялся на пятый этажъ и открылъ дверь квартиры № 66, а затѣмъ началъ заходить туда регулярно разъ, а не то такъ два раза въ недѣлю. Ему нравился неунывающій калѣка Перфильевъ, умный котъ Пафнугій и даже затаившая въ себѣ какія-то мысли Настасья Семеновна.

Въ первые же дни Терентьевъ встрѣтилъ тамъ молодого фран-цуза и химика, о которыхъ говорилъ Перфильевъ, затѣмъ ученицу драматическихъ курсовъ, дѣвицу поразительного безобразія, но очень эксцентричную и любящую мужское общество, атлетическихъ формъ, но чрезвычайно застѣнчивую массажистку, двухъ студентовъ, какую-то даму, хлопочущую о пенсіи, колос-сальныхъ размѣровъ сибирского купца и много другихъ.

Квартира № 66 почти никогда не оставалась безъ гостей, и постель Перфильева представляла собою центръ, вокругъ котораго собирались самые разнообразные люди. Со всѣми онъ вѣль-длиные разговоры, обо всѣхъ зналъ самыя интимныя подроб-



Этюдъ.

В. Косакъ (сынъ).

Выставка польскихъ художниковъ въ Петроградѣ 1918 г.

ности и всѣмъ подавать самые хитроумные совѣты, за результатами которыхъ внимательно слѣдилъ. Всѣхъ онъ встрѣчалъ радостными восклицаніями: „А-а-а!.. Господинъ такой-то!..“ или: „Госпожа такая-то... Садитесь, садитесь! Ну, что новаго?“ Внимательно выслушивалъ, переспрашивалъ, съ глубокомысленнымъ видомъ устремлялъ глаза въ потолокъ и начиналъ со вкусомъ говорить.

Однажды, когда они съ Терентьевымъ оказались одни, онъ съ большимъ чувствомъ и даже со слезами рассказалъ ему свою біографію, изъ которой выяснилось, что за свою жизнь онъ успѣлъ поочередно быть землемѣромъ, судебнымъ приставомъ, смотрителемъ тюрмы, управляющимъ имѣніемъ, бухгалтеромъ на винокуренномъ заводѣ, ходатаемъ по дѣламъ. Всегда имѣлъ огромное количество враговъ, былъ дважды женатъ, былъ за свое благородство дважды отданъ подъ судъ, долго страдалъ, снова работалъ и вѣль новую борьбу, пока эту кипучую жизнь не прервала въ самомъ разгарѣ коварно подкравшаяся жестокая болѣзнь.

Терентьевъ узналъ затѣмъ и причину его бодрого настроения. Дѣло въ томъ, что болѣзнь уже не пугала его. Презирая официальную медицину, онъ ревностно изучалъ старые лѣчебники и открылъ вѣрное средство излѣчить свой ревматизмъ. Въ чёмъ состояло это средство, онъ, разумѣется скрывалъ, и это было понятно, потому что это средство должно было не только вылечить его, но и доставить ему славу и деньги. Но оно существовало, и лѣченіе имѣло составляло стержень, вокругъ котораго вращалась вся жизнь квартиры № 66.

Терентьевъ зналъ, что Перфильевъ тѣатрально натирается вонючими мазями, отъ которыхъ приходили въ отчаяніе лежащіе съ нимъ котята. Ему не разъ приходилось присутствовать при томъ, какъ его массировали то атлетическая дѣвица, то неизвѣстные массажисты и массажистки, при чѣмъ онъ выль, визжалъ и хрюкалъ, какъ исполненій кабанъ, задыхающимся голосомъ повторяя: „Продолжайте! Продолжайте! Ничего..“ Нѣсколько разъ добродушному Терентьеву, вмѣстѣ съ какимъ-нибудь другимъ слу-чившимся гостемъ, при неистовомъ ревѣ, отъ кого-аго дрожали стѣны, приходилось сажать Перфильева въ горячую, какъ кипя-токъ, банну, и онъ снова видѣлъ его жалкія, скрюченныя, со

вздувшимися суставами руки и ноги и огромный животъ, — но все это было не то.

Главное дѣжалось тайно, невидимо ни для кого, когда квартира № 66 таинственно замыкалась отъ всего міра. Это было несомнѣнно, потому что нѣсколько разъ Терентьеву приходилось взбираться на всѣ пять этажей, убѣждаться, дернувъ дверь, въ томъ, что она заперта изнутри, и читать затѣмъ незамѣченную раньше бумажку съ надписью: „Извините. Войти нельзя“. И достаточно было видѣть, съ какимъ торжествующе-загадочнымъ лицомъ говорилъ ему Перфильевъ: „Погодите, уважаемый Николай Петрович, погодите! Скоро мы прогуляемся съ вами подъ ручку по Невскому!“, чтобы исчезла всякая сомнѣнія въ томъ, что онъ, дѣйствительно, былъ на вѣрномъ пути.

Что особенно поражало Терентьеву въ квартире № 66, такъ это необыкновенное обилие кошекъ. Онъ лежали на постели больного Перфильева, спали на стульяхъ и креслахъ, подвертывались подъ ноги, когда онъ направлялся во вторую комнату. Нѣсколько разъ при немъ Настасья Семеновна, возвращаясь со службы, бросала на полъ новый экземпляръ, довольно неласково заявляя при этомъ: „Ну, вотъ тебѣ еще одна дрянь!“, на что Перфильевъ сейчасъ же съ живѣйшимъ интересомъ кричалъ: „Дай сюда! Дай сюда!“ — и наконецъ однажды онъ самъ былъ свидѣтелемъ того, какъ Пафнютій привелъ свою подругу, убѣдительно отрекомендовалъ ее на свою языкѣ и, когда ему было предложено угощеніе, деликатно отступилъ въ сторону, предоставивъ его новой гостьѣ.

Терентьевъ обратилъ также вниманіе и на то обстоятельство, что кошки смыкались съ необыкновенной быстротой, точно квартира № 66 являлась для нихъ станціей, где онъ отдыхали, приходили себѣ въ порядокъ и слѣдовали затѣмъ по своимъ дѣламъ дальше. Неизмѣнно являлся только одинъ черный котъ Пафнютій, стѣлавшійся, повидимому, вполнѣ членомъ семьи. И дѣйствительно, это былъ такой пріятный и благородный котъ, что его нельзѧ было не любить. Онъ положительно лѣгнилъ сердце Терентьеву. Проходя по двору дома, онъ часто встрѣчалъ его сидящимъ на карнизѣ, или на крыльцахъ, или около сорного ящика. Когда онъ звалъ его: „Пафнютій! Пафнютій!“, онъ вѣжливо отвѣчалъ, соскачивъ со своего мѣста и подходилъ. Но онъ избралъ излишнюю короткости. Потерпѣвъ съ мурлыканьемъ о ноги Терентьеву, онъ бросалъ на него взглядъ, какъ бы говоря: „Не будемъ нѣжничать. Къ чѣму?“ и, поднявъ палкой хвостъ, уходилъ по своимъ дѣламъ.

IV.

Такъ прошло мѣсяца два. Занятый другими дѣлами, Терентьевъ какъ-то болѣе двухъ недѣль не былъ въ квартирѣ № 66. Очевидно, его отсутствіе было замѣчено, потому что онъ получилъ однажды записку, где было сказано: „Уважаемый Николай Петрович! Что вѣсъ не видно? Скучаемъ безъ вѣса, особенно Вали (такъ звали безобразную ученицу драматическихъ курсовъ, съ которой почему-то старалася сблизить его Перфильевъ). Ждемъ васъ съ нетерпѣніемъ.“

Терентьевъ отправился въ квартиру № 66 на слѣдующій день передъ обѣдомъ, часа въ два. Поднявшись на пятый этажъ, онъ привычнымъ жестомъ открылъ дверь, шагнулъ черезъ порогъ и остановился. Изъ второй комнаты несся сдавленный не то визъ, не то ревъ. Терентьевъ кинулся дальше, распахнувъ опущенную портьеру и осталобенѣль.

Шипя отъ боли, но испытывая, повидимому, громадное наслажденіе, ревматикъ Перфильевъ держался своей рукой за тонкую бечевку, которую медленно и съ несомнѣннымъ удовольствиемъ на злому лицѣ тянула сидящая на стулѣ у его изголовья Настасья Семеновна. Бечевка была перекинута черезъ крюкъ на потолкѣ, и на концѣ ея, растопыривъ когтистые лапы, выжатиѣ желтые глаза и распахнувъ зубастую пасть, извиваясь, какъ червь, поднимался со сдавленнымъ ревомъ вверхъ черный котъ Пафнютій.

Почтенная чета была такъ поглощена своимъ дѣломъ, что не замѣтила ни стука дверей ни появленія Терентьеву. Только его негодующій крикъ заставилъ ихъ оглянуться и выпустить изъ рукъ бечевку, отчего котъ Пафнютій грехнулся на полъ. Переѣзть петлю на его шеѣ было для Терентьевыя дѣломъ одной секунды, посль чего Пафнютій съ невѣрою быстрой вылетѣлъ черезъ оставленную открытой дверь на лѣстницу, а Терентьевъ остановился предъ Перфильевымъ и всѣмъ своимъ существомъ выразилъ возмущенный вопросъ.

Настасья Семеновна, съ грохотомъ захлопнувъ дверь, сердито стучала въ первой комнатѣ посудой, а больной, вращая смущенными глазами, смотрѣлъ въ потолокъ. Было нѣсколько мгновеній тяжелаго молчанья.

Затѣмъ, испустивъ огорченный вздохъ, Перфильевъ патетически произнесъ:

— Да!.. Это очень непріятно, уважаемый Николай Петрович! Я чувствую, что вы возмущены.

Терентьевъ молчалъ.

— Конечно, было бы лучше, если бы этого не зналъ никто, — продолжалъ Перфильевъ, еще сильнѣе скосивъ на него глаза. — Но разъ вы случайно попали на эту непріятную сцену, я вынужденъ объяснять вамъ все...

Терентьевъ молчалъ, все еще не будучи въ состояніи прійти въ себѣ. Бѣдный Пафнютій...



Портретъ жены художника.

Ю. Рудницкій.

Выставка польскихъ художниковъ въ Петроградѣ 1918 г.

— Не думайте, что я такъ звѣрски жестокъ, чтобы наслаждаться мученіями животныхъ. И если я рѣшился пожертвовать этимъ милымъ котомъ, котораго люблю не меньше, чѣмъ вы...

— Зачѣмъ вамъ надо было вѣшать Пафнютія? — вырвалось наконецъ у Терентьевы.

— Уважаемый Николай Петрович! Я именно и хочу вамъ объяснить! У Пафнютія необыкновенно хороший мѣхъ.

— Ну, такъ что же?

— Я вамъ скажу все. Въ этомъ состоить мой секретъ лѣченья.

— Въ томъ, что вы вѣшаєте кошечекъ?

— Нѣтъ. Я лѣчусь кошачьимъ мѣхомъ... Уважаемый Николай Петрович! Это и есть мое открытие, о которомъ я вамъ говорилъ. Ничто не дѣйствуетъ на больные суставы такъ цѣлебно, какъ электричество кошачьаго мѣха. Я уже достигъ прекрасныхъ результатовъ, а у Пафнютія необыкновенный, несравненный мѣхъ.

Терентьевъ молчалъ.

— Вы видите, уважаемый Николай Петровичъ, что я имѣль основаніе поступать такъ, какъ поступалъ. Вы спросите: отчего я не покупаю готовыхъ шкурокъ? Увы! Во-первыхъ, онѣ должны быть свѣжими, а во-вторыхъ, я не достаточно богатъ. Я вынужденъ быть устроить кошачий заводъ и постепенно добывать мѣхъ.

Терентьевъ молчалъ. Перфильевъ былъ правъ! Но въ его воображеніи вставала цѣлая картина. Вотъ почему такъ безслѣдно исчезали кошки! Ему стало противно.

— Да... — сокрушенно прибавилъ Перфильевъ, точно уловивъ его мысли. — Это непріятно и тяжело. Но что дѣлать? Я хочу быть здоровымъ, уважаемый Николай Петровичъ...

Онъ былъ правъ. Но затѣмъ у него было такое звѣрски-насаждющееся лицо, когда онъ смотрѣлъ, какъ вертѣлся въ петлѣ Пафнютія! Этого Терентьевъ не могъ простить.

— Надѣюсь, мы видимъ васъ не въ послѣдний разъ?.. — жалобно сказалъ Перфильевъ, протягивая скрюченную руку, когда Терентьевъ собрался уходить. Этого Терентьевъ самъ не зналъ. Онъ зналъ только одно: что Пафнютій потерялъ теперь для людей навсегда. Кошки не прощаютъ такихъ вещей.

Дѣйствительно, Пафнютій окончательно порвалъ всѣ сношенія даже съ нимъ.

Нѣсколько разъ встрѣчая его на дворѣ, Терентьевъ самымъ запекающимъ голосомъ звалъ его: „Пафнютій! Пафнютій!..“, но все было напрасно. Не двигаясь, Пафнютій холодно и непроницаемо смотрѣлъ на него, и въ глубинѣ его желтыхъ глазъ можно было читать затаенную мысль: „Шалишь, братъ! Не надуешь больше...“

V.

Терентьевъ уѣхалъ, не повидавъ больше Перфильева, и вернулся въ Петербургъ только мѣсяцемъ черезъ шесть. За время отсутствія онъ позабылъ о квартирѣ № 66 такъ основательно, какъ будто не знала ея никогда. Это бываетъ. Его голова все время была поглощена совсѣмъ другимъ.

Только очутившись снова въ томъ самомъ домѣ и даже въ той самой комнатѣ, где онъ жилъ полгода тому назадъ, Терентьевъ вспомнилъ все: и ревматика Перфильева, и Настасью Семеновну, и черного кота Пафниту, и еще и еще...

Прежде всего ему пришло встрѣтиться съ Пафнитемъ; спускаясь съ крыльца, Терентьевъ увидѣлъ однажды, какъ онъ, большой, толстый и степенный,—очевидно, ему недурно жилось,—неторопливо шелъ, задравъ кверху хвостъ и пробираясь отъ подвалъ къ помойной ямѣ. Вѣроятно, онъ предполагалъ тамъ немножко подзакусить.

Изъ этой встрѣчи не вышло ничего. Пафнитъ только обернулся, исcosa посмотрѣть и невозмутимо прослѣдовалъ дальше, не обращая вниманія на нѣжный зовъ. Терентьевъ не ошибся: Пафнитъ навсегда потерялъ вѣру въ людей.

Однажды вечеромъ Терентьевъ столкнулся въ воротахъ съ Настасіей Семеновной, бѣжавшей мимо него. Онъ окликнулъ ее, но она торопливо шмыгнула дальше, не чувствуя, повидимому, никакой охоты его узнавать. Перфильева, конечно, онъ встрѣтить не могъ. Каждый день, просыпаясь утромъ, онъ говорилъ себѣ:

— Надо, надо наконецъ къ нему сходить...

Но онъ вставалъ, его захватывали въ свое колесо разнообразныя дѣла, и онъ откладывалъ визитъ до слѣдующаго дня. И только черезъ нѣсколько недѣль, уже имѣя въ карманѣ желѣзнодорожный билетъ, онъ перешелъ наконецъ дворъ, поднялся на пятый этажъ, остановился у двери квартиры № 66, прочиталъ неизмѣнную надпись: «Открывайте дверь. Она незаперта» и вошелъ.

— Кто тамъ? — послышался жалобный голосъ, который онъ едва узналъ.

Перфильевъ лежалъ въ прежнемъ положеніи, на прежней кровати. Его потная голова, вокругъ которой гудѣлъ черный рой мухъ, глубоко ушла въ желтую отъ грязи подушку, глаза смотрѣли въ потолокъ, и руки были сложены поверхъ одѣяла, на груди.

Терентьевъ поразилъ его страдальческий видъ. Перфильевъ даже не сдѣлалъ попытки повернуть къ нему лицо, а только скосилъ, насколько могъ, глаза и съ усилиемъ приподнялъ правую руку. Дрожа и прыгая, она толчками начала приближаться къ руку Терентьева, но онъ перехватилъ ее по дорогѣ и, осторожно пожавъ, бережно положилъ на старое мѣсто. Онъ сѣлъ на стулъ, поставилъ его такъ, чтобы больному было удобнѣе видѣть его, и нѣсколько секундъ они молча глядѣли другъ на друга. И неожиданно желтое калмыцкое лицо Перфильева жалко сморщилось, дернулось и задрожало. Перфильевъ всхлипнулъ, и изъ его глазъ свѣтлыми струйками побѣжали слезы.

Это было тяжело. Это было даже страшно: передъ Терентьевымъ плакала сама безнадежность.

— Вотъ... — проговорилъ Перфильевъ, всхлипывая и давясь, — уважаемый Николай Петровичъ!.. Въ какомъ положеніи вы находите меня...

— Вамъ хуже? — спрашивалъ Терентьевъ. — Временное ухудшеніе?

— Нѣтъ! — отвѣтилъ онъ, чуть-чуть пріоткрывая губы. — Не временно... Большѣнѣ дѣлаетъ свое дѣло... Безъ остановки... Потрогай вотъ тутъ, около моего уха...

Терентьевъ осторожно прикоснулся къ тому мѣstu, которое онъ указалъ. Тамъ чувствовалась подъ кожей не то опухоль, не то нарость.

— Вы видите? — говорилъ онъ. — Уже пораженъ челюстной суставъ. Скорѣ я не смогу ни жевать ни говорить...

Терентьевъ молчалъ. Перфильевъ тоже молчалъ, глядя на него.

— За что?.. — проговорилъ онъ потомъ, и изъ глазъ его опять потекли слезы.

— Будьте такъ любезны!.. Вытритъ мнѣ лицо, — попросилъ онъ, наплакавшись, и, помолчавъ, продолжалъ:

— Да-да... Постепенно меня покинули всѣ... И скоро покинетъ также Настасья Семеновна...

— Какъ! — съ испугомъ воскликнулъ Терентьевъ, — Настасья Семеновна?

— Да!.. Я вамъ все расскажу, уважаемый Николай Петровичъ!.. снова всхлипнувъ, продолжалъ Перфильевъ. — Я такъ давно ни съ кѣмъ не говорилъ. Кругомъ меня все враги. Конечно, я не стану скрывать: у меня есть крошечный капиталъ. Я все время былъ ослѣплѣнъ. Настасья Семеновна ухаживала не за мнѣ, а за нимъ. Будьте такъ любезны, — вытритъ мнѣ лицо... И вотъ она требуетъ теперь, чтобы я отдалъ всѣ деньги ей. Иначе она не будетъ ухаживать за мнѣ... Конечно, она не сдѣлала бы этого сама, но она сошлась съ однимъ негодяемъ, который, разумѣется, любить не ее, а тѣ деньги, которыхъ она можетъ получить отъ меня. Онъ убѣждаетъ ее купить одну колбасную лавку, а меня они возьмутъ къ себѣ. Но посудите сами, уважаемый Николай Петровичъ, могу ли я согласиться на это? Я, безломощный, без-

защитный калѣка. Они могутъ сдѣлать со мною все. Могутъ убить, отравить, уморить голодомъ — все, что угодно. Этотъ человѣкъ способенъ на все...

— А вы знаете его?

— О, да! Онъ приходитъ сюда каждый день. Онъ обѣдаетъ здѣсь. Онъ и сейчасъ придетъ. И вы не можете себѣ представить, уважаемый Николай Петровичъ, какія униженія мнѣ приходится переносить!.. Мое упорство выводить ихъ изъ себя, и эта женщина потеряла всякий стыдъ. Очень часто ея любовникъ остается здѣсь почевать... Но, кажется, они идутъ. Будьте такъ любезны, — вытритъ мнѣ хорошенько лицо и глаза...

Они, дѣйствительно, шли. Растворилась дверь, и Терентьевъ увидѣлъ Настасію Семеновну, а за ней высокаго, костиистаго, понурого мужчину, взглянувшаго на которого онъ подумалъ: „О, да!.. Эта, дѣйствительно, способенъ на все“,—столько низости и угрюмого звѣрства удалось природѣ отпечатлѣть въ его маленькихъ глазахъ, провалившемся рѣтъ и далеко выпятившейся впередъ нижней челюсти. Настасія Семеновна едва поздоровалась съ Терентьевымъ, а мужчина не поздоровался вовсе. Уѣхавши въ первой комнатѣ у стола, онъ принялъ, глядя исподлобья, барабанить пальцами по столу. Было видно, что они не ожидали застать здѣсь никого.

Ожесточенно гремя посудой, Настасія Семеновна что-то ворчала себѣ подъ носъ, Перфильевъ лежалъ, растерянно бѣгая глазами, и Терентьевъ поднялся, чтобы уходить. Но, устремивъ на него умоляющій взглядъ, больной жалобно произнесъ:

— Уважаемый Николай Петрович! Я вѣсъ очень прошу. Останьтесь еще немного...

Въ ту же минуту что-то грохотомъ полѣтѣло въ софѣнную комнатѣ на полъ, а еще черезъ минуту Настасія Семеновна, съ подвязаннымъ фартукомъ, съ пылающимъ лицомъ, появилась въ дверяхъ.

— Ну, что! — закричала она. — Ты увиливаешь? Не хочешь говорить? Такъ не думай — я ничего не боюсь! Я и при постороннихъ буду говорить.

Перфильевъ жалобно глядѣлъ на Терентьева.

— Чего ты молчишь? — кричала Настасія Семеновна. — Думаешь, и меня заставили молчать? Довольно! Намолчалась ужъ. Шесть лѣтъ молчала, теперь хочу говорить. Отвѣтай, согласенъ или нетъ? Больше мнѣ никогда ждать.

— Настасія Семеновна!.. — простональ наконецъ Перфильевъ. — Но почему же непремѣнно сейчасъ?

— Не хочу я больше ждать! — взвизгнула она. — Довольно! Наждалась. Не мы одни. Тамъ и другіе покупатели есть...



Садовница.

Алиса Берсонъ.
Выставка польскихъ художниковъ въ Петроградѣ 1918 г.



Стрѣлокъ. Скульптурный эскизъ.
М. Блохъ.
Выставка еврейскихъ художниковъ въ Петроградѣ 1918 г.

Понурый мужчина поднялся, подошелъ къ двери и глухимъ голосомъ, сильно двигая нижней челюстью, началъ бунтать:

— Зиновій Никанорыч! Соглашайтесь! Дѣло выгодное—другого такого не найти. А мы съ Настасьей Семеновной будемъ вѣсъ беречь, какъ родного отца.

Бѣдный Перфильевъ растерянно бѣгалъ глазами, потомъ умоляюще проговорилъ:

— Настасья Семеновна!.. Ирошу вѣсъ, дайте мнѣ подумать. Черезъ недѣлю я вамъ скажу...

— Никакихъ недѣль не хочу!—топнувъ ногой, закричала она.— Даже дни не дамъ! Вотъ тебѣ сказъ: или соглашайся сейчасъ, или сейчасъ же уйду. Пропадай пропадомъ! Сгнивай на своей кровати. Чтобы я еще стала ждать! Шесть лѣтъ жила, какъ за ребенкомъ ходила, съ ложки кормила, всякую гадость переносила, издѣвки терпѣла, и ждать еще! Не хочу больше ждать: сейчасъ же уйду. Тошнитъ меня давно. Самъ только жралъ, спать да кошечкъ давилъ, а я, какъ каторжная, работала. Да мало того! Больной, больной, въ грбѣ смотрить, а у самого всякихъ гадости на умѣ. Довольно! Противно! Лучше сейчасъ же уйду!..

Терентьевъ услышалъ странный звукъ. Бѣдный Перфильевъ, всхлипывая и давясь, безнадежно рыдалъ подъ эти безжалостныя слова. Съ возмущенiemъ Терентьевъ проговорилъ:

— Настасья Семеновна! Какъ вамъ не стыдно! Вѣдь передъ вами больной, несчастный человѣкъ. Пожалѣйте его...

— Что-о!..—закричала она, наступая на него.—А ты кто такой? Чего ты здѣсь сидишь? Чего тебѣ тутъ надо? Это моя квартира! Я за нее плачу. Вон! Вон! Сейчасъ вон! Чтобъ духу твоего здѣсь не было. Семенъ, гони его вонъ!

— Уважаемый Николай Петрович!—кричалъ Перфильевъ.—Лучше уходите! Оставьте меня. Я боюсь, что они могутъ васъ оскорбить.

Нижняя челюсть и жилистые кулаки гонуртаго Семена приняли

явно угрожающій видъ, и Терентьевъ предпочелъ уйти. И пока онъ отступалъ, забирая свою шляпу, пальто и палку, разъяренная мегера все время, топая ногами, орала на него: „Вонъ! Вонъ!“, а когда онъ уже спускался съ лѣстницы, вдогонку ему летѣла далеко непривѣтливая фраза:

— И чтобы духу твоего здѣсь больше не было, дрянь!..

VI.

Несчастный Перфильевъ растерзалъ сердце Терентьева. На слѣдующій же день ему пришлось уѣхать изъ Петербурга, но теперь онъ его не забылъ. Наоборотъ, онъ все время стоялъ у него въ памяти и иногда прямо не давалъ жить. Терентьевъ хотѣлъ даже ему написать. Но подумалъ: о чёмъ? О томъ, что его несчастіе огромно, безсмысленно, не нужно и т. д.? Но все это Перфильевъ, наивѣрное, самъ продумалъ гораздо лучше и глубже, лежа шесть лѣтъ въ своей постели, въ особенности теперь, когда онъ земному странствію подходилъ, повидимому, конецъ. Онъ ему не написалъ.

Но, вернувшись черезъ три мѣсяца въ Петербургъ, онъ на слѣдующій же день отправился въ квартиру № 66.

Карточка Перфильева висѣла на старомъ мѣстѣ. Но не было уже бумаги съ надписью: „Открывайте дверь. Она не заперта“. Поэтому Терентьевъ позвонилъ. Ему открыла незнакомая пожилая женщина, немедленно вернувшаяся къ оставленному ею чулку, и еще съ порога Терентьевъ услышалъ что-то монотонно читающій, басистый и гулкій голосъ. Когда онъ вошелъ во вторую комнату, со стула поднялся высокий человѣкъ въ засаленномъ, наглухо застегнутомъ сюртукѣ, съ испитымъ, елейнымъ лицомъ, кашлянулъ въ руку и, сложивъ на засунутомъ пальцѣ Евангеліе, отступилъ на шагъ въ сторону.

Перфильевъ лежалъ въ прежней позѣ, сложивъ на груди узловатыя, вздувшіяся кисти рукъ. Его ушедшая въ подушку голова была сильно откинута назадъ, и изъ его полуоткрытаго рта торчали большия кусочки пробки, что давало ему неѣльое сходство съ огромными младенцемъ, сосущими рожки.

Не надо было никакихъ словъ. Было ясно, что эта пробка не давала возможности челюстямъ окостенѣть при стиснутыхъ зубахъ.

— Здѣствуйте! — невнятно произнесъ Перфильевъ, слегка шевельнувшись въ видѣ привѣтствія скрюченными пальцами и устремивъ на Терентьева страшные, напряженные глаза—единственное, что жило еще на его неподвижномъ лицѣ. Потомъ, помолчавъ, прибавилъ:

— Ско-о конецъ.

Терентьевъ осторожно погладилъ его по рукѣ.

— А Настасья Семеновна прогадала!—произнесъ онъ черезъ нѣсколько минутъ, и въ его глазахъ мелькнуло выраженіе торжества.

— А что съ ней?—спросилъ Терентьевъ, но Перфильевъ не отвѣтилъ ничего и съ сосредоточеннымъ видомъ поднялъ глаза къ потолку.

— Имъ причиняетъ боль, если они много говорятъ,—осторожнымъ басомъ пояснилъ человѣкъ въ сюртукѣ.— Поэтому они теперь больше молчатъ.

— А что касается до этой женщины,—продолжалъ онъ, помолчавъ,—то, разумѣется, Господь Богъ быстро наказалъ ее. Ея любовникъ уже черезъ мѣсяцъ оставилъ ее, и она въ самомъ жалкомъ состояніи приходила сюда, горько рыданія и умоляя принять ее обратно. Но Зиновій Никанорычъ слишкомъ много отъ нея перестрадалъ и не могъ ей болѣе добрѣть.

— А какъ же вы познакомились съ Зиновіемъ Никанорычемъ?— спросилъ Терентьевъ.

Человѣкъ въ сюртукѣ, закрывъ рукой ротъ, громко кашлянулъ: „Эх-ммы!..“ и отвѣтилъ:

— Узнавъ отъ дворника о печальному положеніи болящаго, безжалостно покинутаго безсердечной женщиной,—а мы съ сестрой квартируемъ здѣсь же, въ этомъ домѣ,—я посѣтилъ его во исполненіе заповѣди Христа, оказалъ ему необходимыя услуги и прочиталъ исторію многострадального Іова. Господь смигчилъ сердце грѣшника, направилъ его на путь покаянія и внушилъ ему желаніе слушать святое слово. Мы съ сестрой поселились здѣсь, ухаживаемъ за болящимъ, облегчаемъ его страданія и подготовляемъ къ безмѣтожному концу.

— Я... имъ оставилъ все...—неожиданно пояснилъ Перфильевъ, на мгновеніе опустивъ глаза на Терентьева, затѣмъ снова молча устремилъ ихъ въ потолокъ.

— Эх-ммы!..—гулко кашлянулъ человѣкъ въ сюртукѣ и смиренно возвѣлъ глаза къ небу.

— До свиданья!—сказалъ Терентьевъ Перфильеву, посидѣвъ еще съ четверть часа. Но Перфильевъ не отвѣтилъничего. Онъ лежалъ, глядя въ потолокъ, съ пробкой, торчащей изо рта, и было неизвѣстно, дремалъ ли онъ или былъ поглощенъ своими мыслями. Терентьевъ осторожно погладилъ его по рукѣ и ушелъ.



ГОСТЬ.

Разсказъ С. Свириденко.

Никогда еще не приходилось Вася Трофимову, молоденькому студенту-технологу второго курса, встрѣтить Свѣтлый праздникъ такъ невесело, такъ несогласно со своими надеждами и мечтами, какъ въ этотъ годъ. Въ посту онъ заболѣлъ инфлюэнзой. Болѣнь затянулась; и вмѣсто того, чтобы на Страстной уѣхать изъ Петербурга и попасть къ празднику въ свой милый родной приволжский городъ, онъ уже больше двухъ недѣль лежалъ въ постели, возсыпь съ „непрѣятными осложненіями“, какъ выражался докторъ, не позволявшій ему вставать... Вася терялъ терпѣніе, бранился, посыпалъ къ чорту и осложненія и своего доктора; но такъ какъ чувствовалъ онъ себя дѣйствительно очень нехорошо и къ тому же, подобно многимъ рѣдко хворающимъ людямъ, отличался большою мнительностью, то все-таки исполнялъ всѣ врачебныя предписанія, изъ которыхъ самыи тяжкими было категорическое распоряженіе: и не думать вставать съ постели, а тѣмъ паче уѣзжать, пока не наступитъ окончательное выздоровленіе...

Вася чувствовалъ себя одиноко и тоскливо. Почти всѣ товарищи разѣхались къ празднику. Среди оставшихся у Трофимова не было близкихъ пріятелей, и къ нему рѣдко заходили. По цѣлымъ днамъ онъ не видѣлъ иногда никого, кроме врача и своей хозяйки, милой суетливой старушки, у которой онъ уже вторую зиму нанималъ комнату.

Чѣмъ ближе подходилъ праздникъ, тѣмъ становилось грустнѣе. Тамъ, дома, шли теперь усиленныя приготовленія къ Пасхѣ, веселая домашняя хлопоты. Вся семья была въ сборѣ: къ старикамъ-родителямъ пріѣхала изъ Москвы замужняя сестра съ дѣтьми и мужемъ, изъ деревни явился неизмѣнныи праздничный гость, одноклассникъ Митя, старый холостякъ, проводившій Святую съ семьею брата... Только Васи и не было—всеобщаго любимца и баловня семьи, безъ котораго и всей семье было, какъ говорится, праздникъ не въ празднике. А въ особенности испорченъ былъ праздникъ для самого Васи; и ему впервые приходилось лишиться этой радостной, съ дѣлѣствомъ любимой поры. Вася любилъ Пасху. Любиль и потому, что вѣроятъ,—хотя далеко не „по катехизису“, но горячо и прочно вѣрою глубоко-религіозной натуры,—и потому также, что ему, какъ многимъ, было мило все, связанные со Свѣтлымъ Воскресеніемъ: и трепетный подъемъ духа въ пасхальную ночь, и красивый крестный ходъ вокругъ старого неуклюжаго собора, сверкающій тысячами огнями свѣчъ, таинственно мерцающими на упругихъ складкахъ медленно плавущихъ по воздуху хоругвей, тепло озаряющими людскія лица, мягко румянѣющими древнія, блѣдныя, соборныя стѣны... и ночное возвращеніе домой,—въ темнотѣ, когда Пасха случалась ранія,—христосованье и разговѣніе дома, среди общаго веселаго оживленія за праздничнымъ столомъ, нагруженнымъ безчисленными куличами и пасхами... Вечеръ Страстной субботы всегда былъ для Васи лучшимъ вечеромъ въ году. Теперь его сердце сжималось при мысли, что придется провести этотъ вечеръ одному, въ чужомъ городѣ, въ чужой квартирѣ.

Но совершенно неожиданно для Трофимова оказалось, что ему не суждено остаться одному въ Страстную субботу. Въ этотъ день явился къ нему посыльный съ запиской отъ Корчагина, его однокурсника и земляка, жившаго въ Петербургѣ у своихъ столичныхъ родственниковъ. Записка была слѣдующаго содержанія:

„Голубчикъ Вася, прости великодушно, что я, несмотря на твою хворь, обращаюсь къ тебѣ за товарищеской услугой. Не можешь ли пріютить у себя на сегодняшнюю ночь земляка, которому некуда дѣваться? Это мой старый знакомый, нѣкто Боголюбовъ, пресимпатичный типъ и къ тому же гениальная голова. Его угораздило пріѣхать по дѣламъ въ этотъ проклятый Питеръ, и вдѣбавшись прибыть сюда именно въ такой нарочито-неподходящій день. Все утро мы съ нимъ тщетно искали комнаты.

Можно подумать, что всѣ квартирные хозяйки заколдованы, или что у нихъ у всѣхъ кумиши не удались, и они поэтому осирѣли... нигдѣ ничего нѣтъ! Либо все занято, либо такія конуры, что и на одну ночь вѣзть страшно. Боголюбовъ собрался все-таки подѣять въ одну изъ такихъ конур: но я еще наѣюсь спасти его отъ сей пагубы. Къ себѣ взять я его не могу,—потому что у меня на бѣду никакого „къ себѣ“ не существуетъ, а существуетъ тантушка, которая взѣется. Не разѣшишь ли подкинуть товарища на эту ночь къ тебѣ? Завтра освободится единственная приличная комната, которую мы видѣли во время нашихъ поисковъ, такъ она тута переберется,—а сегодня ему, очевидно, такъ и не найдется пристанища. Ты обладаешь тремя сокровищами, какія не часто доются на долю столичному студіозу: порядочной хозяйкой, просторной комнатой и турецкимъ диваномъ. Извини, ради Бога, за беспокойство; мнѣ немного совсѣмъ тебя, большого человѣка, тревожить, но Боголюбовъ тебя не стѣснить, къ тому же я подумалъ, что и тебѣ будетъ пріятнѣе встрѣтить празднику не въ полномъ одиночествѣ... Эта землякъ—человѣкъ замѣтный, и ты будешь въ восторгѣ отъ него. Если согласишься, будешь очень благодарны, онъ и я. Итакъ, какъ поется въ романѣ, „я приговоръ твой жду“, и ты мнѣ сей приговоръ пришли съ посыльнымъ; ему заплачено туда и назадъ. Привѣтъ!

„Твой Влад, Корчагинъ.“

Трофимовъ отвѣтилъ утвердительно, и вечеромъ къ нему явился пріѣзжій.

— Я боюсь, что мы съ Корчагинымъ черезчуръ ужъ безцеремонно злоупотребляемъ вашу любезностью,—привѣтливо говорилъ гость, пожимая руку приподнявшемуся на постели Вася,—нашъ общий пріятель обрадовался слуху сбить меня вами, хотя я сильно стѣснялся влагаться такимъ образомъ къ больному человѣку...

— Нѣтъ, нѣтъ, я право очень доволенъ, что вы пришли! Мнѣ тутъ, признаться, такъ сиротливо одному...

— Ну, тѣмъ лучше. Я постараюсь, чтобы мое общество не доставило вамъ неудобствъ, а оказалось чѣмъ-нибудь полезно. Прежде всего позвольте у васъ немножко похозяйничать и для начала зажечь вонъ ту лампу, потому что ваша свѣчка сейчасъ дрогнитъ...

Не дожидаясь отвѣта, гость подошелъ къ столу, удивительно быстро нашелъ спички среди разбросанныхъ на столѣ вещей (у Васи всегда бывалъ беспорядокъ, даже когда онъ не хворалъ, и



Шопенъ.

Выставка еврейскихъ художниковъ въ Петроградѣ 1918 г.

М. Блохъ.

спичечницы систематически затеривались) и ловкими, осторожными руками, ни разу не звякнув стекломъ, зажегъ лампу. Мягкой безшумной походкой онъ вернулся къ постели больного и легко опустился въ старое скрипучее кресло, которое на этот разъ не издало ни звука.

Теперь, когда въ комнатѣ стало свѣтлѣе, Трофимовъ съ плохо скрываемымъ удивленіемъ присматривался къ наружности посѣтителя. Уже съ первого взгляда, при невѣрномъ освѣщеніи единственной свѣчи, онъ обратилъ внимание на красоту этого человѣка; теперь она поразила Трофимова. Черты гостя отличались идеальною, классической правильностью и тою изящною, нѣжною утонченностью очертаній, которая такъ чаруетъ взглѣдъ въ твореніяхъ старыхъ итальянскихъ мастеровъ. Высокій лобъ, безукоризненный овалъ щекъ и подбородка, каждая линія этого замѣчательнаго лица—носили отпечатокъ глубокаго внутренняго благородства, проникнуты были гармоніей и прелестью. Черные, съ синеватымъ блескомъ, волосы вились отъ природы крупными кольцами, какъ на нѣкоторыхъ портретахъ флорентинской школы. Черныя брови, очень тонкія, очень длинныя, съ плавнымъ, строгимъ изгибомъ, казались проведеннымъ кистью какого-нибудь великаго мастера—отчетливо, почти рѣзко, но въ идеальнѣйшемъ соотвѣтствіи со всѣми чертами. Длинныя прямые рѣбенки тоже были черныя: и тѣмъ неожиданнѣе оказывалось впечатлѣніе, производимое громадными, дивными глазами—синими, какъ свѣтлые сапфиры, какъ южное небо въ весенний день. Цвѣтъ лица былъ матово-блѣдный, безъ всякой болѣзнистой желтизны, ровной красивой блѣдностью древнаго мрамора; среди этой блѣдности мягко выдѣлялись нѣжно окрашенныя губы, яркія, но не грубыя, съ прекрасными, гармоничными очертаніями. Гость не носилъ ни усовъ ни бороды, и это придавало его чертамъ еще большее сходство съ красивѣйшими образцами флорентинской живописи. Однако это сходство относилось только къ красотѣ, а не къ национальному отпечатку; безусловно, "не русское" лицо его не имѣло въ себѣ ничего характернаго для какой бы то ни было національности. Это былъ идеальнѣйшій типъ безупречно красивой человѣчности, не принадлежащей ни къ какой народности и одинаково сродный каждой изъ нихъ въ томъ, что было у каждой наиболѣе прекраснаго.

— Я ради слушаю познакомиться съ вами, Василій Григорьевич. Минь Корчагинъ много говорилъ о васъ.

Вася обратилъ теперь вниманіе и на голосъ Боголюбова, не-громкій, но необыкновенно звучный и отличавшійся такою привлекательнью выразительностью, что даже эта банальная фраза прозвучала у него обаятельно и глубоко.

Только тутъ Трофимовъ вспомнилъ, что онъ не знаетъ, какъ зовутъ собесѣдника.

— Простите, — улыбнулся онъ, — мнѣ вѣдь Корчагинъ такъ и не сообщилъ вашего имени и отчества...

— И отлично сѣдалъ,—живо возразилъ тотъ,—это, пожалуй, чудацество съ моей стороны, но я терпѣть не могу, чтобы меня называли по имени и отчеству. Дѣло въ томъ, что у меня такое имя, которое звучить удивительно недѣльно въ соединеніи съ какимъ бы то ни было отчествомъ...

— То-есть неблагозвучно? — съ улыбкой спросилъ Вася, кото-раго позабавило и удивило это заявленіе со стороны, какъ ему казалось, серьезнаго человѣка.

— Нѣть, именно недѣльно. Вы сами согласитесь съ этимъ, когда я вамъ скажу, что меня зовутъ ни болѣе ни менѣе, какъ "Ангель"... Или, какъ говорятъ славянофилы: "Агель". Со всѣкимъ отчествомъ "Ангель" звучить въ высшей степени не-складно, и я предпочитаю не слышать по своему адресу этого ни съ чѣмъ несообразнаго обращенія.

"А къ нему идеть это имя", — подумалъ Трофимовъ.

Ему живо представилось, какою хорошею моделью для изображенія небожителя могла бы служить эта классическая голова съ крупными кудрями, правильными вѣнцомъ ложившимися вокругъ нея. Съ такими кудрями дѣйствительно зачастую рисуютъ ангеловъ... Боголюбовъ вдругъ улыбнулся, посмотрѣвъ на Васю зоркимъ, проницательнымъ взглядомъ, точно угадавъ его мысли. И Вася сейчасъ же мысленно возразилъ самому себѣ: "Нѣть, неправда, вовсе это къ нему не идетъ!" Слишкомъ острый, пытливый умъ глянулъ на него изъ этихъ большихъ, необычайно красивыхъ глазъ; слишкомъ много было насыщенной живости въ обаятельной улыбкѣ... "Но какъ онъ красивъ!—невольно опять подумалось ему,—я еще никогда не видѣлъ такого прекраснаго лица... и такого умнаго вмѣстѣ съ тѣмъ. Такъ рѣдко случается, чтобы исключительная красота соединялась съ отпечат-комъ ума..."

Трофимову скоро пришлось увѣриться, что впечатлѣніе, полученное имъ, не было ошибочно. Гость непринужденно завязалъ съ нимъ разговоръ на какую-то отвлеченную тему, и Вася черезъ нѣкоторое время пришелъ къ убѣждѣнію, что говорить не только съ умнымъ человѣкомъ, но съ человѣкомъ рѣдкаго, выдающагося ума. Повидимому, "гениальная голова", о которой писалъ Корчагинъ, на этотъ разъ не оказывалась гиперболою увлекающейся и щедраго на эпитеты юноши. Вася скоро началъ чувствовать робкое почтение къ своему собесѣднику, соединившееся съ постепенно возраставшимъ удивленіемъ. Все, что говорилъ этотъ человѣкъ о давно извѣстныхъ вещахъ,—о правѣ, о нравственности, о наукахъ,—отличалось глубокою оригинальностью и неограниченной убѣдительностью.



Поэтесса Анна Ахматова.

Натанъ Альтманъ.

(Собств. А. В. Руманова).

Выставка еврейскихъ художниковъ въ Петроградѣ 1918 г.

Онъ выражалъ свои мысли сжато и ясно, яркимъ и простымъ языккомъ, производившимъ сильное впечатлѣніе на Трофимова, который, подобно большинству своихъ сверстниковъ, говорить очень любилъ, но совершенно не умѣлъ. Когда Вася, пораженный смѣлостью взглядовъ собесѣдника, начиналъ возражать ему, тотъ схватывалъ на лету его мысли, сразу улавливая самую сущность возраженія, и спорилъ спокойно и тактично, не придерживаясь, не уклоняясь въ сторону и съ такою неумолимою логикою доказывая свою правоту, что въ концѣ концовъ Трофимовъ каждый разъ искренно соглашался съ нимъ. По мѣрѣ того, какъ продолжался разговоръ, Вася продолжалъ все сильнѣе удивляться уже не только уму собесѣдника, а его исключительнымъ познаніямъ. Этому человѣку могло быть, по виду, немногимъ болѣе тридцати лѣтъ, а между тѣмъ казалось, что онъ успѣлъ овладѣть всѣмъ грандиознымъ материаломъ современного человѣческаго познанія. Казалось, что онъ знаетъ все. Въ области естественныхъ наукъ, философіи, искусства, техники онъ высказывалъ такъ, какъ это можетъ дѣлать лишь дѣйствительно знающий человѣкъ. Въ немъ не было и тѣни поверхностнаго щеголяния обрывками разностороннихъ знаній, какимъ любить "блестать" дилетанты, нахваталии ся верховъ и, въ сущности, не знающіе ничего; онъ дѣйствительно зналъ вѣдь ту область, о которыхъ говорилъ,—знать насквозь, отъ мельчайшихъ конкретныхъ свѣдѣній до наиболѣе широкихъ и отвлеченныхъ обобщеній, какія успѣла создать культура современного человѣчества. Разговоръ переходилъ съ одного предмета на другой, и Трофимовъ съ невыразимымъ изумленіемъ убѣжался, что не было такой темы, о которой Боголюбовъ не могъ бы высказываться, какъ настоящій специалистъ. Онъ чувствовалъ, что этотъ человѣкъ господствуетъ надъ нимъ силой своихъ знаній не потому, что самъ онъ, еще неопытный школьнікъ въ наукѣ, не можетъ правильно оцѣнить всего ихъ объема; напротивъ, именно обѣ исключительнѣе богатствѣ и силѣ этихъ знаній свидѣтельствовало то обстоятельство, что даже онъ, не знающій, сразу, противъ воли, получилъ такое неограниченное представление обѣ ихъ громадности. Ни одинъ профессоръ, ни одинъ изъ извѣстныхъ ученьихъ, лекціи которыхъ Трофимову случалось слышать въ столицѣ, не производилъ на него впечатлѣнія такой колоссальной эрудиціи, безъ всякаго намека на научную рисовку... Ему становилось почти жутко съ этимъ всезнающимъ собесѣдникомъ; тѣмъ болѣе, что въ теченіе разговора въ послѣднемъ все замѣтнѣе обнаруживалось одно свойство, вызывавшее у Трофимова безотчетное смущеніе: удивительная холодность, съ которой Боголюбовъ говорилъ обо всемъ. Несмотря на свою оживленную, образную рѣчь, онъ не выказывалъ ни малѣйшихъ признаковъ увлечения по отношению къ какой бы то ни было изъ многочисленныхъ темъ, которыхъ касался разговоръ. Словно все это, столь хорошо ему знакомое, такъ основательно продуманное имъ, было ему чуждо.

Однаково спокойно, точно излагая математическую теорему, говорил онъ о прекраснейшихъ созданіяхъ поэзіи, о картинахъ знаменитыхъ итальянскихъ галлерей, о древнихъ порфировыхъ рельефахъ, собственно ручно открытыхъ имъ при раскопкахъ на развалинахъ Вавилона и Ниневіи; о моделяхъ летательного снаряда, надъ которымъ онъ работалъ вмѣстѣ съ знаменитымъ американскимъ ученымъ; объ удивительныхъ опытахъ гипнотизма въ клинике парижского психиатра; объ интересныхъ молюскахъ, которыхъ ему приходилось видѣть во время путешествія на острова Тихаго океана, — и объ ужасающихъ картинахъ чумы въ Индіи, о страшныхъ вулканическихъ катастрофахъ въ одномъ изъ южно-американскихъ государствъ, недавно еще наполненныхъ ужасомъ весь цивилизованный міръ и имѣвшихъ его очевидцемъ, описываемыхъ имъ такими красками, что у слушателя волосы становились дыбомъ... Самому говорившему словно не было дѣла до всего этого. Онъ все зналъ, все видѣлъ, и оставался безразличнымъ ко всему, холоднымъ, любопытнымъ свидѣтелемъ. Напрасно Трофимовъ старался уловить въ его голосѣ ноту внутренняго волненія, въ глазахъ — отраженіе непосредственного чувства. Только холодное воодушевленіе рассказчика, только неумолимая пытливость мыслителя. И чѣмъ больше рассказы Боголюбова захватывали и волновали его своимъ содержаніемъ, тѣмъ сильнѣ становилась его полубезсознательная робость передъ ледянымъ безстрастіемъ этого колоссального ума.

„Неужели нѣть ничего, что бы захватывало его самого, что затрагивало бы въ немъ какія-нибудь душевныя струны — не только этотъ всепроникающій умъ, острый и холодный, какъ ланцетъ хирурга?“

Увлеченій разговоромъ Трофимовъ не чувствовалъ усталости отъ непривычно долгой бесѣды, позабылъ о своемъ нездоровѣ. Онъ не замѣталъ, какъ проходить время, и не помнилъ даже, какое это время проходить — онъ совершенно пересталъ сознавать, что наступаетъ пасхальная ночь...

Разговоръ былъ прерванъ приходомъ хозяйки, которая собиралась съ дочерью въ церковь и зашла спросить, не нужно ли чего.

— Нѣть, ничего, спасибо, — машинально отвѣтилъ Вася; мысли его еще всецѣло поглощены были разговоромъ и собесѣдникомъ.

Послѣ ухода старушки, молчаніе продолжалось нѣсколько мгновеній. Донесся изъ коридора ея голосъ, произнесшій, очевидно, по адресу дочери:

— Съ куличкомъ-то, смотри, осторожнѣ...

„Страстная суббота!“ — вспомнилъ Вася вдругъ живо и остро. — Свѣтлый праздникъ!“

И всѣ прежнія мысли о милюмъ, пропавшемъ для него празднику вернулись снова и на мгновеніе наполнили его душу тоскою сиротства и чужбины... Онъ невольно обратился къ гостю съ вопросомъ:

— А вы не хотите пойти въ церковь?

— Я? Нѣть. Я вообще тамъ бываю рѣдко

Васѣ показалось, что красивые холодные глаза собесѣдника слегка смягчились при этихъ словахъ.

— Я знаю много людей, — произнесъ онъ въ раздумье, — которые почти никогда не бываютъ въ церкви, а на Свѣтлый праздникъ ходятъ туда.

— Да. Такіе есть. Но я...

Боголюбовъ помолчалъ и докончилъ съ внезапною рѣзкостью:

— Знаете ли, если бъ я вообще часто бывалъ въ церкви, то именно въ этотъ вечеръ ни въ какомъ случаѣ не пошелъ бы туда!

Васѣ насторожился. Эти слова были произнесены голосомъ, какого онъ еще не слышалъ отъ своего собесѣдника. Ему казалось, что въ немъ на этотъ разъ прозвучало волненіе... Можетъ-быть, только раздраженіе?.. Во всякомъ случаѣ, нѣчто новое, не мирившееся съ равнодушнымъ безстрастіемъ, отъ которого такъ жутко было давече слушателю...

— Я не совсѣмъ васъ понимаю, — живо сказалъ Трофимовъ. — Почему вы говорите такимъ образомъ?

— Потому, что таково мое отношеніе къ этому празднику. Онъ въ высшей степени противорѣчить моимъ глубочайшимъ убѣждѣніямъ.

Синіе глаза сверкнули подъ черными рѣсицами, сейчасъ же опустившимися, чтобы прикрыть слишкомъ замѣтный огонь взгляда. Выразительный голосъ зазвучалъ съ неожиданною силой.

„Значить, я не ошибся. Вотъ то, къ чему онъ относится горячо, что можетъ его волновать и захватывать; то, о чёмъ у насъ не было рѣчи до сихъ поръ, — вопросы религіи!“

Въ головѣ Трофимова стремительно пронеслась эта мысль. Она и обрадовала его и какъ-то встревожила. — онъ самъ не зналъ, почему.

— Этотъ праздникъ, — продолжалъ Боголюбовъ, не дожидался вопроса, — представляетъ собою торжество грубѣшаго изъ человѣческихъ заблужденій, оскверняющихъ святыню религіи! Это праздникъ, основанный на недоразумѣніи.

— Что вы хотите сказать?

— Что учение о воскресеніи Того, Кто искупилъ міръ — грубо и низменно, что оно противорѣчить всей божественности христіанскаго откровенія, разрушаетъ все то грандиозное духовное построеніе, которое воздвигнуто Его идеями.

Говорившій все больше воодушевлялся.

— Вотъ вы вѣрюющій человѣкъ, — обратился онъ къ Васѣ, не въ видѣ вопроса, а совершенно категорически, хотя тѣтъ до сихъ поръ ни слова не сказалъ ему о своихъ религіозныхъ убѣждѣніяхъ. — Вы вѣрите въ божественность христіанскаго ученія и его Основателя. Неужели вѣстъ никогда не поражалъ контрастъ между возвышенными идеализмомъ этого ученія и грубымъ материализмомъ тѣхъ идей, которыя навязаны ему близорукими истолкователями? Тотъ, Кто олицетворяетъ высочайшую духовную мощь, божественную любовь, — Тотъ, по ихъ мнѣнію, спасаетъ міръ не духовною силою, а гробовою материальною жертвою: крестнымъ страданіемъ и смертью. Вѣдь тутъ огромное противорѣчіе, сильнѣшее несогласіе между цѣлью и средствомъ! Цѣль вѣчна, міровая; а средство переходящее, временное и безконечно малое.

Трофимовъ хотѣлъ возразить, но собесѣдникъ предупредилъ его:

— Вы хотите сказать: „Неужели крестная страданія — нѣчто безконечно малое?“ И я вамъ отвѣчу: конечно, да. То, что велико для человѣка, не можетъ считаться великимъ для божества. Поймите меня. Сотни, тысячи мучениковъ, десятки тысячъ людей переносили и переносятъ страданія, безконечно болѣе тяжкія, чѣмъ римская казнь на крестѣ. Всѣ люди умираютъ. И такая сравнительно незначительная, всякою доступной жертва — приписывается Ему, Божеству, какъ искупительный подвигъ за цѣлый міръ! Развѣ вы не видите, какъ подобное ученіе унижаетъ этотъ подвигъ, подрываетъ его міровое значеніе?

Онъ говорилъ горячо и стремительно. Его удивительное лицо стало какъ будто еще красивѣе послѣ того, какъ огонь искренне воодушевленія оживилъ строгія черты.

„Какъ странно! — мысленно удивлялся Вася, — какъ это волноуетъ его. А я еще давеча подумалъ, что этотъ человѣкъ долженъ быть невѣроятнымъ.“

Боголюбовъ точно прочиталъ его мысли.

— Вы думали, что я невѣроятный. На самомъ дѣлѣ, изъ насы двоихъ, если кого можно назвать невѣроятнымъ, такъ это васъ, а не меня. Да, да, васъ! Ваша вѣра, съ ея половинчатостью, съ ея уступками научнымъ теоріямъ, съ ея уклоненіями отъ той церкви, съ которой вы все-таки не рѣшились порвать, — это вѣра бездѣствія, вѣра привычки, вѣра по инерціи. Она дана была вамъ съ дѣтства, и вы сохранили ее, потому что въ вашей натурѣ есть потребность въ ней... Моя вѣра куплена вѣчною борьбою и адскими мукаами. Все то, что вы получили готовымъ отъ другихъ и приняли на слово, — все это я выстрадалъ самъ, все это начертали въ моей душѣ неумолимая правда бытія, выжгла во мнѣ, какъ выжигаютъ клеймо раскаленными желѣзами. Моя вѣра неразрывно слита съ моей жизнью. Вы не выстрадали ничего. Все, во что вы вѣрите, не выжжено въ васъ страданіемъ, а просто записано у васъ въ душѣ, какъ на листѣ бумаги. Я не сомнѣваюсь, что оно прочно и неприосновенно, — но оно не можетъ быть такъ глубоко, какъ то, что входитъ въ душу великою мукой, отъ чего душа горѣла и разрывалась, принимая божескую печать. И поэтому въ вопросахъ вѣры я говорю съ



„Прости, Господи, грѣхи наши!“ Г. Мирозумцевъ.
Выставка еврейскихъ художниковъ въ Петроградѣ 1918 г.



Елизавета Петровна.

Передвижная выставка 1918 г.

В. Кучумовъ.

вами, какъ старший: я вступилъ въ святыни храма, къ которому вы только приближаетесь!

Онъ всталъ при этихъ словахъ легкимъ, беззвучнымъ движениемъ и скрестилъ на груди руки. Трофимовъ не могъ оторвать глазъ отъ его лица, вдохновенного и страдающаго; взглядъ глубокихъ сапфировыхъ глазъ съ властною убѣдительностью былъ устремленъ на него.

„Его зовутъ Ангель“,—невольно вспомнилось Трофимову.

— Не только въ этомъ,—проговорилъ онъ смущенно,—я знаю, что и вообще вы можете обращаться ко мнѣ только, какъ...

Онъ не находилъ выражения, и Боголюбовъ съ легкой улыбкой подсказалъ ему:

— Какъ учитель?

— Да, какъ учитель, если угодно... И что касается вѣры, вы, конечно, правы въ томъ, что у меня есть извѣстная, какъ вы говорите, половинчатость. Многое, чemu учить церковь, я действительно отбросилъ... Но относительно догмата искушения я скажу вамъ откровенно, что я самъ хорошенъко не знаю, какъ онъ мирится у меня съ остальнымъ. То, что вы говорили давеча... или нѣчто въ этомъ родѣ—мнѣ пришлось уже прочитать гдѣ-то. Кажется, были вѣрь даже такие богословы, которые отрицали реальное искушение мира смертью Искупителя...

— Я не отрицаю его! — выразительно и вѣско произнесъ гость.

— Какъ? Я понялъ ваши слова въ этомъ смыслѣ.

— Вы сдѣлали изъ нихъ неправильный выводъ. Я говорю: немыслимо, недопустимо, чтобы Божество, искупающее вѣрь міръ,—вѣдь и вы такъ смотрите на Него,—осуществило бы это искушение при помощи обѣденной земной жертвы. Для человѣческихъ силъ такая жертва была бы громадна; но для Него, для божеской силы, для божеской любви — она ничтожно мала. И вы можете вѣрить, что Онъ, величайшій изъ жившихъ на землѣ, искупилъ людей такимъ подвигомъ, на который способны многие и многие среди людей?

— Но вы же сами вѣрите, что Онъ искупилъ міръ.

Вася съ волненiemъ задалъ этотъ вопросъ. Какъ-то странень и знаменателенъ казался ему этотъ разговоръ, такой неожиданно-серезный и откровенный, и завязавшійся именно въ эту святую ночь.

— Да, вѣрю. Но Онъ искупилъ міръ иначе, нежели это думаютъ тѣ, кто празднуетъ Его воскресеніе. Вѣдь онъ принесъ міру

вѣчное избавленіе... Онъ не могъ достичь его короткимъ страданіемъ и временною смертью.

— Чѣмъ же, если такъ? — спросилъ Трофимовъ, съ внезапною тревогою ожидая отвѣта, безотчетно готовясь услышать что-то страшное...

И все-таки онъ почти вздрогнулъ, когда собесѣдникъ произнесъ свой отвѣтъ тихимъ, проникновеннымъ голосомъ, медленно и отчетливо:

— Вѣчною смертью.

— Вы хотите сказать...—началь Вася и не кончилъ. Холодъ пошелъ у него по душѣ.

— Развѣ вы до сихъ порь не понимаете, что я хочу сказать? — проговорилъ гость, впиваясь въ его лицо сверкающимъ взглядомъ.—Онъ искупилъ живущихъ своею смертью. Да, „смертью смерть попрала“, какъ запоютъ скоро въ вашихъ церквяхъ Онъ умеръ за міръ; но Онъ не воскресъ.

— То-есть не воскресъ... гѣломъ?

— Нѣтъ. И духомъ тоже. Поймите же,—или нѣтъ, вы уже поняли, только боитесь признаться себѣ въ этомъ,—выразите ясно въ умѣ выводъ изъ моихъ словъ: Его нѣтъ. Онъ былъ—въ этомъ наша вѣра, въ этомъ весь ей ужасъ—и умеръ, чтобы избавить міръ, умеръ навсегда, совсѣмъ. Его нѣтъ въ мірѣ и никогда не будетъ.

Онъ произнесъ эти слова съ такою неотразимою силой, что чувство страха, скользнувшее давеча по душѣ собесѣдника, теперь обострилось и мучительно скжalo его сердце. То, что онъ слышалъ, было такъ необычно, такъ дико... оно рѣзко противорѣчило его вѣрѣ и ужасало его; но самъ ужасъ обладалъ притягательною силой. Хотѣлось возражать, и страшно было увидѣть свои доводы разбитыми. Хотѣлось просто оттолкнуть отъ себя эту странную, грозную мысль; но разъ возникшее представление не хотѣло исчезнуть. И самая возможность такой мысли уже была страшна: въ ней какъ будто таилась возможность ея справедливости...

Междудѣньемъ собесѣдникъ словно пересталъ обращать вниманіе на Трофимова. Въ волненіи онъ прошелся нѣсколько разъ по комнатѣ быстрыми, стремительными шагами, легкими, какъ движения тѣни. Потомъ сѣлъ на диванъ и снова заговорилъ, глядя прямо передъ собою широко раскрытыми лазурными глазами, вдохновенными и скорбными:

— Это такъ! И все христіанское ученіе, само того не зная,

помимо воли его носителей, подтверждает, что это такъ. Къ чему были бы скорбь и мука въ этомъ учени, если бъ Онъ жилъ? Христіанство всегда было вѣрою скорби и муки. Сколько ни твердили ваши учителя о великой радости,—въ этой вѣрѣ всегда господствовала печаль, всегда струились слезы... Вѣчные стоны, рыданія. Вѣчный жалобы — вотъ чѣмъ полны молитвы отъ апостольскихъ временъ до нашихъ дней... Вѣчный плачъ о грѣхѣ. Къ чему же плакать, если Онъ побѣдилъ грѣхъ? Если Онъ, побѣдившій грѣхъ, еще живетъ? Это вѣра всѣхъ скорбящихъ... Не даромъ римляне въ древности считали христіанъ ненавистниками человѣчества. Они ошибались въ этомъ, но ошибка была оттого, что христіане действительно ненавидѣли — только не человѣчество, а человѣческую радость. Понятно! Какая радость возможна, если погибло Божество? Скорбь этой религіи — это печаль по умершему Богу, который умеръ, долженъ быть умереть, чтобы избавить міръ... Умереть навѣки и всецѣло. Вѣдь Онъ сказалъ: „Меня вы не всегда будете имѣть съ собою“. А люди не поняли. Вашъ апостоль говорить: „Если Онъ не воскресъ, напрасна наша вѣра“. Это безуміе, это кощунство! Наоборотъ: если бы Онъ воскресъ, вѣра была бы напрасна, потому что не было бы совершенно великаго, искновѣческаго подвига искупленія: добровольной вѣчной смерти Божества за міръ.

Говорившій замолчалъ на мгновеніе. Трофимовъ ничего не враждалъ ему. Каждое слово пугало его, было полно невыразимой ужасомъ, но каждое дышало такимъ страннымъ величиемъ, что у него захватывало духъ отъ этого грознаго учени о смерти Бога.. И провозѣстникъ этого учени начинать ему казаться какимъ-то невѣдомымъ, нечеловѣчески могучимъ существомъ. Свѣтъ лампы не достигалъ туда, где онъ сидѣлъ. И въ полуракѣ его глаза сияли, какъ синяя звѣзды, и черные кудри казались таинственною темною короною на гордой, царственно прекрасной головѣ.

— Вотъ слушайте, — раздался снова глубокій, властно проникающій въ душу голосъ, — слушайте, какъ совершилось искупленіе. Вѣчный Отецъ хотѣлъ избавить міръ и избралъ для этого Своего Сына. Сынъ долженъ былъ стать искупительной жертвой, — Онъ, равный Отцу по божественности и власти. Сынъ рѣшился умереть за міръ... Земною, временною смертью? О, нѣтъ. Абсолютно, страшною вѣчною смертью. Понимаете ли вы, это значитъ, что Божество рѣшило уничтожить себѣ ради міра. Не быть болѣе. Даже ограниченное земное существованіе, ничтожную человѣческую личность — и тѣ ужасно потерять навѣки. Но превратиться въ ничто Божеству, уничтожить божеское бытіе — это такъ ужасно, что человѣческий разумъ едва въ силахъ вмѣстить этотъ ужасъ. И Онъ сѣдалъ это для міра. Оттого и страдалъ Онъ чудовищно, единственою во вселенной мукою, оттого и плакалъ Онъ кровавыми слезами. Оттого и простоналъ въ минуту колебанія: „Да минѣтъ Меня чаша сія“. Какъ можете вы, ничтожные люди, думать, что Онъ малодушно трепеталъ передъ вашею обычною, временною смертью, передъ краткими страда-

ніями?! Онъ дрогнулъ передъ неизмѣримымъ ужасомъ небывалой, всепоглощающей жертвы: Онъ шелъ на вѣчную смерть. И это ужасъ, равнаго которому не можетъ быть, вырвать у него на крестѣ крикъ послѣдняго отчаянія: „Зачѣмъ Ты оставилъ меня?“ Но Онъ восхотѣлъ до конца, и совершилась жертва. Онъ уничтожилъ себя и спасъ міръ. И съ тѣхъ поръ весь міръ сталъ до линии скорбы, потому что міръ — гробница Божества, которое было нѣкогда и котораго больше нѣть. Его нѣть — и въ этомъ Его высочайшее божественное величие, такъ какъ Его воля, божественная воля была въ томъ, чтобы Его не стало.

Въ комнатѣ воцарилось молчаніе. Трофимовъ не могъ говорить, охваченный вихремъ тревожныхъ думъ. Онъ отвелъ взглядъ отъ своего собесѣдника: ему казалось, что строгіе, похожіе на звѣзды глаза жгутъ его насквозь своимъ глубокимъ холоднымъ пламенемъ...

Внезапно среди наступавшей тишины донесся снаружи гулкій раскатъ пушечного выстрѣла, гулко прокатившаго надъ городомъ. Двѣнадцать часовъ!

И тотчасъ же винтило, несмотря на разстояніе, загудѣлъ въ холодномъ и звучномъ ночномъ воздухѣ густой, ревучій звонъ большого соборного колокола. Въ слѣдующемъ мгновеніе безчисленные пѣвучіе колокольные голоса зазвучали, отгѣчая другъ другу, перекликаясь, сливаюсь, вырастая въ одинъ громадный полновзвучный хоръ... Плавно и торжественно, словно побѣдное воздушное шествіе величавыхъ небесныхъ ратей, понесся надъ городомъ полуночный пасхальный благовѣстъ.

Точно какал-то тяжесть разомъ спала съ души Васи. Давняя, съ дѣтства родная радость теплою волною охватила его и вытѣснила всѣ недавнія ощущенія.

— Христосъ воскресъ! — сказалъ онъ просто и сердечно, быстро оборачиваясь къ своему гостю.

Никто не отвѣтилъ ему. Онъ былъ одинъ въ комнатѣ.

Когда утромъ старушка-хозяйка пришла христосоваться къ своему жильцу, онъ спросилъ ее, не видѣлъ ли кто-нибудь, когда ушелъ вчера посытитель. Она съ удивленіемъ отвѣтила, что никакого посытителя не видала.

— Что вы, Марья Власьевна, вѣдь онъ сидѣлъ, когда вы заходили вчера!

— Богъ съ вами, батюшка, тогда у васъ никого не было. И еще подумала, кто это вамъ лампу зажегъ...

Когда же днемъ зашелъ Корчагинъ, то съ первыхъ же словъ весело обратился къ товарищу:

— А я вчера тебя только зря потревожилъ съ Боголюбовыми. Пока ходилъ посыльный, неожиданно оказалось, что есть очень подходящее помѣщеніе въ нашемъ же домѣ. Тамъ его и водворили. Я хотѣлъ-было тебя извѣстить, — да думаю: и самъ сообразить, что мы иначе устроились.



Убитый запорожецъ.

Передвижная выставка 1918 г.

Л. Позенъ.

Библиотека "Руниверс"



Портрет г-жи Л.

Передвижная выставка 1918 г.

А. Маковский.

* * *

„Смотрите, какъ онъ нагъ и бѣденъ,
Какъ презираютъ всѣ его“.

Пушкинъ.

Я хуже всѣхъ, я всѣхъ презрѣннѣй..

Какъ хорошо быть не въ чести,—

Идешь порой своей осенней

По одинокому пути,

Просторъ и тиши съ душою слиты,

Ушли друзья, ушли враги,

И тайной вѣчности обвиты

Мои послѣдніе шаги.

Передъ грядущей встрѣчей Бога,

Передъ завѣсой неземной

Мила мнѣ смертная дорога

Своей безлюдной тишиной.

И, укрываясь въ тѣнь померкшихъ

Поблекшихъ красокъ жизни дня,

Благословляю всѣхъ отвергшихъ

И всѣхъ покинувшихъ менѧ —

За радость быть отъ нихъ далекимъ,

За несоблазнъ земныхъ утѣхъ,

За счастье гаснуть одинокимъ,

Презрѣннѣй всѣхъ и хуже всѣхъ.

Л. Косуновичъ.

Я и собака.

Эпизодъ Б. Никонова.

Я былъ измученъ физически и нравственно. У меня не было работы, не было пристанища, потому что нѣсколько часовъ тому назадъ меня прогнали изъ меблированной комнаты за неуплату денегъ. Я былъ голоденъ и усталъ. Временами мнѣ начинало казаться, что я скожу съ ума. Я потерялъ всякую надежду выбраться изъ того положенія, въ которое попалъ въ Петербургъ, приѣхавъ туда изъ далекой провинціи. И, не видя предъ собой никакого выхода, я рѣшился отправиться къ одному очень известному писателю и профессору въ его имѣніе за городъ. Я чувствовалъ, что это очень походить на простое прошеніе милостины, но, повторяю, я былъ слишкомъ измученъ. Я не былъ знакомъ съ этимъ очень известнымъ человѣкомъ. Я зналъ о немъ только по его произведеніямъ и по тому, что говорилось о немъ въ газетахъ. Мнѣ казалось, что онъ непремѣнно поможетъ мнѣ. Нужно было только добраться до него и разскказать ему о себѣ.

У меня было около двухъ рублей. Это были мои послѣдніе деньги. И я истратилъ ихъ на дорогу... Я думалъ, что профессоръ живеть ближе, и что дорога обойдется дешевле... Когда я вышелъ изъ поѣзда на платформу маленькой станціи, и мнѣ сказали, что имѣніе профессора въ тридцати верстахъ, я почувствовалъ почти отчаяніе. Нанять лошадь мнѣ было не на что. Ити пѣшкомъ у меня почти не хватало силъ — такъ ослабленъ былъ я голодомъ.

Но мнѣ все равно уже не было никакого другого выхода, какъ ити пѣшкомъ. И я побрѣль по блѣой отъ пыли дорогѣ вдоль желѣзодорожного полотна. Мнѣ сказали, что надо дойти до перѣзда, а потомъ свернуть налево въ лѣсъ. Перѣзда былъ въ двухъ верстахъ отъ станціи: я видѣлъ его, но мнѣ казалось, что я никогда не дойду до него — такъ медленно подвигали меня мои отяжелѣвшія, словно налитыя свинцомъ, ноги. Я шелъ такъ тихо, что время и, какъ мнѣ казалось, сама жизнь пере-

гоняли меня. Солнце быстро склонялось къ горизонту. Я не разсчиталъ времени и выѣхалъ изъ города слишкомъ поздно. Но все равно надо было ити. Нельзя было не ити...

Надо мнѣ съ внезапнымъ рѣзкимъ свистомъ процессія по насыпи поѣздъ. На заходящемъ солнцѣ ярко сверкнули длинные ряды вагонныхъ оконъ. Черезъ мгновеніе дымъ и пыль закутали все: и поѣздъ и окна и солнце и, казалось, меня самого со всѣми моими смутными надеждами.

Вотъ и перѣзда. А далѣе опять блѣеть пыльная дорога, прячась въ лѣсу. На багровомъ отъ заката небѣ четко вырисовывается сѣтка тонкихъ черныхъ стволовъ и вѣтвей. Лѣсъ зачеркиваетъ небо, какъ разсерженный художникъ неудачную картину. И чѣмъ дальше я иду, тѣмъ гуще сердитые черные штрихи, и все меньше и меньше остается заката багрянаго неба. И мнѣ кажется, что и моя жизнь сердито перечеркнута чѣмъ-то Невѣдомымъ... Закатная, неудачная жизнь! Такую жизнь, быть-можеть, въ самомъ дѣлѣ следуетъ зачеркнуть, какъ неудачную картину.

Мнѣ нужно пройти еще одиннадцать верстъ, и каждая верста для меня все возрастающее мученіе. Я иду тихо — иначе мнѣ не пройти и половины этого пути. Бѣлая дорога вѣстется по лѣсу. Одинъ поворотъ, другой, третій — конца имѣ нѣть. Я иду по извилистой дорогѣ, и мнѣ кажется, что обманываетъ она меня, какъ обманываютъ меня люди и жизнь, и приведеть меня въ безвыходный тупикъ. Я иду по одной колеѣ, стараясь не переходить на другую сторону дороги, чтобы не дѣлать лишнихъ движений. Но меня постоянно обгоняютъ проѣзжіе, и я волей-неволей дѣлаю лишнія движения, даю имъ дорогу, и меня охватываетъ бессильная злость къ тѣмъ, ктоѣдетъ. Пыль садится на мои ноги. Я дышу пылью. Пыль, усталость и голодъ... А дорога безконечно вѣстется по лѣсу... Неужели она не приведетъ меня хоть къ какому-нибудь выходу? Писатель-профес-

серь, къ которому я иду,—человѣкъ отзычивыи... Я знаю это по его произведеніямъ... Я знаю что онъ поможетъ мнѣ... Нужно только добраться до него.

Это путешествіе осталось навсегда въ моей памяти, какъ тяжелый кошмаръ. Такъ было оно безконечно и такъ насыщено усталостью и тяжкими ощущеніями. Я безъ конца брѣлъ по дорогѣ—сначала по чахлому лѣсу, потомъ по полю мимо корицыхъ изгородей. Постепенно темнѣло, и ночь наступила еще задолго до того, какъ я добрѣлся наконецъ до своей цѣли. Изгоду, поле, чахлыхъ деревьевъ, жалкія лачуги—все слилось въ дорогой въ темнотѣ въ одинъ мрачный и неизрѣдѣтное (уществованіе). Гдѣ-то позади меня послышалася грохотъ телѣги и громкое, безтолковое пьяное пѣніе. Я на минутку остановился. Вскорѣ меня догналъ чухонецъ на возу. Онъ оралъ мнѣ просто отъ страха, чтобы веселѣе было. Онъ былъ вовсе не пьянъ и на мой вопросъ, какъ добраться къ профессору, отвѣтилъ:

— Все рямо, рямо, и тутъ будетъ самая дача.

— Подвези меня,—попросилъ я,—я усталь.

— Та нѣть,—вразбрѣлъ онъ недовольнымъ тономъ.—Я передъ, а ты назадъ.

— Какъ назадъ?—сѣ ужасомъ воскликнулъ я.

— Та, назадъ. Все рямо, рямо, и тутъ будетъ дача.

Онъ стегнулъ лошадь и побѣжалъ дальше. И опять дикий голосомъ запѣлъ во все горло свою пѣсню. Я опустился на землю, придавленный тоской: значить, мнѣ приходится возвращаться назадъ? Значитъ, я сбился съ дороги и прошелъ лишкомъ? А вѣдь для меня мучительенъ каждый шагъ...

Я повернулся обратно. И скорѣе случайно, чѣмъ сознательно, руководствуясь линіи двумя-третями огоньками какихъ-то дачъ, словно вѣрапленными въ густую, почти твердую темноту, я свернулся съ дороги въ узенький проселокъ. Мнѣ стали встрѣчаться еле ощущимые зрѣніемъ темные силуэты зданій и воротъ. Огоньки опять погасли.

Въ тѣмѣ на меня набрѣла какая-то покачивающаяся фигура. И остановилась, повидимому, выжидая съ моей стороны какихъ-либо непріязненныхъ дѣйствій. Я спросилъ, гдѣ живетъ профессоръ.

— Вѣтъ тутъ!

— Здѣсь?

— Вонъ, въ эти ворота ступайте.

У меня забилось сердце. Быть-можеть, мой тернистый путь сейчасъ закончится отдыхомъ и уѣщеніемъ... Я былъ почти счастливъ въ эту минуту.

— Тутъ собаки!—крикнулъ мнѣ вдогонку неизвѣстный.—Сердиты собаки... Тутъ и выѣска на воротахъ насчетъ собакъ—что опасаться.

Но собаки меня не пугали. Меня грызли иные собаки, отъ которыхъ я уже давно не видѣлъ спасенія. И отъ нихъ-то я и искалъ здѣсь спасенія...

Ворота не были заперты, и я свободно прописалъ куда-то во дворъ по смутно маячившей въ темнотѣ дорогѣ между двумя рядами темныхъ деревьевъ. Мнѣ было стыдно явиться къ профессору въ такой позднѣй часъ. Но что жъ дѣлать? Онъ, конечно, пойметъ мое положеніе и извинитъ меня...

Во тѣмѣ гдѣ-то впереди меня обрисовались, словно горы, какія-то таинственный зданія съ нависшими надъ ними купами сада. Нигдѣ не было ни огонька. Вѣроятно, было уже очень поздно... Все это походило на какую-то фантастическую жуткую декорацию потусторонней жизни, оторванной отъ солнечнаго свѣта и человѣческаго шума. Даже собаки не лаяли, которыми пугать меня прохожий. Мнѣ показалось, что отъ усталости и голода я заболѣлъ и брѣжу, и что ничего этого въ дѣйствительности нѣть. Почему, въ самомъ дѣлѣ, такъ темно и пустынно вокругъ, и эти темныя зданія, къ которымъ я подхожу все ближе и ближе во мракѣ, вырисовываются на темнѣмъ небѣ мертво и молчаливо, словно скалы необитаемаго острова?

Я вступинѣлъ на пустынныій дворъ или на что-то показавшееся мнѣ дворомъ—на какую-то площадку. И натолкнулся на заборъ. Затѣмъ я напапути вторыя ворота и калитку. Они были заперты.

Я обошелъ заборъ справа и слѣва, но и тамъ и тутъ натыкался на препятствія и едва не свалился въ ровъ. Невидимыя колючія растенія или колючая проволока цѣплялись за меня, разорвали мнѣ рукавъ и оцарапали руку. Я искалъ какихъ-нибудь лазеекъ, искалъ хотя бы рукавички звонка у воротъ—и не могъ ничего найти. А тамъ, въ домѣ, было мертво и пустынно.

У меня подкашивались отъ усталости ноги. Мнѣ казалось, что я умираю. Мнѣ пришла жуткая мысль, что потому именно все вокругъ и кажется мнѣ мертвымъ и пустыннымъ, что я самъ умираю и впадаю въ темноту и безмолвіе... Мнѣ стало страшно. Сердце замирало.

Внезапно предо мной выросъ какой-то человѣкъ

— Вамъ что здѣсь надо?—крикнулъ онъ.

— Профессоръ дома?—спросилъ я, занявшись сѣ въ волненія.—Я прѣѣхалъ къ профессору. Мнѣ надо профессора...

Неизвѣстный грубо крикнулъ:

— Профессора нѣть!

— Какъ нѣть?—опѣшилъ я.—Гдѣ же онъ?

— Онъ за границей. Здѣсь никого нѣть.

Я опѣшилъ еще болѣе... У меня пробѣжалъ по спинѣ холдъ стчания... Въ самомъ дѣлѣ, какъ не догадался я уже по одному виду этой мертвой пустынной дачи, что здѣсь нѣть ни одной живой души?

— Уѣхали всѣ за границу,—повторилъ неизвѣстный человѣкъ, кидая въ меня своими словами, какъ каменьями.—Говорять вамъ, что никого здѣсь нѣть.

Онъ остановился предо мной въ выжидательной позѣ, ожидалъ, когда я уйду назадъ въ тѣму дороги и безмолвіе ночи. Но я стоялъ, не двигаясь. Я не могъ представить, что же теперь со мной будетъ, посль того, какъ рушилась послѣдняя надежда?

Я опять сѣдалъ шагъ къ дому. Мнѣ жутко было уходить въ тѣму. Неизвѣстный рѣзко и грубо наступалъ на меня.

— Уходи прочь!—крикнулъ онъ.—Много здѣсь шляется вашего брата, хулигановъ!

— Какъ ты смѣешь!—вспылилъ я.—Ты самъ хулиганъ!

— Я дворникъ,—продолжалъ тотъ, наступая на меня.—Убрайся по добру по здоровью, а не то стрѣльть буду... Собаками затравлю! Пошли вонъ!

Я молча повернулся и пошелъ обратно въ тѣму.

Я брѣлъ словно во снѣ и думалъ о томъ, какъ хорошо было бы сейчасъ проснуться... Я такъ усталъ и ослабѣлъ, что въ са момъ дѣлѣ дремалъ, машинально переступая больными и затекшими ногами по сырому гравию. И мнѣ съ необыкновенной ясностью представлялось синее небо, солнечный солнечный день и фантастическая растенія. Мнѣ казалось, что, если я сейчасъ проснусь, то меня мгновенно, какъ молния, охватитъ этотъ свѣтъ и тепло...

Но я не просыпался, и тѣма не смѣнялась свѣтомъ и тепломъ, но безоцѣнно угнетала все окружющее, какъ сама смерть. Я то впадалъ въ подузабытье, то снова приходилъ въ себя и чувствовалъ, что дрожу отъ холода и пронизывающей сырости. Сталъ накривывать мелкій осенний дождь. Въ сущности, я уже не зналъ, куда и гдѣ я иду—вышелъ ли на дорогу, или же все еще иду по дачному участку. Я даже не могъ бы теперь сообразить, въ какую сторону надо ити къ желѣзнодорожной станції? И съ внезапнымъ острымъ отчаяніемъ вспоминалъ, что мнѣ все равно невозможнѣ ъхать по желѣзной дорогѣ, потому что у меня нѣть ни гроша.

Дождь усиливался. Онъ шуршалъ въ темнотѣ, словно живое существо, и словно побуждалъ меня тревожнымъ шопотомъ: „Иди, иди!“ Дождь совершилъ въ темнотѣ свое великое таинство напоенія земли и гналъ прочь меня, оказавшагося здѣсь въ неуказанный часъ, недостойнаго присутствовать при тайнахъ природы... У меня не было пріюта даже здѣсь, въ этой дорожной тѣмѣ...

„Горе безпріютнымъ!“ Эти слова какого-то дѣтскаго стихотворенія пришли мнѣ на умъ и вдругъ получили свое настояще страшное значеніе, котораго я никогда не могъ постигнуть въ иное, болѣе благополучное время... Какъ счастливы безсловесныя твари, животныя, настѣкомыя, приспособленныя природой для такой безпріютности! Въ эту проклятую ночь холода, голода и одиночества я позналъ возможность счастья быть существомъ низшаго порядка.

Я не знаю, долго ли я брѣлъ тѣмъ и въ полуяснѣ, въ полуяви. Какъ-то незамѣтно я набрѣлъ на какое-то пустынное строеніе. Я увидѣлъ его или, точнѣе, ощутилъ только тогда, когда натолкнулся на стѣну. Я ощупалъ стѣну, нашелъ въ ней отверстіе въ родѣ двери и влѣзъ сквозь отверстіе внутрь. Дождь пересталъ мочить меня. Значитъ, я находился подъ крышей.

Но здѣсь уже былъ кто-то. Какое-то живое существо заворожилось поблизости. И заворчало.

Это была собака. Изнемогая отъ усталости, я не обратилъ на нее вниманія и повалился въ кучу соломы и мягкихъ стружекъ. Собака сердитымъ и испуганнымъ тономъ тявкнула нѣсколько разъ, затѣмъ встала и подошла ко мнѣ. Я лежалъ исподвижно. Вѣроятно, она рѣшила, что въ такомъ видѣ—почти полумертвый—я совершенно безопасенъ. Она перестала ворчать и лаять и обнюхала меня со всѣхъ сторонъ, быстро втягивая въ себя воздухъ. Болѣе близкое знакомство со мной еще болѣе успокоило ее: она отошла въ сторону, повозилась въ стружкахъ, фыркнула и зѣвнула. И затихла.

Лежать было мягко. Усталость взяла свое, и я заснуль.

Меня разбудила дрожь озиона. Было такъ холодно, что у меня зашились руки и ноги, и меня всего было, какъ въ лихорадкѣ. Долго ли я спалъ—я не могъ сообразить. Во всякомъ случаѣ, еще стояла глубокая ночь, потому что было попрежнему совсѣмъ темно. И попрежнему барабанилъ въ крышу дождь. Тряслася отъ холода, я приподнялся на свою ложѣ и попытался собрать охапку стружекъ побольше, чтобы зарыться въ нихъ. Но стружки не грѣли. Я сѣжилъ, стараясь какъ можно меньшую поверхность тѣла подставлять холоду и не шевелиться, потому что каждое хотя бы ничтожное движение вызывало новый припадокъ озиона. И все-таки холодъ пронизывалъ меня, охватывалъ меня своимъ ледяными зубами.

Вдруг что-то опять зашуршило около меня, и я почувствовал на своем лице теплое дыхание. Это была опять собака.

Должно быть, холода кусало ее так же свирепо, как и меня. Она звонула съ визгливымъ нервнымъ подвывавьемъ — и улеглась окolo меня. И прижалась ко мнѣ вплотную всѣмъ тѣломъ.

Я сразу почувствовал ея животную теплоту, и мнѣ стало теплое. Смѣшино сказать, но мнѣ въ тѣ горькѣ минуты и часы стало почти весело отъ ощущенія этой теплоты и отъ сознанія, что я не одинокъ. И я почувствовал благодарность и почти нѣжность къ этому беззѣбному псу, угадавшему своимъ животнымъ инстинктомъ, что слѣдуетъ соединить два очага теплоты въ одинъ общій очагъ, чтобы хоть какъ-нибудь счастись отъ всепроникающаго, грызуущаго кости, холода... Мнѣ никакъ не было противно лежать бокъ о бокъ съ бездомной собакой. Я не брезговалъ ею и не думалъ обѣ ея грязи. И самъ былъ жалкій ипіїцъ песь, мыкавшися по дорогамъ и искашивши куска хлѣба.

Понемногу я задремалъ. Я теперь уже не спалъ, несмотря на усталость и слабость. Я только дремалъ и грезилъ всю ночь: спать я уже не могъ отъ холода и, именно, отъ усталости. Бываетъ такая степень утомленія, когда болятъ и ноютъ всѣ члены, и эта противная, будная, томящая боль не даетъ покоя. Такая именно усталость была у меня теперь. Я не зналъ, куда мнѣ дѣвать мои ноги и руки: онѣ болѣли у меня, какъ болѣть зубы. Когда я погружался въ мутную дремоту, эта боль казалась мнѣ какимъ-то тяжелымъ постороннимъ предметомъ, въ родѣ привязанаго къ ногамъ чурбана. Иногда же она представлялась мнѣ назойливымъ и злымъ животнымъ, присосавшимся къ моей ногѣ. Уснуть я не могъ... Но я то погружался въ дремоту съ грезами и сонными видѣніями, не теряя однако сознанія, что я не сплю, то совершенно просыпался и ясно ощущалъ ширшавую шерсть неизвѣстнаго лежащаго окolo меня пса и чувствовалъ его теплоту. Въ то же время я испытывалъ холодъ съ другого бока, словно я грѣлся у костра въ осеннюю холодную ночь.

Когда я приходилъ въ сознаніе, все кругомъ меня и во мнѣ было по-старому: тьма, ночь, тишина такая, что слышно бісіе пульса гъ ушахъ, холодъ, спокойно и ровно дышащая окolo меня собака — сознаніе чего-то непоправимо-тяжкаго, сознаніе полной безвыходности... Но когда я впадалъ въ полусонъ, я ощущалъ нѣчто въ родѣ страннаго спокойствія и удовольствія, что я не одинокъ, и что рядомъ со мной находится какое-то близкое существо, съ которымъ я связанъ общими интересами, тяготами и горестями. П времени, когда я глубже впадалъ въ дрему, мнѣ представлялось, что это кто-то изъ очень близкихъ мнѣ людей — мой братъ, мой другъ, мой хороший знакомый, и что мы бесѣдуетъ другъ съ другомъ и взаимно жалуемся на холодъ и тоску. Потомъ я догадывался, что окolo меня не человѣкъ, а собака, но это не мѣняло дѣла: я не чувствовалъ никакой разницы между человѣкомъ и собакой. Что такое собака? Что такое человѣкъ? И тотъ и другая — просто живыя существа, нуждающиеся въ теплѣ, въ единеніи и одинаково страдающія отъ усталости, холода и одиночества.

Мнѣ казалось, что я лежу здѣсь въ сарайчикѣ уже цѣлую вѣчность, и что я давнѣмъ давно подружился съ этимъ невѣдомымъ псомъ. Такъ иногда, въ дорожѣ или въ общемъ страданіи, мы сближаемся съ совершенно посторонними людьми — и уже вскорѣ они становятся близкими и почти рѣдкими намъ, и мы удивляемся, что было такое время, когда мы ихъ не знали.

Въ моменты забытія мнѣ казалось, что я разговариваю съ собакой, какъ съ человѣкомъ. Иногда она поднималась, отходила отъ меня къ дверямъ и негромко рычала на кого-то испуганнымъ тономъ. Какъ будто въ непроглядной темнотѣ къ намъ неслышно подкрадывался кто-то страшный — быть можетъ, болѣзнь или даже сама смерть и, какъ воръ, хотѣла украсти у насъ здоровье и жизнь... Своимъ тонкимъ чуткѣмъ, болѣе проницательнымъ, чѣмъ моя склонная къ предчувствіямъ душа, собака слышала, какъ мнѣ казалось, приближеніе страшной ночной гостьи и тревожно давала мнѣ знать обѣ опасности. Но мнѣ сейчасъ было безразлично, жить или умирать, хворать или быть здоровымъ. Я лишь страдалъ отъ холода, а безъ собаки мнѣ было вдвое холоднѣе. И я звалъ ее обратно и успокаивалъ.

И она возвращалась ко мнѣ успокоенная, подваливалась ко мнѣ своимъ теплымъ бокомъ и клала морду мнѣ на плечо. Сквозь црѣмъ мнѣ казалось, что она разсказываетъ мнѣ о своихъ страданіяхъ и злоключеніяхъ и о томъ, что она боится смерти и хо-четь жизни и солнца... Я внимательно слушалъ ее, и опять она превращалась въ близкаго мнѣ человѣка, съ которымъ я уже цѣлые годы веду теплое сердечное общеніе.

Грезы — одна другой ярче — опускались на мой больной и уставлый мозгъ. Я опять видѣлъ сияющую солнцемъ и лазурью моря, южныя страны, пальмы, ослѣпительный просторъ океана. Рядомъ со мной на скатѣ, въ зелени олеандровъ и пиний, сидѣлъ кто-то близкій, сѣзкопечно мнѣлый и желанный, и я чувствовалъ теплоту его тѣла и его дыханіе. Надѣя нами съ высокой каменной стѣны съзинивались, какъ пестрый коверъ, цѣлующія розы, бѣ-

лы, пурпурныя и желтые. Цвѣтокъ кактуса, прямой и жесткій, какъ сосна, вѣдмался изъ пасти колючаго, фантастического, какъ сказка, растенія... Широкіе глянцевитые, словно вырѣзанные изъ желѣза, листья пальмъ и банановъ раскидывались шатромъ вокругъ сухихъ шершавыхъ стволовъ... Мимо настѣнъ бѣгали бойкія, какъ ящерицы, смуглія дѣти. Шель ниццій съ покоринымъ маленькимъ осликомъ... А небо и солнце и море шептали намъ о вѣчномъ счастьѣ. Временами море и небо темнѣли отъ набѣжавшей тучки, и во мнѣ рождалась мысль о неизбѣжности разлуки, о смерти, о тьмѣ...

Но любовь сіяла ярче моря и солнца и отгоняла тьму и темные мысли... Кто быль этотъ близкій и любимый человѣкъ? Моя мать, умершая въ Ментонѣ? Моя старшая сестра, у которой я однажды жилъ на югѣ Италии? Или та барышня-англичанка, съ которой я познакомился тамъ же?.. Или это былъ тотъ мнѣлый и несчастный художникъ, котораго болѣзнь обрекла на неизбѣжную ссылку въ страну пиній, кактусовъ и олеандровъ?

Я приходилъ въ сознаніе — и слышалъ, что рядомъ со мной дышитъ тяжелыми всхрапываніями беззѣбная и бездомная собака. И меня охватывала мысль о томъ, что всѣ живыя существа — нѣчто едино, и что всѣхъ ихъ объединяетъ и отожествляетъ сознаніе жизни и стремленіе къ любви и единенію.

Я опять погружался въ грезы. Мнѣ казалось, что я сижу на пароходной скамейкѣ рядомъ съ моимъ братомъ, который нѣсколько лѣтъ тому назадъ уѣхалъ въ Америку. Я зналъ, что пароходъ сейчасъ отходитъ, и я буду принужденъ вернуться на берегъ, а братъ уѣдетъ. Мнѣ было грустно. А онъ, шутя, звалъ меня съ собой, клалъ мнѣ руку на плечо и говорилъ: „Бѣдь вмѣстѣ!“ И я чувствовалъ тепло его руки.

Я приходилъ въ себя и видѣлъ, что кругомъ ночь и тьма, а между на стрункахъ въ пустотѣ и холоднотѣ сараѣ, и что рядомъ со мной лежитъ и грѣть меня беззѣбная собака.

Такъ въ полусонѣ и въ полуявленіи я невольно все ярче и ярче отожествлялъ съ себѣ близкими мнѣ существами, и когда наступалъ моментъ погруженія въ полусонъ, я пугался и не могъ представить себѣ съ достаточной ясностью, кто же рядомъ со мной: близкій человѣкъ, или чужая собака, и эта чужая собака становилась для меня все болѣе и болѣе близкимъ существомъ.

Что же это такое? Почему мы сливаемъ въ своей любви такъ много живыхъ существъ? Почему сейчасъ я уже не нахожу различія между человѣкомъ и животнымъ и испытываю къ животному такое же чувство, какъ и къ человѣку? Не значитъ ли это, что существуетъ всемирная любовь и всемирный разумъ? Быть можетъ, впослѣдствіи, когда рѣшится всѣ мировыя проблемы, а самое небо, какъ отелужившій и изветшавшій свитокъ, до конца исписанный повѣтствіемъ золъ и благъ міра, свернется и исчезнетъ въ вѣчномъ огнѣ, быть можетъ, тогда мировая любовь и міровой разумъ одинаково освѣтятъ людей и все живое и объединятъ ихъ въ одну братскую любовь... Такъ можно ли отгонять безсловесную тварь, когда она въ тьмѣ и холодѣ жизни приходитъ къ намъ и по мѣрѣ своего сознанія выказываетъ и свою долю желанія общенія и любви?.. Она тогда такъ же грезить о будущемъ, какъ и человѣчество, жаждущее обновленной и осиянной жизни въ вѣкахъ вѣчности.

Разбудилъ меня чей-то голосъ.

Я открылъ глаза и сразу почувствовалъ рѣзкій холодъ и яркій, осѣплявший меня, свѣтъ. Всходило солнце и было мнѣ прямо въ глаза своими красными осенними лучами. Дверь была, какъ и ночью, распахнута настежь. Въ дверяхъ стоялъ старый чухонецъ и кого-то ругалъ хрюнливымъ простуженнымъ голосомъ. Мало-мало я понялъ, что ругань относилась ко мнѣ.

Я отглянулся. Собаки уже не было. Чухонецъ прогналъ ее, или же она сама уѣхала еще до моего пробужденія. Такъ я и не увидѣлъ ея... Мнѣ стало такъ грустно, что я едва не заплакалъ.

— Сово тебѣ тутъ надо? — кричать старики съ бритымъ сморщенными и темными, какъ свекольная шелуха, лицами. — Сово тутъ дѣлаетъ? Ти кто такъ?

Я съ усиліемъ поднялся. Ноги болѣли еще сильнѣе, чѣмъ вчера. Въ желудкѣ была странная тупая боль. Меня тошило, и сильно кружилась голова. Болѣла поясница, словно кто-то насыпью перегнулъ меня назадъ, и я никакъ не могъ выпрямиться надлежащимъ образомъ. Я ничего не отѣбѣль сердитому старику и молча вышелъ изъ сарайчика на дорогу.

И, съ усиліемъ передвигая затекшія болѣвыми ноги, я пошелъ по прибитой дождемъ и росой дорогѣ, куда глядѣть глаза. Солнце поднималось все выше и выше. На дугѣ, сбоку дороги, волнистыми пятнами стоялъ бѣлый туманъ. Сѣрая изгородь была испятнана полосами непросохшей росы. На лужайкѣ лѣса по другую сторону дороги бѣѣла серебристая пелена инея.

Я самъ не зналъ, куда иду. На станцію желѣзной дороги? Въ первое попавшееся, неизвѣстное мнѣ село? Въ больницу? Въ сумашедший дѣлъ? Бродячія собаки тоже идутъ, куда поймлю — и иногда находятъ и кусокъ хлѣба и пріютъ...



„Сказка моря“. Царевна и житель подводных глубинъ.

C. Соломенко

Сказка моря.

Акварели.

Царевиѣ наскучили стѣны дворцовъ,
Деревъ позолоченныхъ краски,
И пѣсни, и звоны пустыхъ бубенцовъ,
И флейты, и копья, и маски.

Царевна крадется къ заливу одна,
На берегъ песчаный ложится.
Волну подгоняетъ дремотно волна
За облакомъ облако мчится...

И вдругъ передъ нею звучитъ голосокъ:
— О чемъ заскучала, царевна?—
Рукою она ударяетъ песокъ
И смотрить надменно и гнѣвно
Кто смѣль помѣшать ея сладкимъ мечтамъ,
Въ ея молчаливомъ капризѣ?
Предъ нею звѣрекъ,—не повѣришь глазамъ,—
Въ невиданной, сказочной ризѣ...

На спинкѣ изъ раковинъ бѣлый уборъ
Горитъ перламутромъ, какъ льдина,
Печаленъ и вдумчивъ опаловый взоръ
А тѣло краснѣе кармина.

— Я—житель подводной, глубинной страны,
Гнусить это чудище-крошка...
Царевна припомнила сказки и сны,
Въ душѣ испугавшись немножко.

Она говорить:—Я скучаю и жду
Чего-нибудь жизни чудеснѣй,
Мнѣ скучны и птицы въ тѣнистомъ саду,
И люди, и звѣри, и пѣсни.

И вотъ я хотѣла отдаться волнамъ,
На дно опуститься царицей,
Увлечься, забыться и царствовать тамъ
Въ прекрасной зеленой столицѣ.

— Но ты опоздала,—ей крошка въ отвѣтъ,—
У насъ есть краса-чародѣйка,
Въ глазахъ ея солнца подводного свѣтъ
А волосы черны, какъ змѣйка.

И каждое утро и каждую ночь
Мы славимъ ее богомольно,
Но молча она удаляется прочь,
Печалью пронзенная больно...

Вчера же она подозвала меня
И тихо и глухо сказала:
„Я видѣла ночью блистанье огня
И пѣсни матросовъ слыхала.

Туда, гдѣ всѣ служатъ огню и мечу,
Любви и величию подвластны,—
На землю, на милую землю хочу
Вернуться я, слышишь, несчастный?“

И плакала сладко, и слезы въ кораллѣ,
Въ сверкавшій кораллѣ превращались,—
Но чѣмъ ей помочь, я, ничтожный, не зналъ,
И молча мы съ нею разстались.

И вотъ я сижу предъ тобой на пескѣ.
Скажи мнѣ, царевна, чѣмъ можно
Помочь нашей феѣ, что плачетъ въ тоскѣ
О томъ, что для насы невозможно?..

... Царевна молчала, вплетая рубинъ
Въ свои золотистыя косы,
И вѣтеръ, бѣжавшій съ лазурныхъ равнинъ,
Прилегъ на песчаныхъ откосахъ.

Когда же царевна взглянула впередъ—
Чудесный звѣрекъ-невеличка
Ужъ плылъ въ полуокругѣ пѣнящихся водъ,
Съ дельфиномъ ведя перекличку...

И долго царевна смотрѣла вослѣдъ...
Подруги ее отыскали,
Когда уже царь,—скушавъ поздній обѣдъ,—
И всѣ приближенныя спали;

И ночь ужъ стояла надъ старымъ дворцомъ,
И звѣзды качались, какъ розы,
И кто-то тихонько звенѣлъ бубенцомъ
Въ кустахъ осторожной мимозы...

Н. Багрянцевъ.



„Сказка моря“. Фея подводного міра.

С. Соломко.

ЗАЯВЛЕНИЕ.

По условіямъ разсрочки, подписная плата за „Ниву“ 1918 года должна быть внесена **полностью къ 1-му августа сего года**. Контора журнала „Нива“ покорнейше просить поэту гг. подписчиковъ, не внесшихъ сполна подписныхъ денегъ, озабочиться **немедленною присылкою** остаткой причитающейся съ нихъ суммы, **во избѣжаніе остановки въ высылкѣ журнала**. Гг. иногородные подписчики при высылкѣ денегъ благоволятъ **обозначать на видномъ мѣстѣ копію печатнаго адреса** съ бандероли или **прилагать самый адресъ и непремѣнно указывать**, что деньги высылаются **въ доплату за получаемый уже журналъ**.

При перемѣнѣ адреса слѣдуетъ прилагать **1 рубль и печатный адресъ**.

Содержаніе. ТЕКСТЪ: Квартира № 66. Рассказъ Г. Яблочкива.—Гость. Рассказъ С. Свириденко.—Стихотворение Л. Ко-
суновича.—Й и собака. Эпизодъ Б. Никонова.—Сказка моря. Акварели Н. Багрянцева.—Заявление.

РИСУНКИ: Выставка польскихъ художниковъ въ Петроградѣ 1918 г. Картины Ю. Коссака (отца), В. Коссака (сына), Ю. Рудницкаго, Альмы Берсонъ.—

Выставка еврейскихъ художниковъ въ Петроградѣ 1918 г. Работы М. Блохъ, На-
тана Альтмана, Г. Мироземцева.—Передвижная выставка 1918 г. Картины В. Ку-
чумова, Л. Позена, А. Маковскаго.—Иллюстраціи С. Соломко къ Акварелямъ
Н. Багрянцева „Сказка моря“.

Къ этому № прилагается „Полное собрание сочинений М. Горькаго“ книга 22.

Издатель Т-ва А. Ф. МАРКСЪ.

Редакторъ И. М. Желѣзновъ.

Артистическое заведеніе Т-ва А. Ф. МАРКСЪ, Петроградъ, Измайловский проспектъ, д. № 29.

Библиотека "Руниверс"

НИВА

1918 г.

XLIX г.
издания.

№ 32 Выходит ежемесячно (52 № въ годъ), съ приложением 52 книжъ „Сборника”, содержащихъ сочиненія А. И. ГЕРЦЕНА, М. ГОРЬКАГО,
В. Г. КОРОЛЕНКО, П. БЕРАНЖЕ и Н. И. КАРЬЕВА („Великая Французская Революція”).
Выданъ 10 августа 1918 г. Подписная цѣна съ дост. и перес. на годъ—36 р., на 1/2 г.—18 р., на 1/4 г.—9 р. Цѣна этого № (безъ прилож.)—40 к., съ перес. 50 к.

Главная Контора и Редакція: Петроградъ, улица Гоголя, № 22.

• • •

Перепечатка иллюстрацій и текста воспрещается. (Законъ 20-го марта 1911 г.).

Открыта подписка на „НИВУ“ 1918 г.



Сфинксъ XX вѣка.

Етотая выставка Общества Купиджи 1918 г.

Л. Димитрихъ.

Священная роща.

Рассказъ празднаго человѣка.

Льва Пасынкова.

Миѣ сорокъ два года, а съ девятиадцати лѣтъ я брошу по русской землѣ. Земля велика, а и малъ, и, должно-быть, потому-то я плохо въ своей душѣ разобрался, хотя, прямо скажу, достаточно себѣ опробивъ.

Лѣти теперь воропить душевную ветошь. Одно замѣчу: мученій духа испытать не мало, жить же сносно совсѣмъ не научился.

Успокоился я постѣ слuchая, о которомъ сейчасъ рѣчь поведу. Просто махнулъ рукой. Чортъ съ нимъ.

Человѣкъ—загадка даже въ бани, когда голехонекъ и въ баниое зеркало глядится. Ну-съ... Человѣкъ, бутылочку съ прохладой! Философія этой самой будееть съ васъ, а приступимъ къ сути вещей, то-есть къ дѣлу.

Жиль я той порой въ Тифлисѣ. Зачастѣль я въ одинъ кабачокъ, по-ихнему, по-кавказски—духанъ. Подружился съ кабатчикомъ.

Не то, чтобы я пилъ много—ниль, главная причина, мутно, безнадежно, скверно.

А меня приласкали. Въ долгъ—пожалуйста. Дали понять, что я тоже человѣкъ, не хуже другихъ, въ чёмъ я горько сомневался.

Такъ вотъ вамъ начало исторіи моей души. Началась исторія поздалека: сынъ кабатчика Асатура Шахбазьяна, Осканъ, женился, а на утро азъ, рабъ грѣшный, со старикомъ собирался въ дорогу.

У старика Шахбазьяна небольшой, мрачный кабакъ. Дѣло шумное, беспокойное. Полиція отъ дверей не отлипаетъ.

На однѣ взятки и хороший могорыч сколько денегъ потратишь; а все оттого, что молодежь здоровья пить и ссориться, за кинжалы въ буйномъ, задорномъ хмелю хвататься.

Сколько разъ мертвѣцовъ таскали изъ угла подъ влажными арками, съ которыхъ капаютъ мутноватыя капли, похожія на ноты натрудившагося человѣка.

Городовые, мерзко ругались, оттаскивали убитыхъ подъ единственное оконце, за которыми видна иясная полоска свѣта, а въ ней—постышня ноги прохожихъ. Ложатъ молодцы съ распахнутой немытой грудью.

Въ дальнемъ углу у огромнаго буйоловой шкуры бурдюка съ молодымъ опаловымъ виномъ, бывало, въ удачливые разы отлевались до полуночи мертвѣцы, дожидаясь того, когда заснуть беспокойныи улицы. За ноги и бухъ въ воду. Только бы городовой, врагъ добрыхъ людей, не увидѣлъ.

Протоколъ этихъ самыхъ не оберешься; вино вздорожало; фруктовая водка пошла совсѣмъ съ гнильмъ запахомъ, и ее въ самую пьяную компанию не подсунешь.

Аренда тоже такая, что нужно искать новыхъ, привольныхъ мѣстъ. Пусть теперь молодое поработаетъ со старое.

На мѣстѣ Асатура за мокрой, пахнущей скисшимъ виномъ, стойкой остается Осканъ, блузубый, въ глубокихъ, золотого отблѣка рябинахъ парень, съ мясистою грудью женщины и съ женскимъ не совсѣмъ пріятнымъ голосомъ.

Свадьбу спровоцили на старый, хороший образецъ, безъ этихъ птицъ, безъ фаты французского сорта, безъ восковыхъ свѣчей въ галантерейныхъ коробкахъ и съ бѣлыми, неломкими муаровыми лентами и парафиновыми головками поддѣльного помешаница, прильнувшаго къ сусальными усикамъ свѣчіи.

Заливалась синяя, пронзительная зурина, больные бубны глухонѣмыми голосами наполнили узкую улицу. Ползли шумные звуки вверхъ къ злойно-сверкающему небу по грязнымъ стѣнамъ домовъ.

Ва, очень, очень хорошо!

Асатуръ торжествующе глядѣлъ на мальчишку, съ ресницами масломъ на сине-черныхъ волосахъ и огненными лицами,—мальчики несли предъ собой факелы, трещавшіе такъ, что веселый трескъ сливался съ музыкой.

Впрочемъ, и гости помогали зуричу и факеламъ съ бубнами чѣмъ могли и твердо стучали въ ладони, разомъ и съ падающей.

Невѣста отъ густыхъ мужскихъ бровей до бѣлыхъ парусиновыхъ туфель закутана въ бумажного щелка плащъ, и восточная мелкая вуаль прикрывала ея венушишъ отъ слезъ и горбатый отъ природы носъ.

Только тому, кто пристально посмотритъ, видно, какъ чувствию раздуваются ся толстыя ноздри, а красивыя глаза мерцаютъ чернильмъ, загадочнымъ, маничымъ пламенемъ.

У мальчишечки красныя, освѣщенныя факелами лица,—отвести въ сторону пылкіе факелы, пожалуй, и тогда огненный отблѣлокъ останется на широкихъ, здоровыхъ щекахъ, на лицахъ, въ которыхъ столько первобытной, хорошей простоты.

Лѣть по двѣнадцати, а отъ загорѣлыхъ, лопунистыхъ ушай къ челюстямъ тинутся густо и увѣренно бачки жесткихъ волосъ; на подбородкѣ слабый пушокъ, а усы смолистыми полосками пролегли по губамъ.

Бѣлаго атласа кафтаны въ пояскахъ съ серебряными бля-

хами, на шеяхъ кучерскія, двойныя, серебряныя цѣпіи съ кисточками изъ серебряныхъ проволокъ, бумажная розы на груди.

Трепещь и въ саду вѣтъ, стучать мозолисто пеустанные ладони.



Пьеро.

M. Бобышевъ.
Вторая выставка Общества Куниджи 1918 г.

Каштановая колоть то взовьется, легко оторвавшись отъ пламени, то слова низко сядетъ на огненные вершины неопрятныхъ факеловъ, вѣюющихъ тепломъ на всѣхъ, кто плетется сзади, торжественно отступивая въ ладони.

Вахъ, вахъ!.. Хорошая жизнь, совсѣмъ хорошая будееть у новобрачныхъ. Оба костра пирамидальныхъ желто-каштановыхъ огней горятъ такъ правильно, такъ спокойно.

Будуть торговатъ съ доходомъ. Будьте благословенны, дѣти, и стойте крѣпко за стойкой. Бѣднѣмъ людямъ ничего больше не остается, какъ растаскивать пьяницъ и надѣть трупомъ, изъ котораго бѣжитъ кровь, сводить мирные счеты съ участковыми дежурными.

Асатуръ гордъ знакомствомъ съ моей трепанной личностью и, чтобы показать гостямъ, какъ близки мы, наклоняется и шепчетъ первое, что навернулось на языки:

— Аах, хорошая, здоровая женщина. Такихъ невѣсть нѣтъ теперь, нѣту. Теперь все цивилизациія, корсеты, молоко пропадаетъ, чтобы вся вашѣ, извините, цивилизациія, скажи пожалуйста, съ корсетами пропадала... Посмотри, пожалуйста, какая женщина! Бровь, ва, взгляни, пожалуйста, бровь какая! Апельцынъ-бaba... Хха-ха!

Я привыкъ къ милой, простой безцеремонности Асатура. Въ большомъ городѣ онъ сохранилъ дикия привычки, простоту сердца.

Такими словами хвалить онъ неизѣсту сына.

Вечеромъ послѣ вина, пролитаго въ жадныя горла и на столы, га полосатые маты на полу, послѣ жареной баранины, шашлыковъ подъ паприкой, тяжкихъ блюдъ съ пловомъ, розового дагестанскаго варенья на стеклянныхъ, пупырчатыхъ, зеленоватыхъ „розеткахъ“, персидскаго хаша съ чесночнымъ язвящимъ запахомъ, слѣдовавшимъ за вареньемъ изъ розы, галеть на топленомъ бараньемъ салѣ, фабричного мармелада, миндalia въ патокѣ и опять вина въ чурекахъ и кувшинахъ, я съ Асатуromъ крѣпко поцѣловали Оскана и удалились. Предъ дорогой вздрогнуло нужно. Но спать я не могъ.

Слабо дымился ароматомъ грустныхъ хвой край неба. Разлата гора стояла въ древнемъ туманѣ надъ пестрымъ ковромъ крынъ.

Въ такомъ туманѣ, розовомъ и пахучемъ, туманѣ туй, нагрѣтыхъ тепломъ земли, обрѣшинъ, анемоновъ, восходили на такія горы пророки, и гремѣлъ громъ, и исходили законы и каменное слово скрижалей на землю.

Пынная усталость и ночная глубокая грусть охватили меня.

Я сидѣлъ у распахнутаго окна, глядѣлъ на дахи за городомъ, на слабый блескъ зеркалецъ, вѣбланныхъ въ грузинскіе кресты на церквяхъ, на дымку, словно потекшую безпредѣльно во всѣ стороны отъ тысячи свадебныхъ факеловъ, загасившихъ надъ сладостными одрами бѣшеной, полузвѣриной, дикарской страсти.

О, Кавказъ, милый, дикий, прародительский!

Асатуръ спить у стѣни на жесткомъ диванѣ, поставивъ ноги торчкомъ—старая привычка трактирщика, спящаго урывками и готоваго лѣтѣть къ гостямъ по первому пьяному окликну.

Скучная у него комнатенка. Мухи жужжалъ вѣздчиво, пахнетъ затхлостью, сухими, пыльными крошкиами хлѣба, усыпавшаго столь, оплесками вина.

Утромъ нась уноситъ на сѣверо-западъ поѣздъ.

Асатуръ, заспанный, съ бѣлыми пленками „сонками“ въ глазахъ, поминутно зѣвающій, глядить въ окно, нагрѣтое нѣжно солнцемъ, и съ солидными хрипомъ откашливается, чтобы потомъ, разомъ перегнувшись, плюнуть за окно на бѣгущую стремглавъ дорожную бровку.

Асатуръ въ дорогѣ любить основательно покушать и на вокзалахъ покупать виноградъ въ плетушкахъ, жареныхъ куръ, съ которыхъ золотисто стекаетъ подсолнечное масло, баранину, и уписываетъ тутъ же, стоя подъ окномъ вагона, а потомъ лѣзеть, солидно хрюпя, въ вагонъ.

Онъ, видимо, хочетъ походить на богатаго, беззаботнаго купца, на маклера, торгующаго бакинскими заявками, и ему кажется, что онъ съ виду богатъ, пресыщенъ, лѣнивъ, какъ котъ.

— Хрр...—Плюнуль скибкой косточекъ, сжеванныхъ вмѣстѣ съ виноградными цукурками.—Хр... Здоровая женщина! Га!

— О чѣмъ вы, Шахбазянъ?

— А?!—разсѣянно, съ нѣкоторымъ притворствомъ глядить онъ на меня и опять жуётъ виноградъ,—здоровая, сътная женщина. Надолго хватить!

— Вы о женѣ Оскана..?

— О ней. Здоровая, очень здоровая женщина. У меня была такая: Марьяша..

Онъ умолкаетъ и скользитъ глазами по лицамъ пассажировъ, по небу за окномъ, буйволамъ на болотинахъ, синѣющихъ подъ жаркимъ солнцемъ.

Мысли Асатура принимаютъ другое направленіе. Это видно по его оживившемуся лицу. Въ глазахъ проступаетъ искренность.

Онъ сбрасываетъ съ себя восточное наивное притворство и трогаетъ меня за колѣно:

— Послушай. Какой мѣсто тамъ, пожалуйста. Рррай!. Рай, гебъ говоримъ. Такой мѣсто, такой мѣсто!

— Хорошее, что ли?

Ммм...— заводитъ онъ сладостно, какъ сонная курица, крупные, выпуклые глаза,—ммм... Рррай, пожалуйста, вотъ какой мѣсто. Святое, старое мѣсто. Пускай плохой будетъ торговля. Тамъ никакой духанщикъ не продержится. Народу мало, плохой народъ. Вина не пьютъ, ёдятъ, какъ воробьюшекъ. Ничего, пожалуйста. Я могу жить на двадцать копеекъ. Старый я. Чего мнѣ нужно? Ничего не нужно, пожалуйста. Совсѣмъ дешево проживу. Зато воздухъ, спокой. Главное старому человѣку... это спокой. Дай мнѣ спокой, и я безъ слова гладкій стану и хорошій.

— А изъ Гергетъ,—спрашиваю,—народъ ходить не будетъ?

— Нѣту, не будетъ. Не жду. На ледникъ только ваши ходятъ, изъ городовъ. Стану бутербродомъ торговать, чай держать, самоваръ. Варенья банку поставлю. Немного дороже возьму: ему не обидно, а мнѣ—жизнь. Жить надо, пожалуйста. Я никого не обижу.

Поѣзъ, наговорившись, онъ лѣзеть на свою полку, долго ворочается, вздыхая солидно, подъ бараньимъ тууломъ, и тихо засыпаетъ, чтобы черезъ минуту захрапѣть съ отчаянными свистомъ.

Я ѿхалъ съ монмъ Асатуromъ къ гергетскому леднику. Хотѣлось посмѣтрѣть на древній мѣста, гдѣ въ основномъ угрюмомъ лѣсѣ, рощѣ древнихъ временъ, стояло когда-то капище.

Отъ временъ парсовъ, отъ солнечнаго божества, съ круглымъ лицомъ, тамъ среди сизыхъ, жесткихъ осинъ стояло капище съ каменной чашей, въ которой пузырилась и кисла человѣческая кровь, отдѣнная радостному, привѣтливому Митрѣ.

Теперь тамъ, въ сторонѣ, дремлетъ на вершинѣ церковь Цминда-Самеба.

Такихъ древнихъ, сумрачно-древнихъ, усталыхъ отъ бѣга времень храмовъ я не видѣлъ нигдѣ на русскихъ поляхъ. Мирожскій монастырь съ семисотѣтнми фресками на берегу рѣки Великой въ Псковѣ, и тотъ—розовый, въ ямочкахъ младенецъ предъ Самеба...

Теперь тутъ пустынно вокругъ храма. Только въ отдаленіи струисто и жестко шумятъ осины священной рощи. Дрожать листочки, клонятся вѣты.

Вечеромъ покинули душный вагонъ и съ маленькаго станка поѣзда въ сторону ледника въ плетеномъ коробѣ, запряженномъ двумя бодрѣмыми лошадицами скелетами.

Асатуръ запѣлъ, глядя на темные буераки, долинки съ чернобѣлыми бусинками овочинъ тѣль, на парчевые края—бахрому далекаго ледника.

Казбекъ радостной легкой тѣнью всталъ, поднимая сѣднины въ синее небо. Когда-то онъ самъ, поди, служилъ круглоголовому Митрѣ, бросаль огонь изъ своихъ кратеровъ, которыхъ мнѣ такъ и не пришлось увидѣть.

Теперь его голова не объята огненнымъ потокомъ мыслей жертвенныхъ восторгомъ. Онъ старъ и благодушенъ.

Что ни годъ англичане въ пледахъ, съ носогрѣйками въ бритыхъ губахъ и альпийскими палками, поднимаются на его вершину, топчуясь голубые его снѣга и надменно глядѣть внизъ, гдѣ земля лежитъ подобострастно на брюхѣ предъ сѣдоголовымъ великаномъ.

Умеръ великий богъ свѣта и не просить молитвенного огня у Казбека. Тихо и самъ Казбекъ подергивается саваномъ, складка за складкой ползутъ снѣга внизъ.



Поцѣлуи.

Б. Микшишинъ.
Вторая выставка Общества Купиджи 1918 г.



Прачечный мост въ Петроградѣ. *М. Бобышевъ*
Вторая выставка Общества Купиджи 1918 г.

Ледники сияют остро и свѣтло, торжествующая бѣлизна смерти глядит на беспредѣльный доль, безкрайные юры и лопини, на двухколесныя мелкія арбы, дремлющія въ степи, склонившиися на оглобли, на желѣзный однофермовыи мостъ и рядомъ другой мостикъ, на овечьи стада и пастуховъ, забывшихъ старыхъ борговъ, старыя калища, неприступныя рощи осипъ, окровавленныя камни въ полудорогѣ отъ земли къ небу...

Асатуръ поетъ, крути узкой головой со стесаннымъ, глупымъ затылкомъ. Словъ не разобрать.

Я чувствую, что на душѣ у Асатура спокойно и легко. Онъ отѣслился отъ жизни.

Что ему искать среди неспокойныхъ людей? Конечно!

Старое отрѣзано и брошено на каменный полъ духана. Пусть молодое за стойкой постоитъ и выручку считаетъ.

Асатуру остаются горы, покойная, полуголодная жизнь, суровые дни и ночи. Когда-то онъ увидѣлъ, давно-давно, свѣтъ этого вога, неба въ сельцѣ Гергетахъ, среди ласковыхъ грузинъ, среди пѣсентъ, улыбокъ, дикой свободы.

Теперь того иѣть. Другая жизнь пошла, неспокойная, завистливая, юркая, а все же отъ старого здѣсь больше сохранилось, чѣмъ въ городахъ.

Асатуръ любить пѣсни и разсказывать мнѣ, задумчиво гляди на зеленую траву:

— Когда-то, душа моя, здѣсь жилъ знаменитый охотникъ на турровъ... Турій охотникъ, пожалуйста. Не простой человѣкъ были. Иль князей. Ину, а звали его Батломомъ—имя, пожалуйста, такой. Ружье старое въ рваную бурку закутасть, порохъ туда же сунеть подъ полу, чтобы не отсырѣль, и пойдѣть по цвѣтамъ и лѣду на турровъ. Трехъ турровъ на себѣ разомъ таскаль, а самъ лавашъ только тѣль да кукурузу—общасть ничего хорошаго не бѣсть. Мясо вдовамъ отдавалъ, сиротамъ отдавалъ. Безплатно! Поняль?

Мнѣ хочется пошутить, но такъ, чтобы немудреную шутку понять и Асатуръ, и я говорю:

— Князь всѣ непрактичные. Невыгодно даромъ-то...

Асатуръ поднимаетъ брови и обдумываетъ мои слова. Задаль ему работу.

Асатуръ легко на сто рублей пятаковъ сосчитаетъ и не ошибется. Но проворство, данное его рукамъ, и торговля сметка мало коснулись всей головы.

Онъ тупо обдумываетъ все, что хотя немного въ сторонѣ отъ торговли, отъ вина въ бурдюкахъ, отъ взяточъ грознымъ, привередливымъ городовымъ, которые ни одного убитаго не обойдутъ, чтобы не взять за него.

На станціи, откуда выѣхали, прежде, говорять, весело бывало. Лѣниво или счастливцы хажетинское, йли козье мясо, молодую форель. Теперь тутъ не бываетъ старыхъ, усасътыхъ офицеровъ въ узкихъ кителяхъ, мингрельскихъ безшабашно кутающихъ красавцевъ въ нарядныхъ шапочкахъ-салфеткахъ на твердыхъ, синесмолевыхъ кудряхъ, молодцовъ съ женскимъ румянцемъ на фарфоровыхъ щекахъ и объемистыми лужеными желудками, вмѣщающими столько же кислаго вина, сколько вбираетъ небольшой бурдюкъ, изготовленный изъ поросичьей кожи.

За стойкой дремлетъ мужчина съ сѣдоватой бородкой, загаженный въ клинышкѣ, и съ ястребинымъ, ноздристымъ носомъ. Асатура онъ сразу же узналъ:

— Камарь джоба... Здравствуй!

Асатуръ жадно посмотрѣлъ на стойку, затянутую клеенкой, разрисованной подъ мраморъ, уставленную скучно тарелками съ запотѣвшими ломтиами сыру, поклѣтвѣщей въ кремовый отѣнокъ Александропольской брызой, лежащей въ мутной водѣ, скверной усохлой колбасой подъ синими проволочными сѣтками и стеклянными колпаками, на которыхъ мухи оставили золотисто-смуглые свои слѣды.

Асатуръ видимо опечалился. Если на большей станціи, въ двухъэтажномъ домѣ, гдѣ за день столько народу потолчется, мимо буфета пройдешь—такъ плоха торговля, такъ чего наторгуешь въ горахъ!

Пыль на стѣнахъ, паутина, свисающая фестонами съ козырьхъ плоскихъ и мощныхъ роговъ. Ужъ не добродѣтельный ли кнізъ, кормивший турьимъ мясомъ вдовъ сиротъ, прибиль надѣй низкихъ дверями эти kostяные вѣтви?..

Все же, по пути въ горы, Асатуръ пѣлъ, беззаботно болталъ. Онъ ѿхалъ въ заточенье горъ, отдавалъ свою старость роднымъ мѣстамъ.

Бодро бѣжалъ лошадки, єдко пахнущій потомъ.

То блеснетъ на пути изломъ ручья, напитавшагося ледяными каняями на горахъ, то снова пропадаетъ.

Издѣли видны остатки небольшихъ водяныхъ мельничекъ, встрѣчивающихся отъ каждого толчка тяжелыхъ, прохладныхъ струй.

Такія мельницы разбросаны по всей землѣ у всѣхъ народовъ. Въ глухи пустынныхъ первобытныхъ полей дремлютъ деревянные карлики, перерабатывающіе зерно, ссыпающее муку по пахучимъ полированымъ желобамъ. Донъ-Кихотъ, предокъ подобныхъ мнѣ шатуновъ, сражался съ вѣтрачкомъ такого же роста, чуть повыше. Въ давніе годы всякъ только на себя, на семью хлѣба готовилъ, и мельницы были немногими выше человѣка.

Отъ унылыхъ мыслей о прошломъ всего человѣчества, всѣхъ поколѣній, молившихся богу-солнцу въ такихъ поляхъ, почувствовать я, что, какъ ни говорять, а мала и грустна земля, что ницъ человѣкъ, что мало радости въ его полусокотской, не гордой жизни.

Дрожать мельнички надѣй свѣтлыми струями. Ледники льютъ ясныя слезы въ ручьи, а принесли Асатуры и сбили четыре стѣники, поставили жернова и кормятся у слезъ могучихъ ледниковъ.

Я пристально гляжу опухшими отъ слезъ глазами на попутчика—у него такихъ мыслей не бывало; онъ счастливъ, и у него родина именно тамъ, гдѣ онъ родился, и на вершокъ вѣвѣ, и на вершокъ вправо.

Указъ его головы безъ затылка въ бараньей, въ желтое крашенной папахѣ качается усыпительно.

Скоро намъ вставать и пѣшкомъ подниматься вверхъ. Дорога, впрочемъ, какъ увѣрли настѣ, очень хороша. Танцуя, можно подняться на вершину, шутя, можно взойти на верхнюю точку земли и лѣдовъ и стать подъ небомъ.

Митра—тебя и тамъ нѣтъ!

Умеръ бояръ свѣта, а мельнички трюхаютъ полегоньку—трюхъ, трюхъ, мучицы тепловатой натираютъ на лаваши, на плоскіе рогатые чуреки, похожіе на пару турьихъ роговъ.

Уже запропала рѣка въ берегахъ, потонула синенькой несмощной паутинкой фермы моста, растягнуть бѣлый домъ станціи.

Только жаворонки тѣ же,—сверлять воздухъ хрустальными, монотонно-прѣятными возгласами, точно бутылочку откупориваютъ...

По дорогѣ бросилась, полукольцами собираясь, жирная змѣя, и кони мотнули испуганно гривами.

Вдалѣкъ мелькнула и опять пригнулся доломитовыми крышами плоскій ауль, самъ похожій на змѣю, лукаво причищающійся среди каменевъ.

— Вонъ!—танѣть руку Асатуръ,—надѣй ауломъ церковь видна! Святое мѣсто.

— Чѣмъ же святое?

Асатуръ думаетъ, но вспомнить не можетъ. Не все ли равно. Если знать будешь, святыни отъ того не прибудетъ. Святое и только!

На вершинѣ чѣкой, надвинувшейся горы еле мелькаютъ, когда солнце за тучку западаетъ, два темныхъ силуэта, словно сложенныхъ изъ кубиковъ.

Кому, молящемуся, пожелалось видѣть престоры и благословить ихъ немощной рукой? Кто захотѣлъ стать къ Богу ближе на крохотную пѣдь?

Мы расплатились съ возчикомъ, лѣнивымъ парнемъ, который однако просіялъ, когда послѣ моихъ скучныхъ рублей Асатуръ подалъ бутылку, завернутую въ розовую оберточную бумагу. Ход-

ропо на обратномъ пути не нахлестывать нагруженныхъ коней и, лежа на холщевой обивкѣ внутри экипажа, потягивать кисленыю струйку, сдобренную таниномъ, но все же приятно пьянишую.

Обычно берутъ верховыхъ коней либо на станціи, либо въ сельцѣ у подошвы, но мы, сберегая деньги, рѣшили спокойно подняться пѣнкомъ, не торопясь.

Въ Геѣ геты думали заглянуть на обратномъ пути.

Асатуръ не волнуется при видѣ родного села. Что же, дѣловъ человѣкъ долженъ знать порядокъ: раньше дѣло, а потомъ отдыхъ, сладкая воспоминанія.

Наверху, невдалекъ отъ храма, очень святого и очень уважаемаго, поставить Асатуръ легкіе стѣны лавочки и духана.

Хлѣбъ и мясо будуть приносить изъ Гергетъ мальчишки. Молодыя ноги хорошо носятъ и по горамъ.

Асатуръ мурлычетъ котомъ, и только по жалобному приыханію и тому, что изъ мурлыканія вдругъ вырываются нотки фальцетомъ, можно различить въ этомъ пѣсню.

Асатуръ не замѣчаетъ горныхъ луговъ, по которымъ никогда не ступало раздвоенное копыто сельской смиренной овцы. Много корымъ и внизу.

Отдохнули мы, поднявшись выше луговъ. Кругомъ настъ лежали альпийскій пространства въ пестрыхъ цвѣтахъ.

Я растерялъ грамотность и не знаю, какъ зовутъ ученые люди этотъ цвѣтокъ — сиреневый съ молочными жилками, цвѣтокъ, слѣ пахнущій чѣмъ-то, напоминающимъ выѣтренные духи на женской груди, да — на груди, съ которой нескромныя губы любовника склонились запахъ крѣпкихъ эссенцій, оставивъ отъ нихъ нѣчто неуводимое и потому волнующее до слезъ.

Я засунулъ такой цвѣтокъ, чѣмъ тверже становились его лепестки, тѣмъ гуще и увѣренѣй онъ пахъ.

Колокольчики сбѣгали живо вокругъ напихъ тѣль внизъ, падали въ голубое, мягкое пространство, за которымъ, если не глядѣть, не чувствуешь земли, мельничекъ на ледяной водѣ, хлѣбныхъ полей, каменныхъ крыши грязнаго аула.

Только течеть голубизна, теплая, счастливая, ласковая, баюкающая. О, просторъ!

Просторъ, въ которомъ нѣтъ газовыхъ рожковъ, рекламъ пивоваренныхъ заводовъ, толстыхъ портерщиковъ съ мокрымъ штапоромъ въ рукахъ, дружескихъ шутокъ, всей несносной фальши, при которой ни одно слово не искренне.

Съ жутью и удивленіемъ я часто приподнимался на локтѣ и озиралъ Асатура. Онъ медленно поворачивалъ ко мнѣ свой толстый носъ и нѣжно улыбался, не понимая моей тревоги.

— Ты чего? Болять ноги, га?

— Нѣть, ноги не болятъ.

— Уставаль ходить?

— Нѣть, совсѣмъ не усталъ!

— Ну... тогда лежи, пожалуйста. Къ полдню тамъ будемъ и мѣсто высмотримъ. Ты же мнѣ обѣщаъ... Помнишь, душа моя?

— Помни! — кивнуль я, тоже улыбнувшись.

Еще въ городѣ, за сотни верстъ отъ этихъ мертвыхъ, сѣжныхъ горъ, я посулилъ показать ему свои землемѣрныя способности и вырѣзать на землѣ четырехугольникъ, потребный для постройки. Нужно будетъ сбить немудреный приборъ, заготовить вѣшки.

Я выкрою изъ всего простора крохотное пятнышко, а остальное береть на себя старикъ. Онъ живо исчакаетъ, унавозить этой клокъ, покроетъ его бараньей требухой, пивными и винными пробками, осколками глиняныхъ чурековъ.

Пьяные люди между небомъ и землей станутъ въ его дощатомъ, выбѣленномъ духанѣ кривляться и шатаясь, бродить вокругъ да около. Обнявшись, они спустятся въ священную рощу и среди жестко-свистящихъ на горномъ вѣтре осинъ облегчатся съ удовольствиемъ и нѣгой пьяныхъ животныхъ.

Эта ненужная пустая мысль меня теперь не столько мучить, сколько, признаться, тѣшитъ.

Что же, не говорить ли это о томъ, что вся земля мала и скучна. Когда на землѣ было меньше человѣка, на ней было больше Бога. Это ясно.

Отиейте изъ бутылки — вина станетъ меньше, а пустоты прібавится. Человѣчество — не пустота ли въ бутылкѣ, еще не совсѣмъ допитой? Когда посудина будетъ опорожнена до послѣдней капли, чья-то рука, небрежно размахнувшись, швырнетъ ее подъ столъ мірозданья.

Тутъ я припомнилъ все мое прошлое, и мнѣ захотѣлось страстно, вотъ здѣсь же, присесть на траву, собрать вокругъ себя великое множество усталыхъ и неусталыхъ людей и повести предъ ними такую рѣчь, послѣ которой всѣ признались бы, какъ имъ живется на семъ свѣтѣ: дурно ли, хорошо ли.

Вспомнилъ я жену. Бросила, и не нужно. Язвы во мнѣ не отъ того, что я посѣдѣлъ въ одиночествѣ и отъ природы, говорятъ, не казнить. Не въ томъ язвы, что бабѣ меня бросаютъ, еле раскусивъ, не въ томъ, что друзей у меня нѣть, а случайные знакомые бываютъ ко мнѣ насыпливы.

Не было тога дурака, который послѣ встречи со мной не кивалъ понятливо головой и не улыбался прозрачной, дурацкой улыбкой, такой прозрачной и бѣщей улыбкой, какая бываетъ только у записныхъ праведниковъ и набитыхъ дураковъ:

— Дорогой мой, я вижу васъ насквозь!..

Это меня-то онъ, дуракъ, видѣть насквозь.

Пусть никто не подумаетъ, что я горжусь чѣмъ-то неслыханнымъ. Ясно, что я — тля. Только, если снять острожненько тлю съ листочка и подавить, она пустить зеленый, нѣжно-бирюзовый сокъ, а меня подавить — пущу красный... Только-то.

Да, я обыденный, пустой. Но почему я такъ ишу этихъ пространствъ, ишу бывшихъ калицъ, осиновыхъ рощъ, въ которыхъ старые боги пили человѣческую смачную, парную кровь?

Асатуръ, какъ я ни плохъ, не лучше меня. Это понятно. Но онъ доволенъ. Я съ улыбкой вспоминаю, какъ онъ обычай куриный хлѣбъ, политый подсолнечнымъ масломъ, какъ важно хринѣть и своей солидностью переполнять весь вагонъ до самого потолка, затянутаго линолеумомъ...

Асатуръ не лучше меня и живеть счастливо, а я живу плохо и спасаюсь отъ себя, и шатаюсь, шатунъ жалкій, по землѣ, оттого, что презираю себя.

Маріетта!.. Поглядѣли бы вы, Маріетта, на меня втѣ здѣсь, между небомъ и землей.

Я святотатственно прижимаю поношенныемъ пиджакомъ и по-ласкательно, внизу потертыми брюками сиреневые цвѣтки съ молочными жилками. Я начаю рисунки природы, ея акварельные шаловливые наброски, сдѣланные на чистомъ полотнѣ лѣдниковыхъ снѣговъ.

Бываютъ несчастные люди, которымъ кажется, что всюду они лишніе, ненужные, оскорбляющіе.

Въ дѣствѣ у меня быть кошмаръ. Минѣ казалось, что изо рта у меня очень скверно пахнетъ. Это было неправдой, вздоромъ. Вы понимаете: я не открывалъ рта и былъ молчаливъ, какъ звѣрь. Я не давалъ себя старшимъ поцѣловать. Я страшился, что они почувствуютъ гнилой запахъ...

Я сѣлъ со вздохомъ и стала переобуваться. Потомъ сосчитала деньги. Мало...

Чувствовалъ, что со мной плохо. Бѣсъ терзаній опять овладѣлъ моей душой. О, это, не смытесь, это очень сложная штука, и се не обдумала ни одинъ мудрецъ.

Сначала все хорошо бываетъ. Въ Тифлісѣ я былъ почти беззаботенъ. Пилъ въ незнакомомъ духанѣ вино и былъ такъ привѣтливъ съ окружающими, съ самимъ духанщикомъ, что втѣ даже духанщики, важный Асатуръ Шахбазьянъ, обратилъ на меня благосклонный взоръ и подружился — да такъ, что въ горы на всегда, навѣкъ взялъ. Но теперь меня берегъ мой бѣсъ.

Скучно, ахъ, какъ скучно, какъ подло и стыдно. Ничего хорошаго въ жизни не дѣлать, а вертѣться безцѣльно, какъ лопнувшая птица въ ремнѣ, тянущемъ шкивъ... Ниточка — кому сна нужна?

Менѣ всего, во всякомъ случаѣ, я нуженъ себѣ.



Портретъ артистки Е. А. Орловой. М. Бобышевъ.
Вторая выставка Общества Куинджи 1918 г.

Миѣ иногда стыдно за Россію. Въ ней много такихъ, какъ я. Вотъ въ Америкѣ, поди, вѣмь сыщется настоящая работа.

А тутъ по русской землѣ бродить много настѣ, неприкаянныхъ, съ послѣдними рублями въ потертыхъ ластиковыхъ карманахъ.

Свой костюмъ я ношу въ лѣто и зиму девятый годъ, и его подлый узоръ такъ запомнился, что, когда погляжу, въ глазахъ работѣ, и слезы выступаютъ.

Я невольно застонала, и такъ противно, злобно, что Асатуръ сѣлъ и внимательно, сдерживая сладкій зѣвокъ, оглядѣлъ меня съ головы до кончиковъ поношенныхъ сапогъ.

— Душа моя... Тебѣ плохо?

Я опустилъ глаза и не могъ удержаться отъ жалобныхъ, клейкихъ, совсѣмъ беззѣльныхъ словъ:

— Плохо, Шахбазьянъ... Очень плохо!

— Га... Это, пожалуйста, нехорошо. Надо — такъ: уухъ.. Вотъ какъ надо.

— Это чего же?

— Ты не думай. Ни о чёмъ не надо. Все само будетъ. Га... На конѣ, пожалуйста, бываль, подъ конемъ. Миного, ахъ, миного горя видаль. Ничего! Надо впередъ смотрѣть. А что позади — какъ не было.

— Не могу, Шахбазьянъ, голубчикъ. Тошнехонъко. Мутить чортъ хвостомъ въ душѣ!

Онъ испугался и тупо замигалъ круглыми глазами, а потомъ — вотъ чего не ожидалъ — наклонилъся и мокро чмокнулъ меня въ щеку. Я затрепетала... Не отъ нѣжности и благодарности.

Я вѣдь чертѣвъ, какъ кусь хлѣба за сибирскимъ окномъ — шатунамъ въ подарокъ. Нервы во мнѣ заговорили.

Ужъ когда такое бревно съ поцѣлуями и жалостью ко мнѣ полѣзло, значить, плохи, плохи мои дѣла.

Пересилилъ себя, всталъ и показалъ пальцемъ вверхъ: на минуту слово отшибло. Асатуръ понялъ, и мигомъ собрались. Такъ ч пошли молча.

Сзади остались два влажныхъ пятна: примятые нами грунтоальпийскіе цвѣточки пустили слезу внизъ. Оскорблена человѣкомъ, плакала природа...

Миѣ показалось, что мой слѣдъ на цвѣтахъ мокрый и грязный. Чтобы разсѣяться, я заговорила о томъ, какъ построить душантъ.

— Разумѣется, камней нужно побольше собрать: я помогу.

— Зачѣмъ тебѣ? — удивился Асатуръ. — Ты мнѣ только планъ разбей.

— Хорошо. Но у меня почти денегъ нѣть. Понять, Шахбазьянъ? Миѣ некуда ити, и ты меня покормишь, а я помогу и въ постройкѣ.

Онъ сконфузился совсѣмъ по-городскому и жалобно поглядѣлъ мнѣ въ глаза.

— Зачимъ, зачимъ такъ говоришь? Рѣшили вѣсть жить... — съ укоромъ молвила Асатуръ. — Ты мнѣ, пожалуйста, кто будешь? Хочешь — братомъ назову, га? Я простой человѣкъ, цивилизаций, мимилизаций вашей, скажи, пожалуйста, совсѣмъ не знаемъ. И не надо. Хочешь — другомъ будешь, братомъ будешь, ну?

— Хочу!

Онъ схватилъ меня за руку и еще горячѣй зашепталъ:

— Мало знаю тебя, а больше сердца люблю. А почему люблю? Потому ты молодой, а какъ старый. Миѣ покой нуженъ, и тебѣ покой, большой покой нуженъ. Не на хорошую жизнь со мной пойдешь. Голодно живемъ тутъ, плохо... Эхъ! Въ Тиф-

лиѣ — знаешь, какъ жили? Баринъ! Вотъ какъ. Карейчикъ зажирали, дорогой вино пьешь — сколько хочешь. Баринъ.. А тутъ снѣгъ метегъ, пустота. Будемъ вѣмь голодать — все равно. Вѣрнымъ говорю, га?

Я не отвѣтила; мнѣ этотъ кроткій звѣрь сразу прискучилъ. Но куда, стѣмъ отъ него уйдешь?

Плохо, что на землѣ живутъ разные люди. Шахбазьянъ — человѣкъ временъ давнихъ, не онъ ли ставилъ внизу мельницы, а наверху въ каменную чашку насточилъ человѣческой крови? Онъ — человѣкъ давнихъ, сказочныхъ, туальныхъ временъ.

А я пережила всякое здоровое подобіе. Хорошо бы мнѣ быть равнымъ Асатурѣ и жить безопасно и вѣрить въ священные рощи. А и хорошо бы Асатурѣ быть, какъ я — отчаявшимся. Отчаявшимся люди либо помираютъ скверно, либо новаго Бога призываютъ.

За что я обижень? Почему всѣ мои бѣды? Какъ отъ каравана отбившійся человѣкъ перестаетъ быть самимъ собой, такъ и я. Люди или отстали отъ меня или перегнали, только я одинокъ и долженъ погибнуть нежалостной, стелной, одинокой смертю. Когда за Ташкентомъ бродилъ, видать подобное. Жутко.

Бодро шагалъ въ гору Асатуръ — еле я успѣвалъ за нимъ. Упорная тишина пресѣдовала настѣ, заглядывала въ глаза, пряталась въ жесткихъ обрывкахъ скаль.

Чѣмъ выше, — рѣзче становились уступы горы; надаль безсильно къ теплымъ долинамъ мягкой покровъ цвѣтовъ и травъ.

Синеватыми плѣшинками, какъ лысинки католическихъ монаховъ, собравшихся въ толпу, свѣжѣли всюду снѣга.

Съ каждымъ шагомъ все меньше цвѣтовъ и больше снѣга. Снѣгъ разрастается въ кргчишки, потомъ въ острова, потомъ въ холодно-блѣщающія озера и, наконецъ, тамъ, куда хватаетъ взоръ, лежитъ океаномъ, морознымъ, страшнымъ, неприступнымъ.

Оттуда срываешь, съ настѣ, колкія иглы и проносить ихъ не видимъ у лицъ, освѣжая запаренное, измученное тѣло.

На одномъ изъ легкихъ поворотовъ Асатуръ насторожился и свистнулъ такъ, какъ охотникъ собакамъ.

— Что вы?

— Видишь?

— Нѣтъ, ничего не вижу.

— Человѣкъ наверху.

Я не могъ различить ничего, кроме пятнышка, и только чрезъ полчаса не столько зрѣніемъ схватилъ, сколько понялъ, что пятнышко тоже устало движется вверхъ. Человѣкъ!

У меня забилось сердце.

Грѣло лѣтнее солнце среди облачного раздолья снѣговъ. Хрустѣть мерзлая тропа, поеть камень, падая по ледяной, отзывчивой коркѣ. Дззз...

Теперь мы, кажется, на мѣстѣ вулкана или немного ниже. Здѣсь стекала внизъ и дымилась лава, какъ тѣ вѣчальные факелы въ узенькой улицѣ. Теперь на пемзѣ, что ли, лежать снѣга. Не вспыхнетъ ли огонь, не растопитъ ли старость, не сожжетъ ли сѣдни, не освѣтитъ ли рощу боговъ, брошенныхъ хитрыми людьми?

Вотъ онъ — человѣкъ наверху... Теперь ясно вижу. Черезъ часъ будемъ говорить съ нимъ. Неужели эта точка дрогнетъ на высотѣ, страдаетъ отъ голода и одночества, скверныхъ мыслей, непрочныхъ мечтаний?.. Увидимъ!

(Окончаніе слѣдуетъ).

Сколько нужно земли, чтобы разбогатѣть?

(Сельское хозяйство на $\frac{1}{6}$ десятины).

Очеркъ П. А. Антропова.

Случай интенсивнаго хозяйства въ Россіи крайне рѣдки. Обилие земли, недостатокъ сельскохозяйственныхъ машинъ и бѣдное, малокультурное населеніе — плохое для него союзники. Но тѣмъ пріятнѣе отмѣтить встрѣчающіеся и у насъ случаи превосходнаго интенсивнаго хозяйства.

Самолюбіе мое, какъ русскаго, нѣсколько уязвлено только тѣмъ обстоятельствомъ, что хозяйство, о которомъ я пишу, вѣдется не русскимъ, а нѣмцемъ на русской землѣ.

Путешествуя по Кавказу, я набрѣль, на краю Желѣзноводскаго парка, на замѣчательно интересное хозяйство трудолюбиваго нѣмца-колониста. Лѣтъ 25 тому назадъ ему удалось приобрѣсти въ собственность отъ казны небольшой ключокъ земли — всего 400 кв. саж., т.-е. шестую часть десятины.

На купленномъ Карломъ Ивановичемъ участкѣ было все, за исключениемъ почвы. Зѣбцы росли, въ густой чащѣ, переплетаясь вѣтвями, дубы, букъ, липа, ясень и бузина съ плющемъ и другими высохшими породами. Огромные камни преграждали дорогу, и, казалось, человѣческая нога никогда не ступала въ эти непроходимыя дебри. Миѣ еще въ этомъ году пришлось слышать серьезныя увѣрѣнія старожиловъ этой мѣстности, что лѣтъ 25 тому назадъ на Желѣзной горѣ, какъ и на рядомъ стоящей съ ней Змѣиной, водились трехсаженные змѣи. Желѣзная

гора въ нижней своей части теперь представляетъ роскошный паркъ; верхняя же покрыта еще густымъ дѣдичнымъ лѣсомъ. Змѣиная же гора и теперь остается необитаемой и пользуется дурной славой. Надо было имѣть много смѣлости, энергіи и увѣренности въ своихъ силахъ, чтобы, безъ всякаго капитала и полагаясь только на свои сильныя руки, вступить въ борьбу съ природой. И она не только вышла изъ борьбы побѣдителемъ, но еще заставила природу сдѣлаться своей вѣрной и щедрой даницей, вскоромившей и обогатившей его семью.

Когда, пройдя безпорядочно и дико растущій паркъ (правильнѣе, просто лѣсъ), вы вступите на цвѣтущій участокъ Карла Ивановича, — вамъ тотчасъ же бросится въ глаза замѣчательная во всемъ планомѣрность, расчтанность и богатая производительность каждой лади земли. Все это видно на планѣ (стр. 503).

Прямо у входа стоять деревянный домикъ въ шесть комнатъ, онъ сдается внаемы. Нѣсколько шагами дальше пемѣщается небольшой, чистенький, двухъэтажный домикъ самого хозяина. Подъ домомъ устроено помѣщеніе для двухъ коровъ, которымъ пасутся на станичномъ пастбищѣ.

Въ десяти шагахъ отъ домика устроена высокая и просторная бесѣдка изъ винограда въ 3—4 кв. саж. — мѣсто сбора, работы и отдыха для семьи хозяина.

Вокругъ этихъ построекъ расположены фруктовый садъ изъ яблонь, грушъ и сливъ. Между фруктовыми деревьями, посаженными въ шахматномъ порядке, цвѣтутъ кусты розъ, высотою въ сажень. За садомъ находится огородъ, засаженный любимыми на Кавказѣ овощами: помидорами, кабачками, болгарскимъ перцемъ и проч. Налѣво отъ входа посажены кусты малины, смородины, крыжовника и киззия. За этими кустами стоять пасѣка изъ 60 ульевъ. Такъ какъ недостатокъ мѣста не допускалъ обыкновенной разстановки ульевъ, то расчетливый хозяинъ устроилъ пасѣку совершенно новымъ способомъ. У него ульи стоятъ въ два яруса, стѣнка къ стѣнѣ, при чемъ, конечно, второй ярусъ нѣсколько отодвинутъ назадъ (на поль-аршинъ).

Птичьяго царства здѣсь тоже достаточно. Между птицами особенно замѣчательны двѣ совершенно ручныя умныя утки.

— Это мои сбаки! — сказалъ мнѣ Карлъ Ивановичъ, показывая па утокъ, — онѣ цѣлый день неотлучно слѣдуютъ за мной, и я ихъ пріучилъ помогать мнѣ въ моихъ работахъ.

Мое недумѣніе по поводу того, какъ это можно пріучить утокъ работать, скоро разсѣялось, когда мы съ хозяиномъ на правились къ розовымъ кустамъ. Утки тотчасъ же послѣдовали за нами и съ открытыми ртами ожидали подачки жуковъ, сбрасываемыхъ Карломъ Ивановичемъ съ розъ. Утки приносятъ огромную пользу саду, пожирая вредныхъ жуковъ, личинокъ и гусеницъ. Точно сознавая важность занимаемаго ими въ хозяйстве положенія и неотступно слѣдя за хозяиномъ, онѣ ни передъ кѣмъ не сворачивали стъ дороги.

Когда мы вошли въ садъ, воздухъ былъ напоенъ ароматомъ цвѣтующихъ розъ и плодовыхъ деревьевъ. Запахъ цвѣтовъ привлекалъ сюда множество бабочекъ и жуковъ самыхъ причудливыхъ формъ и цвѣтовъ. Предъ нами были груды только что сорванныхъ розъ — особенно пышныхъ и предназначеннаго въ продажу были уложены въ корзины, а другія, болѣе скромныхъ, лежали на травѣ. Здѣсь впервые на Кавказѣ мнѣ пришло увидѣть рѣдкіе сорта розъ безъ шиповъ, трудной культурой которыхъ справедливо гордится Карлъ Ивановичъ. Когда я спросилъ Карла Ивановича, что онѣ дѣлятъ съ отцвѣтающими розами, онъ далъ мнѣ прозаическій отвѣтъ: — они кормятъ ими коровъ.

Пчелы кружились вокругъ меня и ползали по моему костюму, но кавказская пчела добрая и жалитъ лишь въ исключительныхъ случаяхъ самообороны. Я смѣло слѣдовала за хозяиномъ, и, несмотря на то, что мы проходили сквозь цѣлую тучу пчелъ, ни одна изъ нихъ меня не тронула.

Несмотря на то, что обойти весь участокъ было недолго, впечатлѣніе получалось такое, какъ будто я побывала въ огромномъ благоустроенному старомъ саду. Во всемъ видна была на рѣдкость умѣлая и трудолюбивая рука.

Хозяинъ, угадавъ мои мысли, сказалъ мнѣ:

— Здѣсь былъ дикій лѣсъ! Все, что вы видѣли, создалъ я самъ вѣтъ этими руками! — И онъ показалъ мнѣ свои загорѣлые мозолистыя руки. — Богъ благословилъ меня обилемъ плодовъ, какъ вы видите, а я ими вскориши и поднялъ на ноги свою семью, но если бы вы знали, какого труда все это стоило! Теперь у меня взрослый сынъ, и я могъ бы уйти на покой, но я не могу не работать, — привычка жизни...

И глаза старика засвѣтились счастливой улыбкой победителя, свѣтлой радостью завершенного труда. И дѣйствительно, победа его надъ дикой природой была настолько велика и очевидна, что ею могъ бы гордиться не только простой крестьянинъ-колонистъ, но и учѣный агрономъ.

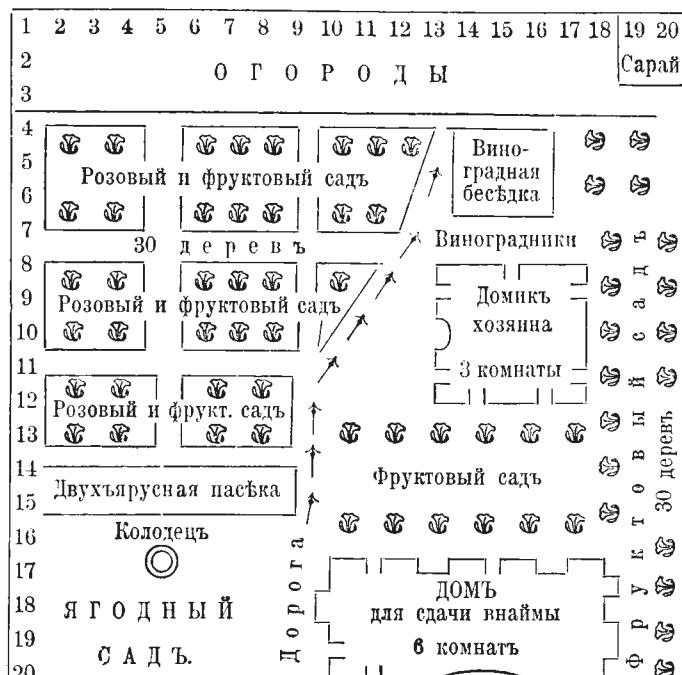
Интересно, однако, сдѣлать хотя бы приблизительный подсчетъ того, что давало Карлу Ивановичу его крошечное хозяйство. Мы указываемъ цѣны, существовавшія въ мирное время. У Карла Ивановича двѣ молочныя коровы, приносящія ежедневно 40 бутылокъ молока. При существовавшей цѣнѣ по 20 коп. за бутылку за три только лѣтнихъ мѣсяца онъ получалъ 720 руб. Вычитая изъ этой суммы на содержаніе коровъ по 20 руб. въ мѣсяцъ, получимъ чистаго дохода отъ продажи молока 600 руб. Осеню и зимой избытокъ молока обращается въ масло, доходъ съ котораго, за покрытіемъ расходовъ по содержанію коровъ, составляетъ чистую прибыль хозяйства.

Далѣе интересно отвѣтить на вопросъ: что можетъ дать хозяину даже крошечный фруктовый садъ?

Здѣсь, конечно, большую роль играетъ урожай.

На Кавказѣ неурожай фруктовъ, въ виду отличныхъ климатическихъ и почвенныхъ условій, очень рѣдки.

Въ сѣверныхъ губерніяхъ и въ средне-черноземной полосѣ Россіи лѣто часто бываетъ холодное и дождливое, съ числомъ теплыхъ дней ниже средняго, на Кавказѣ же въ большинствѣ случаевъ повсемѣстно стоитъ жаркая погода, благоприятная для фруктовъ. Даже въ концѣ сентября жара достигаетъ 25° Р.



Одна квадр. сажень =

Благодаря этому, на сѣверномъ Кавказѣ могутъ произрастать абрикосы и нѣжные сорта грушъ и яблокъ.

Не то мы наблюдаемъ въ садахъ юга. Нѣкоторые сорта яблонь (ранеть) въ Псковской губерніи даютъ плодъ величиною въ некрупный картофель, и даже хорошо акклиматизированная антоновка во многихъ мѣстахъ въ концѣ августа снимается нездѣрѣй.

У Карла Ивановича 60 превосходно содержимы груши ихъ яблонь, дающихъ ежегодно не менѣе 60 пудовъ плодовъ высокаго качества. Считая по мѣстнымъ, сравнительно высокимъ цѣнамъ, въ среднемъ по пяти руб. за пудъ, получимъ чистаго годового дохода 300 руб.

Въ этомъ же саду имѣется до 250 кустовъ розъ. При высокой культурѣ этого сада съ неурожаемъ считаться почти не приходится. Если каждый кустъ дастъ въ теченіе лѣта только 50 розъ, то весь сборъ составить 12.500 штукъ розъ. Часть сбора идетъ въ кормъ скоту, другая, лучшая, продаются въ паркѣ по пяти кош. за штуку. Если допустить, что изъ всего сбора только пятая часть (2.500 шт.) будетъ продана, то и тогда хозяинъ съ розовымъ садомъ получить дохода 125 руб. Ягоды, виноградъ и овощи въ продажу не идутъ.

Остановимъ теперь вниманіе читателя на доходъ съ пчеловодства. Какъ известно, кавказскій медъ обладаетъ превосходными качествами и по справедливости признанъ лучшимъ въ Россіи.

Доходность пчеловодства, выражющаяся въ процентахъ на затраченный капиталъ, различными авторами опредѣляется весьма различно.

Бутлеровъ даетъ 20—30%, Писаревъ 30%, а Цесельскій 100% (валовой доходъ). Чѣфрановъ средній доходъ съ улья въ Россіи, при современныхъ способахъ веденія пчелъ, опредѣлять только въ 1 р. 67 коп. въ годъ.

При опредѣленіи доходности пасѣки по системѣ Чѣфранова найдемъ, что 60 ульевъ принесутъ годового дохода 100 р. 20 к. Въ дѣйствительности на Кавказѣ доходъ отъ пчелъ гораздо значительнѣе.

Какъ видимъ изъ приведенного обзора крошечнаго хозяйства на одной шестой десятинѣ, оно даетъ дохода только отъ сада съ пасѣкой — 525 руб., а съ молочными промыслами — 1.125 руб. Но это еще не все! Отъ сдачи внаемы домика изъ шести комнатъ, считая по 25 руб. за комнату, получается за сезонъ въ три лѣтніяя мѣсяца 450 руб. Такимъ образомъ всего дохода Карла Ивановича извлекается изъ своего участка 1.575 рублей. Опустивъ послѣдній доходъ, какъ исключительный и условный, все же 1.125 руб. дохода съ 1,6 десятины, что составляетъ 6750 р. съ одной десятины, надо считать поразительнымъ.



Эмблемы, аллегории и карикатуры великой французской революции.

Очеркъ профессора Н. И. Карцева.

(Съ 27-ю рисунками).

I. Эмблемы и аллегории.



Рис. 1.

Огъ великой французской революции осталась масса документовъ въ широкомъ смыслѣ этого слова, документовъ писанныхъ и печатныхъ, хранящихся въ архивахъ и библиотекахъ и разрабатываемыхъ многочисленными историками этой эпохи. Къ числу этихъ источниковъ для познаній эпохи относится также и большой графический материалъ, я разумѣю подъ нимъ все, что тогда было нарисовано и притомъ воспроизведено при помощи гравировального искусства и литографіи, или осталось въ неизданномъ видѣ. Подобно тому, какъ и многое изъ того, что было тогда написано и напечатано, впослѣдствіи вновь издавалось, точно такъ же воспроизводились впослѣдствіи и рисунки эпохи: портреты и изображенія разныхъ сценъ революціи, а также всякия эмблемы, аллегоріи и карикатуры, въ которыхъ запечатлѣлся общий духъ революціи и отразились ея отдельные явленія и настроенія. Въ настоящемъ очеркѣ читатель найдетъ наиболѣе важныя свѣдѣнія, касающіяся этого предмета, и рядъ иллюстрацій эмблематического, аллегорического и карикатурного содержанія*).

Эмблемами, какъ известно, называются условные изо-



Рис. 2.

* По истории карикатуры въ эпоху великой французской революции есть страницы въ общихъ исторіяхъ карикатуры (Champfleury, Grand-Carteret „Les moeurs et la caricature en France“ и др.) съ образцами современныхъ карикатур, во многихъ изъ нихъ воспроизводятся и въ такихъ письменническихъ изданияхъ, какъ извѣстный альбомъ Дайо (Dauvois), или въ иллюстрированныхъ исторіяхъ революціи (напр., въ „Histoire socialiste“ Жореса, въ итм. и рус. переводахъ Кармеля и т. п.).

броженія, — которыемъ разъ на-
всегда приданъ опредѣленный
смысль, не под-
лежащей какимъ-либо но-
вымъ толкова-
ніямъ, чѣмъ онъ
отличаются отъ
символовъ, так-
же воплощаю-
щихъ въ себѣ
идеи, но допус-
кающихъ при
этомъ толкова-
нія, независи-
мые отъ намѣре-
нія, какое было
у художника.

Первоначально эмблемами назывались одни только рельефные украшения на разныхъ предметахъ, притомъ сдѣланныя изъ другого материала, но потомъ название это распространилось и на рисунки. Аллегорія, равнымъ образомъ, есть видъ иносказанія, могущій быть и словеснымъ (что недоступно для эмблемы), но также бывающей и изобразительной, отличаясь отъ эмблемы только большою сложностью композиціи: это уже не изображеніе отдельного предмета, а цѣлой сцены. Въ эпоху революціи вообще очень любили эмблемы и аллегорическія картины, нѣрѣдко переходившія въ карикатуры,

подобно тому, какъ и портреты часто пре-
вращались въ шаржи. Въ области словес-
ныхъ выражений мысли эмблемамъ со-
ответствовали девизы, аллегоріямъ — нраво-
ученія, карикатурамъ — сатиры, и всего
этого въ эпоху революціи было нарисо-
вано и сочинено великое множество, при
чемъ новые эмблемы должны были, между
прочимъ, замѣнить собою прежніе монар-
хические и аристократическіе
гербы и другие условные знаки
„старого порядка“.

Вотъ нѣсколько наиболѣе популярныхъ въ то время эмблемъ. Ватерпасъ, при помо-
щи которого плотники уста-
навливаютъ горизонтальный
уровень, былъ эмблемою ра-
венства, циркуль, отмѣривающій
равная пространства, —
справедливости, пучъ прутьевъ
съ скирою — силы, образуемой
единицемъ, отвѣсь — тоже спра-
ведливости и т. п. (рис. 3). Охотно изображали еще пику,
оружіе свободного человѣка,
пчелиный улей, эмблему тру-
долюбія, и т. п. (рис. 1—3). Свободу изображали въ видѣ моло-
дой женщины, держащей сло-
манное ярмо и пику со вздѣ-
тымъ на нее фригійскимъ кол-
пакомъ (рис. 2). Равенство и
братство тоже представлялись
въ видѣ женскихъ фигуръ со
своими атрибутами (ватерпа-
сомъ или отвѣсомъ и пукомъ
прутьевъ). Такими же жен-
скими фигурами были: Сила

въ дубовомъ вѣнѣ и съ палицею въ рукѣ, Побѣда съ
вѣнками, пальмовыми вѣтвями и трубами. Истина съ зерка-
ломъ въ рукѣ. Законъ представляли въ видѣ обнажен-
наго и крылатаго генія, совсѣмъ притомъ еще юнаго и
съ пламенемъ на макушкѣ. Послѣ 9-го термидора въ ходъ
пошли Фортуна на катящемся колесѣ: она начала даже какъ бы



Рис. 4.

вытеснять другія эмблемы, пока въ наполеоновскую эпоху не стали царить эмблемы преимущественно славы. Иногда этимъ условнымъ изображеніямъ придавался комический оттѣнокъ. Купидонъ или Амуръ прежнихъ художниковъ особенно часто превращался къ „Купидона, национального тамбуръ-мажора“, т.-е. барабанщика, въ „Амура-Волонтера“, т.-е. добровольца, въ „Амура-Патріота“, въ „Революціоннаго Амура“ и т. п. Очень распространено было изображеніе „Амура-Саньюлота“; вокругъ него было двустишіе, скрытый смыслъ котораго основанъ на игрѣ словъ: „когда Амуръ въ колпакѣ оказывается безъ штанышекъ, свобода ему нравится, и онъ дѣлаетъ изъ нея (или изъ нихъ) свой конекъ или свою игрушку, а также, быть-можетъ, дурацкій колпакъ *).“

Революціонными эмблемами принято было украшать ювелирныя вещи, жетоны, посуду и проч. и проч., а также изображать ихъ на бланкахъ, на билетахъ, на объявленіяхъ и вообще, где только представлялась возможность. Между прочимъ, игральныя карты во время революціи замѣнены были новыми, на которыхъ тоже были разныя революціонныя эмблемы. Такъ, въ картахъ одного образца короли были замѣнены „философами“ (Вольтеромъ, Руссо, Лафонтеномъ и Мольеромъ), дамы—республиканскими добродѣтелями, валеты—республиканскими реквизиціонерами, но, кажется, въ дѣйствительности такихъ картъ въ употреблениіи не было. Въ ходу были карты, придуманные гражданами Жюлемъ и Дютуромъ, съ „законами“ вместо туза, „геніями“ вместо королей, „свободами“ вместо дамъ и „равенствами“ вместо валетовъ: были напримѣръ: „законъ червей“, „сво-

бода трефъ“, „геній бубенъ“, „равенство пикъ“ и т. д. Въ ноябрь 1793 г. артисты французского театра поднесли Коммунѣ колоду картъ, въ которой королей замѣняли „мудрецы“, дамъ—неизбѣжная „добродѣтели“, „а тѣ“—прибавилъ предѣдатель, принимая подарокъ, — которые будутъ держать эти карты въ рукахъ, сами будуть являться пороками“. Въ Соборіи эта шутка вызвала смѣхъ и рукоплесканія. Наибольшую известностью пользовались карты по рисункамъ знаменитаго живописца Давида (рис. 5), который въ данномъ случаѣ исполнилъ только порученіе правительства: королей онъ замѣнилъ геніями войны, искусства, торговли и мира, дамъ—женскими фигурами (свободы религіи, печати, промышленности и брака), валетовъ—юношами, олицетворявшими четыре вида равенства (обязанностей, состояній,расы и правъ). Замѣнившіе королей геніи, вместо коронъ, имѣли на головахъ фригийскіе колпаки, какъ это и полагалось по духу времени, когда этотъ головной уборъ сдѣлался признакомъ республиканизма.



Рис. 5.

*). Quand l'Amour en bonnet se trouve sans culotte, la liberté lui plaît, il en fait sa marotte. En peut-être s'oppose à la culotte et à la liberté, la marotte imberbe ayant un sens: coquille ou jouet et d'utile.

Новые революционные эмблемы во многихъ случаяхъ играли роль прежнихъ гербовъ. Когда, напримѣръ, городъ Парижъ былъ раздѣленъ въ 1790 году на сорокъ восемь секцій (участковъ), пользовавшихся извѣстнымъ самоуправлениемъ, каждая секція присвоила себѣ особую эмблему, а также тѣтъ или другой почуярный девизъ *). Эти эмблемы и другие рисунки воспроизводились на плакатахъ, билетахъ и т. п. Такъ, секція Вильгельма Телля пользовалась изображеніями этого легендарного героя, равно какъ сцены, когда Телль сбивалъ стрѣлой яблоко съ головы своего сына, а секція Музія Сцеволы—друмы рисунками-медальонами, изъ которыхъ на одномъ было изображено убіеніе этимъ миѳическимъ римскимъ республиканцемъ этрускаго царя Порсена, а на другомъ—профиль Музія между изображеніями книжала и кисти руки, положенной въ огонь (подвигъ Музія). Такимъ изображеніями республиканскихъ героевъ древняго и новаго мира думали воспитывать народъ въ чувствахъ гражданской доблести и любви къ отечеству, идея котораго, какъ извѣстно, играла большую роль у тогдашнаго поколѣнія французовъ.

При земль господствѣ классицизма, которое характеризуетъ литературу и искусство XVIII вѣка, художники революціи охотно пользовались образами античной миѳологии или вообще классического искусства. Нужно было, напримѣръ, на аллегорической картинкѣ изобразить Время: для этого былъ готовый образъ, и на сцену являлся

*). См. мою замѣтку (съ иллюстраціями) „Клише парижскихъ секцій въ времена великой революціи“ въ „Рус. Библиографѣ“ за 1914 годъ, кн. VII.



Рис. 6.

классическій Хроносъ въ французской перелицовкѣ и со своими атрибутами: песочными часами, косою (для „жатвы жизни“) и молоткомъ (эмблемой разрушенія), какъ мы это видимъ на воспроизведеніи нами картинкѣ. Олицетворенія понятій вообще давались въ томъ же условно-античномъ стилѣ, какъ это было на той же картинкѣ, где мы видимъ природу, поверженную на землю Тиранніей, или Дискордію (раздорь), вооруженную факеломъ (конечно, для поджога, а не для освѣщенія) и змѣями. Костюмы и вооруженіе на иносказательныхъ рисункахъ тоже являются подражаніями классическими образцами. Не нужно забывать, что и въ политическихъ своихъ проявленіяхъ революція вдохновлялась примѣрами античнаго республиканизма, вслѣдствіе чего такъ охотно и воспроизводились фигуры такихъ героевъ древности, какъ Музій Сцевола или Брутъ.

Очень нерѣдко отдѣльныя книги иллюстрировались аллегорическими картинками. Приводимъ одну такую гравюру (рис. 7), приложенную къ появившейся въ 1791 году книжѣ Лавиконтери „Преступленія королей Франціи отъ Хлодвига до Людовика XVI“. Въ ней на 310 страницахъ даны характеристики шестидесяти двухъ королей Франціи, включая сюда и Людовика XVI, который тогда еще царствовалъ, и къ которому авторъ обращается съ предостереженіемъ, чтобы онъ не былъ впредь похожъ на своихъ предшественниковъ, появился добродѣтельнымъ и уважающимъ свободу, ибо иначе обрушится его тронъ. Содержаніе книжки очень любопытно, потому что она представляетъ собою одну изъ ранніхъ публикацій въ республиканскомъ духѣ, „посвященную тѣямъ (mânes) Катона и Брута“: книжка вышла въ свѣтъ еще до принятия Людовикомъ XVI конституціи 1791 года и особенно заслуживаетъ вниманія вслѣдствіе необычайной популярности, какую приобрѣлъ ея авторъ, благодаря ея появлению. Между прочимъ, въ 1792 году Лавиконтери былъ въ награду избранъ въ члены Конвента, где занялъ мѣсто среди монтаньяровъ. Воспроизведенная у насъ гравюра изъ его книги очень характерна для эпохи. Приводимъ въ переводѣ и данное въ книжѣ ся объясненіе (explication de la gravure):

„Подвергшаяся насилию природа падаетъ на ступеньки дворца подъ мечомъ тиранніи. Тщетно пытается природа подняться и избѣжать яости тиранніи: фанатизмъ съ крестомъ въ рукахъ и раздоръ, вооруженный факеломъ и змѣями, прибѣгаютъ на помощь къ этому неумолимому чудовищу. Позади рабы смиренно подносятъ короны и скіпетры, а одинъ изъ нихъ повергъ себя при этомъ въ прахъ. Вдали видны ужасы войны и голода. Война представлена солдатами, избивающими матерей, дѣтей, стариковъ у пороговъ ихъ хижинъ. Голодъ изображенъ въ видѣ пожираемыхъ пламенемъ сноповъ. Въ глубинѣ дворца, за торжественнымъ столомъ королей, ихъ куртизаны и ихъ фаворитки предаются наслажденіямъ, а солдаты отгоняютъ народъ. Дальше крѣпость, сооруженная деспотизмомъ и угнетеніемъ, угрожаетъ каждому, кто вздумалъ бы жаловаться, и на самомъ дѣлѣ тамъ уже влекутъ въ тюрьму гражданъ. Время, разрушающее дворецъ королей, доказываетъ, что рано или поздно излишества злоупотребленій и угнетенія поднимаютъ восстанія народовъ“. Внизу мы читаемъ: „какимъ чудовищамъ, великій Боже, ты отдаешь вселенную!“



Рис. 7.



Рис. 8.



Рис. 9.

II. Карикатуры 1789—1794 годовъ.

Братья Гонкуры въ своей „Истории французского общества во время революции“ высказались не въ очень выгодномъ смыслѣ о карикатурахъ той эпохи, не находя въ нихъ ни сатирической силы, ни мастерства рисунка, ни смѣлости и изобрѣтательности выдумки. Эти карикатуры казались имъ чѣмъ-то въ родѣ плохихъ водевильныхъ припѣковъ или уличныхъ шутокъ, подобраныхъ шаблонными рисовальщиками, которые постоянно копировали самихъ себя и другъ друга. При старомъ порядкѣ во Франціи политическая карикатура не могла получить развитія, и поэтому у французовъ не выработалось ни широкаго размаха сатирическихъ изображеній ни умѣнія весело смѣяться, вызывая тѣмъ самымъ столь же веселый смѣхъ и у другихъ. Французская карикатура временъ революціи была, прежде всего, оружіемъ въ политической борбѣ, средствомъ наглядно, графически, высказать тогъ или другой, всегда притомъ партійный взглядъ на событие, на обстоятельства и на людей переживавшагося момента. Съ художественной стороны рисунки

могли быть плоховаты и даже мало остроумны, но вся соль заключалась не въ нихъ самихъ, а въ томъ, какими словесными объясненіями они сопровождались. Изготавливались карикатуры въ обоихъ лагеряхъ, т.-е. и въ „национальномъ“ и въ „роялистическомъ“, когда еще была нѣкоторая свобода печати. Чѣмъ ближе время подвигалось къ террору, сдѣлавшему свободу печати во Франціи невозможной, тѣмъ все болѣе и болѣе карикатура мельчала и опускалась, потому что однѣмъ стали зажимать ротъ, другое и сами не осмѣливались задѣвать людей, стоявшихъ у власти. Знатоки дѣла отмѣчаютъ еще и другое обстоятельство — технический упадокъ и рисунка и гравированія по мѣрѣ того, какъ за рисованіе брался всякий, кому только не было жѣнъ, и какъ возрасталъ массовый спросъ на произведения этого рода. Тонкіе рисунки первого времени, часто раскрашенные очень изящно, уступили потомъ мѣсто грубому лубку, остроуміе — браньнымъ словамъ и непристойностямъ *).

Какъ бы, однако, ни отѣснялись карикатуры временъ революціи со стороны рисовального искусства и остроумія, всѣ онѣ представляютъ собою цѣлую сатирическую исторію эпохи. Всѣ сколько-нибудь выдающіеся тогдашніе дѣятели дѣлались предметомъ карикатур или шаржей, всѣ особенно важныя события — предметомъ аллегорическихъ или сатирическихъ рисунковъ.

Особенно было въ началѣ революціи популярно все, что касалось взаимныхъ отношеній старыхъ трехъ сословій. Ихъ неравенство аллегорически изображено было въ цѣломъ рядѣ ри-

*.) Многія карикатуры отличались грубостью, дѣлающею ихъ прямо жеприятными и потому неудобными для воспроизведенія.



Рис. 10.



Рис. 11.

сунковъ. Три сословія їдуть въ собраніе Генеральнихъ Штатовъ (рис. 6): дворянинъ со львомъ и духовна осoba съ волкомъ сидять въ высокомъ экипажѣ, а человѣкъ изъ третьаго сословія сидитъ на козлахъ, имѣя подъ собою овечку. Очень популярна была картинка, изображающая испугъ знатнаго господина и священника при видѣ „пробужденія третьаго сословія“ *).

Уравненіе числа представителей третьаго сословія въ Генеральнихъ Штатахъ съ числомъ духовныхъ и дворянскихъ депутатовъ было отмѣчено картинкой, на которой министр Неккеръ ставилъ три сословія на одинъ уровень или выравнивалъ ихъ. Въ духѣ знаменитой брошюры аббата Сьейеса была картинка съ подписью: „я изъ третьаго сословія; я депутатъ третьаго сословія; quid sum? **). Я—гражданинъ“. Объясненіе гражданскаго равноправія въ ночномъ засѣданіи 4-го августа было комментировано рисункомъ (рис. 8), изображающимъ



Рис. 12.

вались сидящими въ кофейной за общимъ столикомъ. Благодаря тому же самому единенію сословій обычный танецъ вдвое (pas de deux) превратился въ „новый национальный французскій танецъ втроемъ“ (pas de trois), хотя подъ однимъ рисункомъ такого содержанія и стоялъ скептический вопросъ: „будеть ли такъ или не будеть продолжаться?“

Извѣстно, что такъ не продолжалось, и позднѣйшіе рисунки, уже начиная съ 1790 года, нападаютъ на „аристократовъ“ и на неприсажныхъ священниковъ. Главнымъ образомъ доставалось эмигрантамъ, которые покидали родину, чтобы интриговать противъ отечества при иностраннѣхъ дворахъ *).

*.) См. рис. на стр. LVI моей „Великой французской революціи“.



Рис. 13.

дворянинъ и духовное лицо, которые какъ бы собираются помочь третьему сословію нести бремя государственныхъ налоговъ, символизированныхъ въ видѣ шара, на которомъ изображены стилизованный ліліи королевскаго герба. Раньше аналогичной картинкой подчеркивалось, что платить налоги только третье сословіе. Медовый мѣсяцъ революції отразился на цѣломъ рядѣ рисунковъ на тему примиренія или солидарности сословій. О содержаніи многихъ можно судить только по тому, что подъ ними подписывалось, но были и сами по себѣ очень краснорѣчивые рисунки, когда, напримѣръ, три головы покрывала одна и та же шапка, или когда за однимъ и тѣмъ же цѣломъ изображались представители трехъ сословій (рис. 9), или же послѣдніе оказы-

*.) См. рис. на стр. LV моей „Великой французской революціи“. (Приложение къ „Нивѣ“ с. г.).

**) Что я такоѣ? О брошюре Сьейеса см. стр. 106 моей „Великой французской революціи“.



Рис. 14.

Въ карикатурахъ на духовенство сначала большою частью воспроизводились очень старыя насмѣшки, мотивы народного юмора и литературной сатиры: монахъ возвращается въ свою обитель послѣ сбора подаяній съ женщиной въ оканѣ соломы, которую онъ несетъ съ собою; духовные отцы съ китовыми чревомъ и жаждой Бахуса угощаются всяческими яствами и питьями и т. п.; не новымъ сюжетомъ было и выжиманіе ихъ жира, пріуроченное къ секуляризациіи имущество духовенства (рис. 12). Но во всемъ этомъ



Рис. 12.

клоненіемъ передъ гильотиной, нужно обращаться не къ французскимъ, а къ иностраннѣмъ карикатурамъ того времени, главнымъ образомъ, къ англійскимъ и нѣмецкимъ *).

На тему новой конституції также было не мало рисунковъ. На одномъ изъ нихъ (рис. 15), какъ это тутъ же пояснено надписью, "Некоторъ даетъ человѣку изъ третьаго сословія снять мѣрку для нового одѣянія Франціи". Было время, когда въ высшей степени была популярна конституціонная монархія. На одной большой картинѣ была воспроизведена



Рис. 16.

было сначала большие простые насмѣшки, нежели явной враждебности, которая проявилась въ многочисленныхъ карикатурахъ, вызванныхъ отказомъ большей части духовенства принести конституціонную присягу, и поддержкою, какую неприязненные священники нашли въ папѣ. Въ этой серии рисунковъ уже были прямые угрозы, которыя, къ сожалѣнію, перешли потомъ изъ картиночекъ въ самую жизнь: въ нихъ духовенство обвинялось въ возбужденіи гражданской войны, и одною изъ ихъ темъ было изображеніе способовъ заставить непокорныхъ приносить установленную присягу. Новѣйшая иллюстрированная изданія часто воспроизводятъ такой рисунокъ (рис. 13): аббатъ съ завязанными глазами натыкается на своеѣ пути на веревочную петлю, спускающуюся съ горизонтальной поддержки уличного фонаря. Для объясненія этого рисунка стоять только вспомнить столъ часто раздававшійся во время революціи страшный крикъ: "на фонарь!" **). На контэр-революціонныхъ (между прочимъ, и иностраннѣхъ) карикатурахъ вражда крайнихъ революціонеровъ къ духовенству и къ самой церкви нашла очень яркія изображенія въ рисункахъ, съ цѣлью внушать отвращеніе къ группѣ и дикости, проявлявшимся въ этой борьбѣ съ католицкою церковью. Чтобы составить себѣ понятіе о томъ, какія чувства вызывалъ къ себѣ терроръ у людей, не вышедшихъ заряженными пре



Рис. 17.

СА Н'ИРА ПАС | СА ИРА



Рис. 18.

евангельская нагорная проповѣдь, при чемъ Спасителю влагались въ уста такія слова: "возлюбите короля, какъ собственное свое сердце, и чтите декреты мудрецовъ, которыхъ онъ собралъ ради вашего счастья".

Но скоро начались политическая тренія, своего рода тяжба монархіи и демократіи.

Вотъ рисунокъ (рис. 16), на которомъ Людовикъ XVI представленъ играющимъ въ карты съ народомъ въ видѣ простолюдина. Внизу написано: "я енесь черві, а у него пики; мнѣ капутъ" **), такъ что Капетъ превратился въ капутъ. Еще позднѣе на одномъ рисункѣ (рис. 17) Людовика XVI въ коронѣ и порfirѣ выпираетъ съ его мѣста республика во фригийскомъ колпакѣ, а объясненіе находится въ стоящихъ внизу словахъ, которыя можно передать по-руссски такъ: король какъ бы гово-

*) Извѣстны англійскіи карикатуры Джилльеря: "Вечерняя трапеза въ санкюлотской семье послѣ дневной работы", изображенія, какъ пиршество каннибаловъ, и "Проціаде съ вѣрой, правдой, законностью и другими иллюзіями непросвещенныхъ умовъ", где бичуется французское "безбожіе".

**) Собственно: je suis capot, я не взялъ ни одной вѣтки. Для сохраненія игры словъ мы несколько измѣнили фразу.

рить, что „не выйдетъ“, а республика возражаетъ, что „выходить“. Напомнимъ, что это „выходить“ или „пойдетъ“ (ça ja) дало имя одной революціонной пѣсень съ такимъ припѣомъ ^{**}).

Карикатурныхъ изображеній Людовика XVI было великое множество, при чмъ на первыхъ порахъ были въ ходу еще медали и гравюры въ честь „короля-освободителя“. Сначала болѣе добродушно, чмъ зло, подшучивали надъ его страстью хорошою покушать и изображали его въ видѣ знаменитаго своимъ обжорствомъ Гаргантюа изъ сатирическаго романа Рабле, но потомъ, послѣ попытки бѣгства въ 1791 г., рисунки стали дѣлаться одинъ оскорбительнѣе другого, когда и самъ король и члены его семьи изображались уже въ видѣ разныхъ животныхъ (рис. 19). Даже послѣ казни его не оставляли въ покой и продолжали изображать въ томъ же родѣ. Въ наиболѣе грубыхъ картинахъ фигурировала и отрубленная голова Людовика XVI. Пожалуй, еще большая иенависть проявлялась къ Марин-Антуанетт, которая являлась на рисункахъ того времени въ образахъ тигрицы, волчицы, пантеры (рис. 18). На одномъ рисункѣ мы видимъ королеву въ роли поджигательницы Национальнаго Собрания ^{***}.

Иначе изображался Людовикъ XVI на роялистическихъ картинахъ. Даже еще при его жизни былъ сдѣланъ рисунокъ, подъ названіемъ „Новаго Голгоѳа“, на которомъ король былъ представленъ распятымъ, а рядомъ съ нимъ Робеспьеръ, верхомъ на конституціи, подносящий ему „губку, напитанную желью цареубийственныхъ націй“. Нѣкоторые рисунки, вызванные казнью Людовика XVI, были какъ бы своего рода иконографическою школою. Если якобинцы пустили въ ходъ „приемъ, оказанный Людовику Капету въ адъ большими числомъ бывшихъ коронованныхъ разбойниковъ“, то роялисты отвѣтили на это „приемомъ, встрѣченнымъ Людовикомъ XVI въ Елисейскихъ поляхъ со стороны Религіи и Милосердія“.

Война съ Австріей и Пруссіей, начавшаяся въ 1792 году, конечно, давала обильную пищу для рисовальщиковъ. Въ этой

^{**}) „Великая французская революція“, стр. 319.

^{***}) См. тамъ же, рисунокъ на стр. LVII



Рис. 20.

войнѣ французы занимались революціонной пропагандой въ соѣднѣхъ странахъ, что было, напримѣръ, аллегорически представлено въ видѣ аэростата, съ котораго разбрасывались прокламаціи, кокарды, фригійскіе колпаки (рис. 14). Нѣть надобности говорить, что австрійцевъ, пруссаковъ, англичанъ французскіе карикатуристы представляли всегда въ смѣшномъ и позорномъ видѣ (рис. 20). Иностранные карикатуристы отплачивали французамъ ту же монетою, въ особенности изображая ихъ революцію въ самомъ отвратительномъ и ужасномъ видѣ, ея дѣятелей въ видѣ страшныхъ чудищъ или смѣхотворныхъ уродовъ. Со временемъ итальянскихъ походовъ генерала Бонацарта съ числомъ вѣнчихъ враговъ, на которыхъ нападала французская карикатура, привалился сице и папа. Франція на этихъ картинахъ фигурировала обыкновенно въ образѣ пѣтуха, а папа — въ видѣ кошки или лисицы. Объ одной такой карикатурѣ рѣчь будетъ еще впереди, но въ большинствѣ случаевъ на этихъ рисункахъ Французская республика такъ или иначе наказываетъ враждебнаго звѣрька, напримѣръ, отрубая у лисицы ея пышный хвостъ.

Въ общемъ, карикатуристы эпохи останавливались сравнительно рѣдко на отдѣльныхъ лицахъ или на общихъ типахъ. Если въ началѣ революціи были очень часты карикатуры на главныхъ ораторахъ третьаго сословія, въ частности на Мирабо и на Сѣйеса, а изъ ихъ противниковъ на аббата Мори, то потомъ какъ-то охота изображать отдѣльныхъ лицъ ослабѣла. На Мирабо нападали и справа и слѣва. Роялисты охотно представляли его въ видѣ разъяренного быка (какъ одного изъ братьевъ Ламетовъ въ видѣ бульдога, Байльи въ видѣ пѣтуха, и т. п.). Когда, послѣ взятія народомъ 10-го августа 1792 года Тюильрійскаго дворца, нашли въ немъ потайной шкафъ, въ которомъ Людовикъ XVI хранилъ секретные документы, и обнаружились при этомъ тайныя сношенія Мирабо съ дворомъ, это дало поводъ нарисовать картинку (рис. 21), на которой мы видимъ привидѣніе въ образѣ скелета съ головою Мирабо, выходящее изъ только-что открытаго шкафа. У знаменитаго трибуна была младшій братъ, виконтъ, тоже членъ Учредительнаго Собрания, но крайній реакціонеръ, проявлявшій необычайную несдержанность въ своихъ выступленіяхъ и кончившій тѣмъ, что послѣдовалъ примѣру первыхъ эмигрантовъ. Его необычайная полнота при маломъ ростѣ и страсть выпить дали поводъ прозвать его Мирабо-Бочка (Mirabeau-Tonneau) и сдѣлали изъ него мишень для эпиграммъ, сатирическихъ куплетовъ и карикатуръ (рис. 25).

На общіе типы французская карикатура временъ революціи была довольно скуча. Было только ограниченное число такихъ олице-



Рис. 21.



Рис. 22.



Рис. 23.

твореній свирѣпаго республиканізма, какъ „Гроньяръ, по прозванию кровавый генераль якобинцевъ“, „Бризъ-Ферь, полковникъ кордэльеровъ“ и др. Это были, разумѣется, фигуры, созданныя контрь-революціонерами, изъ круговъ которыхъ вышли и дѣл картины, изображающія предсѣдателя революціоннаго комитета передъ снятіемъ печати, которая была наложена на какое-то помѣщеніе, и послѣ этого снятія: на одной картинѣ герой ея, членъ революціоннаго комитета, идетъ снимать печати съ какого-то помѣщенія, а на другой онъ уже оттуда уходитъ, нагруженный ѿловомъ и серебромъ и посудомъ. Конечно, такія карикатуры сдѣлались возможными только со второй половины 1794 года, когда революція пошла на убыль. Одна изъ любопытныхъ чертъ карикатуры во время термидоріанской реакціи, это—возвращеніе къ болѣе раннѣмъ мотивамъ, но съ перѣмѣнами по латинской пословицѣ: „hodie mihi, cras tibi“ (сегодня мнѣ, а завтра тебѣ). Какъ прежде доставалось изъ картинокъ аристократамъ отъ санкюотовъ, такъ теперь, каюботовъ, мюскадинъ *) „задаетъ“ якобинцу.

III. Карикатуры эпохи Директоріи.

Эпохѣ террора, т.-е., главнымъ образомъ, 1793 году было доѣбще не до карикатуръ, но во времѧ Директоріи онѣ опять пошли въ ходъ. Хотя въ это времѧ продолжали еще вести борьбу съ роялизмомъ, изображая королевскую власть въ видѣ поросенка, покрытаго геральдическими ліліями, украшенного орденомъ Людовика Святаго и топчущаго права человѣка и гражданина, но и само республиканское правительство,—пять директоровъ,—было постоянной мишенью для насмѣшекъ. Кое-что въ этихъ насмѣшкахъ было основано на игрѣ словъ, благодаря, напримѣръ, тому, что слово, обозначающее пять (cinq), произносится почти такъ же, какъ обозначающее святой (saint), и т. п. Хотя составъ этого правительства менѣлся, оно за четыре года своего существования держалось одной и той же политики—колебаний вправо, въ сторону реакціи, и влѣво, въ смыслѣ возвращенія къ террору **). Эту особенность политики Директоріи охотно отмѣчали карикатуристы эпохи.

Рисунокъ, названный „между двумя стульями задомъ на земль“ (рис. 26), изображаетъ Директорію, упавшую между королевскимъ

троноемъ и курульнымъ кресломъ **) вслѣдствіе потери равновѣсія доскою, на которой фигура качалась, а впереди раскрывалась пропасть. Нѣкоторые толкуютъ рисунокъ въ смыслѣ карикатурнаго изображенія Барраса. На одномъ эстампѣ, хранящемся въ музѣ Карнавале, Директорія представлена въ видѣ пяти мартышекъ, а подпись подъ нею такая: „большинство и меньшинство Директоріи“ (рис. 23). Очень можетъ быть, картина относится къ тому времени, когда въ составѣ Директоріи былъ свой „грумировать“ **).

Были въ эпохѣ Директоріи и карикатуры на тогдашніе политические клубы. Напримеръ (рис. 24), консервативный и католический клубъ Клиши былъ представленъ въ видѣ собрания, участники которого сидятъ въ церковныхъ колоколахъ, тогда какъ ораторъ занимаетъ място въ особенно большомъ колоколѣ, поддерживаемомъ фанатизмомъ, и имѣть надъ собою еще колоколь, который „звонилъ въ Вареоломеевскую ночь“. При этомъ у каждого участника въ одной руцѣ колокольное было, чтобы ударить въ набатъ, въ другой—кинжалъ. Подпись подъ картиной

*) Официальное сѣдилище республиканскихъ сапорниковъ дѣсятаго Рима.
**) „Великая французская революція“, стр. 380—381.]

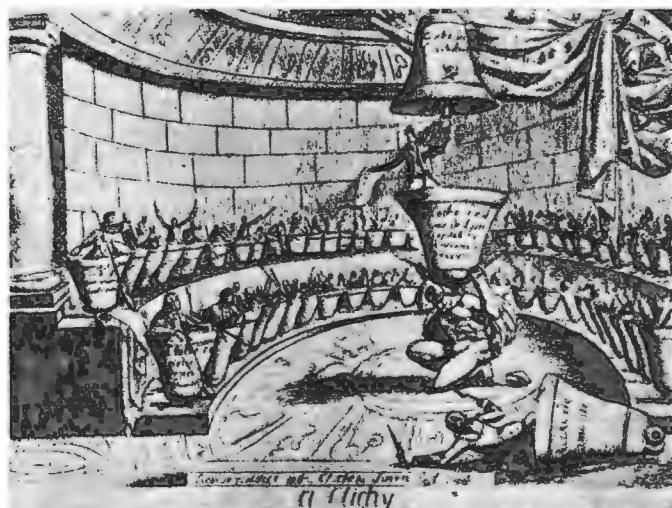


Рис. 24.



AVEC AUTANT DE MATIÈRE
ON PEUT FAIRE DES DÉJEUNERS

Рис. 25.

*) „Великая французская революція“, стр. 333.

**) Тамъ же, стр. 375.



Рис. 26.

кой такая: „отдайте намъ наши колокола, а не то...“ Кинжалы доказываютъ остальное. Смысли понятіе всѣмъ знакомыи съ эпохой *). Вопросъ о колоколахъ былъ вообще предметомъ многихъ сатирическихъ картиночекъ.

Или вотъ рисунокъ (рис. 22), изображающій республиканский клубъ въ отель Сальмы: это — собраниe республиканцевъ, занятыхъ оттачиваніемъ своихъ кинжаловъ. Центральною фигурую является предсѣдатель, получающій мѣшокъ съ деньгами. Шляпа дающаго, украшенная перьями, указываетъ на происхожденіе этихъ денегъ: это было укращеніе головного убора директоровъ, какъ то можно видѣть и на другихъ карикатурахъ, изображающихъ тогдашнихъ правителей Франціи.

Надежды французскихъ католиковъ на возможность примиренія съ папою и временное осуществленіе этой надежды Бонапартомъ въ 1797 г. **) вызвали цѣлый рядъ карикатуръ, изъ которыхъ отмѣтимъ одну подъ заглавиемъ „Мирный договоръ съ папой“ (рис. 27): Франція, олицетворяемая пѣтухомъ (gallus — пѣтухъ и галль), подноситъ коту, увѣнчанному папской тіарой, пукъ розогъ, говоря, какъ это написано сверху: „подѣлуйте-ка это, папана, и спрячьте свои коготки“ (или буквально: сдѣлайте бархатныя лапки).

Осмѣивая роялистовъ и папистовъ, рисовальщики карикатуръ вмѣстѣ съ тѣмъ безпощадно нападали на тогдашній экстравагантныи моды и на манеры франтовъ и франтихъ, обозначавшихъ названіемъ „невѣроятныхъ“, „чудесницъ“ и т. п. ***).

*) „Великая французская революція“, стр. 288, 342, 363 и 380.

**) Тамъ же, стр. 408.

***) Тамъ же, стр. 338 и 381.

Успѣхи виѣшней политики Франціи при Директоріи давали также большой материалъ для сатирическихъ рисунковъ. Напри-мѣръ, одинъ подъ названіемъ „Республиканскіе грибы“ изображаетъ ужасъ прусского, русскаго и австрійскаго государей передъ появленіемъ столькихъ республикъ: Французской, Римской, Батавской и т. д. Прусскій король восклицаетъ: „Боже мой! какъ они вырастаютъ! Даже страшно дѣлается“, на что второй говоритъ: „хорошо было бы ихъ покушать“. „Что вы,—возражаетъ третій,—развѣ ихъ можно есть? Вѣдь они ядовитые *).“

Съ паденіемъ Директоріи пала во Франціи и политическая карикатура. Рисунки, неблагопріятные для первого консула, были чѣмъ-то очень рѣдкими и мало оригиналными, за исключениемъ одной картинки 1802 года, на которой будущій императоръ былъ представленъ бросающимъ пыль въ глаза собраннаго имъ народа. Впрочемъ, уже въ эпоху Директоріи французская карикатура начала отказываться отъ своего прежніаго значенія, какъ агрессивнаго орудія борьбы, и сосредоточивать свое влияніе на смѣшной сторонѣ частной и общественной жизни, на смѣшной сторонѣ нравовъ и пороковъ, человѣческихъ типовъ, обычаевъ, модъ и т. п. Послѣдніе годы XVIII вѣка, послѣ эпохи террора, какъ известно, были временемъ погони за легкой на jaki-вой и за удовольствіями, временемъ очень нестрогихъ нравовъ, мелкихъ интригъ и экстравагантныхъ обычаевъ и модъ, но и карикатура этой эпохи нерѣдко принимала характеръ простого зубоскальства, хотя бы и при помощи остроумнаго шаржа. То, что въ этомъ отношеніи началось для карикатуры въ 1795 г., продолжалось затѣмъ и при консульствѣ, и при имперіи, и при восстановленныхъ Буронахъ, хотя и былъ моментъ, когда политическая карикатура снова начинала возрождаться въ 1814—1815 годахъ). Новый расцвѣтъ политической карикатуры начался только послѣ юльской революціи 1830 года.



Рис. 27.

*) A. Blum. „La caricature en France sous la Directoire“ (a Rеволюціи французской, 1817, №№ 85—86).

ЗАЯВЛЕНИЕ.

По условіямъ разсрочки, подписанная плата за „Ниву“ 1918 года должна быть внесена **ПОЛНОСТЬЮ И ВЪ МУНДИРЪ** **августа сего года**. Контора журнала „Нива“ покорнѣше просить поэтому гг. подписанчиковъ, не вносящихъ сполна подписаныхъ денегъ, озабочиться **немедленною присылкою** осталной причитающейся съ нихъ суммы, **во избѣженіе остановки въ высылкѣ журнала**. Гг. иногородные подписчики при высылкѣ денегъ благоволять **обозначать на видномъ мѣстѣ копію печатнаго адреса** съ бандероли или **прилагать самый адресъ и непремѣнно указывать**, что деньги высыпаются **въ доплату за получаемый уже журналъ**.

При перемѣнѣ адреса слѣдуетъ прилагать **1 рубль и печатный адресъ**.

Содержание. ТЕКСТъ: Священная роща. Рассказъ празднаго человѣка, Льва Насыкова. — Сколько нужно земли, чтобы разбогатѣть? Очеркъ П. А. Антропова. — Эмблемы, аллегории и карикатуры великой французской революціи. Очеркъ профессора Н. И. Карцева. — Заявление.

РУССКИЙ: Вторая выставка Общества Куниндиг 1918 г. Работы Л. Дитриха,

М. Бобышева, Б. Михѣнина. — Двадцать семь рисунковъ къ очерку профессора Н. И. Карцева „Эмблемы, аллегории и карикатуры великой французской революціи“. Къ этому № прилагается „Полного собранія сочиненій А. И. Герцена“ книга 13.

НИВА

1918 г.

XLIX г.

издания.

№ 33.

Выходит ежемесячно (52 № въ годъ), съ приложениемъ 52 книгъ „Сборника”, содержащихъ сочиненія А. И. ГЕРЦЕНА, М. ГОРЬКАГО, В. Г. КОРОЛЕНКО, П. БЕРАНЖЕ и Н. И. КАРѢЕВА („Великая Французская Революція”).

Выданъ 17 августа 1918 г. Подписная цѣна съ дост. и перес. на годъ—36 р., на 1/2 г.—18 р., на 1/4 г.—9 р. Цѣна этого № (безъ прилож.)—49 к., съ перес. 50 к.

Главная Контора и Редакція: Петроградъ, улица Гоголя, № 22.

Перепечатка иллюстрацій и текста воспрещается. (Законъ 20-го марта 1911 г.).

Продолжается подписка на „НИВУ“ 1918 г.

Съ приложениемъ 52 книгъ „СБОРНИКА НИВЫ“, въ которыя войдетъ:

А. И. ГЕРЦЕНЪ (первая серія книгъ)

М. ГОРЬКІЙ (вторая серія книгъ)

В. КОРОЛЕНКО (запрещенный военною цензурою сочиненія)

П. БЕРАНЖЕ (полное собрание ПѢСЕНЪ)

Проф. Н. КАРѢЕВЪ. (Исторія Французской Революціи съ иллюстраціями).



Въ поискахъ сокола.

Вторая выставка Общества Куинджи 1918 г.
(Собственность Ю. М. Варягина).

М. Авиловъ.

Ангель Смерти.

Памяти друга.
Разсказъ В. Свѣтлова.

Шумъ битвы отходилъ.

Пронесся, какъ ураганъ, надъ полемъ смерти и постепенно за-миралъ вдали.

Крики „ура“, рвущіеся изъ тысячи глотокъ лязгъ и звонъ хо-лоднаго оружія, жужжаніе ружейныхъ пуль, грохотъ разры-вовъ, тяжелое дыханіе бѣгущихъ воиновъ, конскій топотъ, не-годующій крикъ, крѣпкое бранное слово, жалобный стонъ ране-наго, слабый вздохъ умирающаго, громъ ручныхъ гранатъ, нерв-ная команда, трескотня пулеметовъ, полетъ шрапнели или гранаты—вотъ та полифоническая симфонія боя, которая такъ знакома, такъ близка и такъ обыдена для уха каждого изъ его участниковъ.

Неудержимый стихійный порывъ несетъ эту толпу людей куда-то вдаль, къ какой-то невѣдомой цѣли, къ какому-то смутно постигаемому достижению. Уносить, какъ неудержимый вихрь... Думаетъ ли въ это время человѣкъ о чёмъ-нибудь? Вспоминаетъ ли прошлое, надѣется ли на будущее или творить молитву въ этотъ моментъ озвѣрѣнія и одичанія? И что уноситъ его впередъ, что толкаетъ его къ достижению? Что устремляется его туда, гдѣ ждеть его Смерть?

Трудно отвѣтить на это. Если сказать „храбрость“, то это ровно ничего не объясняетъ. Это слово придуманное, и придумано оно для того, чтобы какимъ-то ничего не говорящимъ знакомъ или условнымъ выражениемъ „кода“ вкратцѣ опредѣлить ту слож-ную психологическую ткань души, которая заставляетъ человѣка стремиться отъ Жизни къ Смерти. Но изъ какого материала соткана эта невидимая, но прекрасная ткань, врядъ ли кто знаетъ. Можетъ-быть, даже изъ трусости, изъ сознанія неизбѣж-ности, изъ мучительного желанія поскорѣе прійти къ опредѣленности положенія. А можетъ-быть, изъ высокихъ порывовъ любви къ близкнему и къ родинѣ, изъ сознанія долга, изъ самолюбія или актерскаго стремленія доиграть съ честью взятую на себя роль до конца.

Никто, я думаю, опредѣленно не скажетъ, въ чёмъ тутъ дѣло, и гдѣ главное, явное и повелительное, и гдѣ второстепенное, тайное и добровольное.

Поручикъ Михайловъ бѣжалъ впереди другихъ съ револьверомъ въ рукахъ. Сердце било такъ, что казалось, будто хотѣть освободиться изъ неволи. Темные круги вертѣлись, какъ колеса, передъ глазами. Мучительны были это сердебеніе и недостатокъ дыханія. Вотъ-вотъ что-то лопнетъ, и онъ свалится въ безславной агоніи, не будучи раненъ, ничего не сдѣлавъ опредѣленного. О, только не это! Хотѣ бы поскорѣе пуля ударила въ какую-нибудь часть тѣла... Конечно, лучше бы въ руку или въ ногу, а не въ животъ и не въ грудь. Или въ голову, по крайней мѣрѣ, сразу легъ бы на мѣстѣ, и все навсегда было бы кончено. Вотъ только Таня... да! Ну ничего, развѣ не поза-ботится? Да маленькая Ира... И почему пули летаютъ, какъ мухи, а не задѣваютъ? Одна какъ-то чиркнула даже по краю уха, а можетъ-быть, это только показалось? Летять, жужжать, а не трогаютъ. Вотъ и снарядъ разорвался въ нѣсколькихъ шагахъ, а осколки отнесло куда-то въ сторону. Ну ничего, не задѣло. Надо бѣжать, вотъ что ужасно. Ноги-то несутъ, но сердце, сердце не выдерживаетъ.

Онъ несся впередъ. И рядомъ съ нимъ бѣжали и впереди бѣжали и назади бѣжали; и его опережали, и никто, рѣши-тельно никто, не обращалъ на него никакого вниманія, какъ будто его не было или это была его тѣнь. И онъ никого не узнавалъ. Онъ что-то кричалъ: „Ура! Впередъ! Ребята, впередъ!“ и думалъ, что вотъ въ этомъ крикѣ, въ этомъ порывѣ есть то главное, къ чему онъ призванъ, и о чёмъ пишутъ въ наградныхъ реляціяхъ: „личными примѣрѣмъ мужества увлекъ за собою роту“... Но рѣшительно никто не обращалъ вниманія на его крики, потому что всѣ, кто его обгонялъ, и сами что-то выкри-кивали, держа ружья наперевѣсъ, и если бы онъ упалъ, то навѣрное никто не обратилъ бы вниманія на это черезчур обычное явленіе и продолжалъ бы въ неудержимомъ и непо-нятномъ порывѣ бѣжать и бѣжать, перепрыгивая черезъ его тѣло.

Вокругъ него падали люди. Бѣжитъ—и вдругъ шлепнется оземь и замрѣтъ. Онъ оставался и къ этому глубоко равнодуш-нымъ. Куда-то надо было спѣшить, а если не поспѣшить куда-то, то будетъ плохо. А что какъ-то рядовой вдругъ свалился около него и замеръ въ безобразно скрюченной, точно нарочно при-думанной, позѣ, такъ вѣдь такихъ очень много, и все кочковатое поле усыпано такими фигурами.

Неудержимо хотѣлось выстрѣлить изъ револьвера. Зачѣмъ? Непріятель еще далеко—чуть виднѣется полуразрушенная артил-лерія проволока, а за нею чернѣютъ окопы, прикрытые по наружному гребню соломой, — невинная уловка для маскирова-нія ихъ. А выстрѣлить хочется. Странно же, если бы вдругъ, послѣ атаки револьверъ оказался не разряженнымъ. И потому этотъ вопросъ наивныхъ тыловыхъ людей: „вы сколькоихъ убили?“ Но рѣшительно нѣтъ повода стрѣлять. Еще убѣшь

своего, бѣгущаго впереди. Вотъ, если бы Таня увидѣла его, какъ-нибудь со стороны, будучи сама въ полной безопасности, бѣгущимъ по полю въ атаку! Какимъ бы героемъ онъ сталъ въ ея глазахъ. Но онъ два года на войнѣ, и даже не раненъ. Чортъ знаетъ что, какое же это геройство? Тыловые люди буд-утъ спрашивать: „вы участвовали въ бою? И ни разу не были ранены?“ Имъ это непонятно. Но развѣ можно представить себѣ такой случай, чтобы Таня могла присутствовать при „этомъ“ въ качествѣ зрительницы? Какой вздоръ лѣзть въ голову! Какъ же это можно себѣ представить? Разсказать потому? Это можно. Но, пробуя мысленно разсказать, какъ-то ничего не выходило. Все ярко, вздуто, напыщенно и страшно, а на са-момъ дѣлѣ все такъ обыкновенно и просто, и ординарно. Нѣть ужъ, лучшее обойтись безъ всякихъ героическихъ рассказовъ, чтобы тыловыхъ людей не сказали: „врѣть все, да и врѣть-то нескладно“. Получить бы блѣнѣйший крестикъ—онъ самъ за себя бы и говорилъ. Впрочемъ, тыловыхъ людей и крестикомъ не всегда убѣдишь. Вотъ деревянному кресту они охотно по-вѣрятъ—тутъ ужъ сомнѣваться не приходится, и скептицизмъ людей, работающихъ на „самооборону“, улетучивается.

А сердце... сердце...

Что-то стукнуло, точно палкой, по бедру. Что-то вдругъ вылилось откуда-то. Липкой горячей струйкой потекло по бедру, по колѣну, по икрѣ, добѣжало до большого пальца лѣвой ноги. Защекотало. Ужасно непріятно... И еще и еще... Все течетъ и течетъ. И бедро сѣбалось тяжелое, тяжелое, точно не свое, а какъ-то чуждый придалокъ. И горячее, горячее.

Ноги подогнулись. Какой-то странный взмахъ руками въ воздухѣ. Револьверъ выпалъ изъ супорожно скатыхъ пальцевъ, повисъ на шнурѣ, больно ударишь по здоровой ногѣ.

Что такое? Развѣ онъ упалъ? Что-то огромное и темное про-неслось надъ нимъ. Люди бѣгутъ черезъ него, что ли? И еще и еще... Кто-то отпихнулъ его ногой.

Свѣтъ словно меркнетъ. Голова кружится. Сердце бѣется, но спокойнѣе... Проволока идетъ кверху, окопы поднимаются и описываютъ кругъ надъ головой, а земля, напротивъ, изъ-подъ него уходитъ куда-то, и онъ проваливается въ пропасть. Тошнить. Безумно хочется пить. Мучительная, какая-то безощадная, смертельная жажда. Бедро становится чугуннымъ. Въ глазахъ темные круги, потомъ зеленые круги, потомъ красная и желтая прыгающая пятна. Окопы и проволока опять на мѣстѣ, и опять медленно плывутъ они куда-то вверхъ, и опять земля уходитъ внизъ, и опять тошнитъ и сердце замираетъ, и уже вся нога мокрая, что очень, очень непріятно. И съ боковъ, къ ребрамъ подкрадывается холодокъ, какъ-то ползающіе холодные муравы, и вотъ уже лихорадочная дрожь охватываетъ его, несмотря на то, что по ногѣ бѣгутъ горячія струи. Пить, пить, пить! Единственная мечта, единое желаніе. И ничего, ничего больше не нужно, какъ только бы фляжку.

Да вѣдь она гдѣ-то есть на немъ, сбоку. Съ котораго боку? Все вертится вокругъ него, гдѣ же тутъ найти? И какъ найти? Руки, какъ плети. Не поднимаются. Бедро становится еще тяже-лѣе и уже какъ-то давить на все тѣло, на ноги, на грудь, на голову, на самый мозгъ, и муравы бѣгаютъ, и холодъ охваты-ваетъ его, а можетъ-быть жаръ... потому что пить хочется.

И несутся люди надъ нимъ, какъ тучи въ осеннюю непогоду. Онь что-то кричить, но самъ не слышитъ никакого звука.

Какъ странно! Вѣдь онъ же знаетъ, что кричить. Отчего же его никто не слышитъ, да и онъ самъ себя не слышитъ.

Ахъ, прокляты! Окопы опять развертѣлись. Отъ ихъ вращенія усиливается, кажется, жажда. Теперь замелькали темно-лиловые съ голубыми огоньками на бездонно-черномъ фонѣ. Да вѣдь же это?

Въ природѣ или въ сознаніи?

Да что же это, смерть, что ли? Вздоръ какой! Онъ не хочетъ умирать, онъ не можетъ, не долженъ умереть. Да и почему умирать? Вѣдь нигдѣ ничего не болитъ. Вотъ нога что-то ста-новится тяжелой, какъ бедро; уже ея не приподнять, чтобы измѣнить направление текущей жидкости. Ну что жъ, пусть мок-неть. И вообще пусть все! Кто-то ударилъ его палкой по бедру, и вотъ онъ ничего уже не въ состояніи сдѣлать. Ничего. Какъ странно и безконечно глупо лежать вотъ такъ, какимъ-то чур-баномъ. Какая же это смерть? Вѣдь онъ еще въ сознаніи. По-тому что по прежнему кружатся окопы и проволока, и по-прежнему надъ нимъ, какъ ураганъ, проносится что-то огромное и тяжелое, иногда задѣвающее его. И онъ это видѣть, и чувствовать, и сознать и вотъ же разсуждать объ этомъ. Да онъ ли раз-суждастъ? Кто-то за него, и гдѣ-то далеко-далеко вѣдь его. Нѣть это не палкой его ударило... а наѣвное пулей. А что онъ лежитъ на сырой землѣ, это нехорошо. Когда его подымутъ, — развѣ можно въ этомъ сомнѣваться? — когда его подымутъ и отнесутъ на перевязочный передовой пунктъ, то у него сдѣлается столбнякъ. Тамъ въ тылу, гдѣ-нибудь далеко, онъ будетъ на чистой постели перегибаться мостомъ отъ проклятаго столбняка. Видѣль онъ много таихъ. Но развѣ ему добраться до чистой

постели? Можетъ-быть, вотъ тутъ, сейчасъ, на этомъ грязномъ и грозномъ полѣ онъ и умретъ передъ этими окопами и проволоками? Такъ что жь? Не все равно? Но лишь бы дали пить, въ послѣдній разъ передъ смертью ощутить это блаженство...

Неизреченный свѣтъ. Вдругъ разверзлось небо. Голубоватое синяе. Свѣтло, какъ днемъ, и онъ купается въ этомъ свѣтѣ, и свѣтъ рѣжетъ ему глаза, и въ безпокойствѣ онъ мечется, и некуда дѣваться и некуда спрятаться отъ этого свѣта. Онъ пріятель и назойливъ. Это путь радости въ тотъ край, откуда нѣтъ возврата? Неужели уходящимъ въ тотъ край весь путь будетъ освѣщаться такимъ чудеснымъ сіяніемъ?

Меркнетъ свѣтъ, простоявъ надъ полемъ нѣкоторое время. Онъ слабѣетъ; и онъ потушенъ, и этотъ свѣтъ, и скоро на полѣ становится въ десять разъ темнѣе и въ десять разъ жутче.

Это просто непріятельская ракета.

Да не все ли, наконецъ, равно, что это такое? Вотъ, если бы оторвать ненужную одеревѣвшую ногу съ очутушенными бедрами? Онъ поползъ бы тогда на рукахъ и здоровой ногѣ куда-нибудь по полю и, можетъ-быть, доползъ бы до чистой постели...

Далеко отошелъ шумъ боя и затихъ.

Смѣкалось. Уже ни окоповъ ни проволочныхъ загражденій не видно. Сѣрѣло, синѣло и чернѣло небо. Подымалась и расплывалась тьма и наполняла собою природу. Почекнѣло поле битвы, слилось съ небомъ, и тьма зала на это поле, скрывъ въ себѣ и подъ собою отдѣльные детали. Бездонною, безстѣнною пропастью казалось все вокругъ. Вдали темное небо вспыхивало изрѣдка зарницами войны—голубоватыми ракетами, и стоять тогда свѣтъ надъ тьмою, но не разсѣивая тьмы, а дѣлалъ ее только еще гуще, еще жутче, вѣтъ предѣловъ этого свѣта.

Изнемогла, казалось, земля отъ этого дня тяжелыхъ осквернений. Залило кровью ее, кормилицу. И отъ этой густой, липкой, горячей крови острупѣла она, какъ корою растѣнной покрылась. Трупы воиновъ въ скрюченныхъ позахъ, застывшіе въ послѣдней мучительной агоніи, валялись по лицу ея, какъ выброшенные за негодность осколки человѣчества. Сколько ихъ? Развѣ счастье? Развѣ сбѣсить и вымѣрить все то горе, которое такъ широко разлилось по чelu миру въ эту годину страшныхъ убийствъ?

Темнѣла ночь, и подымались густые туманы. Смолкли шумы боя, и наступила тишина. Жуткая, безмолвная тишина. Какъ въ гробу, какъ въ могилѣ. И стоновъ раненыхъ больше не стало слышно. Прикончились они, замолкли навѣки въ этой земной юдоли.

Но гдѣ-то далеко, въ самой глубинѣ сознанія поручика Михайлова роились образы безъ образовъ и мысли безъ мыслей. Смутные, оборванные, облачные, какъ эти туманы. Безобразно и безсмысленно цѣплялись они другъ за друга, слабо держась какими-то гранями, точно боясь, что вотъ-вотъ разсыплются и разойдутся по полю въ одиночку, какъ испаренія. Живъ онъ или мертвъ? Спить онъ или грезитъ? Кончилась ли земная жизнь и началась ли та, другая?

И вотъ туманное облако сгустилось надъ нимъ и вытянулось въ длину. Что-то страшное и жуткое было въ этомъ видѣніи или привидѣніи—никакъ не разберешься, что это такое. Можетъ-быть, Ангель Смерти склоняется надъ нимъ, чтобы выслушать его послѣднюю вѣю или благословить его на новый дальний путь?

И увидѣлъ онъ какъ бы сквозь густую сѣть строгое и блѣдное лицо съ выраженіемъ печали и сурости въ лучезарныхъ глазахъ. И блескъ этихъ глазъ обжигалъ его сознаніе холоднымъ огнемъ.

Страшная, мучительная тоска овладѣла имъ: гораздо болѣе страшна и мучительна, чѣмъ жажда, когда-то мучившая его. А теперь уже нѣтъ этой жажды, и все было бы хорошо, если бы не этотъ холодный блескъ, обжигающій его сознаніе.

Ему захотѣлось крикнуть, но, сдѣлавъ усилие, онъ вновь понялъ, что ничего изъ этого не выйдетъ. И опять безмолвіе навалилось на него вѣсною своею тяжестью. И темная ночь окружила его всею своею жутью. Какъ придорожная вѣха, маячилъ въ этомъ безмолвіи и въ этой тьмѣ сѣдой призракъ. Изъ устъ его шли какія-то нити. Онъ ихъ не видѣлъ, но чувствовалъ. И нити эти вдругъ оборвались, и тогда онъ прозрѣлъ. Клубочками скатывались они по полю, и каждый клубочекъ превратился въ цвѣточекъ, и тысячи тысячъ цвѣточковъ, алыхъ, какъ маки, покрыли поле. Когда-то онъ видѣлъ такую долину, когда бѣхалъ на позиціи,—долину, всю покрытую сплошь красными маками. Она походила на чудный коверъ. Онъ любовался этой долиной. Ему вспомнилось, что макъ—символъ сна. И онъ прозрѣлъ эту долину „долину сновидѣній“. Вотъ онъ видѣлъ теперъ ее снова. Но тогда она казалась ему причудливымъ и сказочнымъ ковромъ, а вотъ это поле кажется ему страшнымъ и печальнымъ. Цвѣты ли это или струски крови? Не собралась ли на этомъ полѣ вся кровь, пролитая здѣсь, вся человѣческая кровь, пролитая за родину?

Но отчего вдругъ нарушается безмолвіе этой ночи? Вотъ онъ уже слышитъ какой-то шорохъ: какъ будто ночной вѣтеръ про крадывался по полю, боясь разбудить воиновъ, навѣки уснувшихъ, среди кровавыхъ цвѣтовъ. И цвѣты зашелестьли, зашуршали, зашептались, а онъ услыхалъ ихъ и жадно внималъ имъ, радуясь, что отверзся слухъ его, какъ и очи.

Какъ хорошо, какъ сладко лежать здѣсь, среди этихъ страннѣхъ цвѣтовъ, окутанныхъ мягкимъ туманомъ, словно отѣломъ, и видѣть всю эту странную красоту и слышать эту странную музыку.

На землѣ ли онъ? Или въ далекой таинственной долинѣ сно-видѣній, гдѣ высокій туманный призракъ охраняетъ повелительницу долины, царицу сна и дочь ея Грэзу? Вотъ ихъ дворецъ, волшебный дворецъ изъ бѣлого камня, заросшій густымъ садомъ. Какихъ цвѣтовъ только здѣсь нѣтъ! И какими благоуханіями они насытили воздухъ. И какъ сладко-сладко спать среди цвѣтовъ, среди благоуханій, среди видѣній, среди звуковъ.

Какъ сладко спать и грезить...

Но нѣжный звонъ колокольчиковъ затихаетъ. Сладкая, слегка опьяняющая мелодія обрывается. Что-то гдѣ-то рокочетъ низкими, тяжелыми звуками. И свѣтъ исчезаетъ, будто луна, которой онъ не замѣчалъ раньше, прячется за облака. Вотъ набѣжалъ тучи, и стало темно... Голубые огни вспыхиваютъ и потухаютъ среди цвѣтовъ. Крѣпчаетъ вѣтеръ. Чудовища безъ образовъ выглядываютъ изъ-за кустовъ—сбрыя, какъ стражи-привидѣніе, и машутъ длинными руками и опять прячутся, точно дразнятъ его. Съ ужасными крикомъ пролетѣли надъ полемъ ночные птицы, точно испугались чего-то... И вновь вернулись и зловѣще закружились надъ скорченными тѣлами убитыхъ воиновъ.

И вотъ онъ не знаетъ, лежитъ ли онъ въ благоухающемъ саду долины сновидѣній или на страшномъ полѣ смерти, по которому онъ такъ недавно, задыхаясь, бѣжалъ съ револьверомъ въ рукахъ, бѣжалъ къ какой-то цѣли, неудержимо рвался къ ней, пока не упалъ, какъ скошенный...

Фиолетовый свѣтъ... фиолетовый свѣтъ заливаетъ поле.

И среди этого свѣта онъ видѣтъ какого-то странного и страшнаго старика. Онъ силился вспомнить—и то, что было когда-то тѣмъ, что называлось его сознаніемъ, подсказываетъ ему, что это старикъ былъ недавно сѣръ, что родился онъ изъ густоты тумана, поднявшагося надъ полемъ угасшей битвы. Это конімаръ. За нимъ двигаются фантомы, рожденные тѣмъ же туманомъ, и всѣ бѣгутъ къ нему, машутъ на него длинными-длинными рукавами своихъ хламидъ.

И ему явно слышится, какъ старикъ говоритъ:

— Усыпите его, усыпите его. Онъ сдѣлалъ все, что могъ сдѣлать. Онъ сдѣлалъ все, что долженъ быть сдѣлать. Его жизнь понадобилась родинѣ, и онъ отдалъ ее просто, спокойно. И теперь ему нужно умереть такъ же просто и спокойно, какъ умираютъ русскіе люди... Почему онъ не хочетъ уснуть? Ему здѣсь больше нечего дѣлать. Почему жизнь все еще не уходитъ изъ этого тѣла? Зачѣмъ она такъ цѣпко держится за эту тюрьму и не хочетъ высвободиться изъ нея? Усыпите его! Усыпите его!

И фантомы, рожденные туманомъ, отвѣтили старику:

— Мы не можемъ усыпить его. Мы не въ силахъ усыпить его. Жизнь его сильнѣе сна, который мы можемъ дать. Мы духи тяжелыхъ сновъ. Позови безпробудный сонъ, и онъ дастъ ему вѣчное успокойнѣе.

— Хорошо,—отвѣтилъ старикъ.—Приведите же его.

Фантомы исчезли какими-то кольцами тумана. Потомъ они явились вновь.

Среди нихъ кто-то черный и великий, безликий и все-таки страшнѣй шель прямо къ нему. Руки его были сложены на груди крестообразно, а на спинѣ его были черныя крылья, длинныя и блестящія, до самой земли.

И послышался умирающему въ шагахъ Ангела Смерти мѣрный, протяжный и гулкій колокольный звонъ.

И подошелъ къ нему Ангель Смерти—Безпробудный Сонъ, и распростеръ надъ нимъ руки въ длинныхъ черныхъ рукавахъ, и лицо его стало вдругъ видимъ. Блеснула острый блескъ его черныхъ глазъ на блѣдномъ-блѣдномъ лицѣ.

И повѣяло на умирающаго вѣніемъ холода, особаго холода, остраго и рѣзкаго, замогилаго.

— Усни навѣки! — медленно сказалъ Ангель Смерти,—усни безпробуднымъ и бессмертнымъ сномъ. Да не смутять тебя больше земная грезы. Выйди, Жизнь, изъ него! Земля тебя не забудетъ. Твой прахъ будешь покояться въ ней и сольется съ ней, и новая жизнь родится изъ него. Ты будешь выше земли и ближе къ той жизни, которая есть тѣнь, только тѣнь и призракъ жизни дѣйствительной. Усни же сномъ безпробуднымъ, сномъ безмятежнымъ, сномъ безконечнымъ...

И опять зазвучали колокола.

И почувствовалъ умирающій, какъ бедро перестало тяготить его своей чугунной тяжестью, какъ ему сдѣлалось отъ этого легко и свободно...

Темнѣла ночь передъ зарею. Подымались съ поля туманы, заклубились, закружились, унеслись высоко къ поднебесью. Ожило мертвое поле человѣческими голосами. Санитары ходили съ ручными фонарями отъ одного трупа къ другому и собирали ихъ и укладывали на носилки эти полевые цвѣты смерти.

— Да вѣдь это никакъ поручикъ Михайлова!—проговорилъ врачъ, наклоняясь надъ трупомъ и направивъ свѣтъ своего фонарика на его лицо.—Точно спитъ! И какъ спокойно...

Священная роща.

Рассказъ празднаго человѣка.

Льва Пасынкова.

(Окончаніе).

Когда мы догнали наконецъ его, я былъ удивленъ и даже, прямъ скажу, подавленъ, я не думалъ, что онъ будетъ... такимъ.

Представьте себѣ пухлого, опившагося сквернымъ пивомъ, въ которомъ много питательныхъ осадковъ, человѣчка, на короткихъ, кривоватыхъ ногахъ.

Больше всего меня поразило пенснѣ, запотѣвшее отъ леднико-вагочаго дыханія.

Пенснѣ сидѣло на короткой пинточкѣ, добродушномъ носу, съ слегка вывернутыми ноздрями

Черепаховая оправа, шелковая, порванная и въ нѣсколькихъ мѣстахъ небрежно завязанная ленточка.

Широкополая шляпа, къ какимъ привержены художники и неудачные литераторы.

Русый, кудреватый, сальныи волосы, цвѣтомъ и кудрявиною похожий на волосы, подрисовываемые на круглыхъ головахъ херувимовъ. У него тоже круглая херувимская голова, чувствено выпяченныи губы, русая бородка, — щеки побриты, а горло заросло. Видать, самъ бреется и безъ зеркала.

Любопытнѣй его трактирного лица костюмъ и рабочій снарядъ.

Сѣрые пуховые штаны, обмотанные суконной покромкой изъ солдатскаго шинельнаго сукна, накидка-плащъ, съ застежками въ видѣ головы льва, гарусный долгій шарфъ, прирученной змѣей трижды обвившій сдобное горло, заросшее херувимскими золотенькими волосиками.

О, несчастный человѣкъ — кто ты? Впрочемъ, можно и не спрашивать. Ясно.

На лѣвомъ боку болтается складное ателье, сбитое изъ фанеръ, отодраннаго отъ лимоннаго ящика, — палитра тамъ, кисти и краски съ мастихиномъ. Въ рукѣ альпійская палка съ мольбертной дощечкой посреди.

Бродяга-пейзажистъ.

Онъ холодно поглядѣлъ на насъ, что-то пробормоталъ и, поднявъ слегка шляпу, хотѣлъ забиться въ гору стороной. Мыѣ стало весело.

Почему? Не знаю! Теплая, насыщившая увѣренность поплыла мягко по сердцу,

Да, я понять, кажется, свое превосходство надъ несчастнымъ бродягой.

Чортъ возьми, на мыѣ костюмъ куда приличнѣй, свѣжій бѣлье. Вонъ воротникъ на немъ съ потекшимъ отъ влаги крахмаломъ, грязный, жеванный.

Я подошелъ и, не снимая шляпы, поклонился. Онъ испуганно замигалъ и пробормоталъ:

— Семигинъ!..

Я разслышалъ, но притворился, что не разобралъ фамиліи и заставилъ его повторить громче.

— Семигинъ!..

— Такъ... А кто вы будете?

— Художникъ. Вотъ...

Онъ зашарилъ беспорядочно за лапканомъ и даже изогнулся слегка, точно невѣсть изъ какихъ глубинъ приходилось добывать карточку.

Я улыбнулся. Интересно между небомъ и землей взглянуть на карточку такого человѣка. Много ли титуловъ нажилъ?

Такъ и есть. Я не ошибся. Титулы довольно пестрые и впечатлительные.

„Влась Андреевичъ Семигинъ, художникъ-альпинистъ, членъ бернскаго ассоціаціи, постоянный участникъ женевской и московской выставокъ пейзажистовъ, директоръ передвижной народной выставки, популяризирующей искусство въ народѣ“.

— Все?! — спросилъ я, кажется, довольно ядовито.





Въ сумерки.

Вторая выставка Общества Куинджи 1918 г.
(Собственность Ю. М. Варягина).

P. Savitskii.

Онъ жалобно замигалъ рыхими вѣхами и поправилъ сыромятный ремень на плечѣ.

— Все-съ...

— Такъ! Разскажите!

И сдѣлалъ при этомъ краткое, такъ сказать, приглашающее движение рукой.

Мы снова, втроемъ, зашагали вверхъ. Сердце въ новомъ по-путчикѣ, должно-быть, пьяное, ожирѣвшее. Дышать, всхлипывая, разговоръ мѣшалъ.

Онъ не удивился моему приглашенню разсказать о себѣ все, что есть за душой. Такихъ людей, повѣрьте, знаю отлично.

Они ничего не могутъ скрыть, не по откровенности, понятно, а такъ—изъ дряблости, скучного безволія.

Въ полчаса я узналъ о Владѣ Андреевичѣ Семигинѣ немногимъ меньше, чѣмъ онъ самъ зналъ.

Ходилъ въ народъ, былъ посанженъ, откесиши Кресты,—тюрьма съ такая въ Питерѣ надъ Невой,—потомъ взялся за кисть.

Прежде только баловалъ красками, а теперь понесъ въ толпу, въ деревню свои полотна. Гдѣ чаю напьется, гдѣ тухлыхъ щецъ похлебаетъ—выставка-то бесплатна. Тѣмъ и живъ.

— А отчего вы такой?

— Какой?—поднялъ онъ за потными стеклышками безцвѣтные брови.

— Толстый?—безцеремонно спросилъ я и отъ своей безцеремонности радостное тепло ощущилъ въ груди.

Онъ замялся и что-то пробормоталъ.

— Пьете. Здорово, а?

— Бываетъ такъ: выпиваю. Сердце во мнѣ... запаренное.

— Запаренное, а по горамъ ходите.

Махнулъ рукой и просто, кажется, даже съ благородствомъ, медленно произнесъ.

— А это, знаете, все равно-съ. Я смерть беру просто. Развѣ умиратъ.

— А если бы не разъ?

Тогда что же? Тогда еще легче. Привычка въ земной юдоли— это все. Для меня-то, по крайней мѣрѣ. Самое трудное—привыкнуть къ людямъ.

— Вы не любите ихъ?

Это кого? Людей-то? Нѣтъ, отчего же! Только у нихъ свои привычки. Люди цѣнятъ бытъ, хорошую жизнь, постель, жену. а я... не возлюбилъ. Миѣ и безъ всего хорошо. Только, когда съ людьми поведешься, такъ... муть такая по сердцу пойдетъ. Раздумываешь надъ тѣмъ, почему тебѣ ничего не хочется, и тогда начинаетъ, знаете, хотѣться.

— Продолжайте!

— Чего же тутъ продолжать! Ясно-съ. Бореніе поднимается.

— Самолюбіе, что ли?—молвилъ я небрежно, такъ небрежно, словно самъ никогда не испытывалъ бѣшеныхъ укусовъ самолюбія.

— Да, самолюбіе. Собственно... вѣтъ, даже не самолюбіе, а такъ. Муть, одиничъ словомъ. Начинаешь разбираться. Людямъ все нужно, а тебѣ, моль, ничего не нужно. Въ какомъ это смыслѣ тебѣ ничего не нужно? Можешь ли ты ничего не хотѣть? Кто тебѣ право дать не жадничать? Всѣ жадны! Жадность жизни движетъ. А ты...

Онъ закашлялся, раздувая краснѣя простуженные ноздри, а потомъ, оборвавъ кашель и только хрюкая монотонно одной жалюзной ноткой въ груди, отвернулся и высморкался въ нѣчто неуловимое, кажется, въ грязнѣйшей голубой платокъ.

— А ты,—продолжалъ онъ,—ничего не желаешь. Такъ-то...

Долго онъ говорилъ, задыхаясь и поворачивая въ сторону голову, чтобы неуловимо, стыдясь грязнаго платка, чистить простуженный носъ.

Ледникъ сверкалъ предъ нами огромно и чисто. Внизу заклубились облака съ графитными косыми прослойками.

Асатуръ хмурился и насть не слушалъ.

Когда графитная жилка замерла на мѣстѣ облаковъ тоинко закурилась вверхъ, онъ воскликнулъ, словно радуясь тому, что можетъ обрвать нашъ разговоръ:

— А тамъ дождь, внизу!

Я поглядѣль вверхъ, бросилъ взглядъ внизъ. Непривычна была мысль, что дождь сѣчетъ подъ ногами, что въ ливень не нужно раскрывать зонта или забиваться подъ стеклянную крышку подъѣзда.

Задумавшись о дождѣ, я уже не слушалъ Семигина. Слѣдующей моей мыслью было опять онъ, съ его мутью. Я сравнивалъ его съ собой, его жалкое, робкое чувство, тоску предъ жизнью, его муть съ моимъ самолюбіемъ, бѣшеной злобой къ сытымъ и устроеннымъ.

Никогда не думалъ, что зависѣть высокое чувство, а теперь, сравнивъ ее съ мутью, рѣшилъ, что все же лучше будетъ, пожище, повыше, знаете. Ну!..

Одно скажу, теплѣло съ каждой минутой во мнѣ измученное сердце. Была въ немъ радость за себя и боль за Семигина, тоска за подлай болѣ, отъ которой снова радостно становится и снится, замѣчу вскользь, за себя же.

Это очень сложно, хотя и просто. Сложно, понимаете, и просто.

Кто знал обиды, долгие и сплошные обиды, растянутые львино па годы, тот отлично поймет меня. А вами, счастливые и безнечные, ничего объяснить не хочу: не поймете.

Семигинь былъ ко мнѣ явно безразличенъ, а я къ нему приступилъ. Рѣшилъ ни за что не разставаться. Въ такомъ смыслѣ и сказала ему.

Оль выслушать и кисло улыбнулся.

— Хорошо-съ. Я очень радъ...

— Вы куда?

— Иду наверхъ, а потомъ къ храму и въ рощу...

— Знаю—священная роща.

— Спину ее къ себѣ на полотенчико.

— На полотно, что ли?

— Это я такъ ласково называю-съ. На полотенчико. Понесу въ народъ. Вы не можете представить, какъ убогъ русскій мужикъ въ дѣлахъ вѣры. Ничего не смыслитъ.

— Мнѣ кажется—возразилъ я съ превеликой важностью, точно новую мудрость открывалъ,—мнѣ кажется, что въ религіи ничего понимать и не нужно. Нужна вѣра, чувство такое... когда вѣрится.

— Знаю,—взглянула она на меня бочкомъ,—мысль ваша вѣрная. Но я о другомъ. Мужикъ мажетъ въ воскресенье сапогъ саломъ, остатки съ сапога несетъ на голову, а потомъ идетъ въ церковь, гдѣ изъ молитвъ и слова понятаго не выхватить. Найти мужицъ смутнѣй дикаря. Поймите, всякий дикарь первоначально жрецомъ былъ, личностью, можно сказать, дикарь—фигура, а не пустякъ, у нашего же мужичка ничего нѣтъ. Гдѣ-то сидѣть и архиереи въ муаровыхъ рясахъ. Только. Сказочный, но

— Здѣсь?

— Здѣсь, пожалуйста!

Говорю Семигину:

— Кстати. Вы къ намъ. Составимъ тріумвиратъ. Здѣсь раскинется кабачокъ. Лѣтнее Монрено съ горячительными. Я, видите ли, рѣшилъ-было съ почтеннымъ Асатуромъ оставаться, да изъ дружбы къ вамъ готовъ за вами ити. а если соблаговолите оставаться, такъ и я останусь. Зимой Асатуръ въ ауль, и мы за нимъ...

Асатуръ хмуро выслушалъ мое предложеніе. Онъ ревновалъ по-настоящему.

Если бы я былъ свѣжій духомъ, я затрепеталъ бы,—столько неподѣльной, восхитительной свѣжести было въ асатуровомъ взорѣ изъ-подъ клочекватыхъ, густыхъ бровей.

Старикъ былъ хохочшъ первобытнымъ человѣкомъ: знать цѣну дружбы и ревности, любви къ одному и ненависти къ другому.

А я и передвижной академикъ оба были блудливы, двѣ про дажныхъ души, которымъ все равно, на какихъ простыняхъ разоблачать свои тайны душевныя складки.

Асатуръ отвелъ меня въ сторону. Я улыбнулся.

Понять, что сейчасъ разыгрывается шутка, можетъ-быть, даже дикая шутка...

Бѣдный, помятый женевско-московскій альпинистъ мѣшалъ нашему семейному счастью.

Въ суровой, глуповатой, честной головѣ Шахбазьяна сложилось наше будущее въ привлекательныхъ чертахъ: онъ живеть



Декоративное панно.

Вторая выставка Общества Купиджи 1918 г.

R. Savitskii.

пустой міръ. Дикарь же въ осиновомъ лѣсу самъ Бога призываю. Самъ кроись для Бога лиль. Я и хочу мужику полотенчико съ божествомъ показать.

— Это интересно. Чашку съ кровью нарисуете?

— Рощу напишу... жертвеннікъ. Я выше поднялся. Роща внизу—да свѣту хочу, для картинки-то, большие увидать. Въ храмѣ, поди, не были?

— Нѣтъ, намъ выше лежитъ дорога.

— Жаль. Сходите, посмотрите... Тамъ иконы и тутъ же идолъ. Не показали мнѣ, а знаю, гдѣ-то въ придѣлѣ идолъ, подъ половицами лежитъ, покажу. Впрочемъ, можетъ-быть, идолъ и есть серебряный туръ, лежацій на гранитномъ престолѣ, покрытый епитрахилію. Кланяются ему дикари изъ ауловъ. Я хотѣлъ бы это нашему мужику показать!

— Что — это?

— Мѣсто, откуда много вѣры попло. Религії много. Бываетъ, одинъ кусокъ земли родить пшеницу самъ-три, а рядомъ, если удобрено, самъ-сто. Вотъ тутъ удобрено. Душа тутъ развертывается. Христіане, язычники, солнцепоклонники. Тутъ отъ всѣхъ народовъ вѣра. Персы и грузины... Дааа!

Семигинь замолчалъ, поправилъ на боку деревянный ящикъ и опустилъ голову.

Пришли скоро на жѣсто. Асатуръ ревниво посмотрѣвалъ всѣ три часа болтливаго пути на художника, передвижного директора, альпиниста и прочее. Чистая душа его обижалась: зачѣмъ я не съ пимъ, а съ Семигинимъ разговариваю?

Асатуръ не понималъ, какъ можно такъ дрянно шататься, то къ одному на грудь припасть, то съ другимъ связаться. И ему, должно-быть, казался подобнымъ лукавой, измѣнчивой женщининѣ. Мнѣ стало жаль его. Не искушенья человѣкъ. Не пойметъ... Хлопнула по плечу.

со мной, забыть дольній міръ сть кабаками, взятками, городовыми, сыномъ Осканомъ, стоящимъ за шеренгой бутылекъ съ фруктовой водкой.

Мы оба голодны, оба дики, оба влюблены въ свободу и, значитъ, другъ въ друга.

Все лѣто мы ждемъ гостей у себя на высотѣ и молчимъ, глядя мигающими глазами на ледники, горящіе на солнцѣ.

И вотъ этотъ въ мягкой шляпѣ, оползшихъ воротничкахъ, жалкій-жалкій, помѣшалъ...

— Послушай, — прерывисто зашепталъ Асатуръ, — зачѣмъ ты его оставляешь?

— А что? Плохъ развѣ?

— Ммм... Совсѣмъ нехорошій человѣкъ. Не надо, пожалуйста. Вдвоемъ рѣшили, вдвоемъ и будемъ.

— Я и его хочу!

Старикъ крѣпче стиснулъ мое плечо. Его глаза сверкнули ревнивымъ огнемъ.

— Не надо, говоримъ. Чка... Я и ты. Никого не надо. Сынъ придется — его гнать тоже будемъ.

— Спасибо. Не знаю, чѣмъ нравлюсь вамъ.

— Не твоя дѣло. Нравишься, не нравишься. Нашъ дѣло. Понялъ. Пусть уходитъ.

— Неловко вѣдь! — лукаво замялся я.

Позвольте вамъ въ точности доложить, какія чувства меня обуревали. Рѣшилъ сами, правъ ли я быть или нѣтъ. Конечно, рѣшайте такъ, какъ рѣшили бы, будучи на моемъ мѣстѣ.

Я видѣлъ предъ собой двухъ различныхъ людей. Одинъ меня теперь любилъ всѣхъ свѣжестью звѣриной, доброй, немножко сумасшедшіей отъ дикости души.

Другой ко мнѣ былъ вялъ, безразличенъ.

Одинъ для меня готовъ былъ, пожалуй, полѣзть въ самое жерло



Въ старомъ паркѣ.

Вторая выставка Общества Куинджи 1918 г.
(Собственность Ю. М. Варягина).

R. Savitskii.

ледниковъ и заморозиться, бросить сына, скупо собранное хозяйство, словомъ, все. А другой, и не взглянувъ, готовъ былъ уйти отъ меня.

Кого выбрать?

Я знаю, что такое здравый разсудокъ, и смѣю думать, что не совсѣмъ обѣдентъ имъ.

Всякій здравый человѣкъ уцѣпился бы за сатиновую чоху Асатура и плюнуль бы въ слѣдъ мятаго человѣчка въ потномъ пенснѣ.

А я не могъ. Я взвѣсилъ и рѣшилъ, что съ Асатуромъ мнѣ подохнуть съ тоски и угрѣзеній, а съ Семигинимъ жить и баражаться, ждать иной доли.

Неудобства падшой души, какъ намекнулъ я уже вскользь, очень походять на трагедію падшой дѣвицы. Ни за что такой душѣ не удержаться у хорошаго, чистаго.

Дружба моей падшой душѣ—то же оскорблѣніе.

Что я могъ добыть изъ дружбы Асатура? Отклинувшись честно не смогъ бы, притворяться — тошно, играть предъ собой — глупо.

Совсѣмъ иначе съ Семигинимъ. Я его въ первыя пять минутъ раскусилъ, какъ пустой орѣхъ. Ничтожество. Наплевать, что въ народѣ полотенчики съ божествами и безъ оныхъ носить. Ничтожество!

Если я съ нимъ сживусь, подъ сапогъ возьму.

Здоровый, толковый человѣкъ глупо спросилъ бы меня:

— А зачѣмъ Семигина подъ сапогъ? Какая въ томъ прелесть?

Я скажу тутъ, что обыкновенно въ такихъ деликатныхъ вопросахъ падшой дѣвицы, то-есть человѣческой души, люди плохо разбираются, и чѣмъ умнѣе человѣкъ, тѣмъ, честное слово, хуже.

Размышеніемъ всей этой исторіи не обнѣть. Я самъ не побѣрилъ бы ни за что, если бы тамъ, стоя подъ сине-блѣдымъ пологомъ вѣчно замороженныхъ водъ, попирая разношерстнымъ сапогомъ стихіи,—дождь, лившій, какъ изъ помойного ведра на аулы внизу, я не ощутилъ очень ясно того, что стрѣлка моего естества клонится въ сторону Семигина и пренебрегаетъ Асатуромъ.

Одному я былъ благодаренъ, какъ могъ. Другого презиралъ и только собирался какъ-нибудь въ сторонку съ нимъ отойти, чтобы насытиться вдоволь и при этомъ открыть ему свою игру. „Моль, презираю, а къ себѣ привязываю, не смѣй безъ меня“.

Видите, какая подлая путаница была во мнѣ. Но я не позволю очень снисходительно относиться ко всему этому. Я вѣдь не искалъ выгодъ, какъ вы уже замѣтили. Семигинъ меня не могъ кормить и хотя сквернымъ виномъ, но понять. Съ Асатуромъ я все имѣлъ бы.

Вотъ это-то безкорыстіе и окрылило меня, придало небывалую силу, упорство несказанное.

Пока шель споръ о Семигинѣ, синѣ, догадываясь о причинѣ нашего сдержаннаго, но горячаго разговора, скромно и необычно стоялъ въ отдаленіи и вбивалъ наискосъ свою палку въ почву и притаптывалъ огромными ботинками—видать, съ чукой ноги,—мѣстечко предъ мольбертомъ.

Я косилъ на него глаза и, говоря съ Асатуромъ, соображалъ—на что же усядется нашъ академикъ.

Разныи деревянный снарядъ свой, онъ вытянулъ на снѣгъ грязную, неуклюжую палитру въ подчищенныхъ и залитыхъ скипидаромъ пятнахъ и зажегъ маленьку спиртовку, бережно прикрывъ ся сиреневый алкогольный огонекъ, въ видѣ лепестка фіалки, объеми трясущимися ладонями.

Зналъ онъ, что не пріятенъ первому среди насть—Асатуру, но была въ немъ терпѣливость и покорность собаки, у которой глаза, а съ глазомъ и лѣгкое собачье сердце зорко вбокъ глядѣть: все видѣть,—презрѣніе, злобу.

Какъ собака, ждущая пинка, но медлившая до послѣдней минуты, пока въ воздухѣ не мелькнетъ носокъ сапога, академикъ показывалъ, что онъ усердно занятъ своимъ дѣломъ и окружающаго не видѣть.

Онъ могъ отойти на двадцать шаговъ въ сторону, и ревность Асатура углѣгласи бы.

Но Семигинъ явно неспособенъ быть бороться съ обстоятельствами, каковы бы они ни были. Его мольбертъ-палка хорошо чувствовалъ бы себя и въ другомъ клоку снѣга, вокругъ которого морозными отвалами-сѣи ли ледники, розово дробилось въ морщинкахъ льда и черныхъ проталинахъ солнце, носились вѣтры, кутающіеся въ чадру распыленныхъ снѣговъ.

Но этотъ толстякъ зналъ хорошо свою судьбу. Ему никогда не полагалось пристанища; даже въ пустынѣ, между горой и безоблачнымъ небомъ.

Портретъ оперной артистки Петренко. В. Кузнецова.
Вторая выставка Общества Куинджи 1918 г.



Цвѣтущій май.

Вторая выставка Общества Куинджи 1918 г.
(Собственность И. Л. Вахтель).

М. Далькевич.

Я подошел к нему и сурово сказал:

— Послушайте, Семигинъ... Вот видите, какая штука. Мѣсто это, кажется, никому изъ насть не принадлежитъ, но господинъ Шахбазьянъ сердится, что вы заняли это мѣсто. Здѣсь мы будемъ строиться.

Асатуръ что-то забормоталъ и отвернулся. Семигинъ покорно всталъ и дернулся, расшатывая, свой мольбертъ, понесъ его въ сторону, а потомъ, когда вернулся за синимъ огонькомъ спиртовой лампочки, за мѣшкомъ съ тюбами и альфрейной, грубой палитрой, осторожно сказалъ:

— Я, собственно...

— Что такое? — громко поощрилъ я его.

— Собственно, говорю я, мнѣ и тамъ не плохо. Освѣщеніе даже лучшее.

— Лучшее?

— Эффектнѣй!

— Семигинъ, не хитрите. Вѣдь это глупо и недостойно даже васть. Ясно, — раздражительно сказалъ я, — что подъ небомъ всѣмъ мѣста хватить. А свѣтъ на высотѣ многихъ тысячъ футовъ хорошо дѣлается на любомъ разстояніи отъ... — Я показалъ пальцемъ на Шахбазьяна. — Отъ него...

Асатуръ усмѣхнулся, пристально и злобно взглянувъ на бѣднаго человѣка въ потныхъ стеклышикахъ на близорукихъ, мутно-бирюзовыхъ глазахъ.

Семигинъ пробормоталъ, кутаясь въ шарфъ:

— Я не зналъ, что помѣшаю. Но, кажется... вы сами меня пригласили.

— Что же. Извините. Теперь не могу васъ удерживать. Такъ вышло.

Художникъ съ сожалѣніемъ взглянула на выгорѣвшій спиртъ и задуль лепесточекъ жалкаго огня. Я понималъ, какъ нехорошо это.

Потухъ огонь на мокрому фитильку, и, казалось, солнце свѣтить сумрачнѣй и скучнѣй.

Обидѣли мы съ Асатуромъ человѣка, но я подумалъ, что понимаю эту обиду только я.

Асатуръ былъ серыезенъ и важно, съ злобной наивностью глядѣлъ на уходящаго Семигина. Я же отвернулся, растерянно и глупо усмѣхнулся.

Душа нынѣшняго человѣка раскрывается вовсе не въ крупныхъ большихъ дѣлахъ, а все больше—такъ, въ пустякахъ. Наполеонъ дрался подъ Ватерло, а англійскіе адмиралы, кажется, въ красныхъ штанахъ, сожгли тысячу пудовъ пороха подъ Трафальгаромъ. Кто скажетъ, что они не показали свой духъ во всю высоту его, вдоль и поперекъ! Но мы, мы-то, ежедневные, такъ сказать, люди, показываемъ себя не кому иному, какъ себѣ же.

Миръ наши совсѣмъ не заинтересованъ. Насъ не видятъ подъ часъ и окружающіе. Оттого мы только и дѣлаетъ, что заглядываемъ въ свое естество, въ самую глубину или мелкоту его, какъ въ колодецъ.

Асатуръ ничего не понялъ, кромѣ того, что ревнуетъ меня, и поставилъ ревность себѣ въ заслугу. Семигинъ, кажется, не разбирался, а только жалѣлъ о напрасно потраченномъ спиртѣ. Я же... этого не передать.

Боль, тяжкая боль навалилась мнѣ на сердце, хотѣлось приласкать толстяка, расшевелить въ немъ злобность, бросить съ ножомъ въ руки на стараго трактирщика.

У такихъ людей, какъ я, остаются одни пустыя угрызенія, и, чѣмъ глубже угрызаешь себя, тѣмъ больше хочется проказить, выкидывать этакія штуки.

Однако я сдержанѣлся и принялъ за работу. Сбилъ угломѣръ свой, вѣнь по четыремъ угламъ колышки, потомъ еще два колышка для погреба, сзади намѣченной стѣны.

Работа меня увлекла. Я видѣлъ предъ собой домикъ со стеклянными балкономъ, съ нумерками по бокамъ, крохотное веселое помѣщеніе, по которому ползаютъ, сорвавшись съ настила, маленькие, колючіе, сияющіе вихри.

Дерево Асатуръ собирался къ вечеру на арбахъ до полугоры поднять, а тамъ на вершинахъ, конями — почти до площадки.

Семигинъ разогрѣвалъ на лампочкѣ тюбы съ красками и то огонь поправлялъ, то на пальцы дуль. Пенснѣ на его носикѣ сползло, и онъ только потряхивалъ кудрявой головой, поправляя стекла у глазъ.

Отошелъ онъ неподалеку и сѣлъ къ намъ спиной. Минутами онъ горяко задумывался. Кисть опускалась къ снѣгу, и лопушистая шапка опадала вянущимъ грибомъ.

Это были, очевидно, мстительныя минуты, когда Семигинъ вживѣ ощущать нанесенное ему оскорблѣніе и пытался почувствовать злобу, отчаяніе, боль. Но всѣ волненія были давно изжиты пухлымъ человѣчкомъ съ лимонной бородкой Вандика и безвъзмѣнными, грязно-голубыми глазами.

Я шепталъ безсознательно:

— Онъ хороший. Лучше тебя, свинья. Господи, за что же, зѣ что? Надо подойти, извиниться, пожать руку. Можетъ-быть, почтительно склониться.

Я хотѣлъ представить себя цѣлующимся съ Семигинымъ и не могъ. Его никто не цѣловалъ, развѣ пьяные мужики у заѣзжей избы.

Асатуръ успокоился и ходилъ вокругъ колышковъ, съ воображеніемъ щуря большие, влажные глаза-миндали, и приговаривалъ:

— Скажи, какъ хорошо, га! Прямо алибухара... Замѣчательно, пожалуйста. Тутъ... стойку поставимъ. Надъ дверями — рѣга прибою, а среди роговъ лампу газокалильную повѣшу. Два флага, вѣтки туй отъ флаговъ на концы крыши. На Жѣлезной горѣ Мамаянъ держацъ кiosкъ, такъ даже народъ пугалъ. Вахъ, какъ пугаль... Замазаль въ бутылку руть, и когда вѣтеръ, — какъ шайтанка въ бутылкѣ кричалъ. Знаешь, какъ крикъ дѣлать?

— Не знаю!

— Не знаешь? Жаль. Не спросилъ его, Мамаянца. Въ аптеку зайдемъ, спросимъ.

Асатуръ развеселился. торговля, чувствовалъ, на ладъ пойдетъ. Наклонился ко мнѣ и шепчетъ, хотя Семигинъ и далеко — не услышитъ.

— Закусывать будемъ, понеси и ему.

— Неудобно, Шахбазьянъ.

— Почему неудобно, га? Мы угощаемъ! Отъ насъ можно ъѣсть!

— Неудобно: обидится. Погнали его, а потомъ... кушанье.
 — Баринъ какой! Помѣщикъ, пожалуйста. Не хочеть—не надо.
 Я улыбнулся дикой горячности старика.
 — Я не знаю, можетъ, и захочеть, да въ сторону носить, отдельно кормить, знаете, неловко.
 — Веди тогда его, собаку, сюда!

И величественно поглядѣлъ сначала на меня, а затѣмъ въ сѣрую, потнувшуюся за неудобнымъ мольбертомъ, спину художника.

На скрипѣ снѣга Семигинъ не обернулся и толькo, когда тѣнь отъ моихъ ногъ, рѣзкая, горная, съ небесно-гол. бой покромкой, легла черезъ его плечо на полотно, покрытос сверху ржимы царапинами цѣбтного карандаша и мазками краски, онъ повернулся вопросительно и мирно голову.

Какъ могъ мягко, я заговорилъ:

— Намъ скучно одиимъ. Можетъ-быть, вы сѣдѣли бы намъ честь и покушали съ нами.

— Я почти съѣть,—кротко посмотрѣлъ онъ мнѣ въ самую глубину глазъ.

Его взглядъ былъ чистъ, словно у праведника, и хотя не укорялъ, и не было въ немъ сердитой, осуждающей мысли, но его ясность, нематежная простота рванули меня за сердце.

На мигъ я подумалъ, что ошибся, что предо мной не лрянной человѣкъ, а тихій въ міру подвижникъ, святая душа той скромности, которой стыдно обряжаться въ монашескій подрясникъ, чтобы люди не глядѣли, не подумали—вотъ онъ, святой.

Я наклонился къ его глазамъ и, чтобы провѣрить робкую свою мысль, грубо повторилъ:

— Такъ что же? Бѣсть-то будете съ нами?

— Что же—можно. Даютъ, бери, а бѣть, какъ говорится, бѣти.

— Идите тогда за мной.

— Иду-сь, — готовно поднялся онъ и положилъ галитру на поставленный торчкомъ ящики, на которомъ сидѣлъ.

— Нѣть,—рѣзко сказалъ я, — не нужно ходить. Я вамъ сюда принесу. Сердить онъ на васъ.

— Господи, — прижалъ онъ съ торопливымъ видомъ руки къ груди, — развѣ я его чѣмъ обидѣлъ? Извиниться бы надо! Я понимаю, въ чѣмъ тутъ дѣло!

— Въ чѣмъ?—усмѣхнулся я съ болю за насы обоихъ.

— Понятно же... Человѣкъ онъ—гордый, а я на него не обратилъ достаточнаго вниманія и разговора не поддержалъ.

— Онъ съ вами и не говорилъ.

— Такъ что? же. Я не обратилъ вниманія. Съ вами говорилъ, а съ нимъ ни слова.

— Онъ дикарь и дуракъ. Поняли? О чѣмъ съ нимъ вамъ говорить?

— Душевныя свойства отъ Бога, а человѣкъ человѣкомъ не долженъ пренебрегать. Я готовъ извиниться... Пойдемте.

Онъ заторопился, не снимая, потеръ двумя пальцами стекло въ пенснѣ и оставилъ на стеклѣ сальное пятно.

— Вы не подумайте, что я изъ-за пищи. Я готовъ своимъ запасомъ до извѣстной степени подѣлиться. У меня гарнитуръ... ххе... пищи гарнитуръ на недѣлю.

— Отлично. Мы сѣдимъ вѣше и васъ оставимъ безъ крошки. Согласны?

Онъ молчаливо и съ недовѣріемъ распахнулъ въ стороны руки и такъ остался, точно взвѣшивалъ осторожно мои слова, разбирался въ нихъ, шутка ли, серьезная ли угроза. Наконецъ, жалобно онъ прошепталъ:

— Кокетничать равнодушіемъ не стану, но долженъ замѣтить, что больше у меня ничего нѣтъ. Аржану этого самаго. Но что деньги!. Ерунда, какъ говорится! Однако, я цѣль имѣлъ такую: ровно недѣлю пробить здѣсь и два-три полотенчика воздушными эскизами заполнить. Понимаете, голодъ не тетка. Я напрямикъ рѣжу и то, что другой скрываю бы, я—какъ на ладони. Готовъ всегда послужить ближнему, но безъ нужды ничего не сѣдѣла.

— А если мы нуждаемся? Если голодны? Семигинъ лукаво улыбнулся.

— Не вѣрю. Просто опытъ. Удивительны бывають люди.

— Это вѣрь чемъ же?

— Не знаю, какъ съ другими, а со мной часто опыты примѣняютъ.

— Да?

— Вотъ именно опыты. Чѣмъ я вызываю на опыты, право, не знаю. Всю жизнь такъ живу. Вивисекція—есть такое слово. Ну, меня всегда пробовали.

— Вы очень откровенны!

— Мое обыкновеніе, сударь. Что въ печи, все на столь мечи. Разъ меня...

Онъ пискнулъ нерѣшительнымъ смѣхомъ и опять потеръ сальными отъ краски пальцами, указательнымъ и толстымъ, на которыхъ лежали желтый валетъ табаку, другое стеклышко.

— Разъ, говорю, меня съ поѣздомъ въ Миланѣ высадили, или скрѣвѣ выложили, потому что я былъ пьянишись и спаль, а они подшутили. У меня не было ни сантима, какъ у благороднаго синьора, клинуясь вами Мадонной! Послѣ этого я не могъ попасть въ Россію четыре года, сбивалъ пропитъ этотъ самыи: на билетѣ третекласснаго достоинства. Четыре года ихнюю пріятельскую шутку своими боками поправлялъ. Опытъ-ст...

— Скверный опытъ.

— Господи, — сказалъ онъ съ такой убѣдительностью, что я улыбнулся,—да развѣ вы такъ располагаете, что люди способны на нескверные опыты? Какой бы опытъ человѣка надѣть человѣческой личности ни было, онъ ужъ тѣмъ скверенъ, что онъ—опытъ. Опытъ—этимъ все сказано!

Я подумалъ, что Семигинъ, пожалуй, не глупъ, — во всякомъ случаѣ съ горкими цветами жизни въ достаточномъ размѣрѣ собралъ полныи мѣдъ своего опыта...

Мало ли мнѣ приходилось видать надѣть собой, какъ чужое участье, чужое сожалѣніе превращаются въ скверный, подлый, да,—убийственный опытъ, какъ золото алхимика, вынесенное изъ волшебнаго подвала и подѣть свѣтломъ реального неба тухнущее въ латунь.

— Вы правы, Семигинъ,—тепло произнесъ я, — опыты надѣть человѣкомъ плохи. Но не будь опытовъ, не было бы и познанія человѣка, души его.

— А на что оно? Съ познанія папироски не свернешь.

— Вы циникъ, Семигинъ. — засмѣялся я, притворно играя глазами.



На балконѣ.

Вторая выставка Общества Кунджа 1913 г.
 (Собственность М. И. Вахтель).

И. Дроздовъ.

Циник! — захочатъ онъ польщенно, показывая пеньки изъѣденныхъ зубовъ отѣнка вороненой стали.

— Вы не вѣрите, Семигинъ, что необходимо изучать душу себѣ равныхъ?

— Нѣть причинъ. Никто ничего не изучить.

— Это почему?

— Просто. Вотъ вы думаете, что знаете меня. А я вѣмъ замѣчу, что—отнюдь.

Я поморщился. Семигинъ замѣтно нагльть, правда, съ прімѣсью робости и хитрости, но все же нагльть. Я рѣшилъ одернуть его и очень сухо отчеканилъ:

— Ну, это вы врете, милостивый гоударь, ридна моя маты. Врете, какъ сивѣйший меринъ. Я вѣсь, какъ себя, вижу.

Онъ снялъ пленснѣ, выпрямился такъ, что въ нагруженной мясистой груди мягко трюхнуль хрящникъ, и сѣмѣрилъ меня непокрытыми стекломъ, а потому непріятными, глазами:



У зеркала.

Вторая выставка Общества Куинджи 1918 г.

— Себя вы полагаете, что знаете?

— Думаю, что достаточно.

— Не оспариваю. Не смѣю. Но меня вы не знаете. А я вѣсь, извините за смѣость, изучилъ въ натуральную величину. Хоть раму багетную на вашъ портретъ наставляй.

— Это интересно,—пробормоталъ я.

И вотъ тутъ, отмѣчу, впервые предъ нимъ, котораго въ нуль, въ пустыни засчитали, почувствовалъ я то стѣсеніе въ груди, которое у меня бываетъ предъ тѣмъ, какъ крѣпко мнѣ смутиться.

Я понималъ, что сберегу свое достоинство, если замну разговоръ, разсмѣюсь, беспечно засвищу или просто, извините, въ морду ему дамъ.

Но я предпочелъ лѣниво усмѣхнуться и разрѣшить ему поговорить. Онъ почувствовалъ это и сказалъ:

— Такъ что же? Обѣдомъ угощаете?

— Прошу вѣсь за мной!

Я повѣль его по сѣбу, какъ по коврамъ своего дома.

Солнце поднялось высоко, и рѣбята полосы въ снѣгахъ гордернулись нѣжно-сизымъ пушкомъ, — такъ мутнѣеть альча, созрѣвшая на темныхъ вѣтвяхъ.

Асатуръ разостлалъ двѣ газеты, открылъ кривой ножъ въ ро-

говомъ прозрачномъ черенкѣ, положилъ нерѣзанные пополамъ кукурузные чуреки и лепешки изъ отѣвной муки на курдючномъ жиру съ сахаромъ.

Баранье долгое полотно зажаренного мяса на перерубленномъ хребтѣ, съявшемъ фаяновымъ бѣлымъ, нѣжнымъ цвѣтомъ костей, лежало посереди, возбуждая аппетитъ.

Я горѣлъ нетерпѣніемъ и не замѣтилъ, какъ пріяя Асатуръ гости. Кинуть ли навстрѣчу головой, или сидѣть суровымъ изваяніемъ, какъ гранитный идолъ Митры въ храмѣ, внизу.

Помню одно, что Семигинъ былъ жадно, и его гнилые, мелкие зубы, пропитанные спиртомъ, оказались крѣпче костей барана. Онъ слизывалъ жиръ съ пальцевъ и отирали ихъ. А я поспѣшилъ обдумывать то, съ чего онъ вдругъ осмѣлья такъ сразу и увѣренно.

Кажется, я былъ съ нимъ, какъ необходимо съ такими людьми, грубъ, рѣзокъ и насмѣшивъ. Я сталъ его повелителемъ и готовъ былъ надѣть пимъ отводить душу. Онъ понималъ это и терпѣлъ.

Значить, Семигинъ почувствовалъ теперь во мнѣ, по-лиси высмотрѣлъ прикованный, тайный уголокъ, нѣжное мѣсто и готовился вонзить въ него свои сѣдѣніе, отвратительные, кукольно-маленькие зубки.

Меня передергивалъ и наливалъ холода, и я чувствовалъ то неопредѣленное томленіе, когда падвигается болѣзнь, и ты гонишь ее, притворяешься здоровымъ, не хочешь ей поддаться.

Семигинъ не спѣшилъ насладиться и хрестиль, ползая усами по kostямъ, сосаль, вздыхаль.

Пойти, онъ оторвалъ кусокъ газеты, сложилъ вдвое и провель по усамъ, счищая жиръ.

— Теперь поговоримъ,—поднялъ онъ на меня непріятные стеклами глаза.

Думаю, что Семигинъ зналъ силу своихъ мертвыхъ глазъ, зрачковъ, опустошенныхъ и видѣвшихъ на семигинскомъ вѣку такое, отъ чего всяка человѣка съ горячей кровью и кипятящимся, гѣвлывымъ, достойнымъ сердцемъ, оторопъ за горло хватаетъ.

— Говорите,—безпечно пожалъ я плечами и принялъся ъѣсть.

Хитрилъ. Со ртомъ, набитымъ непрожеваннымъ мясомъ, удобный глухо и невнятно говорить комка со словами и мысль.

— Бидите ли, — произнесъ онъ медленно, высыпая съ шумомъ и чувствомъ изъ скверныхъ своихъ зубовъ волокна мокраго, наслюненного мяса, — видите ли, я вѣсь знаю по простой, по простѣйшей причинѣ, съ которой вѣмъ бороться не пристало.

— Это нехорошо! — слабо возразилъ я сквозь кусокъ на языке. — Вы мнѣ, голубчикъ, заранѣе руки въ бесѣдѣ вяжете. Это нечестно и... приберегите для другихъ, а мнѣ только свои наблюденія выкладывайте.

Я горячо стукнулъ кулакомъ по газетѣ. Можетъ-быть, я нѣсколько меньше горячился, чѣмъ показывалъ. Это не ускользнуло отъ Семигина.

Онъ самодовольно усмѣхнулся. Я понять и еще горячѣй заговорилъ, дразня его горячностью.

— Прошу только — напрямикъ. Словечко и тумана не напускайте. Дѣйствуйте фактами. Что вы увидали во мнѣ такого, что считаете основнымъ? Видѣли — такъ скажите. Я все приму. Пожалуйста! О, Господи, развѣ я противъ того? Пожалуйста...

— Минѣ, — медленно и внимательно молвилъ онъ, — и нечего вамъ сказать. Понятно, такого... главнаго я не увидѣлъ въ васъ...

— Это почему?

— А потому, сударь, что главное въ комѣ есть, а въ комѣ и не бываетъ. Вѣ вѣсь ничего такого нѣть. Вы безъ главнаго.

— Это вы врете. Извините на словѣ!

— Ничего. Я всякия слова слышаль, и мнѣ лѣнъ на нихъ откликаться. Вѣ вѣсь, говорю вамъ, главнаго нѣть, а все другое присутствуетъ. Это плохо-сѣ. Самолюбія вѣ вѣсь, какъ вѣ лѣсу бурелому: утонешь вѣ немъ. Только самолюбіе при талантѣ хорошо. Для настѣ съ вами самолюбіе — плохая добродѣтель.

— Нѣть, — рванулъ я горячо по живой боли, — нѣть, вы меня можете принижать, но съ собой, пожалуйста...

— Хорошо, не буду сравнивать. Я ниже сравненія даже съ вами. У вѣсь есть хотя бы самолюбіе, а у меня его нѣть. Я вѣмъ жалокъ. Вижу! Нечего сть меня взять. Погодите, сегодня я вѣ разговорномъ ударѣ. Я многое еще наговорю. Непріятное... Да, жалокъ, подѣль, малъ, какъ птица-пиголица. Да вѣдь я съ себя по всѣмъ Господа Бога не ищу проторей и убытковъ, а вы съ себя — ищете. Вы гордецъ, а я гордость презрѣль, боль самолюбія — презрѣль и ничего не ищу. Вы думаете обо мнѣ, что я, моль, о себѣ думаю: «Бѣдный неудачникъ, но съ искрой. Смѣшино картинки вѣ народъ таскать, какъ крышки гробовыхъ.



П. В. Деларовъ. П. А. Брюловъ. Е. В. Кавосъ. В. В. Матэ. И. Е. Рѣчинъ.
Изъ прошлаго. Вторая выставка Общества Куинджи 1918 г.

Да, судьба*. Такъ вѣтъ вамъ — нѣть, нѣть-съ!.. Ничего этакаго не думаю!

— Врете, — разсмѣялся я сердито и покраснѣлъ.

— Нѣть, не вру. Песь вреть, а я разучился врать.

— Врете.

— Нѣть, не вру. Ань и не вру. Что-съ!

— А я утверждаю, — сказалъ я грубымъ, угрожающимъ голосомъ, — что вы именно такъ о себѣ и смыслите. Вы думаете, что жалки изъ-за судьбы, изъ-за коварныхъ людей, а не изъ-за себя. Вы думаете еще, что вы, какъ выразились, съ искрой, а въ васъ и пеплу нѣть.

— Совершенно правильно! — наклонилъ Семигинъ голову, — и пеплу нѣть...

— Не притворяйтесь только, что испытываете отъ моихъ словъ удовольствие.

— Удовольствія во мнѣ нѣть. Этого я лишился давно. Не удовольствие, а покой, клянусь Мадонной... Вы вотъ меня погнали, а мнѣ всюду покойно. Гора, разумѣется, не ваша. А я рѣшилъ вамъ доставить удовольствіе и отъ грѣха отошелъ. Вы мнѣ ничего хорошаго не дали, а я вамъ далъ, разрѣшилъ то-есть повеліться надо мною. Значитъ, я вамъ доставилъ соотвѣтствующее удовольствіе. Что? Вы молчите! Вы мнѣ ничего не дали, а я вамъ далъ. Я, значитъ, богаче васъ. Одарилъ казнью несчетной...

И онъ запѣлъ медвѣднымъ, противнымъ голоскомъ:

Дамъ тебѣ я казну
И бешметъ голубой...

Не буду передавать путанными словами то, что дальше стыдного и открытаго, явнаго — было межъ нами говорено.

Договорились до такой оголенности, что и бани не нужно. Ахъ, какойстыдъ!

Вспомни и, хотя вмѣстѣ съ Власомъ живу, а при немъ хихикну, лицо теплѣюще кровью со стыда прикрою и такъ, боясь дыханія въ воздухѣ уронить, сижу долго, долго.

Бываетъ въ любви человѣка къ человѣку разное.

Сначала чистая вѣра, свѣтозарная, хорошая, любовь — пѣсня, любовь — счастье, а потомъ начинается бореніе. Глаза видѣть, а умъ, подлый умъ, подсказываетъ много такого, отчего отъ любимаго на край свѣта забѣжалъ бы.

Мучишься, кровью исходишь, а ни за что, ни за что, знаете ли, не отайдешь. Въ любовной полосѣ къ человѣку это самое тяжкое, мрачное, изувѣрное.

А потомъ перекалились, пепломъ, окалиной желѣзной зазвениши: ничего тебѣ не нужно. Смертный покой постѣ бѣшенства и подозрѣній любви.

Хорошо, — какъ въ лѣсу подъ поющими деревьями, послѣ того, какъ тебя трепало по глинистымъ дорогамъ страстей подъ бурными, грозовыми небомъ.

Вотъ я-то былъ во второй, скажу вамъ, части любви и жизни а Семигинъ все преодолѣлъ и покоемъ подъ деревьями усلاжался.

Жизнь онъ вонетицу презрѣлъ и только насмѣхался надо мной, моня величачіемъ надъ его ничтожествомъ, да какимъ — завѣдомымъ ничтожествомъ.

Трудно теперь, когда много времени прошло и много думалось надъ этимъ, все припомнить, какъ и что было въ твоей душѣ. Одно вспоминаю.

Словно послѣднимъ мучительнымъ огнемъ меня зажгли, и горѣль, ровно тотъ свадебный факель, обернутый въ сторону мертвѣцкаго гроба.

Асатуръ дремалъ, поматываясь вѣтъ тѣломъ: сидя, крѣпко задремалъ и только красную нижнюю губу вслѣдъ за вздохами высунуть и, всхрапнувъ, обратно убереть.

Семигинъ сидѣлъ за салной бумагой съ барабанными kostями, держа пинсѣ въ пухлыхъ, противныхъ пальцахъ, и глядѣлъ предъ собой мирно, очевидно, съ удовольствіемъ переваривая даровое угощеніе.

Я прерваль тяжелый разговоръ, открывавшій во мнѣ очень многое, во что не слѣдъ человѣку изъ послѣдняго уваженія къ себѣ заглядывать.

Помню, день совсѣмъ загорѣлся отъ приспавшагося за сѣнговой краjkъ солнца. Какой ясный воздухъ. А даль какая!

Господи, молодость гдѣ моя, куда подѣвалася я лучше?

До Семигина, — грубо, конечно, жизнь свою дѣлю, — былъ молодъ и жаждалъ и терзался, а послѣ него — сразу поддался дряхлости, сонливости, когда засыпаешь подъ смѣхъ молодости за тѣмъ столомъ, за которымъ она пышно пируетъ. Любиль, хотя въ мукахъ, жизнь до Семигина, а поговорилъ съ нимъ, его потухшими зрачками въ душу къ себѣ поглядѣлъ и понялъ, что не зачѣмъ, не къ чему трудить себя, а лучше поддаться и къ дну, къ тинѣ и покою, пойти внизъ головой.

Ученые люди вонъ говорять что-то о смерти и старости, о томъ, что наукой можно отогнать старость.



Портретъ Е. В. Благовѣщенской.

Вторая выставка Общества Куинджи 1918 г.
(Собственность В. В. Благовѣщенского).

И. Дроздовъ.



На Аничковом мосту.

А. Вахрамьевъ.

Вторая выставка Общества Кунцки 1918 г.

Спросили бы меня,—без гордости скажу: в ту минуту, когда кончили разговорь съ толстякомъ, высасывавшимъ мясо изъ червивыхъ зубовъ, и когда поялъ все, изъ чего жизнь составлена. Я, можетъ-быть, поя себѣ отходную, многое правильное смогъ бы тогда о старости сказать.

Теперь этого я лишенъ. Ничего не смогу сказать. Потухло. Словъ нѣтъ, чувства слиняли до невыразимости.

Припоминаю только ясную вѣру свою въ тотъ часъ: я хочу и, борясь изъ всѣхъ силъ снова, моль, приманю къ себѣ вѣру въ жизнь, въ то, что счастье не закатилось, и я могу быть любимъ, какъ любятъ молодыхъ.

А захочу, и острыя муки сорошу съ себя, какъ скверную весость, разомъ освѣжусь, да съ ветошью потеряю право на молодость.

Позволю себѣ сказать вотъ что. Можете вѣрить или не вѣрить—какъ хотите, но съ того дня я гуще засѣдѣль, кашлять съ надсадой и мокротой стариковской началь, погорбился въ лопаткахъ.

Допусти только ее, какъ тотъ рыцарь говорилъ, ее—курносую. Ходить около меня, а я и пальцемъ не пошевелю.

Готовъ умереть ежечасно и съ полнымъ всепрощенiemъ и Мариетточкѣ и другимъ. Опись своимъ чувствамъ и на бумажку занесъ, и въ часъ кончины опись эта пойдетъ почтой къ родственникамъ—пусть по привадлежности пустятъ. Каждому свое чувство къ нему изобразилъ.

Больше, собственно, и нечего миѣ вами сказать. Не подумайте только, что я вамъ сказалъ все.

Всего нельзѧ сказать. Потому что, если въ моей дохлой и глупой волѣ было бы каждому встрѣчному, простите на такомъ словѣ, все завѣтное выбалтывать, такъ я бы и зналъ все, изъ чего вылѣпленъ и чѣмъ дышитъ человѣкъ. А сія тайна велика есть.

Господи, Господи, легко теперь живу. Одинъ трудъ трудный во мнѣ: въ Тебя, Господи, что-то не вѣрю. А не вѣрю, пожалуй, отъ того, что всякая иѣра—отъ молодости.

Праотцы вѣрили. На горѣ Аeonѣ, где побывалъ, въ каменной щели заточниковъ я видаль—всѣмъ за сто, и бороды далеко за грудь свисаютъ. Вѣрять. А вѣрять—молоды, и борода—обманъ.

Наградилъ меня Семигинъ покоемъ—благодаренъ ему.

Простите! Все спросить порываюсь: не надобѣль ли вамъ своей повѣстю? Дальше все просто сложилось. Разрѣшите бѣгло доложить.

Семигина вы не далѣе какъ черезъ полчаса увидите. Онъ портерныхъ не посѣщаетъ, а за мной заходитъ. Отъ пива отвратился. Вѣдь въ искоркахъ пива тоже грезы, хоть захудалыя, а грезы. Онъ теперь факиромъ этакимъ въ священныхъ рощахъ живетъ.

Ну-съ, въ тотъ вечеръ пошелъ съ горы Асатуръ, за лѣсомъ спустился. А мы рѣшили заглянуть въ храмъ. Говорили, что кости женщинъ въ доспѣхахъ хранятся. Есть такой горскій обычай—въ родѣ амазонокъ. Въ день святого Ильи—отличный праздникъ!—и теперь грузинскія бабы косы подъ папахи подберутъ, ружья подъ локотъ и на лошадяхъ—готъ какъ. Джигитовка называется.

Въ честь старика Ильи палять—летать пыжи, словно борода огненная огненного старца, улетающаго на пламенномъ колеснице въ небо. Можетъ, перепуталь, такъ простите. Не Илья, можетъ, летѣть?

Пошли мы съ Семигинымъ смотрѣть скелеты у церкви, въ погребѣ, стъ заржалленными отъ временъ Шамилевыхъ ружьями Ничего не увидѣли.

Въ храмъ сунулись, пыль и грусть.

Разговаривали тихо и, того не замѣчая—все внизъ, все внизъ, пошли то-есть. Когда на много отошли, вспомнили о духахъ въ ледникахъ, угѣхъ альпинистовъ.

— Что же,—засмѣялся своими червоточными зубами Семигинъ,—имъ монре, а намъ—санрео. Имъ отдыхъ, а намъ маята. Пойдемъ, что ли!

У меня загорѣлось сердце. Остро, орломъ, съ Богу, въ вершины возился. Сиять паника дилами. Боже, за что такая красота непознанная. Чѣмъ передъ Тобой провинился, что вижу и понимаю, а въ сердце майскимъ бальзамомъ не проливается и тихости не получаю.

Терзала меня дольная жизнь, терзали альпійскіе просторы, терзали заоблачный полетъ. А съ Семигинымъ уютно, какъ въ колыбелькѣ.

Чортъ, а не человѣкъ. Забаюкалъ, затишись, замирись. Ходимъ мы съ нимъ... Погодите...

И годы растерялъ. А много. Лѣтъ семь, восемь. Какъ птицы небесныя.

Не сѣмь, не жнемъ, а сѣты тоже не бывають.

— Человѣкъ, обратите и на нашъ столикъ вниманіе. Бутылочку! Нѣ-стъ, больше не въ состояніи. Одну-единственную. И такъ, какъ жаба, намокъ. Теперь буду сухарикъ въ соли сосать и дружка поджидать. Охъ, не онъ ли?

Вонъ у дверей. Такъ и есть.



За чтенiemъ.

А. Вахрамьевъ.

Вторая выставка Общества Кунцки 1918 г.

— Человѣкъ... Послушай, молодецъ, не нужно. Я бутылочку зака-
зываю—такъ не нужно.

Пришелъ онъ за мной. Спятинкать меня поведеть—баю-баю
Подъ однинмъ одѣяломъ, вѣрите ли, сплю, передрогнешь и при-
жмешься. А средь ночи съ глухихъ просонокъ чувствуешь—
Мареточка... Привычка.

Иду, иду. Видите, знакъ рукой подаетъ. Что, не вѣрно опи-
сать его?

Да, да, теперь въ сѣдину его ударило и безъ пенснѣ. А безъ
пенснѣ—по причинѣ вышло.

Вѣль меня вышившаго, и я его свалилъ, затеряли мы стек-
лышики. Такъ горевали, ужъ такъ!

Съ капиталомъ теперь все не сложимся — пенснѣ купить. Ход-
ить онъ теперь, какъ пѣтухъ послѣ куриной слѣпоты. Вотъ
она, дружба. Ну-съ, всего, всего хорошаго.

Еще слово прибавлю. И такъ муравыиную кучу словесъ насы-
палъ. Хочу сказать, что началь говорилъ гордо, кончилъ слабо.
Разказчикъ я плохой, больше отъ робости на книжку сбиваю
рѣч. Такъ вы, пожалуйста, начну не вѣрьте, а концу... правдѣ
моей довѣрьтесь.—Иду же. Вотъ нетерпѣніе разбираетъ.

Ужъ простишь ему. Безъ стеколь—слѣпенькій!



Моя тоска не знаетъ мѣры,
А сердце мечется въ бреду,
И у моей забытой двери
Я никого уже не жду.
Дразня, какъ сны, звучать копыта
По утомленной мостовой...
Мнѣ все равно, что я забыт
Тобой.
Мнѣ все равно, что слезы боли
Стальнymъ кольцомъ сжимаютъ грудь...
Вѣдь одиночество и воля
Мой путь.

Наталія Грушко.



Портретъ художника Ф. В. Дмоховскаго. А. Вахрамьевъ.
Вторая выставка Общества Куниджи 1918 г.

Мольба.

Изъ Сюлли Прюдома.

О, если бъ вѣдома была вамъ и знакома
Грусть одиночества, навѣрное, тогда
Близъ моего ходили бы вы дома

Хоть иногда.

И если бъ вѣдома была вамъ сердца тайна,
— О, свѣтлый взоръ, когда въ душѣ темно!—
Свой взглядъ порой вы бросили бѣ случайно
Въ мое окно.

И если бъ знали вы, какъ можетъ сердце много
Доставить сердцу бѣдному добра,
Пришли бы сѣсть у моего порога

Вы, какъ сестра.

Но если бъ знали вы, какое къ вамъ влеченье
Таю въ моей сердечной глубинѣ,
Быть-можетъ, вы тогда безъ размышленья
Вошли бѣ ко мнѣ.

Зинаида Ц.



Портретъ художника Н. П. Химона. А. Вахрамьевъ.
Вторая выставка Общества Куниджи 1918 г.



Съ визитомъ. (Сплетницы).

Вторая выставка Общества Куинджи 1918 г.
(Собственность М. Л. Вахтель).

Л. Мардеросовъ

Бумажные деньги французской революции.

Очерк проф. Н. И. Карцева.

(Съ 5 рис. на стр. 526 и 527).

Въ исторіи французской революціи сыграли большую роль бумажные деньги,—роль экономическую, съ одной стороны, и политическую, съ другой. Выпускъ ихъ былъ финансовою мѣрою, которая не только ничего, въ концѣ концовъ, не улучшила, а только принесла громаднѣйшій вредъ, такъ какъ чрезмѣрный ихъ выпускъ повлекъ за собою страшное ихъ обезцѣненіе, а слѣдовательно и непомѣрный ростъ цѣнъ на всѣ товары, съ которымъ пробовали бороться закономъ о максимумѣ, т.-е. введеніемъ такъ на разные товары и на заработную плату. Это паденіе цѣнности бумажныхъ денегъ и вздорожаніе жизни, въ значительной мѣрѣ, если не главнымъ образомъ имѣть обусловленное, были однимъ изъ причинъ недовольства населения, въ свою очередь подрывавшаго прочность нового порядка вещей.

Эти бумажные деньги назывались преимущественно ассигнатами, подъ каковыми именемъ преимущественно и извѣстны, но, кроме того, были еще такъ называемыя земельные свидѣтельства (территориальные мандаты) и, наконецъ, всякие „бони“, записи на получение денегъ, или расписки въ ихъ получении, разныя квитанція (например, при реквизиціяхъ). Какъ извѣстно, одна изъ причинъ, заставившая Людовика XVI созвать въ 1789 г. государственные чины (Генеральные Штаты), заключалась въ разстройствѣ финансовъ при существованіи громаднаго долга. Возникшее изъ этого учрежденія

годъ послѣ первого декрета объ ассигнатахъ, т.-е. въ декабрѣ 1790 г. и совсѣмъ отмѣнѣнъ. Первые ассигнаты выпускались такъ, что наименьшая купюра была въ десять тысячъ ливровъ, а въ апрѣль 1790 г. она опредѣлялась уже только въ двѣсти ливровъ съ установленіемъ для ассигнатовъ принудительного курса, въ самомъ же концѣ года рѣшено было выпускать билеты и въ пятьдесятъ ливровъ. Одновременно максимальный предѣлъ былъ повышенъ съ четырехсотъ миллионовъ до одного миллиарда двухсотъ тысячъ ливровъ, т.-е. въ три раза выше.

На этомъ первое Национальное Собрание (Учредительное) не остановилось, выпустивъ ассигнаты въ общемъ на 1.800 миллионовъ, Законодательное—на 900 миллионовъ, Конвентъ—уже болѣе чѣмъ на семь миллиардовъ, а Директорія—на 351/2 миллиардовъ, что въ общей сложности составляетъ сорокъ пять съ половиной миллиардовъ. Выходитъ такимъ образомъ, что первоначальный предѣлъ былъ превзойденъ болѣе чѣмъ въ сто разъ!

*) Ливръ—денежная единица, превращенная впослѣдствіи въ францъ; въ ливрѣ было 20 су (или солей), въ су—12 деніе.



Рис. 1.



Рис. 2.

По мѣрѣ того, какъ увеличивалось количество выпущенныхъ ассигнатовъ, цѣна ихъ на звонкую монету постепенно падала. Въ 1790 г. за сто ливровъ ассигнатами давали 95 ливровъ золотомъ, въ началѣ 1791 г.—90, къ концѣ—85, въ исходѣ 1792 г.—63, въ 1793 г.—около 40, въ 1794 г. курсъ падалъ до 35% и ниже, пока въ началѣ 1795 г. не достигъ всего только 18%. Затѣмъ паденіе курса прошло особенно быстро: въ юлѣ того же года онъ достигъ только 3%, а въ ноябрѣ менѣе одного процента, все равно, какъ если бы у насъ одинъ рубль сталъ стоить менѣе одной копейки! Именно, осенью 1795 г. ассигнаты распѣнивались въ 0,87% своей номинальной стоимости. Въ 1796 г. пониженіе прошло дальше: въ январѣ курсъ былъ въ полпропцента (0,54%), въ концѣ февраля менѣе, чѣмъ въ треть (0,29%). Немудрено, что въ 1795—1796 гг. особенно давала себя чувствовать непомѣрная дороговизна всего, что покупалось на обезпѣненные ассигнаты. Приводимъ нѣсколько примѣровъ, которые могутъ дать понятіе о томъ, какъ низко пала покупательная сила этихъ бумажныхъ денегъ французской революціи. Въ 1795 г. чашка кофе стоила 15 франковъ, что при переводе на рубли, при курсѣ, бывшемъ до 1914 г., составляло бы около 5½ рублей. Въ январѣ въ Парижѣ фунтъ хлѣба стоилъ 50 франковъ (болѣе 18 р.), фунтъ муки 60 фр. (т.-е. 22 р. 50 к.), бутылка обыкновенного вина 100 фр., фунтъ свѣчей—180 фр. (67 р. 50 к.), пары башмаковъ—200 фр. (75 р.). При переводе этихъ цѣнъ на русскія, конечно, большого значенія не имѣть нѣсколько большая величина французского фунта ($\frac{1}{2}$ килограмма) сравнительно съ русскимъ (приблизительно въ одну пятую资料 our фунта). Обычный денежный ростъ до революціи былъ отъ 4 до 6 процентовъ въ годъ, а при Директоріи онъ возрѣзъ до 4—6 процентовъ въ мѣсяцъ, а случалось—и до 7%, да и то подъ залогъ.

Операциіи съ бумажными деньгами для многихъ служили средствомъ обогащенія вмѣсть съ торговымъ барышничествомъ, поставками въ армию, покупкою національныхъ имуществъ и т. п. Ассигнаты и созданы-то были въ связи съ распродажею національныхъ имуществъ, которыхъ притомъ для ускоренія хода операций оцѣнивались ниже ихъ дѣйствительной стоимости. Правительство боролось съ „ажитажемъ“ самыми строгими мѣрами, но, нуждаясь въ финансистахъ, въ поставщикахъ и т. п., на многое смотрѣло сквозь пальцы, особенно въ эпоху Директоріи.



Рис. 3.

Мѣры противъ обезпѣненія ассигнатовъ ни къ чему не приводили, такъ какъ бумажные деньги выпускались сверхъ всякой мѣры, а тутъ еще въ большомъ количествѣ появились фальшивые ассигнаты. Съ осени 1793 до зимы 1794 г. дѣйствовалъ, какъ известно, законъ о наивысшихъ цѣнахъ на предметы потребленія („максимум“), но и его пришлось отмѣнить, потому что никто не хотѣлъ производить и торговаться себѣ въ убытокъ.

Дѣлались и попытки уменьшения количества находившихся въ обращеніи ассигнатовъ. Въ юлѣ 1793 г. были объявлены подлежащими обмѣну ассигнаты съ портретомъ короля и дороже ста ливровъ, срокомъ же обмѣна назначено 1-е января 1794 г. Изъ 558 миллионовъ было обмѣнено 354 миллиона, а 204 миллиона



Рис. 4.

такимъ образомъ оказались аннулированными. Въ декабрѣ 1795 г. былъ изданъ декрѣтъ о прекращеніи дальнѣйшаго изготавленія ассигнатовъ и объ уничтоженіи самыхъ граверныхъ досокъ, съ которыхъ производилось ихъ печатаніе, но исполнено было послѣднее только мѣсяца черезъ два, 19-го февраля 1796 г. (30-го плювіоза IV года), за этотъ же промежутокъ времени Директоріей было выпущено еще на 12 миллиардовъ. Вотъ тогда-то и появились новые бумажные деньги, „территоріальные мандаты“, на которыхъ можно было покупать конфискованныя земли эмигран-

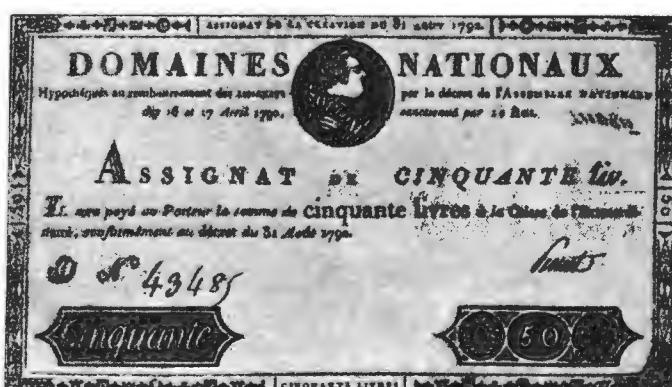


Рис. 5.

твъ и обмѣнивать ассигнаты, конечно, съ громадной потерей на обмѣнѣ. Но и эти бумажки стали быстро обезпѣниваться: вскорѣ постѣ выпуска своего онѣ уже стояли на 18% ниже золота, а осенью 1796 г. и мандаты стояли сначала только 5% и наконецъ тоже 1%. Между тѣмъ, когда выпускали эти земельные свидѣтельства, они стояли въ тридцать разъ дороже ассигнатовъ. Такъ и съ мандатами произошло то же самое, что и съ ассигнатами. Финансовая система французской революціи кончилась государственнымъ банкротствомъ, изъ котораго страна вышла только при Наполеонѣ, благодаря въ значительной мѣрѣ тому, что еще со временемъ итальянскаго похода побѣженныя правительства и населенія должны были расплачиваться большими контрибуціями въ звонкой монетѣ. Нужно прибавить, что золото во время революціи все-таки оставалось въ обращеніи, а серебро было много добыто путемъ продажи церковной утвари.

Ассигнаты и мандаты такъ-таки и остались неоплаченными, а получили кое-что только держатели „боновъ“, выпущенныхъ вмѣсто ренты, но такъ, что золотомъ выдавалась только одна

треть, а двѣ трети въ размѣрѣ 50%, такъ что, напримѣръ, бонъ въ 150 франковъ оплачивался лишь 55 франками.

Отъ той эпохи осталось такое громадное количество бумажныхъ денежныхъ знаковъ, что до сихъ поръ у антикваровъ и букинистовъ ихъ можно имѣть по очень низкимъ цѣнамъ, по какимъ ихъ и приобрѣтаютъ разные любители старины. Часто они воспроизводятся и въ иллюстрированныхъ изданіяхъ исторіи революціи, а также на открытыхъ письмахъ. Мы даемъ здѣсь три образца.

На нихъ (рис. 2 и 4) изображены аллегорическія фигуры Свободы и Равенства съ ихъ атрибутами и скрижалю „Правъ человѣка“. Надписи гласятъ: „Законъ караетъ смертью поддѣлывателя“ и „Нация вознаграждаетъ доносителя“. На одномъ ассигнатѣ предъявителю обѣщана уплата 15 су (около 28 коп.), на другомъ—50 су (около 1 р. 87 коп.). Третій образецъ въ 50 ливровъ (рис. 5) съ портретомъ короля имѣть дату 31-го августа 1792 г., когда монархія во Франціи уже не существовало; штампъ былъ изготовленъ раньше события 10-го августа.

По этимъ образцамъ печатали свои „боны“ и роялисты, когда

организовали контрѣ-революціонную армію въ Бретаніи и нуждались въ своихъ денежныхъ знакахъ. Отмѣтимъ еще, что у разлиновъ вошло въ обычай складывать такъ революціонные ассигнаты (рис. 1), чтобы въ серединѣ выходили изъ двухъ разныхъ надписей слова: „смерть республики“. Между прочимъ, по этому способу складывать ассигнаты они узнавали о принадлежности другъ друга къ партии.

Въ видѣ курьеза приводимъ еще снимокъ (рис. 3)—шутливый „Мандатъ на уплату предъявителю двадцати пяти подѣлуевъ“ съ помѣтками: „Серія сердце. Годъ счастья“ (нальво) и „Зарегистрировано въ бударап грації“ (направо). Наверху значится: „Домены (владѣнія) любви“ (или Амура), внизу—„Двадцать пять подѣлуевъ“, а по бокамъ въ бордюре стоять слова: „Амуръ (или любовь) караетъ смертью равнодушіе“ и „Амуръ (или любовь) вознаграждаетъ вѣрность“. Такія „вольны подражанія“ ассигнатамъ были вообще въ ходу у французовъ, которыхъ и въ тяжелыя времена не оставляла присущая имъ привычка шутить и забавляться.



Морской гротъ.

R. Смидтъ.

ЗАЯВЛЕНИЕ.

По условіямъ разсрочки, подписаная плата за „Ниву“ 1918 года должна быть внесена **полностью къ 1-му августа сего года**. Контора журнала „Нива“ покорнейше просить поэтому гг. подписчиковъ, не внесшихъ сполна подписаныхъ денегъ, озаботиться **немедленною присылкою** осталальной причитающейся съ нихъ суммы, **во избѣженіе остановки въ высылкѣ журнала**. Гг. иногородные подписчики при высылкѣ денегъ благоволять **обозначать на видномъ мѣстѣ копію печатнаго адреса** съ баннеромъ или **прилагать самый адресъ и непремѣнно указывать, что деньги высылаются въ доплату за получаемый уже журналъ**.

При перемѣнѣ адреса слѣдуетъ прилагать **1 рубль и печатный адресъ**.

Содержаніе. ТЕКСТЪ: Ангель смерти. Рассказъ В. Свѣтлова.—Священная роща. Рассказъ празднаго человѣка. Льва Насыкова.—Стихотвореніе Наталии Грушко.—Мольба. Изъ Сюллы Прюдома Стихотвореніе Зинанды Ц.—Бумажныя деньги французской революціи. Очеркъ проф. И. И. Картьева—**Заявленіе**.

РИСУНКИ: Вторая выставка Общества Кунстжи 1918 г. Картины М. Ави-

лова, В. Щербакова, Р. Савицкаго, В. Кузнецова, М. Далькевича, И. Дроzdova, О. Бухгольца, А. Вахрамѣева, Л. Мардеросова.—Пять рисунковъ къ очерку проф. И. И. Картьева „Бумажныя деньги французской революціи“—Морской гротъ. Р. Смидта.

Къ этому № прилагается „Полного собранія сочиненій А. И. Герцена“ книга 14.

Издатель Т-во А. Ф. МАРКСЪ.

Редакторъ И. М. Желѣзновъ.

Артистическое заведеніе Т-во А. Ф. МАРКСЪ, Петроградъ, Измайлівскій проспектъ, д. 10 29.

Библиотека "Руниверс"



Перепечатка иллюстрацій и текста воспрещается. (Законъ 20-го марта 1911 г.).

Открыта подписка на „НИВУ“ 1918 г.

Съ приложениемъ 52 книгъ „СБОРНИКА НИВЫ“, въ которыхъ войдетъ:

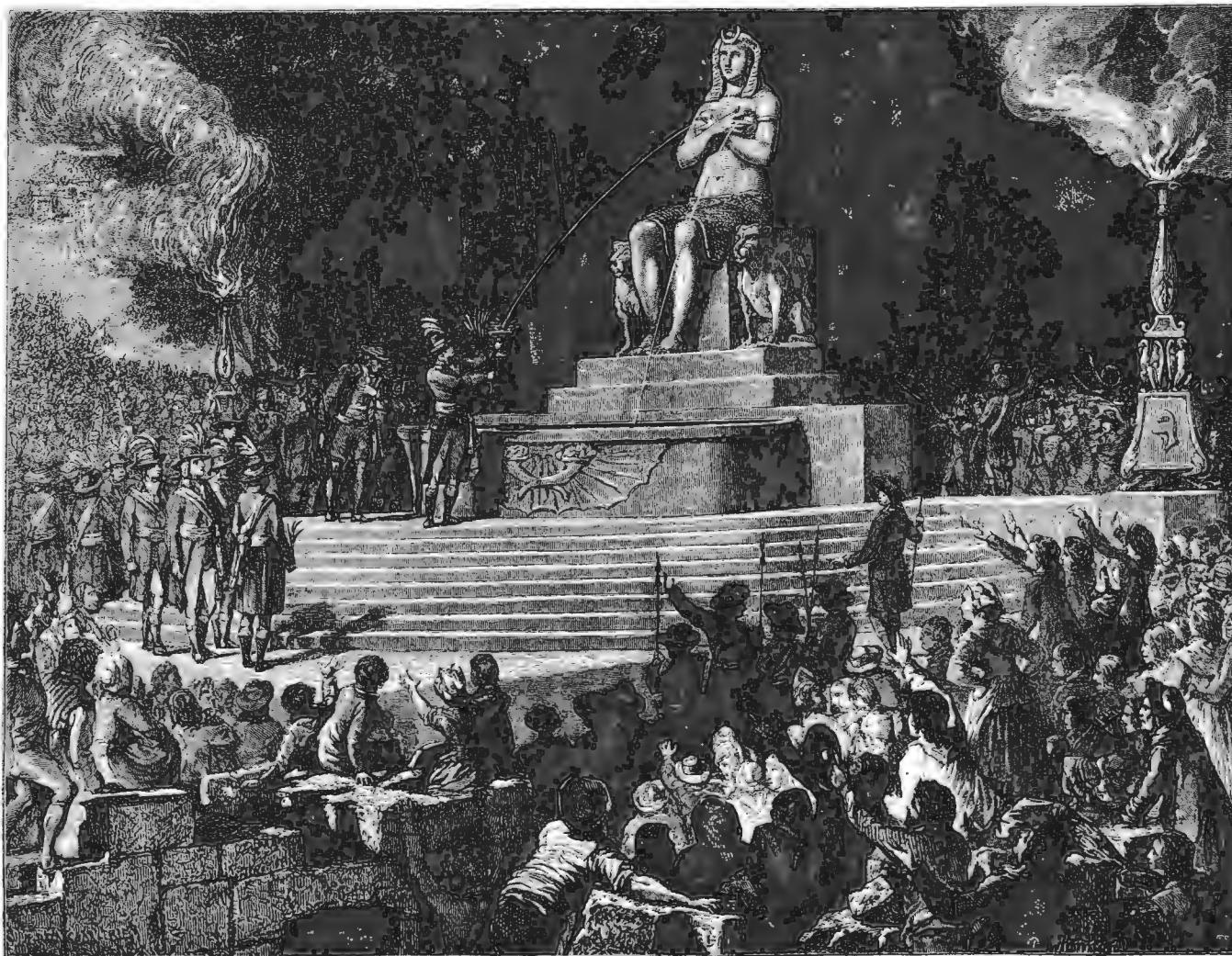
А. И. ГЕРЦЕНЪ (первая серія книгъ)

М. ГОРЬКІЙ (вторая серія книгъ)

В. КОРОЛЕНКО (запрещенный военною цензурою сочиненія)

П. БЕРАНЖЕ (полное собрание ПѢСЕНЪ)

Проф. Н. КАРЬЕВЪ. (Исторія Французской Революціи съ иллюстраціями).



Французская революція. Празднество въ честь установленія федеративной республики въ Парижѣ, на площади Бастилии.

Де-ля-Шарлери.



Смерть Марата.

Фламенгъ.

Журналисты великой французской революции.

Очеркъ В. М. Дорошевича.

I.

Эпиграфомъ къ статьѣ о журналистахъ великой французской революціи пусть служить одинъ изъ самыхъ яркихъ фактовъ эпохи террора. Это не массовая казнь 2-го, 3-го и 4-го сентября 1792 г., это не казнь короля, не казнь королевы, не казнь Робеспьера, не казнь самого Дантон, когда была обезглавлена республика и революція.

Это казнь... одной кухарки.

Разгаръ террора: „Дрожали и заставляли дрожать“.

Этой формулой Тацита опредѣляется сущность террора. Казнили десять невиновныхъ, чтобы только не упустить одного опаснаго. Люди дрожали за себя, имъ всюду мерещились интриги, заговоры, контр-революціонеры, — „аристократы“, — и они били безъ разбора, убивали отъ страха.

Терроръ — это человѣкъ, отъ ужаса потерявшій голову; который, не помня себя, зажмуривъ глаза, съ ножомъ кидается впередъ, бѣть направо, налево, бѣть кого ни попадя, бѣть своихъ, чужихъ, враговъ, друзей, виновныхъ, невиноватыхъ. Это помѣшательство отъ ужаса.

Въ это время на рынкѣ Сент-Онорэ кухарка принцнялась къ уткамъ.

— Сколько стѣть воть эта?

— Двадцать ливровъ (20 франковъ), гражданка.

Кухарка вышла изъ себя:

— Двадцать ливровъ за такую дрянь?! Кожа да кости! Чортъ бы вѣстъ взялъ со всей вашей революціей! Стоило дѣлать революцію, чтобы умирать съ голоду! При король руанская утка — руанская! — стоила восемь ливровъ. Можно было ливръ положить даже себѣ въ карманъ. Вотъ, постойте! Придутъ кѣмцы и англичане, пересѣшаютъ всѣхъ вашихъ якобинцевъ и наведутъ вамъ порядокъ.

Во время голода рынокъ — плохое мѣсто для политическихъ бѣсѣдъ. Кругомъ толпа, озлобленная стояніемъ въ очередяхъ, которая парижане прозвали „хвостами“. Голодная толпа, озлобленная высокими цѣнами. Завинченная историческая торговки, „les dames des Halles“. Потомъ, черезъ много десятилѣтій, изъ нихъ создастся веселый образъ „Madame Angot“, „Дочери Рынка“..

Неучтива и бранчива,
Не боится никого,
Черный волосъ, звонкій голосъ,
Вотъ портретъ madame Angot.

Все хорошо, что минуло. Но тогда-то было съ ними говорить не совсѣмъ легко и удобно. Это были „мегеры революціи“. Имъ кричали, что они мародерствуютъ и грабятъ голодныхъ. Они кричали, что это спекулянты припрѣтываютъ припасы и взвинчиваютъ цѣны.

И вдругъ среди нихъ такая кухарка съ такой рѣчью..

— А! Ждеть прихода нѣмцевъ! Хвалить старый режимъ! За аристократовъ! Контръ-революционерка!

Торговки схватили кухарку и отвели въ ближайшую секцію, — тогдашній комиссаріатъ, — какъ „аристократку“. Секція ее отправила въ Комитетъ общественного спасенія. Комитетъ предалъ революціонному суду по обвиненію въ аристократическомъ образѣ мыслей, замыслахъ противъ республики и публичномъ произнесеніи контръ-революціонныхъ рѣчей. Такихъ дѣлъ было масса. Одинъ изъ помощниковъ общественного обвинителя привычной, наставившейся рукой составилъ коротенький обвинительный актъ.

Антуанъ-Кентенъ Фукье-Тэнвиль, общественный обвинитель, этотъ спокойный, какъ механизмъ, чиновникъ революціи, скрѣплявшій своей подписью обвинительные акты и противъ короля и противъ герцога Орлеанскаго, приговорившаго къ смерти короля, и противъ Дантона въ угоду Робеспьеру, и противъ самого Робеспьера — и противъ кого угодно, скрѣпилъ своей подписью обвинительный актъ противъ кухарки, обвиняемой въ аристократизмѣ. Судъ въ революцію — всегда судъ скорый. Въ медленности его упрекнуть нельзя. Дѣло пошло въ Революціонный Трибуналъ. Кухарка и не думала упираться.

— Двадцать ливровъ за дохлую утку? Кожа да кости! Разумѣется, при королѣ руанская утка — настоящая руанская! — стоила не дороже восьми. И сейчасъ скажу! Разумѣется, мы очень много выиграли съ этой революціей! Разумѣется, придутъ союзники и наведутъ порядокъ! Развѣ

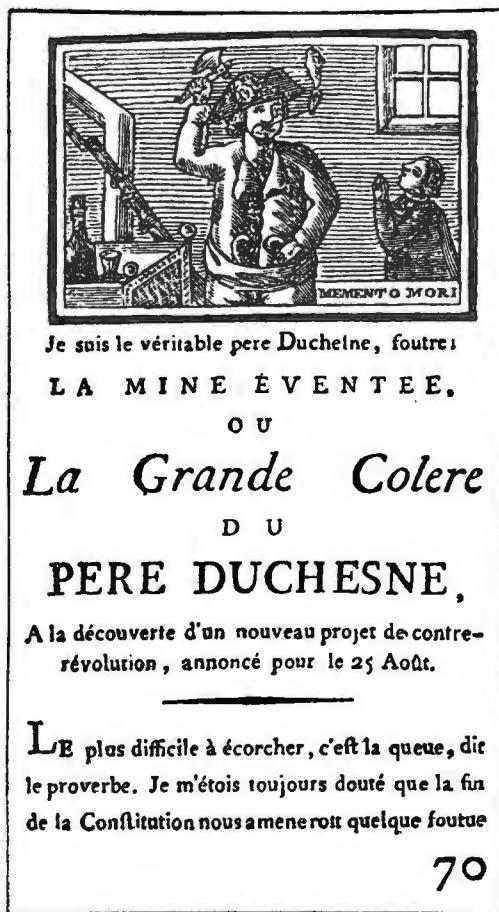
такъ можно жить?

Цѣлая контръ-революціонная рѣчь на судѣ. Не аристократка? Какихъ еще нужно доказательствъ? „Аристократка“ была приговорена къ единственному, равному для всѣхъ, высшему наказанію avoir la tete tranchee sur une place publique de Paris, — къ отрубленію головы на одной изъ общественныхъ площадей Парижа.

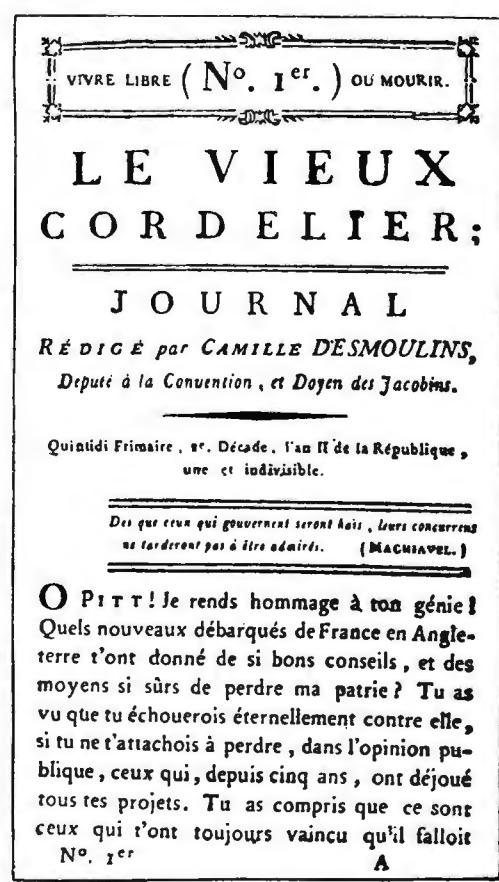
Но на судѣ было нѣсколько человѣкъ, которыхъ возмутила и ужаснула эта нелѣпость. Обвинение кухарки въ аристократизмѣ! Смертная казнь за нѣсколько глупыхъ, неосторожныхъ словъ! Они побѣжали въ Конвентъ. Очень легко нашли въ кулуарахъ депутата, — Мазою, отъ Сены и Луары, — который, конечно, принялъ участіе въ этомъ возмутительномъ дѣлѣ.

— Какое же можетъ быть сомнѣніе? Разумѣется, Конвентъ отмѣнитъ такой приговоръ! Представители народа — это мозгъ и сердце націи. Сама природа возмущается такимъ приговоромъ. Человѣчность и философія не могутъ примириться съ нимъ. Это судебная ошибка. Не беспокойтесь, граждане! Я вступлюсь за эту женщину, какъ Вольтеръ вступилъ за Каласа.

Онъ отправился къ президенту Конвента, потребовалъ слова виѣ очередь по дѣлу, не терпящему отлагательствъ.



„Pere Duchesne“ — одинъ изъ журналовъ революціонной Франціи, издававшійся Эберомъ.



„Le vieux Cordelier“ — одинъ изъ журналовъ революціонной Франціи, редактированный Камілломъ Дэмюленомъ.

— Ибо, что можетъ быть дороже человѣческой жизни? Что можетъ быть священнѣе для республики, гдѣ царять свобода, равенство и братство, — жизни гражданина? Какое дѣло можетъ быть важнѣе для граждантъ, чѣмъ исправление судебной ошибки, возстановленіе поправной справедливости, — ибо „попраніе справедливости, — какъ говорить Монтецкій, — особенно возмутительно, когда оно прикрывается по виду законными формами“. Развѣ не должны мы руководствоваться не букоффомъ, а „духомъ законовъ“?

Предсѣдатель, „послушный голосу природы“, поставилъ вопросъ для немедленного виѣочередного разсмотрѣнія.

Мазою произнесъ передъ Конвентомъ горячую рѣчь.

Конечно, онъ только привѣтствуетъ быстроту, съ которой Революціонный Трибуналъ рѣшаѣтъ дѣла. Тамъ, гдѣ рѣчь идетъ о безопасности республики и завоеваній революціи, каждая минута, каждая секунда промедленія можетъ грозить неисчислимымъ бѣдствіями. Тутъ быстрота есть высшая мудрость. Конечно, у него не повернется языки обвинять Революціонный Трибуналъ, день и ночь стоящій на стражѣ республики и общественной безопасности, если бы у этого трибунала случайно и проскочило неправильное рѣшеніе. Требовать отъ людей сверхъ противно природѣ! Разумѣется, не онъ будетъ протестовать противъ гильотины, противъ спасительного дѣйствія „мечи правосудія“, который своимъ блескомъ, какъ молния, поражаетъ враговъ народа, какъ лучъ солнца озаряетъ надеждой сердца добрыхъ гражданъ. Пусть Революціонный Трибуналъ судить быстро! Пусть мечъ правосудія разить нещадно!

Въ тѣ времена говорить въ Революціонномъ Трибуналѣ о гильотинѣ надо было съ осторожностью. И прежде чѣмъ помолиться за невинно осужденного, надо было покандить, и хорошенько покандить иконамъ...

— Но, граждане, кого же сейчасъ готовится поразить мечъ правосудія, отточенный противъ враговъ народа? Дочь народа... жертву деспотизма... Да, деспотизма, предумышленно державшаго въ тѣмѣ невѣжества этотъ бѣдный народъ!.. Одну изъ тѣхъ, которымъ тьма невѣжества, застилающаго имъ глаза, не даетъ видѣть благодѣяній революціи... Одну изъ тѣхъ, борясь за кого, мы ниспровѣрли тронъ деспотизма и разрушили алтарь фанатизма!

Человѣкъ великой французской революціи, онъ, разумѣется, цитировалъ Платона, потому что Платонъ былъ ихъ Библей. Онъ, конечно, цитировалъ Жанъ-Жака Руссо, потому что Руссо былъ ихъ Евангеліемъ.

Онъ пустилъ въ ходъ всѣ приемы словесности, которые были въ его распоряженіи. Онъ употреблялъ метафоры, ссыпалъ сравненіями, сверкалъ уподобленіями, прибѣгалъ къ гиперболамъ.

доказывалъ просто, доказывалъ оть противнаго, доводилъ всѣ противоположные взглѣды до абсурда, прибѣгалъ къ *cartatio benevolentiae*, не жалѣль сарказма, не экономилъ на паѳосѣ,— и блестящимъ *regotaison*, въ которомъ онъ взыпалъ къ лучшимъ чувствамъ и вѣчнымъ идеаламъ, черезъ два часа закончилъ свою рѣчь.

А въ это время кухарку успѣли казнить.

Въ то время, какъ пламенный защитникъ „правъ человѣка и гражданина“, депутатъ Конвента въ Тюильрійскомъ дворцѣ произносилъ двухчасовую защитительную рѣчь, въ какихъ-нибудь 200—300 саженяхъ его подзащитной отрубили голову

И на бульварѣ Hausmann, за сѣрой и мрачной стѣной такъ называемаго „памятника искупленія“, стѣной, ограждающей кладбище гильотинированныхъ во время террора, рядомъ съ костями жирондистовъ, Камиллы Дэмулена, Дантона, Робеспіера, Сен-Жюста и самого Фукье-Тенвилля, среди костей принцессы Елизаветы, герцогини, маркизъ и графини тлѣтъ и кости кухарки, какъ... „аристократки“.

Этотъ маленький фактъ я считаю самымъ характернымъ для великой французской революціи.

Она была страшно болтлива, великая французская революція! Во времена нея было пролито много крови и,—Боже мой!—сколько словъ. Ненужной крови и лишнихъ словъ. Она тонула,—она утонула въ крови и словахъ.

Вотъ передъ нами журналы великой французской революціи. Подлинники тѣхъ журналовъ. Этихъ страницъ касались дрожащія руки людей того страшнаго времени. Эти страницы проѣзгались такими же лихорадочными взглядами, какими сейчасъ пробѣгаются наши газеты.

Вотъ „*L'ami du peuple*“ („Другъ народа“),—журналъ кроваваго Марата.

Вотъ „*Révolutions de France et de Brabant*“, Камилла Дэмулена, первого республиканца Франціи, человѣка, призвавшаго къ разрушению Бастилии, одного изъ творцовъ великой французской революціи. Ея энтузиаста, ея поэта, ея рыцаря.

Вотъ его же „*Le vœux Cordelier*“, где онъ, уже подъ ножомъ гильотины, борется, какъ левъ. Борется за себя, за свою благородную, умную голову. Напрасный трудъ! Въ революціи можно бороться за другихъ. Бороться за себя, за свою жизнь—безполезно.

Вотъ иллюстрированный журналъ Prud'homme'a „*Révolutions de Paris*“.

Вотъ единственный контрь-революціонный журналъ великой французской революціи, носящий странное название „*Les actes des Apôtres*“ („Дѣянія Апостоловъ“).



Люсиль Дэмуленъ, жена Камилла Дэмулена.

Вотъ гордость всякаго коллекціонера,—несколько нумеровъ „*Le père-Duchesne*“. Полного собранія всѣхъ нумеровъ этого кроваваго пасквиля нѣть нигдѣ въ мірѣ. Даже въ „Национальныхъ архивахъ“ Франціи нѣть полнаго комплекта. Когда наступила реакція, а съ нею неизбѣжный бѣлый терроръ,—одна находка при обыскѣ „ужаснѣшаго изъ журналовъ“ была уже билетомъ хорошо, если только въ тюрьму.—„А! Вы храните „*Père-Duchesne*“!—въ этомъ звучалъ смертный приговоръ. Можете судить, какъ тщательно уничтожались всѣ имѣвшіеся нумера этого журнала. Эти полные грязи и крови листки цѣнятся сей-часъ больше, чѣмъ па вѣсъ бриллиантовъ.

Журналы того времени,—ежедневные, какъ журналъ Марата, еженедѣльные, какъ журналъ Камилла Дэмулена, выходившіе въ неопределенные промежутки времени, какъ „*Le père-Duchesne*“,—издавались въ форматѣ тетрадокъ. Ежедневный „Другъ Народа“ выходитъ въ 8 страницъ — одинъ печатный листъ. Еженедѣльные въ 40—48 страницъ—пять-шесть печатныхъ листовъ. Они очень бѣдны съ вида. У каждого журнала своя собственная типографія,—тоже очень бѣдная, потому что типографію онъ долженъ покупать на свои деньги. У Марата, напримѣръ, не хватаетъ одного шрифта для цѣлой статьи. Когда вышелъ весь корпусъ, онъ продолженіе статьи печатается петитомъ. Это журналисты-кустари. Онъ самъ пишетъ весь нумеръ съ начала до конца, печатаетъ въ собственной типографіи, и нумеръ складываются, брошуютъ и продаютъ газетчикамъ у него же на квартирѣ. Шарлотта Кордэ, поднявшись къ Марату по грязной и пахнущей кошками—это она хорошо запомнила—лѣстницѣ, въ первой же комнатѣ застала женщину, которая складывала нумера „Друга Народа“.

— Гражданинъ Маратъ дома?

— Опѣ въ ваннѣ.

— Мне нужно его видѣть. Я пришла по дѣлу, касающемуся блага республики.

— Если ты пришла по дѣлу, касающемуся блага республики, „другъ народа“ тебя приметъ.

Прюдомъ печатаетъ иллюстраціи въ своеімъ журналь, но какія это жалкія и нищенскія иллюстраціі! А это было время расцвѣта гравюры. Гравюры временъ великой французской революціи съ картинъ Давида, гравюры „республиканскаго содержанія“, гравюры, изображающія Лукрецію, поражающую себя книжаломъ, Брута, приговаривающаго къ смерти своихъ сыновей,—эти гравюры великолѣпны, изумительны.



Камилль Дэмуленъ, первый журналистъ великой французской революціи.

Содержание тогдашихъ журналовъ?

Терроръ въ полномъ разгарѣ. Гильотина, сначала съ одной стои, оны Тюильрійскаго дворца — на площади Карусель, потомъ съ другой его стороны — на площади Революціи, работаетъ съ утра до ночи. „Красный обѣдній“ служатся съ утра до ночи. Палачъ Сансонъ и его помощники жалуются, что невозможно работать. Они поскользываются. До того помостъ гильотины залитъ кровью...

Кто вчера казненъ? Кто объявленъ виѣ закона?

Вопросы, отъ которыхъ сжимается сердце у парижанина. Но ни въ одномъ изъ журналовъ нѣтъ на это отвѣта.

Вы должны ити въ Тюильрійскій дворецъ, на лѣстницу этого страшнаго Конвента. Тамъ толстая женщина раскинула свою палатку. У нея продаются революціонныя пѣсенки, официальная изданія Конвента, „Бумаги, найденные въ желѣзномъ шкафу“ (на основаніи которыхъ гражданинъ Людовикъ Капеть, „бывшій король“, и бывшій приговоренъ къ смерти), позднѣе — бумаги, найденные при обыскахъ у Максимилиана Робеспіера. И среди этихъ пѣсенокъ и документовъ и листки „приговоренныхъ къ отрубленію головы“ и объявленныхъ виѣ закона. Или же ихъ продаютъ на улицѣ мальчишки, кричащіе во все горло:

— Тиражъ выигрышей лотереи Святой Гильотины!

Что вчера случилось въ Парижѣ? Почему въ Hôtel de Ville стрѣляли каждые полчаса изъ пушки? Почему ночью гудѣлъ надъ городомъ набатъ? По поводу чего гудѣли барабаны во всѣхъ секціяхъ, сзываю всѣхъ вооруженныхъ санкюлотовъ? Почему требовали, чтобы во всѣхъ домахъ всю ночь были освѣщены окна, такъ, чтобы можно было видѣть, что происходитъ въ комнатахъ (тогда въ тревожныя минуты приказывали весь городъ освѣщать)?

— Что произошло? Что происходитъ?

Узнать можно, сѣгашъ въ секцію. Узнать можно въ политическихъ клубахъ. Узнать можно, если на углахъ расклеены объявленія. Узнать можно отъ городскихъ грамотеевъ, которые барабаномъ сзываютъ публику и на перекресткахъ читаютъ новые декреты. Но, главнымъ образомъ, всѣ и все узнаютъ по слухамъ. Городъ живеть, мятется, впадаетъ въ ужасъ и убивается на основаніи слуховъ.

Газеты фактовъ не сообщаютъ. Газеты выше фактовъ. Газеты печатаются только миѳія. Миѳія ихъ редакторовъ

Нумеръ въ 48 страницъ, шесть печатныхъ листовъ, еженедѣльно заключаетъ въ себѣ только статью, — одну статью! — Камилла Дэмулена. Не забывайте, что онъ, такъ же, какъ и Маратъ, состоитъ депутатомъ Национальнаго Конвента и тамъ говоритъ, — что онъ говорить безпрестанно въ клубѣ якобинцевъ, — что онъ долженъ выступать и говорить въ клубѣ Корделье. И, кроме того, чтобы высказаться вполнѣ, онъ пишетъ еженедѣльно по шести печатныхъ листовъ! Тынъ бѣдной „аристократки“-кухарки, павшей жертвой красноречія своего защитника, ты иронически витаешь надъ прессой великой французской революціи, такъ же, какъ и надъ Конвентомъ!

Для историка великой французской революціи тогдашиіе журналы очень интересны, въ смыслѣ тогдашихъ настроений, тогдашихъ думъ, — даже въ бытовомъ отношеніи, благодаря массѣ писемъ къ редактору, которая въ этихъ газетахъ печатались. Но въ смыслѣ фактовъ даетъ материалъ только одно официальное ежедневное изданіе „Moniteur“. Эта лучшая, безпредвзятая, протокольная история великой французской революціи.

Каково содержаніе номера?

Девять десятыхъ номера — это точный, полный отчетъ о застѣданіяхъ Законодательного Собрания. Стенографіи тогда не было. Брались люди, умѣвшіе скоро писать. Къ тому же большинство ораторовъ, — какъ, напримѣръ, Робеспіеръ, — самыя пылкія, самыя страстныя свои рѣчи читали по бумажкѣ. Рѣчами залить „Монитѣръ“. Въ мѣсяцѣ не успѣваютъ напечатать того, что успѣютъ наговорить въ одно застѣданіе.

Второй главный отдѣлъ „Монитѣра“ — это вѣсти изъ-за границы. Это самый трагический отдѣлъ официальной революціонной газеты. Онъ напоминаетъ страницу изъ сказки о рыцарѣ Рауль Синей Бородѣ и его женахъ. Помните вы эту сцену, когда дама въ предсмертной тоскѣ, въ ужасѣ предъ гибелью, позоромъ, смертью, ждущая избавителя, посыпаетъ свою сестру на высокую башню?

— Сестра Анна! Видишь ли ты что-нибудь?

— Я вижу, сестра. Я вижу. Я скажешь, окруженный своими латниками! Вонъ пыль! Вонъ пыль, поднятая ихъ конями! Они приближаются!.. Они...

— Сестра Анна! Сестра Анна! Что же ты замолчала? Сестра Анна! Видишь ли ты что-нибудь?

— То вѣтеръ поднялъ пыль на дорогѣ. То былъ вѣтеръ. И вѣтеръ никого... Никого...

Вѣдь это же такъ просто, такъ понятно, такъ человѣчно.

Chaque être a le droit d'etre libre. (Всякий человѣкъ имѣеть право быть свободнымъ). Всѣ люди рождаются равными. Зачѣмъ же одни должны только терпѣть, а другіе могутъ угнетать? Одни должны только повиноваться, а другіе рождаются командовать? Сдѣлайте, какъ мы. Провозгласите права человѣка и гражданина. Свергните тирановъ, — и завтра братскими станутъ роды людской. Да развѣ въ другихъ странахъ не зреютъ тѣ же идеи? Развѣ въ Германіи Фридрихъ Шиллеръ, благородный Шиллеръ, не полонъ тѣхъ же самыхъ идей?

И Конвентъ провозглашаетъ Фридриха Шиллера, благороднаго Шиллера, гражданина французской республики.

Короля Людовика XVI больше нѣтъ. Въ Тамплѣ сидитъ безвредный какой-то Людовикъ Капеть, толстый, жирный, жалкій человѣкъ, который есть за двоихъ, обѣдаетъ съ величайшимъ аппетитомъ въ тѣтъ самый день, когда его лишили царства и свободы. Онъ даже мало интересенъ. Но Конвентъ все-таки рѣшаетъ его казнить.

— Почему?

— Мы должны, — отвѣчаетъ журналистъ великой французской революціи, — мы должны бросить эту голову въ лицо всѣмъ деспотамъ. Эта окровавленная голова — красное раскаленное ядро, которое разобьетъ цѣли деспотизма. Мы должны показать примѣръ всѣмъ народамъ. Вотъ какъ надо поступать съ деспотами! Присоединяйтесь къ намъ. Поступайте, какъ мы!

Это говорить Маратъ, и, — въ этомъ его сила, — онъ думаетъ, какъ вся великая французская революція.

Эти чувства, эти чаянія, эти надежды отражаются въ иностранномъ отдѣлѣ „Монитѣра“. Онъ сообщаетъ о томъ страхѣ, который возбуждаетъ у иностранныхъ правительствъ „среди деспотовъ и тирановъ“ побѣдоносный ходъ французской рево-



Художникъ Жакъ-Луи Давидъ.

Автопортретъ
(Луврский музей).

люци. Какъ они боятся, чтобы огонь не перекинулъ къ нимъ. Какія интриги, козни готовятъ противъ революціонной Франціи. О тѣхъ революціонныхъ движеніяхъ, которыхъ вспыхиваютъ въ Польшѣ; о томъ, что въ Шотландіи, по слухамъ, уже собрался Национальный Конвентъ, и что вскорѣ власть въ Англіи перейдетъ въ руки возставшаго народа; о томъ, что великая демократія Америки,—опять-таки, по слухамъ,—идетъ на помощь революціонной Франціи, и Сѣверо-Американскіе Соединенные Штаты готовы оказать финансую поддержку французской республикѣ. И ножъ врага уже у горла: нѣмцы и англичане въ Верденѣ, всегоночко переходовъ до Парижа,—„Монитѣръ“ сообщаетъ, что даже прусский народъ отказывается ити противъ революціонного французского народа, и „только Бранденбургскіе гвардіи, самый аристократический полкъ, идутъ противъ насъ“.

Обманываютъ ли они? Ошибаются ли сами?

Позвольте отвѣтить на это китайской пословицей.

Въ моихъ скитаньяхъ мнѣ пришлось встрѣтиться съ китайскимъ революціонеромъ Кангъ-Ю-Уэемъ, знаменитымъ реформаторомъ Китая. Мы бесѣдовали съ нимъ черезъ переводчика.

— Надѣется ли Кангъ-Ю-Уэй, что мечты его скоро сбудутся?

Кангъ-Ю-Уэй отвѣтилъ что-то со смѣхомъ,—съ типичнымъ смѣхомъ, съ которымъ китайцы говорятъ одинаково и о радостяхъ и о печалахъ. „Мертвымъ смѣхомъ“, какъ зовутъ этотъ китайскій смѣхъ.

— Кангъ-Ю-Уэй, — сказалъ переводчикъ, — просилъ перевести вамъ нашу китайскую пословицу: „когда ждешь друга, то стукъ своего сердца часто принимаешь за топотъ его коня“. Вотъ, онъ говорить, отвѣтъ на вопросъ.

Обязательнымъ отдѣломъ въ каждомъ номерѣ „Монитѣра“ является анонсъ о спектакляхъ. Что бы ни происходило въ Парижѣ, одно неизмѣнно: спектакли идутъ каждый день. Льется ли по улицамъ кровь, — буквально льется по улицамъ, течетъ по канавкамъ во время сентябрьской бойни,—казнить ли короля, падаетъ ли голова Робеспьера,—для театровъ находится публика. И одна изъ рецензій „Монитѣра“ въ отчаяніи восклицаетъ:

— Кто нынче не пишетъ пьесъ? Кто не написалъ „своей пьесы“? Двадцать театровъ едва успѣваютъ поставить все, что имъ приносятъ!

Когда строится новая жизнь, декреты Национального Конвента сыплются, какъ изъ рога изобилия. Декретъ о новыхъ названіяхъ мѣсяцевъ. Декреты о новыхъ мѣсяцахъ вѣса, длины, о новомъ исчислѣніи времени: — часть въ 100 минутъ. Декреты безъ конца. Ихъ расклеиваются на улицахъ, но въ „Монитѣре“ декретовъ не печатаютъ. Мы изрѣдка только встрѣчаемъ коротенькія административныя распоряженія, въ родѣ, напримѣръ, слѣдующаго, напечатанного въ номерѣ отъ 21-го января 1793 г.:

„Временный исполнительный совѣтъ, во исполненіе декретовъ Национального Конвента отъ 15, 17 и 19-го января 1793 г., постановляетъ:

1) „Приведеніе въ исполненіе приговора надъ Людовикомъ Капетомъ произойдетъ 21-го января.

2) „Мѣстомъ исполненія приговора будетъ площадь Революціи, бывшая площадь Людовика XV, между пьедесталомъ и Елисейскими полями.

3) „Людовикъ Капетъ будетъ отправленъ изъ Тампля въ 8 час. утра, дабы исполненіе приговора могло быть совершено въ полдень.“

4) „Комиссары департамента Парижа, комиссары муниципалитета, два члена уголовнаго суда будутъ присутствовать при исполненіи приговора. Секретарь означеннаго суда составить протоколь, и вышеозначенные комиссары и члены трибунала немедленно послѣ того, какъ приговоръ будетъ приведенъ въ исполненіе, явятся дать отчетъ во временный исполнительный комитетъ, который будетъ непрерывно засѣдать весь этотъ день“

Таковъ офиціальный журналъ великой французской революціи.

На крайнемъ правомъ флангѣ тогдашней печати стоять „Les actes des Apôtres“ („Дѣянія Апостоловъ“), на самомъ лѣвомъ — журналъ „L'Espion de Paris“ („Шпионъ Парижа“).

„Дѣянія Апостоловъ“ — журналъ сатирическій, въ прозѣ и стихахъ. Его сотрудники называютъ себя „апостолами королевской демократіи“. Журналъ кончается съ началомъ террора. 10-го августа 1792 года, при взятіи народомъ Тюильрійскаго дворца, искажено его сотрудниковъ гибнуть во двѣ рѣ вмѣстѣ съ наемной швейцарской стражей. Печальная смерть для журналистовъ! Быть убитыми вмѣстѣ съ наемниками. И эти писатели не возбуждаютъ уваженія даже среди контър-революціонеровъ. Всѣ знаютъ, что журнать издастся на деньги королевы и аристократии.



Марія-Антуанетта.

тось, что журналъ пишется продажными перьями. Авторовъ не уважаютъ, но ихъ писанія читаются съ удовольствіемъ. Отводятъ душу. Ихъ писанія признаются тогда блестящими.

Признается перломъ остроумія „декреть о полномъ равенствѣ“:

§ 1.—„Съ наступающимъ 14-го іюля дни и ночи должны быть равны на всемъ пространствѣ земного шара. Солнце должно въходить вѣздѣ въ 5 часовъ утра.

§ 2.—„Какъ только окончится день, должна начать свѣтить луна, и обязуется сѣть вплоть до восхода солнца.

§ 3.—„На всемъ пространствѣ земного шара температура должна быть постоянно одинаковая и умѣренная.

§ 4.—„Гроза и градъ не должны разражаться иначе, какъ надъ лѣсами. Населеніе должно быть навсегда освобождено отъ наводненій, и земля, на всемъ ея протяженіи, будетъ орошаться только благодѣтельной росой на благо всѣхъ обитателей, безъ исключенія.

§ 5.—„Настоящій декретъ долженъ быть разосланъ для исполненія всѣмъ муниципалитетамъ и опубликованъ въ обоихъ полушаріяхъ.“

Имѣть огромный успѣхъ стихотвореніе, которое мы переведемъ прозой:

„Какъ измѣнился нашъ языкъ! Бывшій Богъ, бывшее духовенство, бывшій король, бывшая королева, бывшие подданные, бывшіе герцоги, бывшіе маркизы — и даже бывшія наши провинціи! Бывшія высочества, бывшія преподобія, бывшій кредитъ, бывшее богатство, бывшая торговля, бывшія ремесла, бывшія знамена, бывшая слава Франціи, бывшіе матросы, бывшіе солдаты! И если это безуміе не остановится, скоро Европа сможетъ сказать: „бывшій французскій народъ“!

Но, въ общемъ, теперь на напѣ взглянь, статьи „Дѣяній Апостоловъ“ кажутся скучными, однообразными. Это все личные нападки противъ видныхъ якобинцевъ. Это обычная психологія той части населенія, которая перепугана революціей. Случалось ли вамъ терять кого-либо изъ близкихъ? Если да,—вы знаете это чувство. Близкій человѣкъ мертвъ, передъ вами трупъ,—но вы не хотите вѣрить,—умъ отказывается вѣрить. Этого не можетъ быть! Не можетъ быть, чтобы онъ умеръ... Люди, живущіе во время великой французской революціи, даже не представляютъ себѣ, что они живутъ во время революції. Пьеръ де-Вессерь издалъ „Письма аристократовъ“. Это частная переписка дворянъ, оставшихся въ Парижѣ, съ родственниками и друзьями-эмигрантами. Интересная и поучительная книга. Вотъ письмо отъ 22-го января 1793 г. На завтра послѣ казни короля. Авторъ пишетъ о казни „этого несчастнаго“ безъ особаго сожалѣнія. Людовикъ XVI не возбуждаетъ особаго сочувствія въ аристократатахъ. Безхарактерный. Тряпка въ рукахъ своей жены, онъ лучшаго и не заслуживаетъ. Онъ самъ погибъ, да и нась погубилъ, благодаря своей безхарактерности! Его казнили,—и Богъ съ нимъ. „Но вотъ что ужасно, — говорится въ письмѣ, — если такъ пойдетъ и дальше, это можетъ кончиться революціей“. Уже короля казнили, а имъ все еще не вѣрится, не хочется вѣрить, что старый порядокъ умеръ! Имъ все еще кажется, что это не революція. Все это такъ ужасно, что долго продолжаться не можетъ. Недѣли двѣ, мѣсяцъ, и все это кончится, должно кончиться само собой! Народъ поднялся, вся страна. А имъ кажется, что это все только кучка якобинцевъ. Прогнать эту кучку, этихъ якобинцевъ, — и все будетъ кончено. И ихъ любимый журналъ тѣшить ихъ душу, нападая на якобинцевъ, уверяя, что вожди революціи дѣйствуютъ „на деньги англичанъ“, изъ денегъ пно-



Дофінъ и принцесса Елісавета, сестра короля Людовика XVI.

странцевъ, высмѣвавая зло, высмѣвавая грубо этихъ парвеню, этихъ Камиловъ Дэмуреновъ, этихъ гг. Дантоновъ, которыхъ вчера еще нечего было „жрать“, и которые сегодня обѣдаются въ ресторанахъ по 10 ливровъ „par tete“, выраженіе, которое, судя по тону статьи, слѣдуетъ перевести: „по 10 франковъ съ рыла“.

Это сотрудники „Дѣяній“ выдумали для представителей народа кличку „собачихъ депутатовъ“, напечатавъ благодарность Национальному Собранию за уничтоженіе хозяевъ-аристократовъ, мучившихъ собакъ охотой, отъ имени „собачихъ депутатовъ“ Азора, Медора и др. Это авторамъ „Дѣяній Апостоловъ“ принадлежитъ название революціонеровъ sans culottes, „безшортничками“. Название, которое революціонные журналисты, а за ними и весь революціонный Парижъ приняли съ гордостью.

— Да, мы безъ портока. Это вѣрно. Такъ же вѣрно, какъ вы будете безъ головъ.

На самомъ лѣвомъ флангѣ революціонной прессы слѣдуетъ поставить журналъ, который прямо и откровенно назвалъ себя „Шпіономъ“. Даже въ то время, когда человѣкъ, не надѣвшій на шляпу трехцѣтной кокарды, подвергался обвиненію въ контрапролюціонности; когда женщины на улицахъ, тѣ же „дамы рынка“ провѣряли, какая у кого на шляпѣ кокарда, даже въ это время, когда доносились на „аристократа“ считался гражданскимъ подвигомъ, — журналъ, самъ титуловавшій себя „Шпіономъ“, возбудилъ общее отвращеніе. Это было ужъ слишкомъ.

Онъ прямо указывалъ пальцемъ: „вотъ, вотъ, вотъ кого слѣдуетъ казнить“. Называлъ по именамъ, давалъ адреса. Характерно, что всѣхъ изображаемыхъ онъ звалъ: „les monchards“. Сыщиками, сыщиками аристократіи. „Шпіонъ“ охотился за сыщиками. Это было отвратительное зрѣлище, ни въ комъ не вызывавшее симпатіи и тогда. Но на гильотину „Шпіонъ“ отправилъ многихъ. Журналъ „Дѣянія Апостоловъ“ былъ журналомъ слепленъ. Журналъ „Шпіонъ“—журналомъ доносовъ. Все, что находилось между этими двумя полюсами, было журналами мнѣній.

Я уже сказалъ, что на три четверти эти журналы были статьями, вѣрнѣе, одной статьей самого редактора. Остальную четверть нумера занимали письма къ редактору. Письмо изъ публики и сейчасъ же отвѣтъ на него гражданина редактора. Самая интересная, самая характерная для того времени письма въ редакцію печатались въ „Другѣ Народа“, и мы еще встрѣтимся съ ними, когда будемъ говорить о Маратѣ, а сейчасъ позвольте прочитировать вамъ необыкновенное письмо, письмо единственное. Единственное за все время существованія журналистики,—письмо въ редакцію... палача.

Журналъ „Thermométre du jour“ издавался надъ казнью и казненнымъ и описывалъ съ площадной руганью, какъ низко, какимъ презрѣннымъ трусомъ умеръ Людовикъ XVI. Поступокъ журналиста возмутилъ палача. Гражданинъ Шарль Сансонъ, „исполнитель высшихъ приговоровъ правосудія“, — его официальный титулъ,—выступилъ съ письмомъ въ редакцію. Палач вступился за честь того, кого онъ казнилъ.

Описавъ, какъ была совершена казнь, палач заканчиваетъ свое письмо:

„Чтобы отдать должное истинѣ, я долженъ добавить, что онъ встрѣтилъ и перенесъ все это съ хладнокровiemъ и твердостью, которая всѣхъ насть удивили. И я увѣренъ, что онъ по-

черпнулъ эту твердость въ религіозныхъ принципахъ, которыми никто не былъ проникнуть глубже, чѣмъ онъ. Вы можете быть увѣрены, гражданинъ, что все, изложенное въ этомъ письмѣ—истина, одна только истина во всемъ ея свѣтѣ“.

„Сансонъ“.

Справедливость для всѣхъ, господа.

Выступить во время террора въ защиту казненнаго, да еще въ защиту казненного короля, не такъ-то безопасно. Противъ Шарля Сансона и такъ уже были подозрѣнія въ аристократическомъ образѣ мыслей. Онъ привлекался къ дѣлу обѣ устройствѣ контрь-революціонной типографіи у себя въ домѣ (кто станетъ дѣлать обыскъ у палача!) Это былъ „аристократъ“, старый королевскій палачъ. Казнивъ короля, онъ отошелъ отъ дѣла, больше никого не пожелалъ казнить и передалъ свою должность сыну Анри („Во Франціи король и палачъ были династическими“, — какъ выразился въ одной изъ своихъ статей журналистъ Коммуны и ея „министръ бар. иcadь“ Анри Рошфоръ). Сансонъ очень рисковать, печатая такое письмо. Но онъ его напечаталъ. Въ его рукахъ умеръ человѣкъ, и онъ счѣлъ долгомъ вступиться за честь того, кого казнилъ. Что сказать о народѣ, гдѣ даже палачъ способенъ на жесть благородства?

Итакъ мы видѣли, въ общихъ чертахъ, что такое была печать великой французской революціи. Среди этой печати отдѣльными вершинами поднимаются три журналиста: Камиль Дэмурленъ, Жанъ-Поль Маратъ и „пэръ-Дюшэнъ“.

Съ разными чувствами приблизимся къ этимъ тремъ вершинамъ революціонной прессы.

II.

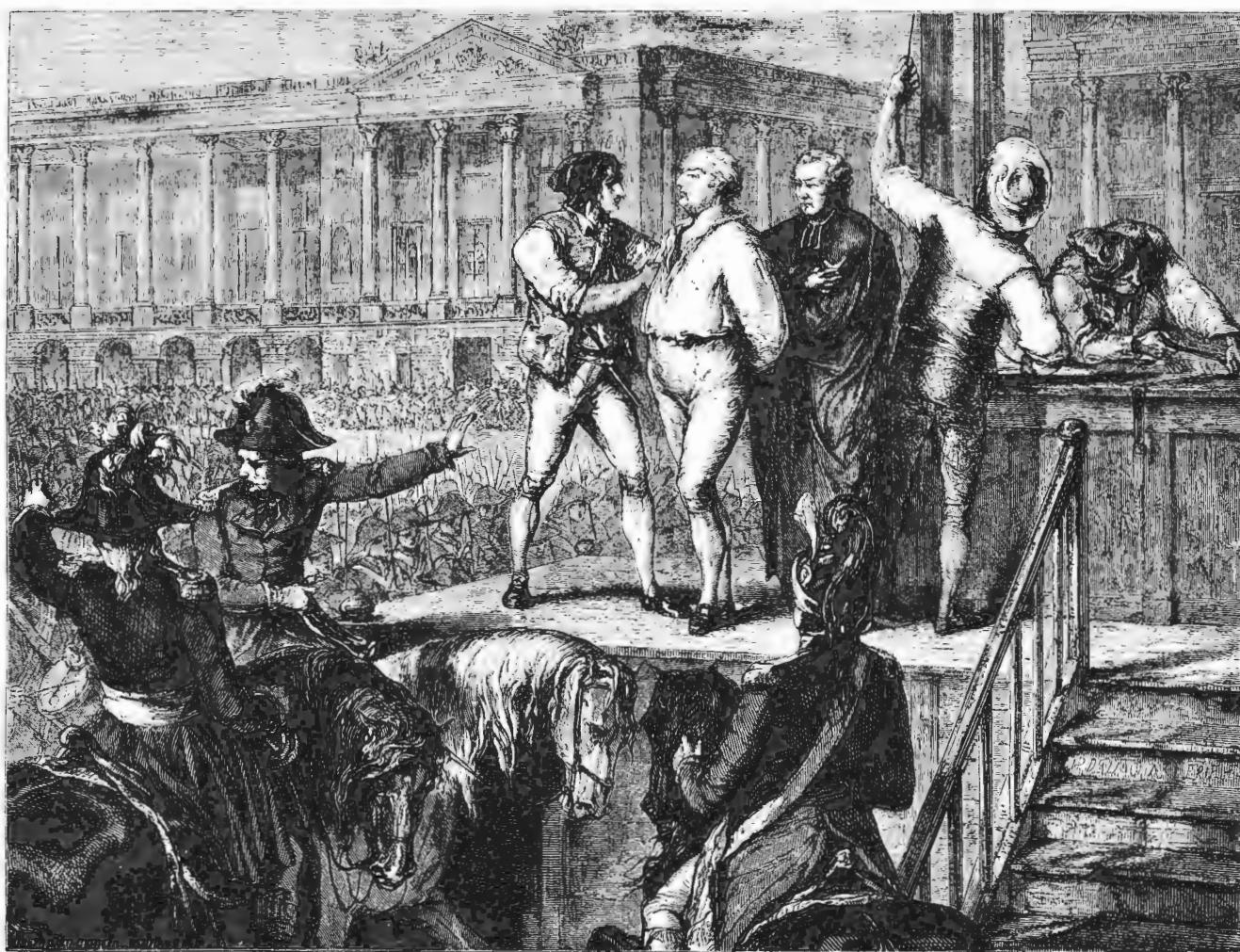
14-е жерминаля года II республики единой и нераздѣльной.
2-е апрѣля 1794 г.

Революціонный Трибуналъ.



Арестъ королевской семьи.

Де-ля-Шарлери.



21-е января 1793 г. Последние минуты Людовика XVI.

Де-ля-Шарлери.

На возвышении судьи. Съ одной стороны — постоянные приближенные съ ихъ почти безсѣбными старшиной, гражданиномъ Дюплэ, столяромъ, у которого живетъ квартирантъ Робеспьеръ. Съ другой — мѣста для обвиняемыхъ. Ихъ сегодня тринацать. Среди нихъ огромная фигура Дантона.

Общественный обвинитель Фуке-Теннишль дѣлаетъ перекличку подсудимымъ.

— Слѣдующій. Встань. Твое имя?

— Камилль Дэмуренъ.

— Возрастъ?

— Критический возрастъ для революціонеровъ. Я въ томъ же возрастѣ, въ которомъ былъ приговоренъ къ смерти санкюлотъ Иисусъ. Миѣ 33 года.

Онъ отъ природы немножко занкается.

Онъ человѣкъ XVIII вѣка, т. е. рабы. Если бы мы вошли въ Конвентъ, мы увидали бы себя въ обществѣ рабынъ людей. Большинство персонажей великой французской революціи рабы. Дэмуренъ, Мирабо, Дантонъ. У самой Маріи-Антуанетты легкая рябинки на лицѣ. Но къ этому такъ привыкли, что это никакъ не портитъ. Вспомните, что оспопрививаніе только-что открыто, и первымъ во Франціи была привита осна — чтобы „подать примеръ и побѣдить предразсудокъ въ народѣ“ — дѣятъ Людовика XVI.

Камилль Дэмуренъ, — будемъ звать его такъ, какъ его зоветъ съ любовью весь Парижъ, „Камилль“, „нашъ Камилль“, — Камилль женатъ и счастливъ.

„Я всегда вѣрилъ въ бессмертие души, — пишетъ онъ изъ тюрьмы въ своею послѣдніемъ, въ своею предсмертнѣмъ письмѣ, — я думалъ, что, если здѣсь такъ много страданій, — наслѣдуетъ награда тамъ. Но съ тѣхъ поръ, какъ я женился на тебѣ, моя Люсиль, моя Лолотть, я думаю, что я уже здѣсь вознагражденъ за все. Что рай здѣсь, на землѣ“.

Его жена, Люсиль, очаровательное существо. Грациозное, воз-

душное. Она дѣлить идеи своего мужа, его мечты. Она такая же горячая республиканка, какъ Камилль. И обожаетъ своего Камилла.

Они десять лѣтъ любили другъ друга, и десять лѣтъ Monsieur и madame Дюплесси, добрые буржуа, не хотѣли выдавать своей дочери за маленькаго занкающагося адвоката безъ практики. Люсиль дѣлается масса предложеній, — и блестящихъ. Она ни за кого не хочетъ ити замужъ. Она вѣрить въ своего занкающагося маленькаго адвоката безъ практики.

— Я знаю. Вы увидите. Онъ гений.

И когда Камилль въ одинъ день дѣлается знаменитостью Парижа. Героемъ. Великимъ человѣкомъ. Когда онъ становится первымъ публицистомъ Франціи, Дюплесси побѣждены и мирятся наконецъ съ „капризомъ“ ихъ хорошенѣккой дочери, — капризъ, дѣящій 10 лѣтъ, — съ ихъ трогательной любовью и соглашаются на бракъ Люсиль съ Камилломъ.

У нихъ есть сынъ. Его зовутъ, конечно, Гораций. Разумѣется, Гораций! Какъ же иначе вы хотите, чтобы его звали?

Камилль латинистъ, Камилль классикъ. „Молодой римлянинъ“, — какъ его называютъ. Онъ учился въ лицѣ Людовика Великаго. Сидѣлъ за партой рядомъ съ ученикомъ Максимилианомъ Робеспьеромъ. И когда Людовикъ XVI посѣтилъ лицѣ, Максимилианъ и Камилль читали ему привѣтственные латинскіе стихи.

Камилль — сынъ конца XVIII вѣка, когда воздухъ былъ напоенъ культомъ республиканскихъ героевъ древности. Онъ сынъ революціи, которая была вызвана среди интеллигентіи стремленіемъ къ античной добродѣтели.

Его путеводная звѣзда — „Жизнеописание великихъ мужей“ Платона. Когда надъ его головой взвился уже пожъ гильотинъ, онъ угѣшается чтеніемъ Сенеки. Онъ громить своихъ ничтожныхъ враговъ, въ родѣ какого-нибудь „пэр-Дюшана“, словами Катона. Въ полемикѣ онъ цитируетъ Цицерона. Мечтая о респу-

бліканскомъ счастьѣ Франція, повторяетъ стихи Виргилія. Идя на судъ, на смертный судъ, пишеть въ своею журналь:

„Чусть! Мы будемъ иоелѣднми римлянами“.

Онъ духомъ Брутъ,—въ этомъ его трагедія.

Трагедія всѣхъ большихъ революціонеровъ. Всѣхъ великихъ вождей всѣхъ революцій всѣхъ эпохъ и всѣхъ народовъ. Всѣхъ, стоявшихъ во главѣ великихъ революцій, всѣхъ предпринимавшихъ грандиозные перевороты—это трагедія Брута.

Бруту казалось, что кругомъ все думаютъ и чувствуютъ, какъ онъ. Что весь Римъ—республиканцы. Убить Цезаря,—и завтра же Римъ станетъ республикой, прекраснѣйшей изъ республикъ. А кругомъ были жалкіе, мелкіе, ничтожные людишки, думавшие только о своихъ маленькихъ интересахъ, о своихъ выгодахъ, о томъ, чтобы воспользоваться случаемъ урвать, что можно. И Бруты всѣхъ временъ, всѣхъ народовъ съ ужасомъ видѣли, что они ошиблись въ толпѣ, видѣли, какъ они сами, своими руками, готовили царство ничтожнаго Октавія, кроваваго Наполеона.

Все, что было великаго въ революції, тянулось къ Камиллу. Его поддержкой пользовался Мирабо, съ нимъ рука обь руку работалъ Дантонъ.

Онъ былъ „первымъ республиканцемъ Франціи“.

Революція уже началась. Но о республикѣ во Франціи еще не думалъ никто. Маратъ провозглашалъ, перефразируя выраженіе Вольтера о Богѣ:

— Если бы Людовика XVI не было, его надо было бы выдумать.

Дальше конституціонной монархіи, „по подобію англійской“, не шли ничи мечты. А Каміль въ 1789 г. выпустилъ памфлетъ, въ которомъ доказывалъ, что „единственная достойная форма государственного бытія для людей, которые желаютъ быть свободными—это республика“. Его брошюра была осуждена Национальнымъ Собраниемъ и приговорена къ сожжению рукой палача.

Боецъ по натурѣ, какъ настоящій, расовый журналистъ, онъ подхватилъ брошенную перчатку и на осужденіе всего Законодательного Собрания отвѣтилъ памфлетомъ „Рѣчъ фонаря къ парижанамъ“, — где еще съ большей силой доказывалъ необходимости республики.

Какъ онъ представлялъ себѣ республику?

Возьмемъ его слова:

— Республика—это не доведеніе всѣхъ до равенства пищеты, какъ думаютъ многіе. Нѣть. Республика—это общее благо, это справедливость. Это распространеніе благъ цивилизации и культуры между всѣми. Я люблю республику потому, что только республика можетъ осуществить тотъ идеаль, о которомъ лицемѣрно мечтала монархія,—чтобы у каждого крестьянина была въ сунѣ курица.

Онъ имѣлъ право передъ смертью крикнуть въ своею журналѣ Парижу, Франціи, Конвенту, своимъ обвинителямъ, палачамъ, всѣмъ, всѣмъ, всѣмъ:

— Вы, республиканцы сейчастія! Республиканцы двухъ лѣтъ отъ роду! Въ то время, какъ вы еще пресмыкались у ногъ „горячо любимаго“ монарха и самую мысль о республикѣ считали преступленіемъ,—я бытъ республиканцемъ уже тогда!

Какъ онъ имѣлъ право тогда сказать:

— Вы не можете приѣхать къ своей шляпѣ національной кокарды безъ того, чтобы не подумать обо мнѣ.

Онъ былъ „человѣкомъ Бастилии“. Онъ былъ инициаторомъ этого дня 14-го июля, который Франція празднуетъ, какъ свой національный праздникъ, какъ день своего національного рожденія. Который весь міръ чтитъ, какъ день рожденія Свободы.

О, Парижъ! Виолеемъ и Єрусалимъ свободы! Гдѣ ты родилась, дѣ ты была распята и гдѣ воскресла въ третій день по писанію! Въ твоемъ сердцѣ память Камиллу Дэмурлену.

Это было тамъ, гдѣ сейчасъ стоитъ его памятникъ. Въ самомъ



Рѣчъ Камилла Дэмурлена въ Палэ-Роялѣ, 12-го июля 1789 г.

Де-ля-Шарлері.

центръ великаго города, въ тихомъ
геперь и полузабытомъ, — самомъ
бурномъ тогдѣ уголкѣ Парижа, — въ
Палэ-Роялѣ. Тогда здѣсь были луч-
шие рестораны, кафе, игорные дома
и книжныя лавки. Порокъ и граж-
данская доблестъ, — все билось
здѣсь, въ этомъ сердцѣ Парижа.
Здѣсь собирались всѣ, — кокотки,
политики, ораторы, вожди. Здѣсь
узнавали послѣднія новости, соста-
вляли заговоры, здѣсь происходили
митинги, рождались движения. Это
была „агора“ Парижа.

12-е июля 1789 г.

Настроеніе тревожное. Всѣ пода-
влены. Всѣ растеряны. Въ воздухѣ
свинецъ. Всѣ чувствуютъ, что надъ
только-что родившейся революціей
нависла туча. Что „свобода будеть
задушена въ колыбели“, — какъ
выражались тогда. Но что дѣлать?

Нѣть героя, который собралъ бы
въ себѣ всѣ мысли и всѣ чувства
толпы, который выразилъ бы ихъ, который сказалъ бы ясно,
ярко то, что чувствуютъ всѣ, который поднялъ бы, зажегъ,
новель, толкнулъ.

И этотъ герой находится. Это Камиль. Но пусть разсказываетъ онъ самъ.

— Было $2\frac{1}{2}$ часа дня. Я съ отчаяніемъ всматривался въ
окружающихъ. Я видѣлъ людей взволнованныхъ, людей угнетен-
ныхъ, но не видѣлъ никого, готоваго къ восстанию. Троє моло-
дыхъ людей мнѣ показались людьми рѣшительными. Они шли,
держа другъ друга за руку. Мнѣ показалось, что они пришли въ
Палэ-Рояль съ тѣмъ же намѣреніемъ, что и я. Нѣсколько гра-
жданъ, пассивныхъ и равнодушныхъ, шли за ними вслѣдъ.

— Господа, — сказалъ я имъ, — вотъ моментъ поднять воз-
станіе. Надо, чтобы одинъ изъ настѣ рискнулъ собой и поднялся
на столь съ рѣчью къ народу.

— Поднимайтесь вы...

— Я согласенъ.

Въ одинъ моментъ я скорѣе былъ поднятъ на столъ, чѣмъ
поднялся самъ. Какъ только я появился на столѣ, я былъ окру-
женъ несмѣтной толпой.

— Вотъ моя краткая рѣчь, которой я не забуду никогда.

— Граждане. Нельзя терять ни одного мгновенія. Я только-
что изъ Версаля. Неккерь больше не министръ. Его отставка —
это набатъ Вареоломеевской ночи для патріотовъ. Сегодня ве-
черомъ швейцарскіе и нѣмецкіе батальоны выйдутъ изъ бара-
ковъ Марсоваго поля, чтобы настѣ передушить. Намъ остается
одно, — взяться за оружіе и надѣть кокарды, чтобы мы могли
узнавать своихъ.

У меня были слезы на глазахъ, и я говорилъ съ энергіей,
которой мнѣ вновь ужъ больше не найти и не описать. Мой при-
зывъ быть принять безконечными аплодисментами. Я продолжалъ.

— Какой цвѣтъ для кокарды хотите вы?

— Кто-то крикнулъ мнѣ:

— Выбирайте вы!

— Хотите ли вы зеленый, — цвѣтъ надежды? Или голубой —
любимый цвѣтъ Цинцинната, цвѣтъ свободы Америки и демо-
кратіи?

— Поднялись крики:

— Зеленый! Цвѣтъ надежды!

— Тогда я воскликнула:

— Друзья, сигналъ къ восстанию данъ. Я вижу въ толпѣ
шпионовъ и агентовъ полиціи, которые слѣдятъ за мной. Но я не
дамся живымъ въ руки!

— Я вынула пару пистолетовъ изъ кармановъ и сказалъ:

— Пусть всякий послѣдуетъ моему примѣру.

— Я сошелъ, полуздешенный объятіями. Меня обнимали, рытая.
Однѣ граждане изъ Тулусы объявили, что, боясь за мою

жизнь, они не отступить отъ мене-
ни на шагъ.

„Въ это время принесли зеленую
ленту, я первымъ прикрепилъ ко-
карду къ своей шляпѣ и раздалъ
остатки ленты окружающимъ“.

12-го июля движение вспыхнуло
въ Палэ-Роялѣ и, какъ огонь, раз-
лилось по Парижу: 13-го народъ
бросился къ арсеналу съ оружиемъ,
14-го пала Бастилия.

Съ этой минуты Камиль стано-
вится самымъ популярнымъ человѣ-
комъ въ Парижѣ. Первымъ публи-
цистомъ Франціи. Его пламенный
журналъ „Революціи Франціи и Бра-
банта“ дѣлается свѣточесмъ револю-
ціоннаго движения. Онъ воплощаетъ
въ себѣ все, что есть благороднаго,
смѣлаго, возвышенаго въ револю-
ціи. Постъ переворота 10-го августа
1792 г., когда монархія пала, Парижъ
посыпаетъ своего „перваго
республиканца“ депутатомъ въ На-
ціональный Конвентъ.

Камиль — боецъ и отличался типичною „неблагодарностью“
журналиста. Онъ другъ Мирабо. Но къ гдѣ все прошлое Мирабо,
всѣ его привычки, — атавизмъ, наконецъ! — все же тянутъ вели-
каго Мирабо въ сторону монархіи, республиканецъ Камиль пре-
вращается въ его яраго противника. Преслѣдуется его, бѣть на
смерть вчерашиаго друга обвиненіями, безжалостными обличе-
ніями, сарказмами. Онъ полемизируетъ со всѣми. Со всемогущимъ
Маратомъ. Со всесильнымъ „пэръ-Дюшэномъ“, своей поле-
микой, своими обличеніями доводитъ его до Революціоннаго
Трибунала, до гильотины... Правда, и „пэръ-Дюшэнъ“, какъ
издыхающая гадина, жалитъ Камила на смерть и передъ смертью
выдумываетъ и „открываетъ“ заговоръ въ тюрьмахъ, — 1001-й
за времія революціи „заговоръ въ тюрьмахъ!“ — въ который запа-
тывается жену Дэмурена, его Люсиль. Ей придется заплатить
за этотъ оговоръ головой.

А сколько процессовъ! То его сочиненія сжигаютъ рукой палача,
то Сансонъ тянется къ суду за оскорблѣніе, за то, что Камиль
Дэмуренъ назвалъ его въ статьѣ:

— Палачомъ.

Сансонъ оскорбилъся.

24-го декабря 1790 г., — въ ночь подъ Рождество, — Националь-
ное Собрание имѣло сужденія о гражданскихъ правахъ предста-
вителей двухъ профессій, — объ актерахъ и палачахъ. И актеры
и палачи при старомъ режимѣ были лишены всѣхъ гражданскихъ
правъ. Национальное Собрание, „руководясь принципами справед-
ливости и идеями свободы“, признало обѣ эти профессіи необхо-
димыми для общества, такими же, какъ и всякая другая. Рѣшило
распространить на актеровъ и палачей всѣ гражданскія права,
въ томъ числѣ и право на христіанское погребеніе, право на
нощеніе шапки. И подтвердило, что впредь устанавливается зва-
ніе „исполнителей высокихъ дѣлъ правосудія“, и что никто не
смѣть „исполнителя“ клеймить позорнымъ именемъ палача.

Дэмуренъ назвалъ палача палачомъ и за это поплатился
штрафомъ и обязательствомъ напечатать приговоръ.

Про слѣдить всю журнальную карьеру Дэмурена намъ нѣть
никакой возможности. Для этого потребовались бы десятки ста-
тей. Шѣть событий въ революціи, въ которомъ Камиль не при-
нималъ бы участія своимъ статьямъ, своей полемикой. Нѣть
боя, въ которомъ онъ не выступалъ бы бойцомъ. То онъ борется
съ умѣренностью, задерживающею революцію, въ лицѣ жирон-
дистовъ, то отчаянно борется съ крайностями террора. Онъ но-
ситель смѣлага и высокаго идеала революціи.

Возьмемъ нѣсколько образчиковъ его стиля.

Какъ онъ представляетъ себѣ революцію?

Одни — и въ ихъ числѣ Робеспьеръ — увлекаются символиче-
скими революціонными празднествами, „возвышающими духъ“. Для другихъ, какъ для Марата, идеаль — всѣмъ превратиться въ



Мегера революціи.

санкюлотовъ; грязь, лохмотья—лучшая аттестація гражданскихъ чувствъ.

Слово принадлежитъ Камиллу Дэмулену:

— Полагаютъ, что свобода, какъ люди, должна пройти періодъ дѣтства и юности, прежде чѣмъ достигнуть зрѣлого возраста. Но это противно самой природѣ свободы. Чтобы обладать ею, ея надо только пожелать. Народъ свободенъ съ того дня, какъ онъ желаетъ стать свободнымъ. Онъ входитъ во всѣ свои права съ 14-го іюля. У свободы нѣтъ ни старости ни дѣтства. У нея одинъ возрастъ. Могущество и силы. Въ этомъ возрастѣ она сразу рождается. Мы бьемся за тѣ блага, которыми свобода немедленно вознаграждаетъ тѣхъ, кто къ ней стремится. Эти блага—прозвозглашеніе правъ человѣка и гражданина, радость и ясность республиканскіхъ идей, братство, святое равенство, незыблемость этихъ принциповъ. Вотъ тѣ слѣды, по которымъ узнаютъ богиню. Вотъ ея слѣды, по которымъ я узнаю народъ, среди которого она живетъ. И по какимъ другимъ признакамъ, хотите вы, чтобы я узналъ божественную свободу? Это не актриса оперы, которую носятъ на вашихъ праздникахъ въ красномъ фригийскомъ колпакѣ. Это не статуя въ 45 футовъ высотой, которую предлагаютъ соорудить художникъ Давидъ. Если подъ свободой вы разумѣете не принципы, какъ я, а ея каменную статую,—то поистинѣ еще не было никогда идолопоклонства болѣе глупаго и больше стоившаго народу, чѣмъ ваше! Нѣть, свобода,—эта свобода, сошедшая съ неба,—это не-оперная нимфа, это не красный фригийскій колпакъ, это не грязная рубаха, это не лохмотья вмѣсто одежды. Свобода—это счастье, это разумъ, это радость, это справедливость, это

исповѣданіе правъ человѣка, это ваша республиканская конституція. Хотите ли вы, чтобы я узналъ среди васъ ее, эту свободу? Чтобы я паль къ ея ногамъ? Чтобы я отдалъ ей всю свою кровь?—Откройте тюрмы тѣмъ 200 тысячамъ гражданъ, которыхъ вы называете „подозрительными“! Ибо „правами человѣка и гражданина“ не предусмотрены тюрмы для подозрительныхъ. Есть тюрмы для виновныхъ. „Подозрительныхъ“ не существуетъ. Есть обвиняемые въ дѣяніяхъ, искони и точно указанныхъ въ законахъ. И не думайте, что освободить „подозрительныхъ“ опасно или гибельно для республики. Напротивъ. Это будетъ мѣрой самой революціонной, какую только можно предпринять. Уничтожить тюрмы для подозрительныхъ—какая революція въ правосудіи! Во имя свободы прекратить терроръ. Вы хотите уничтожить всѣхъ вашихъ враговъ посредствомъ гильотины? Видано ли въ мірѣ большее безуміе? Можете ли вы гильотинировать одного человѣка безъ того, чтобы не создать свободѣ десятокъ новыхъ враговъ среди его семьи, среди его друзей?

Вотъ сюжетъ еще болѣе близкій для насъ. Что онъ думаетъ о свободѣ печати?

— Чѣмъ отличается республика отъ монархіи? Однимъ: свободой говорить и писать. Пускай завтра свобода прессы будетъ... въ Москвѣ, и Москва завтра будетъ республикой! И это вѣро. Несмотря на Людовика XVI, несмотря на его правительство, правительство заговорщиковъ противъ народа, несмотря на всѣ интриги роялистовъ, свобода печати, только свобода печати привела насъ къ 10 августа и разрушила 15-вѣковую монархію почти безъ пролитія крови. Какая лучшая защита свободнаго народа отъ покушеній деспотизма? Свобода печати. А еще лучшее средство? Свобода печати. А еще лучшее прибѣжище? Свобода печати. Кому не ясно, что свобода печати лучшее устрешеніе для негодяевъ, для честолюбцевъ, для деспотовъ,—но что она не несетъ съ собой никакихъ недостоинствъ для народнаго блага! Бояться, что свобода печати опасна для республики—это такъ же глупо, какъ если бы кто-нибудь сказалъ, что красота можетъ бояться зеркала! Человѣкъ ошибается, или человѣкъ правъ. Человѣкъ справедливъ, добродѣтельенъ, патріотъ,—или онъ ни то, ни другое, ни третье. Если человѣкъ не правъ, онъ долженъ исправиться. И для этого необходимо, чтобы журналы указывали вамъ ваши ошибки. Но если вы добродѣтельны, чего же вамъ бояться журналовъ, говорящихъ о несправедливостяхъ, о порокахъ, противъ тираніи? Это не ваше зеркало!

Нельзя жить на бойнѣ не мяснику. Ресpubликанецъ такого образа мыслей не можетъ дышать во время дикаго террора. И онъ задыхается. Проклятая привычка Камилла называть палача палачомъ приведетъ его въ руки палача.

Видя, какъ гибнутъ на гильотинѣ тѣ, кто вчера еще вмѣстѣ сражался за свободу, что борьба партій перешла во взаимное истребленіе, что Франція обезкровливается на радость враговъ свободы и революціи,—Камилль осмѣялся въ самый разгаръ террора поднять голосъ противъ террора.

У разъяренного звѣря вырывать изъ пасти окровавленную добычу. Толпа завоила:

— А! Умѣренный! Снисходительный!—закричали „Маратовы жрецы“ и поклонники „пэръ-Дюшэн“.—За аристократовъ?! Потакаетъ?! Измѣнникъ революціи!

Къ тому же аристократія, ничего не слыхавшая, кроме криковъ ненависти, обрадовалась, услыхавъ человѣчное слово.



Общественный обвинитель Фукье-Тенвилль.

И это окончательно добило Дэмурена. „Ему аплодирует аристократия!“ Смертный приговор для революционера.

Онъ и его единомышленники были преданы суду Революционного Трибунала. На скамью подсудимыхъ сѣло все, что было наиболѣе возвышеншаго, не палаческаго во французской революціи. Съ этимъ судомъ, съ этой казнью революція обезлюдела. Съ этого момента, потерявъ своихъ лучшихъ, идеальныхъ, возвышенныхъ, благородныхъ вождей, она пошла подъ гору, на пѣть. Революція не только, какъ Хроносъ, сѣдѣаетъ своихъ дѣтей,—она сѣдѣаетъ своихъ лучшихъ дѣтей!

На мѣстахъ подсудимыхъ сидѣло 13 человѣкъ. И среди нихъ Дантона, огромный, безобразный, изрытый оспой, съ шрамомъ на лицѣ, съ громовыемъ голосомъ. Настоящій левъ, когда онъ поднимался и начиналъ говорить.

Бѣдный Дантонъ! Въ революціи люди всегда гибнутъ жертвой тѣхъ несправедливостей и жестокостей, которыя они выдумываютъ для своихъ противниковъ. Министръ юстиціи Дантонъ запятнанъ свое имя въ процессѣ жирондистовъ. Желая легче избавиться отъ политическихъ враговъ, это онъ допустилъ жестокій и несправедливый законъ:

„Судебное слѣдствіе прекращается, если присяжные заявятъ, что для нихъ достаточно ясны обстоятельства дѣла“.

Лишь только дѣло дошло до допроса свидѣтелей защиты, поднялся старшина присяжныхъ:

— Обстоятельства дѣла для насть достаточно ясны. Въ допросѣ свидѣтелей надобности не встрѣчается.

Дантонъ зарычалъ отъ ярости. Онъ самъ паль жертвой собственного закона.

Безъ судебнаго слѣдствія, безъ допроса свидѣтелей судъ прямо перешелъ къ преніямъ. Дантонъ защищался, какъ левъ. День былъ жаркій. Окна открыты. Не только толпа, стоявшая подъ окнами, слышала каждое его слово,—до толпы, стоявшей на другомъ берегу Сены, долетали раскаты его громоваго голоса. Толпа волновалась. Онъ ее зажигалъ. Она склонялась въ его сторону. Можно было ожидать возмущенія, восстания.

Фукье-Тенвилль былъ уничтоженъ. Присяжные дрожали отъ страха.

Ночь прервала рѣчь Дантона. На утро онъ долженъ былъ продолжать защитительную рѣчь. Но Фукье-Тенвилль,—кстати сказать, онъ былъ родственникомъ Камиллы Дэмурена и получилъ мѣсто „общественнаго обвинителя“ по его протекціи,—Фукье-Тенвилль вечеромъ сѣгъгалъ въ Комитетъ общественнаго спасенія. И когда на слѣдующій день открылось засѣданіе, въ судѣ былъ оглашенъ декретъ Конвента:

— Если обвиняемые позволяютъ себѣ оскорблять судъ, они лишаются слова.

— Дантонъ, ты и твои сообщники оскорбляете судъ и лишаешься слова.

Съ нихъ сдирали кожу и имъ затыкали ротъ грязной тряпкой.

На казнь Дантонъ и Дэмуренъѣхали въ одной charrette, въ одной повозкѣ. Дантонъѣхалъ стоя. Онъ былъ спокоенъ, грозенъ и мраченъ. Его громовыій голосъ возвышался надъ ревомъ толпы.

Пробѣжкая мимо дома, где жила Робеспьеръ, онъ воскликнулъ:

— Робеспьеръ! Гдѣ ты? Причешься такъ же, какъ прятался 10-го августа? Ты толкаешь меня на гильотину. Но тебя ждѣтъ та же участіе! Я увлекаю тебя за собою!

И, обратившись къ толпѣ, онъ сказалъ:

— Сейчасъ обезглавлять не только меня. Обезглавлять веспу-блику и революцію.

Вѣзжая на площадь Революціи, онъ обратился къ Сансону:

— Палачъ! У тебя тоже есть самка и дѣтины. Отрѣжь прядь моихъ волосъ и отнеси моей женѣ.

Вступая на первую ступеньку эшафота, онъ приказалъ Сансону:

— Покажи мою голову народу. Не каждый день ему приходится видѣть такія головы.

И когда осужденные хотѣли поцѣловаться, но палачъ сказалъ, что это нельзя,—Дантонъ расхохотался:

— Дуракъ! Какъ будто черезъ нѣсколько минутъ наши уста не коснутся другъ друга въ корзинѣ!

А Камилль?

Казалось, что онъ просто не понимаетъ, что происходитъ кру-гомъ. Все происходящее ему кажется какимъ-то кошмаромъ.

Онъ былъ. Онъ рвался. Онъ кричалъ:

— Да вѣдь это я! Я! Камилль Дэмуренъ! Я! „Человѣкъ Бастілии“! Который поднялъ Парижъ на восстаніе! Я! Человѣкъ 12-го июля! О, Люсиль! моя Люсиль!

Дантонъ остановилъ его:

— Перестань. Не обращайся къ этой *vile canaille!* Развѣ она что-нибудь понимаетъ?

Люсиль пережила своего мужа всего на нѣсколько дней. Передъ смертью „пэръ-Дюшэнъ“, постоянный литературный противникъ ея мужа, замѣщалъ ее въ заговорѣ, который якобы готовится среди заключенныхъ въ тюрьмахъ. Но къ дѣлу привлекли и его жену Жакелину.

Двухъ вдовъ двухъ полемизировавшихъ между собою журналистовъ, двухъ политическихъ и литературныхъ враговъ,—Жакелину Эберъ и Люсиль Дэмуренъ въ одной повозкѣ повезли на эшафотъ. Жакелина рыдала. Люсиль цѣловала и утѣшала вдову человѣка, который привелъ ея мужа на гильотину.

И вотъ послѣдній отзвукъ трагедіи.

Смолкъ терроръ. Госпожа Дюилесси, теща Камилла, обратилась въ Конвентъ, въ качествѣ опекунши сироты Горациія Дэмурена, съ просьбой „не продавать съ аукціона въ пользу государства библіотеки казненнаго писателя“.

И Конвентъ постановилъ:

— Просьбу удовлетворить. Конфискацію отмѣнить. Библіотеку передать въ пользу малолѣтняго Горациія, сына нашего несчастнаго товарища Камиллы Дэмурена, мученика за свободу.

Кромѣ библіотеки,—по преимуществу латинскихъ классиковъ,—послѣ Камиллы ничего не осталось.

Такъ умеръ Камилль Дэмуренъ, первый журналистъ великой французской революціи.

А всего было казнено журналистовъ за время террора двадцать пять.

(Окончаніе слѣдуетъ.)



Дантонъ.

Топливо и тепло.

Очеркъ инженера В. В. Рюмина.

Человѣчество съ сѣдой старины знаетъ огонь, но сущность этого явленія постигло оно только съ открытиемъ, сдѣланнаго знаменитымъ Лавуазье, показавшаго въ 1774 году, что, при горѣніи, съ горящимъ тѣломъ соединяется одинъ изъ газовъ воздуха—кислородъ—и продукты горѣнія вѣсить больше, чѣмъ вѣсило тѣло до сторанія. Раньше полагали, что при горѣніи отъ горючаго отдѣляется нѣкоторое гипотетическое вещество — флогистонъ.

Послѣдователи этой теоріи были сначала озадачены тѣмъ фактъ, что послѣ отдѣленія флогистона остатокъ вѣситъ больше, чѣмъ вѣсило само горѣвшее тѣло, но они скоро нашлись и стали утверждать, что флогистонъ обладаетъ отрицательнымъ вѣсомъ и потому тѣла, насыщенные имъ, легче, чѣмъ лишенныя флогистона.

Такова сила привычки къ принятymъ теоріямъ, такова кость человѣческаго мышленія.

Теперь вопросъ о горѣніи выясненъ въ совершенствѣ, точно опредѣлены условия горѣнія, изслѣдованы его продукты и не только для разныхъ сортовъ топлива, но и вообще для тѣла, способныхъ горѣть, и доказано, что горѣніе—только особенно быстрое окисленіе, при которомъ появляются теплота и свѣтъ.

Теплота получается при всякомъ окисленіи, но при медленномъ окисленіи и теплота выдѣляется такъ медленно, что обнаружить ее можно только при внимательномъ наблюденіи. Иногда, если медленное окисленіе протекаетъ при такихъ условіяхъ, что теплота не теряется, а остается, напримѣръ, въ кучѣ влажныхъ тряпокъ, въ сѣнѣ и т. п., то температура подымается до возгоранія, и появляется пламя.

Продукты горѣнія могутъ быть или твердыми или жидкими, или въ состояніи пара, т.-е. газообразными, или же настоящими газами. Сжигая, напримѣръ, магній и собирая тотъ бѣлый продуктъ горѣнія, который частью образуетъ бѣлый дымъ, частью остается въ видѣ бѣлаго же кусочка, мы по взѣшиванію убѣждаемся, что этого окисла магнія, магнезія, получилось больше вѣса взятаго магнія, и, мало того, мы, взѣшивъ магній, предназначенный къ сжиганію, впередъ можемъ сказать, что 1 граммъ магнія дасть 1,68 граммовъ магнезія, такъ какъ она есть окись магнія, а химически тѣла соединяются только въ строго опредѣленныхъ пропорціяхъ.

Чтобы убѣдиться въ томъ же при сжиганіи свѣчи, надо употребить довольно сложный приборъ. Зная, что стеаринъ состоитъ изъ 9 частей водорода, 8 кислорода и 54 углерода и что по сгоранію изъ него получится газъ—двуокись углерода—и пары воды, при чемъ первого должно получиться отъ 1 грамма стеарина 2,5 гр., а второй—1 граммъ, и зная, что воду можно собрать въ видѣ пара или поглотить веществомъ, съ нею жадно соединяющимся, а также поглотить и двуокись углерода, которая соединяется съ многими веществами, пропускаютъ продукты горѣнія свѣчи черезъ сосуды, наполненные веществами, поглощающими ихъ, и затѣмъ, взѣшивая, находять прибавку въ вѣсѣ, притомъ строго соответствующую вычисленію.

Сорта топлива, обычно употребляющіеся, въ главной массѣ состоятъ изъ тѣхъ же элементовъ, какъ и стеаринъ, и продукты его полного сгоранія тѣ же, т.-е. угольный газъ и пары воды. Если горѣніе идетъ при недостаточномъ притокѣ воздуха, то горѣніе не полно и могутъ получаться другіе продукты, сами обладающіе горючностью.

Для полнаго сгоранія одной вѣсовой части углерода нужно 2,6 вѣсовыхъ частей кислорода или около 11 частей воздуха.

Воздухъ самъ по себѣ вѣситъ около 30 фунтовъ кубическая сажень, и для сжиганія пуда углерода надо провести черезъ печь не менѣе 11 пудовъ воздуха, т.-е. около 15 кубическихъ саженей.

Этотъ подсчетъ показываетъ, какъ хорошо дѣйствуетъ на сѣнѣ воздухъ въ комнатахъ топка печи.

Продукты горѣнія топлива хотя и газообразны, хотя ихъ и не видно глазомъ, но все же поддаются улавливанію, взѣшиванію, и мы съ ними хорошо знакомы—они вещественны; не такъ обстоитъ дѣло съ теплотой.

Теплота—нѣчто ясно ощущительное, но не вещественное. Теплоту, какъ тѣло, собрать нельзя, еже невещественность подтверждается тѣмъ, что съ нагреваніемъ любого тѣла вѣсъ его не изменяется. Теплота одинъ изъ видовъ энергіи, а что такое энергія, въ сущности, до сихъ поръ совершенно не извѣстно, да едва ли когда и будетъ извѣстно. Энергіей называютъ то, что вызываетъ какое-либо дѣйствіе, какое-либо явленіе.

Людей называютъ энергичными; почти въ томъ же значеніи можно примѣнить и въ физикѣ слово „энергія“. Это—что-то болѣе или менѣе напряженное, болѣе или менѣе мощное, и, какъ человѣкъ энергичный проявляетъ свою энергію въ разныхъ видахъ, такъ и въ мірѣ физическомъ единиа энергія можетъ проявляться въ разныхъ видахъ, а также находиться въ скрытомъ состояніи въ любомъ тѣлѣ, никакъ не измѣняя его основныхъ свойствъ. Такъ, гира часовъ, находящаяся на самомъ высокомъ

своемъ положеніи, способна приводить въ движеніе часы, она же, опустившись до конца цѣночки, эту способность утратила. Стѣнѣ приложить къ ней мускульную энергию или какую другую и поднять ее опять до верха, она снова пріобрѣтетъ энергию. Такой видъ энергіи называется энергией положенія.

Энергія положенія способна перейти въ любой видъ энергіи и въ томъ числѣ въ тепловую энергию.

Въ жизни энергія нужна намъ на каждомъ шагу, и наша собственная жизнь поддерживается химической энергией, вносимой въ организмъ посредствомъ пищи. Чтобы произвести какую-нибудь механическую работу, необходимо затратить больше или меньше энергіи.

Пока люди не умѣли пользоваться громадными запасами міровой энергіи, а располагали только энергией собственныхъ мускуловъ, они не были такъ сильны, какъ теперь.

Обращая химическую энергию каменного угля въ топкахъ первоначально котловъ въ механическую, мы производимъ громадное количество работы, какое не въ состояніи были бы выполнить соединенными усилиями всѣ люди, живущіе на земномъ шарѣ.

Устѣхи нашей техники возможны только при условіи умѣнія пользоваться природными запасами энергіи и получать ее въ томъ или иномъ видѣ, смотря по надобности.

Покупая топливо, мы покупаемъ не самое вещество топлива, оно намъ не нужно. Намъ нужна только та энергія, которая можетъ быть получена при сгораніи топлива. Но, покупая что-либо, мы должны же знать, сколько мы покупаемъ. Сколько пудовъ дровъ мы купили, опредѣлить очень легко, взѣшивъ дрова, но намъ интересно знать, сколько же въ купленномъ количествѣ дровъ энергіи того или другого вида, и этотъ вопросъ современными техниками решенъ вполнѣ точно и опредѣленно. Большая учрежденія, покупаю топливо, какъ-то: заводы, желѣзныя дороги и проч., при покупкѣ угля оговариваются, какую теплотворную способность должны иметь покупаемый материалъ.

Какъ ни странна на первый взглядъ возможность опредѣлить количество невещественной самой по себѣ энергіи, но это дѣлается и даже очень просто.

Сжигаютъ въ особомъ приборѣ—калориметрѣ—тепломѣрѣ—взвѣшенно небольшое количество испытываемаго топлива. Приборъ устроенъ такъ, что вся получившаяся теплота идетъ на нагреваніе воды, помѣщенной въ приборѣ; зная вѣсъ воды и опредѣляя ея температуру, сравниваютъ между собою разныя вещества, сжигаемыя въ тепломѣрѣ, и устанавливаютъ, насколько градусовъ нагреваютъ воду равныя по вѣсу, но разныя вещества. За единицу сравненія взяли то количество тепла, которое нужно для нагреванія одной вѣсовой части воды отъ 0° до 1° Цельсія.

Такъ: чистый углеродъ, сгорая, даетъ 8.080 единицъ теплоты. Это значитъ, что 1 фунтъ углерода, сгорая, даетъ столько теплоты, сколько нужно для нагреванія 8.080 фунтовъ воды отъ 0 до 1° или 808 фунтовъ отъ 0 до 100°.

Во Франціи принято считать теплотворную способность на калоріи, при чемъ большая калорія равна количеству теплоты, потребной для нагреванія одного килограмма воды на 1°, малая калорія относится не къ килограмму, а къ грамму. У насъ обыкновенно принимаютъ калоріи, но можно обходиться и русскими мѣрами. Если топливо даетъ 7.000 единицъ тепла, то это значитъ, что нѣкоторая вѣсовая единица топлива нагреваетъ 7.000 такихъ же вѣсовыхъ единицъ воды на 1°.

Какъ для приведенія въ движеніе разныхъ тѣлъ одного и того же объема бываетъ нужно разное количество механической энергіи, такъ и для нагреванія одного и того же вѣса разныхъ тѣлъ до равной температуры идетъ не одинаковое, а разное количество тепловой энергіи, теплоты. Вода для своего нагреванія требуетъ наибольшаго количества теплоты, и потому цифры, выражаящи таилогимѣстъ тѣлъ, всѣ менѣе единицы. Такъ, напримѣръ, для нагреванія воздуха надо всего около 0,25 единицъ теплоты.

Познакомившись съ понятиемъ о единицахъ теплоты, мы уже можемъ судить о выгодности того или другого сорта топлива, зная его теплотворную способность. Если пудъ хорошаго антрацита, сгорая, можетъ дать 7.500 единицъ теплоты, при цѣнѣ (въ нормальное время) въ 30 коп., то дрова, дающія 3.250 единицъ теплоты, должны стоить лишь 15 копеекъ, или, иначе говоря, 1.000 единицъ теплоты антрацита будуть стоить 4 копейки, а отъ дровъ, стоящихъ 10 копеекъ, будутъ стоить 2,8 копейки, значить, при этихъ цѣнахъ дрова выгоднѣ.

Но при покупкѣ дровъ громадную роль играетъ ихъ сухость. Такъ, дрова сухія, заключающія 15% влаги, даютъ 3.640 единицъ тепла, съ 25% уже 3.130, а съ 45% только 2.130.

Если бы можно было использовать всю теплотворную способность топлива на нагреваніе воздуха въ квартирѣ, то для жилья объемомъ въ 75 кубическихъ саженей, чтобы воздухъ, имѣющійся въ квартирѣ, нагрѣть отъ 0° до 18° Цельсія или 14,4° Реомюра, надо бы сжечь всего 2,8 фунта хорошихъ дровъ, но

къ сожалѣнію, это при отоплѣніи печами невозможнo. Потери тепла обыкновенно очень велики.

Въ обыкновенныхъ голландскихъ и другихъ печахъ пропадаетъ тепла безполезно для дѣла обыкновенно около $\frac{1}{3}$.

Откуда же берутся эти потери, нельзѧ ли ихъ устранить? Вотъ вопросы, которые, естественно, возникнутъ у каждого, но, къ сожалѣнію, при пользованіи энергией почти всегда приходится нести нѣкоторыя потери, онѣ могутъ быть меньше или больше, и только въ очень рѣдкихъ случаяхъ можно использовать всю энергию, но при этомъ являются другіе недостатки, уравнивающіе неизбѣжныя потери энергіи.

При пользованіи печами потери топлива зависятъ отъ двухъ главныхъ причинъ: несовершенства горѣнія и неправильнаго устройства печей; мы говоримъ о потеряхъ устранимыхъ, но есть еще и неустранимая причина, это—необходимость образования въ печахъ тяги, т.-е. движения по трубѣ продуктовъ горѣнія, уносящихъ съ собою тепло.

Для правильнаго горѣнія нужно точно опредѣленное количество воздуха: тогда черезъ печь не проходить лишняго воздуха и не уносится тепло съ избыткомъ этого воздуха, нагрѣтаго до температуры около 300° (ненужного для горѣнія азота въ воздухѣ $\frac{1}{4}$), онѣ тоже должны быть нагрѣты, при недостаткѣ же воздуха возникаютъ другія потери, горѣніе не идетъ до конца, вместо углекислого газа и паровъ воды получаются промежуточные продукты, дымъ, какъ ихъ называютъ. Этотъ дымъ самъ способенъ горѣть, и съ нимъ уходитъ въ трубу часть топлива, которая могла бы въ печи сгорѣть и отдать свою тепловую энергию. Достигнуть идеально правильнаго горѣнія на практикѣ невозможно даже тамъ, где на тонкую обращено большое вниманіе, где печи обслуживаются знающими людьми подъ контролемъ инженеровъ, на большихъ заводахъ и фабрикахъ.

Недостаткомъ это уже потому, что вѣсъ воздуха въ равныхъ объемахъ постоянно мѣняется отъ влажности температуры и количества влаги, находящейся въ воздухѣ, да и составъ самого топлива не бываетъ всегда совершенно одинаковъ. Остается только какъ можно больше регулировать горѣніе заслонками, то увеличивая, то уменьшая тягу.

Печи бываютъ двухъ родовъ: такія, которыя нагрѣваются сами во время топки; будучи массивными и тяжелыми, онѣ поглощаютъ тепло и притомъ тѣмъ больше, чѣмъ сами они больше, и когда топливо уже прогорѣло, огня въ топкахъ нѣтъ, закрываютъ трубу, т.-е. разобщаются съ атмосферой всѣ дымоходы и самую топку. Печь остываетъ, отдавая поглощенное тепло воздуху комнаты.

Печи другого рода, это—небольшія металлическія печи, съ тонкими стѣнками, быстро нагрѣвающіяся и быстро остывающія, онѣ дѣйствуютъ только въ то время, пока въ нихъ горить топливо.

Точно такъ же, какъ и большія печи, онѣ снабжены трубой и должны быть закрываемы по окончаніи топки.

Въ печахъ массивныхъ, съ длинными дымоходами, горячій дымъ успѣваетъ передать свою теплоту полнѣ, чѣмъ въ печахъ металлическихъ, где дымоходы внутри печей итъ, а пламя прямо уходитъ въ трубу. Гораздо полнѣ можно пользоваться теплотой, если дымъ изъ такихъ металлическихъ печей пропускать по комнатамъ длинными желѣзными трубами, но это крайне некрасиво и допустимо лишь въ мастерскихъ и т. п., но не въ комнатахъ.

Кромѣ того, такія печи настолько сильно прогреваются, что на ихъ поверхности начинаетъ горѣть попадающая изъ воздуха пыль, и онѣ распространяютъ непріятный и вредный запахъ.

Смотря по системѣ, достоинству исполненія печи и отъ правильности ея употребленія, печь отдаетъ больше или меньше тепла, выдѣленного топливомъ. Такимъ образомъ разныя печи отдаютъ отъ 65 до 80% теплотворной способности топлива.

Теплота стремится всегда къ равновѣсію. Положимъ въ стаканъ съ горячимъ чаемъ металлическую ложечку—она быстро нагрѣвается, и тѣмъ быстрѣе, чѣмъ горячѣе чай. Горячій чай остываетъ, нагрѣвая соприкасающейся съ нимъ воздухъ. Теплота не теряется, а только разливается въ пространствѣ. Цѣнна не сама теплота, а разность напряженія ея въ печи и комнатномъ воздухѣ. Въ бочкѣ воды, вѣсомъ въ 30 пудовъ (около 40 ведеръ), имѣющей температуру 14° , содержится столько же тепловой энергіи, сколько дадутъ $1\frac{1}{2}$ пуда хорошаго угля, но для цѣлей отопления теплота этой воды не имѣть ни малѣйшаго значенія, даже внесенная въ комнату съ температурой выше 14° вода эта остынетъ комнату *).

Стало-быть, кроме самаго количества единицъ теплоты, важны еще и другія условия—разность напряженія энергіи, въ настоящемъ случаѣ—температура какъ самаго горѣнія, такъ и приборовъ, нагрѣвающихъ воздухъ и нагрѣваемаго воздуха.

Нагрѣваніе совершается тѣмъ быстрѣе и полнѣ, чѣмъ больше разница температуръ тѣль нагрѣвающаго и нагрѣваемаго, а при отоплѣніи есть предѣлъ температуры нагрѣвающаго тѣла, не выше $100-120^{\circ}$ —иначе начинается пригораніе пыли.

Металлическая ложечка нагрѣвается при опускании въ горячую жидкость быстро, а деревянная очень медленно, металль проводить тепловую энергию хорошо, а дерево дурно. Это свойство теплоты имѣетъ въ жизни большое значеніе. Оно показы-

ваетъ, что стѣны должно строить изъ дурныхъ проводниковъ тепла. Теплопроводность зависитъ и отъ толщины стѣнъ.

Путь, проходимый теплотой по разнымъ проводникамъ, требуетъ разнаго времени и притомъ прямо пропорціонального скости проводимости.

Надо замѣтить еще, что теплота передается отъ тѣла къ тѣлу двумя путями. Первый—непосредственное соприкосновеніе и второй посредствомъ лучистой энергіи. Прежде говорили лучистая теплота; эту терминъ оставилъ потому, что лучистая энергія можетъ быть обращена не только въ теплоту, но и въ другіе ея виды.

Нагрѣтые тѣла испускаютъ лучистую энергию, проходящую сквозь воздухъ, не нагрѣвая его. Солнце даетъ громадное количество такой лучистой энергіи, она проходить черезъ атмосферу и обращается въ теплоту, только падая на поверхность земли, твердыхъ или жидкіхъ тѣль, попадающихся ей на пути. Воздухъ остается холоднымъ и нагрѣвается лишь непосредственнымъ соприкосновеніемъ съ нагрѣтой землей.

Этимъ и объясняется, почему термометръ въ тѣнѣ показываетъ меньше, чѣмъ подъ лучами солнца, падающими на него непосредственно.

Въ тѣнѣ термометръ показываетъ действительную температуру воздуха, а на солнцѣ—температуру свою; ртуть нагрѣвается непосредственно отъ превращенія падающей на него шарикъ лучистой энергіи въ тепловую.

Въ нашемъ вопросѣ это свойство имѣть значеніе въ томъ смыслѣ, что лучистая энергія нагрѣтой поверхности печей не можетъ согрѣвать воздуха комнаты, онѣ должны нагрѣваться только непосредственнымъ соприкосновеніемъ.

Камины на этомъ основаніи представляютъ собою самые непосредственные приборы для отоплѣнія. Они, правда, пріятны, хорошо вентилируютъ помѣщенія, но для цѣлей отоплѣнія мало praktичны, слишкомъ дорого обходится та теплота, которую они передаютъ помѣщенію, процентъ отдаваемой ими полезной теплоты слишкомъ малъ.

Условія хорошаго, выгоднаго дѣйствія печи, стало-быть, довольно сложны, но во всякомъ случаѣ они распадаются на двѣ группы: на тѣ, которыхъ должны быть соблюдены при постройкѣ, и на зависящія отъ ухода за печами. Только эти послѣднія въ рукахъ лицъ, пользующихъся печами, въ рукахъ тѣхъ, отъ кого зависитъ топка, отъ выбора сорта топлива, наиболѣе подходящаго по цѣнѣ и условіямъ горѣнія, и мы разсмотримъ лишь эти условія.

Обыкновенно отапливаютъ печи въ городахъ дровами и углемъ, преимущественно тѣмъ его сортомъ, который называется антрацитомъ.

Для каждого изъ этихъ видовъ топлива существуютъ свои пріемы, но общія правила топки остаются тѣ же. Правила эти состоятъ въ тщательномъ наблюденіи, чтобы не входило въ печь слишкомъ много воздуха, что узнается по черезчуръ быстрому его току, уносящему съ собою длинное пламя, при дровяной топкѣ, и при топкѣ углемъ обнаруживающемся тоже быстрымъ горѣніемъ. Помимо того, что нагрѣвается лицій воздухъ, быстрое прохожденіе дыма по дымоходамъ не позволяетъ ему передать столько своего тепла, сколько онѣ передають бы, проходя медленно. Регулировать токъ воздуха, тягу печи можно задвижками, помѣщаемыми въ дымоходѣ, или топочными дверцами. При топкахъ, имѣющихъ поддувало, т.-е. у которыхъ подъ не силошной кирпичной, а рѣшеткой чугунной, желѣзной или же кирпичной и подъ нею есть особое помѣщеніе для золы (золыникъ), тамъ дверца топки во время горѣнія топлива должна быть закрыта, а дверца поддувала открыта болѣе или менѣе, а если есть задвижка, то дверца поддувала открывается сполна и тяга уравнивается задвижкой.

Горѣніе должно ити полно, не должно быть въ топкѣ мѣсть съ негорящимъ топливомъ, при дровахъ надо во время топки помѣщивать въ печи, подкладывать головешки на жаръ, и за этимъ надо слѣдить хорошо, такъ какъ, иначе придется дожидаться возможности закрыть трубу слишкомъ долго, угли успѣютъ прогорѣть и печь остыть. Закрывать печь при отоплѣніи дровами надо тогда, когда въ ней нѣтъ головешекъ (не прогорѣвшихъ кусковъ дерева), когда угли ровно покрылись пленкой золы и по нимъ не перебѣгаютъ синіе огоньки, а все они равнѣмъ чуть красны.

При топкѣ углемъ, антрацитомъ, мѣшать во время топки не надо, затапливая печь, слѣдуетъ сначала приготовить нужный уголь, растопки, т.-е. сухія, мелко наколотыя полѣшки, которыхъ по вѣсу должно быть около 0,1 вѣса угля.

Указанія относительно времени, когда можно закрыть трубу при топкѣ углемъ, тѣ же, какъ и при дровахъ, т.-е. достаточное охлажденіе угля и отсутствіе синихъ огоньковъ.

Въ нѣкоторыхъ печахъ съ такъ называемыми герметическими дверцами трубы закрывать не нужно, печи эти, при условіи полной исправности дверцъ, достаточно хорошо сохраняютъ тепло и при открытой трубѣ.

Указаніе на огоньки, при которыхъ нельзѧ закрывать трубу, чрезвычайно серьезно, оно основано на слѣдующемъ: при полномъ гореніи, какъ уже сказано было, получаются только въ видѣ летучихъ продуктовъ пары воды и углекислый газъ, и при топкѣ каменнымъ углемъ (антрацитомъ, коксомъ) немногого сѣрнистаго газа.

* Считая отъ абсолютнаго нуля.

ЗАЯВЛЕНИЕ.

По условіямъ разсрочки, подписаная плата за „Ниву“ 1918 года должна быть внесена **ПОЛНОСТЬЮ КЪ 1-му авгу́ста сего года.** Контора журнала „Нива“ покорнѣйше просить поэтому гг. подписчиковъ, но внесшихъ сполна подписаныхъ денегъ, озаботиться **немедленно присылкою** остатной причитающейся съ нихъ суммы, **во избѣжаніе остановки въ высылкѣ журнала съ № 36.** Гг. иногородные подписчики при высылкѣ денегъ благоволять **обозначать на видномъ мѣстѣ копію печатнаго адреса** съ бандероли или **прилагать самый адресъ и непремѣнно указывать,** что деньги высылаются **въ доплату за полу-чаемый уже журналъ.**

При перемѣнѣ адреса слѣдуетъ прилагать **1 рубль и печатный адресъ.**

Углекислый газъ иначе называется двуокисью углерода, онъ, хотя и не поддерживает дыханія, но не ядовитъ, въ воздухѣ его можетъ въ исключительныхъ случаяхъ находиться много больше, чѣмъ въ нормальной атмосфѣрѣ (гдѣ его всегда бываетъ около 0,004), не принося особаго вреда находящимся въ такомъ воздухѣ людямъ, но, при неполномъ сгораніи углерода или при разложении накаленными углемъ двуокиси углерода, получается газъ, называемый окисью углерода. Эта газъ ядовитъ въ значительной степени, онъ горючъ, и цвѣтъ его пламени синій; вотъ откуда и берутся синіе огоньки, указывающіе на то, что закрывать трубу нельзя.

Окись углерода можетъ образоваться не только въ печи, но и въ самоварѣ, если въ его трубѣ слишкомъ много угля и весь онъ раскаленъ.

Къ несчастію, окись углерода не имѣть запаха, вкуса и цвѣта. Замѣтъ ея присутствіе въ воздухѣ можно только при химическомъ изслѣдованіи воздуха. Тотъ запахъ, который называются угарнымъ, принадлежитъ не самой, производящей угарь, окиси углерода, а сопутствующимъ ей смолистымъ продуктамъ неполного горѣнія, и онъ можетъ указывать, но не всегда, на сопутствующую ему окись углерода.

Еще разъ повторимъ, въ виду сильной ядовитости окиси углерода, что иногда можетъ быть запахъ, но не быть ядовитаго газа и, наоборотъ, ядовитая окись углерода можетъ находиться въ воздухѣ, а запаха можетъ и не быть.

Выше было указано, сколько образуется при сгораніи углерода продукта его полного горѣнія, углекислого газа; одна часть углерода при образованіи окиси углерода даетъ его по вѣсѣ $2\frac{1}{3}$ части, а присутствіе ея въ воздухѣ всего въ количествѣ 0,05% уже оказываетъ вредное влияніе, а 0,1% дѣлаетъ воздухъ совершенно негоднымъ для дыханія, люди въ такомъ воздухѣ быстро отравляются. Но надо еще замѣтить, что окись углерода и въ малыхъ количествахъ, при постоянномъ вдыханіи, производит хроническое отравленіе (въ табачномъ дымѣ есть окись углерода и въ очень замѣтномъ количествѣ). При пользованіи печами надо всегда быть очень осмотрительнымъ при закрываніи трубъ.

На поверхностный взглядъ ложныя удобства,—а иногда полная необходимости,—заставляютъ пользоваться такими видами топлива, которые обычно не употребляются, а именно газомъ, спиртомъ и керосиномъ.

Прекрасны, удобны и не дороги печи, отопляемыя городскимъ газомъ, но при непремѣнномъ условіи выхода продуктовъ горѣнія въ атмосферу.

Давно уже спиртъ и керосинъ служили въ особыхъ лампахъ для освѣщенія, затѣмъ начали приносить эти лампы къ нагреванію на нихъ небольшихъ количествъ кушаній, затѣмъ стали готовить кушанія на такихъ керосиновыхъ и спиртовыхъ печахъ, и отсюда была уже всего одинъ шагъ до примѣненія печей прямо къ отопленію.

Единственное, что еще говорить за такія печи, это полная отдача всей теплоты въ воздухѣ, но зато противъ употребленія, какъ топлива, керосина и спирта есть очень много серьезныхъ выражений.

Приведемъ пѣкоторыя, и начнемъ съ слабѣйшихъ:

1) цѣна такого отопленія значительно выше, 2) оно опасно въ пожарномъ отношеніи, 3) горѣніе должно поддерживаться все время, такъ какъ по прекращеніи горѣнія прекращается и притокъ теплоты, а съ нимъ вѣтъ начинается остываніе и 4) самое существенное, это—страшная порча воздуха. Печи, отопляемыя керосиномъ, не имѣя трубъ, всѣ продукты горѣнія

отдаютъ въ воздухъ жилыхъ помѣщений, а продуктовъ этихъ получается много.

Допустимъ, что печи не даютъ продуктовъ неполного горѣнія, что невозможно, на практикѣ всегда наблюдается больший или меньший запахъ при употреблении керосиновыхъ печей, а при спиртовыхъ лампахъ, не говоря уже о денатурѣ, который жѣтъ въ нихъ, даже чистый спиртъ дастъ всегда запахъ.

Теплотворная способность спирта около 7.000, а керосина отъ 8.000 до 10.000. Но, сгорая, одинъ фунтъ спирта (приблизительно, въ зависимости отъ различныхъ качествъ чистаго спирта или, какъ говорятъ, отъ его крѣпости) даетъ въ воздухѣ около 3-хъ фунтовъ углекислого газа, а фунтъ керосина (химическій составъ керосина не одинаковъ для разныхъ сортовъ, но всегда онъ состоитъ изъ углерода и водорода, при чемъ первого значительно больше) даетъ до 4-хъ фунтовъ углекислого газа. Вѣсъ этого газа въ полтора раза больше вѣса воздуха, а уже 4% содержанія въ воздухѣ углекислого газа дѣлаетъ такую смѣсь совершенно негодной для дыханія.

Такимъ образомъ печи, выпускающія продукты горѣнія не въ атмосферу, а въ воздухѣ тѣхъ помѣщений, где онѣ поставлены, абсолютно недопустимы, и должно бороться всѣми мѣрами противъ ихъ употребленія.

Но есть способъ отапливать жилища, заслуживающій всякаго поощренія, это—способъ обращенія энергіи падающей воды, или вообще механической энергіи въ тепловую съ переходомъ въ электрическую энергию.

Полученіе электрической энергіи отъ машинъ, приводимыхъ въ движеніе какой-либо иной энергіей, достаточно известно, а получение тепла отъ электрической энергіи тоже давно известная вещь, пожары отъ молний всегда были первыми примѣрами такого получения тепла, теперь же съ постояннымъ и быстрымъ распространениемъ электрическихъ приборовъ всякой рода и назначенія появились въ употребленіи въ повседневной жизни приборы для варки кофе, кипяченія воды, жаренія и вообще приготовленія пищи помощью того электрическаго тока, который служить для освѣщенія.

Сначала приборы эти дѣлали въ видѣ небольшихъ плитокъ, изящнаго вида, на высокихъ посткахъ, позволяющихъ ставить плитки на столы въ той же столовой, где и приготовляются несложные кушанья или подогреваются холодные. Затѣмъ стали дѣлать сковородки и кастрюльки съ грѣющими приспособленіями въ днѣ, такимъ же образомъ дѣлаются кофейники и пр. Стоимость такихъ приборовъ теперь очень велика, да и расходъ энергіи при нашихъ цѣнѣахъ весьма значителенъ, и только состоятельный люди могутъ позволить себѣ такой способъ пользованія тепломъ.

Электрическія печи не обладаютъ отрицательными сторонами печей безъ трубъ. Въ нихъ горѣніе идетъ, гдѣ-то далеко жгутъ уголь, или силуо воды вращаютъ мощные генераторы тока и по проводамъ отводятъ энергию за много верстъ.

О пользованіи электричествомъ въ смыслѣ теплоты говорится обстоятельно въ недавно вышедшей книгѣ автора этого очерка: „Чудеса электротехники“ *).

При распространеніи такого отопленія въ городахъ исчезнетъ дымъ, перестанутъ громыхать телѣги, везущія дрова и уголь для нашихъ печей, засаривающія улицы черной пылью, значительно сократятся несчастные случаи, ожоги, взрывы, и т. п., нерѣдко сопровождающіе смертью.

*.) Инженеръ В. Рюминъ. „Чудеса электротехники“—примѣненіе электричества во всѣхъ отрасляхъ человѣческой деятельности. Г. Николаевъ, Херсонской губ., издательство „Электричество и Жизнь“.

Камилла Дэмуренъ.—Художникъ Жакъ-Луи Давидъ. Автопортретъ (Луврскій музей).—Марія-Антуанетта.—Дофінъ и принцесса Елизавета, сестра короля Людовика XVI.—Арестъ королевской семьи. Де-ла-Шарлер.—21-е января 1793 г. Послѣднія минуты Людовика XVI. Де-ла-Шарлер.—Рѣчь Камиллы Дэмуренъ въ Палѣ-Роаль, 12го ноября 1793 г. Де-ла-Шарлер.—Мегера революціи.—Общественный обвинитель Фукье-Тенвилль.—Давидъ.

Къ этому № прилагается „Полного собрания сочиненій А. И. Герцена“ книга 15.

Содержание. ТЕКСТЫ: Журналисты великой французской революціи. Очеркъ В. М. Дорошевича.—Топливо и тепло. Очеркъ инженера В. В. Рюмина.—Заявление.

РИСУНКИ: Французская революція. Празднество въ честь установления федеративной республики въ Парижѣ, на площади Бастилии. Де-ла-Шарлер.—Смерть Марата. Фламенгъ. „Рѣт-Дюшесн“—одинъ изъ журналовъ революціонной Франціи, издававшій „Эберомъ“.—„Le vœu Cordelier“—одинъ изъ журналовъ революціонной Франціи, редактированный Камилломъ Дэмуреномъ.—Камилла Дэмуренъ, первый журналъ великой французской революціи.—Люсиль Дэмуренъ, жена

Издатель Т-во А. Ф. Марксъ.

Редакторъ И. М. Желѣзновъ.

ЖУРНАЛ

1918 г.

XLIX г.

издания.

№ 35.

Выходит еженедельно (52 № в годъ), съ приложениемъ 52 книжъ „Сборника“, содержащихъ сочиненія А. И. ГЕРЦЕНА, М. ГОРЬКАГО, В. Г. КОРОЛЕНКО, П. БЕРАНЖЕ и Н. И. КАРБЕВА („Великая Французская Революція“).

Выданъ 31 августа 1918 г. Подписанная цѣна съ дост. и перес. на годъ — 38 р., на 1/2 г. — 18 р., на 1/4 г. — 9 р. Цѣна этого № (безъ прилож.) — 49 к., съ перес. 50 ч.

Главная Контора и Редакція: Петроградъ, улица Гоголя, № 22.

Перепечатка иллюстрации и текста воспрещается. (Законъ 20-го марта 1911 г.).

Журналисты великой французской революціи.

Очеркъ В. М. Дорошевича.

(Окончаніе).

Передо мною книга:

— Объ уголовныхъ наказаніяхъ.

Перечисливъ различные роды наказанія, авторъ говоритъ:

„Остается сказать о высшемъ наказаніи. Но вся моя природа волить отъ ужаса. Сердце мое скимается. И перо падаетъ изъ рукъ.“

Что это за авторъ, который даже не рѣшаются произнести словъ: „Смертная казнь“?

Авторъ книги — Жанъ-Поль Маратъ.

Книга издана въ 1790 г. Въ 1790 г. онъ не можетъ произнести даже словъ „Смертная казнь“. А въ 1793 г. онъ потребуетъ 270 тысячъ головъ. Какой, съ Божьей помощью, поворотъ въ мысляхъ! Какой прогрессъ!

Его полный титулъ, какъ онъ самъ себя называетъ:

— Филантропъ Жанъ-Поль Маратъ, другъ народа, докторъ и философъ.

Изъ всѣхъ этихъ эпитетовъ въсъ, конечно, поразить „филантропъ“. Но все нужно рассматривать въ рамкахъ той эпохи, въ которую происходитъ дѣйствие. Бывають эпохи, когда отъ слова „филантропъ“ морозъ пробѣгає по кожѣ. Докторъ Гюллотэнъ, отецъ гильотины, былъ извѣстенъ, какъ „филантропъ“. Его иначе не звали. Это былъ нашъ докторъ Гаазъ, только XVIII вѣка. Ужасы прежней казни, „варварское“ отрублѣніе головы мечомъ, когда палачъ, слушалось, рубилъ голову только съ двухъ, трехъ ударовъ, ужасы колесованія, разрываніе человѣка на части при помощи четырехъ лошадей, — онъ замѣнилъ казнью быстрой, наименѣе мучительной, „едкой и равной для всѣхъ“, при помощи изобрѣтенной имъ машины. И современники съ восторгомъ утвердили за добрымъ и жалостливымъ докторомъ титулъ филантропа. Да и кандалы, которые еще такъ недавно насы ужасали, — вѣдь это были кандалы изобрѣтения святого доктора Гааза, „облегченные гаазовскіе кандалы“, которыми онъ, — и съ такимъ трудомъ, — замѣнилъ прежніе, тяжелыми желѣзными прутами соединенные съ кандалами сосѣда. Вы читали у А. Ф. Кони, какъ добрый док-

торъ Гаазъ самъ носилъ, въ видѣ опыта, свои филантропическіе „облегченные кандалы“. И то, что приводило въ ужасъ насы, еще нашимъ дѣдамъ, даже отцамъ казалось ужасно филантропичнымъ. Все относительно въ этомъ мірѣ.



Апоѳеозъ свободы. Торжество истины и разума.



Маратъ

Какое зловѣщее имя, Маратъ! Говорить о Маратѣ—это говорить объ осужденномъ. Ипполит Тэнъ, этотъ прокуроръ великой революціи, вталивааетъ его имя въ грязь:

— Онъ граничитъ съ безуміемъ. И мы находимъ у него всѣ типичныя черты сумасшествія: бѣщенуя экзальтацию. Непрерывное возбужденіе. Безсознательный автоматизмъ мысли подъ влияниемъ навязчивыхъ идей. Всѣ чисто-физические симптомы душевно-больного: безсонницу, свинцовыя цвѣты лица, постоянное лихорадочное состояніе, отвратительную нечистоплотность. Физически это какой-то недоносокъ, выкидышъ. Умственно—это вѣчный претендентъ. Претендентъ на самую крупную роль. Освистанный писатель. Сомнительный ученьи. Философъ, никому неизвѣстный. Публицистъ третьаго сорта. Претендентъ на знаменитость, на всевозможныя почести, — кандидатъ вѣчный на все и вѣчно неудачный. Лишенный таланта, неспособный къ критикѣ, ничтожный умъ. Разница между его амбиціей и его способностями слишкомъ велика.

И даже Мишлэ, адвокатъ великой французской революціи, ея пѣвецъ, не находить добра слова для Марата.

— Да, сумасшедшій...

Но съ тѣхъ поръ прошло много времени, а время несетъ за собой открытия и справедливость. За это время найдена и опубликована полностью переписка Марата, неизвѣстная въ ихъ времія ни Тэну ни Мишлэ.

Одна изъ наиболѣе помѣшанныхъ на справедливости литературы—руссская литература. И въ ней появилась маленькая,—въ десять страницъ,—брошюра покойнаго профессора В. В. Подвысоцкаго, большого ученыаго, котораго Мечниковъ считалъ не только талантливымъ, но, быть-можетъ, гениальнымъ. Познакомившись съ ученою дѣятельностью доктора Марата, Подвысоцкій приходитъ къ убѣждению, что это было далеко не ничтожество.

— На основаніи всѣхъ данныхъ, раскрывающихся намъ теперь,—говорить Подвысоцкій,—можно съ увѣренностью утверждать, что, не понаиди Маратъ въ революціонный потокъ, изъ него образовался бы блестящій ученьи, съ именемъ котораго было бы связано не мало великихъ научныхъ пріобрѣтений.

И если мы внимательно и безпристрастно сѣйчасъ посмотримъ на то, что мы знаемъ объ ученыхъ трудахъ Марата, мы увидимъ, что Подвысоцкій болѣе правъ, чѣмъ Тэнъ.

Авторъ трудовъ объ электричествѣ, объ огнѣ, о свѣтѣ, объ оптицѣ,—вовсе не разбрасывающееся претенціозное ничтожество.

Правда, надъ нимъ посмѣялся Вольтеръ, но врядъ линичтожству Вольтеръ даже удѣлилъ бы вниманіе.

Врядъ ли, прежде всего, Маратъ ужъ такой плохой докторъ. Герцогъ Д'Артуа беретъ его своимъ придворнымъ врачомъ. А врядъ ли герцогъ Д'Артуа сталъ бы вѣбрать свою драгоценную жизнь какому-нибудь плохонькому дѣтишку. У Марата огромная аристократическая практика, и онъ очень извѣстенъ, какъ знающій и искусный врачъ.

Его опытами по электричеству интересуется самъ Франклінъ. Мы имѣемъ два письма Франкліна, бывшаго въ 1782 г. въ Парижѣ, въ которыхъ онъ выражаетъ свой огромный интересъ къ опытамъ Марата.

Журналъ „Le Courrier de l'Europe“, отъ 15-го марта 1782 г., говорить о немъ:

— Monsieur Маратъ, которому физика уже обязана многими крушными открытиями, совершає тенерь не воротъ въ области электричества, какъ онъ уже раньше создалъ переворотъ въ области оптики.

„Journal de Paris“ 1779 г. пишеть:

— Открытия г. Марата относительно огня несомнѣнно такого рода, что создадутъ эпоху въ исторіи знанія.

Одинъ изъ журналовъ такъ опредѣляетъ Марата:

— Если въ число оригинальныхъ авторовъ, ищущихъ новыхъ путей въ науки, слѣдуетъ включать только тѣхъ, кто, не обращая вниманія на опыты другихъ, идетъ самъ самостоятельнымъ путемъ къ источникамъ знанія и умѣеть бросить яркій свѣтъ въ самую темную неизвѣданную область,—то г. Маратъ несомнѣнно заслуживаетъ виднаго мѣста среди такихъ оригинальныхъ самостоятельныхъ ученыхъ. Въ частности, среди авторовъ, занимающихъ вопросомъ объ электричествѣ,—этой прекрасной отрасли физики,—если нужно особенно отличать тѣхъ, кто дѣлаетъ изъ этой области точную науку, умѣеть внести въ эту область ясность и сдѣлать ее полезной для нась,—то г. Маратъ, безъ сомнѣнія, долженъ занять мѣсто въ самыхъ первыхъ рядахъ.

И Маратъ ищеть, смѣло ищеть новыхъ путей въ науки. Въ XVIII вѣкѣ,—замѣтьте, въ XVIII вѣкѣ!—онъ въ медицинѣ выступаетъ ярымъ сторонникомъ экспериментального метода изслѣдований и занимается вивисекціей. Характерное занятіе для Марата!

Въ 1782 г. онъ пишеть своему другу, англійскому ученному мистеру Дэлі (Маратъ въ XVIII вѣкѣ—французъ, отлично владѣющій англійскимъ языкъ. Онъ докторъ медицины Эдинбургскаго университета). Я позволю себѣ не только процитировать это письмо, но прошу обратить на него особое вниманіе. Оно многое объяснитъ намъ въ Марата.

„Въ новой моей квартирѣ,—пишеть онъ,—я приспособилъ двѣ комнаты специально для производства вскрытій и хирургическихъ опытовъ надъ живыми животными. Чтобы стать хорошимъ хирургомъ и вообще правильно враачевать болѣзни, необходимо много упражняться въ вивисекціи и въ опытахъ надъ живыми животными. Я уговорился съ однимъ мясникомъ, который будетъ доставлять мнѣ живыхъ кроликовъ, овецъ, козъ и, если окажется нужнымъ, то и болѣе крупныхъ животныхъ. По мінованіи надобности и по окончаніи опыта, я ему буду возвращать убитое животное, при чемъ буду уплачивать лишь за испорченная во время вивисекціи части. Вы пишете, что не можете видѣть, какъ рѣжутъ невинныхъ животныхъ. Повѣрьте мнѣ, что мое сердце такъ же чувствительно, какъ и ваше, и я такъ же, какъ и вы, не нахожу удовольствія смотрѣть на страданія животныхъ. Но вѣдь невозможно понять тайнъ природы и постигнуть удивительныя свойства человѣческаго тѣла, если не углубиться въ самую сущ-

ность живой природы. Желая оказать много добра однімъ, приходится причинить нѣсколько зла другимъ, только такимъ образомъ можно сдѣлаться благодѣтелемъ человѣчества. Я никогда не могъ бы произвести вѣхъ своихъ наблюдений и открытій надъ мышцами и кровью, если бы не отрѣзаль головы и конечностей большому числу животныхъ. Долженъ признаться, что сначала мнѣ было больно это дѣлать, и я испытывалъ даже отвращеніе. Но я постепенно привыкъ къ этому и утѣшаю себя тѣмъ, что дѣствую такъ во имя блага человѣчества. Если вы долго проживете, то въ концѣ концовъ увидите, что изученіе медицины при помощи вивисекціи получить широкое распространеніе въ Англіи и Франціи".

И вотъ уже совсѣмъ маратовская мысль:

"Если бы я былъ законодателемъ, то насталъ бы, во имя блага моей родины и всего человѣчества, чтобы на преступникахъ, приговоренныхъ къ смертной казни, врачи производили трудные и новыя операциіи, и, въ случаѣ удавшейся операциіи, приговоренные къ смерти были бы помилованы или присуждены къ болѣе слабому наказанію".

Нѣть, этотъ человѣкъ, который самъ про себя пишетъ: „Рожденный съ душой воспримчивой, пламеннымъ воображеніемъ, съ пылкимъ характеромъ, прямой, упрямый, я былъ одаренъ сердцемъ, открытымъ для всѣхъ страстей, а главное, для любви къ славѣ. Съ самого ранняго дѣтства меня снѣдала любовь къ славѣ. Эта страсть мѣняла свой характеръ соотвѣтственно различнымъ возрастамъ, но ни на мгновеніе меня не покидала. Въ 5 лѣтъ я хотѣлъ быть школьнімъ учителемъ, въ 15 — профессоромъ, въ 18 лѣтъ — писателемъ, въ 20 — геніальнымъ изобрѣтателемъ, какъ сейчасъ хочу одні го — погибнуть за отечество". Этотъ человѣкъ необычайного самомнѣнія, провозглашающій себя „врачомъ неизлѣчимыхъ болѣзней", „ученымъ, ниспровѣргающимъ всѣ существовавшіе до него авторитеты". Этотъ человѣкъ, похожий

на истеричную женщину. Одѣтый, „какъ грязный извозчикъ". Покрытый липаими. Больной какой-то загадочной болѣзнью, одни говорятъ — проказой, другіе — люсомъ. Этотъ человѣкъ, отвратительный и ужасный, — все-таки не ничтожество.

Мы, журналисты, отмѣтимъ въ Маратѣ двѣ черты.

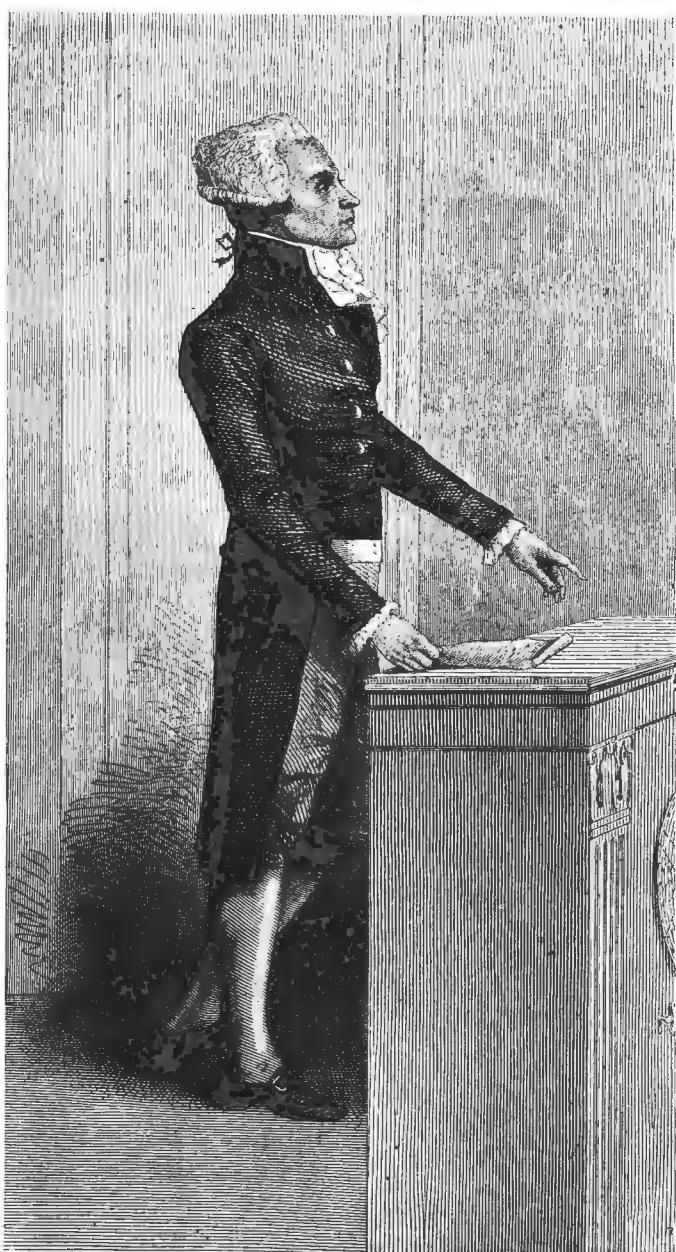
Маратъ подвергается за свои писанія преслѣдованіямъ.

Нѣдѣлями онъ долженъ прятаться въ квартирѣ у знакомой актрисы, — это бы еще ничего! — и мѣсяцами въ темномъ и сырьемъ погребѣ. И онъ не выпускаетъ пера изъ рукъ. Онъ пишетъ отъ строки до строки своей журналь. Пишетъ при свѣтѣ копытной масляной лампы. Пишетъ, когда письменнымъ столомъ ему служатъ колѣни. Онъ боленъ. У него мучительнѣйшая головная болѣ. Онъ „не можетъ дышать", если голова у него не повязана полотенцемъ, намоченнымъ въ уксусѣ. Единственное облегченіе отъ боли, отъ чесотки ему доставляютъ ванны. Но онъ продолжаетъ писать. Онъ не въ состояніи посѣщать Конвента. Но пера не бросаетъ. Онъ не въ силахъ писать статьи. Онъ наполняетъ свой журналъ только письмами въ редакцію и даетъ краткіе отвѣты на нихъ. Но онъ выпускаетъ ежедневно свой журналъ. И даже смерть застаетъ его за работой писателя и редактора. Когда Шарлотта Кордѣ входить, чтобы его убить, Маратъ сидитъ въ ваннѣ. По-перекъ ванны лежитъ доска, чтобы Маратъ могъ работать, и онъ готовить слѣдующій номеръ (см. рис. въ № 28, на стр. 434).

И когда въ похоронномъ шествіи, страшномъ, отвратительномъ, триумфальномъ и чудовищномъ, везутъ по Парижу на колесница разлагающійся трупъ Марата, съ нагримированнымъ лицомъ, — потому что тѣлѣнѣ уже исказило его, — съ открытой грудью, на которой зіяетъ рана, съ открытой изъ-подъ красного покрывала рукой, держащей желѣзное перо, въ этомъ ужасномъ карнавалѣ смерти эта подробность — заслуженная почесть. Его можно было хоронить съ желѣзнымъ перомъ въ рукѣ, — потому что этотъ журналистъ умеръ съ перомъ въ рукѣ.



Тріумфъ Марата. Толпа несетъ оправданного судомъ Марата изъ Революціоннаго Трибунала въ Конвентъ. Фламенгъ.



Робеспьеръ.

Мы не должны забывать еще одной черты.

Въ революционное время, когда столько народа готово половить рыбки въ мутной водѣ, когда Робеспьеру,—одному только Робеспьеру,—дается, какъ нѣчто необыкновенное, исключительное, титулъ „неподкупнаго“—Маратъ не имѣлъ возможности даже купить себѣ ванну. Онъ береть на прокатъ ванну поденоно у лавочника на углу. Онъ умеръ нищимъ. Можетъ ли быть лучший некрологъ для служителя прессы?

Это не ничтожество.

Это не садистъ, какъ полагали одни. Этотъ человѣкъ, который говорить, что ему „больно причинять страданія“.

Это не сумасшедшій, какъ думаютъ. Даже, когда онъ выкрикиваетъ въ 1791 г. сумасшедшія фразы:

— Шесть мѣсяцевъ тому назадъ требовалось всего 500-600 головъ, чтобы спасти васъ отъ гибели. Сейчасъ, когда вы, какъ дураки, дали возможность вашимъ врагамъ сговориться и организоваться въ огромную силу, потребуется отрубить, быть-можетъ, 5-6 тысячъ головъ. Но это ничего не значитъ! Хоть бы двадцать тысячъ, только не слѣдуетъ терять ни одного мгновенія!

Это не безуміе. Это послѣдовательность съ его стороны. Это его логика. Это послѣдовательно проведенная та же мысль, которая руководила имъ въ его опытахъ вивисекціи:

„Желая оказать много добра однимъ, приходится причинять нѣсколько зла другимъ“.

Это чрезвычайно способный, болѣзnenный, замученный физи-

ческими страданіями, озлобленный преслѣдованиемъ, заморенный лишеніями, съ огромнымъ самомнѣніемъ, прямолинейный фанатикъ,—какъ всѣ большие расовые революціонеры,—готовый приносить человѣческія жертвооприношенія, потому что:

„Только такимъ образомъ можно сдѣлаться благодѣтелемъ человѣчества“. Все же остальное—сентimentальность!

Это страшное явленіе, но это не ничтожество.

Мы не собираемся оправдывать Марата. Мы оправдываемъ то, что дорого намъ,—Парижъ и революцію.

Парижъ увлекался не ничтожествомъ.

А увлеченіе Марата не имѣло границъ. Когда его судили въ Революціонномъ Трибуналѣ и оправдали, его съ триумфомъ несли на рукахъ до Конвента. Въ письмахъ къ нему обращались не иначе, какъ „великій учитель“, „дорогой пророкъ“, „великій мудрецъ“. Когда онъ былъ убитъ, тѣло его было погребено въ Пантеонѣ (черезъ три мѣсяца выброшено). Сердце его, какъ сердца королей Франціи, было заключено въ вазу изъ одного цѣльнаго куска агата, украшенную драгоценными камнями. И ваза эта повышена подъ потолкомъ въ клубѣ Кордельѣ. На перекресткахъ Парижа красовались гипсовые бюсты Марата, „друга народа и отца отечества“. На одной изъ улицъ Парижа,—где аих Ours,—бюстомъ Марата была замѣнена статуя Мадонны. Марата звали не иначе, какъ „божественнымъ Маратомъ“. Ему была сочинена молитва, начинавшаяся словами: „О, святое сердце Иисуса! О, святое сердце Марата!“ Пушкинъ, говоря про Андрэ Шенье:

Онь пѣль Маратовымъ жрецамъ
Кинжалъ и дѣву Эвмениду—

быть только точень. У Марата были свои жрецы. Культь и идолы.

Женщины носили брошки съ портретомъ Марата, мужчины—булавки. Театры давали десятки пьесъ на „Смерть Марата“. Болѣе ста городовъ Франціи „посвятили себя“ Марату и прибавили къ своимъ названіямъ имя Марата. Дѣти давали имена „Санкюлотъ-Маратъ“. Марату посвящали дѣти. Одна мать писала въ Конвентъ: „Мы съ мужемъ поклялись вырастить столько Маратовъ, сколько у насъ будетъ дѣтей. Евангеліемъ для нихъ будетъ служить собрание сочиненій этого великаго человѣка“. Одинъ патріотъ приносить въ клубѣ Кордельѣ ребенка. Президентъ береть его на руки, пѣлуетъ и передаетъ четыремъ молодымъ дѣвушкамъ, одѣтымъ въ блѣло. Его завертываютъ въ трехцвѣтное знамя. Два республиканскихъ священника, женатыхъ и присягнувшихъ республикѣ, крестятъ его во имя Высшаго Существа и Свободы. Ребенку даютъ имя Брутъ-Маратъ. На „площади Пико“ (Вандомской площади) „юные гражданки“, изъ которыхъ старшей было 8-9 лѣтъ, читали стихи въ честь Марата. Всѣ, кто ихъ слушалъ, были въ восторгѣ. Ихъ спрашивали: „Кто въсъ этому выучилъ?“—„Это нашъ папа“. Маленькие мальчики, зайдя имъ, говорили: „Мама, нась надо выучить говорить такъ же“. Марата „пѣли“ дѣти,—и маркизъ де-Садъ, освобожденный изъ Бастилии, какъ „политическій“ заключенный, посвящалъ бюсту Марата стихи:

— О, единственный дорогой идолъ истиннаго республиканца!
Твое изображеніе, Маратъ, служить намъ утѣшніемъ въ горѣ.
Кто чтить великаго человѣка,—слѣдуетъ его добродѣтелямъ.
Изъ праха Сцеволы родится Брутъ!

Въ Конвентъ было внесено предложеніе: пабальзамировать Марата и возить его по всей Франціи, по всѣмъ ея департаментамъ.

— Что говорю я!—воскликнулъ авторъ предложенія.—Возить по всему миру. Весь земной шаръ долженъ видѣть останки Марата.

Въ чёмъ же секретъ этого неслыханнаго успѣха, этого невѣроятнаго обаянія? Въ чёмъ сила Марата?

Очевидно въ томъ, что онъ и масса—одно. Онъ живеть одной жизнью съ толпою, съ націей. Онъ, который объявлялъ, что, „если бы Людовика XVI не было, его надо было бы выдумать“, въ то время, какъ толпа, нація называла Людовика „горячо любимымъ“ и вѣрила ему и въ него,—онъ пережилъ вмѣстѣ съ толпой, съ націей всю эволюцію вѣтво—до террора. Онъ вмѣстѣ съ толпой, съ націей вѣрить въ революціонныхъ вождей. Вмѣстѣ съ ней дошелъ до того, что пересталъ вѣрить кому бы то ни было. Онъ—воплощеніе террора. Какъ масса, онъ дрожитъ и заставляетъ

дрожать. Какъ мъ съсъ онъ всюду видѣть козни, заговоры, контрреволюционеровъ, предателей, продажныхъ людей, готовыхъ каждого и всякаго отправить на эшафотъ.

Читатель, охваченный этой мучительной манией преслѣдованія, этимъ массовымъ безуміемъ, которое называется терроромъ, прочитавъ „Друга Народа“, можетъ только воскликнуть:

— Слово въ слово то, что думаю я!

Въ этомъ спла Марата.

Вотъ образчикъ его стиля:

„Смертный союзъ парижанъ“. Граждане. Я говорю вамъ въ послѣдній разъ. Если сегодня же вы не назначите диктатора. Не какого-нибудь лицемѣра, лизоблюда, замаскированного лакея старого режима, — но человѣка народа, кого-нибудь изъвестнаго своимъ знаніями, своей предусмотрительностью, своей преданностью отечеству, своей твердостью въ трудныя времена. (Вспомните самомнѣніе Марата, — вы узнастѣ, чей портретъ онъ рисуетъ). Если вы его не назначите, дабы онъ шель во главѣ васъ и указывалъ вамъ измѣнниковъ, которыхъ надо истребить, — ваша гибель обезпечена, и я больше ничего не имѣю вамъ сказать. Въ ожиданіи, пока вы меня своейничѣмъ непобѣдимой анатией доведете до молчанія, я чувствую, что мои внутренности разрываются отъ горя, и мое рвение о вашемъ спасеніи заставляетъ меня сѣдѣть послѣднѣе усиливъ васъ спасти. Несчастный народъ! Национальное Собрание, главный штабъ, муниципалитетъ, министры — тебя продаютъ и предаютъ, а ты спиши спокойно! Спиши, положивъ голову на грудь этимъ предателямъ! Словно ты далъ обѣтъ не выйти изъ этой летаргіи, какъ только въ тотъ моментъ, когда съ тебя станутъ сдирать кожу. Да проснитесь же отъ вашей летаргіи, граждане, трусливые, подлые и глупые! Хватайтесь за оружіе! Пусть каждый, кто въ состояніи носить оружіе, силой вырвѣтъ его у муниципалитета, — и бѣгите занимать посты на 5 — 6 лье вокругъ столицы. Чтобы остановить врага. Не ждите, чтобы онъ приблизился къ вашимъ стѣнамъ, чтобы онъ занялъ высоты, командающія надъ городомъ, установилъ тамъ свои батареи, чтобы калеными ядрами разрушить ваши дома и похоронить васъ подъ пылающими развалинами, если вы не сдадитесь на милость побѣдителя!“

Такъ пишетъ онъ самъ. Но одинъ изъ главнѣйшихъ отдельовъ его журнала — это письма въ редакцію и его отвѣты на нихъ.

„Другу Народа“, во имя „общественного блага“, можно писать все. Онъ все напечатаетъ.

Какой-то субъектъ сообщаетъ ему о заговорѣ аристократовъ и сознается, что самъ принималъ въ этомъ заговорѣ участіе, чтобы „лучше все иронюхать“. Другой редакторъ, скептикъ, бросить такое письмо съ презрѣніемъ въ корзинку. „Друга Народа“ его напечатаетъ съ примѣчаніемъ, что онъ:

— Поздравляетъ автора. Его доносъ — заслуга передъ отечествомъ. Противъ аристократовъ дозволено все, и, принимая на себя видъ заговорщика, гражданинъ только приноситъ себя въ жертву отечеству.

Кто-то жалуется ему, что его ограбили ночью на улицѣ:

— Увѣдомьте, пожалуйста, отѣхъ опасностій, которыя грозятъ по ночамъ проходящимъ въ нашемъ кварталѣ Ville Juive. Пятнадцатаго настоящаго мѣсяца я былъ остановленъ около улицы Бисетръ пѣстю разбойниками, которые объявили, что убить меня, если я скажу хоть слово. Они отняли у меня 18 ливровъ, носовой платокъ и галстукъ. Это почти все, чѣмъ я обладаю для себя и для своихъ дѣтей. Я съзко-помилъ эти деньги въ теченіе двухъ

недѣль, и вотъ сейчасъ я доведенъ до полнаго отчаянія. Делэтръ, столяръ.

Маратъ отвѣчаетъ такъ, что это можетъ дать полное удовлетвореніе и доставить полное удовольствіе и ограбленному и всей публикѣ:

— Если бы тѣ, кому о семъ вѣдать надлежитъ въ кварталѣ Ville Juive, не дрыхли и не жрали бы на общественный счетъ, вместо того, чтобы думать о безопасности гражданъ, — кварталъ Ville Juive не бытъ бы перенаполненъ грабителями, и гражданинъ Делэтръ съ дѣтьми не бытъ бы лишенъ послѣднаго достоянія. Если бы у насъ была справедливость, — то тѣ, въ чьемъ вѣдѣніи находится безопасность квартала Ville Juive, должны бытъ бы изъ своего кармана заплатить гражданину его убытки

Кто-то сообщаетъ Марату сплетню:

— Апостолъ свободы, защитникъ отечества, доведите до свѣдѣнія публики, что нѣкто ля-Флессель, служащий у директора монетнаго двора Куто на жалованы въ 5 тысячъ ливровъ, живеть, какъ принцъ, и тратить въ годъ по 40 тысячъ на квартиру, столъ и лошадей. Да еще откладываетъ каждый годъ по 50 тысячъ, а на-дняхъ кушать себѣ дачу въ 75 тысячъ. Замѣтьте, что этотъ Флессель сынъ извозчика и женатъ на дочери маляра, которая не принесла ему ни сантима. Это не мѣшаетъ ей тратить на туалеты по 10 тысячъ ливровъ, хотя она и получила въ приданое всего двѣ рубашки и одну полотняную юбку. Этотъ Флессель въ послѣднѣе время занимаетъ деньги, гдѣ только можетъ, по 15%. Ясно, что онъ собирается удрать за границу. Онъ живеть на гнѣ Basse № 18. Я хотѣлъ бы, чтобы вы предложили нашимъ „дамамъ рынка“ обратить на эту парочку вниманіе, слѣдить за ними хорошенъко и арестовать, если они вздумаютъ скрыться. Подписано: Б.

Парижъ въ это время страдаетъ перепроизводствомъ денежныхъ знаковъ и страхомъ паденія цѣнностей денегъ. Маратъ снабжаетъ письмо примѣчаніемъ:

— Нѣтъ ничего удивительнаго, что Флессель и его супруга дѣлаютъ такія траты и такія сбереженія. Вѣдь онъ служитъ на монетномъ дворѣ! Онъ свидѣтель того грабежа, который тамъ происходитъ съ печатаниемъ денегъ! Ясно, что Куто, у которого въ рукахъ клише для печатанія ассигнацій, время отъ времени даетъ ему нѣсколько тысячъ, чтобы замазать ротъ. Что же удивительно?



Свобода печати.

Современная цветная литография.

вительного, если мы такимъ образомъ дойдемъ до полнаго банкротства?!

Прослѣдимъ судьбу этого Флесселя. Первое письмо напечатано 31-го мая; 5-го июня появляется второе:

— Секретарь Флесселя, увидавъ своего патрона пропечатаннымъ въ вашей газетѣ, мечеть громы и молни. Онъ говорить, что въсъ надо хватить полѣномъ по головѣ за то, что вы такимъ образомъ отзываетесь о порядочныхъ людяхъ, и собирается вамъ писать, чтобы вы назвали имя доносчика. Увѣдомляя васъ, что Флессель и его жена собираются уѣхать на-дняхъ. Не знаю куда. Я видѣль, какъ укладывали чемоданы этой ничтожной высокочки, которая корчитъ изъ себѣ герцогиню. Я былъ скандализированъ ея гардеробомъ, а въ особенности ея бѣльемъ. Я видѣль несолько дюжинъ батистовыхъ рубашекъ, обшитыхъ великолѣпными кружеvами, точно также, какъ несолько дюжинъ панталонъ самаго кокетливаго характера!.. Ея горничная говорила мнѣ, что Флесселиха старается подражать бывшей королевѣ!.. Подумайте, — дочь маляра, сноха какого-то извозчика! Судите, какой же долженъ происходить грабежъ на монетномъ дворѣ! Вѣдь всѣ эти чудесныи вещи куплены на тѣ клочки бумаги, клише для которыхъ находятся въ рукахъ у патрона Флесселя. Подпись: Б. Р. С. Фонтэнъ, секретарь Флесселя, такъ горячо его защищаетъ, что я думаю, что онъ тоже его сообщникъ по расхищению ассигнаций.

Письма возымѣли свое дѣйствие.

20-го июня толь же Б. сообщаетъ въ газетѣ Марата въ письмѣ къ „другу города“:

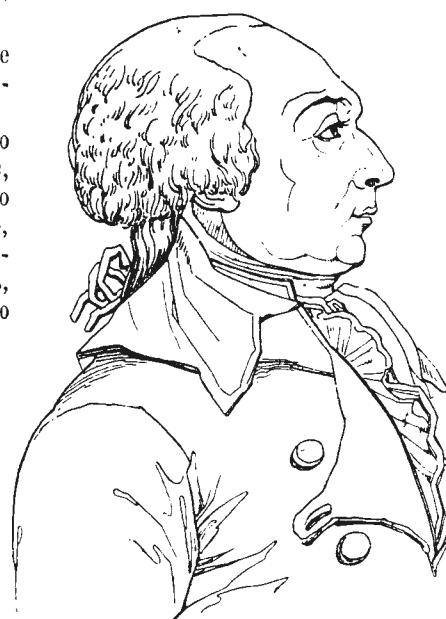
— Флессель и его жена, прочитавъ доносы въ вашемъ листкѣ, испугались, чтобы народу не вздумалось произвести у нихъ обыскъ и пощупать его бумажникъ съ крадеными ассигнациями. Они раннимъ утромъ вывезли всѣ бумаги, серебро, деньги и все цѣнное къ себѣ на дачу, гдѣ у нихъ собирается много гостей, и гдѣ они находятся и сейчасъ.

Конецъ этихъ писемъ?

Имена Флесселя и его жены мы найдемъ въ спискѣ казненныхъ во время террора. Вотъ куда ведутъ письма въ редакцію „Друга Народа“.

Предь Маратомъ дрожать, какъ предь терроромъ, какъ предь разъяренной толпой. Онъ не стѣсняется, — не стѣсняется, какъ толпа въ своихъ обвиненіяхъ, въ своихъ характеристикахъ.

Ему не нравится кто-то изъ избирателей, и онъ даетъ ему такую характеристику:



Жакъ-Ренэ Эберъ („Père-Duchesne“).

— Камбрэ, живеть на улицѣ Маромеиль, аристократъ по убѣжденіямъ и очень покладистый супругъ: его жена живеть съ однимъ актеромъ Французскаго театра съ его вѣдома и согласія.

Для него, какъ для толпы, нѣть никакихъ условностей. Онъ пишеть „прямо“, что толпа въ немъ и пѣнть. Фанатизмъ, съ которымъ онъ преслѣдуєтъ неугодныхъ людей, доходитъ до смѣшного.

Что сказать про Гудона, знаменитаго Гудона?

— Гудонъ. Скульпторъ. Большой аристократъ и сторонникъ аристократовъ. Сдѣлалъ несолько бюстовъ Байи, которому онъ по низости и изъ лести всегда уменьшаль его длинный носъ.

Маратъ — воображеніе толпы, полной ужаса, подозрительности и жестокости. Онъ — фанатикъ, какъ фанатична толпа.

Въ музѣ Карнавала вы можете видѣть ужасный трупъ этого страшнаго человѣка. Это картина Давида, великаго Давида, одного изъ основателей клуба якобинцевъ, декоратора всѣхъ революціонныхъ праздниковъ. (Впослѣдствіи онъ будеть писать коронованіе Наполеона). Давидъ писалъ этотъ зеленѣющій трупъ ночью, когда на улицѣ передъ домомъ Марата ревѣла толпа. И спѣшилъ писать. Трупъ быстро разлагался. Была сильная гроза.

Страшная гроза разразилась и въ тотъ день, когда Шарлотту Кордз везли на эшафотъ въ красной рубашкѣ, какъ казнили только отцеубийцъ.

Лѣто террора было жаркое и грозовое лѣто.

Если кто-нибудь видѣль смертную казнь во Франціи, онъ до конца своей жизни не забудеть этого страшнаго момента, когда среди брезжущаго разсвѣта отворяется дверь тюрьмы и въ группѣ людей, подталкиваемой ими, появляется связанный человѣкъ съ обнаженной шеей, съ вырѣзаннымъ воротомъ рубахи. Напрасно передъ нимъ стоять священникъ, стараясь высоко поднятымъ крестомъ заслонить отъ него гильотину. Взглядъ человѣка прикованъ къ ея ножу, ничего не видѣть кроме этого ножа. Ударяютъ барабаны. Солдаты беруть на караулъ. Окружающіе снимаютъ шляпы.

— Ея величество Смерть.

И представьте себѣ, что въ эту минуту въ толпѣ нашелся бы хулиганъ, который, смеясь, крикнулъ бы:

— А! Рыло! Ну-ка загляни въ окошечко гильотины! Что видишь? Небо въ овчинку показалось?

Эту роль въ революціонной печати игралъ Жакъ-Ренэ Эберъ.

122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
8010
8011
8012
8013
8014
8015
8016
8017
8018
8019
8020
8021
8022
8023
8024
8025
8026
8027
8028
8029
8030
8031
8032
8033
8034
8035
8036
8037
8038
8039
8040
8041
8042
8043
8044
8045
8046
8047
8048
8049
8050
8051
8052
8053
8054
8055
8056
8057
8058
8059
8060
8061
8062
8063
8064
8065
8066
8067
8068
8069
8070
8071
8072
8073
8074
8075
8076
8077
8078
8079
8080
8081
8082
8083
8084
8085
8086
8087
8088
8089
8090
8091
8092
8093
8094
8095
8096
8097
8098
8099
80100
80101
80102
80103
80104
80105
80106
80107
80108
80109
80110
80111
80112
80113
80114
80115
80116
80117
80118
80119
80120
80121
80122
80123
80124
80125
80126
80127
80128
80129
80130
80131
80132
80133
80134
80135
80136
80137
80138
80139
80140
80141
80142
80143
80144
80145
80146
80147
80148
80149
80150
80151
80152
80153
80154
80155
80156
80157
80158
80159
80160
80161
80162
80163
80164
80165
80166
80167
80168
80169
80170
80171
80172
80173
80174
80175
80176
80177
80178
80179
80180
80181
80182
80183
80184
80185
80186
80187
80188
80189
80190
80191
80192
80193
80194
80195
80196
80197
80198
80199
80200
80201
80202
80203
80204
80205
80206
80207
80208
80209
80210
80211
80212
80213
80214
80215
80216
80217
80218
80219
80220
80221
80222
80223
80224
80225
80226
80227
80228
80229
80230
80231
80232
80233
80234
80235
80236
80237
80238
80239
80240
80241
80242
80243
80244
80245
80246
80247
80248
80249
80250
80251
80252
80253
80254
80255
80256
80257
80258
80259
80260
80261
80262
80263
80264
80265
80266
80267
80268
80269
80270
80271
80272
80273
80274
80275
80276
80277
80278
80279
80280
80281
80282
80283
80284
80285
80286
80287
80288
80289
80290
80291
80292
80293
80294
80295
80296
80297
80298
80299
80300
80301
80302
80303
80304
80305
80306
80307
80308
80309
80310
80311
80312
80313
80314
80315
80316
80317
80318
80319
80320
80321
80322
80323
80324
80325
80326
80327
80328
80329
80330
80331
80332
80333
80334
80335
80336
80337
80338
80339
80340
80341
80342
80343
80344
80345
80346
80347
80348
80349
80350
80351
80352
80353
80354
80355
80356
80357
80358
80359
80360
80361
80362
80363
80364
80365
80366
80367
80368
80369
80370
80371
80372
80373
80374
80375
80376
80377
80378
80379
80380
80381
80382
80383
80384
80385
80386
80387
80388
80389
80390
80391
80392
80393
80394
80395
80396
80397
80398
80399
80400
80401
80402
80403
80404
80405
80406
80407
80408
80409
80410
80411
80412
80413
80414
80415
80416
80417
80418
80419
80420
80421
80422
80423
80424
80425
80426
80427
80428
80429
80430
80431
80432
80433
80434
80435
80436
80437
80438
80439
80440
80441
80442
80443
80444
80445
80446
80447
80448
80449
80450
80451
80452
80453
80454
80455
80456
80457
80458
80459
80460
80461
80462
80463
80464
80465
80466
80467
80468
80469
80470
80471
80472
80473
80474
80475
80476
80477
80478
80479
80480
80481
80482
80483
80484
80485
80486
80487
80488
80489
80490
80491
80492
80493
80494
80495
80496
80497
80498
80499
80500
80501
80502
80503
80504
80505
80506
80507
80508
80509
80510
80511
80512
80513
80514
80515
80516
80517
80518
80519
80520
80521
80522
80523
80524
80525
80526
80527
80528
80529
80530
80531
80532
80533
80534
80535
80536
80537
80538
80539
80540
80541
80542
80543
80544
80545
80546
80547
80548
80549
80550
80551
80552
80553
80554
80555
80556
80557
80558
80559
80560
80561
80562
80563
80564
80565
80566
80567
80568
80569
80570
80571
80572
80573
80574
80575
80576
80577
80578
80579
80580
80581
80582
80583
80584
80585
80586
80587
80588
80589
80590
80591
80592
80593
80594
80595
80596
80597
80598
80599
80600
80601
80602
80603
80604
80605
80606
80607
80608
80609
80610
80611
80612
80613
80614
80615
80616
80617
80618
80619
80620
80621
80622
80623
80624
80625
80626
80627
80628
80629
80630
80631
80632
80633
80634
80635
80636
80637
80638
80639
80640
80641
80642
80643
80644
80

Среди помощниковъ палача Сансона появился шутъ, по имени Легро, бывшій плотникъ. Казни проходили монотонно. Однихъ, какъ Марію-Антуанетту, вносили на эшафотъ полумертвыми. Другие, какъ графиня Дю-Барри, кричали: „Еще секундочку, г. палачъ, еще секундочку!“ Третыи, какъ Анахарсис Клоссъ, „трибунъ рода человѣческаго“, „личный врагъ Бога“, входили гордо и умирали съ крикомъ: „да здравствуетъ единая республика всѣхъ народовъ!“ Четвертые, какъ жирондисты, умирали, пѣли Марсельезу. Но все это стало толпѣ прѣдаться. Легро рѣшилъ, что надо оживить казни. Сдѣлать зрѣлице повеселѣе. Онъ сталъ шутомъ гильотины. Онъ ломался, коверкался на подмосткахъ, облитыхъ человѣческой кровью. Гrimасничаль, острѣль, насмѣхался надъ людьми, лежавшими уже на плахѣ, въ ожиданіи удара. Онъ сдѣлался любимцемъ толпы, любимцемъ этихъ „фурій гильотинъ“, которыхъ съ самаго ранняго утра дежурили на лѣстницѣ „Дворца Правосудія“, ожидая, когда изъ находящейся рядомъ тюрьмы Консьєржери повезутъ телы осужденныхъ на казнь. Это онъ, Легро, когда отрубили голову Шарлоттѣ Кордѣ, схватилъ за волосы эту милую голову, поднялъ ее, развернулся и далъ ей пощечину. И тутъ же создалась легенда. Всѣ видѣли, — всѣ, своими глазами! — что щека Шарлотты Кордѣ покраснѣла.

То амплуа, которое занималъ на эшафотѣ Легро, въ революціонной прессѣ избралъ себѣ Эберъ, издатель „Рѣг-Дюшн“.

Онъ издѣвался надъ привлеченными, надъ осужденными, надъ казнеными, надъ казненными. — „Лизаль кровь“, какъ заклеймилъ его Камиль Дэмурленъ. И требовалъ казней, казней еще и еще.

Онъ былъ извѣстенъ, весь Парижъ его зналъ не иначе, какъ его псевдонимомъ „пэръ-Дюшнъ“. Обыкновенно его памфлеты, написанные въ формѣ фельтона, назывались „Les colères du rѣg-Dechesne“. Чтобы передать не букву, а смыслъ этого названія, его лучше перевести такъ: „Ворчанье куманка Дюшнъ“. Эти фельтоны-памфлеты писались отъ имени Дюшнъ, печника и трубочиста, который, хлопнувъ стаканчикъ-другой винца, закуривъ трубочку и начиналъ разсуждать на злобы дна, ругаться по поводу текущихъ дѣлъ.

Какъ это ни странно, но мы имѣли журналъ „пэръ-Дюшнъ“ у насъ въ Россіи, и даже въ официальномъ изданіи! Это — растопчинская афиши двѣнадцатаго года. Несомнѣнно, что московскій генералъ-губернаторъ Растопчинъ, — отецъ будущей графини де-Сегюръ, извѣстной французской писательницы, — какъ всѣ аристократы того времени, гораздо лучше знакомый съ французской литературой, чѣмъ съ русской, ища популярной формы, копировалъ „пэръ-Дюшнъ“, когда начиналъ свои знаменитыя афиши такъ:

— Московскій мѣщанинъ, бывшій въ ратникахъ Корнюшка Чихиринъ, выпивъ лишній крючокъ, на тычкѣ услыхалъ, что будто Бонапартъ хочетъ ити въ Москву, разсердился и, разругавъ скверными словами всѣхъ французовъ, вышелъ изъ питейного дома, заговорилъ подъ Орломъ такъ...

Да вѣдь это обычное начало „пэръ-Дюшнъ“! Замѣните только французовъ „аристократами“ и Орла — трехцвѣтнымъ знаменемъ.

О, демагогія! До чего ты доводишь! Московскій генералъ-губернаторъ, обкрадывающій французского якобинца...

„Foutre“ — этимъ грязнымъ, невозможнымъ для перевода воскликаніемъ, которое даже Маратъ, не особенно стѣсняющейся въ выраженіяхъ, не рѣшается печатать цѣликомъ, а ограничивается только первой буквой и многоточиемъ, — этимъ выраженіемъ начинаются монологи „пэръ-Дюшнъ“.

Перевести 10—5 строкъ Дюшнъ цѣликомъ невозможно. Для этого надо опуститься на дно, это жаргонъ портерныхъ, кабаковъ, сутенеровъ, убийцъ и палацей. Кажется, какъ будто для такой публики и пишетъ „пэръ-Дюшнъ“, а онъ имѣеть огромный, колоссальный, не поддающейся описанію успѣхъ. Нѣкоторые изъ

нумеровъ „пэръ-Дюшнъ“ расходятся въ количествѣ 600 тысячъ экземпляровъ! Тиражъ неслыханный по тому времени.

„Пэръ-Дюшнъ“ — идолъ Парижа. Посмотрѣть на „пэръ-Дюшнъ“, — а онъ состоить совсѣмъ парижскаго муніципалитета — собираются толпы. Каждое его слово встрѣчается

громомъ аплодисментовъ. Таково безуміе террора. „Les dieux ont soif!“ — „Боги мучатся жаждой!“ — какъ опредѣляетъ терроръ поэтъ революціи, Камиль Дэмурленъ. И люди жаждутъ крови, и человѣкъ, „лизущій кровь“, — кумиръ этихъ охваченныхъ жаждой крови людей.

„Les colères du rѣg-Dechesne“ имѣютъ обыкновенно очень длинное заглавіе. Напримеръ:

— Торжественный визитъ „пэръ-Дюшнъ“ къ гражданкѣ Ролантъ въ тюрьму Ляббе, чтобы повытаскать ей всѣхъ червей изъ носу (узнать отъ нея всю подноготную) и раскрыть всѣ замыслы заговорщиковъ противъ республики. Его бесѣда съ этой старой беззубой тварью, которая разстегнулась передъ нимъ на всѣ пуговицы и открыла ему весь смрадъ контърреволюціонныхъ заговоровъ жирондистовъ, бриссонистовъ, бюозистовъ, петіонистовъ, въ связи съ замыслами разбойниковъ Вандейцевъ, а главное, мерзавцевъ-англичанъ.

„Пэръ-Дюшнъ“ умѣлъ оскорблять своихъ жертвъ.

Это благодаря ему madame Ролантъ выступила передъ Революціоннымъ Трибуналомъ съ распущенными волосами, золотымъ каскадомъ покрывающимъ ея плечи. Она опровергала этимъ „пэръ-Дюшнъ“.

Травя ее изъ нумера въ нумеръ, ведя ее на эшафотъ, „пэръ-Дюшнъ“увѣрялъ, что у нея не свои волосы. Madame Ролантъ, — эта „римлянка, переодѣтая парижанкой“ — знала, что голова ея должна пасть. Но она не хотѣла, чтобы думали, что у нея фальшивые волосы. Madame Ролантъ не защищалась на судѣ. Она обвиняла обвинителей. Она не спасала своей головы. Но волосы! Волосы у нея свои! И какіе...

Чтобы все-таки дать вѣкоторое понятіе объ языке „пэръ-Дюшнъ“, я — заранѣе извиняясь за грубости и непристойности — переведу отрывки изъ его profession de foi — исповѣданія вѣры, — опуская тѣ мѣста, которыя цитировать окончательно невозможно.

Онъ обращается къ клубу якобинцевъ, куда его допустили:

— Друзья и братья! Вы, конечно, кое-что слыхали обо мнѣ среди свѣтскихъ разговоровъ! Вы знаете мой патріотизмъ, мою честность и мой стиль. Я готовъ соединиться съ вами, чтобы ра-



Шарлотта Кордэ.

ботать вмѣстѣ на благо нашей страны и стереть въ порошокъ эту собаку - аристократію. Проклятая тварь еще достаточно сильна, но клянусь бородами тысячи Магометовъ! — удвоимъ наши усилия и разобъемъ ей рыло! Господа, вы сдѣлали много хорошаго, и нація цѣлуетъ вамъ руки. Но, toutge, вы были иногда слишкомъ трусами и прохвостами. Ваши языки бывали часто молчаливы, какъ моя постель, на которой жена моя ставитъ мнѣ рога. Вашъ патріотизмъ часто застывалъ, какъ страсть у женщины послѣ года замужества. Вы были снисходительны, чтобы чортъ побралъ меня вмѣстѣ съ вами! Ить, господа, сердце патріота не должно быть мягко, какъ грудь старой твари.

Стиль—это человѣкъ.

Мы познакомились со стилемъ. Теперь познакомимся съ человѣкомъ.

Насъ ждегъ сюрпризъ. Вмѣсто полупьяного трубочиста „пэръ-Дюшена“ мы встрѣтимъ представительнаго, — правда, очень маленькаго роста, — элегантнаго, почтеннаго буржуа. Красиваго малаго. Онъ со вкусомъ одѣтъ. Франтомъ. По тогдашней модѣ, у него по жилету нѣсколько дѣпочекъ и въ карманахъ нѣсколько часовъ. У него очень миленькая жена Франсуаза, которую онъ зоветъ Жакелинъ. Молодая и очень остроумная. Она ярая республиканка. А еще три года тому назадъ была монашенкой въ монастырѣ Святого Зачатія. Она на собранихъ проповѣдує женщинамъ равенство, ссылаясь на тексты Евангелія. И ея духовникъ не знаетъ духовной дочери, болѣе усердной къ церкви, и исповѣдницы, болѣе частой. Въ этомъ домѣ, тѣхъ хозяинъ борется съ „фанатизмомъ“, хозяйка—самая ревностная католичка.

У нея въ спальнѣ на самомъ видномъ мѣстѣ гравюра: „Иисусъ Христосъ, послѣ Воскресенія являющійся ученикамъ своимъ въ Эммаусѣ“.

А „пэръ-Дюшэнъ“, на всякий случай,—а вдругъ обыскъ, „ночной визитъ патріотовъ!“—на поляхъ гравюры написалъ:

— Санкюлотъ Иисусъ, ужинающій съ двумя учениками въ замкѣ бывшаго аристократа.

Общество, которое бываетъ у Эбера,—совсѣмъ не санкюлоты, далеко не санкюлоты! Это, по большей части, поставщики на казну, крупные спекулянты, съ которыми онъ поддерживаетъ какія-то сношения. Меча въ „Пэръ-Дюшэнѣ“ громы и молниі на голову спекулянтовъ, „агентовъ контръ-революціи“, которые „морить голодомъ революціонный Парижъ“, онъ проповѣдує, что нужно отказывать себѣ во всемъ ради блага отечества,—и въ то время, какъ Парижъ, дѣйствительно, умираетъ съ голода, Эберъ даетъ превосходные, блестящіе обѣды, потому что любить поесть, любить пожить.

Этотъ ругатель въ печати — въ жизни человѣкъ мягкий, пріятный, обходительный, прямо очаровательный. Настоящій свѣтскій человѣкъ, какихъ онъ рекомендуетъ отправлять на гильотину.

Ему 37 лѣтъ. Онъ родился въ Алансонѣ въ 23 лѣтъ долженъ былъ оставить свой родной городъ. У него тамъ было судебное дѣло. Совсѣмъ не политическое. Далеко не политическое! Послѣ этого дѣла ему было неудобно вернуться къ себѣ на родину (онъ имѣлъ несчастье „столкнуться съ уголовнымъ судомъ“). Въ Парижѣ онъ былъ биллетеромъ въ театрѣ. Въ журналистику онъ пустился въ 1790 г., когда никто, кроме Камилла Дэмюлена и Дантона, не думалъ о республике. Онъ дебютировалъ памфле-



Madame Роланъ.

томъ съ энергичнымъ названіемъ „Стекла вдребезги“ и затѣмъ стала издавать „Пэръ-Дюшэнъ“. Онъ тогда не щелъ дальше конституціи! И въ своемъ „Пэръ-Дюшэнѣ“ со своей обычной грубоостью, со своими „foutre“ и „милліонами дьяволовъ“ называлъ короля „славнымъ малымъ“, королеву называлъ „штука съ умомъ и весьма любезной“, а маленькаго дофина—прелестнымъ карапузомъ.

По революції, разрастаясь въ ураганъ, уносилась все лѣвѣ и лѣвѣ, все быстрѣ и быстрѣ. И съ нею уносился Эберъ, стараясь быть впереди, стараясь быть якобинцемъ изъ якобинцевъ, террористомъ изъ террористовъ. Онъ напоминаетъ собаку, которая мчится за лошадью, стараясь ее обогнать, подпрыгнуть и укусить за морду. Въ этомъ стремлении обогнать революцію, обогнать всѣхъ и все онъ дошелъ до геркулесовыхъ столповъ.

Это Эбера удалось чудо—вызвать на моментъ сочувствіе даже къ ненавидимой всѣми Маріи-Антуанеттѣ, „австріячкѣ“, какъ звали ее народъ. Это Эберъ явился на судъ въ качествѣ свидѣтеля и бросилъ ей чудовищное обвиненіе:

— Однажды дофина, — заявилъ на судѣ Эберъ, — застали за тѣмъ, что онъ предавался извѣстному пороку. Мы спросили его: кто его

этому научилъ? Сынъ Капета отвѣтилъ, что его этому научила его мать. Я полагаю, — заключилъ Эберъ, — что это дѣжалось не изъ разврата, а по политическимъ соображеніямъ. Австріячка хотѣла извести дофина, погубить его, чтобы тронъ достался ей.

Вы помните, какъ отвѣтила на это подсудимая.

Она схватилась рукою за грудь, словно ее ударили въ сердце.

— Это чудовищно! Противъ этого протестуетъ природа матери. Я ссылаюсь на всѣхъ здѣсь, кто былъ матерью! Можно ли этому повѣрить?

Показаніе Эбера, вмѣсто сенсаціи, было встрѣчено ледянымъ молчаніемъ всего зала. Въ клубѣ якобинцевъ оно вызвало негодованіе. Максимиленъ Робеспьеръ съ презрѣніемъ отбросилъ это показаніе.

— Какъ глупо! Развѣ мало, что она была женой ничтожнаго Клавдія. Для чего ему потребовалось дѣлать изъ нея еще и Агриппину? — сказала, понюхавъ цвѣты, присланные одной изъ поклонницъ, „человѣкъ въ голубомъ фракѣ“, какъ тогда звали Робеспьера.

Неистовству Эбера не было границъ. Не было головы въ Конвентѣ, которой бы онъ не грозилъ. Онъ имѣлъ свою партію „эбертистовъ“, стоялъ во главѣ коммуны Парижа и именемъ ея требовалъ казней, казней и казней. Онъ всѣхъ обвинялъ въ предательствѣ, въ снисходительности къ контръ-революціонерамъ, въ измѣнѣ. Онъ грозилъ поднять восстаніе противъ Конвента. Развѣ онъ не идолъ, не кумиръ Парижа? Развѣ „Пэръ-Дюшэнъ“ не расходится въ 600 тысячахъ numerovъ? Онъ уже представлялъ опасность для Конвента,—и его схватили. Его и 17 человѣкъ съ нимъ. Ихъ обвиняли въ томъ, что они „получали деньги изъ-за границы“, въ томъ, что они „хотѣли заговоромъ погубить республику, поднять мятежъ, арестовать Конвентъ, раздѣлить между собой золотой фондъ государства“ и провозгласить какое-то регентство.

Президентъ Революціоннаго Трибунала, обращаясь къ подсудимымъ, перечислять ихъ „титулы“:

— Негодяи, разбойники, измѣнники, презрѣнныя орудія контръ-революцій, подлые души, убийцы, палачи, варвары, лице-

мъры, душители свободы, морильщики голодомъ, убийцы отцовъ отечества, жестокіе рабы, узурпаторы, агенты тирановъ, лакеи иностранцевъ, ложные патріоты, роялисты!

Въ такой обстановкѣ ихъ судили. Врядъ ли обвиненію кто-нибудь вѣрилъ. Но смертный приговоръ былъ извѣстенъ заранѣе. Не прошло получаса, какъ его произнесли, — а мальчишки по улицамъ уже неслись съ готовымъ, отпечатаннымъ офиціальнымъ листкомъ:

— Смертный приговоръ „пэръ-Дюшэнъ“, „Пэръ-Дюшэнъ“ взглянетъ въ окошечко святой гильотины. „Пэръ-Дюшэнъ“ побреютъ национальной бритвой.

Очевидно, — по тогдашнимъ типографскимъ условіямъ, — этотъ приговоръ былъ уже отпечатанъ заранѣе.

На безконечно длинной улицѣ Saint-Нопоге, по которой везли осужденныхъ изъ Консьержери на площадь Революціи, всѣ окна были заняты заранѣе. Всѣмъ хотѣлось посмотретьть, какъ будуть вести на казнь „пэръ-Дюшэнъ“. Улица была запружена народомъ. На площади была давка. Весь Парижъ въ этотъ день, 4-го жерминаля, 24-го марта 1794 г., пришелъ посмотретьть на казнь вчерашняго идола и кумира. Такъ тонуть боговъ. Въ толпѣ распѣвали только-что сочиненную пѣсеньку:

— А! Знаменитый писатель! А! Авторъ „шоберен“! А! Печникъ и трубочистъ! Развѣ ты не знаешь, что, если слишкомъ топить печку, то приходится въ концѣ концовъ высунуть носъ въ окошко!

Продавцы журналовъ нарасхватъ продавали изданную кѣмъ-то пародію на „пэръ-Дюшэнъ“: „Des colères du peuple“.— „Гнѣвъ народа противъ презрѣннаго „пэръ-Дюшэнъ“.

И толпа хохотала, читая всѣ эти „foutre“ и площадныя ругательства противъ „пэръ-Дюшэнъ“. Кто-то предложилъ устроить изъ этого шествія на казнь цѣлую карнавальную процесію. Впереди телѣги, на которой повезутъ Эбера, нести печку:

— Какъ же, — „пэръ-Дюшэнъ“ и безъ печки?!

И вотъ въ 4 часа яснаго, прозрачнаго весеннаго дня ворота Консьержери отворились, и показались страшныя повозки. На первой ѿхалъ Эберъ. Его встрѣтили гуканьемъ, криками, хохотомъ. Онъ былъ безъ кровинки въ лицѣ. Казалось, не понималъ, не видѣлъ, не сознавалъ, что происходитъ кругомъ.

Толпа была такъ велика, что телѣгамъ приходилось безпрестанно останавливаться и стоять по нѣскольку минутъ. Толпа кругомъ орала:

— Ну, что же, „пэръ-Дюшэнъ“?! Что же не закуриваешь своей трубочки?

— Онъ забылъ ее на печкѣ!

— Попроси у Сансона!

— Эй, „пэръ-Дюшэнъ“! Сегодня, наконецъ, и ты заглянешь въ окошечко гильотины! Расскажи намъ завтра въ своеѣ листкѣ, что ты тамъ увидишь?

Когда повозки поравнялись съ домомъ Дюплэ, на углу улицы Сентъ-ОНорэ и улицы Св. Флорентина, гдѣ жилъ Робеспьеръ, — раздался громъ аплодисментовъ, крики:

— Да здравствуетъ республика! Да здравствуетъ нація! Да здравствуетъ Робеспьеръ!

Это толпа благодарила Робеспьера за то, что онъ избавляетъ Парижъ отъ „пэръ-Дюшэнъ“.

Эбера должны были снять съ повозки. Онъ не держался на ногахъ. Его посадили около эшафота на мостовую. Какъ главный виновникъ „заговора“, онъ долженъ былъ быть казненъ послѣднимъ. Упало 16 головъ. Эберъ сидѣлъ, словно ничего не видя, ничего не понимая... Осталось двое: Анахарсисъ Клоссъ и Эберъ. Палачъ подошелъ: „очередь за вами“. Къ Эберу снова вернулось сознаніе:

— Нѣть еще! Рано! Рано! Я послѣдній!



Арестъ Шарлотты Кордэ, 13-го июля 1793 г.

Анахарсис Клоссъ спокойно поднялся на ступеньки эшафота. Эбера почти внесли.

Усталый Сансонъ стоялъ въ сторонѣ.

Казнить долженъ быть его помощникъ Легро, шутъ эшафота.

Два скомороха гильотины остались съ глаза на глазъ. Такая казнь! Это былъ бенефисъ Легро.

Голова Эбера была уже въ отверстии гильотины.

Толпа гоготала:

— Смотрите! „Пэръ-Дюшэнъ“ глядить въ окошечко!

Шутъ подмигнулъ и краснымъ фригийскимъ колпакомъ утеръ Эбера носъ.

Толпа была въ восторгѣ. Легро схватился за веревку, опустилъ ножъ гильотины... и вдругъ удержалъ его надъ самой шеей Эбера.

...И такъ до трехъ разъ. Подъ хохотъ, ревъ и гикъ толпы.

Пока, наконецъ, Сансонъ не кинулся, схватилъ веревку и опустилъ ножъ гильотины.

Раздался взрывъ аплодисментовъ.

Итакъ, передъ нами прошли журналисты великой французской революціи. Ея Патроклы и Терситы, герои и жертвы. Мы видѣли три типа журналистовъ революціи: ея энтузиаста и поэта, ея фанатика и ея прихвостни.

Но прежде, чѣмъ разстаться съ журналистами великой французской революціи, жаль было бы не упомянуть еще объ одномъ, маленькомъ тогдашнемъ журналистѣ. Но который сдѣлалъ потомъ очень большую карьеру. Правда, на другомъ поприщѣ.

Его аловѣщая тѣнь носится надъ всей великой французской революціей. Словно хищная птица надъ полемъ сраженья. Льется кровь, и когда бойцы падутъ въ смертномъ сѣ, хищникъ спустится на умолкшее поле,—и начнется его циркъ. Нѣть возможностей заняться исторіей великой французской революціи, чтобы всюду не натолкнуться на эту мрачную фигуру. Словно какой-то Спарафучиллъ, брави, бродить по темнымъ закоулкамъ и выглядываетъ изъ-за угла.

На самомъ дѣлѣ. 10-е августа 1792 г. Утро. На площади Людовика XV передъ Тюильрійскимъ дворцомъ возставшій народъ. Ворота Тюильрійскаго сада отворяются, и оттуда выходить национальная гвардія. Солдаты не желаютъ стрѣлять въ народъ. Участъ французской монархіи—и не одной только французской монархіи! — рѣшена. Оглушительные крики радости, торжества.

— Да здравствуетъ свобода!

Въ это время на углу гре Royale, ведущей отъ церкви Мадленъ къ площади Людовика XV,—тамъ, где сейчасъ помѣщается морское министерство (въ двухъ шагахъ отъ знаменитаго „Максима“) стоитъ небольшая кучка любопытныхъ. Среди нея молодой офицеръ, невысокаго роста, очень худой, въ сильно поношенномъ капитанскомъ мундирѣ, съ оливковымъ цвѣтомъ лица, длинными волосами, падающими до плечъ. Не французскій типъ. Онъ прозрительно смотрѣтъ на толпу, и у него срываются:

— Дали бы мнѣ пару пушекъ и батальонъ солдатъ, и я бы въдвѣ минуты разогналъ всю эту сволочь.

Этотъ человѣкъ носить имя, которое для французского уха звучитъ такъ же странно, какъ для насъ, напримѣръ, Экзакустодіантъ или Павликакій. Его зовутъ, какъ никого не зовутъ!.. Не Жантъ, не Жакъ, но Исидоръ На-по-ле-онъ. Drôle de nom! Забавное имя!



Капитанъ артиллеріи Наполеонъ Бонапартъ.

Его фамилія звучить для парижанъ такъ же странно, какъ вообще для сѣверянъ звучать южныя фамиліи. Какъ для насъ, напримѣръ, звучитъ фамилія Перерѣченко. Такая необыкновенная фамилія, что впослѣдствіи женщина, которая будетъ влюблена въ этого человѣка, долго будетъ колебаться, выйти ли ей за него замужъ.

— Подумайте! — будеть она жаловаться своему старому другу, всесильному покровителю и бывшему любовнику,—меня будуть звать гражданка Буона-Партэ. Развѣ бывають на свѣтѣ такія фамиліи?

Съ этимъ человѣкомъ мы встрѣчаемся утромъ 10-го августа 1792 г. на углу гре Royale и площади Революціи. Это начало террора. А вотъ его конецъ.

Страшные дни Термидора. Судить уже некогда. Обвиняемымъ просто дѣлаютъ перекличку, объявляютъ ихъ виѣ закона и везутъ charrette за charrette, телльгу за телльгой. Казни происходятъ даже и вечеромъ, при свѣтѣ факеловъ.

Кто попадетъ въ тюрьму по малѣшнему подозрѣнію,—для того одна дорога: на гильотину.

Въ тюрьмѣ Аббэи въ предсмертной тоскѣ томится нѣсколько женщинъ—„аристократокъ“. Были еще недавно счастливыя — и такія спокойныя!—времена. Утромъ рано не позовутъ, — значитъ цѣлый день жить. Еще одинъ день. А теперь! Могутъ явиться каждую минуту, даже передъ самыми вечеромъ. Жди каждую секунду. Одна изъ женщинъ, стоявшая у окна, съ негодованіемъ отходитъ:

— Какой негодяй!

— Что такое?

— Тамъ, на улицѣ. Какой-то негодяй. Еще издѣвается надъ нами. Смотрѣть въ окно, показывается, что намъ отрубятъ голову. Какая гнусность!

Но женщина—женщина и всегда любопытна. Другая изъ заключенныхъ съ тоскующимъ лицомъ подходитъ къ окну посмотретьъ. Смотрѣть внимательно. Что-то ее заинтересовываетъ. Ея лицо оживаетъ.

— Смотрите! Смотрите! Это совсѣмъ не то! Смотрите, что онъ дѣлаетъ! Онъ показываетъ на платье—robe, на мостовую—pierre. Онъ показываетъ, какъ отрубаютъ голову. Robes et pierre казнены! Робеспьеръ казнены! Робеспьеръ казненъ! Спасеніе, свобода!

Эта женщина, возвѣстившая конецъ террора, ее звали Марія-Роза-Жозефина виконтесса Богарнѣ, баронесса Банвилль. Будущая императрица Франціи. Будущая супруга Наполеона Бонапарта...

„Камо бѣгу отъ лица твоего!“

Если вы заинтересуетесь ролью актеровъ въ великой французской революціи,—рядомъ съ красивой фигурой Тальма, „национального актера“, какъ его звали, великаго трагика, яраго революціонера, одного изъ основателей клуба якобинцевъ,—вы увидите того же тщедушнаго офицера, которому Тальма покровительствуетъ, котораго онъ вводить въ клубъ всемогущихъ якобинцевъ,—Наполеона Бонапарта.

Если вы займетесь журналистикой той эпохи, вы наталкиваетесь на писанья этого офицера. Его мелкія произведения разбросаны въ альманахахъ. Онъ пишетъ въ прозѣ и стихахъ. Въ прозѣ онъ пишетъ въ модномъ стилѣ... Вольтеръ создалъ моду

ча восточные сказки. Онъ пишетъ восточные сказки. И очень мылья восточные сказки.

Онъ, большой любитель театра (по протекціи Тальма ходящій по контрамаркамъ),—онъ, человѣкъ XVIII вѣка, пишетъ очень галантные мадригали въ стихахъ актрисамъ.

Въ 1792 г., въ страшномъ 1792 г., въ оперѣ даютъ „Дидону“, произведеніе моднаго тогда Пичини, соперника Глюка. Весь Париж кричитъ о триумфѣ, настоящемъ триумфѣ, гражданки Юберти, въ роли Дидони,—и Наполеонъ Бонапартъ пишетъ ей мадригалъ, который я позволю себѣ, за неимѣніемъ поэтическаго таланта, перевести презрѣнной прозой:

— Римляне! Вы, которые гордитесь своимъ знатнымъ происхожденіемъ,—отъ самого Энея. Посмотрите же, отъ чего зависѣло ваше могущество! У Дидони просто не было достаточно притягательной силы, чтобы удержать своего любовника. И только!.. Но если бы другая Дидона,—краса нашихъ мѣстъ,—была царицей Кароагена,—о, тогда бы Эней забылъ обо всемъ, чтобы служить только ей! И ваша чудная страна оставалась бы и до сихъ поръ дикой пустыней.

Тутъ есть, какъ видимъ, все:—и „античная“ напыщенность революціоннаго времени и галантная любезность XVIII вѣка.

Къ нашей коллекціи революціонныхъ журналистовъ мы должны добавить еще журналиста практика, журналиста „реалиста“, журналиста карьериста.

Такимъ карьеристомъ былъ Наполеонъ Бонапартъ. Въ журналистикѣ онъ выступилъ памфлетомъ „Ужинъ въ Бокэрѣ“. Памфлетомъ, который произвелъ тогда приятное впечатлѣніе на якобинцевъ. Въ памфлете онъ аттестовалъ себя убѣжденнѣйшимъ якобинцемъ. Убѣжденнѣйшимъ единомышленникомъ и ихъ поклонникомъ. Нѣть болѣе якобинскаго памфleta, чѣмъ этотъ „Ужинъ въ Бокэрѣ“.

Памфлеть написанъ въ 1793 г. и за свое якобинство былъ изданъ на государственный счетъ. Это потому—скоро!—Наполеонъ женится на Жозефинѣ Богарнѣ, любовницѣ всесильного Барраса. Теперь, въ 1793 г., онъ мечтаетъ жениться на Шарлоттѣ Робеспьерѣ, некрасивой дѣвушкѣ, сестрѣ всесильного Робеспьера, и считается уже ея женихомъ.

Наполеонъ—прекрасный журналистъ. Онъ беретъ такую жгучую тему, что у автора должна горѣть земля подъ ногами. Рѣчь идетъ о гражданской войнѣ, которая кипитъ тогда,—какъ почему-то всегда гражданскія войны,—между сѣверомъ и югомъ... Париж дерется съ Провансомъ. Конвентъ борется съ Марселеемъ. Наполеонъ дерется въ рядахъ конвентскихъ войскъ.

Изъ-за чего гражданская война?

— Мы, марсельцы,—говорить въ памфлете марселецъ,—всегда были за свободу, за республику. Въ борьбѣ за свободу, мы, марсельцы, не мало орошили своей кровью священную землю отечества... Мы съ нашей пѣснью, марсельской, первыми пришли въ Парижъ на борьбу съ деспотизмомъ. Но мы противъ анархіи. Мы не желаемъ нового деспотизма! Деспотизма Конвента! Поэтому что въ Конвентомъ царить деспотизмъ одной партии якобинцевъ. Мы не хотимъ деспотизма одной партии надъ всей страной!

— Кто „вы“?—отвѣчаетъ ему Наполеонъ.

И объявляетъ марсельское правительство, марсельскія воиска... буржуазными.

— Вы посыаете сыновей торговцевъ, которымъ бы лучше сидѣть за contadorами и считать барыши. А санкюлоты Марселя за вами не пойдутъ. Поэтому что санкюлоты всюду и вездѣ на сторонѣ якобинцевъ. Всѣ мутить кучка аристократовъ, которые бѣжали къ вамъ отъ насъ съ сѣвера, и которые толкаютъ васъ въ контръ-революцію, увѣряя, будто посыпаютъ сражаться противъ „тираніи однай партіи“, сражаться за свободу. Борьба за свободу! Борьба противъ тираніи! Это только пышныя ткани, въ которыхъ драпируются, прячась, контръ-революція... Но мы срываемъ эти ткани одну за другой. Платье стало уже прозрачнымъ, какъ газъ! И сквозь этотъ газъ мы уже видимъ голую контръ-революцію!..

— Вы отзываетесь такъ о нашихъ бойцахъ.—отвѣчаетъ марселецъ,—а у васъ что за армія? Развѣ это регулярия армія 1789 г.? Та армія не хотѣла драться со своими братьями, обра-

щать оружія противъ народа. Она растаяла, ея не существуетъ! Развѣ это солдаты? Эти набраннныя вами съ борку да съ сосенки банды? Это банды разбойниковъ, которые умѣютъ только грабить, безчинствовать, нести съ собою анархію!

— Это неправда! Это ложь!—протестуетъ Наполеонъ.—Тѣ, кто называетъ разбойниками армію Конвента, вѣдь лгутъ! Мы поддерживаемъ желѣзную революціонную дисциплину. Мы преслѣдуемъ за самочинные обыски, мы жестоко караемъ за кражи у мирныхъ гражданъ... Это ваши солдаты, солдаты аристократіи и марсельскихъ толстосумовъ, убиваются, грабятъ, наполняютъ тюрьмы невинными—подъ предлогомъ, что тѣ сторонники якобинцевъ. Но мы побѣдимъ васъ! Побѣдимъ! Потому что за якобинцевъ всѣ санкюлоты всей Франціи.

— Мы обратимся для борьбы съ якобинскимъ деспотизмомъ къ помощи Австріи!—въ отчаяніи восклицаетъ марселецъ.—Мы обратимся къ помощи Испаніи!

— Франція никогда не проститъ вамъ этой измѣны!—отвѣчаетъ Наполеонъ.

„Ужинъ въ Бокэрѣ“... Бокэръ—это крошечный городокъ на берегу Рона vis-à-vis другого крошечнаго, но знаменитаго городка Тараскова. Припомните „Тартарэнъ“, и вы вспомните Бокэръ. Это тотъ Бокэръ, въ который удалился великий Тартарэнъ, когда отрасъ отъ ногъ своихъ пракъ Тараскона, рискнувъ для этого перейти даже (на четверенькахъ) мостъ, котораго ни одинъ изъ храбрыхъ тарасконцевъ не рѣшался перейти „по причинѣ очень сильнаго вѣтра“...

Наполеонъ для своего политического памфleta выбралъ форму фельетона. Передаетъ сужденія о гражданской войнѣ въ формѣ спора за ужиномъ между марсельцемъ, жителемъ Нима, фабрикантомъ Монпелье и военнымъ—авторомъ. Живо, интересно, образно. Тамъ есть очень интересныя опредѣленія. Напримеръ, опредѣленіе гражданской войны.

— Люди раздираютъ другъ друга, люди ненавидятъ, люди убиваютъ другъ друга,—и при этомъ другъ друга не понимаютъ! Вотъ что такое гражданская война.

Тамъ есть интересныя замѣчанія, какъ вести гражданскую войну.

— Вы будете побѣждены!—говорить марселецъ.—У насъ есть тяжелая артиллерія, и скоро ея будетъ еще больше!

— Печальное заблужденіе,—отвѣчаетъ Наполеонъ,—вульгарное мнѣніе, будто побѣждаетъ тотъ, у кого тяжелая артиллерія. Спросите специалистовъ, и они отвѣтятъ вамъ, что въ полевой войнѣ легкая артиллерія такъ же дѣйствительна, какъ и тяжелая. Гражданская война въ тяжелой артиллеріи не нуждается.

Въ „Ужинѣ въ Бокэрѣ“ есть даже шутка. Вольная. Въ вольтеровскомъ стилѣ шутка.

Марселецъ разсказываетъ о тѣхъ ужасахъ, которые продѣлываютъ конвентскія войска. Солдатъ убилъ гражданина. Разграбилъ его домъ, изнасиловалъ его жену и еще предварительно заставилъ ее выпить стаканъ крови ся мужа.

— Какой ужас!—восклицаетъ Наполеонъ.—Но вѣрно ли это? Я немножко сомнѣваюсь, тѣмъ болѣе, что, знаете... въ изнасилованіе то въ наши дни не особенно вѣрятъ...

Чѣмъ не скептическая шутка въ стилѣ вольтеровскаго „Кандида“?

Но главное, чѣмъ посыпанъ весь памфлеть—это крупная якобинская соль. Весь словарь тогдашняго патріота, все краснорѣчіе доброго санкюлота.

Тутъ и „преступные аристократы“, и „республика, которая диктуетъ свои законы всей Европѣ“, и „исправленіе тирановъ“.

Сколько потомъ будетъ стоить императору Наполеону его „Ужинъ въ Бокэрѣ“! Императоръ—авторъ якобинской брошюры!.. Его министръ полиціи герцогъ Отрантскій, рожденный Фушэ, долженъ будетъ всюду разыскивать и уничтожать эту проклятую брошюру. А въ Голландіи найдется шантажистъ-издатель, который начнетъ издавать, безъ конца издавать „Ужинъ въ Бокэрѣ“,—и Фушэ, по высочайшему повелѣнію, будетъ скучать и жечь изданіе за изданіемъ, изданіе за изданіемъ. Скупать и жечь изданіе за изданіемъ, изданіе за изданіемъ. Скупать и жечь. Безъ конца!.. Императору придется дорого заплатить за маленькаго журналиста великой французской революціи.



Лебеди.

А. Рыловъ.

Дикарь.

Рассказъ И. Н. Потапенко.

Художникъ Карнавинъ, высокій, худой, съ длиннымъ блѣднымъ лицомъ святого съ иконами древняго письма, поднялся во второй этажъ ресторана, гдѣ помѣщались отдѣльные кабинеты.

Швейцары съ привѣтственными лицами и словами снимали съ него длинное широкое лѣтнее пальто, такъ какъ это было въ концѣ мая, когда въ Петербургѣ послѣ ненастя вдругъ установились теплые мягкие дни.

— Сырцовъ здѣсь? — спросилъ онъ у швейцаровъ, но тѣ не успѣли отвѣтить, какъ подбѣжалъ лакей во фракѣ и бѣломъ жилетѣ, смуглолицый, черноголовый, широкоплечій татаринъ Ганей.

— Иванъ Семеновичъ ждутъ уже съ четверть часа-съ! Они въ вашемъ кабинетѣ-съ. Пожалуйте, Викторъ Андреевичъ.

Это была странная фантазія—завтракать въ отдѣльномъ кабинетѣ вдвоемъ со скульпторомъ Сырцовымъ. И Сырцовъ тоже находилъ, что это странно. Но такъ было условлено.

Утромъ онъ получилъ отъ Карнавина записку: „Хочется поболтать. Не позавтракаетъ ли въ отдѣльной каѳетѣ у доброго Оскара? Приглашаю. Тамъ и встрѣтимся“.

Скульптору Сырцову было не по средствамъ завтракать въ ресторанѣ, особенно въ отдѣльномъ кабинетѣ, хотя и „доброго“, но все же безсовѣтно дерущаго Оскара: заработки у него были скромные, и жизнь онъ вѣрь расчетливую. Карнавинъ это зналъ, потому и прибавилъ: приглашаю, т.-е. угощаю.

Они были товарищи по академіи, оба имѣли теперь было подъ тридцать пять, оба были выпущены съ большими надеждами. Но живописцу Карнавину легко было осуществить надежды, и онъ очень быстро завоевалъ положеніе. На картины его устанавливали спроектированные имъ.

Сырцовъ же, несмотря на талантъ, съ трудомъ пробивалъ себѣ дорогу. Скульптура въ Россіи—неблагодарное искусство.

А Карнавинъ въ ресторанѣ нѣрѣдко оставляла значительныя суммы, и его здѣсь знали хорошо. Татаринъ же Ганей, искусный, ловкій, корректный и пріятный лакей, умѣвшій угождать на всѣ вкусы, всегда подавалъ ему и, получая щедро чаю, окружалъ его какою-то особенной почтительностью.

Онъ побѣжалъ впередъ, а Карнавинъ шелъ неторопливо, тяжело ступая по ковру узкаго коридора своими длинными ногами. Ганей растворилъ передъ нимъ дверь.

Сырцовъ сидѣлъ за піанино и однимъ пальцемъ, видимо, отъ скучи, извлекалъ изъ него безпорядочные звуки.

— Извини, голубчикъ, заставилъ ждать, — пожимая его руку, сказалъ Карнавинъ.

— Ничего. Мы люди маленькие... — шутя, отвѣтилъ Сырцовъ.

Онъ и въ самомъ дѣлѣ былъ небольшого роста и не толстый, но какой-то крѣпкій, точно изъ стали. Лицо у него было бритое, а русые волосы на головѣ длинные, не густые, слегка волнистые.

— Что же? — промолвилъ онъ. — Такъ поболтать, или имѣется сюжетъ?

— Къ сожалѣнію, найдется и сюжетъ.

— Къ сожалѣнію?

— Да, но это не помѣшаетъ намъ сперва заказать Ганею наши обычныя любимыя блюда. Ты ихъ знаешь, Ганей?

— Эфь-паризиенъ, телячья головка съ винегромъ... — началъ перечислять Ганей.

— Вѣрно... и такъ далѣе..

Ганей вышелъ исполнять порученія.

— А какой же сюжетъ? — спросилъ Сырцовъ.

— Сюжетъ домашній, хотя довольно драматической. Надежда Марковна...

— Твоя жена?

— Да, моя жена, къ которой ты всегда относишься отрицательно.

— Ну, почему же отрицательно? Мы просто люди разной лѣпки и почти ни въ чёмъ не сходимся. Но я, конечно, уважаю Надежду Марковну...

— Ну, такъ вотъ: съ уважаемой тобою Надеждой Марковной мы и расходимся.

Сырцовъ опѣшилъ. Этого онъ ни по какимъ даннымъ не могъ предугадать и былъ совершенно не готовъ къ воспріятію подобной новости.

Карнавинъ женился года два тому назадъ и, по общему признанию, женился глупо и неподходящимъ образомъ. Надежда Марковна была очень красивая особы. Ей тогда было лѣтъ двадцать пять. Ни для кого, въ томъ числѣ и для Карнавина, не было тайной, что у нея было романическое прошлое и довольно разнообразное. Но онъ встрѣтилъ ее въ обществѣ и сразу влюбился, таакъ неотступно, что чуть ли не по первому знакомству заговорилъ о бракѣ.

Но это было принято не сразу. Что касается чувства, то за этимъ съ ея стороны не было остановки. Карнавинъ бытъ во всѣхъ отношеніяхъ интересная фигура. И наружность у него была своеобразная и талантъ несомнѣнныи и положеніе видное. Да и заработки превосходные.

Но Надежда Марковна должна была измѣнить своему основному принципу: она стояла за свободу и не признавала брачныхъ узъ. Однако, по нѣкоторому размышленію, признала, и вѣтъ—супружество.

Холодное отношеніе къ ней Сыркова и еще нѣсколькихъ приятелей, искренно любившихъ Карнавина, съ этого и началось. Надежда Марковна раньше очень настаивала на своихъ свободолюбивыхъ принципахъ, гордилась ими и даже до извѣстной степени рекламировалась. Но какъ только бракъ оказался выгоднымъ, она сейчасъ же отмѣнила ихъ и начала широко пользоваться всѣми выгодами его.

Дорогие наряды, многолюдные пріемы, все это непомѣрно взвинтило бюджетъ Карнавина, и ему пришлось усиленно работать, и на рынкѣ появилось слишкомъ много картинъ, подписанныхъ его именемъ, благодаря чему имя это нѣсколько потеряло въ цѣнности.

Кромѣ того, она стремилась заводить и поддерживать зна-

комства въ кругу, не стѣснявшемся въ средетвахъ, это тоже требовало отъ Карнавина усилий. Но онъ былъ влюблень и, кажется, чѣмъ дальше, тѣмъ больше, и все это переносилъ съ терпѣниемъ. И вдругъ такая новость...

— Но почему же, Викторъ? Что же случилось? — спросилъ Сырцовъ.

Карнавинъ сильно нахмурилъ брови и нервно забарабанилъ пальцами по столу. Видно было, что о томъ, что случилось, ему не легко было говорить.

— Случилась простая, шаблонная вещь.

— Но не измѣна же?

— Почему же нѣтъ? А если измѣна?

Сырцовъ отвелъ свои глаза отъ его пристального взгляда. Ему было неловко, потому что вопросъ его былъ поставленъ неискренне, — въ дѣйствительности онъ допускалъ со стороны Надежды Марковны измѣну и притомъ самую легкую и пошлую.

Но на вопросъ Карнавина онъ не успѣлъ отвѣтить, потому что вошелъ Ганей съ огромными подносомъ и началъ производить шумъ, разставляя тарелки съ закусками, ножи, вилки.

А Карнавинъ, точно не замѣчая его присутствій, продолжалъ:

— А если измѣна? Нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ, интересный вопросъ: если жена, которую ты безумно любишь и про которую ты была узвѣренъ, что и она тебя любить, вдругъ измѣняетъ съ ничтожествомъ, у которого много денегъ... Что же тогда дѣлать?

Когда были произнесены эти слова, вдругъ раздался звонъ отъ упавшей на полъ посуды, — стакана и нѣсколькихъ вилокъ. Карнавинъ и Сырцовъ вздрогнули и обернулись въ сторону Ганея. Татаринъ, только-что уронивший посуду, стоялъ вполоборота къ нимъ, лицо его было блѣдно, а кулаки почему-то скжаты.

— Что это ты, Ганей? — спросилъ Карнавинъ.

— Уронилъ, Викторъ Андреевичъ, — глухо произнесъ Ганей, и маленькие черные глаза его прищурились, какъ будто хотѣли спрятать подальше свой горячий блескъ.

— Такъ подними. Ты разстроился, какъ будто уронилъ не посуду, а какую-нибудь драгоценность...

— Я, Викторъ Андреевичъ, не отъ посуды, а отъ вашихъ словъ... Извините, нечаянно слышалъ...

— А! Это еще интересный. Что же?

Ганей повернулся къ нему всѣмъ корпусомъ:

— Спрашивается, ежели измѣнила, что дѣлать? Я знаю, что...

— Ну, такъ говори...

— Убить. Горло перерѣзать...

— Кому? — какъ-то поспѣшно и ужасно неспокойно спросилъ Карнавинъ.

— Обѣими...

И онъ сейчасъ же послѣ этого нагнулся, подобралъ уроненную посуду и, не взглянувъ больше на нихъ, вышелъ изъ комнаты.

Оба молчали, точно придавленные какой-нибудь тяжестью. Первый заговорилъ Карнавинъ.

— Вотъ, братъ, какъ просто это рѣшается. Запутанный вопросъ. Одинъ изъ самыхъ запутанныхъ, а онъ двумя словами...

— Дикарь во фракѣ и бѣломъ жилетѣ, — сказалъ Сырцовъ.

А Карнавинъ будто и не слышалъ его.

— И какія выразительныя слова: горло перерѣзать...

— Но, послушай, — перебилъ его скульпторъ, — въ чѣмъ же все-таки дѣло?

— А вотъ мы сперва закусимъ балычкомъ, — проговорилъ Карнавинъ.

Заморивъ червяка, Карнавинъ продолжалъ:

— Ты знаешь вѣдь Марадулина...

— Купеческий сынъ Марадулинъ, любитель искусства, коллекционеръ, не умѣющій отличить Ванъ-Дейка отъ Рѣпина. Это тотъ, который въ порывѣ восторга собирался заказать Фидюѣвой собственный бѣстѣ и освѣдомлялся обѣ его адресѣ?

— Тотъ самый, мой милый Сырецъ, только онъ ужъ не купеческий сынъ, а купецъ, ибо родитель его мѣсяца три тому назадъ скончался. Ну, такъ вотъ тебѣ герой.

— Неужели Надежда Марковна предпочла его...

— Но почему же нѣтъ? Вѣдь былъ моментъ, когда она предпочла меня кому-то... Ты, мой другъ, неискрененъ. Въ сущности, въ душѣ ты это допускаешь и допускала раньше. Развѣ не правда?

— Можетъ-быть. Но это вѣдь сейчасъ неинтересно.

— Такъ вотъ видишъ ли, совершилось это очень просто. Иль сколько времени тому назадъ я замѣтилъ исключительное предпочтеніе, оказываемое моей женой этому господину. Это меня задѣло, но я промолчать. Я не деспотиченъ. Предпочтеніе, это — еще не измѣна. Но вчера просто ко мнѣ пришли и заявили: «я больше не люблю тебя, а люблю другого». Хочешь знать кого? Марадулина. Я желаю выйти за него замужъ, и мнѣ нуженъ разводъ*. Вотъ и все. Понимаешь?

— Ну и что же ты на это сказала?

— Развѣ на это говорить что-нибудь? И развѣ даютъ время сказать? Я успѣлъ только поблѣдѣть, затрясти головой, а когда поднялъ глаза, ей уже не было. Я вскочилъ и сталъ бѣгать по комнатѣ. Я воображаю, что обдумываю положеніе, но въ сущности мои мысли топтались на одномъ мѣстѣ. И знаешь, что мнѣ хотѣлось сдѣлать? Страстно, неоступно, мучительно... А

вотъ именно то, что сейчасъ сказала Ганей: схватить бритву и перерѣзать имъ горло... «Обѣими», какъ онъ говорить. Да, именно, обѣими...

— Ты съ ума сошелъ! Развѣ подобные вопросы рѣшаются такими средствами?

— Вопросы? Да вѣдь это для тебя вопросъ, а для меня это было переживаніе, страданіе... Но ты успокойся. Конечно, я этого не сдѣлалъ. Я же человѣкъ культурный, не дикарь во фракѣ и бѣломъ жилетѣ. Я побѣжалъ къ ней, но... ей уже не было. Она уѣхала изъ дома, чтобы больше не возвращаться. А-а, дикарь во фракѣ и бѣломъ жилетѣ! — воскликнулъ онъ, когда опять вошелъ Ганей съ горячими кушаньями.

Но Ганей, въ противность обыкновенію, не улыбался, не старался быть пріятнымъ, а смотрѣлъ какъ-то исподлобья. Онъ видимо былъ еще взволнованъ. Поставилъ кушанья на надлежащія мѣста, сдѣлалъ все, что нужно, и вышелъ.

Нѣкоторое время они болѣли. Сырцову казалось неловкимъ побуждать его къ разсказу о такомъ интимномъ и мучительномъ обстоятельствѣ, а Карнавинъ не начинай. И странныя мысли вдругъ поднялись въ головѣ скульптора. Онъ видѣлъ передъ собой двухъ столь различныхъ людей: художника, человѣка большей культуры, образованнаго, воспитаннаго, съ широкимъ міросозерцаніемъ, родившійся въ культурной семье, которой предшествовала рядъ культурныхъ поколѣній, — и это узкобойкий татаринъ, вся жизнь котораго простила на пространствѣ отъ рестораниной кухни до столовой.

Карнавинъ, которому знакомы моменты высокаго вдохновенія, душа которого испытывала подъемъ въ горнѣ и соприкасалась съ божествомъ, — и у нихъ нашлась точка соприкосновенія съ Ганеемъ. Какъ недалеко, значить, ушелъ культурный человѣкъ отъ дикаря, и какъ это выпукло проявляется въ此刻ъ, когда затронуто нутро.

Въ ту минуту, когда Карнавинъ, по его словамъ, бѣгалъ по комнатѣ, съ него, очевидно, спали всѣ культурныя наслажденія и онъ былъ такимъ же дикаремъ во фракѣ, какъ и Ганей. И у него явилось такое же желаніе: зарѣзать.

Но было для Сырцова загадкой, почему вопросъ обѣ измѣнѣ такъ близко коснулся примитивной души Ганея, хотя вовсе и не было обращенія къ нему. Какъ онъ былъ въ ту минуту блѣденъ, какъ дрожали его руки со сжатыми кулаками, уронившія на полъ посуду, какъ горѣли его черные глаза.

И онъ, корректный, сдержаннаго слуга, умѣющій почтительно молчать при самыхъ щекотливыхъ и вызывающихъ обстоятельствахъ, вдругъ не выдержалъ и такъ опредѣленно высказался.

— Такъ-съ! — сказалъ Карнавинъ, отодвигая отъ себя тарелку, и этимъ положилъ конецъ его мыслямъ. — Вотъ культурный человѣкъ и поѣзъ эф-паризиенъ въ то время, какъ въ груди у него бушуетъ «бури ревности жестокой...» И такъ, что же, по-твоему, въ подобныхъ случаяхъ надо дѣлать?

Сырцовъ чуть замѣтно сдвинулъ плечами.

— Что же тутъ дѣлать? Надо стать лицомъ къ лицу съ житейскимъ фактамъ и считаться съ нимъ. Если Надежда Марковна сдѣлала тебѣ такое заявленіе, то надо думать, что она предварительно строго взвѣсила и обсудила, и это является ея послѣднимъ рѣшеніемъ. Отсюда слѣдуетъ...

— Да, вотъ интересно, въ самомъ дѣлѣ, что отсюда слѣдуетъ...

— Да вѣдь это зависитъ отъ темперамента, отъ взгляда, отъ философіи человѣка. Одинъ способъ отнести къ этому съ презрѣніемъ и съ высоты своего презрѣнія дать все, что отъ него требуютъ.

— То-есть разводъ?

— Въ настоящемъ случаѣ да. Не станешь же ты насилино удерживать при себѣ жену, которая тебя не любить, а любить другого?

— Нѣтъ, не стану. Это говорю тебѣ съ убѣженіемъ.

— Другой почувствуетъ жажду возмездія...

— То-есть пойросту мести?

— Да, если онъ дикарь во фракѣ и въ бѣломъ жилетѣ. А если онъ культурный человѣкъ, какъ ты, то именно возмездія... нравственного удовлетворенія, — и потребуетъ къ барьеру.

— Ага! Ужъ это миѣ болѣ по вкусу... Значить, и ты за это стоянъ?

— Нисколько. Всей душой противъ этого.

— Почему же?

— Когда оскорблениій человѣкъ вызываетъ оскорбителя къ барьеру, ему почему-то кажется, что онъ непремѣнно отомстить, что убить именно онъ. Но въ дѣйствительности ровно столько же шансовъ за то, что убьютъ его. И что же, ты, оскорблениій, ставишь на карту свою жизнь и предоставляешь оскорбителю въ дополненіе къ своей чести еще и свою голову...

— Боже мой! До чего ты культуренъ, Сырецъ! До ужаса! — воскликнулъ Карнавинъ и, не обративъ вниманія на то, что опять явился Ганей, который принесъ вторая блюда и разставлялъ ихъ по надлежащимъ мѣстамъ, продолжалъ: — Выходить, что я, культурный человѣкъ, въ силу своей культурности, не могу послѣдовать ни одному своему искреннему душевному движенію. Каждый искренний порывъ я долженъ сперва положить на вѣсы и хорошенько взвѣсить. Но тогда культурность есть не что иное, какъ цѣпи.

— Да, цѣпи. Золотыя цѣпи, и, только благодаря этимъ цѣямъ,



Родные хризантемы.

К. Вроблевский.

люди могут сколько-нибудь прилично и спокойно жить, и безъ этихъ щѣней они ежеминутно побѣдали бы другъ друга. О, эти искренніе порывы!.. Каждый изъ насъ знаетъ ихъ, испытываетъ ихъ каждую минуту, но именно, благодаря культурности, не приводитъ въ исполненіе. И я тебѣ скажу, что даже дикарь, разъ ужъ онъ не въ африканскихъ лѣсахъ, а здѣсь, среди насъ, надѣль фракъ и бѣлый жилетъ, онъ тоже въ концѣ концовъ не приведетъ въ исполненіе, хотя это ему будетъ стоить гораздо дороже, чѣмъ тебѣ.

— Приведеть... Исполнить! — вдругъ какимъ-то сухимъ горловымъ голосомъ пробормоталъ Ганей, отойдя отъ стола и остановившись въ позѣ, какъ будто нѣсколько вызывающей.

Опять оба обернулись къ нему.

— Ганей, — сказалъ Карнавинъ, ты женатъ?

— Какъ же. Женатъ, Викторъ Андреевичъ.

— Но у тебя, вѣроятно, нѣсколько женъ. Вѣдь ты магометанинъ.

— Нѣтъ, одна. Одна жена у меня... Это которые богатые — имѣютъ нѣсколько женъ, а у бѣднаго всегда одна.

— И дѣти есть?

— Нѣтъ дѣтей... Богъ не далъ.

— И что же? Женя тебя любитъ?

— Можетъ — любить, можетъ — нѣтъ... Почемъ узнаешь? Душа у женщины — колодецъ, смотришь и видишь, только блеститъ сверху вода, а что на днѣ — не видишь. Когда брать жену, говорила, что любить. А теперь... не знаю...

Но сказалъ онъ все это какимъ-то неискреннимъ тономъ; что-то пряталъ. Повидимому, уже пожалѣлъ о своемъ порывѣ и рѣшилъ какъ-нибудь замазать истину.

— Кофе прикажете въ машинѣ, Викторъ Андреевичъ? — спросилъ онъ.

— Да, да, конечно...

И Ганей вынырнулъ.

— Не вѣрю я ему, — промолвилъ Карнавинъ.

— У него что-то не ладно. Весь онъ сегодня на себя не похожъ. И все какъ-то невольно откликается на извѣстныя слова. Онъ

быть искрененъ только тогда, когда сказалъ: „горло перерѣзать“ Золотыхъ словъ!

— Почему золотыя? Что за вздоръ!

— Потому золотыя, что отъ сердца, а остальное ужъ отъ хитромія и лукавства.

Приходилъ опять Ганей, но молчалъ. Пробовалъ Карнавинъ еще заговорить съ нимъ, наводилъ его на извѣстныя мысли, но онъ точно окаменѣлъ. „Точно такъ, Викторъ Андреевичъ“. „Этого не могу сказать“, — вотъ были его отвѣты. И, принеся что-нибудь, старался сейчасъ же уйти, какъ будто боялся, что отъ него что-нибудь выпытываютъ.

Вышли кофе. Карнавинъ всталъ изъ-за стола, заложилъ руки въ карманы брюкъ и ходилъ по комнатѣ, нервный, неспокойный, иногда роняя многозначительныя слова.

— Такъ-то, другъ, культурный человѣкъ, — наконецъ заговорилъ онъ, — недоволенъ я собой, ужасно недоволенъ.

— Чѣмъ именно?

— А вотъ тѣмъ, что я культурный человѣкъ. Чортъ возьми, это обязывается. Будь я дикарь, я поступилъ бы по первому движению души: перерѣзать бы горло „обѣимъ“ и этимъ доставилъ бы себѣ величайшее удовлетвореніе.

— У дикаря не оказалось бы бритвы.

— Такъ я перекусиль бы имъ горло... „Обѣимъ“...

— Перестань, Викторъ, глупо. И не къ лицу тебѣ.

— Конечно, глупо и не къ лицу. Лицо у меня — святого съ старинной иконы, этимъ славлюсь, и, кажется, за это полюбила меня Надежда Марковна. А у Марадулина лицо напоминаетъ походу моего сапога, но это не помѣшало ей полюбить и его.

— Извини, что я это скажу: у Марадулина два миллиона, кажется.

— Да, ну вотъ, наконецъ-то ты стала искрененъ, а раньше все клялъ на вѣсы и взвѣшивалъ. Да, конечно. Твоя правда. Это горькая истинѣ. Но вѣдь я люблю ее, чортъ возьми! Какая она ни есть, а люблю...

Послѣднія слова онъ произнесъ почти со стономъ и, подойдя къ креслу, тяжело опустился въ него.

Минуть через пять они выходили из ресторана. Ганей, получивший на чай больше обычного, провожал их тѣмъ не менѣе сумрачнымъ взглядомъ. Карнавинъ, сходя по лѣстнице, говорилъ:

— А все-таки золотая это слова: перерѣзать горло... Обѣимъ... Особенно „обѣимъ“, чортъ возьми...

Потомъ Сырцовъ усадилъ его на извозчика и простился съ нимъ.

На слѣдующій день онъ зашелъ къ Карнавину. Онъ немного тревожился по поводу его настроенія. Здѣсь былъ какой-то неизвестный господинъ, который оказался адвокатомъ по брако-разводнымъ дѣламъ. Карнавинъ давалъ ему порученіе вести разводъ, условившись въ подробностяхъ.

— А что касается цѣны, то обѣ этомъ вы поговорите съ той стороной и при этомъ не стѣсняйтесь, заламывайте какъ можно больше. Тамъ вѣдь миллионы,—говорилъ онъ почти шутливымъ голосомъ. — Ну, право же, чѣмъ больше сдерете, тѣмъ больше доставите мнѣ удовольствія.

Когда адвокатъ ушелъ, онъ обратился къ Сырцову.

— Вотъ и свершилось. Я даю разводъ и даже беру на себя вину. Какое великолѣпіе! Чортъ съ ними, пусть наслаждаются жизнью, у меня же остается утѣшеніе, что я поступиль, какъ культурный человѣкъ... Ха-ха... Не правда ли, милый Сырецъ? Ты долженъ быть очень доволенъ, и по этому случаю я приглашаю тебя сегодня обѣдать. Мы туда же, подъ эгиду нашего милаго дикаря во фракѣ и бѣломъ жилетѣ.

И они действительно вечеромъ направились въ ресторанъ „доброго Оскара“, поднялись наверхъ и взяли направление въ

обычный отдельный кабинетъ Карнавина. Довольно долго никто изъ служащихъ не приходилъ, они позвонили. Вошелъ старый лакей Махмудъ, съ рѣбячимъ лицомъ и какимъ-то точно срѣзаннымъ носомъ.

— Ганея позови,—сказалъ ему Карнавинъ,— развѣ не знаешь, что мнѣ всегда служить Ганей?

У Махмуда лицо какъ-то перекосилось и задрожала нижняя губа.

— Ганѣй больше не будетъ служить! — низкимъ скрипучимъ голосомъ отозвался онъ.

— Какъ не будетъ? Почему?

— Съ Ганеемъ вышло несчастье. Въ эту ночь онъ зарѣзалъ свою жену и одного человѣка, который ходилъ къ ней.

— Что ты говоришь? Ганей? Зарѣзаль? — воскликнули оба въ одинъ голосъ.

— Зарѣзаль. Такъ... Взялъ бритву и перерѣзъ горло... Обѣимъ...

— Обѣимъ... — съ выражениемъ ужаса повторилъ Карнавинъ и отвернулся къ окну.

Обѣдъ имъ подавалъ старый Махмудъ, который служилъ имъ съ сумрачнымъ видомъ. Да и они никакъ не могли разговаривать, все какъ-то ничего не выходило.

Обоимъ припоминался вчерашній Ганей, его слова, его лицо и дрожащія руки съ сжатыми кулаками и горящіе глаза.

— Нѣть, нѣть... — вырвалось у Карнавина послѣ долгаго томительного молчанія, — безумно радуюсь тому, что я культурный человѣкъ. Это благо... Высокое, неоцѣнимое благо.

Кружевомъ акаціи заплели окно:
Ихъ узоръ причудливый мнѣ знакомъ давно...
Съ дѣтства, какъ припомню: у сѣдыхъ колоннъ
Я любила листьевъ ихъ зеленый сонъ...
Ихъ цвѣтовъ плакучихъ трепетный уборъ

И стручковъ трескучихъ неумолчный споръ...
Разбѣжится вѣтеръ—спутаетъ листки...
Распалится зноемъ—сыплетъ лепестки...
Помнишь сонъ ихъ чуткій, ароматъ ночной?
Помнишь, какъ пьянили сладко волной?..

С. Мезерницкая.



Горькая участъ.

А. Йонсонъ.



Върный другъ.

C. Соломко.

Равнина.

Улеглась безъ края сизая равнина,
Путь по ней безбрежень, горекъ и унылъ,—
Точно полотенце изъ холстины длинной
Кто-то съ горъ полночныхъ къ морю разстелилъ.
Много жизней жиль я въ суетной дремотѣ,
Много жизней скжегъ на трепетныхъ кострахъ,
Развѣ не лежалъ я въ горѣ и заботѣ
Въ пыль равнины сонно брошенныхъ шатрахъ?
Развѣ не узналь я полевые храмы,
Чары чернозема, курьей слѣпоты?
На лицѣ суровомъ холодѣютъ шрамы,

Слѣдъ привольной жизни, бури и мечты...
Развѣ теплой ночью, когда пахнетъ гарью,
Не слѣдилъ съ волками въ полѣ табуны?
Въ часъ, когда ты мучишь сухотью и жарью,
Развѣ мнѣ не снились золотые сны?

И до горъ полночныхъ путь я твой измѣрю
И вернуся къ морю—къ синимъ берегамъ,
Чтобъ узнать, что нужно людямъ, птицѣ, звѣрю,—
А что нужно Богу—Богъ мнѣ скажеть Самъ!

Н. Тихоновъ.

Содержание. ТЕКСТЪ: Журналисты великой французской революции.
Очеркъ В. М. Доголевича. (Окончаніе). — Диаръ. Рассказъ И. И. Потапенко. — Стихотвореніе С. Мезеринцкой. — Равнина. Стихотвореніе Н. Тихонова.

РИСУНКИ: Апофеозъ свободы. Торжество истины и разума. — Маратъ. — Триумфъ Марата. Толпа несетъ оправданного судомъ Марата изъ Революционного Трибунала въ Конвентъ. Фламенгъ. — Робеспьеръ. — Свобода печати. Современная

цвѣтная литографія. — Жакъ-Гензъ Эберъ („Père-Duchesne“). — Автографъ письма Марата. — Шарлотта Кордэ. — Madame Роланъ. — Арестъ Шарлотты Кордэ, 13-го Іюля 1793 г. — Капитанъ артиллерии Наполеонъ Бонапартъ. — Лебеди. А. Рыловъ. — Родные хризантемы. К. Вроблевскій. — Горькая участъ. А. Гонсонъ. — Върный другъ. С. Соломко.
Къ этому № прилагается „Полнаге собранія сочиненій А. И. Герцена“ книга 16.

Издатель Т-во А. Ф. МАРКСЪ.

Редакторъ И. М. Желѣзновъ.

Артистическое заведение Т-ва А. Ф. МАРКСЪ, Петроградъ, Измайловский проспектъ, д. № 29.

ЖУРН

1918 г.

XLIX г.

издания.

№ 36. Выходит еженедельно (52 № в годъ), съ приложениемъ 52 книгъ „Сборника”, содержащихъ сочиненія А. И. ГЕРЦЕНА, М. ГОРЬКАГО, В. Г. КОРОЛЕНКО, П. БЕРАНЖЕ и Н. И. КАРЬЕВА („Великая Французская Революція”).

Выдан 7 сентября 1918 г. Подписная цена с дост. и перес. на год—36 р., на 1/2 г.—18 р., на 1/4 г.—9 р. Цена этого № (без прилож.)—40 к., с перес. 50 к.

Обязательное постановление.

Согласно предварительным переговорам совместно с товарищами печатниками о практическом введении упрощенного правописания, Комиссариат печати, агитации и пропаганды объявляет узаконенное комиссаром по просвещению право-
писание обязательным для всех периодических изданий.

Практическое осуществление этой реформы предлагается к выполнению с 15-го августа с. г.

Комиссар печати, агитации и пропаганды *Н. Кузьмин*.



Ф. И. Шаляпин.

П. Бучкин.

Ф. И. Шаляпин.

Творчество.

Монография Леонида Добронравова. Иллюстрации Петра Бучкина.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

Певец.

I.

Однажды увидел я книгу о Шаляпине. Это был прекрасно изданный том, огражданный на отличной бумаге, со множеством иллюстраций.

Я прочитал в этой книге биографию Шаляпина; была описана здесь история его карьеры, путь его к славе, даже путешествие к пирамидам; приведены были отзывы театральных критиков об исполнении Шаляпиным его ролей, при чем отзывы не весьма похвальные порицались наравне с авторами их.

Конечно, и такие иллюстрированные формуляры интересны. Но, отдавая должное таким работам, нельзя не пожалеть, что касаются они лишь внешней стороны творчества артиста, внешних обстоятельств его жизни и карьеры, по существу случайных и несколько не характерных для самого творчества.

Кроме внешней, блестящей стороны творчества имеет внутренний прекрасный свой лик, имеет внутреннюю свою историю, углубляющую наше наслаждение прекрасным.

Только эта сторона творчества, познание его целей и его достижений дает нам подлинное знание и понимание художественной сущности артиста, полным светом освещает его работу.

Каждый зритель выносит свое суждение о Шаляпине по той роли, в какой довелось его слышать и видеть. Но судить о Шаляпине только по одному Мефистофелю, по Дон-Кихоту или Борису Годунову—значит погрешать относительно полноты суждения. Конечно, в каждой роли проявляются характерные, ему одному присущие черты художественного таланта, но только изучение всех сценических образов дает нам возможность ознакомиться с художественной стихией артиста, определить основные свойства ее.

Шаляпин двадцать восемь лет работает на сцене, но и на двадцать восьмом году своей деятельности он не изучен и не понят.

Это не парадокс.

К созданием Шаляпина небрежны и невнимательны. О, разумеется, о них пишут восторженные статьи, но весь пафос их и содержание целиком укладываются в рамки дежурного восхищения, изложенного штампованными фразами. Кроме „великолепно“ и „превосходно“ дальше присяжные хвалители не идут.

Вот пример: в прошлом году Шаляпин показал нам новое свое создание — короля Филиппа II в опере „Дон-Карлос“.

Я собрал все статьи, посвященные этому выступлению Шаляпина. Было в них много восхищения, еще больше общих фраз, но никто не потрудился вдуматься в новый шаляпинский образ, в то, что хотел Шаляпин им сказать и что сказал.

Наши театральные судьи и ценители проглядели художественный и философский смысл нового шаляпинского создания.

Невероятно?

Невероятно.

Второй пример: один из музыкальных критиков, восхищаясь Шаляпиным в опере „Моцарт и Сальери“, находит, что Шаляпин гениально изобразил мрачного пушкинского героя, но тут же строкою ниже, пишет о другом исполнителе оперы, зауряд-оперном певце, что он был равным Шаляпину и достойным партнером.

Мне очень приятно, что критик сделал такое необыкновенное открытие, я рад за него, но больше я не прочитаю ни строки из критических его писаний.

Привел я этот пример для того, чтобы показать, как неразборчивы, как нерешивы в своих суждениях и словах те, кто должен быть зорким и внимательным исследователем художественной истины.

Неудивительно, что о творчестве Шаляпина существует представление часто поверхностное и не глубокое, полное вехо-глазства, иногда — невежества и непонимания.

II.

Среди лиц, пишущих о театре, укоренился пагубный обычай — судить артиста по „премьере“, по первому его выступлению в роли. Однако „премьера“ — это лишь рождение художественного образа, начало творческого процесса, начало роста. С каждым новым спектаклем художник вносит в свой замысел новые черты, углубляет их; многие из прежних отбрасывает.

Только внимательное изучение этого процесса создает истинное представление о творчестве художника. Мы должны работать вместе с ним, изучать его методы, найти те волшебные нити, какие соединяют данный изучаемый образ со всем творчеством художника во всем его объеме, от внешнего итии к внутреннему, от видимого к невидимому, ибо работа художника, по словам Оскара Уайльда, состоит в воплощении видимых форм и красок и в воплощении невидимых страстей и мыслей.

Мы хотим исследовать творчество Шаляпина. С чего начать? Что изучать прежде и что — потом?

Музыкант начнет с его пения, с исполнения им „партии“ в опере. Живописец остановится прежде всего на его гриме и kostюме; ваletъ займется его пластикой; драматический актер станет изучать изображение „характера“ того или иного „лица“.

Но что же, в сущности, характерно для Шаляпина? В чем заключается основная черта, стержень его творчества?

Вдумываясь в его свойства, как артиста и певца, мы видим, что драматический и музыкальный его таланты являются, каждый порознь, не только самодовлеющим началом его творчества, но в то же время и средством для достижения им своих целей, для наиболее яркого и сильного выражения им его художественной сущности, его замечательного дара.

Художественный дар представляет „одно из самых поразительных явлений в области художественного творчества“ — способность „поэта, музыканта, живописца, скульптора, певца или актера перевоплощаться в несходную с ним индивидуальность“. (Проф. И. Лапшин).

Всякий, кто видел Шаляпина на сцене, знает, что эта способность развита у него необыкновенно.

Вдумаемся в ее содержание.

Что значит перевоплотиться?

Во-первых, надо проникнуть в чужое „я“, во все извилины его сознания, во все уголки и морицессы его чувств и настроений, принять его в себя, во всей полноте его мыслей, чувств, желаний, намерений, привычек.

Во-вторых, воссоздать это чужое „я“, выразить его в чертах наглядных и ярких.

Чем талантливее, чем одареннее артист, художник, тем глубже проникает он в чужое „я“ и тем мощнее создает его заново.

Как часто мы слышим слова: „коронная роль“. Что они обозначают?

Только то, что среди образов, созданных артистом, есть один, который особенно близок ему, его духовному миру, складу его мыслей и чувств; что только при создании этого образа артист достиг ступени полного перевоплощения в создаваемое им чужое „я“, в его характер и лицо.

Все остальные образы артиста суть только вариации к этому основному „коронному“ типу, самому совершенному и полноизученному из его созданий.

Но есть артисты, у которых каждая роль их „коронная“, каждый образ — новое создание, не похожее на прежние, ни на одно из прежних.

Способность их к перевоплощению не ограничена пределами одного типа, одной какой-либо индивидуальности.

Что общего между Мефистофелем и Дон-Кихотом, между Сальери и королем Филиппом II? Между смиренным Сусаниным и Демоном?

Огонь и вода! Земля и небо. Как они противоположны во всем и несляяны!

Но творящий гений артиста одинаково полно и убедительно раскрывает пред нами и душу царственного страдальца Годунова, и сердце мечтательного рыцаря из Ламанчи, и смиренное сердце Сусанина.

Как создал художник эти образы? Как проник в их сущность, в сокровенные изгибы их души?

III.

О способности перевоплощения в литературе судят разно.

Одни — представители интеллигентской точки зрения — уверяют, что художник воспроизводит чужое „я“, пользуясь данными опыта, наблюдая чужую жизнь по внешним, телесным признакам и создавая ее научным методом.

Представители этой теории творчества художника сводят исключительно к рассудочной, головной работе.

Отрицать важность и необходимость опыта, эксперимента в области художественного творчества безразумно. Но замыкать творческую работу в рамки только одного опыта и им одним объяснять таинственный процесс творчества равноильно отрицанию самого творчества, сущность которого — вдохновение и экстаз, неразложимые и неопределимые никакими словами.

Следует заметить, что сами представители этой теории Э. Золя и Э. По не следовали ей в своем творчестве.

Вторая теория — мистическая — предполагает, что художнику врождено знание чужого „я“, что ему свойственно знание чужих душ, данное как бы озарением свыше.

Этот взгляд, зародившийся в философской школе новоплатоников, разделяли Шеллинг и Шопенгауэр, Гёте, Гейне и Рихард Вагнер.

Гейне говорит, что при создании художественного образа в душе художника „так, как будто он, согласно Пифагорову учению о переселении душ, вел предварительную жизнь после странствования на земле под разными видами; его вдохновение имеет все свойства воспоминания“ (Г. Гейне. „Мысли и Заметки“).

Рихард Вагнер писал, что в творчестве поэта, художника живет „нечто субстанциальное, сверхъопытные идеи“.

„Пошлый мир думает, что удивительные отчетливые образы поэта возникли прямо из опыта и запечатлены в его памяти... Все эти Летучие Голландцы, Тангейзеры, Лоэнгрины, Нibelунги. Вотаны возникли в моем сознании раньше, чем „в опыте“... (Р. Вагнер. „Мемуары“). Или, как говорит Ганс Сакс в „Мейстерзингерах“:

... „И все искусство, о, нет сомненья,
Есть вещих слов изображенье“...

Кто прав?

Какую из этих двух теорий станем объяснять создание шаляпинского „Дон-Кихота“?

Наблюдение, ум художника или же одно наитие свыше создали этот прекрасный, возвышенный и трогательный образ?

Мы сделаем ошибку, приняв одну из теорий и отвергнув другую.

В каждой из них есть правда, озаряющая творчество художника.

Говорят, что Шаляпин создавал Дон-Кихота не из опыта, а интуитивно, мы скажем правду в том смысле, что в натуре его, в его внутреннем мире есть такие наклонности, которые помогли ему проникнуть в этот образ.

Но эта правда не полная, ибо в Дон-Кихоте, кроме интуиции, заметны следы богатого жизненного опыта, знания и изучения, сделавшие образ Дон-Кихота настолько рельефным, что, когда впервые появился он на спене в Монте-Карло, кто-то из публики громко крикнул:

— Это он!

Конечно, в творчестве художника трудно указать границу, отделяющую опыт от вдохновения. Внезапные вспышки вдохновения создают столь яркие и выразительные черты, что их можно принять за результат долгого, упорного обдумывания и труда. И в то же время многие, сосредоточенно продуманные детали так вдохновлены, что кажутся только сейчас возникшими, в процессе творчества.

Что-то шекспировское чувствуется в точности, выпуклости и индивидуальности шаляпинских образов.

Шаляпин проникает в души чужих народов, впитывает в себя их поэзию, постигает их душу так же глубоко, как душу своего земляка. Иногда кажется, что этот Борис Годунов жил в Кремле и правил Россией, что этот Дон-Кихот вместе с толстым Санчо-Пансой бороздил опаленные солнцем долины Андалузии и Кастилии.

IV.

Многообразие перевоплощений говорит о всеотзычивой душе художника. „Художник живет одной жизнью, — пишет Аントольский в одном из своих писем, — но она наполнена другими жизнями; он чувствует чувства других людей. Люди — это его арфы, первы их — для него струны“.

Эта „всеотзычивость“ определяет широту творчества, размах его, его объем. Одно перечисление образов, созданных Шаляпиным, вызывает в памяти столь яркие и различные фигуры, что невольно удивляешься неиссякаемой, кипучей силе творчества, богатству красок, пышной фантазии, смелости исканий и красоте достижений.

Не следует забывать, что творящий артист поставлен в неизмеримо худшие условия по сравнению с писателем, живописцем, скульптором, музыкантом.

В то время, как живописец рисует, писатель пишет наедине с самим собой, не завися в своей работе ни от кого, артист вынужден творить рядом с товарищами, очень часто лишенными всякого художественного чутья, в атмосфере всевозможных досадных случайностей, среди которых даже громкий разговор за кулисами занимает не последнее место.

Необходима особенная сосредоточенность, напряженность, самоуглубленность, чтобы не замечать того, что нарушает настроение, мешает, назойливо вторгается в душу.

В. Б. Садовский вспоминает о первом своем дебюте в опере Мегюля „Иосиф“:

„Покуда я еще был один на сцене, я мог забыться, мог вообразить себе, что я — настоящий Иосиф, что расхаживаю не по театральным подмосткам, а попираю ногами настоящую землю египетскую, что я окружен роскошными растениями богатой природы, а не намалеванными кулисами. изображающими



Ф. И. Шаляпин.

Автопортрет.

деревья. Дав волю фантазии и увлечению, я бы еще долго мог воображать себя неподдельным сподвижником фараона египетского, если бы не явился на сцену новый актер (Ефремов), отличавшийся, как нарочно, плохим и в особенности ненатуральным исполнением своих ролей. Я точно свалился с неба в преисподнюю. Увидел я, что я не Иосиф Прекрасный, а он — далеко не приверженец мой, и что оба мы в настоящую минуту потешаем публику“.

Глубина художника, многострунность его творчества множит кричащие и терзающие противоречия между ним и окружающей обстановкой.

Кто может исчислить, сколько острых шипов и колючих терний скрыто в лаврах триумфального венка!

Без перевоплощения нет артиста и нет искусства. Есть некто, вымазанный гримировальными красками и притворяющийся тем, что другим лицом, но никогда не творящий и не созидающий.

V.

Когда люди произносят слова: „сценическое искусство“, они думают, что такое искусство существует на самом деле, имеет самостоятельное бытие, как поэзия, музыка, живопись, ваяние, представляя особый какой-то вид, особую категорию искусства.

Это глубокое и давнишнее заблуждение, возникшее от неточности выражений.

По какому признаку, какой специфической особенностью одно искусство отличается от другого? Пoesия от живописи? Музыка от ваяния?

По материалу, каким пользуется художник. В поэзии — слово, в живописи — краски, в музыке — звуки и т. д.

Но сценическое искусство... Где его самостоятельный, одному ему присущий материал?

Создавая сценический образ, артист пользуется всеми искусствами, от каждого из них заимствуя его материал: от живописи он берет краски — грим, костюм; ваяние дает ему жест, тело движение и телоположение; в поэзии он находит слово и оттенки слов.

Может ли так называемое „сценическое искусство“ существовать самостоятельно и существует ли?

Конечно, нет.

Вместо несуществующего сценического искусства надо говорить об искусстве актера, в творчестве которого отдельные искусства гармонически сливаются, равномерно подчиняясь главной идее художественного замысла.

Талантливость артиста оказывается именно в богатстве и разнообразии сочетаний всех тех изобразительных средств, какие может он почерпнуть в отдельных искусствах.

Сливаясь в одном образе, как радиусы, сосредоточенные в центре, элементы различных искусств как бы заимствуют нечто от сущности смежных с ними, словно переходя из одного рода в другой, но не растворяясь в нем и сохраняя типические свои индивидуальные черты.

Когда Шаляпин в „Князе Игоре“ поет: „А народу бочку вина выкатить“ и делает ударение на слоге „вы“ — звук его передает в живописи: голосом он рисует картину: вот катится бочка с вином, тяжелая, большая, глухо перекатываясь по деревянному настилу.

Или в „Дон-Кихоте“: — умирающий Дон-Кихот поет: „Вот звездочка“...

Хочется, подняв голову, посмотреть вверх. Чудится, что там, вверху, над освещенным софидом замерцала первая, нежная, вечерняя звезда.

Артист должен быть разнообразно талантлив. И, прежде всего, он должен уметь рисовать. Известно, что знаменитый Тальма очень хорошо рисовал. Сарра Бернар занимается живописью и скульптурой. Шаляпин делает наброски тех образов, какие потом создает на сцене, варьируя первоначальный рисунок в сторону глубины, законченности и выразительности.

Не умея рисовать, не зная законов живописи, артист не создаст точного, индивидуального образа. Стой ли приводить примеры?

В нашей опере все Фаусты похожи один на другого, как близнецы, все Валентины и Русланы размалеваны по одному образцу, созданному вкусом универсального театрального парикмахера.

Я много раз видел „Пиковую даму“, но ни разу не видел Германа, похожего на Наполеона. Конечно, театральному парикмахеру извинительно не знать Пушкина, но для театров, для артистов такая невежественность не совсем удобна. Пушкин несколько раз подчеркнул сходство Германа с Наполеоном

Впрочем, довольно о шаблонах. Они общеизвестны.

VI.

Искусство артиста, понимаемое не в узких пределах актерской техники, но именно как гармоническое сочетание элементов многих искусств, требует богатой одаренности художника, предоставляя ему громадный, неисчерпаемый материал для художественных построений.

Глубина и ценность творчества определяются не только средствами, какими владеет художник, но и охватом его замысла, целями его и намерениями.

Я не сторонник взгляда: „в искусстве важно не что, а как“. Это однобокое, кривое воззрение давно пора сдать в архив родственных ему теорий. В искусстве важно и что и как. Замысел определяет собою исполнение, дает ему глубину ившую значительность. Для кого искусство — забава, развлечение, „грациозная ненужность“, для того — да! — важно „как“. Пусть будет мизерен сюжет, но он так мило выполнен. Ах, очень, очень мило!

Художник, отмеченный Богом, во всем находит глубину, и как только прикасается к вещи обыденной и даже незаметной, — отношение его к ней является сюжетом, проникновение в предмет или явление вырастает до пределов грандиозной темы.

Создавая короля Филиппа II, Шаляпин превращает оперное „лицо“ в явление сверх-театральное. Тут творчество артиста перестает быть творчеством рампы, „искусством авансцены“: недостаточно обычной театральной критики для уразумения его смысла, значения, его красоты и глубины: необходимо применять другие приемы; этот образ должно рассматривать с точки зрения исторической, литературной, философской.

Увы, с этим своим созданием Шаляпин очутился в положении человека, пришедшего на бал танцевать и встретившего там только хромых людей.

Переоплощаешься в иное лицо, Шаляпин не только воссоздает внешний образ, яркий и выразительный: он показывает еще „нечто“, что скрыто внешними линиями и красками, сущность образа, беспредельное, безграничное его содержание.

В этом смысле искусство Шаляпина не имеет границ, в чем каждый может удостовериться, посмотрев его несколько раз под ряд в одной и той же роли. С каждым новым выступлением открывает он новые и новые черты в своем образе. Изучать этот процесс — то же самое, что пройти хороший курс эстетики, отличающийся от прочих курсов тем, что дает подлинное знание и понимание творческого процесса.

„Не тот большой художник, — писал В. Стасов М. Мусорскому, — кто только фиги, руки и ноги знает и умеет, а у кого внутри растет и зреет правда, у кого внутри ревнивое и беспокойное, никогда не замолкающее чувство истины на все, на все“... (Письмо от 1876 г.).

Значение Шаляпина не в том заключается, что он создает образы яркие и совершенные, создает живых людей, не только в этом; во в том, что каждое созданное им лицо, при всей

своей реальности, символично по внутреннему своему содержанию: из-за определенного лица выглядывает лицо человека вообще, пребуждая в нас гармоническое чувство нетленной красоты.

В этом лице — мне хочется сказать: в лице человеческом — Шаляпин показывает новые, неведомые людям черты и заставляет любить их, навсегда врезая их в наше сердце. Видевший его Дон-Кихот или Борис никогда уже не расстанется с ними, не может расстаться, ощущая веяние неизъяснимой духовной красоты.

Вспоминаю я слова одного из величайших гениев наших — М. Мусорского, сказанные им в переписке с В. Стасовым, представляющей глубокое и пламенное *crédo* неукротимого и неутомимого искателя: „художественное изображение одной красоты, в материальном ее значении, — грубое ребячество, детский возраст искусства, — писал М. Мусорский. — *Тончайшие черты природы человека и человеческих масс*, назойливое ковыряние в этих малоизведанных странах и завоевание их — вот настоящее призвание художника. „К новым берегам“ бесстрашно сквозь бурю, мели и подводные камни, „к новым берегам!“... В человеческих массах, как в отдельном человеке, всегда есть тончайшие черты, ускользающие от хватки, черты никем не тронутые: подмечать и изучать их в чтении, в наблюдении, по догадкам, всем нутром изучать и кормить ими человечество, как здоровым блюдом, которого еще не пробовали. Вот задача-то! Восторг и присно восторг!“ (Письмо от 1872 г. Курсив везде — Мусорского).

Несколько лет спустя, Мусорский еще раз повторяет свою мысль, говоря об оправдании. Задача художника: „*Жизнь*, где бы ни оказалась; *правда*, как бы ни была солона; смелая, искренняя речь к людям — à bout portant“...

Эти задачи присущи творчеству Шаляпина, не изменяя ему никогда и ни в чем, но и жизнь и правда служат лишь подножием для тех его замыслов, где пред зрителем открывается какая-то особая жизнь, по отношению к которой жизнь видимая есть лишь слабое отражение.

VII.

Шаляпин — оперный артист, то-есть — певец и актер, следовательно, творчество его определяется соединением двух художественных категорий: музыки (пения) и драмы, слиянием их в неразложимую целостность в моменты творческого процесса.

Эти же категории намечают пути, какими должен идти изучающий творчество Шаляпина.

Остановлюсь на музыкальной стороне его гения.

— Что такое музыка?

Предложите этот вопрос нескольким лицам, и вы услышите:

— Музыка — это когда играют на рояле.

— Музыка — ноты.

Также еще говорят:

— Сыграй на музыке.

Большинство понимает музыку в смысле звуков, извлекаемых из музыкальных инструментов, смешивая форму музыки с содержанием. К этому большинству принадлежит не только широкая публика, но и многое множество специалистов, презрительно окрещенных Мусорским „канцелярии немецкого музыкального цеха вахтерами“.

Ложное представление о музыке глубоко укоренилось, и изменить его очень трудно, тем более, что оно санкционировано многими специалистами-профессионалами или, точнее, — ремесленниками музыкального цеха.

— Что же такое музыка?

Случалось ли вам, сидя в своей комнате у открытого окна, прислушиваться к городскому шуму?

Закройте глаза и прислушайтесь: сначала вы будете различать каждый звук в отдельности. Вот, с грохотом и гулом и звоном, мчится по улице трамвай; вот гудок автомобиля; стук на мостовой извозчичьих дрожек, шаги прохожих: крик разносчика, или бабы: „спелая ягода малина“, в которой чуткий слух Мусорского уловил „септиму не русского происхождения“.

Продолжайте слушать. Постепенно отдельные звуки теряют свою окраску, тускнеют, очертания их слагиваются, стираются; они удаляются и удаляются, сливаясь в нестройный гул; чем дальше, тем становится он стройнее.

Уже можно в нем уловить определенный тон и в нем — основную ноту, звук, выделяющийся из хаоса прежних нестройных, резких шумов, новый и несколько не похожий на них.

Звук этот — звук города, звук жизни, звук движения, ибо жизнь есть беспрерывное движение. Один из исследователей природы музыки, Иосиф Берглингер, в „Восточном сказании о силе музыки“ называет этот основной звук движения звуком „обращения великого колеса времени“.

Можно ли этот звук назвать музыкой? О, конечно, нет. Но музыку образует бесконечное и разнообразное сочетание всех звуков, слышимых в природе.

Весь мир отражается в музыке.

*Печущесть есть в морских волнах,
Гармония в стихийных спорах.
И стройный музикальский шум*



Ф. И. Шаляпин.

Струится в зыбких камышах.
Невозмутимый строй во всем,
Созвучье полное в природе... (Ф. Тютчев).

Кому случалось бывать в степи, тот знает, что степь поет тысячами звуков и их оттенков, почти неуловимых.

Все в природе звучит, все поет. Поет ночь, поет тишина, поет родник в лесу. Всюду звуки, звуки предвечной тайны, всюду и во всем слышен ее вещий голос.

На мир дневной спустился завеса;
Изнемогло движенье; труд уснух;

П. Бучкин.

Над спящим градом, как в вершинах леса,
Проснулся чудный, еженочный гул...
Откуда он, сей гул непостижимый?
Иль смертных дум, освобожденных сном,
Мир бесстелесный, слышный, но незримый,
Теперь роится в хаосе ночном?.. (Ф. Тютчев).

В звуках бьется не только жизнь мира в тот миг, когда мы прислушиваемся к ним, в них скрыто все прошлое и будущее, скрыта вечность; в них слышится звон цепи, соединяющей прошлое с настоящим.

Дано услышать это лишь тому, кто может, забыв день сего дняшний, погрузиться в созерцание звуков хотя бы на краткий миг.

Я там заслушивался пенья
Великих средиземных волн.
И песнь их, как во время дна,
Полна гармонии была,
Когда из их родного лона
Киприда светлая плыла... (Ф. Тютчев).

Эта стихия вечности чувствуется в пении Шаляпина, когда он поет древние напевы, как, например, еврейский гимн на древнееврейском языке. Он пробуждает в нас воспоминания о сожженной солнцем пустыне иудейской, о древней истории древнего народа, о тех людях, которые давно когда-то пели такие же напевы.

Музыка слышится не только во внешней природе, в видимом мире. Музыка таится в самой душе человека, в сокровенных тайниках ее.

Есть целый мир в душе твоей
Таинственно-волшебных дум;
Их заглушит наружный шум,
Дневные ослепят лучи:
Внимай их пенью и молчи!.. (Ф. Тютчев).

Музыка всюду сопровождает нас. В колыбели дитя слышит баюкающий напев матери или няни; вырастая и мужая, с песней живет свой век до могилы, и даже в самую могилу провожают его надгробным пением.

В нашей памяти часто живут одни мотивы, без слов, неизвестно, где слышанные, а, может быть, и не слышанные, но врожденные нам. Вспомнишь какой-нибудь мотив — и он тронет за душу: на мгновение вздохнется и грустно и легко; словно легкое дуновенье овеяло ласкою наше сердце, и на миг мы стали лучше, чище, просветленнее.

Музыка наполняет нашу душу то радостью, то печалью, беспримечательно, невыразимо словом, но реально и ощущимо до боли.

Тайна есть в этом влиянии музыки на сердце человеческое. „Музыка, — говорит Иосиф Берглингер, — то единство искусства, которое сводит все противоречивые движения души на одни стройные созвучия, коими живописует и радость, и скорбь, и отчаяние, и благоговение... создает то светлое состояние души, когда все в природе для нас естественно, истинно, прекрасно... когда мы роднимся со всем живущим и... смотрим на мир, как будто сквозь сумрак приятного сновидения“..

VIII.

Чем же объяснить влияние музыки на нашу душу? Почему в нас заложена такая потребность, жажда музыкальных звуков? Почему даже квартира, где мы не видим музыкального инструмента, кажется нам пустынной, не живой?

...гармонических орудий
Власть беспредельна над душой,
И любят все живые люди
Язык их темный, но родной... (Ф. Тютчев).

Глубочайшие мыслители задумывались над вопросом о влиянии музыки на людей, об ее природе.

Как объяснить таинственную силу созвучий, их связь с нашей душой?

По мнению Шопенгауэра, музыка повествует о сокровенной сущности вещей, говоря о ней всему человечеству единым понятным и прекрасным языком.

Она раскрывает нам извечные тайны мира и человеческого духа, его мучительные терзания, его порывы и взлеты к далекому небу; сверкающей молнией озаряет сокровенные тайники и неведомые бездны души.

„Если все отложить в сторону, — говорит Р. Вагнер в письме Ф. Листу, — если всецело погрузиться в музыку, то пусть же отразится в звуке то, чего нельзя видеть глазами, но что достаточно слуху“.

Те чувства, какие выражает музыка, воплощая их в звуке, через это воплощение углубляются, уточняются и, претворенные музыкой и в музыке, — восходят на степень мировых чувств, пребывающих нас к мировой жизни, к вечности.

Музыку надо переживать; слушать ее нельзя. И тот, кто дает нам возможность, кто помогает нам, кто заставляет нас в мелодии почувствовать тайную стихию музыки, того мы называем великим музыкантом, великим певцом.

„Как самое существо человека, — говорит Шопенгауэр, — в том состоит, что воля его стремится, удовлетворяется и снова стремится, и так непрестанно, даже в этом только и состоит его счастье и благополучие, что такой переход от желания к удовлетворению и от него к новому желанию надвигается быстро... то, соответственно этому, существо мелодии состоит в постоянном уклонении, заблуждении от основного тона, на тысячи путей... но под конец всегда следует возвращение к основному тону“... (А. Шопенгауэр. „Мир, как воля и представление“. Т. I, 269—70).

В музыке мы находим претворение в гармонию борющихся элементов человеческого духа, полнозвучность душевных движений.

Эта полнозвучность слышна в голосе Шаляпина.

Звук его голоса — не один какой-либо звук, взятый в отдельности. По внешним своим очертаниям он не представляет различия от звука вообще. Но содержание, вложенное в схему звука, есть полнота гармонии.

В каждом звуке шаляпинского голоса слышится гармонический аккорд, выражавший полноту и многосиянность мирового духа.

Звук этот красноречив и многозначителен. В нем — трепет стихии, веет в нем дыхание вечности. Он неисчерпаем, бездонен. В нем

...что-то стонет, что-то бьется,
Как в узах заключенный дух,
На волю просится и рвется
И хочет высказаться вслух...

Беспрерывная текучесть чувствуется в голосе Шаляпина, текучесть животворящей, мировой материи, вечно сущей и никогда не иссякающей.

В этом смысле к нему вполне применим данный ему эпитет: „мировой голос“. Да, это — мировой голос. Но не потому мировой, что его знают во всем мире, но потому, что он выражает душу мира, парящую над странами и народами. Англичанин слушает его так же, как и итальянец, находя в нем нечто для себя, как такого. Американцы, французы, немцы находят в этом голосе родственное своей душе содержание.

Этот характер шаляпинского голоса делает его несравнимым, исключая мерки сравнения. Ошибаются те, кто сравнивают, например, по признаку „силы голоса“:

— У такого-то сильнее.

Что же из этого? А у соборного протодьякона еще сильнее, чем у такого-то.

Впрочем, разумеется, каждый судит по-своему

IX.

Человеческая психика, ее полнота, глубина, ее богатство и разнообразие определяются не только теми мыслями и чувствами, какие могут быть выражены словами, но и той темной, таинственной жизнью, которая скрывается за мыслями и чувствами, питая их, углубляя и укрепляя, — сфере подсознательного.

Как часто мы не все можем сказать, что думаем; не все выражать, что чувствуем, не хватает слов, нет нужных выражений, те же, какие у нас имеются, могут обесценить, обеднить или вовсе исказить наши мысли и чувства.

Быть-может, самое глубокое и самое драгоценное в нас это то, что не может быть выражено даже в самом богатом, пышном и многоцветном словесном узоре.

„Мы все должны умереть, не высказавшись, — передает А. О. Смирнова в своих „Записках“ слова Пушкина. — Какой язык человеческий может выразить то, что предвидит и отгадывает душа?“

У глубоких писателей мы очень много читаем „между строк“, читаем то, что хотели они выразить, но не выразили.

„Твердо установлен один существенный факт, — говорит Иванов-Разумник, касаясь творчества Толстого: — в процессе всякого художественного творчества сознательное и часто вверяется себе руководству подсознательных элементов. Я даже так скажу: быть-может, чем больше влияния этих подсознательных элементов, тем больше художественная и всякая иная значимость произведения“. („Творчество и критика“. Т. I, 2).

Работу подсознательных элементов мы находим и в музыкально-творческом гении Шаляпина.

В его голосе живет та темная стихия, что пробуждает наши полуысли, получувствия, вернее, мысли-чувствия и чувства-мысли и эфирные оттенки тонких и сложных сочетаний их.

Богатство обертонов в его голосе соответствует богатству духовных переживаний самых проникновенных и изысканных его слушателей.

Художественное значение музыкальной стороны шаляпинского творчества реальне всего выступает в партиях известных и „запятых“.

Слушая Шаляпина в какой-нибудь знакомой нам партии, слышанной уже нами десять раз, мы вдруг начинаем прозревать новое и неожиданное в том, что нам так знакомо и казалось таким обыкновенным и затертым. Простое в его исполнении становится сложным, поверхностное — глубоким, полным значительных мыслей.

Напомню „Сцену в корчме“ из „Бориса Годунова“.

Вы слыхали песенку пьяного, белого монаха Варлаама: „Едет ён, погоняет ён...“. Так просто, кажется, так обыкновенно это полудремотное, пьяное, бессмысличное бормотанье, которым гг. артисты сопровождают диалог Варлаама с Самозванцем.

Самозванец. Пей, да про себя разумей.

Варлаам. Что мне про себя разуметь! (Пауза). Э-эх!

Садится к столу и начинает: „едет ён...“



«Что мне про себя разуметь! Э—эх!»

Ф. И. Шаляпин (Варлаам) в „Борисе Годунове“.

П. Бучкин

Эту краткую реплику „Что мне про себя разуметь“ Шаляпин произносит с едкой горечью порешенного человека. Еще больше горечи во вздохе: „Э—эх!“ И после паузы начинает петь каким-то хватавшим за душу, унылым голосом: „Едет ён, погоняет ён, ён...“

И вдруг в этих, таких бессмысленных, по видимости, словах открывается глубокий, жуткий, мистический смысл.

„Ён“ — да ведь это он, черный, лукавый, нечистый, — лихо одноглазое. Он „погоняет“, он гонит по корчмам, по прозябшим дорогам, на распутия, в холод, в голод, в стужу, в черную ночь.

Он же и загнал несчастных бродяг сюда, на край родной земли, к Литовской границе, где для них, собственно, и край света.

И вот, на наших глазах, пьяный Варлаам, изображаемый обычно комическим персонажем, превращается в лицо трагическое, покорное, подобно героям греческой трагедии, велениям неотвратимого Рока, — „горя-злосчастья“.

Варлаам-Шаляпин не возбуждает смеха. Его горькая судьба начинает щемить сердце. Этот переворот в наших представлениях произведен только звуком его голоса, в котором все слышится, вся биография Варлаама: бездолье, вой ветра на дорогах, голод, холод, бесприютность, жалоба и тоска — исконная русская биография всех наших бездомовников и скитальцев.

Но, кроме того, еще что-то слышится в звуках шаляпинского голоса, не одна тоска, не одно уныние. Это „что-то“ сам Мусоргский определил как „зарождение смутного времени в бродягах“ (Письмо к Стасову от 6-го сент. 1873 г.).

Шаляпинское толкование, углубление темы — не вольность артиста, но прозорливость, отвечающая замыслу композитора. О песенке Варлаама Мусоргский писал Стасову: „Обдумывается бродяжная новость и новость, из новостей новость“. (Письмо от 11-го сент. 1871 г.).

Чтобы понять Варлаама, надо знать народ, надо постигать душу его, и тогда только откроется какая-то правда о нем.

„Черноземные силы проявятся, когда до самого днища ковырнешь“, не познакомиться с народом, а побрататься жаждется: страшно, а хорошо... (Мусоргский).

Существуют произведения, десятками лет ждущие своего комментатора. К таким художественным созданием принадлежит и Варлаам, не понятый в год его создания даже П. Чайковским, не говоря уже о прочих. (Письмо к Стасову от 26-го сент. 1871 г.).

Почему мы, слушая песню Варлаама в исполнении других певцов, не испытываем ничего такого, что переживаем, слушая Шаляпина? Почему?

Потому, что мы слышим в его голосе музыку, которую напитана партитура Мусоргского, создавшего „в живой музыке живых людей“, а музыка „в чувстве, выраженнем словами или в действии, представляемом оперою...“ открывает глубочайшие, последние и сокровеннейшие истины, — высказывает их действительную и истинную сущность и открывает нам „затаенную душу событий“, только оболочку и тело которых представляет сцена... (А. Шопенгауэр. „Мир, как воля и представление“. Т. II, 547).

Затаенную душу событий прежде всего и изображает Шаляпин, погружая слушателей в подсознательный мир и композитора и своей.

Это в нем „изнутри“.

В одном из писем к Листу Вагнер писал:

„Творчество—музыкальный талант—представляется мне колоколом, который издает полный звук только тогда, когда его раскачет соответственная сила. Сила эта внутренняя, и там, где она исходит не изнутри, там она вовсе не существует“

X.

Варлаам—одно из замечательных созданий Мусоргского. Изучая его и изучая воссоздание его Шаляпиным, мы можем постигнуть истинный смысл творчества обоих наших великих художников, взаимно освещаяющих друг друга.

Определяя характер творчества Мусоргского, В. Стасов писал ему: „Вы ищете... не техники, не музыки, а глубокого внутреннего склада...“ (Письмо Стасова от 16-го авг. 1876 г.).

„Глубокий внутренний склад“ — это же и есть шопенгауэрская „затаенная душа событий“, которая так наглядно может быть иллюстрирована Варлаамом.

Однажды мне возразили:

— Хорошо. Но эта „затаенная душа“ Варлаама дана в музыке Мусоргского. В чем же заслуга Шаляпина?

Правда, Мусоргский постиг и выразил эту душу, но только Шаляпин проник в нее и воссоздал ее во всей глубине мистической ее природы. Мусоргский совершил первично-творческий акт. Шаляпин—вторично-творческий, столь же углубленный и значительный, как и первый. Оба они равнозначны.

Если мы захотим найти аналогию в литературе, мы вспомним тему о Дон-Жуане, разработанную Тирсо де-Молино, де-Понте, Байроном, Мольером, Гольдони, Пушкиным, Алексеем Толстым и проч.

Одна тема — но различны способы и средства ее выражения, нисколько не умаляющие других, противоположных.

К Мусоргскому и Шаляпину можно одинаково применить слова Вакенродера: „Одаренные высшими взорами видят в искусстве не одну простую задачу—из данных звуков составить правильно стrophicное здание, и не в этом высочайшая цель их искусства: они движут огромными составами звуков и, как чудесными красками, живописуют ими слуху...“ („Размышления отшельника, любителя изящного“).

Всякая мелодия (я разумею подлинно-музыкальную мелодию) представляет собою не чередование звуков разной высоты и тональности, подчиненное законам музыки, но выражение некоторой тайной сущности вещей, явлений и событий, она — „квинтэссенция жизни“.

Поэтому и задача музыканта и певца не в том только состоит, чтобы передать внешнюю сторону мелодии, именно, чередование звуков, соединенных в определенном музыкальном рисунке, но показать нам то чувство, то настроение, какие скрыты в звуках мысли, одухотворяющую их.

Мы знаем изысканных виртуозов, блестящая игра которых оставляет нас спокойными; знаем таких же певцов и певиц. Мы, конечно, отаем должную дань их трудолюбию и искусству признавая высокое совершенство их техники, но душа напраивается спокойной. Она не взъярвана. Не потрясена. Она холода. В ней не задета ни одна струна.

Также знаем мы музыкантов и певцов, которые в техническом отношении не могут соперничать с виртуозами, но в исполнении их есть что-то, что западает в наше сердце, что уносим мы с собою, и что постоянно живет с нами и в нас. Это „что-то“ одни называют „теплотой“, другие „задушевностью“ третья — „чувством“. Этими, столь обыкновенными, общими словами жителей словами люди выражают великий дух музыки, не выражимый словом.

В шаляпинском голосе соединились: совершенство виртуоза и то, что западает в душу“.

Голос его — безукоризненный благородный инструмент, доведенный им до последнего совершенства.

У большинства певцов техника — цель их вокального развития. Я знаю людей даже среди них и музыкальных критиков, которые восхищаются трелями Баттистини. „Помилуйте, баритон — и вдруг — трели. Это прямо замечательно“, хотя, по совести, ничего замечательного в этом нет.

Техника Шаляпина настолько изощрена и утончена, что она незаметна. Ее трудно сразу разгадать. Этим свойством она сближается с техникой Чехова, которую даже Толстой не мог сразу уловить, но, уловив, пришел в восторг.

Вокальная техника Шаляпина не цель, но средство, одно из тех могучих средств, какими пользуется он, создавая свои образы. Она — способ его художественного выражения, проводник его художественной мысли.

Многие до сих пор не могут понять его техники и говорят, что Шаляпин заменяет пение речитативами, декламацией.

Возражать против этого не стоит: всегда есть люди, до которых „поздно доходит“. Разве в свое время присяжные критики не писали о „Князе Игоре“ Бородина, что некоторые места в нем написаны „шваброко или помелом“. Ведь и недавно умерший Ц. Кюи писал же о „Борисе Годунове“, что в нем „рубленный речитатив и разрозненность музыкальных мыслей, делающая местами оперу попурриобразной“

XI.

Когда Шаляпин поет, то слова, произносимые им, представления и образы, рождаемые словом, даны уже, существуют в голосе, силуэты их очерчиваются в многоцветной окраске тембра.

В „Русалке“ он поет:

— Была когда-то родная дочь, отрада жизни, утеша дней. Ее любил я, вот видит Бог...

И эта самая любовь несчастного отца и мука воспоминания предшествуют слову в звуке, в тембре голоса, являясь фоном, на котором слово выступает с выпуклой выразительностью.

Слово становится необыкновенно пластичным, рождая яркий образ.

Это свойство шаляпинского гения может быть объяснено философией музыки. „Из близкого отношения музыки к действительной сущности всех вещей,—говорит Шопенгауэр,— можно объяснить и то, что, когда при какой-либо сцене, действии, событии, обстоятельстве, звучит соответственная музыка, то последняя словно раскрывает нам сокровеннейший смысл оного, являясь к нему вернейшим и яснейшим комментарием“. („Мир, как воля и представление“. Т. I. 272).

Певец всегда сотворит, сотрудничает с композитором. Чем выше, совершеннее дар композитора, тем значительнее его произведение, тем большие и труднейшие задачи назначено осуществить певцу.

Каждый певец — комментатор композитора; но он может или углубить его замысел, или сделать его плоским, банальным, поступить, как „мальяр презренный“, что „пачкает картину Рафаеля“.

Н. А. Римский-Корсаков пишет о представлении „Псковитянки“, в Москве у Мамонтова: „Псковитянка“ имела успех, благодаря высокодаровитому Шаляпину, маэстроенно созданному артисту Ивану“. („Летопись моей музыкальной жизни“. 2-е изд., стр. 305).

И, еще несколько раз упоминая о „Псковитянке“, он называет Шаляпина.

Исследуя вопрос об отношении артиста к данному ему материалу, именно, к партитуре композитора, можно выяснить, помимо стихийных, лежащих вне воли артиста, и индивидуальные его свойства, присущие ему одному.

Мне приходилось слышать такие рассуждения:

— Шаляпин не сам поет. Это у него — свыше. А он сам не при чем. Талант. Если бы мне такой талант — и я запел бы.

Таков часто встречающийся обычательский взгляд.

Вдохновение—вдохновением, талант—талантом, но выражение таланта и цели, им достигаемые или, по крайней мере, поставленные—зависят от художника.

Напомню о бесчисленных черновых тетрадях Пушкина; о том, что Толстой семь раз переписал „Войну и мир“ прежде, чем опубликовал роман. А уж Толстой ли не гений? Казалось бы: так просто—сделал и написал.

Необыкновенная трудность творчества, „муки творчества“ и заключаются в напряженной работе над выявлением тех звуков и штрихов, что скрыты в подсознательной области художника.

Одно только „уже наблюдение,—замечает проф. И. Лапшин,— в процессе перевоплощения включает в себя активный момент“ (курсив И. Лапшина).

Представим, что Шаляпин творит только под внушением свыше, что на него нисходит вдохновение, что он слепой исполнитель велений неведомой силы.

Как же мы объясним в этом случае не только новое толкование мелодии, но и проникновение ею, ее содержанием сценического действия и мельчайших оттенков его? Как достигнуто им то, что Вагнер называл „пластическим отношением между музыкой, текстом и сценическим действием“?

Возьмем для примера „Заклинание цветов“ из „Фауста“

До Шаляпина эта сцена проходила незаметно даже в исполнении такого большого мастера сцены, как Стравинский.

Шаляпин выдвинул ее на первое место, дав ей новое освещение.

Пусть выполнено это стихийно, бессознательно. Но то, что сцену заклинания надо было выдвинуть, — ибо она — центральная в „Фаусте“: с нее начинается падение Маргариты, переворот в душе Фауста при ярко выраженным посредничестве Мефистофеля — показывает, что обработка этой сцены есть результат сознательной деятельности артиста, его рассуждения, размышления, работы его ума, вкуса и художественной зоркости.

По меткому выражению Владимира Соловьева, — «гений действует не от ума, но с умом».

Какие бы стороны шаляпинского гения ни участвовали в создании им его образов, сознательные ли или бессознательные — не все ли это равно в конце концов?

Мы видим образы необыкновенной глубины, силы и красоты.

Хотел ли Шаляпин так спеть пролог в „Паяцах“, как пел, или же „спелось“?

Пусть решают эти вопросы те, кто хочет музыку „разъять, как труп“, и кого Мусоргский раздраженно обозвал „симфоническими попами“.

Сила музыкально-творческого таланта Шаляпина проявляется с особенной наглядностью, когда приходится ему давать жизнь немощным, в музыкальном отношении, созданиям, как, например, в „Дон-Кихоте“.

Бледные и тусклые музыкальные фразы, в исполнении Шаляпина, получают новую, прекрасную жизнь.

В этом могущество таланта — величие Шаляпина-певца.

Своим пением он населяет нашу душу точнейшими, эфирными переживаниями, он показывает нам музыку такой реальной, такой бесспорной, что она начинает казаться почти доказуемой, подобно геометрической теореме.

В его пении нам как бы открывается окно в вечность; в его голосе мы ощущаем точку прикосновения к мирам иным, к невыразимо-задушевному музыки. Она „предносится пред нами, как вполне знакомый и тем не менее вечно далекий рай, создавая... все движения нашего сокровеннейшего существа, но без всякой действительности и вдали от ее мучений“ (Шопенгаузер).

Однако, пение Шаляпина требует от слушателя не простого слушания — „сидим и слушаем“, но высшей формы погружения в звуки, какую Римский-Корсаков назвал „звукосозерцанием“.

Только в зукосозерцании открывается тайна вокального искусства Шаляпина, гармонических созвучий его голоса, рожденных божественной стихией музыки, все богатство обертонов его голоса, в которых мыслимый хаос мирового движения превращается в гармоническую стихию.

XII.

Какой голос у Шаляпина? Как его называть?

Многие называют его басом. Профессора пения — „basso cantante“.

На вопрос о том, какой у него голос, Шаляпин ответил:
— Не знаю. Некоторые говорят, что бас. Кто его знает, какой?

В XXXIX главе второго тома „Мир, как воля и представление“, названной: „К метафизике музыки“, Шопенгаузер определяет четыре основных голоса, т.-е. бас, тенор, альт и сопрано, говоря, что они соответствуют четырем степеням



„О, Санхо, остров тот — мечта!“

Ф. И. Шаляпин в „Дон-Кихоте“.

П. Бучкин.

в ряду существ — царству минералов, растений, животных и человека.

Согласно физической теории, лежащей в основе музыки, — „музыкальный элемент звуков заключается в пропорции быстроты их вибрации, а не в их относительной силе“. Вследствие того, что „музыкальный слух в гармонии всегда следует преимущественно за самым высоким звуком, а не за самым сильным“, — поэтому, даже при сильном аккомпанементе оркестра, наше внимание останавливается на себе сопрано; поэтому сопрано получает естественное право на развитие мелодии... Его противоположность, по тем же самым причинам в обратной постановке, является тяжелый и мало подвижный бас... Как такой и в своей собственной природе, никогда не может вести мелодию... Несестественность мелодии, которая ведется басом, приводит к тому, что басовые арии с полным аккомпанементом никогда не дают нам такого чистого и безмятежного наслаждения, как арии сопрано“...

Мнение Шопенгаузера можно принять, поскольку речь идет о басах и сопрано, как таковых, как о замкнутых, определенных категориях голосов, с присущими им функциями.

Когда же мы спросим себя, к какой категории относится голос Шаляпина, мы очутимся в положении чеховского героя, желавшего создать в своем воображении образ красавицы, которую он только-что поцеловал в темной комнате, не успев разглядеть ее лица: глядя на сидевших за столом женщин,

он думал: если у этой взять нос, у этой — глаза, у той — виски, а у этой вот — руки, у той — голос — и соединить все вместе,—тогда получится та самая красавица, которой он не видел.

Так и с голосом Шаляпина. Соединить вместе глубину баса, подвижность сопрано, мягкостьтенора — будет его голос.

Если я назову его только басом, как я смогу, не погрешая против истины, применить к нему слова Шопенгауэра: „басовые арии с полным аккомпанементом никогда не дают нам такого чистого и безмятежного наслаждения, как арии сопрано“?

А серенада Дон-Кихота?

Но сказать, что Шопенгауэр не прав — я тоже не могу: его теория покоятся на физическом законе Гельмгольца. Отвергать мнение Шопенгауэра равносильно отрицанию физического закона, что не сделает мои слова особенно убедительными и Шаляпину славы не прибавит.

„Amicus Plato“...

Дело в том, что у Шаляпина вовсе не бас, не бас с баритоновым оттенком и не баритон с басовым или, как еще там называют, а просто человеческий голос, вождь труппы.

В. В. Розанов, услыхав Шаляпина, писал, что „про тенора можно сказать, что он „заливается“, когда поет, а про баса этого не скажешь. А я в концерте слушал Шаляпина, который — „бас“ и заливается больше, чем любой тенор. Не слыхал еще таких голосов. Сила баса и мягкость тенора“.

Действительно, иногда невозможно определить, каким голосом поет Шаляпин? Каким голосом он поет серенаду Дон-Кихота? Или же „смерть Бориса“? Что это? Бас? Баритон? Тенор?

Ни одно из этих определений не годится. Мы слышим человеческий голос, и этот голос прекрасен. Он поет не только на сцене; он поет в душе слушателя. Кажется, самый воздух поет, пронизанный светлыми лучами.

Голос Шаляпина — палитра художника, владеющего всеми стилями великих мастеров, всеми способами письма. Его вокальное искусство — живопись звуками, которые так же ярки, как и краски, видимые глазом.

XIII.

Пение Шаляпина тесно соединено со словом. Звук и слово в его творчестве неразрывны, нераздельны, одинаково ценные и выразительны.

Шаляпин ревниво хранит ясность и чистоту слова, ценя его самодовлеющую сущность. Он резко очерчивает границы слова, пользуясь им, как совершенной формой выражения.

Он, великий мастер ясной формы, выразительных, запоминающихся линий, четких рисунков, чеканит словесную форму, гравит ее, обтачивает, доводит до кристальной чистоты и прозрачности.

У него нет пустых, неясных слов, но каждое — скульптурно.

В его пении мы не услышим:

На земле весь род людской
Щит один кумир священный...

Но всегда: „*чтит* один кумир“.

В его произношении мы слышим два *и*, когда они встречаются, слышим *и*, *и*, — „нам“, „он“, а никак не „на“ и „о“.

Его буквы все „мускульно воспитаны“. Каждое слово поэтому ясно, светло, кругло и четко, как бусы ожерелья.

Он дает почувствовать всю красоту и звучность и образность русской речи.

Блеск его произношения сияет особенно, когда ему приходится произносить слова великих мастеров, например, Пушкина. Драгоценная словесная ткань поэта развертывается во всей красоте ее узоров, во всей пышности цветов. Пушкинский стих, произнесенный Шаляпиним, звучит еще обворожительнее, еще прекраснее и музыкальнее.

„Перевознчины звуков у Пушкина несравнимы, — пишет Андрей Белый, — огромны; и, входя в жизнь согласных и гласных, поэзии Пушкина, отступаешь в немом изумлении: грандиозны, воистину титаничны, прозрачны по смыслу созвучия Пушкина“.

Перевознчины пушкинских звуков, гармония его стиха явственно слышится, когда Шаляпин поет:

... Ребенком будущим, когда высоко
Звучал орган в старинной церкви нашей,
Я слушал и заслушивался, слезы
Невольные и тайные текли...

Музыкальная стихия Пушкина, соприкасаясь с музыкальной стихией Шаляпина, выражается в необыкновенно-гармонических, глубинных звуках.

Точность и ясность шаляпинского произношения служит для него одним из богатых средств, какими вводят он нас во внутренний мир его образов.

Слово и звук сливаются в божественную стройность, дополняя взаимно друг друга, проницая, пронизывая своими лучами.

Нашими оперными певцами мы приучены к противоположному. О них можно сказать то же самое, что говорил Вагнер о современных ему немецких оперных артистах: они „приучились совершенно упускать из виду связь между словом и музыкой и с акцентированной нотой мелодии соединять самые безразличные слоги, а слова, имеющие важнейшее значение, сочетать с второстепенными в ритмическом смысле нотами. Они до такой степени привыкли к этой бессмыслице, что часто для нас уже совершенно безразлично, произносят ли они, вообще, что-нибудь или нет“. (Письмо к Листу от 1850 г.).

В природе слова, как и в природе звука заложена глубокая тайна. „В начале было Слово“. В настоящее время появились даже работы, считающие слово началом, первоначальной, основной формой всех искусств.

Большинство ассоциаций, вызванных музыкой и рожденных словом, родственны между собою.

Родственны они в их философской сущности, родственны и в творчестве Шаляпина. Его музыка (пение) обладает красноречием самого выразительного слова; слово его хранит безбрежную стихию музыки.

Своим словом Шаляпин создает неуловимые, неопределенные почти черты определенного стиля; в слове его иногда веет дыхание минувших столетий, характерные особенности эпохи.

В монахи царь идет...

„В монахи“ — Шаляпин произносит сильно на „о“, давая слову церковно-славянский оттенок. Так, только так мог произносить царь, живший в долгоруковскую эпоху; „в монахи“ — торжественный конец земной жизни, отречение от прошлого; в этом слове Шаляпин показывает сумрак монашеской кельи, строгость длинных монашеских одежд.

Или в „Князе Игоре“:

Только бы мне да эту долю...

И все тут. И ухарство, и пьяная усмешка князя Галицкого, и лужавые морщики возле прищуренных глаз, и весь этот веселый циник, не лишенный, однако, по признанию А. Бородина, своеобразной элегантности, — встает перед нами; и не только сам он, но и летописное время, когда князья в пирах со своей челядью в угарном пьянстве вместе с нею почерпали основы государственной мудрости.

Еще один пример: „Песня о блоке“.

Жил-был король когда-то...

Слову „когда-то“ Шаляпин придает налет отдаленной старины; „когда-то“ — это незапамятные, легендарные времена, о каких повествовал Мефистофель веселым студентам в погребке Ауэрбаха.

XIV.

Есть чувства, мысли и настроения, не выражимые ни словом ни звуком. Их выражает молчание, пауза, этот тонкий художественный прием многозначительного умолчания, которым пользуются, начиная с Эсхила и Аристофана и кончая Ибсеном и Чеховым.

В музыке пауза есть перерыв музыкально-поэтической фразы, молчание, отделяющее одну фразу от другой.

В исполнении артиста пауза может быть или простым механическим перерывом, облегчающим вокальную технику, давая возможность в ожидании „нового вступления“ „перевести духа“, что мы наблюдаем слишком часто; или красноречивым изобразительным средством, столь же мощным, как и пение.

Паузы Шаляпина стоят на уровне его пения. В его молчании не прекращается ни на минуту движение жизни, не прерывается творческий процесс, но, напротив, молчанием подчеркивается его течение.

Паузы Шаляпина выражают и глубокий перелом настроения и тончайшие оттенки психологического рисунка.

Пауза представляет неизмеримо трудную задачу, быть может, более трудную, нежели выразительное пение. Содержание паузы определяется не той или иной длительностью молчания, но предшествующими и последующими интонациями артиста. Последующая — всегда иная, всегда богаче, полнее предшествующей; в ней есть что-то новое, приобретенное, заимствованное в молчании, новая сложность, новый оттенок.

Достойны примечания и изучения паузы в „Борисе Годунове“.

Шаляпин-Борис поет:

Как с облаков, единым взором
Ты можешь обозреть границы, реки, грады...

Пауза. Она хранит державный восторг перед могуществом знания: „Как с облаков...“. Но отвлеченнное чувство радости, рожденной силой науки, сменяется сумрачными мыслями о себе, о своем царстве, о тяжести власти, которую может облегчить наука.

Все эти чувства проходят в молчании Шаляпина-Бориса. Он показывает их новой интонацией:

Учись, Феодор...

И после паузы, во время которой стущаются мрачные тучи в душе Бориса при мысли о близком конце и о своем наследнике, новым, глухим голосом полным мрачных предчувствий, Шаляпин поет:

Когда-нибудь—и скоро, может быть,
Тебе все это дарство достанется...

Пауза. Тут Борис как бы вспоминает о слабости, о неопытности, о молодости сына и, отвлекаясь от себя, с грустной лаской замечает:

Учись, дитя...

Та же содержательность пауз выдвинута Шаляпиным в сцене смерти Бориса, где из пауз и пения он набрасывает сложный, потрясающий своей глубиной и правдой, психологический рисунок последних минут несчастного царя.

Замечательны его паузы в „Дон-Карлосе“, эти безмолвные лейт-мотивы в характеристике сурового повелителя Испании, в „Псковитянке“, в „Моцарте и Сальери“, в „Паяцах“.

Иногда Шаляпину приходится лавировать между необходимости паузы и логической и психологической и между отсутствием ее в произведении композитора и наоборот. В качестве примера для первого случая укажу на арию царя Ивана в „Псковитянке“, где два различные настроения не отделены одно от другого необходимой паузой. Здесь Шаляпин отсутствие пауз заменяет сильным переломом интонации.

Второй случай иллюстрирует „Анчар“ Римского-Корсакова. Тут в первом издании была лишняя удлиненная пауза после слов: „Анчар, как грозный часовой, стоит“... Пауза. Тогда как логическое ударение требовало паузы после слова „один“: „стоит один... (пауза) во всей вселенной“.

Шаляпин пользуется паузами, как тонким средством для углубления настроения, для нарастания психологического эффекта.

Но в данном случае ему приходит на помощь его актерский гений: мимика, жест, поза — все соединяется, чтобы придать паузе необыкновенную силу и выразительность.

XV.

Для того, чтобы узнать вкус вина, нет надобности выпить целую бочку. Достаточно и стакана. Поэтому я не буду говорить о всех образах, нарисованных голосом Шаляпина, а остановлюсь на одном, в котором рельефно выступают все свойства его, как певца.

Когда говорят о Шаляпине, как о певце, т.е., как о камерном исполнителе, перечисляют крупные вещи, баллады, музыкальные картины, как, например, „Судьба“ Рахманинова, все те арии и романсы, какие значатся в каталогах граммофонных пластинок.

Я остановлюсь на одном произведении Даргомыжского, очень хорошо известном всем в качестве „комической песни“ — на „Титулярном советнике“

Он был титулярный советник,
Она — генеральская дочь...

Шаляпин тонко оттеняет кажущуюся заурядность, простоту начала. Что может быть проще, обыденнее? Есть титулярный советник и есть генеральская дочь.

* * *

Дни избранья,
Обаянья,
Цни всезнанья,
Счастья дни!
Вы в молчанье,
В осияньи,
Вы в страданье,
Как огни!
Ваши звенья
И сплетенья,—
Как творенья
Жизни сна.
Вы — прозренья,
Воскрыленья,
Озаренья, —
Как она!

Николай Морозов.

И вдруг одним неожиданным мастерским мазком, одной интонацией Шаляпин в этой обыденности открывает глубокую драму:

Он робко в любви ей признался,
Она прогнала его прочь..

Что ни слово, что ни звук — то морщика робости, страдания и последней решимости — „хватило духа“
Какая же это „комическая песня“?

Тут веет дыхание Достоевского. Ведь этот титулярный советник — один из его „Бедных людей“, из „Униженных и оскорблённых“. Ведь это его герой — Макар Девушкин. Или еще страшнее: голевский Акакий Акакьевич в роли Ромео.

Тип по преимуществу петербургский, петербургского периода нашей истории, порождение канцелярии и тумана на болоте Смешон, но и грустен, но и страшен этот канцелярский роман:

Она прогнала его прочь...

Скука, удивление, негодование, насмешка, презрительная, брезгливая гримаска петербургской барышни — таковы те оттенки, такими расцвечивает Шаляпин четыре слова, такие обыкновенные, такие заурядные: „она прогнала его прочь“.

И дальше со щемящей сердце, грустной усмешкой рисует голосом Шаляпина понуро будущего неудачного канцелярского Ромео. Кажется, видишь его су туые, робкие плечи. Еще меньше в росте своем стал он, съежился, сгорбился.

Попых титулярный советник
И пьянствовал целую ночь *)...

Сколько отчаяния, горя и тоски вкладывает Шаляпин в эти слова!

И вслед затем загадочно-тайным тоном доказывает он конец этой истории:

И в винном тумане носилась
Пред ним генеральская дочь...

Мы видим винный угар, дышим ядовитыми испарениями зелена-вины, радикального исконно-русского средства от всякого страдания, чувствуем этот пьяный, страшный полуబред, полуявль, в котором так много нашего близкого, родного.

Сколько певцов исполняет эту „комическую песню“, не подозревая истинного ее содержания и в простоте душевной и впрямь считая ее комической!

И только Шаляпин, этот романтик нашей сцены, увидел сквозь смешную оболочку лицо страдающего человека, раненого на смерть мукой неразделенной и отвергнутой любви.

Так же, как в пьяном Вартааме увидели мы трагическое лицо, так и в „Титулярном советнике“ спадает, как шелуха, смешная маска и прямо на нас смотрят измученное лицо человека.

Наша это трагедия, русская, часто такая смешная и нелепая для поверхностного взора. Наше это — „горьким смехом моим посмеяся“.

Чуткость и зоркость артиста проникли вглубь, за те пределы, где кончается для других тема, где она исчерпана вся, но где начинается созерцание и прозорливое „испытуто“.

Восприятие Шаляпина выводит его из ряда певцов и приобщает его к нашим литературным печальникам, хранящим благородную традицию любовного внимания ко всем страждущим и угнетенным.

(Окончание следует).

*) Цитировано по роману Даргомыжского.

* * *

Если были бы крылья,
Унеслась бы далеко...
Но напрасны усилия—
Есть веления Рока.

Да, мой круг заколдован,
И давно в нем стою я.
Кто был Роком не скован,
Прожил жизнь, не тоскуя?

Что ж любовью свою
Не снимаешь заклятья?
Ведь я гасну, бледнею,
Близки смерти обятья...

Или тоже ты скован
Злою волею Рока?
И твой круг заколдован?
И душой ты далеко?

Ксения Морозова.

Отец Паделла.

Из рассказов Луниджаны *).

Александра Амфитеатрова.

Отец Паделла, до Леричи, был приходским священником в маленьком горном селении. Надоело ему там и жить и служить. Вот он и придумал штуку. Каждое воскресенье взойдет на кафедру, произнесет с важностью:

— Мессу! Вечерню! И время от времени катихизис!

И службе конец. Улизнет из церкви и — прощай до будущего воскресенья!

Так туглял он неделю за неделю. Наконец прихожане обозлились и послали депутатию — жаловаться на священника архиепископу.

— Чем именно вы недовольны? — спросил архиепископ.

— Помилуйте, ваше преосвященство! Он ничего не делает и совсем не пасет наши души. Каждое воскресенье скажет нам „ messu, вечерну и время от времени катихизис“, — и был таков, и тугляет потом целую неделю...

— Друзья мои, вы сами не знаете, чего просите. Если ваш священник каждое воскресенье скажет вам мессу, вечерну и время от времени катихизис — этого более чем достаточно для такого маленького прихода, как ваш.

Депутация ушла ни с чем, страшно недовольная архиепископом и замышляя отомстить. Вот, обезъязвя свою епархию, архиепископ пожаловал однажды и в это захолустье. Прихожане, им обиженные, взяли да и налили в чашу со святым водою самого крутого кипятку. Архиепископ, конечно, как вошел в церковь, сейчас же окунул пальцы в святую воду. А синдако (староста, голова),шедший за ним следом, как подтолкнет его. Вся рука по локоть ушла в кипяток. Обварился архиепископ. Каф закричит:

— Ай! ай! ай!

А отец Паделла не потерял удобного случая:

— Ваше преосвященство, теперь сами видите, каков здесь народец. А я вот должен жить с ними — и даже не жадуюсь.

— Ты совершенно прав, друг мой, — сказал архиепископ. — Пора вознаградить тебя за все твоё долготерпение. Даю тебе приход в Леричи. Ну, а вы не скоро дождитесь от меня другого священника!..

В Леричи отец Паделла тоже сперва не угодил прихожанам. Они тоже ходили на него жаловаться и тоже вернулись с носом. архиепископ-то ведь уже знал, какое сокровище имеет он в отце Паделле. А Паделла проводил об их неудаче и, в следующее воскресенье, произнес проповедь:

— Любезные братья, нет человека, который был бы по вкусу всем и каждому. Сдается мне, что я не нравлюсь некоторым из прихожан. Эти добрые люди жаловались на меня архиепископу. Они сказали ему, что я дурак. Архиепископ знал это, друзья мои. Именно потому он и назначил меня к вам в Леричи. Будь я хоть чуточку поумнее, он назначил бы меня к более порядочным людям. Но, глуп ли, умен ли, я здесь по воле архиепископа и — будь я хоть сам дьявол — вы обязаны уважать во мне представителя Божия!

Однажды отец Паделла произнес воскресную проповедь на тему об искушении Иисуса Христа дьяволом в пустыне.

— Итак, любезные братья, — повествовал он, — дьявол вознес Господа на высокую-превысокую гору и показал Ему все царства земные. „Поклонись мне, — воскликнул он, — и я все отдаю Тебе! Бери Европу, бери Азию, Африку и Америку. Бери Милан и Рим. Бери Геную и Специю. Бери всю Луниджану: Портовенере, Феццано и Марола. Только Леричи не отдашь: надо же и мне где-нибудь жить, а это самая любимая моя вотчина!“

*) Область Луниджана — обширная береговая полоса по Средиземному морю, которую Лигурия переливается в Тоскану, — начинается там, где кончается Боскочная Ривьера, и кончается там, где начинается Тосканское побережье. Название свое Луниджана берет от римского города Луни, в эпоху империи славившегося своими мраморными ломками, сейчас представляющим собою живописную горную деревушку близ мало исследованных развалин. Народное название Специйского залива — до сих пор римское: Golfo di Luni, Golfo Lunese. Население в Луниджане очень интересное, смешанное, грядко более итальянское, т.е. латинское, чем в северной Лигурии. Итальянский язык здесь уже более чист, чем господствующее на Ривьере генуэзское наречие (Zenesca), хотя до тосканской речи ему, конечно, очень далеко. Народ земледельческий, состоятельный, самостоятельный, скромный и сдержаный, но довольно веселый и острумый. Большие и добродушные насыщники: каждая община рассказывает про другую самые удивительные истории, хранят колкие пословицы, поговорки и присловия. Особенно достается жителям Леричи, довольно известного местечка на берегу Специйского залива, прославленного тем, что в нем когда-то жил Байрон. Леричи — место большой красоты, но дурной славы. Пожелат кому-нибудь жильца из Леричи равносильно нашему — „замениши ван во двор!“ Репутация леричана, одновременно, и плутовская (в роде: „Орел да Кромы первые воры“), и дурацкая (в роде: „пощеконец“). Спросите лигурийца: „Вы родом не из Леричи?“ — равнодушно тому, чтобы вежливо обругать жуликом. Сверх того, почему-то с счастливым местом этим связано множество анекдотов о духовенстве — в особенности, врачающихся около полулегендарной, полуисторической личности какого-то отца Паделлы (Dom Padella; Padella значит Скворода), будто бы священствовавшего здесь лет пятьдесят тому назад. Это любимая комическая фигура луниджского фольклора.

(Существует почти дословный русский вариант:

„Когда дьявол искушал Иисуса Христа в пустыне, то уступал ему все города земные, а Тулу да Рязань хвостом прикрыл. Потому, говорит, ребята уж больно хороши, самому нужны!“)

В другой раз, отец Паделла проповедывал о страшном суде.

— Итак, любезные братья мои, всем нам будет суд в Иосафатовой долине. Да слушайте вы там, дьяволы! Ведь всех, всех будут судить, несчастная вы пыталась! Скверная штука, братья мои, — уж поверьте мне на слово: прескверная штука! И меня, который вам проповедует, тоже ждет суд, как и других. Господь Бог возвозет ко мне:

— Эй, поп из Леричи! Ну-ка, где ты? Эй!

— А я, братья, ни гу-гу в ответ, а забьюсь куда-нибудь в самую, что ни есть, глухую нору.

(Отец Паделла, присев, прячется за кафедрой).

— Эй! Поп из Леричи! Эй! Эй! Эй!

— А я, любезные братья, сижу в норе да молчу.

— Постой же ты! — скажет Господь Бог. — Ты думаешь, Я тебя не вижу? Вот Я тебя!

— Тут он, любезные братья, протянет десницу, да и вытащит меня за волосы!

(Отец Паделла вырастает на кафедре, представляя человека, которого тащат за волосы).

— И уж тут, братья мои, дело совсем табак, потому что Господь Бог скажет мне:

— Ну, поп из Леричи, отвечай-ка, что ты сделал из твоей паства?

— А я, любезные братья, отвечу:

— Господи, скотами Ты вручил мне их, скотами я Тебе их и возвращаю!..“

Кафедра в церкви была расположена так, что, взойдя на нее, отец Паделла видел в окно внутренность своего дома и все, что делается на кухне. А покушать он любил. Вот однажды — уже на кафедре — видит он ужасное зрелище: кухарка его задремала у очага, и поросенок, которого она жарит на вертеле, сейчас подгорит. Не долго думая, отец Паделла сочинил следующую проповедь:

— Любезные братья, я знаю, что все вы честные люди и ни один из вас не способен так вот просто взять, да и стибрить что-либо у ближнего своего. Но есть, братья, много косвенных способов пользоваться чужим добром. Вот в прошлый понедельник видел я: один из прихожан пustил своего поросенка на соседний огород. Сосед, понятно, рассердился, бегает да кричит:

— Эй! Эй! Эй! Порросенок! порросенок!

Так рявкнул отец Паделла, что кухарка на кухне услыхала, проснулась и давай скорее поворачивать свой вертел.

Однажды отец Паделла был в большом затруднении. Он отвел понамаря в сторону:

— Друг мой, — сказал он ему, — ты знаешь, что на этих днях у нас в Леричи кололи много свиней. Мои добрые прихожане засыпали меня приношениями: ушами, сосисками, колбасами, вырезками и т. д. Теперь пришел мой черед резать свинью. Значит — придется отдирать. Но если я верну хоть четвертую часть того, что получил, то у меня самого не останется ни кусочка.

Понамарь захохотал.

— Ваше преподобие, нашли о чем беснокоиться! Сегодня же я заколю вам вашу свинью. Разнимать ее я отложу до завтра, а на всю ночь повесу туши перед церковной оградой. Никто ее не тронет. У нас в приходе все люди порядочные. В полночь вы встанете и потихоньку унесете свинью, а я ее тоже потихоньку разниму. Завтра утром вы закричите караул, поднимете гвалт, что вас обокрали. Все вас будут жалеть, и вам никого не придется отдирать.

— А и в самом деле, друг мой!

Сказано — сделано. Понамарь заколол свинью, ободрал, выпотрошил и повесил на воротах. Все проходящие останавливались любопытствовать великолепной тушей.

— Вот так свинья, ваше преподобие. Ну, и свинья!

— Да, добрые люди. Недурна-таки. И каждому из вас дастся по кусочку.

— Благодарим покорно, ваше преподобие. Но напрасно вы оставляете туши на всю ночь на улице. Вдруг какой-нибудь негодяй на нее польстится?

— Никто не тронет, друзья мои. В приходе нет негодяев.

— Все-таки, ваше преподобие. Побереглись бы.

С вечера, после ужина, отец Паделла прилег, а в полночь встал потихоньку. Но понамарь перехитрил попа: он еще раньше вымыл свинину.

Отец Паделла пришел в отчаяние.

— О, злодей! Обокрали меня!
Ограбили! Свинья моя! Бедная
свинья моя!

До самой зари отец Паделла плакал и мычал, как теленок. Пришло время звонить к заутрене. Приходит понамарь.

— Друг мой, меня обокрали.
Ограбили! Свинья моя! Бедная моя свинья!

Понамарь хохочет.

— Отлично, отлично, ваше преподобие. Именно так и надо! Громче, громче плачьте и жалуйтесь! Теперь вам никого не придется отдиривать!

— Убираяся к черту! Меня, и в самом деле, обокрали. Ограбили меня! Свинья моя! Бедная моя свинья!

А понамарь еще пуще хохочет.

— Великолепно, ваше преподобие! Чудесно! Как раз то, что нужно. Вам никого не придется отдиривать! Никому — ничего!

Как-то раз была страшная засуха. Крестьяне пришли просить отца Паделлу, чтобы он молебствовал о дожде.

— Нет ничего легче, — отвечал отец Паделла, — я знаю одну молитву: стоит прочитать ее, дождь сейчас же так и хлынет. Одно лишь непременное условие: чтобы весь ваш мир, как одна душа, желал дождя. Постойте-ка, вот я сейчас опрошу народ.

Взошел на кафедру и говорит:

— Мириане, вот собираюсь я помочь вам — прочитаю молитву, которая сейчас же низведет дождь. Так назначайте сами, когда я должен прочитать ее. Хстите сегодня?

— Нет, батюшка, что вы! — закричали парни. — Нам только и попугать, что в воскресенье.

— Угодно завтра?

— Нет, батюшка, — завопили женщины, — мы только вчера постирали. Сохрани Бог от дождя, покуда белье не высохло.

— Ну, так во вторник?

— Ай, нет, — запищали девушки, — во вторник в Сарзане храмовой праздник и ярмарка.

— В среду, может быть?

— Ни в каком случае! — закричали хозяева. — На среду мы говорились начать сенокос.

— В четверг?

— Помилуйте, батюшка, — заплакали школьники, — в четверг у нас не бывает занятий; нам побегать хочется...

— Что вы скажете насчет пятницы?

— Я протестую, — заявил кирпичник, — у меня на субботу заказ черепицы. Если будет дождь в пятницу, я пропал!

— Ну, наконец, предлагаю субботу?

— Невозможно, батюшка, — отозвался синдако (голова). — В субботу я должен отправиться в обезд по деревням в интересах выборной кампании.

— Ну, вот видите, братья, — сказал священник. — Никак всех вас не согласишь. А моя молитва действует только, когда весь мир желает, как одна душа. Стало быть, вы не приставайте ко мне, я не буду приставать к Господу Богу, а будем смироно сидеть да ждать, покуда задождит.

Была в приходе отца Паделлы женщина, по имени Суперба, (по-русски „гордая“, „надменная“). По шерсти и кличке. И вот взяла она себе в голову — попасть в акафист. В одно воскресенье, после обедни, приходит Суперба к отцу Паделле.

— Здравствуйте, ваше преподобие.

— Здравствуйте, Суперба.

— Ваше преподобие, у меня к вам большая просьба.

— Говорите, Суперба. В чем дело?

— Ваше преподобие, я бы желала попасть в акафист. „Святая Суперба“! По-моему, должно красиво звучит. Я заплачу, сколько следует.

— Суперба, это очень большая честь. Это вам будет стоить вашего заливного луга.

— По рукам, ваше преподобие. Отныне луг ваш. В будущее воскресенье я вас прошу помянуть меня в акафисте.

— Я вам обещаю это, Суперба.

Суперба пошла домой. Но псаломщик стоял за дверью и все слышал. И в воскресенье, когда отец Паделла, читая акафист, дошел до святой Супербы, псаломщик, вместо того, чтобы отвечать: „моли Бога за нас“, — промолчал. Удивился отец Паделла, повторил еще раз:



Остров любви (Софьевка, в Умани, Киевской губ.).

K. Вроблевский

— Воздадим святой Супербе славу!

А псаломщик ему:

— Стала она святой за траву! *)

Отец Паделла был мастер заклинать грозу и градобитие. Научил этим молитвам и понамаря своего. Однажды ему не было времени заклинать самому, — он приказал понамарю. Заклинание не подействовало. Отец Паделла удивлен.

— Да ты пред какой статуей читал молитвы? — спрашивает он понамаря.

Понамарь говорит:

— Конечно, пред статуей Мадонны.

Паделла вышел из себя:

— Он воображает, что Мадонна станет ему унимать грозу! Ну, сам посуди: женское ли это дело?

Хотя отец Паделла и не очень-то ладил со своими прихожанами, однако, всякий раз, когда умирал кто-нибудь из прихожан, добродушный поп не упускал случая, в ближайшее воскресенье, воздать покойному публичную хвалу с кафедры.

Однажды он поминал беднягу Рапе.

Сидя у подножья кафедры, вдова отвечала ему на каждое слово.

— Дорогие мои братья, — говорил Паделла, — бедняга Рапе умер.

— Да, ваше преподобие. Уж такое несчастье! Этакое горе.

— Смолоду Рапе был красавец.

— Рыжий, ваше преподобие. Рыжий, как груша. Толстый, как дыня.

— Бедняга Рапе был добрым христианином и шел всегда прямым путем. И семью свою направлял на путь истинный.

— Дубиной, ваше преподобие, дубиной.

— И к бедным милостию был бедняга Рапе.

— И как еще, ваше преподобие. Как, бывало, хлеб заплесневеет, всегда велит: „Эти корки — нищим“!

— А уж какой он был трудолюбивый!

— Ну, еще бы, ваше преподобие. День и ночь я на него работала, не покладая рук!

— Хороший хозяин был Рапе, славный огородник.

— Да уж, ваше преподобие, нагорало мне, если я забывала полить капусту.

— А как он любил свою жену!

— Истинно так, ваше преподобие. Однажды ел он яйцо в смятку. Так скорлупу мне отдал.

Отец Паделла все просил прихожан, чтобы они сделали ему приличную кафедру. Прихожане пожертвовали старый чан, привертели его к колонне, — на! проповедуй! Отец Паделла обиделся и произнес проповедь о страшном суде.

— Да-с, там всех рассудят, и каждый получит свое место. Вы, мошенники, понятное дело, в аду, а я — в раю, оде-

*) — Santa Superba.
— Per dell'erba.

зную Господа Бога. И вот, как примутся за вас черти, вы и савоните ко мне:

— Отец Паделла! Отец Паделла! моли Бога за нас!

— А я, одесную Господа, буду потирать руки да стыдить:

— Нечего, мод, нечего! Надо было слушать меня, когда я вам проповедывал из чана, который вы, скоты, дали мне вместо кафедры!..

Известно, что бабы к церкви прилежны, а мужчин в нее не очень-то заманишь. Но вот случилось отцу Паделле уговорить нескольких леричан прийти на исповедь.

Покуда он исповедывал их, сидя в своем чану, пришли в церковь прихожанки, — штук пятнадцать, все в белом, — репетировать хор для процесии в ближайший праздник.

И затянули:

В обетованной земле
И увижу Моисея...

Паделла, от визга их, перестал слышать своих исповедников. Он высунулся из чана, замахал певуньям:

— Тсс! тсс!

А они — еще громче:

В обетованной земле
И увижу Моисея...

Опять Паделла поднял голову из чана:

— Уймитесь вы, оказанные, или нет?

Певуньи притихли-было, но потом, собравшись с духом, как грянут вновь про своего Моисея.

Тут уж Паделла не вытерпел. Как выскочит из чана, — и давай приседать пред певуньями, придерживая свою сутану, как дама юбку.

Певуньи орут:

В обетованной земле
И увижу Моисея...

А Паделла им в ответ, на тот же голос:

Ну, п, чорт бы брал вас, кланяйтесь ему!
Ну, и, дери вас дьявол, кланяйтесь ему!.

В церкви отца Паделлы была чтимая статуя: епископ в золотых одеждах, в митре, с жезлом в руке. Праздник этого святого собирал много народа. Поэтому отец Паделла очень

заботился, чтобы статуя всегда была чистенькая и ее одеяния горели, как жар. Накануне одного праздника он нанял поденщиц, чтобы они привели в порядок церковь, а, главное, хорошенко вычистили бы статую святого епископа. Поденщицы постарались. Святой так и засиял. Но, когда, вымыли и вычистили статую, бабы ставили ее обратно в нишу, тяжеловесный святой выскоцину у них из рук и разбился на несколько кусков. Бабы пришли в ужас. Починить бы и можно, да некогда: завтра праздник!

Вот они и надумали:

— Как ни как, а святой в нише необходим. Уберем эти осколки, покуда никто не видал. Статую починим после праздника. А на завтра наймем какого-нибудь парня и нарядим его, чтобы он отстоял в нише мессу, за святого.

Охотник нашелся. И всего то за пять лир. Только потребовал, чтобы перед мессою дали ему тройную порцию макарон и фиаску тосканского вина.

Одели парня в епископское облачение, нахлобучили ему митру на голову, дали посох в руки. Стоит он в нише, не движется. Люди ему туфлю целуют. Служба идет.

На беду, отец Паделла, чтобы почтить святого, затянул службу. И парню, после тройной порции макарон и фиаски тосканского вина, сделалось стоять в нише натужно.

А Паделла все служит да служит, — и конца не видать

Вот парень выбрал минутку, когда на него никто не смотрел, да потихоньку спустил ноги из ниши на помост церковный и — на утек.

Услыхали прихожане шум, пообернулись:

— Ай! святой уходит!

И — за ним!

А он — от них.

Они шагом, а он рысью, они рысью, а он галопом, они галопом, а он через забор, да кубарем, кубарем... Потому что ему не стало уже никакой возможности.

Всех опередил, как самая лучшая скаковая лошадь, забежал на чей-то чужой виноградник, — только там и почувствовал себя счастливым.

А прихожане в церкви печально говорили:

— Соскучился, видно, у нас наш святой. Оно и впрямь: каково стоять вечно одному да одному в своей нише? Взял да и вернулся в рай. Известно: ему там, в своей компании, веселее.

Осеннее.

Падают желтые листья осенние,
Как бы в раздумье кружась над землей.
Как же случилось, что сказки весенние
Скрылись во мгле, без следа за собой?
Где вы, дни летние, теплые, ясные,
Солнца живительный, радостный свет?

Хмуриится небо, и ветры ненастные
Скорбную песню поют мне в ответ.
Листья поблекшие, листья опавшие!
Вы совершили свой жизненный путь!
Тяжко мне. Знаю я, сердце уставшее
Силы для жизни не сможет вернуть.

Ксения Морозова.

Страстоцвет.

Рассказ Л. Пасынкова.

У Невы в церкви Бориса и Глеба открыты все три двери. Теплый, благовонно-душный воздух течет из дверей тремя квадратными столбами. Тени голов резко вырезаются на пластиах. Зыбучий свет свечей золотом окаймляет силуэты бабых круглых плеч, примасленных голов мужчин. Позднее вечернее время. Небо белесое; бледная немочь светлых ночей таинственно заливает весь охтенский невысокий берег; свинцовые тучи нахощились исполинскими наездками над трубами, пароходными кожухами, громадами домов, пристанями финляндского легкого пароходства.

В церкви густо поют мужские голоса. Басы отстают и тяжко наступают. Только изредка ангельским крылом взовьется тенор, унесется под купол, расписанный сусальными планетами на kleевом небе. Подберутся баритоны, вступят твердо басы, а октава вьется шмелем над голубоватыми плитами, над возженными свечами. тускло, словно задыхаясь, рвущими сутемки узкого, какъ скала, храма.

После восьмого Евангелия поют „Разбойника“. Трогательные слова увлекают голодных людей, и в толпе соинными голосами подпевают:

„Разбойника bla-a-разумного во одно-оом часе“, — тянет хор.

В дыме свечей вижу белой северной ночью пронизанное тело правого благоразумного разбойника.

Он плачет, судорожно раскрывая рот в сукровице. Его черные, мрачные глаза с любовью и боязнью ловят взоры

Распятого посреди. Толпа шатается от усталости, от того, что мало съедено, что кругом выстрель.

Где-то трещит кратко и выразительно пулемет. Страстной четверг, Страстная ночь — дикая, величественно странная.

Я вижу и его, левого разбойника.

Его неловко подвесили на кресте. Ржавые шляпки гвоздей раздирают ладони, затвердевшие над рукоятью меча. У левого — рыжие волосы, вьющиеся жирными беспокойными змеями. Тетеревинные брови с пучасшимися волосками, с бородой, растиющей противно из-под кадыка.

То в обмороке, то снова собрав злобу свою и ожив от злобы, он пытается доплюнуть в поникшую голову Христа, и не может доплюнуть и извить обмершим, безумным, хриповатым голосом:

— Если Ты Сын Божий, сойди со креста... Спаси нас и Себя...

Толпа задорно хохочет, толпа зверей, сборище низких, мягких лбов.

— Снимите его с креста. Левого! Левого дайте нам! Он наш...

А правый поднимает синее натужное лицо и голосом никому неслышимым шепчет:

— Помяни мя Господи, егда приидеш во Царствие Твое...

Эти два разбойника живут в этой голодной толпе. Кто здесь правый, кто левый? Кого толпа поглотит, как мутное море мутную волну?

Кому Распятый посреди скажет:

— Истинно говорю тебе: сегодня будешь со Мной в раю...
Я потрясен видением. Не верю ни в молитвы, ни в свет свечей, ни в оперный, ученый, школенный хор, ни в рясы, а верю в правого, в левого, верю в Свет, распятый посреди.

Со мной из церкви в церковь бродит Куставинов, старичок, волжский житель.

Он приехал в столицу повидать сына, поющего на меньшем окладе в митрополичьем хоре.

В лавре Куставинов все время подталкивал меня под руку и почтительно и нежно напечатывал:

— Эх, мой-то Петенька старается. Прямо соловьем залетным стелется. От природы так уж взыскан, так взыскан. Все жалованье нам, умница, пересыпает, а сам, добрая душа, только пеньем душу отводит... Эх!..

Куставинов—непоседа. И постоять толком не может. Привык за сорок приказчиков лет летать среди штабелей над Волгой, на лесотаске бревна считать, на восход солнца молиться, на волжском затоне, одной рукой крестя и свой лоб, и сизые просторы, прогретые солнцем, а другой рукой конасамент чернильным карандашом подмахивая... Такой человек! Все в нем кипение и противоречие.

Так часто бывает с не очень грамотными, но очень живыми, до чрезвычайности живыми людьми.

И лицо у Куставинова оригинальное, не простое. Ноздри с трепетом, так и ходят, играет, насквозь красный хрящ в благородном носу светится.

Лоб огромный, полыселяй, в седине; глаза блестят любовью ко всему живущему.

Он теперь все любит и все душой объемлет. Приятно ему, до невыразимого, и в лавре, среди пышных риз и серебра, на плитах графских и княжих усыпальниц; приятно и в Валаамской коричневой часовенке с скромными образами святителям валаамским Герману и Сергию.

Купил у монаха дюжину резных липовых ложек в липовых, рисованных икононосно, розах и синих резных листочках. На черенках с одной стороны вязью написано: „Валаамской обители“, а с другой „благословение“.

— Вот благословясь и стану со всех ложек хлебать!

Днем все сыну показывал, хвастал. А сын набивал папиросы и поглядывал на отца мужественным, взрослым, опекающим взором:

— Тут у нас в городе Петербурге не расхлебаешься... Голодае...

— Это ничего, — развязывая салфетку и вынимая, — вот еще грех! — печенные яйца, — сиял Куставинов, — будет все хорошо. Россия спасется, верю.

— До той поры передохнем! — отвечал сын и, приняв яйцо, спрятал его в ореховую шкатулку: — После съем, когда проголодаемся...

— Да ты вот хлеба-то белого поешь. Всего вдоволь навез. У нас в Ельшанке, слава Богу, обилие...

— А мы с голodu подыхаем...

Но веселого Куставинова нельзя было смутить. Он кроил хлеб, сдобный, на лимонном масле, подкладывал, на чистом клоке бумаги, соленую деревенскую, плохо приготовленную ветчину, жареную рыбку, буженину

— Кушайте!

Сын отодвинул пищу. Я к пище не прикасался. Мы оба, птицы, сидели, поникнув.

Куставинов вскочил с табурета, резво побежал в угол казенной лавровской комнаты, по стариковской привычке заложив обе ладони за спину, прижался к кафелям голландки.

— Греешься! — нежным тенором засмеялся сын. — Вот с хлебом насыщены у нас так же: столько же сытости видим, как от этой печки тепла.

Гляжу на сына. Перевожу глаза на отца. Вижу, что-то невысказанное тенью легко между ними — не понимают друг друга.

Отец все толкует о том, как хорошо, сытно, привольно у них в Ельшанке, на берегу Волги. Сын печалуется об утесненности, скучности жизни.

Еще не охватило старика пониманием. Не видит, как мучится здесь народ.

Вернулись мы после Страстей в горенку сына.

Дом, где живут митрополичьи певчие, тут же наступивший белой стены, полуокругом опливший площадь.

В лавре — все чисто, метлами разметено, приятно.

Белые, как из писней бумаги, березки сияют.

Небо и то не пыльное.

Стены храмов свежие, как скорлупа на пасхальном, укусом вытертом, яице.

А тут в двух шагах — юдоль. Дома желтые. Вошли во дворья — мусор, вонь, открыта под окнами на цепи крышка помойки. По вышибинам жижа стекает, в подворотне киснет.

Пошли низким коридором. Канареечного цвета двери, кое-где тронутые драной kleenкой.

Тут живут семейные певчие.

Перебиваются с воды на воду — делают остатки „кружки“

В оконце глядят умытая, строгая нищета. Кисейная занавеска, край рыхкого рояля или фисгармонии, ухват у притолоки, на глобчике — крышка допитого до донышка молока.

— Ох, тесно живут у вас! — морщится веселый старик Куставинов.

Пришли к сыну.

Столик в крошки табаку. Литография „Стамбульский рынок“, гитара с потертым следом кисти руки, узкая койка, покрытая зимним теплым одеялом.

В окно вьется и липнет вонь. Затхлостью неопределенной тянет.

Сын сел за папиросы — табаком гильзы набивать, а отец стал съестное раскладывать, еще больше показал.

— Ты не подумай, что все тут! — лукаво и мило похвастал он и, веселая ради, одну бровь высоко занес. — У меня кое-что еще запасено. Ну, на другой раз оставим. Сыт будешь! А хорошо у вас „Разбойника“ исполняют. Благолепно!.. Я хотя и не очень, бывает, верю, а тут как не поверить. Странно моя душа устроена. Странно...

— А как твоя душа устроена? — кладет сын стеклянную пачечку, которой начинял гильзы.

— Не верю, не верю, а бывает к сердцу подкатит, и опять верю, да так, что все насквозь вижу...

— И Бога-то видишь? — усмехнулся строго сын.

— И Бог видится мне.

— На небеси?

— А то как же! — засмеялся старик и показал пеньки темных, мелких, веселых зубов.

Оторвавшись от холодных кафлей голландки, он стремительно подошел к сыну и осторожно спросил:

— А как твои дела с Богом, Петенька?

— Да никак! — равнодушно и гордо ответил молодой певчий. — Повар сыр духом бывает. Все пою, вот, акафисты, в хвост и гриву задувало — где тут верить! Всю кухню вижу. Церковь таесть...

— А все-таки верить нужно, — осторожно и деликатно произнес старик.

— Да ты-то не веришь? — удивился сын.

— Я не верю. А тебе следует. Я мирянин, а ты почти духовное все же лицо. Тебе по штату полагается верить...

Лицо старика раскраснелось, и он возбужденно, с укором, глядел в спокойные, темные глаза сына.

— Странно моя душа устроена! — повторил с усмешкой сын слова отца.

Больше в этот вечер не говорили о том, к чему нельзя приходить с одними словами, пред чем бессильна мысль.

Старик попросил разрешения у сына притечь на койку, и видно было, что нежную радость дает ему отдых на постели его Петеньки.

Как часто бывает между людьми, которые не переговорили всего и раньше оборвали слова о тех мыслях, что еще живут, множатся и расцветают таинственно в духе, мы трое только переглядывались и, скрещая взгляды, понимали, что общая работа идет, что мы должны понять главное и нужное.

Далеко за Невой, за Полюстровским, видать, стреляли беспорядочно из ружей.

Сын снял гитару, отбросил лиловый забавный бант с грифа и тронул струну за струной.

Отец вздохнул и подложил поуютней ладонь под щеку.

Там стреляют. Тут гитара вздрагивает струнами.

Гитара от старого мира, а ружья — от нового.

— Папа, — тихо позвал Петя, — а тебе не странно, что на гитаре я играю?

Отец присел на койке и улыбнулся спокойно:

— Ничуть. Я люблю гитару. Утешает!

— А выстрелы слышишь?

— Слыши...

— И гитару слышишь?

— И гитару-матушку слыши

— Разве тебе не кажется, что в другое время живем, что пора разбить все веселое и взяться за все кровавое?

— Э, пустое. Постреляют и перестанут.

Сын покачал головой и поставил гитару меж колен, на нечистый пол.

— Нет. Эта штука, со струнами, от ваших времен, и тебе она близка и понятна. Наша музыка, со свинцом, выстрелы, стоны, скрежет зубовный, голодные вопли... Тебе кажется, что ружья замолкнут, а митрополичьи хоры, студенческие гитары, садовые оркестры будут умиять и веселить публику. Нет. Все умолкнет, а ружья гуще заиграют, за всех нас из все голоса споют... Такое время пришло...

Молодой певчий вздохнул, пристально поглядел на спокойно улыбающегося отца и повесил гитару на стену.

Вышли меня провожать. За оконцами в квартирах митрополичьих певчих огни приглашены. Сият, или притаились.

Белая, вся в золе и грязи, кошка сидит на порожке и слушает скрывающийся полновзвучный грохот ружей. Понимает ли она?

Пошли берегом. Вода темно и тепло катит к граниту...

На пристани желтым угольничком мерцает коптилка, в воде дробится, и от водяных искорок освещается киль зеленого пароходика, уснувшего до утра. Куставинов подошел к пустым сходням Валаамского пароходства и громко прочел:

— „В виду отсутствия хлеба в обители, пароходы не ходят“.

— Да, — сказал он, снимая очки, — у вас тут и верно что голодно. Ни за что бы здесь не жил...

— А ты поживи, — усмехнулся сын, — не грех пожить. Многое узнаешь. Новое...

— Новое нынешнее, кажется, везде одинаково. Закон один-то новый...

— Закон один, а голод не один, а тоска и одиночество — не одни!

Нежно и чисто пахло от спокойной, задремавшей воды. Изредка косо пролетит зеленая зарница по небу и на миг покажет гряды облаков, далекие, за рекой, кровли.

Так мирно. Ничто не изменилось от тех времен, когда по старому люди жили.

На другой день, в пятницу, опять встретились. Куставинов все бегал и прибежал радостный. Принес гостинец жене ствейти.

Показал нам. Деревянная лещадка, с углублением круглым, а под выпуклым стеклом, в синеватом спирту, плавает некрасивый поморщенный цветок.

— Страстоцвет. Вот твоей матери подарю. Я в подворье купил... На обороте все написано. Бумажка наклеена!

Перевернула я лещадку, а там изображено литографическими бледными буквами:

„Страстоцвет (кавалерник или пассифлор). Цвет Господня Страдания“.

Куставинов спешит объяснить:

— Видите, как затейно устроен. Все в нем от мук Христовых. Мне мснашек подробно объяснил. Надо записать, чтобы не перепутать.

Мы улыбнулись, а старик увлеченно заторопился:

— Вот, только взгляните: все, чем пытали и казнили Христа, собрано между лепестков. Вот три гвоздя, головки, как у гвоздя...

— Христа четырьмя гвоздями пронзили! — говорит сын.

— Это неизвестно. На старых иконах обе ноги вместе пригвождены и одним длинным гвоздем. Вот тут так оно и есть: один длинный цветущий гвоздь. На тычинках — молотки. Гвозди вбивали в тело Его. А зазубрники кругом внутри лепестков. Как голову окаймляют — венец терновый!.. И на голову тень похожа... Веревками вязали тело Господне — вот усыки вьются и серые, как пенька. Вот все... А листья на стебле крестом сложились. Монах рассказывал все, как было...

— Это когда было? — хладнокровно спросил сын, горько напоминая на дни нынешние, да так хладнокровно спросил, что отец остолбенел и поглядел и слово проглотил.

— Да тогда же...

— Когда?

— В то время... Без малого две тысячи лет. Ты только послушай: утоптали римские латники место для креста, а один жесткий цветочек так и не затоптали и крест водрузили перед ним. Мучился Христос, опустил голову и узрел тот пыльный стебелек, скучный, неяркий. Последнюю любовь свою земную прорил из плачущих глаз на тот стебелек, и стебель стал расти, виться, зеленеть. Подсекочили с мечами, хотели срубить — толпе мертвое тело не видать, а страстоцвет поцеловал густыми ветвями бледные ноги, пополз выше, чресла прикрыл, к груди прижался, плечи одел и опустился, при громких криках людей, на голову Христа ветвями, покрывавшими красные цветы, красные, как кровь...

В эту минуту где-то поблизости, за домом митрополичьих певчих, рванул выстрел.

— Пассифлор! — вздрогнув, сказал сын.

— Что ты? — спросил Куставинов, отрываясь от любования причудой цветка, веревками, гвоздями, молотками, терновым венцом...

— Пассифлор! — повторил сын, — Страстоцвет расцветает...

— Господь с тобой! — перекрестил испуганно сына Куставинов. — Что ты, о ком ты?

— Я... О России. Над чаем России — страстоцвет. Разве ты не слышишь... Стреляют! Кровь на белые цветы льют. Все было. Старое злое время дало нам и веревки, и молоты палачей, и гвозди друзей. Теперь все уступило место цветам над чаем распятой свободы. Страстоцвет дал свои красные цветы...

— Я не понимаю тебя! — бессильно опустился старик на койку и положил лещадку со страстоцветом на подушку.

— Трудно тебе нас понять, — сказал сын, — вот ты несколько дней с нами живешь, а не видишь, как мы умираем. Все тебе по-старому верится, что с креста под камень положат, а отвалить камень — и воскреснет Родина. Мы разделены и голодом, и отчаянием, и усталостью... Вы съты у себя по углам, в Заволжье, а мы голодны. Одни в других стреляют из-за угла, кровь песком присыпают. Другие на хлебе сидят и глумятся над темным голодом. Всякий хлеб под судом. Почему вы молчите? Вся Россия молчит, а мы изнываем без спасительной мысли! Все тело еще живет, а голова опустилась, и глаза увидали русский страстоцвет. Скоро тело наше покроет цветок страданий. Кровь на голове. Питер умирает. Пассифлор опускается на маковку...

Сын умолк и потер переносце, словно сияясь выжать тысячи раз передуманную и оттого потухшую мысль.

Отец в волнении вскочил на ноги. Его сухощавое, бодрое, стариковское тело ходило каждым мускулом; и, если бы нужно было изобразить его душу, то пришлось бы, верности ради, опять показать его тело: вся душа была наружу. Подавлен, смят. Наконец понял.

Неужели гибнем?

— Да! — отвечал сын. — Вот ты давеча меня о Боге спрашивал, а я отвечал, что и моя душа странно устроена. Прежде в твой цветок не поверил бы и посмеялся... А теперь вижу его. И Бога вижу... Грозного Саваофа. Мы наказаны. Ты-то век свой сыто прожил. А мы-то как?..

Куставинов подбежал смущенно к сыну, поцеловал его в лоб, что-то пробормотал и вдруг отрывисто спросил:

— Твое окно куда выходит? На улицу?

— Да!

Схватил нож, с яростью накромсал рыбы, буженины, вытащил из чемодана поленницы, нарезал хлеба белого, открыл форточку и стал метать, как каменья...

Сын покал плечами. Я рассмеялся.

— Все пасхальные подарки...

— Все! Пусть едят! Беднякам пища! — с пылающим лицом сказал старик.

— Да, — вздохнул сын, пожимая руку гостя, — теперь вижу, во всем-то широк, во всем, русский... Чтò бы раньше спросить, а потом душу отводить? Ведь там крышка с помойки на цепь поднята. Все добро в дринь нашвырял...

Куставинов жалобно возгласил:

— Да... Ну что же, останемся при страстоцвете.

И прижал цветок Господень к старому сердцу...

* * *

Святая смерть!.. Она придет,
Как долгожданная подруга,
И от сжигающего круга
К покою тихо позовет...
Она наклонится, как мать,
Над мукой гаснущего тела

И примирения печать
Положит ласково и смело...
И станут скорбные черты
Безмерно радостны и святы,
И чувство горькое утраты
Сольется с чувством красоты!.

Зоя Бухарова.

Содержание. ТЕКСТ: Ф. И. Шалпин. Творчество. Монография Леонида Добронравова. — Стихотворение Николая Морозова. — Стихотворение Ксении Морозовой. — Отец Паделла. Из рассказов Лунджаны. Александра Амфитеатрова. — Осеннее. Стихотворение Ксении Морозовой. — Страстоцвет. Рассказ Л. Пасынкова. — Стихотворение Зои Бухаровой.

РИСУНКИ: Автопортрет Ф. И. Шалпина. — Иллюстрации П. Бучника к монографии Леонида Добронравова „Ф. И. Шалпин“. — Остров любви (Софийска, в Умань, Киевской губ.). К. Вроблевского.
К этому № прилагается „Полное собрание сочинений А. И. Герцена“ книга 17.

Издатель Т-ва А. Ф. МАРКС.

Редактор И. М. Железнов.

Артистическое заведение Т-ва А. Ф. МАРКС, Петроград, Измайловский проспект, д. № 29.

Библиотека "Руниверс"

ИЛЬЯР

1918 г.

№ 37.

XLIX г.

издания.

Выходит еженедельно (52 № въ годъ), съ приложениемъ 52 книгъ „Сборника“, содержащихъ сочиненія А. И. ГЕРЦЕНА, М. ГОРЬКАГО, В. Г. КОРОЛЕНКО, П. БЕРАНЖЕ и Н. И. КАРЬЕВА („Великая Французская Революція“). № 37.

Выдан 14 сентября 1918 г. Подписная цена с дост. и перес. на год—36 р., на 1/2 г.—18 р., на 1/4 г.—9 р. Цена этого № (без прилож.)—40 к., с перес. 50 к.

Главная Контора и Редакция: Петроград, улица Гоголя, № 22.

Перепечатка иллюстраций и текста воспрещается. (Закон 20-го марта 1911 г.).



И от края и до края,
Все, друг друга пожирая,
Изыхают...

Ф. И. Шаляпин в „Мефистофеле“ А. Бойто.

П. Бучкин.

Ф. И. Шаляпин.

Творчество.

Монография Леонида Добронравова. Иллюстрации Петра Бучкина.

(Окончание).

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Актер.

I.

Можно ли изучать творчество писателя, не обращая внимания на несколько разных редакций одного и того же его произведения? Уясним ли мы рост гоголевского, например, творчества, пользуясь последней редакцией „Тараса Бульбы“ и не сравнивая ее с предшествующей?

Конечно, нет. И не напрасно появляются работы, занятые именно таким сравнением, сличением разных редакций. Они объясняют нам мастерство писателя, рост его искусства.

Каждое выступление Шаляпина в одной и той же роли есть новая редакция ее. Правда, изменения касаются мелочей, деталей; многие готовы считать их неважными, несущественными. Однако, в искусстве нет существенного и несущественного, но все одинаково важно и значительно. И чем выше создание искусства, тем неразложимее оно в своих составных частях, в своих элементах.

Вспомним в „Анне Карениной“ уши ее мужа. Кажется, пустяк. Что особенного в ушах? Можно о них не говорить. Но художник соединяет эту мелкую подробность с сложными переживаниями Карениной, в которых уши Каренина являются моментом решающим.

Возьмем платки Шаляпина в „Борисе Годунове“. Да на эту мелочь никто и внимания не обращал. Не все ли равно, какой платок? Разве это так важно?

Но попробуем вдуматься в переживания Бориса в те часы, когда ему сообщают о появлении самозванца, угрожающего ему и его царству, когда просыпаются в нем терзания совести, когда зловещие предчувствия давят сердце, — и мы поймем: да, только такого цвета платок, темно-вишневого, густого, сдержанного, мрачного, как потемневшая кровь, как пятна ее на царском пурпуре, — только такой цвет гармонирует с переживаниями несчастного царя.

Или же белый платок во время смерти Бориса, мелькающий, как белая подстреленная птица.

Вправе ли мы не обращать внимания на такие детали, признавая их несущественными?

Думаю, что нет. Наоборот, мы должны заниматься ими, ибо они показывают, насколько каждая мелочь живет, тесно спаянная с общим замыслом художника.

Понять художественный образ можно, лишь описав и объяснив его.

В теме о Шаляпине, как актере, мы лишены этой возможности: это очень увеличило бы нашу работу, — в его художественной галлереи несколько десятков образов.

Поэтому среди созданных им образов мы изберем один, наиболее типичный, наиболее характерный для его творчества; изберем образ, наименее понятый и освещенный критикой, даже больше, — мимо которого критика прошла равнодушно; изберем образ, при создании которого действовали все стороны шаляпинского творчества.

Я разумею роль короля Филиппа II в опере Верди „Дон-Карлос“.

По времени создания — это последняя роль Шаляпина, созданная заново. Когда-то он выступал в ней на сцене в Монте-Карло, но то выступление по отношению к позднейшему то же самое, что эскиз по отношению к оконченной картине.

Этим же мы избегнем странного деления его образов на „главные“ и „не главные“, — деления, проводимого некоторыми со слишком явной добросовестностью.

Мы хотим понять творчество Шаляпина. Для творчества же нет „главного и „неглавного“, или все одинаково „главно“, или „неглавно“ ничто.

II.

Изучая шаляпинское творчество, можно уловить линию его развития, которая определяется формулой: от частного к общему, от случайного и временного — к постоянному и вечному, от реального к символическому.

Все это мы находим в „Короле Филиппе“

Для более полного уяснения творчества художника необходимо познакомиться с тем материалом, какой находился в его распоряжении.

В опере Верди перед Шаляпиным был разнообразный материал, — исторический, литературный (Шиллер) и музыкальный.

Филипп II...

Из густого сумрака средневековья глядит он; в отблесках огней святейшей инквизиции, в дымном зареве бесчисленных

костров, воздвигнутых по всей Испании ad majorem Dei gloriam, черным призраком стоит его зловещая фигура. Из-за черных монашеских сутан, обступивших тесною толпой мрачный королевский трон, из пустынных, спаленных солнцем просторов, окружавших Эскуриал, этот полумонастырь, полу дворец, полутору, что „воздымается, как побелевшая гроб



Л. М. Добронравов.

Шарж П. Бучкина

ница Библии“ — оттуда приближается к нам черная тень этого повелителя и короля Испании.

На пышном кладбище столетий стоит неподвижно он, подобно жуткому монументу, воздвигнутому на страх и удивление потомков. Черный чад распространяется вокруг него, как вокруг погребального факела, дымящего во время пышного, мрачного погребения.

Королевский титул его пышен, как торжественная королевская мантия.

Филипп II, Божией милостью, король Испании, двух Кастилий, Аандалузии, Арагонии, Валенсии, Каталонии и Гранады; правитель Португалии, Голландии, Руссильона и Франции-Контэ; король Неаполитанский, герцог Миланский, правитель Сардинии, Сицилии и Фландрии.

Его короне принадлежат: огромный берег в Африке, царство Азии со всем побережьем Индийского океана; американские области — Мексика, Неру, Бразилия, Парагвай, Юкатан, Новая Испания; бесчисленные, среди океанов и морей, острова: Балеарские, Азорские, Канарские, Филиппинские, Мадера, Куба, Порту-Рико, Сан-Доминго и проч. и проч.

Его Испания стоит, как исполин, „опиравшись ногами на оба мира“, грозная для врагов, могущественная и зловещая для всех народов.

Но внутри она — ящик Пандоры, полный кишащих ядовитых змей.

Кастилия — море пламени, ибо костры святейшей инквизиции пылают беспрерывно день и ночь.

Десять тысяч людей сожжены живыми; семь тысяч — заочно, в изображениях.

В Аандалузии пять тысяч домов пусты и безмолвны: обитатели их сожжены на костре.

„Статуи Апостолов, воздвигнутые на четырех углах каменного костра Севильи, — повествует историк, — покрылись толстым слоем жирной сажи от сгоревших тел.“

Вступив на престол, Филипп II отдал в руки инквизиции своего учителя, Варфоломея де-Карранца, архиепископа Толедского, сказав при этом:

— Если у меня самого в жилах будет кровь еретика, то я сам отдаю свою кровь.

Ближайшим советником своим и помощником он избрал великого инквизитора, севильского архиепископа Фернанда Вальдеса.

21-го мая 1559 года состоялось первое торжественное, так сказать, коронационное ауто-да-фе. Однако, не все еретики были казнены в этот день; многих из них назначили для более торжественного сожжения, по приезде Филиппа II из Нидерландов.

8-го октября 1559 года состоялось торжественное истребление еретиков, совершенное в присутствии 200.000 зрителей.

Вынув шпагу, король поклялся и впредь защищать святейшую инквизицию:

— Если мой сын впадет в ересь, я сам принесу хворост, чтобы сжечь его.

Во владениях испанского короля, как на кладбище, царила мертвая тишина.

Святейшая инквизиция навалила на Испанию надгробную плиту, и эта плита стала подножием королевского трона.

III.

„Филипп II создал испанский двор по своему образу и подобию: недвижимый, как монастырь, охраняемый, как гарем: в регламентах его этикета чувствуется и монах и евнух... Позди того века, который был им потрясен, в сосредоточии интриг, им приводимых в движение, он (Филипп) создал себе искусственное и недостижимое уединение... Эскуриал, построенный в зловещей местности, по плану орудия пытки, является не столько дворцом, сколько гробницей... Филипп II превратился в монаха в этом политическом монастыре... Земной шар его — мертвая голова, государственные бумаги — его Библия. День и ночь он присутствует там, читает, пишет, делает справки и отметки на письмах и депешах, приходящих к нему тысячами с четырех стран света. Вступая в Эскуриал, он как бы дал обет молчания... Среди молчания ужаснувшейся и испепеленной Испании слышни только перо Филиппа II, скрипящее по бумаге... Его мрачный облик является как бы каноном, установленным священниками, по которому высекались все идолы Египта...“ (С. Виктор).

Таков облик грозного короля.

„История Филиппа II Испанского“, принадлежащая перу Прескотта, напоминает бесконечный погребальный перезвон колоколов.

Но в этом мертвом, мрачном величии, насыщающем залы испанского двора, из-за каменной маски Филиппа II явственно проступает что-то более общее, нежели Филипп II, смотрит древнее лицо повелителя и суверена, особого существа, покорного, но его словам, только Богу и только от Него принимающего свою власть.

Филипп II король Испании — символ отвлеченной идеи государя, рожденной политико-схоластическими трактатами средневековья.

Его образ надо искать в пожелтевших пергаментах Фомы Авинского, на страницах „De regimine principum“ в „Six livres de la république“ Бодэна, этого апостола идеи суверенитета, которая в умах людей так прочно утверждала троны императоров и королей, как если бы они опирались на первозданную, несокрушимую скалу.

Король Испании Филипп II — частное явление в истории, ограниченное местом и временем.

Филипп II — государь, суверен — явление, живущее во всех веках, странах и народах.

Филипп II, прошедший сквозь огонь художественного восприятия Шиллера и преломленный в музыкальном созерцании Верди — не тот король, которого знает история, как и Дон-Карлос — пламенный шиллеровский герой — не безвольный, идиотический наследник испанского престола, о котором столько саркастических и едких замечаний рассеяно в мемуарах современников.

Либреттист оперы „Дон-Карлос“, беззаботный по части истории и литературы, не поцеремонился ни с тою ни с другою, оставил обрывки из шиллеровского „Дон-Карлоса“, по поводу которого Шиллер пишет, что выяснению отношений между маркизом Поза и Филиппом он, „сообразуясь с общей экономией пьесы... мог посвятить... лишь одну единственную сцену“. („Письма о „Дон-Карлосе“. Письмо первое).

IV.

Шаляпин не ограничился рамками оперного либретто и создал нечто большее, нежели мрачный шиллеровский король Филипп II.

В образе, им созданном, воплощена самая идея суверена, государя, взлеянная в глубинах средневековой философии, закаленная в горниле схоластических диспутов.

Пред нами стоял государь, как бы сошедший со страниц Бодэна; в пышном великолепии и в блеске, вызывающем жуткое чувство, ожила сокровенная сущность монархизма.

Ослепительные краски живописи Шаляпина выразили символический характер образа с необычайной яркостью.

Дух, облеченный плотью, призрак, принявший материальные формы, тысячи оттенков в холодной неподвижности гранита, человеческое, кажущееся странным и страшным в лучах безграничной власти над миром, мертвое в живом и живое в мертвом, одухотворенный труп, веющий холодом и сумраком гробницы, — таков Шаляпин в роли короля Филиппа. Он выразил

Ту царственную силу, что так долго
Пускала в рост лишь блеск один престола...
Шиллер. „Дон-Карлос“

И эта царственность, нездешнее какое-то величие, только ярче подчеркивают символический характер нового шаляпинского создания.

Он поставил себе задачу, на которой останавливался Шиллер: „ввести в область изящных искусств истину, бывшие до сих пор лишь досгоянием научного знания“. („Письма о „Дон-Карлосе““). Письмо десятое).

Графически можно представить создание Шаляпина в виде треугольника: вершина его — суверен, государь, Sire, верховное существо, правящее „Божией милостью“, один над всеми, один над миром, вне времени, вне пространства, черный призрак, черный орел, сидящий наверху острой скалы. Нижние углы треугольника. Левый — Филипп II, король испанский; правый — король Филипп — отец и муж.

С вершины льется мрачный ровный свет; в нем, в этом мертвом свете, еще безотраднее, еще грознее два Филиппа — король и семьяния, еще глубже их личная трагедия.

С необыкновенной силой выражения творит Шаляпин тяжкий и великолепный в суровом величии образ монарха, выдвигая в нем общее, вневременное, внепространственное, как бы подтверждая мысль Шиллера: „художник пусть стремится к созданию идеала из союза возможного с необходимым. Пусть он создаст идеал из показности и истины, запечатлевет его в игре своей фантазии, и в серьезной своей деятельности, пусть выражает во всех чувственных и духовных формах“... („Письма об эстетическом воспитании человека“).

Тяжелые, мрачные аккорды оркестра — медленная поступь короля — подготовляют приближение Филиппа II.

Вот уже за деревьями его черная фигура, и он медленно входит, опираясь на палку, огромный, весь в черном, в белых перчатках, с цепью ордена Золотого Руна на груди, давящий и своим гигантским ростом, и каменной неподвижностью бесстрастного лица, поросшего рыхлой бородой, седящей по краям, и могильным холодом, веющим от него.

Пред нами державный хозяин и создатель Эскуриала.

И мы видим одну из тайн шаляпинского творчества: вместе с лицом, с Филиппом II на сцену входит незримо его эпоха; от него веет тленом испанских подземелий, сумраком католических соборов, дымом костров святейшей инквизиции.

И еще что-то неуловимое, неопределимое чувствуется в этой грозной фигуре, обитающей в уединении Эскуриала, какой-то отсвет, о котором говорит золото бороды и царственного ордена на груди.

Сдержаным, глубоким, холодным голосом, которым сразу дан очерк мрачного, безмолвного короля, спрашивает он:

— Почему вы одна, королева?

Острый, зоркий, подозрительный взгляд обводит деревья, весь сад.

Рука в белой перчатке повелительно стучит палкой о землю. Появляются испуганные придворные дамы.

Та, что должна была находиться при королеве, подходит и приседает пред королем.

Вспоминаются слова историка: „В регламентах его этикета чувствуется и монах и евнух“.

Неподвижное лицо Шаляпина-Филиппа бесстрастно: в нем нет ни тени гнева; светится непреодолимая, непреклонная воля, изрекшая однажды правило, звучащее, как непреложный закон, и карающая за нарушение его, как за нарушение закона Бога.

— Графиня, завтра же с зарею вы отпритеесь во Францию.

Голос короля так же холоден, спокоен, бесстрашен, как его лицо, как его движения, застывшие движения самодержца; каждаяnota звучит подобно колоколу, возвещающему наступление кары.

Филипп садится на скамейку. Медленно достает молитвенник в черном переплете и скрюченными большими пальцами рук, словно когтями, перекладывает страницы, отыскивая молитву. Пронзительный взгляд его время-от-времени останавливается на придворных. Алая ленточка-закладка краснеет на черном фоне молитвенника и костюма подобно пятну крови. Поля высокой черной шляпы отбрасывают тень на холодно-спокойное лицо, лицо бронзовой статуи в глубокой нише королевской усыпальницы.

Да, это тот самый Филипп II, чья зловещая тень осенила полмира, великий истребитель еретиков, самый могущественный государь Европы, друг римских пап, Павла IV, Пия V, Григория XIII, держащий в одной руке меч, а в другой — кропильницу, от власти которого нельзя было скрыться ни в Свопильнице.

бодную Женеву, ни в Германию, ни в Англию; тот самый испанский король, пред которым почтительно склонялись европейские монархи и их дворы.

V.

Филипп II остается вдвоем с маркизом Поза. Диалог их—одно из великолепных шаляпинских достижений—и вокальных и драматических.

Голос бесстрастный и мощный, насыщенный мрачными интонациями подозрительного царственного отшельника, произносит фразу за фразой, отделяя их многозначительными паузами.

Молчание Шаляпина-Филиппа так же красноречиво, как и его голос. В молчании стущалась жуть грозного образа: в этих паузах чернила мрачной мысли монарха, приблизившись к которому, по замечанию историка, можно было только одетым в черн.

Молчание Филиппа II—это „молчание ужаснувшейся и испепеленной Испании“.

Паузы Шаляпина—стиль Эскуриала, больше, это—стиль ди настии в стране, где „каждый считал свои слова, потому что знал, что они будут взвешены“.

Горячая речь маркиза вызывает лишь медленный, величавый поворот головы. В этом почти неуловимом движении Шаляпин дает именно того Филиппа II, о котором современники рассказывали, что „во время разговора с ним они никогда не замечали, чтобы он изменял позу или движение, и что он принимал, выслушивал и отвечал с тем же самым выражением лица, и во всем его теле двигались только губы и язык.“ (С. Виктор).

Но вслед за этим Шаляпин показывает лицо другого человека, того, кому Шиллер вложил в уста:

Теперь дай человека мне, Создатель!
Ты много дал мне—только человека
Ты дай теперь мне! Ты, о Ты един!
Ты сокровенное все видишь Оком.
Молю Тебя о друге...
Мне правды надо... О, помпи
Мне мужа редкого, с открытым сердцем,
С прямым умомъ и неподкупнымъ глазом...

Шиллер. „Дон-Карлос“.

Шаляпин открывает все одиночество зловещего создателя Эскуриала, возле которого „птицы замолкают, пролетая“.

Глухо он признается, что „корона давит его мозг“.

И палка, на которую опирается Филипп, кажется символом одиночества.

Страшный, тяжелый дар предлагает он маркизу:

— Возьми мое сердце...

Шиллер и Верди рассказали о том, чего не было в истории. Шаляпин заставил поверить, что это было, что о странной дружбе зловещего властителя Европы с малтийским рыцарем, испанским грандом и „гражданином вселенной“ можно прочитать в пыльных архивах королевских дворцов и на пожелтевших страницах монастырских пергаментов.

Зловещей угрозой звучит предостережение, произнесенное королем:

— Слов твоих король здесь не слыхал, но бойся, чтобы их не слышал инквизитор.

Слово „инквизитор“ прозвучало, как тяжелый железный засов тюремной двери:

— Помни... и бойся!

Рука Филиппа медленно поднимается; скрюченный указательный палец говорит больше, чем слово.

И когда он медленно протягивает руку маркизу,—в этом знаке королевской милости чувствуется мистическое приобщение маркиза к мраку и тайнам королевской души

VI.

Сцена с маркизом—только введение, пролог к главной части, к центральному замыслу шаляпинского образа.

Он показал нам Филиппа II, переживающим уже сознание последнего расцвета своей власти и могущества, тягостное чувство полного одиночества на высокой, сплененной Божиим громом, вершине.

Шаляпин заставил почувствовать и глубину, и беспросветность земного могущества, и, когда он скрывается за деревьями, кажется, что перед нами стоял некто больший, чем король, больший, нежели человек, в чем-то своем, особенном, сокровенным, никоим не похожий на всех людей в мире.

Занавес снова поднялся, открывая площадь перед собором

У паперти толпится народ, ожидая выхода короля. Его суро-ый образ веет над толпой, наполняя воздух угнетенным ожи-данием и тревогой.

Проводят еретиков на казнь, в шутовских колпаках, со свечами в руках, в сопровождении монахов и членов святейшей инквизиции.

Несут Распятия, перевитые лентами, изображения Мадонны, все—по ритуалу грозного Торквемады.

Процессия скрывается в толпе народа.

С пацерти собора подходит королева, ожидая выхода своего повелителя.

Гремят трубы, гудит орган, и, наконец, в темных дверях собора показывается король.

Это не тот Филипп, которого видели мы в саду, в черной шляпе, с молитвенником в руках.

Гигантское золотое божество, напоминающее золотого колосса Библии, не идет, а приближается к народу, попирая ногами каменные плиты паперти. Чудится, будто камень чувствует беспредельную тяжесть стопы этого золотого идола, олицетворяющего полноту человеческой власти на земле.

Шаляпин так выразил давящую, непреоборимую силу, что это золотое существо показалось воплощением Левиафана: показалось, что у него вместо человеческих ступней—перепончатые лапы.

Это не земной король, владыка своей страны. Это—зверь из бездны, принявший облик монарха и утвердивший над миром странную свою власть.

В золотой короне, в золотой мантии, со скипетром золотым в руках, Шаляпин-Филипп II напомнил того библейского истукана, которого видел во сне Навуходоносор: „огромный был этот истукан, в чрезвычайном блеске стоял он... и страшен был вид его. У этого истукана голова была из чистого золота, грудь его и руки его—из серебра, чрево его и бедра его—медные... Он стоял так, доколе камень не оторвался от горы... ударил в истукана, в железные и глиняные ноги его, и разбил их“ (Даниил, II, 31—34).

Золотой скипетр в руках его—не атрибут королевской власти, но жезл, сокрушающий царства...

Все, что окружает его,—и свита, и королева, и весь народ,—все блекнет, становится неважным, мелким, случайным в золотых лучах, исходящих от золотого истукана.

Шаляпин заставляет верить, что этот золотой колосс—вне времени и пространства.

В этой сцене он дал как бы синтез всех средневековых теорий королевской власти, напомнив своим образом слова Боссюэ, что короли суть наместники Бога, а престол их в действительности престол Божий.

Шаляпин пошел еще дальше: его властитель, точно выкованный из одного, цельного куска золота,—сам Бог и земной престол его—равен престолу Бога.

Шаляпин завершил идею Боссюэ, сделав из нее конечный вывод.

С большой тонкостью он соединил этот абстрактный образ с образом короля Филиппа II, при чем так соединил, что Филипп II является выводом из главной идеи земного божества.

Этот вывод никак не противоречит истории, ибо о Филиппе II сказано: „он мнит, что может обмануть Бога“.

Шаляпин выходит из собора в королевской мантии. Сделанная по особому рисунку, она яснее всего выражает идею земного могущества. Золотая мантия состоит из гербов. Все государства, объединенные под скипетром Филиппа II, нащите, в символах своих, на одежду земного Бога. Когда-то независимые, разделенные железною пятою божественного despota, нашли приют на парадной, торжественной мантии его. Завоеванная Португалия, сожженная Кастилия, окровавленная Арагония, Каталония, Валенсия, Наварра, Нидерланды, Милан, Неаполь, Фландрия—это не более, как куски драгоценной мантии, подноющие трона, вознесенного под самое небо.

Первые слова, произнесенные Филиппом с паперти собора, веют несокрушимой силой и холодом беспредельной власти.

— Народ! Богом нам дарована корона—карать измену.

Он сходит по ступеням, протягивая руку маленькой, жалкой королеве, и вдруг из толпы бросаются пред ним на колени четыре человека, моля о пощаде. Рядом с ними становится инфант, Дон Карлос.

Золотой идол останавливается, как осмеливаются нарушить торжественное шествие!

Удивление его не становится больше, когда Дон-Карлос обнажает шлагу, трубя себе часть страны.

Золотой идол почти спокоен: недаром он „приявшай власть от самого Бога“, Филипп II, колебавший мановением руки троны других монархов.

Спокойным голосом и спокойным движением руки он приказывает страже обезоружить принца.

И когда никто из толпы не решается этого сделать, в голосе его рождаются раскаты отдаленного грома.

— Отнимите шлагу!

Грозовые тучи нависли над всеми. Маркиз Поза, подоидя к Дон-Карлосу и взяв от него шлагу, подносит ее королю.

И золотой идол, с высоты своего гигантского роста, величественно и бесстрастно произносит:

— Маркиз, отныне будете вы герцог.

Слова эти Шаляпин произносит таким тоном, что чудится, будто маркиз должен стать и стал уже другим, будто привился к нему высшее достоинство—столько величия и могущества, способного осчастливить человека, вложил Шаляпин в интонацию своего короля.



„Достиг я высшей власти...“

Ф. И. Шаляпин в „Борисе Годунове“

П. Бучкин.

Библиотека "Руниверс"

Подав руку королеве, он продолжает свое шествие, и на встречу ему уже поднимаются черные клубы дыма от костров, зажженных, как жертвенный огонь на жертвенике в честь золотого Молоха.

А сам идол, стоя на возвышении, движением руки величаво приветствует свой народ, раздавленный золотым игом власти.

Многие недоумевали, почему Шаляпин сделал Филиппа II рыжим.

Сцена появления коронованного Молоха отвечает на этот вопрос: золотой идол должен быть золотым весь.

Артист, по справедливому замечанию Пессарта, должен громировать не как профессор истории, но как художник.

„Значительным (произведение) будет в том случае, если в предмете изображения он (художник) сумеет найти самое интересное, отделит случайное от необходимого, лишь еле помстит незначительное и передаст все значительное...“ (Шиллер. „Мысли об употреблении пошлого и низкого в искусстве“).

VII.

Мы видим Филиппа II в ночной тишине, в сумрачном кабинете, в котором молитвеник, раскрытый на аналое, хранил как бы следы недавних приносований.

Филипп II, весь в черном, сидит в кресле у окна, изнеможенно запрокинув голову на спинку кресла. Его лицо, мягко озаренное первым нежным лучом солнца, словно светится еще отблеском костров и золотым сиянием торжественных одежд.

Шиллер и Верди создали романтический рассказ о несчастной любви Филиппа II к молодой жене, а Шаляпин придал этой повести невыразимое и жуткое очарование.

— В сердце ее любви не было и следа...

В голосе его, недавно звеневшем холодным золотом в минуту обращения к народу, — грусть и печаль неразделенной любви и отчаяние одинокого человека, искашившего в ней единственной отрады на земле.

— О, не забуду никогда, как она поглядела печально на мои седины в день нашей первой встречи!

В золотом монолитном колоссе мы видим лицо стареющего человека, с человеческой жаждой любви и с тоскою человеческих разочарований.

— И так ползут дни печально за днями... А ночь настает—нет мне ни сна, ни покоя.

В полу примирении, в полуотчаянии поет он о том, что найдет покой “под сводами Эскуриала”.

На блестящем фоне пышной королевской мантии, испещренной гербами покоренных и унаследованных земель, уродливее и страшнее судорога человеческого страдания, искажающая царственное лицо.

Сердцем Филипп умер, но, прежде чем затвориться „в склепе с окном, у подножия главного алтаря церкви“, прежде чем сойти в погребальное подземелье Эскуриала, которое двоюродец тант в себе, как „последний смысл всей своей постройки“, ему надо заняться заботами и тревогами, что подтасовывает его могущественный трон.

Встречая пришедшего к нему для совета великого инквизитора, Шаляпин тонко выразил в грозном короле смижение верного и преданного сына католической церкви.

— Карлос, мятежный сын, облил мне сердце ядом, — открывает Филипп инквизитору свою тревогу, — на своего отца дерзнул поднять он руку.

— Как думаешь его ты наказать?

— О, сурово! В изгнанье, или, — Шаляпин делает многозначительную паузу, готовясь закончить свою мысль, и вдруг голосом золотого идола, вещавшего народу о своей божественной власти, произносит,—или на плаху!

— Изменник, кто б он ни был, всегда достоин смерти, — подтверждает инквизитор.

Но Филипп словно только-что понял страшный смысл произнесенных им слов. С удивлением, сомнением, нерешительностью, с тайным ужасом, быть-может, внезапно проснувшись при мысли о сыноубийстве, он глухо спрашивает:

— Благословиши ли ты, коль сына предам смерти я, христианин?

И, выслушав одобрение, надломленным голосом произносит:

— Пусть будет так.

Сцена Филиппа с женой, когда он удостоверяется в ее измене, дышит неисчерпаемым богатством оттенков, расположенных так мастерски и таких тонких, что каждый из них стоит изучать в отдельности. Все они группируются вокруг основного замысла роли, и он отражается в деталях, свидетельствующих о глубокой продуманности этого гениального создания.

В „Дон-Карлосе“ Шаляпин наметил художественную задачу необыкновенной трудности и сложности и разрешил ее с ослепительным мастерством.

И оценить его достижение можно лишь знакомясь с тем материалом, из какого он созидал свой образ.

Для него еще придет время надлежащей оценки.

VIII.

Существуют писатели „unius libri“, артисты — одной роли. Художественным достижениям таких артистов как бы положен определенный предел, перейдя через который, творчество их лишается животворящей силы.

В этом смысле мы можем говорить о диапазоне творчества, о широте его охвата.

Мы ставим художнику в заслугу и в особое достоинство многограничие его перевоплощений. Мы восхищаемся Толстым, проникавшим в мысли Кутузова и Платона Карагаева, читающим в сердцах Александра I и капитана Тушина.

Для могучего художника нет тайн, и, быть-может, это „нет тайн“ и рождает великого художника.

Чтобы оценить творчество Шаляпина, мы должны всегда помнить о том, какие диаметрально-противоположные образы создал он.

Только-что мы познакомились с его королем Филиппом II. Но этот образ, при всем своем великолепии, лишь открывает галлерею шаляпинских образов, столь различных по содержанию, по эпохе, которой они принадлежат, по национальности, наконец, по замыслу художника.

Вот один из подданных короля Филиппа II — Дон-Кихот, рыцарь Ламанский, этот вечный „кавалер человечества“, задуманный Сервантесом „в раскатах смеха и законченный с улыбкой умиления“.

Шаляпин создает рыцаря „не от мира сего“. И если король Филипп II — зверь из бездны, то Дон-Кихот — ангел, посланный Богом на греческую землю, чтобы рассказать ей о благородстве и святыни человека.

С первого своего появления, когда, с улыбкой одинаково ласковой для всех, поет он о прекрасной молодости и о светлых мечтаньях, и до той минуты, когда пошлость и житейская грязь рассеяли всю его радость, — пред нами он, этот „рыцарь Господень“, умиляющий человечество уже несколько столетий.

В минуту смерти его Санхо жалуется:

— Господин... Вы умираете... Но вы обещали мне остров...

И умирающий рыцарь надломленным голосом, с грустью человека, узнавшего жизнь, отвечает:

— Санхо... Остров тот—мечта...

Ореолом святости окружил Шаляпин этот образ. И, глядя на него, словно перечитываешь страницы Сервантеса.

Каждый жест, каждая поза Дон-Кихота - Шаляпина веют необыкновенным изяществом и тем душевным благородством, какое нынешний на человека, как дар, посланный для того, чтобы выделить его из миллионов ему подобных.

Таков он был, вооруженный против всякой неправды, странствовавший на тощем своем Россинанте по полям и долинам Андалузии, открытый сердцем для любви и погибший жертвой обмана.

Всю его незлобивую и чистую душу освещает Шаляпин последней предсмертной интонацией:

— Я, рыцарь Твой, за правду был всегда. Господи! Прими дух мой!

Он умирает стоя, как рыцарь, и только из мертвых рук вываливается его копье.

IX.

С вершин романтизма Шаляпин опускается в недра темной души Ерёмыко во „Вражьем селе“, — этого, по выражению Мусорского, „российского Бертрама“.

Все темно, все загадочно в этом пьяном кузнецце. Не то сам он несчастен, плывя по течению, куда судьба несет. Пьяный, безвольный, не то воплощает он в себе какую-то черную силу и действует „с умом“, с тайным каким-то замыслом, подстрекая Петра на преступление.

Еремка — не Мефистоффель; Мефистоффель — определенное. В Еремке одинаково живут и Бог и чорт. Он необыкновенно сложен; переливы его души — неуловимы.

Шаляпин создает лохматого, полулыжного кузнеца, с необыкновенно замысловатым выражением лица.

Он щурится все время и не разобрать — от добродушия ли, оттого ли, что от пьянства глаза у него заплыли, или оттого, что один он знает что-то такое, чего никто не знает.

Когда он веселым пьяным голосом поет Петру:

— Ты купец на меня не сердись, а Еремке-то пониже поклонись — в веселье его страшное что-то чувствуется, какая-то особенная власть и сила. Сверкнут глаза его диким огнем — и потухнут. И снова лицо его кривится блаженно-пьяной улыбкой, за которой, однако, светится что-то, особенный свет.

Сидит он у печки, почесывается, переговаривается с девушкиами, и, кажется, ничего ему больше не нужно — и пьян и весел.

Но глаза — нет-нет — зорко нащупывают в толпе Петра, будто привораживают его.

В сцене проводов масленицы он, огромный, нескладный в своем полушибке и странно-подвижный вертится в веселой толпе, то словно становясь меньше ростом, то вырастая над нею.



«Почему вы не стремитесь быть ближе к королю?
Вознаграждать умею...»

Ф. И. Шаляпин—король Филипп II в „Дон-Карлосе“.

П. Бучкин.

Библиотека "Руниверс"

Ни одно из настроений его, ни одну из интонаций Шаляпин не доводит до полной определенности; простота мигом переходит в загадочность; загадочность—едва внимание насторожилось его—превращается в добродушие, но до поры, до времени, пока в веселом лице не пропустит что-то жесткое, нечеловеческое.

Понимаешь Еремку, что-то открывается в нем, когда один идет он по пустой площади к кабаку.

Идет, приплясывая и потряхивая деньгами в руке.

Ну, конечно, это он—темный, странный, герой наш—Зеленый Змий, опутавший всю Россию своей крепкой сетью, он—великий паук, выткавший неразрываемую свою паутину.

В его речах, по внешности таких обыкновенных, таится не преодолимое очарование зла, которое праведники наши называли соблазном.

Это не простой кузнец. По виду кузнец, но на самом деле кует он недолю людскую. Высокое мастерство Шаляпина здесь сказалось в необыкновенно сложной живописи полутонов, полунастроений, противоположных, неожиданных, но в целом сливающихся в одно гармоническое и прекрасное создание.

Еремка, быть-может, наиболее загадочный, нерасшифрованный его образ.

При создании Еремки, как и при создании Варлаама в „Борисе Годунове“, Шаляпин раскрывает мистицизм быта, те тайные силы, что живут за внешним, прочным укладом жизни.

И Еремка и Варлаам — два художественных, различных решения одной загадки, чрезвычайно национальной и только в России возможной, в стране, где возможны и о. Сергий Толстого, и юродивые, и внезапные праведники, и такие же грешники.

Шаляпин, как русский артист, заглянул в самые недра русской души, и те тайны, какие он постиг, выявил в своих сценических созданиях.

X.

Какой бы из образов Шаляпина мы ни взяли — в каждом из них мы встречаемся с характерной для его творчества чертой: оно не знает сценических ролей, но создает только типы, которые, по условиям сценического действия, ожидают в обстановке „трех стен“.

В каждом из своих созданий Шаляпин выдвигает общие черты, существенные, главные, располагая черты второстепенные в строгой подчиненности главным.

Поэтому мы не видим у него лишних жестов, этих ужасных театральных „общих мест“, соблюдающих художественную экономию, он дает максимум впечатления при минимуме линий и штрихов.

Его творчество объективно, в лучшем смысле, что видели мы, изучая его короля Филиппа II. Оно пробуждает в нашем сознании богатство ассоциаций, что соответствует каждому совершенствованному художественному произведению.

Я не говорю о таких, широко известных его созданиях, как Борис Годунов, Мефистофель, Мельник. Но и в них, при устойчивости основного замысла, при неизменяемости его — форма выражения каждый раз иная; каждый раз мы видим не точную копию одного, отлитого образа, но новую редакцию его.

Это свидетельствует о непрерывном росте художника и о неисчерпаемости его фантазии.

К некоторым образом Шаляпин возвращается редко, как, например, к Сальери. Но тем ярче выступает тогда невыразимое совершенство пушкинской поэзии, ибо с каждым новым выступлением артист показывает углубление формы и изощрение тех средств, при помощи которых блеск пушкинского стиха является во всей своей красоте.

Работа над Сальери — тонкая, филигранная работа, совершенство которой постигаешь, изучая параллельно текст „Моцарта и Сальери“.

„Сальери“ — самое изысканное из шаляпинских созданий; оно поражает богатством и красотой оттенков, воспроизводящих чистую поэзию, и потому Шаляпин редко выступает в этом своем творении перед публикой, ищущей в театре прежде всего внешней интересности действия, ярких красок, эффектных положений.

„Сальери“, мне кажется, выиграет при исполнении на концертной эстраде больше, нежели в оперном театре.

Все образы Шаляпина, по преимуществу, образы трагические; трагедия отцовской любви (Мельник, Пилаканта в „Лакме“), безумие единой мечты (Досифей в „Хованщине“), исторические герои (Олоферн, Иоанн Грозный, Борис Годунов, король Филипп II) — все его лица веют суровым дыханием трагедии.

Шаляпин — актер трагический. Эта репутация за ним устаконилась давно иочно. Но иногда, как бы для того, чтобы выйти из сумерек трагедии в ясный день жизни, с ее смехом и радостью, он создает комического Фарлафа или читого Дон-Базилио, этого героя Бомарше и России.

Видя его в „Севильском цирюльнике“, вспоминаешь совет Бомарше, данный Сальери: „Перечти „Женитьбу Фигаро“.

Шаляпинский юмор меток, ярок, остор. И в нем так же, как и во всех других свойствах его творчества, отражается внимательное изучение природы, что делает и комических его героев столь близкими нам, как будто мы однажды видели их где-то, и впредь часто вспоминаем их, как старых, милых и смешных наших знакомых, (смешных — в смысле веселых, а не достойных осмеяния).

Создания артиста живут и умирают вместе с ним. И только образы его, закрепленные художниками, грядущими поколениями дадут лишь неполное представление о том, какое богатство творений создал артист могучим гением своим, глубоким замыслом и равным ему совершенством исполнения.

Общественные мотивы в художественном творчестве В. Г. Короленко.

Очерк В. Евгеньева-Максимова.

Недавно исполнилось сорокалетие литературной деятельности Владимира Галактионовича Короленко (его первое печатное произведение появилось летом 1878 г. в газете „Новости“): 15/28-го июля исполнилось шестидесятипятилетие жизни писателя. И сорокалетие и шестидесятипятилетие не являются, строго говоря, „юбилейными“ годовщинами. Тем не менее, некоторые общественные и просветительные организации, как, например, общество „Культура и Свобода“, постановили чествовать Короленко 28-го июля с. г. литературно-артистическим вечером в Петрограде, в зале Тенишевского училища, и послать с особым дипломатом маститому писателю в Полтаву приветственный адрес.

Короленко, как очень крупный представитель русского художественного слова, как писатель-гражданин, ни разу не изменивший в течение своего долгого литературного служения благородным лозунгам одного из интереснейших и своеобразнейших течений русской общественности — народничества, давно уже заслужил себе бесспорное право на общественное внимание и интерес. Но, может-быть, никогда еще за последние три-четыре десятилетия не хотелось так говорить и думать о Короленко, как хочется говорить о нем и думать сейчас. Текущий момент характеризуется тем, что среди широких кругов русского общества поколебались две веры, служившие для него путеводной звездой в течение многих десятилетий, — вера в народ и вера в интеллигенцию. Современная действительность чуть ли не каждый день приносит факты, свидетельствующие, с одной стороны, об ужасающей темноте народной среды, с другой стороны, об душевной дряблости и неспособности к творческой работе интеллигентных слоев. Из этих фактов делаются выводы столь общего характера, что если согласиться с ними, то придется к безотраднейшему пессимизму, к полному отрицанию всякой возможности какого-либо выхода из того рокового тупика, в который забрала наша несчастная родина. Короленко как раз принадлежит к числу тех русских писателей, которые с

наибольшей убежденностью верили и в народ и в интелигенцию, строя все свои надежды на лучшее будущее на результатах совместной работы народных масс и интеллигентного меньшинства во имя претворения в жизнь идеалов свободы, равенства и братства. Не ошибался ли Короленко, а вместе с ним и вся блестящая плеяда наших писателей народников? Вот роковой вопрос, неотвязно предстоящий нашему сознанию. Действительно ли сердце народное, несмотря на многовековое рабство, осталось „золотым“, сохранило и „совесть спокойную и правду живущую“? Точно ли наша интеллигенция способна „сеять разумное, доброе, вечное“ и искренно молить у Бога сил „честное дело делать умею“? А что, если это сплошной обман и бред? А что если душные потемки старого режима убили и в народе и интеллигенции все, кроме животного, на физиологических основах возросшего, а потому и непреоборимого влечения к ублаготворению своих узко-эгоистических потребностей и аппетитов, хотя бы для этого пришлось перервать глотку не малому количеству себе подобных? Великие писатели народолюбцы 60-х и 70-х гг. не дожили до наших смутных дней и не разрешат наших сомнений. Короленко — последний могикан, последнее свидетельство их блестящей плеяды — жив; он — наш современник; он переживает то, что и мы переживаем: наши боли и отчаяние являются и его болями и отчаянием, а потому неудержимо тянет в живой беседе с ним излить все то, что скопилось на душе, гнетет ее, и услышать от него желанный ответ. Но увы! Короленко живет на территории другого государства (какой грустной иронией звучат эти слова!), проехать в которое почти невозможно, а потому единственная доступная для нас форма беседы с ним — это раскрыть его книги и перечесть их благоухающие цветами истинной поэзии страницы.

Итог впечатлениям, вынесенным из такого чтения, предпринятого с целью проследить отношение Короленко к народу и интеллигенции, и подводит настоящий очерк.

Характерною чертою крестьянских героев Короленко является неукротимый дух протеста, источник которого коренится обычно не в стихийном бунтарстве, а в готовности бороться за попранную справедливость, за нарушенный нравственный закон. Даже в темные времена крепостничества крестьянин, по Короленко, не отступал перед протестом и борьбой, когда права его личности или личности близких ему людей попирались помещиками.

Так, например, Роман, герой рассказа „Лес шумит“, сумел защитить жену от сластолюбия развратного пана, и его кровавая месть была не столько вспышкою ревности оскорблённого мужа, сколько справедливою защитою правого дела.

В рассказе „В облачный день“ перед нами, как живой, встает полусумасшедший помещик Панкратов, решивший за измену жены-крестьянки показать себя всему ее племени. „Хуже собак мне мужики теперь...“ говорил он. В своей необузданной злобе против крестьян он доходил до настоящего изуверства, заставляя, например, крепостных женщин выкармливать свою грудью барских щенят. Молодой крестьянин Алексей, глубоко возмущенный насилиями помещика, пришел к мысли о том, что „этого и закону-то, покуль свет стоит, не бывало, чтобы животную тварь женским молоком воспитывать. Этого и Господь не может терпеть, так может ли барский закон стать выше Божьего?“ Протест смельчака имел ужасные результаты. Разъяренный помещик толкнул его в котел с кипящей овсянкой, однако смерть Алексея превысила меру терпения крестьян, и они убили тирана.

В этом же рассказе встречается описание мирского „бунта“. Помещик, вместо положенной трехдневной барщины, принуждает крестьян работать четыре дня. Сознание незаконности этого образа действий возбуждает среди них сильное негодование. „Всем солнышко Божье светит, — говорят они, — всем и закон даётся... Почему же такое: для всех закон триденная барщина, а нас все по-старому гоняют?“

Попытка крестьян отстоять свои права влечет за собою жестокое наказание „зачинщиков“.

Еще более интересна история Василевского бунта, рассказанная в „Голодном году“. Крестьяне села Василев Майдан с самого освобождения не платят выкупных платежей. Их убеждали, приводили к покорности, секли и все-таки не добились ничего. Темное предание видит причину бунта в „золотой грамоте“, привезенной в Майдан какими-то таинственными личностями, которую крестьяне поняли, как своего рода закон, освобождающий их от платежей, и рвали, во что бы то ни стало, держаться этого закона.

В приведенных примерах народный протест направлен против конкретных правонарушений, конкретных посягательств на крестьянские интересы. У наиболее глубоких и вдумчивых натур крестьянской среды он имеет в виду уже не только частные случаи, но и весь уклад государственной и общественной жизни. Интересен в этом отношении герой рассказа



„Ты, купец, на меня не сердись,
А Еремке-то пониже поклонись!“...

Ф. И. Шаляпин (Еремка) во „Вражьей силе“.

П. Бучкин.

„В подследственном отделении“, пермский крестьянин Яков. Заключенный в тюрьму, повидимому, за непризнание власти, он при каждом появлении в коридоре тюремного начальства начинает неистово колотить ногами в дверь, производя таким образом страшный шум. Лицо, от имени которого ведется рассказ, спросило Якова, для чего он это делает. „Стою за Бога, за великого государя, за Христовых законов, за святое крещение, за все отечество и за всех людей!“ — нимало не смущаясь, ответил он и прибавил, в пояснение своей мысли: „начальников неправильных обличаю“. Яков не ищет осознательных реальных последствий своего стуления; „пользу“ от своего образа действий он видит в самом факте „стояния“ за Бога, великого государя и отечество“. Поведение его граничит с геройством, ибо суровое тюремное начальство не остановится перед самыми жестокими мерами, чтобы заставить замолчать непреклонного протестанта. „Побежденный физически, он считал себя не сдавшимся победителю, пока еще „Господь поддерживает его“ в единственной форме борьбы: „Стучу вот!“ В этом он постыдился уже видеть свою миссию, свое торжество.

Общественное мировоззрение этого фанатика идеи не имеет строго определенного характера. С освобождения крестьян русская жизнь, по его мнению, распалась на два начала: истинное—государственное и беззаконное—земское. Великий государь пре-
бывает в старом „прав-законе“, а царь Польский и князь Финляндский в новом. Слуги земского начала, иначе слуги антихриста, насильно стали приводить народ под свою руку. Новые порядки, введенные ими, грозят неминуемо бедою всему строю жизни. Однако господству беззаконников придет конец: „Поработают, да и погибнут. А только долго ждать. Не увидать нам с тобой правды“— уверенно прорицает Яков. Яков слишком темный человек, чтобы правильно судить о гражданском и государственном начале, он скорее чувством, чем разумом, сознает аномалии общественного строя и, проникнувшись однажды обличительным настроением, крепко держится за него всю жизнь.

Не мало общего с Яковом имеет камышинский мещанин (тот же рассказ), принадлежащий к тому слою мещанства, который сливается с серым крестьянским людом. Подобно Якову, он не признает за начальством права судить его и бесстрашно остается верен своим убеждениям. Последние сводятся у него к чистейшему отрицанию. Он не верит в существование Бога, так как никто не видел его, отрицают существование чего бы то ни было.

Не ограничиваясь указанием на свойственный русскому человеку дух протеста и оппозиции против всего, что является по его понятиям несправедливым и беззаконным, Короленко не упускает случая подчеркнуть и выдвинуть тягу народа на сторону удовлетворения высших потребностей духа. В его рассказах перед нами проходит целый ряд простых крестьян, жаждущих правды, ищащих ответа на свои сомнения, рвущихся всей душой на вольный свет. Таков ямщик „убийца“ в „Очерках сибирского туриста“, который покинул свое хозяйство и пошел искать праведных людей, чтобы избавиться от тоски и грызущих его сомнений. Таков в значительной степени и Микеша в рассказе „Государевы ямщики“, всей душой стремящийся вырваться из среды односельчан, прикрепленных к своему станку и обязанных нести ямскую повинность. К этому же типу отчасти принадлежит Степан из рассказа „Марусина зайника“, неудовлетворенный тихою и спокойной жизнью хозяина, жаждущий новизны и сильных ощущений.

Третьей характерной чертой русского мужика в произведениях Короленко является его любовь к труду вообще и к земле в частности. Типичны в этом отношении фигуры Тимохи и Маруси (рассказ „Марусина зайника“). Общественник и пахарь по натуре, попавший в Сибирь за мир и землю, Тимоха не знает наслаждения выше земледельческого труда; пассивный и даже сонный обычно, он преображается, рассказывая о том, как они со ссылочным Ермоловым пахали землю в якутской стороне. Земля для него все: мать, кормилица, источник забвения, отдыха от житейских тревог и волнений. То же тяготение к крестьянской жизни, к крестьянскому делу наблюдается в красивой Марусе. На своей займке она усердно хозяйствует, стараясь придать ей даже внешний вид малороссийского хуторка. Автор характеризует ее такими словами: „изломанная, смятая какой-то бурей, она стремится восстановить в себе женщину и хозяйству. Для этого ей нужно было ее хозяйство, этот уголок. Для хозяйства нужен хозяин. Все это—лишь внешняя оболочка, в которую, как улитка, пряталась больная женская душа.“

Героические усилия Маруси не пропали даром: брак с Тимохой дал ей желаемое удовлетворение. Гаврила в рассказе „Не страшное“ также является ярким образцом столь многочисленного в русском народе типа вечного труженика. В непрестанном труде такие люди видят как бы свое предназначение, и если можно говорить о гениальности в области физической работы, то они именно и представляют собой таких гениев.

Рассказы Короленко, посвященные изображению крестьянского быта и крестьянских типов, совершенно чужды тенденций идеализировать их. Писатель не закрывает глаз на темные стороны народного характера, не отступает перед их воспроизведением. Однако сила воодушевляющей его любви к народу помогает ему возвращаться до понимания истинных причин недостатков нашего крестьянства, как бы существенны они иной раз ни были. Наиболее ярко указанная черта творчества Короленко оказалась в его драматическом рассказе „Сон Макара“. Чалганский крестьянин Макар, до-пьяна напившийся водки, едет в лес осматривать звериные ловушки. Пройдя, прежде всего, по чужим ловушкам, он сворачивает к своим, в одну из которых попала лисица. Враг и сосед Макара — Алешка — тут как тут, он также желает завладеть пойманной добычей. Происходит скора, во время которой чалганцы выпускают зверя. Увлекшись преследованием своего врага, Макар углубляется в лес, теряет дорогу и под конец замерзает. Когда, по его представлению, он уже умер, к нему подходит покойный попик Иван, поднимает его и ведет на суд к верховному судье Тойону. Спрощенный последним о том, что он делал в своей жизни, Макар перечисляет свои работы, при-

бавляя много лишнего. Узнав об обмане, рассерженный Тойон присуждает его служить мерином у церковного трапезника, но вмешательство Тойонова сына дает Макару возможность оправдаться.

По приведенному короткому пересказу можно судить, что нравственные качества Макара очень невысоки. Он большой любитель выпить, не прочь присвоить себе чужую собственность, не задумается при случае привратить. Несомненно, что эти пороки Макара автор считает, в большей или меньшей мере, не чуждыми всему русскому крестьянству. Можно ли однако строго осуждать его за них? Помещенная в конце рассказа страстная апология Макара служит ответом. Свои оправдания чалганец начинает с заявления, что отдать его в мерины к трапезнику неправильно, потому что его и так гоняли целую жизнь. „Гоняли старости и старшины, заседатели и исправники, требуя подати; гоняли попы, требуя ругу; гоняли нужда и голод; гоняли морозы и жары, дожди и засухи; гоняла промерзшая земля и злая тайга... Скотина идет вперед и смотрит в землю, не зная, куда ее гонят... И он так же... Разве он знает, что поп читает в церкви и за что ему идет руга? Разве он знал, зачем и куда увели его старшего сына, которого взяли в солдаты, и где он умер, и где теперь лежат его бедные кости?“

„Говорят, он пил много водки? Конечно, это правда: его сердце просило водки... Хорошо! Но разве это была водка? Три четверти было воды и только четверть настоящей водки, да еще настый табаку... Он прибавил три тысячи жердей? Пусть так! Пусть он нарубил только шестьдесят тысяч! А разве этого мало? И, притом, две тысячи он рубил, когда у него была больна его первая жена... И у него было тяжело на сердце, и он хотел сидеть у своей старухи, а нужда его гнала в тайгу... И в тайге он плакал, и слезы мерзли у него на ресницах, и от горя холод проникал до самого сердца... А он рубил!“

„А после старуха умерла. Ее надо было хоронить, а у него не было денег. И он нанялся рубить дрова, чтобы заплатить за старухин дом на том свете. А купец увидел, что ему нужда, и дал только по десяти копеек, и старуха лежала одна в нетопленной мерзлой избе, а он опять рубил и плакал...“

„Когда он испытал от кого-нибудь ласку, привет или радость? Где его дети? Когда они умирали, ему было горько и тяжко, а когда вырастали, они уходили от него, чтобы в одиночку биться с тяжкою нуждой. И он состарился один со своей второй старухой и видел, как его оставляют силы и подходит злая бесприютная дряхлость. Они стояли одинокие, как стоят в степи две сиротливые елки, которых бьют отовсюду жестокие мятежи.“

Слова Макара смягчили старого Тойона, одно лишь казалось ему странным: лица праведников светлы, глаза их ясны, ризы чисты, а чалганец некрасив, грязен и оборван. Тяжело и стыдно стало Макару, стыдно за самого себя, но он поднял голову и заговорил снова: „О каких это праведниках говорят Тойон? Если о тех, что жили на земле в одно время с Макаром в богатых хоромах, то Макар их знает. Глаза их ясны, потому что не проливали слез столько, сколько их пролил Макар, и лица их светлы, потому что обмыты духами, а чистые ризы сотканы чужими руками“.

Суд окончился оправданием Макара, нашедшего в царстве старого Тойона любовь и милосердие, которых не было для него на земле.

Только один вывод можно сделать из этого рассказа, исключительного по своей художественности и теплоте чувства. Нужда, горе и надрывающая силы работа вполне оправдывают и объясняют темные стороны в характере русского крестьянства, и да будет стыдно тому, кто решится за них бросить в него камнем осуждения.

Переходим к другой стороне общественного миросозерцания Короленко: к отношению его к культурному классу. К тем представителям его, которые, будучи по условиям своей общественной и служебной деятельности близки к народу, игнорируют народные нужды и потребности, используют свою власть для глупых и диких экспериментов, Короленко беспощаден.

Вот „молодой деятель“ Смурыгин (рассказ „В облачный день“), который для блага вверенного ему участка сделал распоряжение обсадить березками проселочные дороги и отвел на возражения смущенных крестьян семидневными арестами старост и старшины, не отступая также для более успешного воздействия на народ и перед мордобитием. Отмена этой нелепой меры вызывает осуждение в местных чиновниках: „раз уже сделано... нельзя же так ронять авторитет власти“.

Вот бывший радикал и энтузиаст Заливной, требовавший когда-то фортецизма для народных школ, а теперь настаивающий на полном упразднении этих последних. Подобные господа доходят иногда до полного мужиконенавистничества. На страницах „Голодного года“ Короленко описывает земских деятелей Лукояновского уезда, не желавших воспользоваться назначенней для крестьянского населения продовольственной ссудой

и отрицавших самый голод в своем уезде, тогда как в действительности он достигал угрожающих размеров.

Такой образ действий чиновников и местных деятелей в роде лукояновских земцев приводит в некоторых случаях крестьян к суеверному убеждению: „начальники не верят в Бога, отчего ни одного из них земля после смерти не принимает в свои недра. Что губернаторы, что исправники, что заседатели — все одно... Положат его в домовину, он так сквозь землю и пойдет и пойдет... в самые, видно, тартарары“.

Гораздо мягче отношение Короленко к тем „слабым духом“ представителям интеллигентии, которые не устояли против засасывающего влияния монотонной жизни провинциальных городов и городишек. Писатель знает, как трудно бороться с „не страшным“, на первый взгляд, демоном будничности и повседневности. Картина постепенного поглощения жизненными мелочами всего духовного в человеке дает потрясающий рассказ „Не страшное“. Семен Николаевич Будников, молодой, искренно преданный идеиному миросозерцанию человек, мечтающий работать на благо народа, приезжает в провинциальный городок кончать тяжбу по оставшемуся от отца наследству. Мало-по-малу заботы по хозяйству, мелкие интересы серенькой жизни города захватывают его, и он остается в городке на всегда. Процесс духовного увядания продолжается в нем с неослабевающей силой. Вот как характеризует его учитель Падорин: „Понемногу стало все отвлеченностю. Целью жизни, мечта эта молодая отделилась от самой жизни, отодвинулась куда-то, а в буднях остались одни средства: квартиранты там, штукатурка, плата, осмотр дворов, потом нарастающие накопления. Ну и затопляет... затопляет это все, понимаете, уголки души... И остается человек, как бы сказать... Ну, одним словом, без святыни...“

В конце концов Будников дошел до того, что стал записывать в графу прихода выпитые им у квартирников стаканы чаю и считать свои шаги, желая узнать, на сколько верст могут служить подметки. Подобных типов не мало в русской жизни: в том же городке, например, живет учитель зоолог Каллистов, который сначала говорит: „только бы диссертацию написать, и вонь из этого болота“, а кончил тем, что женился, и, сделавшись исконным провинциалом, перестал уже порываться на вольный свет. Влияние среды коснулось несколько и Павла Семеновича Падорина, от лица которого ведется рассказ. Начальство запретило происходившие у него сборища гимназистов, на которых читались свежие журналы, обсуждались общественные вопросы, стало почтнее заглядывать к нему на уроки, показывая этим свое несочувствие вслким отступлениям от программы. Падорин, хотя и принужден был сначала пойти на компромиссы, оказался слишком искренним и честным человеком, чтобы раз навсегда помириться с пошлостью провинциальной жизни. Он, к удивлению своих сослуживцев, считавших его чудаком, а теперь пришедших к убеждению, что у него „положительно... не все дома“, бросил гимназию и занялся частными уроками.

К счастью, не вся русская интеллигентия состоит из Будниковых, Каллистовых и им подобных, и Короленко более, чем кто-либо другой, не склонен замалчивать ее положительные стороны: в его рассказах длиною черезодо проходят те люди из среды образованного общества, без которых, по вещему слову поэта, „заглохла бы нива жизни“, подвижники идеи, фанатики долга перед народом. Но такова грустная ирония недавней русской действительности, все они — ссыльные, катаржане, одним словом, „политические преступники“. В основе их деятельности, по глубокому убеждению Короленко, лежит возвышеннейший и благороднейший альтруизм, который не на словах, а на деле заставляет „полагать душу свою за други своя“. Восторженный дифирамб в честь такого альтруизма пролет Короленко в чудном рассказе „Мороз“. Центральное место в нем занимает ссыльный поляк Игнатович. Жестокая сибирская стужа, в которую однажды пришлось ему ехать с товарищами, воздействуя на организмы путников чисто физиологически, привела их в какое-то полуносное состояние и помешала им помочь замерзающему прохожему, попавшему им навстречу. Ночью, вне себя от ужаса, Игнатович сознает, какие результаты может иметь их равнодушие. Он будит своего товарища и, не слушая его оправданий, говорит с какой-то дикой энергией: „Вы будете подыскивать оправдания... Совести замерзла. О, конечно, это всегда так бывает: стоит понизиться на два градуса температуре тела, и совесть замерзает — закон природы... Не замерзает только сопротивление о своих удобствах и подле фарисейское лицемерие... О, какая низость!“ Рассказ оканчивается трагически. Пока идут переговоры с ямщиками, не соглашившимися выезжать ночью, Игнатович, никем не замеченный, один бросается в лес, сбивается с пути и гибнет.

То же альтруистическое настроение свойственно другому ссыльному — Ермолову (рассказ „Марусина займка“), сумевшему



В. Г. Короленко.

И. И. Бродский.

сразу стать на равную ногу с простым крестьянином Тимохой. Симпатичны фигуры старого гарibalдийца Максима и молодых студентов Ставрученко, искренних и честных идеалистов, в повести „Слепой музыкант“. Общими, но не лишенными яркости, штрихами очерчен один из наиболее интересных героев рассказа „Без языка“ Евгений Нилов. Черты его биографии крайне поучительны. Получив в наследство от отца имение и старую тяжбу с крестьянами, Нилов по всем пунктам уступает последним и сидит в Америку. За океан его влечет любовь к свободной и независимой жизни. Своему земляку крестьянину Матвею Лозинскому он объясняет, что ему особенно симпатично в американской жизни: „за то одно, что мы здесь встретились с вами... и с другими, как равные... как братья, а не как враги... я буду вечно благодарен этой стране“. В Америке Нилов со своим идеалистическим мировоззрением представляет исключительное явление: даже умные люди, вроде судьи Диксона, плохо понимают его. Соединенные Штаты однако не сделались его отечеством: Россия продолжает притягивать Нилова: последние известия оттуда, о характере которых можно лишь смутно догадываться, заставляют его бросить все и вернуться на родину. Не подлежит сомнению, что он не останется там праздным и бездеятельным, но будет работать, сколько хватит сил, во имя лучшего будущего. Едва ли однако не самый плenительный тип человека, всем пожертвовавшего идею, дает рассказ „Чудная“, долго находившийся под цензурным запретом. Изображенная в нем ссыльная Морозова совмещает в себе лучшие черты русской женщины. Даже ее „сектантство“, в котором упрекнула ее одна из товарищей по ссылке, пристекает из чистого и благородного источника. В условиях русской действительности любовь и ненависть идут рука об руку. Беззаботно любя народ, нельзя не ненавидеть ту неправедную власть, которая ведет его к гибели. Этим и объясняется „сектантство“ Морозовой.

Вот обрисованные кратко и схематично картины русского общества по произведениям Короленко. Обобщая изложенное, возможно прийти лишь к одному выводу о сущности общественного мировоззрения писателя. Хотя народ невежествен и темен, склонен к пьянству и обману, находится во власти начальства, далеко не стоящего на высоте, все же в нем сильно стремление к „закону“, к „справедливости“ и неугомонный дух протesta. Если мы добавим сюда постоянно отмечаемую писателем изумительную трудоспособность русского крестьянства, то глубокая вера Короленко в победу светлых начал в народной жизни сделается для нас несомненной... Интелли-

генция, погребающая иногда благие порывы и желание быть полезной в омуте повседневной и будничной жизни, все же несет в себе ясно выраженные задатки альтруистического мировоззрения и часто выдвигает из своих рядов самоотверженных борцов во имя народного блага.

„Надежды на лучшее будущее, на то будущее, когда настанет день на святой Руси“ сказались в чудном стихотворении Короленко „Огоньки“. В нем поэт описывает свою поездку по мрачной сибирской реке, окаймленной угрюмыми нависшими скалами. Приветные огоньки ночлега, блеставшие так близко и многообещающе, оказались на деле очень далеко. „Много огней и раньше и после, — заканчивает Короленко, — манили не одного меня своею близостью. Но жизнь течет все в тех же угрюмых берегах, и огни еще далеко. И опять приходится налегать на весла..“

„Но все-таки... все-таки впереди—огни!“

Что же значат на языке Короленко слова „налегать на весла“? Какими путями, иначе говоря, надо ити, какими средствами бо-

лем прозябать в тюрьме, и смело пустился в бушующее море на утлой лодке рыбака. Неземной восторг наполнял его существо в эти минуты, так как „он знал, что он свободен, что никто в целом мире теперь не сравняется с ним, потому что все хотят жизни... А он... Он хочет только свободы“.

Еще шире вопрос о свободе и способах ее достижения поставлен в известном „Сказании о Флоре, Агринипе и Менахеме, сыне Иегуды“. Эпоха, которую рисует автор, — расцвет римского владычества, местодействия — Иудея, действующие лица — римский наместник Флор, иудейский царь — Агринипа и учитель народа — Гамалиот Менахем. Содержание — борьба иудеев за свою политическую свободу. Первая часть рассказа посвящена характеристике Рима, завладевшего целым миром. По мере того, как слабели силы порабощенных народов, в его сердце росло высокомерие и гордость. Плоды насилия оказались гибельными для насильников, от них яд распространился по всему народу. Исправить недостатки общественного строя не предста-



Н. Ф. Анненский.

Ант. П. Чехов.

А. И. Куприн.

В. Г. Короленко.

В. Г. Короленко в кругу родных и друзей.

ряться, чтобы приблизились эти долгожданные и страстно желанные огни? На этот вопрос отвечают три замечательных рассказа Короленко: „Тени“, „Мгновение“, „Сказание о Флоре, Агринипе и Менахеме, сыне Иегуды“.

В первом из них с одушевлением, доходящим до экстаза, автор рисует гениальную личность Сократа и его огромное значение в общественной жизни Афин. „Я твой овод, — говорит философ народу, — я больно жалю твою совесть, чтобы ты не заснул. Не спи, не спи, бодрствуй, ищи правду, афинский народ!“ Искание правды — девиз и цель жизни Сократа; в своем стремлении к ней он не останавливается ни перед чем: отвергает привычных богов, разрушает веками установленные авторитеты и освященные старину мнения. Его не смущает надменный упрек Кронида в том, что, уничтожая старые алтари, он не в силах создать новых. Работа мусорщика, запачканного пылью разрушения, неблагодарна, но она необходима для будущего храма. В этом ее польза и оправдание. Нужно ли говорить, что воодушевлявшее Сократа стремление к истине и борьбе во имя ее возбуждают горячее сочувствие писателя, так как составляют основу его собственного общественного credo.

В небольшом рассказе „Мгновение“ заключается целый дириамб свободе. Испанский инсургент Мигуель Диац много лет томился в заключении на небольшом островке, затерянном в океане. Бурною ночью ему представилась возможность бежать, хотя и мало было надежды добраться до противоположного берега. Диац предпочел пойти навстречу свободной смерти,

влялось возможным, так как священнейшее право свободного человека — вольность слова — было отнято. Лучшие из римлян, бесстрашные в опасности и сечи, делались рабами в душе, так как боялись немилости тирана. „Таковы сердца тех, кто служит насилию“. Жестокости Флора разжигали недовольство у иудейского народа, но „священники и вельможи и все, кормившиеся от храма и богатства, боявшиеся потерять богатство“, старались успокоить народный гнев. Наконец чаша терпения переполнилась, и страшное восстание вспыхнуло против римлян. Гамалиот Менахем, философ и учитель народа, отец которого умер в борьбе за свободу, становится во главе движения. Однако некоторые недовольные войною иудеи горько упрекают Менахема за подстрекательство, купцы, например, говорили, что он не имеет ничего и потому не дорожит жизнью; ессеи утверждали, что борьба — зло и гибели можно избежнуть только кротостью. Гамалиот, в ответ на их доводы, изложил свой общественный символ веры, основанный на трех основоположениях:

если бы народ не оставлял без поддержки своих борцов за свободу, то насилие никогда не могло бы торжествовать;

насильники, не встречая никакого сопротивления, ожесточаются и избивают всех без различия; если они и оказываются милость побежденным, то только потому, что оказавшие сопротивление навлекли на них весь гнев и свою гибелью купили мир и спокойствие оставшимся;

борьба против насилия не есть зло, так как „сила руки не зло и не добро, а сила, зло же или добро в ее применении.“

Сила руки— зло, когда она поднята для грабежа и обиды слабого; когда же она поднята для труда и защиты ближнего,— она добро».

Свои мысли Менахем подкрепил притчей, в которой рассказал о смерти хозяина дома, защищавшего своего гостя от насильников, и о превосходстве „скорбного понимания“ над „неведением зла“.

Заканчивая свою речь, Менахем обращается со страстью мольбою ко Всевышнему. Он просит его дать защитникам свободы силу до конца послужить делу справедливости, до конца сохранять веру в торжество истины и добра. „Когда же пройдет час Твоей воли,— говорит он,— и мы погибнем, пусть Ангел Скорби осенит своим крылом наши могилы и поведает о нас нашим детям и детям врагов наших, чтобы и наша смерть служила правому делу“.

Не будет преувеличением сказать, что нигде революционная идеология русской интеллигенции не сказалась в более ярких и в более художественных образах, чем в этом рассказе.

Итак, для того, чтобы приблизить царство „огней“, царство света и свободы, надо, по мнению писателя:

неуклонно стремиться к истине, хотя бы ради нея пришлось отвергнуть все старые установленные мнения („Тени“);

беззаветно, вплоть до готовности пожертвовать самым дорогим, что есть у человека,— жизнью, любить свободу („Мгновение“); безбоязненно бороться во имя блага порабощенного и униженного народа против торжествующего насилия („Сказание о Менахеме“).

Заветы Короленко не потеряли своего значения и для нашего времени. Еще так недавно мы думали, что уже приблизились к вожделенному берегу, что уже достигли желанных огней. Думали, но ошиблись: истинные огни оказались еще далеко. Снова приходится „налегать на весла“. Будем же налегать, каких бы усилий нам это ни стоило. В здоровом оптимизме Короленко, в никогда не покидающей его вере в народ и интеллигенцию постараемся найти опору и утешение в моменты самых тяжелых испытаний.

„Все-таки... все-таки впереди огни!“



„У лукоморья дуб зеленый...“

Аполлинарий Васнецов.

Обезьяна и Медуза.

Сказка

Жил-был на дне моря-океана Дракон.

Он был владыкою над всеми что ни на есть в мире рыбами. Могущественное и главное его не было в океане никого; и его были, как Дракона-царя, Дракона-бога *). Дракон был одинок; супруги у него не было.

Как ни как, а владыка над всем рыбным царством негоже было оставаться без супруги. Холостому и почета меньше.

Выбрал себе Дракон невесту Дракониху и порешил сыграть свадьбу.

Поднялась в море страшная суета. Все рыбы, какие только были в океане, начиная с громадного кита и кончая мелко-плавающей рыбешкой, все до единой отправились с поклоном во дворец Дракона, поздравили его, поднесли дары и пропели Дракону долголетие.

А затем Дракон и молодая супруга его зажили себе, как нельзя лучше; мир и согласие были между ними. Все шло по-хорошему. На удивление счастливая жизнь была у них!

* Рио — дракон-царь, Риодзин-дрюдин — дракон-бог; два синонимические называния бога морей, который представлялся в виде дракона.

Так прошел месяц, прошли два. Но вот случилось, что молодая новобрачная, царица-Дракониха, заболела.

Слегла неваглядная супруга Дракона, души в которой не чаял он, и беспокойство и тревога охватили его.

Призвал он во дворец врача, бородавчатого Осмимога-отшельника, и приказал ему лечить больную; а кроме того, назначил безотлучно бодрствовать и дежурить при ней фрейлин и дворцовую прислугу.

Но как ни ухаживали за больной Драконихой, как ни старались, а она все не поправлялась. Ей становилось все хуже и хуже. Дракон совсем потерял голову. И вот как-то обратился он к врачу Осмимогу с такой речью:

— Послушай, Осмимог! Ведь ты же врач! А если врач, так почему не лечишь ты, как подобает настоящему врачу? Ты, я вижу, умеешь только покачивать своей огромной головой да глубокомысленно вытягивать губы, а знаний и уменья у тебя, видно, нет ровно-таки никаких.

Дракон говорил с сердцем. Осмимог перетрусил.

— Виноват! — почтительно и смиренно отвечал он. — Я сам от всей души желаю излечить болезнь как можно скорее, но что я ни делаю, как ни стараюсь, выходит совсем не так, как мне хочется; болезнь не излечивается. Есть только



„Обезьяна и Медуза“. Но как ни ухаживали за больной Драконихой, как ни старались, а она все не поправлялась.

одно лекарство, которое может излечить эту болезнь, но нет его здесь, в наших местах.

— Что такое? Здесь нет того лекарства, которое нужно именно против этой болезни? — прервал его Дракон недовольным тоном.

— Нет, к несчастью!

— Что же это за лекарство такое?

— Самая обыкновенная вещь: живая печень обезьяны!

— Что?.. Живая печень обезьяны? Ну, конечно, ее не найти здесь, в наших местах.

— А будь только она, пресветлейшая супруга твоя сразу же вылечилась бы.

— Неужели? Ну, если это такое хорошее лекарство, то непременно надо достать его. А где же его можно было найти?

— Вот где. На юг отсюда есть остров Саругадзима *) На этом острове живут монстры обезьян. Надо только отправиться туда и захватить живьем одну из них. Вот и все!

— Так! Но ведь обезьяны живут на суше, а наши подданные таковы, что им не совсем-то по себе без воды. Вряд ли найдется из них кто-нибудь такой, что мог бы отправиться на остров для захвата обезьяны.

— Да, если так, то я уж не знаю, как и быть... Впрочем, ведь у тебя так много подданных! А может, и найдется кто-нибудь, способный ходить по суше? По-моему, непременно надо поискать кого-нибудь подходящего и поручить ему это дело.

Осьминог говорил от всей души, с преданностью и почтительностью.

— Будь по-твоему! — сказал Дракон и потребовал к себе министра золота, красного Тая, с которым стал держать совет.

Долго думал Тай, склонив набок голову. Вдруг его осенила мысль.

— Да что же это я! — воскликнул он. — Есть! Медуза Хопенай! Кто же больше, как не она? Безобразна Медуза на вид, это правда. Но зато она, как сама уже издавна хвастается, может свободно двигаться по суше, потому, мол, что у нее четыре лапы, как у черепахи. Вот, вот! Ей именно и поручить это!

Дракон кивнул головой.

— Прекрасно! Ей и прикажу я, — сказал он и повелел призвать к себе Медузу.

Явилась Медуза и, недоумевая, зачем это ее требуют во дворец, предстала перед Драконом.

Дракон приказал ей отправиться на остров Саругадзима и захватить там живьем одну из обезьян, живая печень которой необходима для лекарства от болезни его супруги. При этом Дракон пообещал щедро наградить Медузу, если она выполнит поручение толково и успешно.

Не отличающаяся умом и сообразительностью Медуза пришла в замешательство от такого поручения.

— Слушаю! — отвечала она, — но мне никогда еще до сих пор не приходилось захватывать живьем того, что называется обезьянкой. Как это сделать, чтобы захватить ее живьем?

Тут выступил Тай.

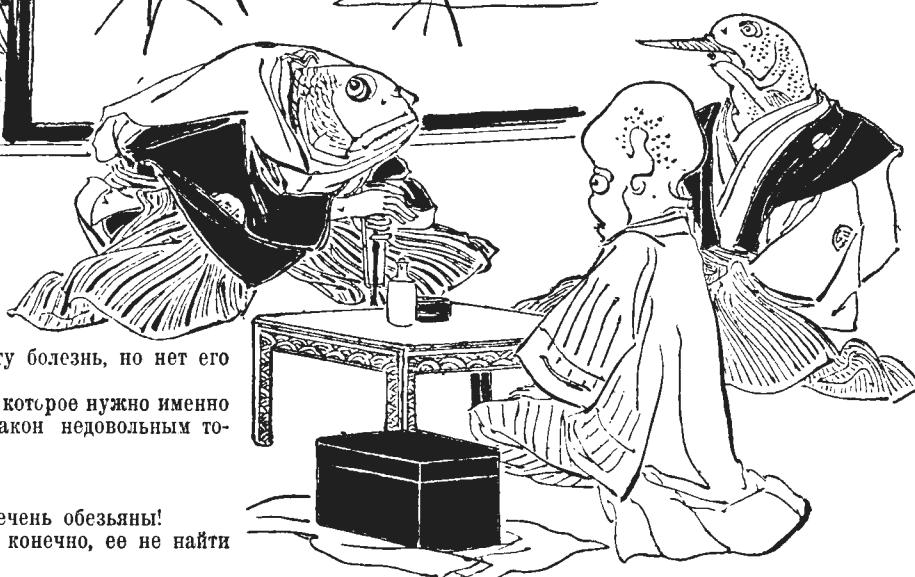
— Видишь ли... Как бы ты там ни старалась, но захватить живьем обезьяну при помощи одной только силы — дело трудное. Надо как-нибудь обмануть ее! — сказал он.

— Обмануть? А как же обмануть?

— Вот как! Когда ты доберешься до обезьяны, приветствуй ее вежливо и почтительно; наговори ей кучу любезностей, и когда она придет в хорошее расположение духа, когда ты расположишь ее к себе, ты скажи ей: „А кстати, госпожа Обезьяна, не хочешь ли ты прогуляться со мною в наши края? У нас есть там дворец Дракона. Уж и штука же это, скажу я тебе! Что за красота, что за прелест. Загляденье да и голько! Я покажу тебе, конечно, весь его.“ Вот, расхваливая так на разные лады дворец, завлеки ты ее и доставь сюда.

— Но обезьяна ведь, кажется, не умеет плавать?

— Что же делать? Придется тебе везти ее на своей спине.



„Обезьяна и Медуза“. —Придется тебе везти обезьяну на своей спине, —сказал Тай Медузе.

— Тяжела, пожалуй, будет очень!

— Вот в этом-то и вся штука. Тяжеленька-то она тяжеленька. Ну, перетерпи уж!

— Хорошо! Я все так и сделаю; доставлю ее сюда

— Смотри же! Будь внимательна; не промахнись на чем-нибудь.

— Постараюсь!

Медуза хорошенко заучила преподанные ей наставления.

— Ну, я отправляюсь, —сказала она и, всплыв на волны, легонько покачиваясь на них, направилась прямехонько к острову Саругадзима.

Долго ли, коротко ли, но вот прибыла она на Саругадзима. Огляделась хорошенко кругом.

Гляди! А как раз против нее на сосне, тут как тут, огромная Обезьяна.

„Прекрасно! Ну-ка попробую прежде всего наговорить ей любезностей, как учил меня Таэмон *, польстить ей“, — заговорила с собой Медуза, увидав Обезьяну, и неторопливо, бесшумно пододвинулась к подножию дерева, на котором сидела она.

— Здравствуй, госпожа Обезьяна! — сказала она громко. — удивительно хороша погода сегодня!

— Мое почтение! Да, погода действительно прекрасная. Но я как будто не видела тебя никогда прежде на нашем острове. Откуда, собственно, пожаловала ты сюда?

— Я? Я из подданных Дракона. Зовут меня Медуза Хопенай. Слышала я, что этот остров Саругадзима, на котором ты живешь, такое дивное, такое уж хорошее место!.. Ну, вот и собралась нарочно поглядеть его.

— Вот как? Ну, добро пожаловать! — отвечала Обезьяна с деревом. — Милости просим!

— Благодарю! А приходилось ли тебе, госпожа Обезьяна, видеть когда-нибудь дворец Дракона, в котором я живу?

— Нет; слыхать я слыхала о нем, но видеть не приходилось.

— Да что ты? Какая жалость! Дворец Дракона... Да знаешь ли, как ни хорошо рисуют его на картинах, но куда же всему этому до того, настоящего, дворца! Нигде во всем свете не сыщешь такой прелести!

— В самом деле? Ужели так хорош?

*) Обезьянин остров.

*.) Емон — наращение для образования собственных имен; здесь оно написано к названию рыбы — Тай.

— И-и.. Да что и говорить! Красота-то уж, такая-то красота! Възьмем сад: там и персики, там и каштаны, там и каки. Да и как много их! Сплют себе круглый год без перерыва; яви сколько хочешь. Эх, хорошее, чудное место дворец этот!

Медуза расхваливала дворец, как только умела; и мало-помалу Обезьяна начала идти на приманку. Она спустилась с дерева на землю и с удовольствием, внимательно слушала Медузу, стараясь не проронить ни слова.

Медуза сообразила, что наступил подходящий момент, и обратилась к Обезьянке:

— Ну, так вот, госпожа Обезьяна, я сейчас отправляюсь обратно, домой к себе. Если ты не видела никогда еще дворца, так это как раз удобный случай. Я могу быть тебе проводником. А? Как думаешь?

— Да видишь ли... Отправиться, отчего не отправиться? Я бы с удовольствием! Только я ведь не умею ходить по воде.

— Ну, это пустое. Тебе и думать не стоит об этом; я отлично доставлю тебя туда на своей спине.

— Совсеменно мне, право, утруждать тебя.

— Ничего! Тяжеленька ты, правда, но все равно, перетерплю уж как-нибудь.

— Если ты так любезна, то я с удовольствием; хотя, право, мне совсеменно...

Тут Обезьяна уселась Медузе на спину, и они тронулись в путь по морским волнам.

— Не шевелись, Обезьяна! Свалишься.

— Осторожнее! Плыви, пожалуйста, потихоньку.

Понемногу да понемногу все подвигались они вперед; вот уже и половина пути. Тут Медуза обратилась к Обезьянке:

— А что, Обезьяна, есть у тебя штука, которая называется живой печенью?

Такой неожиданный вопрос удивил Обезьяну.

— Есть-то есть. Да что тебе вздумалось спрашивать об этом?

— А как же! Это очень важно; потому и спрашиваю.

— Очень важно?

— Ну, конечно! Да ты сама скоро узнаешь.

— Скоро узнаю? Но это ужасно! Скажи, пожалуйста, в чем дело? Я очень беспокоюсь.

— Так уж и быть; скажу все тебе; разжалобила ты меня. Дело в том, что у нас опасно заболела светлейшая Дракониха, супруга Дракона. Как там ее ни лечили, она все никак не может поправиться. И вот врач решил, что единственным лекарством против этой болезни может быть живая печень обезьяны. Он говорит, что, будь только эта печень, болезнь мигом можно излечить совершенно. Поэтому-то мне и приказано захватить тебя живьем и доставить во дворец. Теперь, значит, когда ты прибудешь во дворец Дракона, врач с а-

тит тебя и вырвет у тебя заживо печень. Жаль мне тебя, беднягу! Право, жаль!

В ужас пришла Обезьяна, прослушав рассказ Медузы. Она вся стала дрожать от страха при мысли об ожидающей ее участи.

— Так вот оно что! — подумала она. — Такой страшный замысел! Значит, Медуза явилась единственно с целью завлечь меня обманом? Но что делать теперь? Как выйти из этого положения? Ведь я как раз на сере-



„Обезьяна и Медуза“. Дракон приказал ей отправиться на остров Саругадзима...

дине моря. Ладно же! Надо взять себя в руки. Спасти можно только при помощи какой-нибудь хитрости. Посмотрим, чья воля будет!“

Решив на этом, она приняла спокойный, хладнокровный вид и сказала Медузе:

— Только и всего? Благодарю, что сказала. Но отчего все-таки не сказала ты мне об этом раньше?

— Как бы не так! Скажи я тебе раньше, ты ни за что не отправилась бы со мною.

— Глупости говоришь! Такая ли я Обезьяна, чтобы пожалеть одну или даже две из своих печени? А тут тем более; дело касается супруги Дракона! Да я сама стала бы просить, чтобы мне позволено было преподнести ей печень. Жаль, жаль, что не сказала раньше! Я ведь оставила все свои печени на дереве.

— Как так? Ты оставила печени?..

— Очень просто! Таскать их постоянно с собою, — так они мешают мне. Ну, вот, я и вынимаю их на день и вешаю на ветвях дерева. Зной я только раньше, что нужна печень, я, конечно, захватила бы ее при отправлении, но ты молчала, а мне黨 не пришло это в голову; я совсем позабыла про них.

— Вот беда еще! Ну зачем я привезу тебя туда, если при тебе нет печени? На что ты сдалась без нее?

— Что же делать! Видишь, как вышло?.. Как ни жаль мне тебя, но придется вернуться назад.

— Еще раз на остров?

— Да, еще раз. Иначе ведь и печени никак не достанешь.

— Э-эх! Ну ладно; вернемся уж! А верно, что они там, на прежнем месте?

— Там, там! Там есть прекраснейшая, огромная печень!

— Так ты ее именно и захвати!

Глупая Медуза! Не мало труда стоил ей и передний путь, а она опять повернула назад, опять поплыла к острову Саругадзима.

Добрались наконец. В один миг вскарабкалась Обезьяна на сосну и, насмешливо глядя с вершины дерева на Медузу, сказала:

— Спасибо, спасибо тебе, госпожа Медуза, за труды! Кланяйся, пожалуйста, от меня Дракону, когда вернешься домой.

— Что ты говоришь, Обезьяна? А печень? Как же так?

Обезьяна презрительно засмеялась.

— Да так же! Неужели-таки я соглашусь, чтобы у меня заживо вырывали печень?

— А условие наше?

— Чепуха, конечно!

— Как чепуха?

— Да так. Печень внутри у меня, как и надо ей быть; и если ее вырвать, то я должна умереть. Нет, извини, пожалуйста! Не согласна я на это; не отдаш! Если уж так хочется тебе ее, полезай сюда, на дерево. Не залезть только тебе, к сожалению!

Повернув к Медузе свой красный зад и похлопывая по нему, Обезьяна начала насмехаться и издеваться над Медузой, которая тут только поняла, что она попала впросак, обманута Обезьянкой.

В бешенстве билась она о берег, но Обезьяна сидела на высоком дереве, и ничего с ней нельзя было поделать.



„Обезьяна и Медуза“. — Не шевелись, Обезьяна! Свалишься.

— Тварь т.л., негодная тварь! Ловко меня обманула. Ладно же! Помнишь ты меня. Я нажалуюсь на тебя Дракону, как только вернусь домой! — кричала Медуза, и со слезами на глазах, с печалью в душе направилась в обратный путь, во дворец Дракона.

А там, во дворце, Дракон совсем потерял терпение, давно

уже до половины пути, но тут она в свою очередь обманула меня наговорив мне, будто она позабыла захватить свою печень и разное такое... — отвечала Медуза, доложив подробно все, как было.

В бешенство пришел Дракон. Оскалил он клыки свои и грозно зарычал:

— Все кости вышибить из тебя! Таким идиотам, как ты, можно жить и без костей. Эй, слуги! Сюда! Вышибить все кости из этой твари и раздробить их, а ее вышвырнуть вон!

Мигом сбежались на грозный оклик властелина слуги и окружили Медузу.

— Пощадите, пощадите меня! — кричала она.

— Дракон приказал. Крепись, мужайся!

Собравшись вокруг Медузы, они выколотили из нее все



„Обезьяна и Медуза“ — Дракон приказал. Крепись, мужайся!

уже ожидая Медузу. Вытянув шею, выглядывал он ее, расчитав, что уже давно бы пора ей вернуться.

Но вот появилась Медуза, грустная, унылая.

— А! Медуза! Благодарю, благодарю! Захватила Обезьянку? Привезла? Где же она, где? — заговорил Дракон, торопясь и волнуясь.

Медуза пала ниц перед ним.

— Сначала я очень ловко обманула Обезянку и довезла-было ее

кости и начали дробить их дубинками так, что только хряск пошел. А затем выбросили Медузу вон из дворца.

Сама виновата Медуза! Своей собственной несостоительностью и глупостью вызвала она гнев властелина своего Дракона. И с этого времени стала она действительно Хопенай, т.е., бескостной. Нет у нее ни глаз, нет у нее ни рта.

Так с тех пор и плавает она, вечно колыхаясь на морских волнах.

Дорога

Гнилая нищета страны унынь,
Без света солнце, дали без смерчей,
В седое небо тучи вбили клинья
Туманно-сломанных мечей...
Я сду темный, грустный, злой и ялый,
С тоскливой злостью бью ногой коня,

Плынут ко мне фаланги мокрых галок
И бурый лес в больном сияньи дня...
Коня загнал, разбил, он сдохнет скоро,--
В его глазах, слезясь, синеет мгла,
Я желтой кровью тихо крашу шпоры,
В пустынных ветрах слышен крик орла!

Н. Тихонов.

Содержание. ТЕКСТ: Ф. И. Шалляпин. Творчество Леонида Добронравова. (Окончание). — Общественные мистики в художественном творчестве В. Г. Короленко. Очерк В. Евгеньева-Максимова. — Обезьяна и Медуза. Сказка. — Дорога. Стихотворение Н. Тихонова.

РИСУНКИ: Иллюстрации П. Бучкина к монографии Леонида Добронравова „Ф. И. Шалляпин“. — Л. М. Добронравов. Шарж П. Бучкина. — В. Г. Короленко.

Портрет работы И. И. Бродского. — В. Г. Короленко в кругу родных и друзей. — „У лукоморья дуб зелены...“ — Аполлониарий Васнецов. — Иллюстрации к сказке „Обезьяна и Медуза“.

К этому № прилагается „Полного собрания сочинений М. Горького“ книга 23.

Издатель Т-ва А. Ф. МАРКС.

Редактор И. М. Железнов.

Артистическое заведение Т-ва А. Ф. МАРКС, Петроград, Измайловский проспект, д. № 29.

Библиотека "Руниверс"

ЖУРН

1918 г.

XLIX г.

издания.

№ 38.

Выходит ежемесячно (52 № в год), с приложением 52 книгъ „Сборника”, содержащихъ сочиненія А. И. ГЕРЦЕНА, М. ГОРЬКАГО,

В. Г. КОРОЛЕНКО, П. БЕРАНЖЕ и И. И. МАРЬЕВА („Великая Французская Революція“).

Выдан 21 сентября 1918 г. Подписная цена с дост. и перес. на год—36 р., на 1/2 г.—18 р., на 1/4 г.—9 р. Цена этого № (без прилож.)—40 к., с перес. 50 к.

Главная Контора и Редакция: Петроград, улица Гоголя, № 22.

Перепечатка иллюстраций и текста воспрещается. (Закон 20-го марта 1911 г.).



Статуя.

з-за ветвей, как призрак
бледный

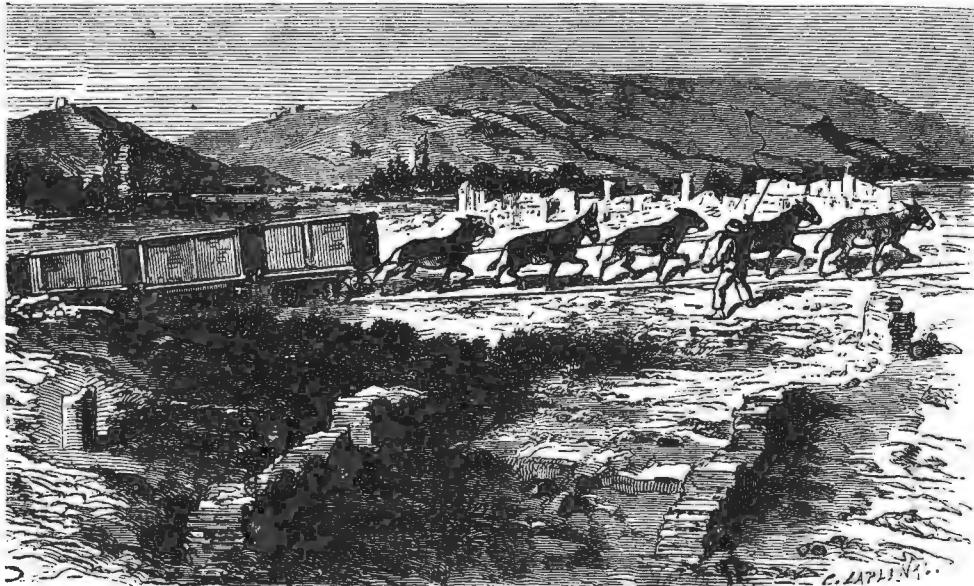
Глядела статуя на нас,
Мятежный день ушел бесследно,
Зари спокойный луч угас,
Любви и счастья гимн победный...
Звучал в сердцах в свиданья час...
А меж ветвей, как призрак бледный
Глядела статуя на нас

Полна безмолвного участья,
Но одинока и грустна,
Как день осенний, день ненастя,
Уныла, сумрачна, бледна,
На праздник наш, на наше счастье
Смотрела горестно она—
Полна безмолвного участья,
Но одинока и грустна.

Минули дни... Мечтам и грезам,
Мы с грустью говорим:—прости!
Весенних дней душистым розам
Для нас отныне не цветсти:
В немую даль навстречу грозам
Нам порознь суждено итти,
И в час разлуки счастья грезам
Мы с грустью говорим:—прости!

Как призрак бледный, что когда-то
Глядел на нас из-за ветвей,
Ты предо мной, тоской объята
Стоишь без слез и без речей!
И, словно небо в час заката,
Ты все печальней, все бледней,
Как призрак грустный, что когда-то
Глядел на нас из-за ветвей!

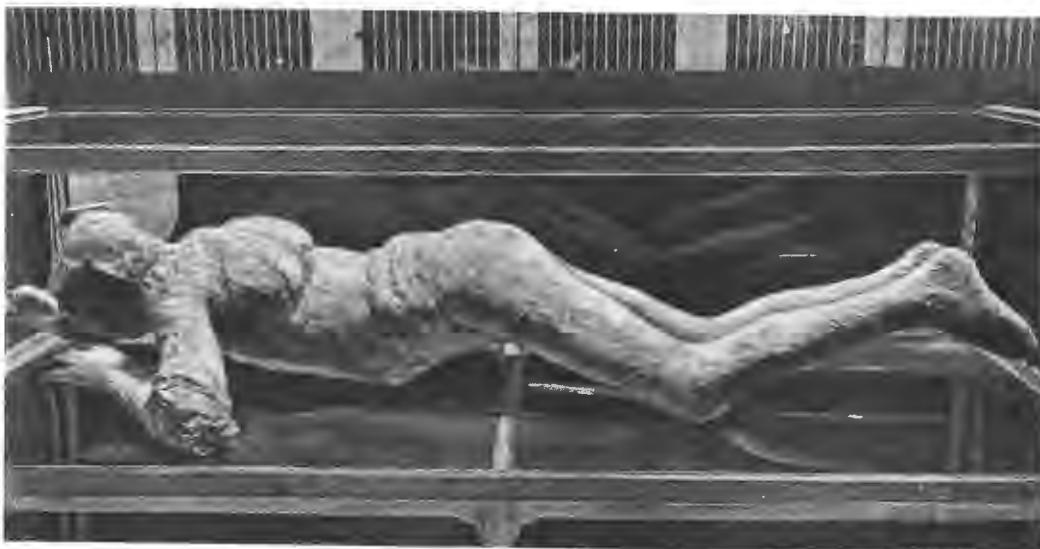
Георгий Аркадов.



Раскопки Помпеи. Рис. 1. Вывозка пепла и шлака. С гравюры 60-х годов.



Рис. 2. Памятник археологу Фиорелли.



Помпей. Раскопки. Рис. 3. Зацементированный труп женщины.

Помпей.

Как жили 2.000 лет тому назад.

Очерк Татьяны Варшер.
(С 47 иллюстрациями).

Здесь осеняли недавно Везувия
зеленые лозы,
Здесь благородный их сок влажные чаны давили,
Здешние края миlee были
Вакху, чем изы веши,
Здесь на горе хоровод лихо сатиры вели.
Нравился больше Венере здесь храм, чем в Лаконии граде,
Здесь сохранил и Геракл славное имя свое.
Ныне же засыпано все печальным пламенем пеплом.
Боги, о силе своей сами жалеете вы *).
Марциал.

Помпей получили всемирную известность уже после гибели, благодаря раскопкам. При своей жизни

Помпей не играли столь значительной роли, чтобы древние авторы уделяли им много места. Сведения о Помпееах, что называется, приходится вылавливать,—сведения случайные, отрывочные, но и эти сообщения иногда играют роль путеводной нити, хотя, кажется, чаще бывает обратное: раскопки освещают нам данные авторов.

Помпей расположены у самого подножия Везувия, почти при впадении в море реки Сарно; в настоящее время Сарно незначительная река, из которой окрестные земледельцы получают воду для искусственного орошения рисовых полей, но в древности Сарно была судоходной рекой.

То, что город был „на вулкане“, мало беспокоило жителей: ведь о Везувии было мнение, что он навсегда потух: „Над этими местностями поднимается гора Везувий, покрытая прекрасными полями, кроме вершины; последняя большей частью ровна, но вся бесплодна и на вид похожа на кучу цепа; на ней есть ноздреватые ложбинки между красными, как бы огнем изъеденными камнями; поэтому можно предполагать, что место это некогда горело и в кратерах содержало огонь, но потом потухло, когда не стало горючего материала. Быть-может, это и есть причина плодородия местности“. (Страбон—I в. по Р.Х.). Но в 63 году, при Нероне, помпейцы получили первое предостережение: произошло землетрясение, центром которого были Помпей. Все же жители не покинули города, а принялись за восстановление. Окончательная катастрофа наступила, когда строительные работы еще не были закончены.

Извержение Везувия, нанесшее смертельный удар Помпейям, Геркулануму, Стабиям и ряду поселков, описано очевидцем — Плинием Младшим.

Плинию тогда было всего лишь 18 лет, но описал он пережитое уже в зрелом возрасте по просьбе Тацита; великий историк обратился к нему с просьбой описать ему гибель его дяди — Плиния Старшего, командовавшего тогда флотом в Мизенах.

Мать Плиния Младшего — сестра Старшего — обратила внимание последнего на странное облако; оно было похоже на пинию с очень длинным стволом и широко раскиданными ветвями. Немедленно Плиний отдал приказание приготовить для него либурну (яхту) для ближайшего наблюдения над редким явлением природы. Но тут он получил известие, что жителям местечек, расположенных по склонам Везувия, грозит опасность. Это обстоятельство еще больше утвердило дядю в намерении пуститься в путь: поездка, предпринятая сперва из любознательности, теперь уже становилась подвигом мужества и сострадания к несчастным... Густо падал пепел на корабли: вокруг летали камни, закоптелые и перегорелые,

* Перевод проф. А. И. Малеппа специально сделанный для очерка.

берег становился час от часу неприступнее от скопления глыб и обломков, скатившихся с горы и выброшенных ею. Думали уже о возвращении, но тут дядя заявил: „судьба благоприятствует храбрым, отправляющимся к Помпониану“.

Помпониан, друг Плиния, жил в Стабиях; Стабиям еще не грозила непосредственная опасность, но все же он нагружил лодки своим добром и ждал по-путного ветра. Плиний старался ободрить упавших духом, за ужином старался быть веселее, лег спать и тотчас уснул. Он спал, а двор, — единственное место, через которое оставалось возможным пройти в его спальню, — заносило пеплом и кусками пемзы, и если бы он оставался дольше в комнате, ему был бы отрезан выход.

Плиния разбудили и стали обсуждать, как спастись. Решили выбраться. Наступил час рассвета, но была еще ночь, самая темная, самая мрачная. Море бушевало и было совершенно недоступно. Плиний попросил пить, и, лишь только он лег на разостланный плащ, как всех обдал нестерпимый запах серы; с Плинием остались лишь двое рабов; опираясь на них, он привстал, но тут же снова упал и испустил дух. „Когда рассеялся мрак, то был уже третий день — бездыханное тело дяди было найдено нетронутым, прикрытым той одеждой, которая была на нем при отъезде из дома. Он имел скорее вид человека, вкушающего покой, чем мертвого“.

В другом письме Плиний описывает Тациту свои личные переживания во время катастрофы. Он отказался ехать с дядей и оставался в Мизенах. Подземные удары обеспокоили Плиния и его мать, было опасно оставаться во дворе, и они решили выбраться на простор, за город. Толпа горожан отправилась за ними. Повозки подскакивали на ходу, пришлось положить камни, но это не помогало; море отступило от берега, и на песчаном обнажением дне лежали морские животные. В другом направлении нависла туча, изредка прорезываемая молнией... Затем наступил непроницаемый мрак, не мрак безлунной и облачной ночи, а мрак неосвещенной, плотно замкнутой комнаты. Тогда послышались вопли женщин, плач детей, крики мужчин. Одни звали детей, другие родителей, супруги узнавали друг друга по голосу. Одни оплакивали свою судьбу, другие — судьбу близких. Нашлись люди, которые из страха смерти призывали ее. Одни молились богам, другие утверждали, что богов нет, что для вселенной наступила последняя ночь... Сверху же сыпался пепел, который приходилось постоянно стряхивать с себя. Мало-по-малу мрак начал рассеиваться, показалось и солнце, но столь тусклое, как бывает во время затмений, а вся местность была засыпана толстым слоем пепла.

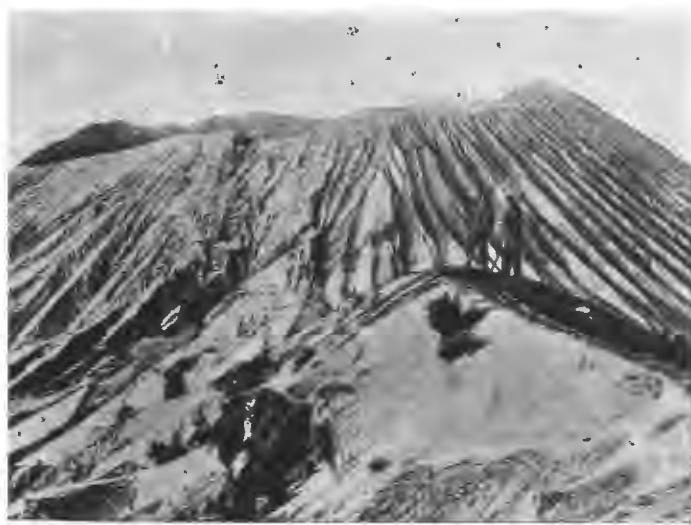


Помпеи. Раскопки. Рис. 4. Дом Лукреция Фронтона.

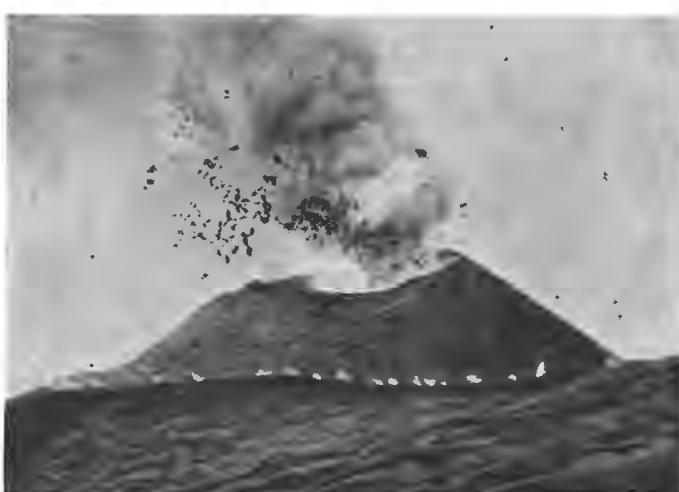


Помпеи. Новейшие раскопки. Рис. 6. Скелеты.

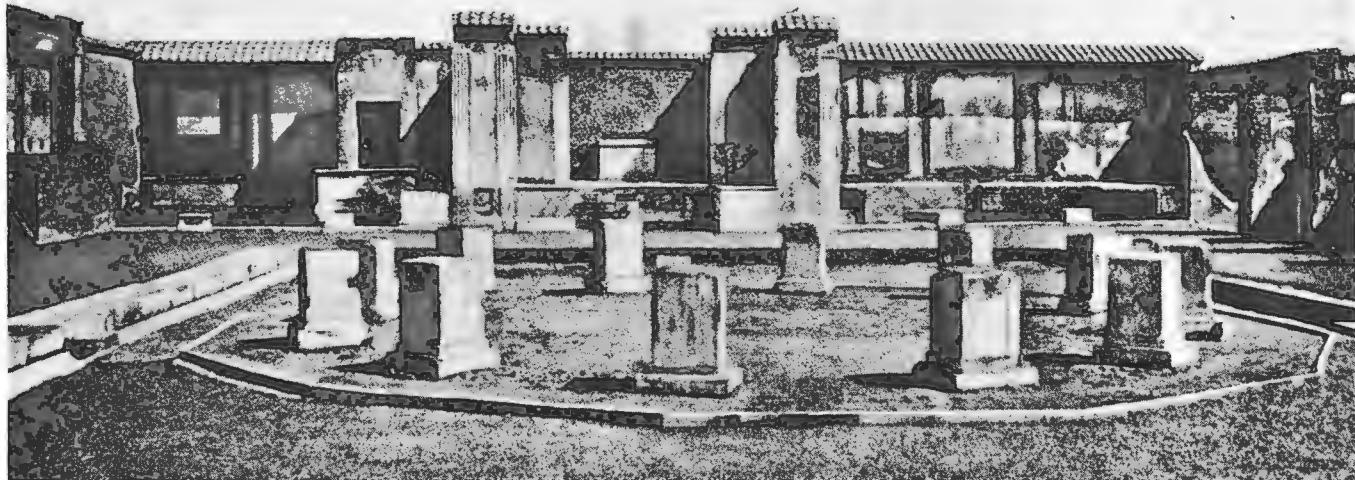
Когда весть о страшном несчастье дошла до Рима, то император Тит назначил двух сенаторов с титулом *Curatores Campaniae restituenda* — „восстановителей Кампании“. Но о восстановлении городов не могло быть и речи: Геркуланум был стерт с лица земли, — грязь, образовавшаяся из пепла и горячей вулканической воды, залила его слоем в несколько метров толщины. Помпеи до верхушек самых высоких зданий были засыпаны пеплом и шлаками. Вероятно, все же комиссия



Помпеи. Рис. 5. Кратер Везувия после извержения в апреле 1906 г.



Помпеи. Рис. 7. Извержение Везувия.



Помпей. Рис. 8. Мясной рынок (*macellum*).



Помпей. Рис. 9. Мясной рынок (*macellum*). Реставрация.

сенаторов постаралась помочь жителям спасти, что было возможно, из засыпанного города. Большинство жителей бежало из города до его гибели: ведь катастрофа наступила далеко не так неожиданно, как это принято думать. Историк Дион Кассий, писавший о событии через два века, рассказывает,



Помпей. Рис. 10. Главный вход в *macellum* с форума.

что в момент катастрофы жители собрались на представлении в амфитеатре, но это несомненно принадлежит к области фантазии. Между тем рассказ этот перешел не только в полу-беллетристические произведения, посвященные Помпеям, но и в сочинения, претендующие на научность. Из письма Плиния мы знаем, что уже за несколько дней до катастрофы по всей местности слышались подземные удары, колебались дома, падали вещи, а ведь всему взросому населению было памятно землетрясение 5-го февраля 63 года. В городах оставались или те, которые все же не верили в опасность, или те, которые не хотели покинуть своих домов, своего добра.

Несколько лет тому назад открыта пристань Помпей: здесь найдено несколько скелетов и около них много монет и



Рис. 11. *Macellum* в Путеолах.

драгоценностей; вероятно, это были запоздавшие беглецы. Скелеты в самом городе насчитываются сотнями, а ведь, если бы жители оставались в городе, их были бы тысячи: ведь в Помпейях было до двадцати тысяч жителей. Оставшимся в живых жителям пришлось искать новые места для поселения: из одной надписи мы знаем, что судьба забросила помпейскую семью в далекую Добруджу.

Первыми, кто стал раскапывать засыпанный город, конечно, были его хозяева; надо же было им спасти хотя бы что-либо из движимого имущества. Они рыли целые шахты и штолни, пробивали стены и извлекали все, что только можно было извлечь: забытые при бегстве драгоценности, мраморные статуи, мебель. Таким образом многое безвозвратно исчезло для нас. А за хозяевами пошли и грабители, в которых никогда не бывает недостатка во время несчастий. Некоторые из них поплатились жизнью: так, найден скелет, придавленный обвалившейся стеной, около него лежит светильник.

А затем в свои права вступила природа. На месте Помпей образовался холм, очень скоро покрывшийся зеленью, а в скором времени засаженный виноградниками. Но какое-то смут-

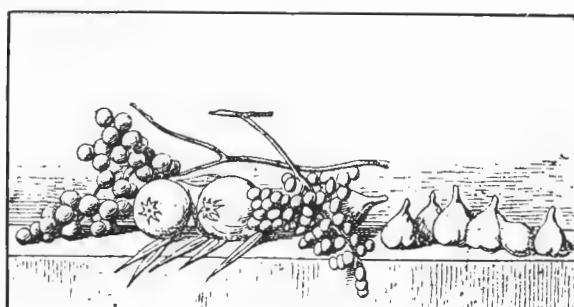


Рис. 12.

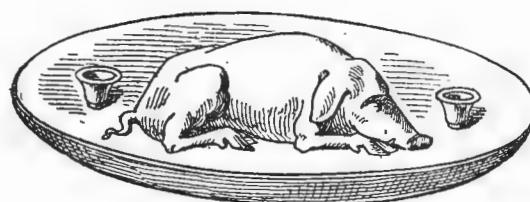


Рис. 13.

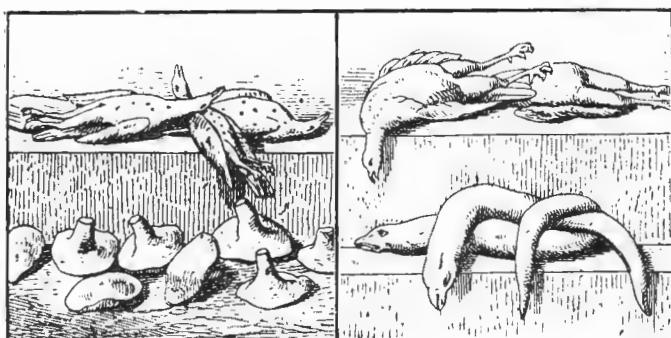


Рис. 14.

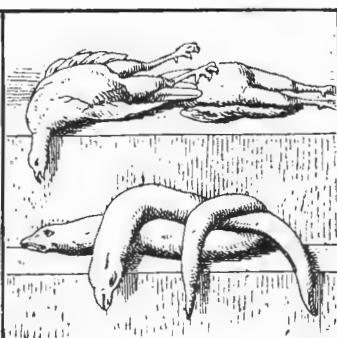


Рис. 15.

Помпеи. Фрески в Мясном рынке (*macellum*).

Рис. 16.

Рис. 17.

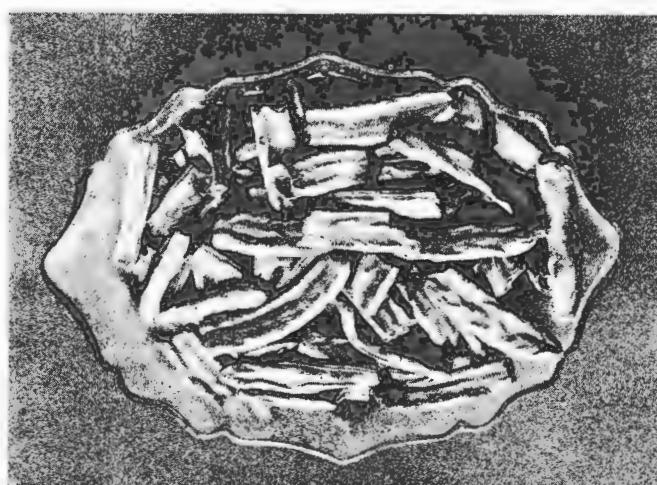


Рис. 18.

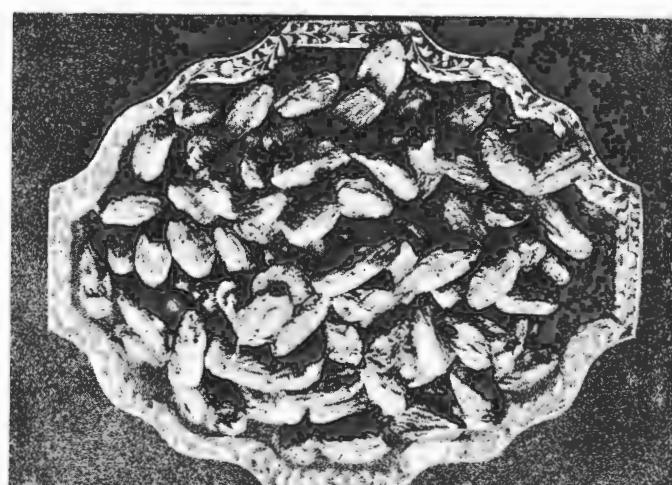


Рис. 19.



Рис. 20.



Рис. 21

Помпеи. Найденные при раскопках и сохранившиеся в обуглившемся виде пищевые продукты, фрукты, плоды (Неаполитанский музей).

ное воспоминание о том, что здесь погребен какой-то город, оставалось. В средние века местность называлась — *civitudo* — город. Но, когда, в самом конце XVI века, архитектор Фонтана провел подземный канал для водопровода из Сардо в городок Торре Аннунициата, и провел его через всю длину Помпей, он не заметил погребенного города. Впрочем, это и к лучшему: и так приходится жалеть, что раскопки начали производить слишком рано, когда не умели еще достаточно ценить найденного.

Раскопки начали производить не с Помпей, а с Геркуланума, где участок земли приобрел себе маркиз д'Эльбе, а затем передал его правительству. Когда же в 1848 году крестьяне, расчищая виноградники, наткнулись на обломки статуй и целый ряд колонн, то король Неаполя и обеих Сицилий Карл III Бурбонский распорядился купить землю у владельцев и поручил дело раскопок испанскому инженеру Аллькубери. Эти раскопки производились самым варварским способом; без всякого плана рыли то в одном, то в другом месте, находили предметы искусства, вещи домашнего обихода, наполняли извлеченным добром королевский музей, а открытые здания вновь засыпали мусором. Несколько раз раскопки приостанавливались, находя результаты слишком незначительными, не оправдывающими затраченных трудов и средств. В 1862 году Винкельман встретил всего лишь восемь рабочих, занятых раскопками. Затем число их довели до 30: это большей частью были арестанты и арабы из Туниса. Винкельман, между прочим, заявил, что, если работы будут продолжаться таким медлен-

ным темпом, то только разве четвертое поколение увидит раскопки в законченном виде. Медленность и бесполковость работ вызвали гнев Иосифа II, который обрушился на своего шурина 18-летнего короля Фердинанда, доказывая ему, что раскопки Помпей могли бы принести столько блеска его царствованию... Раскопками заинтересовались и французы; во время шестимесячного существования „Республики Партенопейской“ генерал Шампионне открыл два дома. Во время кратковременной реакции неаполитанских Бурбонов было не до раскопок, но, с 1806 г., т.-е. с Иосифом Бонапарта, раскопки стали производить более интенсивно. В 1808 г., т.-е. когда королем Неаполитанским был уже Мюрат, раскопки стали вестись более планомерно,— план выработал Ардити, число же рабочих довели до нескольких сот; особенно интересовалась раскопками супруга Мюрата, королева Каролина, чуть ли не ежедневно посещавшая раскопки.

Сложные судьбы Италии в первой половине XIX века отражались и на ходе раскопок. В бурные годы, в роке 1848 г., конечно, раскопки прекращались. Дело пошло на лад с присоединением Неаполитанского королевства к Италии в 1860 г. Директором раскопок был назначен Джузеппе Фиорелли (рис. 2). Это было началом новой эры для раскопок. Фиорелли исходил из того положения, что Помпей не рудник для наполнения витрин музеев, а что весь город, как таковой, есть музей. Первым делом надо было расчистить улицы от холмов мусора, оставшихся от прежних раскопок, затем составить план, разделить город на районы. Раскопки с тех пор ведутся



Помпей. Рис. 22. Мозаика. (Неаполитанский музей).



Помпей. Рис. 23. Мозаика. (Неаполитанский музей).

систематически, шаг за шагом, конечно, очень медленно: прошло уже полтора века с тех пор, как Винкельман посетил Помпей, а еще приблизительно две пятых города находятся под землей. Зато теперь не может уже так случиться, как случилось раньше, что вместе с мусором выбросили прелестную гемму, зато теперь город действительно воскресает из недр земли. Только то, что рискованно оставлять на месте, переносят в Неаполитанский Национальный музей, например, большинство мозаик; статуи тоже переносят в музей, но на месте их находления ставят точные копии. Фрески по возможности остаются на месте, принимая меры для защиты их от влияния непогоды. В 90-х годах закончили раскопки дома Беттиев, почти целиком восстановив его,—дом этот получил большую известность благодаря бесчисленным воспроизведениям. Также восстановлен и „Дом золоченых амуров“. За самые последние годы восстановлен целый переулок с домами, лавками... И когда от новейших раскопок переходишь к прежним раскопкам, становится невыразимо больно, что так много непоправимо испорчено.

„Открытие Помпей дало впервые реальное обоснование для нашего понимания античного бытия“, — говорит один из исследователей раскопок. В самом деле, материал, который

дает этот „город - консерв“ для познания античной жизни не исчерпаем, нет такого вопроса быта из эпохи приблизительно от VI века до Р. Х. по II век по Р. Х., который не получил бы того или иного освещения из раскопок Помпей: религиозные культуры и искусство, городское самоуправление и частная жизнь, торговля и промышленность, театры, уличная жизнь, чисто-технические вопросы, в роде устройства канализации и водопровода. Но, разрешив не мало вопросов (например, некоторые отделы сочинения „Об архитектуре“ Витрувия, начальника строительных работ при Августе, стали понятны только при изучении домов в Помпейах), Помпей не раз ставили перед исследователями трудные задачи, не раз вводили их в заблуждение.

Одной из характерных ошибок было неверное определение здания, рисунок которого перед глазами читателя (рис. 8). Даже Фиорелли и тот в данном случае ошибся. В самом деле разве могло сразу прийти в голову, что здание с мраморными колоннами, статуями, с фресками, покрывающими стены вокруг здания—что это „Мясной рынок“ (macellum, мацеллум)—прообраз наших „Сенной“, „Охотного“ и „Обжорного рядов“? Не естественнее ли было предположить, что на двенадцати четырехугольных щеколях, занимавших середину двора и составляющих правильный двенадцатигранник, стояли двенадцать статуй главных божеств? Так это и предположили, и здание это было

определенено, как „Пантеон“. А между тем цоколи эти поддерживали не двенадцать статуй, а двенадцать деревянных столбов с таким же навесом (рис. 9), как то ясно видно на рисунке реставрации. Эти круглые строения в роде наших „ротонд“ в общественных садах имели вполне определенное название „голос“ (греческое слово *tholos*). Есть монета с изображением голоса. Такое же здание было и в Путеолях, развалины его неправильно называют „храм Сераписа“ (рис. 11). Навес был над краном водопровода, где продавцы, хозяинки и их прислужники мыли мясо, чистили рыбу,—в большом количестве здесь найдены кости и рыбья чешуя. Вокруг двора шли в два этажа лавки со съестными припасами. Верхний этаж был деревянный и, как таковой, не сохранился. Нет никаких следов лестницы, которая вела бы на второй этаж лавок: пользовались приставными деревянными. Зато архитекторы в одном отношении были весьма предусмотрительны: для скоропортящихся товаров было бы неудобно, если бы лавки открывались на юг, потому целый ряд лавок построили так, что они открывались не во внутренний двор рынка, а на север, на так называемую „улицу Августалов“. В лавках нашли монеты, стеклянные бутылочки в огромном количестве, всевозможные глиняные сосуды, наконец, остатки съестных припасов (рис. 18—21).

Рынок находился под о собы м покровительством императорской фамилии: в глубине здания находился небольшой храм (на наших рынках тоже построены часовни), в храме этом сохранились прекрасно две статуи: Октавии, сестры Августа, в одежде жрицы, с жертвенной чашей, патерой, в руках, и сына ее Маркелла (рис. 27 и 26). Маркелл одно время считался наследником Августа, но он не дождался престола, так как умер 22 лет при жизни Августа. Смерть его оплакивает Вергилий в VI книге Энеиды:

Чадо, молчи, не пытай
о печали неслыханной
рода,
Только покажут сего
небеса и затем не
дозволят
быть на земле. Видно
слишком уж сильных бы
мское племя
Вам показалось, о, боги,
когда бы даров не
отнили.

(Перевод Квашнина-Самарина).

От статуи императора Клавдия найдена лишь рука, держащая глобус. Статуи из других двух ниши капеллы, вероятно, унесены жителями. Думают, что это были статуи Агриппины и Нерона, т.е. опять матери и сына. Унесены статуи, украшавшие портик рынка, связывающий рынок с форумом. Хорошо сохранились травертиновые колонны главного входа и особая кладка кирпича ворот, так называемая „сетчатая“.



Рис. 24.
Медея перед убийством своих детей.
Фреска из Геркуланума, сохранившаяся
лучше помпейской.

Медея.

О, заплачешь ты скоро
И запылаешь огнем пуще Медеи самой.
Знай, пока есть на земле и булат, и отрава, и пламя—
Мести лихой ни один враг не избегнет моей.

Овидий. «Послание Медеи к Ясону».
(Перевод Ф. Ф. Зелинского).



Рис. 25. Стена в *macellum*, покрытая фресками.

Но не только статуи и колонны украшали мацеллум; лучшим украшением его были фрески (рис. 12—17 и 25). Часть фресок мифологического содержания—Пенелопа, не узнающая Одиссея по возвращении его на Итаку (рис. 28). Медея, в момент, когда она собирается на свое страшное дело—убить своих детей (рис. 24). Фреска на (рисунок 30) изображает праздник Весты, особой покровительницы мельников; потому-то центр картины и занимает большой жернов; в ее праздник давали отдых даже ослям и украшали их венками.

Целый ряд фресок непосредственно связывается с торговлей в мацеллуме: битая птица, дичь, рыба, грибы, все это так нам знакомо по украшениям столовых.

Раскопки воссоздают яркую картину жизни помпейского рынка. Жизнь отлетела, но вся обстановка ее, даже люди, не исчезла, а лишь застыла, обуглилась, и теперь, спустя почти 2.000 лет, по тому, что откопано, по надписям и памятникам искусства, можно живо представить себе, как тогда жили люди, и как сравнительно мало изменились за истекшие два тысячелетия интересы жизни.

С раннего утра было шумно и людно в мацеллуме. Первыми прибывали крестьяне; они пригоняли скот, особенно свиней и ягнят, приводили на вымощенных ослов или же приезжали на телегах-двуколках с плодами своего земледельческого труда. Подъезжали они с улицы Августалов; главный вход, портик которого составлял как бы одно целое с портиком форума, был закрыт для экипажей, так как на форум допускались только пешеходы. Часть крестьян оставалась до вечера, торгуя сама, часть же сбывала свой товар торговцам рынка. Торговцы приводили в порядок лавки, мыли их (воды было вдоволь из водопровода), украшали лавки цветами, привезенными тоже крестьянами, и старались красивее расположить товары.

Капуста нескольких сортов, всевозможный салат, цикорий, латук, шавель, мальва, затем свекла, репа, морковь, чеснок и лук, петрушка, всего было в изобилии. Более предприимчивые хозяева разводили не только тыкву и огурцы, но спаржу и артишоки. Знали уже много приправ: аниис, тмин, кардамон, корицу, перец. В конце республики и в начале империи особенно интересовалась акклиматизацией привозных фруктовых деревьев: яблок знали до 50 сортов, груш до 30 *). С легкой руки Луккула, привезшего вишневое дерево из Понта, вишня получила широкое распространение в Италии; давно уже знали и тутовое дерево. Орехи привозили в Помпей из ближайших местностей; в Кампании много было ореховых рощ, особенно в Пренесте и в Авелле. Стали появляться и фисташки, вывезенные из Средней Азии.

Оживленный торг шел у большой лавки рядом с храмом Клавдия: это была самая большая мясная. Прилавок был так устроен, что вода, которой вымывали мясо, стекала по желобкам вниз и уходила в канализацию. Мясник доказывает крестьянам, что они слишком повысили цену на свиней. Правда, свинина самое любимое блюдо, да и вообще свинья тем хороша, что все идет в дело: печенька, ножки, вымя, — из всего повара умели готовить тонкие блюда, да все же уже очень дорого запрашивают крестьяне! Крестьяне же возражают, что за цену, которую им предлагает мясник, не стоят и откармливать свиней: это не малый труд. Свинья была жертвенный животным: ни одно семейное торжество не обходилось без жертвоприношения домашним божествам, ларам. Было принято во время званных пиршеств подавать кабана или свинью зажаренные целиком; император Тиберий доводил свою скучность до того, что у него подавали пол-кабана, зато и смеялись же над ним.

Хорошо шел торг и дичиной: много покупали зайцев — известное дело, от употребления заячьего мяса хорошеют. Лакомыми блюдами считалось мясо дикой козы и дикого осла; давно

*) В древности в Италии не было ни апельсинов, ни лимонов, ни помело.

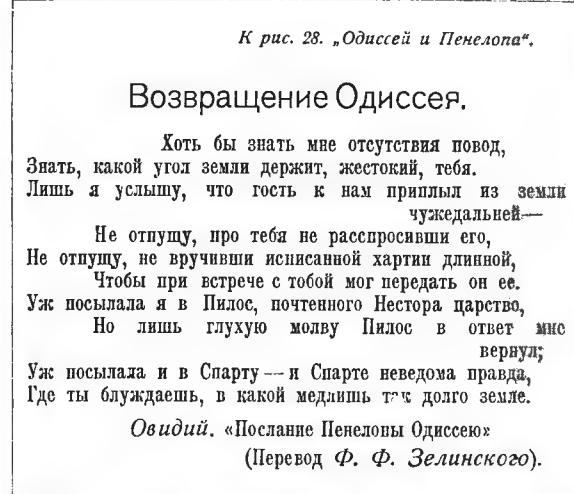


Помпеи. Рис. 26. Статуя Маркелла, племянника Августа.

уже некоторые предприниматели стали разводить их в особых парках.

Очень много было и птицы: откармленные гуси, куры, утки, голуби продавались попарно, дрозды пучками по десятку, аисты и журавли поштучно... Цесарки из северной Африки, фазаны с далекого Каспийского моря, павлины из Мидии сначала были редкими птицами, их покупали, как птицу декоративную, для украшения садов, но они так размножились в Италии, что их стали откармливать каштанами и фигами и употреблять в пищу.

Конечно, в Помпеях, как в городе приморском, особенно много было рыбы. Тот же Лукулл, который познакомил Италию с вишней, и слава которого, как гастронома, затмила славу его, как крупного полководца, первый завел у себя в Неаполитанской вилле рыбные садки—*piscina vivaria*. Садки эти наполнялись водой морской при



Возвращение Одиссея.

Хоть бы знать мне отсутствия повод,
Звать, какой угол земли держит, жестокий, тебя.
Лишь я услышу, что гость к нам приплыл из земли
чуждальней—
Не отпущу, про тебя не расспросивши его,
Не отпущу, не вручивши исписанной хартии длинной,
Чтобы при встрече с тобой мог передать он ее.
Уж посыпала я в Пилос, почтенного Нестора царство,
Но лишь глухую мольву Пилос в ответ мне
вернул;
Уж посыпала и в Спарту— и Спарте неведома правда,
Где ты блуждаешь, в какой медлишь т'ко долго земле.

Овидий. «Послание Пенелопы Одиссею»
(Перевод Ф. Ф. Зелинского).



Помпеи. Рис. 27.
Статуя Октавии.



Помпеи. Рис. 28. Одиссей и Пенелопа.

помощи водопровода или же устраивались в самом море, при чем небольшой участок у самого берега моря отделялся молом. В мачеллуме был большой выбор рыбы, от самой простой, в роде меры (таэга), пискарей, тольцов, щук, камбалы, до более тонких сортов— тунцов, налимов, скумбрии, макрели, краснорыбицы. Море и озера снабжали не только рыбой: еще за 100 лет до Р. Х. предпримчивый Сергий Орат, прославившийся впоследствии изобретением особого рода отопления бани, устроил в Лукринском озере устричный садок. Дела у него пошли великолепно, и у него явились подражатели. Недороги были и крабы, лангусты же были доступны только состоятельным. Всякие ракушки, „морская капуста“, морские жолуди“, все то, что в таком громадном количестве истребляет современный неаполитанец, все это употреблялось и в древности. Красота представителей морской фауны заинтересовала художников, и они нередко брали их, как мотивы для



Помпеи. Рис. 29. Фреска.

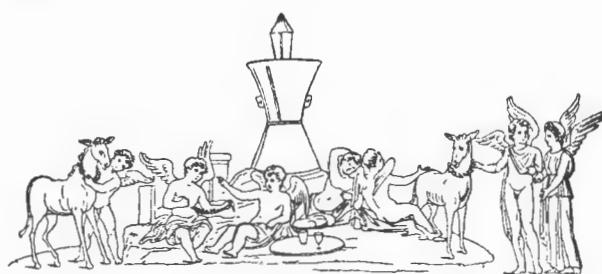


Рис. 30. Праздник Весты. Жернова. (Фреска).

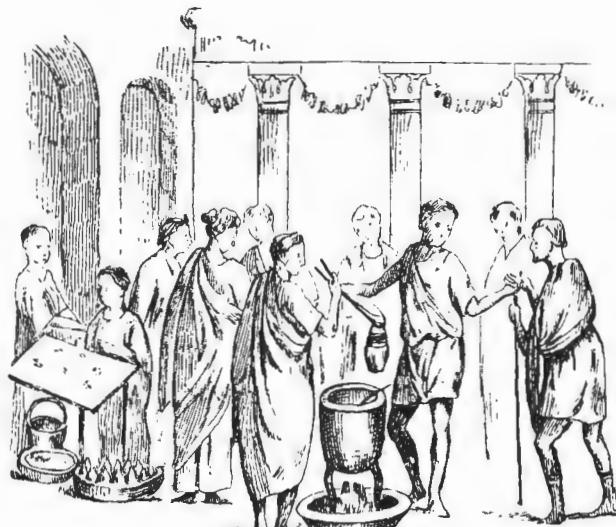


Рис. 31. Продавцы горячих напитков и фруктов. (Фреска).

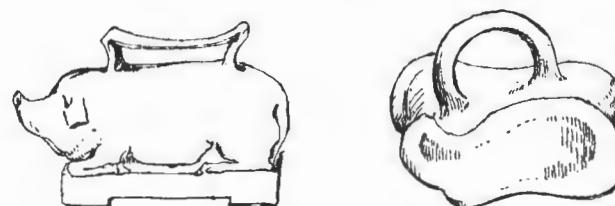


Рис. 34. Бронзовые весы. (Неаполитанский музей).

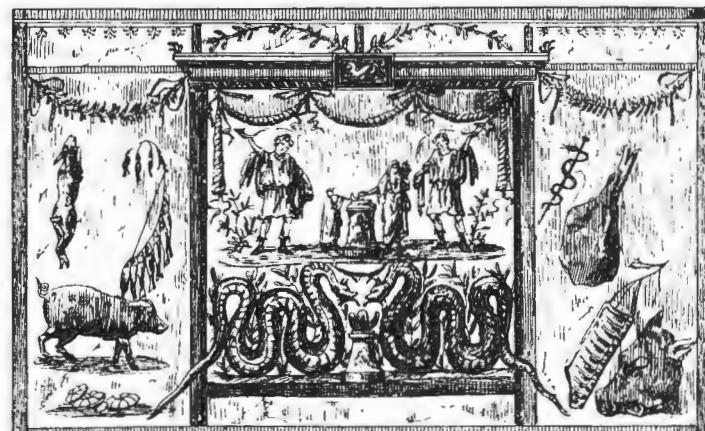


Рис. 35.



Рис. 32. Котельщик. (Фреска — Неаполитанский музей).

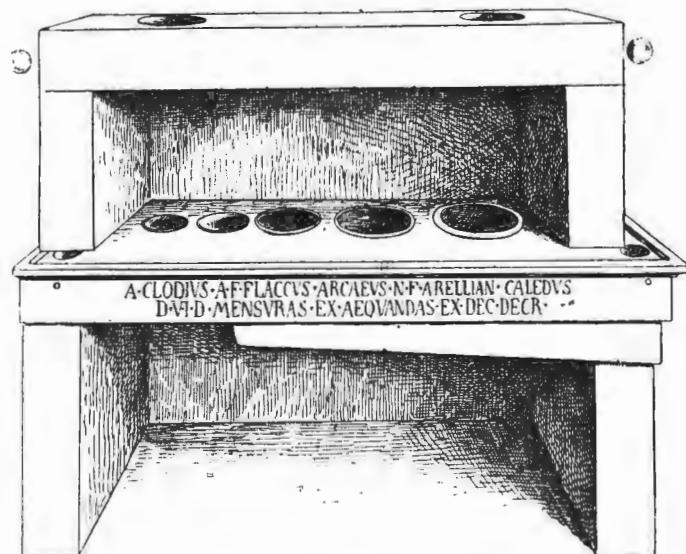


Рис. 33. Стол с мерами.

Помпеи. Раскопки рынка. Базар.



Рис. 36. Бронзовые весы. (Неаполитанский музей).

К рис. 33. Сначала меры были окские, заимствованные от греков, но когда Август издал распоряжение об единобразии всех мер по всей империи, то совет помпейских декур ionов поручил двум дуумвирам Абу Клодию Флакку и Нумерию Аридею Арелиану Каледу перевести эти меры на римские; их пришлось увеличить, что и указывает надпись на стеле.

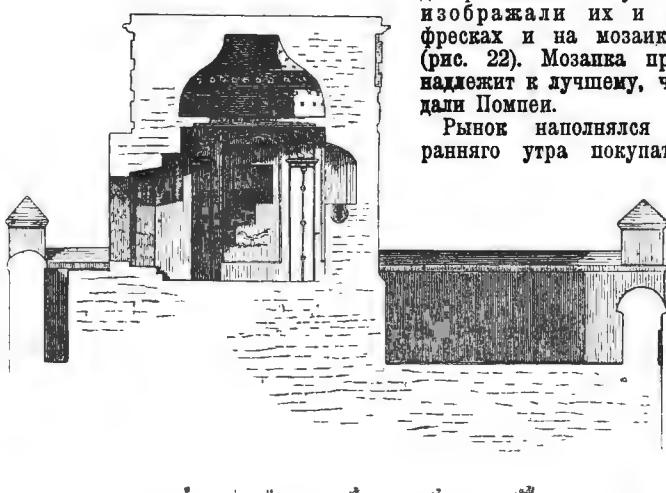


Рис. 37. Гробница Умбриция Скавра.

лями, входившими в него с трех сторон. Становилось все шумнее, крики людей смешивались с блеянием овец, хрюканьем свиной и невыносимым ревом ослов. Хозяйки торговались из-за каждого асса и зорко следили, чтобы их не обвесили и не

декоративного искусства, изображали их и на фресках и на мозаиках (рис. 22). Мозаика принадлежит к лучшему, что дали Помпеи.

Рынок наполнялся с раннего утра покупате-



Рис. 40. Дом булочника Пакувия Прокла.



Рис. 38. Амфоры.



Рис. 39. Долии—хранилища оливкового масла.

обмерили. Вот одной показалось, что продавец дал ей неполную меру поганой крупы, продавец просит проверить его; ведь не даром же на форуме есть стол с установленными мерами сыпучих и жидких тел (рис. 33), и если покупательница его уличит, он не только потеряет доверие покупателей, но подвергнется взысканию со стороны городских властей.

Хорошо идут дела у медника: лишний котел всегда пригодится в хозяйстве, только надо купить умеючи: хорошенко постукать палкой о стенки горшка (рис. 32).

У фруктовой лавки совсем еще молодая хозяйка, недавно попавшая в Помпеи из Агеллы, города в Кампании, заинтересовалась невиданными ею фруктами; до сих пор она знала „армянское яблоко“ (абрикос) и „персидское“ (персик), а тут ей предлагают „пуническое“ (гранат) и „сидонское“ (айва). Пуническое яблоко само за себя говорит, когда торговец разрезал его и дал ей попробовать; а что же делать с этим некрасивым, зеленым, твердым, как камень, сидонским яблоком? Продавец убеждает ее купить, чтобы отварить с медом. Нет, уж лучше купить хорошего винограду, прессованых фиг и иудейских фиников. Кроме того, ей надо купить шампиньонов и яиц.. У личной лавки слышится хохот: хозяин показывает громадное яйцо, это—страусовое, ему привезли их вместе с хлебным грузом из Александрии.

Рынок посещают и хозяева: одному нужно разменять деньги, а лавки меняют тут же у главного входа, другой, не доверяя жене, пришел нальять для два повара по случаю предстоящего праздника, третий — любитель покупать с аукциона, а здесь в мацеллуме есть и аукционная камера.

Вот пришел и хозяин сукновальни. Он хочет переговорить с знакомым ему зажиточным крестьянином, не возьмется ли тот поставить ему на всю зиму сухих бобов для рабов его мастерской. Он говорил вчера с начальником гладиаторской школы, и тот уверял его, что самое выгодное кормить рабов бобами: ничто так не укрепляет мускулов, как бобы, да и дешевле они обойдутся ему, чем каша (puls). А тут подвернулся комиссар из Пuteoli: туда прибыл большой груз сушеної рыбы, и хотя рыбу привезли издалека, с Понта Эвксинского, она обойдется дешевле местной. Комиссар услуж-

Помпеи. Виноделие и маслоделие.



Рис. 41. Каменный пресс (давильня) для оливок

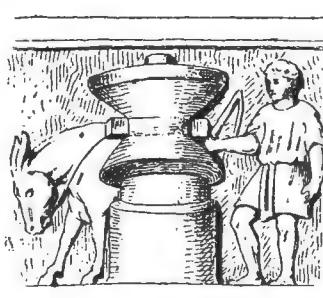
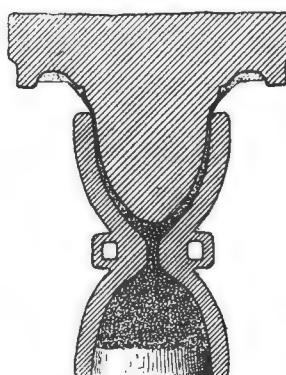


Рис. 42. Жернов (в разрезе).

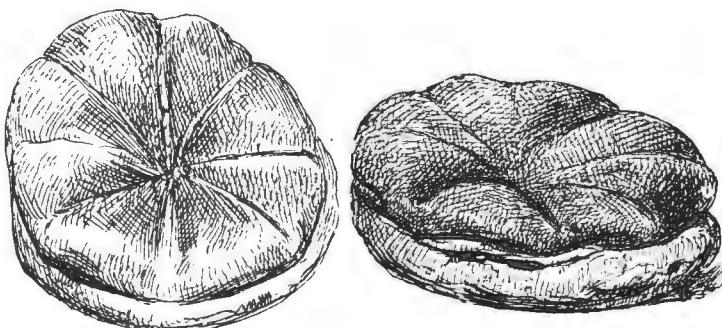
ливо показывает ему образцы и рекомендует самому съездить в Путеолы, далеко ли тут?

Но суконщик решил, что сначала надо посоветоваться с Умбрицием Скавром, розничная лавка которого находится в

сына похоронили на счет города (рис. 37). Очевидно, Скавры были благотворителями города.

Оливковое масло шло не только для рыбных консервов: вся кухня была на нем. Коровье масло было пищей варваров-еракийцев, их в насмешку называли (*butycofagi*) „маслодедами“. Правда, приходилось иногда и римлянам употреблять коровье масло, но как лекарство: и горлу оно помогало и уши великолепно вылечивало. Вот оливковое масло — без него не сделаешь ни одного хорошего блюда. Да и для технических целей оно было нужно, на нем растирали краски художники, а сколько его шло в бани! Здесь в мацеллуме небольшой магазин его, где кроме того торгуют сыром, уксусом, а в самом городе большие склады, где масло сохраняется в громадных долях. (рис. 39).

Суконщик подошел поговорить и с булочником: что он думает относительно предстоящих городских выборов, но хитрый булочник дает уклончивый ответ, он спит и видит себя сначала декурионом (гласным), затем эдилом (в роде выборного полицеймейстера), а там и дуумвиром (городским головой). Он уже многое достиг, хлеб его считается лучшим, сбыт находит большой. Он и в мацеллум пришел не столько, чтобы проверить своего приказчика в лавке, как чтобы собрать новости, да кстати справиться, нет ли у кого про-

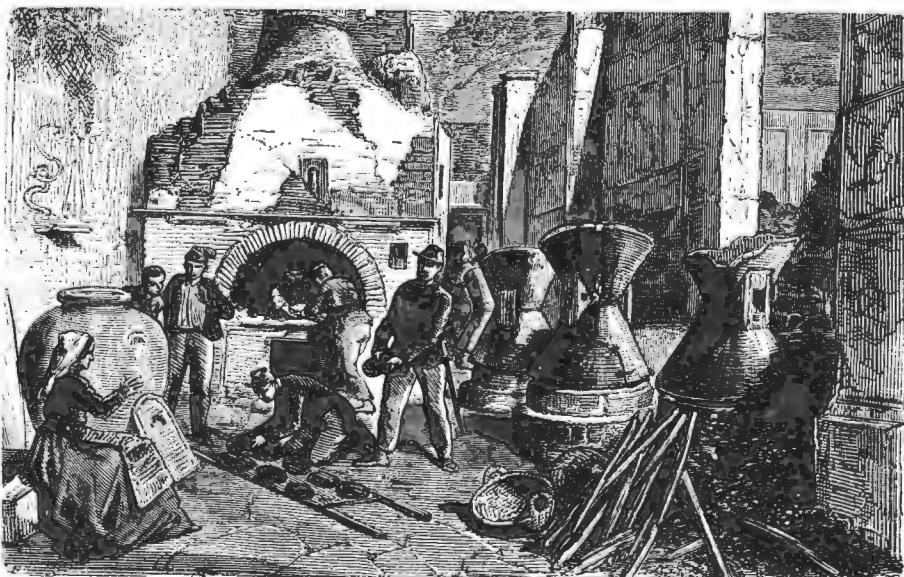


мацеллуме. Ведь Скавр ему не конкурент, следовательно приятель до известной степени, а кто же лучше понимает толк в рыбе, как не Скавр? Его фирма рыбных соусов далеко известна за пределами Помпей. Особенно славился гарум (гарум), который можно было найти на столе записных римских гурманов. Приготавливали его из внутренностей рыб на крепком соляном растворе, давали месяца два бродить, а затем процеживали; что оставалось в сите, тоже шло в продажу, это так называемый алекс (alex), тоже острая приправа хотя бы к мясным блюдам. Целый ряд амфор с kleymами фирмы были выстроены по стенке лавки. Кроме гарума, изготавливали и рыбные консервы на оливковом масле. *Liquamen oratum* (лучший соус), *oliva alba* (белый соус). Торговля у Скавров шла блесице, с каждым поколением фирма богатела. Отец, переживший своего сына, поставил ему пышный памятник с изображением гладиаторских игр, но отметил, что



дажного штрафного раба для его мельницы?

Мельница-пекарня в Помпейах пока найдено около тридцати, только в трех домах, занимающих чуть ли не целый квартал („insula“ остров), — свои пекарни и мельницы, огромное же большинство покупало хлеб уже выпеченный. Рисунок 45 изображает мельницу-пекарню Жернова (рис. 42 и 43) делались из особого сорта твердой лавы. Помпеи славились своими жерновами и торговали ими. Жернов состоял из двух частей: нижний камень, неподвижный, конусообразный, назывался *meta*, подвижный верхний *catillus*, последний по форме напоминает песочные часы: две воронки, соединенные узкими концами вместе. В верхнюю воронку сыпалось зерно, нижняя прикрывала мету. При помощи деревянных рычагов и железных шкивов „катилл“ приводился во вращение, и зерно, попавшее между „метой“ и „катиллом“, превращалось в муку.



Помпеи. Мукомольни и хлебопечение.



Помпеи. Рис. 47. Булочник Пакувий Прокл и его жена.

В I веке по Р. Х. только начинали работать при помощи водяной силы и пользовались почти исключительно силой мускульной — рабов и животных. В дышло жернова впрягались раб и осел. В крепостное время в России проштрафившихся дворовых ссылали на птичий двор, в Риме же наказанием рабов была ссылка на мельницы.

В мельницах, соединенных с пекарнями, при чем печь напоминает нашу русскую печь, сохранились квашни, мессилки, цистерны. Но самая интересная находка, это — обуглившийся хлеб (рис. 44). При некоторых булочных были и кондитерские отделения: найдены металлические формочки, кружочки тонко нарезанного хлеба. Даже печать у фирмы, изготавлившей печенья. На одном из хлебов отпечатаны слова *siligo granis*, особый сорт муки, на другом *cicer*, — гороховую муку подмешивали к пшеничной.

Сдобные хлебы готовились на молоке и меду: тростниковый сахар был известен, как привозной товар из Аравии и Индии, но его употребляли подобно коровьему маслу только, как лекарство. Все сладкое — из фруктов, из теста делалось на меду.

Еще от Катона сохранились рецепты, как делать „*placenta*“, нечто в роде слоеной ватрушки. Но во времена последних десятилетий существования Помпей уже можно было купить кондитерское печенье в лавках; во всяком случае пирожники, *libonarii*, *cibonarii* фигурируют в избирательных предвыборных плакатах.

Нажившийся Пакувий Прокл был избран в декурионы, дальнейший ход его карьеры нам неизвестен. Но и выборы в декурионы его весьма порадовали, по этому случаю он раздавал хлебы своим согражданам (рис. 46). Это его не разорило: ведь его дом принадлежит к числу самых богатых и самых изящных в Помпейях (рис. 40). Занятие мельницами, булочными и общественными делами оставляло все же ему досуг: судя по тому, что дом его украшен мраморными копиями с тех масок, в которых артисты играли трагедии, можно предположить, что он был большим театралом, в частности, поклонником греческой драмы. Да и портретом своим (рис. 47) он как бы хочет показать, что хотя он всего лишь булочник, но они с женой не чужды литературы...



Трезвон.

Рассказ И. Н. Потапенко.

I.

Давно началось это, еще тогда, когда в губернский город приехал новый архиерей. Был он из молодых,—и пятидесяти лет ему еще не было, и это почему-то не понравилось наставе. Привыкли уж так, что архиереи всегда бывают старые, с белыми бородами, и это узаконилось в представлении всех. А этот, не достигнув еще и пятидесятилетнего возраста, был к тому же еще и моложав: ни одного седого волоса. И борода небольшая—темная, густым кустом. Подчиненные ему духовные лица, особенно из губернской духовной знати, прямотаки обиделись и между собой тихонько свободомысличали: «что это, так, в насмешку, что ли, к нам прислали этакого молохоса?»

Но подобные определения можно было произносить очень тихо, так, чтобы даже и слушатель не вполне был уверен, что он именно это слышал. К тому же, обида никакого не помешала всему составу городского духовенства показать новому начальству всю преданность и все смиренение. И когда архиерей в первый раз служил в соборе, то к молебствию по случаю его прибытия, после обедни, пришли поголовно все иереи и дьяконы из всех городских и предместных приходов, привезя с собою и облачения, и приняли участие в служении.

Прибыл и о. Амвросий, настоятель небольшого предместья, лежавшего по ту сторону реки, отчего оно и называлось: „Заречное“,—прибыл и принимал участие в молебствии. Архиерем он остался ужасно недоволен, но по другой причине. Моложавость и недостаточно старый возраст не казались ему большими недостатками, даже просто недостатками. Что ж, что молод? Значит, заслужил, вот и все.

Но архиерей сказал речь, и эта-то речь и отвратила его. Она относилась собственно к духовенству, хотя соборная церковь была полна штатских прихожан. И надо сказать, что архиерей взял тон престранный и, что называется, хватил через край. Зачем-то ему нужно было показать себя вершиной строгости и неумолимости. Он говорил добрых полчаса, и все это было что-то в роде обвинительного акта против местного духовенства и объявлением всенародным, что он не потерпит и беспощадно будет преследовать нерадение, леность, распущенность и всякие другие преступления.

Батюшки слушали эту речь, потупив очи, и даже головами не покачивали. Где ж тут, еще заметят... И потом, когда вышли из церкви, говорили между собой о чем угодно, только не об архиерее и не о его речи. Мысли у всех были одинаковы, но высказывать их никто не решался даже на ушко. Самые закадычные приятели, во всем доверявшие друг другу, в этом случае воздержались.

А о. Амвросий высказался совершенно открыто. Оттого ли, что такой уж у него был нрав и он не мог перемнить его для этого случая, или оттого, что приход его находился по ту сторону реки и он как бы полагал, что там его гнев архиерейский не достанет, но он прямо так и говорил:

— Откуда это он так узнал, что мы все такие грешники? Уж не прозорливец ли он? Помилуй Бог, три дня, как приехал из Петербурга, это, примерно, тысячи за полторы верст,—и уж познал, что мы и лентяи, и нерадивцы, и распущенные. А может, мы святые, в роде ангелов?

Слушали это другие отцы и только головами качали. Думали: „Ох, уж этот отец Амвросий! Ничто ему не страшно, прямо на рожон лезет“.

А о. Амвросий и не думал лезть на рожон. Он был такой же иерей, как и все остальные; была у него семья, состоявшая из попади и, как водится в духовном быту, множества детей обоего пола, из коих старшие уже повыходили в люди, а младшие еще учились и следовательно нуждались в его заботах. И он никако не меньше, чем другие, дорожил своим приходом, как единственным источником для прокормления семейства. При таких условиях человеку не до того, чтобы лезть на рожон. А просто у него был такой нрав, что не мог он не высказать то, что думал. Главное же—совершенно необъяснимая и неискоренимая вера в то, что человек имеет право свободно высказывать то, что думает.

На своем довольно долгом веку,—так как ему было уже добрых пятьдесят пять лет,—он видел многие примеры, доказывающие противное. Скольких упорных иерев за слишком явное пользование своим собственным мнением на его память перевели из города в деревню, скольких послали в монастырь на покаяние, скольким воспретили служение, а были случаи даже лишения сана. И все они были не злодеи и не пьяницы, а только имели смелость „противу рожна прати“—каждый по-своему.

А он вот неукоснительно продолжал верить в это право. Опорой его было—честное исполнение обязанностей. „Я честно исполняю свои иерейские обязанности. А что я думаю и говорю, это ни до кого не касается, лишь бы не было противно божеским и человеческим законам.“

Таков был о. Амвросий Кипридский, сидевший на своем Заречном приходе уже лет тридцать. Высокий, плечистый, крепкий, он представлял собой заметную фигуру, выделявшуюся во всякой толпе. На плечах у него была своеобразная голова—лысая до половины, а оттуда вниз кудрявая. Кудри тонкие, уже посеревшие, крупными завитками богато ложились по плечам и по спине, а борода у него была недлинная, но широкая и густая, и было в ней, всегда стремящейся несколько вперед, какое-то выражение энергии и внутренней силы.

В городе среди духовенства к нему относились с симпатией, за немногими исключениями—людей могущественных и сильных, которые имели основание считать себя задетыми его отзывами. Ведь все передавалось; так, просто, без злого умысла, приятно бывает передавать ост्रое и удачное словцо по адресу ближнего. А о. Амвросий любил прикладывать печати, особенно к именитым протоиерейм, вертящим и консисторией и самим архиереем. Так, про кафедрального протоиера, который отличался необыкновенно объемистым животом и тяжелым весом, он сказал, что его надо бы посадить на соборную крышу, чтобы он там, по образу Господню, попостился сорок дней и сорок ночей, а секретаря консистории Исаопова подпустить к нему заместо дьявола, чтобы искушал. Ну, разумеется, это подхватили и носили по городу, пока не дошло до самого кафедрального и—ясное дело,—что после этого о. Амвросий не приобрел в нем себе друга. Про семинарского эконома, рыжего дьякона Авлова, который кормил семинаристов в спасовку и петровку тухлой рыбой и червивой капустой, он высказался, что ежели его, после кончины, назначить экономом во аде,—а уж без сомнения, там ему казенное место уготовано,—то все бесы разбегутся из ада и от его пищи раскаются и станут проситься в ангелы.

Что поделаете с таким человеком, который никак не может отказать себе в удовольствии сказать красное слово?

И так как за это на него дулись и он всегда, можно сказать, висел на волоске, то сочувствующие ему огромное большинство не решалось слишком явно становиться на его сторону, боясь, чтобы гнев, обрушенный на него, не отразился и на них.

Благодаря этому, он в своем духовном кругу не имел друзей, кроме одного—протодьякона Аргусова, его товарища по школе, человека выпивавшего, но, благодаря обладанию несравненным басом, считавшего себя неприкосновенным. Протодьякон искренно любил о. Амвросия и именно за то, ради чего он был лишен друзей. Сам он был человек ума недалекого, что и признавал полностью, и не речист и мнений никогда никаких не высказывал. Ревел себе полатающиеся взглазы и ектении, наполняя своды соборной церкви расплывленным золотом своего баса, а в свободные часы тянул понемногу чай, наполовину уснащенный ромом, что в городе и называлось: „чай по-протодьяконски“. Он часто переходил по мосту речку и навещал о. Амвросия, который хоть и не мог угинаться за ним по части порций рому, но все же от некоторой примеси его к чаю не отказывался.

II.

И это мнение, высказанное о. Амвросием об архиереев, конечно, никако не отразилось на его судьбе. Архиерей не узнал о нем. Он знакомился с делами епархии и не имел даже понятия о том, что существует некое предместье Заречное и в нем живет и действует о. Амвросий Кипридский.

Но, по истечении нескольких месяцев, он узнал это. В Заречье был храмовой праздник и, как ни скромен был приход и сам пригород, заселенный почти исключительно городскими мещанами среднего и малого достатка, но все же прихожане пожелали в этот день видеть в своей небольшой старой церкви архиерейское служение со всем, ему сопутствующее торжественностью. И ходили к архиерею именитые граждане предместья Заречного и просили его, и он согласился.

И было торжественное служение с архиерейским хором и со всем составом, и протодьякон Аргусов потрясал своды предместной церкви своим густым могучим басом. И тогда архиерей узнал, что существует предместье Заречье и в нем на приходе состоит иерей с лысой головой, которая в то же время и кудрявая, и зовут его—о. Амвросий Кипридский.

Больше ничего не узнал архиерей, так как не успел ни разглядеть его поближе ни познакомиться с его взглядами.

А о. Амвросий во время этого события вел себя, как самый настоящий член архиерейской паствы, решительно ничем не проявляя какой-либо крамольности, бегал, хлопотал, устраивал, старался, чтобы все было получше и чтобы архиерей был доволен. Это и понятно: он был, по существу, настоящий иерей, и сердце его ликовало по случаю торжественного служения. По той же причине он уважал архиерейский сан никако не менее, чем другие, и, уж конечно, у него не было времени высказать какие-либо замечания по поводу архиерея, хотя

ему, например, не нравилось, как тот служит — слишком просто, без всякого подъема, молитвы читает отрывисто, невнятно, тогда как переполненная церковь толпа молящихся ловила каждое слово архиерейское.

Но вышло обстоятельство, которое заставило-таки о. Амвросия высказать. Дело в том, что хлопотал не только он, но и попадья его, ей-то досталось хлопот больше, чем ему, и при том деликатного свойства. Она готовила трапезу для всех прибывших из города именитых духовных и светских лиц, а также и близких к церкви прихожан. О, сколько ей пришлось потрудиться над решением этой задачи! Приглашенных было не мало, далеко переваливало за полстотню, и нужно было всех накормить, напоить и главное — всем угодить. Были закуплены в городе горы закусок, а дома изготовлены пироги и птицы, добыты изумляющая своими размерами и достоинствами стерлядь и многое еще другое.

Понятно, что при этом имелось в виду прежде всего монашеское состояние архиерея, и для него были приготовлены особые блюда. Уж уха была такая, какой он наверно никогда в жизни не ел.

И вот, когда после обедни о. Амвросий осмелился, пригласив всех остальных, предложить и архиерею разделить общую трапезу в его доме, архиерей поблагодарил, но сейчас же после службы укатил в своей карете домой. Это произвело на прихожан некороткое впечатление. О. Амвросий не выражил недовольства, но мнение его на этот счет было таково, что не все слова, коими оно выражалось, могли быть даже произнесены вслух.

И все были неприятно изумлены и смущены. Даже кафедральный, имевший зуб против о. Амвросия, не решился последовать примеру архиерея, а пришел в дом настоятеля возглавлять трапезу и прелюбезно беседовал с о. Амвросием и его попадьей.

Все обошлось прекрасно. Труды и познания попадьи были всеми оценены по заслугам, присущество затянулось до ночи, об архиереях никто даже и не вспоминал, но о. Амвросий все же был уязвлен. Незаслуженным казалось ему такое пренебрежение — не столько даже к нему лично, как главным образом к обществу. Архиерей проявил гордыню. Если бы еще он привел какие-нибудь причины, но и этого не было: просто, что не все слова, коими оно выражалось, могли быть даже произнесены вслух.

Потом кружным путем объяснилось, что архиерей обладает слабым желудком и потому бережется всякого обядения. Но на это о. Амвросий возразил:

— Мы и не собирались насильно закармливать его преосвященство. Он мог бы своевременно и уехать. Но войти в дом и благословить трапезу, — это не обязанность, конечно, а дело такта, — ему надлежало бы.

Но и это событие последний никаких не имело. Жизнь в Заречье продолжалась обычным порядком.

Шла жизнь и в городе и во всей епархии, но про это нельзя сказать, чтобы тут порядок был обычный. Духовенство, за исключением немногих, стоящих наверху, стонало. Строгости от архиерейского жезла были необыкновенные.

Молодой архиерей, только-что получивший власть и не имевший никакого понятия о условиях жизни своей паствы, очень скоро, сам того не замечая, сделался послушным орудием партии, окружившей его и не пропускавшей к нему голосов настоящей жизни.

Положение архиерея вообще таково, что он может быть или милостив до попущения или несправедлив. Середины для него нет. Если он по природе мягок и добродерчен, он ко всему будет снисходителен и будет прощать всякие провинности — вольные и невольные; если же он активен и задается строгими исправительными целями и желает карать, то он принужден все это делать на основании докладов и разъяснений консистории и разных духовных сановников. Сам он обыденной жизни духовенства видеть и знать не может, она от него слишком далека, а он от нее слишком изолирован своим исключительным саном, своим „архиерейским домом“, куда имеют доступ немногие, своей каретой, из окна которой он благословляет людей, идущих по улице.

И тут он на каждом шагу бывает несправедлив. Пытая самые лучшие намерения, он неизменно осуществляет чужие, далеко не лучшие. Этот архиерей именно в такое положение и был поставлен. Его окружали высшие духовные лица, а главным образом секретарь консистории Исаев, тонкая бестия, тот самый, которого о. Амвросий рекомендовал подпустить к кафедральному для искушения заместо дьявола. Исаев делал, что хотел. Архиерей доверился ему вполне. Кажется, они оказались старыми знакомыми и чуть ли даже не товарищами по академии. И, конечно, Исаев был не из тех, что прощаются обиды. Он никогда не забывал, что о. Амвросий Киприйский сравнил его с искушающим дьяволом и что это сравнение ходило из уст в уста и имело успех. Но в то же время он был и не из тех, что дают волю своему чувству. Осторожный до последней степени, он терпеливо выжидал самого удобного случая. Наносить удар — так уж верный. А о. Амвросий в своей деятельности настоятеля Заречьевской церкви был безупречен. Обязанности свои исполнял образцово. Правда, язык у него был длинный и острый, но ни

в каких консисторских и иных правилах не дано лазейки, чтобы карать человека за такие качества языка.

Но вот выпал случай, из которого можно было сделать кой-что. Случай действительно необыкновенный, не имевший в жизни духовных лиц предшественников, заставивший и все местное духовенство, несмотря на то, что оно уже видело со стороны о. Амвросия многие выходки, ахнуть.

Были именины архиерея, день — единственный в году. Уж это велось с незапамятных времен и при всех архиереях, которых на кафедре переменилось множество, что в этот день, после обедни во всех городских церквях, все иереи спешили в архиерейский дом и там, в приемной зале, приносили архиерею свои поздравления.

Так было и на сей раз: все спешили. Надели лучшие праздничные рясы, все выслуженные ордена и камилавки и прибыли в архиерейский дом. И никто, конечно, не заметил, — что из всего состава городского духовенства не прибыл только один о. Амвросий Киприйский.

Но секретарь Исаев заметил. Боясь ошибиться, он, до приема, обошел все ряды и осмотрел все лица. И, чтобы подчеркнуть и иметь свидетельство, озабоченно спрашивал у иероев: а почему же отсутствует о. Амвросий Киприйский? Находится ли он в добром здоровье? Не случилось ли чего с ним? Помилуйте: такой день и вдруг...

Таким образом все обратили внимание на то, что о. Амвросий отсутствовал. Когда же вышел архиерей и начались приветственные речи, секретарь тоже сказал речь, начав ее с того, что вот, так, прибыли решительно все иереи города принести приветствие его преосвященству в сей знаменательный день, за исключением одного иерея — из предместья Заречье, почтенного Амвросия Киприйского, что, без сомнения, объясняется либо внезапной болезнью, либо каким-нибудь непреоборимым препятствием...

Торжество кончилось. Архиерей не пригласил свою паству ни к закуске ни к чаю, да на это никто и не рассчитывал. С одной стороны, архиерей успел уже обнаружить по отношению к пастве достаточно высокомерия и сухости, а с другой — архиерейское угощение, архиерейская закуска — Бог с ними. Ни тебе выпить как следует, ни наесться от души. Ведь неловко же.

Архиерей ограничился кратким благодарственным словом и отпустил гостей.

Когда потом духовенство узнало, что о. Амвросий не был болен, а совершенно здоров и даже служил в этот день обедню, хотя праздника церковного не было, то очень удивились. Многие спрашивали его, почему же он не был у архиерея. Он на это ответил довольно странно и, как всегда, необычно:

— А чего я там не видел?

И больше никакого пояснения не прибавил. И секретарь стороной узнал, что о. Амвросий не был болен и ничего экстренного у него не случилось в этот день. Это подало ему надежду, и он решил начать расследование. И сам, через неделю после архиерейских именин, о. Амвросий получил из консистории бумагу, которая показалась ему сперва невероятной, но потом он подумал: а впрочем, все может быть.

В бумаге консистория, за подпись секретаря, приглашала его дать объяснение своего неприбытия в архиерейский дом в день памятного святого ангела его преосвященства.

Повертел в руках бумагу о. Амвросий, подумал, и вдруг на него нашло то настроение, когда он, никого не щадя, изрекал красное слово. И захотелось сказать его в бумаге консистории. Сел и написал:

„На запрос консистории сим имею честь объяснить, что, как верный и покорный член духовной паствы его преосвященства, считаю бы за высокую честь приглашение быть скромным участником празднования памятного дня святого ангела Владыки, но такого приглашения не был удостоен и посему не счел себя вправе в тот день обеспокоить его преосвященство своим посещением“.

И подписался и отоспал в консисторию.

Ответ поразил даже секретаря.

„Вот уж подлинно на рожон лезет человек, — подумал секретарь и прибавил, — и пусть лезет, а мы из сего сделаем надлежащее употребление“.

И сделал. На первом же докладе он познакомил архиерея с странным ответом о. Амвросия и сумел дать ему самое злостное объяснение, при чем не преминул охарактеризовать о. Амвросия, как обладателя вредного ума и ядовитого языка, который не щадит самых почтенных начальствующих особ.

Архиерей вполне воспринял и усвоил впущеный в его душу секретарский яд и очень рассердился.

— Такие иереи не должны портить духовное стадо, они должны быть выброшены из него! — сказал он и приказал вызвать к нему о. Амвросия.

О. Амвросий не ждал от этого свидания никакого добра, но у него и в мыслях не было того, что в конце концов из этого вышло.

Увидев его и узнав, что он именно о. Амвросий Киприйский, архиерей прямо набросился на него.

— Какого приглашения ты мог ждать? Как ты смеешь ставить себя на одну доску с архиереем? Не о себе говорю, мне

тично не надобно никаких поздравлений, они меня, монаха, только стесняют, но сан мой обзывают меня.

О. Амвросий выдержал этот первый натиск, а затем спокойно сказал:

— Ваше преосвященство не соблаговолили удостоить мой дом посещением трапезы после храмового праздника церкви Заречья. Не о себе говорю, ибо я слишком скромен и, может быть, недостоин, но были обижены все лучшие представители прихода. После сего я должен был думать, что и вашему преосвященству не доставит удовольствия видеть меня у себя в доме на нашем празднике...

Архиерей отошел от такой речи. Никогда в жизни не слышал он ничего подобного от иерея. И ничего не нашелся сказать, а просто презрительно отвернулся и направился к какому-то просителю. Но гнев его был велик. У него дрожали руки и глаза мигали.

О. Амвросию оставалось уйти, что он и сделал. Но ответ его произвел сенсацию. Когда в городе узнали, что сказал о. Амвросий архиерею, все решили, что его за это непременно лишат сана.

Но до этого не дошло. Иерей Амвросий Киприйский был предан консисторскому суду, а пока, во время нахождения под судом, ему было воспрещено совершать богослужение. В Заречье был прислан какой-то серенький малограмматный иеромонах, который и замещал о. Амвросия.

Пришло о. Амвросию подчиниться. Попробовали было изгнать его из занимаемого дома, но тут обожглись. Оказалось, что жил он не в церковном доме, а в своем собственном, который лет пять тому назад, в день празднования двадцатипятилетия его службы на приходе, был поднесен ему прихожанами.

III.

Сильно заскучал о. Амвросий. За тридцать лет службы привык он совершать вечерни, обедни и требы, это сделалось его потребностью. А секретарь, не ожидавший, чтобы суд, все-таки состоявший из местных духовных лиц, непременно строго покарал о. Амвросия, нарочно всеми способами тянул дело без конца.

Да и материальное положение о. Амвросия пошатнулось. Он лишился всяких доходов. Прихожане поддерживали его по мере сил, но не могли же они воспитывать и его детей.

Страдал он также и от одиночества. Теперь товарищи из города боялись его, как огня. Всякое близкое общение с ним могло быть поставлено на счет. И единственный человек, не боявшийся секретаря консистории, это был протодьякон Аргусов, который неизменно посещал его и всячески утешал.

— Ты погоди, — говорил он, — потерпи, Амвросий; придет и на них кара, уж непременно придет. Я, брат, заметил, что это всегда приходит. Пошлиут они, пошлиут, а там, смотришь, и уберут всех куда-нибудь подальше... Особенно секретаря... о, это ждет туз бубновый!..

Но это было плохое утешение. Дело не двигалось. Прихожане подавали коллективные прошения, в которых сообщали архиерею о необыкновенных добродетелях своего пастыря, но наверху к ним оставались совершенно глухи. Посещения же протодьякона Аргусова в последнее время стали о. Амвросию даже тяжелы. Он все заметней изменился в своем стажане соотношение между ромом и чаем, в пользу рома, конечно, и стал форменно напиваюсь. А подпивши, городил вздор, орал, надрывал голос. Это было неприятно и несколько уже не утешало его.

А однажды протодьякон Аргусов выкинул неожиданную штуку. Осушив дома несколько стаканов своего напитка, пошел на всеобщую и там, во время служения, вдруг подошел к архиерею, который обычно стоял в алтаре, и своим гремящим голосом выпалил:

— Владыко! Говорю вам, владыко... Несправедливо поступлено с Амвросием Киприйским... Амвросий — честнейшей души иерей, а секретарь Исаев — по-оддещ...

Его, конечно, схватили под руки и увели куда-то в другой притвор, там сняли с него облачение и отвели его домой. Всеобщую кончили за него другой дьякон. А на другой день вышел приказ о зачислении его за штат. После этого, при посещении о. Амвросия, он стал еще несноснее. Пропорция в его стакане еще больше изменилась в пользу рома, голова его становилась еще туманнее, а речи вздорнее. К прежнему вздору прибавилась новая мысль, которая прямо-таки досаждала о. Амвросию.

— Ха! За штат! Слово такое — приличное... Даже пенсион дали!.. А в существе дела — прогнали! А что? Разве нет? Го-

лос, что ли, спал у меня? Как бы не та-ак! Вот слушай: Га-а-га-а-а! — ревел он что было мочи, а затем вдруг поворачивался к о. Амвросию: — А ведь это, брат Амвросий, я ради тебя пострадал! Ты это, брат, помни... Но-о-мни! Не за-бы-ва-ай!

Не раз о. Амвросий готов был поссориться с ним, разойтись хоть навсегда, но старое товарищество и многолетнее приятельство удерживали. Он, положим, пьяный, распустился человек вконец и без особой причины. Первое — подделом. Нельзя в пьяном виде служить всеобщую. Это неуважение к своему сану и к святому mestu. А второе — и архиерю нельзя в таком tone говорить. Ну, а все-таки — жаль старика. Ему и пойти-то не к кому, кроме как к нему. Кто станет выслушивать его вздорные пьяные разговоры?

Так тянулось время — несколько месяцев. Секретарь Исаев наслаждался низкой местью и выдерживал бумаги по его делу под скуном.

Но случилось нечто невероятное, небывалое, невообразимое. Далеко на севере умирал старый мир и нарождался новый, но здесь, в губернском городе, никто еще ничего не понимал.

Наконец, дошло и сюда. Словно порыв урагана повалил дома, заборы, деревья и церкви, все смешалось, все понеслось на улицу, раздались новые песни, неслыханные слова. И в то время, как обыватели еще только приходили в себя, великое дело уже совершилось. Не стало губернатора, исчез грозный полицеймейстер, убежали с своих вечных и незыблемых постов городовые, полетели в пропасть старые — дума, управа, разные управление и канцелярии, а на их месте вырастало что-то совсем новое, невиданное.

Духовенство не знал, как ему быть, но его никто не трогал, и архиерей, этот строгий блюститель нравов и каратель пороков, сидел на своем месте. Еще сидел, но почему-то дрожал и, вместо того, чтобы, пользуясь своим непрекословенным положением, высоким авторитетом и саном, поддержать дух своей смущившейся паствы, влить в нее бодрость и показать путь, которого ей следует держаться, он спрятался, заперся в своих покоях, ни к кому не выходил, никого не впускал к себе.

Но несколько иначе отнесся к событиям о. Амвросий Киприйский. Он первый из губернского духовенства почудил в событиях живой дух. Пришел он в церковь и велел сторожу взлезть на колокольню и звонить. И поднялся трезвон — долгий, радостный, веселый, как в день Пасхи. И странно было слышать этот звон. Вот уже несколько дней, как колокола онемели на всех колокольнях губернского города. И вдруг трезвон и где же? В Заречье. Оттуда несутся волны радостно потрясенного воздуха, оттуда идут звуки — волнующие, будящие, зовущие.

И на этот зов люди шли. Торопливо перебегали по мосту и собирались к небольшой церкви предместья. Вот уже полна церковь и ограда, наполняется площадь около церкви. О. Амвросий выходит на паперть в светлой пасхальной ризе, а за ним появляется — в стихаре с орапарем, так необыкновенно перекрещенным на груди, — протодьякон Аргусов. Все знают его. Нет в церкви ни одного человека, который не знал бы протодьякона Аргусова, чей изумительный голос так много лет в соборной церкви возглашал хвалу Богу. И они оба — запрестенные — явились перед народом в светлых одеяниях, чтобы сказать ему — да вот о. Амвросий и говорит, напрягая голос изо всех сил, чтобы его слышали:

— Братья-христиане! Народ православный! Бог послал родине нашей великое благо — свободу! И я призвал вас колокольным звоном, чтобы вы знали, что и церкви славят Бога за этот великий дар. Вот и я и брат мой — мы оба томились в неволе, отставленные от алтаря Господня, коему служили честно и нeliцемерно по тридцать лет каждый, и мы получили свободу служить Богу и вере! Возблагодарим же Господа за дарованную нам свободу...

Он повернулся лицом к церковной двери, а протодьякон густым своим басищем возгласил:

— Благослови, владыко...

И началось благодарственное за свободу молебствие, в котором хором был весь собравшийся народ. Зрелище было изумительное. О нем потом долго говорил весь город, и о. Амвросию начали подражать иерей в других церквях.

Уехал куда-то архиерей, исчезла консистория, а с нею и секретарь, вышел за штат толстый кафедральный протоиерей, а о. Амвросий с протодьяконом, изгнав серенького монаха, восстановили себя во всех правах и служат службы.

Содержание. ТЕКСТ: Статуя. Стихотворение Георгия Аркадова. — Помпеи. Как жили 2.000 лет тому назад. Очерк Татьяны Варшер. (С 47 иллюстрациями). — Трезвон. Рассказ И. Н. Потапенко.

РИСУНКИ: Иллюстрации И. Самокиш к стихотворению Георгия Аркадова „Статуя“; — Иллюстрации к очерку Татьяны Варшер „Помпеи“. К этому № прилагается „Полное собрание сочинений М. Горького“ книга 24.

Издатель Т-ва А. Ф. МАРКС.

Редактор И. М. Железнов.

Артистическое заведение Т-ва А. Ф. МАРКС, Петроград, Измайловский проспект, д. № 29.

Библиотека "Руниверс"

ЖУРН

1918 г.

XLIX г.

издания.

№ 39.

Выходит ежемесячно (52 № в год), съ приложением 52 книга, содержащих сочинения А. И. ГЕРЦЕНА, М. ГОРЬКАГО, В. Г. КОРОЛЕНКО, П. БЕРАНЖЕ и Н. И. КАРЬЕВА („Великая Французская Революция“). Выдан 28 сентября 1918 г. Подписная цена с дост. и перес. на год — 36 р., на 1/2 г. — 18 р., на 1/4 г. — 9 р. Цена этого № (без прилож.) — 40 к., с перес. 50 к.

Главная Контора и Редакция: Петроград, улица Гоголя, № 22.

Перепечатка иллюстраций и текста воспрещается. (Закон 20-го марта 1911 г.).

Париж времен великой революции.

Очерк проф. Н. И. Кареева.

(С 18 иллюстрациями).



I.

Читатели книг по истории французской революции постоянно встречаются в них с названиями разных местностей Парижа, его кварталов, улиц, площадей, а также отдельных зданий, так или иначе связанных с происходившими тогда событиями. Люди, никогда не бывавшие в Париже или не знакомые, по крайней мере, с описаниями Парижа, с его планом, с изображениями его архитектурных памятников, вынуждены довольствоваться названиями, мало что им говорящими, а от этого для громадного большинства читателей описания событий много теряют в своей наглядности.

Наш очерк Парижа в эпоху революции 1789—1799 гг. и иллюстрирующие его рисунки имеют целью восполнить этот пробел.

По пространству Париж в конце XVIII века был приблизительно вдвое меньше теперешнего. Он весь заключался внутри так называемых в настоящее время Внешних Бульваров, при чем пространство, занимавшееся Парижем, разделялось на центральную часть, или „город“ в тесном смысле, и на „предместья“. Границей, отделявшей предместья от города, была линия внутренних бульваров, заменивших средневековую городскую стену.

„Город“, это — древнейшая часть Парижа, вокруг которой, за пределами прежних укреплений, замененных бульварами, лишь с течением времени возникли непосредственно примыкающие к нему слободы, нечто в роде древнерусского посада, и всею своею совокупностью составившие парижские предместья. Так принято у нас переводить французское слово „faubourgs“ (фубур), пользуясь польским термином „przedmiescie“ (прижед-

месьце), т.-е. передместье, как бы передгородье (по-польски город — място, место). И в теперешнем Париже не совсем еще изгладилось из памяти это старое деление: большие улицы, идущие из центра к окраинам, за внутренними бульварами уже обозначаются, как улицы предместий; например, улица св. Иакова (Сен-Жак) за бульваром называется уже „улицей предместья св. Иакова“, улица св. Дионисия (Сен-Дени) — „улицей предместья св. Дионисия“, улица св. Мартина — „улицей предместья св. Мартина“ и т. п. Там, где улицы „города“ переходили в улицы „предместья“, в прежней городской стене были ворота, из которых до нашего времени сохранились двое: св. Дионисия (Сен-Дени) и св. Мартина (Сен-Мартен — стр. 610).

В данном отношении Париж — типичный представитель города, возникшего в средние века; его очень напоминает наша Москва, в которой тоже имеется окружающая центральную часть линия бульваров, соответствующая внутренним парижским (или „Большим“, как они теперь называются), затем дальше от центра Садовая улица (парижские Внешние Бульвары) и наконец так называемый Камер-Коллежский Вал (теперешние парижские фортификации). В Москве даже сохранилось обозначение воротами (Арбатские ворота, Никитские ворота и т. д.) площадей, прерывающих собою линию бульваров *).

От XVIII века сохранилось очень много планов Парижа, по которым можно судить, как мало были застроены предместья сравнительно с центральной частью города. Там улиц было немного, и большие пространства были заняты пустырями, огородами, садами, складами строевого дерева и дров и т. п. Особенно хорошее представление о Париже XVIII века (1734—1739 гг.) дает знаменитый план Тюро (не министра, а его деда) на 20 больших листах, покрывающих собою пространство длиною в 3 аршина 12 вершков, шириной же в 3 аршина без полувершка, так что вся площадь, занимаемая этим планом, составляет более 11 квадратных аршин. Замечательна еще особенность этого плана заключается в том, что на нем, как на картине, изображены самые здания (дома, церкви, дворцы), а также сады, цветники, огороды **), что можно видеть на воспроизведенном на стр. 610 образце, составляющем только около 1/200 части всего плана. Здесь изображена часть правого берега Сены и рукава между этим берегом и островом Сите. Из зданий отмечу Отель-де-вилль (Ратушу, наверху) и церковь св. Иакова (Сен-Жак, внизу), а также заслуживает внимания мост Нотр-Дам с построенными на нем домами. Обо всем этом подробнее сказано ниже.

В то время, как в центральных районах Парижа на каждой тысяче квадратных туазов (приблизительно равных саженям) жило более 300—500, а в иных местах 100—200 душ, на предместья, составлявшие большую часть площади Парижа, приходилось менее 100 и 50 душ на том же пространстве в одну тысячу кв. туазов. Даже знаменитые кварталы на ю.-в. Парижа, св. Антония (на правом берегу Сены) и св. Марцелла (на левом берегу) были населены очень слабо (менее 50 человек на тысячу кв. т.), а между тем они-то и играли особенно видную роль в событиях революции. Немало их выступлениям мешало то обстоятельство, что между обоими этими предместьями не было моста через реку.

*.) В моей „Великой французской революции“ (прилож. к „Ниве“ с. г., стр. X) дан схематический план Парижа, по которому можно наглядно проверить сказанное.

**) Подробное описание этого плана было мною дано в „Русском Библиографе“ за 1915 г., вып. I.

Знаменитая Бастилия (стр. 611) находилась между внутренним городом и предместьем Сент-Антуан, а несколько севернее ее, тоже между городом и предместьем, был другой замок, Тампль (стр. 611), куда был заключен Людовик XVI. Самую центральную часть города составляли оба берега Сены с большим островом между ними, носящим название Сите. На этом острове из зданий, упоминаемых в истории революции, находятся собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам де-Пари) (стр. 612) с дворцом архиепископа (Аршевешэ) и Консьержери (стр. 613), место заключения многих деятелей революции, а также Марии-Антуанеты. Против острова на правом берегу стояло здание Ратуши (Отель-де-виль)—(стр. 615), а немного ниже по течению Сены, т.-е. к западу на правом берегу реки находится великолепный дворец Лувр (стр. 612 и 613), несколько же дальше, но в близайшем соседстве был ныне не существующий больше (с 1871 г.) Тюильрийский дворец (стр. 614). Здесь же около них (к северу) был и дворец герцога Орлеанского, столь часто упоминаемый Пале-Рояль со своим публичным садом (стр. 614). К западу от Тюильри было большой сад того же имени, еще дальше площадь Людовика XV, переименованная в площадь Революции и сделавшаяся местом публичных казней, а еще дальше до самого края Парижа находились Елисейские поля со своими великолепными аллеями.

Нотр-Дам, Аршевешэ, Консьержери на острове, Отель-де-виль, Лувр, Тюильри, Пале-Рояль на северном берегу,—все это находилось вблизи одно от другого на расстоянии каких-нибудь полутора верст между крайними пунктами. На южном (левом) берегу Сены, как раз против Лувра находился дворец Мазарини, где помещалась прежде дворянская школа „четырех наций“. Прямо к югу от него, на очень небольшом расстоянии, около старинного монастыря Сен-Жермен де-Пре была построена его монахами тюрьма, известная под именем Аббатства (Аббэи) и бывшая местом заключения, например, Шарлотты Корда и г-жи Ролан. Еще дальше к югу и на близких расстояниях одно от другого были такие здания, как Люксембургский дворец (стр. 614) с большим садом, сделавшийся местом пребывания Директории, Французский театр (ныне Одеон), университет (Сорбонна) и только-что построенная новая церковь св. Женевьевы, превращенная во время революции в „Пантеон“ (стр. 615)—место вечного упокоения великих людей. В сущности, эта группа зданий отстояла от правобережной не очень далеко: расстояние от Пантеона до Нотр-Дам менее одной версты. Так в тогдашнем Париже было все сосредоточено на сравнительно небольшом пространстве. Только Дом Инвалидов (стр. 616), тоже игравший роль в истории революции, был на

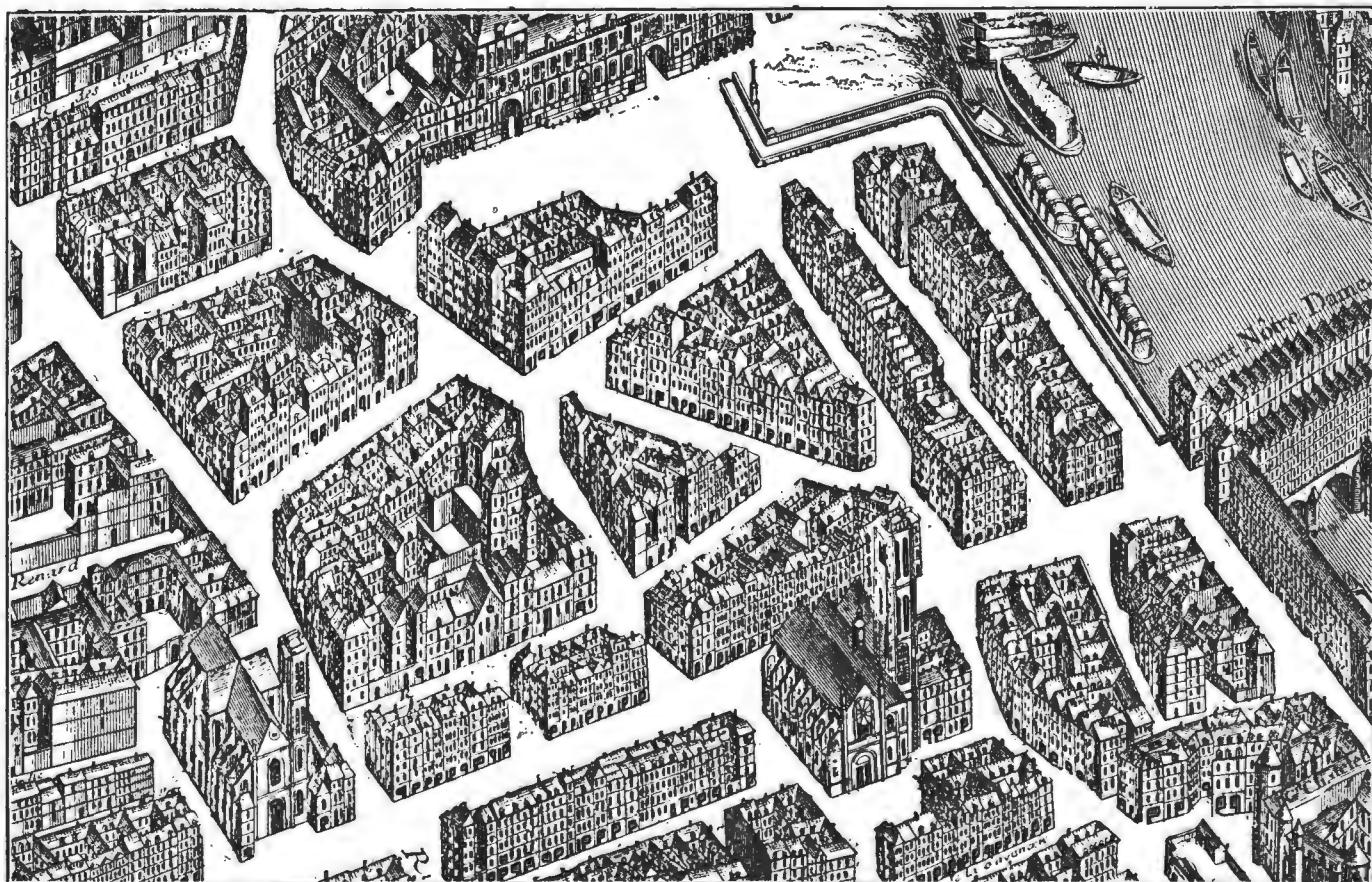


Ворота св. Мартина (Сен-Мартен).

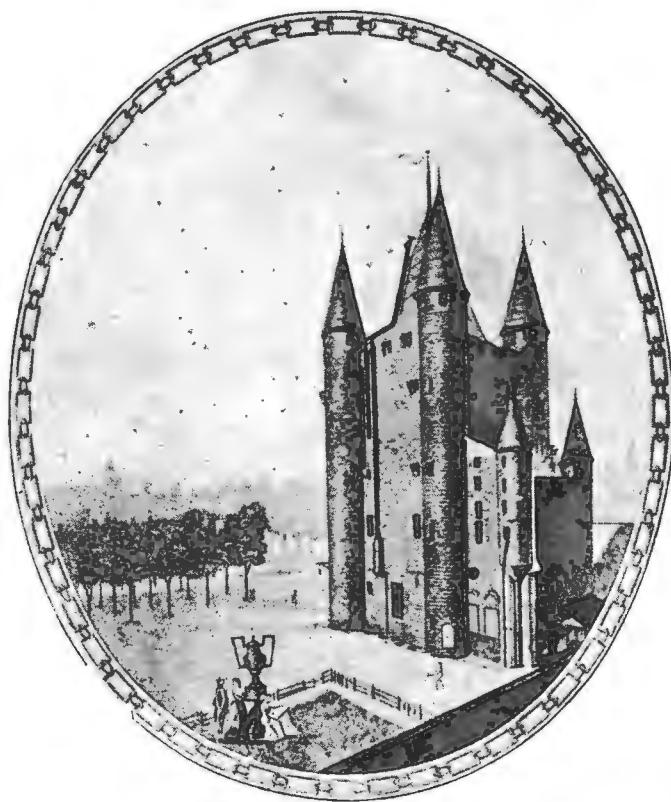
отлете, в очень мало населенной западной части города, где, еще ближе к краю, находится и теперь Марсово поле, с именем которого связаны воспоминания о празднике Федерации 14-го июля 1790 г. и о бойне 17-го июля 1791 г. *

Центральные кварталы Парижа довольно резко отличались иногда один от другого по характеру своего населения. Когда Париж был разделен в 1790 г. на сорок восемь участков (сек-

*) См. рисунки на стр. XXXVI и XXXVIII „Великой французской революции“ (прилож. к „Ниве“ с. г.).



План Парижа, составленный во времена Тюрго (1/200 часть). Правый берег р. Сены и рукава между берегом и островом Сите.



Париж. Тампль—место заключения Людовика XVI.

ций), они оказались настроенными далеко неодинаково в политическом отношении: одни были радикальные, другие консервативные, конечно, в зависимости от состава населения *). Были кварталы с большим количеством аристократических особняков, начавших, однако, пустеть с усилившимся эмиграции, или где жило особенно много либо судебских (судей, прокуроров, стряпчих, адвокатов, нотариусов), либо богатых представителей промышленности и торговли, кварталы с ремесленным или чисто-рабочим населением, наконец знаменитый Латинский квартал (около Сорбонны, Пантеона и Люксембургского дворца), населенный профессорами, студентами, книгопродавцами, содержателями меблированных комнат, владельцами ла-

* Ср. главу XI моей „Великой французской революции“.

вок с письменными принадлежностями или переплетных заведений и т. п. Везде, конечно, можно было найти в населении отдельных секций демократические элементы, но не везде они были одинаково многочисленны и влиятельны. Об отношении отдельных секций к революции можно судить по тем названиям, которые они себе давали *), но многие назывались так или иначе вне всякой зависимости от политики, — по тем замечательным зданиям, которые находились на их территориях. Таковы были секции Тюильри, Пале-Рояля (временно Горы), Лувра (временно Музейская), Тампля, Ратуши (временно Общинного Дома), Нотр-Дам, Инвалидов, Французского Театра (временно Марата), Люксембурга (временно Мутия Сцеволы), св. Женевьевы (или Французского Пантеона) и т. п. Другие секции сохраняли (хотя и не всегда) названия, данные им по каким-либо улицам или площадям и т. п.: одна, например, называлась секцией Ботанического Сада, а временно секцией Санкюлотов. Если секция называла себя секцией Мирабо или Марата, секцией Общественного Договора или Прав Человека, секцией Братства или Разума, Республики или Революционной, то этим самым подчеркивалась свои политические симпатии.

Что касается цифры населения Парижа, то вполне точных сведений на этот счет мы не имеем для периода революции. Современники и новейшие ученые определяли ее для первых лет революции то в 522—524 тысячи, то в 640—660 тысяч, что составляет разницу чуть не в полтораста тысяч. Первый точный подсчет, произведенный в 1800 году, дал цифру 547.756 душ, так что население Парижа едва ли превосходило шестьсот тысяч человек, хотя и это для того времени составляло необычайно громадную цифру.

II

Исходным пунктом революционного движения в Париже, начавшегося в середине июля **), был Пале-Рояль. Название его значит „Королевский дворец“, но он принадлежал одному из „принцев крови“, родственнику Людовика XVI, герцогу Филиппу Орлеанскому. Пале-Рояль занимал во время революции большой продолговатый четырехугольник, внутри которого был сад, замкнутый с трех сторон галереями-арками, с великим множеством магазинов, кофеен, ресторанов, и здесь всегда было много гуляющих до самого позднего часа ***). Тут же помещалось несколько небольших театральных и концертных зал, где потом происходили заседания некоторых клубов. С момента открытия Генеральных Штатов публика толпилась в Пале-Рояле день и ночь, чтобы узнавать новости, слушать ораторов, устраивать разные демонстрации. Отсюда 12-го июля 1789 года началось революционное движение, приведшее ко взятию Бастилии, как и впоследствии здесь же происходило много бурных сбоян, а иногда и драк между приверженцами разных партий. Когда владелец Пале-Рояля стал называть себя „гражданином

*) „Великая французская революция“, стр. 163.

**) Там же, стр. 139.

***) Кроме рисунка, изображающего сад Пале-Рояля в теперешнем виде (стр. 614) см. рис. на стр. XXXII „Великой французской революции“



Париж. Бастилия.

Эгалите" (Равенство), сам дворец тоже переименован был в Пале-Эгалите. После казни герцога все это громадное здание, уже раньше проданное его заимодавцами, сделалось государственным достоянием. При Директории сад, галереи и залы дворца стали средоточием реакционных выступлений.

Пале-Рояль сохранил в общем свой вид и доныне, но уже без шумной толпы, которая отхлынула на Большие Бульвары. В его саду теперь красуется памятник Камиллу Демулену, произнесшему здесь свою знаменитую революционную речь, — момент, который был запечатлен на многих картинах того времени: на пьедестале, едва возвышающемся над землею, бронзовый Демулен представлен изезающим на садовый стул, чтобы сказать с него свою речь.

Другим центром народных движений в Париже был Отель-де-виль, или Ратуша, здание городского совета, место заседаний Коммуны. Перед ним находилась так называемая Грэвская площадь, бывшая местом народных соборов, и именно отсюда 14-го июля 1789 года двинулась толпа к Дому Инвалидов, чтобы овладеть имевшимся там складом оружия, да и вообще с Ратушей связано много событий революции. В 1871 году это здание сгорело во время восстания Коммуны, но на его месте выстроено новое в том же архитектурном стиле, но более обширное и величественное.

14-го июля 1789 года народной толпе, желавшей запастись оружием, пришлось совершить путешествие за три с лишним версты к Дому Инвалидов, но когда пришла туда эта толпа, здание уже было захвачено соседними жителями, и брат с боя его не пришелся. Это была громадная военная багадельня, в которой содержалось от 4 до 5 тысяч больных и увечных воинов, которые, однако, тоже вмешивались в политику. В 1799 году инвалиды даже примкнули к перевороту 18-го брюмера. Секция Инвалидов, занимавшая западную окраину Парижа на левом берегу Сены, заключала вообщем в своем населении, очень редком, много военных; там же находилась громадная военная школа, где стояли большие кавалерийские отряды, а воспитанников давно уже не было. Между этой школой и Сеной лежало Марсово поле, — площадь с версту в длину и немногим менее полуверсты в ширину.

От Дома Инвалидов до Бастилии было по воздушной линии около четырех верст, на протяжении которых находились самые населенные кварталы Парижа. Знаменитая „твёрдина деспотизма“ была первоначально сторожевую башнею (бастидой) у городских ворот св. Антония до образования еще предметья этого имени, пока во второй половине XIV века эта „бастида св. Антония“ не превратилась в более солидный замок, состоявший уже из шести башен, соединенных между собою высокую стену, к которым в середине XVI века были пристроены еще две башни, и когда, кроме того, все это громадное здание было окружено глубоким рвом. Сначала Бастилия служила убежищем для короля и для знатных лиц во время междуусобий и неприятельских нашествий, а с конца XV века превратилась в государственную тюрьму, продолжая по временам быть и военным оплотом, который был способен оказывать долгое сопротивление. С внешним миром Бастилия сообщалась подъемным мостом через ров в 12—13 сажен глубины и в 4 сажени



Париж. Луврская колоннада.

ширины и имела большой внутренний двор, окруженный восьмью башнями, между которыми были толстые стены. „Твердина деспотизма“ была так ненавидима в обществе, что уже за пять лет до революции был проект срыть ее до основания и на ее месте устроить площадь Людовика XVI. После взятия Бастилии 14-го июля 1789 года эта мысль стала приводиться в исполнение, но работы над разрушением всего здания продолжались около двух лет. Здесь, действительно, образовалась большая площадь, получившая название Бастильской, сохраняющееся и теперь. Открыта она была летом 1792 года и сделалась местом многих народных празднеств. Впоследствии на ней был воздвигнут памятник в память июльской революции 1830 года. С именами Пале-Рояля, Отель-де-вилля, Дома Инвалидов и Бастилии связаны события первых недель революции, когда король и Национальное Собрание находились еще в Версале, в полутора-двух десятках верст от Парижа. В октябре 1789 года парижское население принудило их переселиться в самый город.

Более ста лет королевской резиденцией был не Париж, а Версаль, — этот город-дворец, построенный Людовиком XIV. В Париже, между тем, были старые королевские дворцы Лувр и Тюильри, занимавшие со своими дворами площадь длиною сажен в четыреста. Лувр, заложенный еще в середине XVI века, отстраивался и расширялся в течение целых столетий с более или менее значительными перерывами. Перед революцией в различных помещениях этого громадного дворца, между прочим, хранились разные произведения искусства, устраивались художественные выставки, происходили заседания академий и даже были квартиры и мастерские придворных живописцев



Париж. Собор Парижской Богоматери. (Нотр-Дам де-Пари).



Париж. Лувр.

вятелей, архитекторов, а в мае 1791 года Национальное Собрание постановило превратить Лувр в музей, каким он является и в настоящее время. Тогда же предполагалось, что в этом дворце будет находиться и королевское жилище, но еще в октябре 1789 года Людовик XVI поселился в другом дворце, носившем название Тюильри, и здесь дважды подвергался нападению народной толпы (20-го июня и 10-го августа 1792 года). При Тюильрийском дворце был манеж, в котором происходили заседания Учредительного и Законодательного Собраний и Национального Конвента, но последний в мае 1793 года перешел в самый дворец, где потом происходили и заседания Совета старейшин. Здесь же некоторое время, в манеже, происходили заседания и Совета пятисот, пока для него не построили особый зал в Пале-Бурбон на левом берегу Сены; в последнем и теперь помещается Палата депутатов.

Таким образом, Тюильрийский дворец (просуществовавший до 1871 года, когда он сгорел во время восстания Коммуны) в течение трех лет был королевской резиденцией и во все время революции местом пребывания представительных собраний Франции. Людовик XVI покинул его, когда им овладел восставший народ, после чего король уже был пленником, и местом его заключения сделался Тампль.

Замок Тампль был как бы второй Бастилией, только меньших размеров. Это было также средневековое укрепление недалеко от ворот, когда-то ведущих во внутренний город. Название свое замок получил от того, что был когда-то (еще в XIII веке) построен рыцарями-храмовниками, или тамплиерами, защитниками св. храма (по-французски Тампль) в Иерусалиме. С начала XIV века до самой революции здание было занято монастырем, упраздненным в 1790 году, во время революции было одним из мест заключения, снова становилось (1815—1848) женского монастырскою обителью, и было разрушено только в пятидесятых годах прошлого века. До сих пор соседние улица, бульвар и предместье носят название Тампля. В Тампле заключен был Людовик XVI, а после его казни — еще более двух лет его малолетний сын, дофин, там и умерший. Мария-Антуанета была переведена перед казнью в другую тюрьму, известную под названием Консьержери.

Здание, известное под этим именем, существует и в настоящее время и тоже служит местом заключения. Оно находится на северном берегу острова Сите и сохранило свой внешний вид. Рядом с ним сохранилась и старинная башня с большими часами, а оба эти здания примыкают к Пале-де-Жюстис, т.-е. к Дворцу Правосудия, где до революции происходили заседания Парижского парламента (высшей судебной палаты), а во время республики — революционного суда. В тюрьме Консьержери, кроме Марии-Антуанеты, были заключены из деятелей революции Эбер и Дантон. Еще раньше, в ужасные сентябрьские дни 1792 года, была перебита большая часть узников, сидевших в этой тюрьме.

Как известно, сцены избиения заключенных происходили в эти кровавые дни и в других тюрьмах Парижа, из которых следует назвать еще Аббатство. Она примыкала к одному из стариннейших и знаменитейших французских монастырей св. Германа (Сен-Жермен) в Полях, главная церковь которого, имеющая вид крепости, сохранилась и до настоящего времени.



Париж. Тюрьма Консьержери, в которой была заключена Мария-Антуанета.



Тюильрийский дворец.

В тюрьму был во время революции обращен и дворец (коллеж) Мазарини, очищенный, однако, в 1793—1794 годах для заседаний Комитета общественного спасения. Впоследствии это

вшийся одним из центров борьбы с Конвентом перед восстанием 13-го вандемьера *).

Из парижских зданий, тесно связанных с историей революции, особого внимания заслуживает Пантеон, построенный на одном из самых высоких мест левого берега Сены. Здесь прежде стояла церковь во имя св. Женевьевы, покровительницы Парижа. Когда этот храм пришел в ветхость, Людовик XV приказал его разрушить и начать постройку нового по планам архитектора Суффло. Новый храм задуман был грандиозных размеров, более 50 сажен длины, около 40 ширины и без малого 45 сажен в высину. Хотя фундамент был заложен еще в 1757 г., а первый камень — в 1764, в начале революции он не был еще окончен и только в 1799 г. мог считаться достроенным. В 1791 г. Национальное Собрание постановило превратить здание во „Французский Пантеон“, усыпальницу „великих людей, прославившихся своими талантами, доблестями и заслу-

*.) „Великая французская революция“, стр. 331 и след.



Париж. Сад Пале-Рояля.

здание было занято Национальным институтом, который в 1795 году был создан Конвентом из соединения прежних академий.

К числу зданий, превращенных во время революции в тюрьмы, относится и второй по красоте во всем тогдашнем Париже Люксембургский дворец с великолепным садом. Он в начале революции принадлежал брату короля, графу Проманскому, но после его эмиграции сделался национальною собственностью. Местом заключения он стал во время террора, но в 1795 году Директория превратила его в жилище своих членов, а после переворота 18-го брюмера в нем временно поселились все трое консулов республики. При Директории Люксембургский дворец был местом, где устраивались роскошные официальные праздники (например, 10-го декабря 1797 г. в честь генерала Наполеона Бонапарта). Неподалеку от Люксембурга находился Французский театр (ныне Одеон), сдела-



Париж. Люксембургский дворец.



Париж. Пантеон усыпальница великихъ людей Франции.

гами перед отечеством". Первым удостоился этой чести Мирабо, но впоследствии останки его были удалены, когда похоронили там Марата, а из прежних деятелей сюда был перенесен прах Вольтера и Руссо. В 1822 — 1830 и в 1855 — 1885 гг. Пантеон был снова церковью св. Женевьевы. По имени Пантеона назывались секции, где находилось это здание, и знаменитый клуб второго периода революции *).

Нам остается сказать еще о парижском соборе во имя Божьей Матери (Нотр-Дам де-Пари). Начатый постройкою еще в середине XII века, он был окончен только в начале XIV столетия и, конечно, был сооружен в готическом стиле. Его внешнему виду повредили, с одной стороны, пожары, с другой, неудачные

*.) "Великая французская революция", стр. 384.

реставрации и переделки, в одной из которых был повинен и упомянутый архитектор Суффло. Революция с ее нелюбовью ко всему средневековому, как варварскому („готическому“), была особенно неблагоприятна для памятников старины, каким был этот парижский храм. В 1793 г. Коммуна даже постановила его разрушить, после чего началось удаление многих его украшений (например, целого ряда статуй королей). Собор, однако, уцелел, но в нем, в течение многих лет, не совершалось католического богослужения. Он даже был объявлен храмом Разума, и в его стенах 10-го ноября 1793 г. было торжественное чествование разума в образе красивой дамы *). Сама секция Нотр-Дам одно время называлась секцией Разума. Окончательно католическому культу церковь была возвращена в 1802 году.

Рядом с Нотр-Дам находился дворец парижского архиепископа (с 1790 г. епископа); в нем временно, от октября до декабря 1789 г., происходили заседания Национального Собрания. Кроме того, этот дворец (или епископство, эвешэ) было местом, где собирались делегаты отдельных секций и некоторые общества.

III.

Уже перед революциеи Париж был городом, привлекавшим иностранцев свою красотою, своюю веселою жизнью, своим умственным, литературным и художественным движением. В городе было много парков и садов, бульваров и аллей, площадей и фонтанов и т. п. Многое, однако, во время революции пострадало, в особенности церкви в период якобинских гонений на католицизм **). Одна из самых старых церквей Парижа, Сен-Жермен-д'Осеруа, в течение 10 лет была селитренным складом. Подобная же судьба постигла и некоторые другие церкви. Были и такие, которые продавались на слом и вообще разрушались. Так погибла церковь св. Иакова в Мясниках из времен готики, и от нее осталась только одна башня, служащая и теперь одним из украшений центра города (Тур Сен-Жак — стр. 616). Более всего погибло разных зданий, принадлежавших монастырям: — даже собор Богоматери находился под угрозою быть снесенным с лица земли.

Разрушены были во время революции и некоторые памятники. На Новом мосту через два рукава Сены и западную оконечность острова Сите стояла конная статуя „доброго короля“ Генриха IV, которую в 1792 г. перелили в пушки, но которая была восстановлена в 1818 г. и до сих пор украшает мост. Таким же образом были разрушены конные статуи Людовика XIII на Королевской площади, Людовика XIV на площади Побед,

*) „Великая французская революция“, стр. 283.

**) Там же, стр. 283.



Париж. Ратуша. (Отель-де-виль).



Париж. Дом Инвалидов.

Людовика XV на площади его имени, переименованной в площадь Революции. Из них статуя Людовика XIV была восстановлена в 1821 г. Своих памятников, сколько-нибудь прочных, революция соорудить не успела, хотя в этом отношении и делались кое-какие попытки. Большею частью это были наскоро сожранные колонны, которые не пережили своей эпохи. Часто ограничивались возведением временных декоративных построек или посадкою „деревьев свободы“.

Некоторые здания старого Парижа в эту эпоху исчезли и независимо от революционной вражды к старому порядку. Одною из особенностей дореволюционного Парижа были дома на мостах через Сену, как это можно еще видеть на упоминавшемся выше плане Тюрга (стр. 610). Парижские мосты до 1789 г. были большою частью деревянные и держали на себе дома с окнами, выходившими и на реку, но уже до 1789 г. их начинали сносить. На двух мостах, соединявших остров Сите с правым берегом Сены, стояли дома в 6—7 этажей. В 1788 г. было асигновано более миллиона ливров для того, чтобы их купить на снос, но работа эта была произведена позднее. Мост св. Михаила между островом и левым берегом был из камня и держал на себе 32 дома до 1809 г. На другом мосту, соединявшем остров с левым берегом, дома держались еще в 1835 году. На третьем—дома сгорели еще в 1818 г. и более не возобновлялись. Во время ледохода жители уходили из своих квартир, опасаясь непрочности таких деревянных сооружений. Незадолго до революции начали строить каменный мост Людовика XVI (к югу от площади Людовика XV), для чего пользовались потом с 1789 г. камнями Бастилии, к разрушению которой приступили после 14-го июля.

Эти дома на мостах показывают, как население Парижа теснилось к центру города. Здесь уже давно строились многоэтажные дома, хотя большою частью с очень низкими потолками и крайне маленькими комнатками. Каждый дом по фасаду занимал притом очень небольшое пространство, да и не шел также далеко в глубину от улицы, так что число жильцов в каждом было не очень большим. Уже в XVIII веке многие жили в Париже без своего хозяйства, прокормливались в многочисленных ресторанах и кофейных. В своих маленьких квартирах рабочие занимались своим делом, так как сколько-нибудь обширных промышленных заведений тогда сравнительно было мало, и даже более крупные предприниматели раздавали работу на дом. Маленьких мастерских ремесленного типа было, наоборот, великое множество.

Старый Париж состоял из очень узких улиц, часто кривых, пересекавшихся одни с другими самым причудливым образом, с переулками, пассажами, тупиками *). Всех улиц насчитывали около девятисот, так как часто отдельные кусочки улицы носили разные названия. Названия эти, отчасти сохранившиеся и теперь, были иногда довольно курьезные: например, улица Кошки, удающей рыбу, улица Дурных мальчиков, улица Нехороших слов и т. п. Во время революции не только секции, но и улицы меняли свои названия, принимая имена Марата, Эбера и т. п., или такие обозначения, как улица Горы, улица Друга Народа и т. п., а также и более замысловатые, вроде улицы Отмщенной Лукреции. После революции улицам возвращались большою частью старые названия или давались новые. В теперешних названиях сохранилось гораздо более воспоминаний из наполеоновской эпохи, нежели из времен революции. Только при третьей же республике начали ставить в Париже и памятники некоторым деятелям революции. Выше уже был отмечен памятник Камиллу Демулену, но есть и другие (Байльи, Дантону и т. п.). Но и без этих названий и статуй многое в Париже напоминает о событиях, разыгравшихся в нем в конце XVIII века.

*) на стр. 618 воспроизводим вид Старой Храмовой улицы (Rue Vieille du Temple), сохранившейся в прежнем почти виде доныне; на первом плане—дом, построенный еще в 1528 г.

К числу памятников, посвященных этой эпохе, нужно отнести еще один специальный музей, в котором собрано великое множество книг, брошюр, плакатов, рисунков и разного рода предметов, оставшихся от времен революции. Он помещается в так называемом Отель Карнавале, барском особняке, построенном еще в конце XVI века. Другая такая же, но гораздо меньшая, коллекция хранится в Версале, в зале того самого манежа Жёдэ-пом, в котором депутаты третьего сословия принесли свою знаменитую присягу 20-го июня 1789 г. *). Все главные события

*) „Великая французская революция“, стр. 134. На стр. 617 даем теперешний вид этой залы, которую украшает большая картина, воспроизведенная на стр. XXX „Великой французской революции“.



Париж. Башня св. Иакова. (Тур Сен-Жак).



Париж. Здание, в котором помещался клуб якобинцев.



Париж. Версаль. Зала Жё-де-Пом (в настоящее время).



Париж. Старая Храмовая улица (Rue Vieille du Temple).
Угловой дом построен в 1528 г.

революции происходили в Париже, кроме начала и конца ее. В Версале депутаты поклялись друг другу не расходиться, пока не дадут Франции нового государственного устройства, и только уступить силе штыков, если от них потребуют разойтись. Такая сила штыков и была через десять лет употреблена против народного представительства генералом Бонапартом, для чего, однако, потребовалось перенести заседания Законодательного корпуса в городок Сен-Клу.

Потомки парижан конца XVIII века с гордостью вспоминают о геройских подвигах и заслугах своих предков.

* * *

Песни мои, мои соколы ясные,
К небу несут вас мечты беспокойные,
К небу, где сдвинулись тучи ненастные,
Где разгулялися молнии знойные!
Хочется ль гроз вам?..— Но грозы могучее,
Ярче у нас на земле разражаются.
Дождь ли вас манит струею кипучею!..—
Кровь здесь и слезы страшней проливаются...
Нет, вы ошиблись своею дорогою,
Песни мои, мои соколы вольные!
Мчитесь к земле,— там с безумной тревогою
Ждут вас уставшие, ждут вас бездольные,—
Ждут, чтобы силы вдохнули вы новые,
Чтобы рассеяли горечь сомнения,
Чтобы пошли они в битвы суровые
С вашею верой в зарю возрождения!..

Елизавета Исполатова.

Пряжки на башмаках отца Геннадия.

Рассказ П. П. Гнедича.

I.

Князь Александр Михайлович Половчанинов завел дневник, и стал в него вписывать.

„Мая 29-го. Кто ездил ныне у меня по двору,— писал он,— того человека плетьми. Дворников всех взять в кнуты— пересечь до смерти, а Дмитрия дворника— отдать в смирильный дом.

„Мая 30-го. Того, кто драл детей за уши, того самого отодрать до крови. Двух собак бездомных, что во двор утром забежали, накормить и оставить жить при доме. Постройку бани скончали.

„Мая 31-го. Почему голубям и воробьям не дают корму? Они принуждены клевать навоз. Как бы моему мажордому Тарас Иванычу не пришлось клевать чего подобного!

„Июния 1-го. За поднесенный священником Азариевым стихотворный панегирик, озаглавленный „Князю и философу Половчанинову“,— дать тройку вяток и крест с аметистами.

„Июния 3-го. Куплен портрет паны Пия седьмого, кисти Камчинини, и Богоматерь работы Долче,— последняя несколько более натуральной величины. Продавал курьер из Рима — Стобеусов. Перед домом в парке разбил лабиринт. Императрица спрашивала: „зачем?“ Ответил: „Это служит эмблемою препятствий и трудностей, встречаемых на пути жизни“.

„Июния 4-го. А голуби все клюют пакость. Выдран повар Емельян Сычуга. А садовника Пивкина— в солдаты.

„Июния 5-го. Освящение новой бани. Строили итальянский зодчий в мавританском штиле, с золоченым куполом. Освящал наместник из Пустыни— Геннадий. При нем— крещеный турка. Хвалил. „Вот бы попариться“.

„Июния 7-го. Пригласить Геннадия на пятницу в баню. Купил густопсового пса— кличка Мамелюк.“

II.

Геннадий был молод годами для своего важного поста. Но пышность и великолепие, неразлучное с своим саном, поддерживал. Получив приглашение от князя попариться в новой бане, он заметил:

— Приятно будет в таких термах омыть свою плоть. Нарочито приятно.

— Особливо, ежели, после омовения, в передбаннике марсалы испить, — поддакнул казначей, отец Варлаам, человек ученый, говоривший по-гречески так же свободно, как и по-русски, и обладавший странным приrostком на носу: такие бывают белые грибы двойчатки: скобу выходит приросток цузырышком.

— Не токмо марсалы, а и прочего, — согласился Геннадий. — Одолжаться его сиятельству мы не будем, а ежели он пожалует, то и его попросим соприсовокупиться. Вообще, отче, ты бы озабочился, чтобы в одноколку положили всего, что полагается.

Отец Варлаам погладил грудь и сказал:

— Озабочусь.

В назначенный час, к крыльцу архимандрита подан был шестерик. Впереди на коне сидел верхом дьякон Авдий. Он был в стихаре и в руках держал посох. Конь был под них серый, а так как сам Авдий был родом с Дона, то в седле он сидел молодецки и посох держал на подобие пики. За ним, по церемонии, должна была следовать одноколка, запряженная рыжим мерином, с Варлаамом и таинственным грузом в кульках и корзинах. Далее шел шестерик и сам владыка в колымае, при чем на козлах, рядом с кучером Саввой, сидел крещеный турка, который должен был мыть Геннадия по-восточному, обливая его пеной из какого-то пузыря. За владыкой, в открытых дрогах, следовали избранные представители братии, которые удостоились приглашения, так как мыльня была обширная и там за раз могло мыться человек пятнадцать без стеснения.

До имения Половчанинова, называвшегося по-новому мызой, было всего от монастыря две версты. Широкая дорога шла в некотором расстоянии от морского залива, и по ней катились длинной вереницей кареты цугом и скакали гвардейцы на опененных конях. Изредка попадались вереницы обозов: из столицы везли больше бутылки, а в столицу— овощи и молоко. Иные, зайдя выезд Геннадия, еще издали снимали шапки, а Геннадий истово благословлял проезжих и все повторял про себя:

— Хорошо попариться в термах в такую погодку, — ах, хорошо!

Доехав до ворот мызы, карета повернула влево и вступила в аллею стриженых гротесков и молодых кленов. Золотой плоский купол бани мелькнул между кустами зелени. Ниже просвечивало бе-

лое тело постройки. Форейторы не рассчитали, и колымага на аршин проехала далее крыльца, несмотря на крики мажордома Тараса Ивановича:

— Стой, варвары! Держи лошадей, росомаха! Осаживай, слютиши!

Дышловых осадили. Владыка вылез, сошел по рассыпавшейся от дверцы раскидной лестнице и, дав облобызать руку Тарасу Ивановичу, спросил с явным неудовольствием:

— А его сиятельство у себя?

— Их императрица к себе выграбовали, потому они в отъезде и приказали принять ваше высокопреосвященство и сказать, что беспременно будут.

Это владыку несколько успокоило. Он сказал „А!“ и последовал кафельными сенями в передбанник.

III.

Геннадий любил, чтоб на нем все было шелковое и бархатное снаружи и все шелковое снизу. Рубашку он носил шелковую; исподне—шелковые; чулки тоже шелковые, высокие, на подобие женских. Пряжки на башмаках были серебряные, но по праздникам он надевал даже унизанные драгоценными камнями. И теперь он распорядился взять их с собою. Пряжки были сделаны весьма искусно и были подарены ему ко дню ангела, повидимому, одной из духовных дщерей. Присланы неведомо от кого, но как будто от девственницы Серафимы, девицы княжеского рода, достигшей уже тридцатипятилетнего возраста и имевшей под щеками некоторую одутловатость. По утверждению наперсницы ее, Берты, служившей приней камерфрау, одутловатость эта происходила от неумеренного употребления французского пенного вина, вызывавшегося из Шампани и никогда не переводившегося в погребах Серафимы. Она весьма одобряла чистоту, а также привычки к роскоши Геннадия, и говорила:

— Поступающий в иноческий чин перестает быть мужчиной. И, ходя в одежде, более схожей с женской, приближается по привычкам и нравам к слабому полу. Потому, владыко, мне вас ни чуточки не стыдно. И то, что я офицеру гвардии не дозволила бы,— вам разрешу охотно.

Геннадий подтверждал ее мысли.

— Через меня спасешься,—говорил он.—Если не согрешишь,— в чем же ты будешь каяться? А ежели тебе каяться не в чем, то как же может проявиться милосердие Божие, и в чем надлежит прощать, коли нет греха?

Эта логика Геннадия нравилась очень многим светским дамам и даже их мужьям. Они говорили своим женам:

— Душечка,—прав владыка. И советую тебе последовать его предначертаниям и зовам.

И в свой черед намекали Геннадию:

— Открылся пост товарища министра. Коли я достоин, то, быть может, владыко, вы заикнулись бы...

И владыка заикнулся. Новая получалась овца его пасти и казалась потом в Великом посту со слезами:

— Позаимствовался... был не в силах, обуреваем был страстью.

— А много?—интересовался Геннадий.

— Много, владыко, очень много...

IV.

С белых ног Геннадия осторожно снимали чулки. Отец Варлаам распаковал кульки и корзинки, при чем старался сорить как можно меньше. Турка взял свой пузерь и пошел в мыльню готовиться к мытью.

Очевидно, владыка ждали. Пол в передбаннике и в самой бане усыпан был душистыми травами и цветами. Тарас Иванович указал на бочонок венгерского, стоявший в жаркой бане, и сказал:

— Это для поддавания на каменку, дабы пар был благовонный, и для окачивания владыки после омовения.

Человек серъезный князь Александр Михайлович—засмил Тарлаам и, видя Геннадия совсем обнаженным, прибавил:—Думаю, таким Адам был в раю. Очень, владыко, у вас приятное сложение.

Владыка пошлепал себя по бедрам.

— Потому я не похож на Адама,—заговорил он,—что у Адама одной подробности не было, свойственной всем людям, как женска, так и мужеска пола.

Варлаам дернул головой.

— Вы говорите—подробности? И поитом—общей обоим полам? Что же это за подробность?

Но вновь послышался троекратный стук в дверь, и Тарас Иванович вновь что-то говорить начал.

— Невозможно,—вразил ему в щелку Тарлаам,—ибо владыка уже без покровов.

Тем не менее Тарас Иванович настоятельно шептал:

— Его сиятельство прибыли и желают видеть владыку по не терпящему отлагательства делу.

Владыка уже направлялся в мыльню, когда ему передали желание хозяина. Он нахмурился.

— Пущай после того, как я помоюсь, приходит,—сказал он,— а теперь мне невозможно.

Опять что-то закружил Тарас. И до владыки долетело одно слово: „императрица“.

— Императрица едет, сейчас здесь будет!—испуганно загово-

рил Тарлаам.—Потому им и надлежит без промедления иметь коллоквиум с вашим высокопреосвященством.

Его высокопреосвященство сжал губы, задумался, и потом приказал:

— Подать срачицу.

На него накинули сорочку длинную, до пят. Он выпрямил волосы, попавшие под ворот, и, стоя босиком на цветах среди предбанника, приказал:

— Впустить!

V.

Князь Александр Михайлович пыльный и потный, в мундире и орденах, ввалился в двери и, тяжело отдуваясь, спешно сунулся под благословение владыки.

— Не по мести!—сказал Геннадий, вместо благословения подставил свою щеку для поцелуя и сделал вид, что сам целует в слюнявые уста хозяина.

— Через час будет здесь императрица,—запелет князь.—А потому я пристяжную загнал и оставил ее на дороге. Обедал я во дворце. Вечером в город мимо меня должны следовать и заявили: „слыхала я, что вы новой конструкции баню выстроили, — то желаю оную постройку осмотреть.“

Князь Александр Михайловичбросил с себя кафтан и камзол. Он начал расстегивать и все дальнейшее.

— Полагаю — сказал владыка, — что вам надлежит в том же убранстве остаться для встречи высокой гостьи, а отнюдь не сбрасывать ее с себя.

— Мне необходимо, владыко, окунуться в ванну, так как меня от жары размаячило всего. Я вам помехой не буду, ибо, сколь вы помните, три мраморных вместилища у меня поставлено. Да и, много-много, я через четверть часа уже буду готов.

Владыка сел.

— Я обожду, пока вы помоетесь, — холодно сказал он,—дабы не мешать вам.

Князь Александр Михайлович, освобожденный от мокрых, прилипших к нему одежд, которые стаскивали с него, как шкуру с угря, стоял перед владыкою во всем своем тучном великолепии. Волосатая грудь его тяжело дышала.

— Владыко!—жалостливо моргая, запелет он.—Необходимо, через час чтобы все здесь было убрано, проветрено, дабы императрица могла вступить и вольно дышать.

Геннадий посмотрел на великолепный золотой толстый брегет, лежавший на туалетном столе, и спокойно промолвил:

— Сомневаюсь, что в течение часа я покончил с омовением, тем паче, что вы еще более своим присутствием останавливае ход действий.

— Но ведь императрица...—начал было хозяин.

— Всемилостивейшая государыня посмотрят сие сооружение завтра на обратном пути из города,—не смущаясь, продолжал Геннадий.—А, впрочем, поторопитесь окунуть ваше тело в водные хлебы,—быть может, мы и сегодня поспеем..

— Поспеем, владыко, поспеем...

Он зашлепал босыми ногами по цветам и побежал к душистой ванне, приготовленной для владыки, и по дороге махнул Тарасу Ивановичу, чтобы он следовал за ним: сидя в ванне, он должен был отдавать приказания о приеме императрицы.

VI.

— И у досточтимого хозяина дома здешнего подробность, о коей вы заметили, имеется?—не отставал Тарлаам.

— Ох, помолчи, отец!—посоветовал Геннадий.—Говоришь ты слишком много и праздно. Суесловие.

Но Тарлаама трудно было остановить.

— Что ж, владыко,—заговорил он,—и евангелист сказал „эн архэ эн то логос“, — „в начале бе слово“.

— Кай то логос эн прос тои Феон,—продолжал Геннадий.—Так ведь тò слово у Бога было, а не у тебя, нечестивого.

— Почему же я нечестивый!—обиделся Тарлаам.—Едва ли я подал повод к такой номенклатуре?

А князь Александр Михайлович приказывал из ванны:

— Три дюжины чтоб было заморожено. Фруктов чтоб было в изобилии. Чтоб мороженое было пяти разрядов. Чтоб фисташковое было, малиновое, сливочное, земляничное, ананасное. Чтоб кофей был, чтоб бенедиктин подали... Шкуру спущу, коли что не так будет.

— Вон слышите, владыко, как сей Лукулл старается,—говорил Тарлаам,—думаю, что и вас он оставит на сей банкет, да и меня, хотя бы за музыкантским столом, угостят пельсиками?

Геннадий сел в кресло, скрестив свои босые ноги, и поднял с полу цветок.

— Ты бы пошел к Лукуллу,—посоветовал он,—и поторопил, чтоб чрево свое скорее он промывал.

— Там два членщика его проторят,—вразил Тарлаам, заглянув в мыльню.—Губками грецкими трут. Запах как бы от лавандового масла идет. А Тарас Иванов уже уходит.

Тарас Иванович, точно, иноходью пронесся мимо, стараясь при этом как можно менее занять своею червообразною персоной пространства и проскочить мимо владыки, как полуночное видение.

— Скоро?—спросил в него владыка.

Тарас Иванович в согбенном положении замер.

— Тотчас омовение кончут,—ответствовал он.

Через высокое, открытое окно лились золотисто-румяные лучи вечернего солнца. Зеленая листва тихо шевелилась, и узор ее тени скользил по белому мрамору стен. Тонкие колонки венчались наверху причудливыми группами сталактитов, точно соты какого-то райского улья нависали над людьми. Низенький фонтанчик в мраморной раковине журчал невысокой струею. Восточные диваны с подушками широкими ложами пестрели вдоль стен. Все было еще ново и переносило мысль на далекий юг.

— Сколько велик гений ума человеческого!—заговорил Геннадий, обводя все вокруг себя взором.—Давно ли сии места представляли только болотную, с хижинами рыбарей, мокрыми неводами на берегу и смоляным запахом убогих членов? А что мы видим ныне? Великолепные мавзолеи воздвиглись среди благоустроенных парков. Рафаэль и Мурильо висят на стенах палаццо. Изысканные французские вина шипят в бокалах. Ароматы востока усаждают наши ноздри. По широким дорогам влекут нас быстроногие кони в венских колесницах. И все сие—в краткий срок, в какие-нибудь полстолетия создано человеком. Как же не сказать, что он сотворен по образу Божию и подобию, и что, подобно божественному началу своему, он способен на творчество новых форм и созданий?

Все присутствующие, затаив дыхание, слушали импровизацию великого проповедника, восседавшего перед ними в одной скрипце. А из соседней залы доносилось:

— Сильнее три, охух! Так, так,—да не сухой: помочи, каналья, губку, помочи, стервеш!

VII.

Солнечные пятна на мраморе стены давно уже потускнели и пропали. Восковые свечи в высоких шандалах уже были зажжены. Уже владыка натянул фиолетовые чулки и вдел ступни в башмаки с сверкающими пряжками, когда послышалось на дворе смятение и шум, гиканье, лязг оружия и хлопанье бичей. Варлаам, наполовину одетый и выглянувший за дверь, сообщил:

— Въезжают. Карабегард уж приехал.

Трудно сказать, что, собственно, подразумевал Варлаам под карабегардом. Но, во всяком случае, гусарский эскадрон прискакал во двор и выстроился у подъезда.

— Я так полагаю,—говорил Варлаам,—что вам, владыко, теперь не подобает воспринять марсала, как было нами предсказано по росписи, дабы винного аромата не шло из уст. Да и вдобавок, ежели пенные французские вина там подадут, то едва ли нужно подобное смешение?

— Тем не менее ты мне стакан марсала подашь,—сказал владыка.

Варлаам покорно склонил голову и начал наливать густую жидкость, привезенную владыке в дар откуда-то издалека. Еще стакан не весь был выпит, хотя Геннадий тянул его, не отрывая уст, как подали ему записку от хозяина.

„Владыко,—значилось там,—согласовите пожаловать в компанию нашу“.

— Вели подавать мою колымагу!—сказал владыка, расчесывая бороду душистой щеткой.—Не пешком ли пойду я?

Но он был не в духе. Что же мешало Геннадию светло и ясно смотреть на мир Божий? Крещеный турка вымыл его чудесно, и весь он затонул, как в пуху, в мыльной пене, что была выпущена из пузыря. Марсала была превосходная. Пастильки в перламутровой круглой коробке, для уничтожения винного запаха, тоже были на высоте своего достоинства, — а какая-то соринка мешала духовному созерцанию владыки. Ужели то были башмаки с драгоценными пряжками? Не было ли преднамеренности в том, что владыка взял эту обувь? Ведь почему же, поехав в баню, захватил он ее? Хотел похвастаться ею перед князем?

Опять он полез в карету. Уже темнело, и четыре смоляных факела горело по углам двора, то вспыхивая, то замирая, и тени ходили от них по толпе пестрых холопов. Проехав несколько сажен, колымага остановилась. Опять челядь бросилась высаживать приехавшего. Торжественно и истово, благословляя склонившиеся перед ним головы, следовал гость по ковровой дорожке поперек обширной залы с колоннами на широкую открытую веранду, всю залитую цветами, прихотливо рассыпавшимися вязами из больших китайских ваз. На одном конце террасы был смех, переливались пятна золоченых кафтанов, белели широкие юбки и пурпурные парики. И первая, кого Геннадий заметил, была девственница Серафина, бывшая впереди всех и точно поджидавшая его прихода.

Но, отыскав глазами императрицу, он направился прямо к ней и левую руку уже предупредительно подложил под панагию, дабы дать ей приложиться, если она после благословения обнажит склонность к лобызанию.

— А, владыка!—сказала она. Она никогда не могла выговорить ни грубого русского ла, ни еры. Она улыбнулась, сделала вид, что шагнула ей навстречу, первая протянула руку и продолжала:—Помились? Хорошо помились? А ми вас ждем, пока вы там полоскалися!

— Да, да, мы вас ждем,—подтвердила девственница и тоже подошла под благословение.—Как от вас, владыко, всегда хорошо пахнет!—прибавила она, нюхая ему грудь и бороду.

— Так не каждый петиметр ароматен,—подтвердила государыня и столь благосклонно посмотрела на Геннадия, что тот как будто и ощутил, что ненапрасен был его приход, и даже наряд его уместен.

— А мы вот здесь на гаснущий закат глядим,—продолжала она.—Здесь восхитительно, очаровательно! Вид какой на залив!

VIII.

— А что, владыко, ведь Христос не носил на башмаках таких пряжек!—сказала вдруг Серафина, смотря на сверкающую туфлю Геннадия.

Государыня тоже соизволила перевести глаза вниз и тоже сказала:

— Думаю, что нет. Стрекоза наша истину сказала.

Серафиму звали в придворных кругах стрекозой. Но в глаза одна только государыня изволила ее так называть. Серафима не обижалась и любила немного разыгрывать шутуху. Прикрываясь шуткой, она позволяла себе многое, что не допускалось в придворном кругу, и все ей прощалось, так как она в сумерках, сидя у ног царицы, смешала ее деланной наивностью и, цитируя фривольные французские стихи, восхлицала:

— Как это глупо и непонятно!

И теперь, говоря о пряжках Геннадия, она знала, что только веселит общество, и самого владыку не рассердит.

Он не рассердился, а, притворно вздохнув, проговорил:

— Да. Господь наш не ходил в такой обуви. Но ведь и его последовательницы не ездили в дворцовых колымагах и не приносили ему в дар подобных сим драгоценных пряжек. А не настать—обидеть дарящих.

Брови государыни изволили чуть-чуть дрогнуть.

— Как будто намек?—спросила она, не выходя из черты светского разговора.—Кто же оная особа, подарившая эти пряжки отцу духовному?

Она посмотрела на владыку испытывающе. Владыка посмотрел на нее, скользнув глазами по девственнице, невинно разглаживавшей ленту от корсажа.

— Этого имени, государыня, я назвать не могу, ибо оно мне неизвестно,—ответил он.—Прислано мне в день ангела моего от неизвестной.

— А ежели я попрошу вас сообщить мне сие имя на ушко?—спросила императрица.

Геннадий развел руками.

— Все же я этого сделать не могу, ибо имени сам не знаю.

Князь, заметя, что брови у высокой гостьи все больше и больше дергаются, и увида, что внесли мороженое, спросил:

— Земляничное, фисташковое... Которое соблаговолите?

Но высокая гостья как будто его не слышала.

— Ежели я желаю, даже приказываю, то всякие клятвы нарушаются... Я жду, владыко.

А князь шептал:

— Может, сливочного?

IX.

Геннадий стоял среди веранды, и блестящая свита наблюдала, чем кончится этот неприятный эпизод. Геннадий как будто не сколько побледнев, но так же ровно заговорил вновь:

— Какой же пример будет соблазнительный, ежели я, представитель церкви, соглу? Выдумав перед вами, всемилостивейшая государыня, имя жертвовательницы, я вместе с сим сниму свое звание, ибо буду считать себя носить его недостойным и буду просить Святейший Синод об увольнении.

— Это уж ваше дело,—запальчиво, но видимо сдерживаясь, сказала императрица. Ноздри ее вздымались и опускались, как мехи, когда ими раздувают уголья.

Наступило молчание—неловкое, томительное. Летучая мышь чиркнула над собранием, но императрица ее по близорукости не заметила, а прочие не заметили ее по этикету.

Вдруг девственница наивно подняла свои маленькие карие глазки и сказала:

— Владыко совсем не надо на ушко об этом передавать ее величеству, — я могу вслух при всех сказать: это я подарила ему пряжки.

Геннадий встретился с ней взглядом. Он понимал, что она спасла его хочет, и думал, следует ли сказать: „Сия девица хочет по чистоте своей“ — и прочее. Но Серафима продолжала:

— Потому облекла я мой подарок таинственностью, чтобы у нас все шиворот навыворот не поняли. Ведь уж так у нас любят сплетни, так любят сплетни! А я подарила владыке эти пряжки, потому что он совсем не мужчина, и ходит подобно даме, в юбочке, что я ему много раз говорила. Поэтому я могу не только ему пряжки дарить, но и позволять целовать меня, что он не однажды и делал.

Геннадий овладел собою совсем, но проговорил:

— Этого я что-то не припомню...

Государыня подняла голову и сказала строго:

— Снимать вам сана, владыко, не подобает, а перевестись отсюда в другую обитель надлежит.

И обращаясь к хозяину, еще строже прибавила:

— Велите подавать экипаж.



К. Сомов.

Галантный разговор.

Х.

Это всех поразило, как громом, и вновь воцарилась тишина—жуткая, зловещая.

— А осматривать...—начал робко хозяин.
— Не желаем.
— А фисташкового?
— Не желаем.
— Может, ананаса?

— Ничего не желаем. Велите подавать экипаж.

Поднялась сугета. Опять захлестали бичи. Гусары, наскоро допивая недопитое, садились на коней. Факелов вместо четырех зачадило десятка два, хотя еще было светло. Люди надеялись напиться, и намерение их было разрушено. Они были озлоблены и вымешивали злость на лошадях, — били их по мордам и дергали за мундштуки.

— Охота, многоценная, из-за пустяков таких волноваться, да разве они стоят того?—шептала Серафима.

Но государыни, скав губы, смотрела на залив, затягивавшийся туманной вечерней пеленой, и говорила:

— Отстань, попиши прочь.

— И что Геннадий в юбочке слово держит, это весьма даже одобрительно,—продолжала девственница.

— Молчи, — почти крикнула государыня и ручкой так раз-

махнулась, как будто хотела дать всемилостивейшую оплеухину.

А князь метался среди свиты. В голову его как молотом было. Он боялся подходить к владыке, который отошел к балюстраде террасы и стоял неподвижно, смотря на синие облака, что плыли тяжелыми чудовищами по светло-зеленой пропасти неба. Карсельские лампы, как будто недоумевая, светили в мраморных проходах залы, среди цветов террасы. Высокий гвардейский офицер с большими черными глазами один был поконен и, держа в выхоленой руке полууткнутый бокал аи, как-то насыщенно смотрел на весь переполненный людьми.

Низкий толстый капитан, гремя серебряными шпорами, доложил, что все готово. Покрасневшая, тяжело-дышившая императрица протянула руку хозяину и, не глядя на него, сказала:

— Мы не шдали от вас этого...

С владыкою она не удостоила проститься, даже головой ему не кинула. Только девственница, проходя мимо, шепнула ему:

— Я все устрою!

На дворе слышалась команда. Опять лязг оружия, храп коней. И садясь в карету, императрица снова кинула хозяину, метнув глазами:

— Не ошибала я от вас этого,—не ошибала!

(Окончание следует).

Голубок.

Дни проходят, проходят недели,
Вот и праздник осенний—Покров,
И заботливо поле одели
Чьи-то руки холстами снегов.
А царевна грустит над шелками,—
Взор печален и светел и тих.
Далеко, далеко за морями—
Князь любимый, желанный, жених.
Может, скоро теперь и вернется,—
Обещался на самый Покров,
А холодное солнце смеется
Над холстами холодных снегов.
Прилетел голубок сизокрылый,
В слюдяное окно постучал.
Улыбнулась царевна:—Мой милый
Из-за моря поклон мне прислал.
— Милый помнит меня, вспоминает,—
Голубок ты мой сизый, родной...
Только старая мамка вздыхает:
— Со святыми его упокой...

Николай Ашукин.

Старый замок.

Как тоскливы колоннады, как пустынно в гулком зале,
Как туманно выступает потускневший ряд картин,
А когда-то здесь смеялись, а когда-то здесь рыдали
Под звенящие аккорды золоченых клавесин.
Позолота потускнела на орнаментах карнизов
Сквозь закопченные окна тускло льется блеклый свет,
А когда-то в этих залах расфранченные маркизы
Так жеманно, так манерно танцевали менют.
Ветер в щели заметался. У большой оконной рамы
Проколзнул по полу залы и метнулся с воем в печь,
А когда-то клали гордо здесь к ногам Прекрасной Дамы
У соперника ударом ловко вышибленный меч.
Под поблекшей позолотой обвалившихся карнизов
В уголке пред зеркалами у разбитых клавесин
Никогда уже не встанет расфранченная маркиза
И жеманно не поправит свой широкий кринолин.

Конст. Ванюков.

Элегия.

Поблекшим золотом, холодной синевой
Осенней вечер светит над Невой.
Кидают фонари на волны блеск неяркий
И зыбаются слегка у набережной барки
Угрюмый лодочник, оставь свое весло!
Мне хочется, чтоб нас течение несло;
Отдаться сладостно вполне душою смутной
Заката блеклого гармонии минутной.
И волны плещутся о темные борта,
Слилась с действительностью легкая мечта.
Шум города замолк. Тоски распались узы
И чувствует душа прикосновенье Музы.

Георгий Иванов.

* * *

Девушки пляшут на ферме в уборах зеленых и алых
В честь молодого вина, бродящего в темных подвалах.
Скрипки их гонят стремительным метром.—
Кто их догонит?
Пестрые фартуки вскинуты ветром.
Щедрая осень в них золото сыплет.
Новый бочонок несут, старый уж выпит.
Девушки пляшут на ферме в уборах зеленых и алых
В честь молодого вина, бродящего в темных подвалах.
Смотрят мужчины. От шуток нескромных
Нету отбоя.
Смех и желание в лицах их темных.
Здесь поцелуи, а там перебранка.
Завтра и пить и плясать вновь спозаранка.
Девушки пляшут на ферме в уборах зеленых и алых
В честь молодого вина, бродящего в темных подвалах.
Звуки свирелят задорно и плавно
Отзвуком в горы.
Не услыхали бы только их фавны!—
Ведь прибегут, все разграбят в подвалах
И увлекут за собой женщин усталых.

Т. Ефименко.

Главные военные деятели французской революции.

Очерк проф. Н. И. Кареева

I.

История великой французской революции имеет свою воспинную сторону. В 1792 году между революционной Францией и Европой старого порядка началась война, которая продолжалась и тогда, когда республика во Франции уступила место единовластию величайшего полководца не только эпохи, но и всех времен. Отделяя 1799 годом эпоху консульства и империи Наполеона I от революционного периода, охватывающего десятилетие 1789—1799 гг., мы можем сказать, что в военной истории этого периода, как и в политической его истории, блещет несколько имен, которые даже попали на страницы школьных учебников. Настоящий очерк имеет задачу дать о них некоторое общее представление в дополнение к тому, что говорится на страницах „Великой французской революции“ (Приложение к „Ниве“ с. г.) о деятелях политических.

Что особенно бросается в глаза при ближайшем знакомстве с отдельными выдающимися военными деятелями революции, это — молодые годы многих из них. Всем хорошо известно, что в год начала революции будущему владыке Франции Наполеону Бонапарту исполнилось только 20 лет, но у гениального полководца были и сверстники, родившиеся в одном с ним году, как Жубер, Марсо, Ней, или в предшествовавшем году, как Гош и Дезэ. Когда началась война, никому из них не было еще 25 лет. Не многим старше были Бернадотт, будущий король Швеции, Журдан, Макдональд, Моро, Пишегрю, которые все родились в первой половине шестидесятых годов и все, следовательно, были моложе 30 лет, когда началась революция. Массена, Лафайету, Ожеро и Клебару было 31, 32 и 35 лет в 1789 году, и лишь немногие были старше этого возраста, как Дюмурье и Юстин, имевшие лет по 50, или Келлерман 54 лет.

Очень рано военная молодежь достигала и высших чинов в армии. Бонапарт был уже генералом, не достигнув полных 25 лет, а через два года был уже главнокомандующим армии, посланной на завоевание Италии. Жубер заслужил генеральский чин 26 лет, Гош — 25 лет. Карьера Гоша была даже необычайно быстрой: на протяжении каких-нибудь семи недель он был сделан сначала бригадным, потом дивизионным генералом и, наконец, главнокомандующим мозельской армией. Дезэ командовал рейнской армией 28 лет, Жубер — голландской армией 29 лет и т. п. Военные карьеры делались быстро потом и при Наполеоне.

Достижение высших военных чинов и должностей было во Франции возможно в молодых годах и при старом порядке, но, конечно, только благодаря очень знатному происхождению, а не по личным заслугам. Молодые генералы и полководцы революции были часто очень демократического происхождения. Начавший службу еще в годы революции Мирант, впоследствии зять Наполеона и король неаполитанский, восемнадцатилетний юноша в год начала революции, был сыном трактирщика и сам служил „гарсоном“ в кафе. Гош, вступивший в военную службу шестнадцатилетним мальчиком, что было за пять лет до революции, был сыном смотрителя королевской пекарни. Ней был сыном бочара. Другие были детьми мелких чиновников и, самое большое, захудальных дворян, при чем многие тоже не могли получить сколько-нибудь сносного образования, тем более, что еще подростками поступали на службу. Гошу было 16 лет, когда он сделался солдатом, но в таком же возрасте при поступлении на военную службу был и Марсо, которому его отец, мелкий провинциальный чиновник, не дал никакого образования. Такого же возраста был и Журдан, когда в 1778 году отправился воевать в Америку. Были среди них и такие, которые преждевременно бросали учение. Миранта отец отдал — было в духовную семинарию, откуда его, однако исключили за шалости, после чего он и сделался слугой в кафе. Впрочем, и те, которые получали образование в школе, кончили его очень рано. Наполеон был офицером, имея от роду только 16 лет, окончив курс в Парижской военной школе в 1785 году.

Нечего говорить, что столь отличавшаяся военная молодежь Франции душой и телом была предана революции. Некоторые и на службу то поступали, чтобы ей служить. Более сомнительно было отношение к революции представителей старших поколений. Дюмурье, который был восанным человеком еще до революции, уже тогда готов был служить, что называется, и нашим и вашим, когда, например, предлагали свои услуги то корсиканскому патриоту Паоли против генуэзцев, то этим последним против первого. Примкнув к революции, он сначала дружил с жирондистами, потом перекинулся на сторону якобинцев, и, хотя он и признал республику, но,

как известно, изменил ей, вступив в переговоры с внешними врагами Франции с целью произвести монархическую реставрацию. В том же стремлении обвинялся и Юстин, к которому относились с недоверием, и, который кончил жизнь на эшафоте. Но особенно ненадежным отношением к революции известен Пишегрю. Сначала он даже думал защищать старый порядок и даже хотел примкнуть к эмигрантам, для чего ездил в Кобленц, где была их главная квартира. Оказав Франции в 1793—1794 годах крупные военные услуги, Пишегрю очень скоро соблазнился лестными предложениями принца Конде, одного из вождей эмигрантов, и покинул Францию подобно Дюмурье. Последний так и кончил свои дни за пределами отечества, но Пишегрю тайно возвратился во Францию, был арестован и умер в тюрьме.

Впрочем, отшатнуться от революции пришлось и столь искренно бывшему ей преданным Лафайету. Высказавшись против событий 20-го июня и 10-го августа 1792 года, приведших к падению конституционной монархии, которой он служил, он ради спасения своей жизни покинул родину, промолился несколько лет в австрийской крепости и возвратился во Францию только после совершенного генералом Бонапартом переворота 18-го брюмера. Однако, он не примкнул к победителю и отказался принять от него звание сенатора, оставшись верен либеральным идеям, которым служил и в американской революции и на родине в 1787—1792 годах, а впоследствии и при Бурбонах вплоть до революции 1830 года.

Таких военных деятелей революции, которые, подобно Лафайету, отказались от службы новому порядку вещей, обязанныму своим происхождением перевороту 18-го брюмера, было очень немного. Некоторые, кое-кто из названных нами лиц, и не дожили до единовластия Наполеона. Марсо был смертельно ранен в 1796 г., не имея еще полных 27 лет. Гош умер в 1797 г., не достигнув тридцатилетнего возраста. Тридцатилетнего Жубера убила вражеская пуля в битве при Нови в 1799 году. Дезэ и Клебер, сопровождавшие Наполеона в египетской экспедиции, были в отсутствии из Франции, когда произошел государственный переворот, и оба они погибли в следующем году: Дезэ — в битве при Маренго в Италии, а Клебер — от руки мусульманского фанатика в Египте, при том почти в одно и то же время (18-го и 14-го июня).

Убитый в 1799 году Жубер у политических деятелей эпохи был в виду, как возможный кандидат на ту роль, которая в том же году выпала на долю Бонапарта. После кончины Жубера в том же смысле имелся в виду и Моро, но он уклонился от сделанного ему предложения, что, однако, не помешало ему помочь Бонапарту при совершении переворота 18-го брюмера, хотя и не без колебаний. Вскоре, впрочем, Моро обнаружил намерение не уступать Бонапарту первенства в государстве, начал против него интриговать и даже вступил в сношения с прежним своим начальником Пишегрю, что имело последствием отдачу Моро под суд, приговоривший его к тюремному заключению, которое Наполеон заменил изгнанием. К числу генералов, не бывших узурпированными к Наполеону, был и Бернадотт, не пожелавший участвовать в перевороте. Журдан даже был прямым противником переворота и чуть не попал в проскрипционный список, что, впрочем, не помешало ему впоследствии быть на службе у империи.

Другие принимали большее или меньшее участие в перевороте или, по крайней мере, сочувствовали ему и служили новому господину Франции. В числе их был известный Ожеро, который был главным деятелем переворота 18-го фрютидора, когда объявлены были недействительными выборы в законодательный корпус из целого ряда департаментов. При Наполеоне он сделался маршалом и получил титул герцога Кастильоне. Такие награды выпали на долю и других республиканских генералов, служивших императору. Так, Массена тоже был маршалом и герцогом Риволийским, Ней — маршалом, герцогом Эльхингенским, князем Московским (de Moscow) и пр. После падения Наполеона некоторые продолжали служить и Людовику XVIII, хотя бы и не в качестве военных, как Келлерман (тоже маршал и герцог Вальмийский), бывший членом палаты пэров. Массена и Макдональд (маршал и герцог Тарентский) равным образом служили и при Людовике XVIII. Перешел на его сторону и маршал Ней, которому новое правительство даже поручило важное командование, но, как известно, Ней ему изменил, когда Наполеон вторично воцарился во Франции, за что после окончательного падения империи Ней был по приговору суда расстрелян. Та же участь постигла тогда же и Миранта, сначала отрекшегося от Наполеона для спасения своего неаполитанского трона, а потом опять перешедшего на сторону Наполеона.

II.

В истории революционных войн с именами этих военных вождей связаны наиболее важные победы и завоевания Франции в эту эпоху.

Начало подвигам революционной армии было положено Дюмулье. Когда после падения монархии Лафайет оставил свою армию на произвол судьбы, преемником его был назначен Дюмулье, которому исполнительный совет предписал только не подпустить неприятеля к Парижу. Генерал решил, однако, пойти к врагу навстречу, овладел Аргонским проходом и битве при Вальми (20-го сентября 1792) остановил нашествие. После этого (6-го ноября) он разбил неприятеля при Жеммапе, после чего завоевал Бельгию. Одновременно Кюстин взял в Германии Штейер, Вормс, Майнц и Франкфурт на Майне. В этих походах отличился и Келлерман, которому в 1793 году была поручена алпийская армия. Уже помянуто было, что Дюмулье исчез со сцены, а Кюстин в 1793 году был казнен, обвиненный в измене. Казнен был также и генерал Ушар, победитель при Гондомоите, за то, что не сумел воспользоваться своей победой. Та же участь грозила и Келлерману, но он отделался только тринацатимесячным тюремным заключением и после 9-го термидора был оправдан.

Первые завоевания Франции были непрочны, что дорого обошлось не только Кюстину, но и генералам Богарне и Брайлю, казненным в 1794 году за измену. В 1793 году военное положение Франции ухудшилось, и настоящий поворот к лучшему начался для французов только в середине 1794 года после битвы при Флерюсе (26-го июня), в которой отличился Журдан, под начальством которого были, между прочим, Массена и Клебер. Победа при Флерюсе^{*)} над коалиционной армией имела такое же значение, как победы при Вальми и при Жеммапе: она спасла Францию от нашествия и привела к завоеванию Бельгии. Вместе с этим перед Журданом открылась возможность возобновить дело Кюстина на Рейне, через который он совершил переход 6-го сентября 1794 года. Через эту реку французам приходилось во время революции переправляться неоднократно. Кроме того, в следующие годы блестящие перевары через Рейн совершали со своими войсками Клебер, Деза, Моро, Гош.

Гош в это время уже был на вершине своей славы, а через пять месяцев его уже не было в живых: при страшном переутомлении, какому он себя подвергал, достаточно было незначительной болезни, чтобы свести его в могилу. И его жизненный путь был усеян терниями. Когда в 1793 году его непосредственного начальника арестовали, за неосторожные слова по этому поводу и сам он был арестован, но суд его оправдал. В следующем году он был вторично арестован по доносу Сен-Жюста, привезен в Париж и посажен в тюрьму Консьержери, откуда его спас только переворот 9-го термидора. После этого ему поручили умиротворить Вандею, что ему и удалось не одними военными мероприятиями, и сделать высадку в Ирландии, совершенную не удавшуюся. Гош стяжал репутацию рыцарственно благородного и гуманного человека и пользовался большим почетом и у непрятеля. Во время его похорон было перемирие, и враги оказали его практу воинские почести. Так как враги Директории обвиняли ее в том, будто она была причиной смерти Гоша, то по нем устроены были на Марсовом поле торжественные поминки с пением гимна Жозефа-Мария Шене на музыку Керубини.

После того, как Журдан открыл путь к вторичному завоеванию Бельгии, Пиццери, назначенный главнокомандующим северной армией в 1794 году, в короткое время овладел Голландией. Но, подобно первому завоевателю Бельгии, т.-е. Дюмулье, он запятнал впоследствии свою военную славу изменою отечеству.

С весны 1796 года главным театром революционных войн делается Италия, путь в которую перед войсками Французской Республики проложил гений Бонапарта. Когда он был назначен главнокомандующим южной армией, генералы, которые были старше его годами, были недовольны тем, что должны будут подчиняться приказам такого молодого начальника, но после первого же военного совета, в котором тот развел свой план, один из генералов сказал другому: „ну, теперь у нас

^{*)} „Великая французская революция“, стр. 325.

есть господин“. Победы и завоевания Бонапарта в Италии слишком общеизвестны. В итальянских походах второй половины девяностых годов XVIII века отличились и Ожеро, и Макдональд, действовавший раньше в Бельгии, в Голландии и на Рейне, и Массена, потом боровшийся с нацией Суворовым в Швейцарии, и Жубер,вшедший смерть в битве при Нови с тем же Суворовым, и Моро, уже успевший прославиться своими военными подвигами в Бельгии и на Рейне.

В 1799 году, пока Бонапарт был в Египте, Жубер, уже раньше совершивший чудеса в Тироле, через который пробираться по горам и ущельям было очень трудно, заменил его в должности главнокомандующего итальянской армией, имея своим ближайшим помощником Моро, который и принял на себя главное начальствование, когда Жубер пал в битве при Нови. Смерть Жубера произвела во Франции такое же впечатление, как и смерть Гоша. И его память чествовалась всенародно на Марсовом поле, при чем в числе ораторов, говоривших похвальные речи, были и Сьеис, в то время председательствовавший в Директории. Сердце Жубера было привезено в Тулон, один из фортов которого получил его имя.

Вообще в личностях обоих молодых полководцев, — в Гоше и Жубере, — было много сходного, и оба они привлекали к себе симпатии всех, кто их знал. В них не было той грубости, которая отличала, например, Ожеро и была присуща в такой степени самому Бонапарту. Судьба обоих получила романический оттенок. Едва Гош женился на любимой девушке, как был арестован и увезен в Париж, где его ждал революционный суд. Молодой вдове досталось сомнительное утешение присутствовать на чествовании его памяти на Марсовом поле в Париже. После Жубера тоже осталась молодая вдова, которой Директория послала после известия о его смерти выражение своего соболезнования. Жубер вступил в брак всего за шесть дней до своего последнего отъезда в армию. Влюбленный в оставленную дома молодую жену, он постоянно имел при себе ее портрет и, смотря на него, говорил офицерам: „я обещал республике и ей или победить или умереть, и я побежду или умру“. Память о Гоше и о Жубере окружена поэтическим ореолом.

В египетской экспедиции 1798 — 1799 гг. вместе с Наполеоном участвовали Клебер,вшедший в Каире свою кончину, Деза, Мюрат и некоторые другие, из которых назовем только Мену, который, желая угодить своему главному начальнику, находившему полезным всячески ублажать мусульман, сам принял магометанство и стал называться Абдалла-Иаков, но вызвал только насмешки и не имел подражателей. После смерти Клебера Мену принял на себя командование экспедиционным отрядом, с остатками которого возвратился во Францию в 1801 году.

Внутренней истории Франции генерал Мену известен по участии в событиях последнего периода Национального Конвента. Когда после 9-го термидора началось сильное брожение в революционном предместье Св. Антония, генералу Мену было поручено подавить его с применением самых суровых мер, но отличавшийся вообще умеренностью Мену не захотел воспользоваться своею властью с беспощадною суровостью и проявил в этом деле известную мягкость. В должности командующего внутренней армией он был заменен, в связи с событием 13-го вандемьера, генералом Бонапартом, равным образом и в данном случае не обнаружив распорядительности^{**)}. Его поведение по отношению к восставшим против Конвента секций было настолько двусмысленно, что только заступничество Бонапарта спасло его от худшего, чем простое отставление от должности. Зато в деле усмирения восстания Бонапарт нашел подходящего помощника в лице Мюрата, который потом и 18-го брюмера оказал ему большие услуги. В эпоху империи Наполеон не оставил Мену своими милостями и даже назначал его генерал-губернатором в Пьемонте и в Венеции.

В этом очерке военных деятелей революции имелись в виду одни боевые генералы. Поэтому мы обошли молчанием такого человека, как Карно, справедливо названного „организатором побед“^{**}. Он был, как известно, не боевым генералом, но был выдающимся министром^{**}.

^{*)} „Великая французская революция“, стр. 334.
^{**) См. о нем в „Великой французской революции“, где имеется и его портрет}

Содержание. ТЕКСТ: Париж времен великой революции. Очерк проф. И. И. Кареева (с 18 иллюстрациями). — Стихотворение Елизаветы Исполатовой. — Пряжки на башмаках отца Геннадия. Рассказ И. П. Гнедича. — Голубок. Стихотворение Николая Ашукова. — Старый замок. Стихотворение Конст. Ванюкова. — Элегия. Стихотворение Георгия Иванова. —

Стихотворение Т. Ефименко — Главные военные деятели французской революции. Очерк проф. И. И. Кареева.

РИСУНКИ: Иллюстрации к очерку проф. И. И. Кареева „Париж времен великой революции“. — Галантный разговор. К. Сомова.
К этому № прилагается „Полного собрания сочинений М. Горького“ книга 25.